ЧАСТЬ 1: НЕПРОТИВОРЕЧИЕ

ЧАСТЬ 2: ИЛИ — ИЛИ

ЧАСТЬ 3: А ЕСТЬ А

Айн Рэнд

АТЛАНТ РАСПРАВИЛ ПЛЕЧИ

EDITOR'S CHOICE



МИРОВОЙ БЕСТСЕЛЛЕР

альпина паблишерз

Атлант расправил плечи

Айн Рэнд

Аннотация
Айн Рэнд. Атлант расправил плечи
ЧАСТЬ I. Непротиворечие
ГЛАВА I. ТЕМА
ГЛАВА II. ЦЕПЬ
ГЛАВА III. ВЕРХ И НИЗ
ГЛАВА IV. НЕДВИЖНЫЕ ДВИЖИТЕЛИ
ГЛАВА V. ВЕРШИНА РОДА Д’АНКОНИЯ
ГЛАВА VI. НЕКОММЕРЧЕСКАЯ
ГЛАВА
VII. ЭКСПЛУАТАТОРЫ И ЭКСПЛУАТИРУЕМЫЕ
ГЛАВА VIII. ЛИНИЯ ДЖОНА ГОЛТА
ГЛАВА IX. САКРАЛЬНОЕ И ПРОФАННОЕ
ГЛАВА X. ФАКЕЛ УАЙЭТТА
ЧАСТЬ II. Или-или
ГЛАВА I. ЧЕЛОВЕК ЗЕМЛИ
ГЛАВА II. АРИСТОКРАТИЯ БЛАТА
ГЛАВА III. ОТКРЫТЫЙ ШАНТАЖ
ГЛАВА IV. ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО
ГЛАВА V. СЧЕТ ПРЕВЫШЕН
ГЛАВА VI. ЧУДЕСНЫЙ МЕТАЛЛ
ГЛАВА VII. МОРАТОРИЙ НА МОЗГИ

ГЛАВА VIII. РАДИ НАШЕЙ ЛЮБВИ
ГЛАВА IX. ЛИЦО БЕЗ БОЛИ, СТРАХА И ВИНЫ
ГЛАВА X. ЗНАК ДОЛЛАРА
ЧАСТЬ III. А есть А
ГЛАВА I. АТЛАНТИДА
ГЛАВА II. УТОПИЯ АЛЧНОСТИ
ГЛАВА III. АНТИАЛЧНОСТЬ
ГЛАВА IV. АНТИЖИЗНЬ
ГЛАВА V. СТОРОЖА БРАТЬЯМ СВОИМ
ГЛАВА VI. КОНЦЕРТ ОСВОБОЖДЕНИЯ
ГЛАВА VII. «ВЫ СЛУШАЕТЕ ДЖОНА ГОЛТА»
ГЛАВА VIII. ЭГОИСТ
ГЛАВА IX. ГЕНЕРАТОР
ГЛАВА X. ВО ИМЯ ЛУЧШЕГО В НАС
ОБ АВТОРЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ

Аннотация

К власти в США приходят социалисты и правительство берет курс на «равные возможности», считая справедливым за счет талантливых и состоятельных сделать богатыми никчемных и бесталанных. Гонения на бизнес приводят к разрушению экономики, к тому же один за другим при загадочных обстоятельствах начинают исчезать талантливые люди и лучшие предприниматели. Главные герои романа стальной король Хэнк Риарден и вице-президент железнодорожной компании Дагни Таггерт тщетно пытаются противостоять трагическим событиям. Вместо всеобщего процветания общество погружается в апатию и хаос.

Почему книга достойна прочтения

– Это книга, меняющая мировоззрение, она формирует целостное видение мира и дает ответы на вопросы о смысле человеческой жизни и общественном значении предпринимательства.

– По опросам общественного мнения, про-

ведённого в 1991 году Библиотекой Конгресса и книжным клубом «Book of the Month Club» в Америке «Атлант расправил плечи» – вторая после Библии книга, которая привела к переменам в жизни американских читателей.

– Эта книга попала в список бестселлеров The New York Times через три дня после начала продаж и оставалась в нем на протяжении 21 недели.

– Это самое значимое произведение в жизни писательницы, на работу над которым ушло 12 лет ее жизни.

Айн Рэнд
Атлант расправил плечи

Editor's choice –
выбор главного редактора
Есть совсем немного книг, которые способны коренным образом изменить взгляд на мир. Эта книга – одна из таких.

Алексей Ильин, генеральный директор издательства «Альпина Паблишерз»

Фрэнку О'Коннору

© Ayn Rand. Renewed. 1957
© Издание на русском языке, перевод, оформление. ООО «Альпина Бизнес Букс», 2007, 2008
Издано по лицензии Curtis Brown Ltd и литературного агентства Synopsis
© Дизайн обложки выполнен Студия Арт. Лебедева
© Электронное издание. ООО «Альпина», 2011

Все права защищены. Никакая часть электронного экземпляра этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.

ЧАСТЬ I
Непротиворечие

ГЛАВА I. ТЕМА

— Кто такой Джон Голт?

Уже темнело, и Эдди Уиллерс не мог различить лица этого типа. Бродяга произнес четыре слова просто, без выражения. Однако далекий отсвет заката, еще желтевшего в конце улицы, отражался в его глазах, и глаза эти смотрели на Эдди Уиллерса как бы и с насмешкой, и вместе с тем невозмутимо, словно вопрос был адресован снедавшему его беспричинному беспокойству.

— Почему ты спрашиваешь? — Эдди Уиллерс встревожился.

Бездельник стоял, прислонясь плечом к дверной раме, и в клинышке битого стекла за ним отражалась огненная желтизна неба.

— А почему тебя это волнует? — спросил он.

— Нисколько не волнует, — отрезал Эдди Уиллерс.

Он поспешно запустил руку в карман. Тип остановил его и попросил одолжить десять центов, а потом затеял беседу, словно бы пытаясь поскорее разделаться с настоящим мгновением и примериться к следующему. В последнее время на улицах столь часто попрошайничали, что вы-

слушивать объяснения было незачем, и у него даже не мелькнуло ни малейшего желания вникать в причины финансовых трудностей этого бродяги.

— Держи, выпьешь кофе, — обратился Эдди к не имеющему лица силуэту.

— Благодарю вас, сэр, — ответил ему равнодушный голос, и лицо на мгновение появилось из темноты. Загорелую и обветренную физиономию изрезали морщины, свидетельствовавшие об усталости и полном цинизма безразличии; глаза выдавали незаурядный ум. И Эдди Уиллерс отправился дальше, гадая о том, почему в это время суток он всегда испытывает беспричинный ужас. Впрочем, нет, не ужас, подумал он, бояться ему нечего: просто чрезвычайно мрачное и неопределенное предчувствие, не имеющее ни источника, ни предмета. Он успел сжиться с этим чувством, однако не мог найти ему объяснения; и все же попрошайка произнес свои слова так, как если бы знал, что чувствует Эдди, как если бы знал, что он должен ощущать, более того, как если бы знал причину.

Эдди Уиллерс распрямил плечи в надежде привести себя в порядок. Пора прекратить это, а то уже мерещиться начинает. А всегда ли с ним так

было? Сейчас ему тридцать два. Эдди попытался припомнить. Нет, не всегда; однако, когда это началось, он не сумел воспроизвести в памяти. Ощущение приходило к нему внезапно и случайно, но теперь приступы повторялись чаще, чем когда-либо. «Это все сумерки, — подумал он, — ненавижу сумерки».

Облака с вырисовавшимися на них башнями небоскребов обретали коричневый оттенок, превращаясь в подобие старинной живописи, поблекшего с веками шедевра. Длинные потеки грязи бежали из-под башенок по стенам, покрытым сажей, застывшей молнией протянулась на десять этажей трещина. Зазубренный предмет рассекал небо над крышами: одна сторона его была расцвечена закатом, с другой солнечная позолота давно осыпалась. Шпиль светился красным светом, подобным отражению огня: уже не пылающего, но догорающего, который слишком поздно гасить.

Нет, не было ничего тревожного в облике города, казавшегося совершенно обычным.

Он отправился дальше, напоминая себе на ходу, что пора в контору. То, что он должен сделать после возвращения, ему не нравилось, однако отлагательств не терпело. Он заставил себя по-

торопиться.

В узком пространстве между темными силуэтами двух зданий, словно в щели приоткрывшейся двери, Эдди Уиллерс увидел светящуюся в небе страничку гигантского календаря.

Этот календарь мэр Нью-Йорка воздвиг в прошлом году на крыше небоскреба, чтобы жители легко могли определить, какой сегодня день, так же легко, как и время на башне с часами. Белый прямоугольник парил над городом, сообщая текущую дату заполнявшим улицы людям. В ржавом свете заката прямоугольник сообщал: 2 сентября.

Эдди Уиллерс отвернулся. Этот календарь никогда не нравился ему, календарь раздражал Эдди, но почему, сказать он не мог. Чувство это примешивалось к снедавшей его тревоге; в них угадывалось нечто общее.

Ему вдруг припомнился осколок некой фразы, выражавшей то, на что намекал своим существованием календарь. Однако никак не удавалось отыскать эту фразу. Эдди шел, пытаясь все же наполнить смыслом то, что пока застряло в сознании пустым силуэтом. Очертания противились словам, но исчезать не желали. Он обернулся. Белый прямоугольник возвышался над крышей,

оповещая с непререкаемой решительностью: 2 сентября.

Эдди Уиллерс перевел взгляд на улицу, на тележку с овощами, стоявшую у дома из красного кирпича. Он увидел груду яркой золотистой моркови и свежие перья зеленого лука. Чистая белая занавеска плескалась из открытого окна. Автобус аккуратно заворачивал за угол, повинуясь умелой руке. Уиллерс удивился вернувшемуся чувству уверенности и странному, необъяснимому желанию защитить этот мир от давящей пустоты неба.

Дойдя до Пятой авеню, он принялся рассматривать витрины магазинов. Ему ничего не было нужно, он ничего не хотел покупать; но ему нравились витрины с товарами, любыми товарами, сделанными людьми и предназначенными для людей. Видеть процветающую улицу всегда приятно; здесь было закрыто не более четверти магазинов, и пустовали только их темные витрины.

Не зная почему, он вспомнил дуб. Ничто здесь не напоминало это дерево, но он вспомнил летние дни, проведенные в поместье Таггертов. Большая часть его детства прошла в компании детей Таггертов, а теперь он работал в их корпо-

рации, как его дед и отец работали у деда и отца Таггертов.

Огромный дуб высился на выходящем к Гудзону холме, расположенном в укромном уголке поместья. В возрасте семи лет Эдди Уиллерс любил приходить к этому дереву. Оно уже простояло здесь не одну сотню лет, и мальчику казалось, что так будет всегда. Корни дуба впивались в холм, как ухватившая землю пятерня, и Эдди казалось, что, даже если великан схватит дерево за верхушку, он все равно не сумеет вырвать его, но лишь пошатнет холм, а вместе с ним и всю землю, которая повиснет на корнях дерева словно шарик на веревочке. Он чувствовал себя в безопасности возле этого дуба: дерево не могло таить в себе угрозу, оно воплощало величайший, с точки зрения мальчика, символ силы.

Но однажды ночью в дуб ударила молния. Эдди увидел дерево на следующее утро. Дуб переломился пополам, и он заглянул внутрь ствола как в жерло черного тоннеля. Ствол оказался пустым; сердцевина давным-давно сгнила, внутри остался только мелкий серый прах, который уносило дыхание легкого ветерка. Жизнь ушла, а оставленная ею форма не могла существовать самостоятельно.

Позже он узнал, что детей надлежит защищать от потрясений: от соприкосновения со смертью, болью или страхом. Теперь это уже не могло ранить его; он испытал свою меру ужаса и отчаяния, заглядывая в черную дыру посреди ствола. Случившееся было подобно невероятному предательству — тем более страшному, что он не мог понять, в чем именно оно заключалось. И дело не в нем, не в его вере, он знал это; речь шла о чем-то совершенно другом. Он постоял немного, не проронив ни звука, а потом отправился назад, к дому. Ни тогда, ни после он никому не рассказывал об этом.

Эдди Уиллерс покачал головой, когда скрежет ржавого механизма, переключавшего огни в светофоре, остановил его на краю тротуара. Он был рассержен на себя самого. Сегодня у него не было никаких причин вспоминать про этот дуб. Давняя история ничего более не значила для него, кроме легкого прикосновения печали, но где-то внутри капельки боли, торопливо скользившие словно по оконному стеклу, оставляли за собой след в виде вопросительного знака.

Он не хотел, чтобы с детскими воспоминаниями было связано нечто печальное; он любил все, связанное со своим детством: каждый из преж-

них дней был заполнен спокойным и ослепительным солнечным светом. Ему казалось, что несколько лучей этого света еще достигают настоящего: впрочем, скорее, не лучей, а дальних огоньков, иногда своими отблесками озарявших его работу, одинокую квартиру, тихое и размеренное шествие дней.

Эдди припомнил один из летних дней, когда ему было десять лет. Тогда на лесной прогалине любимая подруга детства рассказывала ему о том, что они будут делать, когда вырастут. Ее слова ослепляли сильнее, чем солнце. Он внимал ей с восхищением и удивлением и, когда она спросила, чем бы он хотел заниматься, ответил без промедления:

— Чем-нибудь правильным, — и добавил: — Надо бы совершить что-нибудь великое… Ну, то есть нам вдвоем.

— Что же именно? — спросила она.

Он ответил:

— Не знаю. Мы должны это узнать. Но не только то, о чем ты говорила — про свой бизнес, про то, как заработать на жизнь. Ну, вроде того, чтобы победить в сражении, спасти людей из огня или подняться на вершину горы.

— Зачем? — спросила она, и он ответил:

— В прошлое воскресенье священник говорил, что мы всегда должны искать в себе лучшее. А что, по-твоему, может быть в нас лучшим?

— Не знаю.

— Мы должны это узнать.

Она не ответила — потому что глядела вдаль, вдоль железнодорожной колеи.

Эдди Уиллерс улыбнулся. Он произнес эти слова — «чем-нибудь правильным» — 22 года назад, и с тех пор они оставались для него аксиомой. Прочие вопросы тускнели в его памяти: он был слишком занят, чтобы задаваться ими. Однако он считал бесспорным, что делать надлежит то, что считаешь правильным; он так и не сумел понять, почему люди могут поступать иначе, хотя знал, что именно так они и делают. Все казалось ему одновременно и простым, и непостижимым: простым в том смысле, что все должно быть правильным, и непостижимым потому, что так не получалось. Думая об этом, он и подошел к огромному зданию «*Таггерт Трансконтинентал*».

Оно было самым высоким и горделивым на всей улице. Глядя на него, Эдди Уиллерс всегда улыбался. В длинных рядах окон — ни одного разбитого, в отличие от соседних домов. Конту-

ры здания, вздымаясь вверх, врезались в небо. Казалось, здание возвышалось над годами, неподвластное времени. «Оно будет всегда здесь стоять», — думал Эдди Уиллерс.

Всякий раз, входя в корпорацию *«Таггерт»*, он ощущал облегчение и чувствовал себя в безопасности. Здесь властвовали компетентность и порядок. Полированный мрамор пола сверкал. Матовые прямоугольные плафоны ламп излучали приятный ровный свет. По ту сторону стеклянных панелей сидели за пишущими машинками девушки, чьи барабанящие по клавишам пальцы создавали в зале гул идущего поезда. И подобно ответному эху, время от времени по стенам здания пробегал слабый трепет, поднимавшийся снизу, из тоннелей огромного вокзала, откуда поезда отправлялись через континент и где они заканчивали свой обратный путь, как было из поколения в поколение. «От океана до океана» — так звучал гордый лозунг «*Таггерт Трансконтинентал*», куда более блистательный и священный, чем любая из библейских заповедей! «От океана до океана, и вовеки веков», — подумал Эдди Уиллерс, переосмысливая эти слова на пути по безупречным коридорам к кабинету Джеймса Таггерта, президента «*Таг-*

герт Трансконтинентал».

Джеймс Таггерт сидел за столом. Он казался человеком, уже приближающимся к пятидесяти годам; создавалось впечатление, что, миновав период молодости, он вступил в зрелый возраст прямо из юности. У него был небольшой капризный рот, высокий лысеющий лоб, который облепляли жидкие волоски. В его осанке была какая-то вялость и расслабленность, противоречащая контурам высокого стройного тела, элегантность которого требовала уверенности аристократа, а преобразилась в неуклюжесть деревенщины. У него было мягкое бледное лицо и блеклые затуманенные глаза, взгляд которых неторопливо блуждал вокруг, переходя с предмета на предмет, не останавливаясь на них. Он выглядел уставшим и болезненным. Ему было тридцать девять лет.

Он с раздражением оглянулся на звук открывшейся двери.

— Не отрывай, не отрывай, не отрывай меня, — сказал Джеймс Таггерт.

Эдди Уиллерс направился прямо к столу.

— Это важно, Джим, — сказал он, не повышая голоса.

— Ну, ладно, ладно, что там у тебя?

Эдди Уиллерс посмотрел на карту, висевшую на стене кабинета. Под стеклом краски ее казались блеклыми; интересно знать, сколько президентов компании «*Таггерт*» сидели под ней и сколько лет. Железные дороги «*Таггерт Трансконтинентал*» — сеть красных линий, покрывавшая бесцветную плоть страны от Нью-Йорка до Сан-Франциско, напоминала систему кровеносных сосудов. Некогда в главную артерию впрыснули кровь, и от избытка она стала разбегаться по всей стране, разветвляясь на случайные ручейки. Одна из красных дорожек «*Таггерт Трансконтинентал*», линия Рио-Норте, проложила себе путь от Шайенна в Вайоминге, до Эль-Пасо в Техасе. Недавно добавилась новая ветка, и красная полоса устремилась на юг за Эль-Пасо, но Эдди Уиллерс поспешно отвернулся, когда глаза его коснулись этой точки.

Посмотрев на Джеймса Таггерта, он сказал: «Неприятности на линии Рио-Норте. Новое крушение».

Взгляд Таггерта опустился вниз, на край стола.

— Аварии на железных дорогах случаются каждый день. Стоило ли беспокоить меня по таким пустякам?

— Ты знаешь, о чем я говорю, Джим. Рио-Нор-

те разваливается на глазах. Ветка обветшала. Вся линия.

— Мы построим новые пути.

Эдди Уиллерс продолжил, словно не слыша ответа:

— Линия обречена, нет смысла пускать по ней поезда. Люди отказываются ездить в них.

— На мой взгляд, во всей стране не найдется ни одной железной дороги, несколько веток которой не работали бы в убыток. Мы здесь не единственные. В таком состоянии находится государство — временно, как я полагаю.

Эдди не проронил ни слова. Просто *посмотрел*. Таггерту никогда не нравилась привычка Эдди Уиллерса глядеть людям прямо в глаза. Большие голубые глаза на открытом лице Эдди вопросительно смотрели из-под светлой челки — ничем не примечательный облик, если не считать искреннего внимания и нескрываемого недоумения.

— Что тебе нужно? — отрезал Таггерт.

— Хочу сказать тебе то, что должен, ведь рано или поздно ты все равно узнаешь правду.

— То, что у нас новая авария?

— То, что мы не можем бросить Рио-Норте на произвол судьбы.

Джеймс Таггерт редко поднимал голову; глядя на людей, он просто поднимал тяжелые веки и смотрел вверх исподлобья.

— А кто собирается закрывать линию Рио-Норте? — спросил он. — Об этом никто и не думал. Жаль, что ты так говоришь. Очень жаль.

— Но вот уже полгода мы нарушаем расписание. У нас не проходит и рейса без какой-нибудь поломки, большой или малой. Мы теряем всех грузоотправителей, одного за другим. Сколько мы еще продержимся?

— Ты — пессимист, Эдди. Тебе не хватает веры. А это подтачивает дух фирмы.

— Ты хочешь сказать, что в отношении линии Рио-Норте ничего предприниматься не будет?

— Я не говорил этого. Как только мы проложим новую колею…

— Джим, новой колеи не будет. — Брови Таггерта неторопливо поползли вверх. — Я только что вернулся из конторы «*Ассошиэйтед Стил*». Я разговаривал с Орреном Бойлем.

— И что он сказал?

— Говорил полтора часа, но так и не дал мне прямого и ясного ответа.

— Зачем ты его побеспокоил? По-моему, первая партия рельсов должна поступить только в сле-

дующем месяце.

— Она должна была прийти три месяца назад.

— Непредвиденные обстоятельства. Абсолютно не зависящие от Оррена.

— А первый срок поставки был назначен еще на полгода раньше. Джим, мы ждем эти рельсы от «*Ассошиэйтед Стил*» уже тринадцать месяцев.

— И чего ты от меня хочешь? Я не могу вмешиваться в дела Оррена Бойля.

— Я хочу, чтобы ты понял: ждать больше нельзя.

Негромким голосом, насмешливым и осторожным, Таггерт осведомился:

— И что же сказала моя сестрица?

— Она вернется только завтра.

— Ну и что, по-твоему, мне надо делать?

— Решать тебе.

— Ну, что бы ты ни сказал далее, ты не упомянешь о «*Риарден Стил*».

Немного помедлив, Эдди невозмутимо произнес:

— Хорошо, Джим. Я не стану упоминать об этой компании.

— Оррен — мой друг. — Таггерт не услышал ответа. — И мне обидна твоя позиция. Оррен Бойль

поставит нам эти рельсы при первой возможности. И пока он не может этого сделать, никто не вправе обвинять нас.

— Джим! О чем ты говоришь? Разве ты не понимаешь, что линия Рио-Норте рассыпается вне зависимости от того, обвиняют нас в этом или нет?

— Нас непременно начнут обвинять, даже без «*Феникс-Дуранго*». — Он заметил, как напряглось лицо Эдди. — Никто еще не жаловался на линию Рио-Норте, пока на сцене не появилась компания «*Феникс-Дуранго*».

— «*Феникс-Дуранго*» работает просто прекрасно.

— Представь себе, такая мелюзга, как «*Феникс-Дуранго*», конкурирует с «*Таггерт Трансконтинентал*»! Всего-то десять лет назад эта компания была сельской веткой.

— Теперь им принадлежат почти все грузовые перевозки Аризоны, Нью-Мексико и Колорадо. — Таггерт не ответил. — Джим, мы не можем терять Колорадо. Это наша последняя надежда. И не только наша. Если мы не соберемся, то уступим «*Феникс-Дуранго*» всех крупных грузоотправителей штата. Мы и так потеряли нефтяные месторождения Уайэтта.

— Не понимаю, почему все вокруг только и говорят, что о нефтяных месторождениях Уайэтта.

— Потому что Эллис Уайэтт — чудо…

— К черту Эллиса Уайэтта!

«А нет ли у этих нефтяных месторождений, — вдруг пришло в голову Эдди, — чего-то общего с кровеносными сосудами, нарисованными на карте? И не случайно ли когда-то красный ручей «*Таггерт Трансконтинентал*» пересек всю страну, совершив невозможное?» Ему представились скважины, выбрасывающие нефтяные потоки, черными реками разливающиеся по континенту едва ли не быстрее, чем поезда «*Феникс-Дуранго*». Это месторождение занимало скалистый пятачок в горах Колорадо и уже давно считалось выработанным и заброшенным. Отец Эллиса Уайэтта умел выжимать из задыхавшихся скважин скромный доход до конца своих дней. А теперь словно бы кто-то впрыснул адреналин в самое сердце горы, и оно забилось по-новому, гоняя черную кровь. Конечно же, кровь, подумал Эдди Уиллерс, ибо кровь питает, животворит, и это сделала нефть «*Уайэтт Ойл*». Она дала пустынным склонам новую жизнь, дала району, ничем прежде не отмеченному ни на одной карте, новые города, новые электростанции,

новые фабрики. «Новые фабрики в то самое время, когда доходы от перевозок продукции всех знаменитых прежде предприятий год за годом постепенно сокращались; богатые новые месторождения, в то время, когда один за другим останавливались насосы скважин известных месторождений; новый промышленный штат там, где всякий рассчитывал обнаружить разве что несколько коров и засаженный свеклой огород. Это сделал один человек, причем всего за восемь лет», — размышлял Эдди Уиллерс, вспоминая невероятные истории, которые ему приходилось читать в школьных учебниках и которым он не слишком доверял, — рассказы о людях, живших в период становления этой страны. Ему хотелось бы познакомиться с Эллисом Уайэттом. Об этом человеке часто говорили, но встречались с ним немногие, поскольку он редко приезжал в Нью-Йорк. Будто ему тридцать три года, и он обладает буйным нравом. Он обнаружил какой-то способ возрождать истощенные нефтяные месторождения, чем и занимался по сию пору.

— Эллис Уайэтт — жадный ублюдок, не интересующийся ничем, кроме денег, — промолвил Джеймс Таггерт. — На мой взгляд, в жизни есть

занятия поважнее, чем делать деньги.

— О чем ты, Джим? Какое это имеет отношение к…

— К тому же он дважды подвел нас. Мы много лет весьма исправно обслуживали нефтяные месторождения Уайэтта. При самом старике Уайэтте мы отправляли состав цистерн раз в неделю.

— Сейчас не те времена, Джим. «*Феникс-Дуранго*» отправляет оттуда два состава цистерн ежедневно, и ходят они по расписанию.

— Если бы он позволил нам угнаться за ним…

— Он не может тратить время понапрасну.

— Чего же он ожидает? Чтобы мы отказались от всех прочих отправителей, принесли в жертву интересы всей страны и предоставили ему все наши поезда?

— С какой стати? Он ничего не ждет. Просто работает с «*Феникс-Дуранго*».

— По-моему, он — беспринципный, неразборчивый в средствах негодяй. Я вижу в нем безответственного, явно переоцененного выскочку. — Подобная вспышка эмоций в безжизненном голосе Джеймса Таггерта казалась даже неестественной. — И я совсем не уверен, что его нефтяные разработки представляют собой такое уж благо. На мой взгляд, он вывел из равнове-

сия экономику целой страны. Никто не ожидал, что Колорадо сделается промышленным штатом. Разве можно быть в чем-то уверенным или планировать наперед, если все так быстро меняется?

— Великий боже, Джим! Он…

— Да знаю я, знаю: он делает деньги. Но только мне кажется, что не этим надлежит измерять пользу человека для общества. А что касается его нефти, он приполз бы к нам и ждал своей очереди вместе с другими отправителями, не требуя при этом ничего свыше своей честной доли перевозок, если бы не «*Феникс — Дуранго*».

Что-то давит на грудь и виски, подумал Эдди Уиллерс, наверно, из-за усилий, которые он прилагал, дабы сдержаться. Он решил выяснить все раз и навсегда; и необходимость этого была настолько остра, что просто не могла остаться за пределами понимания Таггерта, если только он, Эдди, сумеет убедительно изложить факты. Потому-то он так и старался, но снова явно терпел неудачу, как и в большинстве их споров: всегда казалось, что они говорили о разных вещах.

— Джим, да о чем ты? Какая разница, будут нас обвинять или нет, если дорога все равно разваливается?

На лице Таггерта появилась едва заметная холодная усмешка.

— Как это мило, Эдди, — сказал он. — Как меня трогает твоя преданность «*Таггерт Трансконтинентал*». Смотри, если не поостережешься, то неминуемо превратишься в самого безропотного крепостного или раба.

— Я уже стал им, Джим.

— Но позволь мне тогда спросить, имеешь ли ты право обсуждать со мной подобные вопросы?

— Не имею.

— А почему бы тебе не вспомнить, что *подобные вопросы* решаются у нас на уровне начальников отделов? Почему бы тебе не обратиться к коллегам, решающим такие задачи? Или не выплакаться на плече моей драгоценной сестрицы?

— Вот что, Джим, я знаю, что моя должность не дает мне права обсуждать с тобой эти вопросы. Но я не понимаю, что происходит. Я не знаю, что тебе говорят твои штатные советники и почему они не в состоянии должным образом держать тебя в курсе, поэтому я попытался сделать это сам.

— Я ценю нашу детскую дружбу, Эдди, но неужели ты считаешь, что она позволяет тебе являться

в мой кабинет без вызова, по собственному желанию? У тебя есть определенный статус, но не забывай, что президент «*Таггерт Трансконтинентал*» пока еще я.

Итак, попытка не удалась. Эдди Уиллерс привычно, даже как-то равнодушно посмотрел на него и спросил:

— Так, значит, ты не собираешься делать что-либо для спасения Рио-Норте?

— Я этого не говорил. Я этого совсем не говорил. — Таггерт уставился на карту, на красную полоску к югу от Эль-Пасо. — Как только заработают рудники Сан-Себастьян и начнет окупаться наша мексиканская ветка…

— Давай не будем об этом, Джим.

Таггерт резко повернулся, удивленный неожиданно жестким тоном Эдди:

— В чем дело?

— Ты знаешь. Твоя сестра сказала…

— К черту мою сестру! — воскликнул Джеймс Таггерт.

Эдди Уиллерс не шевельнулся. И не ответил. Он стоял и смотрел прямо перед собой, не видя никого в этом кабинете, не замечая более Джеймса Таггерта.

Спустя мгновение он поклонился и вышел.

Сотрудники «*Таггерт Трансконтинентал*» уже выключали лампы, собираясь отправляться по домам после завершения рабочего дня. Только Поп Харпер, старший клерк, еще сидел за столом, вертя рычажки полуразобранной пишущей машинки. По общему мнению сотрудников компании, Поп Харпер родился в этом уголке кабинета, за этим самым столом, и не намеревается покидать его. Он был главным клерком еще у отца Джеймса Таггерта.

Поп Харпер поднял глаза от машинки и посмотрел на Эдди Уиллерса, вышедшего из кабинета президента. Мудрый и неторопливый взгляд будто намекал, что ему известно: визит Эдди в эту часть здания означал неприятности на одной из веток, равно как и то, что визит этот оказался бесплодным. Но Попу Харперу все вышеперечисленное было совершенно безразлично. То же самое циничное безразличие Эдди Уиллерс видел и в глазах бродяги на уличном перекрестке.

— А скажи-ка, Эдди, где сейчас можно купить шерстяное белье? — спросил Поп. — Обыскал весь город, но нигде не нашел.

— Не знаю, — произнес Эдди, останавливаясь. — Но почему вы *меня* об этом спрашиваете?

— А я у всех спрашиваю. Может, хоть кто-то

скажет.

Эдди настороженно посмотрел на седую шевелюру и на морщинистое равнодушное лицо Харпера.

— Холодно в этой лавочке, — проговорил Поп Харпер. — А зимой будет еще холоднее.

— Что вы делаете? — спросил Эдди, указывая на детали пишущей машинки.

— Проклятая штуковина снова сломалась. Посылать в ремонт бесполезно, в прошлый раз провозились три месяца. Вот я и решил починить ее сам. Ненадолго, конечно…

Рука его легла на клавиши.

— Пора тебе на свалку, старина. Твои дни сочтены.

Эдди вздрогнул. Именно эту фразу он пытался вспомнить: «*Твои дни сочтены*». Однако он забыл, в связи с чем.

— Бесполезно, Эдди, — произнес Поп Харпер.

— Что бесполезно?

— Все. Все, что угодно.

— О чем ты, Поп?

— Я не собираюсь подавать заявку на приобретение новой пишущей машинки. Новые штампуют из жести. И когда сдохнут старые, придет конец машинописным текстам. Сегодня

в подземке была авария, тормоза не сработали. Ступай-ка ты домой, Эдди, включи радио и послушай хорошую музыку. А о делах забудь, парень. Беда твоя в том, что у тебя никогда не было хобби. У меня дома кто-то опять украл с лестницы все лампочки. И грудь болит. Сегодня утром не смог купить капель от кашля: аптека у нас на углу разорилась на прошлой неделе. И железнодорожная компания «*Техас-Вестерн*» разорилась в прошлом месяце. Вчера закрыли на ремонт мост Квинсборо. О чем это я? И вообще, кто такой Джон Голт?

* * *

Она сидела в поезде возле окна, откинув голову назад и положив одну ногу на пустое сиденье напротив. Скорость движения заставляла подрагивать оконную раму, за которой висела темная пустота, и лишь фонари время от времени прочерчивали по стеклу яркие полоски.

Изящество ее ног и элегантность туфель на высоком каблуке казались неуместными в пыльном вагоне поезда и странным образом не гармонировали с ее обликом. Мешковатое, некогда дорогое пальто из верблюжьей шерсти, укутывало стройное тело. Воротник пальто был поднят

к отогнутым вниз полям шляпки. Каре каштановых волос почти касалось плеч. Лицо казалось составленным из ломаных линий, с четко очерченным чувственным ртом. Ее губы были плотно сжаты. Она сидела, сунув руки в карманы, и в ее позе было что-то неестественное, словно она была недовольна своей неподвижностью, и что-то неженственное, будто она не чувствовала собственного тела.

Она сидела и слушала музыку. Это была симфония победы. Звуки взмывали ввысь, они повествовали о восхождении и были его воплощением, сутью и формой движения вверх. Эта музыка олицетворяла собой те поступки и мысли человека, смыслом которых было восхождение. Это был взрыв звука, вырвавшегося из укрытия и хлынувшего во все стороны. Восторг обретения свободы соединялся с напряженным стремлением к цели. Звук преодолевал пространство, не оставляя в нем ничего, кроме счастья несдерживаемого порыва. Лишь слабое эхо шептало о былом заточении звуков, но эта музыка жила радостным удивлением перед открытием: нет ни уродства, ни боли, нет и никогда не было. Звучала песнь Великого Высвобождения.

Всего на несколько мгновений, пока длится

музыка, можно отдаться ей полностью — все забыть и разрешить себе погрузиться в ощущения: давай, отпускай тормоза — вот оно.

Где-то на краю сознания, за музыкой, стучали колеса поезда. Они выбивали ровный ритм, подчеркивая каждый четвертый удар, словно выражая тем самым осознанную цель. Она могла расслабиться, потому что слышала стук колес. Она внимала симфонии, думая: вот почему должны вращаться колеса, вот куда они несут нас.

Она никогда прежде не слышала эту симфонию, но знала, что ее написал Ричард Халлей. Она узнала и эту бурную силу, и необычайную напряженность звучания. Она узнала его стиль: это была чистая и сложная мелодия — в то время, когда никто более не писал мелодий… Она сидела, глядя в потолок вагона, но не видела его, потому что забыла, где находится. Она не знала, слышит ли полный симфонический оркестр или только тему; быть может, оркестровка звучала только в ее голове.

Ей казалось, что предварительные отзвуки этой темы можно уловить во всех произведениях Ричарда Халлея, созданных за долгие годы его исканий, вплоть до того дня, когда на него вдруг обрушилось бремя славы, которое и погубило его.

«Это, — подумала она, прислушиваясь к симфонии, — и было целью его борьбы». Она вспомнила полунамеки его музыки, предвещавшие вот эти фразы, обрывки мелодий, начинавших эту тему, но не претворявшихся в нее; когда Ричард Халлей писал это, он… Она села прямо. Так когда же Ричард Халлей написал эту музыку?

И в то же мгновение поняла, где находится, и впервые заметила, откуда исходит звук.

В нескольких шагах от нее, в конце вагона, молодой светловолосый кондуктор регулировал настройку кондиционера, насвистывая тему симфонии. Она поняла, что свистит он уже давно и именно это она и слышала.

Не веря самой себе, она некоторое время прислушивалась, прежде чем решилась спросить:

— Пожалуйста, скажи мне, что ты высвистываешь?

Юноша повернулся к ней. Встретив его прямой взгляд, она увидела открытую энергичную улыбку, словно бы он обменивался взглядом с другом. Ей понравилось его лицо: напряженные и твердые линии не имели ничего общего с расслабленными мышцами, отрицающими всякое соответствие форме, которые она так привыкла видеть на лицах людей.

— Концерт Халлея, — ответил он с улыбкой.

— Который?

— Пятый.

Позволив мгновению затянуться, она, наконец, произнесла неторопливо и весьма осторожно.

— Ричард Халлей написал только четыре концерта.

Улыбка на лице юноши исчезла. Его словно рывком вернули к реальности, как ее саму несколько мгновений назад. Словно бы щелкнул затвор, и перед ней осталось лицо, не имеющее выражения, безразличное и пустое.

— Да, конечно, — промямлил он. — Я не прав. Я ошибся.

— Тогда что же это было?

— Мелодия, которую я где-то слышал.

— Какая мелодия?

— Не знаю.

— Где ты подхватил ее?

— Не помню.

Она беспомощно смолкла; а юноша уже отворачивался от нее, не проявляя более интереса.

— Тема напомнила мне Халлея, — сказала она. — Но я знаю все симфонии, которые он когда-либо написал, и такого мотива у него нет.

Без какого-либо выражения на лице, всего

лишь с легкой заинтересованностью, юноша повернулся к ней и спросил:

— А вам нравится музыка Ричарда Халлея?

— Да, — проговорила она. — Очень нравится.

Внимательно посмотрев на нее словно бы в нерешительности, он отвернулся и продолжил работу. Она отметила слаженность его движений. Работал он молча.

Она не спала две ночи, потому что не могла позволить себе уснуть; слишком многое следовало обдумать за короткое время: поезд прибывал в Нью-Йорк завтра рано утром. Ей нужно было время, тем не менее, она хотела, чтобы поезд шел быстрее, хотя это была «*Комета Таггерта*» — самый быстрый поезд во всей стране.

Она пыталась думать о чем-то, однако музыка оставалась на грани ее разума и звучала полными аккордами, подобными неумолимому шествию того, что остановить нельзя… Гневно качнув головой, она сбросила шляпу, достала сигарету и закурила.

Она решила не спать; вполне можно продержаться до завтрашней ночи… Колеса поезда выбивали акцентированный ритм. Она настолько привыкла к нему, что более уже не замечала, но сам звук превратился в душе ее в ощущение

покоя. Погасив окурок, она поняла, что должна закурить новую сигарету, однако решила дать себе передышку, минуту, может быть, несколько, прежде чем…

Внезапно пробудившись, она почувствовала что-то неладное, прежде чем поняла: поезд остановился. Освещенный синими ночниками, вагон застыл на месте. Она посмотрела на часы: причин для остановки не было. Она поглядела в окно: поезд стоял посреди чистого поля.

Кто-то шевельнулся на сиденье по ту сторону прохода, и она спросила:

— Давно стоим?

Безразличный мужской голос ответил:

— Около часа.

Мужчина проводил ее взглядом, полным сонного удивления, когда она вскочила с места и рванулась к двери. Снаружи задувал прохладный ветер, пустынное поле раскинулось под столь же пустынным небом. Ночная тьма шелестела травой. Далеко впереди она заметила людей, стоявших возле паровоза, — а над ними в небе повис красный глазок семафора.

Она торопливо направилась к ним вдоль вереницы неподвижных колес. На нее не обратили никакого внимания. Поездная бригада вместе

с несколькими пассажирами стояла под красным огоньком. Разговора не было, все застыли в безмолвном ожидании.

— В чем дело? — спросила она.

Машинист удивленно повернулся к ней. Слетевший с ее уст вопрос звучал, скорее, как приказ, а не как подобающее пассажиру любопытство. Она стояла, держа руки в карманах, подняв воротник пальто, ветер развевал волосы.

— Красный свет, леди, — указал он пальцем на семафор.

— И давно он горит?

— Уже час.

— Мы не на главной колее, так ведь?

— Правильно.

— Почему?

— Не знаю.

Заговорил проводник:

— Не думаю, что нас специально перевели на боковой путь, просто стрелка забарахлила, как и эта штуковина. — Он указал головой на красный глазок.

— Едва ли сигнал переменится. Я думаю, он просто сломался.

— Тогда что вы тут делаете?

— Ждем, пока свет переключится.

Пока ее раздражение переходило в гнев, кочегар усмехнулся:

— На прошлой неделе экстренный «*Южно-атлантический*» простоял на боковом пути два часа по чьей-то ошибке.

— Это «*Комета Таггерта*», — проговорила она. — «*Комета*» еще никогда не опаздывала.

— Только одна во всей стране, — отозвался машинист.

— Все когда-то случается в первый раз, — прокомментировал кочегар.

— Не знаете вы железных дорог, леди, — сказал один из пассажиров, — на всей железной дороге в этих сельских краях не найдется ни одного сто́ящего диспетчера.

Словно и не замечая его, она обратилась к машинисту.

— Если семафор сломан, что вы намерены предпринять?

Ему не понравился ее властный тон; он не понимал, отчего эта нотка звучит в голосе простой пассажирки столь *естественно*. Она выглядела как юная девушка, но рот и глаза свидетельствовали, что этой женщине за тридцать. Прямой взгляд темно-серых глаз смущал, он словно бы прорезал предметы до самой сути, отбрасывая

в сторону незначительные подробности. Лицо ее показалось механику странно знакомым, хотя он не мог припомнить, где именно видел эту особу.

— Леди, я не желаю рисковать, — проговорил он.

— Он хочет сказать, — сказал кочегар, — что наше дело — ждать приказа.

— Ваше дело — вести этот поезд.

— Не на красный свет. Если семафор говорит нам стоять, мы стоим.

— Красный свет указывает на опасность, леди, — сказал пассажир.

— Мы не вправе рисковать, — поддакнул машинист. — Кто бы ни был сейчас виноват, если мы сдвинемся с места, то станем виноватыми сами. Поэтому мы останемся на месте до получения соответствующего распоряжения.

— А если такового не поступит?

— Рано или поздно кто-нибудь да появится.

— И как долго вы намерены ждать?

Машинист пожал плечами:

— А кто такой Джон Голт?

— Он хочет сказать, — пояснил кочегар, — что не надо задавать бесполезных вопросов.

Она посмотрела на красный свет, на рельсы, терявшиеся в черной, нетронутой дали.

— Поезжайте осторожно до следующего семафора. Если он в порядке, возвращайтесь на главный путь. А там остановитесь на первой же станции.

— Да ну? И кто же мне это говорит?

— Я.

— Кто это, *вы*?

Последовала кратчайшая из пауз, мгновенное удивление вопросу, которого она не ожидала, но машинист внимательнее присмотрелся к ее лицу и только ахнул:

— Великий боже!

Она ответила без обиды, просто как человек, которому нечасто приходится слышать такой вопрос:

— Дагни Таггерт.

— Ну, ей-богу, — проворчал кочегар, и все сразу смолкли. Она продолжила столь же непреклонно властным тоном:

— Возвращайтесь на основной путь и остановите поезд на первой же открытой станции.

— Да, мисс Таггерт.

— Вам придется нагнать опоздание. У вас для этого есть весь остаток ночи. «*Комета*» должна прийти по расписанию.

— Да, мисс Таггерт.

Она повернулась, чтобы уйти, когда машинист

осторожно поинтересовался:

— В случае любых неприятностей вы берете ответственность на себя, мисс Таггерт?

— Беру.

Проводник проводил ее до вагона. Он волновался и говорил:

— Но… простое место в сидячем вагоне, мисс Таггерт? Как же так вышло? Почему вы не дали нам знать?

Она непринужденно улыбнулась:

— У меня не было времени на формальности. Мой персональный вагон был присоединен к чикагскому поезду номер 22, но я сошла в Кливленде, а двадцать второй возвращался слишком поздно, поэтому я не стала его ждать. Первой пришла «*Комета*», и я воспользовалась ею, а в спальных вагонах не было мест.

Проводник покачал головой:

— Ваш брат так не поступил бы.

Она рассмеялась:

— Да, вы правы.

Стоявшие у паровоза люди проводили ее глазами. Среди них был и юный кондуктор, кивнувший ей вслед:

— Кто это?

— Хозяйка «*Таггерт Трансконтинентал*», —

ответил машинист полным неподдельного уважения голосом, — вице-президент, руководитель производственного отдела.

Поезд тронулся, звук паровозного свистка прокатился над полями и смолк. Она сидела возле окна, раскуривая новую сигарету, и думала: «Все разваливается на части, по всей стране, неприятностей можно ожидать повсюду и в любой момент». Однако она не чувствовала гнева или тревоги, у нее не было времени для этого.

Это всего только один вопрос, который следует разрешить вместе со всеми остальными. Она знала, что управляющий отделением фирмы в Огайо никуда не годится, но он приятель Джеймса Таггерта. Она еще не настояла на том, чтобы управляющего выставили с работы, только потому, что ей некем было его заменить. Хороших работников трудно найти. Однако теперь придется отделаться от него, и место это она отдаст Оуэну Келлогу, молодому инженеру, блестяще проявившему себя в качестве одного из помощников управляющего вокзалом «*Таггерт*» в Нью-Йорке; по сути дела, он и руководил всем. Некоторое время она следила за его работой; она всегда искала проблески таланта, подобно охотнику за алмазами на ничем не примечатель-

ной пустоши. Келлог был еще слишком молод для руководителя отделом, и она хотела предложить ему новый пост через год, но времени на размышления уже не оставалось. Ей придется поговорить с ним сразу после возвращения.

Едва различимая полоска земли за окном теперь бежала быстрее, превращаясь в серый ручей. За сухими вычислениями, занимавшими ее ум, Дагни отметила, что может еще что-то чувствовать: это было сильное, опьяняющее желание действовать.

* * *

«Комета» со свистом нырнула в тоннель вокзала *«Таггерт»* под Нью-Йорком, и Дагни Таггерт выпрямилась в кресле. Когда поезд уходил под землю, она всегда ощущала чувство решимости, надежды и скрытого волнения. Казалось, что обыденное существование было расплывчатой, грубо раскрашенной фотографией, но здесь становилось наброском, сделанным несколькими резкими движениями кисти, превращавшими изображение в нечто чистое, важное, сто́ящее.

За окном бежали стены тоннеля: голый бетон, покрытый переплетением проводов и кабелей, сетка рельсов, исчезающих во мгле тоннелей,

из которых цветными каплями посвечивали далекие красные и зеленые огни семафоров. Здесь не было ничего лишнего, ничто не разбавляло реальность, так что оставалось только восхищаться чистой целесообразностью и человеческой изобретательностью, благодаря которой это стало возможным. На мгновение Дагни представилось высящееся сейчас над ее головой, рвущееся к небу здание компании *«Таггерт»*. И она подумала: это — корни здания, полые, вьющиеся под землей корни, питающие весь город.

Она вышла на вокзале; бетонный перрон давал ощущение надежности, а это вселяло в сердце легкость, подъем, стремление действовать. Она прибавила шагу, словно бы скорость могла придать форму тому, что она чувствовала. И лишь через несколько мгновений поняла, что насвистывает мелодию и что это тема Пятого концерта Халлея. Чей-то взгляд заставил ее обернуться: молодой кондуктор пристально смотрел ей вслед.

* * *

Дагни Таггерт сидела на ручке просторного кресла, повернутого к столу Джеймса Таггерта, в расстегнутом пальто поверх мятого дорож-

ного костюма. Эдди Уиллерс расположился в другом конце кабинета и время от времени делал какие-то заметки. Он занимал должность специального помощника вице-президента по грузовым перевозкам, и основной обязанностью его было оберегать Дагни от пустой траты времени. Она всегда просила его присутствовать при разговорах подобного рода, поскольку в этом случае ей ничего не нужно было впоследствии ему объяснять. Джеймс Таггерт сидел за столом, втянув голову в плечи.

— Линия Рио-Норте — сплошная груда мусора, от начала до конца, — проговорила Дагни. — Положение много хуже, чем я предполагала. Однако нам придется спасать ее.

— Конечно, — согласился Джеймс Таггерт.

— Часть рельсов можно сохранить. Но немного и ненадолго. Мы начнем укладывать новую колею в горных районах, начиная с Колорадо. Новые рельсы мы получим через два месяца.

— Но Оррен Бойль сказал, что он…

— Я заказала рельсы у «*Риарден Стил*».

Легкий полузадушенный вздох, долетевший со стороны Эдди Уиллерса, свидетельствовал о чуть было не сорвавшемся с его губ вопле радости.

Джеймс Таггерт ответил не сразу.

— Дагни, почему бы тебе не сесть, как положено, в кресло? — наконец, проговорил он воинственным тоном. — никто не проводит деловые совещания таким вот образом.

— Я провожу.

Она ждала. И Таггерт спросил, стараясь не смотреть ей в глаза:

— Ты, кажется, говорила, что заказала рельсы у Риардена?

— Вчера вечером. Я позвонила ему из Кливленда.

— Но правление не давало на это согласия. И я тоже. Ты даже не посоветовалась со мной.

Протянув руку, она подняла трубку со стоявшего на столе брата телефонного аппарата и подала ему.

— Позвони Риардену и отмени заказ.

Джеймс Таггерт откинулся назад в своем кресле.

— Этого я не говорил, — сердито ответил он, — вовсе я этого не говорил.

— Значит, ты согласен?

— Этого я тоже не говорил.

Она повернулась.

— Эдди, распорядись, пусть составят контракт

с «*Риарден Стил*». Джим подпишет.

Дагни извлекла из кармана мятый листок бумаги и перебросила его Эдди:

— Тут цифры и условия.

Таггерт проговорил:

— Но правление не…

— Правление не имеет к этому делу ни малейшего отношения. Ты получил от него разрешение купить рельсы тринадцать месяцев назад. А где покупать, зависит от тебя.

— На мой взгляд, едва ли стоит принимать такое решение, не предоставив правлению шанса выразить *собственное* мнение. И я не вижу причины, почему нужно заставлять меня брать всю ответственность на себя.

— Ответственность я беру на себя.

— А как насчет расходов, которые…

— Риарден просит меньше, чем «*Ассошиэйтед Стил*» Оррена Бойля.

— Да, но что делать с Орреном Бойлем?

— Я разорвала контракт. Мы имели право на это еще шесть месяцев назад.

— Когда ты сделала это?

— Вчера.

— Однако он не звонил мне, чтобы я подтвердил…

— И не позвонит.

Таггерт сидел, уставившись в стол. Дагни пыталась понять, почему брату так не хочется иметь дело с Риарденом и почему нежелание это принимает вид столь странный и нерешительный. Компания «*Риарден Стил*» была главным поставщиком «*Таггерт Трансконтинентал*» в течение десяти лет, с того дня, как Риарден зажег свою первую печь, когда их отец еще был председателем Правления железной дороги. Десять лет бóльшую часть рельсов Таггертам поставляла «*Риарден Стил*». В стране насчитывалось совсем немного фирм, исполнявших заказы строго в срок и в соответствии со всеми требованиями. Компания «*Риарден Стил*» принадлежала к их числу.

Будь я не в своем уме, подумала Дагни, то пришла бы к выводу, что брат терпеть не может вести дела с Риарденом, поскольку тот *слишком* скрупулезно исполнял свои обязанности; однако она отбросила эту мысль, поскольку, на ее взгляд, такое отношение попросту выходило за рамки здравого смысла.

— Это нечестно, — объявил Джеймс Таггерт.

— Что нечестно?

— Что мы всегда заказываем Риардену. По-моему, мы могли бы предоставить шанс и кому-то

другому. Риарден не нуждается в нас; он и так крупная шишка. Нам следовало бы помочь мелким фирмам. А так мы попросту содействуем монополии.

— Джим, не надо нести чушь.

— Почему мы все и всегда заказываем у Риардена?

— Потому что так повелось.

— Генри Риарден мне не нравится.

— А мне нравится. Однако какая разница, нравится он нам или нет? Нам нужны рельсы, и только он может поставить их.

— Важно учитывать и человеческий фактор. А ты совсем не считаешься с ним.

— Джим, мы говорим о том, как спасти железную дорогу.

— Да-да, конечно-конечно, но ты абсолютно не учитываешь человеческий фактор.

— Нет. Не учитываю.

— Если мы дадим Риардену такой крупный заказ на стальные рельсы…

— Это будет не сталь, а риарден-металл.

Дагни всегда старалась строго контролировать свои эмоции, однако на этот раз ей это не удалось. Увидев выражение лица Таггерта, она расхохоталась.

Риарден-металлом назывался новый сплав, выпущенный Риарденом после десяти лет экспериментов. Он лишь недавно появился на рынке, однако не находил покупателей. Заказов на него не было.

Таггерт опешил от резкого перехода: смех вдруг сменился прежней интонацией в голосе Дагни — холодной и резкой:

— Не надо слов, Джим. Я знаю все, что ты хочешь сказать. Никто еще не использовал этот сплав. На риарден-металл нет положительных отзывов. Им никто не интересуется. Он никому не нужен. Тем не менее, наши рельсы будут изготовлены из риарден-металла.

— Но… — проговорил Таггерт, — но… никто еще не использовал его!

Он отметил с удовлетворением, что гнев лишил ее дара речи. Ему вообще нравилось замечать проявления чужих эмоций: они красным фонариком освещали темное и неизведанное поле чужой личности, отмечая ранимые места. Однако как можно испытывать *такие* чувства по отношению к, извините за выражение, *металлическому сплаву*, было для него непостижимо; да, он сделал своего рода открытие, но воспользоваться им все равно не мог.

— Лучшие специалисты в области металлургии, — произнес он, — единодушно проявляют крайний скептицизм в отношении риарден-металла…

— Оставь это, Джим.

— Ну так на чье же мнение ты полагаешься?

— Чужие мнения меня не интересуют.

— И чем же ты руководствуешься?

— Суждением.

— И к чьему же суждению ты прислушиваешься?

— К своему собственному.

— Но с кем ты консультировалась по этому поводу?

— Ни с кем.

— Тогда скажи на милость, что вообще известно тебе о риарден-металле?

— То, что это величайшая находка нашего рынка.

— Почему?

— Потому что сплав этот прочнее и дешевле стали; кроме того, рельсы из него переживут век любого известного нам металла.

— Но кто может утверждать это?

— Джим, в колледже я изучала инженерное дело. И берусь утверждать это, потому что вижу

сто́ящую вещь.

— И что же ты увидела?

— Состав сплава и результаты экспериментов, которые показал мне Риарден.

— Ну если бы этот сплав на что-то годился, его уже использовали бы, а это не так, — заметив нарастающую вспышку гнева, он нервным тоном поправился: — Откуда тебе может быть известно, что это хорошо? Откуда такая уверенность? Как ты можешь принять такое решение?

— Кому-то приходится брать на себя ответственность, Джим. Кому же, по-твоему?

— Но я не понимаю, почему мы должны оказаться здесь первыми. Я совершенно этого не понимаю.

— Так ты хочешь спасти ветку Рио-Норте или нет? — Таггерт не ответил. — Если бы дорога могла это позволить, я сняла бы вообще все рельсы и заменила их на риарден-металл. Все пути пора менять. Долго они не продержатся. Но это нам пока не по карману. Сперва нам необходимо выбраться из дыры. Ты хочешь этого или нет?

— Мы по-прежнему остаемся лучшей железной дорогой страны. Дела других компаний складываются много хуже.

— Значит, ты хочешь, чтобы мы оставались

в дыре?

— Я не говорил этого! Почему ты всегда все упрощаешь? И если тебя так волнуют деньги, не понимаю, почему ты так рвешься потратить их на линию Рио-Норте, когда компания «*Феникс-Дуранго*» нагло отобрала у нас все перевозки по ней. Зачем тратить деньги там, где у нас нет защиты от конкурента, способного воспользоваться нашими вложениями?

— Потому что «*Феникс-Дуранго*» — отличная компания, но я намерена сделать линию Рио-Норте еще лучше. Потому что я рассчитываю победить «*Феникс-Дуранго*» — но только если это станет необходимо, потому что в Колорадо хватит места не только двум, но и трем железнодорожным компаниям. Потому что я готова заложить всю дорогу, чтобы построить ветку, выходящую поближе к месторождению Эллиса Уайэтта.

— Меня тошнит от одного имени Эллиса Уайэтта.

Таггерту совсем не понравился взгляд Дагни.

— Я не вижу необходимости в немедленных действиях, — проговорил он обиженным тоном. — Например, почему ты считаешь настоящее положение «*Таггерт Трансконтинентал*» настолько уж тревожным?

— Из-за твоей политики, Джим.

— Какой политики?

— Во-первых этого тринадцатимесячного эксперимента с «*Ассошиэйтед Стил*». И во-вторых, твоей мексиканской катастрофы.

— Правление одобрило контракт с «*Ассошиэйтед Стил*», — торопливо проговорил он. — Правление проголосовало и за строительство линии Сан-Себастьян. К тому же я не понимаю, почему ты называешь это решение катастрофой.

— Потому что мексиканское правительство готово в любой момент национализировать твою линию.

— Это ложь! — Он едва не кричал. — Это просто злобные сплетни! Опираясь на совершенно надежный внутренний источник, я готов…

— Не надо демонстрировать свой испуг, Джим, — презрительно бросила Дагни.

Он промолчал.

— Сейчас паниковать бесполезно, — сказала она. — Мы можем только попытаться смягчить удар. А он будет крепким. От потери сорока миллионов долларов легко не оправишься. Однако «*Таггерт Трансконтинентал*» пришлось выдержать в прошлом много ударов, и я позабочусь, чтобы наша компания выдержала и этот.

— Я отказываюсь, просто отказываюсь обсуждать саму возможность национализации линии Сан-Себастьян!

— Отлично. Значит, мы ее не обсуждаем.

Она молчала. И он заговорил, тщательно взвешивая каждое слово.

— Не понимаю, почему ты так стремишься предоставить шанс Эллису Уайэтту, однако считаешь ошибкой участие в развитии бедной страны, которая никогда не получит такого шанса.

— Эллис Уайэтт никого не просил предоставить ему шанс. Потом, предоставлять шансы не мое дело. Я руковожу железной дорогой.

— На мой взгляд, это чрезвычайно узкая точка зрения. И мне непонятно, почему мы должны помогать одному человеку, а не целой стране.

— Помощь кому бы то ни было меня не интересует. Я хочу делать деньги.

— Это негодная позиция. Эгоистичная жажда личной выгоды отошла в прошлое. Сегодня все знают, что интересам общества в целом всегда следует отдавать предпочтение в любом деловом предприятии, которое…

— И как долго ты будешь еще уклоняться от принятия решения, Джим?

— Какого решения?

— Относительно заказа на риарден-металл.

Таггерт не отвечал. Он молча разглядывал сестру. Ей было трудно скрывать усталость, но гордую осанку подчеркивала прямая, четкая линия плеч, а плечи удерживало усилие воли, рожденное сознанием собственной правоты. Лицо ее нравилось немногим: оно было слишком холодным, а глаза чересчур внимательными и строгими; ничто и никогда не могло смягчить их взгляд. Точеные ноги раздражали Таггерта, поскольку никак не соответствовали столь неженственному образу.

Она молчала, и ему пришлось спросить:

— Ты сделала этот заказ, повинуясь минутному настроению, по телефону?

— Я приняла это решение полгода назад. И ждала, когда Хэнк Риарден запустит сплав в производство.

— Не зови Риардена Хэнком. Это вульгарно.

— Так все его называют. И не отклоняйся от темы.

— Почему тебе пришлось звонить ему по телефону вчера вечером?

— Нужно было поскорее договориться.

— Разве ты не могла подождать, пока не вернешься в Нью-Йорк, и тогда…

— Потому что я видела линию Рио-Норте.

— Ну мне необходимо время, чтобы подумать, поставить вопрос перед правлением, обратиться к лучшим…

— Времени нет.

— Ты не даешь мне возможности сосредоточиться, составить собственное мнение о…

— Твое мнение меня не интересует. Я не намерена спорить с тобой, твоим правлением или профессорами. Ты должен сделать выбор, и ты сделаешь его прямо сейчас. Просто скажешь «да» или «нет».

— Это совершенно нелепый, полный произвола и высокомерия способ ведения дел…

— Да или нет?

— Вечно с тобой одна и та же история. Тебе все хочется разделить на белое и черное. Но мир устроен совсем не так. В нем нет ничего абсолютного.

— Кроме металлических рельсов. Или мы покупаем их, или нет.

Она ждала. Таггерт безмолвствовал.

— Ну? — спросила она.

— Ты берешь ответственность на себя?

— Беру.

— Тогда действуй, — проговорил он и поспешно

добавил: — только на собственный страх и риск. Я не стану отменять твое соглашение с Риарденом, но и не стану защищать его на заседании правления.

— Дело твое.

Дагни поднялась, чтобы уйти. Таггерт склонился над столом, явно не решаясь закончить встречу столь резко.

— Ты, конечно, понимаешь, что для проведения решения потребуется более продолжительная процедура, — сказал он, чуть ли не с надеждой в голосе. — Одним разговором со мной ты не отделаешься.

— О конечно, — проговорила она. — Я пришлю тебе подробный отчет, который подготовит Эдди и который ты читать не будешь. Эдди поможет тебе провести его по инстанциям. Сегодня вечером я отправляюсь в Филадельфию на встречу с Риарденом. Нам с ним придется как следует потрудиться, — и добавила: — Все просто, Джим.

Она уже повернулась, чтобы уйти, когда он заговорил снова, и слова его казались совершенно не относящимися к делу:

— Тебе все сходит с рук, потому что тебе везет. Другим это не удается.

— Что не удается?

— Другие люди устроены, как полагается людям. У них есть чувства. Они не могут посвятить всю свою жизнь металлам и двигателям. Тебе повезло — чувств у тебя нет никаких. И никогда не было.

Она поглядела на него, и удивление в ее серых глазах сменилось спокойствием, а потом странным выражением, скорее напоминавшим усталость, если не считать того, что читалось в нем нечто большее, чем просто принятие истины настоящего момента.

— Да, Джим, — ответила она негромко, — действительно, чувств у меня нет и никогда не было.

Эдди Уиллерс проводил Дагни в ее кабинет. Она вернулась, и он ощутил, что мир сделался ясным, простым и вполне приемлемым и что можно забыть о смятении и неопределенности. Лишь он один находил вполне естественным то, что Дагни — женщина — занимает пост исполнительного вице-президента огромной железнодорожной компании. Еще когда ему было десять лет, она заявила, что когда-нибудь будет управлять дорогой. И теперь свершившийся факт удивлял его ничуть не больше обещания, данного некогда на лесной поляне.

Когда они оказались в ее кабинете, когда она села за стол и бросила взгляд на приготовленные им бумаги, Эдди почувствовал себя как в собственной машине: двигатель уже заработал, колеса готовы рвануться вперед.

Он уже собрался уйти, когда вспомнил, что не доложил об одном деле.

— Оуэн Келлог из Вокзального отдела просил принять его.

Она удивленно вскинула глаза.

— Забавно. А я как раз собиралась вызвать его. Пусть войдет. Он мне нужен…

— Эдди, — добавила она вдруг, — прежде чем я займусь делами, попроси, чтобы меня связали по телефону с Эйерсом из «*Эйерс Мьюзик Паблишинг Компани*».

— Музыкальным издательством? — с недоумением повторил он.

— Да. У меня есть к нему один вопрос.

Когда любезный голос мистера Эйерса осведомился о той услуге, которую может оказать ей, она спросила:

— Скажите мне, не написал ли Ричард Халлей новый, Пятый концерт для фортепьяно с оркестром?

— Пятый концерт, мисс Таггерт? Нет, конеч-

но же, нет.

— Вы уверены в этом?

— Совершенно уверен, мисс Таггерт. Он не писал ничего уже восемь лет.

— Так, значит, он жив?

— Ну да… то есть я не могу гарантировать этого, он совершенно удалился от общества, но не сомневаюсь, о его смерти мы бы обязательно услышали.

— И если бы он что-нибудь написал, вы, конечно, узнали бы об этом?

— Конечно. Причем первыми. Мы публиковали все его произведения. Но он прекратил писать.

— Понимаю. Благодарю вас.

Когда Оуэн Келлог вошел в ее кабинет, Дагни посмотрела на него с удовлетворением. Ей было приятно, что она правильно запомнила его внешность, — лицо его напоминало молодого кондуктора, это было лицо человека, с которым она была готова иметь дело.

— Садитесь, мистер Келлог, — предложила она, однако он остался стоять перед ее столом.

— Когда-то вы спрашивали, не хочу ли я изменить свое служебное положение, мисс Таггерт, — проговорил он, — поэтому я пришел к вам с просьбой уволить меня.

Она ожидала услышать что угодно, но только не это; после мгновенного замешательства она спросила:

— Почему?

— По личным причинам.

— Вы чем-то не удовлетворены?

— Нет.

— Вы получили лучшее предложение?

— Нет.

— На какую железную дорогу вы переходите?

— Я не собираюсь работать на железной дороге, мисс Таггерт.

— Тогда какую же работу вы подыскали себе?

— Я еще не принял решения.

Дагни с некоторой неловкостью рассматривала его. На лице его не было никакой вражды; он смотрел ей в глаза, отвечал просто и прямо; говорил как человек, которому нечего скрывать или выдумывать; вежливое лицо было нейтральным.

— Тогда почему вы решили уволиться?

— Это мое личное дело.

— Вы заболели? У вас неприятности со здоровьем?

— Нет.

— Вы хотите покинуть город?

— Нет.

— Вам досталось наследство, которое позволяет вам отойти от дел?

— Нет.

— Вы намереваетесь продолжать зарабатывать на жизнь?

— Да.

— Но вы не хотите работать на «*Таггерт Трансконтинентал*»?

— Не хочу.

— В таком случае здесь должно было случиться нечто, определившее ваше решение. Что именно?

— Ничего, мисс Таггерт.

— Я хочу, чтобы вы рассказали мне все. У меня есть причины знать.

— Поверите ли вы мне на слово, мисс Таггерт?

— Да.

— Никакое лицо, дело или событие, связанное с моей работой у вас, не оказало никакого влияния на мое решение.

— Итак, у вас нет никаких претензий к «*Таггерт Трансконтинентал*»?

— Никаких.

— Но, может быть, вы передумаете, когда услышите о том, что намереваюсь предложить вам я.

— Простите, мисс Таггерт. Я не могу этого сделать.

— Может быть, я все-таки сделаю вам свое предложение?

— Да, если вам угодно.

— Поверите ли вы мне на слово, если я скажу, что решила предложить вам некий пост еще до того, как вы попросили меня принять вас? Я хочу, чтобы вы знали это.

— Я всегда верю вам на слово, мисс Таггерт.

— Я хочу предложить вам место управляющего отделением Огайо нашей дороги. Если хотите, оно — ваше.

На лице Келлога не отразилось никакой реакции, слова эти, похоже, значили для него не больше, чем для дикаря, никогда не слыхавшего о железной дороге.

— Я не хочу этого места, мисс Таггерт, — просто ответил он.

Сделав паузу, она проговорила напряженным голосом:

— Назовите свои условия, Келлог. Скажите, сколько вы хотите получать, вы нужны мне. Я могу дать вам больше, чем предложит любая другая железная дорога.

— Я не намереваюсь работать на железных

дорогах.

— Мне казалось, вы любите свою работу.

За время этого разговора он впервые обнаружил какие-то признаки чувств: глаза его чуть расширились, и со странным тихим упорством в голосе он ответил:

— Люблю.

— Тогда скажите мне, чем я могу удержать вас? — слова эти прозвучали столь непосредственно и откровенно, что явно проняли его.

— Наверно, я поступил неправильно, явившись к вам с просьбой об увольнении, мисс Таггерт. Я понимаю, что вы хотели услышать от меня причины моего решения, чтобы сделать мне контрпредложение. Поэтому мое появление здесь выглядит так, будто я готов к сделке. Но это не так. Я пришел к вам только потому что… потому что хотел сдержать свое слово.

Внезапная пауза, словно мгновение озарения, открыла Дагни, как много значили для Келлога ее интерес и просьба и что решение далось ему не просто.

— Послушайте, Келлог, неужели мне нечего предложить вам? — спросила она.

— Нечего, мисс Таггерт. Увы, ничего.

Он повернулся, чтобы уйти. И впервые в жизни

Дагни ощутила свое поражение и беспомощность.

— Но почему? — спросила она, обращаясь в пространство.

Молодой человек остановился, пожал плечами и улыбнулся. На мгновение он словно ожил, и более странной улыбки ей еще не приходилось видеть: в ней было и тайное веселье, и сердечный надлом, и бесконечная горечь. Он ответил вопросом:

— А кто такой Джон Голт?

ГЛАВА II. ЦЕПЬ

Все началось с нескольких огоньков. Когда поезд линии «*Таггерт*» подъезжал к Филадельфии, в темноте появилась редкая россыпь ослепительных огней. Они казались бессмысленными на пустынной равнине, но были слишком яркими, чтобы не иметь значения. Пассажиры лениво, без особого интереса смотрели на них.

Затем появился черный силуэт строения, едва угадывавшийся на фоне неба, потом возле путей выросло высокое здание; в окнах его не было света, и отражения освещенных вагонов скользили по стеклам.

Встречный товарный поезд закрыл собой окна, залив вагон торопливой кляксой шума. В промежутках между вагонами пассажиры могли разглядеть силуэты далеких зданий, вырисовывавшихся на красноватом горизонте. Багровое зарево неровно пульсировало, словно бы дома дышали.

Когда поезд промчался, пассажиры увидели угловатые здания, окутанные кольцами пара. Лучи нескольких сильных прожекторов нарезали кольца дольками. Пар был пурпурным,

как и небо.

Далее появилось нечто, похожее, скорее, не на здание, а на оболочку из стеклянных шахматных клеток, охватывавшую балки, краны и фермы единой ослепительной полосой огня.

Пассажиры не могли осознать всей сложности этого протянувшегося на мили города, работавшего, не обнаруживая признаков человеческого присутствия. Перед ними вырастали башни, похожие на скрученные небоскребы, повисшие в воздухе мосты, в стенах виднелись раны, извергавшие огонь. Потом сквозь ночь поползла вереница багровых цилиндров; это горел раскаленный металл.

Возле путей появилось конторское здание. Крупное неоновое панно на его крыше осветило внутренности пролетавших мимо вагонов. Оно гласило: *РИАРДЕН СТИЛ*.

Один из пассажиров, профессор экономики, обратился к своему спутнику: «Какое значение имеет отдельная личность в титанических коллективных достижениях нашего индустриального века?»

Другой, журналист, уже вносил в свой блокнот заметку для будущей статьи: «Хэнк Риарден принадлежит к той разновидности людей, кото-

рые лепят свое имя на все, к чему прикасаются. Уже из этой фразы читатель может составить представление о характере Хэнка Риардена».

Поезд все спешил во тьму, когда за длинным зданием рванулся к небу язык красного пламени. Пассажиры не обратили на вспышку никакого внимания; новую плавку, разлив раскаленного металла никак нельзя было отнести к числу событий, которые их учили замечать.

Это была первая плавка риарден-металла, первый заказ на него.

Прорыв жидкого металла на волю казался подобием наступившего вдруг утра для людей, стоявших у жерла печи. Хлынувший раскаленный добела поток металла светился чистым, солнечным огнем. Облака черного пара, подсвеченного багрянцем, клубились над печью. Неровными вспышками рассыпались фонтаны искр, казавшихся каплями крови, вытекающей из разорванной артерии. Воздух был растерзан в клочья, он обдавал ярым пламенем, красные пятна кружили и рвались вон из пространства, словно не желая оставаться внутри созданной человеком конструкции, словно стремясь разрушить колонны, балки, мосты кранов над головой. Однако металл не обнаруживал никакой агрес-

сивности. Длинная белая полоса напоминала атлас и празднично блестела. Она покорно текла из глиняного устья между двумя хрупкими берегами. А потом падала на двадцать футов вниз, в ковш, вмещавший две сотни тонн металла. Поток рассыпал звезды, выпрыгивавшие из его ровной глади и казавшиеся столь же ласковыми и невинными, как искры, брызжущие из детских бенгальских огней.

Только в самой близи становилось заметно, что белый атлас кипит. Время от времени из него вылетали брызги, падавшие на землю у желоба; жидкий металл, соприкасаясь с землей, остывал, вспыхивая огнем.

Две сотни тонн металла, более твердого, чем сталь, и ставшего жидким при температуре четыре тысячи градусов, могли разрушить любую стену здания, убить всех, кто работал возле потока. Однако каждый дюйм его пути, каждая молекула были покорны воле изобретателя.

Мечущийся под навесом красный свет выхватывал из темноты лицо человека, застывшего в дальнем углу. Прислонившись к колонне, он ждал. Яркая вспышка на мгновение бросила отблеск света в его глаза, цветом и видом напоминавшие голубой лед, потом на черное

переплетение металла колонны и пепельные пряди его волос, потом на пояс спортивного плаща и карманы, в которых он держал руки. Высокий и стройный, он всегда превосходил ростом окружающих. Лицо его состояло из выступающих скул и нескольких резких морщин, оставленных, однако, не старостью. Так было всегда, и потому в молодости он казался старым, а сейчас, в сорок пять, молодым.

Насколько он помнил, ему всегда твердили, что лицо его уродливо — потому что было оно неподатливым и жестким. Оно ничего не выражало и теперь, когда он смотрел на льющийся металл. Это был Хэнк Риарден.

Металл поднимался к краю ковша и щедро переливался через край. Ослепительно-белые струйки быстро темнели, а еще через мгновение превращались в готовые отломиться черные металлические сосульки. Шлак застывал толстыми бурыми гребнями, похожими на земную кору. Корка толстела, в ней вскрывались редкие трещины, внутри все еще кипела расплавленная масса.

Высоко в воздухе проплыла кабина крана. Непринужденным движением руки крановщик двинул рычажок: подвешенные на цепи сталь-

ные крючья опустились вниз, подцепили ручки ковша, аккуратно, словно ведерко с молоком, подняли две сотни тонн металла и понесли к ряду форм, ждавших, когда их наполнят.

Хэнк Риарден откинулся назад и закрыл глаза. Колонна за спиной его подрагивала в такт движениям крана. Работа окончена, подумал он.

Заметивший его рабочий одобрительно ухмыльнулся, как собрат и участник великого праздника, знавший, почему высокий белокурый человек должен был оказаться здесь в этот момент. Риарден улыбнулся в ответ и направился в свой кабинет, вновь превратившись в наделенного невыразительным лицом человека.

В тот вечер Хэнк Риарден поздно оставил свой кабинет. От завода до дома было несколько миль по безлюдной местности, однако ему хотелось пройтись — без особых на то причин.

Он шел, опустив руку в карман, не выпуская браслет в виде цепочки, сделанный из риарден-металла. Десять лет его жизни ушли на то, чтобы сделать этот браслет. Десять лет, подумал он, долгий срок. Вдоль темной дороги выстроились деревья. Всякий раз, поглядев вверх, он замечал несколько листьев на фоне звездного неба; сухие и скрученные, они были готовы упасть

на землю.

В окнах разбросанных по сельской местности домов светились огоньки, делавшие, как ни странно, дорогу еще более пустынной.

Риарден никогда на ощущал одиночества, кроме тех мгновений, когда бывал счастлив. Он оглядывался на багровое зарево, стоявшее над заводом. Он не думал о прошедших десяти годах. Сегодня от них осталось неясное послевкусие, которому он не мог дать имени или определения, но его чувства были умиротворенными и торжественными. Чувство это являло собой известную сумму, и ему не нужно было считать слагаемые, из которых она состояла. Это были ночи, проведенные возле пышущих жаром печей исследовательской лаборатории завода… ночи, проведенные в его домашнем кабинете над заполненными формулами листами бумаги, разлетавшимися в клочья после очередной неудачи… дни, когда молодые ученые, составлявшие тот небольшой штаб, который он избрал себе в помощь, истощив собственную изобретательность, ожидали от него инструкций, как солдаты, готовые к безнадежной битве, еще способные сопротивляться, но уже притихшие, будто в воздухе висел непроизнесенный

приговор: мистер Риарден, этого сделать нельзя… трапезы, прерванные и забытые после очередного озарения, после мысли, которую следовало немедленно проверить, испробовать, положить в основание растянувшихся на месяцы и месяцы работ, а потом отвергнуть после очередной неудачи… мгновения, отнятые от конференций, от контрактов, от обязанностей директора лучшего сталелитейного завода страны, оторванные едва ли не с виноватой улыбкой, как от тайной любви… и единственная мысль, растянувшаяся на десять лет, пронизывавшая все, что он делал, все, что он видел, мысль, возникавшая в его уме всякий раз, когда он смотрел на городские дома, на колею железной дороги, на свет в окнах далекого сельского дома, на нож в руках красавицы, разрезавшей фрукты на банкете, мысль о сплаве металлов, который будет способен на то, что выходит за пределы возможностей стали, металле, который станет для стали тем, чем стала она сама для железа… мгновения самобичевания, когда он отвергал надежду или образец, не позволяя себе ощутить усталость, не давая себе времени на это, заставляя себя испытывать мучительную неудовлетворенность… продвижение вперед, не имевшее другого мотора, кроме уверенности

в том, что это *можно* сделать… и, наконец, день, когда это *было* сделано, и результат его трудов получил название риарден-металла… Все это сейчас в белом огне плавилось и смешивалось в его душе, и сплав этот превращался в странное и спокойное ощущение, которое заставляло его улыбаться на этой темной загородной дороге и удивляться тому, что счастье может ранить.

Потом он понял, что прошлое представляется ему в виде разложенных перед ним дней, требующих просмотра. Он не хотел этого делать; он презирал воспоминания, видя в них бесцельное потворство собственным желаниям. И все же, решил он, сегодня прошлое раскрылось перед ним в честь того металлического изделия, что сейчас находится в его кармане. И он позволил себе погрузиться в воспоминания.

Риарден увидел себя на гребне скалы, вспомнил струйку пота, стекавшую с его виска на шею. Ему было тогда четырнадцать лет, шел первый день его работы на железном руднике в Миннесоте. Он пытался научиться преодолевать жгучую боль в груди и стоял, ругая себя, потому что заранее решил заставить себя не устать. Потом он вернулся к работе, потому что боль, на его взгляд, не была достаточной причиной,

чтобы прекращать дело. Он увидел еще один день, когда стоял возле окна своего кабинета и смотрел на тот же рудник, который приобрел в тот самый день. Ему было тридцать лет. И неважно, чем занимался он в прошедшие годы, как ничего не значила и давняя боль. Продвигаясь к намеченной цели, он работал на рудниках, сталелитейных заводах, металлургических комбинатах севера страны. Об этих своих работах он помнил лишь то, что окружавшие его люди, похоже, никогда не знали, что делать, в то время как он всегда имел четкое представление обо всем. Он вспомнил, что всегда удивлялся тому, как много рудников вокруг закрывается, впрочем, собирались закрыть и приобретенный им рудник. Он посмотрел на высившиеся вдали скалы. Рабочие устанавливали над воротами в конце дороги новую вывеску: *Руда Риардена*.

Он увидел другой вечер и себя самого, сгорбившегося над столом в том самом кабинете.

Было поздно, и служащие уже отправились по домам, так что он имел полную возможность расслабиться без свидетелей. Он устал. Казалось, что он состязался с собственным телом, и все утомление предшествующих лет, в котором он отказывался признаться себе, разом обрушилось

на него и придавило к креслу. Он не ощущал ничего, даже желания двигаться. Он не ощущал в себе сил ни на что — даже на страдание. Он выжег в себе все, что могло гореть; он, рассыпавший вокруг себя столько искр, затевая новые дела, теперь гадал, найдется ли кто-нибудь, способный заронить в него самого ту искру, в которой он так отчаянно нуждался именно в этот момент, когда он не ощущал в себе возможности шевельнуться. Он спросил себя: кто привел его в движение и не позволил остановиться? И тогда он поднял голову. Неторопливо, величайшим в своей жизни усилием он заставил себя разогнуться, сесть прямо, опустив руку на стол, поддерживая тело другой дрожащей ладонью.

Больше он не задавал себе этого вопроса. Он увидел новый день, когда стоял на холме, разглядывая унылый пейзаж, мрачную пустошь, заставленную зданиями, прежде представлявшими собой сталелитейный завод. Предприятие разорилось и было закрыто. Он купил его предыдущим вечером. Задувал сильный ветер, серый свет просачивался сквозь облака. И в этой серости красно-бурые пятна ржавчины на стали огромных кранов казались подобием запекшейся крови, а ярко-зеленые травы пиршеством

каннибалов тянулись над грудами битого стекла к пустым глазницам окон. У далеких ворот маячили черные силуэты людей. Это были безработные, обитавшие в гнилых лачугах, в которые превратился некогда процветавший городок.

Они стояли, безмолвно разглядывая сверкающую машину, которую он оставил у заводской проходной; они гадали, точно ли тот человек на холме является Хэнком Риарденом, о котором столько говорили вокруг, и верно ли, что завод будет снова открыт. «Исторический цикл производства стали в Пенсильвании катится под уклон, — настаивала газета, — и эксперты утверждают, что обращение Генри Риардена к производству стали не имеет перспектив. Скоро вы станете свидетелями сенсационного финала сенсационной деятельности Генри Риардена». Это было десять лет назад. И сегодняшний ветер, холодивший его лицо, ничем не отличался от ветра того дня. Он обернулся. Над заводом полыхало багровое зарево, такой же знак жизни, как восход солнца. На пути его были остановки, станции, которые миновал его экспресс. Он не мог сказать ничего определенного о тех годах, что разделяли их; годы слились воедино, в сплошное пятно.

Как бы то ни было, подумал он, все эти муки

и напряжение оправдали себя, потому что позволили ему дожить до сего дня — дня первой промышленной плавки риарден-металла, первого заказа на этот сплав, которому суждено было стать рельсами для «*Таггерт Трансконтинентал*».

Он прикоснулся к лежавшему в кармане браслету, сделанному из первой партии металла. Браслет предназначался его жене. Коснувшись вещицы, он понял, что думает о некоей абстракции, именуемой женой, а не о женщине, на которой был женат.

Он почувствовал легкое недовольство тем, что распорядился сделать этот браслет, а затем укорил себя за подобное сожаление. Он покачал головой. Не время для старых сомнений. Он чувствовал, что способен простить все, что угодно и кому угодно, потому что счастье — источник благородства. Он не сомневался в том, что в эту ночь все вокруг желают ему добра. Ему хотелось встретить сейчас кого-нибудь, обратиться к первому незнакомцу, стать перед ним открытым и безоружным и сказать: «Посмотри на меня».

Люди, думал Риарден, в той же мере, как и я, изголодались по радости — по мгновению освобождения от серого гнета страдания, необъяснимого

и напрасного. Он никогда не мог понять, почему люди должны быть несчастными.

Темная дорога незаметно поднялась на вершину холма. Он остановился и оглянулся. Красное зарево на западе превратилось в еле заметную узкую полоску. Над ней мелкими на таком расстоянии буквами на черном небе читался неоновый знак: *РИАРДЕН СТИЛ*. Он распрямился, как перед судом. Он вспомнил другие знаки, горевшие когда-то в ночи: *Риарден-Руда, Риарден-Уголь, Риарден-Известняк*. Он подумал о прожитых днях и о том, что неплохо бы зажечь над ними всеми неоновое табло со словами: *Риарден-Жизнь*.

Резко повернувшись, он направился вперед. По мере того как дорога приближалась к дому, он отметил, что шаги его как бы сами собой замедляются, что настроение делается менее приподнятым. Он ощущал смутное нежелание возвращаться домой, но не хотел испытывать это чувство. Нет, подумал он, нет, не сегодня; в такой день они поймут. Однако он не знал, даже не задумывался над тем, что, собственно, должны они понять.

Приблизившись к дому, он заметил освещенные окна в гостиной. Дом стоял на пригорке, поднимавшемся перед Риарденом белой ту-

шей; он казался голым, его в некоторой степени украшали лишь несколько колонн в псевдоколониальном стиле; и было видно, что наготу эту являть не стоило.

Риарден не был уверен в том, что жена заметила его появление в гостиной. Она сидела возле камина, сопровождая изящным движением руки плавное течение слов. Голос ее на мгновение стих, и Риарден подумал, что жена заметила его, однако, поскольку она не подняла глаз и речь потекла своим чередом, в этом оставались сомнения.

— …дело в том, что культурному человеку скучны сомнительные чудеса чисто материальной изобретательности, — говорила она. — Он просто отказывается восхищаться водопроводными трубами.

Потом она повернула голову, посмотрела на Риардена, стоявшего на противоположной стороне длинной комнаты, и руки ее взмыли к потолку двумя лебедиными шеями.

— Дорогой мой, — бодрым тоном осведомилась она, — не рано ли ты явился домой? Неужели не нашлось слитка, который надо очистить, или формы, которую следует отполировать?

Все повернулись к Риардену: его мать, его брат

Филипп и Пол Ларкин, старинный друг.

— Простите, — проговорил он. — Я понимаю, что опоздал.

— Нечего извиняться, — сказала его мать. — Мог бы и позвонить.

Он поглядел на нее, пытаясь что-то припомнить.

— Ты обещал быть сегодня дома к обеду.

— Ах да, действительно обещал. Но сегодня на заводе была плавка… — он смолк, не понимая, что мешает ему произнести ту единственную вещь, ради которой шел домой, и только добавил: — просто я… забыл.

— Именно это и хочет сказать мама, — проговорил Филипп.

— Ах, пусть он придет в себя, он еще не очнулся, он по-прежнему на своем заводе, — веселым голосом произнесла жена.

— Снимай пальто, Генри.

Пол Ларкин смотрел на него преданными глазами больной собаки.

— Привет, Пол, — сказал Риарден, — когда ты приехал?

— О, я подскочил на нью-йоркском, пять тридцать пять, — благодарный за внимание, Ларкин расплылся в улыбке.

— У тебя неприятности?

— А у кого их нет в наши дни? — улыбка Ларкина сделалась отстраненной, это должно было подчеркнуть, что реплика его имела исключительно философские основания. — Нет, на сей раз никаких особенных неприятностей. Я просто подумал, что неплохо бы заскочить и повидаться с вами.

Жена Риардена рассмеялась.

— Ты разочаровал его, Пол, — она повернулась к Риардену. — Что это, комплекс неполноценности или мания величия, Генри? Неужели ты думаешь, что никто не способен повидаться с тобой ради самого процесса, или же ты полагаешь, что без твоей помощи совершенно невозможно обойтись?

Риарден хотел ответить сердитым отрицанием, однако жена улыбалась ему так, словно бы только что произвела шутливый выпад; он не хотел вступать в подобного рода двусмысленные разговоры, а потому промолчал. Застыв на месте, он разглядывал жену, пытаясь, наконец, понять то, чего до сих пор так и не удосужился сделать.

Все считали Лилиан Риарден красавицей. Она была высокой и грациозной и выглядела особенно привлекательно в платьях с высокой

талией, в стиле ампир, которые она привыкла носить. Ее благородный профиль будто сошел с камеи той же поры: чистые, гордые линии и блестящие светло-каштановые волны волос, причесанные с классической простотой, говорили о строгой царственной красоте. Однако когда она поворачивалась анфас, люди испытывали легкое разочарование.

Лицо ее нельзя было назвать прекрасным. Дефект крылся в глазах — блеклых, не серых и не карих, безжизненных и невыразительных. Риарден часто удивлялся тому, что при всей привычной внешней оживленности, радости в ее взоре не бывало никогда.

— Мы с тобой уже знакомы, дорогой, — ответила она на его испытующий взгляд, — хотя ты, кажется, в этом не уверен.

— Генри, ты хотя бы обедал? — спросила его мать укоризненным и полным нетерпения тоном, словно его голод являлся для нее личным оскорблением.

— Да… нет… я не был голоден.

— Тогда я позвоню, чтобы…

— Не надо, мама, потом, это неважно.

— Вечно с тобой одни неприятности. — Она не смотрела на него и говорила, обращаясь

в пространство: — Незачем даже пытаться что-нибудь сделать для тебя, ты этого не оценишь. Я так и не сумела научить тебя правильно питаться.

— Генри, ты слишком много работаешь, — объявил Филипп. — Это вредно для здоровья.

Риарден рассмеялся:

— А мне нравится.

— Ты просто утешаешь себя этими словами. Видишь ли, на самом деле это нечто вроде невроза. Если человек с головой уходит в работу, значит, он пытается бежать от чего-то. Тебе надо завести хобби.

— Перестань, Фил, ради Христа, не надо! — бросил Риарден и тут же пожалел о прозвучавшем в его голосе раздражении.

Филипп не мог похвастаться крепким здоровьем, хотя врачи не обнаруживали особых дефектов в его долговязом, хилом теле. Ему было тридцать восемь лет, однако хроническая усталость по временам заставляла людей подозревать, что он старше своего брата.

— Тебе нужно научиться как-нибудь развлекаться, — продолжил Филипп, — иначе ты станешь скучным и неинтересным. Точнее, узколобым. Пора выбраться из личной скорлупки

и посмотреть на мир. Если ты не изменишь образ жизни, настоящая жизнь пройдет мимо тебя.

Сопротивляясь гневу, Риарден напомнил себе, что такова манера его брата заботиться о нем. Несправедливо чувствовать обиду на близких: они пытаются проявить беспокойство — жаль только, что довольно неприятным образом.

— Я сегодня провел время достаточно интересно, Фил, — улыбнулся Риарден, заметив, однако, с некоторой досадой, что Филипп даже спрашивать не стал, как именно.

Ему хотелось, чтобы кто-то из них задал ему этот вопрос. Ему трудно было облечь свои ощущения в слова. Поток текущего металла еще горел в его памяти, наполнял собой все сознание, не оставлял места ни для чего другого.

— Ты вполне мог бы и извиниться, только я извинений от тебя уже и не жду. — Голос принадлежал его матери.

Риарден повернулся: она смотрела на него беззащитным взором, свидетельствующим об оскорбленном терпении бесправного существа.

— К нам на обед приезжала миссис Бичэм, — сказала она с укоризной.

— Кто?

— Миссис Бичэм. Моя подруга, миссис Бичэм.

— И что же?

— Я рассказывала тебе о ней, рассказывала много раз, только ты не запоминаешь ничего из того, что я тебе говорю. Миссис Бичэм хотела повидаться с тобой, но ей пришлось уехать сразу после обеда, она не могла ждать. Миссис Бичэм — очень занятая особа. Она хотела столько рассказать тебе о той великолепной работе, которой мы заняты в нашей приходской школе, и о занятиях по слесарному делу, и о том, какие изумительные дверные ручки самостоятельно делают трущобные мальчишки.

Ему пришлось призвать на помощь все свое самообладание, чтобы заставить себя ответить ровным тоном:

— Прости, если я разочаровал тебя, мама.

— Тебя это нисколько не расстраивает. Если бы ты захотел, то мог бы вовремя оказаться дома. Но разве ты когда-нибудь старался для кого-нибудь, кроме самого себя? Тебя не интересуем ни мы сами, ни все, что мы делаем. Ты полагаешь, что раз оплачиваешь наши счета, то этого уже довольно, не правда ли? Деньги! Это все, что тебя интересует. И ты даешь нам только деньги. А время свое ты когда-нибудь уделял нам?

«Если слова эти свидетельствуют о том, что ей не хватает общения со мной, это говорит о привязанности ко мне, — подумал он, — а если так, то я не вправе позволять себе противиться тяжелому и смутному чувству, заставлявшему меня молчать, чтобы голосом не выдать то, что обычно называют досадой».

— Тебе все равно, — в ее голосе презрение смешивалось с просьбой. — Лилиан хотела обсудить с тобой очень важную проблему, но я сказала ей, что бесполезно рассчитывать на разговор с тобой.

— Ах, мама, это не важно! — сказала Лилиан. — Во всяком случае, для Генри.

Риарден повернулся к жене. Он все еще стоял посреди комнаты, так и не сняв пальто, словно запутавшись в мире нереальном, никак не желавшем становиться реальностью.

— Это совсем не важно, — повторила Лилиан бодрым тоном; он не понимал, чего больше в ее голосе — извинения или хвастовства. — Речь идет не о бизнесе. Мое дело не представляет собой никакого коммерческого интереса.

— Что ты имеешь в виду?

— Прием, который я намереваюсь устроить.

— Прием?

— Не пугайся, он состоится не завтра вечером. Понимаю, ты очень занят, но я хочу созвать гостей через три месяца по очень важному и совершенно особенному поводу, поэтому обещай мне, что в назначенный вечер окажешься дома, а не где-нибудь в Миннесоте, Колорадо или Калифорнии!

Жена смотрела на него как-то по-особенному. Она говорила одновременно и слишком непринужденно, и излишне целеустремленно, невинность ее улыбки явно сочеталась с припрятанным в рукаве козырем.

— Ровно через три месяца? — переспросил он. — Но ты же знаешь, что какое-нибудь срочное дело всегда может увести меня из города.

— Ну, конечно, знаю! Но разве я не могу заранее договориться с тобой о встрече, как железнодорожный чин, хозяин автозавода или старьевщик… то есть сборщик металлолома? Они утверждают, что ты никогда не пропускаешь деловые встречи. Конечно, я могу предложить тебе выбрать самую удобную для тебя дату. — Она посмотрела на него снизу вверх исподлобья с ноткой кокетства и спросила, пожалуй, слишком непринужденно и чересчур осторожно: — Я имею в виду десятое декабря, но, быть может, ты пред-

почтешь девятое или одиннадцатое?

— Мне все равно.

Она аккуратно напомнила:

— Десятое декабря — годовщина нашей свадьбы, Генри.

Все теперь вглядывались в его лицо. Но если они рассчитывали заметить на нем признаки вины, то увидели лишь слабую недоуменную улыбку. Лилиан не заманит его в ловушку, подумал он, поскольку из нее так легко ускользнуть, отказавшись признавать какую-либо вину в своей забывчивости и не согласившись на вечеринку; она понимала, что единственным ее оружием является его чувство к ней. Она хотела, решил он, косвенным образом и не теряя самолюбия, испытать его чувства и признаться в собственных. Прием он не считал праздником, но Лилиан относилась к таким событиям иначе. С его точки зрения, подобное мероприятие ничего не значило; в ее глазах оно было высшим даром, который она могла принести и ему, и их браку. Следовало уважать желания жены, пусть даже образ ее мыслей и не отвечает его нормам, пусть даже он не уверен, нужны ли ему от нее какие-либо знаки внимания, она вправе получить то, что хочет. И Риарден улыбнулся, широко

и открыто, признавая ее победу.

— Хорошо, Лилиан, — проговорил он негромко, — обещаю быть дома вечером десятого декабря.

— Спасибо тебе, дорогой. — В замкнутой улыбке ее таилось нечто загадочное, и Риарден удивился тому, что на мгновение ему показалось, будто ответ его разочаровал всех присутствующих.

«Если она доверяет мне, — думал он, — значит, ее чувство ко мне еще не умерло, и, следовательно, я не вправе обмануть эту веру». Он должен был произнести эти слова, ибо они, как линза, позволяли сфокусировать мысли, а других слов на сегодня у него просто не было.

— Прости меня за сегодняшнее опоздание, Лилиан, просто сегодня у нас на заводе была первая плавка риарден-металла.

После общей паузы Филипп произнес:

— Вот здорово.

Остальные промолчали.

Риарден опустил руку в карман. И когда он вновь прикоснулся к браслету, знакомое ощущение мгновенно вытеснило из его головы все на свете; он вновь почувствовал то самое, что и там, перед струей расплавленного металла.

— Я принес тебе подарок.

Роняя металлическую цепочку на колени Лилиан, он не знал, что держится нарочито прямо и что движение его руки повторяет жест крестоносца, вернувшегося с трофеями к любимой.

Лилиан Риарден подобрала вещицу, растянула ее между двумя пальцами и поднесла к свету. Тяжелые, грубой работы звенья отливали странным иссиня-зеленым блеском.

— Что это? — спросила она.

— Первая вещь, сделанная из риарден-металла первой плавки.

— Ты хочешь сказать, — проговорила она, — что цена ей такая же, как и куску железнодорожного рельса?

Риарден недоуменно посмотрел на нее.

Лилиан позвенела браслетом, блеснувшим на свету.

— А знаешь, Генри, чудесная мысль! Чудесная и оригинальная! Я стану сенсацией в Нью-Йорке, когда начну носить украшения, сделанные из того же материала, что балки мостов, моторы автомобилей, кухонные печи, пишущие машинки, и — как это ты сам говорил вчера, дорогой, — суповые кастрюльки?

— Боже, Генри, да ты просто зазнайка! — проговорил Филипп.

Лилиан рассмеялась:

— Он сентиментален. Как и всякий мужчина. Но, дорогой, я ценю твой подарок. Не сам дар, но намерение.

— Если ты спросишь меня, то я скажу, что намерение было самое эгоистичное, — сказала мать Риардена. — Другой мужчина, собравшись сделать жене подарок, принес бы браслет с бриллиантами, который доставил бы удовольствие и ей, а не только ему самому. Однако Генри считает, что, раз уж он сделал новую разновидность жести, все вокруг должны ценить ее выше алмазов, просто потому что это *он* сделал ее. Таким он был с пяти лет — более самонадеянного ребенка я не встречала и, конечно, могла только предполагать, что из него вырастет самый эгоистичный мужчина на свете.

— Нет, это очень мило, — проговорила Лилиан, — просто очаровательно.

Она уронила браслет на стол, встала, опустила ладони на плечи Риардена и, приподнявшись на цыпочки, поцеловала его в щеку:

— Спасибо, дорогой.

Он не шевельнулся, не стал наклонять голову навстречу ласке. Чуть помедлив, он снял пальто и сел возле огня, в стороне от остальных. Ри-

арден не ощущал ничего, кроме колоссальной усталости.

Он не прислушивался к их разговору, догадываясь, что там, вдалеке, Лилиан спорит с его матерью, защищая мужа.

— Я его лучше знаю, — возражала мать, — ни человек, ни зверь, ни растение не интересуют Хэнка Риардена, если только они каким-то образом не связаны с ним самим и его работой. Он способен думать только о ней. Я изо всех сил пыталась научить его некоторому смирению, пыталась всю свою жизнь, но мне не удалось этого сделать.

Риарден предлагал матери неограниченные средства, позволявшие жить где угодно и как заблагорассудится, и не понимал причин, по которым она настояла на совместном проживании с ним. Риарден предполагал, что его успех имел для нее какое-то значение и таким образом как-то связывал их, другой связи он не признавал; и если его мать захотела жить в доме преуспевающего сына, он не желал отказывать ей в этом праве.

— Мама, незачем делать из Генри святого, — проговорил Филипп. — Он не предназначен для этой роли.

— Ах, Филипп, ты ошибаешься! — отозвалась Лилиан. — Ты невероятно ошибаешься! У Генри есть все задатки святого. В этом-то и беда.

«Чего им нужно от меня? — думал Риарден. — Чего они добиваются?» Он никогда и ничего не просил ни у кого из них; это они стремились владеть им, это они предъявляли ему постоянные претензии, причем претензии эти имели облик привязанности, которую, впрочем, ему было труднее переносить, чем любую разновидность ненависти. Риарден презирал беспричинное сочувствие в такой же мере, в какой презирал незаслуженное богатство. По какой-то неведомой причине эти люди взялись любить его, не желая при этом знать, за что ему хотелось быть любимым. Интересно было бы знать, какого рода реакции с его стороны намеревались они добиться подобным путем, если, конечно, им вообще нужна была его реакция.

«А ведь она нужна им, — подумал Риарден, — даже любопытна; зачем иначе эти постоянные жалобы, непрекращающиеся обвинения в безразличии? Откуда эта хроническая подозрительность, словно им *хочется* почувствовать себя задетыми?» У него никогда не было желания сделать кому-нибудь из них больно, однако он

всегда ощущал в них эту боязливую укоризну; их, похоже, ранило каждое его слово, и дело было не в его словах или действиях; получалось… да, получалось так, что их ранил уже сам факт его существования. «Не надо придумывать всякую чушь», — резко осадил он себя, пытаясь применить к решению этой загадки самые строгие критерии своего беспощадного чувства справедливости. Не поняв своих родственников, он не имел права судить их; а понять их он не мог.

Нравятся ли они ему? Нет, подумал Риарден; их надо *полюбить*, что не совсем одно и то же. Риарден хотел этого во имя некоего несформулированного потенциала, который когда-то пытался обнаружить в каждом человеческом существе. Теперь он ничего не ощущал по отношению к этим людям, ничего, кроме безжалостного нуля, безразличия… он даже не сожалел о потере. Нуждался ли он в том, чтобы какой-нибудь человек вошел как неотъемлемая часть в его собственную жизнь? Ощущал ли нехватку желанного чувства? Нет, подумал он. Тосковал ли по нему? Да, решил он, в годы юности; но не теперь.

Утомление нарастало. Риарден понял, что причиной его была скука.

Однако ее следовало скрывать, он обязан проявлять любезность по отношению к этим людям, подумал сидевший в неудобной позе Риарден, преодолевая желание уснуть, уже превращавшееся в физическую боль.

Глаза его уже закрывались, когда он ощутил на своей руке прикосновение двух мягких липких пальцев. Пол Ларкин придвинул к нему свое кресло и уже склонялся для приватного разговора:

— Хэнк, мне безразлично, что говорят на эту тему в отрасли, но риарден-металл — великая вещь, великая, и она принесет тебе состояние, как и все, к чему ты прикасаешься.

— Да, — согласился Риарден, — принесет.

— Просто… просто я надеюсь, что ты не попадешь с ним в беду.

— Какую беду?

— Ах, ну не знаю… просто сейчас… есть люди, которые… как бы это сказать… все может случиться…

— Что может случиться?

Ларкин сидел, сгорбившись, молящие, ласковые глаза смотрели снизу вверх. Его короткое полное тело всегда казалось беззащитным и незавершенным, он словно бы нуждался в раковине,

в которую можно было нырнуть при первом прикосновении неизвестной опасности. Тоскливые глаза, потерянная, беспомощная, просительная улыбка служили заменой этой раковине. Улыбка обезоруживала, она годилась разве что мальчишке, отдающемуся на милость непостижимой вселенной. Ларкину было пятьдесят три года.

— У тебя нет хорошей рекламы, Хэнк, — сказал он, — пресса всегда не жаловала тебя.

— Ну и что?

— Ты не популярен, Хэнк.

— Ни разу не слышал, чтобы мои заказчики были чем-то недовольны.

— Я не о том. Тебе нужно нанять хорошего пиарщика, чтобы он продавал тебя публике.

— Зачем? Я торгую сталью.

— Но ты же не хочешь, чтобы публика была настроена против тебя. Общественное мнение, знаешь ли, вещь ценная.

— Не думаю, чтобы общество было настроено против меня. И еще я считаю, что любят меня или нет, не имеет никакого значения.

— Газеты настроены против тебя.

— У них есть свободное время. У меня его нет.

— Мне это не нравится, Хэнк. Это нехорошо.

— Что?

— То, что они пишут о тебе.

— И что же они пишут обо мне?

— Ну ты сам это знаешь. Что ты упрям. Что ты безжалостен. Что ты никому не позволяешь разделить с тобой участие в управлении своими заводами. Что единственная твоя цель — делать сталь и вместе с ней деньги.

— Но это и есть моя единственная цель.

— Ты не должен этого говорить.

— Почему же? И что должен я говорить?

— Ну не знаю… но твои заводы…

— Они ведь мои, не правда ли?

— Да, но… но ты не должен слишком громко напоминать об этом людям… Ты знаешь, как сейчас с этим… Они считают твою позицию антиобщественной.

— Их мнение мне абсолютно безразлично.

Пол Ларкин вздохнул.

— В чем дело, Пол? На что ты намекаешь?

— Ни на что… ни на что, в частности. Только в наше время никто не может сказать заранее, что может случиться… Приходится быть осторожным…

Риарден усмехнулся:

— Не пытаешься ли ты *позаботиться* обо мне, а?

— Просто я твой друг, Хэнк. Я тебе друг. И ты знаешь, как я восхищаюсь тобой.

Пол Ларкин всегда был неудачником. Все, что он начинал, складывалось посредственным образом, не приводя ни к полному провалу, ни к успешному завершению. Он был бизнесменом, однако никак не мог надолго закрепиться в какой-нибудь отрасли. В настоящее время он пытался удержаться на плаву вместе со скромным заводом, производившим оборудование для рудников.

Пребывая в трепетном восхищении перед Риарденом, человек этот лип к нему многие годы. Он приходил за советом, иногда — не часто — просил взаймы; суммы были умеренными, и он всегда возвращал их, хотя и не всегда в срок. Похоже, что на подобную дружбу его подвигала присущая анемичной персоне потребность впитывать жизненные силы из непосредственного контакта с человеком, ими переполненного.

Наблюдая за деятельностью Ларкина, Риарден невольно вспоминал муравья, изнемогающего под тяжестью хвоинки. То, что трудно ему, не требует от меня никакого усилия, думал Риарден, наделяя друга советом, а также — при возможности — тактичным и терпеливым вниманием.

— Я твой друг, Хэнк.

Риарден вопросительно посмотрел на гостя.

Ларкин отвернулся, как бы что-то обдумывая, и после некоторой паузы осторожно спросил:

— А как дела у твоего человека в Вашингтоне?

— Нормально, надеюсь.

— В этом следует быть уверенным. Это важно. — Он посмотрел на Риардена и повторил с подчеркнутой настойчивостью, как бы исполняя трудный моральный долг: — Хэнк, это очень важно.

— Полагаю, что так.

— На самом деле, я приехал сюда, чтобы сказать тебе именно это.

— По какой-то конкретной причине?

Подумав, Ларкин решил, что выполнил свой долг:

— Нет.

Тема эта была неприятна Риардену. Он понимал, что следует иметь человека, который будет защищать его интересы в законодательных органах; все предприниматели располагали подобными людьми. Однако сам он никогда не уделял особого внимания этой стороне своего дела и никогда не мог убедить себя в том, что она действительно необходима.

Всякий раз, когда он пытался задуматься над тем, что некто за деньги должен лоббировать интересы компании в верхах, его останавливало некое отвращение, состоявшее из смеси скуки и брезгливости.

— К сожалению, Пол, — принялся он рассуждать вслух, — к этому делу приходится привлекать совершенно никчемных людей.

Отвернувшись в сторону, Ларкин произнес:

— Такова жизнь.

— И черт меня побери, если я понимаю причину. Ты способен назвать ее мне? *Что* в мире идет не так?

Ларкин скорбно пожал плечами:

— Зачем задавать бесполезные вопросы? Насколько глубок океан? Как высоко небо? И кто такой Джон Голт?

Риарден распрямился в кресле.

— Нет, — произнес он отрывисто. — Нет. Нельзя позволять себе подобные настроения.

Риарден встал. Утомление оставило его, едва речь зашла о деле. Он ощутил бунтарский порыв, потребность вернуть и заново утвердить свой собственный взгляд на бытие, смысл которого он так остро ощущал сегодня по дороге домой и которому ныне угрожало что-то безымянное.

Чувствуя возвращение энергии, Риарден зашагал по комнате. Он посмотрел на своих родных: бестолковые и несчастные дети, все, в том числе и его матушка; глупо обижаться на их недомыслие; оно является следствием беспомощности, а не злого умысла. И именно ему следует научиться понимать их — он может передать им свою радостную и беспредельную силу, которую они не в состоянии ощутить.

Он посмотрел на противоположную сторону комнаты. Его мать увлеченно разговаривала о чем-то с Филиппом; однако он отметил, что увлеченность эту нельзя было назвать подлинной, оба они были взволнованы. Филипп сидел в низком кресле — живот выступил вперед, спина сгорблена, — словно бы наказывая всех окружающих жалким неудобством своей позы.

— Что с тобой случилось, Фил? — спросил Риарден, подходя к брату. — Выглядишь усталым.

— Тяжелый выдался день, — ответил Филипп угрюмо.

— Не один ты на свете работаешь, — вступила в разговор мать. — У других тоже есть свои проблемы, пусть и не такие, как у тебя: транс-, суперконтинентальные и на миллион долларов.

— Ну это хорошо. Я всегда полагал, что Фил

должен найти себе интересное дело.

— Хорошо? Ты хочешь сказать, что тебе приятно видеть твоего брата надрывающимся на работе до потери пульса? Тебе это приятно, не так ли? Я всегда так считала.

— Ну что ты, мама. Я рад помочь.

— Тебе не придется помогать. Ты не обязан сочувствовать кому-нибудь из нас.

Риарден не знал, чем занимается или хочет заниматься его брат. Он посылал Филиппа в колледж, однако тот так и не сумел остановиться на какой-либо конкретной сфере деятельности. С точки зрения Риардена, если мужчина не стремится к прибыльной работе, то с ним что-то не так, однако он не чувствовал себя вправе внушать свои принципы Филиппу; он мог содержать своего брата, не замечая расходов. Пусть себе живет, считал Риарден, пусть получит шанс начать собственную карьеру, не борясь за существование.

— И чем же ты сегодня занимался, Фил? — спросил Риарден терпеливо.

— Это не заинтересует тебя.

— Я хочу знать и поэтому спрашиваю.

— Мне пришлось встретиться с двадцатью людьми по всему городу, от Реддинга до Уил-

мингтона.

— И зачем они тебе понадобились?

— Я пытаюсь собрать деньги для «*Друзей Глобального Прогресса*».

Риарден никогда не мог упомнить те многочисленные организации, с которыми связывался Филипп, или получить ясное представление об их деятельности. В последние несколько месяцев Филипп время от времени упоминал о неких «*Друзьях Прогресса*». Братство это как будто бы занималось бесплатными лекциями по психологии, народной музыке и сельскохозяйственной кооперации. Риарден питал пренебрежение к подобного рода группам и не видел причин для более внимательного изучения их природы.

Он молчал. И Филипп добавил без приглашения с его стороны:

— Нам нужно собрать десять тысяч долларов для осуществления жизненно важной программы. Собирать деньги — это муки мученические. В людях не осталось даже искорки общественного самосознания. И когда я вспоминаю тех раздувшихся денежных мешков, которых видел сегодня… на прихоти свои они тратят куда больше, однако я не сумел выжать ни из кого и сотни баксов, хотя больше не просил. У них не осталось

чувства морали и долга… Чему ты смеешься?

Риарден стоял перед ним, ухмыляясь.

«Детская наивность, — подумал Риарден, — беспомощная и грубая работа: сразу и оскорбление, и намек. Филиппа нетрудно было бы раздавить, ответив на оскорбление оскорблением, которое будет смертоносным уже потому, что оно справедливо, — но произнести его невозможно. Бедный дуралей, конечно, понимает, что отдался на мою милость, понимает, что может получить суровый отпор, поэтому мне незачем оскорблять его, но, поступив иначе, я дам лучший ответ, который он не сумеет не оценить. В какой же нищете живет на самом деле Филипп, что она настолько исковеркала его?»

И тогда Риарден вдруг подумал, что может разом разрушить хроническое неудовольствие Филиппа, одарить его неожиданной радостью, исполнением безнадежного желания. Он думал: «Какая мне разница, чего именно он хочет? Желание принадлежит ему, как риарден-металл мне… и оно должно означать для него то же, что мой металл для меня… пусть хоть раз побудет счастливым, это чему — нибудь да научит его… разве не я говорил, что счастье делает благородным?.. Сегодня у меня праздник, пусть получит в нем

свою долю — такую весомую для него и такую малую для меня».

— Филипп, — проговорил он с улыбкой, — завтра утром зайди ко мне в кабинет, к мисс Айвс. Она передаст тебе чек на десять тысяч долларов.

Филипп смотрел на него ничего не выражающими глазами, в которых не было ни потрясения, ни удовольствия, только одна остекленевшая пустота.

— О, — проговорил Филипп, а потом добавил: — Мы весьма ценим твой жест.

В голосе его не было никакого чувства, даже простейшей жадности.

Риарден не мог разобраться в собственных переживаниях: внутри него словно бы обрушивалась какая-то свинцовая пустота, он ощущал и этот вес, и этот вакуум. Он понимал, что испытывает разочарование, однако не знал, почему оно сделалось настолько серым и уродливым.

— Очень мило с твоей стороны, Генри, — сухо поблагодарил Филипп. — Я удивлен. Вот уж не ожидал от тебя.

— Разве ты ничего не понял, Фил? — произнесла Лилиан особенно чистым и певучим голосом. — Сегодня у Генри прошла плавка его металла.

Она повернулась к Риардену:

— Объявим этот день национальным праздником, дорогой?

— Ты — хороший человек, Генри, — проговорила его мать и добавила: — однако бываешь им не слишком часто.

Риарден стоял и смотрел на Филиппа, словно бы выжидая.

Филипп посмотрел в сторону, а потом взглянул Риардену прямо в глаза, отвечая на вызов.

— Тебе действительно интересно помогать неимущим? — спросил Филипп, и Риарден, не веря своим ушам, услышал в его голосе укоризну.

— Нет, Фил, они мне совершенно безразличны. Я просто хотел порадовать тебя.

— Но деньги предназначаются не мне. Я собираю их не по личным мотивам. В этом деле я не преследую ничего корыстного. — В холодном голосе его пела нотка горделивой добродетели.

Риарден отвернулся. Он ощутил внезапное отвращение: не потому что слова брата были полны ханжества, но потому, что тот говорил правду и сказал именно то, что думал.

— Кстати, Генри, — добавил Филипп, — можно я попрошу, чтобы мисс Айвз выдала мне эту сумму наличными?

Озадаченный Риарден повернулся к нему.

— Видишь ли, «*Друзья Глобального Прогресса*» — группа весьма прогрессивная, и они всегда видели в тебе самого черного ретрограда во всей стране; их смутит твое имя в наших подписных листах, потому что тогда нас могут обвинить, что мы находимся на содержании Хэнка Риардена.

Ему захотелось дать Филиппу пощечину. Однако почти непереносимое презрение заставило вместо этого зажмурить глаза.

— Хорошо, — сказал он негромко, — ты получишь деньги наличными.

Отойдя в дальний угол комнаты, к окну, он застыл возле него, вглядываясь в далекое зарево над заводом.

Ларкин простонал, обращаясь к нему:

— Черт побери, Хэнк, зачем ты даешь ему эти деньги?

Холодный и веселый голос Лилиан пропел возле него:

— Ты ошибаешься, Пол, как же ты ошибаешься! Что бы случилось с тщеславием Генри, если бы нас не было рядом, если бы вдруг оказалось, что некому швырнуть подаяние? Что стало бы с его силой, если бы рядом не оказалось слабых, над которыми можно властвовать? И что про-

изойдет с ним самим, если не окажется рядом нас, зависящих от него? Это вполне справедливо, я не осуждаю его, такова человеческая природа.

Подобрав браслет, она подняла его — металл блеснул в свете люстры.

— Цепь, — проговорила она. — Как точно, не правда ли? Это и есть та самая цепь, которой он привязывает всех нас к себе.

ГЛАВА III. ВЕРХ И НИЗ

Потолок здесь был, как в погребе, такой тяжелый и низкий, что, пересекая комнату, люди пригибались, словно перекрытия лежали на их плечах. В каменных стенах, будто бы изъеденных веками и сыростью, были выдолблены округлые кабинки, обтянутые красной кожей. Окон не было, и из прорех в кладке сочился мертвенный синий свет, каким пользуются при затемнении. Сюда входили по сбегающим вниз узким ступенькам, словно бы спускаясь под землю. Так выглядел самый дорогой бар Нью-Йорка, устроенный на крыше небоскреба.

За столиком сидело четверо мужчин. Вознесенные на шестьдесят этажей над городом, они говорили, но не громовыми голосами, которым подобает вещать из поднебесья; голоса их оставались приглушенными, как в каком-нибудь настоящем погребке.

— Условия и обстоятельства, Джим, — произнес Оррен Бойль, — условия и обстоятельства находятся вне всякого контроля со стороны человека. Мы сделали все, чтобы поставить эти рельсы, однако помешали непредвиденные обстоятельства,

которых никто не мог ожидать. Если бы только, Джим, ты предоставил нам такую возможность…

— На мой взгляд, истинной причиной всех социальных проблем, — неторопливо проговорил Джеймс Таггерт, — является отсутствие единства. Моя сестрица пользуется известным авторитетом среди части наших акционеров. И мне не всегда удается противостоять их подрывной тактике.

— Ты правильно сказал, Джим. Именно в отсутствии единства заключается наша беда. Я абсолютно уверен, что в современном сложном промышленном обществе ни одно деловое предприятие не способно преуспеть, не приняв на себя часть проблем других производств.

Таггерт отхлебнул из бокала и отставил его:

— Им надо уволить бармена.

— Возьмем, для примера, «*Ассошиэйтед Стил*». Мы располагаем самым современным оборудованием в стране и лучшей организацией производства. С моей точки зрения, факт этот следует назвать неоспоримым, поскольку именно мы в прошлом году получили премию журнала «*Глоб*» за промышленную эффективность. И поэтому мы считаем, что сделали все возможное, и никто не вправе критиковать нас. Но что делать нам, если ситуация с железной рудой

превратилась в общенациональную проблему. Мы не сумели найти руду, Джим.

Таггерт молчал. Он сидел, чуть наклонившись вперед, широко уложив оба локтя на крышку маленького стола и стесняя тем самым троих своих собеседников, однако те не оспаривали привилегию железнодорожного босса.

— Теперь никто не в состоянии отыскать руду, — говорил Бойль. — Естественное истощение залежей, износ оборудования, нехватка материалов, трудности с перевозкой и прочие неизбежные сложности.

— Горнорудная промышленность рушится. И при этом губит мой бизнес, поставку оборудования для рудников, — заявил Пол Ларкин.

— Доказано, что каждый бизнес зависит от всех прочих, — изрек Оррен Бойль. — Поэтому всем нам приходится нести часть чужого бремени.

— Святая истина, — поддакнул Уэсли Моуч. Однако на него, как всегда, никто не обратил никакого внимания.

— Моя цель, — продолжил Оррен Бойль, — заключается в сохранении свободной экономики. Принято считать, что в наше время она подвергается испытанию. Если она не докажет своей социальной ценности и не примет на себя

обязанностей перед обществом, люди не станут ее поддерживать. Если она не заручится поддержкой в народе, с ней будет покончено, не ошибайтесь на этот счет.

Оррен Бойль возник из ниоткуда пять лет назад, и с тех пор имя его не сходило с обложек всех журналов страны. Он начал с собственного капитала в сто тысяч долларов и правительственного займа в две сотни миллионов. В данный момент он возглавлял колоссальный концерн, поглотивший множество более мелких компаний. Этот факт, как он любил говорить, доказывал, что одаренная личность пока еще может преуспеть в этом мире.

— Единственным оправданием частной собственности, — проговорил Оррен Бойль, — является служба общественным интересам.

— В этом, на мой взгляд, нельзя усомниться, — сказал Уэсли Моуч.

Оррен Бойль звучно глотнул. Этот крупный мужчина наполнял все вокруг себя шумными, по-мужски широкими жестами; он производил впечатление человека, переполненного жизнью, если не смотреть в узкие черные щелочки глаз.

— Джим, — проговорил он, — риарден-металл — это просто колоссальная афера.

— Угу, — буркнул Таггерт.

— Я еще не слышал положительного отзыва о нем ни от одного эксперта.

— Да, ни от одного.

— Мы совершенствовали стальные рельсы не одно поколение, увеличивая при этом их вес. Верно ли, что рельсы из риарден-металла оказываются более легкими, чем изготовленные из самой дешевой стали?

— Верно, — кивнул Таггерт. — Легче.

— Но это же вздор, Джим. Это невозможно физически. Для твоей загруженной скоростной главной колеи?

— Именно так.

— Ты накликаешь на себя несчастье.

— Не я, а моя сестра.

Таггерт неторопливо покрутил между пальцами ножку бокала.

Все примолкли.

— Национальный совет металлургической промышленности, — сказал Оррен Бойль, — принял резолюцию, требующую назначить комиссию для расследования вопроса о риарден-металле, поскольку применение его может представлять собой угрозу для общества.

— С моей точки зрения, это чрезвычайно ра-

зумно, — сказал Уэсли Моуч.

— Если согласны все, — голос Таггерта вдруг сделался пронзительным, — если люди единодушны в своем мнении, как может возражать им один-единственный человек? По какому праву? Вот что хочу я знать: по какому праву?

Взгляд Бойля был устремлен прямо на Таггерта, однако в неярком свете черты его расплывались… он увидел только бледное, слегка голубоватое пятно.

— Когда мы думаем о природных ресурсах во времена их критической нехватки, — негромко промолвил Бойль, — когда мы думаем о том, что основное сырье расходуется на безответственные эксперименты частного предпринимателя, когда мы думаем о руде…

Не договорив, он вновь посмотрел на Таггерта. Однако тот явно понимал, что Бойль передает ему слово, и находил удовольствие в молчании.

— Общество, Джим, обладает правом решающего голоса, когда речь идет о природных ресурсах, таких как железная руда. Общество не может оставаться безразличным к неосмотрительной и эгоистичной трате сырья антиобщественным типом. В конце концов, частная собственность представляет собой всего лишь общественное по-

печение над производством, предпринимаемое ради блага всего общества.

Таггерт посмотрел на Бойля и улыбнулся; улыбка его как бы говорила, что мнение его в известной мере совпадает со словами собеседника:

— Здесь подают помои вместо коктейля. На мой взгляд, такую цену нам приходится платить за отсутствие здесь толпы, всякого сброда. Но мне хотелось бы дать им понять, что они имеют дело со знатоками. Поскольку завязки моего кошелька находятся в моих руках, я полагаю, что могу тратить свои деньги по собственному усмотрению.

Бойль не ответил; лицо его сделалось угрюмым.

— Послушай, Джим… — начал было он.

Таггерт улыбнулся:

— Что? Я слушаю тебя.

— Джим, конечно, ты согласишься с тем, что нет ничего губительнее монополии.

— Это так, — произнес Таггерт, — с одной стороны. Но с другой — ничем не ограниченная конкуренция не менее опасна.

— Верно. Совершенно верно. Правильный курс, по моему мнению, всегда пролегает посередине между двумя крайностями. И поэтому, на мой взгляд, общество обязано обрезать крайности,

не правда ли?

— Это так, — сказал Таггерт, — согласен.

— Рассмотрим состояние дел в железорудной промышленности. Общеваловая национальная добыча руды сокращается с непристойной быстротой, что угрожает самому существованию сталеплавильной промышленности. По всей стране закрываются сталелитейные заводы. И только одной горнодобывающей компании везет, только она одна не поражена общим кризисом. Ее продукция продается повсюду и всегда поставляется в соответствии с условиями договора. И кому это выгодно? Никому — кроме ее владельца. Честно это, по-твоему?

— Нет, — согласился Таггерт, — это нечестно.

— У основной доли производителей стали нет собственных рудников. И как мы можем конкурировать с человеком, который сумел отхватить внушительную долю созданных Богом природных ресурсов? Разве удивительно, что он всегда поставляет свою сталь, в то время как нам приходится бороться, ждать, терять клиентов, бросать свое дело? Разве интересы общества позволяют одному человеку губить целую отрасль?

— Нет, — согласился Таггерт, — не позволяют.

— Мне кажется, целью национальной поли-

тики должно быть предоставление каждому равных возможностей и собственной доли железной руды, что привело бы к сохранению всей отрасли в целом. Как ты считаешь?

— Я согласен с тобой.

Бойль вздохнул. А потом осторожно сказал:

— Но как мне кажется, в Вашингтоне не найдется достаточного количества людей, способных понять прогрессивные тенденции в общественной политике.

Таггерт неторопливо проговорил:

— Такие люди есть. Конечно, их немного, и не так уж легко к ним пробиться, однако они есть. Я могу поговорить с ними.

Взяв свой бокал, Бойль опорожнил его одним глотком, словно уже услышал то, что хотел бы услышать.

— Кстати, о прогрессивной политике, Оррен, — заметил Таггерт, — не задашься ли ты следующим вопросом: в интересах ли общества во время транспортных перебоев, когда одна за одной лопаются железные дороги и целые области остаются без железнодорожного сообщения, самым расточительным образом дублировать линии и затевать разрушительную — кто кого съест — конкуренцию в тех районах, где старые

компании обладают историческим приоритетом?

— Ну вот, — бодрым тоном проговорил Бойль, — какой интересный вопрос ты поднял. Придется обсудить его с моими друзьями из Национального железнодорожного альянса.

— Дружба, — произнес Таггерт как бы в порядке праздной абстракции, — ценнее золота.

И он неожиданно повернулся к Ларкину:

— А ты как считаешь, Пол?

— Ну… да, — несколько удивленный тем, что к нему вообще обратились, согласился тот. — Да, конечно.

— Я рассчитываю на твою дружбу.

— Гм?

— Я рассчитываю и на твоих многочисленных друзей.

Все они, похоже, знали, почему Ларкин не ответил сразу; плечи его поникли, опустились к столу.

— Если все выступят за общую цель, тогда никто не пострадает! — вдруг воскликнул он голосом, полным совершенно неуместного в данной ситуации отчаяния и, поймав на себе взгляд Таггерта, с мольбой добавил: — Мне бы не хотелось причинить кому-нибудь вред.

— Это антиобщественная позиция, — с расстановкой произнес Таггерт. — Тот, кто боится принести в жертву другого человека, не имеет права говорить об общей цели.

— Но я изучаю историю, — торопливо произнес Ларкин. — И признаю историческую необходимость.

— Хорошо, — сказал Таггерт.

— Я же не могу сопротивляться общемировой тенденции, не так ли? — Ларкин словно просил, обращая свою просьбу неведомо к кому. — не могу ведь?

— Не можете, мистер Ларкин, — проговорил Уэсли Моуч. — И нас с вами не будут винить, если мы…

Ларкин резко вздрогнул, его как током ударило; он просто не мог смотреть на Моуча.

— Кажется, ты неплохо провел время в Мексике, Оррен? — спросил Таггерт голосом, вдруг ставшим громким и непринужденным. Все понимали, что цель собрания достигнута: то, ради чего они здесь собрались, исчерпано.

— Чудесный край, эта Мексика, — бодрым тоном ответил Бойль. — Бодрит, рождает мысли. Правда, кормят ужасно. Я даже заболел. Но они изо всех сил стараются поставить страну на но-

ги.

— И как там идут дела?

— Великолепно, на мой взгляд, просто великолепно. Правда, в настоящий момент они... тем не менее мы ведем дела с прицелом на будущее. У Мексиканской Народной Республики огромное будущее. Через несколько лет они перегонят нас.

— А ты был на рудниках Сан-Себастьян?

Все четверо за столом выпрямились и напряглись; все они вложили немалые средства в эти рудники.

Бойль ответил не сразу, и потому голос его прозвучал неожиданно и неестественно громко:

— Ну конечно, именно этого я и хотел в первую очередь.

— Ну и?

— Что «ну и»?

— Как там идут дела?

— Отлично. Великолепно. Внутри этой горы, должно быть, спрятаны самые большие залежи меди на Земле!

— А как там насчет деловой активности?

— Никогда в жизни не видел большей.

— И чем же они там заняты с такой активностью?

— Ну, знаете ли, тамошний латинос-управляю-

щий говорил на таком жутком английском, что я не понял и половины. Но работают они много, это точно.

— Э… какие-нибудь неприятности?

— Неприятности? Только не в Сан-Себастьяне. Это частная компания, последняя во всей Мексике, в этом и вся разница.

— Оррен, — осторожно спросил Таггерт, — а что это за слухи о планируемой национализации рудников Сан-Себастьян?

— Клевета, — сердитым тоном бросил Бойль, — явная и злобная клевета. Я точно знаю. Я ужинал с министром культуры и обедал с остальными парнями.

— Кажется, есть какой-то закон против распространителей безответственных слухов, — угрюмым тоном промолвил Таггерт. — Давайте пропустим еще по маленькой.

Он раздраженно махнул официанту. В темном уголке зала прятался небольшой бар, за которым давно, без всякого движения, застыл пожилой бармен. Отреагировав на призыв, он двинулся с места с высокомерной медлительностью. Хотя по долгу службы ему полагалось всячески помогать людям отдохнуть и получить удовольствие, он выглядел скорее как озлобленный эскулап,

обслуживающий больных нехорошей болезнью.

Все четверо сохраняли молчание, пока официант не принес им напитки. Оставленные им на столе бокалы в полутьме превратились в голубые блики, похожие на слабое пламя газовой горелки. Протянув руку к своему бокалу, Таггерт вдруг улыбнулся.

— Давайте выпьем за жертвы, принесенные исторической необходимости, — сказал он, глядя на Ларкина.

На мгновение воцарилось молчание; в ярко освещенной комнате эта минута могла превратиться в состязание взглядов двоих мужчин, здесь же они попросту взирали в пустые глазницы друг друга. Наконец, Ларкин взял в руку бокал.

— Я угощаю, ребята, — сказал Таггерт, и они выпили.

Говорить было уже не о чем, и Бойль произнес без особого любопытства:

— Кстати, Джим, я хотел спросить, какая чертовщина происходит с твоими поездами на линии Сан-Себастьян?

— Что, собственно, ты имеешь в виду? Что такого с ними происходит?

— Ну, не знаю, но пускать только один пасса-

жирский поезд в день…

— Один поезд?

— …просто нелепо, на мой взгляд, и потом какой поезд! Должно быть, ты унаследовал эти вагоны еще от прадедушки, который гонял их и в хвост, и в гриву. И в каком медвежьем углу ты отыскал этот паровоз, работающий на дровах?

— Как это на дровах?

— Да вот так, на дровах. Мне еще не приходилось видеть такого, кроме как на фотографиях. Из какого музея ты его стащил?

И не пытайся изобразить неведение, просто скажи мне, что ты затеял?

— Да нет, конечно же, я в курсе, — заторопился с ответом Таггерт. — Просто… просто ты попал туда как раз в ту неделю, когда у нас были проблемы с локомотивами — мы заказали новые, однако вышла небольшая задержка, — ты знаешь, какие проблемы у нас с производителями локомотивов, но это временная задержка.

— Конечно, — согласился Бойль. — С задержками ничего не поделаешь. Но на более чудно́м поезде мне еще не доводилось ездить. Меня там едва не вывернуло наизнанку.

Через несколько минут они заметили, что Таггерт притих.

Казалось, он погрузился в себя. И когда он резким движением, без каких-либо объяснений, поднялся, все последовали его примеру, усмотрев в этом приказ.

Ларкин пробормотал с вымученной улыбкой:

— Мне было так приятно, Джим, очень приятно. Так рождаются великие проекты — за выпивкой с друзьями.

— Общественные реформы происходят медленно, — холодным тоном молвил Таггерт. — И нужно быть терпеливым и осторожным.

Он впервые повернулся к Уэсли Моучу:

— Что мне нравится в вас, Моуч, так это то, что вы не слишком говорливы.

Уэсли Моуч был человеком Риардена в Вашингтоне.

Закат еще не погас на небе, когда Таггерт и Бойль вышли на улицу у подножья небоскреба. Факт этот немного удивил обоих — от полумрака в баре создавалось впечатление, что на улице их ждет полночная тьма. На фоне заката вырисовывалось высокое здание, острое и прямое, как занесенный меч. Вдалеке за ним в воздухе висел календарь.

Таггерт с досадой принялся возиться с воротником, застегивая его, чтобы спастись от уличного

холода. Он не намеревался возвращаться сегодня в контору, однако теперь это стало необходимым. Следовало повидать сестрицу.

— …трудное предприятие ожидает нас, Джим, — говорил Бойль, — трудное предприятие, связанное со многими опасностями и сложностями, когда на кон поставлено так много…

— Все зависит… — медленно проговорил Джеймс Таггерт, — от знакомства с нужными людьми… Осталось только узнать, что это за люди.

* * *

Дагни Таггерт было девять лет, когда она обещала себе, что в свое время будет управлять железными дорогами «*Таггерт Трансконтинентал*». Она приняла такое решение, стоя в одиночестве между двух рельсов, глядя на две стальные прямые, уходившие к горизонту и встречавшиеся там в одной точке. Железнодорожная колея прорезала лес, абсолютно с ним не считаясь. Глядя на нее, Дагни испытывала высокомерное удовольствие: дорога была чужда чаще древних деревьев, зеленым ветвям, спускавшимся к вершинам кустов, одиноким диким цветам — однако она существовала. Стальные

рельсы блестели на солнце, а черные шпалы превращались в подобие лестницы, по которой ей надо было подняться.

Решение нельзя было назвать внезапным, скорее, оно было последней словесной печатью, скреплявшей то, что и так было давным-давно ей известно. И молча, не договариваясь, словно бы связанные совершенно излишним обетом, она и Эдди Уиллерс с самых юных лет посвятили себя железной дороге.

Взрослые и дети были скучны и неинтересны Дагни. И то, что жить ей приходится среди скучных людей, она воспринимала как некую грустную случайность, с которой надлежало терпеливо мириться какое-то время. Ей удалось заглянуть в другой мир, и она знала, что он где-то существует: мир, создавший поезда, мосты, телеграфные провода и мигающие в ночи огни семафоров. Надо подождать, решила она, и дорасти до этого мира.

Дагни никогда не пыталась объяснить, почему ей нравится железная дорога. Что бы ни чувствовали остальные, она знала, что такого ощущения им не понять, они попросту лишены его. Похожее чувство она испытывала в школе, на уроках математики. Это был единственный

предмет, который она любила. Ей нравилось волнение, сопутствующее решению задачи, надменный восторг, с которым она принимала вызов и без труда находила решение, готовая к новым, более сложным испытаниям. Одновременно она ощущала все возраставшее уважение к своему сопернику, к науке, такой чистой, строгой и столь возвышенно рациональной. На занятиях математикой в голове ее сразу возникали две простые мысли: «Как здорово, что люди создали эту науку» и «Как прекрасно, что я хорошо в ней разбираюсь». Радость восхищения наукой и собственными способностями возрастала в ней одновременно. Таким же было и то чувство, которое она испытывала к железной дороге: почтение перед гением, создавшим ее; к изобретательности чьего-то логичного, тонкого интеллекта добавлялась тайная улыбка, означавшая, что однажды она поймет, как сделать лучше. Как подобает смиренному ученику, она крутилась возле путей и паровозных депо, однако в смирении этом угадывалась будущая гордость, которую еще следовало заслужить.

«Ты невыносимо самоуверенна» — таким было одно из двух мнений, которые она то и дело слышала о себе все свое детство, хотя никогда

не говорила о своих способностях. Другая версия гласила: «Ты эгоистична». Она пыталась узнать, что значат эти два слова, но так и не получила на них ответа. И смотрела на взрослых, гадая, как им могло прийти в голову, что она будет чувствовать себя виноватой при столь неопределенном обвинении.

Ей было двенадцать, когда она сказала Эдди Уиллерсу, что будет руководить железной дорогой. В пятнадцать лет ей впервые открылось, что женщины железными дорогами не управляют и что люди будут возражать против ее стремления. К черту, решила Дагни, — и мысль эта более не смущала ее.

Она стала работать на «*Таггерт Трансконтинентал*» в шестнадцать лет.

Отец разрешил ей: ему было забавно и чуточку интересно. Она начала с должности ночной дежурной на небольшой сельской станции. Первые несколько лет она работала по ночам, а днем посещала инженерный колледж.

Джеймс Таггерт начал свою карьеру на железной дороге одновременно с сестрой, ему уже исполнился двадцать один год. Он начал свой трудовой путь в отделе по связям с общественностью.

Восхождение Дагни по служебной лестнице «*Таггерт Трансконтинентал*» произошло быстро и никем из мужчин не оспаривалось. Она занимала ответственные посты просто потому, что других кандидатов не было. В ее окружении попадались талантливые люди, но с каждым годом их становилось все меньше. Начальники Дагни боялись ответственности и не решались пользоваться своими полномочиями; они проводили время в попытках уклониться от решений, поэтому она брала на себя руководство, и ее распоряжения выполнялись.

На каждой ступени ее подъема она исполняла служебные обязанности задолго до того, как получала соответствующий пост. Карьера ее напоминала шествие по пустому дому: никто не пытался преградить ей путь, но никто и не одобрял повышений.

Отец удивлялся и гордился ее карьерой: он молчал, но с печалью в глазах смотрел на дочь, оказавшись в ее кабинете. Когда он умер, ей было двадцать девять. «Во главе железной дороги всегда стоял Таггерт» — таковы были его последние слова, обращенные к ней. В устремленных на дочь глазах отца читалось странное выражение: в нем было и приветствие равного,

и сочувствие.

Контрольный пакет акций «*Таггерт Трансконтинентал*» перешел к Джеймсу Таггерту. Ему было тридцать четыре года, когда он стал президентом железной дороги. Дагни ожидала, что совет директоров выберет его, однако она так и не поняла, почему они так поторопились с решением. Они поговорили о традициях, о том, что президент всегда был старшим сыном семьи Таггертов, потом избрали Джеймса Таггерта, чтобы поскорее избежать неопределенности. Они поговорили о его умении «популяризировать железные дороги», его «хорошей прессе», его «вашингтонских контактах». Джеймс необычайно умело добивался расположения властей.

Дагни ничего не знала о его «вашингтонских контактах» и о тех способностях, которые требовались для их поддержания. Однако старания в этой области казались ей необходимыми, посему она отмахнулась от сомнений, решив, что на свете есть много видов работы, малоприятных, но нужных — как, например, чистка сточных труб; кому-то надо брать их на себя, и пусть Джим займется ими, раз ему не противно.

Она не претендовала на президентство, ее заботил только производственный отдел. Когда она

стала выезжать на линию, ненавидевшие Джима старые железнодорожники дружно сказали:

«Во главе дороги всегда останется Таггерт», усмотрев в ней продолжательницу отцовского дела. Против Джима ее восстанавливала уверенность в том, что ему не хватает ума, однако Дагни полагала, что брат не сможет нанести слишком большой ущерб железной дороге, потому что она всегда сумеет исправить последствия его ошибок.

В шестнадцать лет, сидя за столом телефонистки, Дагни провожала взглядом мелькавшие снаружи освещенные окна поездов «*Таггерта*» и думала, что попала в нужный ей мир. За прошедшие с тех пор годы Дагни успела убедиться в том, что это не так. Противник, с которым ей приходилось сражаться, не стоил ни поединка, ни победы; он не был достойным врагом, не был достоин соперничества. Врагом ее была всякая бестолочь, серая хлопковая вата, мягкая и бесформенная, не сопротивлявшаяся ничему и никому, и все же преградой лежавшая на ее пути. Обескураженная, она стояла перед этой загадкой, не понимая, как такое возможно. Ответа не было.

Только в те первые годы она иногда мысленно

молила о встрече с интеллектом, умным, жестким и блистательно компетентным. Ее посещали приступы мучительной потребности в друге или враге, обладателе дарования, превышающего ее собственное. Однако со временем она забыла об этом. У нее было свое дело, но не было времени чувствовать боль, во всяком случае, часто.

Первым этапом железнодорожной политики Джеймса Таггерта стало сооружение линии Сан-Себастьян. Многие несли ответственность за него; но, с точки зрения Дагни, под предприятием этим стояла единственная подпись, имя, сразу затмевавшее все прочие. Имя это стояло под пятью годами труда, под милями убыточной колеи, под листками бумаги с цифрами потерь «*Таггерт Трансконтинентал*», подобных струйке крови, сочащейся из незаживающей раны… Это имя на лентах биржевых аппаратов в тех странах, где еще оставались биржи, и на дымовых трубах, озаренных пламенем медеплавильных печей, стояло в заголовках скандальных статей, значилось оно на пергаментных страницах, сохранивших имена благородных предков, на карточках, вложенных в букеты цветов, попадавших в будуары женщин трех континентов.

Это имя было Франсиско д'Анкония.

В возрасте двадцати трех лет, унаследовав состояние, Франсиско д'Анкония стал известен как медный король всего мира. Теперь, в возрасте тридцати шести лет, он пользовался славой первого богача земли и вместе с тем разнузданного плейбоя. Этому последнему потомку благороднейших семейств Аргентины принадлежали скотоводческие ранчо, кофейные плантации и большинство медных рудников Чили. Ему принадлежала половина Южной Америки, а в качестве разменной мелочи к этой крупной купюре прилагались рудники, рассыпанные по Соединенным Штатам.

Когда Франсиско д'Анкония вдруг приобрел многомильный участок пустынных мексиканских гор, в прессу просочились известия о том, что он обнаружил там огромные залежи меди. Он даже не пытался продавать акции своего нового предприятия; их в буквальном смысле слова добивались, и д'Анкония удостаивал этой чести лишь тех, кого хотел выделить среди просителей. Его финансовое дарование считалось феноменальным; никто и никогда не мог обыграть его ни в одном деле, и он умножал свое немыслимое состояние с каждой очередной сделкой, вместе с каждым предпринятым шагом, когда благово-

лил сделать его. И те, кто более всех остальных порицал его, первыми старались ухватиться за возможность попользоваться его талантом, поживиться долей его нового дохода. Джеймс Таггерт, Оррен Бойль и их приятели принадлежали к числу самых крупных вкладчиков в проект, которому Франсиско д'Анкония дал имя «*Копи Сан-Себастьян*».

Дагни так и не сумела узнать, под чьим влиянием Джеймс Таггерт решил построить железнодорожную ветку из Техаса в глушь, к Сан-Себастьяну. Возможно, он и сам не знал этого: подобно полю, лишенному лесозащитной полосы, он был открыт для всякого дуновения, и итог определялся случаем. Несколько директоров «*Таггерт Трансконтинентал*» возражали против этой идеи. Компания нуждалась во всех своих ресурсах для возобновления линии Рио-Норте и не могла осилить обе стройки одновременно. Однако Джеймс Таггерт был недавно избранным президентом дороги. Шел первый год его правления. И он победил.

Мексика была готова к сотрудничеству и подписала договор, на две сотни лет гарантировавший «*Таггерт Трансконтинентал*» право собственности на построенную железную до-

рогу, притом что в стране подобной частной собственности не существовало. Франсиско д'Анкония получил аналогичную гарантию на свои рудники.

Дагни упорно боролась против строительства линии Сан-Себастьян. Но в ту пору она была всего лишь ассистенткой в производственном отделе и по молодости лет еще не располагала авторитетом, посему желающих прислушаться к ее мнению не нашлось.

И в то время, и впоследствии она так и не сумела понять мотивы, которыми руководствовались сторонники сооружения линии. Присутствуя на одном из заседаний правления в качестве беспомощного наблюдателя, представителя меньшинства, она ощущала странную уклончивость в самой атмосфере собрания, в каждой речи, в каждом приведенном аргументе, словно бы реальная, определившая решение причина была известна всем, кроме нее самой, но так и не прозвучала вслух.

Там говорили о важности будущих торговых связей с Мексикой, об обильном потоке грузовых перевозок и о больших доходах, которые гарантированы монопольному владельцу права на транспортировку неистощимых запасов меди.

Доказательствами служили прошлые достижения Франсиско д'Анкония. Геологические доказательства богатства рудников Сан-Себастьян не приводились. Информация ограничивалась несколькими фактами, которые обнародовал д'Анкония. В большем количестве доказательств здесь и не нуждались.

Было много речей о бедности мексиканцев и о том, как отчаянно нуждаются они в железных дорогах: «У них не будет другого шанса», «Наш долг — помочь слаборазвитому государству. Страна, на мой взгляд, должна приходить на помощь своим соседям».

Она сидела, слушала и думала о тех ветках, от которых «*Таггерт Трансконтинентал*» пришлось отказаться; доходы знаменитой железнодорожной компании год за годом неуклонно сокращались. Она думала о грозной необходимости ремонтов, самым зловещим образом подступившей ко всей дороге.

Политику компании в вопросах обслуживания можно было назвать игрой, точнее, кусочком резины, которую всегда можно растянуть сильнее, а потом еще сильнее.

«На мой взгляд, мексиканцы — очень старательный народ, угнетенный собственной прими-

тивной экономикой. Разве может эта страна стать индустриальной, если никто не протянет ей руку?» «Обдумывая свои вложения, мы обязаны, по моему мнению, считаться, скорее, с людьми, а не с материальными факторами».

Ей представился паровоз, свалившийся в канаву возле линии Рио-Норте, потому что треснула соединявшая рельсы стяжка. Ей вспомнились те пять дней, на которые было остановлено все движение по линии Рио-Норте, потому что рухнула опалубка горного склона и на путях образовался многотонный завал из камней.

«Поскольку человек обязан заботиться о благе своих собратьев, прежде чем обратиться к размышлениям о собственном благе, мне кажется, что американскому народу надлежит подумать о ближайших соседях, прежде чем обращаться к размышлениям о собственной выгоде».

Она думала о прежде неизвестном Эллисе Уайэтте, на которого начинали обращать внимание, поскольку в результате его трудов из умиравших доселе пустынь Колорадо начинал течь поток товаров. И линии Рио-Норте позволили прийти в полное запустение именно тогда, когда возникла потребность в ее максимальном использовании.

«Низменная жадность — это еще не все. Следует учитывать и нематериальные идеи». «Я со стыдом признаюсь себе в том, что мы располагаем огромной сетью железных дорог, в то время как у мексиканского народа насчитывается всего две жалкие линии». «Старинная теория экономической самодостаточности давным-давно рухнула. Одна страна не может процветать посреди умирающего от голода мира».

Дагни подумалось, что «*Таггерт Трансконтинентал*» стала такой, какой была прежде, задолго до ее рождения, когда на учете был каждый наличный рельс, костыль и доллар и когда отчаянно не хватало ни того, ни другого, ни третьего.

На том же самом заседании много было сказано об эффективности мексиканского правительства, полностью управлявшего всеми ресурсами. У Мексики великое будущее, говорили они, буквально через несколько лет страна эта превратится в опаснейшего конкурента. «В Мексике есть дисциплина», — говорили директора с ноткой зависти в голосе.

Джеймс Таггерт дал всем понять — недоговоренными фразами и неопределенными намеками, — что его друзья в Вашингтоне, которых он так и не назвал, хотели бы видеть в Мексике

железнодорожную линию, что подобная линия окажет большое содействие в вопросах международной дипломатии, что добрая воля и мировое общественное мнение более чем оправдают вложения «*Таггерт Трансконтинентал*».

И директорат проголосовал за выделение тридцати миллионов долларов на строительство линии Сан-Себастьян.

Когда Дагни покинула кабинет, в котором проводилось заседание, и вышла на прохладный чистый уличный воздух, в ее опустошенном сознании были лишь два слова: «Уходи отсюда… уходи отсюда…»

«Уходи».

Дагни с изумлением прислушивалась к самой себе. Мысль об уходе из «*Таггерт Трансконтинентал*» не принадлежала к числу тех, которые она могла посчитать здравыми. Она ужаснулась, но не самой этой мысли, а той ситуации, которая породила ее. Гневно качнув головой, она сказала себе, что теперь «*Таггерт Трансконтинентал*» нуждается в ней куда больше, чем прежде.

Двое из директоров подали в отставку, так же поступил и вице-президент, руководивший производственным отделом. Его сменил один из приятелей Джеймса Таггерта. Стальные рель-

сы поползли через мексиканскую пустыню, был отдан приказ уменьшить скорость движения поездов по линии Рио-Норте из-за износа линии. На пыльной и немощеной центральной площади мексиканской деревушки возвели облицованный мрамором и украшенный зеркалами вокзал из железобетона, а на линии Рио-Норте свалился под откос целый состав цистерн с нефтью, превратившихся в обожженный пламенем металлолом, потому что в колее лопнул рельс. Эллис Уайэтт не стал дожидаться суда, чтобы усмотреть в случившемся волю Господню, как предлагал Джеймс Таггерт. Он просто передал все перевозки своей нефти «*Феникс-Дуранго*», компании незаметной, но педантичной и в своих стараниях преуспевавшей.

Этот факт и дал начальный толчок «*Феникс-Дуранго*». Теперь она росла, следуя росту «*Уайэтт Ойл*», чьи заводы возникали в соседних поселках, в то время как полоса рельс и шпал тянулась все дальше и дальше между жидких полей мексиканской кукурузы, прирастая со скоростью двух миль в месяц.

Дагни было тридцать два года, когда она сообщила Джеймсу Таггерту о своем намерении уйти в отставку. Последние три года она руководила

производственным отделом, не имея официальной должности, доверия и власти. Ей надоело тратить часы, дни и ночи на попытки исправить плоды вмешательства приятеля Джима, занимавшего пост вице-президента и формального руководителя производственного отдела. У него не было собственной политики, любое принятое им решение подсказывала она, однако принимал он ее советы, только предварительно предприняв все усилия, чтобы сделать исполнение их невозможным. Она предъявила своему брату ультиматум. Тот ахнул.

— Дагни, но ты ведь женщина! Женщина на посту вице-президента и руководителя производственного отдела? Это неслыханно! Правление даже не станет рассматривать подобный вопрос!

— Тогда я ухожу, — ответила она.

Дагни не размышляла о том, что будет делать остаток жизни.

Оставить «*Таггерт Трансконтинентал*» было для нее все равно, что позволить ампутировать себе обе ноги. Она подумала: будь что будет, потом разберемся.

Она так и не поняла, почему Правление единодушно проголосовало за то, чтобы назначить ее вице-президентом и руководителем производ-

ственного отдела.

Она собственными руками закончила строительство линии Сан-Себастьян. Когда она начала работу, стройка длилась уже три года, была проложена треть колеи, а текущая стоимость уже перевалила за установленную смету всей дороги. Она уволила всех приятелей Джима и отыскала подрядчика, который закончил всю работу за год.

Линию Сан-Себастьян сдали в эксплуатацию. Однако из-за границы не потекли товары, не загромыхали на стыках груженные медной рудой поезда. Редкие, считанные вагоны спускались с гор Сан-Себастьяна. Рудники, говорил Франсиско д'Анкония, пока еще находятся в процессе разработки. «*Таггерт Трансконтинентал*» продолжала нести убытки.

И теперь Дагни сидела за столом в своем кабинете, где проводила долгие вечера, пытаясь определить, какие направления и когда могут выручить всю систему.

Перестроенная линия Рио-Норте могла бы спасти все остальное. Разглядывая листки бумаги, объявлявшие о новых и новых потерях, она не думала о долгой и бессмысленной агонии мексиканского предприятия. Она вспоминала

свой телефонный звонок:

— Хэнк, ты можешь спасти нас? Можешь ли ты предоставить нам рельсы в кратчайший срок и в самый долгий кредит?

Спокойный и уверенный голос ответил:

— Конечно.

Мысль эта стала точкой опоры. Дагни склонилась над разложенными на столе листами бумаги, обнаружив, что теперь может сосредоточиться. У нее появилось хоть что-то, способное выстоять, не рухнуть, не рассыпаться в самый последний момент.

Джеймс Таггерт вступил в приемную кабинета Дагни, еще сохраняя известную долю той уверенности, которую полчаса назад ощущал в баре, в обществе своих приятелей. Однако когда он открыл дверь, уверенность эта испарилась сама собой. И к столу сестры он подходил уже как нашкодивший ребенок, ожидающий наказания, память о котором сохранится на многие годы.

Голова Дагни была склонена над бумагами, в свете лампы поблескивали пряди растрепанных волос, белая блузка липла к плечам, свободными складками выдавая худобу тела.

— Что у тебя, Джим?

— Что ты устраиваешь на линии Сан-Се-

бастьян?

Она приподняла голову:

— Устраиваю? Что ты имеешь в виду?

— Какое у нас там расписание и какие поезда там ходят?

Она рассмеялась; к веселью в голосе примешивалась усталость:

— Иногда стоило бы читать отчеты, которые кладут на стол президента, Джим.

— Что ты хочешь сказать?

— То, что мы придерживаемся такого расписания и пускаем такие поезда по линии Сан-Себастьян уже три месяца.

— Один пассажирский поезд в день?

— С утра. И один товарный состав ночью.

— Боже милостивый! И это на такой важной ветке?

— На такой важной ветке не окупается и эта пара поездов.

— Однако мексиканский народ ждет от нас настоящей помощи!

— Я в этом не сомневаюсь.

— Ему нужны поезда!

— Для чего?

— Чтобы… чтобы помочь развитию национальной промышленности. Как, по твоему мнению,

сможет она развиваться, если мы не обеспечим Мексику транспортом?

— Я не ожидаю, что промышленность этой страны будет развиваться.

— Это всего лишь твое личное мнение. И я не понимаю, какое право имеешь ты собственной волей урезать расписание. Одни только перевозки меди окупят все.

— Когда?

Джеймс поглядел на сестру. На лице его появилось удовлетворение человека, получившего возможность сказать обидную вещь.

— Надеюсь, ты не собираешься усомниться в процветании этих медных рудников? Ведь они принадлежат Франсиско д'Анкония! — Он подчеркнул голосом это имя, не отводя взгляда от сестры.

Она проговорила:

— Возможно, он твой друг, но...

— Мой друг? А я думал, что твой.

Дагни ровным голосом произнесла:

— Уже десять лет как не мой.

— Плохо-то как. Ведь он один из самых удачливых бизнесменов в мире. Он никогда не проваливал предприятий, деловых, как ты понимаешь, и в рудники эти он вложил миллионы, так что

мы можем положиться на его суждение.

— Когда ты, наконец, поймешь, что Франсиско д'Анкония превратился в ничтожного тунеядца?

Джеймс усмехнулся:

— Я всегда полагал, что как личность он неинтересен. Но ты не разделяла моего мнения. Ты возражала. О, еще как возражала! Помнишь, как мы ссорились на эту тему? Может, процитировать некоторые твои высказывания? И высказать догадку о причине некоторых твоих поступков?

— Ты хочешь поговорить о Франсиско д'Анкония? И пришел сюда ради этого?

На лице его появились признаки гнева и разочарования, потому что ее лицо оставалось бесстрастным.

— Тебе прекрасно известно, зачем я сюда пришел! — отрезал он. — Я услышал совершенно невероятные вещи о тех поездах, которые ходят у нас по Мексике.

— Какие вещи?

— Какого рода подвижной состав ты там используешь?

— Хуже которого у меня нет.

— Ты это признаешь?

— Я отмечала это в посланных тебе отчетах.

— И это правда, что ты используешь дровяные паровозы?

— Эдди отыскал их для меня в Луизиане, в чьем-то заброшенном депо. Он не сумел даже выяснить название этой железной дороги.

— И эта рухлядь носит имя поездов Таггерта?

— Да.

— В чем заключается великая идея? Что происходит? Я хочу знать, что происходит!

Дагни проговорила ровным голосом, глядя в лицо брату:

— Если ты хочешь знать, я оставила на линии Сан-Себастьян одну только рухлядь и притом в минимальном количестве. Я забрала из Мексики все, что можно забрать: маневровые паровозы, инструменты и оборудование, даже пишущие машинки и зеркала.

— А за каким чертом?

— Чтобы грабителям досталось поменьше добычи, когда они национализируют линию.

Он вскочил на ноги:

— Это тебе с рук не сойдет! На сей раз такая выходка выйдет тебе боком! Надо же иметь совесть, чтобы обойтись столь низменным, подлым образом… просто из-за каких-то зловредных слухов, когда мы располагаем контрактом на две-

сти лет…

— Джим, — проговорила она неторопливо, — наша фирма не располагает ни одним лишним вагоном, паровозом или тонной угля.

— Я не позволю, я самым решительным образом не позволю проводить такую бесстыдную политику в отношении дружественного народа, нуждающегося в нашей помощи. Низменная жадность не оправдание. В конце концов, существуют и высшие соображения, даже если ты не способна понять их!

Дагни положил перед собой блокнот и взяла карандаш:

— Хорошо, Джим. Сколько поездов должна я по твоему указанию пустить по линии Сан-Себастьян?

— Гм?

— Сколько поездов и на каких линиях я должна отменить, если ты хочешь иметь там дизельные тепловозы и стальные вагоны?

— Я не хочу, чтобы ты отменяла поезда!

— Тогда откуда я возьму подвижной состав для Мексики?

— Это ты должна знать. Это твоя работа.

— Я не в состоянии выполнить ее. Так что решай.

— Опять твои гнилые штучки… хочешь переложить ответственность на меня!

— Я жду твоих распоряжений, Джим.

— Я не позволю тебе заманить меня в такую ловушку!

Она отбросила карандаш:

— Тогда расписание поездов на линии Сан-Себастьян остается без изменения.

— Хорошо, подождем до следующего месяца, до заседания правления. Я потребую, чтобы там приняли решение. Чтобы раз и навсегда запретили производственному отделу превышать рамки своих полномочий. И ты ответишь там за все.

— Отвечу.

Дагни вернулась к прерванной работе еще до того, как за Джеймсом Таггертом закрылась дверь.

Когда она покончила с делами, отодвинула бумаги и посмотрела в окно, небо сделалось черным и город превратился в россыпь освещенных окон на исчезнувших стенах. Дагни поднялась без особой охоты. Она понимала, что устала сегодня, и видела в усталости свое мелкое поражение.

Снаружи в офисе было темно и пусто. Сотрудники уже разошлись по домам, и лишь Эдди

Уиллерс находился на своем месте, за столом, располагавшимся за стеклянной перегородкой, который казался теперь освещенным кубом в углу просторного помещения. Проходя мимо, она помахала ему.

Она спустилась на лифте в вестибюль, но не здания, а расположенного под ним вокзала «*Таггерт*». Ей нравилось проходить через вокзал по пути домой.

Ей всегда казалось, что вестибюль этот напоминает храм. Глядя вверх, на высокий потолок, она видела неярко освещенные своды, опиравшиеся на огромные гранитные колонны, и верхние абрисы застекленных тьмой окон. Своды, полные торжественной умиротворенности католического собора, защитным покровом простирались над людской кутерьмой.

Видное место в вестибюле занимала статуя основателя дороги Натаниэля Таггерта, не пользовавшаяся, впрочем, особым вниманием пассажиров.

Лишь одна Дагни не могла равнодушно пройти мимо нее, не отдав дань уважения изваянию великого предка. Взгляд, брошенный на него по пути через вестибюль, был единственной известной Дагни разновидностью молитвы.

Натаниэль Таггерт, авантюрист, без гроша в кармане явившийся из какого-то местечка Новой Англии, построил железную дорогу через континент в пору, когда появились первые стальные рельсы. Его дорога стояла по сию пору; битва за постройку ее превратилась в легенду, ибо люди предпочитали или не понимать ее значения, или попросту считать невозможной.

Человек этот никогда не признавал за другими права преграждать ему путь. Поставив себе цель, он неуклонно двигался к ней по пути, столь же прямому, как и железная дорога, уходящая за горизонт. Он никогда не пытался добиться от правительства никаких займов, ссуд, субсидий, земельных дотаций или законодательных льгот. Он брал деньги у тех, кто имел их, переходя от двери к двери — будь то выточенная из красного дерева дверь банкира или сколоченная из грубых досок дверь фермерского дома. Он никогда не брался толковать об общественном благе. Он просто говорил людям, что его железная дорога принесет им крупный доход, объяснял, откуда этот доход возьмется, и приводил аргументы. Веские аргументы.

И во все последующие поколения «*Таггерт Трансконтинентал*» оставалась в числе тех

немногих дорог, которые не обанкротились, и единственной, контрольный пакет акций которой остался в руках потомков основателя.

При жизни имя Ната Таггерта пользовалось не то чтобы славой, но, скорее, печальной известностью; его повторяли не с уважением, но с брезгливым любопытством; а если и находился какой-нибудь почитатель, то почтение его было тем, с которым относятся к удачливому бандиту. И тем не менее ни один пенни его состояния не был нажит грабежом или обманом. На нем не было никакой вины, если не считать ею то, что свое состояние он заработал сам и никогда не забывал о том, что принадлежит оно ему и только ему.

Шепотком поговаривали о нем многое. Рассказывали, что где-то в глуши, на Среднем Западе, он пристрелил одного из местных законодателей, который попытался отозвать предоставленные ему разрешения, отозвать, когда железнодорожная колея уже пересекла половину штата; там решили заработать на акциях Таггерта, распродав их. Ната Таггерта обвинили в убийстве, однако обвинения так и не сумели доказать. С тех пор у него никогда не случалось проблем с местными властями.

Рассказывали, что Нат Таггерт неоднократно ставил свою жизнь на кон ради железной дороги; но однажды он поставил нечто большее, чем жизнь. Отчаянно нуждаясь в средствах, когда сооружение линии замедлилось, он спустил с трех пролетов лестницы почтенного джентльмена, предложившего ему правительственный заем. А потом выставил в качестве залога собственную жену, получив деньги у миллионера, ненавидевшего Ната и восхищавшегося красотой этой женщины. Таггерт вовремя расплатился с миллионером, и ему не потребовалось отдавать залог. Сделка была совершена с полного согласия супруги. Сказочная красавица эта происходила из благородного семейства одного южного штата, и родные отреклись от нее, когда она сбежала из дома с Натом Таггертом, тогда еще не имевшим ни гроша за душой молодым авантюристом.

Дагни иногда сожалела о том, что Нат Таггерт был ее предком. Ее любовь к нему трудно было вместить в рамки семейных отношений. Она не хотела испытывать к нему чувство, с каким относятся к дядюшке или деду. Она не умела любить не избранный ею самой объект и возмущалась, когда от нее требовали этого. Тем не ме-

нее, если бы предков можно было выбирать, она предпочла бы иметь таковым именно Ната Таггерта — добровольно и с полной благодарностью.

Основой для создания скульптурного изображения Ната Таггерта послужил некогда сделанный карандашный набросок, единственное сохранившееся изображение его внешности. Нат дожил до глубокой старости, однако никто не мог представить себе его иным, не таким, каким был он на этом наброске, — молодым человеком. В детские годы Дагни эта скульптура являлась для нее первым образцом воплощения высоты духа. Когда потом ее послали в церковь и школу и она услышала от людей эти слова, то сразу поняла, что они обозначают: эту статую. Это был молодой парень, худощавый, высокий, с угловатым лицом. Горделиво подняв голову, он принимал вызов и радовался тому, что способен принять его. Все, чего Дагни ждала от жизни, содержалось в этом желании держать голову так, как он.

Пересекая в тот вечер вестибюль, она снова посмотрела на памятник. Его присутствие давало мгновение отдыха; казалось, что с плеч ее сбросили бремя, имени которому не знала она сама, казалось, что легкий ветерок прикасается

к разгоряченному лбу.

В уголке вестибюля, возле входа, располагался небольшой газетный киоск. Владелец его, тихий и любезный старик, провел за своим прилавком двадцать лет. Прежде он был хозяином сигаретной фабрики, однако она разорилась, и он обрек себя на забвение в этом крохотном киоске, расположенном посреди вечного водоворота приезжих. У него не было семьи, не было и друзей.

Единственное удовольствие ему приносило хобби: человек этот собирал сигареты, изготовлявшиеся во всех концах мира, и знал каждую марку, которая выпускалась прежде или в настоящее время.

Дагни любила останавливаться возле его киоска по пути домой. Он словно бы сделался частью вокзала «*Таггерта*», словно старый сторожевой пес, слишком одряхлевший, чтобы защищать его, однако вселяющий уверенность своим присутствием. Ее визиты были приятны и старику; ему нравилось размышлять о том, что лишь он один во всей этой толпе знает истинное предназначение этой молодой женщины в спортивном плаще и сдвинутой набок шляпке, неузнанной среди людского водоворота.

Дагни остановилась возле киоска, чтобы

как всегда купить пачку сигарет.

— Ну, как поживает коллекция? — спросила она. — Есть что-нибудь новенькое?

Печально улыбнувшись, киоскер покачал головой.

— Увы, мисс Таггерт. В мире перестали выпускать новые марки. Даже старых больше не делают, исчезают одна за другой. В продаже осталось только пять или шесть. А были дюжины. Люди перестали делать новые вещи.

— Это пройдет. Такое положение не может длиться долго.

Он поглядел на нее, не отвечая. А потом сказал:

— Мне нравятся сигареты, мисс Таггерт. Мне приятно представлять себе огонь в руке человека. Огонь — опасная сила, и ее укрощают пальцы. Я часто задумываюсь о тех часах, которые человек проводит в одиночестве, вглядываясь в сигаретный дымок и размышляя. Хотелось бы знать, сколько великих идей рождено в такие часы. Когда человек мыслит, в разуме его загорается пламя, и огонек сигареты служит вполне уместным символом его.

— Но много ли людей вообще способны думать? — против собственной воли спросила она

и смолкла. Вопрос этот давно мучил ее, и Дагни не хотелось обсуждать его с кем-то другим.

Старик посмотрел на нее так, как если бы понял причину внезапной паузы, однако он не стал отвечать, а вместо этого сказал:

— Мне не нравится то, что происходит теперь с людьми, мисс Таггерт.

— Что же?

— Не знаю. Но я наблюдаю за ними уже двадцать лет. И заметил перемену. Здесь люди всегда мчатся, и мне было приятно видеть спешку людей, понимающих, куда они спешат, и старающихся добраться туда побыстрее. Теперь они торопятся, потому что боятся. Теперь их гонит вперед не цель, а страх. Они не находятся на пути куда-то, они спасаются. И я не уверен в том, что они понимают, от чего спасаются. Они не смотрят друг на друга. Они вздрагивают, ощутив прикосновение. Они слишком много улыбаются, но это уродливые улыбки: в них нет радости, только мольба. Я не понимаю, что происходит с миром. — Он пожал плечами. — Ах да, кто такой Джон Голт?

— Всего лишь пустая, бессмысленная фраза!

Дагни смутилась собственной резкости и извиняющимся тоном заметила:

— Не люблю бестолковые поговорки. Что она означает? И откуда взялась?

— Этого никто не знает, — неторопливо ответил ее собеседник.

— Почему люди повторяют эти слова? Никто не может объяснить их смысл, и, тем не менее, все пользуются ими так, как если бы знали его.

— Почему это смущает вас? — спросил киоскер.

— Мне не нравится тот смысл, которым они наделяют эти слова.

— И мне тоже, мисс Таггерт.

* * *

Эдди Уиллерс ужинал в рабочем кафетерии на вокзале «*Таггерт*». В здании находился ресторан, который предпочитали старшие служащие фирмы, однако ему там было неуютно. Кафетерий, напротив, казался частью железной дороги, и он ощущал себя здесь как дома.

Кафетерий располагался под землей. Свет электрических ламп отражался в белом кафеле стен, преображавшихся в подобие серебряной парчи. Высокий потолок, сверкающие хромом и стеклом прилавки создавали ощущение светлого простора.

Иногда в кафетерии Эдди Уиллерс встречался с одним из железнодорожников, рабочим. Лицо его было симпатично Эдди. Однажды они случайно завязали разговор, и теперь у них вошло в обычай ужинать вместе, если они встречались.

Эдди не помнил, интересовался ли он когда-либо именем рабочего или чем он занимается. Нетрудно было предположить, что знакомый его был из самых низов, грубая одежда его всегда лоснилась от масляных пятен. Человек этот был для него не личностью, только безмолвным представителем безликого множества лиц, главным интересом в жизни которых, как и у него самого, была компания «*Таггерт Трансконтинентал*».

Припозднившись сегодня, Эдди заметил своего рабочего за столиком в уголке наполовину опустевшего зала. Радостно улыбнувшись, Эдди помахал ему и понес поднос с тарелками к его столику.

Оказавшись в уютном уголке, Эдди сразу ощутил облегчение, расслабившись после долгого и напряженного дня. Здесь он мог говорить как нигде более, признавать вещи, которые не признал бы ни перед кем другим, думать вслух, вглядываясь во внимательные глаза сидевшего напротив рабочего.

— Линия Рио-Норте — наша последняя надежда, — проговорил Эдди Уиллерс. — Одна она спасет нас. Мы получим, по крайней мере, одну находящуюся в хорошем состоянии ветку там, где она нужна более всего, и она поможет нам сохранить все остальное… Забавно, не так ли? — говорить о последней надежде «*Таггерт Трансконтинентал*». Будешь ли ты серьезно слушать человека, который скажет тебе, что какой-то там метеорит вот-вот уничтожит Землю?.. Я лично не стану… «От океана до океана, вовеки» — вот что слышали мы о нашей железной дороге все детство. Нет, «вовеки» там не было, но это подразумевалось… Знаешь, я человек невеликий. Я не сумел бы построить эту железную дорогу. И если она уйдет в прошлое, я не сумею ее вернуть. Мне придется уйти вместе с ней… и не обращай на меня внимания. Не знаю, почему сегодня я говорю все это. Наверно, я сегодня слишком устал… Да, я засиделся допоздна. Она не просила меня задержаться, однако под дверью ее кабинета горел свет, долго горел, уже после того, как все ушли… да, она тоже ушла домой… Неприятности? О, в конторе всегда неприятности. Но ее они не тревожат. Она знает, что сумеет вытащить нас… Конечно, это плохо. У нас было больше аварий, чем ты

мог слышать. На прошлой неделе мы опять потеряли два дизеля. Один скончался от старости, другой погиб в лобовом столкновении… Да, мы заказали новые дизели на «*Юнайтед Локомотив*», но ждем их уже два года. Не знаю, получим ли мы их когда-нибудь или нет… Боже, как они нужны нам! Локомотивы — ты даже представить себе не можешь, насколько это важно. В них сердце железной дороги… Чему ты улыбаешься?.. Как я и говорил, дела плохи. Но, во всяком случае, линия Рио-Норте пойдет на поправку. Первая партия рельсов должна поступить через несколько недель. Через год мы пустим новый поезд по новой колее. На сей раз нас ничто не остановит… Конечно, я знаю, кто будет класть рельсы, — Макнамара из Кливленда, подрядчик, достраивавший для нас линию Сан-Себастьян. Во всяком случае, этот человек знает свое дело. Сомневаться не в чем. Мы можем рассчитывать на него. Хороших подрядчиков осталось не так много… нас загоняют на работе, но мне это нравится. Я прихожу на работу за час до начала, но она всегда является раньше. Она всегда первая… Что?.. Не знаю, что она делает по ночам. Ничего особенного, насколько я знаю… Нет, она никуда не ходит, никуда и ни с кем.

Сидит у себя дома и слушает музыку. Пластинки крутит… Хочешь знать, чьи? Ричарда Халлея. Ей нравится музыка Ричарда Халлея. Кроме железной дороги она любит только его музыку.

ГЛАВА IV. НЕДВИЖНЫЕ ДВИЖИТЕЛИ

«Локомотивы, — думала Дагни, рассматривая здание “*Таггерт Трансконтинентал*” в сумерках, — вот что было для него главным. Теперь моя цель в том, чтобы помочь этому зданию устоять, движение должно сохранить его прежним. Ведь покоится оно не на вбитых в гранит сваях — на локомотивах, пересекающих континент».

Дагни почувствовала смутную тревогу. Она вернулась из поездки в Нью-Джерси, на завод «*Юнайтед Локомотив Уоркс*», куда отправилась, чтобы лично встретиться с президентом этой компании. Она ничего не добилась и так и не узнала причин задержки поставок, ей даже не назвали точный срок, когда будут готовы необходимые ей дизельные локомотивы. Президент компании уделил беседе с ней два часа, но ответы не имели никакого отношения к ее вопросам. В его манере держаться странным образом сквозила некая снисходительная укоризна, словно бы Дагни проявляла предосудительную неблаговоспитанность, нарушая всем и каждому известные нормы пристойного поведения.

Проходя по заводу, она заметила огромный

механизм, брошенный в углу двора. Некогда эта груда металла являлась прецизионным станком, и подобных ему теперь нельзя было приобрести ни за какие деньги. Станок не был изношен — его сгноило пренебрежение, он был покрыт пятнами ржавчины и черной, грязной смазки. Дагни отвернулась, чтобы не видеть его. Зрелища подобного рода всегда повергали ее в бешенство. Причин этому Дагни не знала, они попросту не поддавались определению. Она только понимала, что вопиет против несправедливости, и что реакция ее вызвана чем-то совсем иным, большим, чем просто очередной старый механизм.

Когда она вошла в свою приемную, люди уже разошлись, один только Эдди Уиллерс еще дожидался ее. По тому, как Эдди выглядел, и по тому, что он немедленно молча направился следом за ней в кабинет, Дагни немедленно поняла — что-то случилось:

— Что произошло, Эдди?

— Макнамара кончился.

Она в недоумении вскинула брови:

— Как это «кончился»?

— Ушел от дел. Вышел в отставку. Закрыл свое дело.

— Макнамара, наш подрядчик?

— Да.

— Но это невозможно!

— Знаю.

— Что случилось? Почему?

— Никто понятия не имеет.

Задумчиво, неторопливыми движениями, она расстегнула пальто, села за стол и принялась стаскивать с рук перчатки. А потом сказала:

— Начни сначала, Эдди. Садись.

Он ответил ей спокойным голосом, но остался стоять:

— Я разговаривал с его главным инженером, по междугородному. Он позвонил нам из Кливленда, чтобы известить о случившемся. Это все, что он сказал. Ничего больше ему не было известно.

— Ну и?

— Макнамара закрыл свое дело и уехал.

— Куда?

— Ему это неизвестно. Как и всем остальным.

Дагни вдруг заметила, что все еще держится за два стянутых пальца левой перчатки, забыв снять ее до конца. Сорвав перчатку с руки, она бросила ее на стол.

Эдди проговорил:

— Он оставил за собой груду заключенных

контрактов, тянущих на целое состояние. Список клиентов у него был расписан на три года вперед…

Она молчала, и Эдди негромко добавил:

— Если бы я мог понять, что происходит, мне не было бы страшно… Однако поступить таким образом, не имея на то никакой причины…

Дагни по-прежнему молчала, и он продолжил:

— Макнамара был лучшим подрядчиком во всей стране.

Они смотрели друг на друга. Дагни хотелось сказать: «О боже, Эдди, о боже!»

Но вместо этого она произнесла ровным голосом:

— Не беспокойся. Мы найдем другого подрядчика для линии Рио-Норте.

Свой кабинет Дагни оставила поздно. И, оказавшись на тротуаре, возле входа в здание, беспомощно посмотрела сначала налево, затем направо. Она вдруг почувствовала, что силы, желания, стремления разом исчезли, словно внутри нее остановился сломавшийс ямотор.

Слабое свечение поднималось к небу за спинами зданий, отражая движение тысяч неведомых огней, электрическое дыхание города.

Ей захотелось отдохнуть. Отдохнуть, подумала

Дагни, и развлечься.

Работа предоставляла Дагни все, что было ей нужно, все, чего она хотела. Но иногда, как и в этот вечер, она ощущала внезапную и странную пустоту, даже не пустоту, а молчание, и не отчаяние, а неподвижность, словно бы ничто в ней не рушилось, но замерло на месте. И тогда приходило желание найти вне себя мгновение радости, оказаться пассивным созерцателем великого — будь то произведение чьих-то рук или просто зрелище. Ничего не созидать, думала она, но принимать; не начинать, но реагировать; не создавать, но восхищаться… только потом я смогу продолжить существование, ибо счастье — топливо для души.

Она всегда была — Дагни прищурилась и чуть улыбнулась с легкой горечью — движущей силой собственного счастья. И сейчас она хотела ощутить на себе силу чужих достижений. Как людям на темных просторах прерии было приятно видеть пролетающие мимо освещенные вагоны поезда, ее достижения, знак ее могущества, придававшего им уверенность посреди ночных просторов, так и она хотела в этот момент ощутить подобное чувство, пережить мимолетную встречу, помахать рукой и сказать: «Кто-то про-

ехал мимо…»

Она неторопливо пошла, опустив руки в карманы… тень чуть сдвинутой на лоб шляпки прикрывала лицо. Окружавшие ее дома вздымались на такие высоты, что глаза не могли отыскать небо. Дагни подумала: раз на постройку этого города было потрачено столько сил, он должен и многое предлагать человеку.

Черная дыра прикрепленного над дверью в магазин громкоговорителя извергала звуки. Транслировали концерт симфонической музыки, исполнявшийся где-то в городе. Протяжный визг не имел формы, он был подобен разорванной в клочья плоти или ткани. В обрывках этих не было мелодии, гармонии и ритма, удерживавших их воедино. Если музыка изображает эмоции, и притом эмоции, рожденные мыслью, то этот визг говорил об иррациональной беспомощности, об отречении человека от самого себя.

Дагни шла вперед. Она остановилась возле окна книжного магазина. В витрине высилась пирамида кирпичей в коричневато-фиолетовых переплетах с надписью «*Коршун линяет*». «Роман столетия, — вещал рекламный плакат. — Исчерпывающее исследование природы жадности бизнесмена. Бесстрашное разоблачение порочно-

сти человека».

Она прошла мимо кинотеатра. За огнями его скрывалась половина квартала, а в воздухе пылало огромное фото с какими-то буквами. Снимок изображал улыбающуюся молодую женщину. При взгляде на нее немедленно становилось так тошно, словно ты видел ее много лет каждый день, а не впервые в жизни. Буквы гласили: «…в монументальной драме, дающей ответ на извечный вопрос: должна ли женщина признаваться в *этом*?»

Дагни прошла мимо дверей ночного клуба. Парочка нетвердым шагом подходила к такси. Девица озиралась мутными глазами. На ней было горностаевое манто и прекрасное вечернее платье, соскользнувшее с плеча подобно халату какой-нибудь домохозяйки и практически открывавшее грудь, что говорило не о смелой откровенности, а о пьяном безразличии. Спутник поддерживал ее под руку; и на лице его значилось отнюдь не предвкушение романтического приключения, а явно проступала шкодливая мина мальчишки, марающего забор непристойными словами.

«И что же ты рассчитываешь здесь увидеть?» — вопрошала себя Дагни, продолжая путь. Так жили

рядом с ней люди, такую форму принимали их души, их культура, их развлечения. Сколько же лет она нигде не видела ничего другого?

Оказавшись на углу своей улицы, Дагни купила газету и повернула к дому.

Она занимала двухкомнатную квартиру на верхнем этаже небоскреба. Сходящиеся углом стекла окон гостиной превращали ее комнату в подобие движущегося корабля, преобразуя городские огни в фосфоресцирующие искорки на черных, сотканных из стали и камня волнах. Она включила лампу, и длинные треугольники света упали на голые стены; геометрический их узор нарушали лишь несколько угловатых предметов меблировки.

Дагни остановилась посреди комнаты, одна между небом и городом.

Одна-единственная вещь приносила ей те ощущения, которые она хотела пережить сегодня; она знала одно-единственное развлечение.

Повернувшись к патефону, она поставила пластинку с записью музыки Ричарда Халлея.

Это был Четвертый концерт, последнее написанное им произведение. Гром и столкновение начальных аккордов вытеснили из памяти Дагни все, что видела она на улице.

Концерт можно было назвать криком великого возмущения. В нем слышалось «нет», сказанное какому-то чудовищному издевательству, отрицание страдания, звучащее посреди мучительной борьбы, стремления вырваться на свободу. Мелодия, словно человеческий голос, твердила: боль не является необходимым условием бытия, но почему же тогда худшая боль приберегается для тех, кто не признает ее неизбежности?.. К какой каре и кем приговорены мы, знающие тайну любви и радости?.. Звуки пытки превращались в ее отрицание, стон муки преображался в гимн далекому видению, ради которого можно было выстрадать все, даже это. Музыка пела песнь восстания и высокого поиска одновременно.

Она слушала, не шевелясь в кресле, закрыв глаза.

Никто не знал, что произошло с Ричардом Халлеем и почему. Повесть его жизни сделалась подобием назидательного рассказа, написанного, чтобы осудить величие, показав цену, которой оно достается. Повествование это говорило о череде лет, прожитых на чердаках и в подвалах, годах, проведенных среди стен столь же серых, сколь ярка была музыка заточенного среди них человека.

Серость эта говорила о борьбе с длинными неосвещенными лестничными пролетами, с замерзшими трубами, с ценой сандвича в зловонной продовольственной лавке, с лицами людей, внимавших музыке пустыми глазами. Это была битва, не имевшая облегчения во всплеске насилия, не имевшая олицетворенного врага, когда можно колотить только глухую стену, сложенную из самого надежного звукоизолятора: безразличия, поглощавшего удары, аккорды и вопли, — битва безмолвная, затеянная человеком, способным сделать звуки более красноречивыми, чем это умели до него; битва, проходившая в тиши забвения, одиночества, испытанного вечерами, когда один из симфонических оркестров изредка исполнял какое-нибудь из его произведений; и Халлей вглядывался во тьму, сознавая, что это душа его трепещущими, неровными кругами радиоволн разлетается над городом во все стороны от передающей антенны, но нет приемников, настроенных на ее волну.

— Музыка Ричарда Халлея проникнута героикой. Наш век перерос подобную чепуху, — вещал один критик.

— Музыка Ричарда Халлея несовременна. В ней есть нотка восторга. Но кто сейчас испытывает

восторг? — вторил ему другой.

Жизнь Халлея была подобна жизням прочих творцов, наградой которым становится памятник в городском парке, воздвигнутый по прошествии ста лет после того, как подобный знак внимания перестает интересовать удостоенного такой награды, — однако Ричард Халлей не умер достаточно скоро для этого. И он дожил до того вечера, которого по принятым историей законам не должен был увидеть. Ему было сорок три года, шло первое представление «*Фаэтона*» — оперы, которую он написал в двадцать четыре года. Он перекроил древний греческий миф согласно собственному разумению и цели: Фаэтон, юный сын Гелиоса, укравший солнечную колесницу отца, чтобы в самоуверенном порыве провезти Солнце по небу, не погиб, как случилось в мифе; в опере Халлея Фаэтон добился желаемой цели. Опера эта была впервые поставлена девятнадцать лет назад и оглушительно провалилась после первого же представления, закончившегося свистом и негодующими воплями публики. В ту ночь Ричард Халлей до рассвета бродил по улицам города, пытаясь найти ответ на свой вопрос и не находя его.

После звуков, завершивших второе представ-

ление оперы, состоявшееся через девятнадцать лет после первого, разразилась такая овация, какой еще не слышали стены оперного театра. Древние стены не могли вместить эту бурю, звуки ее выплескивались в фойе, на лестницы, на улицы — к мальчишке, который брел по этой улице девятнадцать лет тому назад.

Дагни присутствовала на постановке в тот вечер триумфа. Она принадлежала к числу немногих, кто был уже знаком с музыкой Ричарда Халлея, но прежде не видела его. Она наблюдала, как его вытолкнули тогда на сцену, как стоял он перед массой ликующих рук и голов: неподвижный, высокий и худой человек с поседевшей головой. Он не кланялся, не улыбался; просто стоял и смотрел в толпу. На лице его застыл тихий и искренний вопрос недоумевающего человека.

— Музыка Ричарда Халлея, — писал на следующее утро критик, — принадлежит человечеству. Она создана величием народа и выражает его.

— Вдохновляющий пример, — говорил проповедник, — являет нам жизнь Ричарда Халлея. Он выдержал страшную битву, но какое это имеет значение? Как уместны, как благородны перенесенные им от рук братьев своих страдания и несправедливости, огорчения и оскорбления,

иначе он не сумел бы обогатить их жизнь и научить красоте великой музыки.

Через день после триумфа Ричард Халлей исчез.

Он не дал никаких объяснений. Он просто сообщил звукозаписывающей компании, что считает свою карьеру завершенной, продал им права за скромную сумму, прекрасно зная, что проценты от издания его сочинений могли принести ему целое состояние. А потом уехал, не оставив адреса. Это произошло восемь лет назад; с тех пор композитора не видел никто.

Дагни слушала Четвертый концерт, запрокинув голову назад, закрыв глаза. Она откинулась на спинку дивана, расслабившись и отдыхая всем телом, однако чувственный, напряженный рот полными желания линиями выделялся на неподвижном лице.

Спустя некоторое время Дагни открыла глаза, заметила газету, которую бросила на диван, и рассеянным движением потянулась к ней. Она хотела убрать с глаз долой пошлые передовицы. Газета выпала из ее руки, и Дагни увидела фотографию знакомого лица и заголовок над ним. Сложив газету, она отбросила ее в сторону.

Это было лицо Франсиско д'Анкония. Заго-

ловок объявлял о его прибытии в Нью-Йорк. «Ну и что?» — подумала она. Ей необязательно встречаться с ним. Она не видела его уже много лет.

Дагни посмотрела на упавшую на пол газету. Не надо читать ее, подумала она, не надо даже смотреть на нее. Но лицо, отметила она, не переменилось.

Однако как могло остаться прежним лицо, когда все остальное ушло? Она пожалела, что на снимке он изображен улыбающимся. Такого рода улыбка не должна появляться на страницах газет. Этот человек умел видеть, понимать и создавать, прославляя жизнь. Насмешливая и вызывающая улыбка сверкала ослепительным интеллектом.

Не читай, посоветовала себе она, не сейчас — не под эту музыку — только не под эту музыку!

Протянув руку к газете, Дагни развернула ее.

Статья гласила, что сеньор Франсиско д'Анкония изволил дать интервью прессе в своем номере в отеле «*Уэйн-Фолкленд*». Он объяснил, что прибыл в Нью-Йорк по двум важным причинам: ради свидания с девушкой, назначенного в клубе, и чтобы отведать ливерной колбасы в «*Деликатесах Моу*» на Третьей авеню.

Он отказался комментировать предстоящий бракоразводный процесс мистера и миссис Гилберт Вэйл. Миссис Вэйл, дама весьма благородного происхождения и наделенная необычайной красотой, несколько месяцев назад огорчила своего достойного молодого мужа, публично объявив, что намеревается оставить его ради любовника, Франсиско д'Анкония. Она предала гласности подробное описание их тайного романа, присовокупив к нему описание ночи под прошлый Новый год, проведенной ею на вилле д'Анкония в Андах. Муж ее пережил эту выходку, но подал на развод.

Миссис Вэйл отреагировала встречным иском на половину принадлежавших мужу миллионов и описанием его личной жизни, рядом с которой ее увлечения выглядели вполне невинно.

Тема эта несколько недель не сходила со страниц газет, однако сеньору д'Анкония было нечего сказать обо всем этом репортерам. Его спросили, готов ли он опровергнуть рассказ миссис Вэйл. Он ответил: «Я никогда и ничего не опровергаю».

Репортеры были изумлены его внезапным появлением в городе; они предполагали, что он не захочет появляться в Нью-Йорке во время самого разгара скандала. Однако они ошиблись.

Франсиско д'Анкония добавил еще одну причину своего появления.

— Я хочу быть свидетелем этого фарса, — сказал он.

Дагни уронила газету на пол. Она сидела, согнувшись, опустив голову на руки. Она не шевелилась, однако свисавшие на колени пряди волос время от времени вздрагивали.

Величественная музыка Халлея шествовала своим чередом, наполняя комнату, пронзая оконные стекла, вырываясь в город. Дагни впитывала звуки. В них воплощен был ее путь, ее слезы.

* * *

Джеймс Таггерт оглядел гостиную своих апартаментов, гадая, который час; ему не хотелось шевелиться, чтобы отыскать часы.

Он сидел в кресле, в мятой пижаме, но с босыми ногами; искать шлепанцы было бы слишком хлопотно. Проливавшийся в окна свет пасмурного дня был неприятен для глаз, еще склеенных сном. Где-то внутри черепной коробки угадывалась противная тяжесть, явно собиравшаяся превратиться в головную боль. «Интересно, с чего бы это я оказался в гостиной, — подумал он. — Ах да, чтобы узнать время».

Согнувшись над подлокотником кресла, он посмотрел на часы на стене далекого здания: было уже двадцать минут первого.

За открытой дверью ванной было слышно, как Бетти Поуп чистит зубы. Пояс ее лежал на полу возле кресла вместе с прочей одеждой; пояс был блекло-розовый, с полопавшимися резинками.

— Поторопись, что ли? — раздраженным голосом буркнул он. — Мне надо одеться.

Бетти не ответила. Она оставила дверь ванной открытой; и теперь изнутри доносилось бульканье.

«Зачем мне все это нужно?» — подумал он, вспоминая вчерашнюю ночь. Однако докапываться до ответа было чересчур хлопотно.

Бетти Поуп вышла в гостиную, волоча за собой складки атласного пеньюара в оранжевую и фиолетовую клетку, подобающую арлекину. Пеньюар ей совсем не к лицу, отметил про себя Таггерт; костюм для верховой езды шел Бетти куда больше, если вспомнить фотоснимки в разделах светской хроники. Девушка была худощавая, и кости в разболтанных суставах двигались отнюдь не изящно.

К невзрачному лицу добавлялся нездоровый

цвет кожи, однако держалась она с высокомерной снисходительностью, объяснявшейся принадлежностью к одной из самых лучших семей.

— Ах ты, черт! — проговорила она в пространство, потягиваясь. — Джим, а где у тебя маникюрные ножницы? Мне надо подрезать ногти на ногах.

— Не знаю. У меня болит голова. Отложи это дело до дома.

— Утром ты выглядишь совсем не аппетитно, — сказала она безразличным тоном. — Ты похож на слизняка.

— А тебе не хотелось бы заткнуться?

Девушка бесцельно бродила по комнате.

— Не хочу возвращаться домой, — проговорила она без особого чувства. — Ненавижу утро. За ним начинается день, когда нечего делать. Днем я приглашена на чай к Лиз Блейн. Там может быть весело, Лиз — изрядная сучка.

Взяв бокал, Бетти допила остатки вина:

— И почему ты не распорядишься, чтобы починили кондиционер? Здесь воняет.

— Ты закончила свои дела в ванной? — спросил он. — Мне нужно одеться. Сегодня у меня важное деловое свидание.

— Входи. Мне все равно. Мы можем одеваться вместе. Ненавижу, когда меня торопят.

Бреясь, он посматривал на то, как она одевалась перед открытой дверью. Она долго, извиваясь, влезала в пояс, пристегивала подвязки к чулкам, натягивала нескладный, но дорогой твидовый костюм.

Арлекинский пеньюар, приобретенный по объявлению в самом шикарном модном магазине, напоминал мундир, предназначенный для известных обстоятельств, в который она при означенных обстоятельствах и облачалась, а потом снимала и забывала.

Схожей была и природа их отношений. В ней не было страсти, желания, подлинного удовольствия, даже стыда.

Для них обоих половой акт не был ни радостью, ни грехом. Он просто ничего не значил. Им было известно, что мужчины и женщины спят вместе, и они поступали согласно общему обычаю.

— Джим, а почему бы тебе не сводить меня сегодня в армянский ресторан? — спросила Бетти. — Мне нравится шашлык.

— Не могу, — ответил он сердитым тоном сквозь мыльную пену на лице. — У меня сегодня очень плотный график.

— Но ты ведь можешь отложить свои дела?

— Что?

— Какими бы они ни были.

— У меня сегодня *очень* важное дело, моя дорогая, заседание совета директоров.

— Ой, опять ты о своей железной дороге. Какая тоска! Ненавижу бизнесменов. Они такие скучные.

Таггерт не ответил.

Бетти посмотрела на него с лукавством и уже более оживленным тоном произнесла, растягивая слова:

— А Джон Бенсон говорил, что позиции твои на этой железной дороге не слишком прочны, потому что все дела ведет твоя сестра.

— Значит, так прямо и сказал?

— По-моему, твоя сестрица — жуткая особа. Я считаю, что это ужасно, когда женщина изображает из себя сразу смазчика вагонов и руководителя фирмы. Это настолько неженственно! За кого она себя принимает, скажи на милость?

Таггерт остановился на пороге. Припав виском к косяку двери, он пристально посмотрел на Бетти Поуп. На лице его играла легкая улыбка, саркастичная и уверенная. Кое-что общее, подумал он, у нас есть.

— Возможно, тебя заинтересует, моя дорогая, — проговорил он, — что сегодня я как раз устраиваю подкоп под собственную сестрицу.

— Ну да? — спросила она уже с интересом. — В самом деле?

— И поэтому предстоящее заседание имеет такое значение для меня.

— Ты намереваешься выставить ее из дела?

— Нет. Это не нужно и не целесообразно. Я просто хочу поставить ее на место. Мне представился случай, которого я давно ждал.

— У тебя есть что-то против нее? Пахнет скандалом?

— Нет, нет. Ты не понимаешь меня. Просто дело в том, что она зашла слишком далеко и должна схлопотать за это. Ни с кем не посоветовавшись, она учинила непростительную выходку. Нанесла серьезное оскорбление нашим мексиканским соседям. Когда об этом узнают все члены правления, им придется принять несколько новых правил, которые моей сестрице как руководительнице производственного отдела не удастся так легко обойти.

— Ты умница, Джим, — сказала она.

— А теперь я, наконец, оденусь. — В голосе Таггерта прозвучала довольная нотка. Повер-

нувшись к раковине умывальника, он произнес бодрым тоном: — Так что мне, может быть, удастся вывезти тебя в ресторан, чтобы угостить шашлыком.

Зазвонил телефон.

Таггерт поднял трубку. Телефонистка сообщила, что его вызывают из Мехико-Сити.

Донесшийся из трубки голос принадлежал защитнику его политических интересов в Мексике.

— Джим, я ничего не мог сделать! — пробулькал он. — Ничего вообще!.. Нас не предупредили, клянусь Богом, никто не подозревал, никто не предвидел ничего подобного, я сделал все, что мог, тебе не в чем обвинить меня, Джим, все обрушилось на нас как гром с ясного неба! Декрет вышел сегодня утром, буквально пять минут назад, без всякого предуведомления! Правительство Мексиканской Народной Республики национализировало рудники и железную дорогу Сан-Себастьян.

* * *

— ...посему я могу заверить джентльменов, членов правления в том, что повода для паники нет. Утреннее событие, бесспорно, следует при-

знать прискорбным, но я могу сказать с полной уверенностью, основанной на имеющихся у меня сведениях о внешней политике Вашингтона, что наше правительство сумеет добиться взаимовыгодного договора с правительством Мексики и что мы получим полную и справедливую компенсацию за нашу собственность.

Стоя во главе длинного стола, Джеймс Таггерт обращался к совету директоров. Голос его, четкий и монотонный, был пропитан уверенностью в благоприятном исходе:

— Могу вас обрадовать, однако, тем, что я предвидел подобный оборот событий и предпринял все меры, чтобы защитить интересы *«Таггерт Трансконтинентал»*. Несколько месяцев назад я дал указание производственному отделу нашей фирмы сократить число поездов на линии Сан-Себастьян до одного в день и снять с нее наши лучшие локомотивы и подвижной состав. Мексиканскому правительству удалось захватить только несколько деревянных вагонов и один дряхлый паровоз. Мое решение сохранило компании многие миллионы долларов — после точного подсчета цифры будут представлены вам. Тем не менее я полагаю, что наши пайщики вправе рассчитывать на то, что люди, несущие

основную ответственность за это предприятие, примут на себя и последствия собственной халатности. Поэтому я предлагаю, чтобы мы потребовали отставки мистера Кларенса Эддингтона, нашего экономического консультанта, рекомендовавшего фирме соорудить ветку Сан-Себастьян, и мистера Жюля Мотта, нашего представителя в Мехико-Сити.

Сидевшие за столом люди внимательно слушали его. Они думали не о том, что им придется сделать, но о том, что они будут говорить тем, чьи интересы представляют. Речь Таггерта вполне удовлетворяла их.

* * *

Когда Таггерт вернулся в свой кабинет, Оррен Бойль уже дожидался его. Как только они остались в одиночестве, самообладание оставило Таггерта. Он привалился к столу, плечи его поникли, лицо обмякло и побледнело.

— Ну? — спросил он.

Бойль беспомощно развел руками.

— Я все проверил, Джим, — проговорил он. — Все сходится; д'Анкония потерял на этих рудниках пятнадцать кровных миллионов. Никакой аферы там не было, все честно, он выложил свои

деньги и потерял их.

— Ну и что же он теперь намеревается делать?

— Не знаю. И никто не знает.

— Но ведь он не собирается смириться с тем, что его ограбили, так ведь? Для этого он слишком умен. Должно быть, запасся каким-нибудь фокусом.

— Надеюсь на это.

— Д'Анкония сумел разгадать несколько комбинаций самых ловких на земле аферистов. Неужели же он смирится с декретом жалкой горстки политиканов-латинос? У него должна найтись какая-то управа на них; последнее слово останется за д'Анкония, и мы должны вовремя присоединиться к нему!

— Ну, это зависит от тебя, Джим. Ты же его друг.

— Ничего себе друг! Ненавижу его до мозга костей.

Таггерт нажал кнопку — вызвал секретаря. Тот вошел неуверенной походкой, с несчастным выражением лица. Это был молодой, не слишком, впрочем, человек, и на бескровном лице его оставили свой отпечаток благородное воспитание и не менее благородная бедность.

— Вы договорились о моей встрече с Франсиско

д’Анкония? — резко осведомился Таггерт.

— Нет, сэр.

— Но, черт побери, я же велел вам связаться…

— Я не сумел этого сделать, сэр. Невзирая на все старания.

— Тогда попытайтесь еще раз.

— Я имею в виду, что не сумел договориться о встрече, мистер Таггерт.

— Почему же?

— Он отклонил ваше предложение.

— Вы хотите сказать, что он *отказался* встретиться со мной?

— Да, сэр, именно это я и хочу сказать.

— Он не захотел принять меня?

— Да, сэр, именно так.

— Вы разговаривали с ним лично?

— Нет, сэр, я говорил с его секретарем.

— И что же он сказал вам? Что именно он сказал?

Молодой человек молчал, лицо его сделалось еще более несчастным.

— Что он сказал?

— Он сказал, что сеньор д’Анкония назвал вас скучным человеком, мистер Таггерт.

* * *

Принятое ими предложение получило название *Правило против хищнической конкуренции*. Проголосовав за него, члены Национального железнодорожного альянса, стараясь не смотреть друг на друга, сидели в просторном зале, в окна которого втекал блеклый свет осенних сумерек.

Национальный железнодорожный альянс представлял собой, как было объявлено, организацию, предназначенную для защиты интересов железнодорожной промышленности. Цели этой надлежало добиваться путем разработки методов сотрудничества при продвижении к общей цели; добиваться путем согласия каждого члена альянса подчинять свои личные интересы интересам всей отрасли в целом; интересы же отрасли в целом следовало определять путем общего большинства при голосовании; каждый член альянса обязывался соблюдать любое решение, принятое большинством.

— Коллеги по профессии или по отрасли должны держаться вместе, — утверждали организаторы альянса. — У нас одни и те же проблемы, одни и те же интересы, одни и те же враги. Мы только понапрасну расходуем силы на борьбу друг

с другом вместо того, чтобы единым фронтом выступить против всех, кто чинит нам препоны. Мы способны достичь совместного процветания, соединив свои усилия.

— Против кого организован этот альянс? — спрашивал скептик. И получал ответ:

— Ни против кого, в частности. Но если вы хотите поставить вопрос под таким углом, что ж: мы выступаем против грузоотправителей и производителей железнодорожного оборудования, которые пытаются обмануть нас. Против кого бывает направлен всякий союз?

— Именно это мне и хотелось узнать, — отвечал скептик.

Правило против хищнической конкуренции было впервые упомянуто публично на ежегодном общем собрании Национального железнодорожного альянса, членам которого предложили проголосовать за него. Тем не менее все они уже знали о нем заранее; *Правило* давно обсуждалось в приватной обстановке, причем особенно настоятельно в последние месяцы. Места в зале собрания занимали президенты железных дорог. *Правило против хищнической конкуренции* не нравилось им; они надеялись, что вопрос о его принятии не возникнет.

Однако когда *Правило* было поставлено на голосование, они проголосовали «за».

В речах, произнесенных перед голосованием, не было упомянуто ни одной из железнодорожных компаний. В них говорилось исключительно об общественном благе. Говорилось о том, что в то время, когда общественному благополучию угрожает недостаток транспорта, железные дороги губят друг друга, прибегая к самой злобной конкуренции, политике поедания собственного собрата. И если железнодорожное сообщение в некоторых регионах оказывалось прерванным, существовали целые крупные области, где две или более железнодорожные компании конкурировали в борьбе за объем перевозок, едва достаточный для одной. Сказано было, что лишенные в данный момент железнодорожного транспорта регионы предоставляют огромные возможности компаниям, более молодым. И если в настоящий момент регионы эти не сулят никакого дохода, обеспечение транспортом претерпевающего многие трудности населения должно стать основной целью думающей об общественном благе компании, поскольку основной целью существования железной дороги является служба обществу, а не извлечение дохода.

Далее говорилось, что крупные и устоявшиеся железнодорожные сети имеют существенное значение для благосостояния общества, и что крах любой из них станет национальной катастрофой, и что если одной из них пришлось пережить сокрушительный удар при исполнении миссии международной доброй воли, то она нуждается в общественной поддержке, чтобы пережить последствия его.

Названия железных дорог не упоминались. Но когда председатель собрания поднял руку, давая тем самым торжественный сигнал к началу голосования, все посмотрели на Дэна Конвея, президента *«Феникс-Дуранго»*.

Нашлось всего пятеро инакомыслящих, голосовавших против предложенной меры. Тем не менее когда председательствовавший объявил о том, что *Правило* принято, не было слышно ни приветственных возгласов, ни одобрительного ропота, не было заметно даже движения — в зале воцарилась тяжелая тишина.

Все собравшиеся до последней минуты надеялись на то, что нечто непредвиденное избавит их от нововведения.

Правило против хищнической конкуренции называлось мерой добровольного самоограни-

чения, призванной укреплять законы, давно принятые властями страны. *Правило* запрещало членам Национального железнодорожного альянса заниматься так называемой разрушительной конкуренцией; в определенных регионах запрещалась деятельность более чем одной железнодорожной компании; в таковых регионах право перевозок принадлежало старейшей компании, а новые пришельцы, нечестным образом пробравшиеся на ее территорию, должны были прекратить там свои перевозки в течение девяти месяцев после получения соответствующего указания. Право определять районы, где будет действовать ограничение конкуренции, предоставлялось исключительно Исполнительному комитету Национального железнодорожного альянса.

После окончания собрания все поторопились разойтись. Не было ни дружеских бесед, ни групповых обсуждений. Большой зал опустел за непривычно короткое время. Никто не заговорил с Дэном Конвеем, никто не посмотрел даже в его сторону.

В вестибюле здания Джеймс Таггерт встретил Оррена Бойля. Они не договаривались о встрече, но Таггерт заметил очертания внушительной

фигуры возле мраморной стены и узнал Бойля, еще не видя лица. Они пошли навстречу друг другу, и Бойль произнес с не столь утешительной, как обычно, улыбкой:

— Я сделал свое дело. Теперь твоя очередь, Джимми.

— Мог бы и не являться сюда. Зачем ты здесь? — угрюмо буркнул Таггерт.

— О, просто развлечения ради, — ответил Бойль.

Дэн Конвей в одиночестве сидел в опустевшем зале. Он не покинул своего места, пока не явилась уборщица. Когда она окликнула его, он покорно поднялся и побрел к выходу. Проходя мимо женщины, он запустил руку в карман и сунул ей пятидолларовую бумажку, молча, послушно, не глядя в лицо. Он как будто не понимал, что делает; он действовал так, как если бы полагал, что находится в таком месте, покинуть которое можно, только оставив чаевые.

Дагни все еще сидела за столом, когда дверь ее кабинета распахнулась, и внутрь влетел Джеймс Таггерт. Подобным образом он входил к ней впервые. Лицо его горело как в лихорадке.

Дагни еще не видела брата после национализации линии Сан-Себастьян. Он не пытался

обсуждать с ней этой вопрос, и она не считала нужным что-то добавлять. Жизнь столь красноречиво продемонстрировала ее правоту, считала она, что всякие комментарии излишни. Отчасти любезность, отчасти милосердие помешали ей изложить брату то заключение, которое непосредственно следовало из событий. Во всяком случае, по справедливости он может теперь сделать один-единственный вывод. Ей рассказали о речи, произнесенной им на совете директоров. Она лишь пожала плечами с пренебрежительным недоумением: если по каким-то причинам он считал себя вправе присваивать ее достижения, значит, во всяком случае, не будет мешать ей продвигаться дальше.

— И ты по-прежнему считаешь, что только сама трудишься на благо нашей железной дороги?

Дагни с удивлением поглядела на брата. Голос его сделался пронзительным; он стоял перед ее столом, напрягшись, как струна.

— И ты по-прежнему считаешь, что я погубил компанию, так ведь? — выкрикнул он. — И думаешь, что только ты одна способна спасти нас? Считаешь, что я не найду способа компенсировать мексиканскую потерю?

Она неторопливо произнесла:

— Что тебе нужно от меня?

— Я хочу рассказать тебе кое-какие новости. Помнишь *Правило против хищнической конкуренции,* предложенное Железнодорожным альянсом, о котором я рассказывал тебе несколько месяцев назад? Тебе не понравилась эта идея. Совсем не понравилась.

— Помню. Ну и что?

— Оно принято.

— Что принято?

– *Правило против хищнической конкуренции*. Всего несколько минут назад. На собрании. И через девять месяцев никакой компании *«Феникс-Дуранго»* в Колорадо не будет!

Дагни вскочила, пепельница, упавшая на пол, со звоном разбилась:

— Ах вы, грязные ублюдки!

Таггерт не шевельнулся. По лицу его расплывалась улыбка.

Дагни понимала, что ее трясет, что сейчас она открыта перед братом и беззащитна, что ее состояние приносит ему радость, но это ничего не значило для нее. А потом она вдруг заметила эту улыбку — и удушающий гнев вдруг отступил. Она более ничего не чувствовала. И принялась изучать эту улыбку с холодным и бесстрастным

любопытством.

Они стояли лицом друг к другу. По внешнему виду Джеймса можно было понять, что он впервые не испытывает страха перед ней. Он торжествовал. Событие это означало для него нечто большее, чем победа над конкурентом. И конкурентом этим был не Дэн Конвей, а она сама. Она не понимала, как это может быть и почему, но не сомневалась в том, что брат знал об этом.

В мгновенном озарении ей показалось, что здесь, перед ней, в Джеймсе Таггерте и в том, что заставляло его улыбаться, таился крайне важный секрет, о существовании которого она и не подозревала, но теперь должна понять его буквально любой ценой. Однако мысль эта промелькнула и исчезла.

Метнувшись к дверце шкафа, она схватила пальто.

— Куда ты? — голос Таггерта сделался глуше; в нем звучали разочарование и легкое беспокойство.

Не отвечая, Дагни вылетела из кабинета.

* * *

— Дэн, вы должны сопротивляться. Я помогу вам. Я буду сражаться за вас изо всех своих сил.

Дэн Конвей покачал головой.

Он сидел за столом, уставившись на пустую папку для бумаг, слабая лампа горела в углу кабинета. Дагни немедленно отправилась в городское управление *«Феникс-Дуранго»*. Конвей оказался на месте и даже не изменил позы, когда она вошла в его кабинет. Увидев Дагни, он улыбнулся и сказал тихим, безжизненным голосом:

— Забавно, я так и думал, что вы придете.

Они не были достаточно близко знакомы, однако несколько раз встречались в Колорадо.

— Только, — сказал он, — это бесполезно.

— Вы имеете в виду подписанное альянсом соглашение? Оно незаконно. Его не одобрит ни один суд. И если Джим попытается укрыться за любимым у грабителей лозунгом «общественного блага», я встану и присягну в том, что компания *«Таггерт Трансконтинентал»* не способна обеспечить все перевозки из Колорадо. И если любой суд вынесет решение против вас, вы можете оспорить его и подавать апелляции еще десять лет.

— Да, — согласился он, — могу… нельзя испытывать уверенности в победе, однако я могу попытаться и сохранить свою железную дорогу еще на несколько лет, однако… однако я думаю

сейчас не о том, к каким законам прибегнуть. Дело не в этом.

— А в чем же тогда?

— Я не хочу бороться, Дагни.

Она посмотрела на него, не веря своим ушам. Можно было не сомневаться в том, что подобные слова еще не слетали с его губ; в таком возрасте человек уже не может переделать себя.

Дэну Конвею было под пятьдесят. Квадратное, бесстрастное и упрямое лицо, скорее, подобало мастеру, ведающему непосредственно погрузкой и разгрузкой, а не президенту компании; это было лицо бойца, еще молодое и загорелое под седеющей шевелюрой. Взяв под свой контроль ветхую железнодорожную линию в Аризоне, доход от которой не превышал суммы, приносимой хорошей бакалейной лавкой, он превратил ее в лучшую линию на всем Юго-Западе. Он говорил мало, редко читал книги, никогда не учился в колледже. И вся область человеческой деятельности за одним-единственным исключением откровенно не интересовала его; он не имел абсолютно никакого понятия о том, что люди называют культурой, однако знал толк в железных дорогах.

— Почему же вы не хотите бороться?

— Потому что у них есть право так поступать.

— Дэн, — спросила Дагни, — да в своем ли вы уме?

— Я ни разу в жизни не нарушал своего слова, — проговорил он бесцветным голосом. — И мне безразлично, какое решение примет суд. Я обещал повиноваться большинству. И должен сдержать слово.

— Разве вы не ожидали, что большинство обойдется с вами именно так?

— Нет. — Бесстрастное лицо Конвея передернула легкая судорога. Он говорил негромко, не глядя на нее, еще не пережив случившееся. — Нет, этого я не ожидал. Я знал, что об этом правиле поговаривали уже около года, но не верил в то, что его примут. Не верил даже во время голосования.

— Чего же вы ожидали?

— Я думал… там говорили, что все мы должны трудиться на благо общества. И я полагал, что тружусь ради этого блага в Колорадо, так что всем вокруг хорошо.

— О какой же вы дурак! Разве вы не понимаете, что за это вас и наказывают — за то, что вы работали так хорошо?

Он покачал головой и проговорил:

— Ничего не понимаю. И не вижу, как выйти из положения.

— Но разве вы давали кому-то обещание погубить себя собственными руками?

— Похоже, что у всех нас теперь не остается никакого выбора.

— Что вы имеет в виду?

— То жуткое состояние, Дагни, в которое пришел теперь весь мир. Я не знаю, что именно произошло с ним, однако дела плохи, очень плохи. Людям нужно собраться вместе и найти выход из положения. Но кто еще может решить, каким нам следовать путем, если не большинство? По-моему, это единственно честный метод решения проблемы, другого я просто не вижу. На мой взгляд, кого-то придется принести в жертву. И если эта участь выпала мне, отказываться я не смею. Право на их стороне. Людям приходится держаться вместе.

Дагни попыталась говорить спокойно, гнев сотрясал ее.

— Если такую цену надо платить за совместное проживание, то черт меня побери, если я захочу жить на одной земле с такими людьми! Если все они могут выжить, только расправившись с нами, зачем нам желать, чтобы они уцелели? Ничто

не может служить оправданием для принесения в жертву себя самого. Ничто не может дать им права превратить человека в жертвенное животное. Ничто не может оправдать уничтожение лучших. Нельзя наказывать человека за то, что он так хорош. Нельзя наказывать за способности. И если можно посчитать это справедливым, тогда уж лучше сразу начать уничтожать друг друга, поскольку в мире более не останется никакого права!

Конвей не отвечал. Он только смотрел на нее беспомощными глазами.

— Если мир действительно таков, как можно жить в нем? — спросила она.

— Не знаю… — прошептал он.

— Дэн, неужели, по-вашему, это действительно справедливо? Скажите откровенно, от самого сердца, неужели вы считаете это правильным?

Конвей закрыл глаза.

— Нет, — проговорил он. А потом поглядел на нее, и Дагни впервые заметила, что взгляд его полон боли. — Именно это я и пытаюсь постичь, сидя здесь. Я понимаю, что должен считать такое решение правильным, только язык мой не повернется сказать такое. Я вижу каждую шпалу, каждый семафор, каждый мост, помню каждую

ночь, которую провел, когда…

Он уронил голову на руки:

— О боже, насколько же это несправедливо!

— Дэн, — проговорила она сквозь зубы, — сопротивляйтесь.

Конвей поднял голову и посмотрел на нее пустыми глазами.

— Нет, — проговорил он, — это неправильно. Я просто эгоистичен.

— Ах, эта тухлая чушь! Вы же знаете, что это не так!

— Не знаю… — Голос его был полон усталости. — Я сижу здесь, пытаюсь что-то понять… И более не знаю, что справедливо, а что нет…

Он добавил:

— Не думаю, чтобы это было мне интересно.

Дагни вдруг поняла, что все слова теперь бесполезны и что Дэн Конвей никогда более не станет человеком дела. Она не знала, что именно заставляет ее думать так, и с недоумением произнесла:

— Но вы еще никогда не сдавались без боя.

— Да, не сдавался… — В голосе его звучала тихая и полная безразличия горечь. — Я сражался с бурями, наводнениями, горными обвалами и трещинами в рельсах… Там я знал, что нужно делать, и мне нравилось бороться. Но такого рода

сражение… В таком бою мне победить не удастся.

— Почему?

— Не знаю. Кто может сказать, почему мир таков, каков есть? И вообще, кто такой Джон Голт?

Она вздрогнула:

— Тогда что же вы собираетесь делать?

— Не знаю…

— То есть… — она умолкла.

Конвей понял, что она хочет сказать.

— Ну, дело для меня всегда найдется…

В голосе его не было уверенности.

— Насколько я понимаю, закрыть для конкуренции собираются только Колорадо и Нью-Мексико. У меня остается еще линия в Аризоне… как и двадцать лет назад, — добавил он. — Мне будет, чем заняться. Я начинаю уставать, Дагни. У меня не было времени замечать это, однако я устал, можешь мне поверить.

Ей нечего было сказать.

— Я не намереваюсь строить новую линию через пришедший в упадок регион, — проговорил он прежним безразличным тоном. — Они хотели вручить мне такой вот утешительный приз, но я думаю, это всего лишь пустые разговоры. Зачем строить железную дорогу там, где на целую сотню

миль найдется разве что пара фермеров, не способных даже прокормить себя самих. Нельзя построить дорогу и заставить ее окупиться. Но если ты не можешь этого добиться, кто сделает это за тебя? С моей точки зрения, это бессмыслица. Они сами не знают, что говорят.

— Да к чертям их упадочные районы! Я думаю о вас. — Она должна была это сказать. — Что вы будете делать с самим собой?

— Не знаю… есть целая уйма вещей, на которые у меня не находилось времени. Например, на рыбную ловлю. Мне всегда нравилось ловить рыбу. Может быть, начну читать книги, всегда хотел. Ничего, выживу. Наконец-то займусь рыбной ловлей. В Аризоне есть несколько прекрасных местечек, где тишина, покой и на мили и мили вокруг не встретишь ни одного человека…

Посмотрев на нее, он добавил:

— Забудем об этом. Зачем вам беспокоиться обо мне?

— Дело не в вас, просто… Дэн, — сказала она вдруг, — надеюсь, вы понимаете, что я хотела помочь вам сражаться не ради вас.

Он улыбнулся; улыбка получилась слабой и дружелюбной:

— Понимаю.

— Я руководствовалась не жалостью, благотворительностью или другой подобной им чепухой. Видите ли, я намеревалась дать вам в Колорадо бой не на жизнь, а на смерть. Я собиралась вклиниться в ваш бизнес, прижать к стенке, выставить с линии, если бы это оказалось необходимым.

Он с пониманием слабо усмехнулся:

— Вам пришлось бы хорошенько потрудиться.

— Только я не думаю, чтобы это было необходимо. По-моему, там хватило бы места для нас обоих.

— Да, — согласился он. — Хватило бы.

— Тем не менее, если бы это оказалось не так, я бы вступила с вами в борьбу и, если бы сумела сделать свою дорогу привлекательнее вашей, сломала бы вас, нимало не задумываясь о том, какая участь вас ожидает. Но чтобы так… Дэн, не думаю, чтобы мне захотелось сейчас видеть нашу линию Рио-Норте. Я… Боже мой, Дэн, я не хочу оказаться грабителем!

Конвей молча посмотрел на нее странным, словно бы отстраненным взглядом и негромко проговорил:

— Девочка моя, вам следовало бы родиться лет сто назад. Тогда вы получили бы свой шанс.

— К черту. Я намереваюсь собственными руками создать свой шанс.

— Именно этого хотел и я в вашем возрасте.

— Но вы добились своего.

— Разве?

Она замерла на месте, почувствовав вдруг убийственную апатию.

Конвей распрямился и резким тоном проговорил, словно бы отдавая распоряжения:

— Займитесь лучше своей линией Рио-Норте и поторопитесь. Подготовьте ее к эксплуатации, потому что если вы этого не сделаете, придет конец Эллису Уайэтту и всем остальным, а лучше их людей в стране нет. Этого нельзя допустить, и вся ответственность теперь ложится на ваши плечи. Незачем даже пытаться объяснить вашему брату, что теперь вам придется сложнее, чем когда я мог составить вам конкуренцию. Но мы с вами это понимаем. Поэтому беритесь за дело. Что бы вы ни сделали, грабительницей вы не окажетесь. Ни один вор не сумеет эксплуатировать железную дорогу в этой части страны. Что бы вы там ни сделали, вы заслужили эту работу. А блохи, подобные вашему брату, не в счет. Теперь все зависит от вас.

Дагни смотрела на него, не понимая, что имен-

но сокрушило человека такого масштаба; она могла только уверенно сказать, что не Джеймс Таггерт.

Она заметила на себе взгляд Конвея, полный невысказанного вопроса. Потом он улыбнулся, и, не веря себе самой, она заметила в этой улыбке печаль и жалость.

— Только не надо жалеть меня, — сказал он. — Мне кажется, что из нас двоих вас ожидает более тяжелое время. И я думаю, вам удастся преодолеть его с куда большими потерями, чем мне.

* * *

В тот же день она позвонила на завод и договорилась о встрече с Хэнком Риарденом. Дагни только что положила трубку и согнулась над разложенными на ее столе картами линии Рио-Норте, когда дверь в кабинет открылась. Она с удивлением подняла глаза: дверь в ее кабинет обыкновенно не открывали без предупреждения.

В двери появился незнакомец, молодой, высокий и отчасти даже опасный, хотя чем именно, сказать она не могла, потому что в этом человеке сразу же бросалось в глаза граничащее с надменностью умение владеть собой. Темноглазый

и лохматый, он носил дорогой костюм, но так, словно бы не замечал или не придавал значения своему облику.

— Эллис Уайэтт, — представился он.

Дагни невольно вскочила на ноги. Теперь она поняла, почему его не задержали — да и не могли задержать — в приемной.

— Присаживайтесь, мистер Уайэтт, — проговорила она с вежливой улыбкой.

— Это излишне, — он не улыбнулся в ответ. — Я не веду продолжительных переговоров.

Нарочито медленно она опустилась в кресло и откинулась назад, не сводя с вошедшего взгляда.

— Итак? — спросила она.

— Я пришел к вам, потому что, насколько я понимаю, в этой гнилой конторе кроме вас не найдется ни одного наделенного мозгами человека.

— Что я могу сделать для вас?

— Выслушать ультиматум, — произнес он, четко выговаривая каждый слог. — Я рассчитываю на то, что через девять месяцев *«Таггерт Трансконтинентал»* начнет работать в Колорадо так, как этого требует мой бизнес. Если та жульническая афера, которую ваши люди про-

вернули с *«Феникс-Дуранго»*, была предпринята ради того, чтобы избавить себя от необходимости работать, я хочу вас известить о том, что со мной этот фокус не пройдет. Я не стал заваливать вас претензиями, когда вы не смогли обслужить меня так, как мне необходимо. Я нашел человека, который смог это сделать. Теперь вы пытаетесь заставить меня иметь дело с вами. Вы рассчитываете диктовать, не оставив мне другого выхода. Вы рассчитываете, что я снижу свою деловую активность в соответствии с присущим вам уровнем некомпетентности. И я хочу сказать, что такие надежды напрасны.

Она неторопливо, с усилием проговорила:

— Не хотите ли вы услышать от меня, что я намереваюсь сделать с нашей линией в Колорадо?

— Нет. Намерения и обсуждения меня не интересуют. Мне нужны перевозки. Что вы будете делать для их обеспечения и как вы будете производить их — дело ваше. Я просто предупреждаю вас. Те, кто хотят иметь дело со мной, будут работать на моих условиях и только. Я не договариваюсь с бестолочами. Если вы надеетесь заработать на перевозке моей нефти, то должны разбираться в своем деле не хуже, чем я в своем. Это понятно?

Дагни негромко ответила:

— Я понимаю вас.

— Я не стану тратить свое время на доказательства, вам следует и без них воспринять мой ультиматум серьезно. Если у вас хватает интеллекта поддерживать в работоспособном состоянии эту прогнившую организацию, вы вполне способны это понять. Вы не хуже меня понимаете, что если *«Таггерт Трансконтинентал»* будет обслуживать свою линию в Колорадо так, как вы это делали пять лет назад, то я разорен. И я знаю, что именно этого вы и добиваетесь. Вы намереваетесь, насколько это будет возможно, кормиться за мой счет, а после, когда прикончите меня, подыскать еще кого-нибудь. Такой линии придерживается бóльшая часть нынешнего человечества. Итак, вот мой ультиматум: теперь вы получили возможность разорить меня, быть может, мне придется уйти; но если это случится, знайте: я заберу всех вас с собой.

В глубине души Дагни, под немотой, удерживавшей ее на месте под ударами этого кнута, таилась острая боль, жгучая боль, подобная боли от ожога. Ей хотелось рассказать этому человеку о годах, потраченных ею на поиски людей, с которыми можно было бы работать так, как с ним;

ей хотелось рассказать ему, что его враги являются и ее врагами, что она ведет ту же битву. Ей хотелось выкрикнуть: «Я не такая, как они!» Однако она понимала, что не вправе поступить так. На ней лежала ответственность за *«Таггерт Трансконтинентал»* и за все, что совершалось от имени компании, — у нее не было права на оправдания.

Сидя прямо, глядя ему в глаза, она ответила ровным тоном:

— Вы получите нужный вам объем перевозок, мистер Уайэтт.

По лицу его пробежало легкое удивление: такого прямого ответа он не ожидал. Быть может, его удивило не то, что́ она сказала, а то, что она не стала искать оправданий и извинений. Какое-то мгновение Уайэтт молча изучал ее. А потом проговорил уже не столь резким тоном:

— Хорошо. Благодарю вас. До свидания.

Дагни наклонила голову. Ответив ей легким поклоном, Уайэтт покинул кабинет.

* * *

— Такие вот дела, Хэнк. Я разработала почти невероятный план завершения реконструкции линии Рио-Норте за двенадцать месяцев. Теперь

мне придется сделать это за девять месяцев. Вы должны были поставить нам рельсы за год. Можете ли вы справиться за девять месяцев? Если это в человеческих силах, сделайте. Если же нет, мне придется найти другой способ решения задачи.

Риарден сидел за столом. Холодные глаза синими горизонтальными щелями прорезали вытянутые плоскости его лица; они остались столь же полузакрытыми и бесстрастными, когда он произнес без какого-либо ударения: «Я сделаю это».

Дагни откинулась на спинку кресла. Короткая фраза несла в себе потрясение. У нее словно камень с души свалился: не нужно никаких дополнительных гарантий, доказательств, вопросов, объяснений; решение сложной проблемы вполне умещалось в нескольких слогах, произнесенных мужчиной, знающим цену своему слову.

— Не надо обнаруживать свое облегчение, — он усмехнулся. — Во всяком случае, так открыто. — Узкие глаза следили за ней сквозь непроницаемую улыбку: — А то я могу подумать, что *«Таггерт Трансконтинентал»* находится в моей власти.

— Вам это и так известно.

— Известно. И я намереваюсь заставить вас заплатить за это.

— Ясное дело. Сколько же?

— Дополнительные двадцать долларов с каждой тонны, поставленной после сегодняшнего дня.

— Крутовато, Хэнк. А скидку предоставить не можете?

— Нет. И я получу то, что прошу. Ведь я мог бы запросить в два раза больше и добиться своего.

— Да, и я заплатила бы. И вы могли бы запросить столько. Но вы этого не сделаете.

— Почему же?

— Потому что вам нужно, чтобы линию Рио-Норте построили. Она послужит рекламой вашему риарден-металлу.

Тот усмехнулся:

— Вы правы. Мне нравится иметь дело с человеком, который не просит себе льгот.

— А знаете, что заставило меня ощутить облегчение, когда вы решили воспользоваться своим преимуществом?

— Что же?

— То, что я имею дело с человеком, который не станет предоставлять льготы.

Улыбка его теперь обрела более конкретный

характер: она сделалась веселой:

— И вы всегда играете в открытую, не так ли?

— Я еще не замечала, чтобы вы поступали иначе.

— Мне казалось, что лишь я один могу позволить себе это.

— В этом смысле я еще не настолько обеднела, Хэнк.

— Полагаю, что однажды я сумею разорить вас.

— Почему?

— Мне всегда хотелось это сделать.

— Разве вокруг вас недостаточно тру`сов?

— Эта мысль мне потому так и приятна, что вы являетесь единственным исключением. Итак, вы считаете справедливым мое желание выжать всю возможную прибыль из вашего затруднительного положения?

— Конечно. Я не дура. И не считаю, что вы занимаетесь своим делом исключительно ради меня.

— А вам хотелось бы, чтобы дело обстояло так?

— Я не попрошайка, Хэнк.

— А вам не будет, хм... затруднительно заплатить подобную сумму?

— Это уже моя проблема, а не ваша. Мне нужны эти рельсы.

— При двадцати лишних долларах за тонну?

— Идет, Хэнк.

— Отлично. Вы получите рельсы. А я могу получить свою сверхприбыль, если только *«Таггерт Трансконтинентал»* не лопнет прежде, чем вы переведете мне деньги.

Дагни ответила без улыбки:

— Если я не сумею завершить перестройку линии за девять месяцев, *«Таггерт Трансконтинентал»* разорится.

— Не разорится, пока у руля остаетесь вы.

Он не улыбнулся, и лицо его осталось бесстрастным, живыми казались только глаза, в которых сверкала холодная, алмазная чистота *восприятия*. Однако какие именно чувства рождали в нем *воспринятые* им вещи, знать не было дано никому, может быть, и ему самому, подумала она.

— Они постарались по возможности осложнить вашу задачу, не так ли? — спросил он.

— Да, я рассчитывала на Колорадо, чтобы спасти всю сеть компании «*Таггерт*». А теперь я должна спасать Колорадо. Через девять месяцев Дэн Конвей закроет свою дорогу. Если моя не окажется готовой к этому времени, достраивать ее не будет никакого смысла. Этих людей нельзя оставить без транспорта ни на один день, не го-

воря уже о неделе или месяце. При скорости их роста эту компанию нельзя остановить, а потом предположить, что они сумеют продолжить дело. Это все равно как рвануть все тормоза на тепловозе, едущем со скоростью двести миль в час.

— Понятно.

— Я могу управлять хорошей дорогой. Но я не могу провести ее по континенту, заполненному издольщиками, у которых не хватает ума вырастить себе достаточно репы. Мне нужны люди, подобные Эллису Уайэтту, которые производят то, чем можно загрузить мои поезда. И потому я обязана через девять месяцев предоставить ему поезда и колею, даже если для этого мне придется положить под рельсы всех нас!

Он не без удивления улыбнулся:

— А вы настроены весьма решительно, не так ли?

— А вы?

Риарден не ответил, однако улыбка не исчезла с его лица.

— А вас это не волнует? — спросила она едва ли не с гневом.

— Нет.

— Неужели вы не понимаете, что это будет означать?

— Я понимаю, что должен прокатать рельсы, а вы должны положить их в колею за девять месяцев.

Она улыбнулась — с легкой усталостью и ощущением доли собственной вины:

— Да. Мы сделаем это. Я понимаю, что бесполезно сердиться на таких людей, как Джим и его приятели. На это у нас нет времени. В первую очередь я должна ликвидировать плоды их стараний. А потом… — она смолкла, задумалась, тряхнула головой и пожала плечами, — …а потом они не будут иметь никакого значения.

— Правильно. Не будут. Когда я услышал об этом собачьем правиле, меня чуть не стошнило. Однако эти сукины дети не достойны внимания.

Последнее предложение прозвучало особенно эмоционально, хотя лицо его и голос оставались спокойными.

— Мы с вами всегда останемся на своем месте и сумеем спасти страну от любых последствий их деятельности, — поднявшись с места, он принялся расхаживать по кабинету. — Развитие Колорадо нельзя останавливать. Вы должны вытянуть этот штат. Тогда вернется Дэн Конвей, а с ним и остальные. Все это безумие имеет

временный характер. Оно не может затянуться надолго. Тот, у кого нет ума, терпит поражение от собственных рук. Просто нам с вами придется чуточку усерднее поработать, только и всего.

Дагни следила за его высокой фигурой, расхаживавшей по кабинету. Обстановка была ему под стать: лишь необходимая для дела мебель, до предела деловая в своем предназначении, и чрезвычайно дорогая с точки зрения материалов и искусной конструкции.

Комната эта напоминала мотор, уместившийся в стеклянной коробке широких окон. Удивляла одна только деталь: резная ваза из яшмы, стоявшая наверху шкафа с папками дел. Простые поверхности темно-зеленого камня, плавные изгибы слоев рождали непреодолимое желание потрогать вазу. И рождаемая этим чувственность явно шла в разрез со строгостью прочей обстановки.

— Колорадо — великий край, — заметил Риарден. — Скоро он станет лучшим в стране. Вы еще не поняли, что его процветание заботит меня? Этот штат становится в один ряд с самыми крупными моими покупателями, о чем вы можете узнать, ознакомившись с отчетами о грузоперевозках.

— Мне это известно. Я читала их.

— Я подумываю о том, что через несколько лет можно будет построить там завод, чтобы избавиться от расходов на транспортировку, — он искоса поглядел на нее: — В таком случае вы потеряете внушительную долю заказов на перевозку стали.

— Действуйте. Мне хватит перевозок сырья, товаров для ваших рабочих, продукции тех фабрик, которые последуют туда за вами… Возможно, я даже не успею заметить, что мне не нужно возить вашу сталь… Почему вы смеетесь?

— Это чудесно.

— Что чудесно?

— То, что вы реагируете на мои слова не так, как это принято сегодня.

— И все же я вынуждена признать, что в настоящее время вы являетесь наиболее важным и крупным клиентом *«Таггерт Трансконтинентал»*.

— Неужели вы думаете, что мне это неизвестно?

— И поэтому я не могу понять, почему Джим… — Дагни умолкла.

— …изо всех сил старается навредить мне? Потому что он глуп.

— Это так. Но дело не только в этом. За его поведением кроется нечто большее, чем простая глупость.

— Не надо тратить времени понапрасну, пытаясь разгадать это. Пусть себе злопыхательствует. Он никому не опасен. Такие люди, как Джим Таггерт, — всего лишь сор на улицах этого мира.

— Увы, да.

— Кстати, что бы вы сделали, если бы я сказал, что не смогу поставить вам рельсы раньше срока?

— Я разобрала бы запасные пути или закрыла бы какую-нибудь ветку и использовала бы рельсы для того, чтобы вовремя завершить линию Рио-Норте.

Риарден усмехнулся:

— Вот поэтому-то участь *«Таггерт Трансконтинентал»* не беспокоит меня. Однако вам не придется разбирать на рельсы запасные пути. Пока я еще не оставил свое дело.

Дагни вдруг подумала, что лицо Риардена напрасно показалось ей бесстрастным: пожалуй, это было лишь манерой скрывать удовольствие. Она вдруг поняла, что всегда ощущала в его присутствии свободу и легкость, и что он разделял это чувство. Среди всех своих знакомых только

с этим мужчиной она могла говорить непринужденно, без напряжения. В нем она видела достойный уважения ум и соперника, с которым стоило считаться. Тем не менее их всегда разделяло некоторое расстояние, закрытая дверь; Риарден неизменно держался отстраненно, она не могла приблизиться к нему.

Остановившись возле окна, он на мгновение посмотрел наружу.

— А вы знаете, что сегодня мы отгружаем вам первую партию рельсов? — спросил он.

— Конечно, знаю.

— Подойдите сюда.

Она приблизилась к нему. Риарден молча указал на далекую цепочку платформ, ожидавшую на железнодорожном пути.

Небо над вагонами перерезал мостовой кран. Он двигался. Огромным магнитом он удерживал груз — рельсы. Сквозь серое небо не пробивалось и лучика солнца, однако рельсы блестели, словно металл впитывал свет из пространства. Они казались зеленовато-синими. Толстенная цепь остановилась над вагоном и коротко дернулась, освободив рельсы. Кран с величественным безразличием пополз назад, напоминая собой огромный чертеж геометрической теоремы, дви-

жущийся над людьми и землей.

Стоя возле окна, они наблюдали безмолвно и внимательно. Дагни молчала до тех пор, пока новая партия сине-зеленого металла не поползла по небу. И потом только проговорила — не о рельсах, будущей колее или завершенных вовремя поставках. Слова эти прозвучали приветствием нового явления природы:

— Риарден-металл…

Он это заметил, но ничего не сказал. Поглядев на нее, Риарден вновь отвернулся к окну.

— Хэнк, это великое дело.

— Да, — согласился он, открыто и просто. В голосе его не было ни удовлетворенного самолюбия, ни скромности. И в этом, понимала она, состоял его долг перед ней, редчайшее право среди тех, что выпадает на долю человека: право признать собственное величие, зная, что тебя поймут правильно.

Дагни произнесла:

— Когда я думаю о том, на что способен этот металл, как много можно будет сделать с его помощью… Хэнк, мы видим сейчас самое важное из всего происходящего сегодня в мире, и никто этого не знает.

— Это известно нам.

Они не смотрели друг на друга. Оба молча следили за краном. Спереди на далеком тепловозе она могла различить две буквы: *ТТ*. Под ними находились пути самой загруженной из промышленных веток сети компании «Таггерт».

— Как только я найду завод, способный на выполнение такого задания, — проговорила она, — я закажу там дизеля из риарден-металла.

— Вам они потребуются. Как быстро ходят ваши поезда на линии Рио-Норте?

— Сейчас? Мы считаем удачей, когда им удается выжать двадцать миль в час.

Риарден показал на рельсы:

— Когда они лягут в колею, при желании вы сможете пускать поезда со скоростью двести пятьдесят миль в час.

— Так и будет через несколько лет, когда мы получим вагоны из риарден-металла, в два раза более легкие и прочные, чем стальные.

— Вам нужно будет заняться и авиацией. Мы работаем над самолетом из риарден-металла. Машина будет практически невесомой и сможет поднять все, что угодно. Впереди — время дальних грузовых воздушных перевозок.

— Я думаю о том, чем станет этот металл для двигателей, любых двигателей, и что можно

сделать из него уже сейчас.

— А вы не думали, какую сетку для оград можно будет из него делать? Простейший забор из риарден-металла обойдется в несколько центов за милю и простоит две сотни лет. И еще про кухонную утварь, которую можно будет купить в грошовой лавчонке и передавать из поколения в поколение. И про океанские лайнеры, на которых ни одна торпеда не оставит даже вмятины.

— А я не рассказывал про эксперименты с проводными сетями из моего металла? Я провожу столько испытаний, что мне никак не удается исчерпывающим образом показать людям, что и как можно сделать из него.

Они разговаривали о металле и его неистощимых возможностях. Казалось, оба они стояли на вершине горы, от которой во все стороны по беспредельной равнине разбегались пути. Однако речь шла только о цифрах: весах, давлениях, сопротивлении, ценах.

Дагни забыла и о своем брате, и о его Национальном альянсе. Она забыла обо всех своих проблемах, о связанных с ними людях и событиях; впрочем, они всегда не имели для нее первостепенной роли, мимо них можно было пройти, отодвинуть на второй план; они никогда

не обретали окончательных, реальных очертаний. Такова на самом деле реальность, думала она, это ощущение четких очертаний, цели, легкости, надежды. Так она рассчитывала провести свою жизнь — чтобы в ней не было ни одного часа или поступка, наполненного меньшим содержанием.

Она обернулась к нему именно в тот самый момент, когда Риарден посмотрел на нее. Они стояли совсем рядом. Дагни читала в его глазах те же самые чувства, что переполняли и ее саму. Если счастье — действительно цель и смысл бытия, и если то, что способно принести наивысшее счастье, всегда старательно скрывается как величайшая тайна, значит, в тот миг они были нагими друг перед другом.

Риарден сделал шаг назад и с неким бесстрастным укором произнес:

— Вот так подобралась парочка негодяев, не правда ли?

— Почему это?

— У нас с вами нет никаких духовных целей и способностей. Нас интересует исключительно материальный мир. Ничто другое нас не занимает.

Не понимая, Дагни уставилась на него. Однако

Риарден смотрел прямо перед собой, на далекий кран. Она пожалела о том, что он произнес эти слова. Обвинение не смущало ее, она никогда не воспринимала себя в подобных, довольно сложных для ее восприятия терминах и абсолютно не умела чувствовать за собой некую неизгладимую вину. И все же Дагни ощущала легкое смущение, причин которого не могла определить, она чувствовала в словах Риардена намек на серьезные последствия, даже опасность для него самого. Он произнес эти слова не просто так. Но в голосе его не было эмоций, не было мольбы о прощении или стыда. Он произнес эту фразу без интонации, просто констатируя факт.

Она смотрела на Риардена, и внезапное смятение понемногу утихло. Он смотрел из окна на свой завод; в лице его не было ни вины, ни сомнения — ничего, кроме нерушимой уверенности в себе.

— Дагни, — проговорил Риарден, — кем бы мы ни были, мы движем миром, и нам вести его вперед.

ГЛАВА V. ВЕРШИНА РОДА Д'АНКОНИЯ

Первым делом она заметила газету, зажатую в руке Эдди, появившегося в ее кабинете. Она посмотрела на него: лицо Эдди было напряженным и взволнованным.

— Дагни, ты очень занята?

— А что?

— Я знаю, что ты не любишь говорить о нем. Но кое-что тебе, по-моему, нужно просмотреть.

Она безмолвно протянула руку к газете.

Опубликованная на первой странице статья повествовала о том, что, взяв под свой контроль рудники Сан-Себастьян, правительство Мексиканской Народной Республики обнаружило, что цена им грош. Ничто не могло оправдать пять лет работы и потраченные миллионы — ничто, кроме трудолюбиво вскрытых разрезов. Скудные следы меди никак не стоили трудов, затраченных на их извлечение. Не существовало не только огромного месторождения, но даже каких-либо его признаков, способных ввести в заблуждение. Правительство Мексики собралось на экстренное заседание, пребывая в состоянии возмущения; государственные деятели считали

себя обманутыми.

Не сводивший с нее глаз Эдди заметил, что Дагни продолжает смотреть на газету, даже закончив чтение. И понял, что испытывает вполне оправданный, хотя и не слишком понятный страх.

Он ждал. Дагни подняла голову. Она смотрела не на него. Глаза ее были устремлены вдаль, и предельно сконцентрированный взгляд пытался разглядеть нечто неведомое.

Он негромко проговорил:

— Франсиско не дурак. Кем бы ни был он по своей сути, в какие бы пороки ни погружался, — а причина этого мне по-прежнему неясна, — он не дурак. Он просто не мог сделать такую ошибку. Я просто ничего не понимаю.

— А я начинаю понимать.

Дагни распрямилась — резко, судорожно, как пружина:

— Позвони этому сукину сыну в *«Уэйн-Фолкленд»* и скажи, что я хочу его видеть.

— Дагни, — проговорил он с мягкой укоризной, — это же Фриско д'Анкония.

— Был когда-то.

* * *

Сквозь ранние сумерки она шла к отелю *«Уэйн-Фолкленд»*.

— Он говорит, в любое время, когда тебе угодно, — сказал ей Эдди. В нескольких окнах под самыми облаками уже загорались первые огни.

Небоскребы казались заброшенными маяками, рассылавшими слабые, гаснущие сигналы в пустынное море, в котором нет кораблей.

Редкие снежные хлопья неторопливо падали мимо темных витрин опустевших магазинов, чтобы растаять на тротуаре. Цепочка красных фонариков пересекала улицу, растворяясь в туманной дали.

Дагни не могла понять, почему ей хотелось побежать, почему она должна была бежать; нет, не по этой улице, вниз по освещенному ослепительным солнцем зеленому склону к берегу Гудзона от особняка Таггертов. Так она всегда бегала, услышав от Эдди:

— Это Фриско д'Анкония! — И они оба бросались навстречу ехавшей вдоль реки машине.

Он был единственным гостем их детства, чье прибытие превращалось в праздник, становилось огромным событием. Этот бег навстречу

ему превращался в соревнование между ними троими. На склоне, на половине расстояния между дорогой и домом, росла береза; Дагни и Эдди пытались пробежать мимо дерева раньше, чем Франсиско успеет подняться к нему от дороги. И во все его многочисленные приезды, во все годы они ни разу не успевали первыми к березе; Франсиско оказывался около нее раньше них. Франсиско побеждал всегда. Всегда и во всем.

Родители его издавна дружили с семейством Таггертов. Он был их единственным сыном, и они воспитывали его в самых разных уголках земли; говорили, что отец его стремился этим приучить сына относиться к миру как к своему будущему владению.

Дагни и Эдди никогда не могли сказать заранее, где Франсиско будет проводить зиму; раз в году, летом, строгий южно-американский гувернер привозил мальчика на месяц в поместье Таггертов.

Франсиско находил вполне естественным для себя общение с детьми Таггертов: они были наследными принцами *«Таггерт Трансконтинентал»*, как и он был наследником *«Д'Анкония Коппер»*.

— Мы — единственная оставшаяся в мире ари-

стократия, финансовая аристократия, — сказал он однажды Дагни в возрасте четырнадцати лет. — Единственная подлинная аристократия для тех, конечно, кто может понять, что это означает.

У него была собственная кастовая система: с точки зрения Фриско, детьми Таггертов были не Джим и Дагни, а Дагни и Эдди. Он редко замечал существование Джима. Эдди однажды спросил его:

— Франсиско, ты ведь принадлежишь к высшей знати, не так ли?

Тот ответил:

— Пока еще нет. Мой род сумел просуществовать так долго лишь потому, что ни одному из нас не было позволено думать, что он рожден д'Анкония. Все мы должны были заслужить свое имя.

И имя это он произносил так, как будто одни звуки его могли сделать собеседника дворянином.

Себастьян д'Анкония, его предок, покинул Испанию много веков назад, в те времена, когда страна эта была самой могущественной на свете, а он принадлежал к одному из самых гордых родов ее. Он покинул родину, потому что глава инквизиции не одобрял его манеру мышления

и на одном из придворных пиршеств порекомендовал переменить образ мыслей. Себастьян д'Анкония выплеснул ему в лицо содержимое бокала и бежал из дворца, прежде чем его успели схватить. Оставив состояние, поместья, мраморный дворец и любимую девушку, он отплыл в Новый Свет.

Первым его поместьем в Аргентине стала деревянная хижина у подножья Анд. Солнце лучом маяка отражалось от серебряного герба рода д'Анкония, прибитого над дверью хижины, в то время как Себастьян д'Анкония искал медное месторождение своего первого рудника. Он провел годы с киркой в руке, ломая камень от рассвета до заката с помощью нескольких изгоев — дезертиров, оставивших армию соотечественников, беглых преступников, голодных индейцев.

Через пятнадцать лет после того, как он оставил Испанию, Себастьян д'Анкония послал на родину за своей любимой: она ждала его. Явившись к подножию Анд, она обнаружила серебряный герб над входом в окруженный садами мраморный дворец; вдали маячили горы, изрытые ямами, из которых извлекали красную руду. Через порог своего дома он перенес ее на руках. Себастьян показался ей даже моложе, чем во вре-

мя их последней встречи.

— Наши предки, — однажды сказал Франсиско Дагни, — наверняка подружились бы.

Все свое детство Дагни обитала в будущем — в мире, который ожидала найти, где ей не придется скучать или ощущать презрение. Но один месяц в году она была свободной. Этот единственный месяц она могла провести в настоящем. И, бросаясь вниз по склону холма навстречу Франсиско д'Анкония, она вырывалась из тюрьмы.

— Привет, Чушка!

— Привет, Фриско!

Прозвища не пришлись по вкусу обоим. Она недовольным тоном спросила:

— Что ты, собственно, имеешь в виду?

Он ответил:

— На тот случай, если ты не знаешь, «чушкой» называется раскаленный слиток металла.

— Откуда ты взял это слово?

— Я услышал его от джентльмена на таггертовской железке.

Франсиско владел пятью языками и разговаривал по-английски без тени акцента, преднамеренно подмешивая простонародные словечки к рафинированной лексике. Она отомстила ему

прозвищем «Фриско». Он не без досады рассмеялся:

— Если вам, варварам, так уж нужно опорочить имя своего великого города, присвоив его мне, вы не добьетесь своей цели.

Однако оба постепенно привыкли к этим прозвищам.

Это началось на второе проведенное ими вместе лето, когда ему было двенадцать, а ей десять. В тот год Франсиско начал невесть где пропадать по утрам. Еще до рассвета он уезжал на своем велосипеде и возвращался как раз к накрытому на террасе для ланча белому, в хрустале, столу, всегда подчеркнуто вежливый и совершенно невозмутимый. На все расспросы Дагни и Эдди он отвечал смехом. Однажды в еще предутренних прохладных сумерках они попытались выследить его, но скоро сдались: никто не мог увязаться за Франсиско, если тот не хотел этого сам.

Спустя некоторое время миссис Таггерт по-настоящему обеспокоилась и провела расследование. Она так и не узнала, каким образом ему удалось обойти законы, запрещающие использовать детский труд, однако обнаружила, что Франсиско работает — по неофициальной договоренности с диспетчером — посыльным

местного управления *«Таггерт Трансконтинентал»*, расположенного в десяти милях от их летнего дома. Личный визит миссис Таггерт потряс диспетчера: он не имел ни малейшего представления о том, что его посыльный гостит в доме Таггертов. Железнодорожники звали мальчика Фрэнки, и миссис Таггерт предпочла не открывать им его подлинное имя. Она просто объяснила, что он устроился на работу без разрешения родителей, а потому должен быть немедленно уволен. Диспетчеру было жаль терять расторопного сотрудника; он сказал, что такого посыльного, как Фрэнки, у него не было никогда.

— Мне не хотелось бы расставаться с ним. Может, мне удастся договориться с его родителями? — предположил он.

— Боюсь, что нет, — слабым голосом молвила миссис Таггерт.

— Франсиско, — спросила она, вернувшись домой вместе с мальчиком, — что скажет твой отец, если узнает об этом?

— Он спросит, справлялся я с работой или нет. Ничто другое его не интересует.

— Не надо, я серьезно спрашиваю.

Франсиско смотрел на нее со всей вежливостью, унаследованной им от многих поколений

предков, воспитанных в салонах и гостиных, однако в выражении его глаз было нечто, абсолютно не имевшее отношение к хорошему тону.

— Прошлой зимой, — ответил он, — я устроился юнгой на пароход, перевозящий медь нашей фирмы. Отец разыскивал меня три месяца, но когда я вернулся, спросил только об этом.

— Так вот каким, значит, образом ты проводишь зимы? — спросил Джим Таггерт. К улыбке его примешивалась нотка триумфа, личной победы, позволяющей ощутить свое превосходство.

— Это было прошлой зимой, — самым милым образом ответил Франсиско, не меняя невинного и непринужденного тона. — Предыдущую зиму я провел в Мадриде, в доме герцога Альбы.

— А почему ты захотел работать на железной дороге? — спросила Дагни.

Они смотрели друг на друга: взгляд ее был полон восхищения, а в его глазах читалась насмешка, не злобная, скорее, веселая, как приветствие.

— Чтобы узнать, на что это похоже, — ответил он, — и чтобы иметь потом возможность сказать, что я успел поработать на *«Таггерт Трансконтинентал»* еще до того, как это удалось сделать тебе.

Дагни и Эдди тратили свои зимы на приобре-

тение нового умения, чтобы удивить им Франсиско и хотя бы однажды победить его. Им так и не удалось это сделать. Когда они показали ему, как надо ударять битой по мячу — Франсиско никогда еще не играл в бейсбол — некоторое время понаблюдав за ними, он сказал:

— Ну, кажется, понял. Дайте попробовать.

И, взяв биту, послал мяч за рядок дубков, росших в конце площадки.

Когда Джиму подарили на день рождения моторную лодку, все они выстроились на причале, следя за инструктором, показывавшим, как надо управлять ею. Никому из них еще не приходилось управлять моторкой. Ослепительно белое, очертаниями похожее на пулю суденышко, раскачиваясь, двигалось по воде, оставляя за собой вялую волну; мотор неровно пыхтел, задыхаясь, а сидевший возле Джима инструктор то и дело выхватывал руль из его рук. Вдруг повернув голову к Франсиско, Джим крикнул:

— Будешь говорить, что справишься лучше?

— Буду.

— Тогда попробуй!

Когда лодка причалила к пристани и Джим с инструктором вышли на настил, Франсиско сел за руль.

— Минуточку, — обратился он к инструктору, остававшемуся на причале. — Позвольте мне разобраться с управлением.

И тут же, хотя инструктор еще не получил даже возможности шевельнуться, лодка стрелой помчалась к середине реки, словно выпущенная из ружья. Они даже не успели ничего понять. Пока удалявшееся суденышко растворялось в солнечном свете, Дагни успела представить себе три оси координат: оставленный след на воде, протяжный гул мотора и избранное направление.

Она отметила странное выражение на лице отца, наблюдавшего за тем, как исчезала вдали моторка. Он не говорил ничего — просто смотрел. Она вспомнила, что уже видела такое выражение на его лице, когда он рассматривал сложную систему блоков, сооруженную Франсиско в возрасте двенадцати лет, чтобы подниматься на вершину скалы; он учил Дагни и Эдди нырять оттуда в Гудзон. Вокруг на земле валялись листки с вычислениями Франсиско; подобрав, отец просмотрел их и спросил:

— Франсиско, сколько лет ты изучал алгебру?

— Два года.

— А кто научил тебя всему этому?

— О, это я прикинул самостоятельно.

Дагни не знала, что на смятых листках, оставшихся в руке отца, записано самостоятельно изобретенное дифференциальное уравнение.

Наследниками Себастьяна д'Анкония всегда были старшие сыновья, которые умели с честью носить имя своего рода. Согласно семейной традиции считалось, что род может опозорить только человек, после кончины которого семейное состояние останется таким, каким было, когда он принимал его из рук отца. Сменялись поколения, однако о подобном позоре не могло быть и речи. Аргентинская легенда утверждала, что рука д'Анкония столь же чудотворна, как и рука святого, если речь идет не об исцелении, а об умении производить.

Все д'Анкония обладали необычайными способностями, но никто из них не мог бы соперничать с тем, чем обещал стать Франсиско. Похоже было, что века процедили семейные качества сквозь частое сито, пропустив ненужное, незначительное, слабое и оставив только чистые дарования; словно бы случай в порядке каприза очистил его существо от всего мелкого, от всяких инородных примесей.

Франсиско мог взяться за любое дело и выполнить его; он умел сделать это лучше, чем кто-либо

другой, причем без малейших усилий. Однако и в манерах его, и в образе мыслей просто не было места сравнению. Его позицию можно было изложить следующими словами: «я могу сделать это», а не «я могу сделать это лучше тебя».

И если он что-то делал, то качество всегда оказывалось безукоризненным.

Какую бы дисциплину ни предстояло ему изучить согласно исчерпывающему плану отца, за какой бы предмет ему ни приходилось браться, Франсиско справлялся с ними непринужденно и без усилий. Его отец обожал сына, но старательно скрывал свои чувства, как прятал и гордость за то, что ему выпало воспитывать наиболее блестящего представителя и без того ослепительной семьи.

Во Франсиско многие видели вершину рода д'Анкония.

— Не знаю, какой девиз выбит на семейном гербе д'Анкония, — сказала однажды миссис Таггерт, — но я не сомневаюсь, что Франсиско сменит его на простое «Зачем?».

Именно этим вопросом он всегда отвечал на любое предложение — и ничто не могло заставить его даже пальцем шевельнуть, пока он не находил разумной причины. В тот месяц свое-

го летнего отдыха Франсиско носился как ракета, однако когда удавалось остановить его на середине полета, всякий раз оказывалось, что он способен назвать цель любого отдельно взятого мгновения. Две вещи были равно невозможны для него: замереть на месте и двигаться без цели.

— Давайте узнаем, — так звучал для Дагни и Эдди мотив очередного его предприятия, или он говорил: — Давайте сделаем.

Других форм развлечения он не признавал.

— Я могу сделать это, — говорил он при сооружении своего подъемника, привалившись к скале и загоняя в нее металлические клинья; в движениях его рук угадывалась уверенность мастера, никем не замеченные капли крови сочились из-под повязки на запястье. — Нет, Эдди, мы не можем меняться, ты еще недостаточно вырос, чтобы справляться с молотом. Лучше обломай эти ветки, чтобы я мог лучше видеть скалу, я сам сделаю все остальное… Какая кровь? Ах, это? Ничего, просто порезался вчера. Дагни, сбегай домой и принеси мне чистый бинт.

Джим наблюдал за ними. Они оставляли его в одиночестве, но часто замечали стоящим поодаль и вглядывавшимся во Франсиско с особенным, странным вниманием.

Он редко открывал рот в присутствии Франсиско. Однако потом принимался с возмущенной улыбкой распекать Дагни:

— Нечего воображать, прикидываться самостоятельной железной леди, этакой себе на уме! Ты просто бесхребетная тряпка, и только. Отвратительно видеть, как ты позволяешь помыкать собой этому надменному прохвосту. Он может обвести тебя вокруг пальца. У тебя нет никакой гордости. Стоит ему только свистнуть, как ты уже мчишься прислуживать ему! И почему ты еще ботинки ему не чистишь?

— Потому что он не приказывал, — отвечала она.

Франсиско мог выиграть в любой игре, мог победить в любом соревновании. Но он никогда не участвовал в них. Он мог бы командовать молодежным загородным клубом. Он и близко не подходил к его зданию, игнорируя все попытки залучить к себе самого знаменитого в мире наследника. Единственными друзьями его были Дагни и Эдди. Они не могли понять, кто кому принадлежит: они ему или он им. Разницы не было никакой: и в том, и в другом случае они были счастливы.

Каждое утро вся троица отправлялась на по-

иски каких-нибудь особенных приключений. Однажды пожилой профессор, преподававший литературу, приятель миссис Таггерт, заметил их на груде металлолома во дворе старьевщика, где они разбирали корпус автомобиля. Покачав головой, он остановился и обратился к Франсиско:

— Молодому человеку вашего общественного положения подобает проводить время в библиотеках, впитывать в себя мировую культуру.

— А чем же я сейчас занимаюсь? — ответил Франсиско.

Поблизости не было заводов, но Франсиско подговаривал Дагни и Эдди зайцами ездить на таггертовских поездах в далекие города, где они перелезали через забор на фабричный двор или липли к окнам, следя за тем, как работают станки, с той же увлеченностью, с которой другие дети смотрят кино.

— Когда я буду распоряжаться *«Таггерт Трансконтинентал»*... — говорила время от времени Дагни.

— Когда я буду командовать *«Д'Анкония Коппер»*... — откликался Франсиско. Остальное им не было нужды объяснять друг другу; каждый знал свою цель и средства добиться ее.

Время от времени их ловили железнодорожные контролеры. После этого очередной начальник станции звонил за сто миль миссис Таггерт:

— У нас находятся трое юных бродяг, уверяющих, что они…

— Да, — вздыхала миссис Таггерт, — они и есть. Пожалуйста, пришлите их домой.

— Франсиско, — спросил его однажды Эдди, когда они стояли возле путей таггертовского вокзала, — ты, наверно, успел повидать весь мир. Что важнее всего на земле?

— Вот это, — Франсиско указал на эмблему «*ТТ*», прикрепленную к паровозу. И добавил: — Мне хотелось бы повстречаться с Натом Таггертом.

Заметив на себе взгляд Дагни, он не стал продолжать. Но несколько минут спустя, когда они оказались в лесу, на темной, узкой и сырой тропке между купами папоротников, он сказал:

— Дагни, я всегда преклоняюсь перед чужим гербом. Я привык чтить знаки благородного происхождения. Разве я не аристократ? Только я гроша ломаного не дам за прошедший через десять рук замок и траченных молью единорогов. Гербы нашего времени следует искать на рекламных щитах и страницах объявлений популярных журналов.

— О чем ты? — спросил Эдди.

— О торговых марках, — ответил он.

В то лето Франсиско исполнилось пятнадцать лет.

«Когда я буду распоряжаться *“Д’Анкония Коппер”*… Я изучаю горное дело и минералогию, потому что мне нужно быть готовым к тому дню, когда я стану распоряжаться *“Д’Анкония Коппер”*… Я изучаю электродело, потому что энергетические компании являются лучшими клиентами *“Д’Анкония Коппер”*… Я намереваюсь заняться философией, потому что эти знания потребуются мне, чтобы защищать интересы *“Д’Анкония Коппер”*»…

— А тебе не случается думать о чем-то другом, кроме *«Д’Анкония Коппер»*? — спросил его однажды Джим.

— Нет.

— На мой взгляд, в мире полно всяких интересных вещей.

— Пусть об этих вещах думают другие люди.

— А не эгоистична ли такая точка зрения?

— Эгоистична.

— И что же тебе нужно?

— Деньги.

— Разве тебе мало?

— Каждый из моих предков увеличивал объем производства *«Д'Анкония Коппер»* примерно на десять процентов. Я намереваюсь увеличить его в два раза.

— Зачем? — спросил Джим, ехидно имитируя интонацию Франсиско.

— После смерти я намереваюсь отправиться на небо, где бы оно ни находилось, и хочу иметь возможность заплатить за вход.

— Туда пропускают только людей добродетельных, — высокомерно заметил Джим.

— Именно об этом я и говорю, Джеймс. Поэтому-то я намереваюсь претендовать на величайшую из добродетелей и предстать там в качестве человека, который умел делать деньги.

— Деньги делать может любой жулик.

— Джеймс, однажды тебе предстоит узнать, что каждое слово имеет свой смысл.

Франсиско улыбнулся, и улыбка его была полна веселой насмешки. Глядя на Франсиско и Джима, Дагни вдруг подумала о том, какие они разные. В улыбках обоих ощущался избыток иронии. Однако Франсиско смеялся потому, что видел за повседневностью нечто более великое. Джим же смеялся потому, что не хотел, чтобы нечто великое существовало.

Эту особенность улыбки Франсиско она вновь отметила однажды ночью, когда вместе с ним и Эдди сидела возле разведенного в лесу костра. Свет пламени ограждал их неровным подвижным забором, в котором небесными звездами посверкивали кусочки недогоревших ветвей.

Ей казалось, что за оградой этой нет ничего, кроме черной пустоты, полной захватывающего дух, пугающего обещания… похожего на будущее. И все же, подумала она, будущее будет подобно улыбке Франсиско. Ключ к природе грядущих лет, некое предупреждение угадывалось в его лице, освещенном светом костра под сосновыми ветвями; и Дагни вдруг ощутила невероятное счастье, невыносимое оттого, что оно было слишком велико, и она не умела выразить его. Дагни взглянула на Эдди. Тот тоже смотрел на Франсиско, явно разделяя, хотя бы отчасти, ее чувства.

— Почему тебе нравится Франсиско? — спросила она у него через несколько недель, когда Франсиско уехал.

Эдди был явно удивлен: ему в голову не приходило, что здесь возможны какие-то вопросы. Он ответил:

— В его присутствии мне нечего опасаться.

Она проговорила:

— А мне его присутствие сулит волнение и опасность.

На следующее лето Франсиско исполнилось шестнадцать, и в этот самый день они вдвоем стояли на вершине скалы над рекой, успев разодрать шорты и рубашки во время подъема. Они смотрели вниз по течению Гудзона. Рассказывали, что в ясные дни вдалеке можно разглядеть Нью-Йорк. Однако в тот день вдали виднелось только марево, порожденное тремя источниками света: реки, неба и солнца.

Наклонившись вперед, Дагни оперлась коленом о камень, пытаясь все-таки разглядеть город. Ветер трепал ее волосы, то и дело прикрывая глаза. Оглянувшись через плечо, она заметила, что Франсиско смотрит не вдаль, а на нее. Взгляд был странным, пристальным и неулыбчивым. На мгновение она застыла на месте, упираясь ладонями в скалу: его взгляд заставил осознать свою довольно неловкую позу, напомнил о порванной на плече блузке, длинных, исцарапанных, загорелых ногах. Дагни порывисто выпрямилась и отодвинулась от Франсиско. Откинув голову назад, она посмотрела ему прямо в глаза — полные, как ей казалось тогда, осуждения и враждебности — и совершенно неожиданно для самой себя

с кокетливым весельем спросила:

— Что же во мне так тебе понравилось?

Он рассмеялся; она же не знала, куда деваться от смущения — настолько нелепо прозвучал ее вопрос.

— Вот что мне нравится в тебе, — ответил он, указывая на железнодорожную колею, блестевшую на солнце возле далекой станции линии «*Таггерт*».

— Она не моя, — с разочарованием вздохнула Дагни.

— Да, но будет твоей. Это-то мне и нравится.

Она улыбнулась, признавая его очередную победу. Дагни не понимала, почему он смотрит на нее столь странно, но какое-то десятое чувство подсказывало ей, что он нащупал некую, неясную пока для нее связь между ней и ее будущей способностью управлять этими рельсами.

Он отрывисто проговорил:

— Давай посмотрим, не виден ли отсюда Нью-Йорк, — и дернул за руку, пододвигая к краю утеса. Она подумала, что рука ее изогнулась случайно, сама собой, и прижалась к его боку; они стояли совсем рядом, и она ощущала своей ногой солнечное тепло его ноги. Они вглядывались вдаль, но так и не заметили ничего, кроме

светлой дымки.

Когда Франсиско в то лето уехал, она подумала, что отъезд его подобен пересечению границы, за которой осталось его детство: осенью он поступал в колледж. В следующем году должна была прийти ее очередь. Она ощущала легкое нетерпение, к которому примешивался страх, как будто ее другу предстояло погрузиться в неизвестное. Мгновение напоминало давнишнее чувство, когда несколько лет назад она смотрела, как Франсиско первым прыгал со скалы в черную воду Гудзона, и знала, что он вот-вот вынырнет и настанет ее очередь.

Она отбросила страх. Опасности, с точки зрения Франсиско, всего лишь предоставляли еще одну возможность отличиться; ибо не было сражения, которое он мог проиграть, не было и врага, способного его победить. А потом она вспомнила реплику, которую слышала несколько лет назад. Фраза оказалась настолько странной, что слова запали в память, несмотря на то, что тогда она посчитала их бессмысленными. Произнес их старый профессор математики, друг ее отца, единственный раз посетивший их загородный дом. Дагни понравилось его лицо, и в тот вечер, на террасе, она заметила в его глазах особенную

печаль, когда, указав на фигуру прогуливавшегося в саду Франсиско, профессор сказал:

— Какой ранимый мальчик. Как он нуждается в счастье. Что будет он делать в мире, где оно гостит так редко?

Франсиско пошел учиться в знаменитое американское учебное заведение, которое его отец уже давно выбрал для сына. Это был самый прославленный Кливлендский университет имени Патрика Генри.

В ту зиму он не приезжал к ним в гости в Нью-Йорк, хотя для этого нужно было ехать всего только одну ночь. Они не переписывались, такого у них в обычае не было. Однако Дагни знала, что летом он на месяц приедет к ним.

Той зимой на нее несколько раз накатывало неопределенное смятение: слова профессора все приходили на память в виде предупреждения, смысла которого она не могла понять. Она гнала их. И думая о Франсиско, чувствовала крепнущую уверенность в том, что получит еще один месяц в качестве аванса на будущее, доказательства того, что ожидавший ее мир реален, пусть этот мир и не принадлежит тем, кто окружает ее.

— Привет, Чушка!

— Привет, Фриско!

Стоя на склоне холма, снова завидев его внизу, она вдруг поняла природу мира, который соединял их двоих наперекор всем остальным. Мгновение словно остановилось, она почувствовала, как хлопковая юбка полощется вокруг колен, ощутила прикосновение солнца к векам, прилив облегчения, с такой силой повлекший ее вверх, что она даже покрепче уперлась в землю сандалиями, чтобы ее, вдруг сделавшуюся невесомой, не унес ветер.

Это было внезапное чувство свободы и безопасности, потому что она поняла, что ничего не знает о его жизни, никогда не знала и не хочет знать. Мир случайностей — семейств, трапез, школ, людей, не имеющих цели, людей, влачащих груз неведомой вины, — не имел к ним отношения, не мог переменить его, ничего не значил в конце концов. Они с Франсиско никогда не разговаривали о том, что происходило с ними, только о своих мыслях и о том, что будут делать… Она молча смотрела на него, словно бы внутренний голос твердил ей: «Не то, что есть, но то, что мы создадим… не остановят нас, меня и тебя… Прости мне страх, пусть я и подумала, что могу уступить тебя чему-то, прости мне сомнения, ты никогда не узнаешь о них… я никогда

более не буду бояться за тебя…»

Франсиско тоже замер на мгновение, вглядываясь в нее, и ей показалось, что во взгляде его читается не просто «здравствуй», подобающее после долгой разлуки, но приветствие человека, который думал о ней каждый день всего прошедшего года. Нет, уверенности не было, ощущение это посетило ее всего на мгновение, настолько краткое, что буквально в тот же самый миг Франсиско уже повернулся к оставшейся за его спиной березе и проговорил в тоне той же детской забавы:

— И когда ты научишься бегать? Вечно приходится дожидаться тебя.

— А ты будешь ждать меня? — весело спросила она.

Франсиско ответил без тени улыбки:

— Всегда.

Пока они поднимались на холм к дому, он разговаривал с Эдди, а она молча шла рядом. Она поняла, что в отношениях между ними возникла незнакомая прежде сдержанность, странным образом превращавшаяся в близость.

Дагни не стала расспрашивать Франсиско об университете. Только через несколько дней, она спросила, нравится ли ему там.

— Сейчас там преподают уйму всякой ерунды, — ответил он, — но несколько курсов мне нравятся.

— А у тебя уже появились там друзья?

— Двое.

Ничего больше он ей говорить не стал.

Джиму предстоял последний год обучения в нью-йоркском колледже. Занятия наделили его некоей странной, даже трепетной воинственностью, словно бы он обрел новое для себя оружие. Как-то без всякого повода со стороны Франсиско Джеймс остановил его посреди лужайки и произнес тоном оскорбленного праведника:

— По-моему, теперь, когда ты достиг студенческого возраста, тебе пора научиться хотя бы каким-нибудь идеалам. Настала пора забыть об эгоизме и жадности, подумать об ответственности перед обществом, потому что, на мой взгляд, все те миллионы, которые ты унаследуешь, не могут служить для удовлетворения твоих потребностей, они доверены тебе ради неимущих и обездоленных, и человек, который не осознает это, является наиболее низменным среди всех людей.

Франсиско ответил самым любезным образом:

— Не советую тебе, Джеймс, следовать непрове-

ренным точкам зрения. Не стоит смущать своего собеседника подобными мнениями.

Когда они отошли, Дагни спросила:

— Неужели на свете много людей, похожих на Джима?

Франсиско рассмеялся:

— Их великое множество.

— И тебе они безразличны?

— Нет. Но мне не приходится иметь с ними дело. Почему тебя это интересует?

— Потому что мне кажется, что они в известной мере опасны… не знаю чем…

— Великий Боже! Дагни, неужели ты думаешь, что я буду бояться такого субъекта, как Джеймс?

Через несколько дней, когда они вдвоем гуляли по лесу возле берега реки, она спросила:

— Франсиско, а кто среди людей является самым низменным?

— Человек, не имеющий цели.

Она посмотрела на прямые стволы деревьев, за которыми, как за оградой, пряталось огромное, ослепительное пространство. В лесу было сумрачно и прохладно, но макушки деревьев ловили отражавшиеся от воды жаркие серебряные лучи. Дагни не знала, почему ей так нравится эта картина, почему прежде она никогда не за-

мечала местности вокруг себя, и почему теперь ей так приятно двигаться, так приятно ощущать свое тело.

Дагни не хотела смотреть на Франсиско. Присутствие его делалось несравненно более реальным, когда она прятала глаза, словно более четкое ощущение себя самой исходило от него, подобно отражавшемуся от воды свету.

— Так, значит, ты считаешь себя умной? — спросил он.

— Считаю и всегда считала, — вызывающим тоном, не поворачиваясь, бросила она.

— Что ж, представь мне доказательства этого. Покажи, насколько высоко сумеешь подняться с *«Таггерт Трансконтинентал»*. Как бы умна ты ни была, я рассчитываю на то, что ты напряжешь все силы, чтобы достичь большего. И когда ты изнеможешь, достигнув цели, я буду ждать, что ты продолжишь восхождение к новой цели.

— Почему ты считаешь, что я захочу что-то тебе доказывать? — спросила она.

— Хочешь, чтобы я ответил?

— Нет, — прошептала она, не отводя глаз от противоположного берега реки.

Она услышала смешок Франсиско, чуть погодя он сказал:

— Дагни, в жизни нет ничего важнее, чем то, как ты делаешь свою работу. Ничего нет. Это самое главное. И твоя сущность проявляется именно в этом. Такова единственная мера ценности человека. И все этические принципы, которые пытаются затолкать тебе в глотку, имеют не больше цены, чем бумажные деньги, с помощью которых жулье пытается лишить людей их добродетелей. Один лишь принцип компетентности способен стать основой того морального кодекса, который можно приравнять к золотому стандарту. Ты поймешь это, когда вырастешь.

— Я и так понимаю это. Но… Франсиско, почему, кроме нас с тобой, этого никто не понимает?

— Но зачем тебе думать об остальных?

— Потому что мне нравится все понимать, а в людях есть кое-что такое, чего я не понимаю.

— Чего же?

— Ну, в школе я никогда не пользовалась популярностью, и это меня не смущало, но теперь я поняла причину. Совершенно немыслимую причину. Люди не любят меня не потому, что я что-то делаю плохо, им не нравится то, что я все делаю хорошо. Они не любят меня, потому что я всегда была в школе первой ученицей. Я всегда получаю пятерки, даже когда не занимаюсь. Мо-

жет быть, мне стоит превратиться в троечницу, чтобы сделаться самой популярной девушкой в школе?

Франсиско замер на месте, повернулся к ней и ударил ее по лицу.

Все, что она почувствовала, вместилось в единое мгновение, когда земля пошатнулась под ее ногами, в единый порыв эмоций. Дагни знала, что убила бы на месте всякого, кто посмел бы ударить ее; она ощущала в себе ту свирепую ярость, которая дала бы ей силы на это… и столь же бурное удовольствие оттого, что пощечину ей дал Франсиско. Тупая и жаркая боль в щеке, вкус крови, сочившейся из разбитого уголка рта, были приятны ей. Ей было радостно то, что она вдруг *поняла* причину, заставившую Франсиско совершить этот поступок. Поняла в *нем* и в *себе*.

Дагни потверже уперлась в землю ногами, чтобы унять головокружение, а потом подняла голову и с победной, насмешливой улыбкой посмотрела прямо в глаза Франсиско, впервые осознавая собственную силу, впервые ощущая себя равной ему.

— Неужели я сделала тебе столь же больно? — спросила она.

Франсиско опешил от изумления: и вопрос,

и улыбка были совсем не детскими:

— Да, если тебе угодно.

— Угодно.

— Не надо больше говорить такого. Не повторяй больше эту шутку.

— Не будь дураком. С чего вдруг ты решил, что я могу захотеть сделаться популярной?

— Когда ты подрастешь, то поймешь, что сказала совершенно ужасную вещь.

— Я и так понимаю это.

Повернувшись, Франсиско вынул платок и окунул его в реку.

— Подойди сюда, — приказал он.

Рассмеявшись, она сделала шаг назад:

— Ну, нет. Пусть останется, как есть. Надеюсь, щека распухнет. Мне нравится так.

Он пристально посмотрел на нее. А потом проговорил, неторопливо и совершенно искренне:

— Дагни, ты просто изумительна.

— А я думала, ты всегда так считал, — небрежно и чуть надменно ответила она.

Явившись домой, она сказала матери, что разбила губу о камень. Это была единственная ложь за всю ее жизнь. Она поступила так не ради того, чтобы защитить Франсиско; Дагни просто казалось по неведомой для самой себя причине,

что случившееся — слишком драгоценная тайна, чтобы ею можно было поделиться с кем-нибудь еще.

На следующее лето, к приезду Франсиско, ей уже исполнилось шестнадцать. Дагни было бросилась вниз по склону навстречу ему, но вдруг остановилась. Заметив это, он также замер на месте, и какое-то мгновение они просто разглядывали друг друга, разделенные отрезком пологого зеленого склона. А потом уже он неторопливой походкой направился навстречу ей, а она ожидала.

Когда Франсиско оказался рядом, Дагни невинно улыбнулась ему, словно забыв о прежнем состязании.

— Тебе будет интересно узнать, — сказала она, — что я уже работаю на железной дороге. Ночной дежурной в Рокдэйле.

Он рассмеялся:

— Неплохо, мисс *«Таггерт Трансконтинентал»*, начнем соревнование. Посмотрим, у кого будет больше оснований для гордости: у Ната Таггерта за тебя или у Себастьяна д'Анкония за меня.

В ту зиму ее жизнь превратилась в сверкающее простотой подобие геометрического чертежа: несколько прямых линий, прочерченных меж-

ду домом, инженерным колледжем в городе и работой в Рокдэйле на станции, и замкнутая окружность, охватившая ее комнату, битком набитую схемами двигателей, синьками стальных конструкций и железнодорожными расписаниями.

Миссис Таггерт наблюдала за своей дочерью с удивлением, но без радости. Она могла бы простить ей все странности, кроме одной: Дагни не обнаруживала никаких признаков интереса к мужчинам, вообще не проявляла никаких романтических наклонностей. Миссис Таггерт крайностей не одобряла и при необходимости готова была справиться с крайностью противоположного рода; и, по ее мнению, получалось, что нынешняя ситуация была сложнее. Мать более всего смущало, что у ее дочери в семнадцать лет еще не было ни единого поклонника.

— Дагни и Франсиско д'Анкония? — она скорбно улыбалась в ответ на расспросы подруг. — О нет, это не любовь, а какой-то интернациональный промышленный картель. Это все, что интересует их обоих.

Однажды вечером миссис Таггерт услышала, как Джеймс при гостях со странным удовлетворением в голосе высказался следующим образом:

— Дагни, несмотря на имя, унаследованное тобой от первой Дагни Таггерт, прославленной своей красотой, ты, скорее, похожа на Ната Таггерта, ее мужа.

Миссис Таггерт так и не поняла, что задело ее в большей степени: то, что Джеймс высказался так грубо, или то, что Дагни явно приняла это за комплимент.

Миссис Таггерт решила, что так и не сумеет понять собственную дочь. Дагни превратилась в силуэт, впархивающий на длинных ножках манекенщицы в семейные апартаменты и выпархивающий из них, в тонкую фигурку в короткой юбке и кожаной куртке с поднятым воротником. Комнату она пересекала с мужской прямолинейной решимостью, и тем не менее движения ее были наполнены особой, быстрой и напряженной порывистостью, странной, но вызывающе женственной.

Временами, взглянув на лицо Дагни, миссис Таггерт получала совершенно непонятное впечатление: на нем была написана не радость, а столь кристально чистое удовлетворение, что мать находила его неестественным — ни одна юная девица, по ее мнению, не могла в этом возрасте не переживать каких-либо жизнен-

ных печалей. Она пришла к выводу, что дочь ее не способна на чувства.

— Дагни, — спросила она однажды, — а тебе не хочется хотя бы иногда развлечься?

Недоверчиво посмотрев на мать, Дагни ответила:

— А что, по-твоему, я делаю?

Решение устроить дочери официальный светский дебют стоило миссис Таггерт изрядной доли размышлений. Она не знала, кого будет представлять нью-йоркскому обществу: мисс Дагни Таггерт из «Светского альманаха» или ночную дежурную со станции Рокдэйл; миссис Таггерт полагала, что, скорее, речь будет идти о телефонистке; кроме того, она не сомневалась, что Дагни отвергнет саму идею. Она была потрясена, когда дочь с необъяснимой детской радостью ухватилась за нее.

Еще раз она удивилась, увидев, как Дагни оделась по случаю своего дебюта. На ней впервые в жизни была женственная одежда: платье из белого шифона с огромной, похожей на облачко юбкой. Миссис Таггерт ожидала увидеть нечто совершенно противоположное. Дагни казалась красавицей. Она сделалась сразу и старше, и невиннее, чем обычно; стоя перед зеркалом,

она держала голову так, как делала бы это жена Ната Таггерта.

— Дагни, — проговорила миссис Таггерт с мягкой укоризной, — видишь, какой красавицей, при желании, ты можешь быть?

— Вижу, — ответила Дагни без тени удивления.

Бальный зал отеля *«Уэйн-Фолкленд»* был украшен сообразно указаниям миссис Таггерт; обладая несомненным художественным вкусом, она создала для своей дочери бесспорный шедевр.

— Дагни, я хочу, чтобы ты обратила особое внимание на весь этот антураж, — сказала она, — на освещение, краски, цветы, музыку. Ими не стоит пренебрегать, хоть ты и склонна так думать.

— Я никогда не считала их недостойными внимания, — радостным тоном ответила Дагни. И миссис Таггерт впервые ощутила связь между собой и дочерью; Дагни смотрела на нее с детской благодарностью и доверием.

— Эти вещи делают жизнь прекрасной, — заметила миссис Таггерт. — И я хочу, чтобы этот вечер запомнился тебе своей красотой. Первый в жизни бал становится самым романтическим событием в жизни женщины.

Для миссис Таггерт величайшим сюрпризом сделалось то мгновение, когда она увидела Дагни в свете огней, оглядывающей бальный зал. Перед ней была не девочка, не девушка, но женщина, уверенная в себе и наделенная опасной силой, что миссис Таггерт ощутила искреннее восхищение. В век повседневной, циничной и безразличной рутины, среди людей, проживавших свою жизнь не как плоть, а как мясо, манера Дагни держаться казалась едва ли не непристойной, потому что так смотреть на бальный зал могла женщина, жившая столетия назад, когда появиться на людях полуобнаженной, выставить себя на обозрение мужчин было проявлением отваги, имевшим смысл, *единственный* смысл, и признававшийся всеми как большая авантюра. «И это, — подумала миссис Таггерт с улыбкой, — девушка, которую я едва не сочла лишенной сексуальности». Она ощущала огромное облегчение и некоторое удивление оттого, что подобного рода открытие может принести облегчение.

Однако этого благостного чувства хватило лишь на несколько часов; в конце вечера она обнаружила Дагни в углу бального зала, сидевшей на балюстраде, как на заборе, и болтавшей ногами под шифоновой юбкой, словно на ней

были брюки. Она разговаривала с парой беспомощных молодых людей, и лицо ее наполняла презрительная пустота.

По дороге домой Дагни и миссис Таггерт не обменялись ни словом. Но по прошествии некоторого времени, повинуясь порыву, миссис Таггерт заглянула в комнату дочери. Дагни стояла возле окна в своем вечернем платье; теперь оно казалось облачком, поддерживающим слишком тонкое для него тело, хрупкое тело с поникшими плечами. За окном посеревшее небо предвещало скорый рассвет.

Когда Дагни повернулась к ней, миссис Таггерт заметила в глазах дочери недоуменную беспомощность; лицо было спокойным, однако выражение его заставило мать пожалеть о своем недавнем желании познакомить дочь с житейскими печалями.

— Мама, почему они всё воспринимают наоборот? — спросила она.

— Как это? — всполошилась миссис Таггерт.

— То, о чем ты говорила. Свет и цветы. Неужели они ожидают, что эти украшения сделают их романтичными, а не наоборот?

— Дорогая моя, что ты хочешь сказать?

— Там не было ни одного счастливого че-

ловека, — произнесла Дагни безжизненным голосом, — такого, кто способен думать или чувствовать. Они ходили вокруг меня, говорили те же пошлости, что и повсюду. Наверно, предполагали, что освещение сделает их блестящими.

— Дорогая, ты воспринимаешь все слишком серьезно. На балу не принято быть интеллектуалом. Там надо веселиться.

— Каким образом? Говоря глупости?

— Но разве тебе не понравилось общество молодых людей?

— Каких молодых людей? Так, глупые парни, с десятком которых я легко бы разобралась.

Несколько дней спустя, сидя за своим столом на станции Рокдэйл в полном довольстве и ощущая себя на своем месте, Дагни вспомнила о том вечере уже с полным безразличием. Она подняла глаза: шла весна, и ветви деревьев за окном покрывала листва, воздух был спокойным и теплым. Она спросила себя, чего ожидала от бала. Ответа не было. Дагни лениво припала к столу, не ощущая ни усталости, ни желания работать.

Встретившись в то лето с Франсиско, она рассказала ему о своем разочаровании. Он выслушал ее молча, впервые окидывая тем полным застывшей насмешки взглядом, который приберегал

для всех остальных, взглядом, который замечал слишком многое. Ей казалось, что в ее словах он слышал больше, чем она намеревалась сказать.

Такой ироничный взгляд Франсиско она увидела вечером, когда неожиданно рано отправилась в Рокдэйл. Они вдвоем сидели на берегу реки. У нее оставался еще час в запасе. Длинные узкие языки пламени еще не погасли на небе, и красные искры лениво скользили по воде. Франсиско уже долго молчал, когда она вдруг встала и сказала ему, что ей пора идти. Он не попытался остановить Дагни; откинувшись назад, подложив руки под голову, он, не шевелясь, смотрел на нее; взгляд его как будто говорил, что он превосходно знает причину. Дагни решительно взбежала по склону холма к дому: она и сама не знала, что, собственно, заставило ее поторопиться. Внезапное беспокойство было рождено неведомым до сих пор чувством надежды.

Каждую ночь она проезжала пять миль, отделявших загородный дом от Рокдэйла. Дагни возвращалась назад с рассветом, спала несколько часов и вставала вместе со всеми. И ей не хотелось спать. Ложась в постель с первыми лучами солнца, она ощущала напряженное, радостное и беспричинное стремление встретить наступа-

ющий день.

Вновь увидела она этот насмешливый взгляд Франсиско у сетки теннисного корта. Начала игры она не помнила; они часто играли в теннис, и он всегда побеждал. Дагни даже не знала, в какое мгновение той игры *вдруг решила победить*.

Но едва появившись, это решение перестало быть только желанием, оно превратилось в яростную бурю, поднявшуюся внутри нее. Дагни не знала, почему должна победить; она не понимала, почему победа казалась столь настоятельно, решительно необходимой. Она знала только, что *должна* победить и победит.

Играть было легко; казалось, что воля ее исчезла, и за нее играет кто-то другой. Она посмотрела на Франсиско — высокого, стройного, загорелого. Оценивая по достоинству ловкость его движений, она заранее ощущала кипучее удовлетворение оттого, что должна победить именно эту совершенную машину, и каждый мастерский жест его становился ее победой, и его блестящее владение телом превращалось в ее триумф.

Боль утомления росла, но она не осознавала ее как боль, ощущая только во внезапных уколах на мгновение, не более, напоминавших ей о какой-либо части тела: локте, лопатках, бедрах,

облепленных белыми шортами, мышцах ног, бросавших ее навстречу мячу, веках, делавших небо багровым и превращавших налетающий мяч в подобие клубка белого пламени, тонкую раскаленную нить, протягивавшуюся от лодыжки вверх по спине, когда посланный ею мяч летел на половину Франсиско… Она ощущала восторг, потому что каждый начинавшийся в *ее* теле укол боли должен был закончиться в *его* теле, не менее утомленном, чем ее собственное, и, напрягая себя, она напрягала тем самым и его, и он чувствовал это, потому что она этого добивалась; и боль эта становилась не ее слабостью, а страданием его тела.

Замечая в такие мгновения его лицо, она видела, что Франсиско смеется.

Он смотрел на нее так, словно все понимал. Он играл не для того, чтобы победить, а для того, чтобы сделать более сложной ее победу, посылая свои мячи по сторонам корта, чтобы заставить ее побегать, теряя очки, чтобы еще раз увидеть, как изогнется ее тело в полном муки бэкхенде, замирая на месте, чтобы она подумала, что он промахнется, лишь для того, чтобы в самый последний момент небрежно выставить руку и послать мяч назад с такой силой, чтобы Дагни

поняла: все, она не успеет к нему. И ей казалось, что она не сможет даже сдвинуться с места, и, как странно, она вдруг оказывалась на противоположной стороне своей половины корта, ударяя по мячу с такой сокрушительной силой, словно ей хотелось разбить его на куски, словно она наносила удар не по нему, а по лицу Франсиско.

Еще, еще раз, думала она, пусть следующий удар переломит кости руки… еще, еще раз, даже если прекратится приток воздуха в воспаленную глотку… А потом она уже ничего не чувствовала… ни боли, ни мышц, ничего, кроме мысли о том, что должна победить Франсиско, увидеть его изнеможение, увидеть, как он рухнет, и тогда только получить возможность и право умереть.

Она победила. Быть может потому, что он, как обычно, смеялся.

Франсиско подошел к сетке, хотя Дагни оставалась на месте, и бросил свою ракетку к ее ногам, как бы понимая, что именно этого она и хочет. А потом вышел с корта и рухнул на траву, подложив руку под голову.

Дагни неторопливо подошла к нему. Она остановилась над ним, глядя на распростертое у ног тело, на пропитанную потом тенниску, на рассыпавшиеся по руке пряди волос. Франсиско

приподнял голову. Взгляд его последовательно поднялся по ее ногам к шортам, блузке, глазам. Насмешливый взгляд словно бы видел ее насквозь — под одеждой, под покровом разума. Он словно говорил, что *на самом деле* победа принадлежит ему.

В ту ночь она сидела за своим столом в Рокдэйле одна во всем станционном здании и рассматривала небо через окно. Этот час нравился ей более всего: верхние части стекол начинали светлеть, и рельсы колеи уже поблескивали серебром в нижних частях оконного переплета. Выключив лампу, она следила за вселенским, бесшумным движением света над неподвижной землей. Вокруг царила тишина, даже лист не колыхался на ветвях деревьев, а небо постепенно теряло цвет, превращаясь в светлый водный простор, который не окинуть одним взглядом.

В этот час телефон на ее столе умолкал, будто по всей сети прекращалось движение. Вдруг снаружи, за дверью, послышались шаги. В комнату вошел Франсиско. Он еще никогда не приходил сюда, но появление его не удивило Дагни.

— Что ты делаешь здесь в такое время? — спросила она.

— Да так, спать не хочется.

— А как ты добрался сюда? Я не слышала мотора твоего автомобиля.

— Пришел пешком.

Прошло не одно мгновение, прежде чем она поняла, что не спросила его, зачем он пришел, и что не хочет спрашивать об этом.

Он походил по комнате, разглядывая развешенные по стенам подшивки транспортных накладных и календарь, на котором «*Комета Таггерта*» горделиво накатывала на зрителя. Франсиско казался здесь на месте, он словно бы ощущал, что комната эта принадлежит им двоим, как бывало всегда, где бы они ни оказывались вместе. Однако он не испытывал желания говорить. Задав ей несколько вопросов по работе, Франсиско умолк.

Снаружи становилось все светлее, движение на линии оживало, и тишину то и дело начали нарушать телефонные звонки. Дагни занялась работой. Франсиско сидел в углу и ждал, перебросив ногу через поручень кресла.

Дагни работала быстро, ощущая необычайную ясность в голове. Точные движения рук доставляли ей удовольствие. Она сконцентрировала все внимание на резких звонках аппарата, на цифрах номеров телефонов, автомобилей, заказов.

Она не замечала ничего другого.

Однако случайно смахнув на пол листок бумаги, она нагнулась за ним, и как-то вдруг словно чужими глазами увидела себя со стороны: свои движения… серую полотняную юбку, закатанный рукав серой блузки и обнаженную руку, протянувшуюся к бумаге. Сердце ее на мгновение замерло — так охает человек, охваченный предчувствием… Подобрав листок, она вернулась к прерванной работе.

Стало уже светло — почти как днем. Мимо станции без остановки проехал поезд. В чистом утреннем свете длинная вереница вагонных крыш превратилась в серебряную цепочку, а сам поезд летел мимо станционного здания, словно бы повиснув над землей, едва соприкасаясь с ней. Пол под ногами ее содрогался, в окнах звенело стекло. Дагни со взволнованной улыбкой проводила поезд глазами. Она посмотрела на Франсиско: тот тоже улыбался, не отрывая от нее взгляда.

Когда пришел дневной дежурный, она передала ему станцию, и вместе с Франсиско они вышли на утренний воздух. Солнце еще не поднялось, и вместо него, казалось, светился сам воздух. Дагни не ощущала усталости. Она словно только

что проснулась.

Она направилась к своей машине, но Франсиско сказал:

— Давай пройдемся до дома. Вернемся за твоим автомобилем потом.

— Хорошо.

Она ничуть не удивилась предложению, перспектива пройти пешком пять миль также не смущала ее. Все казалось вполне естественным; естественным для особой реальности того мгновения, ясного, но отстраненного от всего остального, близкого, но все же обособленного, подобного сверкающему островку посреди туманного моря, напоминающего о высшей, неоспоримой яви опьянения.

Дорога вела через лес. Они сошли с шоссе на старую тропку, вилявшую между деревьями девственного леса. Вокруг вообще не было заметно признаков человеческого вмешательства. Старые, заросшие травой колеи делали присутствие людей еще более отдаленным, прибавляя годы времени к милям расстояния. Сумерки еще цеплялись за землю, но в брешах между древесными стволами ослепительной зеленью сверкала листва, словно бы освещавшая собой лес. Листья не шевелились. Они все шли вперед,

двое двигающихся людей в неподвижном мире. Дагни вдруг заметила, что за все это время они не произнесли даже слова.

Они вышли на прогалину. Небольшая низина притаилась между двумя отвесными скалами, ее пересекал ручеек, ветви деревьев клонились к земле.

Плеск воды только подчеркивал тишину. Далекая прорезь ясного неба делала место еще более укромным. Высоко над их головами, на гребне холма, первые лучи солнца выхватили одиноко стоящее дерево.

Они остановились и посмотрели друг на друга. Франсиско схватил ее, повернул к себе, припал губами к ее губам… ощутив, как руки ее вскинулись в бурном ответном объятии… Она поняла, что знала заранее, ждала прикосновения его рук. Она впервые осознала, насколько хотела этого.

На мгновение она почувствовала протест и легкий страх. Однако Франсиско прижимался к ней, рука его двигалась по ее груди, как рука собственника, знакомящегося с ее телом, не спрашивая согласия, не прося разрешения. Она попыталась высвободиться, но сумела только откинуться назад, чтобы увидеть его лицо и улыбку, которая сказала ей, что согласие свое она дала давным-

давно. Она подумала, что надо бежать, но вместо этого ответно прижалась к нему и припала к его губам.

Дагни знала, что бояться бесполезно, что он сделает с ней то, что хочет, что решать ему, что он не оставил для нее ничего другого, кроме того, что она желала больше всего — возможности покориться. Она не осознавала, чего он хочет, мгновение унесло все ее представления о дурном и хорошем, у нее не было сил верить в то, что свершалось с нею, она понимала только, что боится. И все же она словно кричала ему: «Не спрашивай у меня разрешения… Только не спрашивай — делай, делай!»

Какое-то мгновение она пыталась устоять, но рот его прикрывал ее губы, и она медленно опустились на землю, так и не прервав поцелуя. Она лежала неподвижно как трепещущий объект акта, который он проделал просто и без колебаний, словно бы по праву того невыносимого удовольствия, которое он приносил им обоим.

Франсиско определил то, что свершилось с ними обоими, первыми же словами, которые произнес потом. Он сказал:

— Мы должны были научить этому друг друга.

Длинная фигура Франсиско распростерлась

на траве рядом с ней, на нем были черные брюки и рубашка, и она ощутила порыв гордости — гордости оттого, что отныне ей принадлежит его тело. Лежа на спине, Дагни смотрела в небо, не желая шевелиться, думать, представлять себе нечто, находящееся вне этого мгновения.

Вернувшись домой, она легла в постель обнаженной, потому что тело ее сделалось незнакомым, слишком драгоценным для прикосновения ночной рубашки, потому что ей было приятно ощущать собственную наготу, ощущать своим телом простыни, словно бы к ним прикасалась кожа Франсиско. Она уже думала, что не уснет, потому что ей не хотелось отдыхать, расставаясь с самым прекрасным из известных ей утомлений, — но самой последней мыслью ее стало воспоминание о тех временах, когда ей хотелось выразить, хотя она не находила для этого средств, ощущение, более высокое, чем счастье, желание благословить всю землю, понимание того, что она любит и существует именно в этом мире. Она подумала, что пережитое ею сегодня было единственным способом выразить всю гамму ощущений. Она не знала, серьезно ли это; ничто не могло быть серьезным во Вселенной, из которой изгнана боль. Не успев как следует взвесить

свое умозаключение, она уже спала, улыбаясь, в тихой и светлой, наполненной утром комнате.

Тем летом они встречались в лесу, в укромных уголках у реки, в заброшенном сарае, в подвале дома.

Тогда-то она и училась воспринимать красоту, глядя вверх на старинные балки перекрытий, на стальной кружок лопастей вентилятора, ритмично жужжавший над их головами. Она ходила в брюках, в хлопковом летнем костюме, но никогда еще не бывала настолько женственной, как в те мгновения, когда, прижимаясь к Франсиско, оседала в его объятиях, позволяя делать с собой все, что угодно, открыто признавая его право низводить ее до полной беспомощности тем удовольствием, которое он мог даровать ей. Франсиско научил ее всем чувственным приемам, которые мог изобрести.

— Разве не удивительно, что тело может принести нам столько удовольствия? — однажды искренне удивился он сам. Они были счастливы и ослепительно невинны. Им обоим даже в голову не приходило, что счастье может оказаться грехом.

Свой секрет они хранили в тайне от всех остальных не как позорный проступок, но как то,

что принадлежит лишь им обоим и не подлежит чужому осуждению или одобрению. Она знала, что, согласно общепринятому воззрению на сексуальные отношения, занятие это представляет собой уродливое проявление низменной природы человека, и к нему следует относиться с презрением. И собственная чистота заставила ее устраниться не от желаний собственного тела, но от любых контактов с людьми, исповедовавшими подобную доктрину.

В ту зиму Франсиско приезжал к ней в Нью-Йорк самым непредсказуемым образом. Он то прилетал из Кливленда без предупреждения по два раза в неделю, то исчезал на целые месяца. Обложившись чертежами и синьками, она сидела на полу своей комнаты, когда в дверь раздавался стук.

— Я занята! — отвечала она, и насмешливый голос спрашивал:

— В самом деле?

Тогда она вскакивала на ноги, распахивала дверь, чтобы обнаружить за нею Франсиско. После чего они отправлялись к нему на квартиру, которую он снимал в городе, крохотную комнатушку в тихом районе.

— Франсиско, — спросила однажды она с вне-

запным удивлением, — я ведь твоя любовница, не так ли?

Он усмехнулся:

— Именно так.

И она почувствовала гордость, которую женщине полагается чувствовать, удостоившись титула жены.

В долгие месяцы его отсутствия она никогда не занимала себя мыслями о том, верен он ей или нет; она знала, что Франсиско хранит верность. Несмотря на то что Дагни была еще слишком молода, чтобы знать причину, она понимала, что неразборчивость и беспорядочность в связях присущи лишь тем, кто видит в сексе и в самих себе только зло.

Ей было известно немногое о жизни Франсиско. Он учился на последнем курсе и редко разговаривал о своих занятиях, а она никогда не расспрашивала. Дагни подозревала, что он слишком усердно работает, потому что временами замечала странное выражение на его лице. Однажды она посмеялась над ним, похвастав, что давно уже работает на *«Таггерт Трансконтинентал»*, в то время как он еще не начал зарабатывать себе на жизнь. Франсиско ответил:

— Отец не позволяет мне работать на *«Д'Анко-*

ния Коппер», пока я не окончу университет.

— И когда же это ты успел сделаться послушным сыном?

— Я должен уважать его желания. *«Д'Анкония Коппер»* принадлежит отцу… Впрочем, ему принадлежат не все медеплавильные компании мира, — в улыбке Франсиско угадывался легкий намек.

Всю историю она узнала только следующей осенью, когда он окончил университет и вернулся в Нью-Йорк из Буэнос-Айреса, погостив у отца.

Франсиско рассказал ей, что за последние четыре года прошел два курса обучения: один в университете Патрика Генри, а другой на медеплавильном заводе на окраине Кливленда.

— Мне нравится разбираться во всем самостоятельно, — проговорил он. Франсиско начал работать в шестнадцать лет, подручным у печи, а в двадцать лет купил весь завод. Свою первую частную собственность он приобрел, несколько подправив свой подлинный возраст, в тот же самый день, когда получил университетский диплом; оба документа он отослал отцу.

Он показал фотографию своего предприятия — крохотного, грязного, позорно старого, обветшавшего в борьбе за существование; над входом,

подобно новому флагу над брошенной по старости шхуной, красовалась надпись: *«Д'Анкония Коппер»*.

Нью-йоркский представитель отца был вне себя:

— Но, дон Франсиско, это немыслимо! Что подумают люди? Как можно ставить такое имя над этой помойкой?

— Это мое имя, — ответил Франсиско.

Когда, приехав в Буэнос-Айрес, Франсиско вошел в кабинет отца — помещение просторное, строгое, обставленное, как современная лаборатория, единственным украшением которого были развешанные по стенам фотоснимки предприятий *«Д'Анкония Коппер»* — крупнейших рудников концерна, обогатительных фабрик и медеплавильных заводов, — он увидел на почетном месте, прямо перед столом отца, фотоснимок кливлендского заводика с новой вывеской над входом.

Франсиско встал перед столом, и отец перевел взгляд с фотоснимка на сына.

— Не слишком ли ты торопишься? — спросил старший д'Анкония.

— Не мог же я четыре года только ходить на лекции.

— А откуда ты взял деньги, чтобы внести первый взнос за этот завод?

— Выиграл на Нью-Йоркской фондовой бирже.

— Что? Кто посоветовал это тебе?

— Определить, какое промышленное предприятие ждет успех, а какое нет, не так уж и сложно.

— А откуда ты взял деньги на игру?

— Из пособия, которое вы присылали мне, сэр, а также из собственного заработка.

— А где ты нашел время, чтобы следить за фондовым рынком?

— Пока писал диссертацию о влиянии на последующие метафизические системы аристотелевой теории Неподвижного Движителя.

В ту осень Франсиско ненадолго задержался в Нью-Йорке. Отец послал его в Монтану помощником управляющего рудником своей фирмы.

— В общем, — улыбаясь, поведал он Дагни, — мой отец не считает разумным слишком быстро повышать меня в чине. А я не хочу просить у него о доверии. Если ему нужны доказательства с моей стороны, он их получит.

Весной Франсиско вернулся — уже в качестве главы нью-йоркской конторы *«Д'Анкония Коппер»*.

В последующие два года Дагни не часто виде-

лась с ним. Она никогда не могла сказать, где он окажется — в каком городе и даже на каком континенте — на следующий же день после их встречи. Франсиско всегда являлся к ней неожиданно, и ей это нравилось, потому что его присутствие в ее жизни таким образом делалось постоянным, и, как солнечный луч, он мог озарить ее в любое мгновение.

Когда она видела Франсиско в рабочем кабинете, руки его представлялись ей такими, какими она когда-то видела их на руле моторки: он вел свое дело по курсу с той же ровной, опасно высокой, но покорной ему скоростью. Один лишь случай остался потрясением в ее памяти, настолько не шел он Франсиско.

Однажды вечером она наблюдала за ним, когда он стоял у окна своего кабинета, всматриваясь в бурые городские зимние сумерки. Франсиско долго не шевелился. Лицо его казалось жестким и напряженным; в глазах застыло выражение, которого она в нем и помыслить не могла: горького и бессильного гнева. Наконец он сказал:

— В мире что-то идет не так. Это было всегда. Существовало нечто такое, чему никто не мог дать имени или объяснения.

Он не захотел пояснять свою мысль.

Когда она увидела Франсиско в следующий раз, на лице его не осталось и следа этого переживания. Настала весна, и оба они стояли на террасе, устроенной на крыше ресторана, ветер прижимал легкий шелк ее вечернего платья к строгому черному костюму Франсиско. Они смотрели на город.

В зале за спинами их звучал концертный этюд Ричарда Халлея; имя этого композитора было известно немногим, однако они уже открыли его для себя и полюбили. Франсиско проговорил:

— Здесь не нужно высматривать крыши небоскребов? Теперь мы среди них.

Улыбаясь, она ответила:

— Боюсь, мы поднимемся выше… Я даже боюсь… мы как будто едем на каком-то лифте.

— Конечно. А чего ты боишься? Пусть себе мчится. Разве может быть предел скорости?

Франсиско было двадцать три, когда умер его отец, и он уехал в Буэнос-Айрес, чтобы принять дела концерна *«Д'Анкония»*, теперь перешедшего к нему. Дагни не видела его три года.

Сперва он писал ей, редко и неаккуратно. Он писал о *«Д'Анкония Коппер»*, о мировом рынке, о вопросах, затрагивавших интересы *«Таггерт Трансконтинентал»*. Свои короткие письма он

писал от руки, обыкновенно ночью.

Отсутствие Франсиско не печалило ее. Дагни также делала первые шаги к власти над своим будущим королевством. Главы промышленных фирм, приятели ее отца, поговаривали, что нужно повнимательнее наблюдать за молодым д'Анкония; если эта медная компания прежде была просто великой, то теперь под его руководством она покорит весь мир. Дагни только улыбалась, но удивления не испытывала. Случались иногда мгновения, когда она ощущала внезапный бурный порыв тоски по Франсиско, однако причиной его бывало нетерпение, но не боль. Дагни гнала тоску, нисколько не сомневаясь, что оба они работают ради будущего, которое принесет им все — в том числе и друг друга. А потом она перестала получать письма.

Ей было двадцать четыре года в тот весенний день, когда на столе ее кабинета в здании «*Таггерт*» зазвонил телефон.

— Дагни, — произнес знакомый голос. — Я сейчас в *«Уэйн-Фолкленде»*. Приезжай сегодня вечером, поужинаем вместе. В семь часов.

Он не поздоровался с ней, как будто они расстались всего вчера. Мгновение, потраченное ею на то, чтобы вновь научиться искусству дышать,

сказало Дагни, насколько много значит для нее этот голос.

— Хорошо… Франсиско, — ответила она. Они могли более ничего не говорить друг другу. Опуская трубку на место, она подумала, что его возвращение — вещь вполне естественная, и что она всегда ожидала это событие, хотя, конечно, не могла предвидеть охватившую ее внезапно потребность произнести его имя и тот укол счастья, который ощутила в это мгновение.

В тот вечер, едва вступив в его номер, она застыла на месте.

Франсиско стоял посреди комнаты и смотрел на нее. На лице появилась невольная улыбка, как если бы он утратил способность улыбаться и был удивлен тем, что она все-таки вернулась к нему. Он смотрел на нее с недоверием, словно не зная, кто она такая, и что ощущает он сам. Взгляд его был подобен мольбе, крику о помощи, сорвавшемуся с уст человека, неспособного плакать. Завидев ее, он попытался было произнести их старинное приветствие, и даже начал его… но не договорил последнего слова. И вместо него после мгновенной паузы промолвил:

— Дагни, ты прекрасна, — так, словно мысль эта была ему обидна.

— Франсиско, я…

Он покачал головой, не позволяя ни ей, ни себе произнести те слова, которые они никогда не говорили друг другу, прекрасно понимая, что они и так услышали их в этот самый момент.

Подойдя, он обнял ее, поцеловал в губы, крепко и надолго прижал к себе. И когда Дагни снова посмотрела в его лицо, он улыбался — уверенно и задиристо. Улыбка эта сказала ей, что Франсиско владеет собой, ею, всем вообще, и приказывает ей забыть все, что увидела она в первое мгновение.

— Привет, Чушка, — сказал он.

Не чувствуя ничего, кроме уверенности в том, что вопросов ей задавать не следует, Дагни улыбнулась и ответила:

— Привет, Фриско.

Она могла бы понять любую перемену, кроме той, которая произошла с ним.

В лице его не было ни искорки жизни, ни намека на радость; оно сделалось непроницаемым. Только что молившая улыбка его говорила не о слабости; в облике его появилась решительность, граничащая с безжалостностью. Он гордо выпрямил спину под невыносимой тяжестью на плечах. Она заметила то, во что не могла по-

верить: на лице Франсиско появились горькие морщинки, он выглядел измученным.

— Дагни, не удивляйся тому, что я делаю, — проговорил он, — и тому, что я сделаю когда-нибудь.

Предоставив ей столь скудное объяснение, он повел себя дальше так, словно больше объяснять было нечего.

Она ощущала разве что легкое беспокойство; испытывать страх за его судьбу или в его присутствии было немыслимо. А когда Франсиско рассмеялся, она подумала, что они вернулись в свой лес на берегу Гудзона: он не изменился и не изменится никогда.

Ужин подали в номер. И ей было забавно смотреть на Франсиско за столом, сервированным с намекающей на непомерную цену ледяной официальностью, в номере отеля, похожем на зал европейского дворца.

«Уэйн-Фолкленд» считался самым знаменитым отелем всех континентов. Его праздная роскошь, бархатные шторы, лепные панели и свечи явным образом контрастировали с предназначением этого заведения: никто не мог воспользоваться его гостеприимством, кроме деловых людей, приезжавших в Нью-Йорк улаживать дела всего мира. Дагни отметила, что манеры обслуживав-

шей их прислуги свидетельствовали об особом почтении именно к этому постояльцу отеля, и что Франсиско это совершенно безразлично. Он успел уже привыкнуть к тому, что является сеньором д'Анкония, владельцем *«Д'Анкония Коппер»*.

Однако она сочла странным, что он не стал рассказывать о своих делах. Дагни ожидала услышать, что лишь работа интересует его, и что он первым делом поделится с ней своими успехами. Франсиско не стал этого делать. Напротив, он начал расспрашивать ее о перспективах и об ее отношении к *«Таггерт Трансконтинентал»*. Дагни рассказывала о своих делах так, как всегда говорила о них, зная, что лишь он один способен понять ее страстную преданность делу. Франсиско внимательно слушал ее, не делая никаких замечаний.

Официант включил радио, передавали тихую вечернюю музыку, не пробуждавшую никаких чувств. И вдруг комнату захлестнула волна звуков, сотрясшая стены, словно подземный толчок. Потрясение было вызвано не громкостью, а могучей мелодией. Зазвучала свежая запись нового, Четвертого, концерта Халлея.

Оба они в молчании внимали этому восста-

нию, музыкальному бунту — победному гимну великих мучеников, отказавшихся подчиниться боли. Франсиско слушал, разглядывая городской пейзаж за окнами.

Наконец он проговорил без какого-то перехода или предупреждения странным, совершенно невыразительным тоном:

— Дагни, а что бы ты сказала, если бы я попросил тебя оставить *«Таггерт Трансконтинентал»* и плюнуть на ее дальнейшую жалкую судьбу — пусть себе катится в тартарары под руководством твоего братца?

— Ты хочешь знать, что бы я подумала, если бы ты предложил мне совершить самоубийство? — сердито ответила она.

Франсиско молчал.

— Почему тебя вообще это интересует? — резко спросила она. — Твой вопрос не был шуткой. Прежде ты никогда не шутил такими вещами.

На лице его не было и намека на веселье. Ответ Франсиско прозвучал негромко и серьезно:

— Нет, конечно, нет. Мне не следовало спрашивать тебя об этом.

Дагни не без труда перевела разговор на его работу. Франсиско отвечал на вопросы, но сам не проявлял никакой инициативы. Она переска-

зала ему отзывы предпринимателей о блестящих перспективах *«Д'Анкония Коппер»* под его руководством.

— Они не ошибаются, — проговорил он безжизненным голосом.

Охваченная внезапной тревогой, не понимая, что именно подтолкнуло ее, она вдруг спросила:

— Франсиско, а зачем ты приехал в Нью-Йорк?

Он неторопливо ответил:

— Чтобы встретиться с другом, попросившим меня об этой встрече.

— Деловой?

Глядя куда-то в сторону, словно отвечая на собственную мысль, чуть с горечью улыбаясь, странно мягким и печальным тоном он ответил:

— Да.

Было уже далеко за полночь, когда она проснулась рядом с ним в постели. Из оставшегося внизу города не доносилось ни звука. В тишине комнаты жизнь словно замерла на какое-то время. Счастливая, утомленная, она лениво повернулась, чтобы посмотреть на него. Франсиско лежал на спине, высоко взбив подушку. Профиль его вырисовывался на фоне освещенного рассеянным городским светом окна. Он не спал, глаза его оставались открытыми. Губы были крепко

сжаты, словно он боролся с немыслимой болью, даже не пытаясь скрыть свое страдание.

Дагни боялась даже шевельнуться. Почувствовав на себе ее взгляд, он повернулся к ней.

Внезапно вздрогнув, он отбросил одеяло, открыв нагое тело Дагни, а потом спрятал лицо у нее на груди, судорожно обхватив за плечи. Уткнувшись носом ей в плечо, он глухо пробормотал:

— Я не могу отказаться! Не могу!

— Что? — прошептала она.

— От тебя.

— Зачем тебе…

— И всего.

— Зачем тебе отказываться?

— Дагни! Помоги мне остаться. Отказаться. Пусть он и прав!

Она ровным тоном спросила:

— От чего отказаться, Франсиско?

Он не ответил и только крепче прижался к ней лицом.

Дагни притихла, понимая лишь то, что ей следует быть крайне осторожной.

Чувствуя его голову на своей груди, ровно и ласково поглаживая рукой волосы, она смотрела на потолок комнаты, на едва проступающую

сквозь темноту лепнину, и ждала, онемев от ужаса.

Он простонал:

— Все правильно, но так трудно поступить именно так, как надо! О боже, как же это трудно!

Спустя некоторое время Франсиско поднял голову и сел. Дрожь оставила его.

— Что случилось, Франсиско?

— Я не могу сказать тебе всю правду, — голос его звучал искренне и открыто, не пытаясь скрыть страдание. — Ты не готова услышать ее.

— Но я хочу помочь тебе.

— Ты не можешь ничем помочь мне.

— Ты же сам сказал: помочь тебе *отказаться*.

— Я не могу этого сделать.

— Тогда позволь мне разделить с тобой твое решение.

Он покачал головой и посмотрел на нее сверху вниз, словно бы взвешивая последствия. А потом вновь покачал головой, отвечая самому себе.

— Если я сам не в силах выдержать его, — проговорил Франсиско с еще незнакомой ей нежностью, — то как сможешь выстоять ты?

Она проговорила неторопливо, делая над собой усилие, изо всех сил стараясь не закричать:

— Франсиско, я должна знать.

— Простишь ли ты меня? Я вижу, как ты испугана, а это жестоко с моей стороны. Но если ты хочешь что-то для меня сделать, давай забудем об этом разговоре, забудем — и все, и никогда больше не спрашивай меня ни о чем.

— Я…

— Это все, что ты можешь для меня сделать. Согласна?

— Да, Франсиско.

— И не бойся за меня. Просто так случилось сегодня. Повторения не будет. Потом это будет даваться легче.

— Но, может быть, я могу…

— Нет. Спи, моя любимая.

Он впервые назвал ее этим словом.

Утром он не прятал глаз, смотрел ей прямо в лицо, не старался уклониться от ее полного тревоги взгляда, но о ночной сцене молчал. На спокойном лице его отражались страдание и ясность, нечто подобное полной боли улыбке, хотя он не улыбался. Как ни странно, переживание сделало его моложе. Теперь он казался не человеком, подвергающимся мучительной пытке, а человеком, понимающим, что мука эта сто́ит того, чтобы ее перенести.

Она не стала допытываться до сути. Только,

прежде чем уйти, спросила:

— Когда я снова увижу тебя?

Франсиско ответил:

— Не знаю. Не жди меня, Дагни. Когда мы встретимся в следующий раз, ты не захочешь даже смотреть на меня. У всего, что я буду делать, есть причина. Но я не могу назвать ее тебе, и ты будешь права, проклиная меня. Я не намерен оправдывать этот достойный презрения поступок, не буду просить тебя верить мне. Ты будешь руководствоваться собственными представлениями и суждением. Ты будешь проклинать меня. Тебе будет больно. Только постарайся не покориться этой боли. Помни, что это я тебе говорю. Это все, что я могу тебе сказать сейчас.

Она не получала от него никаких известий и ничего не слышала о нем около года. А потом начала прислушиваться к сплетням и читать заметки газетчиков; поначалу она не верила, что они имеют отношение к Франсиско д'Анкония. А потом поверить пришлось.

Она прочла отчет о приеме, устроенном им на яхте в гавани Вальпараисо: гости получили приглашение явиться в купальных костюмах, а всю ночь на палубу падал дождь из шампанского и цветочных лепестков.

Она прочла отчет о приеме, который он устроил на курорте в алжирской пустыне: он возвел там павильон из тонких листов льда и подарил каждой из приглашенных дам горностаевую накидку при условии, что они станут снимать их, вечерние платья и все остальное по мере того, как будут таять стены.

Она читала отчеты о его деловых предприятиях; они всегда сообщали о его громких успехах и приводили к разорению конкурентов, однако теперь он занимался делами, как спортом: производил внезапный набег, а потом исчезал с промышленной сцены на год или два, оставляя управление *«Д'Анкония Коппер»* в руках наемных директоров.

Она прочла интервью, в котором Франсиско высказывался следующим образом:

— Вы спрашиваете, зачем я хочу делать деньги? У меня их достаточно, чтобы три поколения моих потомков могли наслаждаться жизнью в той же мере, что и я сам.

Однажды она встретилась с ним на приеме, устроенном в Нью-Йорке послом. Франсиско любезно поклонился ей, улыбнулся и наделил взглядом, в котором не существовало никакого прошлого. Она отвела его в сторону и произнесла

всего только два слова:

— Франсиско, почему?

— Почему что? — спросил он.

Она отвернулась.

— Я предупреждал тебя.

Она не стала искать с ним новой встречи.

Дагни пережила разрыв. Она смогла пережить его, потому что не верила в страдание. Боль она воспринимала с возмущением и негодованием и отказывалась придавать ей значение. Страдание являло собой бессмысленное отклонение от нормы и не могло быть частью жизни Дагни. Она просто не позволила боли приобрести какое-то значение. Она не могла дать имени тому сопротивлению, которое оказывала боли, и той эмоции, которая рождала это сопротивление; однако в качестве эквивалента могла предложить следующие слова: это ничего не значит, это нельзя воспринимать серьезно. Она считала так даже в те мгновения, когда душа ее превращалась в сплошной стон, когда ей хотелось потерять рассудок, чтобы не видеть, как становится правдой то, что правдой быть не могло. Этого нельзя воспринимать серьезно, повторяло нечто несокрушимое, обитавшее в ее сердце, — боль и уродство никогда нельзя принимать всерьез.

Она сражалась. И она победила. Время помогло ей дожить до того дня, когда она смогла безразлично отнестись к собственным воспоминаниям, и до того дня, когда она не сочла нужным обращаться к ним. История эта была окончена и более не имела к ней никакого отношения.

В жизни ее не появился другой мужчина. Она не знала, хорошо это или плохо. У нее просто не было времени на подобные размышления. Ослепительно чистое наполнение жизни она обрела именно там, где хотела, — в своей работе. Прежде подобное ощущение давал ей Франсиско — ощущение принадлежности к собственному миру, к собственной работе. Мужчины, с которыми она знакомилась после него, принадлежали к той же самой категории, что и на первом ее балу.

Дагни выиграла сражение с воспоминаниями. Однако она все-таки пережила эти годы, воплощенные в коротком слове «*почему*».

Какая бы трагедия ни обрушилась на Франсиско, почему он избрал самый дешевый путь спасения, столь же низменный, как пьянство ничтожного алкоголика? Тот юноша, которого она знала, не мог превратиться в жалкого труса. Несравненный интеллект не мог обра-

тить свою изобретательность на сооружение тающих бальных зал. Тем не менее все это произошло, и этому не было никакого разумного объяснения, позволяющего ей спокойно забыть обо всем. Она не могла усомниться в том, каким он был; она не могла усомниться и в том, каким он стал; и оба этих факта были несовместимы друг с другом. Иногда Дагни едва не начинала сомневаться в том, что находится в здравом уме или в рациональности самого бытия; однако подобных сомнений она не позволила бы никому. Тем не менее объяснения не было, не было причины, даже намека на сколько-нибудь постижимую причину — и за прошедшие десять лет она так и не нашла ничего похожего на ответ.

Нет, думала она, проходя в серых сумерках мимо витрин заброшенных магазинов и приближаясь к отелю *«Уэйн-Фолкленд»*, нет, ответа и быть не могло. Она не намеревается искать его. Теперь ответ уже безразличен ей.

Остаток прежнего чувства, еще трепетавший в душе ее, предназначался не мужчине, встреча с которым ей предстояла; это был вопль протеста против святотатства, против разрушения того, что должно было стать подлинным величием.

В промежутке между домами она увидела баш-

ни *«Уэйн-Фолкленда»*. Что-то дрогнуло в сердце, ноги на мгновение остановились. А потом она уверенно продолжила путь.

К тому времени, когда Дагни вступила в мраморный вестибюль, когда она поднялась на лифте, когда пошла по широким, крытым коврами, не знающим шума коридорам «*Уэйн Фолкленда*», в душе ее уже пылал холодный гнев, становившийся холодней и холодней с каждым шагом.

Дагни была уверена, что чувствует злость, когда постучала в дверь. Голос за нею ответил:

— Войдите.

Рывком распахнув дверь, Дагни вошла.

Франсиско Доминго Карлос Андрес Себастьян д'Анкония сидел на полу и играл в марблс[1].

Никто и никогда не задавался вопросом, хорош ли внешне Франсиско д'Анкония; подобная мысль казалась неуместной; если он входил в комнату, смотреть на кого-то другого было уже невозможно. Его высокая, стройная фигура казалась слишком достоверной для современности, а двигался он так, словно за плечами его развевался рыцарский плащ. Общее мнение утверждало, что он наделен жизненной силой

[1] Примечания: 1

Игра с маленькими шариками, популярная в Западной Европе и Северной Америке.

здорового зверя, однако существовали смутные подозрения в его ошибочности. Он был наделен жизненной силой здорового *человека*, явлением настолько редким, что никто не мог опознать его. Франсиско был наделен силой уверенности.

Никто не описывал его внешность как латинскую, но именно это слово больше всего подходило к нему — не в современном, а в изначальном смысле, когда оно относилось не к Испании, а к Древнему Риму. Глядя на его гибкое и статное тело с длинными ногами, на плавные и стремительные движения, казалось, что его специально создали как образец стройности и изысканности. Черты его были вылеплены со скульптурной точностью. Зачесанные назад прямые черные волосы, загорелая кожа подчеркивали удивительный цвет глаз: прозрачную синеву. Открытое лицо немедленно отражало его чувства, как если бы ему нечего было скрывать от людей. Голубые глаза оставались спокойными и неизменными; они никогда не выдавали его мыслей.

Франсиско сидел на полу своего номера в пижаме из тонкого черного шелка. Раскиданные вокруг него по ковру шарики были изготовлены из полудрагоценных камней его родины: сердо-

лика и горного хрусталя. Он не поднялся, когда Дагни вошла, и только посмотрел на нее снизу вверх; хрустальный шарик в его руке казался слезинкой. Франсиско улыбнулся прежней, дерзкой и ослепительной, улыбкой своего детства.

— Привет, Чушка!

И она услышала собственный голос, с беспомощной радостью отвечающий ему:

— Привет, Фриско!

Дагни смотрела ему в лицо; оно осталось тем же, что было знакомо ей. На нем не было никаких следов той жизни, которую он вел, как и той растерянности, которую видела она в последнюю проведенную с ним ночь. На нем не было отпечатков трагедии, горечи, напряженности — только слепящая насмешка, зрелая и четкая, опасно непредсказуемое веселье и огромная, не знающая вины чистота духа. Это немыслимо, решила она, еще более немыслимо, чем все остальное.

Он пристально изучал ее взглядом: расстегнутое поношенное пальто, приспущенное с плеч, и стройное тело в сером костюме, похожем на форменную одежду.

— Если ты пришла сюда в таком виде затем, чтобы скрыть от меня, насколько ты хороша, —

сказал он, — то ошиблась. Ты — очаровательна. Мне хотелось бы объяснить тебе, какое это облегчение — видеть женское лицо, наделенное несомненным интеллектом. Но ты не захочешь слушать меня, потому что пришла не за этим.

Слова эти, неуместные сразу во многих отношениях, были произнесены настолько непринужденно, что немедленно вернули ее к реальности — к гневу и цели ее визита. Оставшись стоять, Дагни бесстрастно поглядела на него сверху вниз, отказывая Франсиско не только в прежнем знакомстве, но даже в возможности оскорбить ее. Она проговорила:

— Я пришла сюда, чтобы задать тебе один вопрос.

— Слушаю.

— Когда ты говорил репортерам, что прибыл в Нью-Йорк, чтобы стать свидетелем фарса, какой фарс ты имел в виду?

Он громко расхохотался, как человек, редко получающий возможность порадоваться неожиданности.

— Именно это я и люблю в тебе, Дагни. В настоящее время Нью-Йорк населяют семь миллионов человек. И из этих семи миллионов лишь ты одна поняла, что я имел в виду вовсе не скандальный

развод Вейлей.

— Что же ты имел в виду?

— Твои предположения?

— Несчастье с Сан-Себастьяном.

— А вот это куда более интересно, чем какой-то там развод.

Безжалостным и торжественным тоном прокурора Дагни произнесла:

— Итак, ты сделал это осознанно, хладнокровно и преднамеренно.

— А тебе не кажется, что будет лучше, если ты снимешь пальто и сядешь?

Дагни поняла, что ошиблась, вложив в ответ слишком много чувства.

С презрением отвернувшись, она сняла пальто и отбросила его в сторону. Франсиско не поднялся, чтобы ей помочь. Дагни села в кресло. Он остался на полу, чуть поодаль, однако казалось, что он сидит у ее ног.

— Итак, что я сделал хладнокровно и преднамеренно? — спросил он.

— Провернул всю аферу с Сан-Себастьяном.

— И каковы же были мои намерения?

— Именно это мне и хотелось бы узнать.

Он усмехнулся, как если бы она попросила его на пальцах растолковать ей сложную, требую-

щую целой жизни научную проблему.

— Ты знал, что рудники Сан-Себастьян не стоят ни гроша, — сказала она. — Ты знал это еще до того, как затеял это злосчастное дело.

— Тогда почему же я начал его?

— Только не надо рассказывать мне, что ты ничего не приобрел. Я знаю. Знаю, что ты потратил пятнадцать миллионов долларов. И тем не менее это было сделано с какой-то целью.

— А ты можешь представить себе мотив, способный заставить меня пойти на это?

— Нет. Не могу.

— Разве? Ты считаешь, что я располагаю великим умом, огромными знаниями и творческим потенциалом, и посему любое мое предприятие должно оказаться успешным. А потом утверждаешь, что у меня не было желания потрудиться на благо Мексиканской Народной Республики. Непонятно, тебе не кажется?

— Прежде чем покупать эти рудники, ты знал, что Мексикой правят грабители. Ты не был обязан стараться ради них.

— Совершенно верно.

— И тебе было плевать на мексиканское правительство, потому что…

— В этом ты ошибаешься.

— …потому что ты знал, что рано или поздно эти люди захватят твои рудники. Тебе нужно было нанести удар по твоим американским акционерам.

— Ты права, — Франсиско смотрел на нее в упор, он не улыбался, голос его звучал искренне. Он добавил: — Но это лишь часть правды.

— А в чем она вся?

— Цель моя заключалась в другом.

— В чем же?

— А вот это ты должна сказать сама.

— Я как раз и пришла сюда, чтобы сказать тебе: я начинаю понимать твои цели.

Он улыбнулся:

— Если бы это было так, ты не пришла бы сюда.

— Ты прав. Я их не понимаю и, наверно, никогда не пойму. Я просто начинаю видеть их часть.

— Какую же?

— Ты исчерпал все известные формы порочности и придумал себе новое развлечение, чтобы дурачить людей, подобных Джиму и его друзьям, чтобы смотреть на то, как они извиваются. Не знаю, какая разновидность пресыщенности и порока может позволить тебе наслаждаться такими вещами, но ты приехал в Нью-Йорк именно

за этим, выбрав нужное время.

— Бесспорно, было бы интересно посмотреть, как они извиваются. В особенности твой братец Джеймс.

— Они — гнилые тупицы, но в данном случае единственным их преступлением было то, что они доверились тебе. Они поверили твоему имени и твоей чести.

И вновь лицо Франсиско стало искренним, и она поняла, что не ошиблась, когда он произнес:

— Да. Все верно. Я знаю.

— И тебе это доставляет радость?

— Нет. Мне это не приносит никакой радости.

Франсиско продолжал играть со своими шариками, рассеянно, безразлично, лениво делая бросок за броском. Она вдруг заметила безупречную точность прицела, искусство его рук. Легким движением кисти он посылал каменную капельку по ковру точно в центр другой капельки. Она вспомнила его детство, вспомнила предсказания, согласно которым все, за что он возьмется, будет сделано в высшей степени совершенно.

— Нет, — проговорил Франсиско, — это отнюдь не доставляет мне удовольствия. Твой брат Джеймс со своими дружками ничего не смыс-

лят в горнодобывающей промышленности. Они не разбираются и в том, как делать деньги. Они не считают нужным учиться. Они считают знания излишними, а рассудительность маловажной. Они заметили мое появление в мире и то, что я счел делом чести овладение знаниями. Они посчитали возможным довериться моей чести. Подобное доверие нельзя предать, не так ли?

— Так значит, ты сделал это преднамеренно?

— Это уж тебе решать. Об их доверии и моей чести заговорила именно ты. Я более не пользуюсь этими терминами… — пожав плечами, он добавил: — Я и ломаного гроша не дам за твоего брата и его друзей. Теория их не нова, она просуществовала не один век. Однако она не обладает стопроцентной надежностью. Они просмотрели всего один пункт. И решили паразитировать на моей идее, предположив, что целью моего путешествия является приобретение состояния. Их расчеты основывались на том, что я намеревался сделать деньги на этих рудниках. Что, если это было не так?

— Тогда чего же ты добивался?

— Их это не интересовало. Они не спрашивали меня о целях, мотивах или желаниях, подобный

интерес не является частью их теории.

— Если ты не собирался зарабатывать там деньги, какой другой мотив мог у тебя быть?

— Любой другой. Например, желание потратить их.

— Потратить деньги на полный и безусловный провал?

— Откуда я мог знать, что рудники эти полностью и абсолютно бесперспективны?

— Но как ты мог *не знать* об этом?

— Очень просто. Просто не задумывался.

— И ты начал новый проект, не обдумав его со всех сторон?

— Ну не совсем так. Но что, если я просто ошибся? Я же всего лишь человек. Ну, допустил ошибку. Потерпел неудачу. Плохо поработал, — он сделал резкое движение кистью: хрустальный шарик, искрясь, прокатился по полу, звучно ударившись в своего бурого собрата на противоположной стороне комнаты.

— Я не верю тебе, — сказала Дагни.

— Не веришь? Неужели у меня нет права на эту ныне признанную общечеловеческой черту? Неужели я обязан расплачиваться за все чужие ошибки, не имея права допустить свою собственную?

— Это не похоже на тебя.

— В самом деле? — он лениво и вольготно растянулся во весь рост на ковре. — Ты намеревалась дать мне понять, что поскольку, по твоему мнению, я поступил так намеренно, ты по-прежнему считаешь, что у меня есть цель? Ты до сих пор не способна увидеть во мне подонка?

Дагни закрыла глаза. Франсиско расхохотался; большего веселья в его голосе ей еще не приходилось слышать. Она торопливо открыла глаза, но на лице Франсиско не было ни малейшего признака жестокости, оно озарялось искреннейшим смехом.

— Мой мотив, Дагни? А ты не думаешь, что он мог быть простейшим, вызванным сиюминутным капризом?

Нет, подумала она, нет, это не так; он не мог бы тогда так смеяться, так смотреть на нее. Способность к безмятежному веселью не может быть дарована безответственному дураку; нерушимый душевный покой не может посетить бродягу; умение смеяться подобным образом является конечным результатом самых глубоких, самых серьезных размышлений.

Почти с безразличием глядя на распростертую у ее ног фигуру, Дагни почувствовала, что память

кое-что возвращает ей: черная пижама подчеркивала длинные линии тела, в распахнутом воротнике виднелась гладкая, молодая, загорелая кожа; ей вспомнился тот юноша в черных широких брюках и черной рубашке, что лежал рядом с ней на траве в далекий утренний час. Тогда она гордилась тем, что ей принадлежит его тело; гордость эта до сих пор не изгладилась из ее души. Дагни вдруг вспомнила самые разнузданные мгновения их физической близости, память о которых, казалось, должна была бы стать теперь оскорбительной для нее, но не несла оскорбления. Гордость эта не сочеталась с сожалением или надеждой; чувство это более не имело власти над ней, но и избавиться от него она также не могла.

Совершенно необъяснимым образом, по ассоциации с внезапным чувством, Дагни вспомнила то, что недавно даровало ей столь же самозабвенное счастье.

— Франсиско, — услышала она свой негромкий голос, — мы с тобой когда-то любили музыку Ричарда Халлея…

— Я по-прежнему люблю ее.

— Ты был с ним знаком?

— Да. А почему ты спрашиваешь?

— Ты случайно не знаешь, не написал ли он Пятый концерт?

Франсиско замер. Она считала, что потрясти его невозможно; но это оказалось не так. Однако она не стала даже гадать, почему из всего сказанного ею именно эти слова так поразили его. Но все ограничилось каким-то мгновением; он снова заговорил ровным тоном:

— А что заставляет тебя так считать?

— Ну так написал или нет?

— Тебе известно, что существуют всего четыре концерта Халлея.

— Да. Но мне показалось, что он написало еще один.

— Он перестал писать.

— Я знаю это.

— Тогда что заставило тебя задать этот вопрос?

— Праздная мысль. Чем он занимается сейчас? И где находится?

— Не знаю. Я давно не виделся с ним. Но что заставило тебя считать, что Пятый концерт существует?

— Я не утверждала, а просто предположила.

— Но почему ты подумала о Ричарде Халлее именно сейчас?

— Потому что… — выдержка начинала изме-

нять ей, — …потому что мой разум не способен воспринять переход от музыки Ричарда Халлея к… миссис Гильберт Вейль.

Франсиско с облегчением рассмеялся:

— Ах, ты про это… Кстати, если ты следила за публикациями обо мне, то могла бы заметить забавную маленькую неувязку в повествовании миссис Гильберт Вейль.

— Я не читаю ерунды.

— А следовало бы. Она самым превосходным образом описала прошлый новогодний сочельник, который, по ее утверждению, мы провели вместе на моей вилле в Андах. Освещенные лунным светом вершины гор, кроваво-красные цветы на оплетающих окна лианах. Ты видишь что-либо неправильное в этой картине?

Дагни негромко ответила:

— Об этом следовало бы мне спрашивать тебя, но я не намереваюсь этого делать.

— Ну а я не вижу в ней ничего плохого, за исключением того, что как раз в тот сочельник находился в Техасе, в Эль-Пасо, где председательствовал на открытии линии Сан-Себастьян, принадлежавшей компании *«Таггерт Трансконтинентал»*, как тебе следовало бы помнить, даже в том случае, если ты предпочла не присут-

ствовать при подобном событии. У меня даже фотография осталась, на которой я стою, положив руки на плечи твоему брату Джеймсу и сеньору Оррену Бойлю.

Дагни охнула, вспомнив, что он действительно прав и что рассказ миссис Вейль она прочитала в газетах.

— Франсиско, что… что это значит?

Он усмехнулся:

— Делай выводы сама… Дагни, — лицо его сделалось серьезным, — почему ты решила, что Халлей написал Пятый концерт? Почему не новую симфонию или оперу? Почему именно концерт?

— А что это так волнует тебя?

— Не волнует, — он негромко добавил: — Я по-прежнему люблю его музыку, Дагни.

Голос его вновь сделался непринужденным:

— Но она принадлежала к другому времени. Нашему веку свойственны развлечения иного рода.

Франсиско перекатился на спину и лег, подложив скрещенные руки под голову, разглядывая потолок так, как если бы на нем разыгрывалась сценка из какого-то кинофарса.

— Дагни, разве тебя не потешил тот спектакль,

что разыгрался в Мексике с этими рудниками… как их там, Сан-Себастьян? Ты читала речи, которые произносили члены правительства этой страны, и передовицы в местных газетах? Они называли меня беспринципным обманщиком, надувшим целое государство. Они-то рассчитывали захватить перспективный горнодобывающий концерн. И я не имел никакого права обманывать их в этом благородном намерении. Ты не читала о паршивом мелком чиновничишке, который советовал им подать на меня в суд?

Франсиско рассмеялся и изменил позу: руки его теперь лежали на ковре, превращая тело в подобие креста. Он казался совершенно беззащитным, раскрепощенным и молодым.

— Представление это стоило любых затрат. Я могу позволить себе такие расходы. И если бы я затеял весь спектакль преднамеренно, то превзошел бы самого императора Нерона. Разве можно сравнить испепеливший город пожар с разверзшимся адом, который я им показал?

Приподнявшись на локте, Франсиско взял в руку несколько шариков и рассеянным движением встряхнул их на ладони; камни отозвались мягким чистым звоном, присущим хорошей по-

роде. Дагни вдруг поняла, что Франсиско играет в марблс не по вздорной привычке; он просто не знал, что такое покой, и не мог долго оставаться без дела.

— Правительство Мексиканской Народной Республики выпустило прокламацию, — продолжил он, — в которой попросило свой народ соблюдать терпение и еще на какое-то время примириться с трудностями. Похоже, что доходы от меди Сан-Себастьяна уже были заложены в планы их Центрального комитета. Это должно было повысить в стране уровень жизни, дать всем и каждому — мужчине, женщине, ребенку и недоноску — по куску жареной свинины по воскресеньям. И теперь эти любители строить планы просят свой народ винить не правительство, а порочные наклонности богачей, потому что я оказался безответственным плейбоем, а не жадным капиталистом, на которого они рассчитывали наткнуться. Откуда они могли знать, спрашивают эти людишки, что я подведу их? И в самом деле, откуда им было знать это?

Дагни отметила, как Франсиско сжимал в своей руке камни. Он не замечал этого, вглядываясь в какую-то мрачную даль, но она могла утверждать, что движение это приносило ему

некоторое облегчение, быть может, по контрасту. Пальцы его неторопливо, с чувственным наслаждением поглаживали поверхность камня. Подобный способ получать удовольствие показался ей несносным, напротив, Дагни сочла его странным образом привлекательным, словно бы, как подумала она вдруг, чувственность не имела физической природы, а являлась следствием утонченного унижения природы духовной.

— Однако не знали они не только об этом, — сказал он, — им предстоит ознакомиться еще с некоторыми новостями. Для рабочих в Сан-Себастьяне построен поселок. Он обошелся в восемь миллионов долларов. Дома на стальных каркасах, с водопроводом, электричеством и холодильниками. Кроме того, школа, церковь, госпиталь и кинотеатр. Целый поселок, построенный для людей, живших в хибарах из плавника и жестяных банок. И наградой за это мне стала возможность убраться восвояси, целым и невредимым, особая привилегия, которой я удостоился благодаря тому, что не был гражданином Мексиканской Народной Республики. Этот рабочий поселок тоже был учтен в их планах. Еще бы, пример прогрессивных методов строительства. Что ж, эти дома на стальных каркасах

построены в основном из картона, покрытого добрым поддельным шеллаком. Они не простоят и года. Водопроводные трубы — как и почти все наше горное оборудование — были приобретены у дельцов, основным источником товара которым служат городские свалки Буэнос-Айреса и Рио-де-Жанейро. Могу поручиться, что эти трубы продержатся еще пять месяцев, а проводка не откажет еще полгода. Чудесные дороги, устроенные нами для Мексиканской Народной Республики, не переживут и пары зим: они покрыты дешевым цементом без насыпной подушки, а ограждение в опасных местах сооружено из крашеных досок. Остается дождаться первого оползня. Ну церковь-то выстоит. Она им понадобится.

— Франсиско, — прошептала Дагни, — ты сделал это нарочно?

Он приподнял голову; к своему удивлению, она заметила в его глазах отблеск бесконечной усталости.

— Нарочно ли, — проговорил он, — по халатности ли, по глупости ли… разве ты не понимаешь, что это не имеет значения? Пропущен один и тот же элемент.

Дагни содрогнулась и, позабыв про обещанный

себе полный самоконтроль, воскликнула:

— Франсиско! Если ты видишь, что происходит в мире, если *осознаешь*, что именно сказал сейчас, то как ты можешь смеяться над всем этим! Тебе, именно тебе в первую очередь следовало бы сражаться с ними!

— С кем?

— С грабителями, с теми, кто сделал возможным всемирный грабеж. С мексиканскими комитетчиками и им подобными.

Улыбка его сделалась опасной:

— Нет, моя дорогая. Это с тобой я должен сражаться.

Она посмотрела на него с недоумением:

— Что ты хочешь этим сказать?

— Я хочу сказать, что рабочий поселок для Сан-Себастьяна стоил мне восемь миллионов долларов, — ответил он, жестким голосом подчеркивая слова. — На деньги, потраченные на картонные дома, я мог бы купить стальные конструкции. Как и на деньги, потраченные на все остальное. Деньги эти ушли к тем людям, которые создают собственное богатство подобными методами. Но такие люди останутся богатыми недолго. И деньги уйдут своим путем не к тем, кто умеет работать, а к тем, кто наиболее изощрен и раз-

вратен. По нормам нашего времени побеждает тот, от кого меньше всего пользы. Эти деньги будут растрачены на проекты, подобные рудникам Сан-Себастьян.

Она заставила себя спросить:

— Так вот, значит, какова твоя цель?

— Да.

— И это радует тебя?

— Да.

— Я подумала о твоем имени, — проговорила Дагни, хотя некая часть разума упорно твердила ей, что спорить сейчас бесполезно. — В твоей семье, кажется, существовала традиция, требовавшая, чтобы очередной д'Анкония оставлял после себя состояние более крупное, чем было получено им от отца.

— О да, мои предки были наделены удивительной способностью совершать нужные поступки в нужное время и делать правильные вложения. Ну, конечно, «вложение» — тоже относительное понятие. Все зависит от того, чего ты хочешь достичь. Например, возьмем Сан-Себастьян. Он обошелся мне в пятнадцать миллионов долларов, однако эти пятнадцать миллионов уничтожили сорок миллионов, принадлежавших *«Таггерт Трансконтинентал»*, и тридцать

пять миллионов из карманов таких вкладчиков, как Джеймс Таггерт и Оррен Бойль, попутно с сотнями миллионов, в которые обойдутся всякие вторичные последствия. Неплохое вложение, не правда ли, Дагни?

Она выпрямилась в кресле:

— Ты хоть понимаешь, что говоришь?

— О, в полной мере! Должен ли я назвать тебе все последствия, за которые ты намеревалась меня ругать? Во-первых, я не думаю, что *«Таггерт Трансконтинентал»* переживет утрату своей пресловутой линии Сан-Себастьян. Ты надеешься, но этого не произойдет. Во-вторых, Сан-Себастьян помог твоему братцу Джеймсу уничтожить *«Феникс-Дуранго»*, единственную хорошую железнодорожную линию во всей стране.

— Ты понимаешь это?

— И не только это.

— А ты… — она не знала, почему хочет спросить именно это; должно быть потому, что темные яростные глаза еще смотрели на нее из недр памяти: –…ты знаком с Эллисом Уайэттом?

— Конечно.

— И ты знаешь, какие последствия это будет иметь для него?

— Да. Его придется уничтожить следующим.

— И ты… находишь это занятие… интересным?

— Куда более волнующим, чем разорение мексиканских комитетчиков.

Дагни встала. Она столько лет считала его безнравственным; она боялась этого, она думала об этом, она старалась забыть об этом и никогда больше не вспоминать; однако она и представить не могла, насколько глубоким оказалось его падение.

Она не смотрела на него; она не понимала, что говорит вслух, что снова произносит сказанные им когда-то слова: «…кто будет больше гордиться: Нат Таггерт тобой или Себастьян д'Анкония мною…»

— Но разве ты не поняла, что я назвал эти рудники в честь своего великого предка? По-моему, подобная честь пришлась бы ему по вкусу.

На мгновение Дагни словно ослепла; ей еще не было известно, что такое богохульство и что ощущает человек, сталкиваясь с ним; теперь она поняла это.

Франсиско поднялся с пола и смотрел на нее сверху вниз; холодная и безликая улыбка ничего не открывала Дагни.

Ее бил озноб, но Дагни не замечала его. Ей было безразлично, что он увидит, о чем догадается,

над чем посмеется.

— Я пришла сюда, так как хотела узнать причину того, что ты сделал со своей жизнью, — произнесла она бесстрастным, лишенным эмоций тоном.

— Я назвал тебе эту причину, — серьезно ответил он, — однако ты не захотела поверить в нее.

— Я все вижу тебя прежним и не могу забыть. А то, чем ты теперь стал, не принадлежит к рациональной Вселенной.

— Не принадлежит? А окружающий нас мир принадлежит к ней?

— Ты не принадлежишь к числу людей, которых может раздавить мир, каким бы он ни оказался...

— Правильно.

— Так почему же?

Франсиско пожал плечами:

— А кто такой Джон Голт?

— О, незачем пользоваться этой пошлятиной!

Франсиско посмотрел на нее. Губы его улыбались, но глаза оставались спокойными, искренними и даже — на мгновение — тревожно восприимчивыми.

— Так почему? — спросила она.

Он ответил теми же словами, которые произ-

нес однажды ночью в этом же самом отеле десять лет назад:

— Ты не готова услышать это.

Он не стал провожать ее до двери. Опустив руку на дверную ручку, Дагни повернулась… и остановилась. Франсиско не отрывал от нее глаз; взгляд его охватывал ее целиком; она понимала его смысл, и это приковывало ее к месту.

— Я по-прежнему хочу спать с тобой, — проговорил он. — Но я не настолько счастлив, чтобы позвать тебя в постель.

— Не настолько счастлив? — повторила она в полном недоумении.

Он рассмеялся.

— Не будет ли лучше, если ты сперва ответишь на мое предложение? — Она молчала. — Ты ведь тоже этого хочешь, не так ли?

Дагни уже хотела сказать «нет», но вовремя поняла, что истина значительно хуже.

— Да, — ответила она ледяным тоном, — но это желание ничего не значит для меня.

Франсиско улыбнулся, явно отдавая должное той силе, которая потребовалась ей, чтобы ответить именно так.

Однако когда она открыла дверь, чтобы уйти, он произнес уже без всякой улыбки:

— Ты наделена великой отвагой, Дагни. И однажды тебе этого будет достаточно.

— Чего? Отваги?

Он не ответил.

ГЛАВА VI. НЕКОММЕРЧЕСКАЯ

Риарден припал лбом к зеркалу и попытался избавиться от всех мыслей. Только так и можно пережить предстоящий вечер, сказал он себе.

Он сконцентрировался на том облегчении, которое приносило прохладное прикосновение зеркала, гадая, каким образом можно отключить разум, особенно после того, как всю жизнь ты требовал от него постоянного, ничем не замутненного и безотказного бдения. Он задавался вопросом, почему сейчас не мог заставить себя застегнуть несколько пуговиц из черного перламутра на накрахмаленной белой рубашке, хотя прежде ни одно усилие не казалось ему чрезмерным.

Настал день годовщины его свадьбы, и он был за три месяца предупрежден о том, что сегодня Лилиан устраивает по этому поводу прием.

Он дал обещание присутствовать, пребывая в благодушной уверенности в том, что до приема остается еще целых три месяца и что, когда придет срок, справится с этой обязанностью, как и со всяким делом, попадавшим в его утрамбованное до предела расписание. А потом,

работая по восемнадцать часов в сутки, он благополучно забыл о своем обещании, пока полчаса назад в его кабинет не вошла секретарша и уверенным тоном не произнесла:

— У вас сегодня прием, мистер Риарден.

Воскликнув: «Бог ты мой!» — он вскочил на ноги, спешно отправившись домой. Он взлетел вверх по лестнице, торопливо снял с себя рабочий костюм и приступил к одеванию, понимая только то, что должен торопиться, но никак не саму цель этой спешки.

Но когда до него в полной мере дошло, чего от него хотят, Риарден остановился.

— Ты не думаешь ни о чем, кроме своего дела, — слышал он всю свою жизнь, словно обвинительный приговор. Ему всегда давали понять, что в бизнесе следует видеть своего рода тайный и порочный культ, в который не следует посвящать невинного обывателя; что в занятии этом люди усматривают уродливую необходимость, которую исполняют, не распространяясь относительно подробностей; что деловые разговоры представляют собой преступление против высших материй; и что если следует отмыть руки от машинного масла, прежде чем вернуться домой, то необходимо и смыть со своего разума

оставленное бизнесом пятно, прежде чем войти в гостиную. Сам он не придерживался подобной веры, однако находил вполне естественным то, что ее исповедовали члены его семьи. Он принял раз и навсегда как данность — бессловесно, не подвергая сомнению, как бывает только в детстве, не пытаясь оспорить или дать название этому чувству, — что обрек себя на служение темной вере, ставшей его страстью, но сделавшей его отверженным среди людей, от которых он не мог ждать сочувствия.

Он понимал, что должен посвящать жене часть своей жизни, в которой нет места бизнесу. Но на практике он никогда не находил возможности воплотить это в жизнь или хотя бы почувствовать свою вину. Он не мог заставить себя перемениться, не мог и винить жену, когда та осуждала его.

Он не уделял Лилиан ни крохи своего драгоценного времени целыми месяцами, — нет, подумал он, годами, все восемь лет их брака. У него не было никакого желания разделять ее интересы, не было и стремления узнать хотя бы, в чем они заключаются.

Она не страдала от нехватки друзей; насколько ему было известно, поговаривали, что имена их

составляли гордость национальной культуры, однако у него никогда не находилось времени встретиться с ними или просто признать их славу, ознакомившись с теми достижениями, что принесли ее. Он знал только то, что имена эти нередко появлялись на обложках журналов. И Лилиан права в своей обиде на него, думал он. Да, она не слишком приятным образом обращается с ним, он этого заслужил. Если родные называют его бессердечным, то они правы.

Риарден никогда и ни в чем не щадил себя. Когда на заводе возникала какая-нибудь проблема, он в первую очередь стремился выяснить, какую допустил ошибку; он никогда не искал виноватых, кроме себя самого; лишь от себя требовал он совершенства. Он не позволял себе никаких поблажек; всю вину он принимал на себя. Однако там, на заводе, такое решение немедленно побуждало его к действию, заставляло исправлять ошибку; сейчас оно не срабатывало… Еще несколько мгновений, подумал он, стоя с закрытыми глазами и не отрывая лба от зеркала.

Он не мог заставить замолчать свой говорящий разум; с тем же успехом можно пытаться перекрыть руками напор воды, бьющей из сорвавшегося с резьбы пожарного крана.

Колкие струи, в которых слова мешались с образами, разили его мозг…

Часы, думал он, часы уйдут на созерцание этих лиц; часы, полные скуки, если они просто пьяны, и отвращения, рожденного этими пустыми глазами, пока они трезвы; сколько же времени придется изображать, что ты не замечаешь ни того, ни другого, сколько придется изобретать какие-то обращенные к ним фразы, когда сказать нечего, — и это тогда, когда время это было позарез необходимо ему, чтобы подыскать нового начальника прокатного цеха вместо внезапно уволившегося без всякого предупреждения… это следовало сделать без малейшего промедления, поскольку найти подобного рода специалиста невероятно трудно… а если что-то нарушит плавную работу прокатных станов, выпускавших рельсы для Таггертов… Он вспомнил ту безмолвную укоризну, те взгляды, полные обвинения и презрения, которые обращали к нему родственники, обнаруживая очередное свидетельство его преданности своему делу, и тщетность его молчаливой надежды на то, что они, наконец, решат, что *«Риарден Стил»* значит для него меньше, чем это было на самом деле, — так пьяница изображает безразличие к спиртному в присутствии

людей, презрительно наблюдающих за ним, прекрасно зная о его позорной слабости…

— Я слышала, что вчера ты заявился домой в два часа ночи, и где же ты был? — спрашивала его мать за обеденным столом, и Лилиан отвечала ей:

— Конечно же, на своем заводе, — тем же тоном, которым другая жена с уверенностью произнесла бы: — В кабаке, где же еще…

Или Лилиан спрашивала его с проницательной полуулыбкой:

— Что ты делал вчера в Нью-Йорке?

— Был на банкете с ребятами.

— Деловом?

— Да.

— Ну конечно, — и не произнеся ничего более, Лилиан отворачивалась, пробудив в нем какое-то дурацкое, позорное ощущение: он поймал себя на мысли, что ему очень хочется, чтобы она подумала, будто он побывал на какой-нибудь непристойной холостяцкой вечеринке…

В шторм на озере Мичиган утонул сухогруз, перевозивший тысячи тонн купленной Риарденом руды, — корабли эти разваливались на ходу — и если он не поможет возместить убытки, владельцы пароходной компании разорятся,

не оставив на озере ни одного судна…

— Этот уголок? — сказала Лилиан, указывая на кофейные столики и диваны, расставленные ею в гостиной. — Но, Генри, это уже не новость, хотя мне должно льстить, что тебе потребовалось всего три недели, чтобы заметить перестановку. Это моя собственная трактовка обстановки утренней комнаты знаменитого французского дворца — впрочем, такие вещи не могут тебя интересовать, дорогой, поскольку их не найдешь на фондовой бирже, как ни ищи…

…Сделанный им шесть месяцев назад заказ на медь до сих пор не был выполнен, оговоренная в договоре дата поставки переносилась уже три раза: «Здесь от нас ничего не зависит, мистер Риарден». Ему пришлось искать нового контрагента: обеспечить поставки меди становилось все труднее…

…Филипп не улыбнулся, прервав свой спич, в котором он превозносил перед какой-то подругой их матери некую организацию, в ряды которой только что вступил, просто обмякшие мышцы его лица всегда намекали на полную превосходства улыбку. Он сказал:

— Нет, Генри, эта тема просто не может интересовать тебя, в ней нет ничего коммерческого….

…Тот подрядчик в Детройте, взявшийся за перестройку крупного завода, просматривал возможность использования опорных конструкций из риарден-металла — надо было бы слетать в Детройт и лично переговорить с ним — он должен был сделать это еще неделю назад, он мог бы сделать это прямо сегодня…

— Ты не слушаешь меня, — говорила за завтраком мать в тот момент, когда мысли его обратились к текущему индексу цен на уголь, в то время как она рассказывала ему сон, привидевшийся ей прошлой ночью. — Ты никогда не слышишь, что тебе говорят другие. Тебя не интересует ничего, кроме тебя самого. Ты совершенно не думаешь о людях, тебе не дорог ни один человек на всей земле.

…Машинописные страницы, оставшиеся на столе в его служебном кабинете, сообщали об испытании авиационного двигателя, изготовленного из риарден-металла, и, наверно, более всего на свете ему хотелось в настоящий момент прочитать их — отчет оставался нетронутым уже три дня, потому что у него не находилось времени взять эти листки в руки…

Резко тряхнув головой, Риарден открыл глаза и отступил от зеркала.

Он попытался застегнуть пуговицы на рубашке. Однако рука его сама собой протянулась к стопке писем, оставленных на столике. Это были срочные письма, их следовало прочитать сегодня, но он не успел сделать этого в кабинете.

Секретарша сунула ему эти письма в карман, когда он шел к двери. Раздеваясь, он переложил их на столик.

Из стопки выпала на пол газетная вырезка. Это была передовица, которую пометила секретарша, сердито перечеркнув красным карандашом. Она называлась «Уравнение возможностей». Он должен был прочитать ее: об этом в последние три месяца говорили слишком много, прямо скажем, прискорбно много. И он прочел статью — под доносившиеся снизу звуки голосов и деланные смешки, напоминавшие ему о том, что гости прибывают, вечеринка уже началась, и ему придется ловить на себе полные горькой укоризны взгляды родственников, когда он спустится вниз.

Передовица повествовала о том, что во времена падения производства, сокращения рынка и исчезновения возможности обеспечить свою жизнь нечестно позволять одному субъекту владеть несколькими предприятиями, в то время

как у других людей нет ни одного; что гибельно оставлять все ресурсы в руках кучки предпринимателей, не предоставляя шанса другим; что конкуренция является важнейшей опорой общества, которое обязано следить за тем, чтобы никто не поднимался слишком высоко, становясь вне конкуренции. Передовица предсказывала успех предложенному законопроекту, запрещавшему любому субъекту или корпорации владеть более чем одним промышленным концерном.

Уэсли Моуч, его человек в Вашингтоне, посоветовал Риардену не беспокоиться; по его мнению, схватка предстояла упорная, однако законопроект будет отклонен.

Риарден ничего не понимал в такого рода сражениях. Возможность вести их он предоставил Моучу и его штабу. Он едва находил время, чтобы пробегать полученные из Вашингтона сообщения и подписывать чеки, присланные Моучем на оплату его баталий.

Риарден не верил в то, что законопроект может пройти. Он просто не мог допустить этого. Проведя свою жизнь в чистой реальности: посреди металлов, техники и технологий, — он приобрел искреннюю уверенность в том, что человеку следует иметь дело только с вещами рацио-

нальными, а не безумными, что следует искать правды, ибо верным всегда является только правдивый ответ, что бессмысленное, ложное, чудовищно несправедливое не способно преуспеть, не способно ни на что другое, кроме как потерпеть поражение. Битва с такой вещью, как упомянутый законопроект, казалась ему отвратительной и даже просто немыслимой — как если его вдруг попросили бы конкурировать с человеком, рассчитывающим состав стальных сплавов по формулам нумерологии.

Риарден напомнил себе о том, что вопрос этот представляет собой существенную опасность. И все же даже самый отчаянный визг наиболее истеричной газетенки не пробуждал в нем никаких чувств, в то время как изменение какой-нибудь характеристики риарден-металла в лабораторном эксперименте заставляло его вскакивать на ноги от нетерпения или тревоги.

У него не оставалось сил ни на что другое.

Риарден смял передовицу и швырнул ее в корзину для бумаг. Он ощущал приближение свинцового утомления, которое никогда не посещало его на работе, как будто карауля его и поджидая того мгновения, когда он обратится к другим делам. Риардену казалось, что он не испытывает

никакой иной потребности, кроме отчаянного желания спать. Он сказал себе, что должен присутствовать на вечеринке, что у родных есть право требовать от него этой уступки и что он обязан научиться испытывать понятное им удовольствие — не ради себя, ради них.

Он задавался вопросом, почему мотив не имеет над ним власти, не побуждает к действию. Всю его жизнь в тех случаях, когда он считал правильным тот или иной вектор действия, желание следовать ему являлось автоматически. «Что происходит со мной?» — гадал Риарден. Немыслимый конфликт чувств, нежелание поступать правильно — не это ли основная формула морального разложения? Признавать собственную вину, не ощущая при этом ничего, кроме холодного, глубочайшего безразличия — не в этом ли предательство сути, двигателя его жизни, источника его гордости?

Не теряя больше времени на поиски ответа, он оделся — быстро и без жалости к себе.

Не сгибая спины, ступая с неспешной и естественной властностью, с безукоризненно белым платком в нагрудном кармане черного фрака, он неторопливо сошел по лестнице в гостиную с видом истинно великого предпринимате-

ля — к вящему удовлетворению собравшихся пожилых дам.

Лилиан стояла возле подножия лестницы. Благородные линии лимонно-желтого вечернего платья в стиле ампир подчеркивали изящество ее тела, и держалась она как человек, полностью довольный окружающим. Риарден улыбнулся, ему было приятно видеть жену счастливой; ее радость оправдывала весь прием.

Однако приблизившись к ней, он замер. Лилиан всегда обладала хорошим вкусом в отношении драгоценностей и никогда не надевала их больше, чем нужно. Однако в этот вечер она устроила целую выставку: бриллиантовое ожерелье соседствовало с алмазными серьгами, кольцами и брошками. Руки ее по контрасту казались подозрительно обнаженными. Лишь правое запястье украшал браслет из риарден-металла. Сыпавшие искры бриллианты превращали браслет в подобие дешевой побрякушки из грошового ларька.

Переведя взгляд с запястья жены на ее лицо, Риарден поймал на себе ее встречный взгляд. Она прищурилась, и он не мог истолковать выражение ее глаз; взгляд Лилиан был замкнут и сосредоточен, он скрывал в себе нечто, старавшееся спастись от разоблачения.

Риардену хотелось сорвать браслет с ее руки. Но вместо этого, покоряясь ее веселому голосу, приветствовавшему очередную гостью, он с бесстрастным выражением лица поклонился стоявшей перед ними даме.

— Человек? Что есть человек? Всего лишь горстка наделенных манией величия химикалий, — обратился доктор Притчетт к группе находившихся на противоположной стороне комнаты гостей.

Взяв двумя пальцами канапе с хрустального блюда, доктор Притчетт отправил его целиком в рот.

— Метафизические претензии человека нелепы, — провозгласил он. — Этот жалкий комок протоплазмы, полный уродливых и мелких концепций, посредственных и не менее мелочных чувств, воображает себя значительным! Именно в этом, на мой взгляд, и коренятся все горести мира.

— Но какие же концепции, профессор, вы назовете не мелочными и не уродливыми? — с искренним интересом спросила дама, мужу которой принадлежал автомобильный завод.

— Таких нет, — ответил доктор Притчетт, — просто нет, в рамках человеческих способностей,

разумеется.

Молодой человек нерешительным тоном спросил:

— Но если у нас нет никаких добротных концепций, как можно назвать уродливыми те, которыми мы располагаем? Какие здесь существуют критерии?

— Их не существует вовсе.

Слушатели невольно притихли.

— Философы прошлого судили поверхностно, — продолжал доктор Притчетт. — И на долю нашего столетия выпало заново определить цель философии. Она заключается вовсе не в том, чтобы помочь человеку определить смысл жизни, но в том, чтобы доказать, что такового не существует вовсе.

Привлекательная молодая женщина, дочь владельца угольной шахты, негодующим тоном спросила:

— Но кто может утверждать это?

— Я пытаюсь, — проговорил доктор Притчетт. Последние три года он возглавлял факультет философии в университете Патрика Генри.

К нему подошла Лилиан Риарден, сверкая бриллиантами в свете ламп.

Выражение ее лица, легкая улыбка казались

вышедшими из-под рук того же парикмахера, что укладывал ей волосы.

— Таким трудным человека делает его стремление к смыслу, — продолжил доктор Притчетт. — И когда он поймет, что не имеет абсолютно никакого значения в огромной Вселенной, что всякая деятельность его бессмысленна как таковая, что не имеет никакого значения, жив он или умер, то он сразу сделается существенно… покорней.

Пожав плечами, он потянулся к другому канапе.

Бизнесмен недоуменно произнес:

— Но, профессор, я спрашивал вас о том, что вы думаете в отношении Закона справедливой доли.

— Ах, это? — проговорил доктор Притчетт. — Но, по-моему, я дал ясно понять, что поддерживаю его, поскольку являюсь сторонником свободной экономики. А свободная экономика не способна существовать без конкуренции. Посему людей следует заставить конкурировать. Итак, следует управлять людьми, чтобы заставить их стать свободными.

— Но, видите ли… разве вы не противоречите самому себе?

— Нет — в высшем философском смысле. Необходимо научиться обходиться без рамок статичных формулировок, присущих старомодному мышлению. Во Вселенной нет ничего статичного. Все течет.

— Однако разум говорит, что…

— Разум, мой дорогой друг, является самым наивным из предрассудков. Таково ныне, во всяком случае, общее мнение.

— Но я не вполне понимаю, как мы можем…

— Вас мучит популярное заблуждение: вы предполагаете, что все можно понять. Вы не осознаете того факта, что сама Вселенная представляет собой колоссальное противоречие.

— С чем же? — спросила матрона.

— С собой, с самой Вселенной.

— Но… как это возможно?

— Моя дорогая леди, долг мыслителей заключается не в том, чтобы объяснять мир, но в том, чтобы доказывать, что объяснить что-либо невозможно.

— Да, конечно… только…

— Предназначение философии заключается в поисках — но не знания, а доказательства того, что человек не может обладать знанием.

— И что же останется, — спросила молодая жен-

щина, — после того, как мы сумеем доказать это?

— Инстинкты, — с глубокой почтительностью промолвил доктор Притчетт.

Собравшаяся на другом конце комнаты группа внимала Бальфу Юбэнку. Он сидел, выпрямившись, на краешке кресла, стараясь удержать в целости свое грузное тело, в расслабленном состоянии кажущееся особенно необъятным.

— Литература прошлого, — вещал Бальф Юбэнк, — представляла собой мелкое жульничество. Она лакировала жизнь в угоду денежным мешкам, которым служила. Моральные принципы, свободная воля, достижения, торжество добра, героизм в изображении человека — все это теперь выглядит откровенно смешно. Наш век впервые наделил литературу глубиной, обнажив истинную сущность жизни.

Молоденькая девушка в белом вечернем платье робко спросила:

— А какова истинная сущность жизни, мистер Юбэнк?

— Страдание, — ответил Бальф Юбэнк. — Поражение и страдание.

— Но… но почему? Люди же бывают счастливы… хотя бы иногда… разве не так?

— Это заблуждение исповедуют натуры по-

верхностные.

Девушка покраснела. Состоятельная дама, унаследовавшая нефтеперегонный завод, спросила виноватым тоном:

— Но что мы должны делать, мистер Юбэнк, чтобы улучшить литературный вкус масс?

— В этом заключается великая общественная проблема, — проговорил Бальф Юбэнк. Его считали литературным лидером века, невзирая на то, что ни одна из написанных им книг не была продана тиражом больше трех тысяч экземпляров. — И лично я полагаю, что Закон справедливой доли в применении к литературе позволит разрешить эту проблему.

— О, так вы одобряете этот законопроект и в отношении к промышленности? Я не знаю, что и думать об этом.

— Конечно же, я одобряю его. Наша культура погрязла в болоте материализма. В погоне за материальной выгодой и технологическими фокусами люди утратили все духовные ценности. Мир сделался чересчур комфортабельным. Но люди возвратятся к более благородному образу жизни, если мы заново научим их терпеть лишения. И поэтому мы должны положить конец личной жадности.

— Я никогда не воспринимала эту проблему под таким углом, — виноватым тоном произнесла женщина.

— Но как вы намереваетесь применить Закон справедливой доли к литературе, Ральф? — спросил Морт Лидди. — Это какая-то новая идея.

— Меня зовут Бальф, — недовольным тоном буркнул Юбэнк. — И идея эта кажется вам новой, потому что принадлежит лично мне.

— Ну-ну, я не пытаюсь затеять ссору! Я просто спрашиваю. — Морт Лидди улыбнулся. Нервная улыбка почти не сходила с его лица. Он был композитором и писал старомодную музыку для кино и модернистские симфонии, исполнявшиеся в полупустых залах.

— Все очень просто, — сказал Бальф Юбэнк. — Необходимо выпустить закон, ограничивающий тираж любой книги десятью тысячами экземпляров. Эта мера откроет литературный рынок перед новыми дарованиями, свежими идеями и некоммерческой литературой. Если запретить людям раскупать миллионные тиражи какой-нибудь дряни, они волей-неволей начнут покупать более качественные книги.

— Что-то в этом есть, — промолвил Морт Лидди. — Однако не отрицательно ли повлияет

подобная постановка дела на банковские счета писателей?

— Тем лучше. Позволять писать следует только тем, кто делает это не из корысти.

— Мистер Юбэнк, — спросила юная девушка в белом платье, — но что в таком случае делать, если купить какую-то книгу захотят больше десяти тысяч человек?

— Десяти тысяч читателей вполне достаточно для любой книги.

— Я имею в виду совсем не это. Я про то, если они *захотят*?

— Это совершенно не относится к делу.

— Но если книга содержит интересное повествование, которое…

— Сюжет в литературе следует считать примитивной пошлостью, — презрительно бросил Бальф Юбэнк.

Доктор Притчетт, пересекавший комнату, направляясь к бару, остановился, чтобы заметить:

— Именно так. Так же как логику следует считать примитивной пошлостью в философии.

— А мелодию примитивной пошлостью в музыке, — добавил Морт Лидди.

— О чем спор? — поинтересовалась Лилиан Риарден, остановившаяся возле них.

— Лилиан, ангел мой, — пропел Бальф Юбэнк, — я не говорил еще, что посвящаю свой новый роман вам?

— В самом деле? Спасибо, мой дорогой.

— А как будет называться ваш новый роман? — осведомилась состоятельная дама.

— «*Сердце — одинокий молочник*».

— И о чем же он будет рассказывать?

— О разочаровании.

— Но мистер Юбэнк, — отчаянно краснея, произнесла девушка в белом платье, — если вокруг одно сплошное разочарование, зачем тогда жить?

— Ради братской любви, — мрачным голосом ответил Бальф Юбэнк.

Бертрам Скаддер сутулился за стойкой бара. Его длинное и узкое лицо словно бы запало внутрь, за исключением глаз и рта, мягкими шариками выкатывавшимися наружу. Он издавал журнал, носивший название «*Будущее*», и опубликовал в нем статью о Хэнке Риардене, озаглавленную «*Спрут*».

Взяв опустевший бокал, Бертрам Скаддер молча подал его бармену для новой порции. Получив его наполненным и сделав глоток, он заметил пустой бокал перед стоявшим рядом с ним Филиппом

Риарденом и движением большого пальца дал безмолвное указание бармену. Скаддер не обратил никакого внимания на пустой бокал Бетти Поуп, стоявшей по другую сторону от Филиппа.

— Вот что, приятель, — сказал Бертрам Скаддер, вперив взгляд куда-то рядом с Филиппом, — хотите вы этого или нет, но Закон справедливой доли представляет собой огромный шаг вперед.

— Что заставляет вас думать, что он не нравится мне, мистер Скаддер? — смиренно спросил Филипп.

— Ну что ж, его применение окажется болезненным. Длинная рука общества основательно сократит перечень имеющихся здесь шедевров. — Он указал рукой в сторону бара.

— А почему вы считаете, что я буду возражать против этого?

— Так, значит, не будете? — поинтересовался Бертрам Скаддер без особого любопытства.

— Не буду! — с пылом воскликнул Филипп. — Я всегда ставил общественное благо выше любых личных соображений. Я отдавал свое время и деньги обществу «*Друзья Глобального Прогресса*», ведущему крестовый поход за принятие Закона справедливой доли. На мой взгляд, совершенно нечестно, когда все шансы достаются

одному человеку, а другим ничего не остается.

Бертрам Скаддер задумчиво, но без особого интереса посмотрел на Филиппа и молвил:

— Что ж, это необыкновенно мило с вашей стороны.

— Некоторые люди относятся к моральным принципам весьма серьезно, мистер Скаддер, — проговорил Филипп с подчеркнутой гордостью.

— О чем он говорит, Филипп? — спросила Бетти Поуп. — Мы не знаем никого, кому принадлежало бы больше одного предприятия, правда?

— Да бросьте говорить ерунду! — протянул Бертрам Скаддер полным скуки тоном.

— Не понимаю, откуда взялось столько шума по поводу этого билля, — с воинственной интонацией знатока экономики произнесла Бетти Поуп. — Не знаю, почему бизнесмены так ожесточились против него. Ведь Закон справедливой доли преследует их собственную выгоду. Если все вокруг бедны, предпринимателям некуда сбывать свои товары. Но если они ограничат собственный эгоизм и поделятся накопленной собственностью, у них появится шанс произвести новый товар.

— А я не понимаю, почему вообще нужно учитывать интересы промышленников, —

проговорил Скаддер. — Когда народные массы обнищали, но товары остаются доступными, лишь полный идиот будет рассчитывать на то, что народ удастся остановить бумажкой, назвав ее актом о собственности. Право собственности представляет собой чистое суеверие. Собственность остается в чьем-нибудь распоряжении только из любезности тех, кто не захватывает ее. И народ всегда может сделать это. А если он может сделать это, то почему бы ему, наконец, не перейти к делу?

— Непременно перейдет, — вступил в разговор Клод Слагенхоп. — Он нуждается. И нужда является единственным оправданием. Когда нуждается народ, он сперва берет свое, а потом обговаривает свое приобретение.

Незаметно появившийся Клод Слагенхоп каким-то образом втиснулся между Филиппом и Скаддером, отодвинув последнего в сторону.

Крепыша Слагенхопа нельзя было назвать высоким или тяжеловесным, лицо его украшал сломанный нос. Он являлся президентом общества «*Друзья Глобального Прогресса*».

— Голод не будет ждать, — продолжил Клод Слагенхоп. — Идея — это всего лишь воздух. А пустое брюхо — это материальный факт. Во всех

своих речах я говорил, что всякие разговоры излишни. Общество в настоящее время страдает от отсутствия деловых возможностей, и потому мы считаем себя вправе захватить существующие возможности. Законом следует считать то, что служит благу общества.

— Но он же не копал эту руду собственными руками, так ведь? — вдруг воскликнул Филипп пронзительным голосом. — Ему пришлось нанимать сотни рабочих. Они-то и сделали это. Почему же он так доволен собой?

Оба собеседника посмотрели на него: Скаддер чуть приподнял бровь, Слагенхоп — без какого-либо выражения на лице.

— О боже мой! — припомнила что-то Бетти Поуп.

Хэнк Риарден остановился возле окна в затененной нише в конце гостиной. Он надеялся, что сумеет урвать несколько минут отдыха.

Риарден только что отделался от женщины средних лет, решившей поделиться с ним свои парапсихологическим опытом. Он стоял и смотрел в окно. Вдалеке в небе полыхало привычное красное зарево над *«Риарден Стил»*. С чувством облегчения он позволил себе долгий взгляд в сторону завода.

Он повернулся лицом к гостиной. Риарден никогда не любил свой дом; облик его создавала Лилиан. Однако сегодня поток ярких вечерних платьев затмевал собой комнату, наделяя ее весельем и блеском. Ему нравилось видеть, как веселятся люди, пусть сам он и не понимал их манеру развлекаться.

Риарден посмотрел на цветы, на искры света в хрустальных бокалах, на обнаженные женские руки и плечи. За окном над осенними просторами задувал холодный ветер. Тонкие ветви близкого дерева показались ему молящими о помощи руками. За деревом светилось зарево далекого завода.

Он не мог дать имени этому чувству. У него не было слов, которыми можно было бы назвать его причину, качество, смысл. Отчасти оно состояло из радости, к которой примешивалось желание обнажить голову — неведомо перед кем.

Он сделал шаг к гостям с улыбкой на лице. Однако лицо его немедленно сделалось серьезным: в дверях появилась новая гостья — Дагни Таггерт.

С любопытством разглядывая Дагни, Лилиан поспешила к ней навстречу. Они уже несколько

раз встречались по разным поводам, и Лилиан было странно видеть Дагни Таггерт в вечернем наряде. Верх черного платья пелериной прикрывал одно плечо, оставляя другое обнаженным — оно-то и являлось единственным украшением ее наряда. Привычные для Дагни Таггерт рабочие костюмы не наводили на мысли о ее теле. Черное же бальное платье казалось чрезмерно открытым, потому что нагое плечо было таким хрупким и прекрасным, а бриллиантовый браслет на запястье придавал ее женственности тот яркий оттенок, который приносит несвобода.

— Мисс Таггерт, какой чудесный сюрприз, я так рада видеть вас, — произнесла Лилиан Риарден, изображая лицевыми мышцами улыбку. — Я и не надеялась, что мое приглашение сможет оторвать вас от куда более важных дел. Если позволите, я даже польщена.

Джеймс Таггерт вошел вместе со своей сестрой. Лилиан улыбнулась ему — в виде торопливого постскриптума, словно бы только что заметив его.

— Хелло, Джеймс. Такова кара за известность — увидев твою сестру, трудно вспомнить о тебе.

— Но с тобой, Лилиан, никто не может состязаться в известности, — ответил он со скупой

улыбкой, — как не может никто и забыть тебя.

— Меня? О, я вполне смирилась с ролью незаметной тени собственного мужа. И вполне готова признать, что жена великого человека должна быть довольна отблесками его славы… не так ли, мисс Таггерт?

— Нет, — возразила Дагни. — Я так не считаю.

— Это комплимент или осуждение, мисс Таггерт? Но простите мне признание в собственной беспомощности. Кого я могу представить вам? Боюсь, что у меня нет никого, кроме писателей и художников, а они, не сомневаюсь, не представляют интереса для вас.

— Мне бы хотелось найти Хэнка и поздороваться с ним.

— Ну, конечно. Джеймс, ты не забыл, что намеревался поговорить с Бальфом Юбэнком?.. О, да, он здесь… Я расскажу ему, как ты нахваливал его последний роман на обеде у миссис Уиткомб!

Пересекая просторную комнату, Дагни искренне недоумевала, почему сказала, что хочет отыскать Хэнка Риардена, и что помешало ей признаться в том, что она увидела его еще от входа.

Стоя в противоположном конце длинной комнаты, Риарден смотрел на нее.

Он не отводил от нее взгляда, но не сделал и шага навстречу.

— Хэлло, Хэнк.

— Добрый вечер.

Он поклонился любезно, но холодно. Движение его тела в точности отвечало безукоризненной официальности костюма. Он не улыбнулся.

— Спасибо за приглашение, — веселым тоном произнесла она.

— Не могу претендовать на то, что знал заранее о вашем приходе.

— О? Тогда я рада, что обо мне подумала миссис Риарден. Мне захотелось сегодня сделать исключение.

— Исключение?

— Я не часто посещаю званые вечера.

— Я рад, что вы сделали исключение именно ради этого случая, — Риарден не произнес еще двух слов «мисс Таггерт», однако фраза прозвучала так, словно он сказал их.

Официальная манера его оказалась настолько неожиданной, что она не сразу сумела приспособиться к ней.

— Я хотела сегодня отпраздновать, — проговорила Дагни.

— Годовщину моей свадьбы?

— Сегодня годовщина вашей свадьбы? Не знала. Примите мои поздравления, Хэнк.

— Так что же вы хотели отпраздновать?

— Я решила, что могу позволить себе отдохнуть. Устроить собственный праздник — в вашу и мою честь.

— И по какой же причине?

Дагни думала о новой колее, проложенной по скалистым склонам гор Колорадо, медленно протягивающейся к нефтепромыслам Уайэтта. Она видела эти отливающие зеленой морской синевой рельсы на мерзлой земле, посреди сухой травы, нагих скал, ветхих хижин мучимых голодом поселков.

— В честь первых шестидесяти миль колеи из риарден-металла, — ответила она.

— Ценное событие, — тон его голоса, скорее, подошел бы к следующим словам: «Я и не знал об этом».

Дагни не могла найти, что сказать. Ей казалось, что она разговаривает с незнакомцем.

— Ого, мисс Таггерт! — их молчание прервал приветливый голос. — Именно это я и имею в виду, когда говорю, что Хэнк Риарден способен совершить любое чудо!

К ним приближался знакомый бизнесмен,

улыбавшийся ей с восторгом и восхищением. Им троим нередко приходилось проводить совместные экстренные совещания по поводу темпов перевозок и поставок стали. И теперь он смотрел на нее, являя на лице своем откровенный комментарий перемене в ее внешности, которая, подумала Дагни, осталась незамеченной Риарденом.

Она рассмеялась в ответ на приветствие, не позволяя себе заметить укол разочарования в том, что такое выражение ей хотелось бы увидеть на лице Риардена. Дагни обменялась несколькими фразами с этим человеком. Когда она повернулась, Риардена рядом не оказалось.

— Так это и есть твоя знаменитая сестра? — спросил Бальф Юбэнк у Джеймса Таггерта, глядя через комнату на Дагни.

— Я и понятия не имел, что сестрица моя знаменита, — проговорил Таггерт с ноткой обиды в голосе.

— Но, мой дорогой друг, она представляет собой настолько необычайное явление в мире экономики, что люди просто не могут не говорить о ней. Твоя сестра — воплощение симптома общей болезни нашего времени. Упадочное порождение века машин. Механизмы погубили

в людях человечность, оторвали их от земли, украли у них природные искусства, загубили их души и превратили в бесчувственных роботов. И вот пример: женщина, руководящая железной дорогой, вместо того, чтобы обратиться к прекрасному искусству ткачихи и выращиванию детей.

Риарден переходил от гостя к гостю, стараясь не позволить вовлечь себя в разговор. Он осмотрел комнату и не заметил ни одного человека, к которому хотел бы подойти.

— Вот что, Хэнк Риарден, вы не столь скверный парень, если посмотреть на вас вблизи, в вашем львином логове. И если бы вы хоть иногда давали нам пресс-конференции, то перетащили бы нас на свою сторону.

Риарден обернулся и, не веря себе, посмотрел на говорившего. Это был молодой газетчик весьма сомнительного пошиба, работавший в радикальном таблоиде. Задиристая фамильярность намекала на то, что грубый тон был выбран осознанно, потому что Риарден никогда не стал бы иметь дело с подобным человеком.

Риарден не пустил бы этого журналиста на свой завод, но сюда его пригласила Лилиан, и, сдержавшись, он сухо спросил:

— Что вам нужно?

— Вы не такой плохой человек. У вас есть талант. Талант инженера. Но я, конечно же, не согласен с вами в отношении риарден — металла.

— Я не просил вас соглашаться со мной.

— Но Бертрам Скаддер говорил, что ваша политика… — воинственным тоном начал корреспондент, указав в сторону бара, но тут же умолк, словно бы поняв, что зашел дальше, чем намеревался.

Риарден посмотрел на неопрятную фигуру, скрючившуюся возле бара. Лилиан представляла их друг другу, но тогда он не обратил внимания на его имя. Резко повернувшись, он направился прочь, самой манерой своей не позволяя молодому наглецу увязаться следом.

Лилиан заметила выражение лица Риардена, приближавшегося к той группе, посреди которой стояла она, и отошла в сторону, где их не могли услышать.

— Это и есть Скаддер из «*Будущего*»? — спросил он, кивком указав в сторону бара.

— Да, а что?

Риарден молча смотрел на жену, не веря своим ушам, не понимая самой логики ее поступка. Она не отводила от него глаз.

— Но как ты могла пригласить *его* сюда?

— Ну, Генри, не будь смешным. Ты же не хочешь показаться узколобым, не правда ли? Ты должен уважать право других иметь собственное мнение и высказывать его открыто.

— В моем доме?

— Ох, не будь таким консервативным!

Риарден молчал, потому как сознанием его владели не здравые речения, а две картинки.

Он видел сочиненную Бертрамом Скаддером статью под заглавием «*Спрут*», в которой не было ни малейшей идеи и которая представляла собой всего лишь публично опорожненное помойное ведро… статью, в которой не было ни единого факта, даже вымышленного, и место их занимал поток насмешек и оскорблений, в котором можно было только усмотреть лишь злобный вой очернителя, не считающего доказательства необходимыми. А еще он видел прекрасный профиль Лилиан, гордую чистоту, которую искал, женясь на ней.

Вновь взглянув на жену, он понял, что профиль просто отпечатался в его памяти: к нему было обращено внимательное, чуть настороженное лицо. Вернувшись, наконец, к реальности, он подумал, что видит в ее глазах удовлетворе-

ние. Но в следующее мгновение напомнил себе, что находится в здравом уме, а значит, это невозможно.

— Ты в первый раз пригласила этого… — он воспользовался непристойным словом с бесстрастной точностью, — в мой дом. И в последний.

— Как ты смеешь использовать такие…

— Не надо возражать, Лилиан. Если ты будешь спорить, я вышвырну его отсюда прямо сейчас.

Риарден спокойно дал жене возможность ответить, возразить, даже закричать. Но та молчала, не глядя на него, лишь гладкие щечки ее как будто втянулись.

Ничего не замечая, слепо перемещаясь между огнями, голосами и запахами духов, он ощущал холодное прикосновение ужаса. Риарден понимал, что ему следует хорошенько призадуматься о Лилиан, отыскать разгадку ее характера, потому что столь беспардонный поступок нельзя было оставить без внимания; однако он не хотел думать о ней и понимал, что ужас был рожден именно тем, что ответ перестал интересовать его давным-давно.

На него вновь начала накатывать усталость. Ему казалось, что он видит сгущающиеся волны утомления; усталость накапливалась не в нем,

а снаружи, во всей этой комнате. На мгновение Риардену показалось, что он остался в одиночестве, потерявшись в серой пустыне, нуждаясь в помощи и зная, что ее не будет. И вдруг он замер. В освещенном дверном проеме на противоположном конце комнаты появилась высокая надменная фигура; мужчина замер на мгновение, прежде чем войти. Риардену не доводилось еще встречаться с ним, но среди всех скандально известных личностей, чьи фотографии наводняли страницы газет, была одна, которую он особенно презирал. Это был Франсиско д'Анкония.

Риарден никогда не позволял себе уделять особого внимания людям, подобным Бертраму Скаддеру. Но каждую минуту своей жизни, каждую секунду, когда он чувствовал гордость от того, что от напряжения рвутся мышцы и раскалывается голова, с каждым шагом, поднимавшим его из рудника в Миннесоте и превращавшим его усилия в золото, при всем своем глубочайшем почтении к деньгам и их значению, он презирал этого пустого расточителя, не сумевшего оправдать такой великий дар, как наследственное богатство. «Вот, — подумал Риарден, — наиболее презренный представитель этой человеческой разновидности».

Франсиско д'Анкония вошел, поклонился Лилиан и вступил в толпу, словно ему принадлежала эта комната, в которой ему бывать раньше не приходилось.

Вслед ему начали поворачиваться головы, словно он тянул их за веревочки.

Вновь вернувшись к Лилиан, Риарден проговорил уже без гнева: раздражение переросло в его голосе в интерес:

— А я не знал, что ты знакома с этим типом.

— Я встречала его на нескольких приемах.

— Значит, он один из твоих друзей?

— Естественно, нет! — негодование, разумеется, было неподдельным.

— Тогда почему же ты пригласила его?

— Ну, когда он находится в нашей стране, нельзя устроить прием — *стоящий* прием — и не пригласить его. Если он приходит, это досадно, если не приходит — черная метка в обществе.

Риарден рассмеялся. Лилиан раскрылась; обыкновенно она не позволяла себе подобного рода признаний.

— Вот что, — проговорил он усталым тоном. — Я не хочу портить твой праздник. Но не подпускай ко мне этого человека. Не надо знакомить нас. Я не хочу. Не знаю, как тебе удастся так сде-

лать, но ты опытная хозяйка, действуй.

Дагни замерла на месте, увидев приближавшегося к ней Франсиско. Проходя мимо, он поклонился ей. Франсиско не остановился, однако она поняла, что мгновение это отпечаталось в его сознании. Она заметила на его лице слабую улыбку, которой он подчеркнул, что все понимает, но предпочитает не обнаруживать знакомства. Дагни отвернулась. Она надеялась, что ей удастся избежать его общества весь остаток вечера.

Бальф Юбэнк присоединился к группе, окружавшей доктора Притчетта, и угрюмым тоном повествовал:

— …нет, нельзя ожидать, чтобы народ понял высшие уровни философии. Культуру следует вырвать из рук охотников за долларами. Нам нужна национальная стипендия для литераторов. Какой позор, что в художниках видят подобие торговцев-разносчиков и что произведения искусства приходится продавать, как мыло.

— Вы хотите пожаловаться на то, что мыло продается лучше? — спросил Франсиско д'Анкония.

Он как-то незаметно включился в разговор, который сразу оборвался; большинство собеседников никогда не встречались с Франсиско, однако были наслышаны о нем.

— Я хочу… — начал Бальф Юбэнк сердитым тоном, но мгновенно умолк; он заметил на окружавших его лицах живой интерес, но интерес этот относился не к философии.

— Ну, здравствуйте, профессор! — проговорил Франсиско, кланяясь доктору Притчетту.

Без всякого видимого удовольствия доктор Притчетт ответил на приветствие и приступил к представлениям.

— Мы обсуждали интереснейшую тему, — проговорила важная дама. — Доктор Притчетт объяснял нам, что все вокруг — ничто.

— Он, вне сомнения, разбирается в этой теме глубже, чем кто-либо другой, — серьезным тоном отозвался Франсиско.

— Вот уж не подумала бы, что вы знаете доктора Притчетта настолько хорошо, сеньор д'Анкония, — сказала она, гадая, почему реплика ее вызвала явное неудовольствие на лице профессора.

— Я выпускник той великой школы, на которую в данный момент работает доктор Притчетт, — университета Патрика Генри. Но я учился у одного из его предшественников — Хью Экстона.

— Хью Экстона! — охнула привлекательная молодая женщина. — Но этого не может быть,

сеньор д'Анкония! Вы слишком молоды для этого. Я считала, что Экстон относился к числу столпов… прошлого столетия.

— Быть может, по духу, мадам. Но не на самом деле.

— Но мне казалось, что он умер много лет назад.

— Вы ошибаетесь. Он по-прежнему жив.

— Тогда почему о нем ничего больше не слышно?

— Он ушел на покой девять лет назад.

— Разве это не странно? Когда от дел отходит политикан или кинозвезда, мы читаем об этом в газетных передовицах. Но вот заканчивается трудовой путь философа, и люди ничего не знают об этом.

— Некоторые знают.

Молодой человек с удивлением проговорил:

— А я думал, что Хью Экстон относится к числу тех классиков, которых теперь изучают разве что в истории философии. Недавно я прочел статью, где его называли последним великим поборником разума.

— И что же говорил Хью Экстон? — спросила важная дама.

Франсиско ответил:

— Он учил нас тому, что все вокруг есть *что-то*.

— Ваша верность учителю заслуживает похвалы, сеньор д'Анкония, — сухо проговорил доктор Притчетт. — Можем ли мы считать, что вы являетесь практическим результатом обучения его школы, так сказать, *преемником*?

— Да.

К группе подошел Джеймс Таггерт, дожидавшийся своей доли внимания.

— Привет, Франсиско.

— Добрый вечер, Джеймс.

— Какое удивительное совпадение привело тебя сюда! Я как раз хотел переговорить с тобой.

— Это ново. Такое желание числилось за тобой не всегда.

— Ты шутишь, как в прежние дни, — Таггерт неторопливо, словно бы случайно отодвигался от группы в надежде выманить Франсиско за собой. — Как ты прекрасно знаешь, в этой комнате не найдется ни одного человека, который не хотел бы поговорить с тобой.

— В самом деле? Я склонен подозревать обратное, — Франсиско покорно последовал за ним, но остановился так, чтобы их разговор могли слышать.

— Я испробовал все возможные способы, чтобы связаться с тобой, — сказал Таггерт, — но… обстоятельства мне не благоприятствовали.

— Ты пытаешься скрыть тот факт, что я отказался встречаться с тобой?

— Ну… что ж… я хочу узнать, почему ты отказался от встречи?

— Не смог представить себе, о чем ты намеревался говорить со мной.

— О рудниках Сан-Себастьян, конечно же! — Таггерт чуть возвысил голос.

— Так, и что же ты хотел услышать о них?

— Но… Франсиско, все это очень серьезно. Это несчастье, беспрецедентная катастрофа, и никто ничего не может понять. Я просто не знаю, что думать. Я ничего не понимаю. У меня есть право знать.

— Право? Не кажется ли тебе, Джеймс, что ты несколько старомоден. Но что ты хочешь узнать?

— Ну, во-первых, эта национализация… что ты намереваешься с ней делать?

— Ничего.

— Ничего?!

— Но ты ведь, наверно, не хочешь, чтобы я сопротивлялся этой национализации. Мои руд-

ники и твою железную дорогу захватил народ, захватил по собственной воле. Уж не желаешь ли ты, чтобы я противопоставил себя воле народа?

— Франсиско, дело серьезное, мне не до смеха!

— Я никогда не сомневался в этом.

— Я должен получить какое-то объяснение! И ты обязан отчитаться перед своими вкладчиками по этой позорной истории! Зачем ты влез в эти безнадежные рудники? Зачем потратил все эти миллионы? Что это был за гнилой обман?

Франсиско посмотрел на него с вежливым удивлением.

— А я-то, Джеймс, — проговорил он, — полагал, что ты одобришь эту авантюру.

— Одобрю?!

— Я полагал, что ты увидишь в деле с рудниками Сан-Себастьян практический пример реализации высшего морального идеала. Памятуя, что в прошлом мы частенько спорили с тобой, я подумал, что тебе будет приятно увидеть, что я поступаю в соответствии с твоими принципами.

— О чем ты говоришь?

Франсиско с сожалением покачал головой:

— Не понимаю, почему ты назвал мое поведение гнилым обманом. Я считал, что ты распознаешь в нем искреннюю попытку применить

на практике то, что проповедует сейчас весь мир. Разве все вокруг не считают, что эгоизм — это зло? В проекте Сан-Себастьян я не преследовал абсолютно никаких эгоистических целей. У меня вообще не было там личного интереса. Разве это не скверно — работать ради собственной выгоды? Я не искал там выгоды… и я понес потери. Разве не все считают, что предназначение промышленного предприятия заключается в обеспечении благосостояния его наемных работников? Таким образом, рудники Сан-Себастьян сделались наиболее успешным предприятием во всей истории промышленности: они не дали меди, но обеспечили существование тысяч людей, которые за всю жизнь не создали того, что зарабатывали у меня за один рабочий день. Разве не принято видеть во владельце паразита и эксплуататора? Разве не наемные работники производят всю продукцию? Я не эксплуатировал там никого. Я не обременял рудники Сан-Себастьян своей бесполезной персоной; я оставил их в руках действительно значимых людей. Я не делал собственной оценки стоимости этого предприятия. Я передал его под управление специалиста по горному делу. Это был не слишком хороший специалист, но он отчаянно нуждался в работе.

Разве не принято считать, что когда ты берешь человека на работу, важна его нужда, а не квалификация? Разве не верят все вокруг в то, что для того, чтобы получить товары, прежде всего необходимо нуждаться в них? Я исполнил все требования морали нашего времени. Я ожидал благодарности и похвалы. И я не понимаю, почему меня проклинают.

Посреди овладевшего всеми молчания единственным ответом Франсиско стал пронзительный, внезапный смешок Бетти Поуп: она ничего не поняла, но заметила беспомощную ярость на лице Джеймса Таггерта.

Все смотрели на него, ожидая ответа. Сам вопрос не был интересен для них, их просто развлекало чужое затруднительное положение. Таггерт выдавил покровительственную улыбку.

— Надеюсь, ты не рассчитываешь, что я приму все это всерьез? — спросил он.

— Было такое время, — ответил Франсиско, — когда я не верил, что кто-то может принять всерьез эту демагогию. Я ошибался.

— Это немыслимо! — голос Таггерта сделался громче. — Это возмутительно! Невероятно, чтобы человек мог обходиться со своими общественными обязанностями, проявляя такое бездумное

легкомыслие!

Он отвернулся, собираясь отойти.

Франсиско пожал плечами и развел руки в стороны:

— Вот видишь! Я же говорил, что ты не захочешь говорить со мной.

Риарден оставался в одиночестве на противоположной стороне комнаты. Заметив это, Филипп подошел к нему и подозвал Лилиан.

— Не думаю, что Генри сейчас очень весело, — он насмешливо улыбнулся; трудно было сказать, кому именно — Лилиан или Риардену. — Не можем ли мы чем-нибудь помочь?

— А, ерунда! — отмахнулся Риарден.

— Ох, Филипп, — проговорила Лилиан. — Мне всегда хотелось, чтобы Генри научился расслабляться. Он относится ко всему с такой мрачной серьезностью... просто как строгий пуританин. Мне даже хотелось увидеть его пьяным — хотя бы разок. Но я уже сдалась. Может быть, ты предложишь что-нибудь?

— Ну, не знаю! Но ему не следовало бы стоять в полном одиночестве.

— Оставьте, — проговорил Риарден. Стараясь не забывать о том, что не следует оскорблять их чувства, он все-таки добавил: — Если бы вы толь-

ко знали, сколько стараний я приложил, чтобы остаться в одиночестве.

— Ну, вот… видишь? — Лилиан улыбнулась Филиппу. — Порадоваться жизни и людям для него сложнее, чем разлить тонну стали. Интеллектуальным свершениям не место на рынке.

Филипп усмехнулся:

— Меня смущают не интеллектуальные свершения. А ты действительно уверена в его пуританских наклонностях, Лилиан? На твоем месте я бы не стал позволять ему свободно оглядываться вокруг. Сегодня здесь слишком много красавиц.

— Генри и мысль о супружеской неверности? Ты льстишь ему, Филипп. Ты переоцениваешь его отвагу, — наделив Риардена холодной, подчеркнуто искусственной улыбкой, она отошла.

Риарден посмотрел на брата:

— И какого черта ты хочешь этим добиться?

— Да ладно тебе, хватит разыгрывать пуританина! Неужели нельзя понять шутку?

Бесцельно скитаясь в толпе, Дагни пыталась понять, почему приняла приглашение на эту вечеринку. Ответ удивил ее: потому что она хотела увидеть Хэнка Риардена. Разглядывая его в толпе, она впервые подметила контраст. Лица

всех остальных казались собранными из взаимозаменяемых деталей, каждое из них стремилось раствориться в анонимности всеобщего сходства, и все они казались какими-то расплывчатыми. Лицо Риардена, словно высеченное изо льда, резко контрастировало с аморфными физиономиями гостей.

Она то и дело невольно посматривала на него, но так и не поймала ни одного обращенного к ней взгляда. Дагни не хотелось верить, что он преднамеренно уклоняется от разговора с ней; для этого не могло быть рациональной причины — и все же она чувствовала, что это действительно так. Ей хотелось подойти к Риардену и убедиться в своей ошибке. Однако что-то останавливало ее, и причин своей нерешительности Дагни понять не могла.

Риарден вытерпел разговор с матерью и двумя пожилыми леди, которых, по ее мнению, он должен был развлечь рассказом о своем детстве и пути к успеху. Он уступил, понимая, что она гордится им на собственный лад. Ему казалось, что всей своей манерой мать старается показать, что это именно она была его постоянной опорой и источником сил на этом пути. Он от души обрадовался, когда она отпустила его, и немедленно

укрылся в нише возле окна.

Он постоял там какое-то время, как бы пытаясь найти физическую опору в своем уединении.

— Мистер Риарден, — произнес за его спиной до странности безмятежный голос, — позвольте представиться. Мое имя Франсиско д'Анкония.

Риарден с удивлением повернулся; в манере и голосе д'Анконии сквозило редко встречавшееся ему в людях качество: неподдельное уважение.

— Здравствуйте, — ответил он отрывистым и сухим тоном… но все же ответил.

— Я успел заметить, что миссис Риарден уклоняется от своей обязанности представить меня вам, и могу понять причину. Вы предпочли бы, чтобы я оставил ваш дом?

Д'Анкония без обиняков перешел к делу, не пытаясь избежать неловкости, и это было настолько непохоже на поведение всех известных ему людей, настолько удивительно и приятно, что Риарден ответил не сразу, стараясь получше рассмотреть лицо своего гостя. Франсиско произнес эти слова очень просто, не как укоризну и не как просьбу, однако манера его странным образом подчеркивала достоинство Риардена, не умаляя и его собственное.

— Нет, — ответил Риарден, — каковы бы ни были ваши догадки, я этого не говорил.

— Благодарю вас. В таком случае, не позволите ли вы мне поговорить с вами.

— А зачем вам нужно разговаривать со мной?

— В настоящее время мои мотивы не могут заинтересовать вас.

— Но и я не из тех, кто может заинтересовать вас своим разговором.

— Вы ошибаетесь в отношении одного из нас, мистер Риарден, или в отношении обоих. Я приехал сюда исключительно для того, чтобы поговорить с вами.

Если в голосе Риардена до этого угадывалось некоторое удивление, теперь в нем звучал легкий намек на пренебрежение:

— Вы начали игру в открытую. Продолжайте.

— Продолжаю.

— Зачем вы захотели встретиться со мной? Чтобы заставить меня понести денежные потери?

Франсиско в упор поглядел на него:

— Да — в конечном счете.

— И что же нас ждет на этот раз? Золотые прииски?

Франсиско неспешно качнул головой; нарочитая неторопливость движения придавала ему

едва ли не скорбный дух.

— Нет, — проговорил он, — я не собираюсь во что-либо втягивать вас. Кстати говоря, я не пытался привлечь к эксплуатации медного рудника Джеймса Таггерта. Он проявил инициативу самостоятельно. Вы не станете этого делать.

Риарден усмехнулся:

— Ну раз вы понимаете это, у нашего разговора появляется разумное основание. Продолжим. Если вы не имеете своей целью какое-нибудь безумное вложение капитала, зачем вам понадобилось встречаться со мной?

— Чтобы познакомиться с вами.

— Это не ответ, а просто другой способ выражения той же самой мысли.

— Не совсем так, мистер Риарден.

— Может быть, вы хотите заручиться моим доверием?

— Нет. Мне не нравятся люди, стремящиеся на словах или в мыслях добиться чьего-нибудь доверия. Если человек действует честно, ему незачем заранее заручаться чужим доверием, достаточно будет рационального восприятия его поступков. Личность, добивающаяся подобного незаполненного морального чека, преследует бесчестные намерения, вне зависимости оттого,

признается она в этом себе или нет.

Обратившийся к д'Анконии удивленный взгляд Риардена был подобен невольному движению руки, ищущей поддержки в отчаянной нужде. Взгляд этот говорил о том, насколько необходим ему стоящий перед ним человек. Потом Риарден опустил глаза и едва ли не закрыл их, стараясь забыть и о том, что видит, и о своей нужде. Лицо его сделалось жестким; и жесткость эта — внутренняя жесткость — была обращена к нему самому; он казался строгим и одиноким.

— Ну хорошо, — промолвил он невыразительным тоном. — Так чего же вам нужно от меня, если мое доверие не интересует вас?

— Я хочу научиться понимать вас.

— Зачем?

— По собственным причинам, которые в данный момент не имеют к вам отношения.

— И что же вы хотите понять во мне?

Франсиско молча поглядел во тьму. Огонь плавильных печей угасал. Слабое красное зарево еще горело над краем земли, окрашивая несущиеся по небу рваные облака. За окном то и дело мелькали неясные силуэты ветвей, казавшиеся олицетворением самого ветра.

— Какая ужасная ночь для любого животного,

застигнутого непогодой на этой равнине, — проговорил Франсиско д'Анкония. — В такой момент понимаешь весь смысл человеческого существования.

Риарден ответил не сразу; он заговорил, как бы отвечая самому себе, с ноткой удивления в голосе:

— Забавно…

— Что именно?

— Вы произнесли то, о чем я подумал несколько минут назад.

— В самом деле?

— …только я не успел облечь ее в слова.

— Договорить вам вашу мысль до конца?

— Давайте.

— Вы стояли здесь, вглядываясь в непогоду с величайшей гордостью, которую способен испытывать человек, потому что в такую ночь ваш дом полон летних цветов и полуобнаженных женщин — свидетельств вашей победы над бурей. И если бы не вы, многие из тех, кто наполняют ваш дом, оставались бы сейчас нагими и беспомощными, брошенными на милость ветра, посреди такой же, как эта, равнины.

— Как вы узнали это?

Спросив, Риарден уже понимал, что д'Анкония

произнес вслух не его мысли, но изложил словами самое потаенное, самое личное его чувство; и что он, никогда не признававшийся кому бы то ни было в своих переживаниях, сделал это своим вопросом. В глазах Франсиско словно бы промелькнул огонек улыбки или понимания.

— Но что может быть известно вам о гордости такого рода? — резко проговорил Риарден, как бы стараясь презрительной интонацией второго вопроса стереть признание первого.

— Так в молодости казалось и мне самому.

Риарден посмотрел на собеседника. Во взгляде Франсиско не было ни насмешки, ни жалости к себе; в четких скульптурных линиях и чистых голубых глазах читалась спокойная сдержанность, невозмутимое лицо было открыто для любого удара.

— Почему же вы хотите говорить о ней? — спросил Риарден, покоряясь внезапному приступу сочувствия.

— Скажем так, из благодарности, мистер Риарден.

— Благодарности *мне*?

— Если вы согласитесь принять ее.

Голос Риардена сделался жестче:

— Я не просил благодарности. Я не нуждаюсь

в ней.

— Я не утверждал этого. Но среди всех, кого вы спасли от сегодняшней непогоды, лишь я один приношу ее вам.

После недолгого молчания Риарден спросил — негромко, едва ли не с угрозой:

— Что вы пытаетесь сделать?

— Я стараюсь обратить ваше внимание на природу тех, ради кого вы работаете.

— Только человек, ни одного дня в жизни не отдавший честному труду, может подумать или сказать такое, — к презрению в голосе Риардена примешивалась нотка облегчения: только что он был обескуражен сомнением в верности своей оценки собеседника, теперь он вновь ощутил уверенность. — Это поймете не вы, а человек, который работает, трудится для себя самого, пусть даже при этом он тащит на себе все ваше бестолковое стадо. Теперь мне понятны ваши мысли: продолжайте, скажите мне, что это порочно, что я самодовольный, бессердечный и жестокий эгоист. Это так. И я не хочу слушать пошлого вздора о том, что нужно работать ради других. Не хочу.

Риарден впервые заметил *человеческую* реакцию в глазах Франсиско, его взгляд, сделавшийся

бодрым и молодым.

— В ваших словах я вижу одну-единственную ошибку, — ответил Франсиско, — заключающуюся в том, что вы позволяете другим считать ваше справедливое нежелание порочным.

Он указал не верившему своим ушам Риардену на собравшуюся в гостиной толпу:

— Почему вы соглашаетесь везти их на себе?

— Потому что это — несчастные дети, отчаянно, изо всех сил, стремящиеся остаться в живых, в то время как я… я даже не замечаю этого бремени.

— Почему бы тогда вам не сказать им об этом?

— О чем?

—

О том, что вы работаете для себя, а не для них.

— Им это известно.

— О да, им это известно. Всем и каждому. Но они считают, что *вы* не понимаете этого. И изо всех сил стараются удержать вас в неведении.

— Но почему я должен считаться с тем, что они там думают?

— Потому что это битва, в которой каждый должен точно определить свою позицию.

— Битва? Какая еще битва? В моей руке рукоять кнута. Я не сражаюсь с безоружными.

— Так ли это? У них есть оружие против вас.

Оружие единственное, но ужасное. Однажды задумайтесь над его природой.

— Но в чем вы видите свидетельство его существования?

— В том непростительном факте, что вас нельзя назвать счастливым человеком.

Риарден мог бы смириться с любым укором, оскорблением, с любым брошенным в него проклятием; единственное, чего не мог он принять от людей, — это жалость. Укол холодного воинственного гнева вернул его назад, к текущему мгновению во всей его значимости. Он проговорил, пытаясь не проявить истинную природу овладевавшего им чувства:

— Какую наглую выходку вы себе позволяете? Зачем, с какой целью?

— Скажем так: я подсказываю вам нужные слова, которые в свое время вам понадобятся.

— Почему вам вообще пришло в голову разговаривать со мной на эту тему?

— В надежде на то, что вы запомните наш разговор.

«Гнев мой, — думал Риарден, — рожден тем непостижимым фактом, что я позволил себе наслаждаться этим разговором». Он ощущал запашок измены, привкус неведомой опасности.

— И вы рассчитываете на то, что я забуду про то, *кто вы такой*? — спросил он, прекрасно понимая, что думает вовсе не об этом.

— Я полагаю, что вам вовсе незачем думать обо мне.

За гневом, которого Риарден не хотел признать за собой, пряталось другое чувство — некий намек на боль.

Если бы он позволил себе вслушаться, то понял бы, что голос Франсиско еще звучит в его ушах: «Среди всех… один лишь я приношу вам… если вы согласитесь принять ее…»

Он слышал эти слова, произнесенные негромко, со странной торжественной интонацией, и не поддающийся объяснению его собственный ответ — это «да», доносившееся из глубин его существа, стремление принять, сказать этому человеку, что он принимает, что нуждается в ней — нет, не в благодарности, в чем-то другом, имя чему было не «благодарность», и он знал, что вовсе не это предлагает ему собеседник.

Вслух он проговорил:

— Я не искал встречи с вами. Но вы хотели поговорить со мной, что ж… слушайте. На мой взгляд, существует единственная форма человеческого падения — потеря цели.

— Верно.

— Я могу простить всех остальных, они не имеют злого умысла, они просто беспомощны. Но вы… вы принадлежите к той разновидности, которую нельзя простить.

— Именно против греха прощения я и хотел предостеречь вас.

— Вам выпал величайший из возможных для человека шансов. И как вы обошлись с ним? Если у вас хватает ума понимать все, что вы наговорили тут, то как вы можете разговаривать со мной? Как можете вы вообще смотреть людям в лицо после той безответственной махинации, которую провернули в Мексике?

— Вы имеете полное право осуждать меня за это, если вам угодно.

Дагни жалась в уголке оконной ниши, старательно прислушиваясь. Мужчины не замечали ее. Увидев их вместе, она постаралась незаметно приблизиться, покорившись порыву, которого не могла объяснить и которому не имела силы противостоять; ей казалось критически важным знать, что говорят друг другу эти люди.

Последние несколько предложений она расслышала хорошо. Ей и в голову не приходило, что она когда-нибудь увидит, как Франсиско по-

лучает трепку. Он умел разнести в прах любого соперника в любом состязании. Но тут он не пытался даже защититься.

Дагни понимала, что в этом не стоит усматривать безразличия; превосходно зная лицо Франсиско, она отлично видела, каких усилий стоит ему это терпение: под кожей его проступала туго натянутая линия мышц.

— Среди всех, кто живет за счет чужих способностей, — продолжил Риарден, — вы — самый худший из паразитов.

— Я предоставил вам основания для подобного вывода.

— Тогда какое право имеет вы рассуждать о смысле человеческого существования? Вы, предавший суть человека?

— Простите, если я оскорбил вас тем, что вы вполне могли принять за высокомерие.

Франсиско поклонился и повернулся к Риардену спиной. И не понимая того, что вопрос этот отрицает весь предыдущий гнев, что в нем слышится обращенная к этому человеку просьба не уходить, Риарден спросил:

— И что же вы хотели понять во мне?

Франсиско обернулся. Выражение его лица не изменилось, оно осталось почтительным

и серьезным.

— Я уже понял это, — ответил он.

Риарден проводил долгим взглядом своего гостя, углубившегося в толпу. Фигуры дворецкого с хрустальным блюдом в руках и доктора Притчетта, склоняющегося за очередным канапе, скрыли от него Франсиско. Риарден вновь заглянул во тьму за окном: там не было ничего, кроме ветра.

Дагни шагнула ему навстречу, как только он вышел из ниши. Она улыбнулась, открыто приглашая к разговору. Риарден остановился. Без особой охоты, как показалось ей. И она поторопилась прервать молчание.

— Хэнк, почему у вас так много интеллектуалов, придерживающихся стороны грабителей? Я не стала бы принимать их в своем доме.

Она хотела сказать ему вовсе не это. Но она и не знала, что именно хотела сказать; никогда еще дар речи не оставлял ее в присутствии Риардена.

Глаза его сузились — словно в них закрылась дверь.

— Не вижу причины, запрещающей приглашать их на вечеринку, — ответил он холодным тоном.

— О, я вовсе не собиралась критиковать подбор гостей. Но… я даже не пытаюсь узнать, кто из них Бертрам Скаддер, чтобы не дать ему пощечину, — Дагни попыталась сдержаться. — Не хотелось бы устраивать скандал, но я не уверена, что смогу сохранить власть над собой. Я не поверила собственным ушам, когда мне сказали, что миссис Риарден пригласила его.

— Я *сам* пригласил этого человека.

— Но… — она понизила голос. — Почему?

— Я не придаю никакого значения подобным выходкам.

— Простите, Хэнк, не думала, что вы настолько терпимы. Я не обладаю этим качеством.

Он молчал.

— Я знаю, что вы не любите званых вечеров. Я тоже. Но иногда мне кажется, что только мы и можем по-настоящему радоваться им.

— Боюсь, что у меня нет таланта к подобного рода занятиям.

— Да, когда они принимают такой облик. Но неужели вы считаете, что хоть кто-нибудь из этих людей приятно проводит время? Они просто стараются стать более бестолковыми и бесцельными, чем обычно. Они хотят ощущать себя легкими и незначительными… А знаете, истин-

ную легкость может почувствовать лишь тот, кто осознает свою важность и значимость.

— Не знаю.

— Эта мысль время от времени смущает меня… Она пришла мне в голову после моего первого бала… Мне казалось, званый вечер должен быть праздником, а праздник может быть только у того, кому есть что праздновать.

— Я никогда не думал на эту тему.

Она никак не могла приспособиться к его строго официальной манере; она просто не могла поверить себе: в его кабинете они всегда разговаривали достаточно непринужденно. Теперь он вел себя как человек в смирительной рубашке.

— Хэнк, посмотрите сами. Если бы вы не знали этих людей, зрелище могло бы показаться прекрасным! Освещение, одежда и вся фантазия, потребовавшаяся, чтобы этот прием стал возможным… — Дагни смотрела на гостей. Она не замечала, что взгляд Риардена следовал своим собственным путем. Он разглядывал тени на ее обнаженном плече, неяркие, голубые тени, которые оставлял свет, проникавший сквозь пряди ее волос. — Ну почему мы все отдали этим глупцам? Праздник должен принадлежать нам.

— Каким же образом?

— Не знаю… Я всегда полагала, что званые вечера должны быть возбуждающими и яркими, как изысканное вино, — она рассмеялась, но к смеху примешивалась печаль. — Только я вообще не пью. Это еще один символ, который обозначает не то, что должен обозначать.

Риарден молчал, и она добавила:

— Быть может, в них есть нечто скрытое от нас.

— Я такого не замечал.

Охваченная волной внезапно прихлынувшей отчаянной пустоты, она почувствовала радость оттого, что он не понял ее или не отреагировал, зная, что открыла ему слишком многое, хотя и не вполне понимала, что именно. Дагни пожала плечами, движение это легкой судорогой пробежало по изгибу ее плеча.

— Моя давняя иллюзия, — безразличным тоном произнесла она. — Настроение, которое посещает меня раз в году. Но покажите мне последний прейскурант на стальной прокат, и я сразу забуду о нем.

Удаляясь от Риардена, она не знала, что глаза его неотрывно следуют за ней.

Дагни неторопливо шла по комнате, не глядя ни на кого. Она заметила небольшую группу го-

стей, сгрудившуюся у нерастопленного камина. В комнате не было холодно, однако они сидели так, как если бы черпали уют из мысли о несуществующем огне.

— Не знаю почему, но я стала бояться темноты. Нет, не сейчас, только когда остаюсь в одиночестве. Меня пугает ночь. Ночь как таковая.

Говорила, очевидно, старая дева, хорошо воспитанная и утратившая всякую надежду. Составлявшие группу три женщины и двое мужчин были хорошо одеты, гладкая кожа их лиц свидетельствовала о хорошем уходе, однако держались они с полной тревоги настороженностью, заставлявшей слишком понижать голоса и стиравшей различия в возрасте, делая всех равным образом седыми, в равной мере выдохшимися. Таких людей всегда можно заметить посреди респектабельной компании. Дагни остановилась и прислушалась.

— Но, дорогая моя, — спросил другой женский голос, — почему ты боишься?

— Не знаю, — проговорила старая дева, — но меня беспокоят не взломщики, не воры, не грабители. Я просто не могу уснуть всю ночь. И засыпаю только после того, как начинает светать. Как странно. Каждый вечер, когда стемнеет,

меня вдруг атакует чувство, говорящее, что песенка спета, что рассвет уже не вернется.

— Моя кузина, живущая на побережье Мэна, писала мне о том же самом, — проговорила другая женщина.

— Прошлой ночью, — продолжила старая дева, — я не моглауснуть из-за стрельбы. Всю ночь где-то у моря стреляли. Вспышек не было. Не было ничего. Только взрыв, потом длинная пауза и снова взрыв — где-то в тумане над Атлантическим океаном.

— Я читала что-то об этом в утренней газете. Береговая охрана проводила учебные стрельбы.

— Ну нет, — безразличным тоном проговорила старая дева. — На берегу все знают, в чем дело. Это был Рагнар Даннескьолд. И береговая охрана пыталась поймать его.

— Рагнар Даннескьолд в заливе Делавэр? — охнула женщина.

— Ну да. И говорят, не в первый раз.

— Его поймали?

— Нет.

— Никто не в состоянии это сделать, — проговорил один из мужчин.

— Норвегия назначила за его голову награду в миллион долларов.

— Такие колоссальные деньги за голову пирата.

— Но как можно добиться спокойствия и благополучия в мире, если на всех семи морях бесчинствуют пираты?

— А вы не знаете, что ему удалось захватить в ту ночь? — спросила старая дева.

— Крупный корабль с материальной помощью, собранной нами для Франции.

— А что он делает с захваченным добром?

— Ах, этого никто не знает.

— Однажды я встретил матроса, который был на атакованном им корабле, и видел Рагнара Даннескьолда собственными глазами. Он рассказывал, что у него огненно-рыжие волосы и самое страшное лицо на планете, на котором не отражается ни одного чувства. Если на свете и есть не имеющий сердца человек, так это он, так говорил моряк.

— Мой племянник однажды ночью видел корабль Рагнара Даннескьолда у берегов Шотландии. Он написал мне, что просто не мог поверить собственным глазам. Во всем английском флоте не найдется лучшего судна.

— Рассказывают, что он прячется в одном из норвежских фьордов, где его не сыщет ни Бог,

ни человек. Так в средние века поступали викинги.

— Награду за его голову назначили также Португалия и Турция.

— Говорят, что в Норвегии из-за него возник скандал на государственном уровне. Даннескьолд происходит из одного из лучших семейств страны. Род этот обеднел много столетий назад, но сохранил громкое имя. Руины их фамильного замка еще можно увидеть. Отец Рагнара стал епископом. Он отрекся от сына и отлучил его от церкви. Но эта мера не возымела эффекта.

— А вы знаете, что Рагнар Даннескьолд учился в нашей стране? Точно. В университете Патрика Генри.

— В самом деле?

— Ну да. Это можно проверить.

— Что меня смущает… Знаете, не нравится мне все это. Не нравится мне, что он объявился здесь, в наших прибрежных водах. Я считал, что подобные вещи могут происходить только в глуши. Только в Европе. Но чтобы бандит такого масштаба появился в Делавэре в наши дни!

— Его видели и возле Нантакета. И возле Бар-Харбор. Газетчиков просили не писать об этом.

— Почему?

— Не хотели открыто признаваться людям, что флот не может справиться с ним.

— Не нравится мне это. Забавное возникает чувство. Как будто мы живем в средние века.

Дагни подняла глаза. В нескольких шагах от нее стоял Франсиско д'Анкония, рассматривавший ее с подчеркнутым любопытством; глаза его наполняла насмешка.

— В странном мире мы живем, — негромко проговорила старая дева.

— Я читала одну статью, — вялым голосом проговорила одна из женщин. — Там говорилось, что трудные времена полезны для нас. Это хорошо, что люди беднеют. Терпеть лишения — это моральная добродетель.

— Должно быть, — проговорила вторая без особой убежденности.

— Нам не следует торопиться. Кто-то говорил, что бесполезно спешить или обвинять кого-нибудь. Никто не может помочь в делах, в какой бы ситуации ты ни оказался. Мы ничего не можем сделать, ничто нельзя изменить. Нам необходимо научиться терпеть.

— Какая в этом польза? И в чем заключена судьба человека? Разве не в том, чтобы надеяться, и никогда не достигать? Мудрецом следует

назвать только того, кто не пытается надеяться.

— Именно так и надлежит поступать.

— Не знаю… Я теперь вообще не представляю, что правильно… Как мы можем узнать это?

— Ну да, кто такой Джон Голт?

Дагни резко повернулась и сделала шаг в сторону. За ней последовала одна из женщин.

— А я знаю это, — проговорила женщина негромким и полным таинственности тоном, готовясь поделиться секретом.

— Что вы знаете?

— Я знаю, кто такой Джон Голт.

— Кто? — переспросила Дагни напряженным голосом, застыв на месте.

— Я знала человека, который был знаком с Джоном Голтом. Он был старым приятелем моей внучатой тетки. Он был там и видел, как все произошло. Помните легенду об Атлантиде, мисс Таггерт?

— Что?

— Легенду об Атлантиде.

— Ну… смутно.

— Острова Благословенных. Так греки называли этот край тысячи лет назад. Они говорили, что Атлантида — это такое место, где павшие герои обитают посреди неведомого остальным

людям блаженства. Место, куда войти могут только духи героев, и они попадают туда, не умирая, потому что несут в себе тайну жизни. А потом люди забыли об Атлантиде. Но греки знали, что она существовала, и пытались найти ее. Некоторые из них говорили, что край этот находится под землей, в самом сердце ее. Но бóльшая часть их считали, что это остров. Сверкающий остров, расположенный в Западном океане. Быть может, они имели в виду Америку. Но греки так и не нашли свою Атлантиду. По прошествии столетий люди стали говорить, что это всего лишь легенда. Они не верили в нее, но не переставали искать, потому что знали — найти ее необходимо.

— Ну а какое отношение имеет к ней Джон Голт?

— Он нашел ее.

Интерес оставил Дагни:

— А кто же он такой?

— Джон Голт был миллионером, обладателем несметных богатств. Однажды ночью он плыл на своей яхте посреди Атлантического океана, сражаясь с самым худшим среди всех обрушивавшихся на землю штормов, и нашел эту страну. Он увидел ее в глубинах морских, куда она опустилась, чтобы стать недосягаемой для людей.

Он заметил на дне океана сверкающие башни Атлантиды. Это было такое зрелище, увидев которое человек не захочет смотреть на мир. Джон Голт потопил свой корабль вместе со всем экипажем. Все они предпочли такую судьбу. Уцелел только мой друг.

— Как интересно.

— Мой друг видел все собственными глазами, — обиделась женщина. — Это случилось уже давно, но семья Джона Голта замяла эту историю.

— А что произошло с его состоянием? Не помню, чтобы были какие-нибудь разговоры о состоянии Голта.

— Оно пошло на дно вместе с ним, — и она добавила воинственным тоном: — Но вы не обязаны верить мне.

— Мисс Таггерт не верит вам, — проговорил Франсиско д'Анкония. — В отличие от меня.

Они повернулись. Франсиско последовал за ними и теперь смотрел на них дерзко, с какой-то преувеличенной серьезностью.

— Да верите ли вы во что-нибудь вообще, сеньор д'Анкония? — возмутилась женщина.

— Нет, мадам.

Он усмехнулся ей в спину, и Дагни спросила холодным тоном:

— Что здесь смешного?

— Эта глупая женщина. Она не знает, что рассказала тебе правду.

— И ты ожидаешь, что я поверю тебе?

— Нет.

— Тогда что тебя здесь так развлекает?

— О, очень многое. А тебя разве нет?

— Нет.

— Это, например, я также нахожу забавным.

— Франсиско, ты оставишь меня в покое?

— Именно так я и поступил. Ты не обратила внимания на то, что первой заговорила со мной сегодня?

— Почему ты все время следишь за мной?

— Из любопытства.

— И что тебе любопытно?

— Твоя реакция на вещи, которые не кажутся тебе забавными.

— Какое тебе дело, как я на них реагирую?

— Это мой собственный способ развлекаться, кстати, абсолютно не присущий тебе, так ведь, Дагни? К тому же, кроме тебя, здесь нет ни одной достойной внимания женщины.

Охваченная возмущением, она замерла на месте: то, как он смотрел на нее, явно предполагало вызвать ее гнев. Дагни держалась так, как все-

гда: прямо, напряженно, высоко подняв голову. От неженственной позы веяло привычкой руководить. Однако нагое плечо выдавало хрупкость тела, укрытого черным платьем, и поза превращалась в саму женственность. Гордая сила бросала вызов любой превосходящей мощи, а хрупкость повествовала о возможной неудаче. Дагни не замечала этого. И ей не встречались люди, способные увидеть это.

Он проговорил, окинув взглядом ее тело:

— Дагни, какое великолепное расточительство!

Ей оставалось только повернуться и бежать. Она почувствовала, что краснеет — впервые за многие годы: краснеет оттого, что приговор этот облек в слова то, что она ощущала весь вечер.

Стараясь не думать, она бросилась от него прочь. Ее остановила музыка, внезапно зазвучавшая из радиоприемника. Она заметила Морта Лидди, который включил его и теперь махал руками, громко подзывая друзей:

— Сюда! Сюда! Я хочу, чтобы вы послушали это!

Громовой раскат начинал Четвертый концерт Халлея. Отрицая боль, он вздымался в мучитель-

ном триумфе, торжественном гимне далекому видению. А потом мелодия рассыпалась. Словно бы в музыку швырнули горсть смешанной с камешками грязи, высокую песнь сменили стук и бульканье. Таким стал концерт Халлея в переложении на популярный ритм. Мелодия Халлея расползлась, являя дыры, заполненные какой-то икотой. Возвышенная радость превратилась в пошлое кабацкое веселье. И все же именно следы музыки Халлея сохраняли форму этой мелодии, поддерживая ее, словно спинной хребет.

— Неплохо, а? — Морт Лидди хвастливо и нервно улыбался друзьям. — Как, по-вашему? Лучшее музыкальное сопровождение к кино этого года. Принесло мне премию и долгосрочный контракт. Это я сочинил для фильма «*Рай на заднем дворе*».

Дагни стояла, озираясь по сторонам, словно бы стараясь заменить одним чувством другое, словно бы стремясь зрением вытеснить этот звук. Она медленно поворачивала голову, пытаясь отыскать опору хотя бы в чем-то. Она заметила Франсиско: он стоял, прислонившись к колонне и скрестив руки на груди. Он смотрел на нее и смеялся.

Нельзя так трястись, подумала она. Уходи отсюда. На нее накатывал гнев, которого она не могла

сдержать. Молчи, велела она себе. Иди спокойно. Уходи отсюда.

И она пошла к двери, очень медленно, осторожно. Услышав слова Лилиан, Дагни остановилась. Лилиан неоднократно повторяла их в тот вечер в ответ на один и тот же вопрос, но Дагни впервые услышала ее объяснение.

— Это? — говорила Лилиан, выставляя руку с металлическим браслетом на обозрение двум прекрасно ухоженным дамам. — Нет-нет, я не покупала его в скобяной лавке, это особый подарок моего мужа. Ну да, конечно же, он уродлив. Но разве вы не видите? Считается, что он не имеет цены. Ну конечно, я бы в любой момент согласилась обменять его на простой браслет с бриллиантами, но почему-то никто не предлагает мне такого обмена, хотя он очень и очень дорог. Почему? Моя дорогая, но это же первая вещь, изготовленная из риарден-металла.

Дагни не видела комнаты. Она не слышала музыки. Мертвая тишина давила на ее барабанные перепонки. Она не могла отличить последующего момента от предыдущего. Она не осознавала, кто окружает ее, не замечала себя, Лилиан, Риардена, не осознавала своего поступка. Просто единственное мгновение взорвало все остальное.

Она слышала слова. Она посмотрела на браслет из сине-зеленого металла.

Она ощутила, как срывает что-то с запястья, а потом услышала собственный голос, прозвучавший в мертвой тишине, очень спокойный голос, холодный, как скелет, лишенный эмоций:

— Если вам хватит отваги — а я в этом сомневаюсь, — меняемся.

Она протянула Лилиан на ладони свой бриллиантовый браслет.

— Вы серьезно, мисс Таггерт? — проговорил женский голос.

Он принадлежал не Лилиан. Та смотрела прямо в глаза Дагни.

Она видела их. Лилиан понимала, что это серьезно.

— Давайте браслет, — Дагни приподняла повыше ладонь с искрящейся на ней алмазной полоской.

— Это ужасно! — воскликнула какая-то женщина. Голос ее прозвучал до странности резко. Тут только Дагни заметила, что их окружают люди и что все они молчат. Она снова слышала звуки, даже музыку, даже доносившийся откуда-то издали изуродованный концерт Халлея.

Она видела лицо Риардена. Ей показалось,

что нечто в нем изуродовано подобно той музыке, только неизвестно чем. Он наблюдал за ними.

Рот Лилиан превратился в повернутый кверху уголками полумесяц, чуть напомнивший улыбку. Расстегнув металлический браслет, она уронила его на ладонь Дагни, взяв с нее алмазную полоску.

— Благодарю вас, мисс Таггерт, — сказала она.

Пальцы Дагни сомкнулись вокруг металла. Она ощущала только его и ничего больше.

Лилиан повернулась навстречу подошедшему к ней Риардену. Взяв бриллиантовый браслет из руки жены, он застегнул его на ее запястье, поднес ее руку к губам и поцеловал.

Он даже не взглянул на Дагни.

Лилиан рассмеялась — веселым, привлекательным и непринужденным смехом, сразу вернувшим всю комнату к нормальному настроению.

— Вы можете получить его назад, мисс Таггерт, когда передумаете, — проговорила она.

Дагни отвернулась. Она ощутила покой и свободу. Давление исчезло. Вместе с необходимостью немедленно уходить.

Она застегнула металлический браслет на запястье. Ей понравилось прикосновение тяжелой

вещицы к коже. Необъяснимым образом она ощутила укол незнакомого ей прежде женского тщеславия: желания показываться на людях в этом необыкновенном украшении.

Откуда-то издалека доносились негодующие голоса:

— Самый оскорбительный поступок из всех, какие я видела… Какая злоба… Я рада, что Лилиан поставила ее на место… пусть себе тешится, если ей хочется выбросить на ветер несколько тысяч долларов…

Остаток вечера Риарден не отходил от жены.

Он участвовал в ее разговорах, он смеялся с ее друзьями, он вдруг превратился в преданного, внимательного, полного восхищения мужа.

Он пересекал комнату с полным бокалов подносом в руках, предназначенным для друзей Лилиан — никто еще не видел его в столь радушном расположении духа, — когда Дагни приблизилась к нему.

Она остановилась и поглядела на него так, словно они находились вдвоем в его кабинете.

Она стояла в позе начальника, с высоко поднятой головой. Риарден посмотрел на нее сверху вниз. Открывшееся его взору тело ее — от кончиков пальцев до лица — было нагим, если

не считать металлического браслета.

— Прости меня, Хэнк, — проговорила она, — но я не могла поступить иначе.

Глаза его оставались бесстрастными. И тем не менее она вдруг ощутила уверенность в том, что понимает его чувства, его желание дать ей пощечину.

— Это было излишне, — ответил он холодным тоном и проследовал дальше.

* * *

Было уже очень поздно, когда Риарден вошел в спальню жены. Та еще не спала. На столике возле кровати горела лампа.

Лилиан полулежала, подложив под спину подушки из бледно-зеленого полотна. На ней была пижама из бледно-зеленого атласа, которая сидела безукоризненно, как на манекене, и выглядела так, будто с нее не сорвали еще упаковочную бумагу. Свет из-под абажура цвета яблоневых лепестков падал на столик, на котором лежала книга, стоял бокал с фруктовым соком, блестели серебряные туалетные принадлежности, словно выложенные из чемоданчика хирурга инструменты. Руки ее отливали фарфором. Губы покрывал тонкий слой бледно-розовой

помады. Она не казалась утомленной после вечеринки — никаких признаков израсходованной жизни. Спальня являла собой пример созданной дизайнером декорации: дама отходит ко сну, и тревожить ее нельзя.

На Риардене все еще был вечерний костюм, но он ослабил галстук, а на лоб свисала прядь волос. Лилиан посмотрела на него без удивления, словно бы понимая, чего стоил ему последний проведенный в комнате час.

Он молча смотрел на жену. Риарден давно уже не заходил в ее комнату и теперь жалел о том, что сделал это.

— Генри, разве среди людей не принято говорить?

— Как хочешь.

— Мне бы хотелось, чтобы ты прислал с завода одного из своих блестящих специалистов, посмотреть на нашу топку. Ты не знаешь, что она погасла во время вечеринки, и Симонсу пришлось попотеть, прежде чем ему удалось снова запустить ее?.. Миссис Уэстон назвала кухарку нашим лучшим достижением — ей очень понравились закуски… Бальф Юбэнк сказал о тебе очень забавную вещь: он назвал тебя крестоносцем, у которого вместо плюмажа на шлеме

заводской дым… Мне приятно, что тебе не понравился Франсиско д'Анкония. Я терпеть его не могу.

Он не стал объяснять свое появление, маскировать поражение или признавать его, немедленно удалившись. Вдруг все, что думала она, о чем догадывалась, что ощущала, сделалось ему безразличным. Он подошел к окну и остановился, глядя наружу.

«Почему же она вышла за меня замуж?» — думал он. Он не задавал себе этот вопрос восемь лет назад, в день их бракосочетания. Но после, в муках одиночества, неоднократно пытался найти ответ на него. Ответа не было.

Дело было не в его положении или деньгах. Лилиан происходила из старинной семьи, не испытывавшей недостатка ни в том, ни в другом. Хотя семейство ее не принадлежало к числу самых блестящих и состояние его считалось умеренным, однако и того, и другого хватало, чтобы она могла вращаться в высших кругах нью-йоркского общества, где Риарден и познакомился с ней. Девять лет назад он объявился в Нью-Йорке подобно взрыву бомбы, в пламени успеха *«Риарден Стил»*, успеха, которого не допускали городские эксперты. Особое впечатление

производило его безразличие. Он не понимал, что от него ждали другого: что он попытается деньгами проложить себе путь в общество, — и уже предвкушали возможность отвергнуть его. У него не было времени замечать разочарование этой публики.

Без особого желания он посетил несколько общественных мероприятий, приглашенный людьми, искавшими его расположения. В отличие от них самих, он не понимал, что его любезная вежливость представляла собой снисходительность по отношению к людям, которые стремились посрамить его, к людям, утверждавшим, что век предприимчивости миновал.

В Лилиан его привлекла строгость — точнее, конфликт между ее строгостью и поведением. Риарден никогда и никого не любил и не ожидал, что его полюбят. Его увлек спектакль, поставленный этой женщиной, явно добивавшейся его, но с неохотой, якобы против собственной воли, словно бы сопротивляясь неприятному желанию. Именно она назначала их встречи, а потом обращалась с ним холодно, как бы не заботясь о том, как он к этому относится. Она говорила немного, и окутывавшее Лилиан облачко тайны словно подсказывало ему, что он никогда не сможет

взломать ее гордую отстраненность, преодолеть ее насмешку над их желаниями.

В жизни его было немного женщин. Он продвигался к своей цели, отбрасывая в сторону все, что не имело к ней отношения — как в окружающем мире, так и в себе самом. Его преданность собственному делу была подобна огню, с которым ему так часто приходилось иметь дело, огню, выжигавшему все примеси, всю грязь из раскаленной добела струи чистого металла. Он не был способен на половинчатые увлечения.

Однако иногда его внезапно охватывало желание, слишком бурное и страстное, чтобы от него можно было избавиться в случайной встрече. И нечасто, несколько раз за всю жизнь, он покорялся ему с женщинами, казавшимися ему симпатичными. И всякий раз оноставался один, ощущая гневную пустоту, потому что искал победы, пусть и неведомого ему рода, но получал только согласие женщин на мимолетное удовольствие, ясно понимая, что победы его лишены смысла. Он оставался один, ничего не добившись и только ощущая собственное падение. И он стал ненавидеть это желание. Он сопротивлялся ему. Он начал верить доктрине, утверждавшей, что желание это имеет исключительно физиче-

скую природу, что свойственно оно не сознанию, а материи, и в итоге взбунтовался против мысли о том, что плоть имеет право решать и что выбор ее выше воли ума. Жизнь его проходила в рудниках и на заводах, где материя подчинялась силе разума, и он находил нестерпимыми те ситуации, когда не мог подчинить себе собственную плоть. Он сражался с ней. Он одолел материю во всех битвах с неодушевленной природой, но в этой битве потерпел поражение.

Именно трудный путь к победе заставил его возжелать Лилиан. Она производила впечатление женщины, достойной пьедестала и ожидающей его; именно это и заставило Риардена почувствовать желание затащить ее в свою постель. «*Стащить ее вниз*» — такие слова звучали в его голове, они приносили ему темное удовольствие, чувство победы, за которую стоило сражаться.

Он не мог понять причины и усматривал в этом какой-то непристойный конфликт, признак тайной порочности, гнездящейся в недрах его собственной души, заставлявшей его в то же самое время ощущать великую гордость при мысли о том, что он удостоит эту женщину титула своей жены. Чувство это было торжественным и светлым; ему едва ли не казалось, что он стре-

мится почтить женщину своим стремлением обладать ею.

Лилиан соответствовала образу, неведомо для самого Риардена обитавшему в его душе и определявшему его поиски: он видел ее красоту, гордость и чистоту — все остальное было в нем самом. Тогда он не знал, что смотрит на свое отражение.

Он вспомнил тот день, когда Лилиан по собственной воле вдруг приехала из Нью-Йорка в его офис и попросила его провести ее по заводу. Он помнил ее негромкий голос, все более наполнявшийся восхищением по мере того, как она расспрашивал его о работе и обходила цеха. Он смотрел на ее изящную фигурку, вырисовывавшуюся на фоне вырывавшихся из печей языков пламени, слышал легкую и быструю поступь высоких каблучков, решительно ступавших рядом с ним среди россыпей шлака.

Выражение глаз Лилиан, с которым она наблюдала за разливкой стали, показалось ему похожим на его собственное. И когда она посмотрела ему в глаза, Риарден увидел в них собственный взгляд, но возведенный в степень, сделавшую ее беспомощной и молчаливой. В тот вечер, за ужином, он сделал ей предложение.

После свадьбы ему потребовалось некоторое время, чтобы признаться себе в том, что брак превратился в мучение. Он еще помнил ту ночь, когда признал это, когда приказал себе самому — стиснув до боли кулаки, стоя возле постели и глядя на Лилиан, — что он заслуживает эту пытку и вынесет ее. В ту ночь он стоял у кровати и смотрел на жену. Вены на его запястьях судорожно вздулись. Не глядя на него, Лилиан поправляла волосы.

— Могу ли я теперь лечь спать? — осведомилась она.

Она никогда не возражала; она никогда не отказывала ему ни в чем; она подчинялась всякому его желанию. Да, подчинялась, следуя правилу, которое временами как бы требовало от нее превратиться в неодушевленный предмет, находящийся в пользовании мужа.

Она не осуждала его, но просто дала понять, что считает вполне естественным наличие у мужчин порочных инстинктов, образующих тайную и уродливую часть брака. Она проявляла снисходительную терпимость. Она улыбалась с легким отвращением к интенсивности его желаний и эмоций.

— Это самый недостойный из известных мне

способов времяпрепровождения, — сказал она ему однажды, — однако я никогда не питала иллюзий в отношении мужчин, которые едва ли выше животных.

Желание владеть ее телом скончалось в нем еще в первую неделю брака. Осталась только потребность, с которой он не в силах был справиться. Риарден никогда не посещал публичных домов; и временами ему казалось, что не мог бы претерпеть там более горького унижения, чем то, которое был вынужден испытывать в спальне собственной жены.

Он часто заставал Лилиан за чтением. Она откладывала книгу в сторону, оставив в качестве закладки между страницами белую ленточку. И когда он лежал утомленный, с закрытыми глазами, неровно дыша, она уже включала свет, брала книгу и продолжала чтение.

Он говорил себе, что заслуживает это мучение, потому что всякий раз зарекался не прикасаться к ее телу и не мог исполнить своего решения. Он презирал себя за это. Он презирал эту необходимость, в которой не было теперь ни радости, ни смысла, которая превратилась в простейшую потребность в женском теле, анонимном теле, принадлежавшем женщине, которую ему при-

ходилось забывать, обнимая ее. Он постепенно уверился в том, что потребность его порочна.

Риарден не осуждал Лилиан. Он испытывал к ней нечто вроде сухого, безразличного уважения. Ненависть к собственному желанию заставила его поверить проповеди о том, что женщины чисты, а чистая женщина не способна получить физическое удовольствие.

Все мучительные годы своего брака он ни разу не обращался к одной только мысли — об измене. Он дал слово и сдержит его. Верность его не была отдана Лилиан — он просто хотел избавить ее от позора не как личность, но как свою жену.

И теперь, стоя возле окна, он размышлял об этом. Он не хотел входить в ее комнату. Он боролся с собой. И еще более отчаянно он гнал из памяти причину, делавшую его в тот день неспособным противостоять этому желанию. А потом, увидев Лилиан, он вдруг понял, что не прикоснется к ней. Причина, приведшая его в спальню жены, не позволяла почувствовать желание обладать ею.

Риарден стоял, освобождаясь от этого наваждения, ощущая вялое облегчение от нахлынувшего безразличия к собственному телу, к этой комнате, даже к своему присутствию в ней. Он отвернулся

от Лилиан, чтобы только не видеть ее отлакированного целомудрия. Он полагал, что ему надлежит испытывать уважение к ней, но на самом деле ощущал отвращение.

— …но доктор Притчетт сказал, что наша культура умирает, потому что наши университеты вынуждены пользоваться подачками упаковщиков мяса, сталелитейщиков и торговцев крупой.

«Зачем она вышла за меня?» — размышлял Риарден. Легкий и прохладный голос говорил: преследуя определенную цель. Она знала, зачем он пришел сюда. И превосходно представляла себе, какую реакцию вызовет, взяв серебряный маникюрный прибор и приступив под веселый разговор к полировке ногтей. Она говорила о закончившейся вечеринке и все же не упомянула ни Бертрама Скаддера, ни Дагни Таггерт.

Что искала она в их браке? Риарден ощущал присутствие некоей холодной и настоятельной цели, однако повода для осуждения у него не было. Лилиан никогда не пыталась использовать его в собственных целях. Она ничего не требовала от него. Престиж жены влиятельного предпринимателя ее не привлекал — она отвергала его, предпочитая кружок собственных друзей. Деньги ее не интересовали — тратила она мало и была

равнодушна к той роскоши, которую он мог бы позволить ей. У меня нет права осуждать ее, думал Риарден, как нет и права разрывать брачный союз. В браке она вела себя достойно — как подобает честной женщине. Лилиан не хотела от него ничего материального.

Отвернувшись от окна, он посмотрел на нее усталым взглядом.

— Когда ты в следующий раз будешь устраивать вечеринку, — проговорил он, — ограничивайся своим собственным кругом. И не приглашай тех, кого считаешь моими друзьями. Общение с ними не интересует меня.

Она рассмеялась, удивленная и довольная его словами:

— Я не виню тебя, дорогой.

И, ничего более не добавив, он вышел из комнаты.

«Что же все-таки она от меня хочет? — думал Риарден. — Какую цель преследует?» И во всей известной ему Вселенной не мог отыскать ответа.

ГЛАВА VII. ЭКСПЛУАТАТОРЫ И ЭКСПЛУАТИРУЕМЫЕ

Рельсы тянулись среди скал к нефтяным вышкам, упиравшимся в самое небо. Стоя на мосту, Дагни рассматривала гребень холма, на котором солнце высвечивало металлическое пятнышко наверху самой большой вышки. Оно походило на белый факел, зажженный над заснеженными гребнями *Уайэтт Ойл*.

К весне, подумала Дагни, колея сомкнется с той, что тянется навстречу ей от Шайенна. Она окинула взором иссиня-зеленые рельсы, спускавшиеся от вышек вниз, пересекавшие мост и уходившие к горизонту. Она повернула голову — проводить взглядом уходившую в прозрачную даль колею: та выписывала плавные дуги на горных склонах, и где-то там, на самой грани видимости заканчивалась краном путеукладчика, словно рука с оголенными костями и нервами, напряженно двигавшимся на фоне неба.

Мимо нее проехал трактор, нагруженный

сине-зелеными болтами. Снизу доносился грохот отбойных молотков: подвешенные на металлических тросах люди подгоняли каменную стену обрыва под контрфорсы моста. Вниз по колее рабочие укладывали шпалы. Стоя на мосту, она могла различить, как напряжены их мышцы.

— Руками, мисс Таггерт, — сказал ей подрядчик Бен Нили, — мужскими руками построено все на этой земле.

Подрядчика уровня Макнамары на свете более не существовало. И она обратилась к лучшему среди тех, кого смогла отыскать. Она не могла доверить надзор за сооружением линии работавшим на фирму Таггертов инженерам; все они скептически относились к новому металлу.

— Откровенно говоря, мисс Таггерт, — сказал ей главный инженер, — поскольку подобного эксперимента еще не проводилось, на мой взгляд, нечестно взваливать его на меня.

— Всю ответственность я беру на себя, — ответила она.

Человеку этому перевалило за сорок, но он все еще сохранял бойкие студенческие манеры. Некогда на «*Таггерт Трансконтинентал*» работал главным инженером молчаливый, седовласый

мужчина. Он был самоучкой, но равных ему не было ни на одной железной дороге. Пять лет назад он уволился.

Дагни посмотрела вниз. Она стояла на узкой балке, подвешенной над ущельем, прорезавшим горы на глубине полутора тысяч футов. Далеко внизу угадывались контуры высохшего речного русла, груды камней и деревья, изуродованные столетиями. Она спрашивала себя, достаточно ли мышц, камней и стволов, чтобы перекинуть мост через этот каньон. И неожиданно для самой себя подумала о том, что давным-давно на дне ущелья столетиями обитали пещерные люди, нагие и в шкурах.

Она посмотрела на нефтяные вышки Уайэтта. Железнодорожный путь расходился на множество веток, которые вели к скважинам. На фоне снега всюду выделялись стрелки. Это были металлические стрелки такого же типа, что тысячами разбросаны по всей стране, но эти сверкали на солнце свежим металлом, рассыпая сине-зеленые искры. Для нее эти отблески означали долгие часы уговоров, терпеливые попытки поразить не имеющую яблочка мишень, а именно мистера Моуэна, президента «*Объединенной стрелочно-семафорной компании*» из штата Коннектикут.

— Ах, мисс Таггерт, дорогая моя мисс Таггерт! Моя компания не первое поколение обслуживает ваш концерн, ваш дед был первым клиентом моего отца, и вы можете не сомневаться в нашем стремлении сделать для вас все возможное, но… кажется, вы попросили сделать стрелки из риарден-металла?

— Да.

— Но мисс Таггерт! Разве вы не представляете, *что* значит работать с этим металлом. Вам, конечно, известно, что он плавится при температуре не менее четырех тысяч градусов?.. Каково? Ну, быть может, с точки зрения производителей моторов, это и великолепно, но для меня этот металл означает новую печь, совершенно новый технологический процесс… Придется учить людей, ломать планы, писать новые инструкции, комкать все на свете, и после всего… дай-то Бог, чтобы все получилось как надо!.. Почему вы так уверены в успехе, мисс Таггерт? Как вы можете заранее утверждать это, раз никто и никогда еще не делал ничего подобного?.. Я не имею права полагать, что металл этот хорош, и не могу заранее допускать, что он плох… Ну нет, не надо говорить, что его создал гений, слишком уж многие видят в нем очередное мошенничество, слишком

уж многие, мисс Таггерт… Ну я-то не стану утверждать ни того, ни другого, кто я такой, чтобы судить об этом? Но я не могу рисковать, взявшись за такую работу.

Ей пришлось удвоить стоимость заказа. Риарден послал двух металлургов учить людей Моуэна, показать, объяснить каждый этап процесса. Он же платил им зарплату, пока они учились.

Дагни посмотрела на костыли, вогнанные в шпалы у ее ног. Они напомнили ей тот вечер, когда она услышала о том, что иллинойская компания «*Саммит Кастинг*», единственная соглашавшаяся делать костыли из риарденметалла, разорилась, не поставив и половину ее заказа. Она в ту же ночь улетела в Чикаго, вытащила из постелей троих адвокатов, судью и одного из законодателей, подкупила двоих из этой компании, припугнула остальных, получила бумагу — законное и не обжалуемое разрешение, — сняла замки с запертых дверей завода «*Саммит Кастинг*», и наскоро собранная полуодетая бригада встала у плавильных печей еще до того, как забрезжил рассвет. Бригада осталась работать под руководством инженера компании «*Таггерт*» и металлурга Риардена. Со-

оружение линии Рио-Норте не было задержано.

Дагни прислушалась к звуку буров. Один сбой в работе здесь все-таки был, когда остановилось бурение под опоры моста.

— Ничего не могу поделать, мисс Таггерт, — сказал ей тогда задетый Бен Нили. — Вам известно, как быстро изнашиваются буровые головки. Я заказал их, однако у «*Инкорпорейтед Тулз*» начались небольшие неприятности, и они не сумели ничего сделать, потому что «*Ассошиэйтед Стил*» запоздала с поставками стали, поэтому нам остается только ждать. И расстраиваться бесполезно, мисс Таггерт, я делаю все, что могу.

— Я наняла вас для того, чтобы вы выполнили конкретную работу, а не делали все, что можете, — в чем бы это ни выражалось.

— Забавная мысль. Только непопулярная, мисс Таггерт, ой как непопулярная.

— Забудем «*Инкорпорейтед Тулз*». Забудем о стали. Закажите головки буров из риарден-металла.

— Только не я. Мало мне бед с этим поганым металлом в ваших рельсах. Я не собираюсь учинять беспорядок в своей инструментальной кладовой.

— Буровая головка из риарден-металла прослужит в три раза дольше любой стальной.

— Возможно.

— Я сказала, закажите их.

— И кто будет оплачивать заказ?

— Я.

— А кто найдет мне изготовителя?

Она позвонила Риардену. Тот отыскал заброшенный инструментальный завод, давно уже бездействовавший, и за какой-то час выкупил его у родственников последнего владельца. Завод начал работу уже на следующий день, и буквально через неделю буровые головки из риарден-металла привезли в Колорадо — к мосту.

Дагни посмотрела на мост. Его едва ли можно было назвать удовлетворительным решением задачи, однако ей приходилось с этим мириться. Мост, двенадцать сотен футов стали, переброшенных через черную пропасть, был сооружен во времена сына Ната Таггерта. Он уже давно отслужил свой срок и был укреплен продольными балками из стали, железа и дерева; сам мост едва ли стоил этих заплат.

Подумывая о новом мосте, построенном из риарден-металла, Дагни попросила своего главного инженера представить ей проект и оценить стоимость работ.

Проект, который она получила, повторял

схему стального моста, скорректированную под бóльшую прочность нового материала; стоимость делала проект немыслимым.

— Прошу прощения, мисс Таггерт, — произнес главный инженер оскорбленным тоном. — Не понимаю, что вы хотите сказать, когда говорите, что я не воспользовался этим металлом. В моем проекте используются элементы лучших из известных ныне мостовых схем. Чего вы от меня ожидали?

— Нового метода сооружения.

— То есть?

— Я хочу сказать, что, когда люди получили в свое распоряжение конструкционную сталь, они воспользовались ею не для сооружения стальных копий деревянных мостов. — Дагни добавила усталым тоном:

— Сделайте оценку того, что понадобится нам, чтобы старый мост простоял еще пять лет.

— Да, мисс Таггерт, — проговорил он бодрым тоном. — Если мы усилим его стальными…

— Мы усилим его балками из риарден-металла.

— Да, мисс Таггерт, — прохладным тоном согласился главный инженер.

Она посмотрела на покрытые снегом горы. Там,

в Нью-Йорке, работа подчас казалась ей отчаянно трудной. Иногда она просто в безмолвии замирала посреди своего кабинета, парализованная отчаянием, рожденным жесткостью срока, который нельзя было отодвинуть ни на один день. Это были дни, когда неотложные деловые встречи сменяли друг друга; когда ей приходилось говорить о выработавших свой срок дизелях, прогнивших товарных вагонах, вышедшей из строя сигнализации, падении доходов, думая при этом о последних событиях на строительстве линии Рио-Норте; когда в ходе переговоров она видела только две полоски иссиня-зеленого металла, протянувшиеся через ее разум; когда, прервав очередное обсуждение, она вдруг понимала, почему ее смутила та или иная весть, и хватала телефонную трубку, чтобы вызвать в далеком городе своего подрядчика и спросить у него: «А у кого вы берете продовольствие для своих людей?.. Так я и думала. Вот что, фирма *“Бартон и Джонс”* из Денвера вчера была объявлена банкротом. Лучше отыщите себе другого поставщика, иначе вам грозит голод». Свою линию она строила, не поднимаясь из-за рабочего стола в Нью-Йорке. И это было трудно. Но теперь колея была перед ней. Колея росла. И сооружение ее

должно было завершиться в срок.

Услышав резкие, торопливые шаги она повернулась. Вдоль колеи к ней приближался мужчина, высокий, молодой, его черные волосы шевелил холодный ветер; несмотря на рабочую кожаную куртку, он не был похож на путейца — слишком уж властной была его походка. Она разглядела его лицо, только когда он приблизился к ней. Это был Эллис Уайэтт. Дагни еще не видела его после той встречи в ее кабинете.

Остановившись перед ней, он улыбнулся.

— Привет, Дагни.

Дагни почувствовала невероятное облегчение, а вместе с ним прилив сил, она поняла все, что должны были сказать ей эти два слова. В них звучало прощение, понимание, признание. Это было приветствие равного.

Она по-детски рассмеялась, радуясь тому, что проблем сразу стало меньше.

— Привет, — ответила она, подавая руку.

Рука его задержала в себе ее ладонь чуть дольше, чем того требовало приличие. Рукопожатие это было знаком примирения, спора разрешенного и улаженного.

— Скажите Нили, чтобы поставил новую снегозащитную ограду на полторы мили у перевала

Гранада, — проговорил он. — Старая сгнила. Она не выдержит еще одного снегопада. И пошлите ему роторный снегоуборщик. У него там какая-то рухлядь, которой не под силу очистить даже задний двор. Сейчас в любой день можно ждать обильного снега.

Она задумчиво посмотрела на него и спросила:

— И часто вы делаете это?

— Что?

— Приходите проинспектировать работу.

— При любой возможности. Когда нахожу время. Почему бы и нет?

— А вы были здесь в ту ночь, когда случился обвал?

— Да.

— Получив отчеты, я была удивлена тем, насколько быстро и уверенно они расчистили колею. Я даже подумала, что Нили — человек более умелый, чем кажется.

— Это не так.

— Значит, это вы организовали систему ежедневного снабжения его всем необходимым на линии?

— Конечно. Его люди по полдня искали нужные им вещи. И скажите ему, чтобы следил за баками с водой. В одну из ближайших ночей они обя-

зательно замерзнут. И постарайтесь прислать новый канавокопатель. Тот, что есть у него, мне не нравится. Проверьте тросы.

Поглядев на него, Дагни сказала:

— Спасибо, Эллис.

Ответив ей улыбкой, он отправился дальше. Дагни проводила его взглядом до конца моста, где начинался длинный подъем к вышкам.

— Ну, этот, видно, решил, что все вокруг принадлежит ему, не правда ли?

Она резко повернулась. За спиной ее оказался Бен Нили, большой палец его указывал на Эллиса Уайэтта.

— Что *все*?

— Железная дорога, мисс Таггерт. Ваша железная дорога. А может, и весь мир. Так он, кажется, думает.

Бен Нили был человеком грузным, с обмякшего лица смотрели пустые, но упрямые глаза. В синих отсветах снега кожа его отливала желтизной.

— Чего ради он торчит здесь? — спросил Нили. — Будто кроме него никто своего дела не знает. Надменный выскочка. За кого он себя принимает?

— Идите к черту, — ответила Дагни ровным тоном.

Нили так и не понял, что именно заставило ее выругаться. И все же где-то в глубине души он, как ему казалось, понимал причину: ее возмутило то, что он отнесся к появлению этого самозванца слишком спокойно. И Нили просто промолчал.

— Пойдемте в вашу контору, — проговорила она смертельно усталым голосом, указав на видневшийся вдали на гребне отрога старый железнодорожный вагончик. — Пусть кто-нибудь принесет отчет.

— Кстати, насчет этих шпал, мисс Таггерт, — торопливо заговорил он, едва они сошли с места. — Ваш мистер Коулман одобрил их. Ему не показалось, что коры слишком много. И я не понимаю, почему вы считаете, что они…

— Я приказала вам заменить их.

Выйдя из вагончика через два часа, Дагни чувствовала себя смертельно усталой. Все это время она терпеливо объясняла, наставляла, отдавала распоряжения. На разбитой грунтовой дороге она увидела черный двухместный автомобиль, сверкающий новизной. Вид новой машины являл собой зрелище удивительное, какое нечасто можно было увидеть даже в городах.

Хорошенько оглядевшись вокруг, Дагни охну-

ла, заметив возле моста рослый силуэт. Это был Хэнк Риарден. Она не рассчитывала встретить его в Колорадо. Держа в руках карандаш и блокнот, он углубился в вычисления. Одежда его привлекала внимание не меньше, чем автомобиль, и по той же самой причине: на нем был спортивный плащ и шляпа с опущенными полями, но они были такого отменного качества и такие запредельно дорогие, что казались нарочитыми среди убогой толпы работяг, тем более что держался он совершенно естественно.

Дагни вдруг заметила, что бежит к нему; ее усталость как ветром сдуло. Вспомнив, что после той вечеринки они еще не виделись, она остановилась.

Увидев Дагни, Риарден приветствовал ее жестом, полным приятного удивления, и пошел навстречу. Он улыбался.

— Привет, — проговорил он. — Впервые выбрались посмотреть?

— В пятый раз за три месяца.

— А я и не знал, что вы здесь. Мне никто не говорил.

— Я знала, что однажды вы не выдержите.

— То есть?

— Приедете, чтобы посмотреть на свой металл.

И как вам нравится?

Риарден огляделся по сторонам:

— Если вам когда-нибудь надоест возиться с железной дорогой, дайте мне знать.

— Вы хотите дать мне работу?

— В любой момент.

Дагни посмотрела на него.

— Хэнк, вы ведь шутите только наполовину. И, думаю, вы были бы рады, если бы я попросилась к вам на работу. Чтобы я стала вашим сотрудником, а не клиентом. Чтобы вы отдавали мне приказы, а я выполняла их.

— Да. Готов к этому.

— Не закрывайте свой завод, я вам места на железной дороге обещать не стану, — строго и даже сухо ответила она.

Он рассмеялся:

— Даже и не пытайтесь.

— Не понимаю.

— Выторговывать себе что-то, когда условия называю я.

Дагни не ответила. Эти слова вызвали в ней чувство… нет, скорее, даже не чувство, а физическое ощущение удовольствия, которого она не могла толком понять и истолковать.

— Кстати, — добавил Риарден, — это не первая

моя поездка. Я был здесь вчера.

— Правда? Зачем?

— О, я приехал в Колорадо по своим делам и решил заодно посмотреть, что здесь происходит.

— Ну и как, цель достигнута?

— А почему вы решили, что *здесь* у меня есть какая-то цель?

— Вы не стали бы тратить время попусту, чтобы *просто* посмотреть. Тем более дважды.

Риарден рассмеялся и показал на мост:

— Вы правы. Меня интересует этот объект.

— И чем же?

— Его можно хоть сейчас отправлять на свалку.

— Вы думаете, мне это неизвестно?

— Я просмотрел спецификацию вашего заказа на детали из моего металла для этого моста. Вы попусту тратите деньги. Разница между вашими затратами на продление существования этой рухляди, которая протянет всего пару лет, и стоимостью нового моста из риарден-металла настолько невелика, что я просто не понимаю, зачем вам нужен этот музейный экспонат.

— Я думала о новом мосте из вашего металла и попросила своих инженеров провести оценку.

— И какую же цифру они назвали?

— Два миллиона долларов.

— Великий боже!

— А что скажете вы?

— Восемьсот тысяч.

Дагни пристально посмотрела на Риардена. Ей было известно, что слов на ветер он не бросает. И она спросила, стараясь сохранить спокойствие в голосе:

— Но как это может быть правдой?

— Вот так.

Он показал ей свой блокнот. Дагни увидела несколько не связанных друг с другом записей, множество цифр, несколько грубых набросков. Замысел его она поняла еще до того, как Риарден закончил объяснять. Она не заметила, как они сели, что пристроились на груде мерзлых досок, что ноги ее касаются ледяной шершавой древесины и холод проникает через тонкие чулки. Риарден держал в руках несколько листков, которые могли позволить перебрасывать тысячи тонн груза через черную пропасть. Ясным четким голосом он рассказывал о векторах приложения усилий, напряжениях, нагрузках и давлении ветра. Мост должен был представлять собой единое строение с пролетом в двенадцать сотен футов. Риарден изобрел новый тип мостовой фермы.

Подобных прежде не делали, да и не могли делать из материала, не обладающего прочностью и легкостью риарден — металла.

— Хэнк, — спросила она, — вы придумали все это за два дня?

— Нет, конечно… Эта идея зацепила меня задолго до того, как я получил риарден-металл. Я сделал расчет, когда изготовлял сталь для мостов. Мне хотелось иметь металл, из которого, среди прочего, можно сделать подобную конструкцию. Я приехал сюда исключительно для того, чтобы увидеть вашу проблему собственными глазами.

Он усмехнулся, заметив неторопливое движение ее руки, прикоснувшейся к глазам, и горькую складку губ, словно бы пытавшихся изгнать из памяти то, против чего она вела столь утомительную и безрадостную борьбу.

— Это всего лишь грубая схема, — проговорил Риарден, — но, полагаю, вы видите, что она вполне реальна?

— Даже не могу пересказать вам все, что вижу здесь, Хэнк.

— Не утруждайте себя. Я это знаю.

— Вы во второй раз спасаете «*Таггерт Трансконтинентал*».

— Раньше вы были лучшим психологом.

— Что вы хотите этим сказать?

— Зачем мне утруждать себя спасением «*Таггерт Трансконтинентал*»? Разве вы не понимаете, что мост из риарден-металла нужен мне для демонстрации его преимуществ всей стране?

— Да, Хэнк. Я понимаю это.

— Слишком много всякой публики вопит сейчас о том, что рельсы из моего металла нельзя назвать безопасными. И поэтому я решил предоставить им более заметный предмет для нападок. Пусть посмотрят на мост из риарден-металла.

Взглянув на него, Дагни рассмеялась, охваченная почти детским восторгом.

— А это еще что такое? — поинтересовался он.

— Хэнк, я не знаю никого на свете, кто в подобных обстоятельствах таким вот образом ответил бы общественному мнению — кроме вас.

— А как *вы* отнесетесь к подобной перспективе? Хотите ли вы встать под удар вместе со мной и выслушать в свой адрес, как они завопят?

— Вы прекрасно знаете, что я согласна.

— Да. Я знаю.

Риарден посмотрел на Дагни, прищурив глаза; в отличие от нее, он не смеялся, но взгляд его был полон веселья.

Дагни вдруг вспомнила их последнюю встре-

чу на вечеринке у него дома. Воспоминание казалось немыслимым. Их непринужденное общение — странное легкомысленное чувство, что более понятных и простых людей, чем они сами, другу для друга, им просто не найти — делало невозможным любую враждебность. Тем не менее Дагни не могла забыть о том, что вечеринка эта все-таки была. Риарден же вел себя так, словно ее не было.

Они подошли к краю каньона и вместе посмотрели на темный обрыв, на высящуюся за ним скалу и на солнце, освещавшее верхушки вышек «*Уайэтт Ойл*». Дагни остановилась, расставив ноги на мерзлых камнях, стараясь не поддаться ветру. Не прикасаясь к Риардену, она чувствовала за своим плечом его надежное присутствие. Ветер хлестал полами ее пальто по его ногам.

— Хэнк, а мы сумеем построить мост вовремя? Осталось всего шесть месяцев.

— Конечно. На постройку уйдет меньше времени и труда, чем на сооружение моста любой другой конструкции. Позвольте моим инженерам разработать базовую схему. Они передадут ее вам без всяких обязательств с вашей стороны. Просто внимательно просмотрите материалы и решите, в состоянии ли вы позволить себе

это строительство. Оно будет вам по карману. А потом пусть ваши мальчики с дипломами рассчитают детали.

— А как насчет металла?

— Я буду прокатывать для вас столько, сколько потребуется, даже если придется отказаться от всех прочих заказов.

— И вы начнете прокат при столь малом сроке на подготовку?

— Разве я когда-нибудь не выполнял ваш заказ?

— Нет. Но, учитывая нынешнее состояние дел, вы можете оказаться не в состоянии выполнить свои обязательства.

— С кем, по-вашему, вы говорите — с Орреном Бойлем?

Дагни рассмеялась.

— Ну хорошо. Пришлите мне свои чертежи сразу, как только они будут готовы. Я просмотрю предварительный проект и дам ответ через сорок восемь часов. Что касается моих ученых мальчиков, они… — Дагни нахмурилась. — Хэнк, почему сейчас так трудно найти хорошего работника на любую должность?

— Не знаю… — Риарден посмотрел на контур горных вершин, вырисовывавшихся на фоне

неба. Над далекой долиной поднималась в небо струйка дыма.

— Вы видели новые города и заводы Колорадо? — спросил он.

— Да.

— А здорово, не правда ли, смотреть на работу тех людей, что собрались там со всех уголков страны? Молодых, начинавших с нуля и способных сдвинуть горы.

— И какую же гору собрались сдвинуть вы?

— Почему вы так решили?

— Что вы делали в Колорадо?

Риарден улыбнулся:

— Осматривал рудники.

— Какие же?

— Медные.

— Великий Боже, разве у вас мало других дел?

— Я знаю, что дело сложное. Однако поставки меди сделались совершенно ненадежными. В этой области бизнеса в нашей стране, похоже, не осталось ни одной первоклассной компании, а я не хочу иметь дело с «*Д'Анкония Коппер*». Не доверяю я этому плейбою.

— В этом вас трудно обвинить, — проговорила Дагни, отвернувшись.

— Посему, раз на свете не осталось надежного

поставщика, мне придется добывать собственную медь, так же как я уже добываю свою железную руду. Я не могу позволить себе рисковать при всех нынешних случайностях и дефицитах. Для производства риарден-металла требуется много меди.

— И вы уже купили рудник?

— Пока еще нет. Осталось решить несколько проблем, связанных с персоналом, оборудованием и перевозками.

— Ого!.. — усмехнулась она. — Намереваетесь предложить мне построить ветку?

— Вполне вероятно. В этом штате не видно предела возможностям. Вам известно, что он располагает всеми существующими разновидностями природных ресурсов, в неприкосновенности дожидающимися своего часа? А как здесь растут заводы! Приезжая сюда, я становлюсь на десяток лет моложе.

— А я нет, — Дагни посмотрела на восток мимо гор. — Мне сразу приходит в голову контраст со всеми прочими линиями нашей фирмы. С каждым годом становится все меньше товара, общий объем перевозок постоянно падает. Как будто бы… Хэнк, что случилось с нашей страной?

— Не знаю.

— А я все думаю о том, что нам говорили в школе о Солнце — о том, что оно теряет энергию, становясь с каждым годом все холоднее. Помню, как я размышляла тогда, каково придется людям в последние дни мира. Мне кажется, все будет как сейчас… холод вокруг, и все останавливается.

— Я никогда не верил в это. Мне казалось, что, когда Солнце погаснет, люди найдут ему замену.

— В самом деле? Забавно. Мне тоже приходила в голову подобная мысль.

Риарден указал на струйку дыма:

— Вот ваш новый восход. И он должен прокормить все остальное.

— Если только его не остановят.

— И вы считаете это возможным?

Дагни посмотрела под ноги, на рельсы, и произнесла:

— Нет.

Риарден улыбнулся. Он тоже посмотрел на рельсы, потом взгляд его переместился вдоль колеи к склонам гор, к далекому крану путеукладчика. И на мгновение в поле ее зрения не осталось ничего, кроме двух вещей: очертаний его профиля и иссиня-зеленой нитки, протянутой сквозь пространство.

— Мы сделали это, не так ли? — проговорил он.

Мгновение это стоило всех стараний, всех бессонных ночей, всех беззвучных сражений с отчаянием; она не хотела ничего другого.

— Да. Сделали.

Дагни отвернулась, заметила на ветке старый кран и решила, что тросы его износились и требуют замены: такова великая ясность мысли, дарованная выходом за пределы всякого чувства после такой награды, когда испытаешь все, что можно пережить. *Наше* достижение, подумала она, *наше* признание его — разве существует на свете бóльшая близость? И теперь она могла возвратиться к самым простым и обыкновенным потребностям, ибо все, на что ложился теперь ее взгляд, было исполнено глубокого смысла.

Дагни попыталась понять, почему она так уверена в том, что Риарден полностью разделяет ее чувства. Резко повернувшись, он направился к своей машине. Она последовала за ним. Они не смотрели друг на друга.

— Через час мне надо уезжать на Восток, — проговорил он.

Дагни указала на автомобиль:

— Где вы его взяли?

— Здесь. Это «хэммонд». Только завод Хэммонда

в Колорадо еще делает хорошие машины. Я приобрел его в этой поездке.

— Прекрасная работа.

— Да, конечно.

— Поедете на нем до Нью-Йорка?

— Нет. Распоряжусь, чтобы отправили следом. Я прилетел сюда на своем самолете.

— О, в самом деле? А я ехала из Шайенна — надо было посмотреть линию, — но мне необходимо быстрее попасть домой. Возьмете меня с собой? Можно я полечу с вами?

Риарден ответил не сразу. Дагни отметила это.

— Увы, — проговорил он, наконец, и Дагни подумала, не пригрезилась ли ей грубоватая нотка в его голосе. — Я лечу не в Нью-Йорк. Мой путь лежит в Миннесоту.

— Ну ладно, тогда полечу на рейсовом, если сегодня есть рейс.

Она проводила взглядом его машину, исчезнувшую за крутым поворотом дороги. Час спустя она подъехала к аэропорту. Небольшое поле располагалось внутри разрыва унылой цепочки холмов. Жесткую неровную землю покрывали лоскутья снега. В одном конце поля высился столб маяка, провода от него свисали на землю; прочие столбы были повалены бурей.

Навстречу ей вышел одинокий дежурный.

— Нет, мисс Таггерт, — проговорил он полным сожаления голосом, — самолет будет только послезавтра. На этой линии компании «*Трансконтинентал*» самолеты летают через день, и тот, который должен был прилететь сегодня, остался в Аризоне. Как обычно, что-то с двигателем.

Он добавил:

— Как жаль, что вы опоздали. Буквально несколько минут назад мистер Риарден вылетел в Нью-Йорк на своем собственном самолете.

— Но ведь он не собирался лететь в Нью-Йорк?

— Мне он сказал так.

— Вы в этом уверены?

— Он сказал, что у него на сегодня назначена там деловая встреча.

Обратившись к востоку, Дагни поглядела на небо пустыми глазами, не понимая причин такого поступка, не умея ни осудить, ни принять его, теряя последнюю опору.

* * *

— К черту эти улицы! — проговорил Джеймс Таггерт. — Все равно опоздаем.

Дагни посмотрела вперед, поверх плеча шофера. Сквозь лобовое стекло, очищаемое «дворни-

ками», она видела застывшую цепочку черных блестящих крыш старых автомобилей. Далеко впереди неподвижный красный глазок фонаря, подвешенного невысоко над землей, оповещал о земляных работах.

— На каждой улице что-нибудь не так, — раздраженным тоном буркнул Таггерт. — Копать здесь вздумали! Почему никто ничего не делает вовремя?

Откинувшись на сиденье, Дагни поплотнее закуталась в накидку.

Она чувствовала усталость рабочего дня, который начался в ее кабинете в семь часов утра, и конец которого ей пришлось скомкать, не закончив всех дел, чтобы помчаться домой и переодеться, так как она дала согласие Джиму выступить на ужине Нью-Йоркского бизнес-совета.

— Они хотят, чтобы мы рассказали им о риарден-металле, — сказал он. — И ты сделаешь это лучше меня. Мы должны выглядеть внушительно. Ведь по поводу этого заменителя традиционной стали идет столько споров.

Сидя рядом с братом в его машине, Дагни жалела о том, что согласилась. Скользя взглядом по улицам Нью-Йорка, она думала о гонке меж-

ду металлом и временем, о состязании между рельсами Рио-Норте и пролетающими днями. Ей казалось, что царящий в автомобиле покой до предела напрягает ее нервы, предвещая безвозвратную потерю целого вечера в то время, когда она не имела права потратить впустую даже час.

— При всех нынешних атаках на Риардена, — продолжил Таггерт, — ему могут потребоваться друзья.

Дагни недоверчиво посмотрела на брата.

— Ты хочешь сказать, что поддержишь его?

Вместо ответа Джим вялым тоном спросил:

— А что ты думаешь об отчете, представленном спецкомитетом Национального совета металлопромышленников?

— Ты знаешь, *что* я о нем думаю.

— Они утверждают, что риарден-металл представляет собой угрозу общественной безопасности. Они говорят, что химический состав его ничем не обоснован, что металл этот хрупок, подвержен молекулярному разрушению, что он будет растрескиваться без предварительных признаков… — Таггерт умолк, как бы ожидая ответа. Дагни молчала, и он встревоженным тоном спросил:

— Ты не передумала, а?

— Относительно чего?

— Относительно этого металла.

— Нет, Джим, не передумала.

— Но ведь там… в комитете этом… знатоки, специалисты своего дела… эксперты высшего класса… Главные металлурги крупнейших корпораций, обладатели университетских дипломов со всех концов страны… — проговорил он несчастным тоном, словно бы умоляя сестру дать ему доказательства своего права отрицать приговор этих людей.

Дагни посмотрела на брата с недоумением: такое поведение было ему не свойственно.

Дернувшись, машина поползла вперед. Медленно въехав в брешь дощатого забора, она миновала котлован с лопнувшей водопроводной трубой. Возле котлована сложены были новые трубы. Дагни заметила на них торговую марку: «*Литейный завод Стоктон*», Колорадо. Она отвернулась; ей не хотелось, чтобы хоть что-то напоминало ей о Колорадо.

— Ничего не могу понять… — пожаловался Таггерт. — Лучшие специалисты Национального совета металлопромышленников…

— А кто, Джим, является его президентом? Оррен Бойль, не так ли?

Таггерт не повернулся к ней, однако челюсть его отвисла.

— Если этот жирный тупица считает, что ему можно… — начал он, но оборвал фразу.

Дагни посмотрела на висевший на углу фонарь. Это был шар, наполненный светом. Не покоряясь непогоде, он освещал заколоченные окна и щербатые тротуары как единственный их хранитель. В конце улицы, за рекой, на фоне огней фабрики угадывались очертания электростанции. Мимо проехал тяжелый грузовик, закрывший собой весь обзор. Такие грузовики развозили топливо. На ярком зеленом боку свежеокрашенной цистерны, невзирая на слякоть, блестели белые буквы: «*“Уайэтт Ойл”*, Колорадо».

— Дагни, ты слышала о дискуссии, которая состоялась на собрании Союза рабочих сталелитейных заводов в Детройте?

— Нет. И о чем они спорили?

— Все было в газетах. Там говорили о том, можно ли разрешать членам профсоюза работать с риарден-металлом. Решение принято не было, однако самого обсуждения уже хватит для подрядчика, пожелавшего рискнуть… о, он немедленно отменит заказ!.. Но что если… что если все выступят против риарден-металла?

— Пусть себе возражают.

Светлая точка поднималась по прямой линии к верхушке невидимой башни. Это работал лифт огромного отеля. Мимо здания на боковую улицу проехал легковой автомобиль. Бригада рабочих сгружала тяжелый ящик с грузовика в открытую дверь подвала. Дагни прочла на ящике: *«“Нильсен Моторс”*, Колорадо».

— Потом, мне не нравится резолюция, которую приняло собрание школьных учителей Нью-Мексико, — продолжил Таггерт.

— Какая резолюция?

— Они решили, что не следует позволять детям ездить по новой линии Рио-Норте компании «*Таггерт Трансконтинентал*» после завершения ее постройки, поскольку это небезопасно… Так и подчеркнули, новой линии «*Таггерт Трансконтинентал*». Это напечатали во всех газетах. Жуткая реклама для нас… Дагни, чем, по-твоему, нам нужно ответить?

— Пуском первого поезда по новой линии Рио-Норте.

Таггерт надолго погрузился в молчание. Он выглядел очень подавленным.

Дагни не могла поверить себе: он не пытался осмеять ее, он не выставлял против нее мнения

своих любимых авторитетов, он словно бы просил утешения.

Мимо промелькнул легковой автомобиль. За короткое мгновение Дагни успела оценить его мощь, плавность и уверенность хода, великолепный дизайн. Ей было известно, кто производит подобные машины: «*Хэммонд Кар Компани*», Колорадо.

— Дагни, а мы… а мы действительно построим эту линию… вовремя?

Ей было странно слышать голос Джеймса полным столь обыкновенного чувства, простейшего животного страха.

— Если уж мы не сумеем помочь этому городу, тогда да поможет ему Господь! — ответила она.

Машина обогнула угол. Над черными крышами маячила страница календаря, освещенного белым светом прожектора. На ней значилось: 29 января.

— Дэн Конвей оказался сукиным сыном!

Слова эти вырвались у Таггерта внезапно, словно он более не мог сдерживаться.

Она с возмущением посмотрела на брата:

— С чего это ты так решил?

— Он отказался продать нам ветку «*Феникс-Дуранго*» в Колорадо.

— Надеюсь… — Ей пришлось остановиться и начать снова, стараясь не сорваться на крик. — Надеюсь, *ты* не обращался к нему с этим предложением?

— Конечно, обращался!

— Неужели ты ожидал, что он… продаст ее… *тебе*?

— А почему нет? — истерическая и задиристая манера вернулась к Таггерту. — Я предложил ему больше, чем мог бы предложить кто-то другой. Нам не нужно было бы тогда разбирать и перевозить ее, мы могли бы воспользоваться ею на месте. И какая бы получилась реклама — с учетом общественного мнения мы отказываемся от колеи из риарден-металла. Его ветка оправдала бы себя до последнего цента! Но этот сукин сын отказался. Он даже заявил, что не продаст *«Таггерт Трансконтинентал»* и фута собственных рельсов. А сейчас он распродает их по частям любому желающему, вплоть до конок в Арканзасе и Северной Дакоте, продает с ущербом для себя, и это с учетом того, что я предлагал ему, сукину сыну! Даже не хочет заработать! И видела бы ты, как слетаются к нему эти коршуны! Они-то знают, что нигде больше рельсов не найдешь!

Дагни склонила голову на грудь. Она не могла

даже смотреть в сторону брата.

— По-моему, это противоречит *Правилу против хищнической конкуренции*, — раздраженным тоном проговорил Таггерт. — Насколько я помню, Национальный железнодорожный альянс в первую очередь намеревался защитить своих основных членов, а не мелких ершей из Северной Дакоты. Но у меня нет возможности заставить альянс провести голосование на эту тему, потому что все члены его сейчас замешаны в эту историю и вырывают рельсы друг у друга!

Дагни медленно выдавила из себя, сожалея, что на ней нет перчаток и она может испачкаться этими словами:

— Теперь мне понятно… почему тебе понадобилось… чтобы я выступала… в защиту риарден-металла.

— Вот уж не знал, что ты такая…

— Заткнись, Джим, — спокойно проговорила она.

Какое-то мгновение Таггерт молчал. А потом откинулся на спинку сиденья и недовольным тоном пробурчал:

— И постарайся выступить поубедительнее, потому что Бертрам Скаддер может проявить крайний скепсис.

— Бертрам Скаддер?

— Он будет сегодня среди выступающих.

— Среди выступающих… Ты не говорил мне, что будут другие ораторы.

— Ну… я… Какая тебе разница? Ты ведь не боишься его, так ведь?

— Нью-Йоркский бизнес-совет! И вы приглашаете *Бертрама Скаддера*?

— А почему нет? По-моему, неплохая идея. Он не испытывает никакой неприязни к бизнесменам. Потом, он принял наше приглашение. Нам следует проявить широту взглядов, заслушать все мнения и, быть может, перетянуть его на свою сторону… На что это ты уставилась? Ты ведь сумеешь победить его в споре, правда?

— …победить его в споре?

— В прямом эфире. Будет радиопередача. Ты будешь дискутировать с ним на тему «Является ли металл Риардена смертоносным продуктом жадности?»

Наклонившись вперед, Дагни опустила стеклянную перегородку, отделявшую ее от шофера, и приказала:

— Остановите машину!

Она не слышала слов Таггерта. Откуда-то издали до нее доносились его вопли.

— Нас ждут!.. На ужине будут присутствовать пятьсот человек и вся национальная верхушка!.. Ты не можешь обойтись со мной таким образом!

Наконец он схватил ее за руку и выкрикнул:

— Но почему???

— Идиот несчастный, неужели ты действительно думаешь, что этот вопрос можно решить голосованием?

Автомобиль остановился. Дагни выскочила из него и побежала.

Несколько успокоившись, она первым делом обратила внимание на свою обувь. Она шла спокойно и неторопливо, чувствуя холод тротуара под каблучками черных атласных босоножек. Дагни откинула волосы со лба, на ладони остались таять хлопья снега.

Теперь, когда слепящий гнев оставил ее, Дагни не ощущала ничего, кроме гнетущей усталости. У нее чуть побаливала голова; она почувствовала голод и вспомнила, что собиралась отужинать на бизнес-совете. Не останавливаясь, она подумала, что есть все-таки не стоит, и решила выпить где-нибудь чашечку кофе, а потом отправиться домой на такси.

Дагни огляделась. Ни одного кеба поблизости видно не было. Она не представляла себе, где на-

ходится. Район вообще не производил хорошего впечатления. На противоположной стороне улицы зияла широкая щель между домами; в окнах обшарпанных домов светились редкие огоньки, несколько маленьких грязных лавчонок были уже закрыты на ночь, в двух кварталах от нее наползал туман от Ист-ривер.

Дагни повернула к центру города. Впереди маячил черный скелет здания. Некогда в нем размещались конторы; теперь же сквозь обнажившиеся стальные конструкции и углы раскрошившейся кирпичной кладки просвечивало небо. В тени остова, подобно пробивающейся к небу травинке у подножия мертвой скалы, оказалась небольшая закусочная. Чистые окна ее были ярко освещены. Она вошла.

Внутри был свежевытертый прилавок, опоясанный полоской хрома. На нем стоял полированный титан, пахло кофе. За прилавком сидели несколько бродяг, позади него орудовал пожилой здоровяк, рукава его безукоризненно белой рубашки были закатаны выше локтя. Волна теплого воздуха заставила Дагни понять, как же она замерзла. Поплотнее закутавшись в черную бархатную накидку, она села на высокий стул.

— Пожалуйста, чашку кофе, — попросила она.

Окружающие смотрели на нее безо всякого любопытства. Появление в грошовой забегаловке женщины в вечернем платье их не удивило; впрочем, теперь никто ничему не удивлялся. Хозяин закусочной принялся невозмутимо выполнять ее заказ. В безразличной манере его, впрочем, проявлялась своего рода деликатность, не позволяющая ему задавать вопросы.

Дагни не могла определить, работают или перебиваются подаянием четверо сидевших возле нее людей: ни их одежда, ни манеры не обнаруживали в эти дни никаких различий. Хозяин поставил перед ней кружку кофе. Дагни обхватила ее ладонями, радуясь теплу.

Оглядевшись по сторонам, она по профессиональной привычке прикинула, сколько можно купить в этом заведении на 10 центов, и порадовалась своим выводам.

Взгляд ее перебрался от блестевшего нержавейкой бака кофеварки к литой сковороде, к стеклянным полкам, к эмалированной раковине, к хромированным лопастям миксера. Хозяин занялся приготовлением тостов. Дагни с удовольствием проводила взглядом цепочку ломтиков хлеба, медленно ползущих по узкому конвейеру мимо раскаленных нагревателей.

А потом она заметила название, вытесненное на тостере: «*Марш Электрик*», Колорадо».

И в бессилии уронила голову на лежавшую на прилавке руку.

— Бесполезно, мадам, — буркнул сидевший возле нее старикашка.

Ей пришлось поднять голову, улыбнуться — ему и самой себе.

— В самом деле? — спросила Дагни.

— В самом деле. Забудьте об этом. Не надо обманывать себя.

— В чем?

— В том, что цена всему больше гроша. Кругом, дамочка, только грязь да кровь. Не верьте тем мечтам, которыми вас накачивают под завязку, и вам не будет больно.

— Каким мечтам?

— Тем сказкам, которыми нас пичкают в молодости, — о человеке, о духе. В людях нет никакого духа. Человек — это просто низменное животное, без интеллекта, души, добродетелей и моральных ценностей. Животное, наделенное двумя способностями — жрать и размножаться.

Его исхудавшее лицо с тонкими чертами и широко раскрытыми глазами все еще хранило следы прежнего достоинства. Он был похож на про-

поведника или профессора эстетики, который провел долгие годы в пыльном заштатном музее. Интересно, что могло погубить этого человека, какая ошибка на пути могла довести его до такого состояния…

— Человек вступает в жизнь, ища в ней красоту, величие, возвышенные свершения, — продолжил он. — И что же он находит? Уйму хитроумных машин для производства автомобильной обивки или пружинных матрасов.

— Чем тебе не угодили пружинные матрасы? — спросил мужчина, похожий на водителя грузовика. — Не обращайте на него внимания, мэм. Он любит поговорить, чтобы послушать себя самого. И ничего плохого не сделает.

— Человек наделен одним-единственным талантом — низменным хитроумием, расходуемым на удовлетворение потребностей, — проговорил старик. — Для этого никакого интеллекта не надо. Не надо верить всем россказням о разуме человека, о его душе, его идеалах, безграничном честолюбии.

— А я и не верю, — проговорил молодой парень с крупным ртом, сидевший в углу, у стойки. Пальто его было разорвано на плече, а горечи в изломе губ хватило бы на целую длинную жизнь.

— И что такое душа? — продолжил старик. — Разве наделен духом производственный процесс или акт размножения? Но ничем другим человек не интересуется. Материальное — вот все, что известно человеку, все, что заботит его. О том свидетельствует наша великая промышленность — единственное достижение так называемой цивилизации, — созданная вульгарными материалистами, наделенными моральным уровнем свиньи и ее же целями и интересами. Чтобы собрать на конвейере десятитонный грузовик, не требуется никакой нравственности, никаких моральных принципов.

— Что такое мораль? — спросила Дагни.

— Способность отличать добро от зла, умение видеть истину, отвага, необходимая, чтобы следовать ей, преданность добру, целостность натуры, чтобы не изменять добру ни за что и никогда. Но где отыскать все это?

Юноша насмешливо фыркнул.

— И кто такой Джон Голт?

Дагни допила кофе, сосредоточившись лишь на том удовольствии, которое приносила ей горячая жидкость, разливавшаяся живительным огнем по всему ее телу.

— Могу сказать тебе, — проговорил невысокий

морщинистый бродяга, надвинувший кепку на самые глаза. — Я знаю.

Его словно бы не услышали или просто не обратили внимания. Юноша не отводил от Дагни задиристых, рассеянных глаз.

— Вы не боитесь, — вдруг проговорил он без всякого повода, просто констатируя факт безжизненным, отрывистым тоном, в котором звучала и нотка удивления.

Дагни посмотрела на него.

— Нет, — проговорила она, — не боюсь.

— Я знаю, кто такой Джон Голт, — проговорил снова бродяга. — Это тайна, но я знаю.

— И кто же он? — спросила она безо всякого интереса.

— Первопроходец, — ответил бродяга. — Величайший среди всех, кто когда-либо жил на свете. Тот, который открыл источник вечной молодости.

— Мне еще одну. Темного, — сказал старик, пододвигая к хозяину свою кружку.

— Джон Голт потратил на поиски много лет. Он переплывал океаны, пересекал пустыни, спускался в забытые рудники, протянувшиеся на многие мили под землей. Но нашел он свой источник на вершине горы. Чтобы подняться

туда, ему потребовалось десять лет. В теле его не осталось ни одной целой кости, на руках — кожи, он забыл свой дом, свое имя, свою любовь. Но все-таки он поднялся на гору. И нашел там источник вечной молодости, который хотел дать людям. Только он так и не вернулся.

— Интересно, почему? — спросила Дагни.

— Потому что, как оказалось, этот источник нельзя перенести к людям.

* * *

Человек, сидевший перед столом Риардена, казался каким-то расплывчатым, и манеры его также были лишены выразительности, так что никто не мог бы запечатлеть в памяти его лицо или обнаружить в нем самом нечто особенное. Единственной отличительной чертой его был большой нос картошкой. Человек этот держался кротко, однако в поведении его заметен был некий абсурдный намек — угроза, преднамеренно скрываемая, но так, чтобы все же оставаться заметной. Риарден не мог понять цели встречи. Визитер этот, доктор Поттер, занимал какую-то непонятную должность в Государственном научном институте.

— Чего вы от меня хотите? — в третий раз спро-

сил Риарден.

— Я прошу вас учитывать социальные аспекты, мистер Риарден, — негромко проговорил Поттер. — Я умоляю вас не забывать, в какое время мы живем. Наша экономика к этому не готова.

— К чему именно?

— Наша экономика находится в состоянии крайне шаткого равновесия. И все мы должны объединить свои усилия, чтобы спасти ее от коллапса.

— Хорошо, и что я должен сделать для вас?

— Таковы соображения, на которые меня попросили обратить ваше внимание. Я представляю Государственный научный институт, мистер Риарден.

— Вы уже говорили. Но чего ради вы решили встретиться со мной?

— В Государственном научном институте сложилось неблагоприятное мнение о риарден-металле.

— Знаю.

— Но разве это не является фактором, который вы должны принять во внимание?

— Нет.

Дни стали короче, и за окном начинало темнеть. Риарден заметил неправильной формы

тень носа, легшую на щеку визитера, и следившие за ним блеклые глаза; рассеянный взгляд, тем не менее, был целеустремленным.

— В Государственном научном институте собраны лучшие умы страны, мистер Риарден.

— Мне говорили об этом.

— И вы, конечно же, не намереваетесь оспаривать их мнение?

— Намереваюсь.

Гость посмотрел на Риардена как бы моля о помощи, словно бы Риарден нарушил неписаное правило, требовавшее от него давным-давно понять всю щекотливость своего положения. Риарден помогать не стал.

— И это все, что вы хотели выяснить? — спросил он.

— Дело во времени, мистер Риарден, — умиротворяющим тоном произнес посетитель. — Это всего лишь временная задержка. Нужно, чтобы наша экономика получила шанс на стабилизацию. Если бы только вы согласились подождать пару лет…

Риарден усмехнулся — весело и презрительно.

— Так вот что вам нужно? Хотите, чтобы я убрал риарден-металл с рынка? Почему?

— Всего несколько лет, мистер Риарден. Только

до того как…

— Вот что, — проговорил Риарден. — Могу ли я задать вам вопрос: неужели ваши специалисты решили, что риарден-металл совсем не то, за что я его выдаю?

— Мы не делали такого заключения.

— Вы решили, что он плох?

— Речь идет о социальной значимости вашего изобретения. Мы мыслим в рамках всей страны, нас заботят общественное благосостояние и терзающий нас в настоящий момент ужасный кризис, который…

— Так хорош риарден-металл или плох?

— Если рассмотреть настоящий вопрос под углом вселяющего тревогу роста безработицы, который в настоящее время…

— Так, значит, он хорош?

— Во время отчаянного дефицита стали мы не можем позволить себе дальнейшее увеличение производства сталелитейной компании, выпускающей слишком много продукции, потому что она в таком случае вытеснит фирмы, производящие слишком мало, что приведет к нарушению стабильности экономики, что в свой черед…

— Вы намереваетесь дать ответ на мой вопрос?

Посетитель пожал плечами:

— Оценки всегда относительны. Если риарден-металл плох, он представляет для общества физическую опасность. Если же хорош — социальную.

— Если вам есть что сказать мне о физической опасности, которую может представить риарден-металл, выкладывайте. Остальное можно опустить. Сразу же. Я не понимаю этого языка.

— Но вопросы общественного благосостояния, конечно же…

— Оставим эту тему.

Посетитель, казалось, пребывал в полном смятении, словно его ноги потеряли опору. И через какое-то мгновение он беспомощно спросил:

— Но что же тогда является основной сферой ваших интересов?

— Рынок.

— Что вы имеете в виду?

— На риарден-металл существует спрос, и я намереваюсь удовлетворить его в полной мере.

— Но не является ли понятие рынка чем-то гипотетическим? Реакция общества на ваш металл не обнадеживает. За исключением контракта с «*Таггерт Трансконтинентал*» вы не имеете других крупных заказов…

— Хорошо, раз публика, по-вашему, не интересуется моим металлом, что же вас беспокоит?

— Раз публика не интересуется им, вы понесете крупные потери, мистер Риарден.

— Ну, это уж моя забота, а не ваша.

— Но если вы проявите хоть какое-то стремление к компромиссу и согласитесь подождать несколько лет…

— Почему я должен ждать?

— Но, по-моему, я дал вам понять, что в настоящее время Государственный научный институт не одобряет появления риарден-металла в металлургии.

— Почему ваше мнение должно интересовать меня?

Гость вздохнул:

— Вы очень тяжелый человек, мистер Риарден.

Предвечернее небо темнело, обретало плотность за стеклами окон. Фигура посетителя расплывалась кляксой среди резких, прямых плоскостей мебели.

— Я согласился принять вас, — проговорил Риарден, — потому что вы сказали, что намереваетесь обсудить со мной крайне важный вопрос. Если это все, что вы можете сказать, то прошу меня извинить. Я очень занят.

Посетитель откинулся на спинку кресла.

— Насколько я слышал, вы потратили на разработку риарден-металла десять лет. Во сколько она вам обошлась?

Риарден поднял глаза: он не понял смысла этого вопроса, однако в голосе Поттера читалось явное намерение; голос его сделался жестким.

— В полтора миллиона долларов, — проговорил Риарден.

— И сколько вы хотите за него?

Риарден невольно сделал паузу. Он не верил своим ушам. И наконец негромко переспросил:

— За что именно?

— За все права на риарден-металл.

— Я думаю, будет лучше, если вы уберетесь отсюда, — проговорил Риарден.

— Ваша позиция ничем не оправданна. Вы бизнесмен, и я делаю вам предложение. Назовите свою цену.

— Права на риарден-металл не продаются.

— Я уполномочен предложить вам крупную сумму. В правительственных масштабах.

Риарден сидел, не шевелясь, только на скулах его ходили желваки; однако взгляд оставался безразличным, если не считать едва заметное любопытство.

— Вы бизнесмен, мистер Риарден. И от такого предложения вы не имеете права отказываться. С одной стороны, вы крупно рискуете, вам придется идти против неблагоприятно настроенного общественного мнения, вы вполне можете потерять все вложенные в риарден-металл деньги до последнего пенни. И мы могли бы избавить вас от риска и ответственности, вы сорвете крупный куш, причем без задержки и куда в большем размере, чем сумеете получить от продаж в ближайшие двадцать лет.

— Насколько я понял, Государственный научный институт представляет собой научное, а не коммерческое заведение, — проговорил Риарден. — И чего же вы так боитесь?

— Вы прибегаете к некрасивым и лишним словам, мистер Риарден. Я пытаюсь вести наш разговор в дружеских тонах. Вопрос крайне серьезный.

— Я начинаю понимать это.

— Мы предлагаем вам открытый чек… на неограниченную сумму. Чего вы еще хотите? Называйте свою цену.

— Продажа прав на риарден-металл не является темой для обсуждения. Если у вас есть еще, что сказать, говорите, и до свидания.

Посетитель посмотрел на Риардена недоверчивым взглядом и спросил:

— Чего вы хотите?

— Я? О чем вы?

— Вы занимаетесь бизнесом для того, чтобы делать деньги, не так ли?

— Так.

— И вы хотите иметь максимально возможный доход, не правда ли?

— Хочу.

— Тогда почему вы хотите вести борьбу еще годы и годы, выжимая какие-то жалкие пенни с тонны проданного металла, вместо того чтобы сразу получить целое состояние за свой товар? Почему?

— Потому что он принадлежит *мне*. Вы понимаете последнее слово?

Посетитель вздохнул, поднялся на ноги и проговорил, явным образом подразумевая обратное.

— Надеюсь, у вас не возникнет причин сожалеть о своем решении, мистер Риарден.

— До свидания, — произнес Риарден.

— Полагаю, я должен предупредить вас о том, что Государственный научный институт может выпустить официальное отрицательное заключение относительно риарден-металла.

— Это ваше полное право.

— Такое заключение существенно осложнит ваше положение.

— Вне сомнения.

— Что касается более отдаленных последствий… — гость пожал плечами. — Наше время не любит людей, отказывающихся от сотрудничества. В наше время человеку нужны друзья. А вы, мистер Риарден, не относитесь к числу людей… популярных.

— Что вы хотите этим сказать?

— Вы меня прекрасно поняли.

— Нет.

— Общество представляет собой сложный организм. Решения ждут многочисленные вопросы, подвешенные на тонких нитях. И мы не можем сказать заранее, когда будет найдено решение того или иного вопроса и какие факторы станут *решающими* в этом тонком равновесии. Я сказал достаточно ясно?

— Нет.

Сумерки озарились пламенем, вспыхнувшим над разливаемой сталью. Оранжевое свечение, отливающее чистым золотом, легло на стену за спиной Риардена.

Полоса света медленно двигалась по его лбу.

Лицо Риардена хранило безмятежное выражение.

— Государственный научный институт представляет собой правительственную организацию, мистер Риарден. Законодательные власти в настоящее время рассматривают несколько законов, которые могут оказаться принятыми буквально в любой момент. В наши дни бизнесмены находятся в особенно уязвимом положении. Не сомневаюсь в том, что *теперь* вы меня понимаете.

Риарден поднялся на ноги, он улыбался. Улыбался так, словно все тревоги разом оставили его.

— Нет, доктор Поттер, — проговорил он, — не понимаю. Но если бы понял, мне пришлось бы убить вас.

Посетитель подошел к двери, остановился и посмотрел на Риардена взглядом, в котором в данный миг не было ничего, кроме простого человеческого недоумения. Риарден застыл на фоне ползущего по стене светового пятна; поза его оставалась непринужденной, руки покоились в карманах.

— Не скажете ли вы мне, — спросил Поттер, — между нами, просто так, из личного любопытства,

зачем вам все это нужно?

Риарден ответил спокойным тоном:

— Скажу. Но вы не поймете. Дело, видите ли, в том, что риарден-металл очень хорош.

* * *

Дагни не могла понять, что именно двигало мистером Моуэном. «*Объединенная стрелочно-семафорная компания*» вдруг прислала извещение о том, что не сумеет выполнить ее заказ. Ничего нового не происходило, причин для отказа не было, объяснений ей тоже не предоставили.

Она бросилась в Коннектикут, чтобы лично повидаться с мистером Моуэном, однако единственным результатом визита стала лишь очередная тяжесть, с новой силой навалившаяся на нее. Мистер Моуэн объявил, что прекращает изготавливать стрелки из риарден-металла. И в качестве единственного объяснения сказал, стараясь не смотреть ей в глаза:

— Слишком многие этим недовольны.

— Чем именно? Риарден-металлом или тем, что вы делаете из него стрелки?

— И тем, и другим, как мне кажется… Людям это не нравится… И я не хочу иметь неприятности на свою голову.

— И какие же неприятности?

— Всякие.

— Вы слышали хотя бы об одном-единственном настоящем недостатке риарден-металла?

— Ну кто может сказать, что верно, а что нет?.. В резолюции Национального совета металлопромышленников сказано…

— Вот что, вы работали с металлами всю свою жизнь. Четыре последних месяца вы имеете дело с риарден-металлом. Неужели вы не понимаете, что ничего более качественного в ваши руки еще не попадало?

Моуэн молчал.

— Вы не понимаете этого?

Он отвернулся.

— Разве вы не можете сказать, что истинно, а что нет?

— Черт побери, мисс Таггерт, я занимаюсь своим делом, и я — человек маленький. Я просто хочу делать деньги.

— И каким, по-вашему, способом их делают?

Однако она понимала, что уговоры бесполезны. Глядя на лицо мистера Моуэна, на его блуждавшие по сторонам глаза, она ощущала себя на шоссе под оборванными бурей телефонными проводами, когда связь прервана и слова превра-

тились в ничего не значащие звуки.

Спорить бесполезно, думала она, и незачем забивать себе голову мыслями о людях, которые не способны ни опровергнуть аргумент, ни принять его.

Возвращаясь поездом в Нью-Йорк, Дагни твердила себе, что мистер Моуэн ничего не значит и ничто, с ним связанное, теперь не имеет значения. Она лихорадочно соображала, где отыскать нового производителя стрелок. Дагни перебирала в уме список имен, стараясь понять, кого можно побыстрее убедить, упросить или подкупить.

Едва переступив порог приемной своего кабинета, Дагни поняла: что-то произошло. Ее встретила неестественная тишина и устремленные на нее взгляды сотрудников, словно все они только и ждали ее появления, ждали с надеждой и ужасом.

Эдди Уиллерс поднялся и направился к двери ее кабинета, зная заранее, что она все поймет и пойдет следом за ним. Дагни успела заметить выражение его лица и подумала: что бы ни произошло, жаль, что он так расстроен.

— Государственный научный институт, — негромко проговорил он, когда они остались вдвоем, — выпустил заявление, в котором

предостерег людей от использования риарден-металла.

Он добавил:

— Это передали по радио. И напечатали в вечерних газетах.

— И что же они там сказали?

— Дагни, по сути, ничего!.. Ничего плохого, и вместе с тем выходит, что все плохо. Вот что самое чудовищное.

Он старался прежде всего говорить спокойно, но это давалось ему с трудом, и он уже просто не мог уследить за словами. Они слетали с его губ, как бы повинуясь полному боли неверию ребенка, громко негодующего при первом столкновении со злом.

— Но что они сказали, Эдди?

— Они… Тебе придется прочитать, — он указал Дагни на газету, оставленную на ее столе. — Они не сказали, что риарден-металл плох. Они не стали утверждать, что пользоваться им опасно. Они просто…

Эдди развел руки и уронил их.

Она сразу поняла, что они сделали. Ей на глаза тут же попались предложения: «есть вероятность того, что в результате тяжелых нагрузок может появиться внезапное растрескивание,

хотя продолжительность этого периода невозможно просчитать заранее… нельзя полностью отвергнуть и вероятность молекулярных реакций неизвестной пока природы… Хотя прочность металла на растяжение вполне очевидна, возникают некоторые сомнения в отношении его поведения после резких ударных нагрузок… Хотя все свидетельства не позволяют последовать предложению о запрещении использования риарден-металла, необходимо дальнейшее исследование его характеристик».

— Мы не можем оспорить это… возразить, — неторопливо проговорил Эдди. — Мы не можем даже потребовать опровержения. Мы не можем показать им результаты своих экспериментов и что-либо изменить. Они ничего не сказали. Не сказали ничего такого, что можно опровергнуть, бросив на них тень подозрения в профессиональной несостоятельности. Дело рук труса. Этого можно было бы ожидать от какого-нибудь мошенника или шантажиста. Но, Дагни! Это говорит Государственный научный институт!

Она молча кивнула. Дагни стояла, обратив глаза к какой-то точке за окном. В конце темной улицы все вспыхивали и гасли лампы рекламной вывески, злорадно подмигивая ей.

Собравшись с духом, Эдди заговорил в тоне военной реляции:

— Акции компании «*Таггерт*» рухнули. Бен Нили разорвал договор, Национальное товарищество шоссейных и железнодорожных рабочих запретило своим членам работать на линии Рио-Норте. Джим уехал из города.

Сняв шляпку и пальто, Дагни пересекла комнату, неторопливо и как-то *осторожно* села за свой стол.

Перед ней лежал большой бурый конверт с фирменным штемпелем «*Риарден Стил*».

— Принес специальный курьер вскоре после твоего отъезда, — проговорил Эдди.

Дагни положила руку на конверт, но не стала вскрывать его. Она и так знала, что внутри, — чертежи моста.

Немного помедлив, она спросила.

— А кто подписал это заявление?

Поглядев на нее, Эдди горько улыбнулся и покачал головой.

— Да, — сказал он, — я тоже об этом подумал. Я позвонил по междугородному в институт и спросил. Документ этот вышел из канцелярии доктора Флойда Ферриса, их координатора.

Дагни молчала.

— Но все же главой института является доктор Стэдлер. Институт представляет он. И ему должно быть известно о природе этой бумаги. Он позволил выпустить ее. Раз она обнародована, значит, это произошло с его ведома… Доктор Роберт Стэдлер… Помнишь… когда мы учились в колледже… как мы говорили о великих людях нашего времени… людях, наделенных чистым интеллектом… мы всегда называли среди них его имя, и… — Эдди умолк. — Прости меня, Дагни. Я знаю, говорить что-либо бесполезно. Только…

Она сидела, прижав ладонь к бурому конверту.

— Дагни, — негромко спросил Эдди, — что происходит с людьми? Как могло подобное заявление вызвать столько шума? Это же чистейшее очернительство — грязная, абсолютно очевидная пачкотня. Человек достойный выбросил бы это заявление в канаву. Как… — голос его дрогнул в отчаянном, воинственном гневе — как могли они принять *это*? Интересно, его хотя бы прочли в институте? Неужели они не способны видеть? Неужели они не умеют мыслить? Дагни! Что случилось с людьми, раз они позволяют себе такое, и как мы можем жить в такой обстановке?

— Успокойся, Эдди, — проговорила она, — успокойся. И не бойся.

Здание Государственного научного института стояло над рекой в Нью-Хэмпшире, на склоне уединенного холма, на половине пути между рекой и небом. Издали оно казалось одиноким монументом, воздвигнутым в девственном лесу. Деревья были аккуратно высажены, дороги проложены, как в парке; в нескольких милях от него из долины выглядывали крыши небольшого городка. Впрочем, в непосредственной близости от здания не было ничего, что могло бы сгладить его величественную строгость.

Белые мраморные стены придавали сооружению классическое величие; композиция прямоугольных элементов наделяла его чистотой и красотой современного промышленного предприятия. Здание можно было назвать вдохновенным. Люди из-за реки смотрели на этот дом с почтением, усматривая в нем памятник человеку, характер которого соответствовал благородству линий здания.

Над входом были высечены строки посвящения: «*Бесстрашному разуму. Нерушимой истине*». В тихом уголке ничем не примечательного коридора небольшая бронзовая табличка на двери, подобная сотням других табличек на других дверях, гласила: «Доктор Роберт Стэдлер».

В возрасте двадцати семи лет доктор Роберт Стэдлер написал научный труд о космических лучах, в пух и прах разгромив большинство теорий, созданных его предшественниками. Последователи Стэдлера начали обнаруживать постулаты своего учителя в основе каждого предпринимавшегося ими исследования.

В возрасте тридцати лет он был признан крупнейшим физиком своего времени. В тридцать два его избрали руководителем Физического факультета университета Патрика Генри — в те самые дни, когда великий университет еще был достоин своей славы. Именно о докторе Роберте Стэдлере сказал один из журналистов: «Быть может, среди всех явлений той самой Вселенной, которую он изучает, наибольшего удивления заслуживает мозг самого доктора Роберта Стэдлера». Именно доктор Роберт Стэдлер некогда поправил студента: «Независимое научное исследование? Первое из двух прилагательных является лишним».

В возрасте сорока лет доктор Роберт Стэдлер обратился к народу, требуя создания Государственного научного института.

«Предоставим науке возможность освободиться от власти доллара», — призывал он сограждан. Вопрос приняли к рассмотрению. Группа малоиз-

вестных ученых смогла без лишнего шума провести законопроект по длинным законодательным коридорам. Принятие решения затягивалось из-за нерешительности чиновников, чувствовались сомнения и беспокойство, причину которых никто не мог определить. Но имя доктора Роберта Стэдлера уже уподобилось тем космическим лучам, что он изучал: они проникали сквозь любую преграду. И страна построила беломраморный дворец в качестве подарка одному из своих величайших сограждан.

Скромный кабинет доктора Стэдлера в институте ничем не отличался от кабинета бухгалтера какой-нибудь фирмы средней руки. Дешевый стол из уродливого желтого дуба дополняли шкаф с папками дел, два кресла и черная доска, исписанная математическими формулами. Опустившись в одно из кресел, поставленных у пустой стены, Дагни подумала, что кабинет сочетает в себе показную роскошь и элегантность: роскошь, поскольку скромная обстановка явно предполагала, что хозяин кабинета достаточно велик, чтобы позволить себе отсутствие украшений; элегантность, потому что он действительно не нуждался ни в чем другом.

Дагни уже была знакома с доктором Стэдлером;

они несколько раз встречались на банкетах, устраивавшихся видными бизнесменами или известными техническими обществами по тому или иному торжественному случаю. Она посещала эти банкеты столь же неохотно, как Стэдлер, и в итоге обнаружила, что ему приятно разговаривать с ней.

— Мисс Таггерт, — сказал он ей как-то раз, — я никогда не рассчитываю обнаружить интеллект на подобных сборищах. И знакомство с вами в высшей степени радует меня!

Дагни пришла в его кабинет, припоминая эти слова. Она сидела, наблюдая за Стэдлером чисто по-научному: ничего заранее не предполагая, отбросив эмоции, стараясь только смотреть и понимать.

— Мисс Таггерт, — бодрым тоном начал он, — вы возбуждаете во мне любопытство, а я испытываю его всегда, когда событие выходит за рамки прецедента. Как правило, прием посетителей превращается для меня в мучительную обязанность. Я искренне удивлен, что ваш визит доставляет мне такое удовольствие. Известны ли вам те чувства, которые ощущаешь, имея, наконец, дело с тем редкостным собеседником, из которого не надо вытаскивать понимание

клещами?

Стэдлер присел на краешек своего стола самым непринужденным и живым образом. Он не был высок, и худоба придавала ему вид моложавый и энергичный, едва ли не мальчишеский. По его лицу сложно было определить возраст, оно было простоватым, однако высокий лоб и большие серые глаза свидетельствовали о настолько выдающемся интеллекте, что ничего другого в его чертах уже нельзя было заметить. От уголков глаз разбегались веселые морщинки, но в уголках рта залегла печаль. Кроме чуть поседевших волос, ничто не напоминало о том, что он разменял уже шестой десяток.

— Расскажите мне, пожалуйста, о себе, — предложил он. — Мне всегда хотелось расспросить вас о том, каким образом вам удается делать такую неожиданную для женщины карьеру в тяжелой промышленности и как вам удается выносить всех этих людей.

— Я не вправе отнимать слишком много вашего времени, доктор Стэдлер, — вежливо, с безличной корректностью произнесла Дагни. — И я пришла к вам по чрезвычайно важному делу.

Тот рассмеялся:

— Вот она — истинно деловая женщина… сразу

и прямо к сути. Ну хорошо. Только не беспокойтесь о моем времени — оно принадлежит вам. Итак, о чем вы хотели поговорить со мной? Ах, да. О риарден-металле. Я не слишком хорошо информирован о нем, но если я могу что-то сделать для вас… — рука его шевельнулась, предлагая начать разговор.

— Вы знакомы с тем заключением, которое ваш институт выпустил о риарден-металле?

Стэдлер чуть нахмурился.

— Да, я слышал о нем.

— Вы его читали?

— Нет.

— Оно преследовало своей целью предотвратить использование риарден-металла.

— Да-да, что-то такое я слышал.

— Вы можете объяснить мне причину подобного заключения?

Стэдлер развел руками. У него были красивые руки: длинные, тонкие, исполненные нервной энергии и силы.

— Скажу прямо — не знаю. Это относится к епархии доктора Ферриса. Не сомневаюсь, что у него были особые причины для такого решения. А не хотите ли вы переговорить с самим доктором Феррисом?

— Нет. Вы знакомы с физическими свойствами риарден-металла, доктор Стэдлер?

— Так, в общих чертах. Но скажите мне, почему этот металл так волнует вас?

Легкое удивление промелькнуло в глазах Дагни, и, не меняя бесстрастного тона, она ответила.

— Я строю ветку с рельсами из риарден-металла, которая…

— Ах да, конечно! Я что-то слышал об этом. Простите, я не читаю газеты так часто, как это следует делать. Так, значит, именно ваша фирма строит эту ветку?

— От завершения этой ветки зависит само существование моей дороги — а в конечном счете, на мой взгляд, и существование этой страны.

Вокруг его глаз собрались удивленные морщинки.

— Неужели вы можете с полной уверенностью утверждать такое, мисс Таггерт? Я на это не способен.

— В *данном* случае?

— В любом случае. Никто не может заранее сказать, по какому пути пойдет страна дальше. Здесь дело не в просчитываемых тенденциях, мы имеем дело с хаосом, требованиями момента, который может сделать возможным все.

— Доктор Стэдлер, вы согласны с тем, что производство необходимо для существования страны?

— Ну да… да, конечно.

— Строительство этой линии было остановлено в результате заключения, сделанного вашим институтом.

Стэдлер не улыбнулся и промолчал.

— Соответствует ли это заключение *вашему* мнению о природе риарден-металла? — спросила она.

— Я уже говорил, что не читал его, — в голосе Стэдлера мелькнуло легкое неудовольствие.

Открыв сумочку, Дагни вынула из нее газетную вырезку и протянула своему собеседнику.

— Не хотите ли прочесть, а потом сказать мне, на таком ли языке должна изъясняться наука?

Пробежав вырезку взглядом, Стэдлер пренебрежительно улыбнулся и отбросил ее.

— Отвратительно, — проговорил он. — Но что поделать, когда имеешь дело с людьми?

Она посмотрела на него полным недоумения взглядом.

— Так, значит, вы не одобряете это заявление?

— Мое одобрение, как и неодобрение, не имеет никакого отношения к делу, — пожал плечами Стэдлер.

— А вы сформировали собственное мнение в отношении риарден-металла?

— Ну, скажем так: металлургия несколько выходит за рамки моей научной специализации.

— Вам известны характеристики риарден-металла?

— Мисс Таггерт, я не вижу смысла в ваших вопросах, — в голосе его промелькнуло нетерпение.

— Мне хотелось бы услышать ваше личное заключение по поводу риарден-металла.

— Для какой цели?

— Чтобы я могла обратиться с ним к прессе.

Стэдлер встал.

— Это невозможно.

Дагни произнесла, стараясь вложить в свой голос всю силу убеждения:

— Я передам вам всю информацию, необходимую для формирования обоснованного суждения.

— Я не могу выступать с публичными заявлениями на эту тему.

— Почему же?

— Ситуация слишком сложна, чтобы ее можно было объяснить при поверхностной беседе.

— Но если окажется, что риарден-металл

на самом деле представляет собой чрезвычайно ценный материал, который…

— Это не относится к делу.

— Истинная ценность риарден-металла *не относится к делу*?

— Помимо констатации факта здесь следует учитывать и другие вопросы.

Дагни спросила, не будучи уверена, что не ослышалась:

— С какими другими вопросами может иметь дело наука помимо прямой констатации факта?

Горькие линии в уголках губ Стэдлера сложились в подобие улыбки:

— Мисс Таггерт, вы и понятия не имеете о проблемах, стоящих сейчас перед наукой.

Дагни неторопливо, словно поняв это только что, сказала:

— Мне кажется, вам прекрасно известно, что представляет собой на самом деле риарден-металл.

Стэдлер снова пожал плечами:

— Да. Я это знаю. Из той информации, которой я располагаю, следует, что это удивительный материал, блестящее достижение нашей технологии.

Он нетерпеливо прошелся по кабинету:

— На самом деле мне бы хотелось иметь воз-

можность однажды заказать специальный лабораторный двигатель, способный выдерживать такие же высокие температуры, как риарден-металл. Он чрезвычайно нужен мне для изучения ряда конкретных явлений. Я обнаружил, что когда частицы разгоняются до скоростей, близких к скорости света, они…

— Доктор Стэдлер, — сухо перебила его Дагни, — если вам известна истина, почему вы не можете изложить свое мнение публично?

— Мисс Таггерт, вы пользуетесь абстрактной терминологией, в то время как нам приходится иметь дело с реальностью.

— Мы говорим сейчас о науке.

— О науке? Не путаете ли вы определения? Истина является абсолютным критерием только в области чистой науки. Если речь заходит о прикладных дисциплинах, о технике, нам приходится иметь дело с людьми. А имея дело с людьми, мы вынуждены принимать во внимание и другие соображения, помимо истины.

— Какие же именно?

— Я не имею представления о мире техники, мисс Таггерт. У меня нет ни способностей, ни желания общаться с людьми. Я не могу уделять внимание так называемым практическим во-

просам.

— Но это заявление было сделано от вашего имени.

— Я не имею к нему никакого отношения!

— Вы несете ответственность за весь институт.

— Это ничем не обоснованное утверждение.

— Люди считают, что ваше честное имя дает гарантию объективности и безупречности всякому действию института.

— Я никак не могу повлиять на мысли людей — если только они думают вообще!

— Они приняли ваше заявление за истину, хотя оно лживо.

— Разве можно говорить об истине, имея дело с людьми?

— Не понимаю вас, — стараясь сохранить невозмутимый тон, ответила Дагни.

— Вопрос об истине не имеет отношения к обществу как таковому. Никакие принципы никогда не оказывали на общество никакого воздействия.

— Тогда чем же руководствуются люди в своих поступках?

Он, в который уже раз, пожал плечами.

— Сиюминутными потребностями.

— Доктор Стэдлер, — проговорила Дагни, — по-

моему, я должна объяснить вам те последствия, к которым приведет прекращение строительства моей ветки. Меня останавливают, ссылаясь на общественную безопасность, потому что я воспользовалась самыми лучшими из производившихся когда-либо рельсов. Если я не закончу строительство этой линии через шесть месяцев, крупнейший промышленный район страны окажется без транспорта. Он погибнет, потому что оказался лучшим, и нашлись люди, посчитавшие возможным приложить руку к разграблению его богатств.

— Что ж, возможно, это плохо, несправедливо, возмутительно, но такова жизнь общества. Кого-то всегда приносят в жертву, причем, как правило, несправедливо; но так принято среди людей. Что может сделать с этим один человек?

— Вы можете сказать правду о риарден-металле.

Стэдлер не ответил.

— Я могла бы умолять вас сделать это, чтобы спасти свое дело. Я могла бы просить вас сделать это, чтобы избежать национальной катастрофы. Но я не буду прибегать к этим причинам. Они могут оказаться недостаточно вескими. Остается одна-единственная причина: вы должны сказать

правду, просто потому, что это правда.

— Со мной не консультировались по поводу этого заявления! — возглас вырвался непроизвольно. — Я не позволил бы сделать его! И мне оно нравится не больше, чем вам! Но я не могу выступить с публичным опровержением!

— С вами не консультировались? Тогда не стоит ли выяснить, что *на самом деле* стоит за этим заявлением?

— Я не могу погубить институт именно теперь!

— Но разве вам не хотелось бы выяснить причины?

— Я знаю их! Они не говорили мне, но я знаю. И не могу сказать, что осуждаю их.

— А мне скажете?

— Скажу, если хотите. Вам же нужна истина, не так ли? И доктор Феррис также не в силах ничего сделать, когда голосующие за выделение средств институту идиоты берутся настаивать на том, что они называют результатами. Они неспособны понять такую простую вещь, как абстрактная наука. Они воспринимают ее только через те последние побрякушки, которые удалось получить с ее помощью. Не знаю, каким образом доктору Феррису удается поддерживать жизнь в этом институте, я могу только удив-

ляться его практическому дарованию. Не думаю, чтобы он когда-то был крупным ученым, — я вижу в нем в первую очередь бесценного *слугу* науки! Мне известно, что недавно он столкнулся с серьезной проблемой. Он старается не вмешивать меня в нее, избавляет от всего этого, но слухи доходят и до меня. Люди критикуют институт, потому что, по их мнению, от нас нет достаточной отдачи. Общество требует экономии. И в такие времена, когда ставятся под угрозу все их мелкие удобства, можете не сомневаться, что люди в первую очередь пожертвуют наукой. Наш институт остался в этой сфере практически в одиночестве. Частных исследовательских фондов почти не осталось. Посмотрите только на алчных негодяев, управляющих нашей промышленностью! Как можно предполагать, что кто-то из них будет поддерживать науку?

— А кто сейчас финансирует вас? — негромко спросила Дагни.

— Общество, — почти небрежно ответил Стэдлер.

Она произнесла напряженным тоном:

— Вы хотели перечислить мне причины, стоящие за этим заявлением.

— Не думаю, чтобы вам было трудно догадаться.

Если учесть, что в нашем институте тринадцать лет существует отдел металлургических исследований, израсходовавший более двадцати миллионов долларов и не давший ничего, кроме нового способа серебрения изделий и нового антикоррозийного покрытия, которое, на мой взгляд, уступает существовавшим прежде, вы можете представить реакцию публики на частную фирму, выступающую с материалом, способным учинить подлинную революцию в металлургии, произвести настоящую сенсацию!

Дагни опустила голову. Говорить было нечего.

— Я не виню наш металлургический отдел! — раздраженным тоном сказал Стэдлер. — Мне известно, что результаты подобного рода не относятся к числу предсказуемых. Но публика этого не поймет. И кого тогда нам остается принести в жертву? Великолепную металлургическую находку или последний оставшийся на цивилизованной земле научно-исследовательский центр вкупе со всем будущим человеческого познания? Такова альтернатива.

Она сидела, опустив голову. И после некоторой паузы проговорила:

— Хорошо, доктор Стэдлер. Мне нечего возразить.

Он увидел, как она судорожно хватается за сумочку, словно пытаясь припомнить всю последовательность движений, необходимую, чтобы встать.

— Мисс Таггерт, — негромко проговорил он. В голосе его угадывалась едва ли не мольба. Дагни подняла голову.

Сосредоточенное лицо ее ничего не выражало.

Подойдя ближе, он уперся ладонью в стену над ее головой, будто намереваясь обнять ее за плечи.

— Мисс Таггерт, — повторил Стэдлер голосом мягким, убедительным, полным сожаления, — я старше вас. Поверьте мне, на земле нельзя жить иначе. Люди не воспринимают истину или доводы рассудка. Им не нужны рациональные аргументы. Разум для них ничто. И тем не менее нам приходится иметь с ними дело. Если мы хотим совершить что бы то ни было, нам необходимо обмануть их, дабы они позволили нам сделать свое дело. Или заставить их. Ничего другого они не понимают. Мы не можем ждать их поддержки в любом усилии разума, в стремлении к любой поставленной разумом цели. Люди — это всего лишь злобные животные. Жадные, самодовольные, хищные охотники за долларами, которые…

— Я тоже принадлежу к числу охотников за долларами, доктор Стэдлер, — вставила Дагни негромко.

— Вы — необыкновенное, блистательное дитя, не успевшее ознакомиться с жизнью в достаточной степени, чтобы познать полную меру человеческой тупости. Я сражался с ней всю свою жизнь. И очень устал… — голос Стэдлера наполняла неподдельная искренность. Он неторопливо отошел от Дагни. — Было время, когда я смотрел на ту трагическую неразбериху, которую они учинили на этой земле, и мне хотелось кричать, молить их прислушаться… ведь я мог научить их жить много лучше и полноценней, но никто не желал меня слушать, им попросту *нечем* было слушать меня… Интеллект? Эта редкая и ненадежная искра вспыхивает на мгновение в мире людей и гаснет. И никто не может определить его природу, будущее… определить отпущенное ему время…

Она попыталась встать.

— Не уходите вот так, мисс Таггерт. Я хочу, чтобы вы поняли меня.

Дагни посмотрела на него с полным безразличием. Она побледнела, черты обострились.

— Вы еще молоды, — проговорил Стэдлер. —

В вашем возрасте я также верил в беспредельную силу разума. В этот блистательный облик человека рационального. С тех пор я многое повидал. И так часто расставался с иллюзиями… Мне бы хотелось кое-что рассказать вам.

Он стоял у окна своего кабинета. Снаружи успело стемнеть. Ночь будто поднималась от черной прорези оставшейся далеко внизу реки. На воде уже трепетали отражения редких огоньков, светивших на холмах противоположного берега. Небо еще хранило густую вечернюю синеву. Низко над землей висела неестественно большая одинокая звезда, заставлявшая небо выглядеть темнее, чем на самом деле.

— Когда я преподавал в университете Патрика Генри, — начал Стэдлер, — у меня было трое учеников. В прошлом у меня было много талантливых студентов, но эти трое явились истинной наградой для преподавателя. Если ты мечтаешь получить в свое распоряжение высший дар — человеческий разум в пору его расцвета, юный и отданный тебе в обучение, — таким именно даром они и оказались. Это был тот тип интеллекта, от которого ждешь, что когда-нибудь он изменит движение мира. Происхождения они были самого разного, однако же дружили так, что водой

не разольешь. Они избрали странное сочетание интересов. Их интересовали два предмета — мой и Хью Экстона. Физика и философия. Редкая для сегодняшнего дня комбинация стремлений… Хью Экстон был человеком достойным, человеком великого ума… совершенно не похожим на то немыслимое создание, которое университет ныне поставил на его место… Мы с Экстоном даже чуть ревновали друг друга к этим студентам. У нас даже возникло нечто вроде соревнования, дружеского соревнования, потому что интересы-то у нас были общие. Экстон однажды даже сказал, что видит в них своих сыновей. Я был этим несколько раздражен… потому что считал этих юношей *своими* детьми… — повернувшись, Стэдлер посмотрел на нее. Оставленные возрастом горькие морщины пересекали его щеки. — Когда я начал ходатайствовать об учреждении этого института, один из них резко выступил против. С тех пор я не видел его. Память об этом в первые годы смущала меня. Со временем я начал иногда задумываться о том, не был ли он прав… Но воспоминание это перестало волновать меня достаточно давно, — он улыбнулся. На лице его и в этой улыбке не было теперь ничего, кроме горечи. — И кем же стали эти трое парней, во-

площавших в себе все надежды, которые может даровать разум, кем же стали эти трое, которым мы сулили столь великолепное будущее… Одним из них был Франсиско д'Анкония, превратившийся в порочного плейбоя. Второй, Рагнар Даннескьолд, стал обыкновенным бандитом. Такова цена посулам человеческого ума.

— А кто был третьим? — спросила она.

Стэдлер пожал плечами:

— Третий не достиг даже печальной известности. Он исчез без следа — в великом море посредственности. Должно быть, служит сейчас где-нибудь вторым помощником счетовода.

* * *

— Это ложь! Я не сбежал! — вскричал Джеймс Таггерт. — Я отправился сюда, почувствовав, что заболел. Спроси доктора Уилсона. У меня было что-то вроде гриппа. Он подтвердит. Потом, как ты узнала, что я здесь?

Дагни стояла посреди комнаты. На воротнике ее пальто и на полях шляпки таял снег. Она огляделась с чувством, которое вполне могло бы перерасти в печаль, если бы у нее было для этого время.

Она находилась в старом доме Таггертов

на Гудзоне. Дом по наследству достался Джиму, который редко приезжал сюда. В их детстве комната эта была кабинетом отца. Теперь в ней царил унылый дух помещения, которым только изредка пользуются, но не живут в нем. Мебель, кроме двух кресел, прикрыта чехлами, холодный камин, унылое тепло электрического нагревателя, провод, протянутый от него к стене, пустая стеклянная поверхность стола.

Джим лежал на кушетке, шея его была обмотана полотенцем наподобие шарфа. На стуле возле него рядом с бутылкой виски стояла полная старых окурков пепельница, с ней соседствовал мятый бумажный стаканчик; по полу разбросаны позавчерашние газеты. Над камином висел сделанный в полный рост выцветший портрет их деда на фоне железнодорожного моста.

— У меня нет времени на разговоры, Джим.

— Это была твоя идея! Надеюсь, ты признаешь перед всем правлением, что идея принадлежала тебе. Вот что сделал с нами твой проклятый риарден-металл! Если бы мы подождали Оррена Бойля… — Небритое лицо искажала сложная смесь эмоций: паники, ненависти, мстительного триумфа, возможности накричать на побежденного. К этому добавлялся взгляд, осторожный,

робко пытающий нащупать надежду на спасение.

Джим смолк, однако Дагни не торопилась с ответом. Она молча смотрела на него, опустив руки в карманы пальто.

— Больше мы ничего не можем сделать! — простонал он. — Я пытался позвонить в Вашингтон, чтобы там отобрали «*Феникс-Дуранго*» и передали эту дорогу нам по соображениям национальной безопасности, но со мной на эту тему даже разговаривать не стали! Слишком, мол, многие будут против, слишком опасный прецедент!.. Я просил Национальный железнодорожный альянс дать нам отсрочку и позволить Дэну Конвею работать на своей дороге еще год — тогда мы получили бы необходимое время, — но он сам отказался от такого предложения! Я попытался связаться с Эллисом Уайэттом и его друзьями в Колорадо — пусть потребуют от Вашингтона особого указания на этот счет, чтобы Конвей продолжил работу, — но все они, и сам Уайэтт, и все остальные сукины дети, не согласились! А ведь речь идет об их собственной шкуре, их положение хуже нашего, они вылетят в трубу — и все-таки они отказались!!!

Коротко улыбнувшись, Дагни промолчала.

— И теперь мы ничего больше не можем сделать! Мы в западне. Мы не можем достроить эту ветку и не можем отказаться от нее. Мы не можем ни идти, ни стоять. У нас нет денег. Мы никому не интересны! Что осталось у нас без линии Рио-Норте? Но мы не можем достроить ее. Нас будут бойкотировать. Мы попадем в черный список. Профсоюз железнодорожных рабочих подаст на нас в суд. Непременно подаст, на этот случай есть особый закон. Мы не можем достроить эту линию! Господи! Что нам теперь делать?

Дождавшись паузы, Дагни проговорила ледяным тоном:

— Ты закончил, Джим? Если да, то я расскажу тебе, *что* нам делать.

Он молчал, разглядывая ее из-под тяжелых век.

— Это не предложение, Джим. Это ультиматум. Слушай и думай. Я намереваюсь завершить сооружение линии Рио-Норте. Я лично, а не «*Таггерт Трансконтинентал*». Я временно оставляю пост вице-президента и образую собственную компанию. Твое правление передает мне линию Рио-Норте. Я буду исполнять роль подрядчика. *Подрядчика для самой себя*. Я обеспечу соб-

ственное финансирование. Я приму на себя все обязанности вместе со всей ответственностью. Я дострою линию вовремя. И после того как вы убедитесь в полной работоспособности рельсов из риарден-металла, я передаю Рио-Норте назад «*Таггерт Трансконтинентал*» и возвращаюсь на свою работу. Это все.

Таггерт молча смотрел на нее, покачивая шлепанцем на ноге. Дагни даже не подозревала, что надежда может столь уродливым образом исказить лицо человека: к болезненному облегчению тут же примешалось коварство. Она отвела глаза, не понимая, как можно в такой момент первым делом думать о том, какую *еще* выгоду можно выжать.

Но ее ждала еще бóльшая нелепость — голосом, полным тревоги, он пролепетал:

— Но кто будет тем временем управлять делами «*Таггерт Трансконтинентал*»?

Дагни усмехнулась — собственный смех изумил ее, показавшись горьким старческим кряхтеньем, — и проговорила:

— Эдди Уиллерс.

— О нет! Он не справится!

Дагни снова рассмеялась, столь же отрывисто и безрадостно:

— Я думала, что тебе хватит ума понять: Эдди займет пост *исполняющего обязанности* вице-президента. Он переберется в мой кабинет и будет сидеть за моим столом. Но кто, по-твоему, будет руководить делами «*Таггерт Трансконтинентал*»?

— Но… я не вижу, как…

— Я буду постоянно летать между кабинетом Эдди и Колорадо. А для чего еще существует самолет? Кроме того, остаются междугородные разговоры. Я буду делать только то, чем занимаюсь сейчас. Ничто не переменится, и ты получишь возможность устроить представление для своих друзей… ну, а мне станет несколько тяжелее.

— О каком представлении ты говоришь?

— Ты прекрасно понимаешь меня, Джим. Я понятия не имею, в какого рода играх замешаны вы — ты и твое правление. Я не знаю, сколько партий разыгрывается у вас одновременно против всех остальных и друг против друга и сколько взаимоисключающих претензий вам приходится учитывать. Я этого не знаю и знать не хочу. Все вы можете спрятаться за мной. Если ты боишься, потому что заключал сделки с друзьями, которым риарден-металл опасен, что ж, ты получаешь шанс уверить их в том, что ты

здесь ни при чем, что все это делаю я и только я. Можешь помогать им, можешь проклинать и поносить меня. Все вы можете оставаться при своем, ничем не рисковать и не наживать врагов. Просто не становитесь на моем пути.

— Что ж… — неторопливо произнес он, — конечно, политические проблемы, стоящие перед крупной железнодорожной компанией, достаточно сложны… в то время как маленькая и независимая фирма, действующая от частного лица, может…

— Да, Джим, да, я понимаю все это. В тот самый момент, когда ты объявишь, что передаешь мне линию Рио-Норте, акции «*Таггерт*» пойдут вверх. Перестанут выползать из разных углов клопы, поскольку им незачем будет кусать крупную компанию. И я дострою линию еще до того, как они решат, что делать со мной. Ну а мне самой не придется иметь дело с тобой и твоим правлением, убеждать вас, просить разрешения. Для этого просто нет времени, если мы хотим, чтобы работа была закончена. Поэтому я намереваюсь сделать все сама… одна.

— Ну… а если ты потерпишь неудачу?

— Это будут *мои* поражение и падение.

— Ты понимаешь, что в таком случае «*Таггерт*

Трансконтинентал» ничем не сможет помочь тебе?

— Понимаю.

— И ты не будешь рассчитывать на нас?

— Нет.

— Ты прекратишь все официальные сношения с нами, чтобы твои действия не отразились на репутации компании?

— Да.

— Думаю, мы должны заранее обговорить и то, что в случае неудачи или крупного скандала… твой *временный отпуск* сделается постоянным… то есть ты не сможешь рассчитывать на возвращение на пост вице-президента компании.

Дагни на мгновение прикрыла глаза.

— Хорошо, Джим. В таком случае я не вернусь.

— И прежде чем мы передадим тебе Рио-Норте, ты должна будешь подписать соглашение о том, что вернешь ее нам вместе с контрольным пакетом, если линия начнет приносить доход. Иначе ты можешь попытаться лишить нас непросчитанной прибыли, поскольку эта линия нам нужна.

Негодование лишь на миг промелькнуло в глазах Дагни, и она безразличным тоном произнесла, словно бросая нищему подаяние:

— Безусловно, Джим. Изложи все это в письменном виде. Я подпишу.

— Что касается твоего временного преемника…

— Да?

— Ты и в самом деле хочешь, чтобы это место занял Эдди Уиллерс?

— Да, хочу.

— Но он просто не сможет исполнять обязанности вице-президента! У него нет должной осанки, манер…

— Он знает свою работу… и мою. Он знает, что мне нужно. Я доверяю ему. Я смогу сотрудничать с ним.

— А ты не думаешь, что следовало бы выбрать достойного молодого человека из хорошей семьи, обладающей бóльшим общественным весом и…

— Это будет Эдди Уиллерс, Джим.

Таггерт вздохнул:

— Ну хорошо. Только… только нам придется проявлять осторожность… Люди не должны заподозрить, что ты по-прежнему руководишь «*Таггерт Трансконтинентал*». Этого никто не должен знать.

— Это будут знать все, Джим. Но открыто не признает никто, и все будут довольны.

— Нам нужно сохранить свое лицо.

— О, конечно! Можешь не узнавать меня на улице, если не хочешь. Можешь говорить, что никогда не видел меня, а я скажу, что и слыхом не слыхивала про «*Таггерт Трансконтинентал*».

Джеймс молчал, в задумчивости разглядывая пол.

Дагни повернулась к окну. Серое небо отливало ровной зимней пеленой. Далеко внизу, по берегу Гудзона, тянулась дорога, по которой приезжал автомобиль Франсиско… над рекой поднимался утес, на который они забирались, чтобы посмотреть на башни Нью-Йорка… где-то за лесом прятались рельсы, уходившие к станции Рокдейл. Припорошенная снегом земля напоминала набросок того родного края — бледный рисунок, на котором из снега тянутся к небу голые ветви. Это был серо-белый снимок, мертвая фотография, которую хранят на память, но которая ничего не может вернуть.

— Как ты хочешь назвать ее?

Удивленная Дагни обернулась.

— Что?

— Как ты хочешь назвать свою компанию?

— Ах да… Ну, наверно, «*Линия Дагни Таггерт*».

— Но… По-твоему, это разумно? Подобный факт нетрудно истолковать превратно. Могут решить, что «*Таггерт*» …

— И как ты хочешь, чтобы я ее назвала? — отрезала утомленная до предела Дагни. — «*Линия Мисс Никто*»? Или «*Мадам Икс*»? Или «*Джона Голта*»?.. — Дагни смолкла и вдруг улыбнулась — холодной, блестящей и опасной улыбкой. — Так я ее и назову: «*Линия Джона Голта*».

— Великий Боже, нет!

— Да.

— Но это же… просто дешевый трюк, дань городским низам!

— Да.

— Ты не можешь превратить в шутку такой серьезный проект!.. Ты не можешь вести себя столь вульгарно и… недостойно!

— Ты так считаешь?

— Но скажи мне, бога ради, почему?

— Потому что все вокруг будут шокированы — как и ты сам.

— Я никогда не думал, что ты способна на показуху.

— В данном случае способна.

— Но… — Джеймс понизил голос до едва ли не суеверного шепота. — Видишь ли, Дагни,

это же… такое имя накличет беду… Оно означает…

Он умолк.

— И что же оно означает?

— Не знаю… Но когда люди произносят его, это всегда бывает из…

— Страха? Отчаяния? Безысходности?

— Да… да, именно так.

— Я хочу, чтобы они понимали это!

Наполненные гневными искрами глаза сестры, неожиданный проблеск веселья в них подсказали Джеймсу, что ему лучше помалкивать.

— Пиши во всех документах и ваших бюрократических бумажках название: «*Линия Джона Голта*».

— Что ж, это твоя линия, — вздохнул он.

— Ей-богу, моя!

Джеймс с удивлением посмотрел на сестру. Дагни отбросила все приличествующие вице-президенту манеры, в полном блаженстве нисходя до уровня рабочих-путейцев.

— Кстати, о бумагах и юридической стороне дела, — проговорил он, — у нас могут возникнуть некоторые трудности. Нам придется обратиться за разрешением…

Дагни рывком повернулась к нему. Часть преж-

него энтузиазма еще читалась на ее лице. Однако на нем более не было веселья, Дагни не улыбалась. Лицо ее странным образом сделалось жестким и непреклонным. Увидев это выражение, Джеймс подумал, что не хотел бы увидеть его снова.

— Слушай меня, Джим, — произнесла Дагни; такой интонации ему еще не приходилось слышать ни от кого. — Есть одна вещь, которую ты должен выполнить как *свою* часть сделки, так что внимательно следи за этим: держи своих вашингтонских приятелей подальше от меня. Позаботься, чтобы они давали мне все необходимые разрешения, акты, справки и прочий бумажный хлам, которого требует их законодательство. Только не позволяй им пытаться остановить меня. Если они только попробуют… Джим, люди говорят, что наш предок, Нат Таггерт, убил политикана, попытавшегося отказать ему в разрешении, которого тот не имел права не дать. Не знаю, было ли это на самом деле. Но говорю тебе честно: если он и сделал это, я вполне понимаю его чувства. А если он все-таки не был грешен, я вполне могу сделать это за него, чтобы оправдать семейную легенду. Я не шучу, Джим.

* * *

Франсиско д'Анкония сидел перед ее столом. Лицо его ничего не выражало. Оно оставалось бесстрастным, когда Дагни четким и бесцветным тоном деловой беседы объясняла ему цели и задачи своей железнодорожной компании. Франсиско выслушал, но не произнес ни слова.

Она еще не видела его лица таким опустошенным; на нем не было насмешки, удивления, противоречия; просто казалось, что все происходящее не имеет к нему никакого отношения. Тем не менее Франсиско смотрел на нее с интересом; видимо, он замечал больше, чем ей казалось.

— Франсиско, я попросила тебя приехать, потому что хотела увидеть тебя в моем кабинете. Ты здесь впервые. А некогда он мог бы многое значить для тебя.

Франсиско неторопливо обвел помещение взглядом. На стенах не было ничего, кроме трех вещей: карты линий «*Таггерт Трансконтинентал*», оригинала карандашного портрета Ната Таггерта, послужившего моделью для статуи, и большого железнодорожного календаря из тех, что выпускались каждый год, броского и яркого,

с картинками, изображавшими станции сети Таггертов; такой же когда-то висел над ее первым рабочим столом в Рокдейле.

Франсиско поднялся и негромко произнес:

— Дагни, ради себя самой, и... — голос его на мгновение нерешительно замер, — и во имя той жалости, которую ты, может быть, еще испытываешь ко мне, не проси того, что ты намереваешься попросить. Не надо. Позволь мне уйти прямо сейчас.

Фраза эта была для него столь не характерна, что Дагни просто не ожидала услышать ничего подобного. И после недолгой паузы произнесла:

— Почему же?

— Я не могу ответить тебе. Я не могу отвечать ни на какие вопросы. Вот почему об этом лучше вообще не говорить.

— Ты знаешь, что я собиралась попросить у тебя?

— Да.

Она посмотрела на него с настолько красноречивым, настолько отчаянным недоумением, что ему пришлось добавить.

— А еще мне известно, что я откажу тебе.

— Почему?

С безрадостной улыбкой он развел руками,

как бы пытаясь показать, что именно этого ожидал и пытался избежать.

Она негромко произнесла:

— Мне все-таки придется попытаться, Франсиско. Мне придется обратиться к тебе с просьбой. Это моя обязанность. Как ты отнесешься к моим словам, это уже твое дело. Но тогда я буду знать, что испробовала все.

Не садясь, он чуть наклонил голову в знак согласия и сказал:

— Слушаю, если это тебе поможет.

— Мне нужно пятнадцать миллионов долларов, чтобы завершить строительство линии Рио-Норте, семь миллионов я получила в залог под мои акции компании «*Таггерт*». Больше собрать я не могу. Я выпущу облигации от имени своей новой компании. Я позвала тебя для того, чтобы попросить купить их.

Он промолчал.

— Франсиско, я стала нищенкой и прошу у тебя денег. Я всегда считала, что в бизнесе просить не подобает. Я всегда считала, что все зависит от качества того, что ты предлагаешь, и отдавала деньги за то, чего они стоили. Теперь правило это не работает, хотя я не понимаю, как можно заменить его чем-то другим. Судя по всем объек-

тивным показателям, линия Рио-Норте должна стать самой прибыльной железной дорогой в стране. Судя по всем известным мне стандартам, лучшего вложения капиталов нельзя найти. И в этом мое проклятие. Я не могу собрать деньги, предложив людям хорошее вложение капитала: они отвергнут его уже в силу того, что оно *слишком* хорошее. Ни один банк не купит облигации моей компании. Но я не могу предложить ничего другого. Мне остается только просить.

Дагни произносила это, чеканя каждое слово. Смолкнув, она стала ждать ответа. Франсиско молчал.

— Я понимаю, что и тебе мне нечего предложить, — вздохнула она. — Я не могу предлагать тебе инвестирование капитала. Тебе незачем делать деньги. Промышленные проекты давным-давно перестали тебя интересовать. Поэтому я не стану представлять это честной сделкой. Считай, что я попрошайничаю… — Вдохнув поглубже, Дагни добавила: — Дай мне эти деньги как подаяние, просто потому, что ты можешь это сделать.

— Не надо, — проговорил он негромко. Дагни не могла понять, чем вызван столь странный тон — болью или гневом; Франсиско не смотрел

на нее.

— Ты сделаешь это, Франсиско?

— Нет.

Спустя мгновение, она сказала:

— Я позвала тебя не потому, что рассчитывала на твое согласие, а потому, что лишь ты способен понять меня. Вот я и попыталась, — голос Дагни звучал все тише и тише, как если бы она все сильнее и сильнее пыталась скрыть свои чувства. — Понимаешь, я не могу поверить в то, что тебя больше нет… потому что знаю, что ты до сих пор способен слышать меня. Образ твоей жизни порочен, но поступки — нет. Даже то, как ты говоришь, не… Мне пришлось попытаться… Но я не могу больше напрягать силы, пытаясь понять тебя.

— Дам тебе намек. Противоречий не существует. Если ты усматриваешь где-то противоречие, проверь исходные данные. И найдешь ошибку в одном из них.

— Франсиско, — прошептала она, — почему ты так и не рассказал мне, что произошло с тобой?

— Потому что в данный момент правда окажется для тебя мучительней сомнений.

— Неужели все настолько ужасно?

— А на этот вопрос должна ответить ты сама.

Она покачала головой:

— Я не знаю, что предложить тебе. Я больше не понимаю, что представляет для тебя ценность. Разве ты не понимаешь, что даже попрошайка должен что-то дать тебе взамен, должен веско аргументировать причину, которая заставит тебя помочь ему?.. Ну, я думала… когда-то, что для тебя важен успех. Успех в бизнесе. Помнишь, как мы говорили с тобой об этом? И ты был очень строг. Ты ожидал от меня многого. Ты говорил мне, что я должна постараться. Я постаралась. Ты гадал, насколько высоко поднимусь я с «*Таггерт Трансконтинентал*».

Дагни обвела кабинет рукой:

— Вот как высоко я поднялась… И я подумала… если память о прежних ценностях еще что-то значит для тебя, хотя бы в порядке развлечения, печального воспоминания или просто вроде… посаженного на могиле цветка… ты можешь захотеть дать мне эти деньги… во имя прошлого.

— Нет.

Дагни произнесла, делая над собой усилие:

— Эти деньги для тебя пустяк — ведь ты столько тратил на бессмысленные приемы… и куда больше выбросил на рудники Сан-Себастьян…

Франсиско оторвал взгляд от пола. Он погля-

дел прямо на Дагни, и она впервые заметила искорку живой реакции в его глазах, ясную, безжалостную и невероятно горделивую, словно бы обвинение это наделяло его силой.

— Ах да, — проговорила она, словно бы отвечая на его мысль. — Понимаю. Я прокляла тебя за эти рудники, я отреклась от тебя, я выказывала тебе свое презрение всеми возможными способами, а теперь явилась просить… просить денег. Как Джим, как любой попрошайка. Я понимаю, что для тебя это триумф, я знаю, что достойна смеха, и ты имеешь полное право презирать меня. Что ж, быть может, я могу предложить тебе такое развлечение. Если тебе нужно повеселиться, если тебе было приятно смотреть на ползущего к тебе Джима в компании с мексиканскими комиссарами, может, тебе понравится сломать и меня? Не доставит ли это тебе удовольствие? Может быть, ты хочешь, чтобы я признала свое поражение? И тебе будет приятно увидеть меня у своих ног? Скажи мне, какую форму моего унижения ты предпочитаешь, и я покорюсь.

Франсиско двигался столь быстро, что Дагни даже не заметила, когда он сорвался с места; ей показалось только, что он просто вздрогнул. Обогнув стол, Франсиско взял Дагни за руку

и поднес ее к своим губам. Сперва жест его был полон глубочайшего уважения, словно он стремился поделиться с ней своей силой; но по тому, как губы его и лицо прижались к ее руке, Дагни поняла, что он сам ищет у нее силу.

Выронив ее ладонь, Франсиско посмотрел ей в лицо, прямо в испуганную тишину глаз, и улыбнулся, не пытаясь скрыть страдание, гнев и нежность, смешавшиеся воедино.

— Дагни, неужели ты хочешь *ползать*? Тебе неизвестно, что означает это слово, ты никогда не узнаешь этого. Человек не пресмыкается, когда заявляет об этом так откровенно, как сделала ты. Неужели ты думаешь, что я могу не оценить всю отвагу, которая потребовалась тебе для этого? Но… не проси меня, Дагни.

— Во имя всего, чем я когда-то была для тебя… — прошептала она, — всего, что в тебе осталось…

И в тот миг, когда она подумала, что уже видела это выражение на его лице в ту ночь, когда, вглядываясь в огни спящего города, он в последний раз лежал рядом с нею в постели, Дагни услышала стон, какой еще не сходил с его уст:

— Любовь моя, *я не могу этого сделать*!

Потом, когда, онемев от растерянности, они вглядывались друг в друга, она заметила

перемену в его лице. Она произошла внезапно, словно кто-то нажал выключатель. Внезапно рассмеявшись, Франсиско отодвинулся от нее и произнес оскорбительнейшим по своей небрежности тоном:

— Прошу тебя простить меня за это смешение стилей. Видимо, привык говорить эти слова женщинам, правда, по совершенно иным поводам.

Голова Дагни поникла, она сгорбилась и обняла себя за плечи, не заботясь о том, что он видит ее такой. Наконец, подняв голову, она посмотрела на него безразличным взглядом.

— Ну хорошо, Франсиско. Разыграно было великолепно. Я поверила. Если другой забавы я тебе не могу предоставить, ты добился успеха. Я не буду просить тебя ни о чем.

— Я предостерегал тебя.

— Я не знала, на чьей ты стороне. Это казалось невозможным… быть союзником Оррена Бойля, Бертрама Скаддера… и твоего старого учителя.

— Моего старого учителя? — резким тоном переспросил Франсиско.

— Доктора Роберта Стэдлера.

Он с облегчением усмехнулся:

— Ах ты о нем? Это грабитель, который считает, что его цель оправдывает потраченные мною

средства. Знаешь, Дагни, мне бы хотелось, чтобы ты запомнила эти слова, насчет того, на чьей я стороне. Однажды я напомню тебе о них и спрошу, хочешь ли ты еще раз произнести их.

— Тебе не придется напоминать мне.

Франсиско повернулся, чтобы уйти. Подняв руку в небрежном прощании, он произнес:

— Желаю процветания линии Рио-Норте, если ее удастся построить.

— Она будет построена. И будет носить имя Джона Голта.

— Что?!

Услышав вопль неподдельного изумления, Дагни задиристо усмехнулась:

– *Линия Джона Голта.*

— Дагни, во имя небес, скажи почему?

— Тебе не нравится?

— Как ты выбрала такое название?

— Оно звучит лучше, чем *Линия мистера Немо* или *мистера Зеро*, правда?

— Дагни, но почему??

— Потому что это пугает тебя.

— И что, по-твоему, означает это название?

— Невозможное. Недостижимое. И все вы боитесь моей линии не меньше, чем этого имени.

Франсиско расхохотался. Он смеялся, не глядя

на нее, и Дагни ощутила странную уверенность в том, что он забыл о ней, что находится где-то далеко, и что смех его — при всем яростном веселье и горечи — относится к чему-то такому, в чем ей нет места.

Снова повернувшись к ней, Франсиско совершенно искренне сказал:

— Дагни, на твоем месте я бы не делал этого.

Она пожала плечами:

— Джиму это тоже не понравилось.

— А тебе-то что нравится в этом названии?

— Я ненавижу его! Я ненавижу ту участь, которой все вы дожидаетесь, эту капитуляцию и бессмысленный вопрос, в котором всегда звучит мольба о помощи. Я устала слышать обращения к Джону Голту. Я намереваюсь сразиться с ним.

Франсиско невозмутимо проговорил:

— Ты это уже делаешь.

— Я хочу построить для него железную дорогу. Пусть придет, чтобы отобрать!

Печально улыбнувшись, Франсиско кивнул:

— Он это сделает.

* * *

Отблески расплавленной стали плясали по потолку и стене. Риарден сидел за столом, освещен-

ным светом единственной лампы. За пределами этого кружка в кабинете царил мрак, сливавшийся с тьмой снаружи. Ему казалось, что там, за стенами, находится пустое пространство, в котором по собственной воле разгуливают вырывавшиеся из печей лучи; что стол его подобен висящему в воздухе плоту, дающему уединение только двоим, — перед столом сидела Дагни.

Она скинула с плеч пальто, и теперь ее изящное, напряженное тело в сером костюме вырисовывалось в просторном кресле на его фоне.

Освещена была только ее рука, лежавшая на краешке стола; в полумраке за ним угадывались ее лицо, белая блузка, треугольник расстегнутого воротника.

— Итак, Хэнк, — сказала она, — начинаем строительство нового моста из риарден-металла. Вот официальный заказ от официального владельца «*Линии Джона Голта*».

Риарден улыбнулся, бросив взгляд на освещенный кружком света чертеж моста.

— У вас была возможность проанализировать предложенную нами схему?

— Да. Вы не нуждаетесь в моих комментариях и комплиментах. Их заменяет мой заказ.

— Отлично. Благодарю вас. Мы начинаем про-

катку металла.

— Вы не хотите спросить, располагает ли «*Линия Джона Голта*» возможностью размещать заказы или просто функционировать?

— В этом нет необходимости. Обо всем свидетельствует ваше появление здесь.

Дагни улыбнулась:

— Вы правы. Все улажено, Хэнк. Я приехала, чтобы сказать вам это и приступить к обсуждению деталей конструкции моста.

— Хорошо, но мне все-таки интересно: кто стал держателем облигаций «*Линии Джона Голта*»?

— Не думаю, чтобы кто-то один мог позволить себе это. Все наши пайщики — растущие предприятия. Всем нужны деньги на собственные нужды. Однако им нужна была линия, и они ни к кому не обращались за помощью.

Дагни вынула из сумочки листок бумаги.

— Вот список членов компании «*Джон Голт Инкорпорейтед*», — проговорила она, протягивая листок через стол.

Риарден знал большую часть присутствовавших в списке лиц: Эллис Уайэтт — «*Уайэтт Ойл*», Колорадо. Тед Нильсен — «*Нильсен Моторс*», Колорадо, Лоренс Хэммонд — «*Хэммонд Кар Компани*», Колорадо, Эндрю Стоктон — «*Литейный*

завод Стоктон», Колорадо. Несколько пайщиков были из других штатов; он отметил про себя следующее имя: Кеннет Данаггер — «*Данаггер Коул»*, Пенсильвания. Суммы подписки варьировались от пятизначных до шестизначных цифр.

Протянув руку к авторучке, он подписал под нижней строкой: «Генри Риарден — "*Риарден Стил"*, Пенсильвания — $1 000 000» и перебросил лист Дагни.

— Хэнк, — проговорила она негромко, — я не хотела привлекать вас к этому делу. Вы и так вложили в риарден-металл уйму денег. Вы не можете позволить себе новые расходы.

— Я никогда не принимаю любезностей, — ответил он холодным тоном.

— Что вы хотите этим сказать?

— Я не прошу людей вкладывать в мои предприятия больше, чем я сам. Если это игра, моя ставка будет наравне с самыми крупными. Разве не вы сказали, что эта колея является первой демонстрацией возможностей нового металла?

Наклонив голову, она произнесла серьезным тоном:

— Хорошо. Благодарю вас.

— Кстати, я не собираюсь терять эти деньги.

Мне известно об условиях, согласно которым, по моему желанию, облигации могут быть преобразованы в акции. Поэтому я рассчитываю на крупный доход, который принесете мне вы.

Дагни рассмеялась:

— Боже мой, Хэнк, я успела переговорить со столькими трусливыми тупицами, что они едва ли не заразили меня своим неверием в успех дороги! Спасибо, что вы напомнили мне о другом. Да, я также считаю, что сумею заработать для вас кучу денег.

— Если бы не эти безнадежные тупицы, в вашем предприятии не было бы никакого риска. Но мы должны победить их. И мы победим, — Риарден взял две телеграммы из груды бумаг, лежавших на его столе.

— Есть еще люди на белом свете. — Он протянул телеграммы Дагни. — По-моему, вам стоит просмотреть их.

Одна из них гласила: «Я намеревался приступить к постройке через два года, однако заявление Государственного научного института заставляет меня спешить. Рассматривайте настоящую телеграмму как предварительный заказ на сооружение двенадцатидюймового трубопровода из риарден-металла длиной 600 миль

от Колорадо до Канзас-Сити. Подробности отдельно. Эллис Уайэтт».

В другой было написано: «К вопросу о моем заказе. Приступайте. Кен Данаггер».

В качестве пояснения Риарден добавил:

— Он не был готов к немедленному началу работ. Речь идет о восьми тысячах тонн риарден-металла. Крепи для угольного рудника.

Они обменялись улыбками. Комментариев не требовалось.

Риарден обратил внимание на руку Дагни, вернувшую ему телеграммы. В свете лампы кожа руки, лежавшей на краю стола, казалась прозрачной… У нее были руки молодой девушки, с длинными тонкими пальцами, которые она на мгновение расслабила, сделав беззащитными.

— «*Литейный завод Стоктон*» в Колорадо, — сказала она, — пообещал мне закончить тот заказ, от которого отказалась «*Объединенная стрелочно-семафорная компания*». Они хотят встретиться с вами относительно поставок металла.

— Они уже были здесь. А как у вас с персоналом?

— Лучшие инженеры Нили остались — именно

те, в которых я нуждаюсь. И большинство прорабов и мастеров. С ними особых сложностей не предвидится. В конце концов, от самого Нили было немного толка.

— А как насчет рабочих?

— Предложений больше, чем требуется. Не думаю, что профсоюз станет вмешиваться. Большинство претендентов вписывают в анкеты подложные имена. Они — члены профсоюза. Работа им нужна отчаянно. Я выставлю на линии легкую охрану, однако особых неприятностей не ожидаю.

— А как ведет себя правление вашего братца Джима?

— Всей компанией пишут в газеты заявления о том, что не имеют абсолютно никакого отношения к «*Линии Джона Голта*» и самым решительным образом осуждают мое начинание. Они согласились на все мои условия.

Напряженные плечи Дагни были чуть отведены назад, словно в готовности к драке. Такая собранность казалась естественной, в ней читалась не тревога, а восторг; напряженным было и все тело под серым костюмом, растворявшимся в полутьме.

— Эдди Уиллерс приступил к исполнению

обязанностей вице-президента, — добавила она. — В случае необходимости связывайтесь с ним. Сегодня ночью я улетаю в Колорадо.

— Сегодня?

— Да. Надо спешить. Мы потеряли неделю.

— На своем самолете?

— Буду дней через десять. Я намереваюсь возвращаться в Нью-Йорк один-два раза в месяц.

— А где вы там будете жить?

— На стройплощадке. В своем железнодорожном вагоне, то есть в вагоне, который мне одалживает Эдди.

— Это безопасно?

— В каком смысле? — Дагни удивленно усмехнулась. — Ну, Хэнк, вы впервые вспомнили о том, что я не мужчина. Со мной ничего не случится.

Риарден не смотрел на нее; взгляд его был обращен к листку бумаги с цифрами.

— Мои инженеры подготовили расчет стоимости моста и приблизительный график его сооружения. Нам надо все это обсудить.

Он протянул Дагни бумаги. Она приступила к чтению.

Клинышек света лег на ее лицо, подчеркивая четкие очертания жесткого, чувственного рта. Потом она чуть отодвинулась в тень, оставив

на свету переносицу и опущенные темные ресницы.

«Разве не о тебе… — думал он. — Разве не о тебе мечтал я с самой первой встречи? О ком же еще? Все эти два года…»

Риарден, не шевелясь, смотрел на Дагни. В ушах его звучали слова, которых он никогда не позволял себе произнести даже в мыслях, слова, которые он *ощущал*, не позволяя им обрести форму, которые надеялся уничтожить, не позволяя им прозвучать в собственной голове. И теперь они полились внезапным, ужасавшим своей откровенностью потоком — он словно бы говорил их Дагни…

«С первой же нашей встречи… ни о чем, кроме твоего тела, твоих губ, твоих глаз, которые будут смотреть на меня, если… В каждой сказанной мною фразе, на каждом, таком невинном в твоих глазах, совещании, при всей важности обсуждавшихся нами вопросов… Ты ведь доверяла мне, правда? Признать твой дар? Видеть в тебе равного… думать о тебе как о мужчине?.. Неужели, по-твоему, я не представляю, что предал в своей жизни? Ты — единственное яркое событие в ней, единственный человек, которого я уважаю, лучший среди известных мне бизне-

сменов, мой союзник, мой партнер в отчаянной битве... Низменнейшее среди желаний — вот мой ответ на то высшее, что я встретил в жизни... Знаешь ли ты, что я собой представляю? Я думал об этом, потому что мое желание немыслимо. Эта унизительная потребность, которая не должна коснуться тебя... но я никого не хотел, кроме тебя... я не знал, что это такое, пока не увидел тебя. Я думал: только не я, меня этим не сломить... и с тех пор... уже два года... ни мгновения передышки... Знаешь ли ты, что это такое — хотеть? Не угодно ли тебе послушать, что я думал, глядя на тебя... лежа ночью без сна... узнавая твой голос в телефонной трубке, а потом, на работе, не умея прогнать его прочь?.. Низвести тебя до того, чего ты не можешь принять, и знать, что это я виноват в этом. Низвести тебя до плоти, дать тебе животное наслаждение, видеть, как ты нуждаешься в нем, видеть, как ты просишь его у меня, видеть удивительный дух скованным непристойной потребностью. Видеть тебя такой, какая ты есть, чистой, гордой, сильной, противостоящей миру, а потом видеть тебя в своей постели, покорной любой моей позорной прихоти, любому действию, которое я могу совершить, единственно для то-

го, чтобы полюбоваться твоим бесчестьем, и которому ты покоришься ради невыразимого удовольствия… Я хочу тебя — и проклинаю себя за это!..»

Дагни читала бумаги, откинувшись в полумраке — отблески пламени раскаленного металла ложились на ее волосы, перебегали на плечо, вниз по руке, к оголенной коже запястья.

«…Знаешь ли ты, о чем я думаю прямо сейчас?..

Твой серый костюм, расстегнутый воротничок… ты такая молодая, строгая, такая уверенная в себе… А если бы я сейчас обнял тебя, бросился на пол в этом официальном костюме, если бы задрал твою юбку…»

Дагни посмотрела на него. Риарден сидел, уткнувшись носом в разложенные на столе документы.

После небольшой паузы он произнес:

— Подлинная стоимость моста оказалась ниже нашей предварительной оценки. Учтите, что прочность сооружения позволяет по прошествии нескольких лет добавить вторую колею, которая, по моему мнению, очень скоро понадобится этому району страны. Если распределить стоимость на период в…

Риарден говорил, и в свете лампы Дагни разглядывала его лицо, вырисовывавшееся на фоне царившего в кабинете мрака. Лампа была закрыта от ее взгляда, и ей казалось, что это его лицо освещает лежавшие на столе бумаги. «*Его лицо*, — думала она, — *и эта холодная, полная света ясность голоса, ума, стремление к единственной цели. Лицо его подобно словам — единая тема, словно упорный взгляд глаз, пронизывает, проходит по впалым щекам, до чуть презрительных, обращенных вверх уголков рта, линией беспощадного аскетизма*».

* * *

День начался с известия о страшной катастрофе: товарный состав «*Атлантик Саусерн*» лоб в лоб столкнулся с пассажирским поездом в штате Нью-Мексико на резком повороте в горах, груженые вагоны разбросало по склону. В вагонах находилось пять тысяч тонн меди, отправленной из рудника в Аризоне на предприятие Риардена. Он лично звонил генеральному менеджеру «*Атлантик Саусерн*», однако добился только такого ответа: «Господи, мистер Риарден, ну как мы можем это сказать? Кто вообще может знать, сколько мы будем исправлять последствия

крушения? Худшего у нас, кажется, не было… не знаю, мистер Риарден. В этом районе нет других линий. Рельсы сорваны на протяжении двенадцати сотен футов. Был обвал. Наш ремонтный поезд не может пройти сквозь него. Я не знаю, поставим ли мы эти грузовые вагоны на рельсы, и когда это будет сделано. Раньше чем через две недели обещать не могу… За три дня? Это немыслимо, мистер Риарден!.. Но мы не можем этого сделать!.. Но вы же можете сказать своим клиентам, что такова воля Божия! Но ведь можно и опоздать с выполнением! В подобном случае никто вас не осудит!»

За следующие два часа с помощью секретаря и двоих молодых инженеров из его Транспортного отдела, карты дорог и телефонного аппарата, Риарден отправил к месту аварии армаду грузовиков и состав пустых вагонов, который должен был ожидать их на ближайшей станции «*Атлантик Саусерн*». Состав одолжили у «*Таггерт Трансконтинентал*». Грузовики собирали по трем штатам: Нью-Мексико, Аризоне и Колорадо. Инженеры Риардена обзвонили частных владельцев грузовых машин и пресекли все возражения предложенными деньгами.

Это была третья ожидавшаяся Риарденом пар-

тия меди; две предыдущие доставлены не были: одна из компаний закрылась, другая ссылалась на независящие от нее обстоятельства.

Риарден урегулировал дело, не прерывая приема посетителей, не повышая голоса, не обнаруживая признаков напряжения, неуверенности или смятения; он действовал с безошибочной точностью офицера, попавшего вместе со своим подразделением под внезапный огонь, — и Гвен Айвз, его секретарь, действовала как самый невозмутимый его помощник. Ей было уже под тридцать, и приятное, гармоничное лицо этой девушки чем-то напоминало безупречный образчик оборудования кабинета; она являлась одним из самых компетентных работников, и ее манера исполнять свои обязанности предполагала такую рациональную чистоту, что превращала любые проявленные на службе эмоции в непростительное нарушение морали.

Когда ситуация выправилась, она ограничилась единственным комментарием:

— Мистер Риарден, по-моему, мы должны попросить всех наших клиентов производить перевозки через «*Таггерт Трансконтинентал*».

— Я тоже подумываю об этом, — ответил Риарден и добавил: — Телеграфируйте Флемингу

в Колорадо. Пусть покупает медный рудник, который я выбрал.

Риарден вернулся за свой стол; он разговаривал со своим управляющим по одному телефону и коммерческим директором — по другому, сверяя даты и имеющиеся в наличии тонны руды, — нельзя было позволить случаю или чужой небрежности устроить задержку в работе печей даже на час. Шла плавка металла последних рельсов для «*Линии Джона Голта*», когда раздался звонок и голос мисс Айвз оповестил Риардена о том, что в приемной дожидается его мать, настаивающая на немедленной встрече с сыном.

Риарден требовал от своих родных, чтобы они никогда не являлись на завод без предварительного уведомления. Он был рад тому, что его предприятие было им ненавистно и они редко появлялись в его кабинете. И в данный момент он чувствовал сильнейшее желание выставить мать с территории, которую привык считать своей и только своей. Однако, сделав над собой усилие, большее, чем потребовалось ему на разрешение кризиса, вызванного катастрофой, он негромко ответил:

— Хорошо. Пусть войдет.

Матушка явилась в его кабинет в полной бо-

евой готовности. Она огляделась вокруг так, словно бы понимала, *что* именно означает для него это помещение, и весьма сожалела о том, что в жизни его есть нечто более важное, чем ее собственная персона. Она долго ерзала в кресле, старательно пристраивая и перекладывая сумочку и перчатки, и при этом жужжала:

— Хороши это порядочки, когда родной матери приходится ожидать в приемной и спрашивать у какой-то стенографистки разрешения увидеть собственного сына, который…

— Мама, у тебя важное дело? У меня сегодня нет ни минуты.

— Проблемы существуют не только у тебя. Конечно, у меня важное дело. Стала бы я ехать в такую даль, если бы оно не было важным?

— И в чем же оно заключается?

— Речь идет о Филиппе.

— Да?

— Филипп несчастен.

— Вот как?

— Он считает неправильным жить на твою милостыню и подачки, не имея за душой самостоятельно заработанного доллара.

— Хорошо! — проговорил Риарден с удивленной улыбкой. — Я все ожидал, что он, наконец,

поймет это.

— Чувствительному человеку неприятно находиться в таком положении.

— Безусловно.

— Рада слышать, что ты согласен со мной. Поэтому ты можешь сделать вот что: предоставить ему работу.

— Что… что?

— Ты должен предоставить ему работу у себя на заводе — конечно, чистую, хорошую, за письменным столом и с собственным кабинетом, при хорошем жалованье, подальше от твоих рабочих и вонючих печей.

Риарден понимал, что слышит эти слова собственными ушами, однако не мог поверить им.

— Мама, ты это серьезно?

— Безусловно. Мне известно, что именно этого он и хочет, только слишком горд, чтобы просить. Но если ты предложишь сам, причем так, как будто хочешь, чтобы он сделал тебе одолжение… тогда, я знаю, он с радостью согласится. Вот почему я должна была приехать к тебе сюда, чтобы он не догадался о моих намерениях.

Подобные вещи просто не укладывались в саму природу сознания Риардена. Мысли его сводились к одной-единственной, настолько оче-

видной, что не было понятно, как чьи-то глаза могут не заметить ее. Мысль вырвалась наружу в наивном восклицании:

— Но он ничего не понимает в сталеплавильном деле!

— А зачем ему это? Ему нужна просто работа.

— Но он не справится со своими обязанностями.

— Ему нужно добиться уверенности в себе и ощутить собственную значимость.

— Но от него не будет никакого толка.

— Он должен чувствовать себя необходимым.

— Здесь? Зачем он вообще может мне понадобиться?

— Ты же нанимаешь уйму всяких людей.

— Я нанимаю работников. Что может предложить мне он?

— Он ведь твой брат, правда?

— Какое это имеет отношение к делу?

Теперь уже она в свой черед онемела от потрясения. Какое-то мгновение мать и сын смотрели друг на друга, словно разделенные межпланетным расстоянием.

— Он твой брат, — повторила она голосом граммофонной записи магическую формулу, в которой не могла допустить ни малейше-

го сомнения. — Ему необходимо положение. Ему нужно жалованье, чтобы он воспринимал получаемые им деньги как положенные ему, а не как подаяние.

— Как *положенные* ему? Но он не принесет мне и пятицентовой монеты.

— И ты думаешь в первую очередь об этом? О собственной выгоде? Я прошу тебя помочь брату, а ты прикидываешь, как заработать на нем, и не намереваешься помогать ему, если это не принесет тебе дохода… так?

Заметив выражение его глаз, она отвернулась и поспешно заговорила, возвысив голос.

— Да, конечно, ты помогаешь ему — как любому уличному попрошайке. Материальная помощь — вот что ты знаешь и понимаешь. А думал ли ты когда-нибудь о его духовных потребностях и о том, как влияет его положение на уважение к самому себе? Он не хочет жить, как нищий. Он хочет быть независимым от тебя.

— Получая от меня в виде жалованья деньги, не заработанные собственным трудом, он не добьется независимости.

— Ты этого не заметишь. Тебя окружает достаточно людей, зарабатывающих для тебя деньги.

— Итак, ты просишь меня помочь инсцениро-

вать жульничество подобного рода?

— Не надо пользоваться такими словами.

— Если это не жульничество, то что же?

— Вот поэтому-то я и не могу разговаривать с тобой — потому что в тебе нет ничего человеческого. У тебя нет жалости, нет симпатии к родному брату, нет сочувствия к его переживаниям.

— Так это жульничество или нет?

— У тебя нет милосердия ни к кому.

— Неужели ты считаешь подобный обман справедливым?

— Ты самый аморальный среди всех людей на свете — тебя интересует только справедливость! В тебе нет ни капли любви!

Он встал, резким и решительным движением давая понять, что разговор закончен и посетительнице давно пора удалиться:

— Мама, я руковожу сталелитейным заводом, а не борделем.

— Генри! — негодование было вызвано только грубым словом, и ничем иным.

— И более не говори мне о работе для Филиппа. Я не поставлю его даже сбивать окалину. Я не пущу его на свой завод. И я хочу, чтобы ты поняла это раз и навсегда. Можешь пытаться помочь ему

всеми угодными тебе средствами, только не надо пытаться использовать для этого мой завод.

Морщины на ее мягком подбородке собрались в некое подобие насмешки:

— И что же такое, этот твой завод — храм, что ли?

— А что… пожалуй, да, — проговорил негромко Риарден, удивившись тому, что такая мысль еще не приходила ему в голову.

— Ты когда-нибудь думаешь о людях и о собственных моральных обязательствах перед ними?

— Я не знаю, что тебе угодно называть моралью. Да, я не думаю о людях. Только если я предоставлю место Филиппу, то не смогу посмотреть в глаза любому нормальному специалисту, нуждающемуся в работе и заслуживающему ее.

Мать Риардена встала. Втянув голову в плечи, с праведной горечью в голосе она обрушила на стройную статную фигуру сына последние аргументы:

— Причина всему этому лежит в твоей жестокости, в твоем низменном эгоизме. Если бы ты любил своего брата, то предоставил бы ему работу, которой он не заслуживает. Да, да, *именно потому*, что он не заслуживает ее, — в этом про-

явилась бы истинная любовь и братские чувства. Зачем тогда нужна любовь? Если человек достоин своей работы, нет никакой добродетели в том, чтобы ее ему дать. Добродетель — это когда тебе дают *незаслуженное* тобой.

Риарден смотрел на мать, как дитя на невиданное кошмарное видение, когда лишь неверие собственным глазам не позволяет покориться ужасу.

— Мама, — проговорил он неторопливо, — ты сама не ведаешь, что говоришь. Я никогда не сумею презирать тебя в достаточной мере, чтобы поверить в то, что ты действительно так считаешь.

Выражение на лице матери озадачило его более всего остального: к читавшемуся на нем поражению примешивалась странная, лукавая и циничная хитрость, словно бы осенившая ее на мгновение мирская мудрость смеялась над его невинностью.

Взгляд этот застыл в памяти Риардена как памятная отметка, указывающая на то, что он столкнулся с непонятным фактом, над которым еще следовало поразмыслить.

Однако Риарден не мог позволить себе отвлечься, не мог принудить свой ум счесть этот факт

достойным раздумий, не мог отыскать к нему никаких ключей, кроме непонятного смятения и отвращения, да и времени у него не было, он уже смотрел на следующего посетителя, сидевшего перед его столом, и слушал мольбу о помощи в смертельной опасности.

Человек этот не излагал свое дело подобным образом, однако Риарден понимал, что речь идет о жизни и смерти. Но на словах этот посетитель просил только пятьсот тонн стали.

Он — мистер Уард — возглавлял компанию «*Комбайны Уарда*» из Миннесоты.

Ничем не примечательная компания обладала безупречной репутацией и принадлежала к тому типу предприятий, которые редко вырастают в крупную компанию, но никогда не разоряются. Мистер Уард был представителем четвертого поколения семьи, владевшей компанией и руководившей ею в меру тех способностей, которыми были наделены ее члены.

Это был мужчина, которому перевалило за пятьдесят, с широким флегматичным лицом. Одного взгляда на него было достаточно, чтобы понять: человек этот считает любое открытое проявление своего страдания столь же непристойным, как и появление нагишом на публике.

В сухой, деловой манере он объяснил, что всегда имел дело — как и его отец — с одной из небольших сталелитейных компаний, которая теперь оказалась поглощенной «*Ассошиэйтед Стил*» Оррена Бойля. Последней заказанной партии металла он ждал уже целый год и потратил последний месяц на попытки попасть на прием к Риардену.

— Я понимаю, что ваше предприятие работает с предельной нагрузкой, мистер Риарден, — сказал Уард. — Я знаю, что вы не в состоянии думать о новых заказах, когда вашим крупнейшим и старым заказчикам приходится дожидаться своей очереди у единственного пристойного — то есть надежного — поставщика стали, оставшегося во всей стране. Я не знаю, что может сподвигнуть вас сделать для меня исключение. Но мне не остается ничего другого, разве что навсегда закрыть ворота своего завода, а я… — тут голос его чуть дрогнул, — …не могу представить себе, как это сделать… пока еще… поэтому я решил переговорить с вами, невзирая на то, что у меня почти нет никаких шансов… тем не менее я должен был испробовать все возможности.

Такой язык Риардену был понятен.

— Мне бы хотелось помочь вам, — прогово-

рил он, — но вы выбрали наихудшее время для просьб, поскольку я выполняю очень большой, особый заказ, имеющий для меня несомненный приоритет.

— Я знаю. Но может быть, вы выслушаете меня, мистер Риарден?

— Конечно.

— Если дело в деньгах, я заплачу столько, сколько вы запросите. Если я могу заинтересовать вас таким образом, что ж, возьмите с меня столько, сколько посчитаете нужным, возьмите двойную цену, только дайте мне сталь. В этом году я могу продавать свои комбайны в убыток себе, чтобы только не закрывать завод. Мне хватит имеющихся средств, чтобы торговать в убыток пару лет, если это окажется необходимым, потому что, как я полагаю, дела не могут оставаться в подобном состоянии слишком долгое время, они должны пойти на поправку, должны наладиться, иначе… — не договорив, Уард твердым тоном заявил: — Они не могут не исправиться.

— Не могут, — согласился Риарден.

Мысль о «*Линии Джона Голта*» не оставляла его — как созвучие слов, внушающее лишь уверенность. Строительство дороги продвигалось вперед. Нападки на его металл прекратились.

Ему казалось, что, разделенные многомильным расстоянием, он и Дагни Таггерт видят ныне новый горизонт, не имеющий препятствий, чтобы закончить работу. «Они оставят нас в покое», — думал он. Слова эти звучали боевым гимном: нас оставят в покое.

— Производительность моего завода составляет тысячу комбайнов в год, — продолжил мистер Уард. — В прошлом году мы выпустили три сотни. Я собирал сталь по распродажам банкротов, выпрашивал по нескольку тонн в крупных компаниях, просто рыскал по самым неожиданным местам, как мусорщик… ну, не буду докучать вам этим рассказом, только признаюсь, что никогда не думал дожить до того времени, когда мне придется вести дела подобным образом. И все это время мистер Оррен Бойль клялся и божился, что поставит мне сталь на будущей неделе. Однако все, что ему удавалось прокатать, по никому не известным причинам отправлялось к его новым клиентам… я, правда, слышал шепоток, что все эти люди пользуются некоторым политическим влиянием. А теперь я просто не в состоянии пробиться к мистеру Бойлю. Он уже целый месяц сидит в Вашингтоне. И вся его контора дружно твердит мне, что не в силах

ничем помочь, потому что у них нет руды.

— Не стоит тратить на них время, — фыркнул Риарден, — от этой компании ничего не добьешься.

— Понимаете, мистер Риарден, — сказал Уард тоном, полным недоверия к собственному открытию, — по-моему, есть что-то нечистое в том, как мистер Бойль ведет свое дело. Я не понимаю, чего ему нужно. Половина его печей простаивает, однако в прошлом месяце об «*Ассошиэйтед Стил*» писали во всех газетах. И вы думаете о том, сколько они выпустили стали? Нет, там говорилось о тех домах, которые мистер Бойль только что построил для своих рабочих. На прошлой неделе в кино показывали цветной киножурнал о том, как мистер Бойль послал своих представителей во все институты показывать, как разливают сталь и какую роль этот металл играет в жизни человека. Кроме того, мистер Бойль обзавелся радиопрограммой, на которой постоянно идут разговоры о том, насколько сталелитейная промышленность важна для страны… они все твердят, что мы должны сохранить ее целиком. Я не понимаю, что он хочет сказать этим словом… *целиком*?

— А я понимаю. Не думайте об этом.

Ему не удастся.

— Знаете ли, мистер Риарден, мне не нравятся люди, которые постоянно уверяют нас в том, что делают все ради блага ближних и дальних. Это совсем не так, и мне не кажется, что подобная идея верна, даже если бы они не лгали. И поэтому я скажу, что сталь мне нужна для того, чтобы спасти собственное дело. Потому что оно *мое*. Потому что, если мне придется закрыть его… впрочем, в наши дни этим никого не проймешь.

— Я понимаю вас.

— Да… Да, вы должны это понимать… И меня в первую очередь заботит этот факт. Но, кроме того, у меня есть и свои клиенты. Они много лет работали со мной. Они рассчитывают на меня. Ведь в наши дни практически невозможно достать любую машину. Сами понимаете, что случится там, в Миннесоте, когда у фермеров не будет инструментов, когда машины станут ломаться посреди уборочной кампании, когда исчезнут запасные части, не будет новых комбайнов… ничего не будет, кроме цветной хроники мистера Оррена Бойля… Ладно… Кроме того, на меня работают люди. Причем некоторые работали еще у моего отца. Им не найти себе другого места. Во всяком случае, сейчас.

«Невозможно, — подумал Риарден, — выжать дополнительное количество стали, если каждая печь, каждый час ее работы и каждая тонна стали расписаны наперед на шесть месяцев для срочных заказов. Однако… *“Линия Джона Голта”»*, — напомнил он себе. Если он сумеет закончить ее, то сможет сделать все, что угодно… Он едва ли не ощущал в себе желание немедленно взяться за разрешение еще десятка проблем. Ему казалось, что в этом мире для него нет ничего невозможного.

— Вот что, — произнес он, протягивая руку к телефонной трубке, — позвольте мне связаться со своим управляющим и узнать, какие заказы мы выполняем в ближайшие несколько недель. Быть может, мы сумеем занять по нескольку тонн металла от разных заказов и…

Мистер Уард торопливо отвернулся, однако Риарден успел заметить выражение его лица. «Как много значит для этого человека такая малость с моей стороны», — подумал Риарден.

Он поднял трубку, но тут же выронил ее, потому что дверь кабинета распахнулась, и в нее влетела Гвен Айвз.

Подобное нарушение порядка со стороны мисс Айвз казалось немыслимым, как и непривычная

буря чувств на ее обыкновенно спокойном лице, как и ничего не видящий взгляд, как и вдруг сделавшаяся неуверенной походка. Она пролепетала:

— Простите меня за вторжение, мистер Риарден, — и он понял, что она не видит кабинета, не видит мистера Уарда, не видит ничего, кроме него. — Я подумала, что должна сообщить вам о том, что законодательные власти только что приняли Закон справедливой доли.

Глядя на Риардена, невозмутимый мистер Уард воскликнул:

— О боже, нет! Нет, только не это!

Риарден вскочил на ноги и замер, неестественно согнувшись, выставив одно плечо вперед. Пауза затянулась только на мгновение. Потом он огляделся и, словно зрение только что вернулось к нему, произнес:

— Простите меня, — охватив взглядом сразу мисс Айвз и мистера Уарда, и опустился обратно в кресло.

— Но нас ведь не информировали о том, что закон вынесен на голосование, так ведь? — спросил он сухим, полностью контролируемым тоном.

— Нет, мистер Риарден. Ход был сделан неожиданно, и на голосование ушло всего сорок пять

минут.

— Это вам Моуч сообщил?

– *Нет*, мистер Риарден, — она подчеркнула голосом отрицание. — Это сделал посыльный с пятого этажа, прибежавший, чтобы сообщить мне о том, что минуту назад услышал это по радио. Я позвонила в газеты, желая получить подтверждение. Я попыталась дозвониться в Вашингтон до мистера Моуча, но его кабинет не отвечает.

— Когда он в последний раз давал о себе знать?

— Десять дней назад, мистер Риарден.

— Хорошо. Благодарю вас, Гвен. Постарайтесь дозвониться до него.

— Да, мистер Риарден.

Она вышла. Мистер Уард был уже на ногах со шляпой в руках. Он пробормотал:

— Полагаю, что мне лучше…

— Сядьте! — рявкнул Риарден.

Мистер Уард уныло повиновался.

— Мы, кажется, не закончили наше дело? — проговорил Риарден. Мистер Уард не смог бы охарактеризовать чувство, искажавшее сейчас рот Риардена. — Мистер Уард, и за что же эти грязные ублюдки так ненавидят нас? Ах да, за девиз «Бизнес — прежде всего». Ну что ж, бизнес — прежде всего, мистер Уард!

Подняв телефонную трубку, он попросил соединить его с управляющим.

— Привет, Пит… Что?.. Да, я слышал. Оставь. Поговорим об этом потом. А сейчас я хочу знать, не сможешь ли ты выделить мне сверх плана пятьсот тонн стали в ближайшие несколько недель?.. Да, я знаю… понимаю, что это сложно… назови мне даты и цифры. — Он слушал, торопливо делая пометки на листке бумаги. Сказав, наконец: — Хорошо. Спасибо тебе, — Риарден повесил трубку.

Несколько мгновений он изучал цифры, а потом принялся подсчитывать на краешке листка. Подняв голову, он произнес:

— Вот так, мистер Уард. Вы получите свою сталь через десять дней.

Когда мистер Уард удалился, Риарден вышел в приемную.

Обратившись к мисс Айвз, он сказал ровным голосом:

— Дайте телеграмму Флемингу в Колорадо. Отбой по покупке рудника. Он поймет, почему мне пришлось отказаться от этого приобретения.

Не глядя на него, та склонила голову в знак повиновения.

Риарден повернулся к следующему посетителю

и, жестом приглашая в кабинет, промолвил:

— Здравствуйте. Входите.

Обмозгую все позже, подумал он; человек идет вперед, совершая шаг за шагом, и он не должен останавливаться. На какое-то мгновение в сознании его с неестественной ясностью, с жестокой простотой, едва ли не облегчавшей положение, осталась одна мысль: *это не должно остановить меня*. Фраза эта висела в мозгу, не имея прошлого и будущего. Он не думал о том, что именно не должно остановить его или почему эти слова превратились в столь критический абсолют. Она полностью завладела его сознанием, Риардену же оставалось только повиноваться. И он продолжил свое движение, делая шаг за шагом. Запланированные на день посетители один за другим сменяли друг друга.

Было уже поздно, когда последний посетитель покинул его кабинет, и Риарден снова вышел в приемную. Его люди уже разошлись по домам. Лишь мисс Айвз сидела за своим столом в опустевшем помещении. Она сидела с прямой спиной, стиснутые ладони лежали на коленях. Она держала голову прямо, не позволяя ей опуститься, лицо ее словно окаменело. По щекам бежали слезы — против воли, беззвучно, вопреки

всем усилиям.

Заметив его, она произнесла сухо и виновато «простите-меня-мистер-Риарден», даже не попытавшись скрыть своего лица.

Приблизившись к ней, он негромко сказал:

— Благодарю вас.

Удивленная Гвен повернулась к нему.

Риарден улыбнулся:

— Вам не кажется, что вы недооцениваете меня, Гвен? Что меня еще рано оплакивать?

— Я могла бы примириться со всем остальным, — прошептала она, указывая на лежавшие перед ней газеты, — но они называют это победой антижадности.

Риарден расхохотался:

— Я понимаю, что подобное насилие над английским языком может разъярить кого угодно. Но есть ли что-то еще?

Она снова посмотрела на него, уже более спокойно. Тот, кого она не могла защитить, был для нее единственной точкой опоры в распадавшемся вокруг мире.

Риарден ласково провел рукой по ее волосам; подобные нарушения делового этикета не были в его стиле: он просто молча признавал то, над чем *нельзя* было смеяться:

— Идите домой, Гвен. Сегодня вы больше мне не понадобитесь. Я сам намереваюсь вот-вот отправиться к себе. Нет, я не хочу, чтобы вы меня ждали.

Было уже за полночь, когда, все еще сидя за столом над чертежами моста для «*Линии Джона Голта*», он вдруг бросил работу, покорившись внезапному уколу чувств, которых он не мог более избегать, как если бы прекратилось действие какой-то анестезии. Плечи его опустились; сопротивляясь накатившей слабости, Риарден привалился грудью к столу, стараясь удержать над ним голову — так, словно только это отделяло его от капитуляции. Замерев на несколько мгновений, он не ощущал ничего, кроме боли, обжигающей боли, не знающей ни предела, ни пощады… муки, одолевшей душу, тело, разум.

Впрочем, скоро все закончилось. Он поднял голову и сел прямо, чуть откинувшись назад на спинку своего кресла. Теперь Риарден понимал, что весь день интуитивно старался отсрочить это мгновение, но отнюдь не из нерешительности: он даже не думал о нем, ведь думать было попросту не о чем.

Мысль — напомнил он себе — есть оружие, которое используют для действия. Но действия

были невозможны. Мысль — это средство выбора. Но никакого выбора ему не оставили. Мысль устанавливает цель, равно как и способ достижения ее. И сейчас, когда, кусок за куском, из него вырывали саму жизнь, он не мог протестовать, не мог найти цели, способа, защиты…

Риарден был подавлен и растерян. Он впервые понял, что никогда не знал страха, так как в любом несчастье прибегал ко всесильному средству — способности действовать. Нет, думал он, речь идет не об уверенности в победе (кто может быть уверен в ней до конца?), просто о *возможности* действовать, кроме которой не нужно ничего другого. И теперь он испытывал, впервые за всю свою жизнь, истинный ужас, самую суть его: его разоряли, предварительно связав ему руки за спиной.

Что ж, сказал он себе, надо идти со связанными руками. Идти, даже в оковах. Иди вперед. *Это не должно остановить тебя…* Но другой голос напоминал о вещах, о которых он не желал даже слышать, которые гнал от себя, протестуя: «Зачем тебе все это нужно… какая от этого польза… чего ради?.. наплюй!»

Но он не мог этого сделать. Сидя над чертежами моста для «*Линии Джона Голта*», он прислуши-

вался к внутреннему голосу, подсовывавшему ему то звуковые, то зрительные образы: решение было принято без него… его не позвали, его не спросили, не дали ему высказаться… они не дали себе труда даже известить его — сказать, что отсекли от него целую часть жизни, и что теперь он должен передвигаться, подобно калеке… Из всех заинтересованных лиц — кем бы они ни были и какие бы цели ни ставили, — не учли мнения лишь его одного.

Вывеска из далекого прошлого оповещала: *Руда Риардена*. Она висела над длинными штабелями черного металла… над годами и ночами… над часами, отсчитывающими капли его крови… которую он отдавал охотно, с восторгом, расплачиваясь за тот далекий день и вывеску над дорогой… расплачиваясь своим усердием, силами, разумом, надеждами.

И все это разрушено по прихоти каких-то людей, которые просто сели и проголосовали… кто знает, чьим интересам повинуясь?.. И кому ведомо, чья воля наделила их властью?.. Какие ими двигали мотивы… Что знали они?.. Кто из них смог бы без посторонней помощи извлечь из земли просто глыбу руды?.. А теперь он разорен по воле тех, кого он никогда в жизни не видел,

тех, кто в жизни не видел этих штабелей металлических слитков… разорен, потому что они так решили. *По какому праву?*

Риарден тряхнул головой. Есть вещи, над которыми лучше не задумываться. Зло непристойно в своем обличье, и вид его оскверняет. Есть предел тому, *что* может видеть человек. И он не должен думать о нем, не должен вглядываться внутрь, не должен докапываться до корней.

На него снизошли спокойствие и пустота; он напомнил себе, что завтра будет в полном порядке. Он простит себе проявленную ночью слабость — слезы позволительны лишь на похоронах — и научится жить с открытой раной, то есть с изувеченной фабрикой.

Риарден встал и подошел к окну. Завод казался пустым и тихим; над черными трубами угадывались красноватые отблески, длинные струи пара соседствовали с диагональными сетками мостовых кранов.

Его терзало отчаянное одиночество, какого он еще никогда не знал в своей жизни.

Он подумал, что Гвен Айвз и мистер Уард обращаются к нему за надеждой, утешением, за новой отвагой. А у кого мог почерпнуть все эти добродетели *он*? Сегодня они были необходимы ему

самому как воздух. Он пожалел, что у него нет друга, которому можно было бы доверить свои страдания, не ища при этом у него защиты, на которого можно было опереться в любой момент, просто сказать: «Я так устал» — и обрести мгновение отдыха. Так кого же сейчас из всех на свете он хотел бы увидеть рядом с собой? Шокирующий своей откровенностью ответ немедленно прозвучал в его мозгу: Франсиско д'Анкония.

Гневный смешок вернул его к делам. Сама абсурдность ситуации заставила его успокоиться: так бывает со всяким, подумал Риарден, кто позволяет себе излишне расслабиться.

Стоя у окна, он попытался прогнать из головы все мысли. Однако слова возвращались к нему: *Руда Риардена… Уголь Риардена… Сталь Риардена… Риарден-металл…* Зачем? Зачем он делал все это? Зачем он хочет делать что-то еще?..

Первый день на ступенях рудничного разреза… День был ветреный, он стоял тогда и рассматривал руины сталелитейного завода… А потом — другой день, когда он стоял возле этого окна и старался представить себе мост, способный принять невероятную нагрузку на несколько металлических балок, если соединить их аркой, если поставить диагональную связку с изогну-

тыми…

Риарден замер на месте. *В тот день ему не пришло в голову соединить связку балок с аркой.*

И уже в следующее мгновение он оказался за столом и, став на одно колено, согнулся над ним; не имея времени сесть, он рисовал прямые и кривые линии, чертил треугольники, торопливо вычислял — на синьках чертежей, прямо на пресс-папье, на чьих-то письмах.

Спустя час он уже звонил по междугородному, ждал, пока зазвонит телефон возле постели в железнодорожном вагоне, говорил, почти кричал:

— Дагни! Я насчет нашего моста… выбрось в корзину все чертежи, которые я прислал вам… Что?.. Ах, это? Пошли их к черту! Незачем обращать внимания на грабителей и их законы! Забудь о них! Дагни, что они нам с тобой! Послушай, помнишь балку, которую ты назвала «балкой Риардена» и так ею восхищалась? Она не стоит и ломаного гроша. Я придумал балку, которая превосходит все, когда-либо существовавшее! Твой мост выдержит четыре поезда сразу, простоит три сотни лет и обойдется тебе дешевле водопроводной трубы. Уже через два дня я пришлю новые чертежи, но вот, не удержался, решил сообщить прямо сейчас. Все просто,

надо соединить арки в пучок. Если связать их диагональной оплеткой… Что?.. Не слышу… Ты не простудилась?.. За что ты меня благодаришь? Подожди, сейчас я все объясню…

ГЛАВА VIII. ЛИНИЯ ДЖОНА ГОЛТА

Рабочий улыбнулся Эдди Уиллерсу, сидевшему напротив него за столиком.

— Я чувствую себя здесь беглецом, — проговорил Эдди. — Наверно, ты знаешь, почему меня не было несколько месяцев? — Он кивнул в сторону кафельной стены подземного кафетерия. — Теперь я считаюсь вице-президентом. Вице-президентом, начальником производственного отдела. Только, ради бога, не принимай этого всерьез. Я крепился, пока хватало сил, но потом пришлось сбежать, пусть и всего на один вечер… Когда я первый раз явился сюда обедать после моего, так сказать, повышения, все смотрели на меня такими глазами, что я не осмелился прийти сюда снова. Ладно, пусть себе глазеют. С тобой не так. Я рад, что тебе это безразлично… Нет, я не видел ее две недели. Но каждый день разговариваю с ней по телефону, иногда даже по два раза… Да, я знаю, каково ей там, но она любит свое дело. Что мы слышим в телефонной трубке — звуковые вибрации, так ведь? Так вот, ее голос звучит в трубке так, словно превращается в пульсацию света — если ты понимаешь

меня, конечно. Ей радостна эта страшная битва, одинокая и победоносная… О да, она побеждает! Знаешь, почему в последнее время в газетах ничего не слышно о «*Линии Джона Голта*»? Потому что дела на ней идут хорошо… Только… лучшей колеи, чем из риарден-металла, еще не существовало на свете, но какая будет от нее польза, если нам не хватит достаточно мощных двигателей, чтобы мы могли воспользоваться ее преимуществами? Посмотри на эти латаные-перелатаные угольные паровозы, которые у нас остались, — они тащатся, как старый трамвай… Однако надежда осталась. Фирма «*Юнайтед Локомотив*» обанкротилась. За последние недели для нас не было более радостного события, потому что завод ее купил Дуайт Сандерс, блестящий молодой инженер, которому принадлежал лучший авиационный завод в стране. Чтобы стать владельцем «*Юнайтед Локомотив*», ему пришлось продать свой авиационный завод брату. Кстати, из-за Закона справедливой доли. Конечно, все сделано по договоренности между ними, но кто станет винить его? Во всяком случае, мы, наконец, получим от «*Юнайтед Локомотив*» свои дизеля. Дуайт Сандерс сдвинет дело с мертвой точки… Да, она рассчитывает на него. Почему ты это

спрашиваешь?.. Да, в данный момент он особенно важен для нас. Мы только что подписали с ним контракт на первые же выпущенные заводом дизельные тепловозы. Когда я позвонил ей, чтобы сообщить о том, что контракт подписан, она рассмеялась и сказала: «Ну, видишь теперь? Разве можно чего-нибудь бояться?..» Она сказала так, потому что знает, — я никогда не говорил ей, но она знает, — что я боюсь… Да, я боюсь… не знаю… я не боялся бы, если бы знал причину, тогда можно было бы что-нибудь сделать. Но это… скажи-ка, а ты не презираешь меня за то, что я стал вице-президентом?.. Разве ты не понимаешь, что это несправедливо?.. Да какая там честь?! Я не знаю, что представляю собой на самом деле: шута, привидение, дублера или просто глупую марионетку. А когда я сижу в ее кабинете, в ее кресле, за ее столом, я чувствую себя еще хуже: я ощущаю себя убийцей… Да нет, я понимаю, что замещаю ее — и это действительно честь –…но отчего-то, непонятным для меня способом, я оказываюсь дублером и Джима Таггерта. Ну зачем ей понадобилось оставлять заместителя? Почему ей потребовалось прятаться? Почему они выставили ее из конторы? Ты знаешь, что ей пришлось перебраться в засиженную мухами

дыру, напротив нашего входа в отдел почты и багажа? Загляни как-нибудь, увидишь, как выглядит офис фирмы «*Джон Голт*». Тем не менее всем известно, что это она по-прежнему руководит «*Таггерт Трансконтинентал*». Почему ей приходится прятать то великолепное дело, которым она занимается? Почему они не уважают ее? Почему крадуту нее достижения — а я исполняю роль перекупщика краденого? Почему они делают все, что в их власти, чтобы помешать ее успеху, когда она, и только она, спасает их от разорения? Почему они в благодарность за спасение мучают ее?.. Ну, что это ты? Почему ты смотришь на меня такими глазами?.. Да, по-моему, ты все понимаешь… Во всем этом деле есть нечто непонятное для меня, нечто злое. Вот поэтому-то я и боюсь… Я не думаю, что все так просто уляжется… А знаешь, как ни странно, мне кажется, что это понимают и они сами — Джим, его дружки, все, кто остался в здании. В нем повсюду чувствуются вина и подлость. Вина, подлость и мертвечина. «*Таггерт Трансконтинентал*» теперь уподобилась человеку, который потерял свою душу… который предал ее… Нет, это ее не волнует. Она нагрянула ко мне, когда в последний раз приезжала в Нью-

Йорк, — я был в своем кабинете, в ее кабинете то есть, — и вдруг дверь открылась, и она вошла. Вошла и говорит: «Мистер Уиллерс, я ищу место дежурного по станции, не предоставите ли вы мне такой шанс?» Я хотел было обругать их всех, но пришлось расхохотаться: я был рад видеть ее, потом она так весело смеялась. Она явилась прямо из аэропорта, в брюках и летной куртке — выглядела прекрасно. Лицо было обветренное, но в остальном словно вернулась из отпуска. Она заставила меня остаться на ее месте, то есть в ее кресле, села на стол и принялась рассказывать о новом мосте «*Линии Джона Голта*»… Нет. Нет, я никогда не спрашивал ее о том, почему она выбрала именно это название… Не знаю, что оно говорит ей. Какой-то вызов, насколько я могу понять… Только не знаю, кому… Ну это ничего не значит, совершенно ничего, никакого Джона Голта не существует, однако мне не хотелось бы, чтобы она пользовалась им… А тебе? Что-то в твоем голосе не слышно особой радости.

* * *

Окна конторы «*Линии Джона Голта*» выходили в темный переулок.

От своего стола Дагни не могла видеть небо:

боковая стена огромного небоскреба «*Таггерт Трансконтинентал*» закрывала ей все поле зрения.

Теперь ее штаб-квартира представляла собой две комнаты, располагавшиеся на первом этаже вконец обветшавшего дома. Он еще не начал рушиться, однако верхние этажи были заколочены как небезопасные для проживания. Здание это являлось приютом полубанкротов, существовавших, как и само оно, благодаря инерции прошлого.

Новое место ей нравилось: оно позволяло сэкономить деньги. В комнатах не было ни лишней мебели, ни лишних людей. Мебель привезли из магазинов старья. Люди были отборными, лучших найти она не могла. Во время редких наездов в Нью-Йорк Дагни не хватало времени разглядывать комнату, в которой она работала; она замечала только то, что помещение отвечало своему назначению.

Дагни не знала, что заставило ее в тот день остановиться у окна и смотреть на тонкие струйки дождя на стекле, на стену дома на другой стороне переулка.

Перевалило за полночь. Горстка ее сотрудников уже разошлась по домам. К трем часам утра

ей нужно было оказаться в аэропорту, чтобы вернуться на своем самолете в Колорадо. Особых дел уже не оставалось, нужно было только дочитать отчеты Эдди. Внезапно поняв, что торопиться нет никакой необходимости, она остановилась, давая себе немного отдохнуть. Чтение отчетов требовало напряжения, на которое сегодня она уже не была способна. Ехать домой и ложиться спать — слишком поздно, отправляться в аэропорт — рановато. Подумав: «Ну и устала же ты», — Дагни с презрением к себе стала с нетерпением ждать, когда это ее мерзкое настроение, наконец, пройдет. Скорей бы уж…

Она прилетела в Нью-Йорк неожиданно, повинуясь внезапному порыву; в своем самолете она оказалась через двадцать минут после того, как услышала короткий абзац в передаче новостей. Радио сообщило, что Дуайт Сандерс внезапно, без объяснения причин, отошел от дел. И она поспешила в Нью-Йорк, надеясь отыскать его и отговорить.

Однако, пересекая по воздуху континент, она думала, что не найдет уже и следа этого человека.

Весенний дождь висел за окном недвижной дымкой тумана. Дагни смотрела на разверстую

пещеру почтово-багажного отдела вокзала «*Таггерт*», или, как его теперь стали именовать, терминала. Внутри, среди стальных балок потолка, горели лампочки, на истертом бетонном полу в несколько штабелей был уложен багаж. Отдел казался вымершим.

Дагни посмотрела на трещину, зигзагом протянувшуюся по стене ее кабинета. Вокруг не слышалось ни звука. Она понимала, что осталась одна среди руин этого здания. Здесь нетрудно было вообразить, что кроме нее во всем городе никого не осталось. На нее нахлынуло чувство, с которым она боролась не один год: чувство одиночества, куда большего, чем просто это мгновение, чем царящее в комнате безмолвие, чем сырая и безлюдная улица, — одиночества серой пустоши, одиночества, в котором нет цели, достойного стремления к ней; одиночества ее детства.

Поднявшись, она подошла к окну. Прижав лицо к стеклу, Дагни смогла увидеть все здание «*Таггерт*», стены которого сходились к далекой башенке, упиравшейся, казалось, в самое небо. Она посмотрела на темное окно комнаты, прежде служившей ей кабинетом. Она ощущала себя в ссылке, из которой не возвращаются, — слов-

но бы от здания этого ее отделяло нечто большее, чем тонкий лист оконного стекла, полог дождя и считанные месяцы.

Дагни стояла в комнате, со стен которой осыпалась штукатурка, прижавшись лицом к оконному стеклу, разглядывая недостижимые очертания всего, что она любила. Она не понимала природы своего одиночества. Его можно было описать только так: *это не тот мир, в котором я хотела бы жить*.

Когда-то, в шестнадцать лет, вглядываясь в длинную колею линии *Таггерт*, сходившуюся — как и очертания небоскреба — в одну, находящуюся где-то вдали точку, она сказала Эдди Уиллерсу, что ей всегда казалось, будто рельсы эти держит в своей руке человек, находящийся где-то за горизонтом, — нет, не ее отец и не один из его сотрудников, — и однажды она встретится с ним.

Тряхнув головой, Дагни отвернулась от окна.

Она вернулась к столу, потянулась к отчетам, но вдруг обнаружила, что лежит грудью на столе, положив голову на руку. Не надо, не поддавайся, подумала она, но даже не шевельнулась, не попыталась распрямиться: какая разница?.. ее ведь сейчас все равно никто не видит…

Дагни никогда не позволяла себе признать свое самое страстное желание.

И теперь оно вновь навалилось на нее. Дагни подумала: если на то, что предлагает ей мир, она отвечает любовью, если она любит эти рельсы, это здание и не только их, если она любит в себе саму любовь к ним — остается еще одно чувство, величайшее среди всех прочих, которое она пропустила. Она думала: надо найти такое чувство, которое суммирует все, что любила она на земле, которое явится *окончательным* выражением этой любви… надо найти ум, подобный ее собственному, ум, способный стать смыслом ее мира, так же как она станет смыслом его мира… Нет, это не будет Франсиско д'Анкония или Хэнк Риарден, или кто-то из тех мужчин, которых она встречала или которыми восхищалась… Человек этот существовал лишь в ее *желании* испытать это чувство, а она еще ни разу не переживала его, хотя отдала бы жизнь за то, чтобы пережить… Припав грудью к столу, Дагни томно шевельнулась; томление это переполняло все ее тело.

«И ты хочешь только этого? Неужели все так просто?» — подумала она, прекрасно понимая, что все как раз много сложнее. Между ее любовью к своей работе и желанием плоти, словно бы

одно давало ей право на другое, существовала неразрывная связь, сообщая и тому, и другому целостность и смысл, становясь *завершением*… соответствовать которому мог лишь равный ей человек.

Припав лицом к руке, она шевельнулась, медленно покачав головой. Она никогда не найдет его. И ее представление о жизни, какой она должна быть, останется единственным видением того мира, в котором она хотела бы существовать. Видением, мыслью и теми редкими мгновениями, которые иногда посещали ее на жизненном пути, чтобы знала их, ценила их и следовала им до самого конца…

Дагни подняла голову.

За окном, на мостовой переулка, лежала тень человека, стоявшего перед дверью ее конторы.

Сама дверь находилась в нескольких шагах в стороне; Дагни не видела его, не видела уличного фонаря — только лежавшую на брусчатке тень. Человек стоял, не шевелясь.

Он стоял прямо у двери так, как если собирался войти, и она уже ожидала услышать стук. Но тень вдруг дернулась, потом повернулась и чуть отошла. Когда человек снова замер, на земле остались только контуры плеч и полей шляпы.

Затем тень опять дрогнула и выросла вновь, вернувшись назад.

Дагни не ощущала страха. Она недвижно застыла за столом, выжидая. Мужчина недолго постоял возле двери, а потом отступил назад; он оказался посреди переулка, сделал несколько нервных шагов и снова остановился. Тень его качалась по мостовой каким-то неровным маятником, свидетельствовавшим о течении беззвучной битвы: человек этот боролся с собой, не решаясь ни войти в дверь, ни уйти прочь.

Дагни наблюдала за происходящим почти отстраненно. У нее не было сил действовать, она могла только смотреть. Словно бы из какой-то дали она гадала: «Кто этот человек? Неужели он следит за ней из темноты? Видел ли он ее в освещенном, не занавешенном окне, одинокую, привалившуюся к столу? Следил ли он за ее отчаянным одиночеством так, как теперь она наблюдает за его душевной борьбой?» Она ничего не чувствовала.

Они были вдвоем посреди безмолвного, мертвого города — ей казалось, что человек этот в милях от нее и воплощает свое безымянное страдание… уцелевший собрат, чьи проблемы так же далеки от нее, как далеки от него ее трудности.

Он отошел, исчезнув за стеной, потом снова вернулся. Дагни выжидала, рассматривая мокрую блестящую мостовую — тень неведомой муки.

Тень вновь отодвинулась. Дагни ждала. И тень не возвратилась.

Тут она вскочила на ноги. Ей нужно было знать результат битвы; теперь, когда неизвестный выиграл — или проиграл — свое сражение, ее обожгло внезапное, срочное желание выяснить, кто этот человек, и понять причину его нерешительности. Пробежав через темную приемную, она распахнула дверь и выглянула наружу.

В переулке было пусто. Мостовая, сужаясь, уходила вдаль, напоминая мокрое зеркало, над которым горели несколько огоньков. Людей поблизости не было. Взгляд Дагни остановился на темной бреши разбитого окна в заброшенном магазине. Позади него начинались двери нескольких жилых домов. Напротив струи дождя блестели в лучах фонаря над черным жерлом открытой двери, уводившим вниз, к подземным тоннелям «*Таггерт Трансконтинентал*».

* * *

Риарден расписался в бумагах, передвинул их через стол и отвернулся, желая никогда более

не вспоминать о них, а еще лучше — перенестись в будущее, к тому времени, когда мгновение это изгладится из его памяти.

Пол Ларкин нерешительно протянул руку к документам; беспомощность его казалась полной лести.

— Хэнк, это всего лишь юридическая формальность, — проговорил он. — Ты же знаешь, я всегда буду считать эти рудники твоими.

Риарден неторопливо покачал головой: чуть шевельнулись мускулы шеи, лицо же осталось практически неподвижным; он вообще вел себя так, словно Ларкин был ему не знаком.

— Нет! — сказал он. — Собственность или принадлежит мне, или нет.

— Но… ты же знаешь, что можешь доверять мне. Тебе не придется беспокоиться относительно поставок руды. Мы заключим договор. Можешь полностью на меня рассчитывать.

— Пока не знаю… Надеюсь, что могу.

— Но я дал тебе слово!

— Никогда не полагаюсь на милость чьего-либо слова.

— Но почему… почему ты говоришь все это? Мы же друзья. И я сделаю все, что тебе нужно. Ты получишь все, что я буду добывать. Рудни-

ки по-прежнему принадлежат тебе и не стали ничуть хуже. Тебе нечего опасаться. Я… Хэнк, в чем дело?

— Зачем эти слова?

— Но… но в чем все-таки дело?

— Я не люблю заверений. Не нужно рассказывать, как мне стало теперь хорошо. Это не так. Мы заключили соглашение, которого я не могу расторгнуть. И мне хочется, чтобы ты знал: я в полной мере отдаю себе отчет, в каком положении оказался. Если ты собираешься держать свое слово, не надо *говорить* об этом, просто держи его.

— Почему ты смотришь на меня так, словно я в чем-то виноват? Тебе известно, насколько отрицательно я отношусь к этому закону. Я купил твои рудники только потому, что рассчитывал помочь тебе, то есть потому, что, на мой взгляд, тебе было бы проще продать их другу, чем какому-нибудь незнакомцу. Моей вины тут нет. Мне не нравится этот жалкий закон, я не знаю, кто за ним стоит, я и подумать не мог, что его примут, для меня стало потрясением, когда они…

— Оставь.

— Но я только…

— Почему тебе так хочется порассуждать на эту тему?

— Я… — голос Ларкина сделался умоляющим. — Я ведь дал тебе лучшую цену, Хэнк. В законе сказано «разумная компенсация». И мое предложение оказалось самым выгодным для тебя.

Риарден посмотрел на документы, еще лежавшие на столе. Он представил себе платеж, который получит согласно этим бумагам за свои рудники. Две третьих всей суммы составляли деньги, полученные Ларкиным в качестве займа от правительства; новый закон предусматривал подобные займы, чтобы предоставить «честную возможность» новым владельцам, никогда не имевшим такого шанса.

Оставшуюся треть Ларкину предоставил он сам — по закладной, которую получил за свои рудники… А правительственные деньги, подумал он вдруг, деньги, которые он получил в качестве платежа за свою собственность, откуда они взялись? *Кто* заработал их?

— Можешь не беспокоиться, Хэнк, — проговорил Ларкин с прежней, до тошноты молящей интонацией. — Это всего лишь формальность.

Риарден попытался понять, чего хочет от него Ларкин.

Риарден чуял, что помимо самого факта продажи от него ждут чего-то еще — каких-то подобающих случаю слов сознательного гражданина, проявления какого-то нелепого милосердия. Глаза Ларкина в этот миг его наивысшей удачи почему-то походили на глаза самого жалкого бедняка.

— Ну почему ты сердишься, Хэнк? Это всего лишь новые бюрократические формальности. Изменились исторические условия. И в этом никто не виноват, история выше нас. В происшедшем нельзя никого винить. Всегда находится способ продлить существование. Посмотри на других. Они не обращают внимания. Они…

— Они ставят во главе отобранных у них предприятий своих марионеток, которых могут контролировать. Я…

— Ну почему ты предпочитаешь именно такие слова?

— Могу напомнить тебе — хоть ты и так прекрасно это знаешь, — что я не искусен в играх подобного рода. У меня нет времени и желания выдумывать некую разновидность шантажа, чтобы связать тебя по рукам и ногам и продолжать управлять своими рудниками через тебя. Владение собственностью — такая вещь, кото-

рую нельзя поделить. И я не хочу удерживать ее, пользуясь твоей трусостью, — постоянно пытаться перехитрить тебя, постоянно придумывать новые угрозы. Я *не хочу* вести дело подобным образом, *не хочу* сотрудничать с трусами. Рудники принадлежат тебе. Если ты хочешь предоставить мне право забирать всю добытую тобой руду, ты так и поступишь. Если же намереваешься обмануть меня — это тоже в твоей власти.

На лице Ларкина проступила обида.

— Это нехорошо с твоей стороны, — произнес он с сухой ноткой праведной укоризны. — Я никогда не давал тебе повода не доверять мне.

Торопливым движением Ларкин подхватил бумаги, тут же исчезнувшие в боковом кармане его пиджака.

Под распахнувшимся на мгновение пиджаком Риарден заметил жилет, натянутый пухлой плотью, пятно пота под мышкой.

И на память ему вдруг пришло лицо, которое он видел двадцать семь лет назад: лицо проповедника — тот прошел мимо него на углу какой-то улицы в каком-то городке, названия которого теперь уж и не вспомнить. Он помнил только темные стены трущоб, осенний вечер, дождь и искривленные праведным гневом губы этого

человека, вопиющего в полумраке.

— ...благороднейший идеал — человек, живущий ради ближних своих, чтобы сильный работал для слабого, чтобы обладающий способностями служил тому, кому Господь их не дал...

А потом он увидел парня, каким был он сам, Хэнк Риарден, в восемнадцать лет. Увидел напряженное лицо, быструю походку, владеющий телом пьяный восторг — пьяный от полных энергии бессонных ночей — гордую посадку головы, чистый и ровный взгляд жестких глаз, глаз человека, не зная жалости гнавшего себя к поставленной цели.

А еще он увидел Пола Ларкина, каким тот, должно быть, был в то время, — юнца с лицом состарившегося младенца, льстиво и безрадостно улыбающегося, молящего пощадить его, молящего Вселенную предоставить ему шанс. Если бы кто-нибудь показал этого юнца тогдашнему Хэнку Риардену и сказал, что трудиться он будет ради этого слизняка, присвоившего плоды, добытые трудом его рук, тот бы...

Это трудно было назвать просто воспоминанием, это было подобно удару кулаком по голове.

Вновь обретя способность мыслить, Риарден понял, что почувствовал бы тот парень, кото-

рым он когда-то был: желание раздавить ногой эту непристойную тварь, изгнать из бытия всю влажную плоть Ларкина до последнего клочка.

Подобного чувства ему еще не приходилось испытывать. И Риарден не сразу понял, что именно это называется ненавистью.

Он отметил, что на лице поднявшегося и бормотавшего прощальные слова Ларкина почивало обиженно-укоризненное и расстроенное выражение, словно бы потерпевшей стороной был он, Ларкин.

Продавая свои угольные шахты Кену Данаггеру, владельцу пенсильванской угольной компании, Риарден не мог понять, почему процесс не приносит ему особой боли. Никакой ненависти он не ощущал. Кену Данаггеру перевалило за пятый десяток, лицо его было замкнутым и жестким; свой трудовой путь он начинал горняком.

Когда Риарден передавал ему акт на владение новой собственностью, Данаггер бесстрастным тоном сказал:

— По-моему, я не сказал, что весь уголь, который вы будете заказывать у меня, вам будут отгружать по себестоимости.

Риарден с удивлением посмотрел на него:

— Это же противозаконно.

— Кто может знать, сколько денег я передал вам в вашей гостиной?

— Вы говорите о скидке?

— Да.

— Это противоречит двум дюжинам законов. Если вас поймают на этом, то взыщут больше, чем с меня.

— Естественно. Это будет защитой для вас — чтобы не уповать на мою милость.

Риарден улыбнулся; улыбка была радостной, однако он закрыл глаза, словно пропустив удар. А потом качнул головой.

— Спасибо. Но я не из этих. Я не рассчитываю, что кто-то станет работать на меня по себестоимости.

— И я не из этих, — недовольным тоном ввернул Данаггер. — Знаете, Риарден, не думайте, будто я не понимаю, *что* именно получил за так. В наши дни стоимость шахт нельзя выразить в деньгах.

— Вы не просили меня продать мою собственность. Я сам предложил вам купить ее. Мне хотелось, чтобы среди производителей руды нашелся хоть кто-то, похожий на вас, кому я мог бы спокойно передать свои рудники. Таковых не нашлось. Если вы хотите оказать мне любез-

ность, не предлагайте скидок. Предоставьте мне возможность заплатить по полной цене, дать вам больше, чем предлагают остальные, да хоть сдерите с меня три шкуры, но чтобы я первым получал уголь. Со своими делами я управляюсь сам. Лишь дайте мне уголь.

— Вы получите его.

Риарден какое-то время гадал, почему не дает о себе знать Уэсли Моуч. Звонки в Вашингтон неизменно оставались без ответа. А потом он получил письмо в одну строчку, извещавшее его о том, что мистер Моуч подает в отставку со своего нынешнего поста. Через две недели Риарден прочел в газетах, что Уэсли Моуч назначен помощником координатора Бюро экономического планирования и распределения национальных ресурсов.

«Не думай об этом, — говорил себе Риарден в тишине многих ночей, сражаясь с новым для себя ощущением, которое люто ненавидел, — в мир прорвалось немыслимое зло, тебе известно об этом и незачем вникать в детали. Тебе просто придется работать усерднее. *Еще* усерднее, ведь ты же не можешь отдать ему победу!»

С прокатных станов ежедневно сходили новые балки и поперечины из риарден-металла,

их немедленно отправляли на место строительства «*Линии Джона Голта*», и первые контуры моста из иссиня-зеленого металла уже поблескивали над каньоном в лучах весеннего солнца.

У него не было времени на боль, не было лишних сил для гнева. Через несколько недель все закончилось, слепящие уколы ненависти прекратились и более не возвращались.

Он уже полностью владел собой, когда вечером позвонил Эдди Уиллерсу:

— Эдди, я в Нью-Йорке, в гостинице «*Уэйн-Фолкленд*». Завтра утром приезжай позавтракать со мной. Я хочу кое-что с тобой обсудить.

Эдди Уиллерс отправился на встречу с тяжелым чувством вины.

Он еще не оправился от потрясения, вызванного Законом справедливой доли; он оставил в его душе тупую боль, подобную ноющему синяку после удара. Город вызывал у него неприязнь: теперь казалось, что в нем затаилась неведомая, злая беда. Он боялся встретиться лицом к лицу с одной из жертв закона: ему мнилось, что он, Эдди Уиллерс, разделяет вину за принятие такого закона столь непонятным и ужасным образом.

Когда он увидел Риардена, ощущение это исчезло. В поведении Риардена ничто даже

не намекало на то, что он — жертва. За окнами гостиничного номера по утреннему городу разливался солнечный свет, бледное голубое небо казалось юным, конторы были закрыты, и город выглядел не зловещим, но радостным, полным надежды и готовым приступить к делу, как и Риарден, которого явно освежил безмятежный сон. На нем был домашний халат, он словно не желал тратить времени на одевание, чтобы поскорее приступить к этой увлекательной игре — своим деловым обязанностям.

— Доброе утро, Эдди. Прости, если я поднял тебя слишком рано. Но другого времени у меня нет. Прямо после завтрака улетаю назад в Филадельфию. Мы можем поговорить за едой.

Его халат был сшит из темно-синей фланели, на нагрудном кармане вышиты белые инициалы «Г.Р.». Он казался молодым и свободным — на своем месте и в этом номере, и в окружающем мире.

Эдди проводил взглядом официанта, вкатившего в комнату столик с завтраком столь ловко и быстро, что это заставило гостя невольно подтянуться. Он понял, что радуется свежей, жестко накрахмаленной белой скатерти, солнечным лучам, искрившимся на серебре, двум чашам с колотым льдом, вмещавшим бокалы с апельси-

новым соком. Он и не подозревал, что подобные вещи могут придать сил, доставить удовольствие.

— Я не хотел разговаривать с Дагни на эту тему по телефону, — проговорил Риарден. — У нее и так достаточно дел. А мы можем все уладить за несколько минут.

— Если у меня есть на то полномочия.

Улыбнувшись, Риарден склонился над столом.

— Есть… Эдди, каково в настоящий момент материальное положение «*Таггерт Трансконтинентал*»? Отчаянное?

— Хуже того, мистер Риарден.

— Вы способны оплачивать счета?

— Не полностью. От газет это пока скрывается, но, по-моему, всем известно. Мы в долгах по всей сети дорог, и Джим уже исчерпал любые возможные извинения.

— Тебе известно, что первый платеж за рельсы из риарден-металла должен быть произведен на следующей неделе?

— Да, я это знаю.

— Хорошо, тогда предлагаю вам мораторий. Я намереваюсь предоставить вам отсрочку — вы заплатите мне только через шесть месяцев после открытия ветки компании «*Линия Джона*

Голта».

Эдди Уиллерс звякнул своей чашкой кофе о блюдце. Он не мог произнести ни слова.

Риарден усмехнулся:

— В чем дело? Надеюсь, у тебя есть полномочия принять мое предложение?

— Мистер Риарден… просто не знаю… что и сказать.

— Ограничимся простым «о-кей», ничего больше не нужно.

— О-кей, мистер Риарден. — Голос Эдди был едва слышен.

— Я составлю бумаги и перешлю вам. Расскажи Джиму, и пусть он подпишет.

— Да, мистер Риарден.

— Я не люблю вести дела с Джимом. Он потратит два часа, стараясь заставить себя поверить в то, что смог убедить меня, будто своим согласием оказал мне честь.

Эдди сидел, не шевелясь, глядя в свою тарелку.

— В чем дело?

— Мистер Риарден, мне бы хотелось… поблагодарить вас… но я не вижу способа, адекватного тому, что…

— Вот что, Эдди. У тебя есть задатки хорошего бизнесмена, поэтому слушай. Честно и откро-

венно: в ситуациях подобного рода нет места благодарности. Я делаю это не ради «*Таггерт Трансконтинентал*». Я имею здесь свой простой, эгоистичный, практический интерес. Зачем мне тянуть с вас деньги сейчас, когда платеж может оказаться смертельным ударом для вашей компании? Если бы от вас не было никакого толку, я бы взял свое без колебаний. Я не занимаюсь благотворительностью и не имею дел с некомпетентными людьми. Но пока вы остаетесь лучшей железной дорогой в стране. Когда «*Линия Джона Голта*» пустит свой первый состав, вы станете и самым надежным финансовым партнером. Поэтому у меня есть все причины не торопиться. К тому же у вас есть неприятности с моими рельсами. Я намереваюсь дождаться вашей победы.

— И все же я благодарю вас, мистер Риарден… за нечто большее, чем милосердие.

— Нет. Разве ты не понимаешь? Я только что получил большие деньги… которых не хотел. Мне некуда вложить их. Они для меня бесполезны… И поэтому мне в известном смысле приятно обратить эти деньги против тех же людей в той же битве. *Они* предоставили мне возможность дать вам отсрочку и помочь в борьбе *с ними*.

Эдди вздрогнул, будто слова Риардена угодили прямо в открытую рану.

— Вот это и есть самое ужасное!

— Что именно?

— То, как они поступили с вами, и то, чем вы им отвечаете. Мне бы хотелось… — он умолк. — Простите меня, мистер Риарден. Я понимаю, о делах так не говорят…

Риарден улыбнулся:

— Спасибо, Эдди. Я знаю, что ты хочешь сказать. Но забудем об этом. Пошлем к черту.

— Да. Только… мистер Риарден, могу я вам кое-что сказать? Я понимаю, что все это совершенно неуместно, и говорю сейчас не как вице-президент.

— Слушаю.

— Мне незачем говорить вам, *что* ваше предложение значит для Дагни, для меня, для всех честных работников «*Таггерт Трансконтинентал*». Вам это известно. И вы знаете, что можете рассчитывать на нас. Но… но мне кажется ужасным, что свою выгоду получит и Джим Таггерт, что вы будете спасать его и ему подобных после того, что они…

Риарден рассмеялся.

— Эдди, что нам до подобных ему людей?

Мы ведем вперед экспресс, а они едут на крыше, вопя при этом, что они-то и есть здесь самые главные. Ну и что нам с того? Нам ведь хватит сил везти их с собой — разве не так?

* * *

«Ничего у них не выйдет».

Летнее солнце зажигало огнем городские окна, рассыпало искры по уличной пыли. Столбы раскаленного воздуха поднимались над крышами к белой странице календаря. Моторчик его медленно вращался, отсчитывая последние дни июня.

— Ничего у них не выйдет, — говорили люди. — Первый же поезд, пущенный «*Линией Джона Голта*», раздавит рельсы. Он не доедет до моста. А если доедет, мост рухнет уже под тепловозом.

Товарные поезда катились вниз со склонов Колорадо по колее «*Феникс-Дуранго*» на север, к Вайомингу, и дальше, к основной линии «*Таггерт Трансконтинентал*» — на юг, к Нью-Мексико, и главной линии «*Атлантик Саусерн*». Вереницы цистерн разбегались во все стороны от месторождений Уайэтта к предприятиям, находящимся в далеких штатах. О них не говорили. С точки зрения публики, составы цистерн передвигались

столь же бесшумно, как и лучи, и их можно было заметить только после того, как содержимое их преобразовывалось в свет электроламп, жар печей, вращение двигателей. Но и в этом качестве они оставались незаметными, их принимали за неизменную данность.

Железная дорога «*Феникс-Дуранго*» должна была закончить свое существование 25 июля.

— Хэнк Риарден — просто жадное чудовище, — говорили люди. — Только посмотрите, какое состояние он сколотил. А что дал народу взамен? Проявлял ли он хоть раз социальную совесть? Деньги, вот что ему нужно. Ради денег он сделает все, что угодно. Что ему до тех людей, которые погибнут, когда рухнет его мост?

— Таггерты поколение за поколением были стаей стервятников, — говорили люди. — Это у них в крови. Достаточно вспомнить, что первым в этой семейке был Нат Таггерт, самый отвратительный и антиобщественный негодяй на всем белом свете, всласть попивший народной кровушки, чтобы выжать из нас свое состояние. Нечего и сомневаться, что любой из Таггертов без колебаний рискнет чужими жизнями, чтобы получить свой доход. Они накупили дрянных рельсов, потому что те оказались дешевле сталь-

ных, — что для них катастрофы, искалеченные человеческие тела, раз они уже взяли плату за проезд?

Люди говорили так, потому что слышали это от других. Никто не знал, почему об этом судачат буквально повсюду. Они ни от кого не требовали разумных объяснений.

— Разум, — вещал доктор Притчетт, — представляет собой самый наивный из всех предрассудков.

— Что служит источником общественного мнения? — вторил ему Клод Слагенхоп по радио. — Не существует никакого источника общественного мнения. Оно возникает само собой. Как реакция коллективного инстинкта, коллективного разума.

Оррен Бойль дал интервью «Глоб», крупнейшему журналу новостей. Темой интервью являлась серьезная социальная ответственность металлургов; особо подчеркивался тот факт, что металл выполняет в жизни общества множество критически важных функций, и люди *физически* зависят от его качества.

— На мой взгляд, не следует использовать человеческие жизни в качестве морских свинок при испытании нового продукта, — сказал он.

Бойль не называл имен.

— Нет-нет, я вовсе не хочу сказать, что этот мост рухнет, — сообщил главный металлург «*Ассошиэйтед Стил*», выступая в телевизионной программе. — Я ничего не утверждаю. Я просто готов заявить, что если бы у меня были дети, я не позволил бы им находиться в том поезде, который первым проедет по этому мосту. Таково мое *личное* мнение, ничего больше, поскольку я слишком люблю детей.

— Не стану утверждать, что хитроумная выдумка Риардена и Таггертов рухнет, — писал Бертрам Скаддер в газете «Будущее». — Может быть, рухнет, а может, и нет. По сути, это неважно. Существенно здесь другое: какой защитой располагает общество против наглости, эгоизма и жадности двух необузданных индивидуалистов, чье прошлое подозрительным образом лишено поступков, направленных на коллективное благо? Эти двое, по всей видимости, собираются рискнуть жизнями наших собратьев по роду людскому ради собственных представлений об авторитетности своего суждения, вопреки убежденности подавляющего большинства признанных экспертов. Следует ли обществу допускать такое? Если этот мост рухнет, не слишком ли

поздно будет принимать предохранительные меры? С тем же успехом можно запирать конюшню после того, как лошадь уже украли! Наша рубрика всегда придерживалась того мнения, что некоторых лошадей следует стреноживать и запирать ради общего общественного блага.

Группа лиц, называвшая себя Комитетом бескорыстных граждан, собирала подписи под петицией, требующей годичной экспертизы дорог «*Линии Джона Голта*» правительственными экспертами, прежде чем пустить по ней первый поезд. В петиции утверждалось, что подписавшие ее не имеют другого мотива, кроме чувства долга перед обществом. Первые подписи поставили Бальф Юбэнк и Морт Лидди. Все газеты уделили петиции изрядное место на своих страницах и в комментариях. Тон обсуждения был сочувственным, поскольку петицию подписывали люди явно незаинтересованные…

Ходу работ «*Линии Джона Голта*» газеты не уделяли внимания. На место строительства не послали ни одного репортера. Общую политику прессы сформулировал еще пять лет назад известный редактор:

— Объективных фактов не существует. Каждое сообщение основано на чьем-либо мнении. По-

этому описывать факты бесполезно.

Несколько бизнесменов решили обдумать вероятность того, что риарден-металл может обладать определенной коммерческой ценностью. Они принялись за изучение этого вопроса. Они не стали нанимать металлургов, чтобы те исследовали образцы металла, не попросили инженеров посетить место строительства. Они просто провели опрос общественного мнения. Десяти тысячам людей, явным образом представляющим все существующие разновидности человеческого интеллекта, задали единственный вопрос:

— Согласны ли вы совершить поездку на поезде «*Линии Джона Голта*»?

Подавляющее большинство ответили:

— Ну уж нет, сэр!

Голосов в поддержку риарден-металла слышно не было. И никто не придавал значения тому, что акции «*Таггерт Трансконтинентал*» пусть медленно и нерешительно, но ползли вверх на фондовом рынке.

Были и такие люди, которые следили за ситуацией и подстраховывались. Мистер Моуэн приобрел акции Таггертов на имя своей сестры. Бен Нили купил их, прикрывшись именем кузена. Пол Ларкин при покупке воспользовался

псевдонимом.

— Не верю я в эти противоречивые махинации, — высказался один из таких людей.

— Ну да, конечно, сооружение ветки производится согласно графику, — пожимал плечами Джеймс Таггерт на собрании своего правления. — Ну да, вам совершенно незачем сомневаться. Моя дорогая сестрица не человек, а мыслящий двигатель внутреннего сгорания, поэтому можно не удивляться ее успехам.

Уловив слушок о том, что несколько балок моста не выдержали нагрузки и переломились, причем погибли трое рабочих, Джеймс Таггерт всполошился и бросился к своему секретарю, велев ему связаться по телефону с Колорадо. Он ожидал звонка, припав к столу секретаря, словно бы рассчитывая найти у него защиту; глаза его наполняла неподдельная паника. И все же рот его кривило подобие улыбки.

— Хотелось бы мне сейчас увидеть физиономию Генри Риардена.

Узнав, что слух оказался ложным, он произнес:

— Слава богу!

Тем не менее в голосе его угадывалось разочарование.

— Ну что ж! — молвил своим друзьям Филипп

Риарден, до которого долетел тот же слух. — Быть может, иногда способен ошибаться и мой братец. Похоже, он все-таки не настолько велик, как ему кажется.

— Дорогой мой, — сказала Лилиан Риарден своему мужу. — Я так защищала тебя вчера за чаем, когда женщины стали говорить, что Дагни Таггерт — твоя любовница… Только, ради бога, не надо смотреть на меня такими глазами! Я знаю, что это невозможно, и поэтому устроила им хорошую взбучку. Просто эти глупые сучки не могут представить себе другой причины, которая может заставить женщину восстать против всего общества ради твоего металла. Конечно, мне известно, что это не так. Я знаю, что эта таггертша — существо бесполое, и ты ей полностью безразличен… кроме того, дорогой, я понимаю, что если бы у тебя хватило на это отваги — а откуда ей взяться, — ты не стал бы увлекаться счетной машинкой в шикарном костюме, а предпочел бы ей какую-нибудь светловолосую женственную хористочку, которая… ну, Генри, я ведь просто шучу!.. Не смотри на меня такими глазами!

— Дагни, — жалким голосом произнес Джеймс Таггерт, — что с нами будет? «*Таггерт Транскон-*

тинентал» катастрофически теряет популярность!

Дагни рассмеялась, легко и радостно, словно бы радость постоянно присутствовала в ее душе и мгновенно вырывалась на свободу. Она смеялась, непринужденно открыв рот, белые зубы выделялись на загорелом лице. Глаза ее, привыкшие к бескрайним просторам, глядели куда-то вдаль. Наезжая последнее время в Нью-Йорк, она смотрела на Джима так, словно и не видела его; он это заметил.

— Что мы намереваемся делать? Общественное мнение против нас!

— Джим, ты помнишь, что рассказывали о Нате Таггерте? Помнишь, он говорил, что завидует только одному из своих конкурентов, тому, кто сказал: «А общественность пусть катится к черту!» Он жалел, что слова эти не принадлежат ему самому.

В те летние дни, в тяжелом покое городских вечеров, случались мгновения, когда одинокий человек, мужчина или женщина — на парковой скамейке, пересечении улиц, у открытого окна — мог видеть в газете краткое, как бы случайное упоминание о продвижении строительства дороги «*Линия Джона Голта*», мог посмотреть

на город и почувствовать внезапный порыв надежды. Это были или самые молодые, видившие в этом строительстве событие из тех, которые им так хотелось бы увидеть… или самые старые — те, кто помнили еще тот мир, в котором такие события происходили. Их не интересовали железные дороги как таковые, они не разбирались в бизнесе, но им было ясно одно: кто-то вступил в борьбу с великими трудностями и уверенно идет к победе. Они не восхищались целями борцов, они верили голосу общественного мнения, и все же, читая о том, как растет ветка, почему-то вдруг воодушевлялись, не зная, отчего при этом становятся проще их собственные проблемы.

Тихо и незаметно для всех, кроме грузового отделения «*Таггерт Трансконтинентал*» в Шайенне и конторы «*Линии Джона Голта*» в темном переулке, собирался груз, скапливались заказы на вагоны для первого состава, которому предстояло пройти по новой ветке. Дагни Таггерт заранее оповестила, что он станет не пассажирским экспрессом, полным знаменитостей и политиков, как обычно бывало, но грузовым составом особого назначения.

Грузы поступали с ферм, лесопилок, с разбросанных по всей стране рудников, из самых дале-

ких мест, где люди выживали только благодаря новым заводам в Колорадо. Об этих клиентах железной дороги никто не писал, потому что их нельзя было отнести к людям незаинтересованным.

Железная дорога «*Феникс-Дуранго*» должна была закрыться 25 июля. Первый поезд «*Линии Джона Голта*» должен был выйти 22 июля.

— Значит так, мисс Таггерт, — проговорил делегат Профсоюза машинистов. — Не думаю, что мы позволим вам отправить этот поезд.

Дагни сидела за потрепанным столом в своем кабинете.

Не пошевелившись, она произнесла:

— Убирайтесь отсюда.

С подобным обращением делегат не сталкивался в отполированных до блеска кабинетах железнодорожного начальства. Он возмутился:

— Я пришел, чтобы сказать вам…

— Если вам *действительно* есть, что мне сказать, начните сначала.

— Что?

— Только не надо говорить, будто вы чего-то там не позволите мне.

— Хорошо, я хотел сказать, что мы не позволим своим людям обслуживать ваш поезд.

— Это другое дело.

— Мы так решили.

— Кто это «мы»?

— Комитет. То, что вы делаете, является нарушением прав человека. Вы не смеете отправлять людей на верную смерть — когда этот мост рухнет, — только для того, чтобы положить деньги в свой карман.

Дагни достала из стола лист чистой бумаги и подала своему гостю.

— Пишите, — предложила она, — и мы заключим контракт.

— Какой контракт?

— О том, что ни один из членов вашего профсоюза не будет обслуживать локомотивы «*Линии Джона Голта*».

— Нет… подождите минуту… я не говорил…

— Значит, вы не хотите подписывать такой контракт?

— Нет, я…

— Но почему, раз вам известно, что мост рухнет?

— Я только хочу…

— Я знаю, чего вы хотите. Вы хотите душить своих людей за счет тех работ, которые я могла бы им предоставить, — и меня — уже руками ваших

людей. Вы хотите, чтобы я давала вам рабочие места, и чтобы я не имела возможности делать это. Я предоставляю вам выбор. Поезд этот совершит свой рейс. Вам этому не помешать. Но вы можете выбрать, ваш человек поведет его или нет. Если вы предпочтете запрет, поезд все равно пойдет, даже если мне самой придется встать на место машиниста. Тогда, если мост рухнет, вообще не останется ни одной железной дороги. Но если он устоит, ни один из членов вашего профсоюза никогда не получит места на поездах «*Линии Джона Голта*». Если вы считаете, что я нуждаюсь в ваших людях больше, чем они во мне, примите соответствующее решение. Если вы понимаете, что я могу водить локомотив, а ваши люди не способны построить железную дорогу, делайте другой вывод. Итак, вы намереваетесь запретить своим людям обслуживать этот состав?

— Я не говорил, что мы запретим это. Я ни слова не сказал ни о каком запрете. Но… но вы не можете заставить людей рисковать своими жизнями в совершенно никем не опробованном месте.

— Я не собираюсь никого *заставлять* идти в этот рейс.

— Что же вы намерены делать?

— Я намерена найти добровольцев.

— А если таких не сыщется?

— Это уже будет моей проблемой, а не вашей.

— Тогда позвольте мне сообщить вам, что я не буду советовать им соглашаться на ваше предложение.

— Да ради бога. Советуйте все, что вам угодно. Говорите, что хотите. Но оставьте им право выбора. Не смейте ничего запрещать.

Объявление, появившееся во всех таггертовских депо, было подписано: «Эдвин Уиллерс, вице-президент, руководитель производственного отдела». В нем говорилось, что машинисты, желающие провести первый состав по *«Линии Джона Голта»*, должны сообщить об этом мистеру Уиллерсу не позднее одиннадцати часов утра 15 июля.

Утром пятнадцатого числа, в четверть одиннадцатого, на столе Дагни зазвонил телефон. Звонил Эдди с высоты своего кабинета в находящемся напротив ее окна здании Таггерт.

— Дагни, мне кажется, тебе лучше прийти сюда, — в голосе его звучали странные нотки.

Поспешно перебежав улицу, по мраморным лестницам и коридорам она поднялась к двери, на которой под стеклянной табличкой до сих пор

значилось ее имя: «Дагни Таггерт».

Она распахнула дверь.

Приемная была набита битком. Люди стояли за столами, жались у стен. Увидев ее, они сняли шляпы посреди внезапно наступившего молчания. Она видела седеющие головы, мускулистые плечи, улыбающиеся лица своих сотрудников за столами, Эдди Уиллерса у двери в кабинет. Все знали, что говорить ничего не нужно.

Эдди так и остался возле двери. Толпа разделилась, пропуская ее. Эдди повел рукой, указывая внутрь кабинета, на груду лежавших на столе писем и телеграмм.

— Дагни, желание высказали все до единого, — проговорил он. — Все машинисты «*Таггерт Трансконтинентал*». Все, кто мог, явились сюда от самого Чикагского отделения. — Он снова кивком указал на почту: — А вот и все остальные… Сказать по правде, не дали знать о себе только трое: один сейчас в отпуске в северных лесах, другой лежит в больнице, а третий отсиживает срок за неосторожное вождение автомобиля.

Дагни посмотрела на машинистов. За торжественностью лиц прятались улыбки. Дагни склонила голову в знак признательности. Она замерла так на мгновение, словно выслушивая

приговор, зная, что приговор этот относится лично к ней, ко всем, кто находился в этот момент в приемной, и к миру, оставшемуся за ее стенами.

— Благодарю вас, — проговорила она.

Большинство людей неоднократно видели ее. И глядя сейчас на Дагни, когда она подняла голову, многие из них подумали — с удивлением и впервые, — что их вице-президент и начальник производственного отдела — женщина и что женщина эта прекрасна.

Где-то в задних рядах толпы кто-то вдруг выкрикнул веселым голосом:

— Долой Джима Таггерта!

Ему ответил взрыв веселья. Люди смеялись, кричали, хлопали в ладоши. Остро́та совершенно не стоила такой реакции. Однако она предоставила всем в комнате тот предлог, в котором они нуждались. Они словно бы аплодировали не самой шутке, а словам, нахально отрицавшим власть.

И каждый в комнате прекрасно это знал.

Дагни подняла руку.

— Вы торопитесь, — проговорила она со смехом. — Подождите еще неделю. Тогда у нас будет праздник. И поверьте, мы отметим его как сле-

дует!

Приступили к жеребьевке. Дагни достала один свернутый листок из кучки, содержавшей все имена. Победителя среди присутствующих не оказалось, однако в компании он числился одним из лучших машинистов — Пат Логан, машинист «*Кометы Таггерта*» из Небраски.

— Дай телеграмму Пату и сообщи ему, что он понижен в должности на грузовой состав, — сказала она Эдди. И непринужденным тоном добавила, словно бы решение было принято только что, однако не сумела никого этим обмануть: — Ах да, сообщи ему, что в этом рейсе я буду находиться рядом с ним в кабине локомотива.

Стоявший рядом старый машинист усмехнулся и произнес:

— Я ждал этого, мисс Таггерт.

* * *

Риарден как раз был в Нью-Йорке, и Дагни позвонила ему из своего кабинета.

— Хэнк, я намереваюсь завтра устроить пресс-конференцию.

— Не может быть! — громко рассмеялся он.

— Да, — голос ее звучал вполне серьезно, пожалуй, даже чересчур серьезно. — Газеты вдруг

обнаружили, что я существую на свете, и начали задавать вопросы. Я намереваюсь ответить на них.

— Удачи тебе.

— Спасибо. А ты завтра в городе? Мне хотелось бы, чтобы ты присутствовал.

— Хорошо. Такое событие нельзя пропустить.

Репортеры, собравшиеся в конторе «*Линии Джона Голта*», были молодыми людьми, которых учили думать, что работа их заключается в сокрытии от мира природы происходящих событий. Они исполняли изо дня в день одну и ту же работу, присутствуя в качестве аудитории на выступлении очередной знаменитости, изрекающей фразы об общественном благе, старательно изложенные таким образом, чтобы не содержать никакого смысла. Их ежедневная обязанность заключалась в сочетании слов в любой угодной им комбинации — до тех лишь пор, пока слова не начинали складываться в последовательность, обладавшую конкретным смыслом. Посему они просто не могли понять смысла того интервью, которое им давали.

Дагни Таггерт сидела за столом в кабинете, скорее напоминавшем подвал трущоб. Она была в темно-синем, превосходно пошитом костю-

ме и белой блузке, отчего выглядела очень официально и почти по-военному элегантно. Она сидела, выпрямив спину, и держалась с подчеркнутым достоинством, пожалуй, даже излишним.

Риарден расположился в углу комнаты на ломаном кресле, перебросив ноги через один из подлокотников, опершись спиной о другой. Он держался мило и неофициально, пожалуй, несколько преувеличенно неофициально.

Чистым и монотонным голосом, тоном военной реляции, не обращаясь к бумагам, глядя прямо на собравшихся, Дагни сообщала техническую информацию относительно ветки «*Линии Джона Голта*», называя точные характеристики рельсов, несущую способность моста, метод сооружения, стоимость. После с сухой интонацией банкира она принялась объяснять финансовые перспективы дороги, приводить цифры ожидавшегося ею крупного дохода.

— Это все, — наконец проговорила она.

— Все? — поинтересовался один из репортеров. — А вы не собираетесь сделать через нас обращение к публике?

— Вы уже выслушали его.

— Но, черт… то есть разве вы не собираетесь

что-то сказать в свою защиту?

— Защиту? От чего?

— Вы не хотите высказаться в поддержку своей линии?

— Я сделала это.

Человек, губы которого сложились в вечной насмешке, проговорил:

— Итак, мне бы хотелось знать — так, кажется, это сформулировал Бертрам Скаддер, — как мы можем оградиться от неприятностей, если ваша *линия* окажется некачественной?

— Не пользуйтесь ею.

Другой спросил:

— Не хотите ли вы объяснить нам причины, побудившие вас к сооружению этой линии?

— Я уже сказала вам: прибыль, которую я рассчитываю получить.

— Ах, мисс Таггерт, не надо так говорить! — воскликнул один из репортеров, еще совсем мальчишка. Как новичок, он честно относился к своей работе, кроме того, Дагни Таггерт, неведомо почему, была ему симпатична. — Не надо говорить такие слова. Именно за это все и ругают вас.

— В самом деле?

— Я ничуть не сомневаюсь в том, что вы хотели

сказать это не так, как оно прозвучало… кроме того, вы, конечно, хотите дать свои пояснения.

— Ну, что ж, пожалуйста, если хотите. В среднем доход от железной дороги составляет два процента от вложенного капитала. Отрасль промышленности, требующая столь многого и так мало дающая, должна считаться экономически невыгодной. Как я уже объясняла, стоимость ветки по отношению к тому движению, на которое она рассчитана, позволяет мне предполагать доход не менее чем в пятнадцать процентов от наших капиталовложений. Конечно, в настоящее время любой промышленный доход, превышающий четыре процента, считается ростовщическим. И тем не менее я сделаю все возможное, чтобы «*Линия Джона Голта*» принесла мне доход в двадцать процентов. Я строила свою дорогу именно по этой причине. Достаточно ли ясно я выразилась?

Юноша беспомощно посмотрел на нее.

— Но вы же не хотите, мисс Таггерт, зарабатывать только для себя. Вы имеете в виду в первую очередь мелких вкладчиков? — с надеждой в голосе предположил он.

— Отнюдь. Я являюсь одним из крупнейших держателей акций «*Таггерт Трансконтинентал*»,

и поэтому моя доля общего дохода станет одной из крупнейших. А вот мистер Риарден находится в более выигрышном положении, поскольку у него нет пайщиков, с которыми необходимо делиться. Может быть, вы хотите высказаться сами, мистер Риарден?

— Да, весьма охотно, — согласился Риарден. — Поскольку формула риарден-металла является моей профессиональной тайной и учитывая, что производство его обходится мне куда дешевле, чем вы, ребята, можете себе представить, я рассчитываю в ближайшие несколько лет содрать с общества доход в двадцать пять процентов.

— Что вы имеете в виду под словами «содрать с общества», мистер Риарден? — спросил юный журналист. — Если я правильно понял вашу рекламу, вы пишете, что ваш металл прослужит в три раза дольше любого другого и обойдется при этом в половину цены. Так разве не общество окажется в выигрыше?

— О, неужели вы это заметили? — усмехнулся Риарден.

— Разве вы оба не понимаете, что ваши слова предназначены для печати? — спросил человек с искривленным ухмылкой ртом.

— Но, мистер Гопкинс, — проговорила Дагни с вежливым удивлением, — разве у нас могут быть другие причины для беседы с вами, кроме публикации этого интервью?

— И вы хотите, чтобы мы передали все, что вы говорите, *дословно*?

— Надеюсь, вы сделаете это, причем без лишних сомнений. Не угодно ли записать одну краткую формулировку? — Она дождалась, пока все приготовят карандаши, и продиктовала: — Мисс Таггерт говорит, кавычки открываются: «Я рассчитываю заработать кучу денег на “*Линии Джона Голта*”. Я уже заработала их». Кавычки закрываются. Благодарю вас.

— Есть еще вопросы, джентльмены? — поинтересовался Риарден.

Вопросов не последовало.

— Теперь я должна сообщить вам об открытии ветки «*Линия Джона Голта*», — сказала Дагни. — Первый поезд отойдет от станции «*Таггерт Трансконтинентал*» в Шайенне, Вайоминг, в четыре часа дня двадцать второго июля. Специальный грузовой состав включает восемьдесят вагонов. Его будет тянуть четырехсекционный дизельный тепловоз мощностью в восемь тысяч лошадиных сил, который я заимствую ради

такой оказии у «*Таггерт Трансконтинентал*». Он проследует без остановки до «*Узла Уайэтт*», Колорадо, при средней скорости сто миль в час… Прошу прощения? — спросила она, услышав чей-то протяжный свист.

— Как вы сказали, мисс Таггерт?

— Я сказала, сто миль в час — при всех уклонах, поворотах и прочем.

— Но разве не следовало бы для начала снизить скорость против нормальной… Мисс Таггерт, неужели вы не имеете и крохи уважения к общественному мнению?

— Имею. И если бы не общественное мнение, я бы сочла достаточной среднюю скорость в шестьдесят пять миль в час.

— А кто поведет такой поезд?

— С этим у меня были некоторые сложности. Свои услуги предложили все машинисты фирмы «*Таггерт*». Так же поступили кочегары, тормозные рабочие и кондукторы. Нам пришлось бросать жребий на каждое место в поездной бригаде. Поведет поезд Пат Логан, машинист «*Кометы Таггерта*», кочегарить будет Рей Макким. Я поеду вместе с ними в кабине тепловоза.

— Неужели?

— Приглашаю всех присутствовать на от-

крытии. Оно состоится двадцать второго июля. Мы рассчитываем на присутствие представителей прессы. Вопреки обыкновению, я хочу добиться широкой рекламы. Мне бы хотелось видеть на открытии линии прожектора, микрофоны и телекамеры. Предлагаю поместить несколько камер возле моста. Обрушение его предоставит вам отличные кадры.

— Мисс Таггерт, — спросил Риарден, — почему вы не упомянули о том, что я также буду находиться вместе с вами на тепловозе?

Дагни посмотрела на него через всю комнату, и в тот момент, когда взгляды их встретились, они как бы остались наедине посреди этой толпы.

— Ну конечно, мистер Риарден, — ответила она.

* * *

Она больше не видела его до 22 июля, когда оба они снова обменялись взглядами на платформе станции «*Таггерт*» в Шайенне.

Шагнув на эту платформу, она не искала никого глазами: чувства ее смешались, ей казалось, что она не видит неба, солнца, не слышит ропота собравшейся колоссальной толпы, а полностью

погрузилась в волнение и свет.

Тем не менее первым она заметила именно его, а потом не могла понять, сколько времени смотрела лишь на него и ни на кого другого. Риарден стоял возле локомотива и разговаривал с кем-то; его собеседника она не видела.

Одетый в серые брюки и такую же рубашку, он казался просто опытным механиком, однако лица окружающих были обращены к нему — перед ними стоял сам Хэнк Риарден, глава «*Риарден Стил*». Высоко над его головой она заметила литеры «*ТТ*» на сверкавшей серебристым металлом лобовой части тепловоза. Контуры его уходили назад, образуя стрелу, нацеленную в пространство.

Их разделяли расстояние и толпа, однако глаза его тут же нашли Дагни, едва она появилась на платформе. Они переглянулись, и она сразу поняла — его переполняют те же чувства, что и ее саму. Их ожидала не торжественная поездка, от которой зависело будущее обоих, но полный радости день. Они сделали свое дело. И сейчас никакого будущего просто не существовало. Они заслужили свое настоящее.

Истинную легкость можно ощутить, лишь чувствуя огромную значимость *себя*, сказала она

ему однажды. И что бы ни значил этот первый рейс для других, для Дагни и Хэнка смысл этого дня был заключен лишь в них самих. Чего бы ни искали все остальные в собственной жизни, право переживать то, что оба чувствовали в этот момент, было именно тем, к чему они всегда стремились. Они словно бы говорили друг с другом над головами толпы.

А потом Дагни отвернулась.

Она вдруг заметила, что и на нее тоже смотрят, что ее окружают люди, что она смеется и отвечает на вопросы.

Дагни не ожидала увидеть *столько* народу. Люди заполняли платформу, пути, площадь перед станцией; они стояли на крышах товарных вагонов на запасных путях, теснились возле окон домов. Их притягивало сюда нечто носившееся в воздухе, нечто заставившее Джеймса Таггерта в последний момент изъявить желание присутствовать на открытии ветки «*Линия Джона Голта*». Она запретила брату.

— Если ты явишься туда, Джим, я прикажу вышвырнуть тебя с твоей собственной станции. Это событие не для тебя.

Представлять «*Таггерт Трансконтинентал*» на открытии был назначен Эдди Уиллерс.

Глядя на толпу, она немного стеснялась того, что все эти люди глазеют на нее в такой момент, настолько личный, что никакое общение просто не было возможным, и в то же время ощущала, что это правильно, — им положено находиться здесь, они *должны* хотеть увидеть ее, ибо зрелище свершения является самым великим даром, который человек способен предложить другим людям.

Она ни на кого не держала зла. Все пережитое и испытанное ею теперь превратилось в какой-то внешний туман, сделалось подобием боли, еще не угасшей, но уже не имеющей прежней силы. Все неприятное не могло устоять перед ликом реальности, и смысл этого дня был столь ослепительно и неистово ясен, как солнечные блики на серебристом металле локомотива. Это должны были понять все вокруг, никто не мог усомниться в этом, и ей было не до ненависти.

Эдди Уиллерс внимательно следил за Дагни. Он стоял на платформе в кругу чиновников фирмы «*Таггерт*», начальников отделений, политических лидеров и самых разнообразных местных администраторов, которых уговорами, подкупом и шантажом заставили дать разрешение на проезд поезда через города на скорости

сто миль в час. В этот день и в этот час титул вице-президента обрел для Эдди реальность, и он с достоинством нес его. Однако пока Эдди был занят разговорами с окружающими, глаза его все время следили за мелькавшей в толпе Дагни. Одетая в синие брюки и такую же рубашку, она не обращала внимания ни на какие общественные условности, которые переложила на него; ее интересовал только поезд — как будто она была всего лишь членом поездной бригады.

Заметив Эдди, она подошла к нему и поздоровалась с ним за руку. Улыбка ее объединяла в себе все то, что было и так понятно без слов.

— Ну, Эдди, сегодня ты представляешь собой «*Таггерт Трансконтинентал*».

— Да, — негромко, торжественным тоном согласился он.

Налетевшие с вопросами репортеры увлекли от него Дагни. Они спрашивали и его:

— Мистер Уиллерс, какую политику «*Таггерт Трансконтинентал*» намеревается вести в отношении этой линии? Так значит, «*Таггерт Трансконтинентал*» является в данном случае незаинтересованным наблюдателем, не так ли, мистер Уиллерс?

Эдди отвечал на вопросы, как мог. Он смотрел

на солнечные блики на полированных деталях дизельного тепловоза. Но видел перед собой солнце над лесной прогалиной и двенадцатилетнюю девчонку, говорящую ему, что настанет день, и он будет помогать ей руководить железной дорогой.

Он смотрел издалека на поездную бригаду, выстроившуюся у локомотива перед расстрельной командой фоторепортеров. Дагни и Риарден улыбались, словно бы позируя во время летнего отпуска. Машинист Пат Логан, седеющий, невысокий и жилистый мужчина, замер с безразличным, быть может, чуть презрительным выражением лица.

Кочегар Рей Макким, крепкий молодой великан, ухмылялся, сочетая в улыбке некоторое смущение с чувством неоспоримого превосходства. Прочие члены бригады явно были готовы подмигнуть в объектив. Один из фоторепортеров со смехом произнес:

— А не могли бы вы изобразить на лице обреченную гримасу? Мне издатель заказывал именно такой снимок.

Дагни и Риарден отвечали на вопросы журналистов. Теперь в их словах не было ни насмешки, ни горечи. Они говорили с радостью. Они го-

ворили так, словно вопросы не несли в себе заведомого подвоха. Все именно этим и закончилось: когда вопросы журналистов вдруг потеряли провокационный характер, никто даже и не заметил.

— Каких происшествий вы ожидаете в этом рейсе? — спросил репортер у одного из тормозных мастеров. — Вы надеетесь добраться до места назначения?

— Даже не сомневаюсь, — ответил рабочий, — как и ты сам, братец.

— Мистер Логан, у вас есть дети? Вы не потребовали дополнительного страхования? Я имею в виду этот мост, как вы понимаете.

— Не ходите по нему, пока не проедет мой поезд, — с пренебрежением в голосе ответил Пат Логан.

— Мистер Риарден, откуда вам известно, какой вес способны выдержать ваши рельсы?

— Откуда создатель печатного станка знал, что его машина заработает? — ответил Риарден вопросом на вопрос.

— Скажите, пожалуйста, мисс Таггерт, что удержит поезд весом в семь тысяч тонн на мосту, который весит всего три тысячи тонн?

— Мои расчеты, — ответила Дагни.

Представители прессы, презиравшие свою профессию, не понимали, отчего сегодня она доставляет им такое удовольствие. Один из них, человек еще молодой, однако не первый год пользовавшийся печальной известностью, состарившей его раза в два, вдруг сказал:

— Я понял, кем мне хотелось бы стать: репортером отдела *таких* новостей!

Стрелки станционных часов указывали на 3:45. Члены поездной бригады направились к тормозному вагону в самом конце состава. Толпа постепенно стихала. Люди замирали в ожидании.

Получив сообщения от связистов всех участков дистанции, пролегавшей до нефтяных месторождений Уайэтта в трех сотнях миль от старта, дежурный по станции вышел на платформу и, посмотрев на Дагни, дал сигнал к отправлению. Стоя возле локомотива, Дагни подняла руку, повторяя его жест в знак того, что поняла распоряжение.

Цепочка товарных вагонов тянулась вдаль, напоминая прямоугольными сочленениями спинной хребет. И когда в конце поезда проводник поднял руку, она помахала, отвечая на его сигнал.

Риарден, Логан и Макким замерли, словно по стойке смирно, приглашая ее первой подняться в кабину. И когда она уже ступила на лесенку-подножку локомотива, один из репортеров вспомнил о позабытом было вопросе.

— Мисс Таггерт, — крикнул он ей в спину, — а кто такой Джон Голт?

Не выпуская из руки металлического поручня, замерев на мгновение над головами толпы, она ответила:

— Все мы!

Следом за ней в кабину поднялся Логан, за ним последовал Макким; поднимавшийся последним Риарден захлопнул за собой дверь окончательным и уверенным движением.

На семафоре перед составом на фоне неба горел зеленый свет.

Зеленые огни горели и между путями, невысоко над землей, уходя вдаль до поворота, возле которого тоже светил зеленым глазком семафор — на фоне яркой летней листвы, также словно дававшей составу зеленый свет.

Стоя перед локомотивом, двое мужчин держали в руках белую шелковую ленту — управляющий отделением Колорадо и главный инженер Нили, не оставивший стройку. Эдди Уиллерс должен

был перерезать эту ленточку, открывая, таким образом, новую линию.

Фотографы предложили ему встать в позу — с ножницами в руке, спиной к тепловозу. И пояснили, что он должен повторить всю церемонию два раза — дабы выбрать потом самый удачный снимок; они даже приготовили катушку чистой пленки. Эдди уже готов был согласиться, когда вдруг остановился и сказал:

— Нет. Хроника не должна лгать.

Голосом, полным спокойной власти, голосом вице-президента, он приказал, ткнув пальцем в сторону фотокамер:

— Отойдите назад… подальше. Сделаете один снимок, когда я буду перерезать ленту, а потом быстро убирайтесь с путей.

Фоторепортеры повиновались, торопливо отступив от тепловоза. Оставалась всего одна минута. Повернувшись спиной к объективам, Эдди встал между рельсов перед тепловозом. Ножницы в его руке уже касались ленты. Сняв шляпу, он отбросил ее в сторону, не отрывая взгляда от локомотива. Легкий ветерок шевелил его светлые волосы. Тепловоз превратился в огромный серебряный щит с эмблемой Ната Таггерта.

Эдди Уиллерс поднял руку в то самое мгнове-

ние, когда на висящем над станцией циферблате стрелки часы показали ровно четыре часа дня.

— Трогай, Пат! — крикнул он.

В то же самый момент, когда локомотив тронулся с места, он перерезал белую ленту и отскочил в сторону.

Эдди смотрел на проплывавшее мимо окошко кабины и на Дагни: она весело помахала ему рукой. А потом тепловоз проехал, и он остался стоять лицом к полной людей платформе, появлявшейся и исчезавшей пред ним в разрывах между вагонами.

* * *

Иссиня-зеленые рельсы бежали навстречу им, как две струи, вытекавшие из единой точки где-то за горизонтом. Налетавшие спереди шпалы превращались под колесами в стелющийся гладкий поток. По бокам локомотива земля стала расплывчатой полосой. Деревья и телеграфные столбы вдруг выпрыгивали навстречу и столь же резко отлетали назад. Мимо ленивым потоком текла зеленая равнина. Длинная волна гор на краю небосвода, обретя способность двигаться, словно следовала за поездом.

Дагни не ощущала стука колес. Движение

превратилось в гладкий полет, следующий изначально заданному импульсу, словно бы тепловоз висел над рельсами, опираясь на набегавший воздушный поток. Скорости она также не ощущала. Ей просто казалось странным, что спереди на них набегают все новые зеленые огни семафоров и тут же отлетают назад. Она прекрасно знала, что семафоры отстоят друг от друга на две мили.

Стрелка спидометра на пульте перед Патом Логаном стояла на отметке «100 миль/ч».

Устроившись в кресле кочегара, она время от времени поглядывала на Логана. Тот сидел, чуть склонившись вперед, в свободной позе, как бы случайным движением положив ладонь на рукоять рычага переключения скоростей, но глаза его неотступно следили за колеей перед локомотивом. В позе его угадывалась непринужденность мастера, уверенного в себе настолько, что это могло бы показаться небрежностью, недопустимой легкостью, однако легкость эта требовала чудовищной собранности, концентрации, близкой к беспощадности абсолюта. Рей Макким сидел на скамье позади них. Риарден стоял посреди кабины.

Он стоял, расставив ноги, засунув руки в кар-

маны, глядя вперед. Ничто за пределами колеи не могло интересовать его в эти мгновения: он пристально глядел на рельсы.

«Собственность, — думала Дагни, то и дело оглядываясь на него, — почему здесь нет тех, кто не понимает ее природы и сомневается в ее реальности? Нет, она создается не бумагами, печатями, дарственными и доверенностями. Вот она — в глазах Риардена».

Наполнявшие кабину звуки казались частью пространства, которое они пересекали. К негромкому гудению двигателей примешивались разноголосые вскрики металла и его высокое пение, звон трепещущих оконных стекол.

Мимо стремительно промелькнули водонапорная башня, дерево, шаткая лачужка, башня элеватора…

Движение их можно было уподобить скольжению щетки «дворника» по ветровому стеклу: они поднимались, выписывая кривую, потом опускались снова. Телеграфные провода мчались наперегонки с поездом, в стабильном ритме взлетая к столбам и провисая между ними, подобно кардиограмме ровно бьющегося сердца, записанной на небе.

Дагни всматривалась вперед, в дымку, в кото-

рой вместе с рельсами плавилось расстояние, в дымку, которая в любой момент могла разорваться, явив какое-либо несчастье. Она не могла понять, почему в кабине ей гораздо спокойнее, чем в вагоне, — здесь, где любое неожиданное препятствие будет встречено лобовым стеклом и… ее собственной грудью. Она улыбалась, понимая ответ: видя все, зная и понимая обстановку, чувствуешь себя в безопасности, — в отличие от слепого ощущения движения в неизвестность, покорного неведомой силе, влекущей вперед. Таково величайшее счастье бытия: не доверяться, но *знать*.

Стеклянные панели окон кабины делали поля еще просторнее: земля казалась столь же открытой движению, как и зрению.

Ничто не далеко, и все достижимо. Едва заметив впереди мерцание озерца, в следующее мгновение она оказывалась рядом с ним, и вот оно уже отлетело назад.

Связь между зрением и осязанием странным образом стала плотнее, думала она, между желанием и исполнением его, между… — после паузы слова вспыхнули сами собой — *душой и телом*. Сперва видение, а потом его физическая форма. Сперва мысль, а потом целенаправленное

движение по единственно возможной прямой к избранной цели. Может ли первое иметь какой-либо смысл без второго? Не порочно ли это — желать без движения или двигаться без цели? Чьей злой волей рождено то, что крадется по миру, пытаясь разрушить связь между первым и вторым и направить их друг против друга?

Дагни тряхнула головой. Ей не хотелось размышлять о том, почему оставшийся позади нее мир сделался таким, или удивляться этому. Ей было все равно. Она улетала от него со скоростью сто миль в час. Склонившись вбок, к приоткрытому окну, она словно нырнула в ветер, сдувавший волосы с ее лба. Дагни откинулась назад, не чувствуя ничего, кроме того удовольствия, что приносил ей этот ветер.

Но разум ее не ведал пауз. Осколки мыслей пролетали сквозь него, подобно мелькавшим за окнами телеграфным столбам возле дороги. «Физическое удовольствие? — размышляла она. — Стальной состав… мчится по рельсам из риарден-металла… движимый энергией горящей нефти и электрических генераторов… это физическое ощущение физического движения в физическом пространстве… но в нем ли причина и смысл того, что я теперь ощущаю?.. Неужели

это и называют низменной, животной радостью — чувство безразличия при мысли о том, что рельсы под нами могут разлететься на куски… такого, разумеется, не случится, но мне было бы все равно, потому что я *уже* испытала эту радость? Неужели она и есть низменное, плотское, унизительное телесное наслаждение?

Закрыв глаза, Дагни улыбалась, а ветер теребил ее волосы.

Потом она открыла глаза: Риарден стоял перед ней и смотрел на нее тем же взглядом, который только что был обращен к рельсам. Всю ее силу воли словно смело одним тупым ударом, лишившим способности двигаться. Откинувшись на спинку кресла, она посмотрела ему в глаза, а ветер обрисовывал контуры ее тела тонкой тканью рубашки.

Риарден отвернулся, и она вновь обратила взгляд к открывавшейся перед ней земле.

Дагни не хотела думать, однако звук мысли не умолкал, как и рокот моторов, как и грохот в кабине локомотива. Она взглянула вверх. Мелкая стальная сетка на потолке, думала она, в углу ряд заклепок, соединяющих воедино стальные листы, — кто сделал все это? Мужские руки своей грубой силой? Кто дал возможность Пату Логану

с помощью четырех циферблатов и трех рукоятей соединять в единое целое немыслимую мощь расположенных за кабиной шестнадцати двигателей, покоряя ее непринужденной руке человека?

Неужели все эти вещи вместе с родившим их разумом представляют собой занятие, которое люди считают дурным? Это ли есть то, что они называют низменным интересом к физическому миру? Это ли называется порабощением материальным миром? Где в этом капитуляция души перед плотью?

Дагни опять мотнула головой, словно желая стряхнуть подобные мысли за окно, чтобы они разбились о насыпь. Она посмотрела на освещенные летним солнцем поля. Ей не нужно было думать, ведь эти вопросы — всего лишь частицы той правды, которую она знала, знала всегда. Пусть себе отлетают назад, как телеграфные столбы. То, что знала она, скорее, было похоже на провода, неразрывной линией скользившие возле окна. Все это путешествие, все ее чувства, вся отданная человеку земля укладывались в слова: «*Как все просто и справедливо!*»

Она посмотрела на расстилавшийся перед нею пейзаж. Дагни уже давно замечала человеческие

фигурки, с непонятной регулярностью возникавшие у колеи. Но они пролетали настолько быстро, что она не сразу сложила воедино все кадры этого кинофильма и поняла их смысл. Ей пришлось распорядиться об охране путей после завершения строительства, однако ту людскую цепочку, что выстроилась вдоль дороги, она просто *не могла* нанять. Через каждую милю возле столба вырастала новая фигура. Среди них попадались и явные школьники и согбенные старики. И все были вооружены чем попало, начиная с дорогих винтовок и кончая древними мушкетами. Их головы покрывали железнодорожные фуражки. Здесь были и сыновья работников фирмы «*Таггерт*», и старые железнодорожники, отдавшие ей всю свою жизнь. Охранять этот поезд они пришли по собственной воле. И, пропуская мимо себя локомотив, каждый становился по стойке смирно и отдавал своим оружием военный салют.

Осознав это, Дагни вдруг рассмеялась. Она смеялась, сотрясаясь, словно дитя; к смеху ее примешивались слезы облегчения. Пат Логан кивнул ей с легкой улыбкой; он давно уже заметил этот почетный караул. Дагни припала к открытому окну, широко и победно разведя руки в ответ

на приветствия выстроившихся у дороги людей.

На гребне далекого холма она заметила группу людей, отчаянно махавших приближающемуся локомотиву. Серые дома деревеньки были разбросаны по расстилавшейся внизу долине; казалось, что некогда их высыпали здесь и забыли: крыши осели и покосились, время смыло краску со стен. Быть может, в них провело свою жизнь не одно поколение, и ничто не отмечало здесь течения дней, кроме движения солнца с востока на запад.

И теперь люди эти собрались на вершине холма, чтобы увидеть серебряную комету, рассекавшую их равнину, словно звук горна — ставшее тяжким безмолвие.

Дома стали попадаться все чаще и ближе к пути, она замечала людей — в окне, на крыльце, на далекой крыше. Она видела толпы, собиравшиеся на перекрестках. Дороги пролетали мимо спицами колеса, и она не могла различить отдельные фигуры: лишь руки их приветствовали поезд, раскачиваясь, как ветви, встревоженные его полетом. Люди собирались под запрещающими красными огнями семафоров, под знаками, говорившими: «Остановись. Приглядись. Прислушайся».

Станция, мимо которой они пролетели, пересекая городок со скоростью в сотню миль в час, от платформы до самой крыши своей была подобна ожившей и размахивающей руками скульптурной группе. Она заметила только руки, подброшенные в воздух шляпы и что-то ударившееся в борт локомотива — букет цветов.

Назад отлетали мили, уносились станционные города, где они не делали остановок, перроны, переполненные людьми, пришедшими только для того, чтобы увидеть, приветствовать и надеяться. Под почерневшими от сажи карнизами старых станций висели гирлянды цветов, траченные временем стены были украшены красно-бело-синими флагами. Все было как на картинках, которые она — завидуя — видела в учебниках по истории железных дорог, дошедших с той поры, когда люди собирались вместе для того лишь, чтобы увидеть первый в своей жизни поезд. Так было в тот век, когда по стране проходил Нат Таггерт, и остановки на пути его привлекали людей, стремившихся узреть новое достижение человеческого духа. Тот век, думала Дагни, ушел; успели смениться поколения, не знавшие событий, которым можно было порадоваться, видевшие только трещины,

все глубже с каждым годом рассекавшие стены, возведенные Натом Таггертом. Но люди пришли снова, как приходили и в его время, повинуясь тому же велению сердца.

Она посмотрела на Риардена. Не обращая внимания на собиравшиеся за окном толпы, безразличный к их восторгу, он стоял, прислонившись к перегородке кабины и следил за качеством колеи и движением поезда с профессиональным интересом опытного эксперта. Вся его поза свидетельствовала о том, что мысли, подобные «им это нравится», он отбросил как неуместные, и что в сердце его звучит совершенно другая мысль: «ПОЛУЧИЛОСЬ!»

Высокая фигура его в серых брюках и рубашке казалась раздетой. Непринужденная и уверенная поза свидетельствовала о готовности метнуться вперед при малейшей необходимости; короткие рукава демонстрировали силу рук; в открытом вороте рубашки виднелась упругая кожа.

Дагни отвернулась, вдруг поняв, что слишком часто смотрит на него. Однако этот день не имел связи ни с прошлым, ни с будущим — мысли ее были далеки от любых последствий — она не видела *продолжения* и только с предельной ясностью ощущала, что заточена вместе с ним,

что они замкнуты в одном и том же объеме воздуха, что присутствие его служит для нее признанием самой сущности этого дня, как его рельсы служат опорой для полета поезда.

Она опять посмотрела на него, теперь специально. Глаза Риардена были обращены к ней.

Он не стал отворачиваться, но встретил ее взгляд холодным, не скрывающим намерений взором.

Дагни дерзко улыбнулась, не особенно задумываясь об истинном значении своей улыбки, зная только то, что не может нанести более сильного удара по этому невозмутимому лицу. Ей вдруг захотелось увидеть, как дрогнут эти черты, услышать, как сорвется крик с этих губ… А потом неторопливо отвернулась, охваченная странным чувством, не зная, почему ей вдруг стало так трудно дышать.

Она удобнее устроилась в кресле, глядя только строго вперед, но понимая при этом, что он столь же полон ею, как и она им. И ощущение это в своей полноте приносило ей особое удовольствие. Скрещивая ноги, ставя руку локтем на подоконник, откидывая волосы со лба — делая любое движение, она думала только об одном: *видит ли он?*

Позади оставался город за городом. Дорога пошла наверх, в местность, более угрюмую, не желавшую пропускать сквозь себя человека. Рельсы то и дело скрывались за поворотами, гребни гор пододвинулись ближе, пейзаж словно бы начал сминаться в складки. Плоские каменные ступени Колорадо подступали вплотную к колее, а вдали небо волнами загромождали синие горы.

Где-то там, впереди, закурились дымы над заводскими трубами, потом показались линии электропередачи и высокое стальное сооружение, похожее на длинную иглу. Они приближались к Денверу.

Дагни взглянула на Пата Логана. Он чуть наклонился вперед, пальцы его чуть стиснулись, взгляд сделался более напряженным. Как и она сама, он прекрасно представлял все опасности, связанные с пересечением города на такой скорости.

Минута сменяла минуту, однако они казались единым целым. Сперва появились одинокие силуэты, выросшие в проносящиеся за окнами заводы, потом их сменили расплывчатые очертания улиц, затем перед ними распростерлась дельта рельсовых путей, подобная той, что втягивалась в воронку вокзала «*Таггерт*», и ничто не защищало их, кроме протянувшейся по земле

цепочки крохотных зеленых огоньков. С высоты кабины они взирали на пролетавшие мимо товарные вагоны, превращавшиеся в сплошные ленты крыш; потом прямо перед ними распахнулась черная дыра депо; и почти сразу — взрыв звуков, стук колес под стеклянным сводом и приветственные крики толпы, словно колышащееся море в сумерках возле стальных колонн; затем — сияющая арка и цепочка зеленых огоньков в небе за нею, огоньков, похожих на ручки встроенных в пространство дверей, одна за другой распахивавшихся перед ними. И вновь побежали, улетая назад, полные автомобилей улицы, открытые окна, из которых выглядывали люди, и спорхнувшее с крыши далекого небоскреба облачко бумажных снежинок, просыпанных кем-то, увидевшим пронзавшую город серебряную пулю и остановившимся, чтобы проводить ее взглядом.

А потом они оказались за городом, на скалистом склоне, и с пугающей внезапностью перед ними выросли горы, словно бы город сплеча швырнул их на гранитную стену, на удачно подвернувшийся узкий карниз. Поезд жался к стене вертикального утеса, земля откатывалась куда-то вниз, гигантские завалы корявых глыб уходили

вверх, оставляя их мчаться в синеватом сумраке, не видя ни земли внизу, ни неба над головой.

Изгибы дороги превращались в полукружья, заложенные между скал, будто стремившихся стереть поезд в пыль. Однако колея всякий раз вовремя проходила сквозь них, и горы расступались, двумя поднятыми крыльями разлетаясь от точки, к которой сходились рельсы: одним — зеленым, покрытым ковром из вертикальных иголок-сосен, и другим — красновато-бурым, состоящим из камня.

Глядя из открытого окна, Дагни видела серебристый бок тепловоза, повисший над пустым пространством. Где-то далеко внизу тонкая ниточка ручья перепрыгивала с уступа на уступ, и обступившие воду папоротники, если вглядеться получше, оказывались трепещущими кронами берез. Она видела, как сзади состав изгибается на фоне гранитной скалы, видела длинные сколы рваного камня, видела петли иссиня-зеленой колеи, раскручивавшейся позади поезда.

Впереди, погрузив кабину во мрак, заполнив собой все ветровое стекло, выросла каменная стена, казавшаяся такой близкой, что столкновения с ней просто нельзя было избежать. Но взвизгнули колеса на вираже, и свет вернулся… Дагни

увидела перед собой узкий выступ вдоль обрыва и протянувшиеся по нему рельсы. Они заканчивались где-то в пространстве. Нос локомотива глядел прямо в небо. Ничто не могло остановить их, удержать на земле, кроме двух полосок сине-зеленого металла.

Принять на себя грохочущий натиск шестнадцати двигателей, подумала она, тяжесть семи тысяч тонн стали и груза, выдержать их, удержать и развернуть по кривой — это немыслимое деяние выполняли сейчас две полоски металла шириной в ее руку. Что сделало это возможным? Какая сила придала незримому расположению молекул ту прочность, от которой зависели теперь жизни их самих и людей, ожидавших прихода восьмидесяти вагонов? Она увидела лицо человека и руки его, освещенные пламенем лабораторной печи, светом белой полоски жидкого металла.

Ощутив натиск чувств, не в силах его сдержать, Дагни повернулась к двери машинного отделения, настежь распахнула ее и, пронзенная струей ставшего весомым звука, бросилась в недра грохочущего сердца локомотива.

На какое-то мгновение ей показалось, что она превратилась в единственное чувство — в об-

ретший плоть слух, и слух этот сделался долгим, колеблющимся, падавшим и возраставшим воплем. Глядя на огромные генераторы в раскачивающейся, замкнутой металлической коробке, она подумала, что хотела видеть их, потому что переполнявшее ее чувство победы связано с этими машинами, с ее любовью к ним, со смыслом всей ее жизни — избранной ею работой. На пике этой бури эмоций Дагни буквально кожей почувствовала: она вот-вот поймет нечто доселе неизвестное ей, однако такое, что следовало знать. Она заливисто рассмеялась, но не услышала своего смеха; окружавший ее непрерывный рев не позволял слышать ничего иного.

— Линия Джона Голта! — крикнула Дагни только для того, чтобы не услышать ни единого слова, слетевшего с ее уст.

Она неторопливо шла вдоль моторного отсека — по узкому проходу между двигателями и стенкой, — чувствуя себя наглым, незваным гостем, вторгнувшимся во внутренний мир существа, под его серебряную шкуру, наблюдающим за жизнью, бившейся в серых металлических цилиндрах, изогнутых трубках, в кружении лопастей вентиляторов, укрытых металлической сеткой. Колоссальная сила, переполнявшая эти

машины, по невидимым каналам перетекала к тонким стрелкам под стеклами циферблатов, к красным и зеленым огонькам, подмигивавшим на панелях, к высоким узким шкафам с надписью «Высокое напряжение».

«Почему, глядя на машины, я всегда ощущаю уверенность и радость?» — подумала Дагни. Огромные очертания их никак не вмещали в себя два нечеловеческих по своей природе понятия: *беспричинно* и *бесцельно*. Каждая деталь двигателей являла собой обретший материальный облик ответ на вопросы «Почему?» и «Зачем?» — как ступеньки ее жизни, курса, избранного той разновидностью разума, которую она почитала. Двигатели тепловоза были для нее моральным кодексом, воплощенным в стали.

Они живые, думала она, живые, потому что представляют собой физическую оболочку действия живой силы — разума, сумевшего постичь всю их сложность, придать ей цель, форму. На мгновение ей показалось, что двигатели стали прозрачными и что она видит их нервную систему. Сеть эта образовывалась связями, более сложными и значительными, чем просто провода и электрические контуры: *рациональными* связями, созданными человеческим разумом.

Они живые, думала она, и душа их управляет ими со стороны. И душа эта находится в каждом человеке, наделенном способностью быть на равных с машиной. Если душа эта исчезнет, остановятся и моторы, потому что именно она поддерживает их движение. Не нефть, текущая в трубопроводах под ее ногами, ведь нефть вновь станет тогда простым минералом; не стальные цилиндры, которым суждено тогда превратиться в пятна ржавчины на стенах пещер новых дикарей… Нет, именно *душа* — сила живого ума, сила мысли, выбора и цели.

Дагни повернула обратно к кабине; ей хотелось смеяться, преклонить колени, воздеть к небу руки, дабы выпустить на свободу то, что переполняло ее, но она понимала при этом, что чувству ее нет и не может быть выражения.

Она замерла на месте. На ступеньках перед дверью кабины стоял Риарден. Он смотрел на нее так, словно знал, зачем она здесь, знал, что с ней происходит. Оба они недвижно застыли, воплотились во взгляд, соединивший их в узком коридоре. Наполнявшее ее биение — биение моторов — исходило и от него; грохочущий ритм лишил ее воли. Не произнеся ни слова, оба они вернулись в кабину, зная, что память о пережи-

том мгновении останется с ними.

Утесы впереди превратились в ясное жидкое золото. В долинах внизу уже густели тени. Солнце опускалось за высящиеся на западе вершины. Они мчались туда, поднимаясь к солнцу.

Небо уже темнело, обретая цвет зелено-голубых рельсов, когда в далекой долине они заметили дымовые трубы. Это был один из новых городов Колорадо — тех, что сами собой вырастали вокруг нефтяного месторождения Уайэтта. Дагни заметила угловатые контуры современных домов, плоские крыши, огромные окна. Расстояние не позволяло различить фигуры людей. И в тот момент, когда она подумала, что из такого далека они, конечно же, не смотрят за поездом, откуда-то из-за домов в небо вспорхнула ракета, поднявшаяся над городом и рассыпавшаяся золотыми звездочками по темнеющему небу. Люди, которых она не видела, ждали появления состава на склоне горы и приветствовали его салютом, осветившим сумерки огненным дождем, знаком праздника или призыва на помощь.

За следующим поворотом, во внезапно открывшейся дали, Дагни увидела невысоко в небе два светившихся электрических огня — белый и красный. Это были не самолеты — она заме-

тила поддерживавшие их металлические рамы и сразу поняла, что перед ней буровые установки «*Уайэтт Ойл*». Колея пошла вниз, земля как будто распахнулась навстречу поезду, словно бы расступились сами горы, а внизу, у подножья горы Уайэтта, через темную расщелину каньона был переброшен мост из риарден-металла.

Они летели вниз, Дагни забыла точный градус уклона, забыла радиусы виражей постепенного спуска, ей просто казалось, что поезд несется вниз, ныряет вниз головой… мост вырастал им навстречу — невысокий, образованный кружевным металлическим переплетением: несколько иссиня-зеленых балок, ярких под косым лучом солнечного света, пробившимся сквозь какую-то брешь в горной цепи. Возле моста стояли люди, толпа казалась темным пятном, немедленно сместившимся на самый край ее сознания. Дагни услышала торопливый стук ускоряющих вращение колес и какую-то музыкальную тему, угадывавшуюся в их нарастающем ритме. Она будоражила ее, становилась все громче — и вдруг зазвучала в кабине, хотя Дагни понимала, что раздается она только в ее голове. Это был Пятый концерт Халлея, и она подумала: неужели он написал свой концерт ради такого случая?

Неужели и ему были знакомы подобные чувства? А поезд летел все быстрее. Дагни казалось, что они расстались с землей, горы подбросили их на трамплине, и теперь состав пронзает пространство… Такое испытание не будет честным, подумала Дагни, мы не коснемся моста… Над ней застыло лицо Риардена; запрокинув голову назад, она могла видеть его глаза… застонал металл, забарабанили колеса под полом тепловоза, замелькали за окнами диагональные стойки моста — со звуком металлического стержня, звякающего, один за другим, по столбам забора — замелькали и исчезли, скорость направленного вниз движения уже возносила состав вверх. Кабина вдруг оказалась окруженной буровыми вышками «*Уайэтт Ойл*»…

Пат Логан повернулся к ним и посмотрел на Риардена с легкой улыбкой. И Риарден сказал:

— Ну вот, приехали.

Знак на крыше оповещал: *Железнодорожный узел Уайэтт*. Дагни впилась в него глазами, чувствуя, что-то не так, и не сразу поняла, в чем дело: станционный знак не двигался. Самым неожиданным впечатлением от всего путешествия оказался именно этот миг — остановка.

Откуда-то донеслись голоса, Дагни посмотрела

вниз и увидела людей на платформе. А потом дверь кабины настежь распахнулась. Она поняла, что должна спуститься первой, и подошла к порогу.

Она вдруг ощутила, насколько хрупко ее тело, насколько легка ее застывшая на мгновение в воздухе фигура. Взявшись за металлические поручни, Дагни начала спускаться по лестнице. Еще на половине пути она почувствовала на своей талии мужские ладони, оторвавшие ее от ступеней, подбросившие в воздух и поставившие на землю. Дагни не могла поверить, что смеющееся мальчишеское лицо перед ней принадлежит Эллису Уайэтту. В памятных ей напряженных, полных презрения чертах, теперь читались чистота, энергия, радостное благоволение ребенка к миру, для которого он и был предназначен.

Чувствуя себя неуверенно на твердой земле, она припала к его плечу; он обнимал ее, она смеялась, она слушала его слова, она отвечала:

— Разве можно было сомневаться в том, что мы это сделаем?

Тут Дагни заметила лица окружавших ее людей. Это были пайщики «*Линии Джона Голта*», люди, представлявшие «*Нильсен Моторс*», «*Хэм-*

монд Кар Компани», «*Литейный завод Стоктон»* и всех прочих. Она обменивалась с ними рукопожатиями, речей не было; чуть сутулясь, она опиралась на Эллиса Уайэтта, откидывая волосы со лба. Дагни молча пожимала руки поездной бригаде, на всех лицах сверкали улыбки. Вокруг мерцали вспышки, с нефтяных вышек на склонах гор махали люди. Над головой Дагни, над всеми собравшимися, последние лучи солнца освещали серебряный щит с буквами «*TT*».

Эллис Уайэтт взял инициативу на себя. Он куда-то повел ее, расчищая согнутой в локте рукой дорогу в толпе, когда к ним пробился один из фоторепортеров.

— Мисс Таггерт, — обратился он к Дагни, — не хотите ли что-нибудь сказать людям?

Эллис Уайэтт указал на длинную цепочку товарных вагонов:

— Она уже все сказала.

А потом она оказалась на заднем сиденье открытого автомобиля, поднимавшегося по извилистой горной дороге. Риарден сидел рядом с ней, за рулем был Эллис Уайэтт.

Они остановились возле дома, на самом краю обрыва. Рядом не было никакого жилья, зато отсюда было видно все нефтяное месторождение.

— Конечно, вы оба остановитесь сегодня у меня, — предложил Эллис Уайэтт, едва они вошли в дом. — Или у вас другие планы?

Дагни рассмеялась.

— Не знаю, я вообще не думала об этом.

— Ближайший городок находится в часе езды на автомобиле. Туда и отправилась вся поездная бригада: ваши парни из отделения дают банкет в их честь. Веселится весь город. Но я сказал Теду Нильсену и всем остальным, что мы не собираемся устраивать приемы и произносить речей. Если только вы сами этого не захотите.

— Боже упаси, нет! — воскликнула Дагни. — Спасибо вам, Эллис.

Уже совсем стемнело, когда они уселись за обеденный стол в комнате с широкими окнами, обставленной лаконично, но дорого. Обед им подавал единственный, кроме хозяина, обитатель этого дома, пожилой молчаливый индеец — невозмутимый и любезный. Комнату освещали редкие огоньки, изнутри и извне: свечи на столе, прожекторы на вышках и кранах, звезды.

— Итак, теперь вы считаете себя при деле? — говорил Эллис Уайэтт. — Нет, дайте мне только год, и я завалю вас работой. Два состава цистерн в день, как вам это нравится, Дагни? А потом их

будет четыре или шесть… сколько захотите.

Он указал рукой в сторону огоньков на горах:

— Вы скажете, *это*? Нет, это ничто в сравнении с тем, к чему я приступаю.

Он указал рукой на запад.

— Перевал Буэна Эсперанса. В пяти милях отсюда. Все удивляются тому, что я вожусь там. Нефтяные сланцы. Сколько лет назад все расстались с желанием добывать нефть из сланцев, потому что это слишком дорого? Но подождите, увидите результаты разработанного мной процесса. Он даст нам самую дешевую нефть, неограниченные запасы ее, рядом с которыми самое крупное месторождение покажется жалкой лужицей. Я уже заказывал трубопровод? Хэнк, нам с вами придется построить отсюда трубопроводы во все стороны… Ох, простите. Я забыл представиться вам там, на станции. Я даже не назвал своего имени.

Риарден ухмыльнулся.

— Я его уже вычислил.

— Простите, я сам не люблю легкомыслия, но я был слишком взволнован.

— И что же вас так взволновало? — Дагни насмешливо прищурилась.

Уайэтт коротко посмотрел ей в глаза; торже-

ственный тон его ответа странным образом сочетался с полным смеха голосом:

— Самая восхитительная пощечина, которую я получил в своей жизни, и притом заслуженно.

— Вы имеете в виду нашу первую встречу?

— Я имею в виду нашу первую встречу.

— Не надо. Вы были правы.

— Действительно. Но во всем, кроме вас. Дагни, найти в вашем лице такое исключение из общего правила после стольких лет… А, да к черту их всех! Может быть, вы хотите, чтобы я включил радио, и вы послушали, что говорят о вас двоих сегодня вечером?

— Нет.

— Хорошо. Мне их слушать не хочется. Пусть сами себя слушают. Теперь все они скопом лезут к нам в двери. И командуем мы.

Он посмотрел на Риардена:

— Чему вы улыбаетесь?

— Мне всегда хотелось увидеть вас таким, какой вы есть.

— У меня никогда не было возможности быть таким — до сегодняшнего вечера.

— И вы живете здесь в одиночестве, в стольких милях от всего на свете?

Уайэтт показал на окно:

— Я живу всего в паре шагов от всего на свете.

— А как же общение с людьми?

— У меня есть гостевые комнаты для тех, кто приезжает ко мне по делам. А что касается всех прочих, я предпочел бы, чтобы нас с ними всегда разделяло столько миль, сколько это вообще возможно, — наклонившись вперед, он заново наполнил бокалы. — Хэнк, почему вы не хотите перебраться в Колорадо? Пошлите к черту Нью-Йорк со всем Западным побережьем! Здесь находится столица Ренессанса. Второго Ренессанса — возрождения не живописи и кафедральных соборов, а нефтяных вышек, электростанций и двигателей, изготовленных из риарден-металла. У нас был каменный век, был век железный, а новое время назовут веком риарден-металла, потому что нет предела тому, что стало возможным благодаря вашему изобретению.

— Я намереваюсь приобрести несколько квадратных миль в Пенсильвании, — заметил Риарден. — Рядом с моим предприятием. Было бы дешевле поставить филиал здесь, как я и хотел раньше, однако вам известно, почему этот путь теперь закрыт для меня, и пусть они идут к черту! Верх все равно будет за мной. Я намереваюсь расширить завод, и, если Дагни предоставит мне три

состава в день до Колорадо, мы еще посмотрим, где расположится столица Второго Ренессанса!

— Дайте мне год эксплуатации поездов «*Линии Джона Голта*», дайте мне время собрать воедино всю таггертовскую дорогу, и я предоставлю вам три поезда в день — на линии из риарден-металла, протянувшейся от океана до океана!

— Кто там говорил, что ему нужна точка опоры? — проговорил Эллис Уайэтт. — Дайте мне право беспрепятственного движения, и я покажу им, как перевернуть Землю!

Дагни попыталась понять, почему смех Уайэтта так нравится ей. В голосах обоих мужчин и даже в ее собственном звучала интонация, которой она никогда еще не слышала. Когда все трое встали из-за стола, Дагни с удивлением заметила, что в комнате горят только свечи: ей-то казалось, что они окружены ослепительным сиянием.

Взяв в руку бокал, Эллис Уайэтт посмотрел на своих гостей и сказал:

— За мир, за землю, ибо сейчас она кажется такой, какой должна быть!

И он единым движением опорожнил бокал.

Дагни услышала звон разбившегося о стену стекла. Это не был обычный жест — разбить бокал в честь праздника, — а резкое движение,

полное гневного бунта и злости, больше похожей на безмолвный стон боли.

— Эллис, — прошептала она, — в чем дело?

Он повернулся к ней. С той же буйной внезапностью глаза его просветлели, лицо успокоилось, пугающая гримаса сменилась мягкой улыбкой.

— Простите, — сказал он, — не обращайте внимания. Постараемся думать, что это всерьез и надолго.

Землю внизу уже заливал лунный свет, когда Уайэтт повел их по внешней лестнице на второй этаж дома, к открытой галерее, на которую выходили комнаты гостей. Он пожелал им доброй ночи, шаги его прошелестели по ступеням. Лунный свет словно лишал силы звук, как заставлял он блекнуть краски. Шаги Уайэтта удалялись, и когда они, наконец, стихли, воцарившееся молчание было подобно долгому одиночеству, когда на всей земле не осталось ни одной живой души.

Дагни не пошла к своей комнате. Риарден не шевелился. Галерею ограждали только невысокие перила, за которыми начиналось пространство ночи. Угловатые уровни спускались вниз, тени повторяли очертания стальных сплетений буровых вышек, черными линями пролегая по светлому камню. Несколько огоньков, белых

и красных, трепетало в чистом воздухе, подобно каплям дождя, застывшим на краях стальных балок. Вдалеке три небольших зеленых капельки выстроились в линию вдоль железной дороги Таггертов.

За огоньками, в конце пространства, у подножия белой дуги висел сетчатый прямоугольник моста.

Дагни ощущала ритм, не соответствующий ни звуку, ни движению; что-то пульсировало рядом, словно бы колеса тепловоза еще стучали по рельсам «*Линии Джона Голта*».

Неторопливо, хотя невысказанный призыв и требовал от нее большего, она повернулась к Риардену.

Выражение его лица впервые до конца объяснило ей, что она прекрасно знала заранее, каким именно будет конец путешествия. Он смотрел на нее вопреки всем представлениям о том, как это должен делать мужчина, в нем не было никакой расслабленности, вялости и бессмысленной алчности. Рот его был напряжен, чуть поджатые губы подчеркивали контуры рта. Только глаза затягивала дымка, под ними набухли мешки, а взгляд являл некую смесь ненависти и боли.

Потрясение превратилось в онемение, распространявшееся по всему телу — Дагни почувствовала, как стиснуло горло, — она не замечала ничего, кроме этой немой конвульсии, мешавшей ей дышать. Однако то, что ощущала она сейчас, значило только одно: «Да, Хэнк, да… потому что это тоже часть нашей битвы, хотя я и не могу сказать, почему так получается… ведь в этом наше бытие, противящееся их прозябанию… наши великие способности, за которые они мучат нас, наша способность быть счастливыми… А теперь, пусть *это* будет, без слов и вопросов, потому что мы оба хотим этого…»

Все свершилось подобно взрыву ненависти, подобно удару кнута, ожегшему ее тело: она ощутила на себе его руки, припала к нему животом, грудь ее прижалась к его груди, его губы впились в ее.

Рука Дагни скользнула с плеча Риардена ему на спину, потом к ногам, повествуя о невысказанном желании каждой встречи с ним. Оторвавшись от его губ, Дагни беззвучно и победоносно смеялась, как бы заявляя: «Хэнк Риарден — строгий и неприступный Хэнк Риарден из подобного монашеской обители кабинета, человек деловых переговоров, жестких сделок — помнишь ли ты

о них сейчас? А я помню и радуюсь тому, что довела тебя до этого…»

Он не улыбался, лицо его было лицом врага; подняв ее голову за подбородок, Риарден снова припал к ее губам, словно стремясь нанести рану.

Дагни почувствовала, как он дрожит, и подумала, что именно такой крик хотела бы сорвать с его губ — капитуляцию сквозь муки сопротивления. И все же она понимала, что победа принадлежит ему, что смехом своим она выражает только восхищение им, что имя ее сопротивлению — покорность, что всеми своими силами она лишь старается сделать его победу более впечатляющей. Он прижимал ее к себе, давая понять, что сейчас она не более чем инструмент для удовлетворения его желания, что его победа означает ее желание покориться. Чем бы ни являлась я, думала она, сколь ни гордилась бы своей отвагой, работой, интеллектом и способностями — все это я приношу тебе ради удовольствия твоего тела, я хочу послужить тебе этим, а ты хочешь удостоить меня высочайшей награды, которую можешь дать мне.

На галерее в двух комнатах был включен свет. Взяв Дагни за запястье, Риарден подтолк-

нул ее к своей комнате, жестом давая понять, что не нуждается ни в ее согласии, ни в ее протесте. Не отводя глаз от ее лица, он запер дверь. Стоя, выдержав его взгляд, она протянула руку к лампе на столике и выключила свет. Подойдя к ней, Риарден вновь включил лампу небрежным, скупым движением руки.

Она впервые заметила на лице его улыбку — неторопливую, насмешливую, чувственную, словно подчеркивающую цель такого поступка.

Уложив Дагни на постель, он принялся срывать с нее одежду. Припав лицом к его телу, она прикоснулась губами к его шее, к плечу. Она понимала, что любое проявление ее желания будет воспринято им как удар, что в душе его собирается немыслимый сейчас гнев — никакая ласка не удовлетворит его стремления насытиться проявлениями ее желания.

Поглядев на ее обнаженное тело, Риарден склонился над ней, и Дагни услышала его голос, в котором звучал триумф, но не вопрос:

— Ты хочешь этого?

Ответ ее скорее напоминал вздох, чем слово — это было произнесенное с закрытыми глазами «Да».

Она понимала, что мнет ткань его рубашки,

знала, что губы, прикасающиеся к ее губам, принадлежат ему, но во всем остальном не было раздела между ее и его существом, как не было в этот миг разделения между душой и плотью. Все прожитые годы они шаг за шагом следовали по избранному пути. Их любовь к жизни выросла из осознания того, что ничего в ней не дается даром, что человек сам должен понять, в чем заключается его желание, и обязан сам добиваться его исполнения. Это были годы, отданные металлу, рельсам, двигателям, годы, когда они повиновались единственной мысли: ради собственного удовольствия следует переделать землю, ведь только человеческий дух придает смысл неодушевленной материи, заставляя ее служить намеченной цели. Путь этот привел их к мгновению, когда, отзываясь на высочайшее, возвышеннейшее мгновение жизни, покоряясь восхищению, которого нельзя было выразить никаким другим образом, дух человека заставляет тело стать наслаждением, преобразуя его в доказательство, в поощрение, в награду, в столь могучую радость, что делает излишними все прочие радости бытия. И он услышал, как дыхание ее превратилось в стон, а она ощутила содрогание его тела.

ГЛАВА IX. САКРАЛЬНОЕ И ПРОФАННОЕ

Она посмотрела на подобные браслетам сияющие кольца, от плеч до запястья проступившие на ее руке. Свет пробивался сквозь жалюзи на окне в незнакомой ей комнате. Над локтем красовался синяк, покрытый темными бусинками засохшей крови. Рука лежала на прикрывавшем тело одеяле. Она чувствовала свои ноги и бедра, но все остальное тело охватила необъяснимая легкость, оно словно бы покоилось в воздухе, на некоем сотканном из солнечных лучей ложе.

Повернувшись к Риардену, она подумала: от его былой сдержанности, от хрупкой, как стекло, официальности, от гордой готовности отказаться от любого чувства не осталось и следа. Этот новый Хэнк Риарден лежал возле нее в постели после бури, для которой у них обоих не было названия, не было слов, не было выражения, но она жила в их глазах, обращенных друг к другу, и они хотели дать ей имя, значение, поделиться ею друг с другом.

Риарден видел перед собой будто озаренное внутренним светом лицо юной девушки, на гу-

бах которой цвела улыбка; локон волос по щеке ниспадал на обнаженное плечо, глаза смотрели с таким выражением, словно она была готова принять любые его слова, примириться со всем, что ему заблагорассудится сделать.

Протянув руку, он отвел прядь с ее щеки, осторожно, как самый хрупкий предмет. Задержав волосы в пальцах, Риарден посмотрел в глаза Дагни, а потом вдруг поднес прядь к губам. В том, как он целовал ее волосы, сияла нежность, но в движении пальцев дрожало отчаяние.

Он откинулся назад на подушку и замер, закрыв глаза. Лицо его казалось юным и мирным. Увидев его на мгновение спокойным, Дагни вдруг постигла всю степень несчастий, обрушившихся на Риардена; теперь все прошло, решила она, закончилось.

Он поднялся, более не глядя на нее. Лицо его снова стало пустым и замкнутым.

Подобрав с пола одежду, он начал одеваться, стоя посреди комнаты, повернувшись к ней спиной. Он вел себя не так, словно ее не было рядом, но как если бы ему было безразлично, что она тоже здесь. Точными, привычными к экономии времени движениями он застегивал рубашку, затягивал ремень на брюках.

Откинувшись на подушку, она наблюдала за ним, любуясь ловкостью его рук. Дагни нравились серые брюки и рубашка — он казался ей опытным механиком «*Линии Джона Голта*», оказавшимся, как узник, в плену, за решеткой из солнечного света и теней. Только решетка обернулась трещинами в стене, проломленной веткой «*Линии Джона Голта*», заранее оповещавшими их о том, что ждет там, за стеной, за окнами этого дома. Она уже предвкушала поездку обратно, по новым рельсам, с первым же поездом от «*Узла Уайэтта*» до самого своего кабинета в офисе «*Таггерт*», ко всему, чего теперь была способна добиться… Впрочем, с этим можно и подождать; ей пока не хотелось ни о чем думать. Дагни вспоминала первое прикосновение его губ — она могла позволить себе насладиться воспоминанием, продлить мгновение, ведь все прочее теперь ничего не значило. Она вызывающе улыбнулась полоскам неба, проглядывавшим сквозь жалюзи.

— Я хочу, чтобы ты знала, — Риарден остановился у постели, глядя на нее сверху вниз. Он произнес это ровным, четким, бесстрастным голосом. Она покорно посмотрела на него. Риарден продолжил:

— Я презираю тебя. Но это презрение — пустяк по сравнению с тем, что я чувствую по отношению к себе. Я не люблю тебя. И никогда не любил. Но я хотел тебя с первого мгновения, с первой встречи. Я хотел тебя, как шлюху, с той же самой целью и по той же причине. Два года потратил я, проклиная себя, считая, что ты выше греха. Но это не так. Ты — столь же низменное животное, как и я сам. Я должен был бы возненавидеть тебя за такое открытие. Но не могу. Вчера я убил бы всякого, кто сказал бы мне, что ты способна делать то, что я заставлял тебя делать. Сегодня я отдал бы жизнь за то, чтобы ничего не изменилось, чтобы ты осталась такой же сукой, как ты есть. Все величие, которое я видел в тебе… я не променяю его на непристойность твоего дара получать животное наслаждение. Только что мы с тобой были великими, гордились своей силой, не так ли? И вот что стало с нами, вот что осталось от нас… и я не хочу обманываться в этом.

Он говорил неторопливо, словно бы хлестал себя словами. В голосе не было эмоций, в нем слышалось лишь усилие обреченности; интонация его выражала не стремление выговориться, а была полна мучительного — до пытки — чувства долга.

— Я ставил себе в заслугу то, что никогда и ни в ком не нуждался. Теперь я нуждаюсь в тебе. Я гордился тем, что всегда поступал согласно своим убеждениям. И сдался перед желанием, которое презирал. Это желание низвело мой ум, мою волю, мое существо, мою жизненную силу к презренной зависимости от тебя — не от Дагни Таггерт, которой я восхищался, но от твоей плоти, твоих ладоней, твоего рта и нескольких секунд сокращения мышц твоего тела. Я никогда не нарушал данного слова. Я никогда не нарушал принесенной мною клятвы. Я никогда не совершал поступков, которые следует скрывать. Теперь мне придется лгать, действовать украдкой, прятаться. Желая чего-то, я провозглашал свое желание во всеуслышанье и добивался своей цели на глазах у всех. И теперь мое единственное желание выражается словами, которые мне даже противно произносить. Но это мое *единственное* желание. Я хочу обладать тобой, и ради этого откажусь от всего, что мне принадлежит: от завода, от своего металла, от достижений всей своей жизни. Я хочу обладать тобой ценой, которая мне дороже собственной жизни: ценой уважения к себе — и хочу, чтобы ты знала это. Я не хочу никаких претензий, никаких сомне-

ний, никаких иллюзий относительно природы нашего поступка. Я не хочу обманывать себя любовью, оценками, верностью или уважением. Я хочу, чтобы на нас не осталось и клочка чести, за которым можно было бы спрятаться. Я никогда не просил о милости к себе. Я сделал то, что я сделал, это мой выбор. Я принимаю на себя все последствия и всю ответственность. Это разврат — я принимаю его таковым, и нет такой высшей добродетели, от которой я не отказался бы ради него. А теперь, если хочешь дать мне пощечину, действуй. Мне бы этого даже хотелось.

Дагни слушала его, сев в постели, прижав к горлу край одеяла. Сперва и Риарден видел это, глаза ее потемнели от неверия и гнева. А потом ему внезапно показалось, что она стала слушать его более внимательно и видеть нечто большее, чем просто выражение его лица, хотя глаза ее неотступно следили за ним. Казалось, что она внимает некоему откровению, прежде от нее скрытому. И Риарден вдруг почувствовал, что его словно осеняет становящийся все ярче и ярче луч света; отражение его он уже видел на ее лице, с которого стиралось неверие, сменяясь удивлением, а потом странной ясностью, какой-то

тихой и искрящейся.

Когда он умолк, Дагни залилась смехом.

Риарден был поражен, не услышав в нем гнева. Дагни смеялась весело, заливисто, радостно, свободно и вольно, как смеются, не ища решение проблемы, а поняв, что ее вовсе не существует.

Дагни решительно, даже немного картинно сбросила с себя одеяло.

Она встала, увидела на полу свою одежду и отшвырнула ее ногой.

Встав обнаженной перед Риарденом, она сказала:

— Я хочу тебя, Хэнк. И во мне куда больше животного, чем ты думаешь. Я хотела тебя с самого первого мгновения нашего знакомства и стыжусь только того, что не поняла этого сразу. Не знаю почему, но уже два года моей жизни самые радостные мгновения я испытывала в твоем кабинете, когда могла видеть тебя. Я не берусь судить о природе того, что ощущала в твоем присутствии и почему. Теперь я просто *понимаю* это. И не хочу ничего другого, Хэнк. Я хочу, чтобы ты делил со мной постель, все остальное — твое и только твое. Тебе ничего не придется изображать — не надо думать обо мне, не надо заботиться, я не собираюсь посягать на твой разум,

на твою волю, на твою сущность или на твою душу, пока ты ко мне будешь приходить за удовлетворением самого низменного из твоих желаний. Я всего лишь животное, которое не ищет ничего другого, кроме столь презираемого тобой удовольствия, но я хочу получать его от *тебя*. Ты готов отдать за него любую высшую добродетель, а я… у меня их нет, и потому мне нечего отдавать. Я не ищу их, зачем они мне? Я настолько низменна по природе своей, что готова отдать наивысшую добродетель этого мира, лишь бы увидеть тебя в кабине локомотива. Но, увидев тебя, я не останусь безразличной. Не надо бояться того, что ты вдруг стал от меня зависеть. Это *я* теперь буду зависеть от тебя и твоих прихотей. Ты сможешь иметь меня, когда пожелаешь, в любом месте, по любому твоему капризу. Ты назвал этот мой дар непристойным? Но именно он позволяет тебе привязать меня к себе надежнее, чем любую твою недвижимость. Ты можешь располагать мной в любом качестве, и я не боюсь признать это, мне нечего защищать от тебя и нечего оберегать. Ты считаешь, что наши отношения могут представить угрозу твоим достижениям, но здесь ты ошибаешься. Я буду сидеть за своим столом и работать, а когда жизнь

вдруг станет невыносимой, буду мечтать о той награде, которую получу, оказавшись в твоей постели. Ты назвал это распутством? Я много порочнее тебя: ты видишь в этом свою вину, а я горжусь нашей связью. Я ставлю ее выше всего, что сделала, выше построенной мной дороги. Если меня попросят назвать высшее достижение в моей жизни, я отвечу: *«Я спала с Хэнком Риарденом»*. Потому что заслужила это.

Когда он бросил ее на постель, тела их встретились, как два столкнувшихся звука: полный мучения стон Риардена и смех Дагни.

* * *

Невидимый дождь поливал темную улицу, струи его искрящейся бахромой стекали с колпака фонаря на углу улицы. Покопавшись в карманах, Джеймс Таггерт обнаружил, что потерял носовой платок.

Он негромко, но весьма раздраженно выругался, словно дождь, потеря платка и промокшая голова были результатом чьих-то происков.

Мостовую покрывал слой грязи; липкая гадость чавкала под каблуками, а холод усиленно старался забраться ему за воротник. Джеймсу Таггерту не хотелось куда-то идти, но не хотелось и оста-

навливаться. Впрочем, идти ему было некуда.

Покинув кабинет после собрания правления, он вдруг понял, что больше у него нет никаких дел, впереди долгий, тягостный вечер, и никто не поможет ему скоротать его. Передовицы газет провозглашали триумф «*Линии Джона Голта*», об этом весь вчерашний вечер вопило радио. Заголовки растянули название «*Таггерт Трансконтинентал*» на целый разворот, и он с улыбкой принимал поздравления. Он улыбался, сидя во главе длинного стола на заседании правления, пока директора рассказывали о головокружительном взлете акций компании «*Таггерт*» на бирже и осторожно упрашивали показать письменное соглашение между ним и его сестрой — просто так, на всякий случай, — а потом говорили, что документ вполне законен и является весьма убедительным доказательством того, что теперь Дагни придется немедленно покинуть «*Таггерт Трансконтинентал*»; затем они обсуждали перспективы, сулящие блестящее будущее, и признавали, что компания в неоплатном долгу перед Джеймсом Таггертом.

Все совещание Джеймс просидел, мечтая лишь о том, чтобы оно поскорее закончилось, и он мог бы пойти домой. Только оказавшись на ули-

це, он понял, что именно домой-то его и не тянет. Одиночество пугало его, однако идти было просто некуда.

Джим не хотел никого видеть. Он внимательно следил за глазами членов правления, повествовавших о его величии: лукавыми, маслеными глазами, в которых легко читалось презрение к нему и, что самое страшное, — к самим себе.

Он брел, повесив голову, и иглы дождя то и дело кололи ему шею. Всякий раз, проходя мимо газетного киоска, он отворачивался. Газеты настойчиво трубили о триумфе «*Линии Джона Голта*» и упорно повторяли имя, которое он не желал слышать: Рагнар Даннескьолд. Направлявшийся в Народную Республику Норвегия корабль с экстренным грузом инструментов прошлой ночью был захвачен Даннескьолдом. Сообщение это, непонятно почему, воспринималось Джеймсом как личное оскорбление. И в чувстве этом крылось нечто общее с тем, что он испытывал к «*Линии Джона Голта*».

Все это потому, что я простужен, думал он; ему не было бы так худо, если бы не эта чертова простуда; нечего и думать быть на высоте, когда ты болен (он-то тут причем?). «И чего они сегодня ждали от него, чтобы он сплясал им

и спел?» — гневно бросил он в лицо воображаемым хулителям своего нынешнего невнятного состояния. Вновь потянувшись за отсутствующим платком, Джеймс ругнулся и решил купить где-нибудь бумажные салфетки.

На противоположной стороне некогда оживленной площади он увидел освещенные окна грошовой лавчонки, все еще открытой в этот поздний час. Вот и еще один кандидат на скорый вылет из дела, подумал Джеймс, пересекая площадь; мысль эта принесла ему удовлетворение.

Внутри магазинчика горели все огни, несколько усталых продавщиц дежурили за безлюдными прилавками, патефон скрипел ради засевшего в углу одинокого апатичного покупателя. Музыка приглушила раздражение в голосе Таггерта: он попросил принести бумажные салфетки таким тоном, словно продавщица-то и была виновна в его простуде. Девушка потянулась к находившемуся позади нее прилавку, но тут же обернулась и бросила быстрый взгляд на его лицо. Взяв было, упаковку, она остановилась и принялась уже с откровенным любопытством разглядывать покупателя.

— А вы, случайно, не Джеймс Таггерт? — спросила она.

— Да! — рявкнул он. — А вам-то что?

— Ой! — охнула она, как дитя при виде фейерверка, и поглядела на Таггерта так, как, по его мнению, можно смотреть только на кинозвезд.

— Сегодня утром я видела ваш портрет в газете, мистер Таггерт, — быстро залопотала она, слабый румянец мелькнул на лице и погас. — Там было сказано, какое это великое достижение и что именно вы сделали всё, только не захотели, чтобы про вас стало известно.

— Ну… да, — проговорил Таггерт. Он уже улыбался.

— А вы совсем такой же, как на снимке, — проговорила она с глупым удивлением, а потом добавила: — Надо же, подумать только… вы вошли сюда, собственной персоной!..

— Разве это так уж невероятно? — осведомился он, вдруг почувствовав себя несколько неловко.

— Ну, я хотела сказать, что все говорят об этом, вся страна, и вы это сделали — и вот вы здесь! Мне еще ни разу не приходилось встречать *такого* человека. И я никогда не оказывалась рядом с чем-то важным, ну, то есть так, как будто сама попала в газетные новости.

Джеймсу еще не доводилось чувствовать, чтобы его присутствие буквально озаряло место,

где он появился: усталость разом оставила девушку, как если бы магазинчик вдруг превратился в сцену свершения чудес и высокой драмы.

— Мистер Таггерт, а это правда — то, что о вас написали в газетах?

— И что же они там написали?

— О вашем секрете.

— Каком секрете?

— Ну, там говорили, что когда все протестовали против вашего моста, не знали, выстоит он или нет, вы не стали спорить с ними, просто продолжили строительство, потому что не сомневались в том, что он выстоит, хотя никто-никто этого не думал. Так что линия была проектом Таггертов, и вы были ее тайным вдохновителем, но хранили свой секрет, потому что вам было безразлично, кого будут за это хвалить.

Джеймс уже видел копию пресс-релиза своего отдела по связям с общественностью.

— Да, — промолвил он, — в самом деле.

Девушка смотрела на него так, что он и сам чуть не поверил в свои слова.

— Какой удивительный поступок, мистер Таггерт.

— А вы всегда помните то, что читаете в газетах… так подробно, в таких деталях?

— А что, да, наверно так… все интересное. Важное. Мне нравится читать об этом. Со мной-то ничего значительного не происходит.

Она сказала это бодро, даже весело, без жалости к себе. В голосе и движениях ее сквозила бесцеремонность юности. Голова ее была вся в каштановых кудряшках, на курносом носу, между широко расставленных глаз, цвело несколько веснушек. Таггерт подумал, что такое лицо вполне можно назвать привлекательным, если только заметишь его, однако причин замечать его не усматривалось. Казалось бы, вполне заурядное девичье личико, если не считать бойкого, полного интереса взгляда, способного обнаружить нечто волнующее и неожиданное буквально за каждым углом.

— Мистер Таггерт, а как это — чувствовать себя великим человеком?

— А как это — чувствовать себя юной девицей?

Она рассмеялась.

— По-моему, чудесно.

— Ну, тогда вам живется лучше, чем мне.

— Ну как можно говорить такие…

— Думаю, вам даже повезло в том, что не приходится соприкасаться с важными событиями, о которых пишут в газетах. Кстати, что вы назы-

ваете *важным* событием?

— Ну… важное.

— А что бывает важным?

— А это уже вы должны объяснить мне, мистер Таггерт.

— Ничего важного на свете не существует.

Девушка недоверчиво посмотрела на него:

— И это именно *вы* говорите такие слова в *такой* вечер!

— У меня вовсе не празднично на душе, если вам хочется это знать. Никогда в жизни у меня не было более скверного настроения.

К огромному удивлению Таггерта, девушка взглянула на него с такой озабоченностью, какой он еще не встречал.

— Вы утомлены, мистер Таггерт, — искренним тоном проговорила она. — Пошлите их всех к черту.

— Кого?

— Тех, кто заставляет вас унывать. Это несправедливо.

— Что несправедливо?

— Что вам приходится чувствовать себя таким вот образом. Вы пережили нелегкие времена, но победа осталась за вами, и вы можете сегодня наслаждаться ею. Вы заслужили это.

— И как, по-вашему, я должен это делать?

— Ох, этого я не знаю. Но, по-моему, у вас сегодня должен быть праздник, прием, чтобы к вам заявились всякие знаменитости с шампанским, чтобы вам подносили всякие вещи… ну, вроде ключей от города — настоящая шикарная вечеринка, — а не так вот, когда вы, один, бродите по городу и покупаете всякие дурацкие бумажные носовые платки!

— Кстати, дайте мне их, пока вы еще помните, — проговорил Таггерт, подавая ей монету. — А что касается шикарной вечеринки… вам не приходило в голову, что сегодня я могу не хотеть никого видеть?

Искренне задумавшись, девушка сказала:

— Действительно. Я не подумала об этом. Но теперь я понимаю, почему так получилось.

— Почему же? — На этот вопрос у него самого ответа не было.

— Потому что все вокруг хуже вас, мистер Таггерт, — ответила она совсем просто, не пытаясь польстить, просто констатируя факт.

— Вы действительно так думаете?

— Я не слишком люблю людей, мистер Таггерт. По большей части.

— И я тоже. Я не люблю их совсем.

— Я думаю, что такому человеку, как вы, не может быть известно, насколько подлыми они могут быть, как они пытаются растоптать тебя или проехаться на твоей спине, если ты им это позволишь. Я думала, что большие люди всегда могут избавиться от них, а не терпеть все время блошиные укусы, но, может быть, это не так.

— А что вы имеете в виду под «блошиными укусами»?

— Ну, я просто всегда говорю себе, когда мне приходится туго: тебе надо пробиться туда, где не придется терпеть разные там булавочные уколы и гадости, — но, наверно, так обстоит повсюду, только вот блохи крупнее.

— Куда крупнее.

Девушка умолкла, о чем-то задумавшись.

— Забавно, — проговорила она в ответ на какую-то свою мысль.

— Что забавно?

— Когда-то я читала книжку, где было сказано, что большие люди всегда несчастны, и чем они больше, тем несчастнее. Мне это показалось непонятным. Но, наверно, так оно и есть.

— Сказано много точнее, чем вы думаете.

Девушка отвернулась, на лице ее проступило волнение.

— Но почему вас так волнуют великие люди? — спросил Джеймс. — Или вы просто привыкли почитать героев?

Девушка повернулась к Таггерту, и он заметил на ее все еще серьезном лице отсвет улыбки — настолько красноречивого, обращенного лично к нему взгляда ему еще не приходилось видеть, но ответила она тихим, почти обреченным тоном:

— Мистер Таггерт, а на кого же еще смотреть?

В помещении вдруг раздался скрежещущий звук — не звонок и не зуммер, а что-то еще — он хрипел с действующей на нервы настойчивостью.

Девушка вздрогнула, будто возвращаясь к реальности, а потом вздохнула.

— Все, время вышло, мы закрываемся, мистер Таггерт, — произнесла она полным сожаления голосом.

— Сходите за своей шляпкой — я подожду вас снаружи, — предложил он.

Она посмотрела на него такими глазами, словно среди всех возможностей, которые могла бы уготовить ей жизнь, никогда не думала именно об этой.

— Вы не шутите? — прошептала она.

— Не шучу.

Вихрем повернувшись, она бросилась к служебной двери, забыв о своем прилавке, о своих обязанностях и о неписаном женском законе — никогда не показывать мужчине, что его приглашение ей приятно.

Задержавшись на мгновение, он проводил ее взглядом. Таггерт не стал уточнять природы своих чувств, он вообще никогда их не анализировал — таким было единственное правило, которого он неуклонно придерживался в своей жизни; он просто ощущал желание, и оно было приятно ему, другого определения он и знать не желал. Однако на этот раз чувство было рождено мыслью, слишком внезапной, чтобы облечь ее в слова. Он нередко встречался с девицами из низших слоев общества, устраивавшими нахальные представления, строившими ему глазки и пускавшимися в грубую лесть по вполне понятной причине; ему они не были ни симпатичны, ни противны; подобное общество немного развлекало его, и он рассматривал их как равных в игре, более чем понятной для обеих сторон. Но эта девушка казалась другой. И в уме его застряла невысказанная мысль: проклятая дуреха действительно так думает.

То, что он дожидается ее с нетерпением, стоя под дождем на тротуаре, и то, что сегодня он нуждается именно в ней, не смущало его и не воспринималось как противоречие. Он не докапывался до природы своего каприза. А нечто, не названное и не произнесенное, не могло противоречить себе.

Когда девушка вышла, он отметил в ее облике странную смесь: застенчивый взгляд и высоко поднятая голова. На ней был уродливый плащ-дождевик, окончательно изгаженный крупной дешевой брошью на отвороте, и небольшая шляпка с плюшевыми цветами, пристроенная на кудрявой головке под вызывающим углом. Как ни странно, горделивая посадка головы делала ее наряд даже привлекательным, как бы подчеркивая, насколько хорошо она умеет носить то, что у нее есть.

— Не хотите ли зайти ко мне в гости, чего-нибудь выпить? — спросил Джеймс.

Она кивнула, молча и торжественно, словно не могла так вот вдруг найти подходящие слова. А потом проговорила, не глядя на него, словно обращаясь к себе самой:

— Вы не хотели сегодня никого видеть, но пригласили меня…

Он никогда еще не слышал столь искренней гордости в чьем-либо голосе.

Не проронив больше ни слова, девушка села рядом с ним на сиденье такси. Некоторое время она просто рассматривала небоскребы, мимо которых они проезжали, а потом сказала:

— Я слыхала, что подобные вещи иногда случаются в Нью-Йорке, но никогда не думала, что такое может произойти со мной.

— Откуда вы родом?

— Из Буффало.

— Родственники есть?

Она помедлила с ответом.

— Насколько я полагаю, да. Они остались там, в Буффало.

— А что означают эти слова — «насколько я полагаю»?

— Я ушла от них.

— Почему?

— Потому что подумала, что если мне суждено чего-то добиться, мне нужно уйти от них, уйти навсегда.

— Почему? Что-то произошло?

— Ничего. Там ничего и никогда не происходило. Именно этого я и не могла перенести.

— Что вы имеете в виду?

— Ну они… ну, наверно, мне лучше сказать вам правду, мистер Таггерт. Мой отец так ничего и не добился в жизни, и маме было плевать на это, и мне стало тошно оттого, что из всех семерых лишь я одна работала, а остальные, так или иначе, вечно оказывались не у дел. И я подумала, что если не уберусь оттуда, то сдамся… прогнию насквозь, как и они. Поэтому я просто купила однажды билет на поезд и уехала. Даже не попрощалась. Никого не предупредила заранее. Она вдруг усмехнулась внезапно пришедшей в голову мысли:

— Мистер Таггерт, а ведь это был ваш поезд.

— И когда вы приехали сюда?

— Шесть месяцев назад.

— И все это время одна?

— Да, — весело ответила она.

— И чем же вы намеревались здесь заняться?

— Ну знаете, чем-нибудь, куда-то попасть.

— И куда же?

— Ну не знаю, но… бывает, людям всякое удается. Я увидела фотографии Нью-Йорка и подумала… — она указала на огромные дома, видневшиеся сквозь потеки дождя за окном такси, — я подумала, что тот, кто построил эти здания, не сидит без дела и не скулит о том,

что на кухне грязно, крыша прохудилась, трубы засорены, мир вокруг проклят и... Мистер Таггерт, — она резко дернула головой и посмотрела ему в глаза, — мы были бедны как крысы, и нас это ничуть не смущало. Именно этого я и не могла перенести — того, что им *на самом деле* все было безразлично. Они и пальцем не хотели пошевелить. Даже вынести мусорное ведро. А соседка все твердила, что я должна обслуживать их, что нет разницы в том, что будет со мной, с ней самой, с любым из нас, поскольку никто ничего не в состоянии изменить!

В светлых глазах ее угадывались боль и решимость.

— Я не хочу говорить о них, — продолжила она. — Только не сейчас. Этого вот — я имею в виду свою встречу с вами — с ними произойти не могло. И этим я не хочу с ними делиться. Это событие принадлежит мне, а не им.

— Сколько же вам лет? — спросил Таггерт.

— Девятнадцать.

Повнимательнее рассмотрев гостью в своей гостиной, Таггерт подумал, что, если ее чуть подкормить, у нее будет неплохая фигура; девушка казалась слишком худой для своего роста и сложения. На ней было коротенькое поно-

шенное черное платье в обтяжку, которое она попыталась украсить аляповатыми пластмассовыми браслетами, звякавшими на запястье. Стоя посреди комнаты, она озиралась, как в музее, где нельзя ничего трогать, и почтительно пыталась запомнить все подробности.

— Как вас зовут? — спросил он.

— Черрил Брукс.

— Ну, садитесь.

Он молча соорудил коктейль, а она покорно ждала, присев на краешек кресла. Когда Джеймс подал ей бокал, девушка послушно сделала несколько глотков, после чего оставила бокал в руке. Он видел, что она не ощущает вкуса напитка, просто не замечает его.

Сделав глоток, он с раздражением отставил бокал: ему тоже не захотелось пить. Таггерт принялся угрюмо расхаживать по комнате, понимая, что она молча следит за ним, наслаждаясь мгновением, наслаждаясь огромным смыслом, которым были наделены для нее его движения, его запонки, шнурки его ботинок, его абажуры и пепельницы.

— Мистер Таггерт, почему вы так несчастны сегодня?

— Почему вас это волнует?

— Потому что… ну, если у вас сегодня нет права на радость и гордость, то у кого же оно есть?

— Именно это я и хотел бы узнать — кто имеет на это право? — Таггерт резко повернулся к своей гостье, слова полились так, как если бы расплавился предохранитель. — Он же не изобретал железную руду и доменные печи, так ведь?

— Кто?

— Риарден. Он не изобретал плавку, химию, поддув и литье. Он не мог изобрести свой металл без тысяч и тысяч других людей. Его металл! Почему он считает его своим? Почему считает своим изобретением? Все пользуются чужими находками. Никто не способен ничего изобрести.

Она с удивлением произнесла:

— Но железная руда и все прочее… они же давно известны. Тогда почему никто не сделал этот металл до мистера Риардена?

— Он сделал это не ради благородной цели, а ради наживы, он никогда не поступал иначе.

— Что же в этом плохого, мистер Таггерт? — Она негромко рассмеялась, словно бы вдруг разрешив загадку. — Это абсурдно, мистер Таггерт. Вы хотели сказать совсем другое. Вам же известно, что мистер Риарден честно заработал все свои деньги, и вы тоже. Вы говорите мне так

просто из скромности, хотя все знают, что все вы сделали огромное дело — и вы, и мистер Риарден, и ваша сестра… она, должно быть, совершенно удивительный человек!

— Неужели? Ну это вы так думаете. Сестра моя — жесткая, бесчувственная женщина, которая расходует свою жизнь на сооружение железнодорожных путей и мостов не ради высшего идеала, но только потому, что ей нравится строить. Если она занимается заведомо любимым делом, чем же здесь восхищаться? Я совершенно не уверен в том, что сооружение этой дороги ради процветающих предпринимателей Колорадо заслуживает особого одобрения, тем более в то время, когда бедный люд пораженных безработицей районов так отчаянно нуждается в транспорте.

— Но, мистер Таггерт… вы же сами боролись за сооружение линии.

— Да, потому что таков был мой долг — по отношению к компании, вкладчикам, персоналу. Но не ждите, что я буду радоваться содеянному. Я не вполне уверен, что все это было так важно… зачем нужен новый сложный металл, когда столько стран отчаянно нуждаются в простом железе… известно ли вам, что в Китайской На-

родной Республике не хватает элементарных гвоздей, чтобы приколачивать деревянные крыши к стропилам?

— Но… но мне не кажется, что в этом можно обвинять вас.

— Кто-то все равно должен позаботиться о гвоздях. Человек, умеющий видеть вещи, не внесенные в его записную книжку. В наши дни не найдешь человека, способного проявить сочувствие — и это когда вокруг столько страданий! Подумать только, плюнуть на все и на всех, отдав десять лет своей жизни возне с какими-то там металлами. И, по-вашему, это великое свершение? Ну здесь-то речь идет не о высших способностях, а о шкуре, которую не пробить, даже вылив ему на голову тонну стали! В мире можно найти уйму куда более одаренных людей, но их имена не попадают в передовицы газет, и вы не станете бежать с шоссе к железнодорожному переезду, чтобы посмотреть на них — потому что они не станут изобретать мостов, способных стоять вечно, в то время, когда страдания человечества отягощают их души!

Девушка смотрела на него с молчаливым почтением, уже без прежнего энтузиазма, глаза ее погасли. Джеймс почувствовал себя увереннее.

Взяв в руку свой бокал, он сделал глоток, а потом усмехнулся внезапному воспоминанию.

— Впрочем, это было забавно, — сказал он уже более непринужденным и живым тоном, каким разговаривают со старым приятелем. — Видела бы ты вчера Оррена Бойля, когда по радио передали первое сообщение с «*Узла Уайэтт*»! Он буквально позеленел… в самом деле, сделался таким же зеленым, как залежалая селедка! Знаешь, как он провел вчерашнюю ночь, стараясь пережить скверные новости? Нанял себе номер в отеле «*Валгалла*» — а это тебе не пустяк — и, как я слышал, до сих пор все еще там, пьяный вусмерть: валяется под столом в компании избранных дружков и половины всех девок, которых удалось наскрести на Амстердам авеню!

— А кто такой мистер Бойль? — спросила ошеломленная гостья.

— Этот-то? Жирный жлоб, переоценивший свои возможности. Смышленый такой парень, который иногда становится слишком уж умным. Видела бы ты его вчера! Я был в отпаде. От него и от доктора Флойда Ферриса. Этому чистюле не понравилось все, не понравилось ни на грош! — элегантному-то доктору Феррису из Государственного научного института, слуге

народа, вещающему словами из патентованной кожи, однако, я бы сказал, что он справился с делом отлично, разве что егозил в каждой фразе — я про то интервью, которое он дал сегодня утром… там были такие слова: «Страна дала Риардену его металл, и теперь мы ждем ответного дара от него стране». Остроумно сказано, если учесть, *кто* ехал на том милом поезде… У него получилось лучше, чем у Бертрама Скаддера… когда приятели, джентльмены из прессы, попросили его высказать свое мнение, мистер Скаддер не придумал ничего лучше, чем сказать, что воздерживается от комментариев… *Воздерживается от комментариев…* — и это Бертрам Скаддер, не умевший заткнуться с самого дня рождения, просили его говорить или нет, шла ли речь об абиссинской поэзии или о состоянии дамских комнат на текстильных фабриках! А доктор Притчетт, старый дурак, бродил вокруг да около, утверждая, будто ему точно известно, мол, Риарден не изобретал свой металл, поскольку некий безвестный, но надежный источник сообщил ему, что Риарден украл состав у нищего изобретателя и убил его!

Джеймс довольно хихикал. Девушка слушала его как лектора по высшей математике, не по-

нимая ничего, даже стиля изложения, лишь еще более углублявшего тайну, поскольку не сомневалась в том, что он — *Он!* — имеет в виду нечто совершенно иное.

Таггерт снова наполнил свой бокал, но тут веселье вдруг оставило его.

Осев в кресле лицом к гостье, он посмотрел на нее мутными глазами.

— Она возвращается завтра, — произнес он, мрачно ухмыльнувшись.

— Кто?

— Моя сестра. Моя драгоценная сестрица. О, теперь она решит, что стала великим человеком, так ведь?

— Вы не любите свою сестру, мистер Таггерт?

Джеймс ответил ей тем же смешком, настолько красноречивым, что другого ответа не потребовалось.

— Почему? — спросила она.

— Потому что она считает себя безупречной. А по какому праву? И кто вообще вправе назвать себя безупречным? Никто.

— Ну, вы не это хотите сказать, мистер Таггерт.

— Я хочу сказать лишь то, что все мы не более чем люди. А что такое человек? Слабое, уродливое, греховное существо, рожденное для порока,

прогнившее до костей, и смирение — единственная доступная ему добродетель. Ему следовало бы провести свою жизнь на коленях, моля о прощении за свое грязное бытие. Когда человек начинает считать себя самым добрым, самым умным, тут и начинается гниль. Гордыня — худший из грехов, что бы ты ни создал.

— Но если человек знает, что сделал хорошее дело?

— Тогда ему следует извиниться за это.

— Перед кем?

— Перед теми, кто его не сделал.

— Я… я не понимаю вас.

— Конечно же, не понимаешь. Для этого нужны годы и годы занятий, трудов на высшем интеллектуальном уровне. Ты когда-нибудь слышала о «Метафизических противоречиях Вселенной», труде доктора Саймона Притчетта? — Девушка испуганно помотала головой. — Откуда ты можешь вообще знать, что хорошо, а что плохо? Кто может сказать это? Кто может вообще что-либо утверждать? Абсолютов не существует, как неопровержимо доказал доктор Притчетт. Ничего нельзя считать абсолютным. Все лишь дело частных мнений. Откуда тебе известно, что этот мост на самом деле не рухнул? Ты толь-

ко думаешь, что это так. Откуда тебе известно, что этот мост вообще существует? Ты думаешь, что философская система — система доктора Притчетта — вещь академическая, отстраненная, непрактичная? Но это не так. Ох, как же это не так!

— Но, мистер Таггерт, линия, которую вы построили…

— Ах, да что вообще представляет собой эта линия? Всего лишь материальное творение… имеет ли оно какое-то значение? Есть ли величие в чем-либо материальном? Только низменное животное может в изумлении застыть перед мостом, ведь в жизни столько возвышенного! Но разве высшие материи когда-нибудь получают признание? О нет! Посмотри на людей. Сколько воплей, сколько стонов на первых страницах газет о том, как удачно расположили несколько кусков бездушной материи. Где же интерес к более благородным темам? Кто и когда отдавал первую полосу феноменам духа? Кто замечает, кто ценит человека, наделенного высшей чувствительностью? И тебя еще удивляет, что великий человек может быть обречен на несчастье в этом порочном мире!

Наклонившись вперед, Таггерт внимательно

посмотрел на свою гостью.

— Я скажу тебе… кое-что скажу… признаком добродетели является отсутствие счастья. Если человек несчастен, несчастен реально, по-настоящему, это означает, что он принадлежит к числу высших созданий, обитающих среди людей.

На лице ее проступило встревоженное, озадаченное выражение.

— Но, мистер Таггерт, у вас есть все, чего только можно пожелать. Вы получили лучшую железную дорогу страны, в газетах вас называют величайшим бизнесменом века, говорят, что акции вашей компании принесли вам за один день целое состояние, у вас есть все… разве вы не рады этому?

— Нет, — ответил он.

Услышав его краткий ответ, девушка почувствовала безотчетный страх. Она не знала, почему голос ее превратился в шепот:

— И вы предпочли бы, чтобы мост рухнул?

— Я этого не говорил! — отрезал Джеймс. Пожав плечами, он пренебрежительно взмахнул рукой. — Ты просто не понимаешь.

— Простите меня… О, я знаю, мне нужно еще многому учиться!

— Я говорю о стремлении к чему-то большему,

чем этот мост. Стремлении, которое не может быть удовлетворено ничем материальным.

— В самом деле, мистер Таггерт? Неужели вам это действительно нужно?

— Ну вот! Задавая такой вопрос, ты немедленно снова оказываешься в грубом материальном мире, где надлежит все взвешивать и наклеивать ярлычки. Я говорю о вещах, которым нельзя дать имя материальными словами… о высших областях духа, недостижимых для человека… Кстати, что представляет собой любой человеческий поступок? Даже сама Земля — не что иное, как атом, кружащий по Вселенной… ну какое значение имеет наш мост в масштабах Солнечной системы?

Внезапное понимание просветлило глаза девушки.

— Это очень благородно с вашей стороны, мистер Таггерт, считать свои достижения недостойными себя. Не сомневаюсь в том, что как далеко вы ни шагнули бы, все равно захотите сделать следующий шаг. Вы честолюбивы. Именно оно более всего восхищает меня в людях — честолюбие. То есть когда они делают, не останавливаются, не сдаются, а *делают*. Я понимаю это, мистер Таггерт… даже если не могу понять все большие

мысли.

— Ты научишься.

— О, я буду очень усердно учиться!

Восхищение по-прежнему оставалось в ее глазах. Таггерт направился через комнату, дабы заново наполнить свой бокал, чувствуя себя освещенным этим взглядом, как прожектором. В нише за маленьким баром висело зеркало. Он заметил в нем свое отражение: высокое тело, испорченное вялой, сутулой осанкой, словно демонстративно отрицавшей всякую претензию на человеческое изящество, редеющие волосы, слабый угрюмый рот. Джеймс вдруг понял, что девушка видит вовсе не его — перед ней застыла фигура героического строителя, гордо расправившего плечи под теребящим волосы ветром. Он усмехнулся, довольный тем, как здорово подшутил над девчонкой, чувствуя при этом легкое удовлетворение, чем-то даже похожее на победу, и уж во всяком случае безусловное превосходство.

Пригубив напиток, он посмотрел на дверь своей спальни, прикидывая, не завершить ли это приключение старым добрым образом. Добиться своей цели ему было бы несложно: девушка была слишком потрясена, чтобы артачиться.

Красноватой бронзой сверкали ее волосы на склоненной под лампой головке, гладкая кожа плеча светилась. Джеймс отвернулся. «Зачем мне эти хлопоты?» — подумал он.

Тот намек на желание, которое он испытывал, можно было счесть разве что легким физическим неудобством. Перейти к действиям его побуждала, скорее, мысль не о девушке, а обо всех мужчинах, никогда не упустивших бы подобной возможности. Тем не менее Джеймс вынужден был признать, что жизнь случайно столкнула его с особой, куда более интересной, чем Бетти Поуп, и, возможно, среди его знакомых никого лучше просто не было. Мысль эта оставила его безразличным. Он не мог оказать этой девице предпочтения перед Бетти Поуп. Он не чувствовал ничего. Перспектива получить удовольствие не стоила усилий, кроме того, у него *не было желания* это удовольствие получать.

— Уже поздно. Где вы живете? — проговорил он, решив снова перейти на «вы». — Выпьем еще раз, и я отвезу вас домой.

Когда он прощался с ней возле двери жалких меблированных комнат в какой-то трущобе, девушка все еще боролась с отчаянным желанием задать ему самый главный для нее вопрос.

— Смогу ли я… — начала она и умолкла.

— Что?

— Нет, ничего, ничего!

Он прекрасно понимал, что вопрос будет.

— Смогу ли я снова увидеть вас? — наконец вырвалось у нее.

И он с удовольствием промолчал, прекрасно понимая, что охотно предоставит ей такую возможность.

Она еще раз посмотрела на него, словно прощаясь навсегда, и проговорила — негромко и проникновенно:

— Мистер Таггерт, я очень благодарна вам, потому что… то есть любой другой мужчина на вашем месте попытался бы… ну, мужчины не хотят ничего другого, но вы выше этого, много выше!

Джеймс подошел к ней вплотную и с легкой, полной интереса улыбкой поинтересовался:

— А вы не жалеете об этом?

Девушка отдернулась от него, вдруг ужаснувшись собственным словам.

— Ой, я имела в виду совсем не это! — охнула она. — Боже, я ничего не искала, не ждала…

Отчаянно покраснев, она повернулась и взбежала по высокой крутой лестнице дома.

Таггерт постоял на тротуаре, испытывая странное, тяжелое и туманное чувство удовлетворенности, как если бы совершил добродетельный поступок и заодно отомстил всем тем, кто выстроился, приветствуя первый поезд, вдоль всей трехсотмильной ветки «*Линии Джона Голта*».

* * *

Когда поезд прибыл в Филадельфию, Риарден оставил ее, не сказав и слова, словно ночи их обратного пути ничего не стоили перед дневной реальностью людных станционных платформ и тепловозов, реальностью, которую он уважал. Дагни отправилась до Нью-Йорка в одиночестве. Однако поздно вечером в дверь ее квартиры позвонили, и она поняла, что ждала его.

Войдя, Риарден ничего не сказал, только посмотрел на нее, делая этим безмолвием свое присутствие более интимным, чем можно было бы выразить словами. На лице его угадывалась легкая тень презрительной улыбки, одновременно и признающей свое — и ее — нетерпение, и осуждающей его. Остановившись посреди гостиной, он неторопливо огляделся; это была ее комната, символ его долгой, растянувшейся на два года муки, место, о котором он думать

не смел и все же думал, место, куда он не должен был входить, но где стоял теперь с непринужденностью законного владельца. Опустившись в кресло, Риарден вытянул ноги, а она осталась стоять, словно нуждаясь в разрешении сесть и терпеливо ожидая его.

— Должен сказать тебе, что ты сделала великое дело, построив эту дорогу, — проговорил он. Дагни с удивлением посмотрела на него; он никогда не отпускал ей столь прямолинейных комплиментов; восхищение в голосе Риардена было подлинным, однако тень насмешки еще крылась в его лице, и Дагни показалось, что произнес он эти слова ради какой-то неизвестной ей цели. — Я провел весь день, отвечая на вопросы о тебе, о линии, о сплаве и о будущем. А еще подсчитывая заказы на металл. Они поступают со скоростью нескольких тысяч тонн в час. А что было девять месяцев назад? Я ниоткуда не мог получить ответа. Сегодня же мне пришлось отключить телефон, чтобы не выслушивать лично всех желающих поговорить со мной о своей архисрочной потребности в риарден-металле. А ты чем была занята?

— Не знаю. Пыталась выслушать отчеты Эдди… пыталась спрятаться от газетчиков, пыталась

найти подвижной состав, чтобы пустить больше поездов по нашей новой линии, потому что уже запланированных не хватит, чтобы покрыть все потребности, скопившиеся всего за три дня.

— И сегодня у тебя не было отбоя от желающих повидаться с тобой, так ведь?

— Ну да.

— И они были готовы отдать что угодно за возможность поговорить с тобой, так?

— Ну… ну, наверно.

— Репортеры все расспрашивали меня о том, какая ты. Мальчишка из местного листка все твердил, что ты — великая женщина. Он сказал, что ему было бы страшно разговаривать с тобой, даже если бы ему представилась такая возможность. Он прав. Будущее, о котором они все время толкуют и которого так боятся, будет таким, каким его сделала ты, потому что у тебя есть отвага, у них отсутствующая. Своей силой ты открыла им все пути к тому, чего они так жаждут, — к процветанию. У тебя есть сила выстоять против всех. Сила не признавать ничьей воли, кроме своей собственной.

Дагни невольно задохнулась: она поняла его цель. Застыв по стойке смирно, вытянув руки по швам, не дрогнув и мускулом, с безупречной

выдержкой она стояла под сыпавшимися на нее похвалами, как под ударами кнута.

— Тебе также задавали вопросы, правда? — продолжил он, наклонившись вперед. — И они смотрели на тебя с восхищением. Они вели себя так, словно ты стояла на высокой горе, а им оставалось только, сняв шляпы, взирать на тебя с почтительного расстояния. Верно?

— Верно, — прошептала она.

— И они смотрели на тебя так, словно не смели приблизиться, заговорить в твоем присутствии, даже прикоснуться к складке твоей одежды. Они понимали это и держались подобающим образом. Они ведь смотрели на тебя с почтением, правда? Снизу вверх?

Дернув Дагни за руку, он заставил ее опуститься на колени, прижал к своим ногам и припал ко рту поцелуем. Дагни беззвучно смеялась, полуприкрыв глаза, затуманенные удовольствием.

По прошествии нескольких часов, когда они лежали рядом в постели и рука Риардена блуждала по ее телу, он вдруг спросил:

— А кем были твои другие мужчины? — заставив Дагни откинуться на спину, а потом склонился к ней, — и она поняла по выражению его лица, по легкой задержке дыхания, даже

по ровному, негромкому, но явно напряженному тону, что вопрос этот стоил ему долгих часов муки.

Он смотрел на нее так, словно в мельчайших подробностях ожидал *увидеть* в ответе незнакомые лица, и зрелище это было для него кошмаром, но отвернуться он не мог; в его голосе звучали презрение, ненависть, страдание и странная, не связанная с мучением, лихорадочная нервозность: он задал свой вопрос, крепко прижимая ее к себе.

Дагни ответила спокойно, однако он заметил, как в ее глазах промелькнул опасный огонек, означавший, что она поняла все до конца:

— Кроме тебя у меня был только один мужчина, Хэнк.

— Когда?

— Когда мне было семнадцать лет.

— И долго это продолжалось?

— Несколько лет.

— Кто он?

Она отодвинулась, навалившись на его руку; Риарден приподнялся на локте, лицо его стало напряженным.

— Этого я тебе не скажу.

— Ты любила его?

— Я не буду отвечать на этот вопрос.

— Тебе нравилось спать с ним?

— Да!

Смех в ее глазах превратил это короткое слово в подобие пощечины, смех говорил о том, что она знает — именно этого ответа он боится и именно его хочет услышать.

Обхватив Дагни обеими руками, он крепко прижал ее к себе, так что стало больно спине; слова его звучали гневно, но в голосе слышалось удовольствие:

– *Кто он?*

Дагни не ответила, она смотрела на него темными, внезапно заблестевшими глазами, и искаженный болью рот ее сложился в подобие насмешливой улыбки.

Прикосновением губ он заставил ее рот сделаться покорным.

Он овладел ею так, будто бурная, полная отчаяния страсть его могла стереть неведомого соперника из ее памяти, из ее прошлого, и более того — будто этим он мог превратить любой фрагмент ее жизни, даже самого соперника в инструмент своего удовольствия. Возглас Дагни, обхватившей его руками, сказал Риардену, что именно так она и хотела принадлежать ему.

* * *

Силуэт конвейерной ленты, возносившей уголь к вершине далекой башни на фоне исчертивших небо огненных полос, казался исходящей из земли неистощимой чередой черных контейнеров, по диагонали пересекавшей закат. Далекий приглушенный лязг угадывался за звоном цепей, которыми молодой человек в синем комбинезоне крепил механизмы к железнодорожным платформам, выстроившимся на боковых путях коннектикутской «*Шарикоподшипниковой компании Квинна*».

Мистер Моуэн из Объединенной сигнально-семафорной компании, располагавшейся на противоположной стороне улицы, стоял рядом и наблюдал. Он остановился по дороге домой со своего предприятия, чтобы проследить за погрузкой. Легкое пальто обтягивало его невысокую полную фигуру, котелок покрывал седеющие светлые волосы.

В воздухе уже тянуло первыми сентябрьскими холодами. Все ворота на территории Квинна были широко открыты, люди и краны вывозили наружу станки, словно извлекали все жизненно важные органы, оставляя труп, подумал мистер

Моуэн.

— Значит, еще одна? — спросил он, тыкая большим пальцем в сторону предприятия, хотя ответ уже знал заранее.

— А? — буркнул молодой человек, только что заметивший его.

— Значит, еще одна компания перебирается в Колорадо?

— Угу.

— Третья из Коннектикута за последние две недели, — продолжил мистер Моуэн. — А если поглядеть на то, что происходит в Нью-Джерси, Род-Айленде, Массачусетсе и по всему Атлантическому побережью…

Молодой человек не смотрел на него и не слушал.

— Словно забыли перекрыть водопровод, — проговорил мистер Моуэн, — и вся вода утекает теперь в Колорадо. И все деньги.

Молодой человек перебросил цепь через укрытый брезентом крупный станок и вслед за ней перелез на противоположную сторону.

— Где привязанность к своему родному штату, где верность… Но люди бегут. Не знаю, что с ними случилось.

— Все дело в законе, — проговорил молодой

человек.

— В каком законе?

— В Законе справедливой доли.

— Как это?

— Я слышал, что мистер Квинн год назад намеревался открыть филиал в Колорадо. Закон разрушил его планы. Поэтому он и решил целиком перебраться туда со всем штатом и оборудованием… во всеоружии, так сказать.

— Не вижу оснований для этого. Закон был необходим. Стыд и позор, чтобы старые фирмы, существовавшие из поколения в поколение… Закон здесь был просто необходим…

Молодой человек действовал уверенно и быстро, работа словно бы радовала его. За его спиной громыхал вползавший на небо конвейер.

Четыре далекие дымовые трубы казались флагштоками, над ними неторопливо курились дымки, похожие на длинные вымпелы, приспущенные в красных вечерних сумерках до половины мачты.

Мистер Моуэн привык видеть эти трубы на горизонте еще со времен своих отца и деда. Конвейер был виден из окна его кабинета уже тридцать лет. То, что *«Шарикоподшипниковая компания Квинна»* могла исчезнуть с противоположной

стороны улицы, казалось непостижимым; о решении Квинна Моуэн узнал заранее и не поверил ему; или, точнее, поверил, как верил многим словам, которые слышал или произносил, усматривая в них только звуки, не имеющие конкретного отношения к конкретной реальности. Теперь он понял, что переезд соседа такой реальностью стал. И стоял возле платформ на боковом пути, будто полагая, что еще может остановить погрузку.

— Неправильно это, — проговорил он, обращаясь ко всему горизонту, хотя слышать его мог только один молодой человек на платформе. — При отце моем такого не было. Я не из больших шишек. Я не хочу ни с кем сражаться. Что произошло с миром?

Ответа не последовало.

— Ну а ты, например… тебя берут в Колорадо?

— Меня? Нет, я здесь не в штате. Так, подрабатываю. Нанялся, чтобы помочь с погрузкой.

— Ну а что же ты будешь делать после того, как они уедут?

— Не имею ни малейшего представления.

— А что ты будешь делать, если переехать решит кто-то еще?

— Поживем — увидим.

Мистер Моуэн с сомнением посмотрел наверх: трудно было понять, к кому относится этот ответ — к нему, или молодой человек адресовал его самому себе. Однако внимание того было полностью приковано к работе; он не смотрел вниз.

Юноша перебрался к покрытым брезентом силуэтам на следующую платформу, и мистер Моуэн последовал за ним, глядя вверх, споря с кем-то в пространстве:

— У меня же есть права, так ведь? Я родился здесь. И когда рос, не сомневался, что старые компании останутся на своем месте. Я рассчитывал, что буду руководить заводом, как это делал мой отец. Человек является членом общества, и у него есть право рассчитывать на общество, так ведь?.. С этим что-то надо делать.

— С чем?

— О, да знаю я, тебе-то все это кажется великолепным, так ведь?.. И весь этот таггертовский бум и риарден-металл, и золотая лихорадка в Колорадо, и пьяное веселье там, где Уайэтт и его компания расширяют производство, которое и так кипит, как переполненный чайник! Всем кажется, что это чудесно — и ничего другого не услышишь, куда ни пойди — и все кругом счастливы, строят планы, как шестилетние де-

тишки на лето, можно подумать, что вокруг сплошной медовый месяц на всю страну или постоянное Четвертое июля!

Молодой человек молчал.

— Ну, я-то так не думаю, — проговорил мистер Моуэн. И произнес, понизив голос:

— В газетах этого не пишут, учти, в газетах ничего толкового не прочитаешь.

Ответом мистеру Моуэну послужил только звон цепей.

— Ну почему все они бегут именно в Колорадо? — спросил он. — Что там есть такого, чего нет здесь, у нас?

Молодой человек ухмыльнулся:

— Может быть, это как раз *у вас здесь* есть нечто такое, чего нет там.

— Что же?

Молодой человек не ответил.

— Не понимаю. Это же отсталый, примитивный, непросвещенный край. Там нет даже сколько-нибудь современного правительства. Худшего правительства не найдешь ни в одном штате. И столь же ленивого. Оно ничем не занято — только содержит суды и полицию. Оно ничего не делает для людей. Оно никому не помогает. Не могу понять, почему наши лучшие компании

стремятся сбежать туда.

Молодой человек посмотрел на него сверху вниз, но ничего не сказал.

Мистер Моуэн вздохнул.

— Неправильно все это, — проговорил он. — Закон справедливой доли — вещь, безусловно, хорошая. Свой шанс должен получить каждый. И просто стыд и позор, что такие люди, как Квинн, пытаются добиться с его помощью несправедливого преимущества. Почему он не может предоставить кому-нибудь в Колорадо возможность изготавливать такие же подшипники?.. По мне, так лучше бы эти типы из Колорадо оставили нас в покое. И литейная конторка Стоктона не имеет никакого права встревать в сигнально-стрелочное дело. Все те годы, которые я потратил на него, дают мне бесспорное право старейшины; это нечестно, это чистая свара в стае, новичков не следует туда допускать. Куда я буду теперь продавать свои стрелки и семафоры? В Колорадо были две крупные железные дороги. Теперь «*Феникс-Дуранго*» закрылась, так что осталась только «*Таггерт Трансконтинентал*». Они поступили подло — заставили Дэна Конвея уйти. Всегда должна оставаться возможность для конкуренции… А я уже шесть месяцев

жду заказанную у Оррена Бойля сталь, и теперь он говорит мне, что не может ничего обещать, потому что риарден-металл подорвал ему весь сбыт, за этот металл дерутся, и Бойль вынужден сокращать производство. И это нечестно… почему это Риардену можно подрывать чужие рынки… И мне тоже нужно немного риарден-металла, но попробуй теперь найди его! Очередь к нему уже выстроилась на три штата, и никому — ничего, только его старинным дружкам, таким как Уайэтт и Даннагер. Это нечестно. Это прямая дискриминация. Я ничуть не хуже этих ребят. Мне тоже положена моя доля этого металла.

Молодой человек посмотрел на него.

— На прошлой неделе я был в Пенсильвании, — сказал он. — И видел завод Риардена. Вот где кипит работа! Там строят четыре новых конвертора и собираются сделать еще шесть… Шесть новых печей… — Он посмотрел на юг. — За последние пять лет на Атлантическом побережье никто не построил и одной печи…

Фигура его вырисовывалась на фоне небес над покрытым чехлом двигателем, юноша вглядывался в сумерки с желанием и готовностью: так смотрят на что-то далекое и долгожданное.

— Там работают… — проговорил он.

А потом улыбка внезапно исчезла с его лица; он сильно дернул цепь — первая ошибка в привычной череде уверенных, профессиональных действий: в нем явно проснулся гнев.

Мистер Моуэн поглядел в сторону горизонта, на конвейер, колеса, дым, мирно плывущий в вечернем воздухе в сторону прятавшегося позади заката Нью-Йорка, и ощутил некоторое облегчение при мысли об этом городе, замкнутом в кольцо священных огней, дымовых труб, газгольдеров и линий высоковольтных электропередач. Он ощущал энергию, протекавшую через каждое мрачное сооружение столь хорошо знакомой ему улицы; ему нравилась фигура этого молодого человека, так ладно и уверенно работавшего там, наверху, в движениях его было нечто ободряющее, нечто родственное этому горизонту… И все же мистер Моуэн был встревожен тем, что чувствует, как где-то ширится трещина, прорезающая прочные, вечные стены.

— Что-то надо делать, — пробормотал мистер Моуэн. — На прошлой неделе один из моих друзей отошел от дел — он был нефтепромышленником и имел пару скважин в Оклахоме — потому что не смог конкурировать с Эллисом Уайэттом. Это нечестно. Надо, чтобы у маленьких людей

оставался свой шанс. Следовало бы ограничить объем добычи Уайэтта. Нельзя позволять заливать рынок нефтью, вытесняя всех остальных… Вчера я застрял в Нью-Йорке, пришлось бросить машину там и приехать на пригородном поезде, потому что мне не удалось найти бензина, говорят, что в городе его не хватает… неправильно это. Надо что-то делать…

Поглядев на линию горизонта, мистер Моуэн попытался понять, что же именно угрожает ей, кто губит ее.

— И что же вы предлагаете делать? — спросил молодой человек.

— Кто… я-то? — отозвался мистер Моуэн. — Не знаю. Я человек маленький. Не мне решать проблемы целой страны. Я просто хочу заработать себе на жизнь. Мне понятно только одно: кто-то должен разобраться в этом деле… Все идет не так… Послушай, а как тебя зовут?

— Оуэн Келлог.

— Слушай, Келлог, и что, по-твоему, происходит в мире?

— Мое мнение не будет вам интересно.

На далекой башне загудел гудок, созывающий рабочих на ночную смену, и мистер Моуэн понял, что уже поздно. Он вздохнул, застегнул пальто

и повернулся, чтобы уйти.

— Ну, кое-что все-таки делается, — проговорил он. — Предпринимаются определенные шаги. Конструктивные шаги. Законодатели приняли закон, предоставляющий более широкие права Бюро экономического планирования и национальных ресурсов. Верховным координатором назначили очень толкового человека. Не могу сказать, чтобы я слышал о нем раньше, но газеты уверяют, что от него можно ждать многого. Его имя — Уэсли Моуч.

* * *

Стоя возле окна своей гостиной, Дагни смотрела на город. Было уже поздно, и городские огни напоминали последние искорки, тлеющие среди черных угольев костра. В душе ее царила тишина; ей хотелось удержать разум в покое, чтобы заново пережить все эмоции, еще раз пройти через каждое событие промчавшегося мимо месяца. У нее не оставалось времени радоваться или печалиться возвращению в свой кабинет в здании «*Таггерт Трансконтинентал*»; дел накопилось столько, что она совершенно забыла о недавней ссылке. Она не помнила, что сказал Джим по поводу ее возвращения, и высказы-

вался ли он вообще. Ее интересовало мнение одного-единственного человека, и она позвонила в отель «*Уэйн Фолкленд*», однако ей ответили, что сеньор Франсиско д'Анкония вернулся домой в Буэнос-Айрес.

Дагни помнила то мгновение, когда она поставила свою подпись под длинным официальным документом, покончив с существованием компании «*Линия Джона Голта*». Теперь она снова стала линией Рио-Норте компании «*Таггерт Трансконтинентал*», хотя поездные бригады не желали отказываться от прежнего названия. Отказ нелегко давался и ей; Дагни с трудом заставляла себя не называть линию прежним именем, и все удивлялась тому, почему это дается ей так непросто и почему она ощущает при этом легкую печаль.

Однажды вечером, повинуясь внезапному порыву, она свернула в переулок за углом *здания «Таггерт»*, чтобы в последний раз взглянуть на офис фирмы «*Линия Джона Голта, Инк.*», не зная, чего, собственно, хочет… «Просто посмотреть», — решила Дагни в конце концов.

Вдоль тротуара поставили дощатый забор, старое здание начинали сносить: оно все-таки не выдержало напора времени. Проникнув

за забор в свете уличного фонаря, бросившего однажды тень незнакомца на мостовую, она заглянула в окно своего бывшего кабинета. От первого этажа ничего не осталось; перегородки были сорваны, с потолка свисали сломанные трубы, на полу лежали груды мусора. Смотреть было не на что.

Она спросила у Риардена, не приходил ли он к этому зданию весенней ночью и не стоял ли у двери, борясь с желанием войти. Однако еще до того как он ответил, она поняла, что его здесь не было. Дагни не знала, почему задала ему этот вопрос. Не знала она и того, почему это воспоминание до сих пор тревожит ее.

За окном ее комнаты в черном небе висел освещенный листок календаря — словно маленький ярлык на чемодане. На нем значилось: 2 сентября. Дагни вызывающе улыбнулась, вспоминая ту гонку, которую задала его страницам; теперь перед ней не стояло сроков, подумала она, — ни сроков, ни преград, ни пределов.

В замке входной двери повернулся ключ; она ждала, хотела услышать этот звук.

Риарден вошел, как делал это уже много раз, ознаменовав свое появление лишь поворотом полученного от нее ключа. Свободным, уже став-

шим для нее привычным жестом, он бросил на кресло пальто и шляпу; на нем был официальный вечерний костюм.

— Привет, — сказала она.

— Все жду того вечера, когда тебя не окажется дома, — отозвался он.

— Тогда тебе придется звонить в контору «*Таггерт Трансконтинентал*».

— Всегда? И никуда более?

— Ревнуешь, Хэнк?

— Нет. Просто интересно, что я тогда почувствую.

Он смотрел на нее с другого конца комнаты, не торопясь приближаться к ней, намеренно откладывая это удовольствие. На Дагни была серая офисная юбка и блузка из полупрозрачной белой ткани, пошитая под мужскую рубашку; над талией она расширялась, подчеркивая линию бедер; свет лампы за спиной Дагни обрисовывал перед Риарденом весь контур ее изящного тела.

— Как прошел банкет? — спросила она.

— Отлично. Я удрал при первой возможности. Почему ты не пришла? Тебя приглашали.

— Не хотела, чтобы нас видели вместе.

Риарден посмотрел на нее, дав взглядом понять, что причина ему ясна. Затем черты его лица

дрогнули, складываясь в веселую улыбку.

— Ты много потеряла. Национальный совет металлургов более не станет подвергать себя такому испытанию, как общение со мной в качестве почетного гостя. Если только, конечно, этого можно будет избежать.

— А что произошло?

— Ничего. Просто была уйма речей.

— И ты прошел через столь тяжкое испытание?

— Нет… вернее, да, но, в известной мере… я намеревался получить удовольствие.

— Принести тебе чего-нибудь выпить?

— Да, если тебе не трудно.

Дагни повернулась, чтобы выйти. Риарден остановил ее, встал за спиной и взял за плечи; повернув голову Дагни к себе, он поцеловал ее в губы. Когда он оторвался от нее, Дагни вновь притянула его к себе жестом властной собственницы, как бы подчеркивая свое право на это. И только потом сделала шаг в сторону.

— Бог с ней, с выпивкой, — проговорил Риарден. — В общем, я не очень-то и хочу, просто приятно, что ты обо мне заботишься.

— Хорошо, вот и позволь мне позаботиться о тебе.

— Не надо.

Риарден улыбнулся, растянулся на кушетке и лег затылком на скрещенные запястья. Он чувствовал себя дома; другого дома у него, похоже, никогда и не было.

— Видишь ли, худшей частью банкета явилось то, что всех присутствующих объединяло одно желание — поскорее с ним покончить, — проговорил он. — Но одного я не могу понять, зачем в таком случае его вообще нужно было устраивать. Чего ради так стараться — ради меня?

Взяв пачку сигарет, Дагни протянула ее Риардену, а потом услужливо поднесла зажигалку. Улыбнувшись в ответ на смешок Риардена, она присела на подлокотник кресла, стоявшего в противоположном конце комнаты.

— Почему ты принял их приглашение, Хэнк? — спросила она. — Ты же всегда отказывал им в своем обществе.

— Не хотелось отвечать отказом на предложение мира — тем более после того, как я победил их, о чем они превосходно знают. В организацию эту я никогда не вступлю, но в ответ на приглашение быть почетным гостем… ну, мне думалось, они умеют проигрывать, сохраняя лицо. Я считал, что это благородно с их стороны.

— С *их* стороны?

— Ты хочешь сказать, с моей?

— Хэнк! После всего того, что они сделали, пытаясь остановить тебя…

— Я победил, разве не так? Вот я и подумал… Знаешь, я вовсе не держал на них обиды за то, что они не сумели сразу разглядеть достоинства металла… Ведь в конце концов они это сделали. Каждый человек учится, как умеет и когда приходит его время. Да, я знал, там были и трусость, и зависть, и ханжество, но подумал, что все это лишь на поверхности — теперь, когда я доказал свою правоту, причем доказал ее столь очевидно!.. Вот я и решил: меня приглашают, дабы выразить одобрение металлу, а…

За короткое мгновение паузы Дагни улыбнулась; она поняла, что Риарден хотел сказать: «…а за это я простил бы кому угодно и что угодно».

— Но все было не так, — продолжил он. — И я не знаю, в чем состоял их мотив. Дагни, не думаю, чтобы у них такового вообще не было, я просто не знаю… Они устроили этот банкет не с целью порадовать меня, не с целью что-то от меня получить или хотя бы спасти свое лицо перед публикой. Банкет этот, похоже, не имел никакой

цели, никакого смысла. Раньше, осуждая металл, они совершенно не были заинтересованы в том, чтобы не дать ему хода — и сейчас его судьба была им столь же безразлична. Они даже не боятся, что я прогоню их с рынка — даже это их не волнует! Знаешь, на что был похож этот банкет? Будто им кто-то подсказал, что некоторые ценности следует чтить, причем именно таким образом… вот они и принялись совершать все необходимые телодвижения, как призраки, бездумно повторяющие далекие отзвуки лучших времен. Я… я просто не мог вытерпеть этого.

Она сказала нарочито бесстрастным тоном:

— И ты еще не считаешь себя щедрым!

Риарден посмотрел на нее; глаза его в удивлении просветлели:

— Почему ты так на них сердита?

Дагни покачала головой и, стараясь скрыть нежность, ответила:

— А ты-то хотел порадоваться…

— Наверно, и поделом мне. Я не должен был ничего ожидать. Сам не знаю, чего я хотел.

— А я знаю.

— Я никогда не любил подобных мероприятий. Не знаю, почему я решил, что на этот раз все будет иначе… Знаешь, когда я отправлялся туда,

мне казалось, что металл преобразил все вокруг, даже людей.

— О да, Хэнк, знаю!

— Словом, я шел не туда, где можно искать чего-то такого… Помнишь? Ты сказала однажды, что праздники должны быть только у тех, кому есть что праздновать.

Яркий кончик ее сигареты застыл в воздухе; Дагни замерла. Она никогда не рассказывала ему о той вечеринке, не говорила ни о чем, связанном с его домом. И через мгновение негромко произнесла:

— Помню.

— Я знаю, что ты хотела этим сказать… И знал это еще тогда.

Он глядел прямо в глаза Дагни. Она потупилась.

Риарден умолк, а когда заговорил снова, голос его прозвучал уже весело:

— Худшее в людях, это когда они расточают не оскорбления, а комплименты. Терпеть не могу ту их разновидность, которой меня сегодня потчевали — как все, если послушать, во мне нуждаются: город, страна, весь мир… Очевидно, с их точки зрения, высшей славы достигает тот, кто имеет дело с нуждающимися в нем людь-

ми. А я терпеть не могу людей, которые во мне нуждаются.

Он посмотрел на Дагни:

— Вот ты, скажем, нуждаешься во мне?

— Отчаянно нуждаюсь, — совершенно искренне ответила она.

Риарден расхохотался.

— Нет. Я совсем о другом. Потом, ты говоришь это не так, как они.

— И как же я это говорю?

— Как торговец, как человек, который платит за то, чего хочет. А они лопочут, подобно попрошайкам, протягивающим к тебе жестяные миски.

— Я… *плачу* за это, Хэнк?

— Не изображай невинность. Тебе в точности известно, что именно я имею в виду.

— Да, — ответила Дагни; она улыбалась.

— Ах, да и к черту их всех! — он беззаботно махнул рукой и потянулся, изменив позу, наслаждаясь возможностью расслабиться. — Я не гожусь в публичные фигуры. Во всяком случае, теперь это ничего не значит. Нам незачем думать, *что* они видят или не видят. Пусть просто оставят нас в покое. Путь перед нами открыт. Каким будет ваш следующий проект, мисс

вице-президент?

— Трансконтинентальная магистраль из риарден-металла.

— И как скоро она тебе понадобится?

— Завтра утром… Через три года, начиная с этого дня.

— И ты предполагаешь, что осилишь ее за три года?

— Если «*Линия Джона Голта*»… то есть Рио-Норте, будет работать так, как сейчас.

— Она будет работать лучше. Это всего лишь начало.

— Я уже составила план монтажа. По мере поступления денег будем проводить сегментную замену колеи на рельсы из риарден-металла.

— О-кей. Начнем, когда тебе будет угодно.

— Я перекину старые рельсы на прежние ветки — иначе они долго не протянут. И через три года ты сможешь доехать по собственному металлу до Сан-Франциско, если кто-нибудь соберется устроить там банкет в твою честь.

— Через три года у меня будут заводы по производству риарден-металла в Колорадо, Мичигане и Айдахо. Таков мой план.

— Твои собственные? Филиалы?

— Угу.

— А как насчет Закона справедливой доли?

— Неужели ты думаешь, что он протянет еще три года? Мы устроили им такую демонстрацию, что всю гниль сметет. За нас целая страна. Кто сейчас захочет остановить ход событий? Кто захочет слушать ерунду? Сейчас в Вашингтоне активно работает лобби людей высшего сорта. Они намереваются отменить этот Закон на следующей сессии.

— Я… я надеюсь на это.

— Последние несколько недель выдались очень трудными для меня: надо было начинать стройку новых печей, но теперь, когда все улажено, когда дело идет полным ходом, я могу сесть и отдохнуть. Могу посидеть за своим столом, посчитать деньги, могу бездельничать, как уличный прохвост, могу следить за поступлением заказов на металл и выстраивать их в очередь… Кстати, когда у тебя завтра утром первый поезд на Филадельфию?

— Ну не знаю.

— Не знаешь? И какой толк от такого вице-президента? Я должен быть на заводе в семь утра. Около шести у тебя ничего нет?

— Насколько я помню, первый отходит в пять тридцать.

— И ты разбудишь меня вовремя, чтобы я не опоздал, или прикажешь, чтобы задержали отправление?

— Я разбужу тебя.

— О-кей.

Риарден умолк, Дагни смотрела на него. Входя, он показался ей утомленным; но теперь лицо его разгладилось — ни следа усталости.

— Дагни, — спросил он вдруг; интонация его изменилась, в ней таилась некая откровенная нотка, — почему ты не захотела, чтобы нас видели вместе?

— Не хочу становиться частью твоей… официальной жизни.

Риарден ответил непринужденным тоном, но не сразу:

— Когда ты была последний раз в отпуске?

— Кажется, два… нет, три года назад.

— И что ты тогда делала?

— Отправилась на месяц в Адирондаки. Вернулась через неделю.

— У меня это было пять лет назад. Только я ездил в Орегон, — улегшись на спину, он глядел в потолок. — Дагни, давай съездим в отпуск вместе. Возьмем мой автомобиль и уедем на несколько недель, куда угодно, просто будем

ездить по каким-нибудь проселкам, где нас никто не знает. Не оставим адреса, не будем читать газет, не прикоснемся к телефонной трубке — никаких официальных контактов.

Она встала. Подойдя к Риардену, Дагни остановилась возле кушетки и посмотрела на него; горевшая за ее спиной лампа прятала ее лицо — она не хотела, чтобы он заметил, как она старается не улыбнуться.

— Но ты же можешь взять отпуск на несколько недель, правда? — спросил Риарден. — Все уже на ходу. Никаких проблем не предвидится. А в ближайшие три года такой возможности уже не будет.

— Хорошо, Хэнк, — проговорила она, заставляя свой голос казаться спокойным.

— Ты согласна?

— И когда ты хочешь уехать?

— Утром, в понедельник.

— Хорошо.

Она повернулась, чтобы отойти. Схватив Дагни за руку, Риарден притянул ее к себе и повалил на себя; он удерживал ее в неудобной позе, запустив пальцы в волосы, припав к ее губам; другая рука его скользила от прикрытых тонкой блузкой лопаток, к талии, к ногам. Она шепнула:

— Ну вот, а говоришь, что не нуждаешься во мне!..

Она оторвалась от него и встала, откинув волосы со лба. Риарден, лежа, смотрел на нее, глаза его сузились, в них мелькала ясная искорка особенной, насмешливой заинтересованности *хозяина*. Дагни посмотрела на себя: бретелька ее комбинации соскользнула с плеча, и та повисла наискось, обнажая грудь, прикрытую только прозрачной блузкой. Она подняла руку, чтобы поправить одежду. Риарден шлепнул ее по руке. Дагни ответила понимающей улыбкой. Она неторопливо отошла и, повернувшись к нему, наклонилась над столом; пальцы ее лежали на краю столешницы, плечи сдвинулись назад. Именно такой контраст он любил — контраст ее строгих нарядов и полуобнаженного тела, контраст совладелицы железной дороги и принадлежащей ему женщины.

Риарден сел, удобно расположившись на кушетке и протянув вперед скрещенные ноги; он опять смотрел на нее взглядом собственника.

— Ты сказала, что хочешь проложить трансконтинентальную колею из риарден-металла, мисс вице-президент? — спросил он. — А что если я не дам тебе рельсов? Теперь я могу выбирать

заказчиков и назначать им любую цену. Если бы это случилось год назад, я бы потребовал, чтобы ты взамен спала со мной.

— Жаль, что не потребовал.

— А ты согласилась бы?

— Конечно.

— В рамках дела? Как часть сделки?

— Если бы это касалось *тебя*, да. Тебе это понравилось бы, правда?

— А тебе?

— Да… — шепотом повторила Дагни.

Подойдя к Дагни, Риарден обхватил ее за плечи и припал губами к груди, прикрытой тонкой тканью.

А потом молча посмотрел на нее долгим взглядом.

— А что ты сделала с тем браслетом? — спросил он.

Они никогда не заговаривали об этой вещице, и Дагни не сразу сумела ответить.

— Я храню его, — ответила она.

— Я хочу, чтобы ты носила этот браслет.

— Если люди догадаются, тебе придется хуже, чем мне.

— Надень его.

Дагни достала браслет из риарден-металла.

Молча, не отрывая глаз от его лица, она протянула Риардену руку: на ладони поблескивала иссиня-зеленая полоска. Смотря ей в глаза, он защелкнул браслет на ее запястье. И когда застежка сомкнулась под его пальцами, Дагни нагнулась и поцеловала их.

* * *

Земля полотном развертывалась перед капотом автомобиля. Вьющееся между холмами Висконсина шоссе было здесь единственным свидетельством человеческих трудов, шатким мостом, переброшенным через разлившийся океан кустов, деревьев и трав. Море это катилось ровными волнами желтовато-оранжевой пены; вдоль склонов холмов поднимались редкие красные струи, в низинах под чистым бледно-голубым небом нежились островки сохранившейся еще зелени. Окруженный красками почтовой открытки капот автомашины казался произведением ювелира: солнце искрилось на хромированной стали, а в черной эмали отражалось небо.

Вытянув ноги вперед, Дагни уютно устроилась в уголке возле окна; ей нравились и широкое, уютное сиденье, и ласковое прикосновение солн-

ца к плечам; нравилась и прекрасная местность.

— А мне бы хотелось увидеть сейчас рекламный щит, — проговорил Риарден.

Дагни рассмеялась: он ответил на ее невысказанную мысль.

— Что здесь продавать и кому? Мы уже час как не видели ни одного дома, ни одной машины.

— Именно это мне и не нравится, — он чуть наклонился вперед над рулем, лицо его стало недовольным. — Посмотри на дорогу.

Длинную полосу выбелило до мучнистого блеска валявшихся в пустыне костей, словно солнце и снег съели все следы шин, бензина, сажи, любые следы цивилизации. Из угловатых трещин в бетоне поднимались зеленые травы. Дорогой не пользовались и не чинили ее много лет, однако трещин было немного.

— Хорошая дорога, — отметил Риарден. — Построена надолго. И явно рассчитана на интенсивное движение.

— Да…

— Не нравится мне это.

— Мне тоже, — Дагни усмехнулась. — Но вспомни, как часто мы слышали жалобы на то, что рекламные щиты портят пейзаж. Здесь эти нытики

могли бы насладиться девственным пейзажем, — и добавила: — Терпеть их не могу.

Дагни не хотела тяжести, тонкой змейкой вторгавшейся в радость дня. За последние три недели она не раз ощущала смутную тревогу при виде пейзажей, скользивших перед клинообразным капотом автомобиля. Дагни улыбнулась: именно капот служил неподвижной точкой отсчета, в то время как земля пролетала мимо; капот оставался центром, фокусом, мерилом безопасности в расплывающемся, растворяющемся за окном мире… капот впереди и руки Риардена на руле… Она снова улыбнулась: им довелось видеть окружающий мир в суженном формате, и это ей нравилось.

После первой недели скитаний, пока они ехали наугад, следуя воле неведомых перекрестков, он как-то сказал ей:

— Дагни, а отдых обязательно должен быть бесцельным?

Она со смехом ответила:

— Нет. Какую же фабрику ты хочешь посетить?

Риарден улыбнулся — своей вине, которую не хотел признавать, объяснениям, которых не обязан был давать — и ответил:

— Заброшенный рудник около залива Сагино, о котором я слышал. Говорят, он истощен.

Они отправились через весь Мичиган к руднику. А потом ходили по окружавшим яму ярусам, останки крана рукой скелета нависали над их головами, и чья-то ржавая коробка от завтрака попалась ей под ноги. Она ощутила укол тревоги, более острой, чем печаль, но Риарден бодрым тоном проговорил:

— Какое там истощен! Я покажу им, сколько тонн руды и долларов еще можно извлечь из этого места!

Когда они возвращались к машине, он сказал:

— Если бы я мог найти подходящего человека, то уже завтра купил бы этот рудник и поставил его работать.

На следующий день, когда путь их пролегал на запад и юг, к равнинам Иллинойса, он после долгого молчания вдруг произнес:

— Нет, придется подождать, пока отменят закон. Человек, способный заставить работать этот рудник, не будет нуждаться в моих наставлениях. А тот, кому буду нужен я, не стоит и гроша.

Как и всегда, они могли болтать о своей работе, не опасаясь непонимания. Но они никогда не разговаривали друг о друге. Риарден вел себя так,

словно их страстная близость была единожды состоявшимся, безымянным физическим фактом, не основанном на общении двух разумов. Каждую ночь ей казалось, что она лежит в объятиях незнакомца, позволяющего ей видеть каждое чувственное содрогание его тела, но никогда не позволявшего заметить ответного трепета души. Она лежала возле него нагая, но на руке ее оставался браслет из риарден-металла.

Дагни видела, как ненавистно ему расписываться именами «мистер и миссис Смит» в неряшливых придорожных гостиницах. Иногда вечером, когда Риарден оставлял фальшивую подпись, довершая обман, Дагни замечала гневную складку его губ. Ей было плевать на многозначительное лукавство гостиничных клерков, как бы предполагавшее соучастие в постыдном грехе — поиске запретного удовольствия. Однако она видела, что и ему все это безразлично, когда они оставались вдвоем, когда он на мгновение прижимал ее к себе и она смотрела в его живые, не знающие вины глаза.

Они ехали через маленькие города, по забытым сельским дорогам, по местам, подобных которым не видели уже давно. Вид городов вселял в душу Дагни смятение. Прошел не один день, прежде

чем она поняла, чего ей так не хватает в первую очередь: вида свежей краски. Дома напоминали мужчин в мятых костюмах, утративших даже желание стоять прямо: карнизы были похожи на поникшие плечи, покосившиеся ступени крылечек напоминали обтрепавшиеся обшлага, разбитые, заколоченные досками окна производили впечатление заплат. Прохожие на улицах смотрели на новый автомобиль не как на редкое зрелище, но так, как если бы этот сверкающий аппарат явился из иного, уже невозможного мира. На улицах машин попадалось немного, чаще всего они встречали телеги. Дагни успела уже забыть облик и назначение конных повозок и совершенно об этом не жалела.

Она даже не улыбнулась на железнодорожном переезде в тот день, когда Риарден, криво усмехнувшись, показал ей в сторону появившегося из-за холма местного поезда, впереди которого, пыхтя черным дымом из высокой трубы, тащился древний паровозик.

— Боже мой, Хэнк, это совсем не смешно!

— Я знаю, — ответил он.

Где-то через час пути, когда они отъехали миль на семьдесят, она сказала:

— Хэнк, ты когда-нибудь видел, чтобы «*Комету*

Таггерта» тащил через континент такой вот угольный монстр?

— Чего это ты? Не стоит расстраиваться.

— Прости… Только я подумала, что и моя колея, и все твои новые печи окажутся бесполезными, если мы не найдем человека, способного производить новые дизельные тепловозы. Причем если мы не найдем его достаточно быстро…

— На тебя работает Тед Нильсен из Колорадо.

— Да, если он сумеет открыть новый завод. Он вложил в акции «*Линии Джона Голта*» куда больше денег, чем следовало бы.

— Однако вложение оказалось весьма выгодным, не правда ли?

— Да, но оно его затормозило. Теперь он готов идти дальше, но не может найти станки и инструменты. Сейчас их не достать нигде, не купить ни за какую цену. Ему отвечают только обещаниями и отговорками. Он прочесывает всю страну, разыскивает всякое старье на закрытых заводах. И если он не начнет производство в ближайшее время…

— Начнет. Кто теперь сможет его остановить?

— Хэнк, — вдруг проговорила Дагни, — а не могли бы мы съездить в одно место, которое мне хотелось бы увидеть?

— Конечно, куда захочешь. Итак?

— В Висконсин. Во времена моего отца там работал большой моторостроительный завод. У нас была ветка к нему, но мы закрыли ее — лет семь назад, когда завод обанкротился. Думаю, теперь это один из самых бесперспективных районов. Может, там найдутся какие-нибудь станки для Теда Нильсена. Завод могли и не заметить — место там богом забытое, и нет никакого транспорта.

— Я найду его. А как он назывался?

— Моторостроительная компания *«Двадцатый век»*.

— Ну конечно! Когда я был молодым, эта фирма считалась одной из лучших, если не самой лучшей. Помню даже, что закрылась она как-то странно… только не знаю, в чем эта странность заключалась.

На расспросы у них ушло три дня, но, наконец, они отыскали эту выбеленную, заброшенную дорогу — и катили теперь под желтой листвой, казавшейся морем золотых монет, к бывшей компании *«Двадцатый век»*.

— Хэнк, а что если с Тедом Нильсеном что-то случится? — нарушила вдруг молчание Дагни.

— Почему это с ним должно что-то случиться?

— Не знаю, но… но вот был же Дуайт Сандерс.

Был и исчез. А с ним и «*Юнайтед Локомотив*». Состояние прочих заводов не позволяет им заняться выпуском дизелей. Я уже перестала верить обещаниям. Потом… потом какой может быть толк от железной дороги, на которой нет движущей силы?

— И от всего прочего, кстати…

Листья трепетали на раскачивавшихся ветром ветвях. Мили сменялись милями, и кругом были только кусты, деревья, травы всех оттенков рыже-красного, и живые, словно огонь: казалось, что они что-то праздновали и полыхали всем своим буйным, нетронутым изобилием.

Риарден улыбнулся:

— Что ж, а в глуши все-таки что-то есть. Она начинает мне нравиться. Это какая-то новая, еще никем не открытая страна.

Дагни радостно кивнула:

— Здесь хорошая почва — посмотри, какая буйная растительность. Я бы вырубила весь этот кустарник и построила…

Улыбки разом исчезли с их лиц. Труп, замеченный обоими в траве возле обочины, оказался ржавым цилиндром бензонасоса, на котором еще сохранились остатки стеклянного циферблата.

Кроме него было заметно немногое. Несколько

обугленных столбов, бетонный блок и искорки стеклянной пыли на месте бензозаправочной станции — все утопало в кустах и открывалось лишь внимательному взгляду, а по прошествии года-другого вообще должно было исчезнуть под покровом растительности.

Они дружно отвернулись и поехали дальше, не желая интересоваться тем, что еще могли скрывать многомильные заросли. В машине повисло тягостное молчание: можно было лишь гадать о том, сколько всего уже сгинуло под покровом кустов и трав.

Дорога оборвалась за поворотом на склоне холма. Перед ними возник изрытый пустырь, над которым из земли и клочьев асфальта торчало несколько каркасов бетонных блоков. Кто-то потрудился над ними, разбив стены и увезя обломки; никакая трава не могла уже расти на ставшей бесплодной земле. На гребне далекого холма, на фоне неба, подобный кресту над огромной могилой стоял покосившийся телеграфный столб.

Потратив три часа и проколов шину, они проползли на самой малой скорости по мягкому бездорожью — через канавы, по колеям, оставленным колесами телег — до селения, лежавшего

позади холма с телеграфным столбом на вершине.

Внутри скелета, оставшегося от прежнего промышленного городка, стояли несколько брошенных домов. Все, что можно было вывезти, уже увезли; Дагни заметила буквально несколько человек. Строения превратились в вертикально стоящие руины; их сотворило не время, а человек, оставивший после себя хаотично отодранные доски, снятые куски кровли, дыры во взломанных погребах. Казалось, чьи-то слепые руки, жадные и ненасытные, шарили наугад, забирая все подряд, не зная, что именно может понадобиться завтра.

Среди руин обнаруживались и населенные дома; поднимавшийся из их труб дым был единственным заметным движение в городке. На окраине торчал железобетонный остов, некогда принадлежавший школе; он походил на череп с пустыми глазницами выбитых окон… С него свисали редкие пряди волос — оборванные провода.

За городком, на далеком холме, стоял завод мотоpостроительной компании *«Двадцатый век»*. Стены, кровля его и дымовые трубы производили впечатление строгой, неприступной крепости.

Снаружи он казался в полном порядке — кроме серебристой водонапорной башни, бак которой заметно накренился.

Не заметив и следа дороги к заводу на поросших густыми зарослями холмах, они подъехали к ближайшему дому, из трубы которого сочилась жидкая струйка дыма. Дверь была открыта. Услышав звук работающего автомобильного двигателя, на пороге показалась старуха. Согбенная, опухшая, одетая в сшитое из мешковины платье, она едва перебирала ногами. Старуха посмотрела на машину без удивления и любопытства; пустые глаза ее принадлежали существу, давно потерявшему способность чувствовать что-нибудь, кроме усталости.

— Не покажите ли вы нам дорогу к заводу? — спросил Риарден.

Женщина ответила не сразу; казалось, она разучилась разговаривать:

— К какому еще заводу?

— К этому, — показал Риарден.

— Он закрыт.

— Я в курсе. Но есть ли к нему какая-нибудь дорога?

— Не знаю.

— Любая дорога, может быть, тропка?

— В лесу их много.

— А машина там сможет проехать?

— Кто знает.

— Так как же нам туда добраться?

— Не знаю.

За ее спиной они увидели скудную обстановку дома.

Бесполезная газовая плита была накрыта какими-то тряпками, духовка ее служила шкафом. В углу стояла сложенная из камней печка, в которой под старым чайником горело несколько поленьев, по стене тянулась длинная полоса сажи. На ножках стола был пристроен белый предмет: снятая со стены чьей-то ванной комнаты фарфоровая раковина, полная подгнившей капусты. В бутылке на столе стояла сальная свеча. На полу не осталось никакой краски; его шершавые серые доски казались зримым воплощением боли в костях той женщины, что гнулась над ними и терла, пока не проиграла сражение с грязью, въевшейся теперь окончательно.

За спиной старухи молча, по одному, собрался целый выводок детей. Они смотрели на автомобиль не с присущим их возрасту любопытством, а с напряженным вниманием дикарей, готовых исчезнуть при первом признаке опасности.

— Сколько миль будет до завода? — спросил Риарден.

— Десять, — ответила женщина и добавила: — А может, и пять.

— А далеко ли до следующего города?

— Здесь нет никакого следующего города.

— Другие города найдутся всегда. Я хочу сказать, сколько до него ехать?

— Не знаю.

На пустыре у дома, на куске бывшего телеграфного провода, висели какие-то линялые тряпки. Посреди грядок скудного огорода бродили три тощих курицы, четвертая съежилась на насесте, устроенном из прежней водопроводной трубы. Посреди полной отбросов лужи пристроились две свиньи; через грязь была проложена дорожка из кусков взятого с дороги бетона.

Услышав вдали скрежет, Дагни и Риарден заметили мужчину, набиравшего воду из общественного колодца с помощью блока и веревки. Наполнив ведра, он неторопливо направился в сторону автомобиля. Два полных ведра казались слишком тяжелыми для тонких рук. Возраст его было трудно определить.

Он остановился у машины и принялся разглядывать ее. Полные хитрости и подозрительности

глаза то и дело обращались к незнакомцам.

Достав десятидолларовую бумажку, Риарден потянул ее ему:

— Не покажете ли нам путь к заводу?

Тот посмотрел на деньги с угрюмым безразличием, не шевельнувшись, не протянув к ним руки, не поставив ведер на землю. Если есть на свете человек, совершенно лишенный жадности, подумала Дагни, то он перед нами.

— У нас здесь деньги не в ходу, — проговорил он.

— Но ты же как-то зарабатываешь на жизнь?

— Ага.

— Ну тогда что же заменяет вам деньги?

Мужчина опустил ведра, словно бы вдруг сообразив, что ему не обязательно сгибаться под их весом.

— Деньгами мы не пользуемся, — повторил он, — просто меняем одно на другое.

— А как вы торгуете с людьми из других городов?

— Мы не бываем в других городах.

— Нелегкая у вас здесь жизнь.

— А вам-то что?

— Ничего. Просто любопытно. А почему вы никуда не уезжаете?

— У моего старика была здесь бакалейная лавка. Только завод вот закрылся.

— А почему вы не уехали?

— Куда?

— Куда угодно.

— Чего ради?

Дагни посмотрела на ведра: их роль исполняли две прямоугольные жестяные банки с веревочными ручками; прежде они служили канистрами для масла.

— Слушай, — проговорил Риарден, — можешь ли ты показать нам дорогу к заводу, если она есть?

— Дорог здесь много.

— А найдется ли пригодная для автомобиля?

— Наверно.

— И какая же?

Мужчина задумался, стараясь разрешить проблему:

— Ну что ж, если вы свернете налево у школы и поедете прямо до кривого дуба, там и будет дорога, вполне пригодная для машины, если только пару недель не было дождя.

— А когда дождь был в последний раз?

— Вчера.

— А другой дороги нет?

— Ну, если вы сумеете проехать пастбищем Хансона, а потом сквозь лес, там будет хорошая прочная дорога, до самого ручья.

— А мост через ручей еще остался?

— Нет.

— А как насчет других дорог?

— Ну, если вам обязательно нужна дорога для автомобиля, по ту сторону Миллерова надела есть мощеная дорога, для машины лучше не найти, надо только повернуть направо у школы и…

— Но ведь эта дорога не ведет к заводу, так ведь?

— Нет, не ведет.

— Хорошо, — сказал Риарден. — Значит, нам придется искать дорогу самим.

Он как раз нажимал на стартер, когда в ветровое стекло ударил камень. Стекло было небьющимся, однако по нему разбежались трещины. Малолетний хулиган с гадким смешком исчез за углом, сопровождаемый взрывом хохота детей, расположившихся за соседними окнами или в каких-то укрытиях.

Риарден подавил готовое сорваться с губ ругательство. Мужчина обвел улицу вялым взором и чуть нахмурился. Старуха глядела на происходящее без малейших признаков интереса.

Она просто стояла и молчаливо наблюдала, подобно фотореактивам фиксируя изображение просто для того, чтобы запечатлеть его, даже не понимая того, что видит.

Дагни уже несколько минут рассматривала ее. Бесформенная фигура женщины не говорила ни о возрасте, ни о нарочитом пренебрежении к себе; кроме того, хозяйка дома, похоже, была беременна. Это казалось невероятным, однако, приглядевшись повнимательнее, Дагни заметила, что похожие на пыль волосы еще не поседели, морщин на лице почти не было; старческий вид ей придавали пустые глаза, согбенная спина, шаркающая поступь.

Дагни спросила:

— Сколько тебе лет?

Женщина посмотрела на нее без обиды, как смотрят, услышав бессмысленный вопрос.

— Тридцать семь, — ответила она.

Они уже отъехали на несколько кварталов, когда Дагни с ужасом воскликнула:

— Хэнк, эта женщина всего на два года старше меня!

— Да.

— Боже мой, как им удалось докатиться до *такого*?

Он пожал плечами:

— А кто такой Джон Голт?

Последним, что они увидели при выезде из городка, стал рекламный щит. Изображение все еще угадывалось на свисавших с него клочьях бумаги, только прежде яркие краски превратились в смертельную серость. Рекламировалась стиральная машина.

За городом, далеко в поле, неторопливо ходил человек, фигуру его искажало уродливое, неестественное напряжение: он тянул за собой плуг.

До моторостроительного завода компании *«Двадцатый век»* они добрались через два часа, преодолев при этом две мили. И, поднявшись на холм, поняли, что странствие их оказалось бесполезным. На двери главного входа висел ржавый замок, но в огромных окнах зияли внушительные бреши, и завод был, по сути, открыт для всех и всего: сурков, кроликов и сухих листьев, обильно нанесенных ветром внутрь.

Его выпотрошили уже давно. Крупные станки эвакуировали цивилизованным образом — в бетоне пола еще оставались аккуратные отверстия для их крепления. Остальное стало добычей случайных грабителей. Эти не оставили ничего, кроме такого мусора, который счел бы

бесполезным самый нуждающийся бродяга — груда проржавевших, бесформенных обломков металла, разбитых досок, штукатурки, битого стекла — и кроме поднимающихся ровными витками к крыше стальных лестниц, построенных надежно и прочно.

Они остановились в просторном зале; из дыры в крыше наискось падал луч света, звонкие отзвуки их шагов таяли вдали, в рядах пустых помещений. Заметавшаяся между стальными балками птица, свистя крыльями, вылетела через прореху в крыше.

— На всякий случай надо бы осмотреться, — предложила Дагни. — Ты идешь по мастерским, я — по пристройкам. Давай, только побыстрее.

— Тебе лучше бы не бродить здесь в одиночестве. Не знаю, насколько безопасны здесь полы и лестницы.

— А, ерунда! Я вполне способна ориентироваться на заводе и знаю, что интересует старьевщиков. Мне просто хочется побыстрее убраться отсюда.

Проходя безмолвными цехами, где под потолком еще висели проржавевшие захваты стальных кранов, замечая над головой геометрически совершенные линии, она ничего не хотела видеть,

но заставляла себя смотреть.

Это было все равно как вскрывать труп любимого. Плотно стиснув зубы, Дагни озиралась по сторонам, словно водя лучом прожектора. Шла она быстро — задерживаться где-либо не было никакой необходимости.

Остановилась она только в комнате, прежде, похоже, служившей лабораторией. Здесь ее внимание привлекла проволочная катушка. Она торчала из груды мусора. Дагни никогда еще не видела подобного рисунка обмотки, тем не менее он показался ей смутно знакомым, словно явившимся из какого-то случайно уцелевшего и очень далекого воспоминания. Она потянула за катушку, но даже не смогла сдвинуть ее с места: та казалась частью какого-то погребенного в куче всякой дряни механизма.

Помещение вполне могло оказаться экспериментальной лабораторией — если только она правильно определила назначение находившихся на стене остатков оборудования: огромного множества электроподводов, кусков тяжелого кабеля, свинцовых труб, стеклянных трубок, встроенных шкафов без полок и дверей. В груде мусора было много стекла, резины, пластмассы, с ними соседствовали серые обломки сланца,

использовавшегося для графитовых изоляторов. По всему полу были разбросаны листы бумаги. Среди мусора попадались и предметы, явно не принадлежавшие былым владельцам этого помещения: пакеты из-под поп-корна, бутылка из-под виски, журнал, издававшийся какой-то сектой.

Дагни еще раз попыталась извлечь катушку из груды старья. Та опять не пошевелилась. Нагнувшись, она принялась разбирать мусор.

К тому мгновению, когда Дагни распрямилась и посмотрела на свою находку, она успела порезать руки и перепачкаться в пыли. Перед ней были разломанные остатки модели электромотора. Большинство частей его отсутствовало, однако того, что оставалось, было достаточно, чтобы представить себе его прежнюю форму и назначение. Дагни никогда не видела такого мотора или чего-то на него похожего. Она не могла до конца понять особенности конструкции и тех функций, которые двигатель должен был исполнять.

Дагни внимательно осмотрела черненые трубки и странной формы контакты. Она попыталась определить их назначение, перебирая в уме все известные ей типы двигателей и все возможные

режимы работы их частей.

Все знакомое ей не соответствовало модели. Она казалась мотором, генератором, однако Дагни не могла определить, на каком виде топлива он может работать. Двигатель не был рассчитан на пар, мазут и все известные ей источники энергии.

Внезапно сорвавшееся с губ Дагни восклицание стало не просто звуком, а толчком, бросившим ее на груду мусора. Опираясь на локти и колени, она ползала по полу, подбирая все попадавшиеся ей листки бумаги, отбрасывая одни, берясь за следующие. Руки Дагни тряслись.

Она обнаружила часть того, на чье существование уже не надеялась, — тонкую стопку скрепленных вместе машинописных листков — остаток отчета. Начало и конец его отсутствовали; клочки бумаги под зажимом свидетельствовали о том, что отчет прежде был куда более объемистым. Бумага успела пожелтеть и высохнуть. В отчете содержалось описание двигателя.

Осматривавший разоренную энергостанцию завода, Риарден услышал ее вопль:

— Хэнк!!!

Дагни словно бы колотило от ужаса.

Он бросился на голос. Дагни стояла посреди

комнаты, руки ее кровоточили, чулки были порваны, костюм перепачкан пылью… но пальцы крепко держали стопку листков.

— Хэнк, как ты думаешь, на что это похоже? — спросила она, указывая на непонятной формы обломок у своих ног; в голосе ее звучала напряженная, полная истеричного изумления нотка, свойственная только что пережившему потрясение, оторвавшемуся от реальности человеку. — *На что это похоже?*

— Ты поранилась? Что случилось?

— Нет!.. Не обращай внимания, не смотри на меня! Со мной все в порядке. Взгляни вот на *это*. Знаешь, что это такое?

— Что ты с собой сделала?

— Мне пришлось выкопать *его* из груды мусора. Но со мной все в порядке.

— Ты вся дрожишь.

— Сейчас ты тоже будешь дрожать, Хэнк! Посмотри на эту вещь. Просто посмотри и скажи мне, *что это такое*.

Риарден послушно посмотрел вниз, и тут взгляд его вдруг стал сосредоточенно-острым — он опустился на пол и принялся тщательно изучать предмет.

— Какой странный способ соединять узлы дви-

гателя, — хмурясь, задумчиво заметил он.

— На, прочти, — сказала Дагни, протягивая ему страницы.

Прочитав, он оторопело посмотрел на нее и воскликнул.

— Бог ты мой!

Дагни уже сидела возле него на полу, и какое-то мгновение они не могли произнести ни слова.

— Это все катушка, — сказала Дагни. Ей казалось, ум ее вступил в какую-то гонку, она не могла уловить и передать все то, что вдруг открылось ее сознанию; слова одно за другим торопливо слетали с ее губ.

— Сначала я заметила катушку, потому что видела похожие чертежи, не точь-в-точь, но что-то подобное… много лет назад, когда еще училась в колледже… старая книга, в ней было написано, что от идеи этой отказались… отказались давным-давно — но я любила читать все, касавшееся железнодорожных двигателей. В той книге говорилось, что одно время идея эта разрабатывалась, люди потратили годы на эксперименты, но так и не сумели решить задачу и в итоге сдались. После мысль эту забросили не на одно поколение. Я и не думала, что кто-нибудь из ученых мог воспользоваться ею в наше время. Но кто-

то сделал это. Сделал и решил задачу!.. Хэнк, ты понимаешь, *что* это значит? Люди когда-то пытались изобрести двигатель, способный поглощать статическое электричество из атмосферы и потреблять его, превращая в собственную мощность. Этого не сумели сделать. Об этой идее забыли. Но вот она, воплощенная в железе.

Дагни указала на обломки двигателя.

Риарден кивнул. На лице его не было улыбки. Он сидел, разглядывая остатки модели, сосредоточившись на чем-то своем, сокровенном — причем, не слишком счастливом.

— Хэнк! Разве ты не понимаешь, что это значит? Перед нами величайшая революция в энергетике после изобретения двигателя внутреннего сгорания — нет, нечто большее! Этот двигатель уничтожит остальные — сделает возможным абсолютно все. Можно будет послать к черту Дуайта Сандерса вместе со всеми подобными ему личностями! Кто захочет иметь дело с дизелями? Кто захочет возиться с нефтью, углем, заправочными станциями? Разве ты не видишь того, что вижу я? Новый, с иголочки локомотив величиной с половину нынешнего, но в десять раз более мощный. Автогенератор, работающий буквально на считанных каплях топлива

и не имеющий предела мощности. Самый чистый, быстрый и дешевый способ передвижения из всех известных человеку. Разве ты не видишь, *что* за какой-то год сделает этот двигатель с нашими транспортными системами и со всей страной?

На лице Риардена не проступило даже тени волнения. Он неторопливо произнес:

— Но кто спроектировал его? И почему эту модель бросили здесь?

— Мы выясним это.

Он задумчиво взвесил на руке странички.

— Дагни, если ты не найдешь проектировщика, то сумеешь ли восстановить двигатель по этим обломкам?

Она надолго задумалась, а потом уже унылым тоном произнесла:

— Нет.

— И никто не сможет. Кто-то создал этот двигатель. Он работал, если судить по записям. Более великого изобретения я не видел. Двигатель этот работал. И мы не способны вновь оживить его. Чтобы дополнить отсутствующие детали, нужно обладать умом, не менее великим, чем у этого безвестного изобретателя.

— Я найду его, даже если для этого придется

забросить все остальные дела.

— …и если он еще жив.

Немного помолчав, Дагни задумчиво спросила:

— Что навело тебя на такую мысль?

— Едва ли он жив. В ином случае, разве он оставил бы свой шедевр гнить в куче мусора? Разве бросил бы изобретение такого масштаба? Если бы автор его был еще жив, ты уже давно получила бы свои локомотивы с автогенераторами. И тебе не пришлось бы разыскивать его, потому что имя его уже было бы известно всему миру.

— Не думаю, чтобы эта модель была изготовлена очень давно.

Риарден посмотрел на бумагу, на слой ржавчины на поверхности двигателя.

— Я бы сказал, около десяти лет. А может быть, и чуть больше.

— Нам придется найти его или кого-нибудь из тех, кто его знал. Это более важно…

— …чем все, что производится ныне или принадлежит кому-нибудь. Не думаю, что нам удастся найти изобретателя. А если мы не сумеем это сделать, никто не сможет повторить его достижение. Никто не сможет восстановить его двигатель. От него осталось немногое. Это всего лишь намек, бесценный намек, однако, чтобы по-

нять его, требуется ум из тех, которые рождаются раз в столетие. Как, по-твоему, способны на это наши нынешние инженеры?

— Нет.

— Сейчас не осталось даже просто классного проектировщика. А новых идей в моторостроении не было слышно уже много лет. Эта профессия или вымирает, или уже умерла.

— Хэнк, но ты понимаешь, что значит… если двигатель этот удастся построить?

Риарден коротко усмехнулся:

— Я бы сказал, примерно десять лет, прибавленных к жизни каждого жителя этой страны, если учесть, сколь многое станет проще и дешевле производить, сколько часов человеческого труда можно будет высвободить для других работ, и насколько больше можно будет сделать за это время. Ты говоришь — локомотивы? А как насчет автомобилей, кораблей и самолетов с двигателями подобного рода? А есть еще тракторы. И электростанции, располагающие неограниченным запасом энергии, без топлива, за которое нужно платить, если не считать нескольких пенни, необходимых для работы преобразователя. Этот двигатель мог бы привести в движение всю страну, вдохнуть в нее огонь. Он может принести

электрическую лампочку в самый отдаленный уголок, даже в дома тех людей, которых мы видели сегодня в долине.

– *Может* принести? Обязательно принесет. Я найду того человека, который изобрел его.

— Мы попытаемся, — Риарден резко распрямился, бросил еще один взгляд на поломанную модель и произнес с невеселым смешком: — Вот и двигатель для ветки «*Линия Джона Голта*»... — А потом заговорил во властной манере руководителя: — Во-первых, надо отыскать здесь их отдел кадров. Просмотреть личные дела, если они остались. Потом нужно установить имена их исследователей и инженеров. Я не знаю, кому сейчас принадлежат эти руины, и подозреваю, что владельца будет очень трудно найти, иначе он просто не позволил бы нам попасть сюда. Затем мы обследуем все комнаты лаборатории. Позднее можно будет послать сюда на самолете нескольких инженеров, чтобы они прочесали весь завод.

Они направились к выходу, но на пороге Дагни на мгновение застыла.

— Хэнк, здесь не было ничего более ценного, чем этот двигатель, — негромко проговорила она. — Он стоил больше, чем весь этот завод

со всей его продукцией. Тем не менее он брошен и оставлен в куче мусора. Это единственная вещь, которую никто не потрудился забрать или украсть.

— Это и пугает меня больше всего, — признался Риарден.

Отдел кадров искать долго не пришлось. На двери его красовалась соответствующая табличка, однако ею все и ограничилось. Внутри не было ни мебели, ни бумаг — ничего, кроме битого стекла.

Они вернулись назад, в комнату, где остался двигатель. И, ползая на коленях, осмотрели каждую частицу мусора на полу.

Находок оказалось немного. Они отложили в сторону бумаги, среди которых не было страниц отчета и прочих записей, относящихся к двигателю. Пакеты из-под попкорна и бутылка из-под виски свидетельствовали о вторжении варварских орд, прокатившихся по помещению подобно волнам и унесшим невесть куда все нужные им остатки.

Они обнаружили несколько кусочков металла, которые могли отколоться от двигателя, однако обломки эти были слишком незначительными, чтобы представлять собой какой-либо интерес.

Мотор выглядел так, словно части его выломали какие-то мародеры, решившие найти им применение в повседневной жизни. Оставшееся имело слишком необычный вид, чтобы кого-то заинтересовать.

Стоя на коленях, упираясь ладонями в усыпанный песчинками пол, Дагни ощущала в душе трепет гнева, жгучего, бессильного гнева, рожденного видом разрушения. Она гадала, не стал ли подводной кабель мотора веревкой для чьих-то там пеленок, не сделался ли его маховик блоком для общего колодца, не превратился ли его цилиндр в горшок для герани, стоящий сейчас на подоконнике того самого миляги, что оставил здесь бутылку из-под виски.

На холме еще было светло, но из долины уже наползала голубая дымка.

Они закончили с делом, когда уже стемнело. Дагни поднялась и прислонилась к пустой оконной раме, чтобы ощутить прикосновение вечерней прохлады ко лбу. Небо сделалось темно-синим.

— Этот двигатель мог бы привести в движение всю страну, вдохнуть в нее огонь.

Она посмотрела на мотор. А потом выглянула в окно и вдруг застонала, вздрогнув всем телом и уронив голову на руку, упиравшуюся о косяк

рамы.

— В чем дело? — спросил Риарден.

Дагни не ответила.

Риарден выглянул наружу. Далеко внизу, в долине, в сгущающейся тьме, едва светились слабые огоньки сальных свечей.

ГЛАВА X. ФАКЕЛ УАЙЭТТА

— Помилуй бог, мэм! — проговорил клерк архивного бюро. — Никто не знает, кому этот завод принадлежит теперь. И спросить некого.

Клерк сидел за столом находившегося на первом этаже кабинета, куда редко заходили посетители; пыль на окружавших его папках лежала густым слоем. Он то глядел на блестящий автомобиль, стоящий перед его окном на грязной площади, образующей центр некогда процветавшего городка, столицы округа, то переводил тусклый, рассеянный взгляд на двоих неизвестных посетителей.

— Почему? — спросила Дагни.

Клерк беспомощным движением указал на массу бумаг, извлеченных им из папок:

— Решить, кому все принадлежит, может только суд, но достаточно компетентный суд, по-моему, едва ли найдется. Если только бумаги эти вообще когда-либо попадут в суд. Но так едва ли случится.

— Почему? Что произошло?

— Ну, она продана… «*Двадцатый век*». То есть моторостроительная компания. Она была про-

дана одновременно двум разным владельцам. В свое время, два года назад, это был крупный скандал. А теперь все — он указал на груду документов — превратилось в бумагу, дожидающуюся судейского рассмотрения. И я не вижу, каким образом какой-нибудь судья сумеет установить по ней права собственности или вообще какие-нибудь права.

— Пожалуйста, расскажите, что произошло?

— Ну, последним законным владельцем завода была *Народная ипотечная компания*, город Рим, штат Висконсин. Городок находится по ту сторону от завода, в тридцати милях к северу отсюда. Эта *Ипотечная компания* была довольно бойкой конторой, повсюду трубившей о выгодных кредитах. Возглавлял ее некий Марк Йонтц. Никто не знал, откуда он взялся, никому не известно, куда он делся теперь, однако на следующее утро после того как *Народная ипотечная компания* лопнула, выяснилось, что Марк Йонтц продал «*Двадцатый век*» кучке молокососов из Южной Дакоты, а заодно передал в качестве залога под займ одному из банков Иллинойса. Когда они явились, чтобы посмотреть на завод, оказалось, что Йонтц вывез все станки и распродал их поштучно, один Бог ведает кому. Итак, завод

принадлежит многим и никому. Словом, сейчас дела обстоят так: ребята из Южной Дакоты, банк и адвокаты кредиторов *Народной ипотечной компании* подают в суд друг на друга, претендуя на владение этим заводом, и никто из них не имеет права вывезти оттуда даже колеса, если не считать того, что ни единого колеса там уже не осталось.

— А при Марке Йонтце завод работал?

— Боже мой, нет, мэм! Йонтц был не из тех, кто способен руководить заводом. Он не хотел работать, ему нужно было только получить деньги. И ведь сорвал куш — взял за этот завод куда больше, чем кто угодно мог за него дать.

Клерк не мог понять, отчего светловолосый, суровый с вида мужчина, сидевший рядом с женщиной перед его столом, то и дело поглядывает через окно на свой автомобиль, вернее, на большой, обернутый брезентом предмет, выглядывавший из-под крышки багажника.

— А что произошло с заводской документацией?

— Что именно вы имеете в виду, мэм?

— Производственные отчеты. Рабочие документы. Э… личные дела.

— Ну, их вообще не сохранилось. На заводе

шел настоящий грабеж. Предположительные владельцы хватали все, что могли… мебель и все движимое, даже если шериф вешал на дверь замок. Бумаги и все прочее — их, наверно, забрали шакалы из Старнсвилля, это там, в долине, им приходится трудно. Скорей всего, бумаги забрали на растопку и сожгли.

— А нет ли здесь бывших работников этого завода? — спросил Риарден.

— Нет, сэр. Здесь их не стоит искать. Все они жили в Старнсвилле.

— Все-все? — прошептала Дагни, вновь видя перед собой руины. — И… инженеры тоже?

— Да, мэм. Это был заводской городок.

— А вы случайно не запомнили имени какого-нибудь человека, который там работал?

— Нет, мэм.

— А при каком из владельцев завод еще функционировал? — задал вопрос Риарден.

— Не могу сказать вам, сэр. Там много было всякой суеты, потом завод столько раз переходил из рук в руки после смерти старины Джеда Старнса. Он-то и построил завод. А вместе с ним, можно сказать, привел в порядок и весь край. Старнс умер двенадцать лет назад.

— А вы можете назвать нам имена всех после-

дующих владельцев?

— Нет, сэр. Старое здание суда сгорело примерно три года назад вместе со всеми архивами. Не знаю, где теперь можно найти эти сведения.

— А вы не знаете, каким образом Марку Йонтцу удалось приобрести завод?

— Это я знаю. Он купил его у Баскома, мэра Рима. А уж как завод достался ему, мне не известно.

— А где сейчас мэр Баском?

— По-прежнему командует в Риме.

— Весьма вам благодарен, — проговорил Риарден, вставая. — Мы поедем к нему.

Они уже были возле двери, когда клерк спросил:

— А что вы разыскиваете, сэр?

— Нашего друга, — ответил Риарден. — Старого друга, следы которого мы потеряли. Он работал на этом заводе.

* * *

Мэр города Рима из штата Висконсин откинулся назад в своем кресле; под засаленной рубашкой его грудь и живот образовывали нечто похожее на грушу.

Террасу его дома наполнял густой, пропитанный пылью и солнцем воздух. Мэр махнул рукой,

блеснув перстнем с крупным, но низкокачественным топазом.

— Бесполезно, бесполезно, леди, совершенно бесполезно, — проговорил он. — Опрашивать здешних жителей значит попусту тратить время. Заводских больше не осталось, нет и таких, кто мог бы подробно рассказать о них. Отсюда уехало столько семей, а осталась такая шваль! Вот я и твержу себе все время, что превратился в мэра одной только швали.

Он предложил обоим своим гостям сесть, но не стал обращать внимания на то, что леди предпочла остаться стоять возле парапета террасы. Откинувшись назад, Баском принялся изучать стройную фигуру визитерши: высший класс, решил он, и спутник ее определенно из богатых.

Дагни рассматривала улицу этого Рима. На ней были дома, тротуары, фонарные столбы, даже щит с рекламой прохладительных напитков; однако казалось, что городу этому остались считанные дюймы и часы до погружения в состояние Старнсвилля.

— Нет, никакого фабричного архива здесь не осталось, — проговорил мэр Баском. — И если вы, леди, хотите найти именно его, то можете оставить свои попытки. Это все равно теперь,

что ловить листья на ветру. Да-да, листья на ветру. Кого сейчас интересуют бумаги? В подобные времена люди озабочены добротными, прочными материальными объектами. Надо быть практичным человеком.

За пыльными окнами они видели обстановку гостиной: персидские ковры на покоробившемся деревянном полу, приставленный к стене барный столик с хромированными полосками, дорогой радиоприемник, на котором стояла старая керосиновая лампа.

— Да, это я продал завод Марку Йонтцу. Он был хорошим парнем, таким живым, энергичным. Конечно, он ловчил, но кто этого не делает? И зашел слишком далеко… Этого я не ожидал. Я полагал, что ему хватит ума остаться в рамках закона… то есть, того, что от него сейчас осталось.

Мэр Баском улыбнулся, с кроткой откровенностью глядя на своих гостей. В глазах его угадывалась примитивная, лишенная интеллекта проницательность, улыбка казалась добродушной — без доброты.

— Не думаю, чтобы вы, друзья мои, были детективами, — проговорил он, — но даже если так, мне все равно. Я не тянул с Марка никаких комиссионных, он не посвящал меня в свои сделки,

и мне неизвестно, куда он исчез, — он вздохнул. — Парень этот мне нравился. Хорошо бы он остался здесь. Конечно, не ради воскресных служб. Ему же надо было заработать себе на жизнь, так ведь? И он не был хуже других, только посмышленей. Кто-то залетел бы на такой афере, а он — нет, в этом вся разница… Не-а, я не знаю, что он намеревался делать, покупая этот завод. Конечно, он заплатил мне малость побольше, чем стоила эта старая мышеловка. Конечно, он оказал мне любезность, купив ее. Не-а, я никак не понуждал его к этой покупке. Это было излишне. Просто я тоже оказал ему несколько услуг. Некоторые законы, сэр, они как бы сделаны из резины, и мэр всегда может чуть растянуть их, чтобы угодить другу. Зачем волноваться? Как еще можно разбогатеть в этом мире? — он бросил взгляд на роскошную черную машину. — Вам это лучше знать.

— Вы рассказывали нам о заводе, — напомнил Риарден, постаравшись взять себя в руки.

— Чего я терпеть не могу, — проговорил мэр Баском, — так это людей, которые любят поговорить о принципах. Ни одним принципом молочную бутылку не наполнишь. В жизни существенна только ее солидная, материальная

сторона. А когда все вокруг рушится, на теории просто не остается времени. Что касается меня — оказаться внизу я не намерен. Пусть идеи будут у других, а у меня будет завод. Идеи мне не нужны, мне нужно три раза в день плотно поесть.

— Зачем же вы тогда купили этот завод?

— А зачем вообще покупают предприятия? Чтобы выжать из них все, что еще можно. Когда мне предоставляется шанс, я его не упускаю. Была распродажа после банкротства, и покупателей на это старье особенно не наблюдалось. Поэтому я и прихватил заводишко — за горсть жареных каштанов. Долго я им не владел — Марк избавил меня от этой головной боли уже через два или три месяца. Конечно, сделка оказалась удачной, а я этого и не скрываю. Ни один деловой воротила не мог бы распорядиться им лучше.

— А завод работал, когда вы купили его?

— Нет. Он уже был закрыт.

— А вы пытались вновь открыть его?

— Только не я. Я человек практичный.

— А не вспомните ли вы имена работавших на нем людей?

— Нет. Никогда не встречался с ними.

— А вы что-нибудь забирали с завода?

— Что ж, отвечу. Я там хорошенько огляделся —

и понравился мне стол старины Джеда. Джеда Старнса, то есть. В свое время он действительно был крупной шишкой. Чудесный стол, из цельного красного дерева. Ну, я и отгрузил его домой. Кроме того, у кого-то из чинов, не знаю, у кого именно, оказалась в ванной комнате шикарная душевая кабинка, какой я еще не видел. Со стеклянной дверкой, а на ней русалка, настоящее произведение искусства, и потом такая соблазнительная, какой даже на картинах не бывает. Вот, значит, и этот душ я тоже перевез сюда. И какого черта… ведь все это принадлежало мне, так ведь? Стало быть, я имел полное право вывезти с завода ценные вещи.

— А после чьего банкротства вы купили завод?

— О, это был великий крах, лопнул *Национальный общественный банк* в Мэдисоне. Боже, вот это был крах! Он едва не прикончил весь штат Висконсин — ну уж, во всяком случае, наш край добил. Некоторые говорят, что этот завод и разорил банк, другие утверждают, что он стал последней каплей в протекавшем ведерке, потому что *Национальный общественный банк* делал вложения в трех или четырех штатах. Возглавлял его Юджин Лоусон. Банкир и подлинно сердечный человек, как его называли. Он был

весьма знаменит в наших краях два или три года назад.

— Значит, это Лоусон управлял заводом?

— Нет. Он просто вложил в него кучу денег, куда больше, чем можно было надеяться извлечь из старой рухляди. И когда завод разорился, это стало последней соломинкой, сломавшей спину Джина Лоусона. Банк загремел через три месяца, — мэр вздохнул. — Это был настоящий удар для здешнего люда. Все они хранили свои сбережения в *Национальном общественном*.

Мэр Баском со скорбью глянул за парапет — на свой городок.

Он ткнул большим пальцем в сторону седовласой уборщицы, которая, тяжело опустившись на колени, оттирала ступени дома.

— Возьмем, например, эту женщину. Солидная была, респектабельная семья. Муж ее держал здесь магазин тканей. Работал всю жизнь, чтобы обеспечить ее старость, и перед смертью добился своей цели — только деньги положил в *Национальный общественный банк*.

— А кто руководил заводом, когда он разорился?

— О, какая-то скороспелая корпорация под названием «*Объединенные услуги*». Воздушный

шарик. Возникла из ничего и исчезлав никуда.

— А где сейчас ее члены?

— А где обрывки воздушного шарика после того, как он лопнет? Ищи их по всем Соединенным Штатам. Попробуй, найди.

— А где Юджин Лоусон?

— Ах этот? С ним все в порядке, нашел себе работу в Вашингтоне — в Бюро экономического планирования и национальных ресурсов.

Поддавшись все-таки эмоциям, Риарден порывисто вскочил, но тут же взял себя в руки и вежливо произнес:

— Благодарю вас за информацию.

— Рад был встрече с вами, мой друг, рад был встрече, — кротко промолвил мэр Баском. — Не знаю, чего вы ищете, но, поверьте моему слову, не стоит трудиться. Из этого завода ничего более не извлечешь.

— Я же сказал вам, что мы ищем старого друга.

— Ну, будь по-вашему. Должно быть, очень хороший друг был, если вы так усердно ищете его с этой очаровательной леди, которая вам явно не жена…

Дагни увидела, как побледнел Риарден, даже губы его побелели:

— Держите за зубами свой грязный… — начал

было он, но Дагни шагнула вперед.

— А почему вы решили, что я ему не жена? — невозмутимо осведомилась она.

Реакция Риардена немало удивила мэра Баскома; реплику свою он произнес не со зла, просто демонстрируя свою проницательность, и как дружескую подначку товарища по греху.

— Леди, я успел многое повидать за свою жизнь, — вполне добродушным тоном проговорил он. — Когда женатые люди глядят друг на друга, в их глазах не читается мысль о постели. В этом мире ты или блюдешь добродетель, или наслаждаешься жизнью. Но того и другого одновременно просто не бывает.

— Я задала ему вопрос, — обратилась она к Риардену, чтобы не дать тому снова вспылить. — И он дал мне вполне разумное объяснение.

— Если хотите совет, леди, — проворчал мэр Баском, — купите себе обручальное кольцо в грошовой лавчонке и носите его. Гарантии не дает, но помогает.

— Спасибо, — ответила она, — до свидания.

В ее подчеркнуто строгом спокойствии крылся приказ, заставивший Риардена последовать за ней к машине.

Когда между ними и городком осталась не одна

миля, не глядя на нее, голосом негромким и полным отчаяния, Риарден произнес:

— Дагни, Дагни, Дагни… мне так жаль!

— А мне нет.

Через несколько мгновений, заметив, что на лице его воцарилось прежнее самообладание, она сказала:

— Никогда не сердись на человека за то, что он сказал правду.

— Именно *эта* правда не имела к нему никакого отношения.

— Его мнение никоим образом нас с тобой не задевает.

Он произнес сквозь зубы, не в качестве ответа, но так, словно терзавшая его мысль невольно превратилась в слова:

— Я не смог защитить тебя от этого мелкого, подлого…

— Я не нуждаюсь в защите.

Риарден промолчал, не взглянув на нее.

— Хэнк, когда ты сможешь забыть про гнев — завтра или на следующей неделе, — вспомни слова этого человека и подумай: быть может, он в чем-то прав?

Он повернулся к ней, однако снова ничего не сказал.

Заговорил Риарден лишь по прошествии долгого времени, усталым и ровным голосом.

— Мы не можем позвонить в Нью-Йорк и вызвать сюда своих инженеров, чтобы обыскать завод. Мы не можем встретиться с ними здесь. Мы не можем признать, что нашли двигатель вместе… Я позабыл обо всем этом… там… в лаборатории.

— Давай я позвоню Эдди, когда мы найдем телефон. Я скажу, чтобы он прислал двоих инженеров из нашей фирмы. Я отдыхаю здесь одна, нахожусь в отпуске — другого они не знают, да им и не положено знать.

Лишь через пару сотен миль они отыскали междугородный телефон. Когда она поздоровалась с Эдди Уиллерсом, тот охнул, услышав ее голос.

— Дагни! Ради бога, где ты сейчас?

— В Висконсине. А что случилось?

— Я не знал, где тебя искать. Возвращайся немедленно. Так быстро, как только сможешь.

— Что-то стряслось?

— Пока ничего. Но начались такие события, что… Тебе лучше немедленно вмешаться, если ты только сумеешь это сделать… Если это вообще возможно.

— Какие события?

— Разве ты не читала газет?

— Нет.

— Я не могу сказать тебе всего по телефону. Не могу тратить время на детали, их слишком много. Дагни, ты скажешь, что я рехнулся, но, по-моему, они планируют убить Колорадо.

— Возвращаюсь немедленно, — проговорила она.

* * *

В граните Манхэттена под вокзалом «*Таггерт*» были пробиты тоннели, использовавшиеся как боковые линии во времена, когда поезда, стуча колесами, разбегались по всем артериям терминала в любой час дня. С годами по мере ослабления движения потребность в них сократилась, заброшенные боковые тоннели превратились в подобие пересохших речных русел, и лишь несколько фонарей еще горело на гранитных сводах над оставленными ржаветь внизу рельсами.

Дагни оставила обломки двигателя в устроенном в одном из тоннелей подвале, некогда использовавшемся для размещения резервного электрического генератора, который уже давным-давно убрали. Она не доверяла никчемным

молодым парням из исследовательского отдела своей фирмы; среди них она могла насчитать только двоих толковых инженеров, способных оценить ее открытие. Поделившись с ними своим секретом, она отправила обоих в Висконсин — обыскивать завод. А потом спрятала двигатель так, чтобы никто не мог заподозрить о его существовании.

После того как рабочие спустили двигатель вниз, в подвал, и отправились восвояси, она собралась было последовать за ними и запереть стальную дверь, но остановилась с ключом в руках, как если бы тишина и одиночество вдруг поставили ее перед проблемой, которая уже давно нависала над ней, как если бы настало время принимать решение.

Служебный автомобиль ожидал ее на одном из путей вокзала, на платформе, присоединенной к поезду, через несколько минут отправлявшемуся в Вашингтон. Дагни договорилась о встрече с Юджином Лоусоном, однако подумала, что отложит ее, да и само предстоящее путешествие, если сможет придумать хоть какую-нибудь форму противостояния тем проблемам, которые обнаружила после возвращения в Нью-Йорк, тем событиям, на борьбу с которыми ее звал

Эдди.

Она лихорадочно соображала, но не могла найти ни образа битвы, ни ее правил, ни оружия. Она ощущала совершенно непривычную для себя беспомощность; ей никогда не было трудно встречать события лицом к лицу и принимать решения, однако сейчас она имела дело не с событиями и не с людьми — с каким-то туманом, не имеющим имени и определения, в котором клубилось, обретая форму, нечто незримое, похожее на некие квазисгустки в вязкой жидкости — словно она вынуждена была смотреть лишь краем глаза и только угадывать очертания надвигающегося несчастья, но не имела возможности обратиться к нему лицом, шевельнуться, сфокусировать взгляд.

Профсоюз машинистов локомотивов требовал, чтобы максимальная скорость всех поездов на ветке «*Линия Джона Голта*» была ограничена шестьюдесятью милями в час. Профсоюз железнодорожных кондукторов и тормозных рабочих считал необходимым сократить длину всех товарных составов на той же ветке до шестидесяти вагонов.

Штаты Вайоминг, Нью-Мексико, Юта и Аризона требовали, чтобы количество поездов, направ-

ленных в Колорадо, не превышало количество составов, проходящих по территории каждого из этих соседних штатов.

Группа, возглавляемая Орреном Бойлем, требовала принятия Закона о гарантии средств к существованию, ограничивающего производство риарден-металла объемом, равным производительности любого сталелитейного завода той же мощности. Группа мистера Моуэна требовала принятия Закона справедливой доли, позволяющего каждому, изъявившему таковое желание потребителю, получать равную долю риарден-металла.

Группа Бертрама Скаддера требовала принятия Закона об общественной стабильности, запрещающего перемещение производств из восточных штатов на новые места.

Уэсли Моуч, Верховный координатор Бюро экономического планирования и национальных ресурсов, то и дело выступал с различными заявлениями, содержание и смысл которых не поддавались никакому разумному толкованию, если не считать того, что словосочетания «экстренные меры» и «несбалансированная экономика» возникали в этих текстах через каждые несколько строк.

— Дагни, по какому праву? — спрашивал ее Эдди Уиллерс голосом спокойным, но тем не менее готовым перейти в крик. — По какому праву они делают всё это? *Откуда* у них это право?

Разговаривая с Джеймсом Таггертом в его кабинете, она сказала:

— Джим, эта битва — твоя. Свою я выиграла. Тебя считают мастером общения с грабителями. Останови их.

Таггерт проговорил, не глядя на нее:

— Неужели ты надеешься управлять национальной экономикой в собственных интересах?

— Я не стремлюсь управлять национальной экономикой! Я хочу, чтобы те, кто правят ею, оставили меня в покое! Для управления мне хватает собственной дороги… кроме того, мне прекрасно известно, что произойдет с вашей национальной экономикой, если моя дорога разорится!

— Я не вижу оснований для паники.

— Джим, неужели мне надо объяснять тебе, что только доход от линии Рио-Норте спасает нас от краха? Что нам необходим каждый полученный с нее цент, оплата за каждый провоз, за каждый отправленный через нас вагон — причем сразу, как только мы получаем эти деньги?

Таггерт промолчал.

— В то время как нам приходится выжимать все возможное из каждого из наших едва живых дизелей, когда нам не хватает локомотивов, чтобы дать Колорадо столько поездов, сколько необходимо, что произойдет, если мы уменьшим скорость и длину поездов?

— Но ведь претензии профсоюзов тоже в чем-то оправданны. Когда одна за другой закрываются железные дороги и люди остаются без работы, они, конечно, начинают считать, что те повышенные скорости, которые ты установила на линии Рио-Норте, ущемляют их интересы, что должно быть больше поездов, чтобы работы хватало на большее число их членов, они считают, что мы несправедливым образом воспользовались привилегиями, которые предоставляют новые рельсы. И они хотят получить свою долю.

— Свою долю? Долю чего и за что?

Таггерт молчал.

— На кого лягут расходы, когда два поезда заменят один?

Таггерт молчал.

— Откуда ты возьмешь вагоны и локомотивы?

Таггерт молчал.

— И что намереваются делать эти люди после того, как разделаются с «*Таггерт Трансконти-*

нентал»?

— Я намереваюсь в полной мере защитить интересы «*Таггерт Трансконтинентал*».

— Каким образом?

Таггерт молчал.

— Каким образом… если ты убьешь Колорадо?

— На мой взгляд, прежде чем предоставлять людям возможность расширить свое производство, следует позаботиться о тех, кто не имеет возможности попросту выжить.

— Если вы убьете Колорадо, что останется для того, чтобы могли выжить любимые тобой грабители?

— Ты всегда протестовала против любой прогрессивной социально-направленной меры. Помню, как ты предсказывала несчастье, когда мы приняли *Правило против хищнической конкуренции*, однако твоя катастрофа так и не разразилась.

— Потому что я спасла вас, идиот ты несчастный! Но на этот раз я не сумею этого сделать!

Не глядя на сестру, Джеймс пожал плечами.

— И кто сможет вас спасти, если *я* не сумею этого сделать?

Он опять промолчал.

Здесь, под землей, сценка казалась ей нереаль-

ной. Размышляя на эту тему, Дагни понимала, что не способна участвовать в битве Джима. Не было такого средства, которое она могла бы использовать против людей, не имеющих конкретной логики действий, провозглашенных во всеуслышанье мотивов, конкретных побуждений, четкой и строгой морали. Ей было нечего сказать им — такого, что они могли бы услышать, на что могли бы дать ответ. Что может послужить оружием там, где сам разум уже бессилен? В этот край она ступить не могла. Ей приходилось оставлять эту область Джиму и рассчитывать на его личную заинтересованность. Тем не менее Дагни ощущала легкий холодок от мысли, что личный интерес как раз и не является мотивом, определяющим поведение Джима.

Дагни посмотрела на предмет перед собой — стеклянный колпак, под которым покоились остатки двигателя. «*Человек, создавший этот двигатель…*» — вдруг вспомнила она; мысль эта явилась к Дагни криком отчаяния. На мгновение она загорелась беспомощным желанием отыскать его, прислониться к нему и позволить ему делать с собой все, что ему заблагорассудится. Ум такого масштаба должен знать, как выиграть эту битву.

Она огляделась по сторонам. В этом лишенном всего наносного, чистом и рациональном мире подземных тоннелей не было ничего столь же важного и срочного, как поиски человека, создавшего мотор. Дагни думала: стоит ли откладывать эти поиски ради споров с Орреном Бойлем?.. Ради попыток уговорить мистера Моуэна?.. Ради словесного состязания с Бертрамом Скаддером? Она видела перед собой этот двигатель в его завершенном виде поставленным на локомотив, который потянет по колее из риарден-металла состав в две сотни вагонов со скоростью двести миль в час. И если такая перспектива реальна, если она находится в пределах ее досягаемости, неужели она должна отказываться от нее и тратить свое время на рассуждения о шести десятках миль в час и таком же количестве вагонов? Дагни не могла снизойти до бытия, где сам мозг ее разлетится на части, когда его заставят ни в коем случае не обгонять посредственности. Она просто не могла существовать согласно жизненному правилу: молчи и не рыпайся, сиди тихо и не лезь из шкуры вон — стараться сделать лучше не надо, этого никто от тебя не ждет!

Решительно повернувшись, Дагни вышла из подвала, направляясь к поезду на Вашингтон.

Когда она запирала стальную дверь, ей показалось, что вдалеке раздаются отзвуки чьих-то шагов. Дагни попыталась вглядеться в темный изгиб тоннеля. Она никого не заметила; лишь цепочка голубых огоньков поблескивала на сырых гранитных стенах.

* * *

Риарден не мог сражаться с требовавшими правосудия бандами. Приходилось выбирать: или биться с ними, или поддерживать завод на плаву. Он израсходовал весь свой запас железной руды. И ему приходилось выбирать: заниматься либо одним, либо другим. Совмещать оба удовольствия у него просто не было ни времени, ни желания, ни сил.

По возвращении он обнаружил, что плановая партия руды не была получена. От Ларкина не было никаких объяснений — ни слова. Получив приглашение в кабинет Риардена, Ларкин явился через три дня после назначенного времени, даже не извинившись. Не глядя на Риардена, он буркнул с выражением оскорбленного достоинства:

— В конце концов ты не вправе приказывать людям являться к тебе по первому зову.

Риарден ответил неторопливо, чеканя каждое слово:

— Почему руда до сих пор не поставлена?

— А я-то здесь причем? И слушать ничего не стану, здесь моей вины нет. Я могу управлять рудником не хуже тебя, ничем не хуже, я делал все, что делал и ты, но я не знаю, почему все время что-то складывается не так. Я не могу отвечать за непредвиденное стечение обстоятельств.

— Кому ты отправил руду в прошлом месяце?

— Я намеревался отправить тебе твою долю, самым серьезным образом намеревался, но что мне оставалось делать, если мы потеряли десять рабочих дней из-за ливня на всем севере Миннесоты — я *хотел* отправить тебе руду, и поэтому ты не вправе обвинять меня, мои намерения были совершенно искренними.

— Если мне придется остановить одну из моих доменных печей, можно ее будет загрузить твоими намерениями?

— Вот поэтому никто не хочет иметь с тобой дела, даже разговаривать! В тебе нет ничего человеческого!

— Я узнал, что последние три месяца ты отправляешь руду не по воде, озерными баржами, а по железной дороге. Почему?

— Ну, в конце концов, я имею право вести свое дело так, как считаю нужным.

— Почему ты считаешь возможным идти на дополнительные расходы?

— Какая тебе разница? Я же не возлагаю их на тебя.

— Что ты будешь делать, когда окажется, что цены железной дороги тебе больше не по карману, а озерное судоходство ты загубил собственными руками?

— Не сомневаюсь, что иных соображений, кроме своих долларов и центов, ты просто не в состоянии понять, однако некоторым людям приходится считаться со своим общественным и патриотическим долгом.

— Каким долгом?

— Хорошо, я полагаю, что такая железная дорога, как «*Таггерт Трансконтинентал*» играет существенную роль в обеспечении благосостояния страны, и вижу свой долг перед обществом в том, чтобы помочь Джиму удержать на плаву его убыточную ветку в Миннесоте.

Риарден наклонился над столом; он начинал видеть звенья последовательности, которой раньше не понимал.

— Итак, кому ты продал руду в прошлом меся-

це? — ровным тоном повторил он.

— Ну, в конце концов, это мое личное дело, которое…

— Оррену Бойлю, так ведь?

— Ты не имеешь права ожидать, что люди принесут всю сталелитейную промышленность страны в жертву твоим эгоистическим интересам и…

— Убирайся отсюда, — совершенно бесстрастно молвил Риарден. Вся цепочка теперь была перед ним, как на ладони.

— Ты неправильно понял меня, я не хотел…

— Убирайся.

Ларкин убрался.

А затем начались дни и ночи прочесывания всего континента с помощью телефона, телеграфа, самолета — обследование заброшенных рудников и шахт, стоящих на грани банкротства; напряженные, скорые переговоры за столиками в темных уголках не пользующихся хорошей репутацией ресторанов. Глядя через столик на собеседника, Риарден должен был решить, какими деньгами он может рискнуть в данном случае, полагаясь единственно на его лицо, его манеру держаться и говорить, ненавидя обстоятельства, заставляющие надеяться только на честность

как на подарок, и все же идя на риск, отдавая деньги в неизвестные руки в обмен на ничем не подкрепленные обещания, передавая нигде не зарегистрированные суммы подставным владельцам разорившихся рудников — суммы, вручавшиеся и принимавшиеся украдкой, словно между преступниками; анонимные суммы, вкладывавшиеся в ненадежные контракты, когда обе стороны понимали, что в случае обмана наказан будет обманутый, а не жулик и вор, суммы, отданные для того, чтобы поток руды втекал и втекал в печи, чтобы те изливали ручьи добела раскаленного металла.

— Мистер Риарден, — спросил коммерческий директор его собственного завода, — если такое положение продлится, куда уйдет ваш доход?

— Возьмем тоннажем, — ответил Риарден усталым голосом. — Мы располагаем неограниченным рынком для риарден-металла.

Коммерческий директор, человек пожилой, седеющий и сухой, обладал сердцем, которое, по словам людей, было исключительным образом предано делу выжимания максимального дохода с каждого пенни. Он стоял перед столом Риардена, молча, обратив к хозяину холодный, мрачный взгляд. Более глубокой симпатии,

чем в этих глазах, Риардену еще не приходилось видеть.

«Другого пути мне не осталось», — думал Риарден, как думал уже дни и ночи напролет. Он не умел жить иначе, чем платить за то, что было ему нужно, давать цену за цену, не просить ничего у природы, не расплатившись с ней своими усилиями, не просить ничего у людей, не расплатившись с ними своим трудом. «Где взять другое оружие, — думал он, — если стоимость перестала быть им?»

— Неограниченный рынок, мистер Риарден? — сухо переспросил коммерческий директор.

Риарден посмотрел на него.

— Наверно, мне уже не хватает ума, чтобы заключать сделки в той манере, которая необходима сегодня, — произнес он, отвечая на невысказанный, повисший над столом вопрос.

Коммерческий директор покачал головой:

— Нет, мистер Риарден, или так, или иначе. Один и тот же мозг не способен на то и другое одновременно. Либо вы умело управляете своим предприятием, либо мастерски обиваете пороги в Вашингтоне.

— Может быть, мне следует изучить их метод.

— Вы не способны усвоить его, и такие *изучения*

не принесут вам ничего хорошего. Вы не можете победить в подобном деле. Разве вы не понимаете? У вас есть нечто такое, что можно отнять.

Оставшись в одиночестве, Риарден ощутил очередной укол бешенства, уже не первый — болезненный, острый и внезапный, подобный удару электрического тока… гнев, пришедший с окончательным осознанием того, что нельзя вести дела с чистым злом, злом нагим, ничем не прикрытым, у которого нет права на бытие и которое даже не ищет оправдания своему существованию. И в тот миг, когда Риардена охватило желание сражаться и убивать во имя праведного дела самозащиты, он вдруг увидел перед собой полную, ухмыляющуюся физиономию мэра Баскома и услышал его тягучий голос: «*…с этой очаровательной леди, которая вам не жена*».

И исчезла причина для праведного гнева, и боль возмущения превратилась в боль постыдной покорности. У меня нет права на осуждение, думал Риарден, нет права на обвинение, нет права на гордую смерть в бою, под покровом добродетели. Нарушенные обеты, невысказанные желания, измена, предательство, ложь, обман — все это лежит на моей совести. Так какую же разновидность падения *вправе* я осудить?

Что толку рассуждать о степени падения, думал он; кто торгуется, чтобы числить за собой на дюйм-другой меньше зла?

Поникнув за своим рабочим столом, размышляя о чести, на которую он потерял право претендовать, об утраченном навсегда чувстве справедливости, Риарден не подозревал, что именно непреклонная честность и не знающее упрека чувство справедливости выбивали теперь единственное оружие из его рук. Он будет сопротивляться грабителям, но гнев и пламя погасли в душе. Он будет сражаться, но только как виноватый, как негодяй, с другими негодяями. Он не произносил этих слов, их твердила его боль, жуткая, уродливая: «Кто я такой, чтобы первым бросить камень?»

Чувствуя себя все хуже и хуже, он привалился к столу… *Дагни, Дагни, если я должен платить за тебя такую цену, я ее заплачу…* Торговец до мозга костей, он не знал другого закона, кроме оплаты сполна всех своих желаний.

Он вернулся домой поздно и бесшумно поднялся в спальню. Риарден ненавидел себя за то, что вынужден действовать украдкой, однако так он поступал день за днем уже несколько месяцев. Вид членов семьи стал для него невыносим, и он

не понимал причины. Не следует ненавидеть их за свою собственную вину, корил он себя, прекрасно понимая при этом, что ненависть его коренится совсем в другом.

Риарден бесшумно прикрыл за собой дверь — словно беглец, пытающийся выкроить мгновение отдыха. Так же осторожно он раздевался, готовясь ко сну: ему не хотелось выдавать свое присутствие родственникам, не хотелось никакого общения с ними — даже опосредованного, даже того, чтобы они просто *слышали* его присутствие.

Риарден надел пижаму и замер на месте, раскуривая сигарету, когда дверь его спальни отворилась. Единственная особа, имевшая право войти к нему без стука, никогда этим своим правом не пользовалась, и поэтому он несколько мгновений недоуменно рассматривал возникшую на пороге фигуру, не в силах поверить, что перед ним Лилиан.

На ней было одеяние в стиле ампир цвета бледного шартреза, плиссированная юбка изящными складками ниспадала от высокой талии; при первом взгляде нельзя было сказать, что это: вечернее платье или ночная сорочка… нет, все-таки, сорочка.

Она замерла в двери, свет очертил соблазнительные контуры тела.

— Конечно, не следует первой представляться незнакомцам, — сказал она негромко, — однако мне приходится это делать: меня зовут миссис Риарден.

Он не понял, сарказм звучал в ее голосе или просьба.

Войдя, Лилиан закрыла за собой дверь непринужденным, властным жестом, жестом хозяйки.

— В чем дело, Лилиан? — спокойно спросил он.

— Дорогой мой, не следует признавать столь много и столь откровенно, — она лениво прошествовала по комнате мимо его постели и опустилась в кресло. — Причем достаточно нелестным для меня образом. То есть давать понять, что у меня должен быть особый повод претендовать на твое время. Неужели я должна записываться на прием через секретаршу?

Стоя посреди комнаты с сигаретой в зубах, Риарден смотрел на жену. Он не желал ничего отвечать.

Она рассмеялась.

— Причина моя столь необычна, что тебе она никогда не пришла бы в голову, дорогой. Не соизволишь ли ты швырнуть несколько

крох своего драгоценного внимания нищенке? Не позволишь ли остаться здесь без какой-то официальной причины?

— Конечно, — проговорил он, — оставайся, если хочешь.

— Я не могу предложить тебе весомой темы — ни заказа на миллион долларов, ни сделки с «*Трансконтинентал*», ни рельсов, ни мостов. Даже сплетен о политической ситуации. Я просто хочу по-женски поболтать о совершенно несущественных вещах.

— Действуй.

— Генри, разве есть более действенный способ заткнуть мне рот, а? — проговорила она с беспомощной, трогательной искренностью. — Ну что я могу сказать после этого? Что, если я хотела рассказать тебе о том новом романе, который пишет Бальф Юбэнк — он обещал посвятить его мне, — но разве это тебя заинтересует?

— Если хочешь услышать правду — ни в коей мере.

Лилиан рассмеялась.

— А что, если я не хочу слышать от тебя правду?

— Тогда я не знаю, что тебе и сказать, — проговорил Риарден, почувствовав резкий, словно

удар, прилив крови к мозгу, рожденный двойным бесчестьем лжи, произнесенной искренне; эта искренность подразумевала скрытность, желание оградить себя от постороннего вмешательства в его жизнь, на что он больше не имел права.

— Зачем же тебе неправда? — спросил он. — Чего ради?

— Видишь ли, дело в жестокости правдивых людей. Ты бы не понял меня — или все-таки понял бы? — если бы я сказала тебе, что подлинная преданность включает в себя готовность лгать, обманывать, мошенничать — лишь бы сделать другого счастливым, лишь бы создать для него ту реальность, которую он ищет, если ему не нравится существующая.

— Нет, — неторопливо проговорил он, — мне это непонятно.

— На самом деле все очень просто. Если ты говоришь красавице, что она прекрасна, что ты ей даешь? Это всего лишь факт, и констатация его тебе ничего не стоит. Но когда ты превозносишь красоту дурнушки, то приносишь ей жертву, низводя понятие красоты. Любить женщину за добродетель бессмысленно. Она заслужила поклонение, и оно — плата, а не дар. Но истинный дар бывает, когда женщину любят за пороки, ко-

гда любовь не заслужена ею. Любить ее за пороки значит презирать ради нее всякую добродетель — и в этом истинное проявление любви, потому что в жертву приносятся твоя совесть, разум, честность и твое бесценное самоуважение.

Риарден смотрел на нее, не веря себе. Столь чудовищная хула не позволяла допустить, что человек действительно может так думать; он только пытался понять, зачем ей понадобилось все это говорить.

— Но что такое любовь, дорогой, как не самопожертвование? — непринужденным тоном осведомилась Лилиан, словно бы продолжая салонную беседу. — И что такое самопожертвование, если в жертву приносится не самое драгоценное и важное? Но я сомневаюсь, что ты можешь понять меня. Ты у нас пуританин, стойкий, как твоя нержавеющая сталь. И потому наделен колоссальным, положенным пуританину эгоизмом. Ты готов отдать на погибель весь мир, но только не допустить появления на своей безупречной личности малейшего пятнышка, способного стать причиной твоего стыда.

Риарден ответил неторопливо, непривычно напряженным и серьезным тоном:

— Я никогда не претендовал на безупречность.

Лилиан опять рассмеялась:

— А какой же ты сейчас? Ты ведь говоришь мне правду, не так ли. — она повела нагими плечами. — Ах, дорогой, не принимай мои слова всерьез! Я просто болтаю.

Риарден ткнул сигарету в пепельницу и не стал отвечать.

— Дорогой, — проговорила Лилиан, — на самом деле я пришла сюда только потому, что подумала: «ведь у меня был муж!» И мне захотелось вспомнить, как он выглядит.

Она посмотрела на него: Риарден стоял в другом конце комнаты, высокий, стройный, очертания мускулистого тела подчеркивала темно-синяя пижама.

— Ты сделался очень привлекательным, — проговорила она. — И последние месяцы выглядишь много лучше. Моложе. Может быть, даже счастливее? Во всяком случае, не таким напряженным. О, я знаю, что хлопот у тебя теперь больше, чем когда-либо; теперь ты больше похож на командира бомбардировщика во время воздушного налета, но это всего лишь внешнее. Ты стал менее скованным — внутри.

Риарден с удивлением посмотрел на Лилиан. Это было правдой; сам он не замечал измене-

ний в себе, не признавался в них перед собой. Оставалось только удивляться точности ее наблюдений.

За последние несколько месяцев она редко видела мужа. Риарден не заходил в ее спальню после возвращения из Колорадо. Он полагал, что Лилиан будет рада взаимной изоляции. Теперь же он мог только гадать, какой мотив сделал ее столь чувствительной к переменам в нем, если только это не было чувство, куда более глубокое, чем он в ней подозревал.

— Я не замечал, — ответил он.

— Тебе это идет, дорогой… но и удивляет, потому что ты переживаешь такие тяжелые времена.

Не вопрос ли это, подумал Риарден. Лилиан сделала паузу, как бы ожидая ответа, однако не стала настаивать на нем и бодрым тоном продолжила:

— Я знаю, что у тебя сейчас всякие неприятности с заводом… и политическая ситуация стала совсем зловещей, правда? Если они примут те законы, о которых кругом говорят, тебе придется совсем трудно?

— Да. Придется. Но ведь эта тема ни в коей мере не интересует тебя, Лилиан, так ведь?

— О, нет, ты не прав! — подняв голову, Лилиан посмотрела Риардену прямо в глаза; ее взгляд за-

волокла знакомая ему дымка, полная напускной таинственности и уверенности в его неспособности сквозь нее пробиться. — Эта тема меня живо интересует… хотя и не из-за возможных финансовых потерь, — добавила она негромко.

И Риарден впервые задумался о том, что ее недоброжелательство, сарказм, трусливая манера наносить оскорбления под прикрытием улыбки, возможно, представляют полную противоположность тому, за что он их всегда принимал… что это не способ причинить ему боль, но извращенная форма отчаяния, рожденная не желанием заставить его страдать, а признанием в *своей* боли, оскорбленной гордостью нелюбимой жены, тайной мольбой… и что все эти тонкости и намеки, уклончивость и просьба понять выражают не открытое озлобление, но скрытую любовь. Мысль эта заставила его онеметь. Она делала его вину куда большей, чем он предполагал.

— Кстати, о политике, Генри, мне пришла в голову интересная мысль. Та сторона, которую ты представляешь… каким лозунгом вы пользуетесь так часто, ну, тот ваш девиз? «Святость контракта» — кажется, так?

Лилиан заметила его быстрый взгляд, глаза, ставшие вдруг болезненно внимательными,

блеснувшую в них настороженность, и громко рассмеялась.

— Продолжай, — произнес он негромко; в голосе его звучала угроза.

— Для чего, дорогой мой? Ты меня прекрасно понял.

— Так что ты хотела сказать? — резкий тон вопроса не был скрашен ни малейшим сочувствием.

— И ты действительно хочешь заставить меня унизиться до жалоб? Тривиальных и обыденных жалоб?.. А я-то думала, что мой муж гордится тем, что ставит себя выше обыкновенных людей. Ты хочешь, чтобы я напомнила тебе о том, что некогда ты поклялся сделать целью своей жизни мое счастье? А можешь ли ты честно и откровенно сказать, счастлива я или нет, ведь тебя не интересует даже сам факт моего существования!

Буря эмоций, причиняя воистину физическую боль, разом обрушилась на Риардена. Слова жены были мольбой о пощаде, и он почувствовал приток темной, жаркой вины. Да, он испытывал жалость — но холодную, уродливую, лишенную сострадания. Его охватил мутный гнев; голос, которому он пытался не дать воли, кри-

чал с отвращением: «*Почему я должен слушать эту гнилую, коварную ложь? Зачем мне эти мучения — жалости ради? Зачем мне влачить безнадежное бремя, беря на себя тяжесть чувства, которого она не хочет признать, которого я не могу понять, осознать, даже попытаться оценить в какой-то мере? Если она любит меня, то почему проклятая трусиха не может сказать об этом открыто, поставить нас обоих перед фактом?*» Но другой, более громкий голос невозмутимо напоминал: «*Не перекладывай вину на нее, это старый трюк всех трусов — ты виноват, и неважно, что она делает, это ничто в сравнении с твоей собственной виной… и тошно тебе (правда, тошно?) оттого, что она права, и ты знаешь это. Так что можешь кривиться себе на здоровье, проклятый прелюбодей, права-то она!*»

— И что же сделает тебя, Лилиан, счастливой? — спросил Риарден, стараясь казаться бесстрастным.

Лилиан, улыбнувшись, свободно откинулась на спинку кресла; она внимательно вглядывалась в его лицо.

— Ах, дорогой мой! — проговорила она с легкой досадой и удивлением. — Это вопрос, достойный

дельца. Уловка. Пункт договора, освобождающий от ответственности, — поднявшись, она уронила руки в полном беспомощности, но изящном жесте. — Что могло бы сделать меня счастливой, Генри? Это должен был сказать мне ты. Ты должен был научить меня этому. Я не знаю. Это ты должен был создать мое счастье и подарить его мне. Это было твоим долгом, обязательством, ответственностью. Однако ты не единственный мужчина в этом мире, не выполнивший своего обещания. Среди всех прочих долгов, от этого отречься проще всего. О, ты никогда не запоздаешь с платежом за отгруженную тебе партию руды. Но когда речь идет о жизни…

Лилиан принялась непринужденно расхаживать по комнате, желто-зеленые складки юбки длинными волнами колыхались вокруг ее ног.

— …Я понимаю, все подобные претензии непрактичны, — продолжила она. — В отношениях с тобой у меня нет залога, нет поручительства, нет никаких пушек и цепей. У меня нет никакой власти над тобой, Генри — нет ни в чем, кроме твоей чести.

Риарден смотрел на нее, прилагая все силы, чтобы не отрывать глаз от ее лица, чтобы видеть ее… чтобы выносить это зрелище.

— Чего же ты хочешь? — спросил он.

— Дорогой, на свете существует столько вещей, которые ты должен понимать сам, если тебе действительно хочется знать, чего я хочу. Например, если ты так откровенно избегаешь меня несколько месяцев, разве мне не интересно знать причину?

— Я был крайне занят.

Лилиан пожала плечами.

— Жена рассчитывает быть главной заботой своего мужа. Я не знала, что когда ты клялся оказаться от всех остальных, твое обещание не относилось к доменным печам.

Лилиан подошла к Риардену и с растерянной улыбкой, удивившей не только его, но и, похоже, ее саму, обняла мужа.

Быстрым, инстинктивным, порывистым движением юного жениха, уклоняющегося от непрошеного соприкосновения со шлюхой, Риарден вырвался из объятий и оттолкнул Лилиан в сторону.

Оттолкнул и замер, парализованный жестокостью своего поступка.

Она смотрела на него полными потрясения глазами, в которых не осталось тайн, не осталось ни претензий, ни защиты; на что бы Лилиан

ни рассчитывала, *такой* реакции она не ожидала.

— Прости меня, Лилиан… — негромко вымолвил он голосом, полным искренности и страдания.

Она не ответила.

— Прости… наверно, я слишком устал, — через силу добавил Риарден; его уничтожала уже тройная ложь, одну из частей которой составляла невыносимая для него неверность — но не в отношении Лилиан.

Она коротко усмехнулась:

— Что ж, если твоя работа сказывается на тебе таким образом, возможно, это даже к лучшему. Прости меня, я просто попыталась исполнить свой долг. Я считала тебя сенсуалистом, неспособным возвыситься над инстинктами обитающего в канаве животного. Но я не из тех шлюх, которые привыкли возиться в грязи.

Лилиан отмеривала слова сухим, рассеянным тоном, совершенно не думая о них. В лихорадочной попытке отыскать нужный ответ, все ее мысли превратились в один большой вопросительный знак.

Но ее слова заставили Риардена повернуться к ней, посмотреть прямо и просто в глаза, более

не задумываясь об обороне.

— Лилиан, чего ради ты живешь? — спросил он.

— Какой грубый вопрос! Просвещенный человек никогда не задаст его.

— Хорошо, так зачем, собственно, живут просвещенные люди?

— Возможно, они просто не пытаются ничего сделать. В этом их просвещение.

— Но на что они расходуют свое время?

— Уж, безусловно, не на изготовление водопроводных труб.

— Скажи, зачем тебе постоянно нужны эти уколы? Я знаю, что к изготовлению водопроводных труб ты относишься с презрением. Ты достаточно давно дала мне это понять. Твое презрение для меня ничего не значит. Но зачем ты все время повторяешь одно и то же?

Риарден искренне удивился тому, что его отповедь попала в цель; он не понимал, как это произошло, однако мог судить о результате по лицу Лилиан. И еще Риарден подумал, что все сказанное им — безусловная правда.

Лилиан сухо ответила:

— К чему этот внезапный допрос?

Риарден ответил безо всяких ухищрений:

— Мне бы хотелось знать, есть ли на свете нечто такое, чего ты действительно хочешь. Если есть, я готов предоставить тебе это, если подобное, конечно, в моих силах.

— Ты собираешься купить мое желание? Только это ты и умеешь — платить за вещи. Хочешь легко отделаться? Нет, все не так просто, как тебе кажется. То, чего я хочу, не имеет материальной природы.

— Что же это?

— Ты.

— И как ты *сама* понимаешь свои слова, Лилиан? Надеюсь, не в животном смысле?

— Нет, не в животном смысле.

— И как же тогда?

Лилиан уже стояла у двери, повернувшись к нему; она подняла голову, посмотрела на него и холодно улыбнулась.

— Ты этого не поймешь, — сказала она и вышла.

Ему осталось мучиться ясным сознанием того, что Лилиан никогда не захочет оставить его, что он никогда не получит права расстаться с ней, что он в долгу перед ней за ее, хоть и извращенную, симпатию и должен уважать ее чувство, которое не может понять и на кото-

рое не в состоянии ответить взаимностью… не испытывая к ней ничего, кроме презрения, полного, не требующего рассуждений, невосприимчивого к жалости, укоризне, собственным призывам к справедливости… Но что труднее всего — сознанием мерзкого, липкого отвращения к собственному приговору, требовавшему, чтобы он считал себя ниже той женщины, которую презирал.

А потом все эти мысли утратили для него значение, отступили в какую-то даль. Осталась только решимость вынести все, что угодно…

Риарден был одновременно и напряжен, и спокоен — лежа в постели, прижав лицо к подушке, он думал о Дагни, о ее стройном, чувственном теле, трепещущем под прикосновениями его пальцев. Он пожалел, что ее нет сейчас в Нью-Йорке. Иначе он отправился бы к ней немедленно, прямо посреди ночи.

* * *

Юджин Лоусон восседал за своим столом, как перед приборной панелью бомбардировщика, несущегося над континентом. Однако временами он забывал об этом, мышцы его расслаблялись, словно весь мир не мог быть для него

достойным противником. Только лишь большой слабый рот противоречил его самоуверенному облику; он неприятно выдавался на сухой физиономии, привлекая взор собеседника: когда Лоусон открывал его, движение начиналось от оттопыренной нижней губы, которая после еще какое-то время колыхалась, живя по собственным законам.

— Я не стыжусь этого, — сказал Юджин Лоусон. — Мисс Таггерт, я хочу, чтобы вы поняли: я совершенно не стыжусь своей былой карьеры, не стыжусь и того, что был президентом *Национального общественного банка* Мэдисона.

— Я не упоминала про стыд, — холодным тоном промолвила Дагни.

— На мне нет никакой вины, поскольку я и сам потерял все свое состояние, когда банк лопнул. Мне кажется, такая жертва многое оправдывает.

— Я просто хотела задать вам несколько вопросов относительно моторостроительной компании *«Двадцатый век»*, которая…

— Я с радостью отвечу на любые вопросы. Мне нечего скрывать. Совесть моя чиста. И, предполагая, что тема эта может смутить меня, вы ошибаетесь.

— Я хотела узнать о людях, которым завод

принадлежал в то время, когда вы делали вложения…

— Это были хорошие люди… идеальные. С гарантией от всякого риска — впрочем, конечно, я говорю о них как о людях, хотя и пользуюсь иногда финансовой терминологией, чего люди, впрочем, привыкли ожидать от банкиров. Я предоставил им деньги на приобретение того завода, потому что деньги им были нужны. Мне было достаточно того, что людям нужны были деньги. Для меня главной была их нужда, а не собственная жадность, мисс Таггерт. Нужда, а не жадность. Мои дед и отец создали *Национальный общественный банк* для того, чтобы сколотить собственное состояние. Я поставил их деньги на службу более высокому идеалу. Я не сидел на мешках со своим золотом и не требовал поручительств от бедных людей, нуждавшихся в займе. Сердце было моим поручителем. Конечно, я не рассчитывал на то, что в этой грубой материалистичной стране кто-то поймет меня. Наградой для меня, мисс Таггерт, было то, чего не ценят люди вашего класса. Посетители, садившиеся перед моим рабочим столом в банке, держались не так, как это делаете вы, мисс Таггерт. Это были люди смиренные, неуверенные

в себе, измученные заботами, робкие. И моей наградой были слезы благодарности в их глазах, их дрожащие голоса, благословения… помню женщину, поцеловавшую мне руку, когда я предоставил ей ссуду, которую она напрасно просила в других местах.

— Не окажете ли вы любезность, сообщив мне имена людей, владевших моторостроительным заводом?

— О, этот завод был ключевым для всего региона, именно ключевым. И я совершенно справедливо предоставил им кредит. Он дал работу тысячам людей, не имевшим других средств к существованию.

— Знали ли вы кого-нибудь из людей, работавших на заводе?

— Безусловно. Я знал их всех. Меня интересовали люди, а не машины… человеческая, а не финансовая сторона промышленности.

Дагни наклонилась над столом.

— А вы были знакомы с кем-нибудь из работавших там инженеров?

— Инженеров? О, нет. Для этого я был слишком демократичен. Меня интересовали лишь настоящие рабочие люди. Простые люди. И все они знали меня в лицо. Бывало, захожу в лавку,

а они узнают меня и окликают: «Привет, Джин». Так они и звали меня — Джин. Однако не сомневаюсь в том, что все это не представляет для вас никакого интереса. Все уже давно быльем поросло. Ну а теперь, если вы приехали в Вашингтон потолковать со мной о своей железной дороге, — он резко распрямился, вновь приняв позу пилота бомбардировщика, — не знаю, могу ли я пообещать вам *особое* внимание, поскольку вынужден ставить благосостояние нации выше любых частных привилегий и интересов, которые…

— Я приехала не для того, чтобы говорить с вами о моей железной дороге, — с легким раздражением ответила Дагни. — Я не имею никакого желания беседовать с вами на эту тему.

— В самом деле? — в его голосе промелькнуло разочарование.

— В самом деле. Меня интересует информация о моторостроительном заводе. Можете ли вы назвать мне имена кого-нибудь из работавших там инженеров?

— Едва ли их имена когда-либо интересовали меня. Чиновные и ученые паразиты никогда меня не интересовали. Я занимался только настоящими рабочими — людьми с мозолистыми руками, благодаря которым работал этот завод.

Они были моими друзьями.

— Не назовете ли вы тогда несколько имен? Любых, принадлежавших работавшим там простым людям?

— Моя дорогая мисс Таггерт, это было так давно, их были тысячи, как же я могу помнить их?

— Но, может быть, вы припомните хотя бы одно?

— Едва ли. Мою жизнь всегда наполняло столько людей, что я просто не могу вспомнить отдельные капли в этом людском океане.

— Вы были знакомы с продукцией завода? С теми двигателями, которые они производили или намеревались производить?

— Конечно. Я всегда проявлял личный интерес ко всем моим вложениям. Я часто отправлялся на завод с инспекцией. Дела там шли чрезвычайно хорошо. Они буквально творили чудеса. Условия жизни рабочих были лучшими в стране. На каждом окне я видел кружевные занавески, на каждом подоконнике — цветы. У каждого дома был участок земли для сада. Они построили новую школу для своих детей.

— А вам что-либо известно о работе научно-исследовательской лаборатории завода?

— Да-да, у них была исключительно хоро-

шая исследовательская лаборатория, очень прогрессивная, очень динамичная, видевшая перспективу, имевшая замечательные планы.

— А вы… не помните ли чего-нибудь… о планах производства нового типа двигателя на этом заводе?

— Двигателя? Какого двигателя, мисс Таггерт? У меня не было времени входить в подробности. Я был нацелен на социальный прогресс, всеобщее процветание, братские отношения и любовь между людьми. Любовь между людьми, мисс Таггерт. В ней ключ ко всему. Если люди научатся любить друг друга, это поможет им разрешить все проблемы.

Дагни отвернулась, не имея более сил выносить шевеления этих мокрых губ.

На пьедестале в углу кабинета лежал кусок камня с высеченными на нем египетскими иероглифами… в нише неподалеку расправила шесть паучьих рук индийская богиня… на стене висела невероятной сложности математическая диаграмма — нечто вроде прейскуранта магазина «Заказы почтой».

— Поэтому, если вас заботит собственная железная дорога, мисс Таггерт — в чем я, естественно, не сомневаюсь, — в связи с некоторыми возмож-

ными событиями, должен откровенно сказать, что хотя первой моей заботой, бесспорно, является благосостояние страны, ради которого я не колеблясь пожертвую чьими угодно доходами, я тем не менее никогда не закрывал ушей для просьб о пощаде и…

Посмотрев на Лоусона, Дагни поняла, что именно этого он и ждет от нее, вне зависимости от конкретного мотива, которым руководствовался в данный момент.

— Я не намереваюсь обсуждать дела моей железной дороги, — повторила она, стараясь сохранять ровный тон, хотя ей уже хотелось кричать от отвращения. — Если у вас есть *особое* мнение на эту тему, прошу вас высказать его моему брату, мистеру Джеймсу Таггерту.

— Мне кажется, что в такие времена вам не стоило бы упускать редкую возможность изложить свою позицию перед…

— Не сохранилось ли у вас каких-нибудь материалов, имеющих отношение к этому заводу?

Дагни сидела, выпрямив спину, крепко сжав кулаки.

— Какие там еще материалы? Кажется, я уже говорил вам, что лишился своего состояния, когда банк разорился, — Лоусон расслабился, он утра-

тил интерес к разговору. — Но мне не жаль этого. Я потерял всего лишь материальные блага. Не я первым в истории пострадал за идею. Меня погубили эгоизм и жадность окружавших меня людей. Я не мог установить братство и любовь всего в одном небольшом штате, окруженном целым народом, ищущим своей выгоды и мечтающим хапнуть лишний доллар. Это не было моей виной. Но я не позволил им победить меня. Я не из тех, кого можно остановить. Я борюсь — в широком масштабе — за право служить своим собратьям-людям. Вы говорите, материалы, мисс Таггерт? Свои материалы, память о себе, покинув Мэдисон, я оставил в сердцах бедняков, прежде не имевших ни единого шанса.

Дагни не хотела говорить ничего лишнего, но не могла сдержаться: в ее памяти с убийственной четкостью всплыла фигура старой уборщицы, оттиравшей ступени.

— А вам доводилось видеть тот край таким, каким он стал теперь? — спросила она.

— В этом нет моей вины! — воскликнул он. — В этом виноваты богачи, вцепившиеся в свои деньги и не пожелавшие пожертвовать ими, чтобы спасти мой банк и народ Висконсина! Вам не в чем винить меня! Я потерял все!

— Мистер Лоусон, — заставила себя произнести Дагни, — быть может, вы сумеете вспомнить хотя бы имя человека, который возглавлял корпорацию, владевшую этим заводом? Корпорацию, которой вы одалживали деньги. Она называлась «*Объединенные услуги*», не так ли? Кто был ее президентом?

— Ах этот? Да, я помню его. Этого человека звали Ли Гансекер. Весьма достойный молодой человек, получивший ужасную трепку.

— Где он теперь? Вам известен его адрес?

— Ну… по-моему, он живет где-то в Орегоне. Грэнджвилль, Орегон. Мой секретарь даст вам его адрес. Но я не понимаю, зачем он вам нужен… Мисс Таггерт, если вы намереваетесь добиваться встречи с мистером Уэсли Моучем, позвольте мне сообщить вам, что мистер Моуч с весьма большим вниманием относится к моему мнению относительно таких вещей, как железные дороги и все прочее…

— У меня нет никакого желания встречаться с мистером Моучем, — проговорила она, вставая.

— Но тогда я не в силах понять… Что, собственно, привело вас сюда?

— Я пытаюсь разыскать одного человека, который работал в моторостроительной компании

«Двадцатый век».

— Зачем он вам нужен?

— Я хочу пригласить его работать на моей железной дороге.

Лоусон с явным недоверием и легким негодованием широко развел руками.

— В такой момент, когда на кон поставлены столь существенные вопросы, вы тратите свое время на поиски какого-то наемного работника? Поверьте мне, участь вашей железной дороги зависит от мистера Моуча куда в большей степени, чем от любого механика или кочегара, которого вы можете отыскать.

— До свидания, — проговорила Дагни.

Она повернулась, чтобы уйти, когда высоким надтреснутым голосом он вдруг заявил:

— У вас нет никакого права презирать меня.

Дагни остановилась и посмотрела на Лоусона.

— Я не высказывала своего мнения о вас.

— Я совершенно ни в чем не виновен, потому что потерял свои деньги, потому что потерял все свои деньги ради доброго дела. Я действовал из чистых побуждений. Я ничего не хотел для себя. Мисс Таггерт, я могу с гордостью сказать, что за всю свою жизнь никогда и ни из чего не извлек дохода!

Она ответила спокойным, ровным тоном, в котором без труда слышалось издевательское прискорбие:

— Мистер Лоусон, я обязана сказать вам, что из всех заявлений, которые может сделать человек, то, что только что прозвучало, на мой взгляд, является самым позорным.

* * *

— У меня никогда не было шанса! — возмутился Ли Гансекер.

Он сидел посреди кухни за столом, загроможденным бумагами.

Щеки его нуждались в бритве, рубашка жаждала стирки. Определить его возраст было непросто: опухшее лицо казалось пустым и гладким, не затронутым житейскими невзгодами, тогда как седеющие волосы и мутные глаза говорили об усталости. На самом деле ему было всего сорок два года.

— Никто не предоставил мне шанса. Наверное, теперь они могут быть довольны тем, что сделали со мной. Но не думайте, что я этого не понимаю. Я знаю, меня обманом лишили положенного по праву рождения. И пусть они не напускают на себя вид добряков. Они, эта шайка, эти воню-

чие лицемеры.

— Кто именно? — спросила Дагни.

— Все вокруг, — заявил Ли Гансекер. — Все люди в сердце своем — гады, и притворяться, что это не так, бесполезно. Справедливость? Ха! Посмотрите на это! — широким жестом он обвел помещение. — Такого человека, как я, загнали сюда!

За окном полуденный свет превращался в подобие серых сумерек, повисших над выцветшими крышами и обнаженными деревьями предместья — какого-то странного, не вполне городского, но и деревней его тоже нельзя было назвать. Сумрак и сырость, казалось, впитались в сами стены кухни. Стопка оставшейся от завтрака посуды громоздилась в раковине; на плите, в кастрюле, булькал отвар, пар над ним отдавал сальным запашком дешевого мяса; запыленная пишущая машинка стояла на столе посреди кучи бумаг.

— Моторостроительная компания *«Двадцатый век»*, — проговорил Ли Гансекер, — была одной из самых блистательных в истории американской промышленности. Я был президентом. Завод принадлежал мне. Но мне не предоставили шанса.

— Но ведь вы не были президентом *«Двадцатого века»*, так ведь? Насколько мне известно, ваша корпорация называлась «*Объединенные услуги*»?

— Да-да, но это одно и то же. Мы приобрели их завод. Мы намеревались работать не хуже, чем они сами. Даже лучше. Мы имели довольно солидный вес. Потом, кто такой Джед Старнс? Да никто, простой механик из захолустья. Знаете, с чего он начинал? Вообще вылез невесть откуда. А мое семейство некогда принадлежало к Нью-йоркским четырем сотням. Мой дед был членом Национального законодательного собрания. И не моя вина, что отец не мог купить мне машину, когда отсылал учиться. У всех остальных парней были автомобили. Моя семья ничем не хуже. Когда я учился в колледже… — Он вдруг умолк. — Так из какой вы газеты?

Дагни назвала ему свое имя, удивилась, но обрадовалась, что Гансекер не узнал ее, и предпочла не просвещать его.

— Я не говорила вам, что работаю в газете, — ответила она, — мне нужна информация об этом моторостроительном заводе для моих личных целей, а не для публикации.

— Ох.

На лице Гансекера проступило разочарование.

И он продолжил угрюмым тоном, словно она нанесла ему личное оскорбление:

— А я подумал, что вы пришли взять у меня интервью, ведь я пишу автобиографию.

Он показал на разложенные на столе бумаги.

— И я хочу рассказать многое. Я намереваюсь… Ох, черт! — вдруг рявкнул он, вспомнив о чем-то.

Гансекер бросился к плите, снял крышку кастрюли и принялся с явным отвращением рассеянно помешивать варево. Потом он бросил мокрую ложку на плиту, капнув жиром на газовую горелку, и вернулся к столу.

— Да, я намереваюсь написать свою автобиографию, если мне предоставят таковую возможность, — проговорил он. — Разве можно сконцентрироваться на серьезной работе, когда приходится заниматься всякой ерундой? — он кивнул в сторону плиты. — Как же, друзья называется! Эти люди считают, что раз уж они позаботились обо мне, то могут эксплуатировать, как китайского кули! Просто потому, что мне некуда идти. У них-то все в порядке, у моих добрых старых друзей. Он и пальцем не пошевелит по дому, только весь день сидит в своем дрянном магазинчике канцтоваров — разве можно сравнить его работу по важности с той книгой,

которую я пишу? А она ходит по магазинам за покупками и просит меня последить за ее паршивым варевом. Ей прекрасно известно, что писатель нуждается в покое и возможности сосредоточиться, но разве это ее волнует? Знаете, что она сделала сегодня? — доверительно наклонившись к Дагни над столом, он показал на оставленные в раковине тарелки. — Она отправилась на рынок, не притронувшись к посуде. Она сказала, что вымоет все потом. Я знаю, чего она добивается — ей надо, чтобы тарелки вымыл я. Ну, я ее одурачу. Я оставлю их так, как есть.

— Не позволите ли мне задать вам несколько вопросов относительно моторостроительного завода?

— Только не считайте, что этот завод был единственным событием в моей жизни. Прежде мне случалось занимать много важных постов. В разные времена у меня были важные связи с предприятиями, производившими хирургическое оборудование, картонные коробки, мужские шляпы и пылесосы. Конечно, такого рода товары не позволяли мне развернуться. Но моторостроительный завод… он стал моим большим шансом. Именно этого я и ждал.

— А как вышло, что вы купили его?

— Он просто дожидался меня. Этот завод был моей воплотившейся в жизнь мечтой. Его закрыли в результате банкротства. Наследники Джеда Старнса живенько выпустили дело из рук. Не знаю точно, что там было, однако на заводе творилось какое-то жульничество, и компания разорилась. Железнодорожники закрыли свою ветку. Завод не был никому нужен, никто не проявлял желания приобрести его. Однако он существовал, этот прекрасный завод со всем его оборудованием и станками, со всем, на чем Джед Старнс заработал свои миллионы. Именно о такой ситуации я и мечтал, такая возможность была специально для меня. Поэтому я собрал своих друзей, мы организовали корпорацию *«Объединенные услуги»* и наскребли некоторую сумму. Но нам все равно не хватало этих денег, нам нужен был кредит, чтобы выкупить завод и начать производство. Дело выглядело абсолютно надежным, мы были молоды, нам предстояли великие достижения, нас переполняли энергия и надежды на будущее. И как вы думаете, хоть кто-нибудь оказал нам поддержку? Никто. Ни один из этих жадных завистливых стервятников, окопавшихся в своих привилегиях! Как могли мы преуспеть в жизни, если никто не отдавал

нам завод? Мы не могли конкурировать с соплями, которым по наследству достаются целые фабричные сети, так ведь? А разве не всем нам назначена единая судьба? И не надо мне ничего говорить о справедливости! Я трудился, как вол, пытаясь найти человека, готового одолжить нам деньги. Но этот сукин сын Мидас Маллиган выжал меня досуха.

Дагни насторожилась:

— Мидас Маллиган?

— Ага… банкир, похожий на водителя грузовика и поступавший точно так же!

— Вы знали Мидаса Маллигана?

— Знал? Да я — единственный человек, сумевший одолеть его, только это не принесло мне никакой пользы!

Иногда, с трудно объяснимым тяжелым чувством, она позволяла себе удивиться исчезновению Мидаса Маллигана, как дивилась рассказам о плавающих по морю брошенных кораблях или невесть откуда взявшимся вспышкам, озаряющим небо. Она вовсе не считала, что ей необходимо владеть ключами к таким загадкам, если не считать того, что подобные тайны вообще не имели никакого права оставаться тайнами: они *должны* были иметь свои причины,

однако ни одна из известных причин не могла послужить их разгадкой.

Мидас Маллиган некогда был одним из самых богатых, а следовательно, чаще всего осуждаемых людей в стране. Он ни разу не потерял ни одного из своих вложений; все, к чему прикасался Маллиган, превращалось в золото. «Это потому, что я знаю, к чему прикасаться», — говорил он. Схему его капиталовложений никто не мог уразуметь: он отказывался от считавшихся совершенно безопасными сделок и вкладывал колоссальные суммы в предприятия, за которые не взялся бы ни один банкир. Многие годы он выступал в качестве спускового крючка, посылавшего совершенно неожиданные и весьма эффектные пули промышленного успеха во все концы страны. Это он вложил средства в «*Риарден Стил*» в самом начале существования компании, дав тем самым Риардену возможность приобрести заброшенный сталелитейный завод в Пенсильвании. Когда кто-то из экономистов назвал его дерзким и самоуверенным игроком, Маллиган ответил ему: «Вам никогда не стать богатым по одной простой причине — вы считаете то, чем я занимаюсь, игрой».

По слухам, в общении с Мидасом Маллиганом

требовалось соблюдать одно неписаное правило: если претендент на ссуду упоминал личную необходимость или вообще какие-либо личные причины, разговор на этом заканчивался, и новой возможности встретиться с мистером Маллиганом проситель уже не получал.

— А что, вполне, — ответил Мидас Маллиган, когда его спросили, может ли он представить себе человека более порочного, чем тот, чье сердце закрыто для жалости. — Лицо, использующее чью-то жалость к себе в качестве оружия.

Всю свою долгую карьеру он игнорировал любые нападки на него, кроме одного случая. По-настоящему его звали Майкл, но, когда какой-то толковый журналист-гуманитарий назвал его Мидасом, прозвище это прилипло к нему, Маллиган отправился в суд и потребовал, чтобы имя его в законном порядке заменили на Мидас. Просьбу удовлетворили.

В глазах современников он был человеком, совершившим один из смертных грехов: он гордился своим богатством.

Все, что касалось Мидаса Маллигана, Дагни знала только понаслышке… ей ни разу не довелось встретиться с ним.

Мидас Маллиган исчез семь лет назад. Од-

нажды утром он оставил свой дом, и с тех пор никто ничего о нем не слышал. На следующий день после его исчезновения вкладчики «*Банка Маллигана*» в Чикаго получили уведомления с просьбой забрать свои вклады в связи с закрытием банка. Дальнейшее расследование показало, что Маллиган все спланировал заранее и в малейших деталях; его работники просто выполнили оставленные им инструкции. Страна еще не видела столь аккуратного «банкротства». Все вкладчики получили свои деньги в целости и сохранности вплоть до малейшей доли полагавшихся им процентов. Все фонды банка были по отдельности распроданы различным финансовым организациям. Когда подвели баланс, оказалось, что он сошелся до последнего пенни; остатков не было, и «*Банк Маллиган*» прекратил свое существование.

Разгадки поступка Маллигана, сведений о его личной судьбе и участи многомиллионного состояния найдено не было. Человек и деньги исчезли, как если бы их вовсе никогда не существовало. Никто не получал предупреждения о его решении, цепочку событий, способных послужить причиной, также выстроить не удалось. Если он намеревался отойти от дела — недоуме-

вали люди, — то мог бы и продать его с огромной выгодой для себя, а не уничтожать. Ответа не мог найти никто. У Маллигана не было ни семьи, ни друзей. Слуги его ничего не знали: в то утро он, как обычно, ушел из дома и не вернулся назад; ничего более известно не было.

Много лет Дагни видела нечто тревожное и немыслимое в исчезновении Маллигана: ну, словно бы за одну ночь исчез один из нью-йоркских небоскребов, оставив от себя только пустырь на углу двух улиц. Человек, подобный Маллигану, с тем состоянием, которое он забрал с собой, просто *не мог* исчезнуть без следа; небоскреб не способен затеряться, он всегда будет возвышаться над тем лесом или равниной, что избрал своим укрытием; даже если его разрушить, останется груда обломков, причем весьма приметная. Но Маллиган *исчез*, и за прошедшие с того дня семь лет среди массы слухов, догадок, теорий, сказок для воскресных приложений к журналам, в показаниях свидетелей, якобы видевших его в самых различных уголках Земли, не было найдено и намека на правдоподобное объяснение.

Среди вариантов подобных россказней числился один настолько нелепый, что Дагни даже чуть было в него не поверила, хотя все известное

о характере Маллигана никак не стыковалось с подобной историей. Рассказывали, что в то весеннее утро, когда он исчез, последней его видела старуха-цветочница, стоявшая со своим товаром на перекрестке возле «*Банка Маллигана*». Она утверждала, что он остановился и купил букет первых в том году подснежников. Более счастливого лица ей не приводилось видеть; он казался юношей, ступающим на только что открывшийся перед ним огромный и необъятный жизненный простор; отметины боли и тягот, отпечатки прошедших лет, были начисто смыты с его лица, оставались только радость, юный пыл и покой. Букет он взял, как бы повинуясь внезапному порыву, при этом подмигнув старухе, словно разделяя с ней общую шутку. Он сказал ей:

— А вы знаете, как я всегда любил вот это… любил жизнь?

Она посмотрела на него с недоумением, и он пошел прочь, перебрасывая букет, словно мячик, из руки в руку — широкоплечий, стройный в своем солидном, дорогом пальто бизнесмена, а потом исчез среди прямоугольных, гладких утесов административных зданий, в окнах которых отражалось весеннее солнце…

— Мидас Маллиган был порочным сукиным сыном, на сердце которого навсегда оттиснут знак доллара, — вещал Ли Гансекер из облака едких испарений бульона. — Все мое будущее зависело от жалких пятисот тысяч долларов, что для него было просто мелочью, но, когда я попросил у него ссуду, он отказал мне по той причине, что я не могу предоставить ему гарантий. А откуда у меня могли взяться эти гарантии, если никто и никогда не давал мне шанса в крупном деле? Почему он давал деньги в долг кому угодно, но только не мне? Явная дискриминация. Он не пощадил даже мои чувства: сказал, что перечень моих прошлых неудач не позволяет доверить мне даже тележку разносчика овощей, не говоря уже о моторостроительном заводе. Каких еще неудач? В чем я виноват, если невежественные торговцы овощами отказались покупать у меня бумажные коробки? Кто дал ему право судить о моих способностях? Почему мои планы на будущее должны были зависеть от прихоти эгоистичного монополиста? Я не намеревался покорно сносить это. Я не мог забыть такое издевательство. Я подал на него в суд.

— Что-что?

— О да, — с гордостью проговорил Гансекер. —

Я подал на него в суд. Не сомневаюсь, что в ваших косных восточных штатах такое может показаться странным, однако в штате Иллинойс существовал весьма гуманный и прогрессивный закон, на который я мог опереться. Должен признать, это было первое дело подобного рода, однако мне попался очень смышленый и либеральный адвокат, усмотревший для нас такую возможность. Закон касался «крайней экономической необходимости» и запрещал дискриминировать людей по любым причинам, если речь идет о средствах к существованию. Его использовали для защиты интересов поденщиков и так далее, но ведь он относился и ко мне с моими партнерами, так ведь? Ну вот, мы отправились в суд, рассказали там о своих прошлых неудачах, я процитировал слова Маллигана о том, что он не доверил бы мне и тележку разносчика овощей, и мы доказали, что у всех членов корпорации «*Объединенные услуги*» не было престижа, кредита, способа добыть средства к существованию, поэтому приобретение моторостроительного завода было нашим единственным шансом заработать себе на жизнь, и потому Мидас Маллиган не имел права дискриминировать нас, а посему мы считаем себя вправе требовать от него займа

в соответствии с законом. О, наша правота была очевидной, однако на рассмотрении иска председательствовал судья Наррангасетт, один из тех старомодных монахов от судейской скамьи, действующих из чисто математических соображений и никогда не считающихся с чисто человеческой стороной дела. Весь процесс он просидел как мраморное изваяние, как одна из тех статуй с завязанными глазами. И в итоге приказал присяжным вынести приговор в пользу Мидаса Маллигана, добавив несколько весьма нелестных слов обо мне и моих партнерах. Но мы подали апелляцию в суд следующей инстанции, и он изменил приговор, приказав Маллигану выдать нам ссуду на наших условиях. Ему дали три месяца на исполнение постановления, однако прежде, чем срок этот истек, произошло то, чего никто не мог предвидеть, и он бесследно исчез вместе со своими деньгами. От его банка не осталось даже пенни, который можно было пустить на оплату наших законных претензий. Мы израсходовали уйму денег на детективов, пытаясь разыскать беглеца, — кто поступил бы на нашем месте иначе? — однако нам пришлось сдаться.

Нет, думала Дагни, нет, если не считать тошнотворного привкуса, дело это ничуть не хуже

тех многочисленных гадостей, которые Мидасу Маллигану приходилось терпеть из года в год. Он понес многочисленные потери по аналогичным приговорам, безумные правила и эдикты обошлись ему в крупные суммы; он выносил удары, сражался и только усерднее работал; едва ли это случай мог надломить его.

— А что случилось с судьей Наррангасеттом? — невольно спросила Дагни: какое-то подсознательное чутье заставило ее задать этот вопрос. С судьей Наррангасеттом она не была знакома, однако запомнила его имя, как тесно связанное с самыми разными делами по всей стране. Она вдруг поняла, что уже очень давно не слышала о нем.

— О, он ушел в отставку, — проговорил Ли Гансекер.

— В самом деле? — едва не ахнула она.

— Угу.

— А когда?

— Примерно через шесть месяцев после нашего процесса.

— А чем он занимался потом?

— Не знаю. С тех пор о нем ничего не было слышно.

Гансекер удивился тому, что по лицу гостьи

вдруг скользнул легкий испуг. Страх, кольнувший Дагни, был чисто интуитивным, причин его она и сама объяснить не могла.

— Пожалуйста, расскажите мне об этом моторостроительном заводе, — заставила она себя продолжить.

— Ну, Юджин Лоусон из *Национального общественного банка* в Мэдисоне, наконец, предоставил нам кредит на покупку завода, но он оказался грязным скрягой, у него не было достаточно средств, чтобы помогать нам в работе, не смог он помочь нам и когда мы разорились. Но мы в этом не виноваты. С самого начала все шло не так. Разве может работать завод, не имея собственной железной дороги? Разве не положено нам было иметь железную дорогу? Я попытался уговорить их снова открыть эту ветку, однако проклятые людишки из «*Таггерт Транс*...» — Гансекер осекся. — Кстати, вы, часом, не из тех Таггертов будете?

— Я являюсь вице-президентом и руководителем производственного отдела компании «*Таггерт Трансконтинентал*».

Какое-то мгновение он смотрел на нее в полном оцепенении; в мутных глазах его боролись страх, подобострастие и ненависть. Итогом борь-

бы стало недовольное ворчание.

— Я не нуждаюсь в вас, в важных персонах! Не думайте, что я испугаюсь вас. И не ждите, что я стану вымаливать работу. Я ни у кого не прошу милости. Ага, поди, не привыкли к тому, что люди говорят с вами подобным образом?!

— Мистер Гансекер, я буду весьма благодарна вам, если вы предоставите мне необходимую информацию о заводе.

— Что-то вы поздновато им заинтересовались. Что же произошло? Совесть замучила? Вы позволили Джеду Старнсу до безобразия разбогатеть, но не пожелали подать нам и пальца. Завод-то остался тем же самым. Мы делали только то, что делал он. Мы начали с производства того самого двигателя, на котором он столько лет зарабатывал самые большие деньги. А потом какой-то выскочка, о котором никто и никогда не слыхал, открыл в Колорадо грошовый заводик, «*Нильсен Моторс*» называется, и стал выпускать новый двигатель того же класса, что и модель Старнса, только в половину цены! И что нам оставалось делать, а? Хорошо было Джеду Старнсу, ему не мешал такой смертельно опасный конкурент, но нам-то что оставалось делать? Как мы могли бороться с этим Нильсеном, если никто

не дал нам двигатель, способный конкурировать с его мотором?

— Вы располагали исследовательской лабораторией Старнса?

— Да-да, конечно. Все оставалось на месте.

— И персонал тоже?

— Ну, некоторые из его людей. Многие уволились сразу, как только завод закрылся.

— А его инженеры?

— Они все ушли.

— Вы нанимали собственных?

— Да-да, некоторых… но позвольте заметить — у меня не было достаточно денег, чтобы тратить их на такие вещи, как всякие там лаборатории, моих средств не хватало даже для малейшей передышки в работе. Я не мог оплатить счета за элементарную модернизацию и ремонт помещений — завод самым позорным образом состарился… с общечеловеческой точки зрения. Кабинеты руководящего персонала были просто оштукатурены, около них располагалась крохотная ванная комната с умывальником. Любой современный психолог скажет вам, что в таких угнетающих условиях ничего хорошего не добьешься. Я просто должен был перекрасить стены своего кабинета в более радостные цвета, поста-

вить современную душевую с кабинкой. Потом я потратил много денег на новый кафетерий, игровой зал для рабочих и на комнату отдыха. Надо же было поддерживать дух, так ведь? Любая просвещенная личность понимает, что духовное состояние человека определяется его непосредственным материальным окружением, а разум его формируют средства производства. Но люди не стали ждать, пока законы экономического детерминизма сработают в нашу пользу. Что ж, у нас никогда прежде не было своего моторостроительного завода. Вот нам и пришлось позволить средствам производства формировать наш разум. Но недолго. Никто не дал нам времени.

— Не можете ли вы рассказать мне о работе своего исследовательского персонала?

— О, у меня было несколько весьма многообещающих молодых людей, надежных, имеющих дипломы самых лучших университетов. Но ничего хорошего из этого не вышло. Не знаю, чем они там занимались. Наверно, просто сидели, проедая свое жалованье.

— А кто руководил лабораторией?

— Черт, разве я могу теперь это вспомнить?

— А вы не помните имен ваших инженеров-исследователей?

— Неужели, по-вашему, у меня было время общаться с каждым наемным работником?

— А не упоминал ли кто-нибудь из них при вас об экспериментах с… совершенно новым типом двигателя?

— Какого двигателя? Позвольте напомнить вам, что руководитель моего масштаба не может позволить себе постоянно крутиться в лаборатории. Большую часть своего времени я проводил в Нью-Йорке и Чикаго, пытаясь добыть для нас деньги, чтобы удержать завод на плаву.

— А кто был генеральным управляющим завода?

— Очень способный человек по имени Рой Каннигэм. Он погиб в прошлом году в автокатастрофе. Как мне сказали, сел за руль пьяным.

— Можете ли вы назвать мне имена и адреса кого-нибудь из своих сотрудников? Всех, кого вспомните?

— Не знаю, что с ними стало. У меня не было желания следить за их дальнейшей судьбой.

— А не сохранились ли у вас какие-нибудь заводские отчеты?

— Безусловно.

Дагни впилась пальцами в стол.

— А не позволите ли мне ознакомиться с ни-

ми?

— Пожалуйста!

Гансекер с готовностью повиновался — тут же вскочил и поспешил вон из комнаты. И, вернувшись, положил перед ней пухлый альбом с газетными вырезками: там были данные им интервью и пресс-релизы его агента.

— Я тоже был крупным предпринимателем, — с гордостью заявил он. — Фигурой национального масштаба, как вы можете видеть. Моя жизнь способна послужить основой для книги, имеющей глубокое общечеловеческое значение. Я давно написал бы такую книгу, если бы у меня были соответствующие условия… и средства производства, — Гансекер кивнул в сторону своей пишущей машинки. — Не могу работать на этой проклятой штуковине. У нее то и дело западают клавиши. А как можно вдохновиться настолько, чтобы написать бестселлер, если твоя пишущая машинка не может нормально печатать?

— Благодарю вас, мистер Гансекер, — проговорила Дагни, вставая. — Полагаю, что ничего больше вы мне сказать не можете. А вам не известно, что стало с наследниками Старнса?

— О, погубив завод, они попрятались по щелям. Их было трое — два сына и дочь. Когда я в послед-

ний раз слышал о них, они прятались от позора в Дюрансе, штат Луизиана.

Последнее впечатление от Ли Гансекера она получила, обернувшись в последний момент: он внезапным прыжком метнулся к плите, схватился за крышку кастрюли и тут же уронил ее на пол, кляня обожженные пальцы, — бульон все-таки выкипел.

* * *

Мало что осталось от состояния Старнса, еще меньше — от его наследников.

— Они вам не понравятся, мисс Таггерт, — сказал шеф полиции Дюранса, штат Луизиана, человек пожилой, неторопливый и жесткий, с глазами, полными горечи, рожденной не слепым сожалением о вынужденных поступках, а верностью слову и букве закона. — На свете есть всякий народ, убийцы и маньяки, но мне почему-то кажется, что эти Старнсы — люди такие, с которыми приличному человеку общаться совершенно незачем. Скверная это публика, мисс Таггерт. Липкая и дурная… Да, они сейчас живут в городе, то есть двое из них. Третий умер. Наложил на себя руки. Это случилось четыре года назад. Некрасивая была история. Он был самым

младшим, Эрик Старнс. Из тех, кто, разменяв пятый десяток, считают себя молодыми и ноют о своей тонкой чувствительности. Он твердил, что ему нужна любовь. Жил, поочередно, на содержании у женщин старше его, пока ему не удавалось найти очередную жертву. А потом увлекся шестнадцатилетней девушкой, хорошей девушкой, не желавшей иметь с ним ничего общего. Она вышла за парня, с которым была обручена. В день свадьбы Эрик Старнс проник в их дом, и, вернувшись из церкви, они обнаружили его в своей спальне, мертвого, грязного, с разрезанными запястьями… Я так вам скажу, еще может быть прощение для человека, ушедшего из жизни без шума. Кто станет судить ближнего своего за его страдания, кто знает предел чужим силам? Но человек, убивающий себя, чтобы сделать из своей смерти спектакль, чтобы причинить боль другим людям, человек, расстающийся со своей жизнью из злобы… такому нет ни прощения, ни оправдания, он прогнил насквозь и заслуживает исключительно забвения — люди без всякого сострадания плюют на его память… Вот таким был Эрик Старнс. Если хотите, могу рассказать вам, где можно отыскать остальных двоих.

Джеральда Старнса она обнаружила в палате ночлежки. Свернувшись калачиком, он лежал на койке. Волосы его еще оставались черными, но белая щетина на щеках казалась мертвенным инеем, легшим на пустое лицо. Он был мертвецки пьян. Голос его все время прерывался бессмысленным смешком, полным постоянной, неизбывной злобы.

— Он разорился, этот великий завод. Разорился, и все тут. Словом, лопнул. А вам-то что до того, мадам? Сгнил он, завод. И все сгнили. Считают, что я должен у кого-то там просить прощения, но я не буду этого делать. Плевать я хотел. Люди все лезут из шкуры вон, пытаясь навести марафет, когда кругом гниль, сплошная черная гниль — автомобили, дома и души, и безразлично, каким образом они сгнили. Видели бы вы, как эти грамотеи кувыркались по моему желанию — это когда у меня были деньги. Профессора, поэты, интеллектуалы, спасители мира и эти, как их там… возлюбившие брата своего. Стоило только свистнуть. Я изрядно повеселился. Тогда я хотел делать добро, но теперь больше не хочу. Нет никакого добра. Нет никакого проклятого добра во всей проклятущей Вселенной. Кто станет мыться, если не чувствует никакого

желания лезть в воду, скажите мне. Если вы хотите что-то разузнать о заводе, спрашивайте у моей сестрицы. Моя милая сестрица запаслась неприкосновенным запасом, поэтому пребывает сейчас в полном благополучии, хотя и на уровне гамбургера, а не филе-миньона под беарнским соусом, но разве она поделится хотя бы одним пенни со своим братом? Идея принадлежала мне в той же мере, как и ей, но разве она даст мне хотя бы пенни? Ха! Сходите, посмотрите на эту герцогиню. Какое мне дело до этого завода? До этой кучи замасленных станков. Охотно продам вам все свои права, привилегии и титул за глоток спиртного. Я последний из Старнсов. Великое было имя — Старнс. Я продам его вам. Вы считаете меня вонючим подонком, но сейчас все таковы, и богатые леди не лучше нас. Я хотел добра всему человечеству. Ха! Да пусть оно теперь хоть в смоле кипит. Забавно было бы посмотреть. Чтоб все вы сдохли. Какая разница? Какая мне разница?

На соседней койке во сне со стоном шевельнулся седой морщинистый бродяга; из лохмотьев его выкатилась пятицентовая монетка, звякнула и упала на пол. Джеральд Старнс подобрал ее, сунул в свой карман, посмотрел на Дагни и зло

улыбнулся.

— Станете будить его и поднимать шум? — прошипел он. — А я скажу, что вы соврали.

Зловонная хижина, в которой она отыскала Айви Старнс, стояла на краю города, на берегу Миссисипи. Свисающие с крыши пряди мха и влажная листва превращали густую растительность вокруг двери в подобие слюнявого рта; многочисленные занавески, загромождавшие тесную комнатку, впечатления не меняли. Запашок исходил из давно не выметавшихся углов и из серебряных чаш с курениями, дымившимися у кривых ног каких-то восточных божков. Айви Старнс мешком сидела на подушке в позе Будды. Губы на ее одутловатом, бледном лице женщины, разменявшей шестой десяток, сложились в тугой маленький полумесяц, точнее, в ротик капризного и воинственного дитяти, требующего родительского внимания. Глаза казались двумя безжизненными лужицами. Голос ровно сыпал слова, словно осенний дождь.

— Я не могу ответить на те вопросы, которые вы мне задаете, девочка моя. Исследовательская лаборатория? Инженеры? С какой стати я вообще должна помнить о них? Такими делами интересовался мой отец, но не я. Мой отец был плохим

человеком, его не интересовало ничего, кроме бизнеса. У него не было времени на любовь, его занимали одни только деньги. Мы с братьями обитали в совершенно другой плоскости. Мы стремились не производить всякие железки, а творить добро. Мы пришли на завод с новым, великим планом. Это было одиннадцать лет назад. Но мы потерпели поражение из-за жадности, эгоизма и низменной, животной природы человека. Это был извечный конфликт между духом и материей, между душой и телом. Они не захотели отказаться от собственной плоти, чего — и только — мы добивались от них. Я не помню никого из этих людей. И не хочу вспоминать… Инженеры? Да, гемофилия началась именно с них… Да, я так и сказала: гемофилия… медленное истечение, неостановимая потеря крови. Они побежали первыми. Все они дезертировали, один за другим… Наш план? Мы намеревались воплотить в жизнь благородный исторический принцип: от каждого по способности, каждому по потребности. На нашем заводе все, начиная с уборщицы и кончая президентом, получали одну и ту же зарплату — необходимый минимум. Дважды в год мы проводили собрание, на котором каждый излагал свои нужды. Мы голосовали

по каждому пункту, и решением большинства устанавливали потребности и способности каждого. Доход завода распределялся соответствующим образом. Премии устанавливались по потребностям, штрафы — по способностям. Те, чьи потребности общим голосованием были сочтены самыми значительными, получали больше всех. Те, что производили меньше, чем могли согласно голосованию, подвергались штрафам, которые им приходилось выплачивать за счет сверхурочной работы. Таков был наш план. Он основывался на принципе бескорыстия. Он требовал, чтобы люди руководствовались не личной выгодой, а любовью к братьям своим.

Холодный и непреклонный голос в душе Дагни твердил: «*Запоминай… запоминай во всех подробностях… человеку не часто приходится видеть воплощенное зло… смотри… запоминай… и однажды ты найдешь слова, чтобы определить его сущность…*» Голос этот заглушал другие голоса, звучавшие напрасно: «*Глупости… я уже слышала все это… сейчас это говорят повсюду… это всего лишь прежний, устаревший взгляд… но почему он так нестерпим?.. почему я не в силах переносить его… не могу… не могу!*»

— Что с вами, девочка моя? Отчего вас так

дергает? Вы дрожите?.. Что? Говорите громче, я не слышу вас… Как сработал наш план? Охотно скажу. Получилось достаточно плохо, и с каждым годом становилось все хуже. Все это стоило мне веры в человека как такового. За каких-то четыре года план, рожденный не холодными ухищрениями ума, но чистой любовью, чистым сердцем, закончился в постыдном обществе полисменов и адвокатов судебными процессами по банкротству. Но я поняла свою ошибку и исправила ее; я освободилась от мира машин, предпринимателей и денег, от мира, порабощенного материей. Я учусь раскрепощению духа, которое открывает нам в своих тайнах Индия, освобождению от рабства плоти, победе над материальной природой, триумфу духа над материей.

Сквозь ослепительный, раскаленный добела гнев Дагни видела длинную полосу бетона, прежде бывшую дорогой, торчащие из трещин растения и фигуру человека, согнувшегося над сохой.

— Но, девочка моя, я же сказала вам, что не помню… Но я не знаю их имен, я не знаю никаких имен и не представляю, каких авантюристов мой отец мог держать в своей лаборатории!.. Вы не слышали меня?.. Я не привыкла, чтобы

меня допрашивали в подобной манере и… Перестаньте повторять одно и то же. Неужели вы не знаете другого слова, кроме «инженер»?.. Вы не слышите меня?.. Что с вами происходит? Мне… мне не нравится ваше лицо, вы… Оставьте меня в покое. Я не знаю вас, я не делала вам ничего плохого, я старая женщина, и не смотрите на меня такими глазами… Не подходите! Не подходите ко мне, или я позову на помощь! Я… ах да, да, его я, конечно, знаю! Главный инженер. Да. Он возглавлял лабораторию. Да. Уильям Гастингс. Так его звали — Уильям Гастингс. Помню. Он переехал в Брэндон, штат Вайоминг. Ушел на следующий день после того, как мы начали реализовывать план. Он оставил нас вторым… Нет. Нет, я не помню, кто был первым. Какой-то совершенно незначительный человек.

* * *

Ей открыла дверь женщина с седеющими волосами, державшаяся с таким врожденным достоинством, что Дагни лишь через несколько секунд заметила, что хозяйка одета в простой домашний халат.

— Могу ли я поговорить с мистером Уильямом Гастингсом? — спросила Дагни.

Женщина окинула ее коротким взглядом, внимательным, пытливым и серьезным.

— Могу ли я узнать ваше имя?

— Я Дагни Таггерт из «*Таггерт Трансконтинентал*».

— О! Пожалуйста, входите, мисс Таггерт. Я миссис Уильям Гастингс.

В каждом произнесенном этой женщиной слоге звучала, словно предупреждение, вежливая настороженность. Она держалась любезно, но не улыбалась.

Скромный дом ее находился в предместье промышленного города. Голые ветви деревьев врезались в яркую холодную синеву неба над ведущим к дому подъемом. Стены гостиной украшала серебристо-серая материя; солнце играло на хрустальной подставке лампы под белым абажуром; видная за открытой дверью кухня была оклеена белыми в красный горошек обоями.

— Вас связывало с моим мужем деловое знакомство, мисс Таггерт?

— Нет. Я не была знакома с мистером Гастингсом. Но мне хотелось бы переговорить с ним по вопросу, имеющему для меня чрезвычайно большое деловое значение.

— Мой муж скончался пять лет назад, мисс

Таггерт.

Ощутив тупой удар разочарования, Дагни закрыла глаза; вывод был однозначен: значит, здесь и жил человек, которого она искала, и Риарден оказался прав: он умер, и двигатель оказался в куче мусора именно по этой причине.

— Мне очень жаль, — сказала она и себе, и миссис Гастингс.

В тени улыбки, чуть смягчившей черты миссис Гастингс, угадывалась печаль, но на лице ее не было отпечатка трагедии, на нем читались твердость, принятие своей судьбы и спокойная ясность.

— Миссис Гастингс, не позволите ли задать вам несколько вопросов?

— Конечно. Садитесь, пожалуйста.

— Вы что-нибудь знали о научной работе своего мужа?

— Очень немногое. Точнее, ничего. Он никогда не говорил дома о своей работе.

— Одно время он являлся главным инженером моторостроительной компании *«Двадцатый век»*?

— Да. Он проработал у них по найму восемнадцать лет.

— Я хотела расспросить мистера Гастингса

об этом и о причинах, по которым он оставил компанию. Если вы в курсе, я бы хотела узнать, что произошло на заводе.

На лице миссис Гастингс появилась печальная, чуть насмешливая улыбка.

— Мне и самой хотелось бы знать, — проговорила она. — Однако боюсь, теперь это навсегда останется для меня тайной. Причина, по которой муж оставил завод, мне известна. Ею стала та кошмарная организация труда, которую учредили наследники Джеда Старнса. Он не мог работать с этими людьми на подобных условиях. Но там было что-то еще. Мне всегда казалось, что на заводе произошло нечто такое, о чем он не хотел мне говорить.

— Мне было бы чрезвычайно интересно услышать любой намек на суть случившегося.

— У меня нет ни малейшего намека на разгадку. Я пыталась вычислить ее, но сдалась. Я не могу ничего понять или объяснить. Но я твердо знаю — там что-то произошло. Когда мой муж расстался с «*Двадцатым веком*», мы перебрались сюда, и он занял место главы инженерного отдела в «*Акме Моторс*». В то время это был растущий, преуспевающий концерн. Мой муж получил такую работу, которая пришлась ему по вкусу.

Он был не из тех, кого раздирают внутренние противоречия, он никогда не сомневался в своих поступках и жил в мире с самим собой. Но после того как мы оставили Висконсин, мне целый год казалось, будто его что-то мучает, что он пытается справиться с личной, неразрешимой проблемой. В конце того года, однажды утром, он явился ко мне и сказал, что ушел из «*Акме Моторс*» и намеревается полностью отойти от дел. Он любил свою работу, она воистину была для него жизнью. Тем не менее он казался спокойным, уверенным в себе и счастливым — впервые с того времени, как мы перебрались сюда. Муж попросил меня не задавать вопросов о причинах такого решения. Я не стала ни расспрашивать, ни протестовать. У нас был этот дом, были сбережения — достаточные, чтобы скромным образом дожить до конца своих дней. Я так и не узнала причину. Мы жили здесь тихо, спокойно и счастливо. Он как будто пребывал в глубоком довольстве. Такой странной ясности духа я никогда в нем не замечала. В его поведении и действиях не было ничего странного — разве что иногда, очень редко, он уходил из дома, не говоря мне, куда ходил и с кем встречался. В последние два года жизни он всегда летом уез-

жал из дома на месяц, но не говорил мне, куда. Во всех прочих отношениях он жил, как прежде. Много работал, проводил время за самостоятельными научными исследованиями в подвале нашего дома. Не знаю, как он поступил со своими бумагами и экспериментальными моделями. После смерти мужа я не нашла никаких признаков их существования. Он скончался пять лет назад, подвело сердце, с которым у него и раньше были неприятности.

Полным безнадежности тоном Дагни спросила:

— А вы знали, чем именно занимался ваш муж?

— Нет. Я совершенно ничего не понимаю в технике.

— А вы не были знакомы с его коллегами или сотрудниками, которые могли иметь представление о его исследованиях?

— Нет. Когда он работал в «*Двадцатом веке*», то задерживался на заводе так долго, что у нас оставалось совсем немного времени для себя, и мы всегда проводили его вместе. Мы не вели никакой светской жизни. И он никогда не приглашал своих сотрудников домой.

— А когда он работал в «*Двадцатом веке*»,

то не упоминал ли при вас об изобретенном им двигателе, моторе совершенно нового типа, способном изменить все развитие техники?

— Мотор? Да. Да, несколько раз он говорил о нем. Говорил, что это изобретение имеет невероятное значение. Но изобрел этот мотор не он, а его молодой помощник.

Заметив выражение лица Дагни, она неторопливо, без укоризны, просто с легкой грустью добавила:

— Понимаю… вас.

— Ох, простите! — растерялась Дагни, поняв, что внезапное предчувствие удачи превратилось в улыбку, столь же неуместную, как и вздох облегчения.

— Все правильно. Я все понимаю. Вас интересует изобретатель этого нового двигателя. Я не знаю, жив ли он сейчас, но, во всяком случае, у меня нет причин подозревать обратное.

— Да я полжизни отдам, чтобы узнать, кто он, и найти его. Это чрезвычайно важно, миссис Гастингс. Как его зовут?

— Я не знаю. Я не знаю его имени, как и всего остального. Я не была знакома с подчиненными моего мужа. Он сказал мне только, что у него работает молодой инженер, который однажды

перевернет мир. Мой муж не ценил в людях ничего, кроме их одаренности. Мне кажется, что он любил только этого парня. Он не говорил так, но я угадывала это по тому, как он рассказывал о своем молодом помощнике. Помню, как именно в тот день, когда работы над двигателем подошли к концу, с какой гордостью он сказал: «А ведь ему всего двадцать шесть лет!» Это было примерно за месяц до смерти Джеда Старнса. Но после этого он ни разу не упоминал при мне о моторе, изобретенном этим молодым инженером.

— А вы не знаете, что случилось потом с этим молодым человеком?

— Нет.

— Есть ли у вас хотя бы малейшее представление о том, где можно искать его?

— Нет.

— Есть ли у вас хотя бы какой-то намек, ключ, способный помочь мне в моих поисках?

— Нет. Скажите, а этот мотор действительно представляет собой чрезвычайную ценность?

— Стоимость его не описать ни одной цифрой, которую я могла бы назвать вам.

— Странно, потому что, видите ли, однажды, через несколько лет после того, как мы оставили Висконсин, я спросила мужа, что стало

с тем изобретением, которое он так нахваливал. Он только как-то странно посмотрел на меня и ответил: «Ничего».

— Почему?

— Он не сказал мне.

— А вы не можете вспомнить кого-нибудь из бывших работников «*Двадцатого века*»? Которые знали этого молодого инженера? Были его друзьями?

— Нет, я… Погодите! Погодите, кажется, я кое-что припоминаю. Я попробую помочь вам найти одного из его друзей. Я не знаю имени этого человека, но мне известен его адрес. Странная история. Но я лучше объясню вам, как все произошло. Однажды вечером, примерно через два года после того, как мы приехали сюда, муж собирался куда-то, а в тот вечер машина была мне нужна, и он попросил меня забрать его после ужина из ресторана на железнодорожном вокзале. Он не сказал мне, с кем ужинает. Подъехав к вокзалу, я увидела его около ресторана в обществе двоих мужчин. Один из них был молодым и высоким. Другой оказался пожилым, но очень достойным с виду человеком. Я могла бы узнать этих людей даже сейчас; такие лица невозможно забыть. Увидев меня, муж распрощался с ними.

Они прошли к станционной платформе; поезд уже подходил. Указав в сторону молодого человека, муж сказал: «Видишь его? Это и есть тот самый парень, о котором я тебе рассказывал». «Великий изобретатель?» — спросила я. «Он самый».

— А больше ничего он вам не говорил?

— Ничего. Это было девять лет назад. Прошлой весной я отправилась погостить к своему брату в Шайенн. Однажды он повез меня на длинную прогулку. Мы заехали в совершенно дикие края, в сердце Скалистых гор, и остановились перекусить в придорожном кафе. За прилавком стоял достойный седовласый мужчина. Пока он подавал нам сандвичи и кофе, я все разглядывала его, потому что лицо этого человека показалось мне знакомым, хотя я и не сразу вспомнила, откуда. Мы поехали дальше, и память вернулась ко мне, только когда мы отъехали от кафе на несколько миль. Так что лучше поезжайте туда. Кафе это расположено в горах к западу от Шайенна, на дороге 86, возле небольшого промышленного поселка медеплавильного завода *«Леннокс»*. Как ни странно, я уверена в том, что поваром в том кафе работал мужчина, которого я видела на железнодорожном вокзале вместе с молодым

идолом моего мужа.

* * *

Кафе находилось на самой вершине длинного и трудного подъема. Стеклянные стены его ярко поблескивали на фоне скал и сосен, неровными рядами спускавшихся к закату. Внизу было темно, однако ровный неяркий свет еще задерживался в кафе — словно тихая лужица, оставленная отливом.

Сидя в конце стойки, Дагни доедала гамбургер.

Ничего более вкусного ей еще не приходилось есть, сандвич этот был приготовлен из простейших ингредиентов, но с необыкновенным мастерством. Рядом заканчивали ужинать двое рабочих; она дожидалась их ухода.

Дагни разглядывала человека за стойкой. Он был высок и строен; его словно окутывало облако достоинства, более подобавшее старинному замку или интерьеру банка, однако манеру его отличало то, что достоинство это казалось на месте и здесь, за стойкой кафе. Белая поварская куртка сидела на нем, как фрак. Движения его были исполнены уверенности, свойственной мастеру — легкость дополнялась продуманной лаконичностью. Сухое лицо и седеющие волосы

удивительно гармонировали с холодной синевой глаз, но за строгой любезностью скрывалась насмешливая нотка, столь слабая, что исчезала при малейшей попытке разглядеть ее.

Закончив трапезу, рабочие расплатились и отправились восвояси, оставив на чай. Она следила за тем, как хозяин убирал за ними тарелки, как опускал монеты в карман белой куртки, как точными и ловкими движениями вытирал стойку. Потом он повернулся к Дагни и посмотрел на нее взглядом бесстрастным, не приглашающим к разговору, и тем не менее она не сомневалась, что он заметил ее нью-йоркский костюм, лодочки на высоких каблуках, сам облик женщины, не привыкшей попусту тратить время; холодные внимательные глаза открыто говорили ей, что он прекрасно понимает, что его последняя клиентка не имеет отношения к здешним краям и ждет, пока она сама назовет причину своего визита.

— Как идут ваши дела? — спросила она.

— Довольно скверно. На следующей неделе должны закрыть литейку Леннокса, поэтому мне тоже придется свернуть свое заведение и уехать отсюда, — проговорил он профессионально чистым, сердечным тоном.

— Куда же?

— Я еще не решил.

— Но чем вы намереваетесь заняться?

— Не знаю. Подумываю, не открыть ли гараж, если сумею найти подходящее местечко в каком-нибудь городе.

— О нет! Вы слишком большой мастер своего дела, чтобы менять профессию. Вы должны оставаться поваром.

Рот хозяина кафе изогнула странная улыбка.

— Вы действительно так считаете? — немного натянуто спросил он.

— Еще бы! Как насчет того, чтобы открыть свое дело в Нью-Йорке? — он с удивлением посмотрел на нее. — Я говорю совершенно серьезно. Я могу предложить вам место на крупной железной дороге, будете работать в вагоне-ресторане.

— Могу ли я осведомиться о причинах столь неожиданного предложения?

Она взяла с тарелки обернутый белой бумажной салфеткой гамбургер.

— Вот одна из этих причин.

— Благодарю вас. А как насчет остальных?

— Едва ли вам приходилось жить в крупном городе, иначе вы бы знали, насколько трудно отыскать там компетентного человека на любую

должность.

— Мне приходилось сталкиваться с этой проблемой.

— В самом деле? Тогда вы меня поймете. Как вам понравится работа в Нью-Йорке с жалованьем десять тысяч долларов в год?

— Никак.

Уже охваченная чудесной перспективой открыть и вознаградить мастера, Дагни оторопело посмотрела на него.

— Наверно, вы не поняли меня, — сказала она.

— Прекрасно понял.

— И вы отказываетесь от подобной возможности?

— Да.

— Но почему?

— Это мое личное дело.

— Зачем же вам прозябать здесь, если можно подыскать себе лучшую работу?

— Я не ищу лучшей работы.

— И не хотите получить возможность заработать большие деньги?

— Нет. Но почему вы так настаиваете?

— Потому что я терпеть не могу, когда человек разбазаривает свои способности!

Неторопливо и искренне он ответил:

— Я тоже.

То, как он произнес эти два коротких слова, заставило Дагни ощутить нить глубинного родства между ними; чувство это заставило ее нарушить неписаный закон: никогда никому ни на что не жаловаться.

— Меня просто тошнит от них! — собственный голос испугал ее, сорвавшись на непроизвольный крик. — Я просто изголодалась по человеку, по-настоящему умеющему делать то, за что взялся!

Прижав руку тыльной стороной к глазам, Дагни попыталась справиться с порывом отчаяния, в котором не хотела признаваться и себе самой; она не подозревала о его истинных масштабах и о том, как мало выдержки оставили ей эти отчаянные поиски.

— Простите, — негромко сказал хозяин кафе. Слово это не было извинением, в нем слышалось подлинное сочувствие.

Дагни посмотрела на него. Он улыбнулся, и она поняла, что улыбка эта была призвана разорвать замеченную и им связь между ними: в улыбке угадывалась любезная насмешка. Он проговорил:

— Однако я не верю, чтобы вы проделали весь путь от Нью-Йорка до Скалистых гор лишь для то-

го, чтобы найти повара для вагона-ресторана.

— Нет. Я приехала сюда с другой целью, — упершись обеими руками в стойку, Дагни наклонилась вперед, вновь почувствовав холодное самообладание перед лицом опасного противника. — Вам не приходилось примерно десять лет назад знавать молодого инженера, который работал тогда в моторостроительной компании «*Двадцатый век*»?

Пауза затянулась на секунды; Дагни не понимала смысла обращенного к ней взгляда, полного какого-то особо пристального, настороженного внимания.

— Да, приходилось, — ответил наконец ее собеседник.

— Не могли бы вы назвать мне его имя и адрес?

— Зачем?

— Мне настоятельно требуется отыскать его.

— Этого человека? Какое он может иметь значение?

— Сейчас он — самый важный человек на свете.

— В самом деле? Почему же?

— Вы знаете о его работе?

— Да.

— Вам известно, что он натолкнулся на идею, имеющую самое колоссальное значение?

Он опять ответил не сразу.

— Могу я узнать ваше имя?

— Дагни Таггерт. Я — вице-през…

— Да, мисс Таггерт. Я знаю, кто вы.

Собеседник ее произнес это с чисто формальным уважением, однако ей показалось, что он отыскал ответ на докучавшую ему загадку и избавился от сомнений.

— Тогда вы можете понять, что я испытываю к нему далеко не праздный интерес, — сказала Дагни. — Я в состоянии предоставить ему нужный шанс и готова заплатить столько, сколько он запросит.

— Позвольте спросить, что именно пробудило в вас интерес к нему?

— Его двигатель.

— А каким образом вы узнали о нем?

— Я обнаружила сломанную модель среди руин завода «*Двадцатый век*». Слишком поврежденную для того, чтобы можно было восстановить ее или полностью понять конструкцию, но все-таки достаточную, дабы понять принцип действия и то, что это изобретение способно спасти мою железную дорогу, мою страну, экономику всего

мира. Только не спрашивайте теперь, по какому следу мне пришлось пройти в поисках изобретателя. Все это не имеет никакого значения, даже моя жизнь и работа теперь не играют для меня существенной роли… теперь мне важно только одно: *я должна найти его*. Не спрашивайте, каким образом я нашла вас. Цепочка обрывается здесь. Назовите мне его имя.

Хозяин кафе слушал ее, не шевелясь, глядя прямо в глаза; внимательный взгляд его, казалось, впитывал каждое слово и аккуратно отправлял в архив памяти, не давая понять, зачем. Он надолго застыл на месте, а потом произнес:

— Ваши поиски окончены, мисс Таггерт. Вам не удастся найти его.

— Как его зовут?

— Я не вправе рассказывать вам о нем.

— Он жив?

— Я ничего не могу сказать вам.

— Как ваше имя?

— Хью Экстон.

Едва не расставшись со здравым смыслом, в полной растерянности, она, борясь с немым, необъяснимым ужасом, повторяла себе: *«У тебя истерика… нет, просто глупость какая-то… это всего лишь совпадение…»* — прекрасно понимая

и ни секунды не сомневаясь в том, что перед ней стоит *сам Хью Экстон*.

— Хью Экстон? — наконец выдавила она. — Философ?.. Последний из адвокатов разума?

— Ну конечно, — любезно ответил он. — Или первый предвестник их возвращения.

Испытанное Дагни потрясение не удивило ее собеседника, хотя он явно находил его излишним. Держался он просто и дружелюбно, не видя никакой необходимости скрывать свое имя и не сожалея, что оно стало известно приезжей.

— Вот уж не думал, что в наши дни такая молодая леди, как вы, способна узнать мое имя или придать ему какое-либо значение, — проговорил он.

— Но… но что вы делаете *здесь*? — она обвела заведение взглядом. — Это же не имеет никакого смысла!

— Вы уверены?

— Что это? Шутка? Эксперимент? Секретная миссия? Или вы проводите какие-нибудь особые исследования?

— Нет, мисс Таггерт. Я зарабатываю себе на жизнь, — последовал ответ, в искренности которого было просто невозможно усомниться.

— Доктор Экстон, я… это непостижимо, это…

вы же… вы же — философ… величайший среди ныне живущих… вы обессмертили свое имя… почему вы делаете все это?

— Потому что я — философ, мисс Таггерт.

И Дагни с полной обреченностью поняла — как и то, что ее упрямству и самоуверенности нанесен суровый урон: она не получит никакой помощи от этого человека, все ее вопросы бесполезны, он ничего не скажет ей ни об изобретателе, ни о своей дальнейшей судьбе.

— Поиски ваши закончены, мисс Таггерт, — негромко повторил он, словно бы подтверждая — как она и предполагала, — что способен читать ее мысли. — Поиски ваши безнадежны, тем более что вы не имеете ни малейшего представления о том, за какое невыполнимое дело взялись. И я советую вам не трудиться, изобретая аргументы и уловки, с целью получить от меня необходимую вам информацию; уговаривать меня тоже бесполезно. Поверьте мне на слово: *бес-по-лез-но*. Вы сами сказали, что цепочка заканчивается на мне. Это тупик, мисс Таггерт. И не стоит тратить время и деньги на прочие, привычные способы расследования: не надо нанимать никаких детективов. Им ничего не удастся узнать. Вы вправе пренебречь моим предупреждением,

но я считаю вас человеком, наделенным высоким интеллектом, способным понять, что я знаю, о чем говорю. Сдавайтесь. Тот секрет, который вы пытаетесь раскрыть, связан с тайной, существенно большей, *значительно* большей, чем изобретение двигателя, работающего на атмосферном электричестве. Я могу дать вам только один полезный намек: благодаря сути и природе бытия, противоречий не может существовать. Если вы считаете непостижимым, что гениальное изобретение остается брошенным среди руин и что философ готов работать поваром в забегаловке, проверьте свои предпосылки. Одна из них может оказаться ложной.

Дагни вздрогнула: она вспомнила, что уже слышала такие слова, и слышала их от Франсиско. А ведь этот человек был одним из его учителей.

— Как вам угодно, доктор Экстон, — проговорила она. — Я не стану более расспрашивать вас. Но позволите ли вы задать вам вопрос на совершенно другую тему?

— Безусловно.

— Доктор Роберт Стадлер однажды сказал мне, что когда вы с ним преподавали в университете Патрика Генри, у вас было три любимых студента, три блистательных молодых человека,

которым вы предрекали великое будущее. Одним из них был Франсиско д'Анкония.

— Да. Другим был Рагнар Даннескьолд.

— А третьим?

— Его имя ничего вам не скажет. Он не стал знаменитым.

— Доктор Стадлер говорил, что вы конфликтовали с ним из-за этих парней, потому что видели в них своих сыновей.

— Конфликтовали? Куда ему… Он проиграл соперничество.

— Скажите мне, гордитесь ли вы тем, как проявили себя эти молодые люди?

Экстон глядел на пламя заката, угасавшее на далеких горах; на лице его застыло выражение, подобающее отцу, чьи сыновья исходят кровью на поле боя. Он проговорил:

— Горжусь, и притом в большей степени, чем когда-то надеялся.

Уже почти совершенно стемнело. Экстон резко повернулся, извлек из кармана пачку сигарет, достал одну, но остановился, вспомнив о присутствии Дагни, словно успел позабыть о ней на мгновение, и предложил ей закурить. Дагни взяла сигарету, он поднес горящую спичку и тут же погасил ее, оставив две светящихся

точки в застекленной комнате и на всем пространстве вокруг.

Поднявшись с места, Дагни заплатила по счету и сказала:

— Благодарю вас, доктор Экстон. Я не стану досаждать вам мольбами и хитростями. Я не стану нанимать детективов. Но я считаю себя обязанной сказать вам, что не сдамся и продолжу поиски изобретателя мотора. Я найду его.

— Лишь в тот день, когда он сам захочет встретиться с вами.

Пока она шла к своей машине, Экстон погасил свет в зале; посмотрев на стоявший возле дороги почтовый ящик, она обратила внимание на совершенно немыслимую подробность — на нем так и было написано: «Хью Экстон».

Дагни успела далеко отъехать по извилистой дороге, и вывеска кафе давно исчезла из виду, когда она обратила внимание на то, что вкус сигареты ей приятен: он заметно отличался от всего, что ей приходилось курить. Поднеся оставшийся окурок к светящейся приборной доске, она попыталась прочитать имя производителя. Имени не было, его заменяла торговая марка. На тонкой белой бумаге золотом был оттиснут знак доллара.

Дагни с любопытством уставилась на него: ей не приводилось встречать ничего подобного.

А потом она вспомнила о старике в сигаретном ларьке на Терминале, или вокзале «*Таггерт*», как его называли раньше, и, улыбнувшись, подумала, что прибережет этот экземпляр для его коллекции. Загасив окурок, она опустила его в сумочку.

Поезд номер 57 уже вытянулся на пути, собираясь отправиться в путь до «*Узла Уайэтт*», когда она добралась до Шайенна, оставила автомобиль в том гараже, где взяла его напрокат, и вышла на платформу таггертовского вокзала. До прибытия направлявшегося на восток нью-йоркского экспресса оставалось полчаса. Подойдя к самому концу платформы, Дагни устало прислонилась к фонарному столбу; она не хотела, чтобы станционные работники заметили и узнали ее. На полупустой платформе собрались несколько групп людей; шел живой разговор, и газеты фигурировали в нем чаще обычного.

Она посмотрела на освещенные окна 57-го, видя в них уют и отдых, память о великом достижении. Поезду номер 57 предстояло вот-вот отправиться по ветке «*Линия Джона Голта*», сквозь города, мимо крутых склонов гор, мимо

зеленых огней семафоров, возле которых стояли веселые люди, и долин, откуда в летнее небо взмывали ракеты… Теперь к крышам вагонов тянулись голые ветви, на них крючилась последние сухие листья; поднимавшиеся в вагоны пассажиры кутались в меха и теплые шарфы. Для них это стало уже обычным, повседневным делом, свою поездку они воспринимали как данность…

«Мы сделали это, — подумала Дагни, — *сделали по крайней мере это»*.

Она почти замкнулась в себе, когда ее внимание вдруг привлек разговор двоих оказавшихся за ее спиной мужчин.

— Но законы просто нельзя принимать подобным образом, настолько быстро… Слишком быстро!

— Но это не законы, это директивы.

— Значит, они незаконны.

— Нет, потому что законодатели в прошлом месяце приняли закон, разрешающий им издавать директивы.

— Не думаю, что директивы можно обрушивать на людей вот так… как гром среди ясного неба.

— Ну разве есть время на пустые разговоры, когда речь идет о национальных интересах.

— Едва ли это справедливо, потом, ничего ведь не стыкуется! Как выйдет из положения Риарден, если здесь сказано…

— Что тебе до Риардена? Он достаточно богат. Он найдет способ выпутаться.

Бросившись к ближайшему киоску, Дагни купила вечернюю газету.

Все было на первой странице. Уэсли Моуч, Верховный координатор Бюро экономического планирования и национальных ресурсов, предупреждая события и во имя общенациональных интересов, гласила газета, выпустил ряд директив.

Железным дорогам страны было указано ограничить максимальную скорость поездов шестьюдесятью милями в час, ограничить максимальную длину составов шестьюдесятью вагонами и пускать равное количество поездов в каждых пяти соседних штатах, причем для этой цели страна поделена на соответствующие зоны.

Сталелитейные заводы страны получили предписание ограничить максимальное производство любого металлического сплава объемом, равным производительности других предприятий той же мощности, и предоставлять долю своей продукции любому покупателю, желающе-

му ее получить.

Всем производственным предприятиям страны вне зависимости от их размера и природы было запрещено оставлять места нынешней дислокации без особого на то разрешения Бюро экономического планирования и национальных ресурсов.

Чтобы компенсировать железным дорогам дополнительные расходы и смягчить процесс перестройки, был объявлен пятилетний мораторий на выплату процентов и вкладов по всем ценным бумагам железнодорожных компаний — гарантированным и негарантированным, конвертируемым и неконвертируемым.

Чтобы получить средства для содержания чиновников, следящих за выполнением указанных директив, штат Колорадо был обложен особым налогом как наиболее крепкий среди всех прочих и способный выдержать всю тяжесть экстренной ситуации в размере пяти процентов от общей суммы продаж всех его промышленных концернов.

И тут Дагни вскрикнула, позволив себе те запретные слова, произносить которые не позволяла ей гордость, требовавшая, чтобы она самостоятельно находила выход из любой си-

туации… В нескольких шагах от нее оказался мужчина, она даже не заметила, что это простой оборванец, и воскликнула только потому, что происходящее было немыслимо, а он случайно оказался рядом:

— Что же нам теперь делать???

С безрадостной ухмылкой опустившийся тип молвил:

— А кто такой Джон Голт?

Особый ужас в нее вселяло не положение «*Таггерт Трансконтинентал*», не мысль о раздираемом на части Хэнке Риардене — она боялась за Эллиса Уайэтта. Заслоняя собой все остальное, делая его не столь острым, второстепенным, перед ней стояли две картины: невозмутимый Эллис Уайэтт, бросающий ей упрек перед ее столом: «Теперь вы можете погубить меня; возможно, мне придется уйти, но, если это произойдет, я постараюсь захватить с собой и всех вас…», и та ярость в движении Эллиса Уайэтта, с которой он швырнул бокал в стену.

Картины эти создавали в душе ее единственное ощущение — ощущение близкого, немыслимого несчастья и того, что она обязана его предотвратить. Надо было найти Эллиса Уайэтта и остановить его. Дагни не знала, с чем именно

придется ей столкнуться, она понимала только одно: Уайэтта надо остановить.

И твердо помня, что первейшая обязанность человека заключена в действии — лежи он под развалинами здания, будь он разорван на части при воздушном налете, что бы он ни чувствовал, — Дагни бросилась бежать по платформе, и, завидев начальника станции, крикнула ему:

— Задержите Пятьдесят седьмой, я приказываю! — а потом метнулась к прятавшейся в темноте телефонной будке и назвала оператору междугородней связи номер Эллиса Уайэтта.

Она стояла с закрытыми глазами, привалившись к стене будки, прислушиваясь к мертвому жужжанию металла, превращавшемуся в далекий звонок. Ответа не было. Гудок ввинчивался в ухо, новыми и новыми спазмами сотрясая все ее тело.

Дагни вцепилась в трубку так, словно именно из-за нее Уайэтт не подходит к телефону.

Ей хотелось, чтобы звонок стал громче. Она совсем забыла о том, что раздававшийся у ее уха сигнал совсем не тот, что звучит сейчас в доме Уайэтта. Она не замечала, что кричит: «Эллис, не надо! Не надо! Не надо...» — пока не услышала полный холодной укоризны голос телефонистки:

— Ваш абонент не отвечает.

Сидя у окна в купе поезда номер 57, Дагни прислушивалась к стуку колес по рельсам из риарден-металла. Она сидела, покорно покачиваясь в такт движению вагона. За черным блестящим стеклом проплывал край, который она не хотела видеть. Это была ее вторая поездка по новой ветке, и Дагни старалась не вспоминать о первой.

Пайщики, думала она, пайщики «*Линии Джона Голта*» — это ей, под ее честь доверили они свои деньги, сбереженные и скопленные за годы упорного труда; они поверили в ее способности, они полагались на ее трудолюбие, как на свое собственное, и ее, Дагни Таггерт, заставили передать их в руки грабителей: не будет больше никаких поездов, не будет грузов, линия будет превращена в трубу, позволяющую Джиму Таггерту высосать из пайщиков деньги и положить в свой карман, не заработав их, лишь в награду за то, что позволит другим обобрать собственную дорогу… Облигации «*Линии Джона Голта*», еще утром бывшие гордым залогом экономической стабильности и будущего владельцев, за какой-то час превратились в резаную бумагу, которую не купит никто… в бумагу, не имеющую цены, будущего, силы — кроме той, что нужна,

дабы захлопнуть двери и остановить колеса последней надежды страны… И «*Таггерт Трансконтинентал*» превратилась из живого растения, питающегося производимыми им самим соками, в каннибала, пожирающего не рожденных еще детей, которые могли бы стать великими.

Налог на Колорадо, подумала она, деньги, которые хотят взимать с Эллиса Уайэтта на оплату существования тех, кто намеревается связать его, лишить самой возможности существования, тех, кто будет заботиться о том, чтобы он не получил поездов, цистерн, трубопровода из риарден-металла… С Эллиса Уайэтта, лишенного права на защиту, лишенного права голоса, оружия, и, что хуже всего, превращенного в инструмент саморазрушения, помощника тех, кто губит его, производителя их пищи и орудий труда… С удушаемого Эллиса Уайэтта, чья светлая энергия обращена против него самого и преобразована в удавку… С Эллиса Уайэтта, стремившегося превратить нефтеносные сланцы в неиссякаемый источник горючего… С Эллиса Уайэтта, предвкушавшего второй Ренессанс…

Дагни сидела, согнувшись, положив голову на руку, опущенную на узкий карниз окна, а мимо в темноте пролетали плавные изгибы

иссиня-зеленых рельсов, горы, долины и новые города Колорадо.

Дернувшийся на тормозах вагон заставил ее распрямиться. Остановка была непредусмотренной; платформу небольшой станции запрудили люди, смотревшие в одну и ту же сторону. Пассажиры бросились к окнам. Вскочив на ноги, Дагни побежала по проходу между кресел, спустилась вниз по ступенькам на продуваемую ветром платформу.

Трагедию она заметила сразу, и отчаянный крик ее прорезал глухой ропот толпы; именно это она и ожидала увидеть, именно этого и боялась. Между двух гор, новой зарей освещая все небо, горы, крыши и стены станционных зданий, над нефтепромыслом «*Уайэтт Ойл*» стояла сплошная стена пламени.

Потом ей сказали, что Эллис Уайэтт исчез, оставив после себя только доску, прибитую гвоздями к столбу у подножия горы… Увидев на доске выведенную его почерком надпись, она поняла, что ждала увидеть именно эти слова: «Оставляю все таким, каким оно было до моего прихода. Берите. Оно ваше».

ЧАСТЬ II
Или-или

ГЛАВА I. ЧЕЛОВЕК ЗЕМЛИ

Доктор Роберт Стэдлер мерил шагами свой кабинет, кляня холод.

Весна в этом году припозднилась. За окном мертвенная серость холмов выглядела естественным переходом от грязноватой белизны неба к свинцовой черноте реки. Время от времени небольшой участок одного из далеких склонов вдруг становился серебристо-желтым, даже зеленоватым, но практически тут же цветовое пятно исчезало. Облака, узко рассеченные солнечным лучом, вновь сходились, отсекая его от земли.

«Дело не в том, что плохо топят, — думал доктор Стэдлер. — Холодно делается от вида за окном».

«Сегодня не такой уж мороз, — продолжал думать он. — Просто за зимние месяцы холод до такой степени накопился в костях, что пришлось прервать работу, отвлечься на бытовые проблемы, вроде плохого отопления, и разговоры о необходимости экономии топлива».

«Это нелепо, — думал он. — Природа все больше влияет на жизнь и дела людей. Раньше такого не было и в помине».

Даже если зима выдавалась более суровой,

чем обычно, если прорвавший дамбу поток смывал участок железнодорожного полотна, людям не приходилось две недели есть только консервированные овощи. Если молния попадала в силовую подстанцию, такое учреждение, как Государственный научный институт, не оставалось без электричества на целых пять дней.

«Пять дней бездействия, — думал он. — Остановившиеся двигатели, обесточенные приборы, безвозвратно потерянные часы, которые его сотрудники могли бы потратить на познание тайн Вселенной».

Он в сердцах отвернулся от окна, на мгновение замер, вновь повернулся к окну. Не хотел смотреть на книгу, которая лежала на его столе.

Ну и где же этот доктор Феррис? Он взглянул на часы. Доктор Феррис опаздывал — удивительное дело — опаздывал на встречу с ним. Доктор Флойд Феррис, лакей от науки, который всем своим видом выказывал готовность извиниться за то, что может снять перед ним только одну шляпу.

«И эта невероятная для мая погода, — думал Стэдлер, глядя на реку. — Конечно же, именно погода, а не книга так испортила мне настроение».

Книгу он положил на самое видное место, и ко-

гда понял, что даже смотреть на нее не хочет, то начал испытывать к ней не просто отвращение, а еще и другое чувство, признавать которое не хотелось. Он убеждал себя, что подняться из-за стола его заставила не лежащая на нем книга, а желание размяться, согреть замерзшее тело. Он кружил по кабинету, между столом и окном. И уже решил, что отправит книгу в корзину для мусора, где ей было самое место, сразу же после разговора с доктором Феррисом.

Взгляд его вновь задержался на пятне солнечного света и зелени на склоне далекого холма, обещании весны в мире, который выглядел до сих пор так, будто в нем уже никогда не вырастет трава, не распустятся почки. Его глаза радостно вспыхнули, а когда луч погас, он почувствовал укол острой тоски. Ему так хотелось, чтобы яркое пятно не пропадало, а наоборот, ширилось, захватывая всю землю. Он вдруг вспомнил интервью, которое этой зимой брал у него известный писатель. Писатель приехал из Европы, чтобы написать о нем статью, и он, который всегда терпеть не мог интервью, говорил много и долго, слишком долго, увидев перед собой интеллектуала, в отчаянной надежде, что тот сумеет донести до читателей его мысли. Статья вышла. Писатель

расхваливал автора, как мог, попутно исказив до неузнаваемости все идеи. Закрывая журнал, Стэдлер испытывал те же чувства, что и сейчас, когда облака в очередной раз разделили солнце и землю.

«Хорошо, — размышлял он, отворачиваясь от окна, — я должен признать, что иногда приступы одиночества одолевают меня; но я *обречен* на такое одиночество, это жажда ответной реакции живого, думающего разума. Я так устал от всех этих людей, — думал он с пренебрежением и горечью. — Я исследую космические лучи, а они не могут справиться с последствиями грозы».

Он почувствовал, как дернулись губы, словно пощечина запретила ему подобные мысли, и уже смотрел на книгу в сверкающей суперобложке, опубликованную лишь двумя неделями раньше.

«Но я не имею к ней никакого отношения!» — мысленно крикнул он себе, и крик этот, казалось, растворился в безжалостной тишине. Ничто не ответило на него, даже эхо, подтвердившее бы его слова. На суперобложке красовалось хлесткое название: «ПОЧЕМУ ВЫ ДУМАЕТЕ, ЧТО ВЫ ДУМАЕТЕ?»

Ни единого звука не раздавалось в безмол-

вии его сознания, напоминающем тишину зала судебных заседаний, там не звучали ни слова жалости, ни голос защиты, оставались лишь абзацы, которые впитала в себя его блестящая память. «Мысль — примитивное суеверие. Здравомыслие — иррациональная идея. Наивная убежденность в том, что мы способны думать, — ошибка, которая обошлась человечеству дороже любой другой».

«Мысли, которые вроде бы возникают в вашей голове, — иллюзия, создаваемая железами, эмоциями и, судя по последним данным, содержимым вашего желудка».

«Серое вещество, которым вы так гордитесь, не более чем кривое зеркало в парке развлечений, от которого вы не получаете ничего, кроме искаженных сигналов из недоступной вам реальности».

«Чем больше ваша уверенность в собственных умозаключениях, тем выше вероятность того, что вы ошибаетесь. Ваш мозг — инструмент искажения: чем он активнее, тем сильнее создаваемое им искажение действительности».

«Титаны мысли, которыми вы так восхищаетесь, когда-то учили вас, что земля плоская, а атом — мельчайшая частица материи. Вся исто-

рия науки — длинная череда вскрытых ошибок, а не достижений».

«Чем больше мы знаем, тем острее осознаем, что мы ничего не знаем».

«Только самые невежественные все еще держатся за принцип: что вижу, тому и верю. Увиденному нельзя верить в первую очередь».

«Ученый знает, что камень — вовсе не камень. Фактически он ничем не отличается от пуховой подушки. И то и другое — объемное образование невидимых, вращающихся частиц. Но, скажете вы, камень нельзя использовать как подушку? Что ж, сие лишь доказывает вашу беспомощность перед лицом истинной реальности».

«Последние научные открытия, скажем, выдающиеся достижения доктора Роберта Стэдлера, окончательно продемонстрировали, что наш разум не способен охватить природу Вселенной. Эти открытия позволили ученым выявить противоречия, сосуществование которых, согласно человеческим представлениям, невозможно, но в реальности они существуют. Возможно, вы об этом еще не слышали, мои дорогие, отставшие от жизни друзья, но уже доказано: рациональное и есть безумное».

«Не рассчитывайте на причинно-следствен-

ную связь. Есть только противоречия всему остальному. Нет ничего, кроме противоречий».

«Не ищите *здравый смысл*. Поиски *смысла* — критерий бессмыслия. В природе смысла нет. Его нет ни в чем. Если кто и пытается найти *смысл*, так это усердные юные «синие чулки», которые не могут завести бойфренда, и ретрограды-лавочники, думающие, что Вселенная столь же проста, как перечень имеющихся в лавке товаров да любимый кассовый аппарат».

«Давайте разобьем цепь предрассудков, именуемую логикой. Итак, вы думаете, что уверены в собственном мнении? Ни в чем нельзя быть уверенным. Вы собираетесь поставить под удар упорядоченную жизнь вашего городка, дружбу с соседями, положение в обществе, репутацию, доброе имя и финансовую безопасность… ради иллюзии? Во имя миража? Вы готовы идти на риск и обращаться в суд в столь опасное время, как наше, противопоставляя себя существующему общественному порядку, отстаивая те воображаемые представления, которые вы называете своими убеждениями? Вы говорите, что уверены в своей правоте? Правого нет и быть не может. Вы чувствуете, что в окружающем вас мире что-то не так? У вас нет возможности это

знать. Для человеческого глаза все не так… и чего с этим бороться? Не спорьте. Принимайте все, как есть. Приспосабливайтесь. Повинуйтесь».

Книгу написал доктор Флойд Феррис, а опубликовал Государственный научный институт.

— Я не имел к этому никакого отношения! — отчеканил доктор Роберт Стэдлер. Он все еще стоял у стола, и у него возникло неприятное ощущение, будто он на какое-то время отключился и теперь не знал, как долго был неподвижен. Слова эти он произнес вслух, с едким сарказмом, адресованным тому, кто заставил его их произнести.

Он пожал плечами. Смеяться над собой — не грех, а пожатие плеч являлось эмоциональным эквивалентом высказывания: «Ты — Роберт Стэдлер, так что не уподобляйся школьнику-неврастенику». Он сел за стол, отодвинул книгу в сторону.

Доктор Флойд Феррис опоздал на полчаса.

— Извините, но мой автомобиль сломался по пути из Вашингтона, и у меня ушло чертовски много времени, чтобы найти человека, который смог его починить. Машин на дороге становится все меньше, и половина ремонтных мастерских закрылась.

В голосе преобладало раздражение. Доктор Феррис сел, не дожидаясь приглашения. В любой другой профессии он бы не мог претендовать на успех, но доктор Феррис выбрал науку, и его всегда называли «этот симпатичный ученый». В свои сорок пять лет, при шести футах роста, ему удавалось выглядеть выше и моложе.

Одевался он с иголочки, двигался с грацией танцора, но вольностей в одежде себе не позволял, отдавая предпочтение черному и темно-синему. Над верхней губой темнела аккуратная полоска усов, и институтские остряки утверждали, что волосы у него такие гладкие и черные лишь по одной причине: он мажет их тем же кремом, что и туфли. Доктор Феррис любил повторять, вроде бы подтрунивая над самим собой, что однажды кинопродюсер предложил ему сыграть роль прожженного европейского жиголо. Научную карьеру он начинал биологом, но то время давно ушло. Известность же получил как главный координатор Государственного научного института.

Доктор Стэдлер изумленно воззрился на него: неслыханное дело — на извинения хватило одного слова.

— Похоже, вы проводите в Вашингтоне много времени, — сухо заметил он.

— Но, доктор Стэдлер, разве не вы однажды похвалили меня, назвав сторожевым псом науки? — добродушно ответил доктор Феррис. — Вот я и считаю, что это моя главная обязанность.

— Такое ощущение, что вы готовы выполнять свои обязанности где угодно, только не в институте. Но, пока не забыл, вас не затруднит объяснить мне, откуда у нас это безобразие с нехваткой топлива?

Он не мог понять, с чего это вдруг лицо доктора Ферриса напряглось и приобрело обиженное выражение.

— Позвольте, но я не ожидал от вас подобных слов, — заговорил он официальным тоном, делающим говорящего мучеником без видимых причин. — Никто из руководства не нашел повода для критики. Мы только что отправили подробный доклад о достигнутых результатах в Бюро экономического планирования и национальных ресурсов, и мистер Уэсли Моуч остался крайне им доволен. В этом проекте мы показали себя с самой лучшей стороны. И не заслуживаем осуждения. Учитывая пересеченность местности, сильнейший пожар и сам факт, что прошло только шесть месяцев с того момента, как мы…

— О чем вы говорите? — прервал его доктор

Стэдлер.

— О Восстановительном проекте Уайэтта. Разве вы спросили меня не об этом?

— Нет, — покачал головой доктор Стэдлер, — нет, я… Подождите. Давайте разберемся. Я вроде бы вспоминаю, что институт взялся за какой-то восстановительный проект. Так что мы восстанавливаем?

— Добычу нефти, — ответил Феррис. — Нефтяные промыслы Уайэтта.

— Там был пожар, не так ли? В Колорадо? Этот… минутку… этот человек поджег собственные нефтяные поля.

— Я склонен верить, что это слух, порожденный истеричной общественностью, — высказал свое мнение Феррис. — Все эти газетные истории не заслуживают внимания. Я не сомневаюсь, что этот пожар — несчастный случай, и Эллис Уайэтт погиб в огне.

— Так кому сейчас принадлежат промыслы?

— На текущий момент — никому. Уайэтт не оставил завещания, наследников у него нет, поэтому государство взяло на себя управление месторождением на семь лет, учитывая общественную важность его регулярной эксплуатации. Если Эллис Уайэтт не объявится за этот

период, его официально признают умершим.

— А почему они пришли к вам… то есть к нам? Мы же не занимаемся добычей нефти.

— Высокая технологическая сложность поставленной задачи требует вмешательства лучших умов науки. Речь идет о восстановлении особого метода извлечения нефти, изобретенного Уайэттом. Его оборудование на месте, хоть и пришло в плачевное состояние. Частично технология известна, но почему-то полное описание процесса и его базовый принцип отсутствуют. Их нам и предстоит воссоздать.

— И как продвигается дело?

— Кое-что обнадеживает. Выделены крупные ассигнования. Мистер Моуч доволен нашей работой. Кстати, как и мистер Бэлч из Комиссии по чрезвычайным ситуациям, мистер Андерсон из Комитета по стратегическим запасам и мистер Петтибоун из Общества защиты прав потребителей. Не знаю, можно ли ожидать от нас большего. Проект успешно развивается.

— Вам удалось добыть нефть?

— Нет, но из одной из скважин получено примерно шесть с половиной галлонов. Объем, безусловно, имеет, скорее, экспериментальное значение, но необходимо принять во внимание

тот факт, что на ликвидацию пожара ушло три месяца, и огонь полностью… почти полностью погашен. Наши проблемы сложнее тех, с которыми столкнулся Уайэтт. Он исправлял мелкие неполадки, а мы имеем дело с разрушениями вследствие преступного, антиобщественного саботажа, который… В общем я хочу сказать, проблема сложна, но мы, без сомнения, справимся с ней.

— Но я хотел спросить вас о нехватке нефти здесь, у нас в институте. Всю зиму в здании было возмутительно холодно. Мне сказали, что топливо приходится экономить. Уверен, вы можете проследить за тем, чтобы нас снабжали лучше.

— Ах, вы об этом, доктор Стэдлер… Извините! — на лице доктора Ферриса расцвела улыбка облегчения, и он снова заговорил, пытаясь добиться расположения собеседника: — Вы хотите сказать, что температура настолько низкая, что доставляет вам неудобства?

— Я хочу сказать, что промерз до костей.

— Это непростительно! Почему мне до сих пор не доложили? Прошу принять мои персональные извинения, доктор Стэдлер и уверения в том, что такого больше не повторится. Наш отдел снабжения может извинить только одно: недо-

статок горючего — не их недосмотр. Я понимаю, вам необязательно это знать, подобные мелочи не должны занимать ваше бесценное внимание, но, видите ли, нехватка горючего этой зимой привела к общенациональному кризису.

— Вот как? Только, ради всего святого, не говорите мне, что эти несчастные прииски Уайэтта — единственный источник нефти в стране!

— Нет-нет, но неожиданный выход из строя крупнейшего месторождения вызвал панику на всем нефтяном рынке. Правительству пришлось ввести строгий контроль и нормирование топлива по всей стране, чтобы защитить важнейшие предприятия. Я выбил для института небывало высокую квоту только благодаря особому расположению и связям в коридорах власти, но смиренно признаю свою вину, если квота оказалась недостаточной. Уверяю вас, такое случилось в первый и последний раз. Просто временные трудности. К следующей зиме промыслы Уайэтта заработают, и условия вернутся к норме. Кстати, я отдал необходимые распоряжения перевести котельные института на уголь, к следующему месяцу работы могли бы уже быть закончены. Но тут внезапно в Колорадо без предупреждения закрылся «*Литейный завод*

Стоктон», тот самый, что производил сменные части для наших котельных. Эндрю Стоктон совершенно неожиданно отошел от дел, и теперь придется подождать, пока его племянник не запустит завод вновь.

— Понятно. Что ж, надеюсь, что кроме прочих забот вы займетесь и этим, — доктор Стэдлер с досадой пожал плечами. — Даже смешно, с каким количеством промышленных предприятий приходится связываться.

— Но, доктор Стэдлер…

— Знаю, знаю, этого невозможно избежать. Кстати, что такое проект «Икс»?

Доктор Феррис бросил на него короткий взгляд — настороженный, но не испуганный.

— Откуда вам известно о проекте «Икс», доктор Стэдлер?

— Я слышал, как двое ваших молодых ребят что-то о нем говорили, напустив тумана, как детективы-любители. Они сказали мне, что проект очень секретный.

— Это верно, доктор Стэдлер. Крайне секретный исследовательский проект, доверенный нам правительством. Особенно важно, чтобы газеты не узнали о нем ни слова.

— Что означает «Икс»?

— «Ксилофон». Проект «Ксилофон». Название, разумеется, закодировано. Суть работы никак не связана с названием. Но я уверен, что вам это будет неинтересно. Чисто технологическая разработка.

— У меня нет времени на ваши технологические затеи.

— Позвольте попросить вас, доктор Стэдлер, не упоминать в разговорах о проекте «Икс».

— Хорошо, хорошо. Должен сказать, что не приветствую подобные дискуссии.

— Разумеется! Я не прощу себе, что отнял у вас столько времени. Уверяю, можете все предоставить мне, — он показал, что хочет подняться. — Если вы пригласили меня по этому вопросу, позвольте вас уверить, что…

— Нет, — медленно проговорил доктор Стэдлер. — Я хотел вас видеть не за этим.

Феррис продолжал сидеть, больше не задавая вопросов.

Доктор Стэдлер потянулся и презрительно подтолкнул книгу к центру стола.

— Пожалуйста, — попросил он, — скажите, что это за непристойность?

Доктор Феррис даже не взглянул на стол. Он посмотрел прямо в глаза Стэдлера, потом откинулся

в кресле и сказал со странной улыбкой:

— Я польщен, что вы сделали для меня исключение и прочитали популярную книгу. Это маленькое произведение за две недели разошлось тиражом в двадцать тысяч экземпляров.

— Я прочел его.

— И?

— Я требую объяснений.

— Текст вас разочаровал?

Доктор Стэдлер посмотрел на него в замешательстве:

— Вы хоть отдаете себе отчет, какую тему избрали для обсуждения и в какой манере? Один стиль чего стоит, а дурно пахнущее отношение к столь важному предмету?!

— Так вы считаете, что содержание требует более достойной формы представления? — его голос звучал так невинно, что доктор Стэдлер не смог уловить насмешки.

— Вы понимаете, *что* проповедуете в этой книжонке?

— Раз вы не одобряете ее, доктор Стэдлер, считайте, что я написал это по наивности. Мне бы так хотелось.

«Да-а, — подумал доктор Стэдлер, — непостижимое свойство Ферриса: ему достаточно *просто*

выслушать в свой адрес критику, а все остальное его не трогает».

— Если бы у пьяного хама хватило сил выразить себя и излить свою суть на бумаге — беспросветную дикость, ненависть к разуму — именно такую книгу я ожидал бы увидеть в результате. Но знать, что она вышла из-под пера ученого, да еще и с грифом нашего института!..

— Но, мистер Стэдлер, эта книга вовсе не рассчитана на внимание ученых. Она написана как раз для того самого пьяного хама.

— Что вы хотите этим сказать?

— Для широкой публики.

— Господи! Да ведь любой распоследний дурак способен заметить вопиющие противоречия в каждом вашем высказывании.

— Скажем иначе, доктор Стэдлер: каждый, кто их *не* видит, достоин того, чтобы верить всем моим утверждениям.

— Но вы освятили вашу несусветную чепуху престижем науки! Все это впору сомнительной посредственности вроде Саймона Притчетта, пусть себе порет под кайфом мистическую чушь, все равно его никто не слушает. Вы заставляете думать, что *это* наука! Наука! Вы используете достижения разума для разрушения самого разума.

По какому праву вы использовали мою работу для необоснованного и абсурдного вторжения в другую область, притянули за уши негодные метафоры, вывели чудовищные обобщения из чисто математической проблемы? По какому праву вы заявили, что я… *Я* дал санкцию на издание этой книги?

Доктор Феррис спокойно, не мигая, смотрел на доктора Стэдлера.

— Доктор Стэдлер, вы говорите так, словно книга предназначалась мыслящей аудитории. В этом случае пришлось бы оперировать такими категориями, как достоверность, обоснованность, логичность и престиж науки. Верно? Но книга адресована публике. А вы сами всегда говорите, что публика не думает, — он замолчал, но Стэдлер ничего не ответил, и Феррис продолжил:

— Эта книга не может иметь философской ценности, но ее психологическая польза велика.

— Какая польза?

— Понимаете, доктор Стэдлер, люди не хотят думать. И чем глубже пропасть, в которую они попали, тем меньше им хочется думать. Интуитивно они понимают: думать необходимо, это рождает в них чувство вины, поэтому они боготворят каждого, кто оправдывает их неже-

лание мыслить; они готовы следовать за всяким человеком, способным превратить в добродетель, причем *высокоинтеллектуальную добродетель*, то, что другие привыкли считать грехом, слабостью и виной.

— И вы предлагаете этому потворствовать?

— Это путь к известности.

— Зачем вы добиваетесь известности?

Глазки доктора Ферриса будто мимоходом скользнули по лицу доктора Стэдлера.

— Как всякий государственный институт, мы живем на общественные средства, — будничноответил он.

— И поэтому вы говорите людям, что наука — пустое мошенничество, которое следует упразднить?

— С точки зрения логики такой вывод из моей книги можно сделать. Но они его не сделают.

— А как быть с репутацией института, запятнанной в глазах интеллигенции, если таковая еще осталась?

— Зачем нам о ней волноваться?

Доктор Стэдлер счел бы сентенцию приемлемой, будь она вызвана ненавистью, завистью или злобой; но полное отсутствие в голосе Ферриса эмоций, невозмутимость и легкость, подразу-

мевающая смешок, кольнули его, спровоцировав краткое ощущение нереальности, скользнувшее в желудок холодным комком ужаса.

— Вы ознакомились с отзывами на мою книгу, мистер Стэдлер? Ее приняли доброжелательно.

— Да, и мне в это трудно поверить, — ему приходилось отвечать так, словно он участвовал в ученом диспуте, но у него не было времени справиться с эмоциями. — Я не могу понять, почему вы вызвали такой интерес у уважаемых научных журналов, и отчего они позволили себе всерьез обсуждать вашу книгу. Будь рядом Хью Экстон, ни одно академическое издание не стало бы рассматривать ее с позиций философии.

— Его нет рядом.

Доктор Стэдлер чувствовал: есть слова, которые вот-вот сорвутся у него с языка, но ему уже давно хотелось закончить беседу.

— С другой стороны, — напомнил доктор Феррис, — а я уверен, что вы не обратили на это внимания, — на обложке цитируется весьма лестный отзыв, полученный мною от мистера Уэсли Моуча.

— Кто такой, черт возьми, этот мистер Уэсли Моуч?

Феррис улыбнулся:

— Через год, мистер Стэдлер, даже вы не зададите этот вопрос. Скажем так: мистер Моуч — тот человек, который в настоящее время квотирует отпуск нефти.

— Тогда я предлагаю вам вернуться к работе. Договаривайтесь с мистером Моучем, пусть он занимается нефтью, а мне оставьте мир идей.

— Было бы забавно попытаться обозначить границу между ними, — по тону чувствовалось, что Феррис озвучивает прописную истину. — Но, коль скоро мы говорим о моей книге, мы затрагиваем и связи с общественностью, — он повернулся и указал на математические формулы, написанные мелом на доске: — Доктор Стэдлер, прискорбно даже думать о том, что вопросы связей с общественностью могут оторвать вас от работы, которую лишь вы один на всей земле способны выполнять.

Слова были сказаны с явным подобострастием, и доктор Стэдлер не мог бы объяснить, почему он услышал в них другую фразу: «Пиши уж лучше на доске свои формулы!»

Почувствовав болезненное раздражение, он обратил его на себя, сердито подумав, что пора избавляться от галлюцинаций.

— Связи с общественностью? — пренебрежи-

тельно сказал он. — Я не вижу никакой практической пользы от вашей книги. Не понимаю, какую задачу она выполняет.

— В самом деле? — Феррис вновь стрельнул в него глазками. Искорка наглости мелькнула так быстро, что, возможно, Стэдлеру просто почудилось.

— В приличном обществе я могу себе позволить обсуждать далеко не все, тем более в подробностях, — сухо произнес Стэдлер.

— Совершенно точно, — с готовностью подтвердил доктор Феррис и поднялся, давая понять, что разговор окончен. — Прошу вас, вызывайте меня в любое время, если возникнут какие-то неудобства, доктор Стэдлер, — заявил он. — Сочту за честь быть к вашим услугам.

Понимая, что должен подтвердить свой авторитет, подпорченный позорным осознанием того, что сам выбрал себе в заместители этого типа, доктор Стэдлер высокомерно, тоном саркастическим и грубоватым указал:

— Когда я вызову вас в следующий раз, потрудитесь сделать что-нибудь со своей машиной.

— Да, доктор Стэдлер, я сделаю все, чтобы больше не опаздывать, и прошу вас извинить меня. Моя машина доставляет мне кучу неприятно-

стей, она разваливается на части, и недавно я заказал новую, лучшую на рынке — «Хэммонд-кабриолет», но Лоренс Хэммонд на прошлой неделе покинул бизнес, без предупреждений и объяснений, и я попал впросак. Такие ублюдки, они как сквозь землю проваливаются. С этим нужно что-то делать.

Когда Феррис ушел, доктор Стэдлер устало опустился за стол, не желая больше никого видеть. Он чувствовал, что все равно ни один дорогой ему человек никогда больше не придет.

Он знал слова, которые не сумел произнести. Он не сказал, что подвергнет книгу публичному разоблачению и отвергнет ее ради честного имени института. Он не произнес этого вслух, опасаясь, что его угроза никак не повлияет на Ферриса, что Феррис в безопасности, а мир доктора Стэдлера потерял былую силу. И хоть он твердил себе, что позднее обдумает вопрос публичного протеста, знал, что не сделает этого.

Он бросил книгу в корзину для мусора.

Неожиданно и отчетливо ему представилось лицо, различимое в мельчайших деталях, молодое лицо, которое он долгие годы запрещал себе вспоминать. Он подумал: «Нет, *он* не читал этой книги, *он* не увидит ее, *он* умер, *он* должен был

умереть давным-давно…» Шок от страшного *знания* того, что именно этого человека он хотел бы увидеть больше всего на свете, и того, что на это нет никакой надежды, поскольку он мертв, вызвал острую боль.

Он не понимал, почему, когда зазвонил телефон и секретарша сказала, что звонит мисс Дагни Таггерт, он радостно схватил телефонную трубку, заметив при этом, что рука дрожит. Больше года он думал, что она никогда не захочет его видеть. Он услышал ее чистый бесстрастный голос, просивший о встрече.

— Да, мисс Таггерт, конечно, да, разумеется… В понедельник утром? Послушайте, мисс Таггерт, сегодня у меня в Нью-Йорке встреча, я мог бы заскочить к вам в офис во второй половине дня, если хотите… Нет, никакого беспокойства, я буду счастлив… Сегодня днем, мисс Таггерт, после двух, то есть часам к четырем.

Не было никакой встречи в Нью-Йорке. Но он не стал разбираться, что подвигло его на это. Лишь радостно улыбался, глядя на солнечное пятно на дальнем склоне холма.

* * *

Дагни, сохраняя спокойствие, вычеркнула из расписания поезд номер девяносто три и почувствовала даже некоторое удовлетворение. За последние шесть месяцев ей приходилось делать это много раз.

Настанет день, подумалось ей, когда она сможет проводить эту смертельную черту без малейшего усилия над собой. Поезд номер девяносто три, товарный состав, доставлял грузы в Хэммондсвилл, штат Колорадо.

Она понимала, что за этим последует: сначала сокращение прямых рейсов, потом уменьшение числа вагонов для Хэммондсвилла, прицепленных к хвостам поездов, едущих в другие города, затем явная нехватка пассажирских поездов, делавших остановку на железнодорожной станции Хэммондсвилл, и недалек был тот день, когда она вычеркнет Хэммондсвилл, Колорадо, с карты. Та же судьба ожидала узловую станцию Уайэтт и город Стоктон.

Дагни понимала, что после известия о том, что Лоренс Хэммонд отходит от дел, ожидать, надеяться и уповать на то, что его кузен, его адвокат или комитет местных граждан запустят

завод вновь, смысла нет. Она знала, что настало время пересмотреть расписание.

Это продолжалось меньше шести месяцев после ухода Эллиса Уайэтта, период, который газетчики весело прозвали «памятным днем для маленького человека». Каждый производитель нефти в стране, владевший тремя скважинами и нывший, что этот Эллис Уайэтт не оставляет ему шансов на выживание, поспешил подмять под себя пепелище, оставленное пожаром на крупнейшем нефтяном месторождении. Они объединялись в лиги, кооперативы, ассоциации, сливали акции в единые пулы. «Солнышко пригрело маленького человека», — писали газеты. Их солнцем стали языки пламени, вырывавшиеся из-под обломков «*Уайэтт Ойл*». В их сиянии они заработали состояния, которые им и не снились, бешеные деньги, не потребовавшие от них ни компетенции, ни усилий. Потом их крупнейшие клиенты, такие как электрические компании, поглощавшие нефть целыми грузовыми составами и не дававшие поблажек человеческой слабости, начали переходить на уголь, а клиенты поменьше, более скромные, стали просто выходить из бизнеса. Парни в Вашингтоне ввели нормирование потребления

нефти и запредельные налоги на ее производителей для поддержки безработных нефтяников. Потом закрылось несколько крупных нефтяных компаний, затем «маленькие люди под солнцем» обнаружили, что бурение скважины, которое стоило сотню долларов, сегодня обходится в пять сотен, рынка нефтяного оборудования не существует, из одной скважины нужно добывать столько, сколько прежде добывали из пяти, иначе прогоришь. Нефтепроводы прекращали работу: не стало денег на их обслуживание; железные дороги запросили разрешения поднять плату за грузовые перевозки, они перевозили меньше нефти, и дороговизна составов с нефтяными цистернами оказалась фатальной для двух небольших железных дорог. Солнце стало клониться к закату, и мелкие предприниматели увидели, что стоимость добычи, прежде позволявшая им выживать на участках в шестьдесят акров, которую обеспечивали квадратные мили месторождения Уайэтта, поднялась до заоблачных высот и скрылась в тех же клубах дыма. Пока их состояния не улучшились, а нефтяные насосы не остановились, мелкие нефтедобытчики так и не поняли, что ни один бизнесмен в стране не может больше позволить себе поку-

пать нефть по цене ее теперешней добычи. Тогда парни в Вашингтоне выделили субсидии добывающим компаниям, но не все производители имели друзей в коридорах власти, и возникла ситуация, изучить или обсудить которую никто не потрудился.

Эндрю Стоктон занимал положение, которому завидовало большинство бизнесменов. Лихорадка перехода на уголь свалилась на его плечи, словно груз золота: ему приходилось обеспечивать круглосуточную работу, чтобы успеть раньше зимних метелей построить как можно больше котельных. Надежных литейных производств осталось немного, он стал главной опорой всех кухонь и котельных страны. Опора рухнула без предупреждения. Эндрю Стоктон объявил, что отходит от дел, закрыл завод и исчез. Он не сказал ни слова о том, как считает нужным поступить с заводом и имеют ли право его родственники открыть его вновь.

На дорогах страны еще появлялись автомобили, но они напоминали путников, бредущих в пустыне среди выжженных солнцем скелетов лошадей: одни машины двигались мимо остовов других, павших в пути и брошенных в придорожных кюветах. Но еще оставались люди, которым

удавалось доставать топливо по знакомству, о котором никто не спрашивал. Эти люди покупали автомобили, не торгуясь. Свет заливал горы Колорадо из огромных окон завода, где конвейеры Лоренса Хэммонда гнали грузовики и автомобили к запасным путям «*Таггерт Трансконтинентал*». Весть о том, что Лоренс Хэммонд оставил дела, пришла, когда этого ожидали меньше всего, короткая и внезапная, как гром среди ясного неба. Комитет местных граждан транслировал по радио воззвания, умоляя Лоренса Хэммонда, где бы он ни был, дать разрешение на открытие завода. Ответа не последовало.

Дагни вскрикнула, когда ушел Эллис Уайэтт; она ахнула, когда отошел от дел Эндрю Стоктон; услышав, что Лоренс Хэммонд оставил бизнес, она апатично спросила: «Кто следующий?»

— Нет, мисс Таггерт, я не могу этого объяснить, — сказала ей сестра Эндрю Стоктона в ее последний приезд в Колорадо два месяца назад. — Он мне ни слова не сказал, я даже не знаю, жив он или умер, как Эллис Уайэтт. Нет, накануне ничего примечательного не случилось. Я только помню, что в тот последний вечер к нему приходил какой-то мужчина. Незнакомец, я его прежде никогда не встречала. Они прогово-

рили допоздна, — когда я ложилась спать, в окне кабинета Эндрю еще горел свет.

В городках штата Колорадо люди молчали. Дагни видела, как они бродили по улицам, мимо своих маленьких закусочных, скобяных и бакалейных лавок, словно надеясь, что мелькание магазинчиков спасет их от необходимости смотреть в будущее. Она тоже прошла по этим улочкам, стараясь не поднимать головы, чтобы не видеть закопченных камней и искореженного металла, оставшихся от нефтяных полей Уайэтта. Они виднелись в большинстве городков; стоило поднять голову, наблюдать можно было лишь развалины.

Одна скважина на самой вершине холма все еще горела. Никто не смог ее потушить. Дагни видела с улицы: огненный шлейф развевался на фоне неба, словно хотел оторваться и улететь. Она видела это и ночью, за сто миль, из окна поезда.

Люди прозвали его Факелом Уайэтта.

Самый длинный состав на дороге «*Линия Джона Голта*» насчитывал сорок вагонов; самый быстрый шел со скоростью пятьдесят миль в час. Двигатели приходилось беречь: они работали на угле, давным-давно выработав свой ресурс.

Джим получал топливо для дизелей, которые тянули его «*Комету*» и еще несколько трансконтинентальных составов. Единственный поставщик горючего, на которого Дагни могла рассчитывать и с кем имела дело, был Кен Данаггер из «*Данаггер Коул*» в Пенсильвании.

Пустые составы постукивали колесами через четыре соседних штата по направлению к Колорадо. Они везли несколько вагонов овец, немного зерна, немного арбузов и случайных пассажиров, семью фермера, у которого были друзья в Вашингтоне. Джим получил в Вашингтоне субсидию для каждого работающего состава не ради прибыли, а для обеспечения «равенства населения».

Дагни отдавала все силы, чтобы сохранить движение поездов в тех регионах, где в них еще нуждались, где еще теплилось производство. Но в балансовых сводках «*Таггерт Трансконтинентал*» чеки субсидий Джиму на пустые поезда содержали бóльшие цифры, чем прибыль, принесенная лучшим грузовым составом в самом оживленном промышленном районе.

Джим хвастал, что последние шесть месяцев — самые удачные в истории дела Таггертов. Но на глянцевых страницах его рапорта держа-

телям акций в графе «прибыль» были учтены деньги, которые он не заработал: субсидии за пустые поезда и деньги, которыми он не владел, — суммы, сэкономленные на уплате процентов и долгов компании Таггертов, которые, по распоряжению Уэсли Моуча, им разрешалось не выплачивать. Он похвалялся ростом грузовых перевозок в Аризоне, где Дэн Конвей закрыл последний завод «*Феникс-Дуранго*» и отошел от дел; и в Миннесоте — там Пол Ларкин перевозил по рельсам железную руду, и последние груженые баржи скрылись в туманах Великих озер.

— Ты всегда считала, что делать деньги — очень важная вещь, — сказал ей Джим со странной полуулыбкой. — Что ж, сдается мне, что в этом я преуспел больше, чем ты.

Никто не признавал открыто проблему замороженных долгов железных дорог, возможно, потому, что все слишком хорошо ее понимали. Во-первых, среди держателей облигаций начиналась паника, и еще больше волновалась общественность, во-вторых, Уэсли Моуч разослал еще одну директиву, обещавшую, что люди могут «разморозить» свои облигации, доказав «насущную необходимость» этого шага. Правительство скупит облигации, если сочтет доказательства

удовлетворительными. Оставалось ответить на три вопроса: «Что означает *доказательство*?», «Что означает *необходимость*?» и «Насущная — *для кого*?».

Вскоре стало дурным тоном рассуждать о том, почему один человек получил разрешение на размораживание своих денег, а другому отказали. Люди молча поджимали губы, услышав вопрос: «Почему?» Просто сообщали, но не объясняли; систематизировали факты, но не оценивали их: мистер Смит «разморожен», мистер Джонс — нет, вот и все. А когда мистер Джонс кончал жизнь самоубийством, люди говорили: «Ну не знаю, если бы ему действительно нужны были деньги, правительство дало бы их ему, но просто некоторые люди слишком жадные».

Не говорили о том, что люди, получив отказ, продавали облигации за треть их стоимости другим людям, которые чудесным образом превращали свои замороженные тридцать три цента в полновесный доллар; или о новой профессии, которой овладели бойкие мальчики, только пришедшие с институтской скамьи, называвшие себя «размораживателями» и предлагавшие «оформить вашу заявку по надлежащей современной форме». Мальчики имели друзей

в Вашингтоне.

Глядя с платформы провинциальной станции на рельсы компании Таггертов, Дагни поймала себя на том, что чувствует не былую гордость, а смутный стыд, словно на металле нарос слой ржавчины и даже хуже: словно в ржавчине присутствовал оттенок крови. Но потом, на пересечении путей, она всматривалась в статую Нэта Таггерта и думала: «Это твои пути, ты их создал, ты боролся за них, тебя не остановили бы ни страх, ни отвращение. И я не отступлю перед натиском крови и ржавчины, ведь я единственная, кто остался, чтобы защищать твою дорогу».

Она не прекращала поиски человека, создавшего мотор.

Это было единственной частью ее работы, позволявшей выдержать все остальное.

Это было единственной достижимой целью, придававшей смысл ее борьбе. Иногда, правда, она задавалась вопросом, зачем она хочет воссоздать мотор.

Казалось, какой-то голос спрашивает ее: «Зачем?» — «Потому что я еще жива», — отвечала она. Но ее поиски оставались тщетными. Два ее инженера ничего не нашли в Висконсине. Она послала их обыскать всю страну и найти

человека, который работал в «*Двадцатом веке*», и выяснить имя создателя мотора. Они не нашли ничего. Она послала их просмотреть папки Патентного бюро, но на мотор никогда не был выдан ни один патент.

Единственным, что осталось у нее от ее собственных поисков, был сигаретный окурок с отметкой «один доллар». Она не вспоминала о нем, пока однажды вечером он не попался ей под руку в ящике стола. Она показала его знакомому в табачном киоске на платформе. Старик изучил окурок, осторожно держа его двумя пальцами, и до крайности изумился: он никогда не слышал о такой марке, не мог же он ее пропустить. «Хороший был табак, мисс Таггерт?» — «Лучше я не курила». Он озадаченно покачал головой. Старик обещал узнать, где изготавливались сигареты и прислать ей блок.

Дагни пыталась найти ученого, способного реконструировать мотор. Она провела собеседования с людьми, рекомендованными ей как лучшие головы в своей области. Первый из них, изучив останки мотора и рукописи, заявил тоном инструктора по строевой подготовке, что эта штука работать не может, никогда не работала, и ему по силам доказать, что никогда

такой мотор не заставить работать. Другой, растягивая слова, словно отвечая на надоевший вопрос двоечника, сообщил, что не знает, можно ли его сделать, и не собирается это выяснять. Третий воинственно провозгласил, что может заняться этим вопросом по контракту на десять лет по двадцать пять тысяч долларов в год: «В конце концов, мисс Таггерт, если вы ожидаете получить от этого мотора огромные прибыли, вы должны оплатить мне рабочее время». Четвертый, самый молодой, минуту посмотрел на нее молча, и выражение его лица изменилось с бесстрастного на презрительное: «Знаете, мисс Таггерт, я не думаю, что такой мотор вообще нужно создавать, даже если кому-то удастся придумать, как это сделать. Он настолько превзойдет все ныне существующее, что это будет нечестно по отношению к мелким исследователям, поскольку для их достижений и способностей места уже не останется. Я не думаю, что сильный обладает правом ранить самоуважение слабого». Она выставила его из кабинета и сидела там в невероятном ужасе от сознания того, что самое порочное заявление, услышанное ею в своей жизни, высказано тоном морализирующего праведника.

Решение поговорить с доктором Робертом Ст-

эдлером стало ее последней надеждой.

Она заставила себя позвонить ему, с трудом преодолев внутреннее сопротивление, не оставлявшее ее. Она не старалась переубедить себя. Она думала: «Я же работаю с такими людьми, как Джим и Оррен Бойль, вина Стэдлера меньше, так почему я не могу ему позвонить?»

Не найдя ответа, она только чувствовала, что единственный человек на земле, которому она не должна звонить, — доктор Роберт Стэдлер.

Сидя за столом, под расписаниями «*Линии Джона Голта*», ожидая прихода доктора Стэдлера, Дагни раздумывала о том, почему в науке годами не появлялось таланта первой величины. Она не могла найти ответа, только смотрела на черную линию, похоронившую поезд номер девяносто три в расписании.

Поезд обладал двумя атрибутами живого организма — движением и целью, но сейчас он стал всего лишь кучей мертвых вагонов и двигателей. Не позволяй себе задумываться, приказала она, расформируй состав как можно скорее, двигатели требуются повсюду, Кен Данаггер в Пенсильвании требует поездов, больше поездов, если только…

— Доктор Роберт Стэдлер, — раздался голос из аппарата внутренней связи.

Он вошел, улыбаясь. Улыбка должна была смягчить его слова.

— Мисс Таггерт, вы не поверите, как я рад видеть вас снова.

Она не улыбнулась в ответ, ответив серьезно и учтиво.

— Очень любезно с вашей стороны приехать сюда, — выпрямившись, она медленно, официально наклонила голову в приветствии.

— Признаюсь, мне не хватало только правдоподобного предлога, чтобы приехать. Это вас не разочарует?

— Я постараюсь не переоценить вашу учтивость, — она по-прежнему не улыбалась. — Прошу вас садиться, доктор Стэдлер.

Он нервно озирался.

— Никогда раньше не бывал в кабинете начальника железных дорог. Не знал, что он будет таким… таким официальным. Работа сказывается?

— Дело, по которому я хотела бы спросить у вас совета, далеко от сферы ваших интересов, доктор Стэдлер. Вам может показаться странным, что я позвонила вам. Позвольте мне объяснить причи-

ну моего звонка.

— Тот факт, что вы захотели со мной связаться, уже является достаточной причиной. Если я хоть чем-нибудь смогу вам помочь, то получу от этого огромное удовольствие, — его улыбка обращала на себя внимание, улыбка человека, который не прикрывает ею слова, а имеет смелость выражать свои эмоции искренне.

— У меня возникла чисто техническая проблема, — сказала она чистым, невыразительным тоном молодого механика, обсуждающего трудное задание. — Я понимаю ваше пренебрежение этой сферой человеческой деятельности. Конечно же, это не фундаментальная наука. Я не ожидаю от вас решения моей проблемы — это не ваша работа. Я позвонила только для того, чтобы ознакомить вас с проблемой, а затем задать вам всего два вопроса. Мне пришлось позвонить вам, потому что дело требует ума, очень мощного ума, — она говорила без эмоций, только констатируя факты, — а вы — единственный оставшийся великий ученый.

Она не могла бы объяснить, почему ее слова обидели его. Она увидела, как застыло его лицо, в глазах появилось выражение странной искренности, открытой и почти умоляющей,

потом она услышала его голос, изменившийся, словно под давлением эмоции, ставший проще и застенчивей:

— В чем состоит ваша проблема, мисс Таггерт?

Она рассказала ему о моторе и о том месте, где она нашла его; о том, что оказалось невозможно узнать имя его создателя; не стала только вдаваться в детали своего поиска. Потом протянула ему фотоснимки мотора и остатки рукописи.

Она смотрела на него, пока он читал. Заметила, с каким профессионализмом он быстро окинул взглядом материалы, потом замер, сосредоточился, губы его сложились, словно он присвистнул или ахнул. Потом застыл на несколько минут, взгляд стал отсутствующим, Стэдлер как будто просматривал бесчисленные зацепки, не упуская ни одной, затем пролистал бумаги назад, остановился, вчитался. Казалось, он разрывается между готовностью впитать все перспективы, открывшиеся перед его немыслимой интуицией. Она чувствовала его молчаливое возбуждение, знала, что он позабыл о ее кабинете, о ее существовании, обо всем, кроме изобретения, и подумала, хорошо было бы, если бы ей нравился Роберт Стэдлер.

Они молчали почти целый час, когда он, нако-

нец, закончил читать и взглянул на нее.

— Это потрясающе! — радостным и растерянным тоном объявил он, словно сообщая неожиданную новость, которой она не ожидала услышать.

Как бы ей хотелось улыбнуться в ответ и разделить с ним радость, но она просто кивнула и холодно ответила:

— Да.

— Но, мисс Таггерт, это великолепно!

— Да.

— И вы говорите, что это технический вопрос? Нет, много, много больше. Страницы, где он описывает конвертер… вы видите, какова его предпосылка. Он пришел к новой концепции энергии. Он разбивает в пух и прах все наши стандартные допущения, согласно которым его мотор было бы невозможно создать. Он формулирует новые, свои собственные принципы и раскрывает секрет преобразования потенциальной энергии в кинетическую. Знаете ли вы, что это означает? Вы понимаете, что за подвиг чистой, абстрактной науки он совершил, прежде чем создал свой мотор?

— Кто? — спокойно спросила она.

— Прошу прощения?

— Это первый из двух вопросов, которые я хотела вам задать, доктор Стэдлер: можете ли вы назвать мне молодого ученого, известного десять лет назад, который был бы способен на это?

Он растерянно замолчал; над этим он не успел подумать.

— Нет, — нахмурясь, медленно ответил Стэдлер. — Нет, я никого не могу вам назвать… И это странно… потому что человек с такими способностями не остался бы незамеченным… непременно кто-нибудь обратил бы на него мое внимание… Всех многообещающих физиков всегда присылают ко мне… Так, говорите, вы нашли это в исследовательской лаборатории рядового завода, изготавливавшего моторы?

— Да.

— Странно. Что он там делал?

— Проектировал мотор.

— Об этом я и говорю. Человек, отмеченный печатью гения, истинный ученый, предпочел создавать технические изобретения? Я считаю это возмутительным. Ему понадобился мотор, и он преспокойно производит фундаментальную революцию в науке об энергии и не удосуживается опубликовать свои открытия, а сразу изготавливает свой мотор. Зачем он захотел тратить свои

мозги на практические предметы?

— Возможно, потому что ему нравилось жить на этой земле, — непроизвольно вырвалось у нее.

— Прошу прощения?

— Нет, извините, доктор Стэдлер. Я не намерена обсуждать… не относящееся к делу.

Он отвел взгляд, вернувшись к своим мыслям.

— Почему он не пришел ко мне? Почему не работал в крупном научном центре, как ему пристало? Если ему хватило разума создать это, уверен, что он понимал всю важность своего творения. Почему он не опубликовал статью о своей теории энергии? Я могу проследить общее направление его работы, но, черт его побери, самые важные страницы утеряны, вывод отсутствует! Уверен, что кто-то из его окружения знал достаточно, чтобы сообщить о его работе всему научному сообществу. Почему это не сделано? Как они могли отвергнуть, просто отвергнуть достижение такого рода?

— Здесь много вопросов, на которые я не нахожу ответа.

— И, кроме того, с практической точки зрения, почему этот мотор оказался в куче мусора? Любой жадный дурак из мира промышленности

ухватился бы за него, чтобы сделать себе состояние. Не нужно обладать мощным разумом, чтобы увидеть его коммерческую ценность.

Она улыбнулась в первый раз, неприятной от горечи улыбкой, и ничего не сказала.

— Вам не удалось разыскать конструктора? — спросил он.

— Это совершенно невозможно.

— Вы думаете, он еще жив?

— У меня есть причины так думать. Но полной уверенности нет.

— Что, если я помещу объявление о нем?

— Нет. Не нужно.

— Но если я помещу объявление в научных изданиях и поручу мистеру Феррису… — он умолк. Он поймал ее быстрый взгляд. Дагни ничего не сказала и выдержала его ответный взгляд. Стэдлер отвел глаза и закончил фразу холодно и жестко:

— …и поручу мистеру Феррису объявить по радио, что я хочу его видеть, откажется ли он прийти?

— Да, мистер Стэдлер, я думаю, что он откажется.

Больше он не смотрел на нее. Его лицо слегка напряглось и тут же расслабилось. Она не мог-

ла бы сказать, что за свет погас у него внутри, как и о том, что заставило ее подумать именно о гаснущем свете.

Он бросил рукопись на стол привычным небрежным движением кисти.

— Люди, достаточно сообразительные, чтобы продавать свои мозги за деньги, должны были бы приобрести некоторые знания реальной жизни.

Он взглянул на нее с вызовом, словно ожидая услышать сердитый ответ. Но ее ответ оказался хуже, чем гнев: лицо Дагни осталось бесстрастным, словно правда или фальшь его умозаключений больше ее не интересовали. Она вежливо произнесла:

— Второй вопрос, который я хотела вам задать: не будете ли вы так добры назвать мне имя физика, который, по вашему мнению, способен реконструировать этот мотор?

Стэдлер хмыкнул; в его голосе звучала боль.

— Вас тоже терзает эта мысль, мисс Таггерт? О невозможности отыскать где-нибудь хоть сколь-нибудь интеллектуальную личность?

— Я встречалась с несколькими физиками, которых мне настоятельно рекомендовали, и сочла их совершенно безнадежными.

Он порывисто наклонился вперед.

— Мисс Таггерт, вы позвонили мне, потому что доверяете моему научному суждению?

В вопросе звучала откровенная мольба.

— Да, — ровно ответила она. — Я доверяю вашему научному суждению.

Он откинулся назад. Казалось, скрытая улыбка смыла напряжение с его лица.

— Я хотел бы вам помочь, — он говорил с ней, как с другом. — Помочь из эгоистических соображений, потому что, видите ли, это моя самая большая проблема — найти талантливых людей для моей собственной команды. Талант, черт возьми! Я удовлетворился бы даже его внешними признаками, но люди, которых мне присылают, по правде говоря, имеют потенциал, позволяющий дорасти разве что до приличного гаражного механика. Не знаю, может, я старею и становлюсь слишком требовательным, а может, человеческая раса вырождается, но в моей юности мир не был так беден интеллектуально. Если бы вы видели, из кого приходится сегодня выбирать, вы бы…

Он умолк, словно пораженный внезапным воспоминанием. Он помолчал, как будто обдумывая нечто, о чем не хотел говорить. Она убедилась в этом, когда он резко заключил, обиженным

тоном, прикрывавшим отступление:

— Нет, я не знаю человека, которого мог бы порекомендовать вам.

— Это все, о чем я хотела спросить вас, доктор Стэдлер, — проговорила она. — Благодарю за то, что уделили мне время.

Мгновение он сидел молча, словно не мог заставить себя уйти.

— Мисс Таггерт, — попросил он. — Вы не могли бы показать мне сам мотор?

Она в растерянности посмотрела на него.

— Да… Но он находится в подземном хранилище, под туннелями Терминала.

— Я был бы рад, если бы вы пустили меня туда. У меня нет никакого особого мотива. Простое любопытство. Мне хотелось бы на него посмотреть, вот и все.

Когда они остановились в гранитном подземелье над стеклянным контейнером с изломанной металлической конструкцией внутри, он снял шляпу медленным рассеянным движением, и она не смогла сказать, было ли это автоматическим движением, ведь он находился в помещении рядом с женщиной, или жестом, каким обнажают голову, стоя над гробом.

Они молча стояли в свете одинокой лампоч-

ки, отражавшемся от стеклянной поверхности. В отдалении постукивали колеса поезда, и порой казалось, что внезапная резкая вибрация старалась исторгнуть ответ из останков, покоящихся в стеклянном саркофаге.

— Это так прекрасно, — негромко произнес Стэдлер. — Прекрасно видеть крупную, новую, ключевую идею, которая принадлежит не мне!

Она посмотрела на него, чтобы убедиться, правильно ли его понимает. Он заговорил со страстной уверенностью, отвергая условности, не заботясь о том, прилично ли позволять слышать его боль, не видя ничего, кроме лица женщины, способной его понять:

— Мисс Таггерт, вам известен критерий посредственности? Это злоба по отношению к чужому успеху. Эти трепетные бездарности, трясущиеся при мысли о том, что чужая работа окажется лучше, чем их собственная… Им не знакомо одиночество, которое приходит, когда достигаешь вершины. Одиночество из-за отсутствия равного, ума, который ты мог бы уважать, и открытия, которым ты мог бы восхищаться. Они ощеривают на тебя зубы из своих крысиных нор, уверенные в том, что ты получаешь удовольствие, затмевая их, в то время как ты отдал бы год жизни,

лишь бы уловить среди них искру таланта. Они завидуют успеху, и в своих мечтах о величии рисуют мир, где все люди становятся их благодарными подчиненными. Им невдомек, что эта мечта — безошибочное доказательство их заурядности, потому что в таком мире талантливый человек не выживет. Им не дано узнать, что он чувствует, окруженный посредственностями. Ненависть? Нет, не ненависть, но скуку, ужасную, безнадежную, опустошающую, парализующую скуку. Чего стоят лесть и низкопоклонство тех, кого не уважаешь? Вы когда-нибудь ощущали желание узнать человека, которым вы можете восхищаться? На кого вы не будете смотреть сверху вниз, а только снизу вверх?

— Я чувствовала это всю свою жизнь, — ответила она. В этом ответе она не могла ему отказать.

— Я знаю, — в его голосе зазвучали нежные нотки. — Я знал это, впервые заговорив с вами. Вот почему я пришел сегодня… — он на секунду замолчал, но она ничего не ответила на призыв, и он договорил с прежней тихой нежностью: — Что ж, вот почему я хотел увидеть мотор.

— Понимаю, — мягко сказала она. Звук ее голоса — единственная благодарность, которую она могла даровать ему.

— Мисс Таггерт, — он опустил глаза, глядя на стеклянный ящик, — я знаю человека, который способен взяться за реконструкцию этого мотора. Он не работает на меня, поэтому он, возможно, тот самый человек, который вам нужен.

К тому времени, когда Стэдлер поднял голову — и прежде, чем успел заметить восхищение в ее открытом взгляде, о котором он молил, прощающем его взгляде, — он преодолел себя, добавив в голос сарказма:

— Совершенно очевидно, что молодой человек не хочет работать на благо общества или процветания науки. Он сказал мне, что не пойдет на государственную службу. Полагаю, что он захочет получить большее жалованье от частного работодателя.

— Да, — жестко ответила она. — Возможно, именно такой человек мне нужен.

— Это молодой физик из Технологического института штата Юта, — сухо сказал он. — Его зовут Квентин Дэниелс. Несколько месяцев назад его прислал ко мне мой друг. Он явился, чтобы увидеться со мной, но отказался от работы, которую я ему предложил. Я хотел взять его в свою команду. У него голова настоящего ученого. Не знаю, добьется ли он успеха с вашим мото-

ром, но по крайней мере у него есть для этого способности. Надеюсь, вы сможете связаться с ним через упомянутый мною институт штата Юта. Я не знаю, чем он там сейчас занимается, — это учреждение год назад закрыли.

— Благодарю вас, доктор Стэдлер. Я свяжусь с ним.

— Если… если вы пожелаете, буду рад помочь ему с теоретической подготовкой. Я намерен сделать часть работы лично, начав с первых глав рукописи. Мне хотелось бы отыскать кардинальный секрет энергии, открытый автором. Мы должны рассекретить его базовый принцип. Если это нам удастся, мистер Дэниелс сможет закончить работу, связанную с вашим мотором.

— Я буду рада любой помощи, которую вы сможете мне оказать, доктор Стэдлер.

Они молча пошли через безжизненные туннели Терминала, вдоль ржавых рельсов под голубыми бусинами фонарей, к отдаленному свету платформ.

У выхода из туннеля они заметили человека, склонившегося к рельсам, неритмично и раздраженно ударявшего молотком по стрелке. Другой мужчина стоял рядом, нетерпеливо глядя на него.

— Ну, что там с этой проклятой штукой? — спросил смотревший.

— Не знаю.

— Ты возишься уже полчаса.

— Угу.

— Долго еще?

— Кто такой Джон Голт?

Доктор Стэдлер вздрогнул. Миновав рабочих, он произнес:

— Мне не нравится это выражение.

— Мне тоже, — ответила Дагни.

— Откуда оно взялось?

— Никто не знает.

Они помолчали, потом он сообщил:

— Я знал когда-то Джона Голта. Но он давно умер.

— Кем он был?

— Я привык думать, что он до сих пор жив. Но теперь я уверен, что он умер. Он обладал таким умом, что, будь он жив, сейчас весь мир говорил бы о нем.

— Но о нем действительно говорит весь мир.

Он застыл на месте.

— Да… — медленно произнес он, словно только что поняв это. — Да… Но почему? — слова были полны страха.

— Кем он был, доктор Стэдлер?

— Почему они говорят о нем?

— Кем он был?

Он потряс головой, пожал плечами и резко ответил:

— Это просто совпадение. Имя не самое редкое. Бессмысленное совпадение. Никакой связи с человеком, которого я знал. Тот человек умер.

И добавил не раздумывая:

— Иного не может быть.

* * *

Распоряжение, лежавшее на его столе, было помечено словами «Конфиденциально… Срочно… Приоритетно… Особая важность подтверждена кабинетом Верховного координатора… Касается проекта «Икс»». В нем содержалось требование послать десять тысяч тонн металла, выплавленных на заводах «*Риарден Стил»,* в Государственный научный институт.

Риарден прочитал его и посмотрел на управляющего прокатными станами, неподвижно стоявшего перед ним. Распоряжение принес он и молча положил на стол перед Риарденом.

— Я подумал, что вы захотите это увидеть, — ответил он на немой вопрос Риардена.

Риарден нажал на кнопку, вызывая мисс Айвз. Он подал распоряжение ей и сказал:

— Отошлите его туда, откуда оно пришло. Скажите, что я не стану посылать металл в Государственный научный институт.

Гвен Айвз и управляющий воззрились на него, потом друг на друга и снова на него. Он прочитал в их взглядах благодарность.

— Да, мистер Риарден, — официальным тоном ответила Гвен, взяв в руки распоряжение, словно обычную деловую бумагу. Она поклонилась и покинула кабинет. Управляющий вышел следом.

Риарден с улыбкой проводил его. Ему было наплевать на бумагу и на возможные последствия своего решения.

Шесть месяцев назад, повинуясь внутреннему голосу, он словно повернул заглушку, чтобы перекрыть поток эмоций, и приказал себе: работай, не останавливай литейное производство, чувствовать будешь потом. Это позволило ему хладнокровно отслеживать действие Закона справедливой доли.

Никто не знал, как понимать этот закон. Сначала ему сказали, что он не может производить свой металл в объемах, бóльших, чем тоннаж лучшего специального сплава, иначе говоря, ста-

ли, производимой Орреном Бойлем. Но лучший специальный сплав Оррена Бойля — негодный продукт, который никто не хотел покупать. Потом ему сказали, что он может производить свой металл в объемах, которые Оррен Бойль мог бы производить, если бы производил. Никто не знал, как это понимать. Кто-то в Вашингтоне назвал цифру, определяющую количество тонн в год, не объясняя причин. Всем пришлось принять эту цифру.

Он не знал, как предоставить каждому из потребителей, требовавших своего, равную долю металла. Лист ожидания заказов на поставку невозможно было бы выполнить и за три года, даже при работе на полную мощность. Новые заказы тем временем поступали ежедневно. И они уже не были заказами в старом, почтенном смысле, превратившись в требования. По закону каждый клиент, которому не удалось получить свою справедливую долю от «*Риарден Стил*», имел право начать преследовать его в судебном порядке.

Но никто не представлял, как определить, что именно составляло справедливую долю, и от какого объема металла. Тогда к Риардену из Вашингтона на должность заместителя дирек-

тора по распределению готовой продукции был прислан смышленый молодой парень, только что окончивший колледж. После многочисленных телефонных переговоров со столицей парень объявил, что клиенты получат по пятьсот тонн металла каждый в порядке поступления их заявок. Никто не возразил против названной им цифры.

Да и какие, собственно, могли быть возражения? С тем же успехом могли объявить как один фунт, так и миллион тонн. Парень устроил себе офис на заводе Риардена, где четыре девицы принялись регистрировать заявки на металл. При существующем уровне производства заявок набралось до начала следующего столетия.

Пятисот тонн металла не хватило бы и на три мили рельсов для «*Таггерт Трансконтинентал*» или на крепеж для одной из угольных шахт Кена Данаггера. Крупнейшим производствам, лучшим потребителям заводов Риардена, было отказано в использовании его металла. Но на рынке появились клюшки для гольфа, изготовленные из риарден-металла, а за ними кофейники, садовый инструмент и водопроводные краны. Кену Данаггеру, знавшему цену металла и дерзнувшему заказать его, несмотря на гнев общественного

мнения, не разрешили получить его; по его заявке снабжение прекратилось без объяснения причин, что разрешалось новым законом. Мистер Моуэн, предавший компанию «*Таггерт Трансконтинентал*» в самый опасный для нее час, занялся производством выключателей из риарден-металла и продавал их «*Атлантик Саусерн*». Риарден наблюдал за всем этим, изо всех сил стараясь не дать волю эмоциям.

Он молча отворачивался, когда кто-нибудь обращал его внимание на то, о чем знали все: о больших состояниях, мгновенно нажитых на его металле.

— Нет, — говорили люди в кабинетах. — Черным рынком это не назовешь, он действительно таковым не является. Никто не перепродает металл нелегально. Просто продают свои права на него. Не продают буквально, просто объединяют свои доли в общий пул.

Он не желал и слышать о мелочных делишках, когда «доли» продавались и сливались, как и о том, что заводчик из Вирджинии за два месяца «произвел» пять тысяч тонн литья риарден-металла, и о человеке из Вашингтона, анонимном партнере того заводчика.

Он знал, что их прибыль на тонну риарден-ме-

талла в пять раз превышает его собственную. Но воздерживался от комментариев. Каждый имел право на металл, кроме него самого.

Молодой человек из Вашингтона, которого сталевары прозвали Кормилицей, увивался вокруг Риардена с примитивным, восхищенным любопытством, которое, как ни невероятно, было формой обожания. Риарден наблюдал за ним с веселым отвращением. Мальчишка не имел ни малейших понятий о морали, ее выбили из него в колледже, оставив только необычную откровенность, одновременно наивную и циничную, сродни невинности дикаря.

— Вы презираете меня, мистер Риарден, — заявил он как-то, неожиданно и без доли возмущения. — Это непрактично.

— Почему это непрактично? — спросил Риарден.

Мальчишка не нашел что ответить, озадаченно глядя на шефа. Он никогда не отвечал на вопрос «Почему?», ограничиваясь простыми утверждениями. Характеризовал людей фразами вроде «Он старомоден», «Он не перестроился», «Он не приспособился», не колеблясь и не разъясняя своих слов. Окончив металлургический факультет колледжа, он мог заявить: «Я думаю,

что для выплавки металла требуется высокая температура». Относительно физических понятий он высказывался не слишком определенно, о людях — исключительно категорично.

— Мистер Риарден, — сказал он однажды, — если вы захотели бы продать вашим друзьям больше металла, я хочу сказать, в крупных объемах, то это можно организовать. Почему мы не запрашиваем специального разрешения на основании важнейшей потребности? У меня есть друзья в Вашингтоне. Ваши друзья — довольно важные люди, крупные бизнесмены, было бы нетрудно выбить поставку под важнейшую потребность. Конечно, возникнут некоторые расходы. На дела в Вашингтоне. Вы понимаете, дела всегда требуют расходов.

— Что за дела?

— Вы понимаете, о чем я говорю.

— Нет, — отрезал Риарден. — Не понимаю. Почему бы вам не объяснить?

Мальчишка посмотрел на него неуверенно, взвесил все в уме и выдал:

— Это плохая психология.

— Что «это»?

— Вы знаете, мистер Риарден, нет нужды использовать конкретные слова.

— Какие слова?

— Слова — величина относительная. Они всего лишь символы. Если мы не используем гадкие символы, то не получим в результате гадость. Зачем вы хотите, чтобы я назвал все своими именами, если я уже использовал другие слова?

— И какие же слова я хочу от вас услышать?

— Зачем вы этого хотите?

— По той же причине, по какой вы этого не хотите.

Помолчав минуту, мальчишка ответил:

— Знаете, мистер Риарден, абсолютных стандартов не существует. Мы не всегда можем следовать жестким принципам, нам приходится быть гибкими, мы должны приспосабливаться к реальной действительности и действовать с учетом целесообразности момента.

— Чеши отсюда, малыш. Иди и выплави тонну стали без жестких принципов, с учетом целесообразности момента.

Да, конечно, Риарден презирал мальчишку, но не мог заставить себя возмущаться им. Парень — *дитя* своего века, а вот он, Риарден, этому веку не подходил. Вместо того чтобы собирать новые котлы, думал Риарден, он включился в безнадежную гонку по поддержанию работы

старых; вместо новых разработок, исследований, экспериментов по использованию металла он тратил всю свою энергию на поиски источников железной руды. Совсем как люди на заре железного века, подумал он, только надежды на успех у нас меньше.

Он старался гнать от себя эти мысли. Ему приходилось обороняться от собственных чувств, словно часть его самого превратилась в незнакомца, которого нужно было держать в состоянии онемения, а постоянным обезболивающим служила его недремлющая воля. Об этом своем двойнике он знал только, что ему не стоит предоставлять право голоса. Он пережил опасный момент, которому нельзя позволить повториться.

Это был момент, когда, сидя в одиночестве в своем кабинете, зимним вечером, захваченный сообщениями газет с длинной колонкой директив на первой странице, он услышал по радио новости о пылающих нефтяных приисках Эллиса Уайэтта. Его первой реакцией — раньше мыслей о будущем, о страшном бедствии, прежде шока, страха или протеста — был приступ смеха. Он смеялся, испытывая триумф, облегчение, бьющую струей жизненную силу, и слова, которых

он не произнес, но глубоко прочувствовал, были: «Благослови тебя Господь, Эллис Уайэтт, что бы ты ни делал!»

Разобравшись в скрытых причинах своего смеха, он понял, что теперь осужден постоянно прислушиваться к себе. Словно человек, переживший инфаркт, он знал, что первый звонок уже прозвенел и что у себя внутри он носит опасность, способную в любую минуту нанести удар.

С тех пор он совершал ровные, осторожные, внутренне полностью контролируемые шаги. Но тот ужасный момент настиг его вновь. Когда он увидел на своем столе распоряжение из Государственного научного института, ему показалось, что свечение, якобы излучаемое бумагой, исходит не из ближайшей плавильной печи, а от пламени горящих нефтяных скважин.

— Мистер Риарден, — сказал Кормилица, услышав о том, что он отказал институту в требовании. — Вы не должны этого делать.

— Почему?

— Это приведет к неприятностям.

— Каким неприятностям?

— Это распоряжение правительства. Вы не можете отказать правительству.

— Почему не могу?

— Это проект высочайшей важности, к тому же секретный. Очень.

— Что это за проект такой?

— Не знаю… Это тайна.

— Тогда откуда вы знаете, что он важный?

— Так говорят.

— Кто это говорит?

— Вы не можете сомневаться в таких вещах, мистер Риарден!

— Почему не могу?

— Просто не можете.

— Если не могу, значит, это абсолютная ценность, а вы говорили, что абсолютных понятий не существует.

— Это другое дело.

— Почему другое?

— Это правительство.

— Вы хотите сказать, что не существует абсолютных ценностей кроме правительства?

— Я хочу сказать только одно, если они утверждают, что проект важен, так и есть.

— Почему?

— Я не хочу, чтобы вы попали в беду, мистер Риарден, а вы так туда и лезете, черт возьми. Вы задаете слишком много вопросов. Почему вы это делаете?

Посмотрев на него, Риарден хохотнул. До мальчишки наконец дошел смысл его последних слов, и он робко улыбнулся с несчастным видом.

Человек, пришедший к Риардену спустя неделю, выглядел моложаво, но не был таким молодым и стройным, каким пытался казаться. Он носил штатский костюм и кожаные краги дорожного полицейского. Риарден так и не понял, откуда он прибыл, — из Государственного научного института или из Вашингтона.

— Я слышал, что вы отказались продать металл Государственному научному институту, мистер Риарден? — мягким, доверительным тоном начал он.

— Верно, — ответил тот.

— Не означает ли это, что вы сознательно не подчинились закону?

— Вам решать.

— Могу ли я узнать у вас причину?

— Мои причины вам не интересны.

— Безусловно, интересны! Мы вам не враги, мистер Риарден. Мы хотим быть с вами честными. Вас не должен смущать тот факт, что вы — крупный промышленник. Мы не ставим это вам в укор. Мы на самом деле хотим быть с вами столь же честными, как с последним поденным

рабочим. Мы хотим знать причину вашего отказа.

— Сообщите о моем отказе в прессе, и любой читатель объяснит вам его причину. Она появилась во всех газетах уже больше года назад.

— О, нет, нет! Причем тут газеты? Разве мы не можем уладить дело по-дружески, в частном порядке?

— Как вам угодно.

— Мы не хотим, чтобы это попало в газеты.

— Не хотите?

— Нет. Мы не хотим вам повредить.

Риарден, поглядев на него исподлобья, спросил:

— Для чего Государственному научному институту десять тысяч тонн металла? Что такое проект «Икс»?

— Ах этот? Это очень важный научно-исследовательский проект, имеющий большое социальное значение, пользу от реализации которого ощутит все общество, но, к несчастью, политические соображения не позволяют мне сообщить вам его содержание в деталях.

— Знаете, — произнес Риарден, — причиной отказа я могу выдвинуть то, что не желаю продавать мой металл тем, кто держит свои цели

в секрете от меня. Этот металл создал я. И знать, на какие цели я позволяю его использовать, — мой моральный долг.

— О, вы не должны об этом беспокоиться, мистер Риарден! Мы снимаем с вас всякую ответственность.

— Предположим, я не хочу, чтобы с меня снимали ответственность?

— Но… но это такая старомодная и… совершенно оторванная от жизни позиция.

— Я сказал, что *могу* назвать ее своей причиной. Но не стану, потому что в данном случае у меня есть другая. Я не стану продавать металл Государственному научному институту ни для какой цели, хорошей или плохой, секретной или открытой.

— Но почему?

— Послушайте, — медленно произнес Риарден. — Существуют некие оправдания для диких сообществ, в которых человеку приходится опасаться, что на него в любой момент нападут враги и убьют его, поэтому он должен защищать себя всеми возможными способами. Но не может быть оправданий для общества, в котором человек знает, что производится оружие для его собственных убийц.

— Я не считаю возможным использовать такие слова, мистер Риарден. Считаю непрактичным рассуждать в подобных выражениях. В конце концов правительство не может — из соображений всеобъемлющей национальной политики — считаться с вашим личным недоброжелательством к отдельно взятому институту.

— Тогда не считайтесь с ним.

— Что вы хотите сказать?

— Не выпытывайте у меня причин.

— Но, мистер Риарден, мы не можем себе позволить оставить без внимания отказ повиноваться закону. Вы же не ждете этого от нас?

— Делайте, что хотите.

— Это совершенно беспрецедентно. Еще никто не отказывался продавать основные товары правительству. На самом деле закон не разрешает вам отказывать в продаже металла ни одному из потребителей, не говоря уже о правительстве.

— Почему бы тогда вам не арестовать меня?

— Мистер Риарден, это всего лишь дружеская дискуссия. Зачем говорить о таких вещах, как арест?

— Разве не это ваш последний аргумент против меня?

— Зачем поднимать этот вопрос?

— Разве он не вытекает из каждой фразы нашей дискуссии?

— Зачем его называть?

— А почему бы и не назвать? — ответа не последовало. — Вы пытаетесь скрыть от меня тот факт, что я не позволил бы вам войти к себе в кабинет, если бы не эта ваша козырная карта?

— Но я ни слова не сказал об аресте.

— Я говорю.

— Я вас не понимаю, мистер Риарден.

— Я не стану помогать вам делать вид, что у нас дружеская дискуссия. Это не так. И делайте с этим, что хотите.

На лице мужчины появилось странное выражение: замешательство, как будто он не понимал, что ему противостоит, и одновременно страх, словно он прекрасно все понимает и живет под страхом быть разоблаченным.

Риарден чувствовал странное возбуждение, как будто вот-вот поймет то, чего раньше не понимал, и словно приблизился к открытию, пока еще слишком отдаленному, но имеющему для него огромное значение.

— Мистер Риарден, — проговорил мужчина. — Правительство нуждается в вашем металле. Вы должны продать нам его, потому что вы,

безусловно, понимаете, что без вашего согласия планы правительства не могут быть выполнены.

— Для продажи, — медленно произнес Риарден, — необходимо согласие продавца. — Он поднялся и подошел к окну. — Я скажу вам, что вы можете сделать.

Он указал на пути, где продукция «*Риарден Стил*» грузилась в товарные вагоны:

— Вот металл. Приезжайте сюда с вашими грузовиками — как любой другой мародер, но без риска, которым сопровождается его деятельность, потому что я не стану в вас стрелять, не могу. Заберите столько металла, сколько захотите, и убирайтесь. Не пытайтесь прислать мне плату. Я ее не приму. Не выписывайте мне чек. Его не примут в банке. Если вам нужен этот металл, у вас есть оружие, чтобы захватить его. Валяйте.

— Господи, мистер Риарден, что подумает общество!

Лицо Риардена слегка исказилось от беззвучного смеха. Они оба поняли скрытую причину этой невольной реакции. Риарден ответил ровным, веским, непринужденным тоном, словно положив конец беседе:

— Вам нужна моя помощь, чтобы все выгляде-

ло как продажа, как безопасная, справедливая, высокоморальная трансакция. Я не стану вам в этом помогать.

Мужчина не спорил. Он поднялся и сказал только:

— Вы пожалеете о том, что заняли такую позицию, мистер Риарден.

— Я так не думаю, — ответил он.

Риарден знал, что на этом дело не закончится. Он знал и то, что секретность проекта «Икс» — не главная причина, по которой эти люди боялись придать дело огласке. На сердце стало легко, он чувствовал странную, радостную уверенность в себе. Он понимал, что сделал верный шаг по пути, ведущему к неясной, но светлой цели.

* * *

Закрыв глаза, Дагни лежала в кресле в своей гостиной. День выдался тяжелый, но она знала, что вечером увидится с Хэнком Риарденом. Мысль об этом снимала с души груз бессмысленной мерзости повседневности.

Она лежала неподвижно, соединив отдых с ожиданием поворота ключа в замочной скважине. Хэнк ей не позвонил, но сегодня на конференции с производителями меди она слышала,

что Риарден в Нью-Йорке, а он никогда не покидал города до следующего утра и еще ни одной ночи в Нью-Йорке не провел без нее. Она любила дожидаться его. Этот отрезок времени служил мостиком, который соединял ее дни и ночи.

В который раз, как и во все вечера, проведенные с ним, она размышляла о том, что эти сокровенные мгновения жизни она сохранит, гордясь тем, что прожила их. Единственное, что не касалось ее трудового дня, это радость от того, что ей удалось выжить.

Это неверно, думала Дагни, это ужасно несправедливо, что некоторым больше нечего сказать обо всей своей жизни. Но она не могла думать об этом сейчас. Она размышляла о нем, его борьбе за освобождение. Она знала, что может помочь ему одержать победу, но должна делать это любыми способами, кроме слов.

Она вспоминала один вечер прошлой зимой, когда он пришел, достал из кармана маленький сверток и протянул ей со словами:

— Я хочу, чтобы он был у тебя.

Она открыла коробочку и в невероятном изумлении воззрилась на кулон — крупный рубин, сияющий яркими искрами на белом атласе ювелирной шкатулки. Владеть таким редким

знаменитым камнем могли позволить себе всего несколько человек во всем мире, но ведь Хэнк не был одним из избранных.

— Хэнк… почему?

— Никакой особенной причины нет. Я просто хочу видеть, как ты его носишь.

— О нет, только не такую удивительную вещь! Зачем ей пропадать зря? Я так редко выхожу в места, для которых нужно прилично одеваться. Как я вообще смогу его носить?

Его взгляд медленно двигался по ее фигуре, от ног к лицу.

— Я тебе покажу, — ответил он.

Он отвел ее в спальню, не произнося ни слова, снял с нее одежду, как собственник, раздевающий того, чье согласие не требуется. Застегнул цепочку с кулоном на шее. Она стояла обнаженная, и камень сверкал в ложбинке груди подобно искристой капле крови.

— Ты думаешь, мужчина должен дарить своей возлюбленной драгоценности ради чего-то, кроме собственного удовольствия? — спросил он. — Я хочу, чтобы ты носила его только для меня. Мне нравится смотреть на него. Он прекрасен.

Дагни засмеялась нежным, тихим смехом. Она не могла ни двигаться, ни говорить, только

кивнула молча в знак согласия и повиновения. Несколько раз наклонила голову, и ее волосы повторили плавное движение шеи, а потом замерли, окружив короной склоненное лицо.

Дагни упала на кровать. Она лежала, блаженно раскинувшись, прижав ладони к покрывалу, одна нога согнута, другая протянулась по темно-синей ткани. Камень в полутьме сиял, разбрасывая звездные лучи по ее коже.

Полузакрытые глаза лучились насмешливым и победным сознанием того, что ее обожают, но рот приоткрылся в беспомощном, молящем ожидании. Риарден стоял в центре комнаты, ловя затаенное дыхание, глядя на нее, на ее плоский впалый живот, на чувственное тело, осознающее свою власть над ним. Он произнес тихим голосом, напряженно и одновременно спокойно:

— Дагни, если бы художник нарисовал тебя такой, какова ты сейчас, мужчины стали бы приходить, чтобы посмотреть на картину и прочувствовать тот момент, который им никогда не удастся пережить в реальности. Они назвали бы ее великим искусством. Им не удалось бы понять природу своих ощущений, но рисунок показал бы им все, даже то, что ты не классическая Венера, а вице-президент железнодорожной

компании; даже меня, потому что я тоже его часть. Дагни, они бы почувствовали это и ушли, чтобы переспать с первой же барменшей, попавшейся им на глаза, но никогда не смогли бы достичь того чувства, которое испытали, глядя на твой портрет. Я не хочу искать чувств на картине. Я хочу реальности. Я не хочу беспочвенных желаний. Я не хочу мертворожденных стремлений. Я хочу испытывать их, иметь их, жить ими. Ты понимаешь?

— О да, Хэнк, я понимаю! — ответила она. «А ты, мой дорогой? Понимаешь ли ты это до конца?» — подумала она про себя.

Однажды, придя домой зимним вьюжным вечером, она обнаружила в своей гостиной огромный букет тропических цветов напротив темного оконного стекла, усеянного хлопьями снега. Это были стебли гавайского огненного имбиря, высотой в три фута. Лепестки его огромных конусообразных кроваво-красных цветков на ощупь напоминали нежнейшую кожу.

— Я увидел их в витрине цветочного магазина, — сказал он ей, придя в тот вечер. — Мне понравилось, как они смотрелись сквозь снежную метель. Но вещь, выставленная в витрине на всеобщее обозрение, теряет всю свою ценность.

С тех пор она начала находить цветы в самых неожиданных уголках квартиры, в самые неожиданные часы, цветы, присланные без карточки, но ясно говорящие об имени дарителя своими фантастическими формами, буйными оттенками, экстравагантностью композиций. Он принес ей золотое ожерелье из крошечных, скрепленных между собой квадратиков, образующих на плечах золотой воротник, напоминающий стальную кольчугу рыцаря.

— Надень его с черным платьем, — приказал он.

Он подарил ей набор бокалов, изготовленных знаменитым ювелиром, похожих на высокие, стройные кубические кристаллы. Она залюбовалась тем, как он держит в руке приготовленное ею питье в одном из этих бокалов: словно прикосновение к поверхности хрусталя, вкус напитка и вид ее лица — единый и неразделимый момент наслаждения.

— Я привык смотреть на понравившиеся мне вещи, — произнес он, — но никогда не покупал их. Они не имели для меня значения. Теперь имеют.

Однажды зимним вечером он позвонил ей в офис и велел приказным тоном:

— Сегодня мы ужинаем вдвоем, и я хочу, чтобы ты была нарядной. Помнишь мое любимое вечернее платье? Надень его.

Она облачилась в тонкое бледно-голубое платье, придавшее ей вид беззащитной простоты, создававшее образ статуи, притаившейся в голубых тенях сада в солнечный день. Он принес и набросил ей на плечи накидку из голубого песца, окутавшую ее от подбородка до кончиков босоножек.

— Хэнк, это нелепо, — засмеялась она. — Это совсем не моя вещь!

— Не твоя? — переспросил он, повернув ее лицом к зеркалу.

Огромное полотнище меха сделало ее похожей на ребенка, кутающегося от снежной бури. Роскошь меха превратила полностью скрытую фигуру в чувственный образ неслыханной силы. Роскошный мех с приглушенным голубым оттенком выглядел облаком, призывом. Каждый смотрящий на нее, казалось, чувствовал, не прикасаясь, волшебное потрясение при погружении пальцев в нежность меха. Накидка укрыла ее почти полностью, кроме темно-русых волос, серо-голубых глаз и четко очерченного рта.

Она обернулась к нему с испуганной и беспо-

мощной улыбкой:

— Я… я не знала, что это будет так волшебно.

— Я знал.

Она сидела рядом с ним в машине, пока он вез ее по темным улицам города. Искрящаяся сеть снежинок вспыхивала в огнях перекрестков. Дагни не спрашивала, куда они едут. Она откинулась на спинку кресла, любуясь вальсирующими снежными хлопьями. Меховая накидка обнимала ее, платье казалось невесомым, а прикосновение меха ласкало как нежное объятие.

Она смотрела на пересекающиеся ярусы огней, вырастающие из снежной завесы. Любуясь Хэнком, его крепко сжатыми на руле пальцами, строгой элегантностью его фигуры в черном пальто и белом шарфе, она думала, что он сродни большому городу с его отполированными тротуарами и каменной скульптурой.

Машина промчалась под рекой по тоннелю, отозвавшемуся эхом, и взлетела на виток автострады, высоко взметнувшейся под распахнутым черным небом. Теперь огни оказались внизу — раскинувшиеся на многие мили голубоватые точки окон, красные сигнальные фонари высоких дымовых труб и строительных кранов, длинные туманные лучи прожекторов, вырисовывающих

силуэты изломанных конструкций промышленных районов. Она вспомнила, как однажды увидела Хэнка на его заводе, с мазками сажи на лбу, в прожженном кислотой комбинезоне, который он носил с той же непринужденностью, что и официальный костюм. «Он и заводу сродни, — подумала она, глядя вниз на просторы Нью-Джерси, — с его кранами, огнями и скрежетом работающих механизмов».

Когда они летели по дороге через пустынную загородную местность и снежинки сверкали в лучах фар, ей припомнилось, как он выглядел летом, когда они поехали отдыхать: раскинувшийся на траве, в укромной лощине, освещенной солнцем. Он и к природе близок, подумала она, он принадлежит всему, он — человек Земли. Потом она нашла ему более точное определение: он — человек, которому *принадлежит* Земля, человек, который на Земле — дома. Почему же, размышляла она, он с молчаливым долготерпением должен нести бремя трагедии, которое принял на себя, порой забывая, какой груз давит ему на плечи? Она знала только часть ответа. Ей казалось, что еще немного, и в один прекрасный день, очень скоро, все прояснится окончательно. Но сейчас ей не хотелось думать

об этом, потому что они уносились все дальше, прочь от тяжелой ноши, потому что в замкнутом пространстве летящей машины они чувствовали себя умиротворенными и абсолютно счастливыми. Поддавшись порыву, она быстро коснулась лбом его плеча.

Автомобиль съехал с автострады и свернул к квадрату освещенных окон, сиявших за снежными сугробами, сквозь скрещения голых ветвей. Там, в мягком приглушенном свете, они присели за стол у окна, обращенного во тьму и чащу деревьев. Гостиница расположилась на холмике посреди леса, роскошная, дорогая и уединенная, с изысканной обстановкой, обещавшей постояльцам, что здесь еще нет тех, кто сорит деньгами и гонится за публичностью. Дагни скользнула взглядом по гостиной, потонувшей в уюте и комфорте, по заиндевевшим ветвям, искрившимся за оконным стеклом.

Голубоватый мех почти спал с ее обнаженных плеч. Хэнк, прищурясь, рассматривал ее с удовлетворением скульптора, изучающего свое творение.

— Я люблю делать тебе подарки, — объяснил он, — потому что они тебе не нужны.

— Не нужны?

— Я не просто хочу, чтобы они у тебя были. Я хочу, чтобы они были подарены тебе мною.

— Они мне нужны, Хэнк, потому что они — от тебя.

— Ты понимаешь, что я просто потакаю своим желаниям? Я делаю подарки не для твоего, а для собственного удовольствия.

— Хэнк! — в ее непроизвольном возгласе слышались веселое удивление, отчаяние, негодование и сожаление. — Если бы ты дарил мне вещи для *моего* удовольствия, а не для твоего, я бросила бы их тебе в лицо.

— Да… Да, так бы ты и поступила.

— Ты это называешь потаканием своим порочным желаниям?

— Именно так это называется.

— О да! *Так это называется*. Что ты имеешь в виду, Хэнк?

— Не знаю, — безразлично ответил он. — Знаю только, что это — порочно, можешь меня проклинать, но мне так нравится.

Она не ответила, глядя на него с легкой улыбкой, словно заставляя вдуматься в сказанное.

— Я всегда хотел наслаждаться своим богатством, — продолжил он. — Но не знал, как. У меня даже времени не было, чтобы понять, насколько

сильно я этого хочу. Знаю только, вся сталь, что я выплавил, возвратилась ко мне, словно жидкое золото, которое я могу по своему желанию отливать в любую форму, и именно я, а не кто другой, должен им наслаждаться. Но я не мог. Не умел найти ему применения. Теперь я его нашел. Я заработал это богатство, и собираюсь заставить его приносить мне любое наслаждение, какое пожелаю, в том числе удовольствие представить, как много я могу за это заплатить. Включая бессмысленное искусство превращать тебя в объект роскоши.

— Но я — объект роскоши, за который ты заплатил давным-давно, — она не улыбалась.

— Каким образом?

— Так же, как ты заплатил за свои заводы.

Дагни не знала, смогла ли она передать словами всю полноту своей мысли; но почувствовала, что он ее понимает. Увидела, как его взгляд подобрел от скрытой улыбки.

— Я никогда не презирал роскошь, — признался он. — Но презирал тех, кто ею наслаждается. Я смотрел на то, что они считали удовольствием, и оно казалось мне таким ничтожным и лишенным смысла, особенно после того, что я чувствовал на заводах. Я видел, как разливают сталь,

тонны жидкого металла, подвластные мне.

А потом приходил на банкет и наблюдал, как люди дрожали, благоговея, над золотыми тарелками и кружевными скатертями, словно их гостиная была их хозяином, а они — всего лишь ее слугами, пусть в бриллиантовых запонках и колье. Тогда я торопился уйти и отыскать глазами первую попавшуюся кучу шлака, а мне говорили, что я не умею наслаждаться жизнью, потому что не желаю знать ничего, кроме бизнеса.

Риарден окинул взглядом сумрачную красоту комнаты и людей, сидевших за столами. Они неприкрыто выставляли себя напоказ, словно ожидали, что непомерно дорогая одежда и тысячи, вложенные в уход за их холеными телами, придадут им неотразимость, но все было иначе. Их лица отражали лишь озлобленность и тревогу.

— Взгляни на этих людей, Дагни. Их считают плейбоями, искателями наслаждений и любителями роскоши. Они сидят здесь, ожидая, что это место придаст им значительности. Но мы видим в них лишь рабов материальных удовольствий и понимаем почему считается, что наслаждение материальными удовольствиями — зло. Насла-

ждение? Разве они наслаждаются? Нет ли в том, чему нас учили, извращения, ошибки, порочной и даже фатальной?

— Да, Хэнк, определенно есть.

— Они прожигатели жизни, а мы люди дела, ты и я. Понимаешь ли ты, что мы способны получить такое удовольствие от этого ресторана, о каком они могут только мечтать?

— Да.

Он произнес с расстановкой, будто цитируя:

— Зачем мы оставили все эти радости жизни глупцам? Они должны принадлежать нам, — она испуганно взглянула на него. Риарден улыбался: — Помнишь прием, который был у меня в доме? Я помню все, что ты мне тогда говорила. Тогда я промолчал, потому что единственным ответом на твои слова было: «Я хочу тебя», — он посмотрел на нее. — Дагни, тогда ты этого не произнесла, но твои слова означали, что ты хочешь со мной спать, не так ли?

— Да, Хэнк. Конечно.

Выдержав ее взгляд, он отвел глаза. Они долго молчали. Он рассматривал освещенную мягким полусветом гостиную, искрящееся в бокалах вино.

— Дагни, в юности, когда я работал на руд-

нике в Миннесоте, я мечтал о таком вечере, как сегодняшний. Нет, я работал не ради него и не слишком часто думал о нем. Но время от времени зимними ночами, когда звезды мерцали в холодном небе, когда я изматывался, потому что работал по две смены, и мечтал только о том, чтобы поскорее лечь и заснуть, прямо в шахте на куче породы, я думал, что придет день, когда я буду сидеть в зале вроде этого, где стакан выпивки стоит больше моей тогдашней дневной зарплаты, и каждая минута здесь, каждая капля вина и каждый цветок на столе будут заслужены мной, и я буду сидеть здесь просто так, для собственного удовольствия.

Улыбнувшись, она спросила:

— Со своей любовницей?

Она увидела в его глазах мелькнувшую боль и пожалела о своих словах.

— Со своей… женщиной, — ответил он. Она догадалась, какое слово он не произнес. Мягким ровным голосом он продолжил: — Когда я разбогател и увидел, *что* богатые делают ради своего развлечения, я подумал, что места, которое я воображал, не существует. Я даже не смог бы отчетливо представить его себе. Не имел понятия, на что оно похоже, просто знал, что буду чувство-

вать в этот момент. Довольно давно я перестал надеяться. Но сегодня я переживаю именно то, о чем мечтал.

Риарден поднял бокал, глядя на Дагни.

— Хэнк, я… я отказалась бы от всего на свете, кроме одного, — быть… объектом роскоши для твоего удовольствия.

Он увидел, что пальцы, которыми она держит бокал, дрожат. И сказал просто:

— Я знаю это, любимая.

Она застыла: он никогда еще не называл ее этим словом. Откинув голову, он улыбнулся своей самой ослепительной улыбкой.

— Впервые ты дала слабину, Дагни, — сказал Риарден.

Тряхнув головой, она рассмеялась. Он протянул через стол руку и накрыл ладонью ее обнаженное плечо, словно предлагая поддержку. С ласковым смехом, как будто ненароком, она коснулась губами его пальцев и опустила голову, чтобы он не заметил, что в ее глазах сверкают слезы.

Подняв голову, она одарила его ответной улыбкой, и весь вечер превратился в их торжество, реванш за все его ночи в рудных шахтах, за все годы, миновавшие со дня ее первого бала, когда, скрывая одиночество под маской веселости,

она размышляла о людях, надеявшихся, что огни и цветы придадут им величие.

«*Нет ли в том, чему нас учили, извращения, ошибки, порочной и даже фатальной*?» — эти его слова она обдумывала, полулежа в кресле в своей гостиной унылым весенним вечером, ожидая его прихода. «Еще, дорогой, — думала она, — еще немного, и ты освободишься от этой ошибки и от той ненужной боли, которую ты не должен носить в себе…» Но она чувствовала, что и сама не видит пока *всего* пути, и не может знать, какие шаги ей осталось совершить.

Шагая по темным улицам к дому Дагни, Риарден засунул руки в карманы, крепко прижав ладони к бокам, потому что не хотел ни к кому прикасаться, даже случайно. Он никогда прежде не испытывал такого чувства — отвращения, которое не было вызвано чем-то конкретным, а просто затопило весь город. Он мог бы понять неприязнь к чему-то конкретному и мог бы побороться с этим, уверенный, что оно не относится к реальному миру. Но чувство, что весь мир — тошнотворное место, которому он не хочет принадлежать, было новым для него.

Он провел совещание с производителями меди, повязанными по рукам и ногам кучей

директив, ставших реальной угрозой их существованию в грядущем году. Ему нечего было им посоветовать, он не мог предложить решения проблемы. Изобретательность, принесшая ему славу человека, который всегда находит способ не останавливать свои прокатные станы, не помогла отыскать путь к спасению производителей меди. Все они понимали, что такого пути не существует, ведь изобретательность — свойство ума, а при сложившихся обстоятельствах разум давно уже стал бесполезным.

— Это дело рук парней в Вашингтоне и импортеров меди, — сказал один. — В основном компании «*Д'Анкония Коппер*».

«Еще один маленький, противный укол боли, — подумал он, — чувство обманутого ожидания, на которое он не имеет права». Риардену полагалось знать, что это может совершить только такой человек, как Франсиско д'Анкония, и ему было горько, что где-то в мрачном мире погас еще один яркий огонек.

Он не мог разобраться, породила ли эту всепоглощающую тошнотворность невозможность действовать или, наоборот, тошнотворность лишила его желания действовать. И то и другое справедливо, решил он. Желание действия

предполагает возможность действий; действие предполагает цель, которая стоит того, чтобы ее добиваться. Если единственная цель — пресмыкаться перед всякими мафиози ради сомнительного преимущества, тогда желание действовать просто пропадает.

«А может ли продолжаться жизнь? — равнодушно спрашивал он себя. — Суть жизни, — думал он, — состоит в движении; жизнь человека — движение к цели. Каково положение человека, у которого отбирают и движение, и цель; человека, закованного в цепи: ему позволено только дышать и бессильно созерцать те огромные возможности, какие он мог бы реализовать? Человека, которому позволено только кричать “Почему???” и в качестве единственного объяснения видеть ружейный ствол, направленный ему в лицо?» Он на ходу пожал плечами, ответа ему даже искать не хотелось.

Риарден равнодушно взирал на опустошение, порожденное его собственным равнодушием. Несмотря на то, какую тяжелую борьбу пришлось ему выдержать в прошлом, он никогда не приходил к мерзкому отрицанию желания действовать. В моменты страданий он не позволял боли одержать победу: он никогда не позволял

себе утратить стремление к радости. Он никогда не сомневался в предназначении мира и в величии человека, как его смысла и главной движущей силы. Много лет назад он с высокомерным пренебрежением думал о сектах фанатиков, возникавших в темных уголках истории, сектах, веривших в то, что человек оказался в ловушке недоброй Вселенной, где правит зло; оказался с единственной целью — подвергать себя мукам. Сегодня он понимал их восприятие мира, понимал, каким они хотели бы его видеть. Если весь мир такой же, как мир, который его окружает, то он не хочет касаться ни малейшей его частички, не хочет бороться с ним. Он — посторонний, ему больше нечего терять и не осталось интереса к жизни.

Дагни… желание быть с ней осталось единственным исключением.

И тяга эта не проходила. И вдруг — шок. Он понял, что сегодня не хочет спать с Дагни. Желание, не дававшее ему ни минуты покоя, постоянно нараставшее, подпитываясь уже самим своим существованием, стерлось. Странная импотенция, не от ума, и не от тела. Он, как всегда, страстно веровал, что она — самая желанная женщина на свете. Но из этого чувства родилось только

желание желать ее, *стремление* чувствовать, но не *само* чувство. Оцепенение казалось безличным, будто коренилось не в нем и не в ней, словно секс принадлежал теперь тому миру, который Риарден покинул.

— Не вставай, останься в кресле. Ведь ты ожидала меня, я знаю, вот и хочу еще немного на тебя посмотреть.

Он произнес это, стоя на пороге квартиры Дагни, глядя на ее фигуру в кресле, на то, как радостно подались вперед ее плечи, когда она хотела подняться, и улыбнулся.

Он заметил — словно кто-то внутри него с отстраненным любопытством наблюдал за его реакциями, — что улыбка и внезапная радость его искренни. Он поймал себя на некоем чувстве, которое всегда испытывал, но никогда не мог определить, назвать, поскольку было оно и постоянным, и мгновенным: чувстве, *запрещавшем* ему видеть ее в моменты боли. Это было больше чем желание скрывать свои страдания из гордости. Риарден понимал, что нельзя выставлять свои переживания напоказ, чтобы ни одна новая нить, связующая их, никогда не была рождена болью или жалостью. Его привела сюда не жалость, и не за жалостью он пришел.

— Тебе все еще нужны доказательства того, что я всегда жду тебя? — она послушно осталась в кресле. В голосе не слышалось ни нежности, ни мольбы, только радость и игривость.

— Дагни, почему ты единственная женщина, которая в этом признается?

— Потому что другие женщины не уверены в том, что они желанны. Я уверена.

— Мне нравится твоя самоуверенность.

— Уверенность в себе — только часть того, о чем я говорю, Хэнк.

— А что остальное?

— Уверенность в моей ценности и в твоей.

Риарден глянул на нее, словно у него в голове мелькнула какая-то мысль, и она добавила, засмеявшись: — Я не могла бы быть уверенной, что удержу человека вроде Оррена Бойля, например. Он может вообще меня не захотеть. А тебе я нужна.

— Ты хочешь сказать, — медленно проговорил он, — что я вырос в твоих глазах, когда ты обнаружила, что ты мне нужна?

— Конечно.

— Это не похоже на реакцию большинства людей, которые хотят, чтобы их желали.

— Не похоже.

— Большинство людей вырастают в *собственных* глазах, если другие их желают.

— Я чувствую, что другие вырастают в моих глазах, если они меня любят. Именно так думаешь и ты, Хэнк, признаешься ли ты сейчас в этом или нет.

Совсем не это я сказал тебе тогда, нашим первым утром, подумал Риарден, глядя на нее. Она потянулась к нему; лицо оставалось спокойным, но в глазах искрилось веселье. Он знал, что она думает о том же и понимает, что и он об этом думает. Он улыбнулся, но ничего не сказал.

Он тоже опустился в кресло, глядя на нее через всю комнату, ощущая покой, как будто между ним и теми мыслями, что мучали его по дороге к Дагни, выросла защитная стена. Он рассказал ей о своей встрече с человеком из Государственного научного института, потому что, хотя и чувствовал в том разговоре опасность, странное чувство удовлетворения не покидало его.

Он посмеялся над ее возмущенным видом.

— Не стоит на них сердиться, — успокоил он Дагни. — Они каждый день совершают вещи и похуже.

— Хэнк, хочешь, я поговорю с доктором Стэд-

лером?

— Конечно, нет!

— Он должен прекратить это. По крайней мере он может.

— Я лучше сяду в тюрьму. Доктор Стэдлер? У тебя с ним ничего нет, правда?

— Я видела его несколько дней назад.

— Зачем?

— В связи с мотором.

— Мотор? — медленно проговорил он странным тоном, словно мысль о моторе внезапно вернула его в забытый мир. — Дагни… человек, создавший этот мотор… он существует?

— Ну… конечно. Что ты имеешь в виду?

— Я имею в виду только… приятная мысль, правда? Если даже он уже умер, то раньше был жив… жив настолько, что сконструировал мотор…

— В чем дело, Хэнк?

— Ни в чем. Расскажи мне про мотор.

Дагни рассказала ему о своей встрече с доктором Стэдлером. Поднявшись, она стала ходить по комнате. Дагни не могла сидеть спокойно, она всегда чувствовала прилив надежды и желание действовать, когда речь заходила о моторе.

Он смотрел на огни города за окном. Ему хо-

телось, чтобы они загорались один за другим, образуя огромную линию горизонта, которая ему нравилась. Он хотел этого, хоть и понимал, что огни горели и раньше. Потом его снова посетила мысль, сидевшая глубоко внутри: к нему мало-помалу возвращалась любовь к городу. Он чувствовал это, смотря на город, что раскинулся позади стройной фигуры женщины, приподнявшей голову, словно она старалась разглядеть вдалеке кого-то, чьи неустанные шаги заменяли ей полет. Риарден любовался ею как посторонний, он почти забыл, что она — женщина, но ее образ воплотился в чувство, соответствовавшее словам: «Вот это — мир, самая суть его, вот что создало город». Они слились воедино — угловатые линии зданий и упрямые линии лица, которое не выражало ничего, кроме целеустремленности; ступенчато вздымающаяся сталь и настойчивые шаги к цели. Все люди, создающие огни, сталь, котлы, моторы, они и есть этот мир, они, а не те, кто прячутся по темным углам, то ли упрашивая, то ли угрожая, хвастливо демонстрируя свои открытые раны, как единственную добродетель и право на жизнь. Риарден знал, что есть на свете человек, дерзнувший на новую мысль. Может ли он оставить этот мир на тех, других людей?

Теперь, когда он увидел то, что наполнило его жизнеутверждающим восхищением, сможет ли он поверить в мир, принадлежащий страданиям, стонам и оружию? Человек, создавший мотор, существовал, он никогда не сомневался в его реальности, сделавшей контраст невыносимым. Даже отвращение стало выражением его лояльности по отношению к нему и к тому миру, который принадлежал ему и Риардену.

— Милая… — произнес он, — милая… — словно только что проснулся, когда заметил, что Дагни умолкла.

— Что такое, Хэнк? — мягко спросила она.

— Ничего… Кроме того, что тебе не следовало звонить Стэдлеру, — выражение его лица говорило о доверии, голос звучал радостно, успокаивающе и нежно. Больше она ничего не могла заметить, он выглядел как обычно, и только отчетливая нотка нежности казалась странной и новой.

— Я чувствую, что не следовало, — согласилась она. — Но не понимаю, почему.

— Я объясню тебе, — он подался вперед. — С твоей помощью он хотел удостовериться, что он по-прежнему тот же доктор Роберт Стэдлер, каким был прежде, хоть и понимает, что больше

им не является. Он хотел, чтобы, вопреки его поступкам, ты отнеслась к нему с уважением. Он хотел, чтобы ты сфальсифицировала для него реальность, словно его величие сохранилось. Но Государственный научный институт будет сметен с лица земли, словно его и не было. А ты — единственная, кто может сделать это для него.

— Почему я?

— Потому что ты — жертва.

Она изумленно воззрилась на него. Он говорил уверенно, ощутив неожиданную, жестокую ясность, словно в его взор ворвалась новая энергия, сливая неразличимое и непонятое в единый образ, в единое направление.

— Дагни, они творят нечто, нам непонятное. Они знают что-то, чего не знаем мы, но мы должны это узнать. Я пока не понимаю всего, но начинаю различать части единого целого. Этот мошенник из Государственного научного института испугался, когда я отказался помогать ему притвориться честным покупателем моего металла. Он очень сильно испугался. Чего? Того, что он назвал общественным мнением? Нет, это не совсем подходящее название. Почему он должен был испугаться? У него есть оружие, тюрьмы, законы, он мог захватить все мое ли-

тейное производство, если бы захотел, и никто не встал бы на мою защиту, и он знает это. Так почему он должен был опасаться, что я подумаю об этом? Но он испугался.

Он ждал, что это я стану убеждать его, что он не мошенник, а мой клиент и друг. Именно этого он ожидал от меня. Того же ждал от тебя и доктор Стэдлер: ты должна была вести себя так, словно он великий человек, и словно он никогда не пытался разрушить твою железную дорогу и мои металлургические заводы. Я не знаю пока цели, которой они добиваются, знаю только, они хотят, чтобы мы притворялись, будто видим мир таким, каким он является с их точки зрения. Им нужно от нас что-то вроде оправдания. Я пока не знаю, оправдания какого рода, но, Дагни, я понимаю, что если нам дороги наши жизни, мы не должны давать им этих оправданий. Даже если они подвесят тебя на дыбе, не сдавайся. Пусть они разрушат твою железную дорогу и мои заводы, не сдавайся им. Я уверен, это наш последний шанс на спасение.

Дагни по-прежнему неподвижно стояла перед ним, пристально вглядываясь в едва вырисовывающийся образ, который она силилась понять.

— Да… — сказала она, — да, я понимаю, *что* ты

в них увидел… Я тоже чувствовала это, только оно промелькнуло неуловимо, словно струя холодного воздуха. Осталось только чувство, близкое к уверенности: я должна их остановить… Я знаю, ты прав. Я не могу понять, что за игру они ведут, но ты прав… Мы не должны видеть мир таким, каким они хотят заставить нас его видеть. Это какой-то обман, очень древний и чудовищный, и способ его разрушить — понимать каждое их намерение, изучать каждое предписание…

Она резко повернулась к нему под влиянием внезапной мысли, но прервала движение вместе со словами, боясь, что произнесет то, о чем пока не хочет ему говорить. Молча смотрела на него с широкой вопросительной улыбкой.

У него зародилось понимание мысли, пока не высказанной ею до конца, но в таком зачаточном состоянии, что мысли этой еще только предстояло стать словами. Риарден не стал на ней сосредоточиваться, потому что ее сменило новое ослепительное чувство — оно захватило и еще долго не отпускало его. Он поднялся, подошел и крепко обнял Дагни, их тела словно превратились в два потока, устремившихся друг к другу, чтобы слиться воедино в одной точке — их соприкоснувшихся губах.

В тот момент, когда он обнимал ее, Дагни, стоя посреди комнаты высоко над огнями большого города, наслаждалась красотой его фигуры, отражавшейся в окне.

Риарден знал, что сегодня вечером любовь к жизни вновь вернулась к нему не с возрождением страстного желания к Дагни. Наоборот, страстное желание вернулось к нему после того, как он вновь обрел свой мир, осознал его ценность и смысл. Влечение возникло не как ответ на призыв ее тела, а как торжество его воли к жизни.

Он не сознавал этого, не думал об этом, необходимость в словах отпала. Но в тот момент, когда он почувствовал ответ ее тела, ему явилось спокойное, *естественное* понимание, что он считал ее греховностью то, что на самом деле является ее высшей добродетелью — способность ощущать радость существования так же, как ощущал ее он сам.

ГЛАВА II. АРИСТОКРАТИЯ БЛАТА

Календарь за окном ее кабинета сообщал, что сегодня второе сентября. Дагни устало склонилась над письменным столом. Луч закатного солнца перед наступлением сумерек всегда упирался в календарь, и появляющийся над крышами сияющий белизной прямоугольник затенял город, подгоняя наступление темноты.

Уже несколько месяцев она каждый вечер смотрела на неумолимый календарь. Казалось, отмечая приближение некоего события, он говорил ей: твои дни сочтены. Когда-то он указывал время постройки ветки «*Линия Джона Голта*»; теперь неумолимо отсчитывал дни ее гонки с неизвестным разрушителем.

Один за другим люди, построившие новые города в Колорадо, растворились в молчаливой неизвестности, из которой еще никто не возвратился. Покинутые ими города умирали. Одни заводы, построенные ими, остались без хозяина, другие захватили местные авторитеты, но работу прекратили все.

Дагни казалось, что перед ней раскинулась карта Колорадо, подобно электрической панели

контроля за движением поездов, с несколькими огоньками, растянувшимися цепочкой через горы. Один за другим огни гасли. Один за другим исчезали люди. В этом угадывалась связь, она ее чувствовала, но не могла за нее ухватиться. Она научилась предсказывать, с большой степенью точности, кто уйдет следующим и когда это случится. Она не могла только понять — почему.

Из тех, кто приветствовал ее из кабины локомотива на платформе «*Уайэтт Джанкшн*», остался один Тед Нильсен, все еще управлявший заводом «*Нильсен Моторс*».

— Тед, вы не станете следующим, кто уйдет? — спросила она его в свой последний приезд в Нью-Йорк, пытаясь улыбнуться.

— Надеюсь, что нет, — мрачно ответил он.

— Почему вы говорите «Надеюсь»? Вы не уверены?

Тед ответил медленно, через силу:

— Дагни, я всегда думал, что скорее умру, чем перестану работать. Но это относилось и ко всем тем, кто ушел. Мне кажется невозможным прекратить работать. Но всего год назад так же казалось очень многим моим друзьям. Они понимали, что означает их уход для нас, выживших. Они не должны были уходить вот

так, не сказав ни слова, оставив нам страх перед необъяснимым, если только у них не было на это очень веских причин. Месяц назад Роджер Марш из «*Марш Электрик*» говорил мне, что прикует себя цепью к рабочему столу, чтобы не было возможности покинуть его, какое бы ужасное искушение им ни овладело. Он кипел гневом и возмущением против тех людей, которые ушли. Он поклялся мне, что никогда так не поступит.

«А если произойдет то, чему я не смогу противостоять, — сказал он, — я обещаю, что сохраню достаточно разума, дабы оставить тебе письмо с намеком на то, в чем было дело, чтобы ты не напрягал в ужасе свои мозги, как мы оба сейчас». Так он поклялся. Но две недели назад ушел. Не оставив мне письма… Дагни, я не могу предсказать, что сделаю, когда увижу то, что видели перед собой все те, кто уже ушли.

Ей представлялся неизвестный разрушитель, бесшумно передвигающийся по стране, и при его прикосновении то тут, то там гаснут огни; какой-то человек, горько думала она, который вывернул наизнанку принцип движущей силы двадцатого века и превращает кинетическую энергию в статическую.

С этим врагом она затеяла состязание, думала

Дагни, сидя в сумерках за своим письменным столом. Ежемесячный доклад от Квентина Дэниелса лежал у нее на столе. Как и прежде, она не была уверена в том, что Дэниелс раскроет тайну мотора, а разрушитель двигался быстро, уверенно, постоянно наращивая темп. Интересно, подумала она, к тому времени, когда она воссоздаст мотор, останется ли на свете хоть один человек, который будет им пользоваться?

Квентин Дэниелс понравился Дагни, едва войдя в ее кабинет для первого собеседования. Долговязый мужчина слегка за тридцать с неприметным угловатым лицом и симпатичной улыбкой. Намек на улыбку постоянно освещал его лицо, в особенности, когда он слушал. Добродушный взгляд отражал между тем острый ум, словно Квентин быстро и методично отсортировывал из услышанного ненужные слова и схватывал суть, на секунду опережая говорящего.

— Почему вы отказались работать на доктора Стэдлера? — спросила его Дагни.

Намек на улыбку стал яснее и резче, для Квентина это был предел выражения эмоций. Но ответил он в своей обычной неторопливой манере:

— Знаете, доктор Стэдлер сказал мне однажды, что в названии «свободные научные исследо-

вания» первое слово — лишнее. Но, кажется, позабыл про это. Что ж, я добавлю только, что в словосочетании «правительственные научные исследования» содержится явное противоречие.

Она спросила, какой пост он занимает в Технологическом институте штата Юта.

— Ночной сторож, — ответил он.

— Что? — ахнула она.

— Ночной сторож, — вежливо повторил он, словно она просто не расслышала его слова, не содержащие ничего необычного.

В ходе расспросов выяснилось, что он считает неприемлемым работать в научных институтах, что он хотел бы получить работу в одном из больших индустриальных концернов, но…

— Какой концерн теперь может позволить себе предпринять долгосрочное исследование, да и к чему?

Поэтому когда Технологический институт штата Юта закрылся за недостатком финансирования, он остался там ночным сторожем и единственным обитателем. На самое необходимое жалованья хватало, а институтские лаборатории были под рукой, в целости и сохранности, в его полном распоряжении.

— Так вы занимаетесь собственными научными изысканиями?

— Совершенно верно. Так, удовольствия ради….

— Как вы намерены поступить, если сделаете коммерчески ценное открытие? Собираетесь предоставить его для общественного пользования?

— Не знаю. Не думаю.

— Есть ли у вас стремление принести пользу человечеству?

— Я не говорю на таком языке, мисс Таггерт. Думаю, что и вы тоже.

Дагни рассмеялась.

— Похоже, мы с вами поладим.

— Непременно.

Выслушав от Дагни историю мотора и изучив рукопись, Квентин не стал их комментировать, а просто сказал, что возьмется за работу на любых условиях.

Дагни предложила ему назвать эти условия самому. Но против заявленного им ничтожного ежемесячного оклада она с возмущением воспротивилась.

— Мисс Таггерт, — объяснил Квентин. — Я не приму слишком высокой платы неизвестно

за что. Я не знаю, как долго вам придется платить мне и вернете ли вы свои деньги. Я рассчитываю только на собственный ум. Я не принимаю пожертвований. Но я, безусловно, намерен получить деньги за конкретный результат. Если у меня получится, я сдеру с вас семь шкур, потому что я хочу получить процент от прибыли, и он будет высоким, но и вы не разоритесь.

Когда он назвал величину процента, она рассмеялась.

— И правда, вы сдерете с меня семь шкур, но и я не разорюсь. Согласна.

Они сошлись на том, что мотор будет ее частным заказом, а Квентин — частным наемным рабочим. Ни один из них не хотел иметь дело с исследовательским отделом корпорации «*Таггерт*». Он попросил, чтобы ему позволили остаться в Юте, на посту ночного сторожа, где он мог располагать всем необходимым лабораторным оборудованием и уединенностью. Проект решили держать в секрете до тех пор, пока (и если) успех не будет достигнут.

— Мисс Таггерт, — сказал он в заключение, — я не знаю, сколько лет потребуется мне на решение этой проблемы, если это вообще случится. Но уверен, если я посвящу ему остаток моей жиз-

ни и добьюсь успеха, то буду знать, что не зря топтал эту землю, — и добавил: — Единственное, о чем я мечтаю даже больше, чем об успехе, так это о встрече с человеком, который этого уже добился.

Раз в месяц Дагни высылала ему чек, а Квентин в ответ направлял рапорт о проделанной работе. Для осуществления надежд прошло слишком мало времени, но его рапорты стали единственным светлым пятном в застойном мраке ее рабочих дней в конторе.

Она подняла голову, закончив читать очередное его сообщение. Календарь в отдалении напоминал: сегодня второе сентября. Под ним, растекаясь вширь, мерцали огни большого города. Она подумала о Риардене. Ей так хотелось, чтобы он никуда не уехал, чтобы они увиделись сегодня вечером.

Потом, всмотревшись в светящуюся дату, она неожиданно припомнила, что нужно спешить домой, переодеваться, — ведь вечером ей необходимо быть на свадьбе Джима.

Дагни не видела Джима вне работы около года. Она не встречалась с его невестой, но предостаточно прочитала в газетах об их помолвке. Она устало поднялась из-за стола, горестно при-

знавшись себе, что проще прийти на свадьбу, чем потом придумывать оправдания своего отсутствия.

Дагни торопливо шла по туннелям вокзала, который, как и все другие, привыкла величать Терминалом, когда услышала, что ее окликает голос, в котором одновременно слышались нотки настойчивости и нерешительности. Она резко остановилась, ей понадобилось несколько секунд, чтобы понять, что ее зовет старый продавец из табачного киоска.

— Я много дней старался поймать вас, мисс Таггерт. Очень хочу поговорить с вами, — по его лицу она видела, какие неимоверные усилия прилагает он, чтобы не показать, как испуган.

— Простите, — улыбнулась она. — Я всегда так тороплюсь, и на работу и с работы, что нет времени остановиться.

Старик не улыбнулся в ответ.

— Мисс Таггерт, тот окурок сигареты с пометкой «один доллар», которую вы дали мне несколько месяцев назад… откуда он у вас?

Она на мгновение застыла.

— Боюсь, это очень длинная и непростая история.

— Можете ли вы связаться с человеком, кото-

рый дал вам сигарету?

— Полагаю, что смогу, хотя и не уверена в этом. А в чем дело?

— Скажет ли он вам, откуда она взялась?

— Не знаю. А почему вы думаете, что он может это скрыть?

— Мисс Таггерт, — поколебавшись, спросил старик, — как вы поступаете, когда вам приходится говорить кому-нибудь нечто совершенно невероятное?

Она засмеялась.

— Человек, давший мне эту сигарету, сказал, что в таком случае нужно проверить все логикой.

— Он так сказал? Про сигарету?

— Вообще-то не совсем. А что? Что вы должны мне сказать?

— Мисс Таггерт, я узнавал повсюду. Проверил каждый источник информации внутри и вне табачной промышленности. Я провел химический анализ сигаретного окурка. Нет на свете фабрики, которая выпускает такой сорт бумаги. Ароматические добавки из этого табака никогда не использовались ни в одной известной курительной смеси. Сигарета изготовлена машинным способом, но ни на одной из известных мне фаб-

рик ее не делали. А я знаю все фабрики. Мисс Таггерт, по твердому моему мнению, эта сигарета изготовлена не на Земле.

* * *

Риарден следил отсутствующим взглядом, как официант выкатывает из его номера обеденный столик. Кен Данаггер ушел. Комната погрузилась в полумрак. По молчаливому уговору они не зажигали за обедом яркого огня, чтобы никто из прислуги не обратил внимания на Данаггера и, по возможности, не узнал его.

Им приходилось видеться украдкой, как преступникам, которым нельзя появляться вместе. Они не могли встречаться в своих офисах или домах, только в многолюдной анонимности большого города, в его номере отеля «*Уэйн Фолкленд*». Если бы об их встрече, на которой они договорились о выделении Данаггеру четырех тысяч тонн риарден-металла, стало известно, им обоим грозило по десятимиллионному штрафу и по десятилетнему сроку тюремного заключения.

За обедом они не обсуждали ни законы, ни мотивы, по которым они решились на рискованную операцию. Они просто обсуждали дела.

Ясно и сухо, как всегда выступал на конфе-

ренциях, Данаггер объяснил, что половина его обычной квоты уйдет на укрепление штреков, которые иначе обрушатся, и на реконструкцию шахт обанкротившейся компании «*Конфедерейтед Коул*», купленной им три недели назад.

— Превосходная собственность, но в ужасающем состоянии. В прошлом месяце на шахте произошел кошмарный несчастный случай, обрушение и взрыв, четверо погибли.

Монотонно, словно зачитывал скучную, безликую статистическую сводку, он добавил:

— Газетчики вопят, что уголь сейчас приобрел ключевое значение в стране. Еще они шумят о том, что производители угля наживаются на нехватке нефти. Одна банда в Вашингтоне распространяет сплетни, что я слишком быстро развиваюсь, и пришло время положить этому конец, потому как я становлюсь монопольным производителем. Другая банда в Вашингтоне возражает, что я, мол, развиваюсь недостаточно быстро, и необходимо заставить правительство отобрать у меня шахты, потому как я жаден до прибыли и не желаю удовлетворять потребность общества в топливе. При существующем уровне прибыли «*Конфедерейтед Коул*» вернет мне деньги, затраченные на ее приобретение, через сорок семь

лет. Детей у меня нет. Я купил компанию, потому что не могу оставить без угля одного своего клиента — «*Таггерт Трансконтинентал*». Я постоянно думаю о том, что может случиться, если железные дороги встанут, — он умолк, но после паузы продолжил: — Не знаю, почему это меня заботит, но это так. Люди в Вашингтоне, кажется, не имеют ясного представления, к чему это приведет. А я имею.

— Я дам металл, — сказал Риарден. — Когда тебе понадобится вторая часть, дай мне знать. Ее ты тоже получишь.

В конце обеда Данаггер произнес тем же ровным, бесстрастным тоном человека, точно знающего, что означают его слова:

— Если кто-нибудь из твоих или моих работников узнает об этом и попытается меня шантажировать, я заплачу ему без возражений. Но я не стану платить, если у него есть друзья в Вашингтоне. Если это всплывет на поверхность, я сяду в тюрьму.

— Тогда мы оба сядем, — закончил за него Риарден.

Стоя в одиночестве в своем полутемном номере, Риарден заметил, что перспектива сесть в тюрьму оставила его совершенно равнодуш-

ным. Он вспомнил время, когда четырнадцатилетним подростком, шатаясь от недоедания, он не украл яблоко с ближайшего лотка. Сегодня опасность оказаться в тюрьме значила для него не больше, чем опасность попасть под грузовик: не более чем несчастный случай, не имеющий никакой моральной значимости.

Он думал о том, что его заставляют скрывать, словно преступную тайну, единственную деловую операцию, которая доставила ему удовольствие за целый год работы — и что он скрывал, как преступную тайну, его ночи с Дагни — единственные часы, которые поддерживали в нем жизнь. Он чувствовал, что между этими двумя тайнами имеется некая связь, существенная связь, и ему еще предстояло открыть ее для себя. Он не мог осмыслить эту взаимосвязь, не мог подобрать ей подходящего названия, но чувствовал, что в день, когда он обнаружит ее, он ответит на все вопросы своей жизни.

Прислонившись спиной к стене, откинув голову, закрыв глаза, он думал о Дагни и чувствовал, что никакие иные вопросы его больше не волнуют. Он думал, что должен увидеть ее сегодня вечером, почти с ненавистью, потому что завтрашнее утро и расставание с ней каза-

лись такими близкими. Он размышлял, надо ли оставаться в городе до завтра или следует уехать сейчас, не повидав Дагни, чтобы ждать, чтобы всегда знать, что тот момент, когда он обнимет ее и посмотрит ей в лицо, еще впереди. «Ты сходишь с ума», — подумал он, но знал, что, даже если она будет рядом с ним до скончания дней, ему и тогда будет ее не хватать. Он знал, что увидит ее сегодня, но мысль об обратном доставляла еще больше удовольствия, эта пытка подчеркивала его уверенность в будущем. Он подумал, что не станет гасить свет в ее гостиной, и будет любоваться полоской света, протянувшейся от ее талии до колена, простой линией, обрисовывающей стройное худое тело в полутьме, потом повернет ее к свету, чтобы посмотреть на ее лицо. Увидит, как оно откинется назад, не сопротивляясь, уронив волну волос на его руку — глаза закрыты, на лице — предвкушения сладостной боли, рот приоткрыт в ожидании его губ.

Он стоял у стены, ожидая, когда события дня сотрутся из памяти, чтобы освободиться от них, чтобы поверить — вся оставшаяся часть вечера принадлежит ему.

Он не услышал, как дверь его комнаты без предупреждения распахнулась, и не сразу в это

поверил. Сначала Риарден разглядел силуэт женщины, потом фигуру посыльного, поставившего на пол чемодан и сразу удалившегося. Услышанный им голос принадлежал Лилиан:

— О, Генри! В темноте и совсем один?

Лилиан нажала кнопку выключателя. Она стояла у двери, холеная, одетая в светло-бежевый дорожный костюм, свежая, словно путешествовала под стеклянным колпаком. Лилиан улыбалась, стягивая перчатки с таким выражением, точно наконец-то вернулась домой.

— Ты проводишь вечер дома, дорогой? — спросила она. — Или собираешься выйти?

Риарден не заметил, сколько прошло времени, прежде чем он ответил:

— Что ты здесь делаешь?

— Разве ты не помнишь, что Джим Таггерт пригласил нас к себе на свадьбу? Как раз сегодня вечером.

— Я не собираюсь идти на его свадьбу.

— Зато я собираюсь!

— Почему ты не сказала мне об этом утром, пока я не ушел?

— Чтобы сделать тебе сюрприз, дорогой, — игриво засмеялась она. — Вытащить тебя на какую-нибудь вечеринку практически невозможно, и я

подумала, может, получится так, под влиянием момента. Просто для того, чтобы выйти и хорошо провести время, как и полагается супружеским парам. Мне казалось, что ты не станешь возражать против этого, ведь ты так часто остаешься в Нью-Йорке на всю ночь!

Он уловил беглый взгляд, которым она окинула его из-под полей надвинутой на лоб модной шляпки, и ничего не ответил.

— Разумеется, я рискую, — продолжала она. — Ты мог пригласить кого-нибудь на ужин в городе, — он снова не ответил. — Или, может быть, ты собирался вернуться вечером домой?

— Нет.

— У тебя на вечер что-то назначено?

— Нет.

— Прекрасно, — Лилиан указала на чемодан. — Я привезла свои вечерние платья. Спорим на бутоньерку из орхидей, что я оденусь раньше, чем ты?

Риарден вспомнил, что Дагни сегодня вечером будет на свадьбе брата.

— Я пойду с тобой, если хочешь, — сказал он. — Но только не на эту свадьбу.

— Но я хочу пойти именно туда! Это самое нелепое событие сезона, и все мои друзья ожидали

его много недель. Я не пропущу эту вечеринку ни за что на свете. В городе нет ничего более зрелищного, более разрекламированного. Ужасно смешной брак, но именно такой, какого я ждала от Джима Таггерта.

Она непринужденно передвигалась по комнате, осматриваясь, словно привыкая к незнакомому месту.

— Целую вечность не бывала в Нью-Йорке, — протянула она. — Я имею в виду с тобой. Я имею в виду по официальному поводу.

Он заметил, как она ненадолго остановила взгляд на пепельнице, переполненной окурками, и быстро отвернулась. Он почувствовал приступ отвращения.

Она поняла это по его лицу и игриво рассмеялась:

— Но, дорогой, я не удовлетворена. Я разочарована. Я надеялась найти несколько сигаретных окурков, испачканных губной помадой.

Он позволил ей небольшой шпионаж, пусть под прикрытием шутки. Но что-то в откровенной нервозности ее поведения заставило его задуматься, шутит ли она. На мгновение ему показалось, что она знает правду. Он тряхнул головой — нет, это просто невозможно.

— Боюсь, ты никогда не был настоящим мужчиной, — продолжала она. — Поэтому я уверена, что у меня нет соперницы. А если и есть, в чем я сомневаюсь, дорогой, то не стану об этом переживать, поскольку, если эта дама всегда доступна, без заранее назначенного свидания… ну, ты меня понимаешь… всякий знает, *что* это за женщина.

Риарден подумал, что нужно лучше держать себя в руках: он чуть не дал ей пощечину.

— Лилиан, я думаю, тебе известно, что я не терплю подобного юмора.

— О, какой ты серьезный! — рассмеялась она. — Я стала об этом забывать. Ты всегда так серьезен, особенно, когда дело касается лично тебя.

Лилиан внезапно повернулась к нему, улыбка исчезла с ее лица. Она смотрела на него странным, вызывающим взглядом, полным решительности и отваги, который он порой ловил на ее лице.

— Предпочитаешь серьезный разговор, Генри? Хорошо. Долго ты еще хочешь, чтобы я жила где-то у подножия твоей жизни? Насколько еще более одинокой я должна стать? Я ничего у тебя не просила. Я предоставила тебе жить так, как тебе нравится. Можешь ты подарить мне один-единственный вечер? О, я знаю, ты нена-

видишь вечеринки и сразу начнешь скучать. Но для меня эта свадьба имеет большое значение. Назови это тщеславием, суетностью, но я хочу появляться на людях, хоть иногда, с моим мужем. Наверное, ты никогда не думал об этом в таких выражениях, но ты — важная фигура, тебе завидуют, тебя ненавидят, уважают и боятся, ты мужчина, которого любая женщина с гордостью представила бы в качестве своего мужа.

Ты можешь сказать, что это примитивная форма женской похвальбы, но на самом деле это форма женского счастья. Ты живешь по иным стандартам, а я — именно по таким. Не можешь же ты отказать мне в такой малости, пожертвовав несколькими часами скуки? Можешь ли ты быть достаточно сильным, чтобы выполнить свои обязательства и исполнить супружеский долг? Можешь ли ты пойти туда не ради себя, а ради меня, не потому, что *ты* хочешь пойти, а потому что этого хочу *я*?

«Дагни, — в отчаянии подумал он, — Дагни никогда ни слова не проронила о моей семейной жизни, никогда ничего не требовала, ни в чем не упрекала, не задавала никаких вопросов».

Как он мог появиться перед *ней* со своей женой? Он не мог предстать перед Дагни как муж,

горделиво выставленный напоказ, он, скорее, предпочел бы умереть, но внутренне уже понимал, что согласится пойти с Лилиан.

Риарден считал свою тайну виной и обещал себе вытерпеть ее последствия. Он знал, что Лилиан в данном случае права, и был готов вынести любое наказание, не мог отрицать правоту жены, понимая, что причина, по которой он не хочет идти на свадьбу, не повод для отказа. Мысленно он взмолился: «*О Господи, Лилиан, только не эта свадьба!*», но не позволил себе просить пощады, а произнес безжизненным, ровным голосом:

— Хорошо, Лилиан, я пойду с тобой.

* * *

Подвенечная фата из розовых кружев зацепилась за щербатый пол ее съемной комнатки. Черрил Брукс осторожно приподняла ее, повернувшись, чтобы посмотреть на себя в зеркале, висевшем на стене. Сегодня весь день ее фотографировали здесь, как и все два последних месяца. Она до сих пор недоверчиво и благодарно улыбалась, когда газетные фоторепортеры приезжали, чтобы сделать снимок, но ей уже хотелось, чтобы это происходило не так часто.

Пожилая дама, заведовавшая в журнале слю-

нявой колонкой о любви, а в реальной жизни отличавшаяся горькой мудростью женщины-полицейского, взяла Черрил под свое покровительство несколько недель назад, когда девушка впервые попала в руки газетных щелкоперов, словно в мясорубку. Сегодня она выставила газетчиков за порог, крикнув соседям: «Давайте, давайте, бейте их!», захлопнула у них перед носом дверь и помогла Черрил одеться. Она собиралась отвезти девушку на венчание: оказалось, что больше этого сделать некому.

Подвенечная фата, белое атласное платье, изящные босоножки и нитка жемчуга на шее стоили в пятьсот раз дороже всего содержимого комнатки Черрил. Бóльшую часть спальни занимала кровать, в оставшейся разместились комод, один стул и ее немногочисленные платья, висевшие под выцветшей занавеской. Необъятный кринолин подвенечного платья при ее движениях задевал стены, худенькая фигурка, затянутая в корсет, изгибалась над пышной юбкой в драматическом контрасте. Платье сшил лучший портной города.

— Знаете, когда я получила работу в магазине «Центовка», я могла бы переехать в комнату получше, — извиняющимся тоном рассказывала

Черрил репортерше, — но я подумала, какая разница, где спишь ночью, вот и сэкономила деньги, потому что они могут пригодиться для чего-нибудь важного…

Она улыбнулась и замолчала, изумленно качая головой.

— Я думала, они мне понадобятся, — добавила она.

— Выглядишь прекрасно, — сказала женщина. — В этом тусклом зеркале многого не разглядишь, но ты в порядке.

— Все так неожиданно произошло, что я… У меня не было времени. Но знаете, Джим замечательный. Он не против того, что я — простая продавщица из магазина дешевых товаров и живу в таком месте. Он не имеет ничего против этого.

— Угу, — угрюмо поддакнула репортерша.

Черрил помнила, как она изумилась, когда Джим пришел сюда в первый раз. Однажды вечером, без предупреждения, через месяц после их первой встречи, когда Черрил уже потеряла надежду увидеть его снова. Девушка ужасно смутилась, чувствуя себя так, будто пыталась удержать восход солнца в грязной луже, но Джим улыбался, сел на единственный стул и окинул

быстрым взглядом ее комнатку. Потом он велел ей надеть пальто и пригласил на ужин в самый дорогой ресторан в городе.

Он улыбался, видя ее неуверенность, пугливость, страх ошибиться вилкой и светящиеся счастьем глаза.

Она не знала, что он думает о ней. Он же понимал: она едва прикоснулась к дорогой пище не потому, что очарована рестораном, а потому, что он привел ее сюда. Она получила от богатого чудака приглашение на ужин (а не дорогой подарок, вопреки предпочтениям всех ее знакомых девушек) как сверкающую награду, о которой не осмеливалась даже мечтать.

Спустя две недели он пришел снова, и после этого их свидания случались все чаще. Он подъезжал к ее магазину к закрытию, и она видела, как ее подружки-продавщицы глазели на нее, на его лимузин, на шофера в униформе, открывавшего перед ней дверцу автомобиля. Он водил ее в лучшие ночные клубы и, представляя ее своим друзьям, всегда говорил: «Мисс Брукс работает в магазине «Центовка» на Мэдисон-сквер». Она замечала странное выражение на их лицах, и Джим смотрел на них с искоркой насмешки во взгляде. «Он хочет избавить меня

от необходимости обманывать и притворяться», — с благодарностью думала Черрил. «Он находит в себе силы быть честным и не заботиться о том, одобряют ли его другие», — с восхищением размышляла она. Но однажды она ощутила странную, новую для себя обжигающую боль, когда как-то вечером женщина, работавшая в престижном политическом журнале, сказала своему коллеге за соседним столиком: «Это так благородно со стороны Джима!»

Если бы он захотел, Черрил отдала бы ему ту единственную награду, которую могла предложить бедная девушка. И была благодарна ему за то, что он не стремился ее получить. Но она чувствовала себя в огромном долгу, который ей нечем заплатить, кроме молчаливого поклонения.

«Но ему не нужно моего поклонения», — думала она.

Случались вечера, когда он заходил за ней, но оставался в ее комнатке и говорил с ней, а она молча слушала. Он начинал неожиданно, с эксцентричной резкостью, словно вовсе не собирался этого делать, но внутри у него что-то взрывалось, и он должен был выговориться. Потом он падал на ее кровать, забыв обо всем

окружающем и об ее присутствии, и только изредка бросал на нее короткие взгляды, словно хотел убедиться, что хоть одна живая душа слушает его.

— …Я это сделал не для себя, совсем не для себя, почему эти люди мне не верят? Я должен был выполнить требование союза сократить количество поездов. И мораторий на долговые обязательства — единственный способ для этого, вот почему Уэсли выдал его мне — для рабочих, не для меня. Все газеты писали, что я — великий пример для подражания всем бизнесменам, обладающим чувством ответственности перед обществом. Именно так они писали. Ведь это правда, не так ли?

— Что плохого в моратории? То, что мы обошли некоторые формальности? Но это делалось с благими намерениями. Каждый согласится с тем, что все, сделанное не для себя, а для других, — хорошо… А она не поверила в мои добрые намерения. Она думает, что кроме нее все плохи. Моя сестра — жестокая, тщеславная сука, она не верит в чужие идеи, только в свои… Почему они так смотрят на меня: она, Риарден и все те люди? Почему они так уверены в собственной правоте?.. Если я признаю их превосходство в ма-

териальной области, почему они не признают моего превосходства в сфере духовной?

— У них есть мозги, а у меня — сердце. Они способны создавать богатство, а я способен любить. Разве моя способность не превыше? Разве не ее признавали главенствующей на протяжении многих столетий истории человечества? Почему же *они* не признают ее?.. Почему они так уверены в собственном величии?.. А если они велики, а я нет, разве это повод не здороваться со мной?

— Разве это не акт гуманизма? Что за заслуга в том, чтобы уважать человека, который того заслуживает, это будет элементарным признанием его заслуг. Выражение незаслуженного уважения — вот высший жест милосердия… Но они не способны на милосердие. Они не гуманны. Они не сочувствуют нуждам других… или их слабости. Не сочувствуют… не испытывают жалости…

Она мало что понимала из его слов, но догадалась, что он несчастлив, что кто-то причинил ему боль. Он видел сострадание в ее глазах, происки его врагов вызывали в ней бурное негодование; он ловил ее взгляд, предназначающийся героям, взгляд, дарованный ему женщиной, способной

на эмоции, на преклонение перед его талантами.

Сама не зная почему, Черрил была уверена, что она — единственная, кому он может признаться в своем страдании. Она воспринимала это как оказанную ей честь, как еще один подарок.

«Единственная возможность стать достойной его, — думала она, — никогда ни о чем не спрашивать».

Однажды он предложил ей денег, и она отвергла их с такой яркой вспышкой гнева во взоре, что больше он не делал подобных предложений. Гневалась же она на себя: неужели она совершила какой-то поступок, заставивший его подумать, что она *из таких*?

Она боялась показаться ему неблагодарной за его отношение к ней, боялась смутить своей неприглядной бедностью. Черрил хотела доказать Джиму свое стремление оправдать его доверие, поэтому она сказала ему, что он, если пожелает, может помочь ей подыскать работу получше. Он ничего не ответил. Прошли недели, но она так и не дождалась того, чтобы он вернулся к этому вопросу.

Она упрекала себя в том, что обидела его, что он воспринял просьбу как попытку его ис-

пользовать. Когда он подарил ей изумрудный браслет, она была слишком потрясена, чтобы понять значение подарка. Безнадежно стараясь не причинить ему боль, она уверяла, что не может принять браслет.

— Почему? — спросил он. — Ты ведь не продажная женщина, получающая обычную плату. Ты боишься, что я стану от тебя что-то требовать? Ты не доверяешь мне? — он громко рассмеялся над ее растерянностью. Он улыбался с выражением странного удовольствия весь тот вечер, когда они пошли в ночной клуб, и Черрил надела браслет вместе со своим поношенным черным платьицем.

Он заставил Черрил надеть браслет снова, когда привел ее на вечеринку, большой прием, устроенный миссис Корнелиус Поуп. «Если он считает меня достойной появиться в доме своих друзей, — подумала она, — знаменитых друзей, чьи имена сияют на недостижимых высотах — в газетных колонках светской хроники, я не могу огорчить его, надев старое платье». Черрил потратила все скопленные за год деньги на вечернее платье из ярко-зеленого шифона с низким вырезом и поясок из желтых розочек с пряжкой из горного хрусталя. Войдя в строгое

помещение, освещенное холодными сияющими огнями, с террасой, раскинувшейся над крышами небоскребов, она поняла, что ее наряд не подходит к обстановке, хоть и не смогла бы объяснить, почему. Но она держалась гордо и улыбалась с доверчивой отвагой котенка, видящего руку, протянутую, чтобы поиграть с ним: люди, собравшиеся хорошо провести время, никого не обидят, думала она.

Через час ее улыбка выражала беспомощную, смущенную мольбу. Потом, когда Черрил присмотрелась к окружающим, улыбка пропала. Она увидела, что элегантные самоуверенные девушки говорят с Джимом в отвратительно надменной манере, словно они не уважают его и никогда не уважали. Особенно одна из них, Бетти Поуп, дочь хозяйки дома, отпускала в его адрес фразочки, которых Черрил не в состоянии была оценить, потому что не могла поверить, что понимает их правильно.

Сначала на нее никто не обращал внимания, если не считать нескольких озадаченных взглядов, брошенных на ее платье. Спустя некоторое время она заметила, что на нее поглядывают. Она слышала, как женщина зрелых лет спросила Джима встревоженным тоном, словно справля-

лась о представительнице известной фамилии, с которой она оказалась незнакома:

— Ты сказал, мисс Брукс с Мэдисон-сквер?

Она заметила странную улыбку на лице Джима, когда он ответил, специально повысив голос:

— Да, из косметического отдела «Центовки».

Она сразу заметила, что некоторые стали нарочито вежливы с ней, другие многозначительно удалились, а большинство струсили, на что Джим молча взирал все с той же странной улыбкой.

Она попыталась скрыться с глаз этой публики. Пробираясь вдоль стен, она слышала, как мужчина сказал, пожимая плечами:

— Что ж, Джим Таггерт сейчас один из самых могущественных людей в Вашингтоне, — но в его голосе не было уважения.

На террасе, там, где потемнее, она подслушала разговор двоих мужчин, почему-то сразу решив, что речь идет о ней.

— Таггерт может себе позволить все, что ему нравится, — говорил первый. А второй в ответ сказал что-то про лошадь какого-то римского императора, кажется, Калигулы.

Она смотрела на одинокую стрелу *Таггерт-Билдинг*, высившуюся в отдалении, и вдруг решила, что понимает, в чем дело: эти люди ненавидят

Джима, потому что завидуют ему. Кем бы они ни являлись, какими бы деньгами ни обладали, никто не может похвастать достижениями, сравнимыми с успехами Джима. Никто из них не бросил вызова целой стране, взявшись за строительство железной дороги, которое все считали невозможным. Она впервые увидела, *что* может принести в жертву Джиму: окружавшие его люди оказались такими же мелкими и посредственными, как те, от кого она сбежала из Буффало. Он был так же одинок, как она, и искренность чувства казалась единственной формой признательности, необходимой Джиму.

Потом она вернулась в зал, идя прямо через толпу, и от слез, которые она пыталась сдержать в темноте террасы, остался только лихорадочный блеск глаз. Если он решил открыто встать рядом с простой продавщицей, если он захотел выставить напоказ свои чувства, если он привел ее сюда, не побоявшись презрения друзей, значит, он совершил жест смельчака, презирающего чужое мнение, и она решила работать пугалом, чтобы поддержать его отвагу.

Но когда все закончилось, она была рада, усевшись рядом с ним в автомобиль, кативший в темноте к ее дому. Она почувствовала неяс-

ное облегчение. Ее воинственный пыл остыл, уступив место странному чувству опустошения, которому она изо всех сил старалась не поддаваться. Джим говорил мало, угрюмо глядя в окно; она даже забеспокоилась, не разочаровала ли его ненароком.

На крыльце дома, где она снимала комнату, Черрил заговорила:

— Извини, если подвела тебя…

Мгновение он не отвечал, а потом вдруг спросил:

— Что бы ты сказала, если бы я предложил тебе выйти за меня замуж?

Черрил посмотрела на него, оглянулась — из соседнего окна свисал чей-то матрац, напротив расположился ломбард, у следующего крыльца красовался мусорный бак — разве в подобном месте можно делать предложение? Она не знала, что подумать и ответила:

— Наверное… у меня нет чувства юмора.

— Дорогая, я делаю тебе предложение.

Именно тогда они впервые поцеловались. По ее лицу струились слезы, все те слезы, которые она сдерживала на приеме, слезы шока, счастья, вызванные мыслью о том, что это *непременно* должно быть счастьем, и еще… слезы того тихого,

грустного голоса, что в глубине ее души говорил: никогда не думала, что это случится именно так.

Она и не вспоминала о газетчиках до того дня, когда Джим велел ей прийти к нему, и она обнаружила там толпу людей с блокнотами, камерами и вспышками. Впервые увидев в газетах свою фотографию — она и Джим рядом, он обнимает ее за талию, — она засмеялась от восторга и горделиво подумала, что, должно быть, каждый в городе видел этот снимок. Прошло время, и восторг исчез.

Они продолжали фотографировать ее в магазине, в метро, на крыльце ее дома, в нищенской комнатушке. Теперь она могла бы взять у Джима деньги и спрятаться в неизвестном отеле на несколько недель, оставшихся до их венчания. Но Джим ей этого не предложил.

Казалось, он хотел, чтобы она оставалась на прежнем месте. В газетах печатали снимки Джима за рабочим столом, на железнодорожных путях у *Терминала Таггертов*, на ступеньках его личного вагона, на официальном банкете в «Демократик бизнесмен».

Она уговаривала себя не быть подозрительной, когда чувствовала себя не в своей тарелке; не быть неблагодарной, когда переживала обиду.

Это случалось нечасто, в те моменты, когда она просыпалась посреди ночи и лежала, не в силах заснуть. Она понимала, что пройдут годы, прежде чем она привыкнет, поверит, поймет. Она жила, словно в тумане, не видя ничего, кроме фигуры Джима Таггерта, такого, каким увидела его в ночь его величайшего триумфа.

— Послушай, детка, — сказала ей репортерша, когда Черрил в последний раз стояла у себя в комнате, и кружева фаты струились по ее волосам, подобно хрустальной пене, до самого щербатого пола. — Ты думаешь, если тебе причинили боль, то только по твоей вине, и это, в общем, верно. Но есть люди, которые постараются сделать тебе больно за все хорошее, что увидят в тебе, понимая, что ты хорошая, и именно за это накажут тебя. Постарайся не сломаться, когда поймешь это.

— Кажется, я не боюсь, — Черрил смотрела прямо перед собой, и сияние ее улыбки смягчало серьезное выражение глаз. — Я не имею права бояться. Я слишком счастлива. Понимаете, я всегда думала, что люди ошибаются, когда говорят, что все, что дает нам жизнь — это страдание. Я не сдавалась. Я верила, что счастье возможно. Я не ожидала, что это случится именно со мной —

так много счастья и так скоро. Но я постараюсь быть достойной своего счастья.

* * *

— В деньгах коренится зло, — сказал Джеймс Таггерт. — Счастье нельзя купить за деньги. Любовь преодолевает все, сметает все социальные барьеры. Возможно, это звучит банально, но я так чувствую.

Он стоял в зале отеля «*Уэйн-Фолкленд*», среди сотен репортеров, окруживших его сразу после окончания свадебной церемонии. Он слышал, как прибой толпы разбивается о стену газетчиков. Черрил стояла рядом, ее рука в белой перчатке покоилась на рукаве его черного смокинга. Она все еще повторяла в памяти слова обряда, не в силах поверить, что они уже прозвучали.

— Как вы чувствуете себя, миссис Таггерт?

Она услышала вопрос из самой гущи толпы репортеров. Он толчком вернул ее к действительности; эти слова превратили призрачные мечты в реальность. Улыбнувшись, она прошептала, чуть ли не задыхаясь:

— Я… я очень счастлива.

В противоположном конце зала Оррен Бойль,

казавшийся слишком массивным для своего официального костюма, и Бертрам Скаддер, выглядевший слишком тщедушным для своего смокинга, осматривали толпу гостей с одинаковыми мыслями, в которых ни один из них не признался бы. Оррен Бойль почти убедил себя в том, что отыскивает в толпе лица друзей, а Бертрам Скаддер внушил себе, что собирает материал для статьи. Но оба они, независимо друг от друга, мысленно сортировали увиденные лица, разделяя их на две колонки, одна из которых была озаглавлена «Благосклонность», а вторая — «Страх». Пришли сюда и люди, чье присутствие обозначало особое расположение, оказанное Джиму Таггерту, и те, чье присутствие выражало желание избежать враждебности с его стороны. Одни символизировали руку, готовую толкать его вверх, а другие — спину, на которую ему предстояло взбираться. По неписаному правилу никто не получал и не принимал приглашения человека, занимающего видное положение, если только не было одного из упомянутых мотивов.

Представители первой группы отличались молодостью, они приехали из Вашингтона. Вторая группа состояла из людей постарше, явно бизнесменов.

Оррен Бойль и Бертрам Скаддер использовали слова как инструмент воздействия на общественность.

Слова — это обязательства, несущие в себе скрытый смысл, которого они не желали раскрывать. Для сортировки людей им не нужны были слова, они отмечали их физически: уважительное движение бровями, эквивалентное эмоции, которую можно выразить словом «Так!» — для первой группы, и саркастический изгиб губ, соответствующий «Ну-ну» — для второй. Лишь одно лицо на минуту нарушило гладко идущий процесс, когда они увидели холодные голубые глаза и белокурые волосы Хэнка Риардена. Их лицевые мышцы произвели его регистрацию во второй группе с пометкой «О, парень!» Результатом работы явилась оценка уровня силы Джеймса Таггерта. Итоговая цифра впечатляла.

Когда они видели, как Джеймс Таггерт двигается среди гостей, они понимали, что он хорошо осведомлен об этом. Он двигался резкими бросками, словно кодом азбуки Морзе, — небольшими пробежками с короткими остановками, и с налетом легкого возбуждения, словно сознавал, как много собралось людей, чье неудовольствие может привести к неприятностям. Отблеск улыб-

ки на его лице отдавал злорадством, как будто он знал, что их приход сюда, оказание ему чести, является поступком, который на самом деле унижает этих людей. Джим словно наслаждался этим сознанием.

За ним хвостом увивались несколько человек, словно специально для того, чтобы ему было кого игнорировать. Мистер Моуэн на мгновение мелькнул в этом хвосте, и доктор Притчетт, и Бальф Юбэнк.

Самым настойчивым в этой группе оказался Пол Ларкин. С унылой улыбкой, умоляющей о том, чтобы его заметили, он неустанно описывал круги вокруг Таггерта, как будто хотел получить солнечный загар от каждого случайного луча.

Время от времени взгляд Таггерта быстро и украдкой окидывал всю толпу, подобно фонарику мародера. На языке мимики Оррена Бойля это означало, что Таггерт разыскивал кого-то, но хотел, чтобы об этом никто не знал. Поиски прекратились, когда Юджин Лоусон подошел, чтобы пожать Таггерту руку, и сказал, кривя мокрую нижнюю губу, чтобы смягчить удар:

— Мистер Моуч не смог прийти, Джим, мистер Моуч очень сожалеет, он заказал специальный

самолет, но в последнюю минуту обстоятельства изменились, наиважнейшие государственные проблемы, ты понимаешь.

Таггерт застыл, нахмурился и не ответил.

Оррен Бойль расхохотался. Таггерт обернулся к нему так резко, что окружающие отскочили в стороны, как по команде.

— Что ты тут делаешь? — огрызнулся Таггерт.

— Весело провожу время, Джимми, просто весело провожу время, — ответил Бойль. — Уэсли — твой парень, разве не так?

— Я знаю еще одного, он тоже мой парень, и лучше ему не забывать об этом.

— Кто? Ларкин? Нет, я не думаю, что ты говоришь о Ларкине. А если ты говоришь не о Ларкине, то я считаю, что тебе следует поосторожнее пользоваться притяжательными местоимениями. Я не против классификации по возрасту, я знаю, что выгляжу моложе своих лет, но просто у меня аллергия на местоимения.

— Умно, но что-то ты стал *слишком* умным в последнее время.

— Если так, вперед, Джимми, воспользуйся этим.

— Для людей, которые сами себя перехитрили, беда в том, что у них слишком короткая память.

Ты бы лучше вспомнил, кто заполучил риарден-металл, который увели с рынка для тебя.

— А я помню, кто мне это обещал. Та команда, что нажимала потом на все кнопки, до которых могла дотянуться, пытаясь помешать особой директиве, потому как просчитала, что в будущем ей могут понадобиться рельсы от Риардена.

— Да ты же потратил десять тысяч долларов, вливая выпивку в людей, которые, как ты надеялся, не допустят директивы о моратории на долговые обязательства!

— Верно. Я это сделал. У меня есть друзья, владеющие долговыми обязательствами железных дорог. К тому же, Джимми, у меня тоже есть друзья в Вашингтоне. Что ж, твои друзья одолели моих в деле с мораторием, но зато мои побили твоих по риарден-металлу, и я этого не забыл. Но, черт возьми, со мной все в порядке, все вообще в порядке вещей, только не пытайся надуть меня, Джимми. Оставь это сосункам.

— Если ты сомневаешься в том, что я всегда старался сделать для тебя все от меня зависящее…

— Конечно, ты старался. Все, что в твоих силах, все рассчитано. И ты будешь продолжать стараться, пока я не задену того, кто тебе нужен, и ни минутой дольше. Я просто хотел напомнить

тебе, что у меня есть свои друзья в Вашингтоне. Те, которые не продаются за деньги, в отличие от твоих, Джимми.

— Что ты хочешь сказать?

— Именно то, о чем ты подумал. Те, кого ты купил, на самом деле ничего не стоят, потому что всегда найдется тот, кто предложит им больше. Двери открыты для всех, совсем как при старой доброй конкуренции. Но если у тебя есть кое-что на парня, то он твой, и его не перекупят, и ты можешь рассчитывать на его дружбу. Что ж, у тебя есть друзья, и у меня они есть. У тебя есть друзья, которых я могу использовать, и наоборот. Я не возражаю, черт возьми, каждый торгует, чем может. Если мы не торгуем деньгами, и век денег закончился, тогда мы будем торговать людьми.

— К чему ты ведешь?

— Я скажу тебе несколько слов, которые ты должен запомнить. Взять, к примеру, Уэсли. Ты пообещал ему место ассистента в Бюро национального планирования, чтобы переиграть Риардена, когда принимался Закон справедливой доли. У тебя были связи, и я обратился к тебе с просьбой протолкнуть этот закон. В обмен я поспособствовал принятию *Правила против хищ-*

нической конкуренции, там были связи у меня. Уэсли сделал свое дело, ты проследил за тем, чтобы все оформили на бумаге. Конечно, я знаю, что ты получил письменное подтверждение того, на какие кнопки он нажал, чтобы законопроект прошел, а он взял деньги у Риардена, чтобы провалить его, и застал Риардена врасплох. Гадкие проделки. Несладко придется мистеру Моучу, если все выйдет наружу. Итак, ты сдержал обещание и получил для него должность, потому что думал, что прикормил его. Прикормил. И он расплатился сполна, не правда ли? Но недолго музыка играла. Пройдет время, мистер Уэсли Моуч станет таким могущественным, а скандал — таким старым, что никто не спросит, с чего он начал свою карьеру и кого обманул. Ничто не вечно под луной. Уэсли был человеком Риардена, потом твоим, а завтра станет еще чьим-то.

— Это намек?

— Нет, дружеское предостережение. Мы с тобой старые друзья, Джимми, и, я думаю, останемся друзьями. Думаю, мы можем быть очень полезными друг другу, ты и я, если у тебя не появятся вредные мыслишки о дружбе. Я верю в баланс сил.

— Это ты посоветовал Моучу не приходить

сегодня?

— Может, да, а может, и нет. Сам ломай голову. Для меня хорошо, если я это сделал, а еще лучше, если нет.

Глаза Черрил проследили за взглядом Джима на толпу. Лица, по-прежнему вертевшиеся и приближавшиеся к ней, казались такими доброжелательными, и она поверила, что здесь ей никто не желает зла. Она не понимала, почему некоторые из гостей с надеждой и доверием в голосе говорили с ней о Вашингтоне полуфразами и полунамеками, словно добивались от нее помощи в некоем секретном деле, о котором она знает. Черрил не понимала, не могла даже представить себе, что именно надо сказать, но улыбалась и отвечала наобум. Она не могла обесчестить звание «миссис Таггерт» даже малейшим намеком на страх.

И тут она увидела врага. Высокую стройную женщину в сером вечернем платье, которая сегодня стала ее золовкой.

Накопившиеся в памяти Черрил рассказы Джима, отзвуки его страдающего голоса, обратились в гнев. Она ощутила мучительный зов невыполненного долга. Она то и дело поглядывала на врага и пристально изучала ее. На газетных

фотографиях Дагни Таггерт появлялась в широких брюках или в шляпе с опущенными полями и в пальто с поднятым воротником. Сегодня она нарядилась в серое платье, казавшееся неуместным из-за его аскетичной простоты. Строгое платье незаметно ускользало от глаз наблюдателя, заостряя внимание на изящном теле, которое оно якобы прикрывало. Серый шелк слегка отливал голубым, что очень шло к ее стального цвета глазам. Дагни не надела никаких украшений, кроме браслета в виде тяжелой цепи из крупных звеньев с зеленовато-голубым отливом.

Черрил дождалась, когда Дагни останется одна, и, рванувшись вперед, решительно пересекла зал. Заглянула в стальные глаза, показавшиеся ей одновременно холодными и глубокими, смотревшие прямо на нее с учтивым безличным интересом.

— Я хочу, чтобы вы знали, — твердо и жестко сказала Черрил, — между нами не должно быть неясностей. Я не собираюсь изображать трогательную семейную сцену. Я знаю, что вы сделали Джиму и как всю жизнь унижали его. Я намерена защищать его от вас. Я поставлю вас на место. Я — миссис Таггерт. Теперь я женщина в этой семье.

— Именно так, — сказала Дагни. — А я — мужчина.

Черрил смотрела, как она уходит, и думала, что Джим прав: его сестра — хладнокровная и злая, неотзывчивая, неблагодарная, способная лишь на недобрую, безразличную усмешку.

Риарден стоял рядом с Лилиан, следуя за женой, когда она переходила с места на место.

Она хотела, чтобы ее видели с мужем, и он подчинился. Он не понимал, смотрят ли на него или нет, не замечая никого из окружающих, кроме одной особы, на которую запретил себе бросить даже мимолетный взгляд.

В его сознании зафиксировался момент, когда он вошел в зал вместе с Лилиан и увидел Дагни, смотревшую на него. Он не отвел глаз, готовый принять любой взрыв. Какой бы ни была реакция Лилиан, он предпочитал публично признать супружескую измену, прямо здесь и сейчас, чем безмолвно избегать взгляда Дагни, напустив на лицо трусливую маску бесстрастности, притворяясь перед ней, что не понимает суть своих поступков.

Но взрыва не произошло. Риарден изучил все оттенки проявления чувств на лице Дагни, поэтому понял, что она не испытала шока:

на ее лице читалась только нерушимая серьезность. Ее взгляд выражал полное понимание обстоятельств их встречи, но остался безмятежным, словно во время совещания в его кабинете или разговора в ее спальне. Ему показалось, что, стоя в нескольких шагах от него и Лилиан, Дагни открылась им так же просто и откровенно, как серое платье открывало ее тело.

Дагни приветствовала их, любезный наклон головы относился к каждому. Поклонившись в ответ, Риарден увидел короткий кивок Лилиан, ее движение прочь и обнаружил, что уже долго стоит с наклоненной головой.

Риарден словно сквозь сон слышал, что говорят ему друзья Лилиан, и что он им отвечает. Как человек бредет шаг за шагом, стараясь позабыть о нескончаемом пути, так и он проживал минуту за минутой бесконечно тянувшееся время, не оставлявшее в его мозгу никаких впечатлений. Он слышал отрывки веселого смеха Лилиан, ее самодовольный голос.

Спустя некоторое время он заметил, что его окружили женщины, все как одна похожие на Лилиан, с теми же холеными лицами, приподнятыми выщипанными бровями и глазами с застывшим выражением веселья. Он догадался,

что они пытаются флиртовать с ним и что Лилиан смотрит на них, наслаждаясь их неудачей. Именно об этом счастливом моменте женского тщеславия она умоляла его, и он согласился, хоть и жил по другим стандартам. Риарден повернулся и ретировался к группе мужчин.

Ему никак не удавалось уловить ни единой фразы без околичностей. Какой бы предмет они не обсуждали, речь шла как будто о другом. Он слушал их как иностранец, понимающий отдельные слова, но не в силах связать их в единое предложение. Молодой человек, проходивший мимо нетвердой походкой, хохотнул с пьяной наглостью:

— Получил свой урок, Риарден?

Он не понял, что имел в виду этот крысенок, но, кажется, все остальные его поняли, судя по выражению лиц и еле сдерживаемому смеху.

Лилиан отошла от него, словно давая понять, что не настаивает на его постоянном присутствии рядом с ней. Он уединился в углу, где его никто не мог заметить или проследить за направлением его взгляда. Здесь он позволил себе посмотреть на Дагни.

Он рассматривал ее серое платье, колыхание нежной ткани при ходьбе, мимолетную скульп-

турность поз, обрисованную шелком, игру полутеней. Он любовался сквозь голубовато-серую дымку на длинный изгиб ткани, завившийся вокруг колен, а потом отхлынувший к крошечной босоножке. Исчезни дымка, и Риарден припомнил бы каждый отблеск, брошенный шелком.

Он испытывал глухую тянущую боль ревности ко всем мужчинам, с которыми она разговаривала. Прежде такого не случалось, только здесь, где каждый имел право подойти к Дагни, кроме него самого.

И вдруг он почувствовал удар, мгновенный сдвиг, обрисовавший происходящее и повергший его в глубокое смятение. Он вдруг утратил все свои прежние догмы, концепции, проблемы. Он видел только, словно издалека, что человек живет ради достижения своих целей, и недоумевал, для чего он стоит здесь, и кто имеет право требовать от него тратить невосполнимые часы своей жизни, когда его единственное желание — схватить фигуру в сером и удерживать ее в своих объятиях все то время, которое ему еще оставалось прожить.

В следующий момент Риарден вернулся к действительности. Он почувствовал, как губы твердо произносят слова, которые он мысленно кричит

самому себе: «*Ты заключил контракт, выполняй его*». А потом вдруг подумал, что в бизнесе суд не признает контракт действительным, если одна из сторон не выплачивает адекватного вознаграждения. И задумался. Но что заставило его так подумать? Он счел эту мысль недостойной и отбросил ее.

Джеймс Таггерт увидел плывущую к нему Лилиан Риарден именно в тот момент, когда оказался в одиночестве в темном углу между пальмой в горшке и окном. Он остановился, позволяя ей приблизиться.

Джим не мог угадать, зачем он ей нужен сейчас, но понимал, что лучше ее выслушать.

— Как тебе понравился мой свадебный подарок, Джим? — Лилиан засмеялась, увидев его растерянное лицо. — Нет, нет, не перебирай мысленно список, прикидывая, что, черт возьми, она имеет в виду. Он не в твоей квартире, он находится прямо здесь. И этот подарок не материальный, дорогой.

Он уловил на ее лице скрытую улыбку, взгляд, который среди его друзей означал приглашение разделить тайную победу. Этот взгляд говорил о том, что она кое-кого перехитрила.

Он ответил формальным тоном, с любезной

улыбкой:

— Твое присутствие — лучший подарок для меня.

— Мое присутствие, Джим?

На мгновение ее лицо исказилось. Он знал, что она имеет в виду, но не ожидал, что она это поймет.

Она широко улыбнулась.

— Мы оба знаем, чье присутствие сегодня для тебя самое ценное, но и самое неожиданное. Я удивлена. Я-то считала, что ты — гений по части вычисления потенциальных друзей.

Он не выдал себя, сохранив нейтральность тона:

— Разве я ошибся в твоей дружбе, Лилиан?

— Ну-ну, дорогой, ты знаешь, о чем идет речь. Ты не ожидал, что он придет сюда, но ты же не думал, что он тебя боится? Но заставить других так думать — неоценимое преимущество, не так ли?

— Я… удивлен, Лилиан.

— Почему ты не сказал «потрясен»? Твои гости потрясены. Я почти слышу их мысли по всему залу. Большинство соображают: «Если он ищет связей с Джимом Таггертом, нам лучше подчиниться общей линии». Немногие размышляют

иначе: «Если он боится, мы наворуем еще больше». Этого ты и хотел, но я не хочу испортить тебе праздник, однако мы с тобой — единственные, кому известно, что ты достиг этого не своими руками.

Он не улыбнулся в ответ. С непроницаемым лицом, с тщательно отмеренным намеком на жесткость он произнес ровным голосом:

— Что ты хочешь за это получить?

Она рассмеялась:

— Вот это по-твоему, Джим. Но, если уж на то пошло, ничего не хочу. Просто я сделала тебе одолжение и взамен тоже жду одолжения. Не волнуйся, я не собираюсь лоббировать ничьи интересы, не стану выжимать из мистера Моуча никаких директив, даже не потребую от тебя бриллиантовой диадемы. Но в некотором, нематериальном, смысле твоя поддержка стоит любых драгоценностей.

Он впервые посмотрел на нее прямо, сузив глаза, расслабив лицо в такой же полуулыбке, как у Лилиан, изобразив выражение, которое означало для них, что вдвоем они оба чувствуют себя как дома: выражение презрения.

— Тебе известно, Лилиан, что я всегда восхищался тобой, как одной из по-настоящему

великих женщин.

— Я знаю об этом, — он уловил тончайший, как слой лака, налет насмешки в ее нежном голосе.

И продолжал в упор смотреть на нее.

— Ты должна извинить меня, если я на миг подумал, что между друзьями позволительно некоторое любопытство, — словно извиняясь, продолжил Джим. — Мне интересно, с какой точки зрения ты рассматриваешь возможные прибыли или потери, которые затрагивают твои собственные интересы.

Лилиан пожала плечами.

— С точки зрения наездницы, дорогой. Если у тебя самая мощная лошадь в мире, ты обуздываешь ее, направляя туда, где тебя ожидает комфорт, даже если приходится принести в жертву ее огромные возможности, даже если ее высшую резвость никогда не увидят, и ее великая мощь пропадет зря. Ты сделаешь это, потому что, если дать лошади полную волю, она мгновенно сбросит тебя… Однако финансовые аспекты для меня не главное, как, впрочем, и для тебя, Джим.

— Я тебя недооценивал, — медленно произнес он.

— Что ж, я могу помочь тебе исправить эту

досадную оплошность. Я знаю, какую проблему он для тебя представляет. Я знаю, почему ты его боишься, и на это есть веская причина. Но… ты занимаешься бизнесом и политикой, поэтому я постараюсь говорить на твоем языке. Бизнесмен говорит, что он продает товары, а мелкий политикан говорит, что может продавать голоса, не так ли? Что ж, я хочу, чтобы ты знал: я могу продавать *его*, в любое время, когда мне захочется. Ты же можешь действовать в соответствии с этим.

На тайном коде его друзей раскрыть часть своих мыслей значит дать оружие в руки врагу, но он принял ее признание и подыграл, сказав:

— Хотелось бы мне быть таким умным с моей сестрой.

Лилиан посмотрела на него без удивления: она не сочла его слова неприличными.

— Да, она крутая. И что, никаких слабых мест? Никаких болевых точек?

— Ни одной.

— Никаких любовных приключений?

— Да нет же, господи!

Она пожала плечами, меняя тему разговора: Дагни Таггерт — не та особа, на которой ей хотелось подробно останавливаться.

— Я, пожалуй, отпущу тебя, чтобы ты мог немного поболтать с Бальфом Юбэнком, — произнесла Лилиан. — Он волнуется, потому что ты так ни разу и не взглянул на него за весь вечер, и встревожен тем, что литература может остаться без покровителя в верхах.

— Лилиан, ты великолепна! — почти невольно вырвалось у него.

Она рассмеялась.

— Это, мой дорогой, и есть та нематериальная диадема, которую я хотела получить!

Проходя через толпу, она сохраняла на лице остатки этой улыбки, незаметно переходившей в выражение напряжения и скуки, окрашивавшее все окружавшие ее лица. Она двигалась медленно, наслаждаясь тем, что на нее смотрят. Атласное платье цвета слоновой кости волновалось вокруг ее высокой фигуры подобно густым сливкам.

Ее внимание привлекла зелено-синяя искра, вспыхнувшая в отдалении на запястье узкой обнаженной руки. Потом Лилиан увидела стройное тело, серое платье, хрупкие обнаженные плечи. Она остановилась. Нахмурилась, посмотрела на браслет.

При ее приближении Дагни обернулась. Боль-

ше всего Лилиан возмутила безличная любезность во взгляде Дагни.

— Что вы думаете о браке вашего брата, мисс Таггерт? — как бы мимоходом, улыбаясь, спросила Лилиан.

— У меня нет особого мнения на этот счет.

— Не хотите ли вы сказать, что он не стоит того, чтобы о нем думать?

— Если вам больше нравится быть точной, что ж, именно это я имею в виду.

— Но разве вы не находите в нем общечеловеческой значимости?

— Нет.

— Не думаете ли вы, что невеста вашего брата заслуживает интереса?

— Нет.

— Я завидую вам, мисс Таггерт. Завидую вашему олимпийскому спокойствию. Я думаю, в нем секрет того, почему у простых смертных никогда не будет надежды сравняться с вашими достижениями в бизнесе. Они позволяют нашему вниманию разделяться, по крайней мере на то, чтобы признавать успехи и в других областях.

— О каких достижениях вы говорите?

— Разве не достойна признания женщина, достигшая небывалой высоты в условиях жестокой

конкуренции, но не в промышленности, а в житейском смысле?

— Я не считаю, что слово «конкуренция» применимо к житейским делам.

— Но согласитесь, например, как приходится тяжко трудиться другим женщинам — если только слово «труд» к ним подходит — чтобы добиться того, чего эта девочка добилась с помощью вашего брата.

— Я не думаю, что она верно понимает суть того, чего достигла.

Риарден увидел Дагни и Лилиан, стоящих вместе. Он пошел к ним. Он чувствовал, что должен слышать их разговор, невзирая на последствия. Он молчаливо остановился рядом. Он не знал, подозревает ли Лилиан о том, что он близко; Дагни видела его.

— Проявите к ней немного великодушия, мисс Таггерт, — произнесла Лилиан. — По крайней мере великодушного внимания. Вы не должны презирать женщин, которые не обладают вашим ярким талантом и пользуются своими собственными дарованиями. Природа неравномерно распределяет свои дары и предлагает взамен компенсации, вы так не думаете?

— Я не уверена, что понимаю вас.

— О, а я уверена, что вы не хотите, чтобы я говорила менее двусмысленно.

— Напротив, хочу.

Лилиан раздраженно пожала плечами. Среди своих подруг ее давно бы поняли, но этот противник для нее был непривычен и нов: женщина, не желавшая, чтобы ей причиняли боль. Она не хотела выражаться яснее, но вдруг увидела смотревшего на нее Риардена.

Лилиан улыбнулась и проговорила:

— Так вот, касательно вашей невестки, мисс Таггерт. Какие шансы у нее были в нашем мире? По вашим стандартам, никаких. Она не смогла бы сделать успешной карьеры в бизнесе, она не обладает вашим выдающимся умом. Кроме того, мужчины бы ей этого не позволили. Они сочли бы ее слишком привлекательной для этого. Поэтому она воспользовалась тем, что мужчины имеют свои стандарты, к сожалению, не столь высокие, как ваши. Она обратилась к талантам, которые вы, я уверена, презираете. Вы никогда не утруждали себя тем, чтобы соревноваться с другими женщинами на единственной арене наших амбиций — достижении власти над мужчинами.

— Если вы называете *это* властью, миссис Ри-

арден, то я так не считаю, — ответила Дагни.

Она повернулась, чтобы уйти. Но ее остановил голос Лилиан:

— Мне хотелось бы убедиться, мисс Таггерт, в вашей самодостаточности и полном отсутствии человеческих слабостей. Возможно даже, вы никогда не испытывали желания льстить или оскорблять. Но я вижу, вы ожидали, что мы с Генри придем сегодня вместе.

— Не могу сказать, что ожидала, я не читала список приглашенных.

— Тогда зачем вы надели этот браслет?

Дагни демонстративно смотрела прямо в глаза Лилиан.

— Я всегда его ношу.

— Вам не кажется, что шутка зашла слишком далеко?

— Я не шучу, миссис Риарден.

— Тогда вы поймете меня, если я попрошу вас отдать мне браслет.

— Я понимаю. Но не отдам его.

Лилиан помолчала, чтобы они обе поняли значение этой паузы. И впервые за вечер посмотрела на Дагни без улыбки.

— И что, мисс Таггерт, по-вашему, я могу о вас подумать?

— Думайте, что хотите.

— Что вами движет?

— Вы знали мои мотивы, когда дали мне этот браслет.

Лилиан посмотрела на Риардена. Его лицо ничего не выражало, ни малейшего намека на помощь или на призыв к молчанию — ничего, кроме строгости и скуки, отчего ей показалось, что она оказалась в центре всеобщего внимания.

Улыбка снова появилась на ее лице, как защитное забрало, покровительственная улыбка, направленная на то, чтобы вернуть их разговор в русло светской беседы.

— Я уверена, мисс Таггерт, вы понимаете, насколько это неприлично.

— Нет.

— Но я уверена, что вы опасно рискуете.

— Нет.

— Вы не допускаете мысли, что вас могут… неправильно понять?

— Нет.

Улыбаясь, Лилиан с упреком покачала головой.

— Мисс Таггерт, не думаете ли вы, что сейчас — тот самый случай, когда нельзя полагаться на пустую надежду, но необходимо считаться

с реальностью?

Дагни не улыбнулась в ответ.

— Я никогда не понимала значения подобных сентенций.

— Я хочу сказать, что вы заняли позицию идеалистки, но, к сожалению, большинство людей не разделяют ваших высоколобых стремлений, они неверно и самым мерзким образом истолкуют ваш поступок.

— Значит, вся ответственность ляжет на них, а не на меня.

— Меня восхищает ваша… нет, я не скажу «невинность», лучше сказать «чистота». Я уверена, вы об этом не думали, но жизнь не столь пряма и логична, как… как железнодорожные пути. Это прискорбно, но, возможно, ваши высокие устремления заставят людей подозревать вещи… которые, я опять же уверена, вы назовете низкими и скандальными.

Дагни не отводила взгляда.

— Нет.

— Но вы не можете игнорировать такую возможность.

— Могу, — Дагни повернулась, чтобы уйти.

— Но почему же вы избегаете обсуждения, если вам нечего скрывать? — Дагни остановилась. —

А если вы безупречны и ваша смелость позволяет вам рисковать своей репутацией, не можете же вы отрицать опасность, грозящую мистеру Риардену?

Дагни медленно переспросила:

— Какая опасность угрожает мистеру Риардену?

— Уверена, что вы меня понимаете.

— Не понимаю.

— Но я уверена, что мне нет нужды выражаться яснее.

— Есть, если вы хотите продолжить дискуссию.

Глаза Лилиан искали в лице Риардена знака, который помог бы ей решить, продолжить разговор или прекратить. Он не стал ей помогать.

— Мисс Таггерт, — произнесла она. — С философской точки зрения я вам не ровня. Я нормальная жена. Прошу, отдайте мне этот браслет, если не хотите, чтобы я подумала, о чем должна подумать. Вы не захотите, чтобы я произнесла это вслух.

— Миссис Риарден, вы избрали это место и эту манеру, чтобы предположить, что я сплю с вашим мужем?

— Разумеется, нет! — крик, полный паники,

вырвался рефлекторно, как отдергивается рука карманного воришки, пойманного на месте преступления. С сердитым, нервным смешком, саркастическим тоном, выдававшим признание в ее истинном мнении, Лилиан сказала:

— Такое я и представить себе не могла.

— Тогда будь любезна извиниться перед мисс Таггерт, — наконец-то подал голос Риарден.

Дагни перевела дух.

Они обе смотрели на Риардена. Лилиан ничего не видела, Дагни прочла в его взгляде страдание.

— Это не обязательно, Хэнк, — проговорила она.

— Обязательно — для меня, — холодно ответил он, не глядя на нее. Он смотрел на Лилиан, приказывая, и она не могла не подчиниться.

Лилиан изумленно взглянула на мужа, но без гнева, как человек, встретивший неожиданное затруднение.

— Конечно, — ее голос снова звучал ровно и доверительно. — Прошу принять мои извинения, мисс Таггерт, если я позволила себе вообразить существование отношений, которые я считаю невозможными для вас и, зная о его пристрастиях, для моего мужа.

Она равнодушно отвернулась и пошла прочь,

оставив их вдвоем, словно нарочно представив доказательство своей правоты.

Дагни застыла, прикрыв глаза, она вспоминала тот вечер, когда Лилиан отдала ей браслет. Тогда он принял сторону жены, сегодня взял ее сторону. Она единственная из всех троих понимала, что это означает.

— Чего бы плохого ты мне ни наговорила, ты права.

Услышав его голос, Дагни открыла глаза. Он холодно смотрел на нее с жестким выражением лица, не пытаясь ни намеком на терзающую его боль, ни извинением выпросить у нее надежду на прощение.

— Любимый, не терзай так себя, — сказала она. — Я знала, что ты женат. Я никогда не пыталась убежать от этого факта. И не он меня сегодня ранил.

Ее первое слово стало самым сильным испытанием в его жизни: она никогда прежде его так не называла. В голосе Дагни никогда еще не звучала такая нежность. Она никогда не заговаривала о его браке во время их уединенных встреч. Сегодня она говорила о нем просто и без усилий.

Она увидела на его лице гнев — Риарден сопротивлялся жалости, а значит, в помощи

не нуждался. Потом гнев сменился пониманием того, что Дагни так же хорошо изучила его лицо, как он — ее. Риарден закрыл глаза, наклонил голову и произнес:

— Благодарю тебя.

Она улыбнулась и пошла прочь.

* * *

Держа в руке пустой бокал из-под шампанского, Джеймс Таггерт отметил поспешность, с которой Бальф Юбэнк подозвал пробегавшего мимо официанта, словно тот допустил непростительную оплошность. Потом Юбэнк закончил свою фразу:

— …но вы, мистер Таггерт, знаете, что человека, живущего на более высоком уровне, не понимают и не одобряют. Стараться получить поддержку для литературы в мире, которым правят бизнесмены, — безнадежная попытка. Они всего лишь вульгарные представители среднего класса, либо хищные дикари вроде Риардена.

— Джим, — Бертрам Скаддер хлопнул его по плечу, — лучший комплимент, который я могу тебе сделать, это то, что ты — не настоящий бизнесмен!

— Ты — человек культуры, Джим, — заявил доктор Притчетт. — Ты не бывший шахтер, как этот

Риарден. Мне не нужно объяснять тебе крайнюю необходимость поддержки Вашингтоном высшего образования.

— Вам действительно понравилась моя последняя повесть, мистер Таггерт? — не отставал Бальф Юбэнк. — Действительно понравилась?

Оррен Бойль посмотрел на них, идя мимо, но не остановился. Одного взгляда хватило, чтобы разобраться в их намерениях. «Все честно, — подумал он, — каждый должен что-то продавать». Он знал, но не захотел назвать то, что продавалось у него на глазах.

— Мы находимся на пороге нового века, — провозгласил Джеймс Таггерт поверх восполненного бокала с шампанским. — Мы сломим жестокую тиранию экономической власти. Мы освободим людей от диктата доллара. Мы освободим наши духовные устремления от материальных ценностей и их собственников. Мы освободим нашу культуру от удавки искателей прибыли. Мы построим общество, нацеленное на высшие идеалы, и мы заменим аристократию денег на…

— …аристократию блата, — закончил кто-то, стоящий сзади.

Все повернулись на голос. На них смотрел Франсиско д'Анкония.

На его загорелом лице сияли глаза цвета неба в тот день, когда он получил свой загар.

Его улыбка напоминала о летнем утре. Естественность, с которой он носил свой костюм, превращала гостей в маскарадную массовку, вырядившуюся в одежду с чужого плеча.

— Что случилось? — спросил он, нарушив гробовое молчание. — Я сказал что-то такое, о чем никто из вас не знает?

— Как ты сюда попал? — были первые слова, пришедшие Джиму в голову.

— На самолете до Нью-Йорка, оттуда на такси, потом на лифте от моего номера на пятьдесят три этажа выше твоего.

— Я не об этом… я имел в виду…

— Не пугайся ты так, Джеймс. Я приземлился в Нью-Йорке и узнал, что здесь вечеринка, так разве мог я ее пропустить? Ты всегда говорил, что я — гуляка.

Вся группа молча таращилась на них.

— Я, разумеется, счастлив тебя видеть, — осторожно сказал Таггерт, добавив воинственным тоном, чтобы уравновесить прежние слова:

— Но если ты думаешь, что ты…

Франсиско не принял вызов, он позволил словам Таггерта раствориться в воздухе и вежливо

переспросил:

— Если я — что?

— Ты прекрасно понимаешь меня.

— Да. Понимаю. Сказать, что я думаю?

— Вряд ли это подходящий момент, чтобы…

— Я думаю, что ты должен представить меня своей невесте, Джеймс. Твои манеры никогда не держались на тебе достаточно прочно, чуть что — и слетели, а бывают минуты, когда они нужны больше всего.

Повернувшись, чтобы подвести его к Черрил, Таггерт уловил легкий звук: у Бертрама Скаддера вырвался сдавленный смешок. Таггерт понимал, что те, кто минуту назад пресмыкались у его ног, кто ненавидел Франсиско д'Анкония, возможно, больше, чем он сам, тем не менее наслаждаются разыгравшимся представлением. Название этому явлению фигурировало среди вещей, которые он предпочитал не называть.

Франсиско поклонился Черрил и высказал наилучшие пожелания, словно она была невестой наследника короны. Нервно наблюдая за этим, Таггерт ощутил облегчение и укол безымянного негодования, которое, если бы обрело свое имя, сказало бы ему, что он мечтал о возможности обладать не меньшим благородством, чем то,

что проявлялось в манерах Франсиско.

Он боялся остаться рядом с д'Анкония и одновременно страшился позволить ему затеряться среди гостей. Он отступил на несколько осторожных шагов, но Франсиско, улыбаясь, последовал за ним.

— Не думал же ты, что я пропущу твою свадьбу, Джеймс, ведь ты — друг моего детства и главный акционер?

— Что? — ахнул Таггерт и тут же пожалел, что выдал свою панику.

Франсиско и виду не подал, что заметил это. Он игриво сказал невинным голосом:

— Конечно, я это знаю. Мне известны все подставные лица подставных лиц всех людей из перечня акционеров «*Д'Анкония Коппер*». Просто удивительно, сколько людей по фамилии Смит или Гомес богаты настолько, что могут владеть крупными пакетами акций богатейших корпораций мира, поэтому ты не можешь упрекать меня в том, что я полюбопытствовал, а какие знатные персоны состоят в числе моих миноритарных акционеров. Похоже, я весьма популярен среди огромного собрания публичных фигур со всего мира, даже из народных республик. Ты, наверное, и подумать не мог, что там еще остаются деньги.

— Существует немало причин, — сухо ответил Таггерт, нахмурившись, — относящихся к бизнесу, по которым порой нежелательно заниматься инвестированием в открытую.

— Одна из них — человек не хочет, чтобы люди знали о его богатстве. Вторая — он не хочет, чтобы они узнали, как ему это богатство досталось.

— Я не понимаю, что ты имеешь в виду и против чего возражаешь.

— О, я вообще не возражаю. Я поддерживаю. Огромное количество инвесторов старого образца бросили меня после шахт Сан-Себастьян. Они испугались. Но современные инвесторы верят в меня больше и действуют, как действовали всегда, — доверяют. Не могу передать, как глубоко я им признателен.

Таггерту хотелось, чтобы Франсиско говорил не так громко, и чтобы люди не собирались вокруг них.

— Ты действовал крайне осмотрительно, — сказал он осторожным тоном делового комплимента.

— Да, не правда ли? Замечательно, как выросли акции «*Д'Анкония Коппер*» за последний год. Но я не думаю, что должен обольщаться на сей счет, не так уж много конкурентов осталось в ми-

ре, людям некуда инвестировать свои деньги. Если кто-то быстро разбогател, к его услугам *«Д'Анкония Коппер»*, старейшая в мире компания, самая безопасная за последние сотни лет. Только подумай, что ей потребовалось для того, чтобы выжить в эти долгие, трудные годы. Поэтому, если люди решат, что ее не сломаешь, что это лучшее место для их, хм… *скрытых* денег, что нужен САМЫЙ НЕОБЫЧНЫЙ ТИП ЧЕЛОВЕКА для того, чтобы разрушить *«Д'Анкония Коппер»*, то ты окажешься прав.

— Я слышал, что ты начал серьезно относиться к своим обязательствам и наконец вплотную занялся бизнесом. Говорят, работаешь, не покладая рук.

— Разве кто-нибудь это заметил? Ведь только старомодные инвесторы привыкли следить, что поделывает президент компании. Современные инвесторы не считают необходимым вникать в курс всех дел. Я сомневаюсь, что они вообще следят за моими операциями.

— Они читают телетайпы биржевых новостей, — улыбнулся Таггерт. — А там полная информация, не так ли?

— Да. Да, конечно, если изучать их достаточно долго.

— Должен сказать, я рад, что ты не слишком много посещал вечеринки за последний год. Результаты сказались на твоей работе.

— Разве? Нет, пока еще нет.

— Я полагаю, — осторожным тоном наводящего вопроса сказал Таггерт, — мне должно льстить твое решение выбрать именно эту вечеринку.

— Ну что ты, я просто *не мог* не прийти. Я думал, ты меня ждешь.

— Э… нет, я не… то есть я хочу сказать…

— Но ты же ждал меня, Джеймс, признайся. Это крупное, официальное, престижное мероприятие, где подсчитывают число пришедших гостей, куда жертвы приходят, чтобы показать, как легко и безопасно их уничтожить, а уничтожители заключают пакты о ненападении и вечной дружбе, которые длятся целых три месяца. Не знаю точно, к какой из групп я принадлежу, но я должен был прийти, чтобы меня сосчитали, не так ли?

— Что, черт возьми, ты несешь? — гневно вскричал Таггерт, видя, как напряглись лица окружающих.

— Осторожно, Джеймс. Если ты пытаешься сделать вид, что не понимаешь меня, я могу выразиться яснее.

— Если ты думаешь, что говорить подобное прилично…

— Я думаю, что это забавно. Было время, когда люди боялись, что кто-нибудь раскроет какой-нибудь секрет, неизвестный их друзьям. Нынче они боятся, что кто-то назовет своими именами то, о чем известно всем. Думали ли когда-нибудь вы, практичные люди, что стоит кому-нибудь назвать ваш бизнес его настоящим именем, и все взорвется — вся большая, сложная система, со всеми ее законами и оружием?

— Если ты возомнил, что можешь являться на свадебное торжество, чтобы оскорблять гостей…

— Послушай Джеймс, я пришел сюда, чтобы поблагодарить тебя.

– *Поблагодарит*ь меня?

— Конечно. Ты оказал мне большую честь — ты и твои парни в Вашингтоне и ребята в Сантьяго. Только почему-то не позаботился о том, чтобы сообщить об этом мне. Эти директивы, которые кто-то прислал несколько месяцев назад, придушили всю медную отрасль вашей страны. В результате стране пришлось импортировать гораздо бóльшие объемы меди. А где в мире осталась медь, кроме «*Д'Анкония Коппер*»? Поэтому

ты понимаешь, что у меня есть хороший повод поблагодарить тебя.

— Уверяю, я здесь ни причем, — торопливо заверил Таггерт. — Кроме того, основы экономической политики нашей страны не нуждаются в обсуждении и твоих намеках или…

— Я знаю, в чем они нуждаются, Джеймс. Мне известно, что дело начали парни из Сантьяго, потому что они столетиями значились в платежных ведомостях «*Д'Анкония Коппер*», нет, «платежные ведомости» — слишком благородное слово, вернее будет сказать, что «*Д'Анкония Коппер*» платила им откупные на протяжении нескольких столетий. Кажется, так это называется у вас, у гангстеров? Наши парни в Сантьяго называют это «налогами». Они получали свою долю с каждой тонны проданной меди. Поэтому их интерес состоял в том, чтобы проследить за мной и чтобы я продавал как можно больше меди. Но, когда в мире стали возникать народные республики, Америка стала единственной страной, где людям не приходится выкапывать в лесу коренья, чтобы прокормиться, это последний уцелевший рынок. Парни в Сантьяго решили монополизировать этот рынок. Не знаю, что они предложили ребятам в Вашингтоне

или что и кому продали, но знаю только, что ты в этом поучаствовал, потому что ты завладел основательным количеством акций «*Д'Анкония Коппер*». И я уверен, что ты не расстроился в одно прекрасное утро — четыре месяца назад, на другой день после выхода директив, — когда увидел, как фантастически подскочили на бирже акции моей компании. Деньги просто прыгнули с телетайпной ленты прямо тебе в лицо.

— На каких основаниях ты делаешь столь безответственное заявление?

— Никаких. Я о них ничего не знаю. Я только видел, как подскочили акции в то утро. Это все объясняет, не правда ли? Кроме того, парни из Сантьяго на следующий же день повысили сумму откупных на медь, сказав мне, что я не должен возражать, ведь акции подорожали. Они действуют в моих же интересах, сказали они. Говорят, зачем мне об этом волноваться, ведь я стал вдвое богаче. Все верно. Я стал богаче.

— Почему ты говоришь мне все это?

— Почему ты не хочешь это признать, Джеймс? Это выходит за рамки политики, в которой ты стал таким знатоком. В наше время, когда люди живут не по праву, а по блату, они не отвергают благодарного, наоборот, пытаются завлечь в свои

сети как можно больше людей. Разве ты не хочешь считать меня одним из своих должников?

— Я не понимаю, о чем ты говоришь.

— Подумай, какое преимущество я получил без всяких усилий с моей стороны. Со мной не проконсультировались, меня не проинформировали, я об этом и не думал, все организовалось помимо меня, и единственное, что я должен теперь делать, — производить медь. Это большое преимущество, Джеймс, и можешь быть уверен, я тебе отплачу за него.

Не дожидаясь ответа, Франсиско резко повернулся и пошел прочь. Таггерт остался на месте, готовый все отдать, только бы прекратить этот разговор.

Подойдя к Дагни, Франсиско остановился. Не здороваясь, молча посмотрел на нее, улыбнулся — войдя в зал, он увидел ее первой.

Не поддаваясь внутренним сомнениям и предостережениям, она чувствовала к нему только радостное доверие. Не в силах объяснить себе причину, Дагни понимала, что в нем единственном есть нерушимая защищенность. Но в тот момент, когда на ее губах появилась улыбка, сказавшая ему, как она рада его видеть, он спросил:

— Не хочешь рассказать мне, какие радужные

перспективы открываются перед дорогами компании «*Линия Джона Голта*»?

Ее губы сжались и дрогнули, когда она ответила:

— Напрасно я показала тебе, что мне по-прежнему можно причинить боль. Меня удивляет, что ты появился там, где презирают достижения.

— Да, я так сильно презирал эту железную дорогу, что не хотел замечать, как далеко она продвинулась.

Он заметил ее внимательный взгляд: мысль, рванувшуюся в пролом, открывающий новое направление. Мгновение посмотрев на нее и словно уже зная все ее шаги на новом пути, он хохотнул и добавил:

— Не хочешь спросить меня, кто такой Джон Голт?

— Зачем спрашивать и почему именно сейчас?

— Разве не помнишь, как ты бросала ему вызов — прийти и потребовать твою железную дорогу? Вот он и пришел.

Не удосужившись посмотреть ей в глаза, полыхавшие гневом, растерянностью и недоумением, он удалился.

Мышцы лица помогли Риардену понять свою реакцию на приход Франсиско: он заметил,

что улыбается, лицо расслабилось, когда он смотрел на него посреди толпы.

Он впервые был доволен. Пару раз он достаточно вяло пожелал его прихода, потом заставил себя перестать о нем думать, наконец, почувствовал нерушимую уверенность в том, что он обязательно придет. И обрадовался. Он *очень* хотел его увидеть. Бывали моменты, когда на него обрушивалось изнеможение — за рабочим столом, где в полутьме светились огни гаснущих горелок, во время одиноких прогулок по пустынной загородной дороге к дому или в безмолвии бессонных ночей — он вдруг ловил себя на том, что думает о единственном человеке, который однажды так четко сформулировал его самые сокровенные мысли.

Он отогнал воспоминания, убеждая себя: самое плохое — когда чувствуешь, что ты не прав, но не можешь понять, почему. Он поймал себя на том, что просматривает газету, чтобы узнать, не вернулся ли в Нью-Йорк Франсиско д'Анкония, и отбросил ее в сторону, сердито спросив себя: «А если и вернулся? Что тогда, станешь разыскивать его по ночным клубам и званым коктейлям? Что тебе, в конце концов, от него нужно?»

«Вот чего я хотел, — подумал Риарден, глядя на Франсиско среди толпы, — этого странного чувства ожидания, в котором были любопытство, радость и надежда».

Казалось, Франсиско не заметил его. Риарден ждал, борясь с желанием подойти. «Только не после того разговора, — думал он. — Зачем подходить, что я ему скажу?» И вдруг, с той же улыбкой, с легким сердцем, уверенный, что поступает правильно, он обнаружил, что идет через зал к группе людей, окружавшей Франсиско д'Анкония.

Глядя на них, он удивлялся, что их притягивает к Франсиско, почему они окружили его плотным кольцом, если их негодование явно сочилось из-под улыбок. Их лица выражали, скорее, опаску, чем страх, и в то же время гнев, но гнев провинившихся в чем-то слуг. Франсиско попал в окружение у конца мраморной балюстрады, полуприслонившись к колонне, полусидя на ступеньках. Неформальность позы в сочетании со строгим костюмом придавала ему в высшей степени элегантный вид. Лицо его старательно выражало беззаботность и сияло улыбкой человека, наслаждающегося вечеринкой, но в глазах не было и следа веселья, они, как предупрежда-

ющий сигнал, светились настороженностью и обостренным вниманием.

Незамеченный за спинами собеседников, Риарден слышал, как женщина с огромными бриллиантами в ушах и дряблым лицом спросила:

— Сеньор д'Анкония, как вы думаете, что случится с миром?

— Именно то, чего он заслуживает.

— О, как жестоко!

— Вы верите в действенность моральных норм, мадам? — серьезно спросил Франсиско. — Я верю.

Риарден слышал, как стоявший в стороне Бертрам Скаддер сказал девушке, выразившей возмущение:

— Не позволяй ему расстраивать себя. Ты же знаешь, деньги — корень всего зла в мире, а он типичный их продукт.

Риарден не подозревал, что Франсиско услышал эти слова, но увидел, как он повернулся с учтивой, но мрачной улыбкой:

— Так вы думаете, что деньги — корень зла? А вы не задумывались над тем, что является корнем денег? Деньги — инструмент обмена, который может существовать, только если есть

производимые товары и люди, способные их производить. Деньги — материальное выражение того принципа, что люди могут взаимодействовать при помощи торговли и платить ценностью за ценность. Деньги — довод не попрошаек, которые со слезами клянчат ваш товар, или грабителей, которые забирают его силой. Деньги делают только те, кто производят. И это вы называете злом?

Когда вы получаете деньги в уплату за труды, вы делаете это в убеждении, что обменяете их на продукт чужого труда. Цену деньгам дают не попрошайки и грабители. Ни океан слез, ни все оружие в мире не превратят кусочки бумаги в вашем портмоне в хлеб, который вам нужен, чтобы дожить до завтра. Эти кусочки бумаги, как и золото, содержат энергию людей, производящих ценности. Ваш бумажник означает надежду на то, что где-то рядом с вами есть люди, не поступающиеся моральным принципом, который является корнем денег. И это вы называете злом?

Пытались ли вы отыскать корень производства? Посмотрите на электрогенератор и попробуйте убедить себя, что он создан лишь мышечными усилиями неразумных животных.

Попытайтесь вырастить пшеничное зерно, не руководствуясь знаниями, оставленными нам людьми, впервые сумевшими этого добиться. Попытайтесь добыть пищу, не совершая ничего, кроме физического движения, и вы осознаете, что человеческий разум — корень всех ценностей и всего богатства, что существует на Земле.

Но вы утверждаете, что деньги сделаны сильными за счет слабых? О какой силе вы говорите? Это не сила оружия или мускулов. Богатство — продукт мыслительных способностей человека. Разве деньги, сделанные человеком, создавшим двигатель, сделаны за счет тех, кто его не создавал? Разве деньги интеллектуалов сделаны за счет дураков? Деньги способных — за счет невежественных? Деньги амбициозных — за счет ленивых? Деньги, прежде чем их могли бы украсть или выпросить, сделаны усилиями всех честных людей, каждым в меру его способностей. Честный человек — тот, кто знает, что не может потребить больше, чем произвел.

Производство и торговля для получения денег — вот пароль честных людей. Деньги опираются на аксиому, что каждый человек — хозяин своего разума и своих усилий. Деньги постановили, что только сознательный выбор человека,

решившего продать вам свои усилия, оценивает их стоимость. Деньги разрешают вам получать товары и труд, только поэтому они имеют цену для людей. Деньги разрешают только честные сделки ради взаимной пользы, без принуждения, для приумножения, а не для оскудения. Для того чтобы осознать, что люди не тягловый скот, обреченный влачить свою ношу, ты предлагаешь им ценности, а не раны, доказывая, что связи между людьми — не обмен страданиями, а обмен товарами.

Деньги требуют, чтобы ты продавал не свою слабость на потребу человеческой глупости, а свой талант — нуждам людей. Они требуют, чтобы ты покупал не низкопробщину, которую тебе предлагают, а лучшее, что могут дать тебе деньги. А когда человек живет торговлей, руководствуясь умом, как высшим судьей, а не силой, — это лучший продукт, человек с высочайшими способностями. И уровень человеческой продуктивности — уровень его вознаграждения. В этом состоит смысл существования, чьим инструментом и символом являются деньги. И это вы называете злом?

Но деньги — всего лишь инструмент. Они дадут вам все, чего вы пожелаете, но не заменят

вас как человека, идущего к цели. Они дадут вам средства для удовлетворения ваших сегодняшних желаний, но не породят новых. Деньги наказывают тех людей, которые пытаются повернуть вспять закон причинности, — тех, кто хочет заменить разум продуктами разума.

Деньги не принесут счастья человеку, который не имеет понятия, чего он хочет. Если он отрицает знание о том, *что* нужно ценить, если он избегает выбора в том, что ценно, деньги не дадут ему законов определения ценности. Дурак не купит за деньги интеллект, трус — отвагу, профан — уважение. Тот, кто за деньги пытается купить мозги тех, кто находится ниже него, поставив во главу угла деньги, в итоге становится жертвой нижестоящих. Интеллектуалы избегают его, а мошенники и обманщики льнут к нему, привлеченные законом, который ему не дано понять: никому не позволено быть меньше, чем его деньги. По этой причине вы называете их злом?

Только человек, который в нем не нуждается, способен унаследовать богатство. Человеку, который сам способен заработать состояние, неважно, с чего он начнет. Если наследник достоин своих денег, они станут ему служить. Если же нет, они его разрушат. А вы кричите, что деньги раз-

вращают его. Так ли это? Или это он развращает деньги? Не завидуйте негодному наследнику, его богатство — не ваше, и вы не стали бы лучше, получив его. Не думайте, что его до́лжно распределить между вами: наплодить пятьдесят паразитов вместо одного — значит рассеять состояние. Деньги — жизненная сила, которая гибнет без своих корней. Деньги не служат разуму, который их не достоин. По этой причине вы называете их злом?

Деньги — ваше выживание. Вердикт, вынесенный вами источнику средств вашего существования, вы выносите своей жизни. Если источник прогнил, вы проклинаете собственную жизнь. Вы получили ваши деньги обманным путем? Пользуясь человеческими пороками или человеческой глупостью? Обслуживая дураков, в надежде получить больше, чем позволяют вам ваши возможности? Снижая ваши собственные стандарты? Выполняя работу, которую презираете? Если так, ваши деньги не принесут вам радости ни на грош. Тогда все те вещи, что вы покупаете, будут вам не на пользу, а в убыток; станут не достижением, а источником позора. Тогда вы закричите, что деньги — зло. Зло, потому что разрушают уважение к вам? Зло, потому что

не дают вам наслаждаться своей порочностью? Не в этом ли корни вашей ненависти к деньгам?

Деньги всегда остаются результатом вашей деятельности и отказываются становиться на ваше место. Деньги — продукт добродетели. Но они не рождают в вас добродетель и не уменьшают ваших пороков. Деньги не принесут вам того, чего вы не заслуживаете — ни в материальном смысле, ни в духовном. Не в этом ли корни вашей ненависти к деньгам?

Или вы говорите, что корень зла — любовь к деньгам? Любить вещь — значит знать и любить ее суть. Любить деньги значит знать и любить тот факт, что деньги — порождение лучшей силы в вас самих и ваше разрешение на продажу ваших усилий за усилия лучших среди людей. Это тот, кто продал душу за грош, громче всех провозглашает свою ненависть к деньгам, и у него есть на это веская причина. Те, кто любит деньги, хотят ради них работать. Они знают, что способны их заслужить.

Позвольте мне дать вам ключ к пониманию характера человека: человек, проклинающий деньги, получил их нечестным путем, тот, кто уважает деньги, достоин их.

Бегите прочь от человека, который скажет

вам, что деньги — зло. Эта сентенция, как колокольчик прокаженного, предупреждает нас о приближении грабителя. Пока люди на земле живут вместе и у них есть причины взаимодействовать, их единственным доводом, если они отринут деньги, станет ружейный ствол.

Но, если вы хотите делать или хранить деньги, они потребуют от вас высших добродетелей. Люди, не имеющие отваги, гордости или самоуважения, люди, не имеющего морального права на деньги и не желающие защищать их, как они защищают свою жизнь, люди, которые просят прощение за то, что они богаты, недолго останутся богатыми. Они — настоящая приманка для мародеров, толпящихся у подножия горы и пытающихся вскарабкаться на нее при первом возникновении страха у человека, который виновато просит прощения за то, что он обладает богатством. Они поспешат освободить его от сей вины, а заодно и от жизни, потому что он этого заслуживает.

И вот тогда вы увидите, как поднимутся люди двойных стандартов, те, кто живет по принципу силы, но рассчитывают на тех, кто живет, создавая деньги, которых они грабят, попутчики добродетели. В нравственном обществе

они — преступники, и законы написаны для того, чтобы защитить вас от них. Но когда общество создает «преступников-по-праву» и «грабителей-по-закону», которые используют силу, чтобы завладеть деньгами беззащитных жертв, тогда деньги становятся мстителем своих создателей. Такие грабители уверены в своей безопасности, когда грабят беззащитных людей, закон их не разоружит. Но их добыча становится магнитом для других грабителей, которые отбирают ее. Начинается гонка не среди лучших производителей, а среди самых отъявленных ворюг. Когда сила становится главным законом, убийца одерживает верх над карманным воришкой. И тогда общество исчезает во мраке руин и кровавой бойни.

Вы хотите узнать, близок ли этот день? Следите за деньгами. Деньги — барометр общественной добродетели. Когда вы видите, что торговля ведется не по согласию, а по принуждению, когда для того, чтобы производить, вы должны получать разрешение от тех людей, кто ничего не производит, когда деньги уплывают к дельцам не за товары, а за преимущества, когда вы видите, что люди становятся богаче за взятку или по протекции, а не за работу, и ваши законы

защищают не вас от них, а их — от вас, когда коррупция приносит доход, а честность становится самопожертвованием, знайте, что ваше общество обречено. Деньги — благородная материя. Что не противостоит оружию, то не выступает против жестокости. Они не позволят стране выжить в виде полусобственности, полудобычи.

Когда бы разрушители ни появились среди людей, они начинают с разрушения денег, потому что деньги — защита людей и база их нравственного существования. Разрушители завладевают золотом, оставляя его хозяевам кипы обесцененных бумаг. Они убивают все объективные стандарты и отдают людей под деспотичную власть тех, кто произвольно устанавливает ценности. Золото было материальной ценностью, эквивалентом произведенного богатства. Бумага — закладная расписка за несуществующие ценности, обеспеченная лишь угрозами расправы с теми, кто откажется созидать. Бумага — это чек, выписанный легальными грабителями на счет, который им не принадлежит, на счет добродетели жертв. Ждите, и настанет день, когда чек вернется с пометкой «ваш счет превышен».

Сделав зло условием выживания, вы не можете ожидать, что люди останутся хорошими.

Не ожидайте от них того, что они останутся нравственными и пожертвуют жизнями, чтобы стать пищей для безнравственных. Не ожидайте, что они будут создавать, когда производство наказывается, а грабеж вознаграждается. Не спрашивайте, кто разрушил сей мир. Это вы его разрушили.

Вас окружают величайшие достижения высочайшей производящей цивилизации, а вы удивляетесь, почему она рассыпается в прах вокруг вас, если вы проклинаете ее жизнь и кровь — деньги. Вы смотрите поверх денег, как это делали до вас дикари, и недоумеваете, почему джунгли наступают на ваши города. На протяжении всей истории человечества деньги всегда крали грабители всех сортов, их имена изменялись, но метод оставался прежним: захватывать богатство силой и держать производителей связанными, униженными, бесславными, бесправными. Эта ваша фраза о том, что деньги — зло, которую вы так церемонно и многозначительно произносите, пришла к нам из тех времен, когда богатство создавалось руками рабов, повторявших движения, некогда изобретенные чьим-то умом и столетиями остававшиеся неизменными. Когда производство управляется силой, а богатство

добывается завоеваниями, возможности для конкуренции минимальные. И все же сквозь все столетия стагнации и голода люди возносили грабителей — аристократов меча, аристократов по рождению, аристократов письменного стола, и презирали производителей — рабов, торгашей и лавочников, фабрикантов.

К вящей славе человечества существует первая и единственная за всю историю страна денег — и у меня нет выше и почтеннее дани, которую я отдаю Америке: это страна разума, справедливости, свободы, производства, достижений. Впервые разум человеческий и деньги освобождены, и нет уже состояний, добытых завоеваниями, но есть только состояния заработанные, и вместо меченосцев и рабов появился настоящий создатель богатства, величайший работник, высочайший тип человека — человек, который сделал себя сам — американский промышленник. Если вы попросите меня назвать важнейшую отличительную черту американцев, я скажу — и это определяет все прочее, — что они — люди, давшие миру фразу «делать деньги». Ни один другой язык или нация никогда не использовали это словосочетание. Люди всегда думали о богатстве как о постоянном количестве, его захватывали,

выпрашивали, наследовали, делили, грабили или получали за счет преимущества. Американцы были первыми, кто поняли, что богатство до́лжно создавать. Слова «делать деньги» содержат квинтэссенцию человеческой морали.

И все-таки за эти слова американцев осуждают загнивающие культуры континентов-грабителей. Сейчас кредо грабителей заставляет вас защищать ваши высочайшие достижения как позорное клеймо, ваше процветание как вину, самых великих ваших людей, промышленников, как мерзавцев, а ваши великолепные заводы как продукт и собственность мускульного труда, труда подневольных, управляемых кнутом рабов, как те, что строили египетские пирамиды. Этим подлецам, которые с самодовольной ухмылкой заявляют, что не видят разницы между властью доллара и властью кнута, следовало бы испытать ее на собственной шкуре. Я думаю, так и случится.

Если вы не откроете для себя той истины, что деньги — корень всего доброго, что есть в мире, вы придете к собственному разрушению. Когда деньги станут инструментом отношений между людьми, человек станет инструментом человека. Выбирайте: кровь, кнут и оружие

или доллары, другого не дано, и ваше время истекает…

Франсиско не смотрел на Риардена, пока говорил, но в тот момент, когда он закончил, его глаза взглянули на него в упор. Хэнк стоял молча, не видя ничего, кроме Франсиско, окруженного сердитыми людьми.

Некоторые люди слушали его, но сейчас поспешили уйти. Были и те, кто восклицали: «Это ужасно!» или «Это неправда!» и «Какие порочные и самовлюбленные заявления!» — громко и в то же время осторожно, словно хотели, чтобы их услышали стоящие рядом, но надеялись, что их не услышит Франсиско.

— Сеньор д'Анкония, — заявила женщина с серьгами, — я с вами не согласна!

— Если вы сможете опровергнуть хоть одно из моих заявлений, мадам, я с благодарностью вас выслушаю.

— О, я не могу вас опровергнуть. У меня нет ответов, мой разум устроен не так, и я не чувствую в ваших словах правоты, поэтому знаю, что вы не правы.

— Откуда вам это известно?

— Я это *чувствую*. Я руководствуюсь не умом, а сердцем. Вы, должно быть, сильны в логике,

но совершенно бессердечны.

— Мадам, когда мы видим вокруг людей, умирающих с голоду, ваше сердце ничем не поможет. А я достаточно бессердечен и скажу, что, если вы воскликнете: «Я этого не знала!», вам этого никогда не простят.

Женщина пошла прочь, тряся щеками и бормоча дрожащим голосом:

— Что за нелепые разговоры для вечеринки!

Осанистый мужчина с глазами навыкате громко произнес тоном натужного веселья, предполагающего, что его слова не воспримут как неприятные:

— Если вы действительно так относитесь к деньгам, сеньор, я очень рад тому, что обладаю значительным пакетом акций «*Д'Анкония Коппер*».

— Рекомендую вам подумать хорошенько, — угрюмо ответил Франсиско.

Риарден рванулся к нему, и Франсиско, который, казалось, и не смотрел в его сторону, сразу двинулся ему навстречу, словно окружающих не существовало вовсе.

— Привет, — улыбаясь, сказал Риарден, просто и легко, как другу детства.

Он увидел, как его улыбка отразилась на лице

Франсиско.

— Привет.

— Я хочу поговорить с вами.

— А с кем, вы думаете, я говорил последние четверть часа?

Риарден засмеялся.

— Я и не думал, что вы меня заметили.

— Заметил, когда вошел, что вы — один из двоих в этом зале, которые рады меня видеть.

— Не слишком ли вы самоуверены?

— Нет, я благодарный.

— А кто второй рад вас видеть?

— Женщина, — пожав плечами, легко ответил Франсиско.

Риарден заметил, что Франсиско так естественно увел его от группы людей, стоявших у балюстрады, что никто из них и не догадался, что это сделано намеренно.

— Не ожидал вас здесь увидеть, — начал Франсиско. — Не нужно было вам приходить на этот прием.

— Почему?

— Могу я узнать, что заставило вас прийти?

— Моя жена горела желанием принять приглашение.

— Простите, возможно, это прозвучит грубова-

то, но было бы гораздо более пристойно и менее опасно, если бы она попросила вас взять ее в тур по публичным домам.

— О какой опасности вы говорите?

— Мистер Риарден, вы не знаете, *каким* образом здешняя публика делает бизнес и *как* она истолкует ваше присутствие здесь. Это по вашим, а не по их правилам воспользоваться гостеприимством — значит проявить добрую волю, признать, что вы и хозяин находитесь в цивилизованных отношениях. Не бросайте им таких кусков.

— Тогда почему вы сюда пришли?

Франсиско весело пожал плечами.

— То, что делаю я, ничего не значит. Я просто завсегдатай вечеринок.

— И что вы делаете на этой вечеринке?

— Подыскиваю добычу.

— Нашли?

Франсиско неожиданно посерьезнел и ответил серьезно, почти торжественно:

— Да, и, думаю, она будет моим самым блестящим триумфом.

У Риардена непроизвольно вырвались гневные слова, в них звучал не упрек, а скорее, отчаянье:

— Как вы можете растрачивать себя на такое?

Легкая тень улыбки, словно отдаленный огонек, зажглась во взгляде Франсиско, когда он спросил:

— Не хотите ли вы признаться в том, что вас это заботит?

— Вы услышите признания и похуже, если они вам нужны. До того как я с вами познакомился, я недоумевал, как вы можете пускать на ветер такое большое состояние. Теперь стало хуже, потому что я не могу презирать вас, как прежде, а вопрос стоит пострашнее: как вы можете тратить впустую свой мозг?

— Не думаю, что прямо сейчас я трачу его впустую.

— Не знаю, *что* в жизни вы хоть немного цените, но хочу сказать вам то, что не говорил никому. Помните, когда я с вами познакомился, вы заявили, что хотите отплатить мне добром?

В глазах Франсиско не осталось и следа веселья, Риарден еще никогда не видел у него такого серьезного и почтительного взгляда.

— Да, мистер Риарден, — тихо произнес он.

— Я ответил, что не нуждаюсь в этом, и оскорбил вас своим ответом. Хорошо, вы победили. Ваша сегодняшняя речь ведь предназначалась мне, не так ли?

— Да, мистер Риарден.

— Это больше чем благодарность, и она была мне нужна. Это больше чем признательность, в которой я тоже нуждался. Это было больше, чем любые слова. Мне понадобятся дни, дабы обдумать все, что вы мне дали, но одно я знаю уже сейчас: мне это нужно. Я никогда не делал подобных признаний, потому что никогда никого не просил о помощи. Если это вас развлечет, знайте: я был рад вас видеть. Если хотите, можете над этим посмеяться.

— На это может уйти несколько лет, но я докажу вам, что есть вещи, над которыми я не смеюсь.

— Докажите это прямо сейчас, ответьте на вопрос: почему вы сами не следуете тому, что проповедуете?

— Вы в этом уверены?

— Если то, что вы говорили, правда, если вы настолько велики, что понимаете это, вы уже должны были бы стать ведущим промышленником мира.

Франсиско ответил мрачно, теми же словами, что сказал дородному мужчине, но со странной бережной ноткой в голосе:

— Советую вам подумать дважды, мистер Риарден.

— Я думал о вас больше, чем могу признаться. И не нашел ответа.

— Попробую намекнуть: если все, что я говорил, правда, кто в этом зале самый большой преступник?

— Полагаю, Джеймс Таггерт?

— Нет, мистер Риарден, не Джеймс Таггерт. Но вы сами можете определить преступление и вычислить преступника.

— Несколько лет назад я сказал бы, что это вы. Я и сейчас думаю, что должен так ответить. Но я почти согласен с той глупой женщиной, заметившей вам: все во мне говорит о том, что ты преступник, и все же я не могу в это поверить.

— Вы совершаете ту же ошибку, что и глупая женщина, мистер Риарден, только в более благородной форме.

— Что вы имеете в виду?

— Я имею в виду не только ваше мнение обо мне. Та женщина и все ей подобные избегают мыслей о добре. Вы же отгоняете от себя мысли, которые считаете злом. Они так поступают потому, что хотят избежать усилий. Вы — потому что не позволяете себе принимать одолжения. Они любой ценой потакают всем своим эмоциям. Вы приносите их в жертву при первой возмож-

ности. Они ничего не хотят терпеть. Вы готовы вытерпеть все. Они уходят от ответственности. Вы принимаете ее на себя. Но разве вы не видите, по сути, ошибка одна и та же? Каждый ваш отказ признать реальность приведет к ужасным последствиям. Нет плохих мыслей, кроме одной: отказа от мыслей. Не пренебрегайте своими желаниями, мистер Риарден. Не приносите их в жертву. Изучайте их причины. Существует предел тому, что вы в состоянии вынести.

— Как вы узнали это обо мне?

— Однажды я совершал те же ошибки. Но это продолжалось недолго.

— Я пожелал бы себе того же… — начал Риарден, но тут же оборвал себя.

Франсиско улыбнулся.

— Боитесь пожелать, мистер Риарден?

— Я желал бы позволить себе уважать тебя так сильно, как только могу.

— Я… — Франсиско умолк, Риарден заметил в его взгляде чувство, которое не мог объяснить, но не сомневался в том, что это боль. Он впервые видел, чтобы Франсиско колебался. — Мистер Риарден, вы владеете акциями «*Д'Анкония Коппер*»?

— Нет, — растерянно ответил Риарден.

— Придет день, и вы узнаете, какую измену я совершаю прямо сейчас, но… Не покупайте акции «*Д'Анкония Коппер*». Не имейте никаких дел с «*Д'Анкония Коппер*».

— Почему?

— Когда вы узнаете все, вы поймете, есть ли на свете что-то или кто-то, имеющие для меня значение, и… и как много оно… он… или она для меня значит.

Риарден нахмурился, он что-то припоминал.

— Я не стану работать с вашей компанией. Разве вы не говорили про двойные стандарты? Разве вы не из тех грабителей, которые разбогатели прямо сейчас, благодаря директивам?

Необъяснимым образом его слова не оскорбили Франсиско, на его лицо вернулось выражение уверенности.

— Вы думаете, что это я выторговал эти директивы у плановиков-грабителей?

— Если не вы, то кто это сделал?

— Мои попутчики.

— Без вашего согласия?

— Без моего ведома.

— Мне стыдно признаться, как сильно я хочу вам верить, но сейчас это невозможно доказать.

— Разве? Я докажу вам это в ближайшие пят-

надцать минут.

— Каким образом? Факт остается фактом, благодаря директивам вы получили прибыли больше всех.

— Это верно. Я получил прибыли больше, чем мистер Моуч и его банда могли вообразить. После стольких лет работы они дали мне тот шанс, который был мне необходим.

— Вы похваляетесь?

— Вот именно! — Риарден не верил своим глазам, но взгляд Франсиско блистал, это был не взгляд праздного гуляки, а взгляд человека действия. — Мистер Риарден, вы знаете, где большинство этих новых аристократов хранят свои тайные деньги? Вы знаете, куда эти стервятники «равной доли» инвестировали бóльшую часть своих прибылей от вашего металла?

— Нет, но…

— В акции «*Д'Анкония Коппер*». Безопасно, за пределами страны. «*Д'Анкония Коппер*» — старая, непоколебимая компания, настолько богатая, что выдержит еще три столетия мародерства. Ею управляет плейбой-декадент, которому на все наплевать, который позволяет использовать свою собственность любым понравившимся им способом и продолжает делать для них день-

ги — автоматически, как делали его предки. Что может быть лучше для мародеров, мистер Риарден? Вот только одну-единственную мелочь они упустили.

Риарден пристально смотрел на него:

— К чему вы ведете?

Франсиско неожиданно расхохотался:

— Бедные спекулянты риарден-металлом! Вы же не хотели, чтобы они потеряли деньги, которые вы для них сделали, мистер Риарден? Но бывают несчастные случаи, знаете, как говорят: человек — всего лишь игрушка в руках природы. Например, случится пожар в рудных доках Вальпараисо завтра утром, пожар, который разрушит их до основания вместе с половиной портовых построек. Который теперь час, мистер Риарден? Ох, кажется, я перепутал время. Завтра, после полудня, случится подвижка породы в шахтах «*Д'Анкония Коппер*» в Орано — жертв нет, потерь нет, за исключением самих шахт. Обнаружится, что шахты были обречены, так как месяцами эксплуатировались неправильно, да и чего еще ожидать от руководителя-плейбоя? Огромные запасы меди будут похоронены под многотонными завалами горных пород, откуда «*Д'Анкония Коппер*» не сможет

их достать в ближайшие года три. А народное государство вообще никогда их не достанет. Когда держатели акций станут разбираться в произошедшем, они обнаружат, что копи в Кампосе, в Сан-Феликсе, в Лас-Харасе эксплуатировались по точно такой же схеме и придут в негодность всего через год, просто плейбой подделал бухгалтерские книги и скрыл это от газетчиков. Сказать вам, что они обнаружат в литейном производстве «*Д'Анкония Коппер*»? Или узнают о флотилии, перевозившей металл? Но все эти открытия не принесут держателям акций добра, потому что акции «*Д'Анкония Коппер*» рухнут завтра утром, взорвутся, как электрическая лампочка, брошенная в бетонную стену, рухнут, как скоростной лифт, разбрызгав ошметки попутчиков по стенам шахты!

Победные ноты в голосе Франсиско заглушил настоящий грохот: Риарден расхохотался.

Риарден не помнил, как долго это продолжалось: он будто перенесся в другую реальность, а второй приступ вернул его обратно. Когда он опомнился, словно придя в себя от действия наркотика, у него осталось единственное чувство — чувство полной свободы, никогда не испытанное им прежде. «Совсем как во время пожара на неф-

тяных приисках Уайэтта», — подумал он.

Оказывается, он отшатнулся от Франсиско, который пристально смотрел на него, и уже довольно давно.

— Нет плохих мыслей, мистер Риарден, кроме отказа от мыслей.

— Нет, — Риарден почти шептал, изо всех сил сдерживаясь, чтобы не закричать, — если это — ключ к вам, не ждите, что я буду аплодировать… у вас не хватило сил, чтобы бороться с ними… вы выбрали самый легкий и самый порочный путь… предумышленное разрушение… разрушение того, что вы не создавали и с чем не можете состязаться…

— Об этом вы не прочтете в завтрашних газетах. Не было никакого предумышленного разрушения. Все произошло вследствие банальной, объяснимой, доказанной некомпетенции. За некомпетенцию сейчас не наказывают, не так ли? Парни в Буэнос-Айресе и ребята в Сантьяго, возможно, захотят выдать мне субсидию в качестве утешения и вознаграждения. Все-таки остался приличный кусок компании «*Д'Анкония Коппер*», хоть бóльшая ее часть отправилась к праотцам. Никто не скажет, что я сделал это намеренно. А вы можете думать все,

что пожелаете.

— Я думаю, что вы — самый большой преступник в этом зале, — спокойно и устало ответил Риарден. Даже его гнев испарился, он не чувствовал ничего, кроме опустошения, ставшего следствием гибели большой надежды. — Я думаю, что вы даже хуже, чем я мог предполагать…

Франсиско посмотрел на него со странной безоблачной полуулыбкой, с безмятежностью победы над болью и ничего не ответил.

Их молчание позволило услышать голоса двоих мужчин, стоявших в нескольких шагах, и они повернулись, чтобы посмотреть на говоривших.

Приземистый пожилой мужчина явно относился к типу добросовестных бизнесменов. Его официальный костюм хорошего качества, пошитый лет двадцать назад, вышел из моды и слегка позеленел по швам, хоть и нечасто его приходилось надевать. Запонки на сорочке были слишком крупные, но их размер явно говорил о том, что эти затейливые произведения ручного труда — часть наследства; сделанные в давние времена, они перешли к нынешнему владельцу от предков, вместе с бизнесом. Его лицо в наши дни выдавало честного человека: на нем читалось смущение. Он смотрел на своего ком-

паньона, добросовестно и безнадежно пытаясь понять.

Его лоснящийся собеседник, помоложе и погрузнее, с выпяченной грудью и торчащими щетинками усиков, говорил с ним покровительственным тоном со скучающим видом:

— Ну, не знаю. Вы все жалуетесь на растущие цены, сейчас это стало общим местом, обычный скулеж людей, чьи прибыли немного снизились. Я не знаю, посмотрим, нужно подумать, разрешим мы вам получить немного прибыли или не разрешим.

Риарден глянул на Франсиско и увидел лицо, сломавшее его представление о том, что может сделать с человеком сильное чувство: более безжалостного выражения он не встречал никогда в жизни. Он всегда считал себя жестоким, но не знал, что ему далеко до этого свирепого, неумолимого человека, мертвого для всех чувств, кроме справедливости. Неважно, что еще наполняет этого человека, подумал Риарден, тот, кто способен переживать подобное, уже гигант.

Наваждение длилось всего мгновение. Лицо Франсиско стало бесстрастным, голос — спокойным:

— Я передумал, мистер Риарден. Я рад, что вы

пришли на эту вечеринку. Я *хочу*, чтобы вы это видели.

И неожиданно повысив голос, Франсиско игривым, распущенным колким тоном абсолютно безответственного человека сказал:

— Не могли бы вы ссудить мне денег, мистер Риарден? Я попал в весьма затруднительное положение. Мне необходимо раздобыть капиталец, прямо сейчас, пока не открылась биржа, потому что иначе я…

Ему не пришлось продолжать, потому что тот самый толстячок с щетинкой усиков уже вцепился в его руку.

Риарден не мог поверить, что человек способен в мгновение ока измениться в объемах, но он ясно видел, что толстячок уменьшился и в весе, и в объеме, его формы съежились, словно из него выпустили воздух, и тот, кто только что был высокомерным деспотом, внезапно превратился в жалкий кусок отбросов.

— Что… что-то случилось, сеньор д'Анкония? Я имею в виду… на бирже?

Франсиско испуганно приложил к губам указательный палец.

— Тише, — прошептал он. — Ради бога, тише!

Толстячок задрожал.

— Что-нибудь… не так?

— У вас случайно нет акций «*Д'Анкония Коппер*»?

Толстячок в ответ только кивнул, не в силах вымолвить ни слова.

— О господи, дело плохо! Хорошо, слушайте, я скажу вам, если вы дадите честное слово, что никому не расскажете. Вы же не хотите поднять панику.

— Честное слово… — пролепетал толстячок.

— Вам лучше всего как можно скорее бежать к вашему брокеру и продавать как можно быстрее, потому что у «*Д'Анкония Коппер*» дела идут не слишком хорошо, я пытаюсь достать деньги, но коли не сумею их добыть, вам повезет, если завтра утром вы сможете получить по десять центов на доллар… Ох, я и забыл, что вы не сможете связаться со своим брокером раньше завтрашнего утра, это ужасно, но…

Толстячок бежал по залу, расталкивая всех на своем пути, как торпеда, выпущенная в толпу.

— Смотрите, — горько произнес Франсиско, повернувшись к Риардену.

Человечек пропал в толпе, исчез из виду, нельзя было понять, продал ли он кому-нибудь свой

секрет или оказался достаточно коварным, чтобы сторговаться с теми двумя, которые оказывали ему протекцию, но по пути его следования стали заметны очаги возбуждения. Внезапные трещины раскололи толпу, словно лед, потом трещины стали разветвляться, как на стене, готовой рухнуть, островки пустоты стали расти, подчиняясь неумолимому дуновению страха.

Послышались внезапно оборвавшиеся крики, неожиданные паузы, потом звуки другого рода: нарастающий гул истерически повторяемых вопросов, ненатуральный шепоток, женский вскрик, несколько быстрых натужных смешков тех, кто еще пытался притвориться, что ничего не случилось.

В коловращении толпы образовались застойные пятна, как будто распространяющиеся участки паралича. Повисла неестественная тишина, словно умолкло рокотание мотора, потом возникло неистовое, дерганое, бесцельное, неуправляемое движение камней, скатывающихся с горы под действием слепой силы гравитации. Люди бегали, бросались к телефону, кидались друг к другу, наудачу вцепляясь в окружающих или отталкивая их. Самые могущественные люди страны, неподотчетные никакой вла-

сти, державшие в своих руках всё пропитание и все удовольствия ее граждан, подхваченные паникой, превратились в поток валунов, посыпавшихся вниз, когда сломалась несущая опора.

Джеймс Таггерт, с лицом, непристойно выражавшим все те эмоции, которые людей столетиями учили скрывать, подбежал к Франсиско и прокричал:

— Это правда?

— Джеймс, — улыбаясь, ответил Франсиско, — что случилось? Почему ты так расстроен? В деньгах коренится всё мировое зло, а я просто устал быть его носителем.

Таггерт бросился к главному выходу, крича что-то Оррену Бойлю. Бойль кивнул и продолжал кивать с готовностью и безропотностью бестолкового слуги, а потом бросился бежать в противоположном направлении. Черрил в фате, сверкающей как хрустальное облако, догнала Таггерта в дверях:

— Джим, что случилось?

Таггерт оттолкнул ее прочь и убежал; она упала на Пола Ларкина.

Недвижными, как колонны, остались только трое, их взгляды рассекли пространство зала поверх хаоса: Дагни не отрывала взгляда от Фран-

сиско, а Франсиско и Риарден смотрели друг на друга.

ГЛАВА III. ОТКРЫТЫЙ ШАНТАЖ

— Который час?

«Время истекает», — подумал Риарден, но ответил только:

— Не знаю, кажется, еще не полночь, — и, вспомнив, что часы на руке, добавил:

— Без двадцати.

— Я поеду домой на поезде, — сообщила Лилиан.

Риарден слышал ее, но ему понадобилось несколько минут, чтобы вернуться к действительности. Он смотрел отсутствующим взглядом на гостиную своего номера, куда они только что вошли, поднявшись на лифте с этажа, где проходил прием. Наконец он ответил:

— Так поздно?

— Ничего страшного. Поезда еще ходят.

— Разумеется, ты можешь остаться здесь, если пожелаешь.

— Нет, я предпочитаю вернуться домой. — Риарден не спорил. — А ты что же, Генри? Ты собираешься сегодня домой?

— Нет, — сказал он. И добавил: — У меня на завтра назначена деловая встреча.

— Как хочешь.

Движением плеч Лилиан сбросила роскошный палантин, подхватила его и направилась к двери в спальню, но на пороге остановилась.

— Ненавижу Франсиско д'Анкония, — нервно сказала она. — Зачем он явился на прием? Почему не мог прикусить язык до завтрашнего утра? — Риарден не ответил. — То, как он поступил с компанией, просто чудовищно. Конечно, Франсиско — всего лишь испорченный плейбой, но такое крупное состояние — большая ответственность, существуют же пределы разгильдяйству, которые человек не вправе преступать! — лицо Лилиан непривычно напряглось, черты заострились, делая ее старше. — Он ведь подотчетен акционерам, не так ли. Ведь так, Генри?

— Не будешь возражать, если мы сейчас не станем обсуждать Франсиско?

Она надула губы, передернула плечами и вошла в спальню.

Он стоял у окна, глядя на плывущие внизу крыши автомобилей, порой позволяя взгляду задержаться на чем-нибудь, но сознание его в этом не участвовало. Перед глазами Риардена все еще стояли две фигуры посреди толпы.

Однако хоть и смутно он помнил, что вернулся в свою гостиную, поэтому разум уже начал мягко подталкивать его: *он должен что-то сделать*. Мелькнула мысль, что надо бы снять вечерний костюм, но мешало подспудное нежелание переодеваться в присутствии чужой женщины в спальне, и он решил не торопиться.

Лилиан вышла, элегантно одетая и причесанная — в бежевом дорожном костюме, подчеркивающем стройность ее фигуры, в шляпке, надетой чуть набекрень поверх прически, уложенной волнами. Она несла в руке чемодан, слегка помахивая им, будто показывая, что сама может его нести.

Риарден механически потянулся и отобрал у нее чемодан.

— Что ты делаешь? — спросила она.

— Хочу проводить тебя на вокзал.

— Прямо так? Ты не переоделся.

— Это не имеет значения.

— Тебе необязательно провожать меня. Я вполне способна добраться самостоятельно. Если у тебя завтра деловая встреча, тебе лучше лечь спать.

Он не ответил, подошел к двери, открыл ее перед Лилиан и последовал за ней к лифту.

Они молчали всю дорогу, пока такси везло их на вокзал. В моменты, когда Риарден вспоминал о ее присутствии, он замечал, что она сидит абсолютно прямо, словно нарочито демонстрируя совершенство позы. Лилиан казалась вполне свежей и бодрой, словно ранним утром собиралась отправиться в путешествие.

Такси остановилось у входа в вокзал. Яркий свет огней, заливавший стеклянные двери, заставлял забыть об усталости позднего часа, призывал к активности, не зависящей от времени суток, и внушал чувство защищенности. Лилиан легко выскочила из такси, произнеся:

— Нет-нет, не нужно выходить, поезжай обратно. Ты приедешь домой пообедать… завтра или в следующем месяце?

— Я позвоню тебе, — ответил Риарден.

Она помахала ему рукой в перчатке и скрылась в огнях вокзала. Когда такси тронулось с места, он назвал водителю адрес Дагни.

Когда Риарден вошел, в квартире было темно, но дверь в спальню оказалась полуоткрытой, и он услышал, как она сказала:

— Привет, Хэнк.

Он вошел, спросив:

— Ты спала?

— Нет.

Он включил свет. Дагни лежала в постели, головой на высокой подушке, волосы плавно спускались на плечи, словно она долго не двигалась, лицо казалось совершенно спокойным. В своей бледно-голубой ночной сорочке с глухим воротом, закрывавшим горло, она на первый взгляд напоминала школьницу. Но на груди сорочку украшала прихотливая вышивка, смотревшаяся по-взрослому роскошно и очень женственно.

Он присел на край кровати, и она улыбнулась, заметив, что строгая официальность его костюма придавала особую интимность его движениям. Он улыбнулся в ответ. Он пришел, готовый отказаться от прощения, полученного от нее на приеме, как человек отказывается от слишком благородного предложения противника. Вместо этого он неожиданно потянулся и нежным, бережным жестом провел рукой по ее лбу, откинув волосы, почувствовав внезапно, как она по-детски миниатюрна. Соперница, постоянно бросавшая ему вызов, но нуждавшаяся в его защите.

— Тебе и так нелегко, — произнес он, — а я все усложняю…

— Нет, Хэнк, ты не прав, и сам это знаешь.

— Я знаю только, что ты достаточно сильна и не дашь причинить себе боль, но я не должен злоупотреблять этим. А я злоупотребляю, у меня просто нет другого выхода, мне нечего предложить тебе взамен. Я могу только признать это и не имею права просить о прощении.

— Мне нечего тебе прощать.

— Я не имел права приводить ее туда.

— Это не причинило мне боли. Только…

— Что?

— …только было тяжело видеть, как ты страдаешь.

— Не думаю, будто страдание может служить хоть каким-то искуплением, но что бы я ни чувствовал, я страдал недостаточно. Есть вещи, которые я ненавижу, но больше всего — говорить о своих страданиях, они касаются только меня. Но раз ты это уже знаешь, признаюсь, было чертовски трудно. Но я хотел бы, чтобы мне было еще хуже. Я не собираюсь от этого бежать.

Он говорил жестко, без эмоций, словно вынося себе суровый приговор. Она грустно улыбнулась, взяла его руку, прижала к губам, покачала головой, отвергая сей нелицеприятный вердикт, и спрятала лицо в его ладони.

— Что ты хочешь сказать? — ласково спро-

сил он.

— Ничего… — подняв голову, она твердо сказала: — Хэнк, я знала, что ты женат. Я знала, на что иду. Это мой выбор. Ты мне ничего не должен, ничем не обязан.

Он медленно покачал головой, как бы протестуя.

— Хэнк, мне ничего от тебя не нужно, только то, что ты сам хочешь мне дать. Помнишь, ты однажды назвал меня торгашкой? Я хочу, чтобы ты приходил ко мне, не желая ничего, кроме радости. Раз ты остаешься женатым человеком, неважно, по какой причине, у меня нет прав протестовать. Моя торговля очень проста: знать, что радость, которую ты мне приносишь, вознаграждается той радостью, что ты получаешь от меня, а не страданиями, твоими или моими. Я не приму жертв, и не стану приносить себя в жертву. Если ты потребуешь от меня большего, чем то, что я могу дать, я откажу тебе. Если ты попросишь меня бросить железную дорогу, я брошу тебя. Если удовольствие одного из нас потребует от другого боли, то никакой сделки не будет. Торговля, при которой один человек приобретает, а другой теряет, — обман. В бизнесе ты этого не делаешь, Хэнк, не поступай так и в жизни.

Словно искаженная фонограмма, за ее словами прозвучали недавние слова Лилиан. Какая бездонная пропасть разделяла этих женщин, какая невообразимая разница была в том, что каждая из них искала в нем и в жизни.

— Дагни, что ты думаешь о моем браке?

— У меня нет права думать о нем.

— Может быть, тебя что-то интересует?

— Раньше, пожалуй… до того, как я пришла в дом Эллиса Уайэтта. Потом все стало неважно.

— Ты не задала мне ни одного вопроса.

— И не стану.

Помолчав минуту, он сказал, глядя ей прямо в глаза, словно подчеркивая отказ от права на неприкосновенность своей личной жизни, которое, впрочем, она никогда не нарушала:

— Я хочу, чтобы ты знала только одно: я не прикасался к ней с тех пор… после дома Эллиса Уайэтта.

— Я рада.

— Думаешь, я смог бы?

— Я никогда не позволяла себе думать об этом.

— Дагни, ты хочешь сказать, что если бы я… ты с этим бы смирилась?

— Да.

— И не возмутилась бы?

— Всеми фибрами души. Но, если бы ты сделал такой выбор, приняла бы его. Я хочу тебя, Хэнк.

Он взял ее руку и прижал к губам, она уловила мгновенное напряжение его тела, и внезапно он почти рухнул, впившись поцелуем в ее плечо. Потом, рванув, потянул ее к себе, уложил хрупкое тело в голубой сорочке себе на колени и обнял, без улыбки глядя так, словно ненавидел ее за эти слова, и одновременно больше всего на свете хотел их услышать.

Он наклонился к ее лицу, и она услышала вопрос, который он повторял снова и снова, всегда резко, словно наружу прорывалась его вечная тайная мука:

— Кто был твоим первым мужчиной?

Она откинулась, пытаясь отодвинуться от него, но он не позволил.

— Нет, Хэнк, — твердо ответила она.

Он улыбнулся короткой, напряженной улыбкой.

— Я знаю, ты не ответишь, но не перестану спрашивать, потому что никогда не приму *того*… до меня.

— Спроси себя, почему.

Он ответил, медленно проведя рукой от ее груди до колена, словно подтверждая свое обладание

ее телом и одновременно ненавидя его.

— Потому что… то, что ты позволяешь мне делать… я не ожидал, что ты позволишь такое даже мне… но знать, что ты позволяла это другому мужчине и *хотела*, чтобы он это делал…

— Ты понимаешь, что говоришь? Что никогда не примешь моего влечения к тебе, никогда не примешь того, что я хочу тебя, как когда-то хотела другого?

— Это правда, — ответил он, понизив голос.

Она резко, почти грубо отпрянула от него, поднялась на ноги, взглянула сверху вниз с легкой улыбкой и сказала мягко:

— Знаешь, в чем твоя главная беда? Имея огромные возможности, ты так и не научился наслаждению. Ты всегда слишком категорично отказывал себе в удовольствиях. Ты хотел слишком многое вытерпеть.

— Он тоже так говорил.

— Кто?

— Франсиско д'Анкония.

Ему показалось, что это имя резануло ей слух, и она ответила на мгновение позже, чем он ожидал:

– *Он* тебе это сказал?

— Вообще-то мы говорили совсем о другом.

Через мгновение она спокойно заметила:

— Я видела, что ты с ним разговаривал. Кто из вас кого оскорбил на этот раз?

— Никто. Дагни, что ты о нем думаешь?

— Я думаю, что он специально устроил катастрофу, последствия которой мы все увидим завтра.

— Я знаю. И все-таки, что ты думаешь о нем как о человеке?

— Не знаю. Я должна думать, что он — самый развращенный человек из всех, кого я встречала.

— Ты *должна* думать? Но не думаешь?

— Нет. Не могу заставить себя в это поверить.

Риарден улыбнулся.

— Я тоже знаю эту его странность. Я знаю, что он лжец, бездельник, дешевый плейбой, самый порочный и безответственный человек, какого только можно вообразить. И все же, когда я смотрю на него, я чувствую, что он — единственный, кому я доверил бы свою жизнь.

Она ахнула.

— Хэнк, ты хочешь сказать, *он тебе нравится*?

— Я не знал, что это значит, когда нравится мужчина, не знал, как сильно мне этого не хватало, пока не встретил его.

— Господи, Хэнк, да ты влюбился в него!

— Да, наверное, — улыбнулся Риарден. — Почему это тебя пугает?

— Потому что… потому что я думаю, он причинит тебе боль каким-нибудь ужасным способом… и чем чаще ты будешь видеть его, тем будет хуже… тебе потребуется много времени, чтобы пережить все это, если, конечно, вообще что-то случится… Я чувствую, что должна предостеречь тебя, но не могу, ведь я и сама ни в чем не уверена, когда речь идет о нем, даже в том, кто он на самом деле — самый великий или самый низкий человек на земле.

— Я не уверен ни в чем, кроме того, что он мне симпатичен.

— Но подумай о том, что он натворил. Он причинил боль не *Джиму и Бойлю*, он ранил тебя, меня, Кена Данаггера и всех остальных, потому что банда Джима запросто свалит все на нас, а это будет еще одно бедствие, похожее на пожар Уайэтта.

— Да… да, как пожар Уайэтта. Но знаешь, кажется, меня это не очень волнует. Еще одно несчастье? Все летит в тартарары, теперь это только вопрос времени — чуть раньше, чуть позже… Нам осталось только одно: стараться удержать судно на плаву как можно дольше,

а потом кануть на дно вместе с ним.

— Так он *этим* извиняет свое поведение? Он хотел заставить тебя так думать?

— Нет. О нет! Когда я говорил с ним, у меня возникло странное чувство.

— Какое?

— Надежда.

Она кивнула, удивляясь, что чувствует то же, что и Хэнк.

— Не знаю, почему, — продолжал он, — но я смотрел на людей и видел, что в них нет ничего, кроме боли. Во всех, кроме Франсиско. Эта ужасная безнадежность вокруг нас исчезает только в его присутствии. И еще здесь. Больше нигде.

Она подошла и опустилась к его ногам, прижавшись лицом к коленям.

— Хэнк, у нас многое еще впереди… и так много есть сейчас…

Он посмотрел на пятно бледно-голубого шелка на фоне черноты его костюма, нагнулся и негромко сказал:

— Дагни… то, что я сказал тебе в то утро в доме Эллиса Уайэтта… Я лгал себе.

— Я знаю.

* * *

Сквозь серую морось дождя календарь, не табло, а именно календарь, над крышами сообщал: сегодня третье сентября. Часы на соседней башне уточняли: десять сорок. Риарден ехал обратно в «*Уэйн-Фолкленд*». Радио в такси извергало пронзительные звуки голоса, в панике сообщавшего о крушении «*Д'Анкония Коппер*».

Риарден устало откинулся на сиденье, катастрофа казалась не более чем банальной сводкой новостей, прочитанных давным-давно. Пропали все ощущения, кроме неуютного чувства несуразности его появления на утренних улицах в вечернем костюме. Не было ни малейшего желания возвращаться из того мира, что он покинул, в моросящий дождь серого мирка, что виднелся за окном такси.

Он повернул ключ в замке своего номера, надеясь как можно скорее вернуться за рабочий стол, чтобы не видеть ничего вокруг.

Три вещи одновременно поразили его: столик для завтрака, распахнутая дверь в спальню, открывающая вид на смятую постель, и голос Лилиан.

— Доброе утро, Генри.

Она сидела в кресле, все в том же костюме, что и вчера, только без жакета и шляпки. Ее белоснежная блузка выглядела безупречно свежей. На столике красовались остатки завтрака. Лилиан со скучающим видом, в позе затянувшегося терпеливого ожидания, курила сигарету.

Пока Риарден стоял столбом, она положила ногу на ногу и уселась поудобнее, а затем спросила:

— Ты ничего не хочешь мне сказать, Генри?

Он стоял, как солдат в униформе на официальном мероприятии, где никакие эмоции попросту недопустимы.

— Говорить лучше тебе.

— Разве ты не хочешь попробовать оправдаться?

— Нет.

— Ты не собираешься попросить у меня прощения?

— Тебе не за что меня прощать. Мне нечего добавить. Ты знаешь правду. Все остальное я предоставляю тебе.

Хихикнув, она выпрямилась и потерлась лопатками о спинку кресла.

— Не ожидал, что рано или поздно тебя поймают? — спросила Лилиан. — Неужели ты думаешь, что если такой мужчина, как ты, целый год ведет

монашескую жизнь, я не начну подозревать, что на это есть причина? Забавно, но твои знаменитые мозги не защитили тебя от такой простой ловушки, — она жестом указала на кровать, на столик с остатками завтрака. — Я была уверена: ночью ты сюда не вернешься. Было нетрудно и совсем не дорого узнать сегодня утром у служащего отеля, что за последний год ты не провел в этих комнатах ни одной ночи.

Он ничего не ответил.

— Человек из нержавеющей стали! — засмеялась Лилиан. — Человек, столь многого достигший, благородный, превосходящий нас всех! Она что, танцует в варьете или маникюрша в парикмахерской для миллионеров?

Он по-прежнему молчал.

— Кто она, Генри?

— Я не стану отвечать.

— Я хочу знать.

— Ты не узнаешь.

— Тебе не кажется, что смешно играть роль джентльмена, защищающего доброе имя леди? Кто она?

— Я уже сказал, что не стану отвечать.

Лилиан пожала плечами.

— А впрочем, какая разница. Для стандартной

цели существует стандартный тип. Я всегда подозревала, что под аскетической личиной скрывается вульгарный неотесанный сластолюбец, не ищущий в женщине ничего, кроме средства удовлетворения своих животных инстинктов, и горжусь тем, что не опустилась до этого. Я знала: твое хваленое чувство порядочности в один прекрасный день рухнет, и ты погрязнешь в сетях самого низкого, самого дешевого типа женщин, как любой заурядный неверный муж.

— Можешь порицать меня, как хочешь, ты имеешь на это право.

Лилиан в ответ рассмеялась.

— Великий человек, всегда такой высокомерный по отношению к слабакам, обходящим острые углы или падающим на обочине, потому что не сумели дорасти до тебя по силе характера и целеустремленности! Как ты теперь к ним относишься?

— Мои чувства не должны тебя касаться. Ты имеешь право решать, чего хочешь от меня. Я соглашусь с любым требованием, кроме одного: не проси, чтобы я от этого отказался.

— О нет, я не стану этого требовать! Не верю, что ты сможешь изменить свою натуру. Это и есть твой истинный уровень, скрывав-

шийся под величием рыцаря от индустрии, выбившегося из низов, благодаря своей гениальности, поднявшийся от шахтера до обладателя хрустальных бокалов и фрачных галстуков! И вдруг он является домой в одиннадцать часов утра! Ты никогда не вылезешь из своей шахты, тебе там самое место, всем вам, самим себя сделавшим князьями кассового аппарата: субботний вечер в салуне, в компании мелких коммивояжеров и танцовщиц!

— Ты хочешь со мной развестись?

— Хорошенькая была бы сделка! Думаешь, я не догадываюсь, что ты хочешь развода с первого месяца нашего брака?

— Если ты это знаешь, почему до сих пор не оставила меня?

— У тебя нет больше права задавать мне этот вопрос! — жестко ответила она.

— Это правда, — сказал Риарден, полагая, что такой ответ может оправдать только одна возможная причина: ее любовь к нему.

— Нет, я не собираюсь с тобой разводиться. Думаешь, я позволю твоей интрижке с какой-то бабенкой лишить меня моего дома, моего имени, моего положения в обществе? Я буду изо всех сил защищать эту часть своей жизни, пусть она

и не нашла опоры в столь зыбком основании, как твоя липовая верность. Не заблуждайся: я никогда не дам тебе развода. Нравится тебе это или нет, ты женат и останешься женатым человеком.

— Останусь, если ты так решила.

— И вообще, я не понимаю, почему ты не сядешь?

Риарден остался стоять.

— Пожалуйста, говори то, что должна сказать.

— Я не допущу также никакого неофициального развода, мы не разъедемся. Ты можешь наслаждаться своей любовной идиллией в метро и подъездах, где ей самое место, но я требую, чтобы в глазах света ты не забывал, что я — миссис Генри Риарден. Ты всегда демонстрировал нерушимую приверженность честности, так позволь мне видеть тебя, осужденного на жизнь лицемера, которым ты был всегда. Я жду, чтобы ты вернулся в дом, официально принадлежащий тебе, но отныне ставший моим.

— Если захочешь.

Она расслабленно откинулась на спинку кресла, расставив ноги, положив руки на подлокотники, словно судья, решившийся наконец позволить себе некоторую вольность.

— Развод? — она холодно рассмеялась. — Не думаешь ли ты, что улизнешь так просто? Думаешь отделаться несколькими из твоих миллионов, швырнув их мне в качестве алиментов? Ты слишком привык получать все на свете за свои доллары и не можешь постигнуть простую вещь: не все продается, не все покупается, не все может быть предметом торговли. Ты не способен поверить, что существует человек, не зависящий от денег, не можешь себе представить, что это значит. Ничего, думаю, ты этому научишься. Разумеется, ты согласишься с некоторыми моими требованиями. Я хочу, чтобы ты сидел в офисе, предмете твоей гордости, на своем драгоценном литейном производстве, и изображал героя, который работает по восемнадцать часов в сутки, гиганта индустрии, двигающего вперед целую страну, гения, вознесшегося над стадом скулящих, лгущих, ворующих людишек. Еще я хочу, чтобы ты приходил домой, где тебя будет ждать некая особа, единственная из всех, знающая истинную цену тебе и твоим словам, твоей гордости, твоей честности, твоей хваленой самооценке. Я хочу, чтобы ты, в своем собственном доме, видел ту, кто презирает тебя, и имеет на это право. Я хочу, чтобы ты смотрел на меня, когда строишь очеред-

ную печь или разливаешь очередное рекордное количество стали, или слушаешь аплодисменты и восхваления, когда гордишься собой, когда чувствуешь себя чистым, когда упиваешься собственным величием. Хочу, чтобы ты видел меня, когда слышишь о несправедливом лишении собственности, негодуешь по поводу человеческой испорченности и сочувствуешь тем, кто стал жертвой мошенничества или нового вымогательства со стороны правительства — видел и понимал, что ты ничем не лучше, что никого не превзошел, что не имеешь права никого осуждать. Я хочу, чтобы ты смотрел на меня и помнил, какая судьба ожидает человека, пытавшегося построить башню до неба, или долететь до Солнца на крыльях из воска, человека, который мнил себя совершенством!

Словно сторонний наблюдатель, Риарден хладнокровно отметил мелькнувшую мысль, причем весьма любопытную: в ее системе наказания есть прореха, некое несоответствие понятий — просчет, который разрушит всю схему, стоит только его обнаружить. Он не стал пытаться отыскать его. С удовлетворением зафиксировав для себя этот факт, он попытался заглянуть в отдаленное будущее. Теперь там не осталось ничего, чего

стоило ожидать и к чему стремиться.

Его разум оставался практически безучастным, лишь пытался противопоставить последние остатки чувства справедливости невообразимому наплыву отвращения, лишившего Лилиан человеческого облика. Если она отвратительна, думал он, так это я сам довел ее до этого. Так она борется с болью, никто не может диктовать людям форму, в которой они должны переносить страдания, никто не может их упрекать, и меньше всего он, Риарден, тот, кто вызвал эти страдания. Но в поведении самой Лилиан он не замечал свидетельств какой-либо боли. Возможно, внешней неприглядностью она хочет прикрыть свое страдание, подумал он. И он честно старался преодолеть отвращение… Далось ему это не сразу.

Когда Лилиан замолчала, он спросил:

— Ты закончила?

— Да, кажется, закончила.

— Тогда тебе лучше поехать домой.

Когда он решил избавиться наконец от вечернего костюма, то почувствовал, что все мышцы болят, словно после долгого дня физического труда. Крахмальная сорочка намокла от пота.

Не осталось ни мыслей, ни чувств — ничего,

кроме ощущения, что последние их осколки растворились, и осталось только громадное облегчение от величайшей в жизни победы над собой: он позволил Лилиан покинуть свой номер живой.

* * *

Доктор Флойд Феррис вошел в кабинет Риардена с благосклонной улыбой, какая обычно свойственна человеку, ни секунды не сомневающемуся в успехе своей миссии. Говорил он с приятной, бодрой уверенностью. У Риардена создалось впечатление, что это уверенность шулера, приложившего титанические усилия для того, чтобы запомнить каждую из возможных комбинаций карт, и теперь он изображает олимпийское спокойствие, зная, что каждая карта крапленая.

— Итак, мистер Риарден, — произнес он вместо приветствия, — я и представить себе не мог, что даже такой изощренный знаток светских условностей и тертый калач, как я, почувствует внутренний трепет при встрече с выдающимся человеком, и именно его я сейчас ощущаю, хотите — верьте, хотите — нет.

— Здравствуйте, — ответил Риарден.

Доктор Феррис уселся и сделал несколько замечаний об оттенках октябрьской листвы, которыми любовался по ходу долгой поездки из Вашингтона, предпринятой специально ради встречи с мистером Риарденом лично. Риарден не ответил. Доктор Феррис глянул в окно и прокомментировал вдохновляющий вид литейного производства, которое, как он выразился, является одним из наиболее значимых предприятий страны.

— Совсем не так вы говорили о нем полтора года назад, — отметил Риарден.

Доктор Феррис на мгновение нахмурился, словно допустил незначительную ошибку, едва не стоившую ему игры, но потом крякнул, будто вновь завладел инициативой.

— Это было полтора года назад, мистер Риарден, — легко парировал он. — Времена меняются, и люди меняются вместе с ними, по крайней мере, умные люди. Мудрость заключается в понимании того, когда нужно помнить, а когда забывать. Последовательность — не то свойство ума, которое следует практиковать самому или ожидать от других представителей человечества.

Затем он прочел краткую лекцию о неуместно-

сти последовательного мышления в мире, где нет ничего абсолютного, кроме принципа компромисса. Он говорил свободно, в непринужденной манере, словно оба они понимали, что не это является главным предметом их беседы. Однако странным было то, что излагал он свои мысли не в тоне вступления, а в тоне постскриптума, когда главный вопрос давно утрясен.

Риарден дождался фразы «Вы так не думаете?» и ответил:

— Прошу вас изложить то неотложное дело, из-за которого вы просили меня о встрече.

На лице доктора Ферриса на мгновение отразились изумление и озадаченность, потом он радостно произнес, словно припомнив незначительную деталь, от которой можно без труда избавиться:

— Ах, это? Оно касается сроков отгрузки вашего металла Государственному научному институту. Нам хотелось бы получить пять тысяч тонн к первому декабря, а с остальным мы согласны подождать до начала следующего года.

Риарден сидел и довольно долго молча смотрел на него. С каждой утекающей секундой игривые интонации голоса доктора Ферриса, еще витавшие в воздухе, казались все глупее. Когда доктор

Феррис уже начал опасаться, что Риарден не ответит ему вовсе, тот заговорил:

— Разве тот дорожный полицейский в кожаных крагах, которого вы сюда подослали, не передал вам содержание нашего разговора?

— Да, мистер Риарден, но…

— Что еще вы хотите услышать?

— Но с тех пор прошло пять месяцев, мистер Риарден. Произошли некоторые события, убедившие меня в том, что вы изменили ваше мнение и теперь не станете чинить нам препятствий, точно так же, как и мы со своей стороны, не принесем вреда вам.

— О чем вы говорите?

— Например, о некоем событии, о котором вам известно гораздо больше, чем мне, но и я о нем знаю, хоть вы и предпочли бы, чтобы я не знал.

— Каком еще *событии*?

— Поскольку это ваша тайна, мистер Риарден, почему бы ей таковой и не остаться? У кого нынче нет секретов? Например, проект «Икс» — секрет. Вы, конечно, понимаете, что мы можем получить ваш металл малыми партиями через различные правительственные структуры, и вы не сумеете этому помешать. Но подобное решение вопроса потребовало бы вмешатель-

ства множества грязных бюрократов, — доктор Феррис улыбнулся с обезоруживающей откровенностью. — Да, мы, бюрократы, недолюбливаем друг друга точно так же, как недолюбливаете нас вы, простые граждане. Нам пришлось бы посвятить слишком многих в секрет проекта «Икс», что в настоящее время крайне нежелательно. Как и газетная шумиха в случае, если мы подадим на вас в суд по обвинению в отказе выполнять распоряжение правительства. Но если вам придется предстать перед судом по гораздо более серьезному обвинению, где не замешаны проект «Икс» и Государственный научный институт, и вы не сможете опровергнуть обвинение или не заручитесь поддержкой общественности, что ж, нас это совсем не затронет, а вам будет стоить больше, чем вы можете предположить. Следовательно, единственным практичным поступком для вас остается помочь сохранить *наш* секрет и позволить нам помочь вам сохранить *ваши* тайны. Я полагаю, вы понимаете, что мы в состоянии защитить вас от любого бюрократа и судебного преследования так долго, как мы того пожелаем.

— Какое событие, какой секрет, какой суд?

— Послушайте, мистер Риарден, не будьте

ребенком! Конечно же, четыре тысячи тонн металла, которые вы отгрузили Кену Данаггеру, — легко ответил доктор Феррис.

Риарден промолчал.

— В свете изложенного всякие разговоры о принципах — не более чем пустая трата времени, — улыбаясь, продолжал доктор Феррис. — Даже если вы захотите стать мучеником, жертвой принципов, при сложившихся обстоятельствах, о которых, возможно, никто другой знать не будет, только вы и я, вы все равно больше не будете героем, создателем замечательного нового сплава, не сможете встретить врага лицом к лицу, ваши действия не произведут впечатления на публику. Вы станете обычным нарушителем закона, алчным фабрикантом, поправшим законы государства, направленные на защиту общественного достояния, героем без славы и без почитателей, не заслуживающим большего, чем половинка газетной колонки где-нибудь на пятой полосе… Готовы ли вы стать мучеником? Потому что сегодня вопрос стоит так: либо вы даете нам металл, либо отправляетесь в тюрьму на десять лет заодно со своим другом Данаггером.

Как биолога, доктора Ферриса всегда завора-

живала теория, согласно которой животные обладают способностью чуять чужой страх, и он пытался развить эту способность у себя. Наблюдая за Риарденом, он заключил, что этот человек далек от того, чтобы сдаться, ибо не смог уловить с его стороны ни малейшего признака страха.

— Кто ваш информатор? — спросил Риарден.

— Один из ваших друзей, мистер Риарден. Владелец медной шахты в Аризоне, сообщивший нам, что вы получили в прошлом месяце дополнительное количество меди, превышающее обычный месячный тоннаж, потребный для производства месячного объема металла, который дозволяет вам закон. Медь ведь один из ингредиентов вашего сплава, не так ли? Этой информации для нас оказалось достаточно. Вычислить остальное не составило труда. Вы не должны слишком уж упрекать хозяина медной шахты. Как вам известно, производители меди сейчас сильно стеснены, поэтому ему пришлось предложить что-нибудь ценное, чтобы получить у правительства преимущество, «важнейшую потребность», которая в его случае частично снимает действие некоторых директив и дает возможность перевести дух. Человек, которому он продал свою информацию, знал,

для кого она может представлять наибольшую ценность, и сообщил ее мне в обмен на некоторые послабления, в которых он нуждался. Так что все необходимые доказательства, как и последующие десять лет вашей жизни, находятся в моей власти, и я предлагаю вам сделку. Уверен, что вы не откажетесь, поскольку сделки — ваша специальность. Форма может несколько отличаться от тех, что преобладали в дни вашей юности, но вы — опытный делец, вы всегда знали, как использовать преимущества в изменяющихся обстоятельствах, а обстоятельства в наши дни таковы. Поэтому вам будет нетрудно разобраться, в какой области лежат ваши интересы, и действовать соответственно.

— В годы моей юности это называлось шантажом, — спокойно ответил Риарден.

Доктор Феррис ухмыльнулся.

— Этот так, мистер Риарден. Мы вступили в значительно более реалистичный век.

«Но есть одно странное различие, — подумал Риарден, — между банальным шантажистом и доктором Феррисом. Шантажист злорадствует по поводу провинности своей жертвы и представляет угрозу для нее, а опасность чувствуют они оба. Доктор Феррис — дело другое. Его манера

спокойна и естественна, он излучает чувство уверенности, в его тоне нет осуждения, скорее, намек на товарищество, основанное на пренебрежении к самому себе». Внезапное чувство, что он как будто приблизился к разгадке следующего шага на своем едва наметившемся пути, заставило Риардена податься вперед с готовностью и вниманием.

Заметив во взгляде Риардена интерес, доктор Феррис улыбнулся и мысленно поздравил себя с тем, что выбрал правильный подход. Теперь игра стала ему понятной, крапленые карты выпадали в нужном порядке. Другие люди, думал Феррис, уже давно бы все сделали, даже если не называть вещи своими именами, но этот человек хочет откровенности, а он-то надеялся встретить крутого реалиста.

— Вы человек практичный, мистер Риарден, — дружелюбно продолжил доктор Феррис. — Не понимаю, почему вы не хотите идти в ногу со временем. Почему не приспособитесь? Вы умнее большинства людей. Вы человек надежный, мы хотим, чтобы вы работали долго, и когда я услышал, что вы пытались связаться с Джимом Таггертом, я понял, что это возможно. Не возитесь с Джимом Таггертом, он никто, мелкая

сошка. Вступайте в большую игру. Мы можем использовать вас, а вы — нас. Хотите, мы займемся для вас Орреном Бойлем? Он нанес вам сильный удар; хотите, мы его немного приструним? Это можно сделать. А хотите, мы построим Кена Данаггера? Я знаю, вы продали ему металл, потому что вам нужно получить от него уголь. Вот вы и рискнули тюрьмой и уплатой огромных штрафов, лишь бы не повредить Кену Данаггеру.

И вы называете это хорошим бизнесом? Послушайте, работайте с нами и дайте понять мистеру Данаггеру, что если он не встанет в общую очередь, то отправится в тюрьму, поскольку у вас есть такие друзья, которых у него нет, и тогда вам больше не придется волноваться о снабжении углем. Вот как нужно сегодня вести бизнес. Спросите себя, какой путь практичнее. И что бы о вас ни говорили, никто не сможет отрицать того, что вы — великий бизнесмен и настоящий реалист.

— Да, я такой, — согласился Риарден.

— Верно, — кивнул доктор Феррис. — Вы достигли богатства в то самое время, когда большинство людей готовились обанкротиться, вы всегда сметали все препятствия на своем пути, поддерживая свои литейные цеха в рабочем состоянии,

и делали деньги, поэтому вы не захотите сейчас вести себя непрактично, не так ли? Ради чего? Какая разница, если деньги идут? Оставьте теории людям вроде Бертрама Скаддера, а идеалы — особам вроде Бальфа Юбэнка, и будьте самим собой. Спуститесь на землю. Вы не тот человек, кто позволяет сантиментам мешать своему бизнесу.

— Нет, — медленно проговорил Риарден. — Не позволю. Никаких сантиментов.

Доктор Феррис улыбнулся.

— Вы думаете, мы сомневались в этом? — сказал он, словно желая потрясти провинившегося друга своим коварством. — Мы долго ждали, чтобы получить на вас компромат. С вами, порядочными, одни проблемы и головная боль. Но мы знали, рано или поздно вы поскользнетесь, и вот, дождались именно того, что нужно.

— Вы, кажется, довольны этим.

— Разве для этого нет причин?

— Но, в конце концов, я нарушил один из ваших законов.

— А для чего, вы думаете, они существуют?

Доктор Феррис не заметил быстрого взгляда Риардена — взгляда человека, перед которым впервые открылось то, что он так ждал увидеть.

Доктор Феррис закончил стадию наблюдения,

пришла пора нанести последний удар добыче, попавшей в западню.

— Вы действительно думаете, будто мы хотим, чтобы эти законы соблюдались? — начал доктор Феррис. — Мы хотим, чтобы они нарушались. Вам бы лучше запомнить: вы имеете дело не с группой бойскаутов, и время красивых жестов прошло. За нами сила, и мы это знаем. Ваши друзья — паиньки, а мы знаем истинное положение вещей, и вам следует быть умнее. Крайне сложно управлять невинными людьми. Единственная власть, которой обладает правительство, — сила, способная сломать преступный элемент. Ну а если преступников недостаточно, нужно их создавать. Принимается такое количество законов, что человеку невозможно существовать, не нарушая их. Кому нужна нация, состоящая сплошь из законопослушных граждан? Какая от нее польза? А вот издайте законы, которые нельзя ни соблюдать, ни проводить в жизнь, ни объективно трактовать, и вы получите нацию нарушителей, а значит, сможете заработать на преступлениях. Сейчас это вошло в систему, мистер Риарден, это игра, и когда вы усвоите ее правила, с вами станет гораздо легче иметь дело.

Глядя в глаза Феррису, Риарден увидел, что в них внезапно загорелся огонек тревоги, предвестницы паники, как если бы на стол перед доктором упала чистая, не крапленая карта, которой он никогда раньше не видел.

Ферриса насторожила в глазах Риардена светлая безмятежность, пришедшая с неожиданным ответом на давний, казавшийся неразрешимым вопрос, и ответ этот принес облегчение, а вместе с ним — готовность действовать. В его взгляде вспыхнула юношеская ясность с легким оттенком презрения, проявившемся в изгибе губ. Что бы это ни означало — а доктор Феррис не мог расшифровать выражения его глаз, — в одном сомнений быть не могло: на лице не отражалось ни единого признака чувства вины.

— В вашей системе есть упущение, доктор Феррис, — спокойно, почти удовлетворенно произнес Риарден. — Практическое упущение, которое вы обнаружите, если отдадите меня под суд за незаконную отгрузку металла Кену Данаггеру.

Понадобилось долгих двадцать секунд — Риарден, казалось, слышал, как медленно они проходят, — когда наконец доктор Феррис убедился, что его собеседник огласил свое окончательное решение.

— Вы думаете, мы блефуем? — взорвался доктор Феррис, в его голосе вдруг зазвучало нечто от животных, которых он так долго изучал: казалось, он угрожающе оскалил клыки.

— Не знаю, — ответил Риарден. — Мне все равно.

— Вы собираетесь вести себя непрактично?

— Обозначение действия словом «непрактичное», доктор Феррис, зависит от того, что именно человек намерен совершить.

— Не вы ли всегда ставили эгоизм превыше всего?

— Именно так я и поступаю сейчас.

— Если вы думаете, что мы позволим вам отделаться…

— Будьте любезны покинуть помещение.

— Кого вы хотите одурачить?! — голос доктора Ферриса перешел в крик. — Время промышленных баронов прошло! У вас есть то, что нужно нам, а у нас есть кое-что на вас, и вы будете действовать по-нашему, иначе…

Риарден нажал на кнопку, и в кабинет вошла мисс Айвз.

— Доктор Феррис запутался и забыл дорогу, мисс Айвз, — сообщил Риарден. — Не будете ли вы так любезны проводить его? — он повернулся

к Феррису. — Мисс Айвз — женщина, она весит примерно сто фунтов и не обладает никакой специальной подготовкой, кроме великолепного интеллекта. Ей никогда не дорасти до вышибалы из салуна, но для такого непрактичного места, как завод, она годится.

Мисс Айвз смотрела на Ферриса с видом тупицы, не способной ни на что, кроме записывания под диктовку заявок на поставку. С ледяной невозмутимостью она отворила дверь и, дисциплинированно дождавшись, когда Феррис пересечет комнату, вышла первой. Феррис последовал за ней.

Она вернулась спустя несколько минут, ликующе улыбаясь.

— Мистер Риарден, — спросила она, смеясь над своим страхом перед шефом, над нависшей над ними опасностью, надо всем, кроме одержанного триумфа, — что это с вами?

Риарден сидел в позе, которой никогда прежде себе не позволял, считая ее вульгарнейшим символом бизнесмена: откинувшись в кресле, задрав ноги на стол, и секретарше казалось, что поза эта выражает странное благородство, словно сидит не скучный руководитель, а юный крестоносец.

— Кажется, я открыл новый континент, Гвен, —

заявил он весело. — Тот континент, который должны были открыть вместе с Америкой, но не сумели.

* * *

— Я должен поговорить с тобой об этом, — сказал Эдди Уиллерс, глядя через стол на рабочего. — Не знаю, почему мне это помогает, но это так, просто хочу, чтобы ты меня выслушал.

В этот поздний час огни в подземном кафетерии горели вполнакала, но Эдди Уиллерс видел полные внимания глаза смотревшего на него рабочего.

— У меня такое чувство, что нет больше ни людей, ни человеческого языка. Мне кажется, начни я кричать посреди улицы, никто меня не услышит… Нет, не совсем так: как будто кто-то кричит посреди улицы, а люди проходят мимо, и ни один звук не достигает их ушей. И это кричит не Хэнк Риарден, Кен Данаггер или я, а словно мы все втроем… Разве ты не понимаешь, что кто-то должен их защитить, а никто не хочет? Риардену и Данаггеру сегодня утром предъявлено обвинение в незаконной купле-продаже металла. В следующем месяце они сядут в тюрьму. Я был в Филадельфии, в зале суда, когда зачитывали

обвинительный акт. Риарден выглядел очень спокойным, мне показалось, что он улыбался. Данаггер вообще не произнес ни слова, просто стоял, как будто в помещении никого нет… Газетчики говорят, что их обоих должны посадить… Нет… нет, я не дрожу, я в порядке, я через минуту буду в порядке… Вот почему я не сказал ей ни слова, я боялся, что сорвусь, а я не хотел расстроить ее еще больше, потому что знаю, каково ей… О да, она говорила со мной об этом, и она не дрожала, но так еще хуже — знаешь, когда человек цепенеет, как будто вообще ничего не чувствует… Послушай, я никогда не говорил тебе, что очень ценю тебя? Я очень благодарен тебе за то, как ты смотришь сейчас, как слушаешь… Понимаешь… Что она сказала? Странно, она боится не за Хэнка Риардена, а за Кена Данаггера. Она сказала, что у Риардена хватит сил пережить это. Она… она уверена, что Кен Данаггер — следующий, кто уйдет. Уйдет, как Эллис Уайэтт и все прочие. Бросит все и исчезнет… Почему?

Она думает, что дело в стрессе, экономическом и личном. Когда вся тяжесть происходящего ложится на плечи одного человека, он исчезает, как подломившаяся опора. Год назад самым страшным для страны было потерять Эллиса

Уайэтта. Он и пропал.

С тех пор, сказала она, центр тяжести смещался, как у тонущего грузового судна, смещался из одной отрасли промышленности в другую, от одного человека к другому. Когда мы лишались первого, второй становился еще более необходимым, и именно его-то мы и теряли следующим. Что сейчас может быть ужаснее того, что угольные запасы попадут в лапы таких людей, как Бойль или Ларкин?

В угольной промышленности не осталось никого, кроме Кена Данаггера. Вот она и говорит, что он будто меченый, словно пойманный в перекрестье прожекторов, ждет, когда его прикончат… Над чем ты смеешься? Знаю, звучит нелепо, но я верю, что это правда… Она? Да, она, точно, умная женщина!.. Тут еще одно, она сказала, человек достигает определенного состояния, когда уже нет ни гнева, ни отчаяния, и происходит это перед тем, как его приканчивают.

Она не может сказать, что это, но задолго до пожара Эллис Уайэтт достиг такого состояния, и с ним что-то должно было случиться. Когда она увидела сегодня в суде Кена Данаггера, то сказала, что он готов к приходу разрушителя… Да, она употребила именно эти слова: *он готов к приходу*

разрушителя. Понимаешь, она не думает, что это произойдет случайно. Она считает, что за этим стоит система, намерение, человек. Разрушитель бродит по стране, одну за другой вышибая несущие опоры, чтобы вся структура рухнула на наши головы. Какое-то жестокое существо, движимое непонятной нам целью… Она говорит, что не отдаст ему Кена Данаггера. Повторяет, что должна остановить Данаггера, что решила поговорить с ним, упрашивать, умолять пережить все потери, защитить от разрушителя, прежде чем тот придет. Она ужасно тревожится и хочет первой увидеться с Данаггером. Он всем отказывает во встречах. Улетел в Питтсбург, на свои шахты. Но она дозвонилась до него сегодня вечером и назначила встречу на завтрашний день… Да, завтра она летит в Питтсбург. Да, она боится за Данаггера, ужасно боится… Нет. Она ничего не знает про разрушителя. У нее нет ключа к разгадке его личности, нет доказательств его существования, если не считать тех разрушений, что он оставляет за собой. Но она уверена, что он есть… Нет, она не знает его целей. Говорит, что его ничто не может оправдать. Бывают минуты, когда она чувствует, что хочет найти его больше всего на свете, даже больше, чем создателя мотора.

Говорит, если найдет разрушителя, то застрелит его; что жизнь бы отдала, лишь бы уничтожить его собственной рукой… потому что он — самое ужасное создание из всех живших на земле, человек, который высасывает из мира разум.

…Наверное, иногда это слишком тяжело, даже для нее. Не думаю, что она позволяет себе думать о том, как она устала. Однажды утром я пришел на работу очень рано и увидел, что она спит на диване в кабинете, а лампа на столе еще горит. Она пробыла там всю ночь. Я стоял и смотрел на нее. Я бы не стал будить ее, даже если бы вся чертова железная дорога провалилась… Когда она заснула? Она напоминала маленькую девочку. Как будто верила, что проснется в мире, где ее никто не обидит, где ей нечего будет скрывать и нечего бояться. Ужасно, такое невинное и чистое лицо, а тело беспомощное, словно она упала в обморок. Она выглядела… а почему ты спрашиваешь, как она выглядела, когда спала?.. Да, ты прав, почему я сам об этом говорю? Я не должен. Не знаю, что заставило меня так подумать… Не обращай на меня внимания. Завтра я буду в полном порядке. Меня в этом зале суда будто контузило. Я все время думаю: если людей вроде Риардена и Данаггера сажают в тюрьму, то что

это за мир, в котором мы живем и ради чего работаем? Осталась ли на земле справедливость? Я, дурак, сказал это одному репортеру, когда выходил из зала суда, а он засмеялся и говорит: «Кто такой Джон Голт?» Скажи, что с ними стало? Остался ли хоть один честный человек на свете? Защитит ли их хоть кто-нибудь? Ты слушаешь меня? Защитит ли их хоть кто-нибудь?

* * *

— Мисс Таггерт, мистер Данаггер освободится через минуту. У него посетитель. Извините, пожалуйста, — любезно произнесла секретарша.

Все два часа, что она летела до Питтсбурга, Дагни решительно не могла объяснить или отбросить терзавшую ее тревогу. Глупо было считать минуты, но Дагни сгорала от нетерпения: поскорее прилететь. Тревога исчезла, когда она вошла в приемную Кена Данаггера: она здесь, и ничто не сможет ей помешать. Она почувствовала огромное облегчение и уверенность в себе.

Слова секретарши разрушили хрупкое чувство покоя. «Ты становишься трусихой», — подумала Дагни, почувствовав толчок беспричинного страха, во много раз превосходившего значение услышанного.

— Извините меня, мисс Таггерт, — снова донесся до нее уважительный, рассудительный голос секретарши; Дагни обнаружила, что стоит на месте, не отвечая. — Мистер Данаггер встретится с вами через минуту. Не хотите ли присесть? — в голосе слышалась тревожная озабоченность, ведь самой Дагни Таггерт приходится ждать.

Дагни улыбнулась.

— Все в порядке.

Она села в деревянное кресло лицом к секретарше.

Потянулась за сигаретой и остановилась, подумав, успеет ли докурить ее, с надеждой подумала, что не успеет, но все же закурила.

Штаб-квартира компании «*Данаггер Коул*» располагалась в старомодном панельном здании. Где-то на холмах, что тянулись за окном, раскинулись карьеры, на которых и сам Кен Данаггер некогда работал шахтером. Он никогда не переносил свой офис далеко от угольных разрезов.

В отдалении виднелись входы в шахты, вырубленные в склонах холма, небольшие металлические фермы, ведущие в необъятное подземное королевство. Они казались ненадежными, потерявшимися в оранжево-красной породе… Под ярким голубым небом залитый октябрьским

солнцем буйный пожар осенней листвы походил на море огня; казалось, его накатывающие волны готовы поглотить непрочные конструкции шахт. Передернув плечами, Дагни отвела взгляд: ей припомнились багряные листья, устилавшие холмы Висконсина по дороге к Старнсвиллю.

От сигареты остался только окурок. Дагни закурила вторую.

Посмотрев на настенные часы, она заметила, что секретарша смотрит на циферблат одновременно с ней. Встреча была назначена на три часа, стрелки показывали двенадцать минут четвертого.

— Пожалуйста, извините, мисс Таггерт, — повторила секретарша. — Мистер Данаггер вот-вот освободится, мистер Данаггер очень пунктуален. Поверьте, прежде никогда такого не случалось.

— Я знаю.

Да, она *знала*, что Кен Данаггер скрупулезно соблюдал свой рабочий график, словно расписание поездов, и отменял встречу, стоило посетителю позволить себе опоздать на пять минут.

Секретарша, вежливая вдова средних лет, со всеми держалась ровно, могла выдержать любую бурю, а ее безупречно белая блузка как-то не гармонировала с окружающей атмосферой,

пропитанной угольной пылью. Дагни показалось странным, что закаленная, вышколенная женщина проявляла явные признаки волнения: она не вступала в разговор, неподвижно склонившись над печатными страницами, лежащими на столе. Половина сигареты Дагни превратилась в пепел, а секретарша все смотрела на одну и ту же страничку.

Она снова подняла голову, чтобы посмотреть на часы, показывавшие три часа тридцать минут.

— Я понимаю, что это непростительно, — теперь в ее голосе ясно слышалось дурное предчувствие. — Я ничем не могу этого объяснить.

— Не могли бы вы сообщить мистеру Данаггеру, что я уже здесь?

— Я не могу! — она почти кричала. Увидев растерянный взгляд Дагни, секретарша решилась пояснить: — Мистер Данаггер позвонил мне по внутреннему телефону и приказал не входить к нему ни при каких обстоятельствах.

— Когда это произошло?

После секундной паузы прошелестел ответ:

— Два часа назад.

Дагни смотрела на закрытую дверь кабинета Данаггера. Она слышала доносившийся оттуда

голос, но такой слабый, что не могла бы сказать, один человек говорит или беседуют двое. Нельзя было разобрать ни слов, ни сопутствующих им эмоций — лишь приглушенные звуки, казавшиеся нормальными и не напоминавшие разговор на повышенных тонах.

— Давно ли мистер Данаггер… занят? — уточнила Дагни.

— С часу дня, — мрачно сообщила секретарша, добавив извиняющимся тоном: — Посетитель пришел без предварительной договоренности, иначе мистер Данаггер никогда не допустил бы нарушение графика.

Дверь не заперта, думала Дагни, чувствуя непреодолимое желание распахнуть ее и войти. Всего несколько деревянных досок с медной ручкой, достаточно будет слегка толкнуть дверь рукой… но она отвела взгляд, понимая, что правила этикета и право Данаггера на конфиденциальность — барьер понадежнее любого замка.

Глядя на окурки своих сигарет в пепельнице, она задумалась, почему их вид рождает у нее дурное предчувствие. Потом поняла, что думает о Хью Экстоне: она написала ему в его ресторан в Вайоминге, прося рассказать, откуда у него сигарета с изображением доллара. Ее письмо

вернулось с пометкой почтового отделения, извещающей о том, что получатель выбыл, не оставив нового адреса.

Она сердито убеждала себя, что это событие никак не связано с сегодняшним, и нужно держать нервы под контролем. Но ее рука непроизвольно рванулась, чтобы нажать рычажок на пепельнице, и окурки исчезли внутри контейнера.

Подняв глаза, Дагни встретилась взглядом с секретаршей.

— Извините, мисс Таггерт. Я не знаю, что делать, — в голосе звучала откровенная, отчаянная мольба. — Я не имею права его прерывать.

Дагни произнесла медленно, требовательным тоном, нарушая принятый этикет:

— Кто сейчас у мистера Данаггера?

— Не знаю, мисс Таггерт. Раньше я не видела этого господина, — заметив, как внезапно застыл взгляд Дагни, она добавила: — Я думаю, это друг детства мистера Данаггера.

— Ох! — у Дагни отлегло от сердца.

— Он пришел без предупреждения и попросил о встрече с мистером Данаггером, сказав, что эту встречу мистер Данаггер назначил ему сорок лет назад.

— Сколько лет мистеру Данаггеру?

— Пятьдесят два, — ответила секретарша и сообщила: — Мистер Данаггер начал работать в возрасте двенадцати лет.

После непродолжительной паузы она добавила:

— Странно то, что посетителю не дашь даже сорока. Ему, наверное, слегка за тридцать.

— Он назвал свое имя?

— Нет.

— Как он выглядит?

Секретарша улыбнулась, неожиданно оживившись, словно собиралась высказать восторженный комплимент, но улыбка мгновенно пропала.

— Не знаю, — неловко ответила она. — Его трудно описать. Лицо такое странное.

Они долго молчали, и стрелки часов показывали уже три часа пятьдесят минут, когда на столе у секретарши зазвонил прямой телефон из кабинета Данаггера, давая разрешение войти.

Обе вскочили, и, облегченно улыбаясь, секретарша бросилась вперед.

Когда она входила в кабинет, Дагни увидела, как за уходящим посетителем закрывается дверь запасного выхода: он опередил ее. Только хлопнула створка и чуть задребезжала стеклянная

панель.

На лице Кена Данаггера словно осталось отражение ушедшего человека. Оно сильно отличалось от лица Кена в зале суда и от того, которое Дагни знала много лет — воплощения неизменной непреклонности. О его новом, волшебно изменившемся лице мог бы мечтать двадцатилетний юноша: с него словно стерлись все отпечатки напряженности, так что морщинистые щеки, складки на лбу, седеющие волосы, будто преобразовались по новой схеме, сложились в выражение надежды, открытости и невинной безмятежности: выражение освобождения.

Даннагер не поднялся при ее появлении; он производил впечатление человека, только что вернувшегося к реальности и забывшего об окружающей рутине, но улыбнулся ей с такой чистой доброжелательностью, что Дагни невольно улыбнулась в ответ. Она поймала себя на мысли, что именно так должны приветствовать друг друга люди, и освободилась от всех тревог, внезапно уверившись, что все хорошо и бояться больше нечего.

— Как поживаете, мисс Таггерт, — произнес Данаггер. — Простите меня, я, кажется, заставил вас ждать. Прошу вас, садитесь, — и он указал

на стул напротив своего письменного стола.

— Нестрашно, что пришлось подождать, — ответила она. — Я благодарю вас за согласие встретиться со мной. Мне непременно нужно с вами поговорить об очень срочном и важном деле.

Он подался вперед с внимательным и сосредоточенным видом, как делал всегда, услышав о чем-то серьезном, связанном с бизнесом, но она говорила не с тем человеком, которого так хорошо знала, — перед ней сидел незнакомец, и она умолкла, почувствовав неуверенность в аргументах, которыми хотела воспользоваться.

Он молча смотрел на нее, потом произнес:

— Мисс Таггерт, сегодня такой чудесный день, возможно, последний в этом году. Мне всегда хотелось совершить одну поездку, но не хватало на это времени. Давайте вместе отправимся в Нью-Йорк, на экскурсию на одном из прогулочных катеров вокруг острова Манхэттен. Посмотрим в последний раз на величайший город мира.

Она не двигалась, уставившись в одну точку, изо всех сил пытаясь остановить закружившийся вокруг нее кабинет. И это говорит Кен Данаггер, никогда не имевший близкого друга, никогда

не женившийся, никогда не посещавший ни театр, ни кино, никогда не позволявший ни одному человеку дерзнуть отнять у него время на вопрос, не касающийся бизнеса.

— Мистер Данаггер, я пришла сюда поговорить с вами о жизненно важном деле, касающемся будущего вашего и моего бизнеса. Я пришла поговорить о предъявленном вам обвинении.

— Ах об этом! Не волнуйтесь. Это не имеет значения. Я намереваюсь отойти от дел.

Ошеломленная, она не чувствовала ничего, кроме тупого любопытства: не это ли испытывает человек, услышавший смертный приговор, которого так боялся, но не верил в его возможность.

Она резко повернулась в сторону только что захлопнувшейся двери.

Тихо, губами, искривившимися от ненависти, она спросила:

— Кто это был?

Данаггер рассмеялся.

— Если вы так догадливы, то должны сообразить, что на этот вопрос я не отвечу.

— Господи, Кен Данаггер! — простонала она, окончательно поняв, что между ними уже вырос барьер безнадежности, молчания, вопросов без ответа, и только тонкая нить ненависти удер-

жала ее от срыва. — О боже!

— Вы не правы, деточка, — ласково сказал он. — Я понимаю, что вы чувствуете, но вы не правы, — и добавил более официальным тоном, вспомнив вдруг о манерах, словно пытаясь обрести равновесие, балансируя между двумя противоположными реальностями: — Мне очень жаль, мисс Таггерт, что вы вошли так быстро.

— Я вошла слишком поздно, — простонала она. — Я пришла, чтобы помешать *ему*. Я знала, что это должно произойти.

— Почему?

— Я была уверена, что следующим *он* заберет вас, кем бы он ни был.

— Вы знали? Забавно. Я и то не знал.

— Я хотела предостеречь вас, вооружить вас против него.

Кен улыбнулся:

— Даю вам слово, мисс Таггерт, вам не нужно мучить себя упреками из-за опоздания: вы же сами сказали, *это должно было произойти*.

Дагни чувствовала, как с каждой утекающей минутой он все больше отдаляется от нее и очень скоро окажется так далеко, что она уже не сможет до него дотянуться; между ними оставался последний тоненький мостик, и следовало по-

торопиться.

Подавшись вперед, Дагни сказала очень спокойно, вложив все чувства в давшуюся ей невероятным усилием воли невозмутимость:

— Помните, что вы думали и чувствовали три года назад? Помните, что для вас значили ваши шахты? Помните «*Таггерт Трансконтинентал*» или «*Риарден Стил*»? Ради всего этого, ответьте мне, помогите мне понять!

— Я отвечу, что смогу.

— Вы решили отойти от дел? Оставить бизнес?

— Да.

— Он для вас теперь ничего не значит?

— Он значит для меня даже больше, чем прежде.

— И все же вы отказываетесь от него?

— Да.

— Почему?

— На этот вопрос я не отвечу.

— Вы не мыслили себя без своей работы, уважали труд, презирали любые проявления несобранности, пассивности и бездеятельности, а теперь отрекаетесь от жизни, которую так любили?

— Нет. Просто я понял, наконец, как сильно ее люблю.

— Но вы хотите жить без цели, без работы?

— Что заставляет вас так думать?

— Вы решили заняться угледобычей в другом месте?

— Нет, я буду занят не угледобычей.

— Тогда чем вы займетесь?

— Пока не решил.

— Куда вы направляетесь?

— Я не отвечу.

Она взяла минутную паузу, чтобы собраться с силами и сказать себе: не давай воли чувствам, не показывай ему своих эмоций, не позволяй им затуманить и оборвать последнюю соединяющую вас нить. Потом тем же бесстрастным голосом продолжила:

— Понимаете ли вы, *что* ваш уход от дел означает для Хэнка Риардена, для меня, для всех, кого вы оставите?

— Да. Сейчас я понимаю это даже лучше, чем вы.

— И это для вас ничего не значит?

— Это значит для меня больше, чем вы можете понять.

— Тогда почему вы дезертируете?

— Вы не поверите мне, поэтому я не стану объяснять, что отнюдь не дезертирую.

— Нам будет страшно трудно, и вы равнодуш-

ны к тому, что увидите, как нас порвут на части мародеры?

— Не будьте в этом так уверены.

— В чем? В вашем безразличии или в нашем уничтожении?

— И в том и в другом.

— Но вы знаете… то есть знали об этом еще сегодня утром, что это смертельная битва, и что именно мы: вы, я и Риарден, — противостоим мародерам.

— Если я скажу, что знаю это, а вы нет, то вы решите, будто я не понимаю, что говорю. Поэтому толкуйте мой ответ, как хотите.

— Вы не раскроете мне его смысл?

— Нет. Вы все поймете сами.

— Вы хотите отдать мир мародерам. Мы не хотим.

— Не будьте так уверены в том, что сказали.

Она в отчаянии замолчала. Странной казалась та простая манера, что появилась в его поведении. Он говорил совершенно естественно, и в тумане вопросов, оставшихся без ответа, и в трагической таинственности происходящего он создавал впечатление человека, для которого секретов больше не существует, и ничего недоговоренного попросту не осталось.

Но, глядя на Кена, она заметила первую трещинку в его благостной безмятежности: он явно боролся с какой-то своей мыслью и, поколебавшись, с усилием сказал:

— Кстати о Хэнке Риардене… Не могли бы вы оказать мне услугу?

— Разумеется.

— Скажите ему, что я… Понимаете, я никогда не заботился о людях, а он всегда был человеком, которого я уважал, но до сегодняшнего дня я не понимал, что мое чувство к нему… что он — единственный человек, который был мне дорог… Просто скажите ему об этом и о том, что я хотел бы… нет, это все… Возможно, он будет проклинать меня за уход… а может быть, и нет.

— Я скажу ему.

Услышав притупленный, скрытый отзвук боли в его голосе, Дагни почувствовала такую близость к Кену, что ей показался невозможным его поступок, и она предприняла последнюю попытку:

— Мистер Данаггер, если бы я попросила вас на коленях, если бы могла найти самые главные слова, которых сейчас не нахожу, могло бы… есть ли шанс остановить вас?

— Нет.

Спустя секунду, она спросила бесцветным го-

лосом:

— Когда вы уходите?

— Сегодня вечером.

— Как вы поступите с… — она указала на холмы за окном, — …с «*Данаггер Коул*»? Кому оставите?

— Не знаю, все равно. Никому или любому. Тому, кто захочет ее взять.

— Вы не собираетесь распорядиться компанией или назначить преемника?

— Нет. Ради чего?

— Чтобы отдать ее в хорошие руки. Не назовете ли имя вашего наследника по собственному выбору?

— Нет у меня выбора. Да и разницы никакой нет. Хотите, я отдам все вам? — он протянул руку за листком бумаги. — Если хотите, я напишу письмо и назначу вас единственной наследницей прямо сейчас.

Она потрясла головой в безотчетном приступе ужаса:

— Я не мародер!

Он крякнул и отодвинул бумагу.

— Видите, вы дали верный ответ, сами того не заметив. Не волнуйтесь о «*Данаггер Коул*». Не имеет никакого значения, назови я наилучшего преемника в мире или наихудшего. Не важно,

кто теперь завладеет компанией, люди или сорняки, никакой разницы не будет.

— Но уйти и бросить… просто бросить… крупное промышленное предприятие, словно мы живем в век бездомных бродяг или дикарей, обитающих в джунглях!

— А разве дело обстоит иначе? — он улыбался с насмешкой и сочувствием. — Зачем оставлять завещание или любой другой документ? Я не хочу помогать мародерам делать вид, что частная собственность все еще существует. Я уступаю той системе, которую они создали. Они не нуждаются во мне, им нужен только мой уголь. Пусть возьмут его.

— Значит, вы принимаете их систему?

— Разве?

Она застонала, глядя на запасный выход.

— Что *он* с вами сделал?

— Он сказал мне, что я *имею право* уйти.

— Я не верю, что за три часа можно отвратить человека от всей его пятидесятидвухлетней жизни!

— Если вы думаете, что он посвятил меня в некое непостижимое открытие, тогда я понимаю, как дико это выглядит в ваших глазах. Но это не так. Он просто назвал то, ради чего я

жил, ради чего и в какое время живет каждый человек, если не разрушает себя.

Она поняла, что все уговоры тщетны, и больше ей нечего сказать.

Глядя на ее склоненную голову, он ласково сказал:

— Вы храбрая женщина, мисс Таггерт. Я понимаю, что вы совершаете сейчас, и чего это вам стоит. Не терзайте себя. Дайте мне уйти.

Она поднялась, хотела заговорить, но, внезапно взглянув вниз, бросилась вперед и схватила пепельницу, что стояла на краю стола.

В пепельнице лежал окурок сигареты с напечатанным знаком доллара.

— Что такое, мисс Таггерт?

— Он… он курил это?

— Кто?

— Ваш посетитель, он курил эту сигарету?

— Я не знаю… наверное… да, кажется, я видел, что он курит сигарету… погодите-ка… нет, это не мой сорт, значит, сигарета, должно быть, его.

— У вас сегодня были другие посетители?

— Нет. Но в чем дело, мисс Таггерт?

— Могу я взять это?

— Что? Сигаретный окурок? — Кен растерянно

смотрел на нее.

— Да.

— Конечно, только зачем?

Она смотрела на окурок в ладони, словно на драгоценный камень.

— Не знаю… Не знаю, принесет ли он мне пользу, но он может быть ключом к… — она горько улыбнулась, — к моей личной тайне.

Дагни колебалась, покинуть ей кабинет или остаться. Она посмотрела на Кена Данаггера так, словно подарила последний взгляд тому, кто уходит туда, откуда нет возврата.

Поняв это, он улыбнулся и протянул ей руку.

— Я не прощаюсь, — сказал Кен. — Потому что в недалеком будущем мы увидимся снова.

— О, — радостно отозвалась Дагни, держа его руку в своей, — вы собираетесь вернуться?

— Нет. Вы собираетесь присоединиться ко мне.

* * *

Над заводами дышала красноватая мгла, словно литейные цеха спали, и только вздохи плавильных печей и сердцебиение конвейерных дорожек доказывали, что они бодрствуют.

Риарден стоял у окна своего кабинета, прижав ладонь к оконному стеклу. Его рука закрывала

полмили заводских площадей, словно он хотел удержать их.

Он смотрел на длинную стену из вертикальных полос — коксовую батарею. С короткой вспышкой пламени узкая дверца отошла, и пласт ярко-алого раскаленного кокса гладко соскользнул, точно кусок хлеба, выскочивший из гигантского тостера. Всего мгновение он не двигался, потом угловатая трещина расколола его, и кокс осыпался в вагонетку, стоявшую под ним на рельсах.

Уголь Данаггера, подумал он. Других слов в голове не осталось.

Остальное затопило чувство одиночества, столь необъятное, что даже его собственная боль утонула в безмерной опустошенности.

Вчера Дагни поведала ему о своих тщетных попытках и передала ему послание Данаггера. Утром он услышал новости о том, что Данаггер исчез. На протяжении всей бессонной ночи, а потом в напряженной круговерти дневных забот он слышал, как в мозгу бьется ответ на послание, ответ, который он никогда не имел возможности произнести вслух.

Единственный человек, который мне дорог. Так сказал Кен Данаггер, который не употреблял более нежных обращений, чем «Послушайте,

Риарден».

Он думал: почему мы допустили это? Почему мы оба обрекли себя на роль изгнанников среди невыносимо скучных чужаков, заставивших нас утратить всякое желание отдыхать, дружить, слышать человеческие голоса? Смогу ли я теперь хотя бы час выслушивать моего брата Филиппа, зная, что утратил возможность общения с Кеном Данаггером? Кто заставил нас принять как должное, как единственную награду за труд, унылую пытку изображать любовь к тем, кто не вызывает у нас ничего, кроме презрения?

Мы, способные плавить камни и металл, почему мы никогда не ищем в людях того, чего нам так не хватает?..

Он попытался выбросить эти мысли из головы, понимая, что теперь они бесполезны. Но слова остались и звучали, словно он обращался к умершему: «Нет, я не проклинаю тебя за то, что ты ушел, если все вопросы и боль ты унес с собой. Почему ты не дал мне шанса сказать тебе… что? Что я одобряю твой поступок?.. Нет, я не проклинаю тебя, но и не последую за тобой».

Закрыв глаза, он попытался испытать воображаемое облегчение, словно тоже решил бросить все и уйти. Вместе с шоком потери он чувствовал

едва заметную зависть. Почему они не пришли и за мной, кем бы они ни были, и не назвали ту неоспоримую причину, которая заставила бы меня уйти? Но уже в следующий момент он содрогнулся от гнева, поняв, что убил бы человека прежде, чем услышал от него слова тайны, способной оторвать его от родного завода.

Время было позднее, все работники уже разошлись, но ему претили дорога домой и пустота предстоящего вечера. Казалось, под покровом темноты, за пределами сияния плавильных печей его подстерегает враг, стерший с лица земли Кена Данаггера. Пусть Риарден уже не столь неуязвим, как раньше, но какой бы ни была и откуда бы ни исходила неизвестная угроза, здесь он по-прежнему чувствовал себя в безопасности, в круге спасительного огня, отгоняющего зло.

Он любовался мерцающими белыми отблесками на темных окнах отдаленного здания, напоминавшими игру солнечного света на воде. В стекле отражалась неоновая надпись, пылавшая на крыше над его головой: «*Риарден Стил*». Сталь Риардена… Его сталь… Вспомнилось, как однажды ему захотелось зажечь надпись над своим прошлым: *Жизнь Риардена.* Для чего? Чьи глаза должны были прочитать эту надпись?

В горьком отчаянии он впервые подумал, что источником той гордой радости, которую он раньше чувствовал, было его уважение к людям, восхищение их ценностью и здравомыслием. Теперь эта радость ушла. Остались всего двое, подумал он, для кого он хотел бы зажечь свою надпись.

Отвернувшись от окна, он взял пальто, пытаясь размеренными движениями вернуть себе четкость действий. Запахнул полы, туго подпоясался и быстро вышел из своего кабинета, гася свет короткими, точными взмахами руки.

Он распахнул дверь и застыл на месте. В углу полутемной приемной горела одинокая лампочка. У стола в позе терпеливого ожидания сидел Франсиско д'Анкония.

Риарден поймал в его взгляде мгновенный проблеск улыбки, словно перемигнулся с заговорщиком о только им одним известной тайне, о которой оба умалчивают. Это ощущение длилось лишь мгновение — слишком короткое, едва уловимое, — потому что Франсиско сразу же поднялся и выпрямился с учтивым почтением. Несмотря на официальность позы, в ней не чувствовалось и следа чего-то неискреннего, казенного, она, скорее, подчеркивала интим-

ность, не нуждавшуюся ни в словах приветствия, ни в объяснениях.

— Что вы здесь делаете? — жестко спросил Риарден.

— Я подумал, что вы захотите увидеться со мной сегодня вечером, мистер Риарден.

— С чего бы это?

— По той же причине, которая задержала вас сегодня в кабинете допоздна. Вы не работали.

— Вы давно здесь сидите?

— Час или два.

— Почему не постучали?

— А вы позволили бы мне войти?

— С этим вопросом вы запоздали.

— Мне уйти, мистер Риарден?

— Заходите, — Риарден указал на дверь кабинета.

Включая свет, двигаясь неспешно и уверенно, Риарден думал, что не должен позволять себе никаких эмоций, но против воли ощутил, что вместе со спокойным нарастанием неясного пока для него самого чувства к нему возвращаются краски жизни. «Будь осторожен», — приказал он себе.

Скрестив руки, он присел на край стола, глядя на Франсиско, по-прежнему почтительно

стоявшего перед ним, и спросил с холодной полуулыбкой:

— Зачем вы пришли?

— Вы не хотите, чтобы я вам ответил, мистер Риарден. Ни мне, ни самому себе вы не признаетесь, как одиноко вам сегодня вечером. Если вы меня об этом не спросите, то вам и не придется этого отрицать. Просто примите как данность, что я это знаю.

Чувствуя, как гнев натягивает струну, возникшую между восхищением его откровенностью и возмущением дерзостью, Риарден ответил:

— Если хотите, я признаю. Что мне ваше знание?

— Только то, что я — единственный человек, кто это знает и кому это не безразлично.

— Почему это вас волнует? И зачем мне нужна ваша помощь сегодня вечером?

— Потому что не так-то легко проклинать самого важного для вас человека.

— Я не стану вас проклинать, если вы выйдете за дверь.

Глаза Франсиско слегка расширились, потом он улыбнулся и сказал:

— Я говорил о мистере Данаггере.

Риардену на мгновение захотелось дать ему

пощечину, потом он тихонько рассмеялся и произнес:

— Хорошо. Садитесь.

Он с интересом ждал, какое преимущество извлечет из этой ситуации Франсиско, но тот молча повиновался с мальчишеской улыбкой, выражавшей одновременно триумф и благодарность.

— Я не проклинаю Кена Данаггера, — объявил Риарден.

— Вы не проклинаете? — он произнес три слова с одинаковым ударением, очень спокойно, улыбка растаяла.

— Нет. Я не могу предписывать человеку, как много он должен перенести. Если он сломался, не мне его судить.

— Если он сломался?..

— Разве не так?

Франсиско откинулся на спинку стула, улыбка вернулась на его лицо, но счастья больше она не выражала.

— Чем стало для вас его исчезновение?

— Теперь мне придется работать еще упорнее.

Указав рукой на стальной мост, черневший за окном на фоне красного зарева, Франсиско сказал:

— Каждая из этих балок имеет предел прочно-

сти. Каков он у вас?

Риарден рассмеялся.

— Так вы этого боитесь? Ради этого пришли сюда? Боитесь, что я сломаюсь? Хотите спасти меня, как Дагни Таггерт хотела спасти Кена Данаггера? Она спешила, чтобы попасть к нему вовремя, но опоздала.

— Она пыталась? Я об этом не знал. Мисс Таггерт и я во многом расходимся во мнениях.

— Не беспокойтесь. Я не собираюсь исчезать. Пусть хоть все сдаются и бросают работу. Я не брошу. Я не знаю, каков мой предел прочности, и не хочу знать. Единственное, в чем я уверен, так это в том, что меня не остановить.

— Каждого человека можно остановить, мистер Риарден.

— Как?

— Нужно только узнать его движущую силу.

— Что это такое?

— Вам должно быть это известно, мистер Риарден. Вы — один из последних высоконравственных людей в мире.

Риарден горько засмеялся.

— Меня называли по-всякому, но только не так. Вы заблуждаетесь. Вы даже не подозреваете, насколько.

— Вы уверены?

— Я знаю это. Нравственность? Что заставило вас упомянуть об этом?

Франсиско указал на заводские цеха за окном:

— Вот что.

Долгую минуту Риарден неподвижно смотрел на него, потом спросил только:

— О чем это вы?

— Если вы хотите увидеть материальное воплощение абстрактного принципа — вот оно. Посмотрите, мистер Риарден. Здесь каждая балка, каждая труба, трос и заслонка поставлены на место по принципу: правильно или неправильно? Вы должны решить, основываясь на своем знании, что правильно, что лучше для вашей цели — изготовления стали, а потом двигаться вперед и развивать знание и работать все лучше и лучше, а стандартом служит ваша цель. Вам приходится действовать согласно собственному разумению, вам необходимо иметь способность рассуждать, смелость настаивать на собственном мнении. И правит вами самое чистое, самое бескомпромиссное посвящение себя лучшему, наивысшему вашему достижению. Ничто не может заставить вас поступить вопреки вашему благоразумию, и вы отвергнете

как плохого и злого любого человека, который попытается сказать вам, что лучший способ разогреть печь — наполнить ее льдом. Миллионы людей, целая нация не смогли бы удержать вас от производства металла, потому что вы обладаете знанием о его высочайшей ценности и той силой, что это знание дает. Но вот о чем я думаю, мистер Риарден: почему, когда вы имеете дело с природой, то живете по одному своду законов, а когда общаетесь с людьми — по другому?

Риарден так пристально смотрел на Франсиско, что слова давались ему с трудом, словно даже они могли отвлечь его от важной мысли.

— Что вы имеете в виду?

— Почему вы не двигаетесь к цели своей жизни так же последовательно и твердо, как к достижению цели своих заводов?

— Что вы имеете в виду?

— Каждый кирпич здесь уложен на место в полном соответствии с его предназначением и ради достижения цели — изготовления стали. Так ли вы настойчивы в достижении той цели, которую ваша работа и заводы только обслуживают? Чего вы хотите добиться, отдав всю жизнь производству стали? С каким стандартом ценности вы соизмеряете ваши дни? Например, почему вы

десять лет посвятили усилиям по получению своего сплава?

Риарден отвел взгляд, его плечи слегка расслабились, облегченно и разочарованно.

— Если вы об этом спрашиваете, значит, вам не понять ответа.

— А если я скажу вам, что знаю ответ, а вы-то как раз его и не понимаете, вы что, вышвырнете меня отсюда?

— Я в любом случае вышвырнул бы вас, поэтому давайте, говорите все, что думаете.

— Вы гордитесь рельсами «*Линии Джона Голта*»?

— Да.

— Почему?

— Потому что это лучшие рельсы из всех, что я сделал.

— Для чего вы их сделали?

— Чтобы делать деньги.

— Существуют куда более простые способы делать деньги. Почему вы выбрали самый трудный?

— Вы сами сказали в своей речи на свадьбе Таггерта: чтобы обменять мои лучшие усилия на лучшие усилия других людей.

— Если ваша цель в этом, достигли ли вы ее?

Отрезок времени потонул в гробовом молчании.

— Нет, — ответил Риарден.

— Вы сделали деньги?

— Нет.

— Прилагая всю свою энергию, чтобы изготовить лучший металл, вы ожидаете получить награду или наказание? — Риарден промолчал. — Согласно всем известным вам законам порядочности, честности, справедливости, вы уверены, что вас должны вознаградить за это?

— Да, — тихо ответил Риарден.

— А если вас вместо этого наказывают, вы такой закон принимаете?

Риарден не отвечал.

— Согласно общепринятому мнению, — продолжил Франсиско, — жизнь человека в обществе делает его существование легче и безопаснее существования того, кто в одиночку сражается с природой на необитаемом острове. Следовательно, сплав Риардена облегчает жизнь любого человека, использующего его. А облегчил ли он вашу жизнь?

— Нет, — тихо ответил Риарден.

— Оставил ли он вашу жизнь прежней, такой, какой она была до начала производства сплава?

— Нет… — Риарден резко смолк, словно оборвал свою следующую мысль.

Голос Франсиско ожег его, словно кнутом:

– *Да скажите же это!*

— Он сделал мою жизнь тяжелее, — без всякого выражения произнес Риарден.

— Когда вы гордились рельсами ветки «*Линия Джона Голта*», — размеренный ритм голоса Франсиско придавал жестокую ясность его словам, — о каких людях вы думали? Хотели ли вы видеть, что дорогой пользуются равные вам люди — гиганты промышленности и энергетики, например Эллис Уайэтт, которому она помогла достичь еще больших успехов?

— Да, — с готовностью ответил Риарден.

— Вы хотели бы видеть, что ею пользуются люди, не обладающие такой же мощью интеллекта, но равные вам в моральной устойчивости, люди вроде Эдди Уиллерса, не имеющие отношения к производству металла, но работающие честно, упорно, как вы сами? И, передвигаясь по вашим рельсам, молча и коротко благодарят человека, который дал им больше, чем они могли бы дать ему?

— Да, — мягко ответил Риарден.

— А хотели ли бы вы видеть, что ею пользуют-

ся скулящие подонки, не совершающие усилий, не способные выполнить даже простейшую работу канцелярского служащего, но требующие дохода президента компании; плывущие по течению от поражения к поражению и ожидающие, что вы оплатите их счета; те, кто приравнивает свои желания к вашей работе, а свои потребности считает наивысшими притязаниями, достойными наград, превышающих ваши труды. Те, кто требует, чтобы вы им служили, чтобы служение им стало целью вашей жизни; которые настаивают, чтобы ваша сила стала бессловесным, бесправным, бесплатным рабом их бессилия, кто объявляет, что вы обречены на крепостную зависимость самим вашим гением, в то время как они рождены управлять, обладая даром некомпетентности; что вы существуете, чтобы давать, а они — чтобы брать, что вы должны производить, а они — потреблять, что вас не нужно вознаграждать ни материально, ни духовно, ни богатством, ни признанием, ни уважением, ни благодарностью. А они будут ездить по вашим рельсам и фыркать на вас и клясть вас, потому что они не должны вам ничего, они даже не потрудятся снять перед вами шляпу, за которую вы же и заплатили? Вы этого хотели? Вы будете

гордиться этим?

— Я лучше взорву свои рельсы, — побелевшими губами ответил Риарден.

— Так почему вы этого не делаете, мистер Риарден? Какой из трех типов людей, описанных мной, должен быть разрушен, и кто сегодня пользуется вашей дорогой?

В повисшей тишине до них доносились удаленные удары металлического сердца завода.

— Последним, — проговорил Франсиско, — я описал тип человека, который заявляет свои права на каждый цент усилий другого человека.

Риарден не отвечал, глядя на отражение неоновой надписи на далеком темном оконном стекле.

— Вы гордитесь тем, что не ставите пределов своей выносливости, мистер Риарден, потому что считаете, что поступаете верно. А что, если это не так? Что, если вы поставили свою добродетель на службу злу и позволили ей стать инструментом разрушения всего, что вы любите, уважаете и чем восхищаетесь? Почему вы не поддерживаете свои собственные стандарты ценности среди людей, как делаете это среди плавильных печей? Вы, кто не допускает ни единого процента примеси в металле, *что* вы допускаете в свои

нравственные законы?

Риарден сидел совершенно неподвижно, слова у него в голове звучали подобно шагам по незнакомой дороге, и были они: «Согласие жертвы».

— Вы, кто не склоняется перед трудностями природы, но противостоит им и ставит их на службу своим радостям и комфорту, что вы получили из рук людей? Вы, кто благодаря своей работе узнал: наказание несут только за провинность, *что* вы хотите претерпеть и за *что*? Всю жизнь вы слышали, как вас поносят и не за ваши прегрешения, а за ваши великие добродетели. Вас ненавидели не за ваши ошибки, а за ваши достижения. Вас презирали за все те черты характера, которые являются вашей высочайшей гордостью. Вас называли эгоистичным за то, что вы всю жизнь имели смелость действовать по собственному разумению и нести за это единоличную ответственность. Вас называли надменным за независимость ума. Вас называли жестоким за непреклонную прямоту. Вас называли антисоциальным за взгляды, заставлявшие вас идти нехожеными путями. Вас называли безжалостным за силу и самодисциплину в движении к цели. Вас называли алчным за могучую волю к созданию богатства. Вас, придавшего

труду необъятный поток энергии, объявили паразитом. Вас, создавшего изобилие там, где царили бесплодные пустоши и голодная безысходность, назвали грабителем. Вас, который поддерживал жизнь людей, назвали эксплуататором. Вас, чистого и высокоморального человека, с презрительным фырканьем обозвали «вульгарным материалистом». Спросили ли вы у них: «По какому праву?», «По какому закону?», «По какому стандарту?» Нет, вы все терпели и хранили молчание. Вы склонили голову перед их законами и не утверждали своих. Вы знали, сколько сил требует изготовление простого железного гвоздя, но позволили им навесить вам ярлык аморального человека.

Вы знали, что человеку для борьбы с природой необходим свод строжайших законов, но вы думали, что для работы с людьми специальные законы не нужны. Вы дали в руки своим врагам смертоноснейшее оружие, о котором никогда не подозревали и не понимали его. Это оружие — их моральный кодекс. Спросите себя, как глубоко и какими нелегкими путями вы приняли его. Спросите себя, что этот свод нравственных законов привносит в человеческую жизнь, и почему он не может без него существовать, и что с ним

станет, если он примет неверный стандарт, согласно которому зло есть добро. Сказать, почему вас тянет ко мне, хоть вы и считаете, что должны меня проклинать? Потому что я — первый человек, который дал вам то, что задолжал вам весь мир, и чего вы в праве требовать от всех людей, прежде чем работать с ними: моральную поддержку.

Риарден рывком повернулся к нему, потом замер, будто у него перехватило дыхание. Франсиско наклонился вперед, словно приземляясь после опасного полета, и глаза его смотрели в упор, но их взгляд полнился напряжением.

— Вы виновны в страшном грехе, мистер Риарден, виновны больше, чем вам говорят, но отнюдь не в том, в чем вас упрекают. Самый ужасный грех — принять на себя незаслуженную вину, а вы делали это всю жизнь.

Вы платили за шантаж, но вас шантажировали не преступлениями, а добродетелью. Вы добровольно несли бремя незаслуженного наказания и позволяли ему становиться тем тяжелее, чем бóльшую добродетель вы проявляли. Но ваши добродетели — из тех, что позволяют людям выживать. Ваш собственный моральный кодекс, по которому вы жили, но никогда его

не утверждали, не признавали и не защищали, был сводом законов, охраняющих существование человека. Если вас за это подвергали наказанию, то какова же была сущность тех, кто наказывал вас?

Ваш закон — кодекс жизни. Каков тогда их кодекс? На чем он зиждется? Какова его конечная цель? Вы думали, что столкнулись лицом к лицу с законспирированным захватом вашего достояния? Вы, которому известен источник богатства, должны знать, что все обстоит еще хуже. Вы просили меня назвать движущую силу человека? Движущей силой человека является его моральный кодекс. Спросите у себя, куда вас направляет их моральный кодекс, и что он предлагает вам в качестве конечной цели. Более низкое зло, чем убийство человека, — послать его на самоубийство как на акт добродетели. Более низкое зло, чем бросить человека в жертвенный огонь, — потребовать от него, чтобы он прыгнул туда по собственной воле, а до этого еще и построил огненный жертвенник. По их собственному утверждению вы должны поддерживать их, потому что они не в состоянии выжить без вас. Подумайте, какая непристойность — преподносить свое бессилие и свою потребность в вас

в качестве оправдания тех пыток, которым они вас подвергают. Вы хотите это принять? Не хотите ли приобрести — ценой вашей огромной выносливости, ценой вашей агонии — удовлетворение нужд ваших собственных разрушителей?

— Нет!

— Мистер Риарден, — голос Франсиско звучал спокойно и серьезно. — Скажите, если бы вы увидели Атланта, гиганта, удерживающего на своих плечах мир, если бы увидели, что по его напряженной груди струится кровь, колени подгибаются, руки дрожат, из последних сил тщась удержать этот мир в небесах, и чем больше его усилие, тем тяжелее мир давит на его плечи, что бы вы велели ему сделать?

— Я… не знаю. Что… он может поделать? А ты бы что ему сказал?

— Расправь плечи.

В комнату потоком беспорядочных звуков с неразличимым ритмом, непохожим на шум работы механизма, ворвался скрежет металла, и за каждым неожиданным взрывом угадывался стон напрягающихся машин. Оконное стекло зазвенело.

Глаза Франсиско следили за Риарденом, словно фиксируя, как ложатся пули в уже пробитую

мишень. Задача была не из легких: плотная фигура на краю стола держалась прямо, холодные голубые глаза не выражали ничего, только смотрели пристально вдаль, да губы искривились гримасой боли.

— Продолжай, — с усилием выговорил Риарден. — Ты ведь еще не закончил.

— Я только начал, — жестко ответил Франсиско.

— К чему… ты ведешь?

— Вы все поймете прежде, чем я доберусь до сути. Но сначала я хочу, чтобы вы ответили на вопрос: если вы понимаете суть вашего бремени, почему вы…

Пространство прорезал вой сирены за окном, взорвавшийся в небе подобно ракете. Рев прервался на мгновение, пошел на спад, затем возобновился с новой силой, накручивая спирали пронзительного звука, словно перебарывая страх не завопить еще сильнее. В звуке слышалась агония, вопль о помощи, это был голос смертельно раненного завода, зовущего из последних сил.

Риардену казалось, что он бросился к двери в ту же секунду, как только звук сирены коснулся его слуха, но увидел, что опоздал на мгновение, потому что Франсиско его опередил. Подброшен-

ный тем же инстинктом, Франсиско промчался по коридору, нажал кнопку вызова лифта и, не дожидаясь его, кинулся вниз по лестнице. Риарден бежал следом, и, отследив движение кабины, они поймали лифт на полпути вниз. Едва сетчатая кабина, вибрируя, остановилась на первом этаже, Франсиско вылетел из нее и бросился навстречу сигналу тревоги. Риарден считал себя хорошим бегуном, но не смог угнаться за быстрой фигурой, мелькавшей среди мрака, прорезанного багровыми сполохами, фигурой беспечного плейбоя, за восхищение которым он сам себя ненавидел.

Металл, выливавшийся из низкого отверстия в боковой стенке плавильной печи, не давал красного отсвета, он светил ослепительно белым, солнечным сиянием. Поток растекался по земле, причудливо разветвляясь. Густой пар, подсвеченный раскаленным металлом, напоминал утренний туман. Текло расплавленное железо, и тревожный сигнал обозначал, что произошел прорыв печи.

Часть загрузочного участка печи оторвало, открыв выпускное отверстие. Горновой лежал тут же без сознания, белый поток рвался наружу, неуклонно расширяя отверстие, и люди суети-

лись, подтаскивая песок, шланги, огнеупорную глину, пытаясь остановить сияющий ручей, в облаках едкого дыма тяжелым плавным движением поглощавший все на своем пути.

В считанные секунды, понадобившиеся для того, чтобы окинуть взглядом и понять картину произошедшего несчастья, Риарден увидел обрисовавшуюся в алом зареве фигуру человека, внезапно возникшую у самой печи, на пути потока раскаленного металла. Потом мелькнула рука в белом рукаве сорочки, метнувшая черное вещество в центр кипящего металла. Это был Франсиско д'Анкония, совершивший маневр, искусность которого Риарден уже не надеялся когда-нибудь увидеть.

Много лет назад Риарден работал на сталеплавильном заводе в Миннесоте, где его обязанностью было вручную затыкать выпускное отверстие печи, бросая комья огнеупорной глины, чтобы остановить вытекающий металл. Эта опасная работа унесла немало жизней, и, хоть давно уже изобрели гидравлическую пушку для заделывания печной лётки, кое-где еще оставались мелкие заводы, которые на закате своей жизни пытались использовать отработавшее свой срок оборудование и дедовские методы. Риарден

справлялся с работой, но с тех пор не встречал еще ни одного человека, способного ее сделать. И вот сейчас, посреди струй раскаленного пара, лицом к лицу с разрушающейся печью, он видел высокую фигуру плейбоя, мастерски пытающегося остановить огненную реку.

Мгновенно сбросив плащ, Риарден выхватил у ближайшего человека пару защитных очков и присоединился к Франсиско у отверстого устья печи. На разговоры, чувства и мысли времени не оставалось. Франсиско глянул на него, и Риарден увидел только закопченное лицо, черные защитные очки и широкую улыбку.

Они стояли на скользком горелом шлаке, на самом берегу ослепительного потока, у их ног дышала жаром лётка, а они швыряли глину в огонь, туда, где похожий на языки горящего газа кипел металл. Вся жизнь превратилась для Риардена в короткую последовательность движений: нагнуться, подхватить ком, прицелиться, бросить его и прежде, чем глина попадет в нужное место, нагнуться за следующей порцией огнеупора. Он полностью сосредоточился на раскаленной цели, чтобы спасти печь, и на неустойчивой опоре под ногами, чтобы спасти свою жизнь. Он не думал больше ни о чем, только ощущал,

как его охватывает волнующий подъем от напряжения сил, четких движений тела, собранности воли. И не имея времени осознать, но понимая это не разумом, а чувствами, он улавливал черный силуэт, из-за которого пробивались багровые лучи, напряженные локти, угловатые очертания тела. Красные лучи длинными иглами прожекторов вырисовывали движения быстрого, умелого, понятливого помощника, которого он раньше видел только в вечернем костюме в огнях бального зала.

Некогда было вспоминать слова, думать, объяснять, но он решил, что это реальный Франсиско д'Анкония, та его часть, которую он увидел с самого начала и полюбил, — это слово не шокировало его, поскольку было единственным, оставшимся в его мозгу, и еще там было отрадное чувство, наполнявшее его новым приливом энергии.

Ощущая ритмичные движения тела, обжигающее дыхание огня на лице и холодной ночи — на спине, он внезапно постиг, что это и есть простая сущность его Вселенной: интуитивное нежелание принять беду, непреодолимый порыв борьбы с ней, триумфальное чувство своей способности победить. Уверенный, что и Франсиско ощущает *то* же самое, что им движет тот же

импульс, Риарден понимал, что они оба имеют право на это чувство. Он видел мелькание залитого потом лица, сосредоточенного на тяжелой работе — самого радостного лица из всех, что он помнил.

Над ними возвышалась печь, черная махина, оплетенная кольцами труб, окутанная паром; казалось, она тяжко дышит, выстреливая багровые облака, повисающие в воздухе над заводом, а они сражались, чтобы не дать ей истечь кровью и умереть.

Внезапно выброшенные металлом искры летали вокруг их ног, умирая незамеченными на одежде, на коже рук. Поток металла становился медленнее, сдерживаемый преградой, вырастающей за пределами их зрения.

Все случилось так быстро, что Риарден смог понять произошедшее до конца, только когда с аварией было покончено.

Ему запомнились два момента: первый — он увидел, как Франсиско швырнул глину сильным броском, слишком резко подавшись всем телом вперед, потом неожиданно отпрянул назад, судорожно пытаясь избежать падения, взмахнул руками, стараясь восстановить равновесие. Приземлившись на скользкую, осыпающуюся

поверхность, Хэнк думал, что прыжок, которым он преодолел разделявшее их расстояние, будет стоить жизни им обоим. Второй момент — он приземляется рядом с Франсиско, обхватывает его руками, удерживая от падения в белый поток, и оттаскивает назад, изо всех сил упираясь ногами, не отпуская его от себя, как не отпустил бы своего единственного сына. Его любовь, его страх, его облегчение вылились в единственном вскрике:

— Осторожнее, придурок чертов!

Франсиско подхватил лопатой глину и вернулся к работе.

Когда работа была закончена и пробоина заделана, Риарден испытал мучительную боль в руках и ногах, обессилевшее тело отказывалось повиноваться, и все же он чувствовал себя бодро, как будто только что вошел утром в свой кабинет и готов разрешить хоть десять новых задач.

Осмотревшись, Риарден только сейчас заметил, что их одежда в дырах от прожогов, руки кровоточат, у Франсиско на виске ссадина, а на скуле кровавая рана. Франсиско сдвинул очки на лоб и улыбнулся ему, и это была улыбка ясного, солнечного утра.

К ним подбежал молодой парень со смесью веч-

ной обиды и наглости на лице, крича: «Я не мог ничего сделать, мистер Риарден!» — и пустился в длинные объяснения.

Риарден молча повернулся к нему спиной. Этот помощник, наблюдавший за манометром печи, мальчишка, только что окончил колледж.

Где-то на периферии сознания Риардена возникла мысль о том, что подобные несчастные случаи из-за низкого качества используемой руды в последнее время случаются все чаще, но выбирать не приходилось, работали с той рудой, какую удавалось получить. Еще он подумал, что старые рабочие всегда умели избежать аварии, они замечали признаки скопления руды в скате и знали, как его ликвидировать, но теперь таких осталось немного, и ему приходилось нанимать случайных людей. Сквозь клубящиеся струи пара он увидел пожилого мужчину, прибежавшего издалека, чтобы бороться с прорывом, и теперь стоявшего в очереди за получением медицинской помощи. «Что случилось в стране с молодежью?» — подумалось Риардену. Но вопрос этот отпал сам собой при взгляде на выпускника колледжа, на которого у Риардена не было сил смотреть от нахлынувшей волны презрения, от мысли о том, что если враг таков,

то бояться нечего. Все эти эмоции нахлынули и исчезли во внешней темноте, вытесненные образом Франсиско д'Анкония. Тот отдавал приказания окружившим его людям. Они не знали, кто он такой и откуда явился, но слушались его, как человека, знающего свое дело. Увидев подходящего Риардена, Франсиско прервал очередной приказ на полуслове и, смеясь, сказал:

— О, я приношу свои извинения!

— Продолжай, — ответил Риарден. — Все правильно.

Шагая в темноте к конторе, они не обменялись ни словом. Риарден чувствовал, как внутри клокочет нервный смех, ему хотелось подмигнуть Франсиско, как будто он — один из заговорщиков, разгадавший секрет, неизвестный другому. Он взглянул на Франсиско, но тот смотрел себе под ноги.

Через некоторое время Франсиско произнес:

— Вы спасли мне жизнь.

Дальше они снова шли молча. Риардену с каждым шагом становилось легче. Подставив лицо ледяному ветру, он увидел мирное темное небо с одинокой звездой, висевшей над заводской трубой с вертикальной надписью «*Риарден Стил*», и понял: он рад, что остался в живых.

Риардену хотелось увидеть, как изменится выражение лица Франсиско, когда они вернутся в его освещенный кабинет. Но все, что он наблюдал при свете огненной печи, исчезло. Он ожидал встретить взгляд триумфатора, насмешливо вспоминающего все оскорбления, что услышал и нанес в ответ, взгляд, требующий извинений, которые Риарден и сам рад был бы принести. Вместо этого он увидел безжизненное лицо человека в глубоком унынии.

— Ты ранен?

— Нет… совсем нет.

— Подойди сюда, — приказал Риарден, открыв дверь ванной комнаты.

— Посмотрите на себя.

— Неважно. Иди сюда.

В первый раз Риарден ощутил себя старшим, ему было приятно командовать Франсиско, чувствуя в себе непривычную и приятную отеческую заботу. Он смыл грязь с лица Франсиско, продезинфицировал царапины и заклеил пластырем ссадины на виске, на руках и на обожженных локтях. Франсиско молча повиновался.

Риарден спросил самым сердечным тоном, на какой только был способен:

— Где ты научился так работать?

Франсиско рассмеялся в ответ:

— Я изучил особенности всех типов плавильных печей.

Риардену никак не удавалось разгадать новое выражение лица Франсиско: странное спокойствие, словно его глаза видели скрытый от других образ, вызывавший у него горькую, болезненную усмешку самоиронии.

Они молчали до тех пор, пока не вернулись в кабинет.

— Знаешь, — начал Риарден, — все, что ты мне здесь наговорил, — правда. Но это только часть истории. Другая заключается в том, чем мы занимались сегодня ночью. Разве ты не понимаешь? Мы способны к действиям. Они — нет. Поэтому мы выиграем свой длинный забег, неважно, как они хотят нам напакостить.

Франсиско не ответил.

— Послушай, — продолжил Риарден. — Я знаю, в чем твоя беда. Ты всю жизнь не занимался реальной, ежедневной работой. Я думаю, ты был тщеславен, но не понимал, что в тебе заложено. Забудь на время о богатстве и переходи на работу ко мне. Для начала поработаешь горновым. Ты сам не знаешь, как много тебе это даст. Через несколько лет ты будешь готов управлять «*Д'Ан-*

кония Коппер».

Он ожидал услышать взрыв смеха и уже приготовился возразить, но вместо этого увидел, как Франсиско медленно покачал головой, как будто не доверяя своему голосу, словно боясь, что, заговорив, примет его предложение.

Через секунду он произнес:

— Мистер Риарден… Я отдал бы всю жизнь за то, чтобы проработать год вашим горновым. Но не могу.

— Почему?

— Не спрашивайте меня. Здесь… причина личного порядка.

Мысленно Риарден всегда представлял себе Франсиско как человека, вызывающего негодование и одновременно непреодолимо притягательного, абсолютно неспособного на страдания. Сейчас он видел в его глазах полностью контролируемую, терпеливо переносимую пытку.

Франсиско молча потянулся за пальто.

— Ты же не уйдешь сейчас? — спросил Риарден.

— Я ухожу.

— Разве ты не закончил тот разговор, что начал прежде?

— Не сегодня.

— Ты хочешь, чтобы я ответил на твой вопрос? Что это за вопрос?

Франсиско покачал головой.

— Ты начал спрашивать меня, как я мог… Как я мог — что?

Улыбка Франсиско больше походила на стон боли, единственный стон, который он себе позволил.

— Я не стану вас спрашивать, мистер Риарден. Я и так знаю ответ.

ГЛАВА IV. ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО

Жареная индейка стоила тридцать долларов. Шампанское — двадцать пять. Кружевная скатерть, похожая на паутинку с рисунком из виноградных листьев и гроздьев, переливавшихся в свете свечей, стоила две тысячи. Обеденный сине-золотой сервиз из полупрозрачного китайского фарфора — две с половиной.

Столовое серебро с монограммой «ЛР» в лавровом венке, в стиле ампир, обошлось в три тысячи долларов. Но думать о деньгах и о том, что они доказывают, значило бы проявить бездуховность.

В середине стола красовался позолоченный деревянный крестьянский башмак, наполненный цветками ноготков, кистями винограда и морковью. Свечи были вставлены в тыквы с вырезанными на них улыбающимися рожицами, а по скатерти рассыпались изюм, орехи и конфеты.

На обед в День благодарения собрались Риарден, его жена, мать и брат.

— Сегодня вечер, когда мы благодарим Создателя за его благословение, — произнесла мать

Риардена. — Господь был добр к нам. У некоторых людей сегодня нет еды, а у иных и дома нет, и очень многие в стране остались без работы. Посмотришь на город, и жутко делается. Да вот, совсем недавно, на прошлой неделе, кого бы вы думали я встретила? Люси Джадсон-Генри, помните Люси Джадсон? Жила в Миннесоте в соседнем доме с нами, когда тебе было двадцать лет. У нее был мальчик твой ровесник. Я потеряла связь с Люси лет двадцать тому назад, когда они переехали в Нью-Йорк. Так меня просто ужас охватил, когда я увидела, во что она превратилась: беззубая старая ведьма, в мужском пальто, просит подаяния на углу. И я подумала, что и со мной такое могло бы случиться, если бы не милость Господня.

— Ну что ж, если полагается возносить благодарности, — весело произнесла Лилиан, — я думаю, мы не должны позабыть про Гертруду, новую повариху. Она — настоящий художник.

— Я в этом смысле старомоден, — вставил Филипп. — И хочу поблагодарить самую лучшую на свете мать.

— Кстати, — сказала мать Риардена, — мы должны поблагодарить Лилиан за этот обед и за те труды, что она приложила, дабы сделать его та-

ким красивым. Она несколько часов украшала стол. Он такой затейливый и необычный.

— Это все деревянный башмак, — заметил Филипп, наклонив голову, он придирчиво и с одобрением рассматривал вазу. — Удачная находка. У всех есть свечи, столовое серебро и барахло, которое дорого стоит, а этот башмак нужно было придумать.

Риарден не сказал ничего. Свет свечей обрисовал его лицо, словно старинный портрет, который не выражал ничего, кроме безразличной вежливости.

— Ты не прикоснулся к вину, — сказала мать, посмотрев на него. — Я думаю, ты должен предложить тост с благодарностью людям этой страны, которые так много тебе дали.

— Генри не в том настроении, мама, — ответила Лилиан. — Боюсь, День благодарения — праздник только для тех, у кого совесть чиста.

Она подняла бокал, но остановилась на полпути и спросила:

— Ты собираешься сделать какое-нибудь заявление на завтрашнем процессе, Генри?

— Собираюсь.

Она поставила бокал на стол.

— Что именно ты собираешься сказать?

— Завтра услышишь.

— Не воображаешь ли ты, что сможешь легко отделаться?

— Я не знаю, что ты имеешь в виду, говоря «отделаться».

— Ты понимаешь, что против тебя выдвинуто серьезное обвинение?

— Понимаю.

— Ты признался, что продал металл Кену Данаггеру.

— Признался.

— Тебя могут посадить в тюрьму на десять лет.

— Не думаю, хотя такое возможно.

— Ты читал газеты, Генри? — со странной улыбкой вступил Филипп.

— Нет.

— О, ты должен их прочитать!

— Должен? Зачем?

— Чтобы знать, как они тебя обзывают!

— Это даже интересно... — слова Риардена относились к улыбке Филиппа, выражавшей явное удовольствие.

— Я ничего не понимаю, — сказала мать. — Тюрьма? Ты сказала, тюрьма, Лилиан? Генри, тебя посадят в тюрьму?

— Все может быть.

— Но это нелепо! Сделай же что-нибудь!

— Что?

— Не знаю. Я ничего в этом не понимаю. Уважаемые люди не садятся в тюрьму. Сделай что-нибудь. Ты же всегда знал, что делать с бизнесом.

— С *другим* бизнесом.

— Я не верю в это, — она говорила тоном испуганного, избалованного ребенка. — Ты говоришь так, словно хочешь, чтобы тебя пожалели.

— Он корчит из себя героя, мама, — ответила Лилиан, холодно улыбаясь. — Генри, тебе не кажется, что твое поведение совершенно несерьезно?

— Нет.

— Ты знаешь, что процессы такого рода не всегда… приводят в тюрьму. Существуют способы избежать этого, уладить все мирным путем, если найдешь нужных людей.

— Я не знаю нужных людей.

— Посмотри на Оррена Бойля. Он натворил дел побольше и похуже, чем твоя маленькая проделка на черном рынке, но он достаточно умен, чтобы избежать суда.

— Значит, я недостаточно умен.

— Не кажется ли тебе, что настало время сделать над собой усилие и повзрослеть?

— Нет.

— Что ж, тогда я не нахожу, что ты можешь претендовать на роль жертвы. Если ты отправишься в тюрьму, то по собственной вине.

— О какой такой роли жертвы ты говоришь, Лилиан?

— Я знаю, ты считаешь, что борешься за свои принципы, но на самом деле все дело в твоем тщеславии. Ты делаешь это только потому, что возомнил себя правым.

— А ты считаешь, что правы они?

Лилиан пожала плечами.

— Я говорю о твоей тщеславной идее, что в жизни всегда имеет значение, кто прав, а кто нет. Это самая несносная форма честолюбия — настаивать на том, что ты всегда прав. Откуда ты знаешь, что есть правда? Откуда *тебе* это знать? Это не более чем самообман — льстить собственному эго и уязвлять других, щеголяя своим моральным превосходством над ними.

Он смотрел на нее внимательно и с интересом.

— Разве может уязвлять людей то, что является самообманом?

— Неужели мне необходимо доказывать, что в этом случае все дело в твоем лицемерии? Вот почему я нахожу твое поведение нелепым.

Вопрос правоты человека не влияет на его жизнь. А ты всего лишь человек, не так ли, Генри? Ты ничем не лучше тех, перед кем предстанешь завтра в суде. Я думаю, тебе бы лучше запомнить, что отстаивать принципы — не твое дело. Может, ты и жертва данных конкретных обстоятельств, а может, с тобой проделывают грязный трюк, но что с того? Они так поступают, потому что слабы и не могут устоять перед соблазном захватить твой металл и примазаться к твоим прибылям, потому что по-другому разбогатеть не могут. Почему ты осуждаешь их за это? Это всего лишь вопрос разных точек зрения. Тебя не искушают деньги, они всегда тебе легко доставались. Но ты не устоишь под давлением другого рода и падешь с позором. Не так ли? Поэтому ты не имеешь права на праведный гнев. Нет у тебя нравственного превосходства, которое ты мог бы предъявлять или защищать. А если нет, то ради чего затевать битву, в которой тебе не дано одержать победу? Я полагаю, что и положение жертвы может принести удовлетворение, но только если сам ты выше подозрений. А ты… кто ты такой, чтобы первым бросить камень?

Она сделала паузу, чтобы насладиться произведенным эффектом. Эффекта, однако, не на-

блюдалось, если не считать внимательного и заинтересованного взгляда Риардена, ставшего еще пристальней. Риарден слушал, словно руководствуясь чисто научным любопытством. Не такого результата ожидала Лилиан.

— Я думаю, ты меня понял, — заключила она.

— Нет, — спокойно ответил он. — Не понял.

— Я думаю, тебе следует отказаться от иллюзии своего превосходства, ты и сам прекрасно понимаешь, что оно всего лишь иллюзия. Я считаю, что тебе нужно научиться ладить с людьми. Время героев прошло. Настал век гуманности, и в более глубоком понимании, чем твое. От людей не требуют быть святыми, но и не наказывают за прегрешения. Никто не прав, никто не виноват, мы все вместе, все люди, а человек — создание несовершенное. Завтра ты не добьешься ничего, доказывая людям, что они не правы. Ты должен уступить, соблюдая приличия, просто потому, что это практично. Ты должен хранить молчание, именно потому, что ты прав. Им это понравится. Делай уступки другим, и они сделают уступку тебе. Живи и давай жить другим. Уступай и принимай уступки. В этом политика нашего века, и сейчас для тебя самое время принять ее. Не говори мне, что ты слишком хорош

для нее. Ты знаешь, что это не так. И ты знаешь, что *я* это знаю.

Застывший взгляд Риардена, устремленный в пространство, отнюдь не свидетельствовал о глубоком раздумье над ее словами: он давал ответ голосу, что звучал и звучал у него в голове: «Ты думаешь, что столкнулся с законспирированной попыткой отобрать у тебя твои миллионы? Ты, которому известен источник богатства, должен знать, что все обстоит еще хуже».

Он обернулся и посмотрел на Лилиан. Теперь ему была ясна вся глубина ее просчета. Жужжащий поток ее доводов напоминал отдаленный гул работающего механизма, надоедливую, бесполезную волынку, не затрагивавшую ни ума, ни сердца. Последние три месяца каждый вечер, проведенный дома, он слушал, как она перечисляет его провинности. Но вины — пожалуй, единственной из всех эмоций — Риарден не чувствовал совершенно. Наказание, которому она хотела его подвергнуть, пытка стыдом, превратилась в испытание скукой.

Ему припомнилось то утро в отеле «*Уэйн-Фолкленд*», когда он уловил пробел в схеме возмездия, уготованного ему Лилиан. Тогда он не стал разбираться в деталях, а сейчас впервые опре-

делил для себя суть этого просчета. Она хотела обречь мужа на страдание от бесчестья, но ее единственным оружием принуждения было его собственное чувство порядочности. Она хотела выбить из него признание нравственного падения, но для вынесения подобного вердикта имели значение только его собственные моральные устои. Она хотела уязвить его своим презрением, но он не воспринимал ее презрения, потому что не считал ее суждения справедливыми. Она хотела наказать его за ту боль, что он ей причинил, и, словно из ружья, целилась этой болью в его жалость, будто стремилась силой вызвать у него страдания. Но ее единственными инструментами оставались его собственные доброта, сочувствие, соболезнование. Ее единственной силой была сила его собственных добродетелей. Что, если он решит отказаться от них?

Признание своей вины, думал он, должно опираться на его согласие с их кодексом справедливости, объявившим его виновным. Он никогда не принимал его и никогда не примет. Все добродетели, за которые она хотела его наказать, принадлежали другому своду законов и существовали по другим принципам.

Он не чувствовал ни вины, ни стыда, ни сожа-

ления, ни бесчестья. Его не трогал ни один из ее вердиктов: он давно потерял уважение к ее суждениям. Единственной цепочкой, сдерживавшей его, были остатки жалости.

Но на какой кодекс опирались ее действия? Какой свод законов разрешал наказание, для которого в качестве жертвы требовалась добродетель обвиняемого? Тот самый, подумал он, что способен разрушить каждого, кто захочет его изучить. То наказание, от которого пострадает только честный, а бесчестный ускользнет безнаказанным. Смирится ли человек с бесчестьем или приравняет добродетель к боли, сделает ли добродетель, а не грех, источником и движущей силой страдания? Если он, Риарден, действительно подлец, в чем она старается его убедить, значит, его собственные мораль и честь для него ничего не значат. Если же он не подлец, тогда чего она хочет добиться?

Рассчитывать на его добродетель и использовать ее как инструмент пытки, шантажировать благородство жертвы, применяя его как единственный способ принуждения, принимать в дар добрую волю человека и тут же обращать ее в оружие против дающего… Риарден безуспешно пытался осмыслить возникшую перед ним фор-

мулу зла, столь изощренного, что он не только не мог подыскать ему достойного названия, но даже не находил в себе сил представить, что оно реально существует.

Он сидел очень спокойно, и только один вопрос стучал в висках: знает ли Лилиан истинную сущность своей схемы? Неужели это ее осмысленная политика, построенная с полным пониманием того, что она означает? Риарден пожал плечами: он не настолько ненавидел Лилиан, чтобы поверить в это.

Он посмотрел на жену. В эту минуту она разрезала сливовый пудинг, охваченный синим пламенем на серебряном блюде. Отсветы огня плясали на ее лице и смеющихся губах, она погружала серебряный нож в пламя умелым, грациозным движением руки. На плече ее черного бархатного платья в свете свечей поблескивали металлические листья красного, золотого и коричневого оттенков осени.

Он не мог избавиться от впечатления, которое преследовало его уже три месяца, что ее месть — не форма отчаяния, как ему вначале представлялось. Ему казалось диким, что, судя по всему, Лилиан наслаждается своей местью. В ее поведении не было ни следа страдания. Ка-

залось, она купалась в новом для себя чувстве уверенности. Она словно впервые чувствовала себя *дома*. Несмотря на то, что все в доме было подчинено ее вкусу и выбору, раньше она всегда вела себя как надежный, умелый и деловой менеджер высококлассного отеля, с горькой улыбкой относящийся к своему подчиненному положению относительно владельцев заведения. Сейчас улыбка осталась, а горечи — как не бывало. Она не поправилась, но все ее черты утеряли некую присущую им прежде жесткость, утонувшую в размягченной удовлетворенности. Даже голос словно стал мягче.

Он не слушал, что она говорила. Лилиан смеялась в последних всполохах голубых огней, а он все думал: знает ли она? Он был уверен, что раскрыл секрет посерьезнее, чем проблема его брака, что ухватил самую суть той политики, что процветала вокруг. Но признать человека способным на *такое* означало вынести ему окончательный приговор, и он понимал, что не поверит в это до тех пор, пока остается хоть малейшее сомнение.

«Нет, — думал он, глядя на Лилиан в последнем порыве благородства, — все, конечно же, не так. Во имя всей ее гордости и доброты, во имя тех

моментов, когда видел на ее лице улыбку человеческой радости, во имя мимолетной тени любви, которую когда-то испытывал к ней, я не вынесу ей приговор в том, что она — абсолютное зло».

Дворецкий поставил перед ним тарелку с пудингом, и Риарден услышал голос Лилиан:

— Генри, где ты был последние пять минут или последние сто лет? Ты мне не ответил. Ты не слышал ни слова из того, о чем я говорила.

— Слышал, — спокойно ответил он. — Я не понимаю, чего ты добиваешься.

— Что за вопрос! — воскликнула мать. — Она пытается спасти тебя от тюрьмы, вот чего она добивается.

«Возможно, это правда, — подумал Риарден. — Из детской трусости она могла решиться защитить его, а потом сломить, добившись его безопасности ценой компромисса. Возможно…» — убеждал он себя, но никак не мог в это поверить.

— Ты никогда не пользовался популярностью, — продолжала Лилиан, — и речь не только о последнем случае. Виной всему твоя непреклонность, несговорчивость. Люди, которые будут вести процесс, знают, о чем ты думаешь. Поэтому они и набросились на тебя за то, что другому бы

простили.

— Нет, полагаю, они не знают, о чем я думаю. Но завтра я им это сообщу.

— Если ты не скажешь, что сдаешься и готов к сотрудничеству, шансов у тебя не будет. С тобой слишком трудно иметь дело.

— Нет, со мной все слишком просто.

— Но если они посадят тебя в тюрьму, — заволновалась мать, — что станет с твоей семьей? Об этом ты подумал?

— Нет, не подумал.

— Ты подумал о позоре, который навлечешь на нас?

— Мама, ты понимаешь суть происходящего?

— Нет, не понимаю и понимать не хочу. Это все грязный бизнес и грязная политика. Бизнес — всегда грязная политика, а политика — всегда грязный бизнес. Я никогда не хотела в этом разбираться. Мне все равно, кто прав, кто виноват, но я всегда считала, что человек в первую очередь должен думать о своей семье. Ты понимаешь, что это будет означать для нас?

— Нет, мама, не понимаю и понимать не хочу.

Пораженная мать молча уставилась на него.

— Знаете, у вас всех такая провинциальная позиция, — внезапно встрял Филипп. — Здесь,

похоже, никто не понимает широких социальных аспектов ситуации. Я не согласен с тобой, Лилиан. Не понимаю, почему ты говоришь, что с Генри хотят сыграть грязный трюк и правда на его стороне. Я считаю, он виновен по уши. Мама, я могу объяснить тебе все очень просто. Ничего необычного не происходит, суды завалены подобными делами. Бизнесмены пользуются чрезвычайной ситуацией в стране, чтобы сделать деньги. Они нарушают регулирующие нормы, защищающие благосостояние общества, и все ради наживы. Они — спекулянты черного рынка, наживающие шальные состояния, грабя бедных в период отчаянного дефицита, отбирая у них то, что принадлежит им по закону. Они ведут жестокую, захватническую, грабительскую, антисоциальную политику, не основанную ни на чем, кроме своекорыстных интересов и алчности. Нет нужды притворяться, нам всем это хорошо известно, и я считаю это низостью.

Он говорил в грубой, бесцеремонной манере, словно объяснял очевидное группе подростков. Его голос звучал с убежденностью человека, уверенного, что нравственные устои его позиции не подлежат обсуждению.

Риарден смотрел на него, как будто изучая

объект, впервые попавшийся ему на глаза. Где-то глубоко, на дне сознания, голос продолжал повторять: «По какому праву? По какому закону? По какому принципу?»

— Филипп, — не повышая голоса, сказал он, — если ты скажешь это еще раз, то окажешься на улице прямо сейчас в том, что на тебе надето, с той мелочью, что завалялась в кармане, и больше ни с чем.

Он не услышал в ответ ни слова, ни шелеста. Заметил только, что в замерших перед ним *членах его семьи* нет и следа изумления. Шок, отразившийся на их лицах, был потрясением людей, перед которыми внезапно взорвалась бомба, хотя они знали, что играют с тлеющим запалом. Ни вскриков, ни протестующих голосов, ни вопросов. Они понимали — он говорит то, что думает. Мутное, тошнотворное чувство подсказало ему: они знали, что происходит, еще прежде него.

— Ты… ты же не выбросишь собственного брата на улицу, правда? — наконец пролепетала мать; она не требовала, она умоляла.

— Я это сделаю.

— Но он твой брат… разве для тебя это ничего не значит?

— Нет.

— Возможно, он иногда заходит слишком далеко, но это все пустая болтовня, просто модный вздор, он сам не знает, что говорит.

— Так пусть узнает.

— Не будь с ним жесток… он моложе тебя и… и слабее. Он… Генри, не смотри на меня так! Ты никогда на меня так не смотрел… Не нужно его пугать. Ты же знаешь, как ты ему нужен.

— А *он* это знает?

— Ты не можешь быть резким с человеком, которому ты нужен, это останется на твоей совести до конца твоих дней.

— Не останется.

— Ты должен быть добрым, Генри.

— Не должен.

— Имей же жалость.

— У меня ее нет.

— Хороший человек умеет прощать.

— Я не умею.

— Не заставляй меня думать, что ты эгоистичен.

— Я такой.

Глаза Филиппа перебегали с брата на мать. Он выглядел как человек, еще недавно уверенный, что стоит на гранитной твердыне, и вне-

запно обнаруживший, что она превратилась в тонкий лед, сплошь пошедший трещинами.

— Но я… — начал он и замолк; его голос звучал неуверенно, как осторожные шаги, проверяющие лед на прочность. — Разве у меня нет права на свободу слова?

— В твоем доме — пожалуйста, но не в моем.

— Разве у меня нет права на собственные мысли?

— Только за свой счет. Не за мои деньги.

— Ты не терпишь мнений, не совпадающих с твоими?

— Только не тогда, когда я оплачиваю счета.

— Разве не существует ничего, кроме денег?

— Существует. Тот факт, что эти деньги — мои.

— Но почему ты не хочешь рассмотреть и более вы… — он хотел сказать «высокие», но передумал: — …и другие аспекты?

— Нет.

— Но я тебе не раб.

— А я тебе раб?

— Не знаю, о чем ты, — он умолк, поняв, что имеется в виду.

— Нет, — продолжил Риарден. — Ты мне не раб. Ты свободен и можешь уйти отсюда в любое удобное для тебя время.

— Я… Я говорил не об этом.

— Зато я об этом говорю.

— Я не понимаю…

— Да неужели?

— Тебе всегда были известны мои политические взгляды. И прежде ты никогда против них не возражал.

— Это правда, — сурово ответил Риарден. — Наверное, придется объясниться. Я старался никогда не напоминать тебе, что ты живешь за счет моей благотворительности. Считал, что это твоя обязанность помнить об этом. Я думал, что любой человек, принимающий помощь от другого, знает, что добрая воля дающего — его единственный мотив, и единственное вознаграждение, которого он ожидает в ответ, — добрая воля. Но я вижу, что ошибался. Ты получал свой хлеб незаслуженно и сделал вывод, что признательность тоже не обязательна. Ты заключил, что я для тебя — самая безопасная мишень для плевков именно потому, что я держу тебя за горло. Ты решил, что я не захочу напоминать тебе об этом, из страха задеть твои нежные чувства. Хорошо, давай говорить прямо: ты — субъект моей милостыни, давным-давно исчерпавший свой кредит. Всякая привязанность, которую я к тебе питал, исчезла.

Ты не вызываешь у меня ни малейшего интереса — ни твоя судьба, ни твое будущее. У меня нет причин кормить тебя. Если ты покинешь мой дом, мне все равно, будешь ты голодать или нет. Таково теперь твое положение здесь, и будь любезен запомнить это, если захочешь остаться. Если же нет, убирайся.

Но Филипп никак не отреагировал на слова Риардена, только немного втянул голову в плечи.

— Не воображай, что я наслаждаюсь жизнью здесь, — пролепетал он дрожащим безжизненным голосом. — Если ты думаешь, что я счастлив, то ошибаешься. Я все бы отдал, чтобы уйти, — слова подразумевали бунт, но в голосе звучала трусость. — Если ты и впрямь так думаешь, мне лучше покинуть твой дом, — слова утверждали, а в голосе звучал вопрос, но после паузы ответа не последовало. — Тебе незачем волноваться о моем будущем. Я никого не стану просить о помощи. Сам смогу о себе позаботиться, — слова адресовались Риардену, но глаза Филиппа обратились к матери. Та не издала ни звука, она боялась даже пошевелиться. — Я всегда хотел жить сам по себе. Всегда мечтал перебраться в Нью-Йорк, к своим друзьям… — Голос совсем затих, потом Филипп добавил, словно

ни к кому не обращаясь: — Конечно, у меня возникнут проблемы с обеспечением моего социального положения… Год-другой мне нужны будут деньги… достаточные, чтобы поддерживать образ жизни, достойный моего…

— От меня ты их не получишь.

— Я и не просил тебя об этом, не так ли? Не воображай, что я не смогу достать их где-нибудь еще, если захочу! Не воображай, что я не смогу уйти! Я ушел бы сию же секунду, если бы думал только о себе. Но я нужен маме, и если я ее брошу…

— Не оправдывайся.

— И вообще, ты меня не понял, Генри. Я не сказал ничего, что могло бы тебя оскорбить. Я не говорил ничего о тебе лично. Просто рассматривал общее экономическое положение в стране с абстрактной социологической точки зрения, которая…

— Не оправдывайся, — повторил Риарден, резко оборвав его. Он смотрел на Филиппа в упор. Опустив голову, тот прятал глаза, лишенные выражения, как будто они ничего не видели вокруг. В них не отражались ни волнение, ни тревога, ни вызов, ни сожаление, ни стыд, ни страдание. Пустые глаза, не реагирующие на действитель-

ность и не пытающиеся ее понять, взвесить, составить правильное представление о ней; полные одной лишь бессмысленной ненависти. — Не оправдывайся. Просто держи язык за зубами.

Риарден отвернулся, испытывая отвращение, к которому все еще примешивалась жалость. Какую-то долю секунды ему хотелось схватить брата за плечи и крикнуть: «Что ты с собой сделал? Как дошел до того, что от тебя почти ничего не осталось? Почему потерял, упустил самого себя, не воспользовался чудесным даром — жизнью?»

Он отвернулся, понимая, что все бесполезно.

С усталым презрением он заметил, что все трое за столом словно онемели. За все прошедшие годы на его привязанность они отвечали только злобными упреками. Где их хваленая справедливость? Вот и настало время опереться на свой моральный кодекс, если только справедливость осталась частью их кодекса. Почему они не бросают ему обвинений в жестокости и эгоизме, звучавшие как постоянный, слаженный хор всю его жизнь? Что позволяло им так долго это делать? Он знал ответ, который пульсировал у него в мозгу: *согласие жертвы*.

— Давайте не будем ссориться, — неверным голосом произнесла мать. — Ведь сегодня — день благодарения.

Риарден поймал переполненный паникой взгляд Лилиан, видимо, она смотрела на него уже давно.

Он поднялся.

— А теперь прошу меня извинить, — произнес он, не обращаясь ни к кому в отдельности.

— Куда ты? — резко спросила Лилиан.

Он нарочно немного постоял, глядя на нее, чтобы подчеркнуть скрытое значение своих слов, понятное ей одной.

— В Нью-Йорк.

Она вскочила.

— Сегодня?

— Сейчас.

— Ты не можешь уехать в Нью-Йорк сегодня! — ее негромкие слова прозвучали подобно бессильному пронзительному крику. — Ты не можешь себе этого позволить в такое время. Я хочу сказать, ты не можешь себе позволить сбежать из семьи. Ты должен подумать о своих чистых руках. Ты не в том положении, чтобы позволить себе поступок, который могут расценить как безнравственный.

«По какому закону? — подумал Риарден. — *По какому стандарту?»*

— Почему ты хочешь уехать в Нью-Йорк именно сегодня?

— Я думаю, Лилиан, потому же, почему ты хочешь остановить меня.

— Завтра у тебя суд.

— Это я и имел в виду.

Он повернулся, чтобы уйти, и Лилиан повысила голос:

— Я не хочу, чтобы ты уходил!

Риарден улыбнулся ей впервые за последние три месяца, и она не смогла вынести этой улыбки.

— Я *запрещаю* тебе уезжать сегодня!

Риарден повернулся и вышел из комнаты.

* * *

Сидя за рулем машины, Риарден смотрел, как глянцевая, замерзшая дорога летит под колеса со скоростью шестидесяти миль в час, позволяя всем мыслям о семье улететь вслед за ней. Бездна скорости поглощала лица родных вслед за обнаженными деревьями и одинокими постройками на обочине. Машины на дороге попадались редко, только светились в отдалении небольшие

городки. Пустынность и отсутствие суеты были единственными признаками праздника. Вдалеке над крышей завода вспыхивал неясный свет, рассеянный морозцем, и холодный ветер, со свистом обтекавший машину, с глухим звуком прижимал ее брезентовый верх к металлической раме.

По неясному ему самому контрасту мысли о семье сменились воспоминанием о встрече с Кормилицей, вашингтонским мальчиком с его завода.

Вскоре после того, как Риардену было предъявлено обвинение, он обнаружил, что парнишка, зная о его сделке с Данаггером, никому о ней не донес.

— Почему ты не сообщил своим друзьям обо мне? — спросил Риарден.

Тот ответил грубо, не глядя на него:

— Не хотел.

— Это ведь часть твоей работы, присматривать за подобными делами, не так ли?

— Да.

— К тому же твои друзья будут недовольны тобой, узнав про это.

— Знаю.

— Разве ты не понимал, какой перед тобой лакомый кусочек информации и какую колос-

сальную сделку ты мог бы провернуть со своими друзьями из Вашингтона, которым ты однажды уже предлагал меня, помнишь? Тем друзьям, «с которыми всегда возникают расходы»?

Мальчишка не ответил.

— Ты мог бы сделать головокружительную карьеру. Только не говори мне, что ты этого не понимал.

— Понимал.

— Почему же тогда не извлек из этого выгоды?

— Не хотел.

— Почему?

— Не знаю.

Парнишка стоял, угрюмо отводя взгляд, словно пытался отделаться от непонятного чувства, засевшего внутри. Риарден рассмеялся.

— Послушай, Отрицатель Абсолютов, ты играешь с огнем. Пойди-ка лучше, убей кого-нибудь по-быстрому, пока тобой не овладел тот самый принцип, что не позволил стать доносчиком, а то он пустит твою карьеру под откос.

Парнишка не ответил.

Тем утром Риарден пришел в контору как обычно, несмотря на то, что остальная часть здания была закрыта. В обеденный перерыв он заглянул в работающий цех и был изумлен, обнаружив

Кормилицу, наблюдавшего за работой завода с детским восторгом.

— Что ты здесь делаешь? — спросил Риарден. — Не знаешь, что сегодня праздник?

— Девушек я отпустил, а сам пришел, просто чтобы закончить кое-какие дела.

— Что за дела?

— Да письма и… Черт, я подписал три письма и очинил карандаши, я знаю, что не должен приходить сегодня, но дома нечего делать и… Мне одиноко без этого места.

— У тебя есть семья?

— Нет… не такая, чтобы о ней стоило говорить. А вы, мистер Риарден? У вас есть семья?

— Кажется, не такая, чтобы о ней стоило говорить.

— Я люблю это место. Мне нравится здесь ходить… Знаете, мистер Риарден, я ведь учился на металлурга.

Уходя, Риарден оглянулся и заметил, что Кормилица смотрит на него, как ребенок на героя своей любимой приключенческой книжки. «Помоги, Господи, маленькому засранцу», — подумал он.

* * *

«Помоги, Господи, им всем», — с сочувствием думал он, ведя машину по темным улочкам маленького городка, словами, позаимствованными у их веры, которой он сам не разделял. Он смотрел на выставленные на металлических стендах газеты с большими черными буквами на первых полосах: **ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ КАТАСТРОФА**. По радио сообщили, что на главной линии «*Таггерт Трансконтинентал*» близ Рокленда, Вайоминг, произошло крушение: треснувший рельс отправил в каньон грузовой состав. Аварии на дороге Таггертов стали случаться чаще, пути порядком износились, те пути, которые меньше чем восемнадцать месяцев назад Дагни планировала перестроить, пообещав устроить ему путешествие от побережья до побережья по рельсам из его металла.

Она целый год собирала рельсы с опустевших участков железной дороги, чтобы подлатать главную линию. Она месяцами сражалась с людьми Джима из совета директоров, которые говорили ей, что чрезвычайная ситуация в стране — дело временное, и рельсы, отслужившие десять лет, прекрасно прослужат еще одну зиму, до весны,

когда положение улучшится, как обещал мистер Уэсли Моуч. Три недели назад она заставила их утвердить закупку шестидесяти тысяч тонн новых рельсов. Такого количества хватило бы всего на несколько заплат на самых неблагополучных участках трансконтинентальной дороги, но это было все, чего ей удалось от них добиться.

Приходилось выбивать деньги у людей, оглохших от страха: аварии были столь частыми, что людей из совета директоров трясло при одном упоминании фразы Джима о «самом удачном годе в истории компании Таггертов». Когда не оставалось надежды получить специальную квоту на покупку сплава Риардена и не хватало времени на выбивание поставок, Дагни приходилось заказывать стальные рельсы.

Риарден перевел взгляд с газетных полос на край неба, где вдалеке начинал вырисовываться силуэт Нью-Йорка, и крепче сжал руль.

Он приехал в город в половине десятого. Квартира Дагни тонула в темноте, когда он вошел, воспользовавшись своим ключом. Сняв телефонную трубку, он позвонил ей в офис. Она ответила:

— «*Таггерт Трансконтинентал*».

— Ты знаешь, что сегодня праздник? — спросил он.

— Привет, Хэнк. На железной дороге праздников не бывает. Откуда ты звонишь?

— Из твоей квартиры.

— Я буду через полчаса.

— Все в порядке. Жди. Я за тобой заеду.

В приемной ее офиса стоял полумрак, только в каморке Эдди Уиллерса горела лампочка. Эдди запирал стол, собираясь домой. Он взглянул на Риардена с растерянным изумлением:

— Добрый вечер, Эдди. Что вас задержало, авария в Рокленде?

Эдди вздохнул:

— Да, мистер Риарден.

— Вот поэтому я и решил увидеться с Дагни из-за… из-за ваших рельсов.

— Она еще здесь.

Риарден направился к двери кабинета, когда Эдди нерешительно окликнул его:

— Мистер Риарден…

— Да? — он остановился.

— Я хочу сказать… завтра у вас суд… то, что хотят с вами сделать… они объявляют, что делают это от имени всех людей. Я просто хотел сказать, что я… Это не от *моего* имени. И, хоть я ничего не могу сделать… хочу сказать об этом вам… даже если это ничего не значит.

— Это значит много больше, чем вам кажется. Возможно, больше, чем нам всем кажется. Спасибо, Эдди.

Дагни посмотрела на Риардена из-за своего стола. Он видел, как усталость исчезает из ее взгляда. Подойдя, присел на край стола. Дагни откинулась на спинку стула, убрав с лица прядь волос, плечи под тонкой белой блузкой расслабились.

— Дагни, я хочу сказать тебе кое-что о рельсах, которые ты заказала. Хочу, чтобы ты узнала об этом сегодня же вечером.

Она внимательно посмотрела на него:

— Пятнадцатого февраля предполагалось отгрузить «*Таггерт Трансконтинентал*» шестьдесят тысяч тонн рельсов, это позволило бы тебе проложить триста миль железнодорожного полотна. Ты получишь за ту же сумму восемьдесят тысяч тонн рельсов и сможешь проложить пятьсот миль путей. Ты знаешь, какой материал дешевле и легче стали. Твои рельсы будут не из стали, а из риарден-металла. Не спорь, не возражай. Я не нуждаюсь в твоем согласии. Мне не нужно, чтобы ты соглашалась или даже знала об этом. Все устрою я, и я один буду за все в ответе. Сделаем так, что твои люди, знавшие о заказе на сталь,

не узнают о том, что ты получишь риарден-металл, и не пронюхают об отсутствии разрешения на его покупку. Документы оформим таким образом, что даже если дело всплывет, никто не станет предъявлять претензий ни к кому, кроме меня. Могут предположить, что я подкупил тебя или кого-то из твоих сотрудников, но доказать ничего не сумеют. Я хочу, чтобы ты дала мне слово никогда в этом не признаваться, как бы дело ни обернулось. Это мой сплав, и если есть шансы им распорядиться, я ими воспользуюсь. Я планировал эту операцию с того дня, когда получил твою заявку. Заказал медь у поставщика, который меня не выдаст. Не собирался говорить тебе, но передумал. Хочу, чтобы ты узнала об этом уже сегодня, поскольку завтра я предстану перед судом за точно такое же преступление.

Дагни слушала его не шелохнувшись. Закончив, Риарден заметил легкое движение ее губ и щек. Она не улыбнулась, но ее лицо сказало ему все: ее обожание, тревогу, понимание.

Ее взгляд стал мягче, в нем плеснулась боль, и Риарден взял ее за запястье, крепким пожатием и умиротворяющим взглядом стараясь дать ей опору, в которой она так нуждалась, и сказал твердо:

— Не благодари меня, это не услуга, я поступаю так, чтобы сохранить способность работать, иначе я сломаюсь, как Кен Данаггер.

Она прошептала:

— Хорошо, Хэнк, я не стану тебя благодарить, — нежный звук ее голоса и выражение глаз превратили сказанное в ложь.

Риарден улыбнулся.

— Дай мне слово, о котором я просил.

Она наклонила голову.

— Даю слово.

Он выпустил ее руку.

Не поднимая головы, Дагни добавила:

— Я хочу сказать только, что, если завтра тебя отправят в тюрьму, я брошу бизнес, не дожидаясь подсказки разрушителя.

— Ты этого не сделаешь. Я не думаю, что меня приговорят к тюремному заключению. Я легко отделаюсь. Есть у меня одна гипотеза, я тебе ее объясню потом, когда она пройдет проверку.

— Что это за гипотеза?

— Кто такой Джон Голт? — улыбнувшись, он поднялся. — Вот и все. Сегодня мы не будем больше говорить о суде. У тебя в конторе не найдется чего-нибудь выпить?

— Нет. Но, кажется, у моего менеджера есть

что-то вроде бара на полке в картотеке.

— Как ты думаешь, ты сможешь украсть для меня выпивку, если там не заперто?

— Попытаюсь.

Он стоял и смотрел на портрет Нэта Таггерта на стене ее кабинета, портрет молодого мужчины с гордо поднятой головой, пока Дагни не вернулась с бутылкой бренди и двумя стаканами. Риарден молча их наполнил.

— Знаешь, Дагни, День благодарения придумали люди, которые отмечали свои трудовые успехи.

Подняв стакан, он отсалютовал портрету, потом Дагни и, наконец, городу за окном.

* * *

За месяц до этого людям, заполнившим сегодня зал, представители прессы обещали, что они увидят алчного врага общества, но собравшиеся пришли посмотреть на человека, создавшего риарден-металл.

Когда судьи велели ему встать, он поднялся. Серый костюм, светлые волосы, ясные глаза. Но не цвета производили впечатление ледяной неумолимости, скорее, этому способствовала дорогая простота его костюма, чем нынче щеголяли

нечасто, которая подходила к роскошному офису богатой корпорации и не вязалась с окружавшей его сейчас обстановкой.

Пришедшие знали из газет, что Риарден — олицетворение зла безжалостного обогащения. Эти люди, восхваляя добродетель целомудрия, толпой бежали на любой фильм, на афише которого красовалась полуобнаженная красотка, а сегодня они собрались посмотреть на него. Зло, по крайней мере, не обладало постылой безнадежностью снотворного, в которое никто не верил, но не пытался ему противостоять. Люди смотрели на него без восхищения, они давно утратили способность восхищаться. Они взирали на Риардена с любопытством и подсознательным сопротивлением тому, кто сказал им, что ненавидеть этого человека — их долг.

Несколько лет назад они принялись бы насмехаться над атмосферой самодостаточного богатства, окружавшей его. Но сегодня за окнами здания суда нависло серое небо, обещавшее первую метель длинной, тяжелой зимы, а последние остатки запасов нефти в стране иссякали. Угольные шахты задыхались в лихорадочных попытках наскрести запасы на зиму. Толпа в зале суда помнила, что сегодняшний судебный

процесс уже стоил им Кена Данаггера. Ходили слухи, что выработка компании Данаггера резко упала за первый же месяц после его ухода. Журналисты кричали, что это временное явление, все наладится, как только кузен Данаггера реорганизует компанию. Весь последний месяц на первых страницах газет обсуждалась катастрофа на строительстве жилого здания: балки из некачественной стали обрушились, похоронив под обломками четверых строителей. Люди знали и то, о чем газеты умалчивали: балки изготовили на предприятии Оррена Бойля из его же металла.

Собравшиеся в гнетущем молчании сидели в зале суда и смотрели на высокую серую фигуру не с надеждой, нет, они давно утратили способность надеяться, но с бесстрастным безразличием и пока что неясным вопросом. Этот вопросительный оттенок сегодня чувствовался во всех религиозных призывах, заученных ими за долгие годы.

Газеты рычали, что причиной трудностей, одолевавших страну, как показывает сегодняшний процесс, является эгоистичная алчность богатых промышленников, что люди, подобные Хэнку Риардену, виновны в сокращении раци-

она, холодных домах и протекающих крышах всей нации. Что если бы не люди, нарушающие регулирующие директивы и мешающие планам правительства, процветания удалось бы достигнуть давным-давно, что Хэнком Риарденом движет голая жажда наживы. Последнее заявление никак не разъяснялось, словно «жажда наживы» являлась самоочевидным признаком абсолютного зла.

Толпа помнила, что те же самые газеты меньше чем два года назад кричали, что производство риарден-металла необходимо запретить, потому что его производитель ради собственной жадности подвергает опасности жизнь людей, а сейчас он оказался под судом за то, что отказал обществу в получении порции своего сплава.

В соответствии с процедурой, установленной директивами, процессы подобного рода не подпадали под юрисдикцию суда присяжных, а рассматривались группой из троих судей, назначаемых Бюро экономического планирования и национальных ресурсов. Директивы предписывали фемиде процедуру неформальную и демократичную.

По этому случаю кресла присяжных из зала суда убрали, заменив их столом на деревянной

платформе. Это придало помещению атмосферу некоего совещания, во время которого председательствующий надувает умственно отсталых членов суда.

Один из судей, выступающий как прокурор, зачитал обвинительное заключение.

— Теперь вы можете приводить любые доводы в свою защиту, — провозгласил он.

Глядя на судей, Хэнк Риарден ответил бесстрастным и чистым голосом:

— Я не собираюсь защищаться.

— Вы не… — судья запнулся, он не ожидал, что все произойдет так быстро. — Вы отдаете себя на милость нашего суда?

— Я не признаю этот суд правомочным.

– *Что?*

— Я не признаю права этого суда на ведение процесса.

— Но, мистер Риарден, суд назначен законно, специально для процессов по этой категории преступлений.

— Я не считаю, что мои действия преступны.

— Но вы должны признать, что нарушили директивы, регулирующие и контролирующие продажу вашего сплава.

— Я не признаю за вами права контролировать

продажу моего металла.

— Есть ли необходимость указать, что вашего признания не требуется?

— Нет. Я полностью это осознаю и действую согласно обстоятельствам.

Он заметил, как тихо сделалось в зале. По привычным этим людям правилам притворства и обмана, применявшимся ими по отношению друг к другу ради собственной выгоды, они должны были рассматривать его заявление как недопустимую вольность. Ожидалось, что последуют возгласы изумления и насмешки, но в зале царило молчание, люди сидели тихо, они все понимали.

— Вы хотите сказать, что отказываетесь повиноваться закону? — спросил судья.

— Нет. Я следую закону, его букве. Согласно вашему закону, моя жизнь, моя работа и моя собственность могут быть использованы без моего согласия. Очень хорошо, значит, вы можете обойтись без моего личного участия в деле. Я не стану разыгрывать комедию, защищая себя сам, здесь, где никакая защита невозможна. Я не стану создавать иллюзию справедливого суда.

— Но, мистер Риарден, закон особо указывает, что вы должны иметь возможность представлять

себя в суде и вести защиту самостоятельно.

— Подсудимый может защищать себя только в том случае, если существует объективный принцип правосудия, реализуемый судьями, принцип, признающий права подсудимого, который они не могут нарушать, а он может применять. Закон, по которому вы судите меня, устанавливает, что принципов не существует, что у меня нет прав и что вы можете делать со мной все, что пожелаете. Очень хорошо. Делайте.

— Мистер Риарден, закон, который вы осуждаете, основан на высочайшем принципе — принципе общественной пользы.

— Что такое общественность? Что закон объявляет ее пользой? Были времена, когда люди верили, что добро и пользу до́лжно определять на основании моральных ценностей, и ни один человек не имеет права получать пользу, нарушая права других людей. Сейчас считается, что ближние могут принести меня в жертву любым известным им способом, ради того, что они сочтут пользой для себя. Если они решили, что могут захватить мою собственность только потому, что она им нужна… ну что ж, так поступают все грабители. Есть, правда, одна разница:

грабитель не спрашивает у меня разрешения на свой поступок.

Несколько мест в боковой части зала были зарезервированы для именитых гостей, приехавших из Нью-Йорка наблюдать за судебным процессом. Дагни сидела неподвижно, лицо ее не выражало ничего, кроме внимания, она понимала, что от логики его аргументов зависит дальнейший ход ее жизни. Эдди Уиллерс сидел рядом с ней. Джеймс Таггерт не пришел. Пол Ларкин сидел, подавшись вперед всем телом, его испуганно вытянутое лицо, словно мордочка животного, выражало сейчас откровенную ненависть. Мистер Моуэн, сидящий рядом, человек невежественный и мало что понимающий, явно испытывал страх. Он слушал с замешательством и негодованием, шепча Ларкину:

— Боже всемогущий, что он делает! Он убедит народ в том, что все бизнесмены — враги общественной пользы!

— Должны ли мы понимать вас так, что вы ставите свои интересы превыше интересов общественности? — спросил судья.

— Я утверждаю, что подобные вопросы нельзя задавать в обществе людоедов.

— Что… что вы имеете в виду?

— Я утверждаю, что не может быть столкновения интересов среди людей, которые не требуют себе незаслуженного и не приносят человеческих жертв.

— Должны ли мы понять вас так, что, если люди считают необходимым сократить ваши прибыли, то вы не признаете их права на это?

— Отчего же, признаю. Люди могут урезать мои прибыли в любое время, просто отказавшись покупать мой продукт.

— Мы говорим о… других методах.

— Любой другой метод урезания прибыли — метод мародеров, и я рассматриваю эти методы как мародерские.

— Мистер Риарден, ваше выступление вряд ли похоже на защиту.

— Я уже сказал, что не стану себя защищать.

— Но это неслыханно! Вы осознаете всю тяжесть предъявленного вам обвинения?

— Не собираюсь признавать обвинения.

— Вы представляете себе последствия, к которым приведет занятая вами позиция?

— В полном объеме.

— Суд выражает мнение, что факты, представленные обвинением, не являются основанием для смягчения наказания. Суд обладает доста-

точной властью, чтобы подвергнуть вас самому суровому наказанию.

— Подвергайте.

— Прошу прощения?

— Подвергайте.

Трое судей переглянулись. Потом тот, что оглашал обвинительную речь, вновь обратился к Риардену.

— Ваше поведение беспрецедентно, — заявил он.

— Не укладывается ни в какие рамки, — подхватил второй. — Закон требует от вас выступать в свою защиту. Единственная альтернатива — занести в протокол, что вы просите суд о помиловании.

— Я не стану этого делать.

— Но вы должны.

— Так вы ожидаете от меня, что я поступлю так добровольно?

— Да.

— Я не сделаю этого.

— Но закон требует, чтобы мнение защиты было представлено в протоколе.

— То есть вы утверждаете, что вам нужна моя помощь, дабы придать процедуре видимость законности?

— Ну, нет… да… нужно соблюсти форму.

— Я не стану вам помогать.

Третий судья, самый молодой, нетерпеливо вмешался:

— Это смехотворно и нечестно! Вы что, хотите представить дело таким образом, что человека вашего положения ловко засудили без… — он спохватился на полуслове. Кто-то в задних рядах пронзительно засвистел.

— Я хочу, — сурово ответил Риарден, — показать истинную сущность сегодняшнего процесса. Если вам нужна моя помощь для того, чтобы замаскировать отсутствие справедливого закона, я не стану вам помогать.

— Но мы даем вам шанс защитить себя, а вы сами отказываетесь от этого.

— Я не стану помогать вам создавать видимость того, что у меня есть шанс. Я не стану помогать вам создавать видимость правосудия там, где права нет вообще. Я не стану помогать вам создавать иллюзию рациональности, вступая в дебаты, в которых последний аргумент — дуло пистолета. Я не стану помогать вам делать вид, что вы отправляете правосудие.

— Но закон предоставляет вам право на защиту!

В задних рядах засмеялись.

— В вашей теории есть слабое место, господа, — сурово ответил Риарден. — И я не стану помогать вам выпутываться. Если вы предпочитаете воздействовать на людей принуждением, делайте это. Но тогда вы обнаружите, что вам потребуется добровольное сотрудничество ваших жертв, и в гораздо бóльших объемах, чем сегодня. А ваши жертвы откроют для себя, что, оказывается, это их собственная воля, на которую вы *не можете* повлиять, делает вашу деятельность возможной. Я предпочитаю быть последовательным, и не стану подчиняться вам в том, на чем вы настаиваете. Каких бы действий вы от меня ни потребовали, я сделаю это только под дулом пистолета. Если вы приговорите меня к тюремному заключению, вам придется вызвать армию вооруженных людей, чтобы они дотащили меня туда, — *добровольно* я не сделаю ни шагу. Если вы наложите штраф, вам придется отобрать у меня собственность, потому что *добровольно* я не стану платить штраф. Если вы думаете, что у вас есть право принудить меня, — применяйте ваше оружие открыто. Я не стану помогать вам маскировать суть ваших действий.

Самый старший судья наклонился вперед

и иронически спросил вкрадчивым голосом:

— Вы говорите так, мистер Риарден, как будто отстаиваете некий принцип, но на самом деле вы всего лишь боретесь за свою собственность, не так ли?

— Да, конечно. Я борюсь за свою собственность. Вам известно, какой принцип она представляет?

— Вы изображаете борца за свободу, но на самом деле боретесь за свободу делать деньги.

— Да, конечно. Все, что мне нужно, — свобода делать деньги. Вам известно, что подразумевает эта свобода?

— Разумеется, мистер Риарден, вам не хотелось бы, чтобы вашу позицию поняли превратно. Вы не хотели бы оказать поддержку широко распространенному мнению, что вы — человек, лишенный общественного сознания, чуждый ответственности за благосостояние своих ближних и работающий только ради собственной выгоды.

— Я работаю только ради собственной выгоды. Я заслужил ее.

По залу пронесся вздох, но не возмущения, а изумления. Лица судей застыли. Риарден спокойно продолжал:

— Нет, я не хочу, чтобы моя позиция была неверно истолкована. И желал бы, чтобы ее внес-

ли в протокол. Я полностью согласен со всеми фактами, которые сообщают обо мне в газетах, но не согласен с их толкованием. Я работаю исключительно ради прибыли, которую получаю, продавая свой продукт людям, которые хотят и могут его купить. Я произвожу его не для их пользы и в ущерб себе, и они покупают его не ради моей пользы и в ущерб себе. Я не жертвую своими интересами, и люди не приносят свои интересы в жертву мне. Мы действуем как равные, при взаимном согласии и ко взаимной выгоде. Я горжусь каждым центом, заработанным мною таким способом. Я богат и горжусь этим. Я сделал свои деньги своими усилиями, на основе свободного обмена и при добровольном согласии каждого человека, с которым я заключал сделку, добровольном согласии тех, кто нанимал меня, когда я начинал, при добровольном согласии тех, кто работает на меня сегодня, и добровольном согласии тех, кто покупает мой продукт. Я отвечу на все вопросы, которые вы боитесь задать мне открыто. Собираюсь ли я платить своим рабочим больше, чем та сумма, что мне приносят их услуги? Нет. Собираюсь ли я продавать свой металл себе в убыток или потерять его? Нет. Если я совершаю зло, сделайте со мной все, что захотите,

руководствуясь любыми вашими принципами. Но у меня другие принципы. Я заработал себе на жизнь, как может заработать любой человек. Я отказываюсь признать своей виной тот факт, что я способен делать это и делаю хорошо. Я отказываюсь признать своей виной то, что способен работать лучше, чем большинство людей, тот факт, что моя работа стоит больше, чем работа моих соседей и больше, чем большинство людей согласны мне платить. Я отказываюсь извиняться за свои способности, за достигнутый мной успех, за свои деньги. Если то, что я делаю — зло, попытайтесь извлечь из него пользу. Если общество считает, что моя работа вредит его интересам, пусть оно уничтожит меня. Таков мой кодекс, и другого я не приемлю.

Я мог бы сказать, что сделал для своих ближних больше добра, чем вы могли бы вообразить, но не стану, потому что не жду добра от других для оправдания моего права на существование. И не считаю добро, сделанное окружающими, разрешением на захват моей собственности или разрушение моей жизни. Я не скажу, что цель моей работы — польза других людей, нет, моя цель — моя собственная польза, и я презираю тех капитулянтов, которые отказываются

от своей выгоды. Я мог бы сказать вам, что вы не служите общественной пользе, потому что ничье благо не может быть достигнуто ценой человеческих жертв, что, когда вы отрицаете право одного-единственного человека, вы попираете права всех людей, а общество, состоящее из бесправных существ, обречено на гибель. Я мог бы сказать вам, что вы не достигнете ничего, кроме тотального разорения, как любой грабитель, когда у него больше нет жертв. Я мог бы сказать вам это, но не стану. Я бросаю вызов вашей политике, а не морали.

Если верно то, что можно достичь процветания, превращая кого-то в жертвенное животное, и я призван принести себя в жертву ради тех, кто пожелал выжить ценой моей крови, если я призван служить интересам общества, противостоящего мне, я отвергну его как самое презренное зло и буду сражаться с ним со всей присущей мне силой. Я буду сражаться с целым человечеством до последней минуты, ни на мгновение не усомнившись в собственной правоте, справедливости моей битвы и праве человека на жизнь. Хочу, чтобы вы правильно поняли это. Если сейчас мои ближние, называющие себя обществом, верят в то, что ради их блага необходимы жерт-

вы, тогда я скажу: будь проклято общественное благо, я не стану его частью!

Толпа разразилась аплодисментами.

Риарден развернулся, пораженный даже больше, чем его судьи. Он увидел лица, искаженные неистовым смехом, лица, умоляющие о помощи, увидел рвущееся на свободу отчаяние, тот же гнев и негодование, что переполняли его самого, почувствовал свободу неповиновения. Он видел восторженные лица, озаренные надеждой. Встречались и лица опустившихся юношей и отвратительно неопрятных женщин, тех, что освистывают в кинотеатрах каждого бизнесмена, появившегося на экране в кинохронике: эти молчали, не делая попыток урезонить других.

Когда Риарден обернулся, толпа увидела на его лице то, чего судьям не удалось добиться угрозами: первый проблеск чувств.

Прошло несколько секунд, пока не стали слышны бешеные удары судейского молотка и крики одного из судей:

— …иначе я прикажу очистить зал заседаний!

Риарден посмотрел на кресла для посетителей, задержавшись взглядом на Дагни, словно говоря: «Сработало!» Она могла бы показаться спокой-

ной, но ее выдавали глаза, ставшие огромными.

Лицо Эдди Уиллерса искривила гримаса: чувствовалось, что он на грани слез. Мистер Моуэн одурел. Пол Ларкин смотрел в пол. Лица Бертрама Скаддера и Лилиан ничего не выражали. Она неподвижно сидела в конце ряда, положив ногу на ногу, норковое боа сползло с ее плеча на колени, взгляд остановился на лице Риардена.

В круговерти охвативших его чувств Хэнк не успел осознать кольнувшего его сожаления: он с самого начала надеялся увидеть человека, к которому стремился всей душой. Но Франсиско д'Анкония не пришел.

— Мистер Риарден, — воззвал старший судья, заученно улыбаясь снисходительной улыбкой и протянув к нему руки. — С прискорбием должен заявить, что вы поняли нас абсолютно неверно. Трудность в том, что бизнесмены отказываются идти нам навстречу в духе доверительности и дружбы. Кажется, они воображают, что мы их враги. Зачем вы говорите о человеческих жертвоприношениях? Что заставило вас употреблять столь шокирующие выражения? У нас нет намерения захватить вашу собственность или разрушить вашу жизнь. Мы и в мыс-

лях не держим нанести вред вашим интересам. Мы полностью признаем ваши высочайшие достижения. Наша цель — всего лишь ослабить напряжение в обществе и обеспечить правосудие для всех. Эти слушания действительно задумывались не как судебный процесс, а как дружеская дискуссия, имеющая своей целью взаимопонимание и сотрудничество.

— Я не сотрудничаю под прицелом пистолета.

— Зачем говорить об оружии? Ситуация не настолько серьезна, чтобы вызывать подобные ассоциации. Мы полностью осознаем, что вина в данном случае лежит в основном на мистере Кене Данаггере, который спровоцировал нарушение закона, тем самым усилив давление на вас, и полностью признал свою вину, скрывшись от наказания.

— Нет. Мы все сделали вместе по взаимному и добровольному согласию.

— Мистер Риарден, — вступил второй судья, — вы вольны не разделять некоторые из наших идей, но в конечном счете все мы работаем на одну цель — ради блага общества. Мы понимаем, что критическая ситуация в угледобывающей отрасли и крайняя нужда в топливе для обеспечения благосостояния людей подвигли вас

на нарушение ряда законных установлений.

— Нет. Меня подвигли на это моя личная выгода и мои личные интересы. Какое влияние они оказали на угледобычу и благосостояние общества, судить не вам. Не это было моим мотивом.

Ошеломленный мистер Моуэн прошептал на ухо Полу Ларкину:

— Здесь что-то не так.

— Ох, да заткнитесь же! — огрызнулся Ларкин.

— Я уверен, мистер Риарден, — произнес самый старший судья, — что на самом деле ни вы, ни общественность не думаете, что мы обращаемся с вами как с жертвой, ведомой на закланье. Если у кого-то и сложилось такое ложное мнение, мы рады доказать, что дело обстоит не так.

Судьи удалились для вынесения решения. После недолгого отсутствия они вернулись в зал, охваченный зловещей тишиной, и объявили, что на Генри Риардена налагается штраф в размере пяти тысяч долларов.

В зале раздались аплодисменты, перемежающиеся издевательскими смешками. Аплодисменты предназначались Риардену, а насмешки — судьям.

Риарден стоял, не оборачиваясь к толпе, почти не слыша аплодисментов. Он смотрел на судей.

На его лице читались не триумф или радость победы, а только напряженное ожидание и горькое сомнение, почти страх. Он впервые увидел во всей красе всю ничтожность врага, разрушающего мир. Как будто после многолетнего странствия по бесконечной бесплодной пустыне, мимо руин грандиозных заводов, обломков могучих механизмов и трупов несгибаемых людей он оказался перед лицом разрушителя, ожидая увидеть перед собой гиганта, но обнаружив трусливую крысу, готовую скрыться при первом звуке шагов человека. Если этот враг нанес нам поражение, оно произошло по нашей вине, подумал он.

Риардена вернула к действительности собравшаяся вокруг него толпа. Он грустно улыбнулся в ответ на улыбки людей, на истовую, трагическую надежду, написанную на их лицах.

— Благослови вас Бог, мистер Риарден! — выкрикнула старая женщина с головой, обмотанной истертой шалью. — Вы спасете нас, мистер Риарден? Они едят нас живьем, им никого не обмануть словами о том, что во всем виноваты богачи. Что с нами будет?

— Послушайте, мистер Риарден, — перебил ее мужчина, по виду заводской рабочий. — Это бо-

гачи пустили нас на дно. Скажите этим богатым ублюдкам, которые с радостью покинули все дела, что, бросив свои дворцы, они содрали с нас последнюю шкуру.

— Я знаю, — ответил Риарден.

«Вина целиком на нашей совести, — думал он. — Мы сами — движущая сила, благодетели человечества — согласились, чтобы нас заклеймили печатью зла, и молча сносили наказание за свои добродетели. Так чего же мы ожидали, какое «добро» могло одержать победу в нашем мире?»

Он оглядел стоящих перед ним людей. Сегодня они приветствовали его. Люди приветствовали его, стоя по сторонам дороги «*Линии Джона Голта*». Но завтра они станут требовать от Уэсли Моуча новой директивы по новому, безналоговому проекту строительства жилых домов, реализуемому Орреном Бойлем именно в ту минуту, когда его балки рухнут им на головы. Они сделают это, потому что им прикажут забыть как давний грех то, за что они славословили Хэнка Риардена.

Отчего они готовы обратить свои высшие достижения в грех? Почему предают лучшее, что в них есть? Что заставляет их верить в то,

что земля есть юдоль зла, где им предначертано одно страдание? Риарден не мог назвать причину этого, но понимал, что ей нужно найти название. Ему казалось, что в зале суда перед ним возник огромный знак вопроса, на который он обязан ответить.

Вот настоящий приговор, вынесенный ему сегодня, думал Риарден: отгадать, что за идея, понятная самому простому смертному, заставила человечество принять доктрины, приведшие его к саморазрушению.

— Хэнк, теперь я больше не стану думать, что все безнадежно, никогда в жизни, — сказала Дагни вечером после процесса. — Меня ничто не заставит бросить мое дело. Ты доказал, что право всегда работает и всегда побеждает, — она замолчала, потом добавила: — Если человек знает, что́ есть право.

* * *

На следующий день за обедом Лилиан сказала:

— Итак, ты выиграл процесс, не так ли?

Ее голос звучал как-то невнятно, больше она не сказала ничего. Она смотрела на него так, словно пыталась разгадать загадку.

Кормилица спросил его на заводе:

— Мистер Риарден, что такое нравственный принцип?

— То, что причиняет множество неприятностей.

Парнишка пожал плечами и со смехом произнес:

— Боже, какое получилось чудесное шоу! Ну и задали вы им трепку, мистер Риарден! Я сидел у приемника и вопил.

— Как ты понял, что это победа?

— Но ведь вы победили, правда?

— Ты в этом уверен?

— Конечно, уверен.

— То, что убеждает тебя в победе, и есть нравственный принцип.

Газеты молчали. После преувеличенного внимания, которое они уделяли предстоящему суду, они вели себя так, словно говорить о нем уже нет никакой необходимости. Все опубликовали короткие сообщения на разных полосах, изложенные таким языком, что никто из читателей не смог бы догадаться о противоречивости процесса.

Бизнесмены, с которыми он встречался, казалось, старались избегать разговоров о суде. Некоторые вообще его никак не комментиро-

вали. Отворачивались, скрывая под напускным безразличием свое тайное негодование, будто боялись, что даже простой взгляд на Риардена могут интерпретировать как точку зрения. Другие изрекали:

— По моему мнению, Риарден, вы поступили неумно… Мне кажется, что сейчас не время заводить врагов… Мы не можем позволить себе вызывать недовольство.

— Чье недовольство? — спрашивал он.

— Не думаю, что правительству это понравится…

— Увидите, какие будут последствия…

— Ну, я не знаю… Общество не примет этого…

— Вы еще увидите, *как* люди примут произошедшее…

— Ну, не знаю… Мы так старались не давать оснований для всех этих обвинений в личной наживе, а вы сами дали врагу оружие против нас…

— Может, вы готовы согласиться с врагом, что у вас нет права на личную прибыль и собственность?

— О, нет. Нет, конечно, нет, зачем доводить все до крайности? Всегда есть золотая середина.

— Золотая середина между вами и вашими убийцами?

— К чему такие слова?

— Я сказал на процессе правду или неправду?

— Ваши слова можно неправильно понять и извратить.

— Так правду я сказал или нет?

— Публика слишком тупа, чтобы в этом разобраться.

— Так правду я сказал или нет?

— Сейчас, когда народ голодает, не время похваляться богатством. Это может толкнуть людей на захват всего и вся.

— Но разве разговоры о том, что вы не имеете права на богатство, а они имеют, не могут подстрекать людей?

— Я не знаю…

— Мне не нравится то, что вы сказали на процессе, — заявил еще один.

— Я вообще с вами не согласен, — отрезал третий. — Я лично горжусь тем, что тружусь на благо общества, а не для собственной наживы. Мне нравится думать, что у меня есть более высокая цель, чем просто зарабатывать себе на трехразовое питание и лимузин «хэммонд».

— А мне не нравится идея об отмене директив и контроля, — высказался четвертый. — Они, конечно, перегибают палку, но чтобы работать

совсем без контроля? Я не могу с этим согласиться. Считаю, что немного контроля необходимо. Ровно столько, чтобы обеспечить общественное благо.

— Прошу меня простить, господа, — сказал Риарден, — за то, что спасу ваши головы заодно со своей.

Группа бизнесменов, возглавляемая мистером Моуэном, не высказалась относительно судебного процесса. Но спустя неделю они с большой помпой объявили, что финансируют строительство центра развлечений и отдыха для детей безработных.

Бертрам Скаддер не упомянул в своей колонке судебный процесс. Но по прошествии десяти дней он написал среди коротких заметок в рубрике «Разное»: «Сама идея о публичной значимости мистера Хэнка Риардена могла возникнуть из-за того факта, что из всех социальных групп он, по-видимому, самый непопулярный среди своих коллег-бизнесменов. Его старомодный ярлык безжалостности кажется слишком шокирующим даже самым хищным промышленным баронам».

* * *

Однажды декабрьским вечером, когда улица за окном напоминала больное горло, кашляющее автомобильными сигналами в предрождественских пробках, Риарден сидел в своем номере в отеле «*Уэйн-Фолкленд*», пытаясь побороть врага, более страшного, чем усталость или страх: отвращение, возникающее при мысли о необходимости иметь дело с людьми.

Он сидел, не в силах отправиться на улицу, не в силах двинуться, будто прикованный к стулу и к своей комнате. Он часами старался избавиться от мысли, что настигала его с настойчивостью ностальгии: единственный человек, которого он хочет видеть, находится здесь, в отеле, несколькими этажами выше.

Он поймал себя на том, что, входя в отель или выходя из него, задерживается в фойе, околачиваясь без необходимости у почтовых ящиков и стоек с газетами, оглядываясь на потоки спешащих людей, надеясь увидеть среди них Франсиско д'Анкония. Заметил, что, нередко обедая в одиночку в ресторанах отеля, не сводит глаз с портьер у входа. Теперь, сидя у себя в номере, он думал о том, что их разделяет всего

несколько этажей.

Он поднялся, возмущенно хохотнув. «Веду себя, как женщина, которая ожидает телефонного звонка и борется с желанием прервать пытку, первой сделав шаг навстречу», — подумал он. Наконец он решил, что причины, по которой он не может отправиться к Франсиско д'Анкония, если он действительно этого хочет, не существует. И все же, сказав себе, что сегодня пойдет к нему, Риарден почувствовал в охватившем его облегчении опасный оттенок капитуляции.

Шагнул к телефону, чтобы позвонить в номер Франсиско, но остановился. Не этого ему хотелось. Он желал просто войти непрошеным гостем, как Франсиско явился к нему в контору, словно установив между ними негласное право на подобные визиты.

По пути к лифту Риарден говорил себе: может, его нет в номере, а если он там и развлекается с девицей, вот будет фокус. Но это казалось нереальным, он не мог представить себе в такой ситуации человека, которого видел у развер-стой огненной печи. Он самонадеянно поднялся в лифте на нужный этаж, прошел по коридору, чувствуя, как горечь растворяется в веселье, и постучал в дверь.

— Войдите! — раздался рассеянный голос Франсиско.

Риарден отворил дверь и остановился на пороге. Посреди комнаты на полу стояла одна из дорогущих ламп под атласным абажуром, бросая круг света на широкие листы чертежей. Франсиско д'Анкония в нарукавниках, с упавшей на лицо прядью волос, лежал на полу, опираясь на локти, покусывая кончик карандаша, погрузившись в изучение какой-то точки на чертеже. Он не поднял головы, казалось, позабыв о том, что в дверь стучали. Риарден попытался рассмотреть чертеж: изображение напоминало секцию плавильной печи. Он застыл, заинтригованный: если бы он нарисовал свой собственный образ Франсиско, картина была бы именно такой: целеустремленный молодой человек, задумавшийся над трудной задачей. В это мгновение Франсиско вскинул голову. В следующую секунду поднялся на колени, глядя на Риардена с невероятно радостной улыбкой. Затем быстро схватил чертеж и отбросил в сторону, торопливо перевернув изображением вниз.

— Я помешал? — спросил Риарден.

— Нисколько, входите, — Франсиско улыбался. Риарден внезапно уверился в том, что Франсиско

его ожидал, ожидал победы, на которую не слишком надеялся.

— Чем занимаешься? — спросил Риарден.

— Так, развлекаюсь.

— Покажи мне.

— Нет, — он поднялся и отшвырнул чертеж ногой.

Риарден заметил, что, хоть его и раздражало хозяйское поведение Франсиско в его заводском кабинете, сам он сейчас грешил тем же: не объясняя причины своего визита, просто пересек комнату и уселся в кресло, непринужденно, словно у себя дома.

— Почему ты не пришел продолжить начатый разговор? — спросил он.

— Вы великолепно продолжили начатое без моей помощи.

— Ты имеешь в виду мой судебный процесс?

— Да, ваш процесс.

— Откуда ты знаешь? Тебя там не было.

Франсиско улыбнулся, потому что в вопросе скрывалось признание: *я ждал, что ты придешь*.

— Вы не предполагаете, что я слышал каждое слово по радио?

— Слышал? Хорошо, как тебе понравились твои

собственные идеи, высказанные мной, твоим подставным лицом, в эфире?

— Вы не мое подставное лицо, мистер Риарден. И идеи не мои. Разве не по этим правилам вы прожили всю свою жизнь?

— Да, по этим.

— Я всего лишь помог вам понять, что вы можете гордиться, живя именно так.

— Я рад, что ты слушал процесс.

— Это было грандиозно, мистер Риарден, но запоздало примерно на три поколения.

— Что ты имеешь в виду?

— Если бы в то время хоть одному бизнесмену хватило смелости сказать, что он работает только ради своей пользы, и сказать это с гордостью, он мог бы спасти мир.

— Мне не кажется, что наш мир погиб.

— Не погиб. Никогда не погибнет. Но, боже мой, каким же он стал!

— И все же, я думаю, мы должны бороться, неважно, в каком веке мы живем.

— Да… Знаете, мистер Риарден, я предлагаю вам перечитать запись судебного процесса, ваше выступление. А потом разобраться, усвоили ли вы изложенное твердо и полностью или нет.

— Хочешь сказать, что не усвоил?

— Сами решите.

— Я понимаю, что ты очень многое хотел мне сказать, когда нас прервали в ту ночь на заводе. Почему ты не закончил?

— Еще слишком рано.

Франсиско вел себя так, словно не видел в визите Риардена ничего необычного, он вообще никогда не страдал от скованности в его присутствии. Но все же казалось, что он не настолько спокоен, как ему бы хотелось. Он мерил комнату шагами, словно пытаясь освободиться от чувства, которого не хотел выдавать. Забыл, что единственная лампа, освещавшая комнату, по-прежнему стоит на полу.

— На пути открытий вам довелось пережить ужасную трепку, не так ли? — продолжил Франсиско. — Как вам понравилось поведение ваших собратьев-бизнесменов?

— Полагаю, этого следовало ожидать.

Голосом, напряженным от избытка эмоций, Франсиско произнес:

— Прошло двенадцать лет, а я до сих пор не могу смотреть на это равнодушно! — слова вырвались против воли, словно он так и не сумел удержать скрытые мысли.

— Прошло двенадцать лет… со времени чего? —

спросил Риарден.

После короткой паузы Франсиско спокойно ответил:

— С того момента, как я понял, что делают эти люди. — И добавил: — Я знаю, через что вы проходите сейчас… и что еще вам предстоит пережить.

— Благодарю, — проговорил Риарден.

— За что?

— За то, что ты так стараешься не наговорить мне лишнего. Но не волнуйся за меня. Я еще многое способен вынести. Знаешь, я пришел не для того, чтобы говорить о себе или даже о судебном процессе.

— Готов обсуждать любой предмет, лишь бы видеть вас здесь, — тон насмешливой учтивости не сумел скрыть, что Франсиско действительно рад его видеть. — О чем вы хотели поговорить?

— О тебе.

Франсиско замер на месте. Он мгновение смотрел на Риардена, потом тихо ответил:

— Хорошо.

Если бы чувства Риардена вылились в слова и сломали барьер его воли, он закричал бы: «Не бросай меня, ты мне нужен, я борюсь против всех, меня прижали к краю пропасти, я обречен

бороться сверх отпущенных мне сил, и единственное оружие, необходимое мне, — сознание того, что есть на свете человек, которому я доверяю, которого уважаю и которым восхищаюсь».

Вместо этого он спокойно и очень просто сказал, и единственной ноткой, связавшей их, была нотка искренности, прозвучавшая в прямом, открытом утверждении и подразумевавшая ответную честность собеседника.

— Знаешь, я думаю, что единственное настоящее преступление, которое человек может совершить против другого человека, — попытка словами или поступками создать у него впечатление противоречия, невозможного и иррационального, и этим потрясти основы рациональности своей жертвы.

— Это верно.

— Если я скажу, что ты поставил меня перед дилеммой, поможешь ли ты мне, ответив на очень личный вопрос?

— Попытаюсь.

— Думаю, нет нужды говорить — ты и сам это знаешь, — что ты человек величайшего ума из всех, кого я знал. Я пришел к выводу, что ты отказался от развития своих способностей. Но поступок, совершенный в отчаянии, необязательно

служит ключом к характеру человека. Я всегда считал, что главный ключ в том, что человек считает наслаждением. И вот что мне кажется непостижимым: неважно, от чего именно отказавшись, ты решил остаться в живых, но как ты можешь находить удовольствие в жизни, посвятив себя погоне за женщинами и дурацкими развлечениями?

Франсиско смотрел на него с легкой улыбкой, словно говоря: «Так ты не хочешь говорить о себе? А в чем ты только что признался, если не в безнадежном одиночестве, из-за которого вопрос о моем характере более важен, чем все остальные?» Улыбка спряталась за мягким, добродушным смешком, словно ответ не представлял никакой проблемы, не требовал раскрыть ни одного болезненного секрета.

— Существует способ разрешить любую дилемму подобного рода, мистер Риарден. Проверьте логические предпосылки, — он уселся на пол, с удовольствием устраиваясь поудобнее для приятной беседы. — Вы сами сделали заключение о том, что я — человек величайшего ума?

— Да.

— Вы точно знаете, что я провожу свою жизнь в погоне за женщинами?

— Ты никогда этого не отрицал.

— Отрицать? Я потратил много сил, чтобы создать такое впечатление.

— Ты хочешь сказать, что оно ложное?

— Я произвожу на вас впечатление человека с комплексом неполноценности?

— Господи, конечно, нет!

— Только такие люди посвящают свою жизнь погоне за женщинами.

— Что ты хочешь этим сказать?

— Помните, я говорил вам о людях, перевернувших закон о причине и следствии? О тех людях, которые пытаются заменить разум продуктами разума? Так вот, мужчина, презирающий себя, пытается повысить самооценку с помощью сексуальных приключений, что сделать невозможно, поскольку секс не только причина, но следствие и выражение его собственной ценности.

— Объясни поподробнее.

— Вам никогда не приходило в голову, что здесь многое совпадает? Люди, думающие, будто богатство приходит из материальных источников и не имеет интеллектуальных корней, считают также, что секс — физиологическая способность, не зависящая от разума, выбора или системы ценностей. Они полагают, что тело рождает

желание и делает за вас выбор, как если бы железная руда своей волей превращала себя в рельсы. Любовь слепа, говорят они, секс невосприимчив к доводам разума и смеется над всеми усилиями философов. Но на деле сексуальный выбор человека — результат и сумма его базовых убеждений. Скажите мне, что́ человек считает сексуально привлекательным, и я раскрою вам всю его жизненную философию. Покажите мне женщину, с которой он спит, и я расскажу вам о его самооценке. Неважно, насколько извращено его представление о добродетели самоотвержения, секс — наиболее эгоистичное из всех человеческих деяний, которое невозможно совершить ни по какому мотиву, кроме собственного наслаждения. Разве можно подумать о том, чтобы заниматься любовью по причине бескорыстного милосердия? Секс невозможен в состоянии самоуничижения, он — выражение тщеславия, уверенности в том, что вы желанны и достойны желания. Он обнажает мужчину духовно точно так же, как и телесно, заставляя принять истинное эго за стандарт ценности. Такой мужчина всегда привлекателен для женщины, чья капитуляция позволяет ему испытать — или сымитировать — чувство своей значимости.

Для мужчины, уверенного в собственной ценности и гордящегося этим, желанным будет самый высокий тип женщины — та, которой он восхищается, самая сильная. Та, с кем невозможно соперничать. Потому что только обладание героиней принесет ему чувство истинного достижения, а не близость с безмозглой потаскушкой. Он не стремится… Что случилось? — спросил он, уловив во взгляде Риардена напряжение, явно неуместное в чисто абстрактной дискуссии.

— Продолжай, — тяжело ответил Риарден.

— Он не стремится повысить свою ценность, он хочет выразить ее. Между принципами его разума и телесными желаниями конфликта нет. Но мужчину, убежденного в собственной никчемности, будет тянуть к женщине, которую он презирает, потому что она отражает его собственную скрытую сущность. Она уведет его из объективной реальности, в которой он — фальшивка, создаст для него недолговечную иллюзию его ценности и позволит на краткое время скрыться от законов морали, осуждающих его. Представьте отвратительную кутерьму, в которую большинство мужчин превращают свою сексуальную жизнь, и ту путаницу противоречий, которую они принимают за свою нравственную филосо-

фию. Одно следует из другого. Любовь — наш отклик на наши высшие ценности, и ничем иным быть не может. Позвольте человеку извратить свои ценности и цель существования, вбейте ему в голову, что любовь — не наслаждение, а самоотречение, что добродетель не в гордости, а в милостыне, что она не отражение ценностей, а отклик на недостатки, и он разорвется надвое. Его тело перестанет ему повиноваться, оно превратит его в импотента по отношению к женщине, которую он якобы любит, и повлечет к шлюхе самого последнего пошиба. Тело всегда будет следовать логике его глубинных убеждений. Если он поверит, что пороки — ценность, его существование обратится во зло, и одно только зло станет привлекать его. Он опорочит себя и решит, что разврат — единственное, чем стоит наслаждаться. Он приравняет добродетель к боли и уверует в то, что грех — единственный источник наслаждения. Тогда он возопит, что его тело рождает греховные желания, которым разум не в силах противостоять, что секс — грех, что истинная любовь — не более чем чистая эмоция духа. А потом станет изумляться тому, что любовь не приносит ему ничего, кроме скуки, а секс — ничего, кроме стыда.

С отсутствующим взглядом, медленно, не осознавая, что думает вслух, Риарден произнес:

— Наконец-то… Я никогда не понимал, что есть другой догмат… никогда не чувствовал вины за то, что делал деньги.

Не заметив важности первых слов Риардена, Франсиско улыбнулся и с воодушевлением сказал:

— Вы уловили, что здесь все совпадает? Нет, вы никогда не примете их порочного кредо. Вам не удастся насильно внедрить его в свое сознание. Если вы и попытаетесь назвать секс злом, то все равно против воли будете руководствоваться принципами морали. Вас привлечет самая замечательная из всех встреченных вами женщин. Вы всегда мечтали о полубогине. Вы не способны презирать самого себя. Вы не способны поверить в то, что существование — зло, а вы — беспомощное создание в ловушке безжалостного мира. Вы — человек, всю жизнь изменявший бытие по собственному разумению. Вы человек, знающий, что идея, не нашедшая реального воплощения — жалкое лицемерие, и такова платоническая любовь, а физиологический акт, не руководимый идеей — глупый самообман, как секс, отсеченный от системы

ценностей человека. Суть все та же, и вы это знаете. Это знает ваше непоколебимое чувство самоуважения. Вы не смогли бы желать женщину, которую презираете. Только мужчина, превозносящий чистоту любви, лишенной плотского желания, способен на безнравственность плотского желания без любви. Посмотрите вокруг, большинство мужчин, словно рассеченные на две части, в отчаянии бросаются то к одной своей половине, то к другой. Одна часть — это человек, презирающий деньги, заводы, небоскребы и собственное тело. Он цепляется за невыразимые чувства к непостижимым предметам, таким как смысл жизни и стремление к добродетели. Он плачет от отчаяния, потому что ничего не испытывает к женщинам, которых уважает, но оказывается связанным непреодолимой страстью к шлюхе. Такого человека называют идеалистом.

Другая половина — тот, кого называют практичным человеком, презирает принципы, абстрактные понятия, искусства, философию и собственный разум. Он рассматривает приобретение материальных объектов как единственную цель своего существования и смеется над необходимостью соизмерять цель и средства. Он ждет,

что ему дадут наслаждение, и недоумевает: почему, чем больше он получает, тем меньше чувствует. Этот человек проводит время в погоне за женщинами. Рассмотрим тройной обман, который он совершает над собой. Он не признает своей потребности в самоуважении, поскольку поднимает на смех такие понятия, как нравственные ценности, и чувствует глубочайшее презрение к самому себе, проистекающее из осознания того, что он — не более чем кусок мяса. Он не признается в этом, но уверен, что секс — физиологическая дань личностным ценностям. Вот он и пытается, начиная со следствия, достичь того, что должно быть причиной. Он пытается получить чувство самоуважения от женщин, которые капитулируют перед ним, но забывает о том, что женщины, которых он выбирает, не имеют ни характера, ни рассудительности, ни стандартов ценности. Он говорит себе, что все, чего он хочет — физическое наслаждение, но замечает, что устает от своих женщин через неделю или после единственной ночи, что он презирает профессиональных шлюх и любит воображать, что соблазняет невинных девушек, считающих его человеком исключительным. Он стремится к чувству победы, но никогда его не обретет.

Что за честь в завоевании тела, лишенного разума? Подходит ко мне это описание?

— Нет!

— Тогда вы можете судить сами, не задавая мне лишних вопросов, многих ли женщин я добился за свою жизнь.

— Но зачем тогда ты появлялся на первых страницах газет за последние, кажется, лет двенадцать?

— Я потратил кучу денег на самые отвратительные и вульгарные вечеринки, какие только можно себе представить, и старался не появляться с приличными женщинами. Что до остального… — Франсиско помолчал, потом добавил: — Некоторым моим друзьям известно об этом. Но вы — первый, кому я признаюсь, нарушая собственные правила: я никогда не спал с этими женщинами. Не прикасался ни к одной из них.

— Самое невероятное, что я тебе верю.

Лампа на полу бросила пятна света на лицо Франсиско, когда он с невинной улыбкой наклонился вперед.

— Если бы вы внимательно посмотрели на те газетные страницы, то заметили бы, что *я сам* никогда ничего не заявлял. Это женщины рвались в печать со своими историями, намекаю-

щими, что, если их видели в ресторане вместе со мной, значит, у нас роман. Можно предположить, что женщины стремились к тому же, что и банальный бабник — они желали повысить собственную ценность за счет количества и скандальной славы тех мужчин, которых они завоевали. Только их случай еще фальшивее, потому что ценность, к которой они стремились — даже не конкретный факт, а попытка произвести впечатление на других женщин и вызвать у них зависть. Что ж, я давал этим бабенкам то, чего они искали, и именно то, чего они хотели, а не обман, который скрыл бы от них истинную сущность их стремлений. Думаете, они хотели спать со мной или с другими мужчинами? Они не способны на столь реальное и честное желание. Им нужна была пища для тщеславия, и я ее предоставлял. Давал возможность похваляться перед друзьями и любоваться собой на страницах скандальных газет в образе великих соблазнительниц. Но знаете ли вы, что это действовало точно так же, как на вашем судебном процессе? Если вы хотите разрушить какой-нибудь порочный обман, соглашайтесь с ним буквально, не добавляйте ничего личного, не маскируйте его сущность. Все те женщины это понимали.

И знали, приносит ли удовлетворение чужая зависть к твоей победе, которой ты на самом деле не добился. Вместо самоуважения, разрекламированные романы со мной наградили их еще более глубоким чувством неполноценности: каждая из них знала, что потерпела неудачу. Если для женщины затащить меня в постель значило добиться публичного стандарта ценности, она знала, что никогда его не достигнет. Но мой секрет никогда не раскроют, потому что каждая из женщин думает, что она единственная, кто потерпел поражение, а все другие одержали надо мной победу, а значит, она с еще большим азартом будет клясться, что у нас роман *был*, и никогда никому не откроет правды.

— Но что ты сделал со своей репутацией?

Франсиско пожал плечами:

— Те, кого я уважаю, рано или поздно узнают правду. Другие же, — его лицо посуровело, — другие думают, что я — воплощенное зло. Пусть принимают меня за того, кем я кажусь на первых страницах газет.

— Но чего ради? Зачем ты это делаешь? Чтобы преподать им урок?

— Черт, нет, конечно! Я хотел, чтобы меня считали плейбоем.

— Зачем?

— Плейбой — это человек, который позволяет деньгам утекать у него между пальцами.

— Зачем ты играл такую неблаговидную роль?

— Это камуфляж.

— Для чего?

— Для достижения собственной цели.

— Какой?

Франсиско покачал головой:

— Не просите меня отвечать. Я и так уже сказал больше, чем должен был. Остальное вы так или иначе скоро узнаете.

— Если ты сказал больше, чем должен был, то почему именно мне?

— Потому что… вы первый за много лет, кто вызвал во мне желание открыться, — голос его звучал предельно искренне. — Потому что я никогда не хотел, чтобы кто-то, кроме вас, узнал обо мне правду. Потому что знал, что вы, как и я сам, презираете плейбоя больше всех других человеческих типов. Плейбой? Я в жизни не любил никого, кроме одной женщины, я и сейчас ее люблю и всегда буду любить! — слова вырвались против его воли, и он добавил, понизив голос: — Я не признавался в этом никому… даже ей.

— Ты ее потерял?

Франсиско сидел, глядя в пространство, и Риарден не видел его глаз, только рот — опустившиеся уголки губ, выражением мрачной покорности. Риарден понял: лучше этой раны больше не касаться.

Настроение Франсиско, как обычно, резко изменилось, и он, вставая, с улыбкой произнес:

— Что-то беседа затянулась!

— Раз уж ты доверился мне, — сказал Риарден, — я в ответ хочу рассказать тебе о своей тайне. Хочу, чтобы ты знал, как сильно я доверял тебе еще до того, как пришел сюда. И позднее мне может понадобиться твоя помощь.

— Вы — единственный человек, которому я хотел бы помочь.

— Я еще многого в тебе не понимаю, но уверен в одном: ты не друг мошенникам.

— Не друг, — в глазах Франсиско мелькнула искра веселья.

— Поэтому я уверен, что ты не выдашь меня, если я скажу, что собираюсь продолжить продажу своего металла клиентам по собственному выбору, как только увижу подходящую возможность. Как раз сейчас я готовлюсь к сделке, в двадцать раз превосходящей ту, за которую меня судили.

Сидя на подлокотнике кресла, Франсиско на-

хмурился и подался вперед, молча глядя на него.

— Вы думаете, что таким образом боретесь с ними? — спросил он.

— А как, по-твоему, это называть? Сотрудничеством?

— Сначала вы работали и производили для них металл ценой потери своей прибыли, потери друзей, обогащения подонков, пытавшихся вас ограбить, и сносили брань за то, что позволяли им выживать. Теперь вы хотите делать это, рискуя занять позицию преступника и в любой момент попасть в тюрьму, ради сохранения системы, поддерживать существование которой возможно лишь ценой жертв, только нарушая собственные законы.

— Я это делаю не ради системы, а для клиентов, которых я не могу отвергнуть из милосердия к их системе. Я не намерен продлевать существование их системы, я не намерен позволить им остановить меня, неважно, насколько тяжело мне придется, и не намерен отдать им мир, даже если я останусь последним выжившим.

В данный момент этот нелегальный заказ для меня важнее, чем все мои заводы.

Не ответив, Франсиско медленно покачал головой. Потом спросил:

— Кому из ваших друзей в меднодобывающей промышленности вы хотите предоставить привилегию донести на вас на сей раз?

Риарден улыбнулся:

— На сей раз этого не случится. Я заключил сделку с человеком, которому доверяю.

— Правда? И кто же это?

— Ты.

Франсиско резко выпрямился:

— Что? — ему почти удалось скрыть изумленное «Ах!».

Риарден улыбался.

— Тебе не известно, что я теперь твой клиент? Все сделано через пару подставных лиц и под фальшивым именем, но мне нужна твоя помощь, чтобы твои сотрудники не слишком совали нос в это дело. Мне нужна эта медь, нужна вовремя, и меня не волнует, арестуют ли меня после того, как всё получится. Я знаю, что ты потерял интерес к своей компании, своему состоянию, своей работе, потому что не желаешь иметь дело с мошенниками вроде Таггерта и Бойля. Но если ты действительно веришь в то, чему меня научил, если я — последний, кого ты уважаешь, ты поможешь мне выжить и разбить их. Я никогда ни у кого не просил помощи. Я прошу

помощи у тебя. Ты мне нужен. Я тебе доверяю. Ты никогда не скрывал своего восхищения мной. Что ж, моя жизнь в твоих руках, бери ее, если хочешь. Медь «*Д'Анкония Коппер*» уже отгрузили и везут мне. Судно вышло из Сан-Хуана пятого декабря.

— Что?!!

Это был почти вопль отчаяния. Франсиско вскочил на ноги, не в силах скрывать чувства.

– *Пятого декабря?*

— Да… — ответил растерянный Риарден.

Франсиско подскочил к телефону.

— Я же говорил вам, чтобы вы не имели дела с «*Д'Анкония Коппер*»! — это был то ли гневный вскрик, то ли стон.

Уже протянутая было рука отдернулась от телефона. Он схватился за угол стола, словно пытаясь удержаться и не снять телефонную трубку. Ни сам Франсиско, ни Риарден не могли бы сказать, как долго он стоял, опустив голову. Риарден впал в оцепенение, следя за напряженной, неподвижной фигурой, внутри которой шла ожесточенная борьба, больше напоминавшая агонию. Он не мог знать причин этой борьбы, понял только, что Франсиско обладает силой, достаточной, дабы многое предотвратить,

но *не может* ее применить.

Когда Франсиско поднял голову, Риарден увидел лицо, отмеченное таким нечеловеческим страданием, что, казалось, можно услышать крик боли. Лицо было тем ужаснее, что выражало твердость, будто решение уже принято и принято ужасной ценой.

— Франсиско… что случилось?

— Хэнк, я… — он потряс головой, потом выпрямился.

— Мистер Риарден… — голос был исполнен отчаяния и твердости, словно Франсиско сознавал безнадежность мольбы. — Когда вы будете готовы проклинать меня, когда будете готовы разувериться в каждом моем слове… Клянусь вам именем той женщины, которую люблю, что я — вам друг.

Искаженное болью лицо Франсиско в тот трагический момент всплыло в памяти Риардена через три дня, сквозь ослепляющее потрясение потери и ненависти. Оно вернулось к нему, когда, стоя у радиоприемника в своей конторе, он подумал, что теперь должен держаться подальше от отеля «*Уэйн-Фолкленд*», иначе он убьет Франсиско д'Анкония, как только его увидит. Этот образ постоянно возвращался к нему и тогда, когда

он услышал сообщение о том, что три сухогруза «*Д'Анкония Коппер*», следовавшие рейсом Сан-Хуан — Нью-Йорк, были атакованы Рагнаром Даннескьолдом и отправлены на дно океана, и потом, когда он понял, что с этими судами он потерял гораздо больше, чем медь.

ГЛАВА V. СЧЕТ ПРЕВЫШЕН

Впервые в истории «*Риарден Стил*» произошел провал. Впервые металл не был доставлен согласно заказу. Но пятнадцатого февраля, в назначенный день поставки рельсов для компании Таггертов, это уже никого не волновало.

Зима началась рано, в конце ноября. Люди говорили, что это самая суровая зима за все время наблюдений, и в необычной свирепости метелей упрекать некого. Никому и в голову не приходило припомнить, что раньше, какими бы ни были вьюги, улицы освещались, дома отапливались, поезда не прекращали движение, зимняя непогода не оставляла за собой сотни трупов.

В последнюю неделю декабря, когда компания «*Данаггер Коул*» впервые запоздала с поставкой топлива для «*Таггерт Трансконтинентал*», кузен Данаггера объяснил, что ничем не может помочь. Ему пришлось сократить рабочий день до шести часов, сказал он, чтобы поднять моральный настрой людей, которые работали не так хорошо, как при Кеннете Данаггере. По его словам, они стали апатичными и небрежными, потому что их истощила жесткая дисциплина преж-

него руководства. Он не мог ничего поделать, потому что половина его управляющих и бригадиров, проработавших в компании по десять, а то и по двадцать лет, поувольнялась без объяснения причин. Он ничего не мог поделать с тем, что между рабочими и новым управляющим персоналом возникли трения, несмотря на то, что новички оказались людьми более либеральными, чем прежние начальники. Сказал, что это всего лишь вопрос притирки. Кузен Кена не мог ничего поделать и с тем, что уголь, предназначенный для «*Таггерт Трансконтинентал*», в самый вечер назначенной отгрузки перераспределили в пользу Бюро помощи зарубежным странам для Народной Республики Англии. Этого требовала неотложная необходимость: люди в Англии голодали, все их государственные заводы позакрывались, и мисс Таггерт возражала напрасно, ведь речь шла всего лишь о задержке на один день.

Задержка на один день. Для грузового состава номер триста восемьдесят шесть, следовавшего по маршруту Калифорния — Нью-Йорк с пятьюдесятью вагонами салата-латука и апельсинов, задержка превратилась в трехдневную. Грузовой состав номер триста восемьдесят шесть ожидал

на запасных путях топлива, которое не поступило вовремя. Когда состав достиг Нью-Йорка, салат и апельсины утопили в Ист-ривер: они слишком долго ждали своей очереди на складах в Калифорнии, из-за урезанного расписания движения и составов, сокращенных, согласно директиве, до шестидесяти вагонов.

Никто, кроме друзей и торговых партнеров, не заметил, что три поставщика апельсинов в Калифорнии вышли из бизнеса, точно так же как и два фермера, специализировавшихся на салате-латуке в Империал-Вэлли. Никто не заметил, что закрылись биржевая брокерская фирма в Нью-Йорке, водопроводная компания, которой биржевая брокерская фирма ссужала деньги, исчез оптовый торговец трубами, который снабжал водопроводную компанию. Когда люди голодают, писали газеты, они не должны сочувствовать неудачам в бизнесе частных предприятий, которые работают ради личной выгоды.

Уголь, отправленный Бюро помощи зарубежным государствам через Атлантику, так и не достиг Народной Республики Англии: его захватил Рагнар Даннескьолд.

Во второй раз «*Данаггер Коул*» запоздала с поставкой топлива для «*Таггерт Трансконти-*

нентал» в середине января, и кузен Данаггера прорычал в телефон, что ничего не может сделать: его шахты закрылись на три дня из-за нехватки смазочных масел для оборудования. Уголь для «*Таггерт Трансконтинентал*» запоздал на четыре дня.

Мистер Куинн из компании по производству шарикоподшипников «*Куинн Болл Беаринг*», когда-то переехавшей из Коннектикута в Колорадо, целую неделю дожидался грузового состава, доставлявшего по его заказу риарден-металл. Когда поезд прибыл, двери «*Куинн Болл Беаринг*» оказались запертыми.

Никто не заметил закрытия компании по производству двигателей в Мичигане, которая ожидала поставки подшипников (механизмы бездействуют, люди в оплачиваемом простое); закрытия лесопилки в Орегоне, тщетно дожидавшейся нового двигателя; закрытия склада пиломатериалов в Айове, оставшегося без снабжения; банкротства строительного подрядчика в Иллинойсе, который, не получив вовремя пиломатериалов, обнаружил, что его контракты аннулированы, а покупатели домов отправлены бродяжничать по занесенным снегом дорогам на поиски того, чего больше нигде не существо-

вало.

Снежная буря в конце января заблокировала пути через Скалистые горы, воздвигнув на главной линии железной дороги «*Таггерт Трансконтинентал*» снежные наносы в тридцать футов высотой. Люди, пытавшиеся расчистить пути, сдались спустя несколько часов: роторные снегоочистители один за другим вышли из строя. Машины пытались отремонтировать, хотя срок их эксплуатации уже два года как истек. Новые снегоочистители так и не доставили — их производитель оставил бизнес, отчаявшись получить у Оррена Бойля необходимую сталь.

Три поезда западного направления оказались в ловушке у Уинстон-Стейшн, высоко в Скалистых горах, где главная линия «*Таггерт Трансконтинентал*» пересекала северо-западную часть штата Колорадо. Они оставались недоступными для отрядов спасателей в течение пяти дней. Поезда не могли пробиться к ним из-за снежной бури. Последние грузовики, изготовленные Лоренсом Хэммондом, разбились на обледеневших склонах горных автодорог.

Посланные на разведку лучшие самолеты Дуайта Сандерса так и не достигли Уинстон-Стейшн — они погибли, сражаясь с бурей.

Пассажиры, замурованные в вагонах поездов, пытались сквозь пелену снегопада рассмотреть огоньки лачуг Уинстона. Ночью второго дня огни погасли. К вечеру третьего дня ледяного плена освещение, тепло и пища в поездах закончились. В короткие минуты затишья, когда метель делала передышку и черная пустота соединяла погруженную во мрак землю с беззвездным небом, пассажирам удавалось рассмотреть на юге, за много миль от Уинстона, тонкий язычок пламени, развевавшийся на ветру. Это горел Факел Уайэтта.

К утру шестого дня, когда поезда смогли сдвинуться с места и проследовали по склонам Юты, Невады и Калифорнии, машинисты рассматривали мертвые трубы и запертые ворота небольших заводов, которые во время их прошлого рейса еще работали.

«Бури — деяние Божье, — писал Бертрам Скаддер, — и никто не может нести ответственность перед обществом за погоду».

Нормы расходования угля, разрешенные Уэсли Моучем, позволяли отапливать дома по три часа в день. Не было ни дров для печей, ни металла, чтобы эти печи изготовить, ни инструментов, чтобы установить в домах новое оборудование.

В самодельных печурках из кирпича или бочек из-под нефти профессора сжигали книги из своих библиотек, а производители фруктов — деревья из своих садов. «Лишения укрепляют человеческий дух, — писал Бертрам Скаддер, — и закаляют сталь общественной дисциплины. Жертвы — это те кирпичики, которые, словно цемент, сплачивают людей, образуя величественное здание общества».

«Нацию, сделавшую своим кредо величие, достигнутое при помощи производства, сегодня убеждают, что оно достигнуто мерзостью запустения», — сказал в одном из интервью Франсиско д'Анкония. Его слова не опубликовали.

Индустрия развлечений, единственная из всех, испытала этой зимой подъем. Голодные люди выкраивали центы из тощего бюджета, из денег, отложенных на еду и тепло, и отправлялись в кинотеатры, чтобы на несколько часов убежать от своего животного существования, которое свелось к страху за насущные нужды. В январе по приказу Уэсли Моуча все кинотеатры, ночные клубы и боулинги были закрыты по причине экономии топлива. «Развлечение не является необходимым условием существования», — написал Бертрам Скаддер.

— Учитесь философски смотреть на жизнь, — сказал доктор Саймон Притчетт молодой студентке, разразившейся истерическими рыданиями посреди лекции. Девушка только что вернулась из экспедиции спасателей-добровольцев в поселение на озере Верхнем, где она видела мать, державшую на руках труп взрослого сына, умершего от голода.

«Абсолютных истин не существует, — вещал доктор Притчетт. — Реальность — всего лишь иллюзия. Как эта женщина узнала, что ее сын мертв? Почему она считает, что он вообще существовал?»

Люди с умоляющими глазами и отчаянными лицами стекались к палаткам, где проповедники со злорадным ликованием кричали, что человек бессилен перед силами природы, его наука — обман, разум — источник ошибок, что в наказание он пожинает плоды греха гордыни и чрезмерной уверенности в своем интеллекте, и что только вера в мистические силы может защитить его от трещин в рельсах или прокола последней шины его последнего автомобиля. Любовь — вот ключ к мистическим тайнам, кричали они, любовь и самопожертвование, принесение себя в жертву ради пользы ближнего.

Оррен Бойль принес жертву на алтарь общественной пользы. Он продал Бюро помощи зарубежным государствам для отправки в Народную Республику Германия десять тысяч тонн конструкционной стали, предназначавшейся для железной дороги «*Атлантик Саусерн*». «Мне нелегко далось это решение, — сказал он с увлажненным добродетелью взглядом оцепеневшему от ужаса президенту «*Атлантик*», — но я принял во внимание, что вы — богатая корпорация, а люди в Германии находятся на грани отчаяния. Поэтому я поступил по принципу «помоги нуждающемуся». Если сомневаешься, то сильный должен уступить слабому». Президент «*Атлантик Саусерн*» слышал, что у самого влиятельного вашингтонского друга Оррена Бойля есть друг в Министерстве снабжения Народной Республики Германия. Никто не поручился бы за то, что именно это послужило мотивом поступка Бойля, а не самопожертвование, да и разницы не было никакой: если бы Бойль свято следовал своему кредо самоотречения, он поступил бы точно так же. Это заткнуло рот президенту «*Атлантик*», не рискнувшему признаться в том, что его железная дорога ему дороже, чем все население Германии. Не стал он возражать и против

принципа самопожертвования.

В течение всего января воды Миссисипи, вздувшиеся от снежных бурь, продолжали подниматься. Ветры превратили реку в бурные потоки, беспрестанно сталкивавшиеся друг с другом и со всеми препятствиями на своем пути. Однажды ночью, в первую неделю февраля, когда хлестал дождь со снегом, мост на железной дороге «*Атлантик Саусерн*» рухнул вместе с пассажирским поездом. Локомотив и первые пять вагонов вместе с подломившимися балками канули в черные круговороты реки, упав с высоты восьмидесяти футов. Остальная часть состава осталась на трех устоявших пролетах моста.

«Нельзя съесть пирог и одновременно накормить им соседа», — сказал Франсиско д'Анкония. Ярость обличений, которые хозяева свободной печати обрушили на его голову, намного превосходила их соболезнования по поводу ужасной трагедии на реке.

Шептали, что главный инженер «*Атлантик Саусерн*», в отчаянии от того, что не удалось получить сталь, необходимую для усиления моста, уволился шесть месяцев назад, сообщив компании, что мост может рухнуть в любой момент. Он написал письмо в крупнейшую газету

Нью-Йорка, в котором предупреждал об этом общественность. Письмо не было опубликовано. Шептали, что три пролета моста удержались благодаря усиленным конструкциям из риарден-металла. Но согласно Закону справедливой доли компании удалось получить всего лишь пятьсот тонн металла.

В результате официальной экспертизы два моста через Миссисипи, принадлежавшие дорогам помельче, были закрыты. Одна из этих компаний вышла из бизнеса, другая закрыла наименее перспективную ветку, разобрала рельсы и проложила их до моста через Миссисипи, принадлежащего «*Таггерт Трансконтинентал*»; так же поступила и «*Атлантик Саусерн*».

Большой мост Таггерта в Бедфорде, штат Иллинойс, построил Натаниэль Таггерт. Он несколько лет воевал с правительством, которое, исходя из интересов владельцев речных перевозок, заявляло, что конкуренция железных дорог делает эти перевозки ненужными и угрожает благосостоянию общества, поэтому строительство моста через Миссисипи было запрещено. Правительство приказало Натаниэлю Таггерту разобрать мост и перевозить грузовые и пассажирские вагоны через реку на паромах. Он выиграл битву

в Верховном суде большинством в один голос. Теперь этот мост остался единственным, связывавшим континент воедино. Дагни, верная заветам, сделала своим главным правилом: можно пренебрегать всем остальным, но содержать мост в безупречном состоянии.

Сталь, отправленная через Атлантику Бюро помощи зарубежным государствам, не достигла Народной Республики Германия. Ее захватил Рагнар Даннескьолд, но никто за стенами бюро об этом не узнал, потому что газеты давно уже перестали писать о пиратских действиях Даннескьолда.

Потом люди, которые заметили растущую нехватку, а далее и исчезновение с рынка электрических утюгов, тостеров, стиральных машин и прочих бытовых приборов, начали задавать вопросы и слушать сплетни. Тогда они узнали, что ни одно судно, груженное медью «*Д'Анкония Коппер*», не могло достигнуть портов Соединенных Штатов, потому что ему не удавалось благополучно миновать Рагнара Даннескьолда.

Туманными зимними ночами матросы в порту шепотом передавали историю о том, что этот пират всегда захватывает грузы судов Бюро помощи зарубежным государствам, но никогда

не трогает медь, а просто пускает ко дну сухогрузы «*Д'Анкония Коппер*», позволяя команде пересесть на спасательные шлюпки. Это передавали шепотом, как легенду, не поддающуюся объяснению — никто не мог понять, почему Даннескьолд не забирает себе медь.

Во вторую неделю февраля с целью экономии медных проводов и электрической энергии вышла директива, запрещающая поднимать лифты выше двадцать шестого этажа. Верхние этажи зданий пришлось освободить, а лестницы перегородить некрашеными досками. Специальным разрешением на основании «особой необходимости» было сделано исключение для нескольких крупных корпораций и наиболее фешенебельных отелей. Верхние этажи остальных городских небоскребов погасли.

Население Нью-Йорка никогда прежде не заботила погода. Грозы считались лишь противной помехой, замедлявшей дорожное движение, да еще досаждали большими лужами у входов в ярко освещенные магазины. Шагая против ветра в вечерних туфлях, закутавшись в дождевики и меха, ньюйоркцы считали бурю временным незваным гостем города. Теперь, глядя на снежные сугробы, протянувшиеся вдоль узких улиц,

люди с безотчетным страхом чувствовали, что это они — временные гости, а право преимущественного передвижения принадлежит ветру.

— Забудь об этом, Хэнк, теперь это не имеет для нас значения, — ответила Дагни, когда Риарден сообщил ей, что не сможет доставить рельсы, потому что не нашел поставщика меди.

На «забудь-об-этом-Хэнк» он не ответил, не в силах смириться с первым провалом «*Риарден Стил*».

Вечером пятнадцатого февраля треснула металлическая пластина рельсового соединения, пустив под откос поезд в полумиле от Уинстона, Колорадо, как раз на том участке, где собирались уложить новые рельсы. Станционный служащий Уинстона, вздохнув, вызвал бригаду с краном: еще одна, не самая крупная авария, такие случались едва ли не каждый день, он уже привык к ним.

В тот вечер Риарден, подняв воротник и низко надвинув шляпу на глаза, рассекая ногами позёмку, клубившуюся у самых колен, топтался на заброшенном угольном карьере в богом забытом уголке Пенсильвании, наблюдая за погрузкой пиратски добытого для него угля. Шахта осталась без хозяина, никто не мог оплатить ее

эксплуатацию. Но молодой человек с хриплым голосом и темными злыми глазами, явившийся из голодающего поселка, организовал бригаду безработных и договорился с Риарденом об отгрузке.

Они работали по ночам, складируя уголь в потайных штольнях, получали плату наличными и не задавали вопросов. Виновные лишь в свирепом желании выжить, они и Риарден работали как дикари, в обход закона, права собственности, без контрактов и страховки, лишенные всего, кроме взаимопонимания и абсолютного доверия данному слову. Риарден даже не знал имени молодого человека. Наблюдая за тем, как тот заполняет кузова грузовиков, он думал, что родись этот парень на поколение раньше, быть бы ему крупным промышленником. А теперь он, скорее всего, через несколько лет закончит жизнь как рядовой преступник.

Тем же вечером Дагни присутствовала на заседании совета директоров компании «*Таггерт Трансконтинентал*».

Они сидели за полированным столом в величественном зале совета, непривычно холодном. Люди, на протяжении десятилетий своей карьеры ради собственной безопасности делавшие

непроницаемые лица, произносившие неопределенные слова, носившие безупречную одежду, сегодня чувствовали себя неловко, появившись в нелепых толстых свитерах, обтягивавших животы, в шарфах, намотанных вокруг шей, слыша кашель, разносившийся по помещению, подобно автоматным очередям.

Дагни заметила, что даже Джим утратил свой обычный холеный вид.

Он сидел, втянув голову в плечи, быстро стреляя глазами по лицам присутствующих.

Среди членов совета за столом сидел и человек из Вашингтона. Никто точно не знал его имени и должности, но в этом не было нужды: ведь он — *человек из Вашингтона*. (По фамилии Уизерби, с седыми висками, длинным узким лицом и ртом, производившим впечатление, будто его хозяину приходилось напрягать лицевые мышцы, чтобы держать его закрытым. Это придавало чопорность физиономии, которая больше ничего не выражала.) Директора не знали, в каком качестве он присутствует — гостя, советника или руководителя совета, и предпочитали не задумываться об этом.

— Сегодня, — начал председательствующий, — главная задача — рассмотреть тот факт, что же-

лезнодорожные пути нашей главной линии пребывают в плачевном, если не сказать, критическом состоянии… — сделав паузу, он опасливо добавил: — …в то время как единственные хорошие рельсы у нас на ветке «*Линия Джона Голта*»… я хочу сказать, на линии Рио-Норте.

Тем же осторожным тоном, ожидая, когда кто-нибудь еще подхватит его мысль, другой мужчина произнес:

— Если мы признаем, что нехватка оборудования стала критической, и если решим эксплуатировать до полного износа, обслуживая ветку, приходящую в упадок… — он умолк, так и не произнеся, что же все-таки произойдет.

— По моему мнению, — подхватил худой, мертвенно-бледный мужчина с аккуратными усиками, — линия Рио-Норте становится для нас финансовым бременем, которое компании не под силу, если только не предпринять определенную реорганизацию… — не закончив мысль, он посмотрел на мистера Уизерби. Мистер Уизерби сидел, как будто ничего не слышал.

— Джим, — сказал председательствующий. — Я думаю, ты должен объяснить сложившуюся ситуацию мистеру Уизерби.

Голос Джима звучал привычно гладко, но это

была гладкость ткани, туго натянутой над битым стеклом, и острые края время от времени показывались наружу.

— Думаю, все согласятся с тем, что главным фактором, влияющим на каждую железную дорогу страны, является необычный уровень провалов в бизнесе. Мы все, конечно, понимаем: это всего лишь временные трудности, но на настоящий момент ситуация на дороге достигла той стадии, которую можно назвать отчаянной. Количество заводов, закрытых на территории, обслуживаемой железными дорогами «*Таггерт Трансконтинентал*», столь велико, что вся наша финансовая структура нарушена. Районы и отделения, ранее всегда приносившие устойчивый доход, сегодня приносят значительные потери. Расписания движения поездов составлены в расчете на большой объем грузов, слишком большой для оставшихся троих грузоотправителей, тогда как раньше работали семь. Мы не можем предоставлять обслуживание в прежнем объеме, по крайней мере… при ныне существующих тарифах, — он посмотрел на мистера Уизерби, но тот, кажется, этого не заметил.

— Я полагаю, — продолжил Таггерт, и в его голосе послышались резкие нотки, — что наши

грузоотправители заняли в корне неверную позицию. Большинство из них жалуются на конкурентов и предпринимают различные меры местного характера, чтобы избавиться от соперничества. Сегодня большинство из них практически стали единственными поставщиками своих услуг на рынке и все-таки отказываются понимать, что железная дорога не может предоставить последним оставшимся заводам уровень тарифов грузовых перевозок, ставший возможным только благодаря налаженному производству целого региона. Мы гоним составы себе в убыток, а они по-прежнему занимают позицию против любого… подъема тарифов.

— Против любого *подъема*? — снисходительно переспросил мистер Уизерби, умело изобразив изумление. — О, у них совсем другая позиция.

— Если слухи, которым я отказываюсь доверять, все же верны… — вступил председательствующий, но оборвал фразу на полуслове, услышав в своем голосе явные нотки паники.

— Джим, — любезно произнес мистер Уизерби, — я думаю, будет лучше всего, если мы не станем упоминать тему повышения тарифов.

— Я не предлагал прямо сейчас повысить тарифы, — поспешно ответил Джим. — Я просто

упомянул о них для полноты картины.

— Но, Джим, — сказал старый господин с вибрирующим голосом, — я думал, что ваше влияние… я имею в виду вашу дружбу с мистером Моучем, станет гарантией…

Он умолк, потому что остальные строго посмотрели на него, в подтверждение неписаного правила: не упоминать о провале такого рода, не обсуждать таинственные и непредсказуемые пути влиятельных друзей Джима и того, почему они его подвели.

— Дело в том, — легко произнес мистер Уизерби, — что мистер Моуч послал меня сюда, чтобы обсудить требования профсоюзов железнодорожников о повышении заработной платы и требования грузоотправителей о *снижении* тарифов.

Уизерби говорил тоном небрежной уверенности, зная, что всем присутствующим давно известно об этом, ведь требования обсуждались в газетах уже несколько месяцев. Он понимал, что присутствующие боялись не факта, а того, что его произнесут вслух — словно факта не существовало, и только слова Уизерби обладают силой заставить его стать реальностью. Знал, что они ожидают, продемонстрирует ли он эту

свою способность, вот он и подтвердил, что обладает ею.

Ситуация давала право на выражение протеста, но его не последовало, никто ему не ответил. Тогда Джеймс Таггерт сказал отрывисто, нервно, но не сумев скрыть неуверенности:

— Я не стал бы преувеличивать важность Баззи Уоттса из Национального совета грузоотправителей. Он поднимает много шума и устраивает дорогие обеды в Вашингтоне; нет, я не стал бы принимать его слишком уж всерьез.

— Ну, не знаю, — протянул мистер Уизерби.

— Послушайте, Клем, мне известно, что на прошлой неделе Уэсли отказался встречаться с ним.

— Это верно. Уэсли — очень занятой человек.

— И я знаю, что, когда десять дней назад Джин Лоусон устроил большой прием, там были практически все, а Баззи Уоттса не пригласили.

— Это так, — миролюбиво признал мистер Уизерби.

— Поэтому я бы не слишком считался с мистером Баззи Уоттсом, Клем. И я не буду об этом волноваться.

— Уэсли — человек непредвзятый, — произнес мистер Уизерби. — Человек, приверженный долгу перед обществом. Ради интересов страны

в целом он обязан рассматривать все предложения. — Таггерт выпрямился. Из всех признаков опасности, известных ему, такое развитие беседы было наихудшим. — Никто не в силах отрицать то, Джим, что Уэсли чувствует большую ответственность перед вами как просвещенным бизнесменом, информированным консультантом и одним из своих ближайших личных друзей.

Глаза Таггерта быстро стрельнули в его сторону: дело шло все хуже.

— Но никто не может сказать, что Уэсли стал бы колебаться перед необходимостью принести в жертву собственные чувства и дружеские связи, когда речь идет о благосостоянии общества.

Таггерт по-прежнему казался безмятежным, он никогда не позволял страху отражаться на выражении своего лица. Джим в панике боролся с мыслью, не дающей ему покоя: он слишком долго сам был тем самым «обществом» и понимал, *что* означает, когда этот магический, святой титул, которому никто не отваживался противостоять, произнесенный заодно с «благосостоянием», передавался особе вроде Баззи Уоттса.

Он поспешно спросил о другом:

— Вы же не полагаете, что я ставлю свои лич-

ные интересы выше общественных, не так ли?

— Конечно, нет, — мистер Уизерби почти улыбнулся. — Определенно нет. Не вы, Джим. Ваши понимание ситуации и честное отношение к общественному благу слишком хорошо известны. Вот почему Уэсли ожидает, что вы *всесторонне* рассмотрите сложившееся положение.

— Да, конечно, — Джим оказался в ловушке.

— Итак, рассмотрим дело с позиций профсоюзов. Допускаю, вы не можете позволить себе поднять заработную плату, но как тогда им существовать, если стоимость жизни подскочила до небес? Им же нужно есть, не так ли? Это касается всех — и железнодорожников, и… других, — мистер Уизерби говорил тоном спокойной рассудительности, старательно обходя иные аргументы, скрывая истинный смысл своих слов, и без того понятный всем окружающим. Он смотрел на Таггерта, словно подчеркивая важность *не* произнесенных им слов. — В профсоюзах железнодорожников почти миллион членов. С семьями, иждивенцами и бедными родственниками — а у кого нынче нет бедных родственников? — их число возрастает до пяти миллионов голосов… э-э… я хотел сказать, человек. Уэсли приходится помнить об этом. Он должен учиты-

вать их психологию. Далее, не забывайте о людях. Ваши тарифы были установлены в те годы, когда все делали деньги. Но при теперешнем положении дел стоимость транспортировки стала непосильным бременем для всех. Люди кричат об этом по всей стране, — он взглянул на Таггерта в упор. Он даже не смотрел, а почти подмигивал.

— Их ужасно много, Джим. По многим причинам они сейчас не слишком счастливы. Правительство, сумевшее понизить тарифы, получит благодарность многих людей.

Молчание, послужившее ему ответом, было похоже на столь глубокую яму, что, упади в нее что угодно, никто не услышал бы звука удара о дно. Таггерт, как и все остальные, понимал, какой бескорыстный мотив заставит мистера Моуча принести в жертву свои личные дружеские связи.

Хоть Дагни и пришла сюда, решив не выступать, она не смогла удержаться; затянувшееся молчание заставило ее голос звучать с надрывной резкостью:

— Вы получили то, о чем просили все эти годы, господа?

Быстрота, с которой все посмотрели на нее, была рефлекторной реакцией на неожиданный

звук, но скорость, с которой все тут же отвели глаза — на стол, на стены, куда угодно, только бы не смотреть на нее, — была знаком того, что ее слова поняты верно.

В последовавшие мгновения она почти физически ощутила, как от негодования воздух в комнате сгущается словно перед грозой, и поняла, что их возмущение направлено не против мистера Уизерби, а против нее. Она могла бы еще вытерпеть, что ее вопрос остался без ответа, но от двойного обмана попросту тошнило: сначала они притворились, что игнорируют ее, а затем ответили в присущей им манере.

Не глядя на нее, голосом одновременно уклончивым и многозначительным, председатель заявил:

— Все будет в порядке и отлично сработает, если не попадет в руки… случайных людей, облеченных властью, таких, как Баззи Уоттс и Чик Моррисон.

— О, я не стал бы волноваться о Чике Моррисоне, — сказал мертвенно-бледный мужчина в зеленом шарфе. — Джо Данфи и Бад Хэйзлтон очень близки к Уэсли. Если их влияние одержит верх, у нас все будет хорошо. Однако Кип Чалмерс и Тинки Холлоуэй опасны.

— Я могу позаботиться о Кипе Чалмерсе, — предложил Таггерт.

Мистер Уизерби, единственный в комнате, не смотрел на Дагни. Даже когда его взгляд останавливался на ней, он не отражал ничего; Дагни была единственной в комнате, кого он не замечал.

— Я думаю, — произнес Уизерби, глядя на Таггерта, — что вы должны оказать Уэсли услугу.

— Уэсли знает, что всегда может рассчитывать на меня.

— Что ж, полагаю, если вы согласитесь поднять заработную плату членам профсоюза, мы сможем закрыть на время вопрос о снижении тарифов.

— Я не могу! — Джим почти кричал. — Национальный альянс железных дорог занял непоколебимую позицию против поднятия заработной платы и исключит каждого, кто откажется подчиниться.

— Именно это я и имел в виду, — мягко проговорил мистер Уизерби. — Уэсли хочет вогнать клин в этот альянс. Если такие дороги, как «*Таггерт Трансконтинентал*», выйдут из него, остальным будет проще. Вы очень поможете Уэсли. Он это оценит.

— Но, господи, Клем! По правилам альянса

меня же могут отдать под суд!

Мистер Уизерби улыбнулся:

— Какой еще суд? Предоставьте Уэсли позаботиться об этом.

— Но, послушайте, Клем, вы же не хуже меня знаете, что мы *не можем* поднять заработную плату!

Мистер Уизерби пожал плечами:

— Эту проблему решайте сами.

— Ради бога, как?

— Не знаю. Это ваша работа, а не наша. Вы же не хотите, чтобы правительство стало объяснять вам, как управлять вашей железной дорогой, не так ли?

— Нет, конечно, нет! Но…

— Наша работа — *следить* за тем, чтобы люди получали справедливую зарплату и достойный уровень транспортировки. А *обеспечить* это должны вы. Но, разумеется, если вы скажете, что не можете соответствовать… что ж, тогда…

— Я этого не говорил! — поспешно воскликнул Таггерт. — Я ничего подобного не говорил!

— Хорошо, — любезно ответил мистер Уизерби. — Мы знаем, что вы располагаете возможностями найти выход.

Он смотрел на Таггерта. Таггерт смотрел на Да-

гни.

— Я всего лишь думал вслух, — произнес мистер Уизерби, со скромным видом откинувшись на спинку стула. — Просто высказал соображения, которые вы должны обдумать. Я только гость. И не хочу вмешиваться. Цель нашей встречи — обсудить ситуацию с… местными ветками, кажется?

— Да, — председательствующий вздохнул. — Да. Теперь, если у кого-то имеются конструктивные предложения… — он подождал, но никто не ответил. — Полагаю, картина ясна всем, — он еще подождал. — Полагаю, что, если мы не можем продолжать эксплуатацию некоторых местных линий… в частности, линии Рио-Норте… следовательно, должны быть обозначены некоторые меры…

— Я думаю, — неожиданно уверенным тоном сказал бледный мужчина с усиками, — что сейчас самое время выслушать мисс Таггерт. — Он наклонился к ней, глядя с лукавой надеждой. Поскольку Дагни не ответила, только повернула голову в его сторону, он спросил: — Что вы хотите сказать, мисс Таггерт?

— Ничего.

— Прошу прощения?

— Все, что я хотела сказать, изложено в докладе, который вам зачитал Джим, — спокойным и ясным голосом ответила Дагни.

— Но вы не дали никаких рекомендаций.

— У меня нет рекомендаций.

— Но, вы, как наш вице-президент, крайне заинтересованы в политике железной дороги.

— У меня нет достаточного авторитета, чтобы влиять на нее.

— Но мы жаждем услышать ваше мнение.

— У меня нет мнения.

— Мисс Таггерт, — сказал он тоном формального предложения, — вы не можете не понимать, что наши местные железнодорожные линии работают в условиях катастрофического дефицита, и мы ожидаем, что вы заставите их приносить доход.

— Каким образом?

— Не знаю. Это ваша работа, а не наша.

— В своем докладе я указала причины, по которым это невозможно. Если есть какие-то факты, которых я не заметила, пожалуйста, назовите их.

— Ну, я не знаю… Мы ожидали, что именно вы найдете способы сделать это возможным. Наша задача — следить за тем, чтобы держатели акций получали законную прибыль. А ваша — обес-

печить ее получение. Вы же не хотите, чтобы мы подумали, что вы не способны выполнять работу и…

— Я не способна выполнять эту работу.

Мужчина открыл рот, но не нашелся с ответом. Он в замешательстве смотрел на нее, не понимая, почему на этот раз давно опробованный ход не сработал.

— Мисс Таггерт, — спросил мужчина в зеленом шарфе. — Указали ли вы в своем докладе, что ситуация с Рио-Норте критическая?

— Я назвала ситуацию безнадежной.

— Тогда какие действия вы предлагаете?

— Я ничего не предлагаю.

— Вы уходите от ответственности?

— А что делаете вы? — Дагни говорила ровно, обращаясь ко всем директорам. — Вы рассчитываете на то, будто я не скажу, что ответственность целиком лежит на вас, что это ваша проклятая политика привела нас туда, где мы сейчас оказались? Что ж, я сказала вам это.

— Мисс Таггерт, мисс Таггерт, — то ли упрекая, то ли умоляя, заговорил председательствующий. — Мы не должны быть жестокими друг к другу. Разве сейчас имеет значение, кто заслуживает порицания? Мы не хотим ссориться из-за

наших ошибок. Мы все должны держаться вместе, как одна команда, вытаскивать нашу дорогу из тяжелого положения.

Седоволосый мужчина с аристократическими манерами, промолчавший все заседание с видом горького всезнания, посмотрел на Дагни так, будто испытывал к ней сострадание и не совсем потерял надежду. Слегка повысив голос, чтобы в нем слышалось контролируемое негодование, он заявил:

— Господин председатель, если мы обсуждаем практические решения, я хотел бы предложить, чтобы мы обсудили те ограничения, которые касаются протяженности маршрутов и скорости наших поездов. Из принятых в последние месяцы решений это наиболее вредное. Его отмена не решит всех наших проблем, но принесет огромное облегчение. В условиях отчаянного дефицита тепловозов и катастрофической нехватки горючего я считаю безумием отправлять в рейс локомотив с шестьюдесятью вагонами, когда он в состоянии тянуть сотню, и затрачивать четыре дня на маршрут, который можно уложить в три. Я предлагаю подсчитать количество грузоотправителей, которых мы погубили, и районов, которые мы разорили своими неверными

решениями, нехваткой и отсрочками транспортировки, а затем…

— Даже не думайте об этом, — оборвал его мистер Уизерби. — Не мечтайте ни о каких отменах и возвратах к прежнему. Мы не станем рассматривать эти вопросы. Мы отказываемся даже слушать разговоры на эту тему.

— Господин председатель, — спокойно спросил седовласый, — могу я закончить?

Председатель развел руками с милой улыбкой, обозначавшей бесполезность просьбы.

— Я не вижу в этом особого смысла, — ответил он.

— Я думаю, нам лучше ограничить дискуссию рассмотрением статуса дороги Рио-Норте, — огрызнулся Джеймс Таггерт.

Последовало продолжительное молчание.

Мужчина в зеленом шарфе снова обратился к Дагни.

— Мисс Таггерт, — печально и осторожно спросил он. — Не могли бы вы ответить на мой чисто гипотетический вопрос: если бы оборудование, используемое сейчас на линии Рио-Норте, было доступно, могли бы мы покрыть потребности движения на главной Трансконтинентальной линии?

— Оно могло бы помочь.

— Рельсы дороги Рио-Норте, — сказал бледный мужчина с усиками, — не имеют себе равных во всей стране, их нельзя купить ни за какие деньги. Нам надо спасти триста миль пути, на которые с избытком хватит четырехсот миль рельсов из сплава компании «*Риарден Стил*». Скажите, мисс Таггерт, можем ли мы позволить себе тратить превосходные рельсы на местную ветку, по которой больше нет существенного движения?

— Это вам решать.

— Позвольте мне спросить иначе: подходят ли по качеству эти рельсы для нашей главной трассы, которая так нуждается в срочном ремонте?

— Без сомнения.

— Мисс Таггерт, — спросил пожилой господин с дрожащим голосом, — не скажете ли вы, сколько серьезных грузоотправителей осталось на линии Рио-Норте?

— Тед Нильсен из «*Нильсен Моторс*». Больше никого.

— Нельзя ли сказать, что средства, направляемые на эксплуатацию линии Рио-Норте можно использовать для облегчения финансовых трудностей остальной части системы?

— Это могло бы помочь.

— Тогда, как наш вице-президент… — он умолк. Дагни ждала. Он продолжил. — Итак?

— О чем вы спрашиваете?

— Я хотел сказать… не должны ли вы, как наш вице-президент, принять определенное решение?

Дагни поднялась со стула. Посмотрела на лица людей, сидевших вокруг стола.

— Господа, — произнесла она. — Я не знаю, какой вид самообмана заставляет вас думать, что я оглашу решение, которое вы сами намерены принять, и возложу тем самым ответственность на себя. Возможно, вы думаете, что если финальный удар будет нанесен моим голосом, то я превращусь в убийцу, несмотря на то, что вам прекрасно известно, что убийство подготовлено давным-давно. Я не понимаю, чего вы хотите достичь обманом такого рода, и не стану вам в этом помогать. Финальный удар будет нанесен *вами*, точно так же, как все предыдущие.

Она повернулась, чтобы уйти. Председательствующий привстал, беспомощно пролепетав:

— Но, мисс Таггерт…

— Прошу вас, не вставайте. Пожалуйста, продолжайте дискуссию и голосуйте, моего голоса

здесь не будет. Я воздерживаюсь от голосования. Я могу остаться, если вы пожелаете, но только в качестве наемного работника. Я не претендую больше ни на что.

Она снова попыталась выйти, но ее остановил голос седовласого мужчины:

— Мисс Таггерт, это не официальный вопрос, всего лишь мое любопытство, но не могли бы вы предсказать будущее сети «*Таггерт Трансконтинентал*»?

Она понимающе посмотрела на него и мягко ответила:

— Я перестала думать о будущем компании в целом. Я просто намерена отправлять поезда до тех пор, пока это будет возможно. Но мне кажется, наше время истекает.

Отойдя от стола, она подошла к окну, чтобы не мешать продолжению дискуссии. Дагни смотрела на город. Джим получил разрешение, позволившее использовать электричество для освещения всего небоскреба компании «*Таггерт Трансконтинентал*». С высоты город казался раздавленными руинами, с немногими редкими полосками освещенных окон, все еще тянувшихся к небу.

Дагни не прислушивалась к мужским голосам

у нее за спиной. Она не помнила, как долго еще рокотали обрывки спора. Звуки сталкивались и разбивались друг о друга, директора старались спрятаться за чужую спину и вытолкнуть вперед кого-то другого. Шла битва не за отстаивание своей воли, а за то, чтобы выжать поддержку из безвольной жертвы, борьба, в которой решение провозглашалось не победителем, а проигравшим.

— Мне кажется… Это, я думаю… По моему мнению, это должно… Я не настаиваю, но… Если рассмотреть предложения обеих сторон… По-моему, это несомненно… Мне кажется, это безошибочный…

Она не знала, чей голос прозвучал, но она ясно расслышала:

— …и, таким образом, я считаю, что ветка компании «*Линия Джона Голта*» должна быть закрыта.

Что-то заставило его назвать дорогу ее настоящим именем, подумала Дагни.

«Несколько поколений назад тебе тоже пришлось пережить нечто подобное, тебе было так же непросто, так же худо, но это тебя не остановило. Тогда действительно все обстояло так же гадко и мерзко? Впрочем, неважно,

это всего лишь боль, а боль тебя никогда не останавливала, как бы тяжело ни было ее выносить, ты не останавливался, не погружался в боль, встречая ее лицом к лицу, ты боролся, и я должна бороться. Ты сумел победить ее, и я попытаюсь...»
В ее голове негромко и настойчиво звучали слова посвящения, и она не сразу осознала, что адресованы они Нэту Таггерту.

Следующий услышанный ею голос принадлежал мистеру Уизерби:

— Подождите минуту, парни. Вы, случаем, не забыли, что, прежде чем закрыть линию, вам следует получить на это разрешение?

— Боже милосердный, Клем! — в панике вскричал Таггерт. — Я уверен, что не возникнет никаких трудностей при...

— Я не слишком в этом уверен. Не забывайте, что вы — служба общественного пользования, от вас ждут обеспечения транспортными услугами, сделаете вы на этом деньги или нет.

— Но вы знаете, что это невозможно!

— Что ж, если вы, закрыв линию, решите свои проблемы, что это даст нам? Если такой крупный транспортный узел, как Колорадо, останется практически без перевозок, какую реакцию вы вызовете в обществе? Но, естественно, если вы

дадите Уэсли что-нибудь взамен, чтобы сбалансировать ситуацию, если вы позволите профсоюзам повысить заработную плату…

— Я не могу! Я дал слово альянсу!

– *Ваше слово?* Успокойтесь, нам не нужно усиления альянса. Мы предпочитаем решать вопросы волевым порядком. Но времена сейчас трудные и непросто предсказать, что может случиться. Когда все бросают дела, а сборы налогов падают, возможно, мы — а мы владеем гораздо большей долей, чем пятьдесят процентов долга «*Таггерт Трансконтинентал*», — будем вынуждены требовать оплаты долгов вашей дороги в течение шести месяцев.

– *Что?* — вскричал Таггерт.

— …или раньше.

— Но вы не можете! Господи, вы не можете! Всем известно, что мораторий объявлен на пять лет! Он равносилен заключенному контракту, обязательству! Мы на него рассчитывали!

— Обязательству? Вы что, отстали от жизни, Джим? Не существует никаких обязательств, кроме требований времени. Настоящие владельцы этих долговых обязательств тоже рассчитывают на их оплату.

Дагни расхохоталась.

Она не могла остановиться, не могла сдержаться, чтобы не упустить шанс отомстить за Эллиса Уайэтта, Эндрю Стоктона, Лоренса Хэммонда и всех остальных. Сотрясаясь от смеха, она проговорила:

— Спасибо, мистер Уизерби!

Мистер Уизерби изумленно посмотрел на нее и холодно спросил:

— Что?

— Я знала, что рано или поздно по долгам придется платить. Вот мы и платим.

— Мисс Таггерт, — строго сказал председательствующий, — разве вы так ничего и не поняли? Рассуждать о том, что было бы, если бы мы поступили иначе, не более чем строить теоретические предположения. Мы не можем заниматься теориями, мы должны работать с практической реальностью настоящего момента.

— Правильно, — поддакнул мистер Уизерби. — Такими вы и должны быть — практичными. Мы предлагаем вам сделку. Вы делаете что-то для нас, а мы сделаем что-то для вас. Вы позволяете профсоюзам повысить ставки, а мы дадим вам разрешение на закрытие линии Рио-Норте.

— Хорошо, — прошелестел Джеймс Таггерт.

Стоя у окна, Дагни слышала, как за ее спиной

проголосовали. Приняли решение, что ее «*Линия Джона Голта*» закроется через шесть недель, тридцать первого марта.

Теперь главное — пережить несколько секунд, думала Дагни. Перетерпи еще лишь несколько секунд, потом еще немного, потихоньку, понемножку, и некоторое время спустя станет легче. Еще немного, и все пройдет.

На следующие несколько минут она дала себе установку надеть пальто и первой покинуть комнату.

Потом очередное задание — спуститься на лифте через весь нескончаемый небоскреб компании «Таггерт». Наконец, приказ — пересечь темный вестибюль.

На полпути через вестибюль она остановилась. Прислонившись к стене, в позе терпеливого ожидания стоял человек. Он ожидал именно Дагни, потому что смотрел на нее в упор. В первый момент она его не узнала, потому что никак не ожидала увидеть здесь и в этот час.

— Привет, Чушка, — ласково сказал он.

Она ответила, с трудом преодолев огромное расстояние, отделявшее ее от времени, некогда принадлежавшего ей:

— Привет, Фриско.

— Прикончили наконец Джона Голта?

Дагни с трудом справлялась с путаницей времен. Вопрос относился к настоящему времени, но серьезное смуглое лицо словно вернулось из тех дней на холме над Гудзоном, когда он *уже* понял, что значит для нее этот вопрос.

— Откуда ты узнал, что все произойдет сегодня вечером? — спросила она.

— Еще несколько месяцев назад было ясно, что Рио-Норте станет предметом их следующего шабаша.

— Зачем ты сюда пришел?

— Посмотреть, как ты к этому отнесешься.

— Хочешь над этим посмеяться?

— Нет, Дагни, я не хочу над этим смеяться.

Не сумев найти в его лице и намека на веселье, Дагни ответила откровенно:

— Сама не знаю, как я к этому отношусь.

— Я знаю.

— Я ожидала, знала, что они это сделают, а теперь главное — пережить… — она хотела сказать «сегодняшнюю ночь», но сказала: — …сам процесс.

Он взял ее за руку.

— Пойдем куда-нибудь, выпьем.

— Франсиско, почему ты не смеешься надо

мной? Ты всегда смеялся, говоря об этой линии.

— Я посмеюсь завтра, когда увижу, что ты пережила… сам процесс. Но не сегодня вечером.

— Почему?

— Пойдем. Ты не в том состоянии, чтобы говорить об этом.

— Я… — она хотела протестовать, но сказала только: — Да, кажется, ты прав.

Он вывел Дагни на улицу, и она молча пошла, следуя ровному ритму его шагов, чувствуя пальцами его крепкую, надежную руку. Она повиновалась ему, не задавая вопросов, с облегчением, как пловец, которому больше не нужно сражаться с потоком. Когда он бросил ей спасательный круг, она, уже потеряв надежду, вдруг увидела рядом человека, полностью уверенного в себе. Облегчение принесло не то, что ответственность ее миновала — с ней был тот, кто способен принять всю силу удара на себя.

— Дагни, — произнес он, глядя на город, проносящийся за окнами такси, — вспомни о человеке, который первым решил делать балки из стали. Он знал, что придумал и чего хотел. Он не говорил: «Мне кажется», и не принимал приказов от тех, кто говорили: «По моему мнению».

Она коротко засмеялась, удивляясь, как он

догадался о том тошнотворном чувстве, которое не оставляло ее, чувстве трясины, из которой ей только что пришлось выбираться.

— Посмотри вокруг, — продолжал Франсиско. — Город — это застывший образ мужества, мужества людей, которые в первую очередь думали о каждом болте, балке и электрогенераторе, необходимых для его постройки. Людей, имевших мужество сказать не «Мне кажется», а «Будет так» и поручиться за свое решение жизнью. Ты не одинока. Такие люди существуют. Они были всегда. Было время, когда дикари прятались в пещерах, их существованию угрожала каждая эпидемия, каждая буря. Сумели бы члены твоего совета директоров вывести человечество из пещер и дать им это? — он снова указал на город.

— Господи, нет!

— Это доказывает, что другой тип людей существует.

— Да! — страстно ответила она. — Да.

— Подумай о них и забудь свой совет директоров.

— Франсиско, где теперь эти *другие* люди?

— Сейчас они не нужны.

— Они нужны мне. Господи, как они мне нужны!

— Раз так, ты их найдешь.

Франсиско больше не спрашивал ее о «*Линии Джона Голта*», и Дагни молчала о ней, пока они не уселись за столик в полуосвещенной кабинке бара, и она обнаружила в своей руке стакан. Дагни почти не заметила, как они пришли сюда. Спокойное, солидное заведение напоминало тайное убежище. Она заметила маленький полированный столик под рукой, кожаный полукруг стула за плечами, нишу из темно-синего стекла, отрезавшую их от зрелища радостей или горестей, которые праздновали или от которых скрывались здесь другие люди. Франсиско внимательно смотрел на нее, твердо поставив локти на столик, и Дагни казалось, что у нее появилась надежная опора.

Они не говорили о железной дороге, но неожиданно, глядя на жидкость в своем стакане, Дагни произнесла:

— Я все думаю о той ночи, когда Нэту Таггерту сказали, что он должен отказаться от моста, который строил. Моста через Миссисипи. Ему отчаянно не хватало денег, люди боялись моста, называли его непрактичным проектом. Утром ему сообщили, что пароходная компания подала на него в суд, требуя разрушить мост, угрожа-

ющий благосостоянию общества. Три пролета моста уже возвели. В тот же день городская банда напала на мост и подожгла деревянные леса. Его рабочие сбежали: одни испугались, других подкупила пароходная компания, а большинство — из-за того, что он неделями не платил им жалования. В течение всего дня он получал сообщения о том, что люди, подписавшиеся на акции «*Таггерт Трансконтинентал*», один за другим отказываются от них. Ближе к вечеру комитет из представителей обоих берегов, его последняя надежда, пришел к нему. Все происходило прямо там, на строительной площадке, на берегу, в старом вагончике, где он жил. Через открытую дверь виднелись почерневшие руины, деревянные обломки еще дымились вокруг покореженных стальных конструкций. Нэт пытался договориться с банками о кредите, но контракт не был подписан. Члены комитета сообщили ему, что он должен бросить это дело, будучи уверены, что Нэт проиграет процесс, и тогда мост сразу разрушат. Если он добровольно согласится бросить мост и переправлять своих пассажиров через реку на баржах, как поступают другие железные дороги, контракт будет подписан, и он получит деньги на продолжение строительства дороги на запад

на другом берегу реки. Если же нет, ссуды не будет. «Каков ваш ответ?» — спросили его. Не сказав ни слова, он порвал контракт пополам, протянул им и вышел. Нэт пошел на мост, по пролетам, к последним опорам. Опустившись на колени, он взял инструменты, брошенные рабочими, и принялся сбивать обугленные головешки со стальных конструкций. Главный инженер строительства увидел его с инструментами в руках, в одиночку работавшего над широкой рекой; солнце садилось у него за спиной там, на западе, куда шла его дорога. Нэт работал всю ночь. К утру он продумал свой план действий: найти людей незаинтересованных, с независимым мнением, увлечь их проектом, достать денег, закончить мост.

Она говорила спокойно и тихо, глядя вниз на пятно света, подрагивавшее в жидкости, когда она наклоняла стакан. Лишенный эмоций голос звучал с настойчивой монотонностью молитвы:

— Франсиско… если он сумел пережить ту ночь, имею ли я право жаловаться? Важно ли, что я сейчас чувствую? Нэт построил мост, я должна сохранить его для Нэта. Я не могу его бросить, как бросила мост «*Атлантик Саусерн*». Мне кажется, что Нэт знал об этом в ту страшную ночь,

один на реке… Нонсенс, конечно, но я *так чувствую*: если я позволю этому случиться, то предам и его, и каждого, кто знает, *что* пережил в ту ночь Нэт Таггерт. Я не могу его предать.

— Если бы Нэт Таггерт был жив сейчас, что бы он сделал, Дагни?

Слова вырвались у нее против воли, с коротким горьким смехом.

— Он не медлил бы ни минуты! — но потом поправилась: — Нет, он нашел бы путь бороться с ними.

— Как?

— Не знаю.

Она заметила вкрадчивую настойчивость во взгляде Франсиско, когда он наклонился вперед и спросил:

— Дагни, люди из совета директоров не чета Нэту Таггерту, верно? Даже все вместе они ни в чем не могут соперничать с ним одним — ни в здравомыслии, ни в силе воли, у них нет и тысячной доли его мощи.

— Это правда.

— К чему тогда вся эта история про Нэта Таггерта, который всегда побеждал? Зачем тратить время и силы на совет?

— Я… не знаю.

— Как могут люди, не отваживающиеся на собственное мнение о погоде, противостоять Нэту Таггерту? Как они могли захватить его достижение, если он решил его защитить? Дагни, он стоял за него со всем оружием, которым располагал, кроме одного, самого важного. Они не смогли бы победить, если бы мы — он и все мы — сами не отдали им свой мир.

— Да, ты отдал им свой мир. Эллис Уайэтт. Кен Данаггер. А я не отдам.

Франсиско улыбнулся.

— Кто создал для них «*Линию Джона Голта*»?

Он заметил только легкое движение губ, но знал, что вопрос хлестнул ее по открытой ране. И все-таки она тихо ответила:

— Я.

— Чтобы все так и закончилось?

— Я построила дорогу для тех людей, которые не отступают и не терпят поражений.

— Разве ты не думаешь, что другого конца быть не может?

— Нет.

— Ты хочешь столкнуться с несправедливостью?

— Пусть, я стану с ней бороться, пока есть силы.

— Что ты сделаешь завтра?

Она ответила спокойно, гордо глядя на него:

— Начну ее разбирать.

— Что?

— Дорогу Джона Голта. Начну разбирать ее тщательно, как если бы делала это своими руками, своим умом, по своим собственным инструкциям. Подготовлю ее к закрытию, потом разберу и использую на переоснащение Трансконтинентальной линии. Впереди много работы. Я буду занята, — выдержка подвела, голос дал трещину. — Знаешь, я даже жду этого. Я рада, что буду делать все сама. Вот почему Нэт Таггерт работал всю ночь: чтобы не останавливаться. Когда есть дело, все не так уж плохо. И я буду знать, что спасаю главную линию.

— Дагни, — Франсиско спрашивал очень спокойно, но ей, непонятно почему, показалось, что от ее ответа зависит его судьба. — А что, если бы тебе пришлось разбирать *главную* линию?

Она безвольно ответила:

— Тогда я легла бы под последний поезд! — но поправилась: — Нет. Это просто жалость к себе. Я бы так не поступила.

Он ласково произнес:

— Я знаю, что ты бы так не поступила. Хоть

и могла бы этого хотеть.

— Да.

Не глядя на нее, он насмешливо улыбнулся. Улыбка выражала боль, а насмешка предназначалась ему самому. Дагни не могла бы объяснить, почему так уверена в этом. Но она столь досконально изучила его лицо, что всегда понимала, что он чувствует, даже если не знала стоящих за этим причин. Как хорошо она знает его лицо, думала она, каждую линию его тела, словно видит их своими глазами. Вот и сейчас она внезапно *почувствовала* его тело под одеждой, здесь, в нескольких футах от нее, в многолюдном уединении бара. Франсиско обернулся, и внезапная перемена в его взгляде подсказала ей, что он понял, о чем она думает. Он отвел глаза и поднял стакан.

— Итак, за Нэта Таггерта.

— И за Себастьяна д'Анкония? — спросила она и тут же пожалела об этом, поскольку ее слова невольно прозвучали насмешкой.

Но в его глазах светилась гордость, и он с легкой улыбкой твердо ответил.

— Да, и за Себастьяна д'Анкония.

Ее рука немного дрожала, и несколько капель пролились на квадратик бумажных кружев,

лежащих на темной блестящей столешнице. Она смотрела, как Франсиско одним глотком осушил стакан. Быстрое и легкое движение руки превратило простые слова в торжественный тост.

Она неожиданно подумала, что впервые за двенадцать лет он пришел к ней сам, по собственной воле.

Франсиско держался так, будто хотел внушить Дагни уверенность в себе и во всем происходящем, нарочно не оставляя ей времени задуматься о том, почему они сегодня вместе. Потом она почувствовала, что туго натянутая узда вдруг ослабла. Только случайные паузы и четкий абрис его лба, скул и рта, когда он отворачивался, подсказали ей, что Франсиско борется за то, чем должен овладеть.

Она терялась в догадках, какую цель он преследовал сегодня, и подумала, что он, возможно, достиг ее: помог ей пережить самый тяжелый момент, дал неоценимую защиту от отчаяния — умный человек выслушал и понял ее. Но почему он захотел это сделать? Почему заботится о ней в час беды, после многих лет агонии, на которую сам ее обрек? Почему для него вдруг стало важным, как она переживет гибель «*Линии Джона*

Голта»? Дагни вспомнила: ведь именно этот вопрос ей хотелось задать ему в темном вестибюле небоскреба Таггерта.

Она думала о том, что между ними существует связь. И появление Франсиско в тот момент, когда она больше всего в нем нуждалась, больше не казалось ей удивительным. Но в этом таилась опасность: она доверилась бы ему, даже зная, что может оказаться в еще одной, новой ловушке; даже помня о том, что он всегда предает всех, кто ему доверяет.

Франсиско сидел, скрестив руки на столе, глядя перед собой. Неожиданно, не поворачиваясь к Дагни, он сказал:

— Я думаю о тех пятнадцати годах, которые Себастьяну д'Анкония пришлось дожидаться женщины, которую он любил. Он не знал, встретит ли ее снова, выживет ли она… дождется ли его. Но он был уверен, что она не выдержит его битвы, и не мог позвать ее с собой до тех пор, пока не одержит победу. Поэтому жил, оставив свою любовь, в надежде, на которую не имел права. И когда Себастьян внес бы ее в свой дом как первую сеньору д'Анкония нового мира, он бы знал, что битва выиграна, они свободны, ей ничто не угрожает, и больше ничто не причи-

нит ей боли.

В дни их счастливой и страстной любви Франсиско никогда не давал Дагни понять, что думает о ней как о будущей сеньоре д'Анкония. Дагни на минуту задумалась о том, кто она теперь для Франсиско. Но это быстро прошло; она внутренне содрогнулась, не в силах поверить, что прошедшие двенадцать лет ничего не изменили и он все еще любит ее. Вот она, новая ловушка, подумала Дагни.

— Франсиско, — с усилием произнесла она. — Что ты сделал Хэнку Риардену?

Он был озадачен, услышав от нее это имя именно сейчас.

— Почему ты спрашиваешь?

— Однажды он мне поведал, что ты — единственный человек, который ему нравится. А когда я видела его в последний раз, он сказал, что убьет тебя, если увидит.

— А почему, не объяснил?

— Нет.

— И ничего не рассказал об этом?

— Нет, — она увидела странную улыбку, печальную улыбку благодарности и тоски. — Когда он сказал, что ты — единственный, кто ему нравится, я предостерегла его: ты причинишь ему

боль.

Его слова напоминали внезапный взрыв.

— Он был вторым, после еще одного человека, кому я мог бы отдать свою жизнь!

— И кто же это исключение?

— Человек, которому я *уже* отдал жизнь.

— Что ты имеешь в виду?

Франсиско покачал головой, словно сказал больше, чем ему хотелось.

— Что ты сделал Риардену?

— Однажды я расскажу тебе. Но не сейчас.

— Ты поступил так же, как всегда поступаешь с теми, кого… кто для тебя много значит?

Он посмотрел на нее с улыбкой, в которой светились искренняя невинность и боль.

— Знаешь, — нежно ответил он, — я мог бы сказать так: я сделал то, что *они* всегда делали со мной.

Он поднялся.

— Пойдем? Я отвезу тебя домой.

Она встала из-за стола, Франсиско подал ей пальто. Завернув Дагни в широкие полы просторной одежды, он почти обнял ее. Она почувствовала прикосновение его руки, задержавшейся у нее на плечах чуть дольше, чем… ему того хотелось.

Дагни посмотрела на Франсиско; он стоял

совершенно неподвижно, пристально глядя на стол. Вставая, они случайно смахнули со столешницы кружевные бумажные салфетки, и стала видна надпись, вырезанная на столе. Заметно было, что ее пытались стереть, но фраза осталась, словно увековеченный пьяный голос неизвестного отчаявшегося человека: «Кто такой Джон Голт?»

Повинуясь внезапному порыву гнева, Дагни набросила салфетку обратно на надпись. Франсиско коротко рассмеялся.

— Я мог бы ответить на этот вопрос, — сообщил он. — Могу сказать тебе, кто такой Джон Голт.

— В самом деле? Кажется, его знают все, но истории всегда разные.

— И они правдивы.

— А какова твоя версия? Кто он?

— Джон Голт — это Прометей, который передумал. После того как его столетиями терзали хищные птицы в наказание за то, что он принес людям божественный огонь, он порвал цепи и забрал свой дар. До того дня, когда люди отзовут своих стервятников.

* * *

Среди гранитных гор Колорадо широкими изгибами пролегли железнодорожные пути. Дагни шла по шпалам, засунув руки в карманы пальто, бездумно глядя перед собой. Только знакомое усилие, соразмеряющее ширину шага с расстоянием между шпалами, давало ей знакомое ощущение движения, связанного с железной дорогой.

Не туман и не облака, а словно серая вата свисала сырыми клочьями между небом и горами, и небо казалось старым матрацем, набивка которого высыпалась на горные вершины. Хрустящий наст на земле не походил ни на зимний, ни на весенний подтаявший снег. В воздухе колыхалась влажная морось, и порой Дагни чувствовала на лице ледяные уколы — не то дождинки, не то снежинки.

Казалось, погода медлит, боясь принять решение, и топчется на месте. «Совсем как совет директоров», — подумала Дагни.

Сумрак довершал унылую картину, и Дагни не смогла бы сказать, день сейчас или вечер. Одно она знала совершенно точно: сегодня тридцать первое марта. От факта не убежишь.

Они с Хэнком приехали в Колорадо — закупить

оборудование, еще остававшееся на закрывшихся заводах. Поиски напоминали поспешный осмотр тонущего корабля, прежде чем он скроется навеки под водой. Можно было бы поручить эту работу наемным работникам, но ими обоими двигал скрытый мотив: они не могли устоять перед желанием проехать на последнем поезде, как многие не могут удержаться от потребности сказать последнее «прости», придя на похороны и понимая, что это не более чем добровольная пытка.

Они скупали механизмы у подозрительных хозяев на сомнительных распродажах, ведь никто не смог бы объяснить, кому принадлежит право распоряжаться огромной мертвой собственностью, и никому не пришло бы в голову поставить под сомнение законность сделки. Они приобрели все, что можно было вывезти с выпотрошенного завода компании «*Нильсен Моторс*». Тед Нильсен свернул производство и исчез через неделю после объявления о закрытии железнодорожной линии.

Дагни чувствовала себя стервятником, но азарт охоты позволил ей пережить эти несколько дней. Когда она обнаружила, что до отправления последнего поезда остается три часа свободного

времени, она отправилась бродить по боковым путям, чтобы сбежать из вымершего городка. Она шла наугад по извилистой колее, одна среди камней и снега, пытаясь вытеснить мысли движением и зная, что должна прожить этот день, не думая о том лете, когда она мчалась на первом поезде этой линии.

Обнаружив, что она идет по шпалам ветки «*Линия Джона Голта*», Дагни поняла, что ее тянуло сюда и гулять она пошла не случайно.

В этом тупике уже разобрали рельсы. Не осталось ни сигнальных огней, ни стрелок, ни телефонных проводов — ничего, кроме деревянных шпал на земле, напоминавших скелет, над которым на заброшенном переезде, как одинокий страж, высился столб с перекрещенными надписями: «Стоп» и «Берегись поезда».

Ранние сумерки уже смешались с туманом и затопили долины, когда Дагни вернулась на завод. Высоко на светлой стене фронтона виднелась надпись: *«Роджер Марш. Электроприборы»*. Этот человек хотел приковать себя к столу, чтобы не оставить предприятие, вспомнила Дагни. Здание казалось невредимым, как мертвое тело в первые часы, когда невольно ждешь, что неживые глаза вот-вот откроются снова. Дагни каза-

лось, что в любой момент за огромными окнами под длинными плоскими крышами вспыхнет свет. Потом она заметила окно, разбитое камнем, брошенным каким-то молодым оболтусом потехи ради, а вслед за этим — одинокий стебель высокого бурьяна, выросшего между ступенями главного входа. Поддавшись слепому приступу ярости, возмущенная наглостью сорняка, понимая, что он — разведчик страшного врага, Дагни подбежала и выдернула его с корнем. Опомнившись на лестнице закрытого завода, глядя на застывшие в нерушимом покое горы, она спросила себя: «Что ты здесь делаешь?»

Уже почти стемнело, когда Дагни дошла до окраины Маршвилла, где шпалы закончились. В этом городке несколько последних месяцев была конечная станция одного из маршрутов ее поездов, так как обслуживание железнодорожного узла Уайэтта прекратилось уже давно. Восстановительный проект доктора Ферриса рухнул еще зимой.

Огни уличных фонарей, висевшие в тумане, протянулись длинной нитью постепенно уменьшающихся желтых шаров над пустынными улицами Маршвилла. Все дома побогаче были закрыты — опрятные, прочные домики, доб-

ротно построенные и ухоженные. Объявления «Продается» на лужайках уже выцвели. Но в окнах дешевых, ярко размалеванных строений, которые за несколько лет успели изрядно обветшать, превратившись в трущобы, горели огоньки. Здесь жили люди, никуда не уехавшие, те, что не заглядывали в будущее дальше следующей недели. Дагни разглядела новенький телевизор в освещенной комнате дома с провисшей крышей и потрескавшимися стенами. Она задумалась, неужели обитатели надеются, что энергетические компании Колорадо продержатся долго. Потом, тряхнув головой, напомнила себе: эти люди и не подозревают о существовании энергетических компаний.

Главную улицу Маршвилла окаймляли черные окна магазинов. Все магазины дорогих вещей закрылись. Дагни содрогнулась, осознав, что те вещи, которые она сейчас назвала про себя дорогими и роскошными, прежде были доступны даже бедным. Закрылись магазины бытовых электроприборов, автозаправочные станции, закусочные, «центовки». Работали лишь бакалейные лавки да питейные заведения.

Платформу железнодорожного вокзала запрудила толпа. Огни прожекторов выхватили ее

из темного окружения гор, превратив в маленькую сцену, на которой каждый жест казался выставленным напоказ перед невидимыми ярусами зрителей, расположившимися в ночи. Люди тащили багаж, кутали детей, осаждали билетные кассы; их движения, скованные безысходностью, говорили о том, что больше всего на свете им хотелось упасть на землю и закричать от страха. Этот страх носил отпечаток паники, потому что рождался не из понимания происходящего, а из отказа что-либо понимать.

Последний поезд подали к платформе; его окна горели единой, ровной полосой света. Пар локомотива, громко пыхтя, не придавал обычной оживленности, он, скорее, напоминал хрипение задыхающегося человека, которое страшно слушать, но еще страшнее перестать слышать. В отдалении, там, где кончались освещенные окна, Дагни увидела маленькую красную точку фонаря, отмечавшего ее личный вагон. Позади этого огонька не осталось ничего, кроме черной бездны.

Поезд был загружен под завязку, и в коридорах то и дело в смешении голосов раздавались просьбы с дрожащей ноткой истерии: потесниться. Те, кто не уезжали, с вялым любопытством

наблюдали за суетой. Они пришли, будто знали, что станут свидетелями последнего значительного события в жизни города, а возможно, и в их собственной.

Дагни быстро прошла через толпу, стараясь ни на кого не смотреть.

Некоторые знали, кто она, но большинство и не подозревало об этом. Она заметила старую женщину в потрепанном платке, чье лицо избороздили морщины, говорившие, что вся ее жизнь прошла в борьбе за выживание, а взгляд молил о помощи. На возвышении небритый молодой мужчина в очках в золотой оправе взывал к обращенным к нему лицам:

— Почему они говорят, что нет бизнеса? Посмотрите на этот поезд! Он набит пассажирами! Бизнеса хоть отбавляй! Просто прибыли им нет, вот они и бросают вас подыхать с голоду, алчные паразиты!

Непричесанная женщина кинулась к Дагни, размахивая двумя билетами и крича что-то о неправильной дате. Дагни расталкивала людей, пытаясь добраться до конца поезда, но истощенный мужчина с остановившимся взглядом устремился к ней с криком:

— Вам-то хорошо, у вас теплое пальто и отдель-

ный вагон, а нам вы поездов не даете, вы и все ваши эгоистичные…

Он прервал фразу на полуслове, увидев кого-то за ее спиной. Она почувствовала, что ее взяли за локоть, — это подоспел Хэнк Риарден. Крепко подхватив Дагни под руку, он довел ее до вагона. Взглянув на выражение его лица, она поняла, почему люди расступаются перед ними. На конце платформы мертвенно-бледный отечный мужчина уговаривал плачущую женщину:

— Так всегда было в нашем мире. Бедные ничего не добьются, пока богатых не истребят.

Высоко над городком, в черном пространстве, подобно неприкаянной планете, Факел Уайэтта клубился на ветру.

Риарден вошел в вагон, но Дагни осталась стоять на ступеньках тамбура, оттягивая момент отправления. Она слышала крик: «Все по вагонам!», смотрела на людей, остающихся на платформе, как смотрят на тех, кто не поместился в спасательные шлюпки.

Кондуктор стоял ниже, на самой последней ступеньке, держа в одной руке фонарь, а в другой часы. Он взглянул на циферблат, потом на Дагни. Она молча закрыла глаза и кивнула, разрешая отправку. Посмотрела, как фонарь кондуктора

описывает круги, повернулась и ощутила первый толчок колес по рельсам из риарден-металла. Ей стало немного легче, когда, войдя в вагон, она встретила взгляд Хэнка.

* * *

Когда Джеймс Таггерт позвонил Лилиан Риарден из Нью-Йорка, сказав: «Да нет, ничего особенного, просто поинтересоваться, как вы, не собираетесь ли в город. Целую вечность не виделись, вот я и подумал, что мы могли бы позавтракать вместе в Нью-Йорке», она сразу поняла, что Джим что-то задумал.

Она лениво ответила:

— Постойте, дайте подумать, какой сегодня день? Второе апреля? Нужно посмотреть в календаре. Да, так получилось, что завтра мне нужно кое-что купить в Нью-Йорке, поэтому я с радостью позволю вам пригласить меня на ленч.

Он знал, что никаких покупок делать она не собирается; ленч — единственная цель ее приезда.

Они встретились в дорогом ресторане для избранных, слишком роскошном, чтобы попасть на страницы скандальных газет, совсем не из тех мест, в которых Джеймс Таггерт, большой охотник до рекламы, был завсегдатаем. Джим не хо-

тел, чтобы их видели вместе, заключила Лилиан.

Легкая улыбка не покидала ее лица, пока она слушала разглагольствования Джима об общих друзьях, театрах и погоде, тщательно выстраивая вокруг себя защиту из малозначащих фраз. Лилиан сидела, грациозно изогнувшись, словно наслаждаясь тщетностью того представления, которое разыгрывал Джим, и тем фактом, что он вынужден этим заниматься ради нее. Она с терпеливым любопытством ожидала, когда разгадает его цель.

— Я считаю, что вы действительно заслуживаете похвалы или даже медали, Джим, — произнесла Лилиан, — за то, что так веселы в столь трудное для вас время. Разве вы только что не закрыли лучшую ветку своей железной дороги?

— О, это всего лишь небольшая финансовая неудача, не более. В такие времена, как сейчас, приходится идти на сокращение расходов. Учитывая общую ситуацию в стране, мы еще неплохо держимся. Лучше всех остальных, — и, пожав плечами, добавил: — К тому же, это еще вопрос, была ли линия Рио-Норте нашей лучшей веткой. Так считала только моя сестра. Это было ее детище.

Лилиан уловила оттенок явного удовольствия

в его словах.

Улыбнувшись, она произнесла:

— Понимаю.

Исподлобья, в упор глядя на Лилиан, с преувеличенной надеждой на *нужное* понимание его слов, Джим проговорил:

— Как он это воспринял?

— Кто? — Лилиан прекрасно понимала, о ком идет речь.

— Ваш муж.

— Воспринял что?

— Закрытие этой линии.

Лилиан весело улыбнулась:

— Ваша догадка так же хороша, как моя, Джим, а моя — просто прелесть.

— Что вы имеете в виду?

— Вы знаете, как он должен это воспринимать, знаете и то, как воспринимает это ваша сестра. Так что не напускайте тумана.

— О чем он говорил последние дни?

— Муж уже неделю в Колорадо, поэтому я… — она умолкла. Начав отвечать, Лилиан заметила, что Джим задал серьезный вопрос слишком уж небрежным тоном, и догадалась, что он сделал первый шаг к раскрытию цели своего приглашения. После неуловимой паузы она закончила еще

непринужденнее: — ...поэтому я не знаю. Но он вернется со дня на день.

— Не хотите ли вы сказать, что он упорствует в своем бунтарстве?

— Джим, это еще слишком мягко сказано!

— Была надежда, что обстоятельства научат его мудрости.

Она забавлялась, не давая ему понять, что ей все уже ясно.

— О да, — невинным тоном изрекла Лилиан, — будет прекрасно, если что-нибудь заставит его измениться.

— Он сам усложняет свое положение.

— Как всегда.

— Но обстоятельства делают нас более... гибкими, рано или поздно.

— Я слышала много мнений о нем, но слово «гибкий» никогда среди них не звучало.

— Что ж, времена меняются, и люди вместе с ними. В конце концов, согласно законам природы, животные должны приспосабливаться к окружающей среде. Я сказал бы, что способность к приспособлению — одна из характеристик, наиболее востребованных в настоящее время законами, продиктованными отнюдь не природой. Мы живем в очень непростое время, и я не хо-

тел бы видеть, что вы страдаете вследствие его непримиримой позиции. Как друг, я не желал бы видеть вас в опасности, в которой он непременно окажется, если не научится сотрудничать.

— Как это мило с вашей стороны, Джим, — любезно проворковала она.

Он скупо и осторожно цедил слова, балансируя между смыслом и интонацией, чтобы достигнуть нужного градуса недоговоренности. Он хотел, чтобы она поняла, но поняла не до конца, не до самого глубинного смысла; сама суть современного языка общения, которым он владел в совершенстве, заключалась в том, чтобы не позволить никому понять все и полностью.

Ему не понадобилось много времени, чтобы раскусить мистера Уизерби. Во время своей последней поездки в Вашингтон он вдалбливал ему, что снижение тарифов на железной дороге нанесло бы ей смертельный удар. Повышение заработной платы разрешили, но требования урезать тарифы по-прежнему раздавались в прессе, и Таггерт понимал, что это означает, раз мистер Моуч позволяет газетам шуметь. Это значило, что нож по-прежнему приставлен к его горлу. Мистер Уизерби не ответил впрямую на его уговоры, но заявил, будто размышляя вслух:

— У Уэсли так много проблем. Если он станет каждому давать передышку, то, выражаясь финансовым языком, должен будет ввести в действие некую чрезвычайную программу, о которой у вас весьма смутное представление. Но вам известно, что за шум поднимут непрогрессивные представители страны. Например, такой человек, как Риарден. Мы не хотим, чтобы он выдал еще одну фигуру высшего пилотажа. Уэсли много дал бы тому, кто сможет поставить Риардена на место. Но боюсь, это никому не под силу. Хотя я могу и ошибаться. *Вам*, Джим, лучше знать, ведь Риарден некоторым образом ваш друг, он приходит к вам на приемы и все такое…

Глядя через стол на Лилиан, Таггерт произнес:

— Я обнаружил, что дружба — самая надежная вещь в жизни, и кажется, я доказал вам это.

— Но я никогда в этом не сомневалась.

Он произнес тоном зловещего предостережения:

— Я считаю, что во имя нашей дружбы должен вам сказать, хоть и под большим секретом, что позиция вашего мужа обсуждается в верхах. Уверен, что вы понимаете, о чем я.

«Вот за что я ненавижу Лилиан Риарден, — думал Таггерт, — она знает игру, но ведет ее

с такими неожиданными выкрутасами. Это совершенно против правил — то посмотрит на меня изумленно, то рассмеется прямо в лицо, то вдруг, после всех этих слов о том, что она ничего не понимает, попадет точно в десятку».

— Но, дорогой, разумеется, я понимаю, что вы имеете в виду. Вы хотите сказать, что цель этого роскошного завтрака вовсе не одолжение, которое вы намерены мне сделать, а услуга, которую вы хотите получить от меня. Это вы попали в беду и решили использовать оказанную мною помощь для сделки там, в верхах. И еще это означает, что вы напоминаете мне об обещании отплатить добром за добро.

— Представление, которое он устроил на судебном процессе, нельзя назвать платой добром за добро, — злобно огрызнулся Джим. — Вы мне совсем не это обещали.

— Да, совсем не это, — миролюбиво признала Лилиан. — Но, дорогой, я и сама догадываюсь, что после такого поведения в суде он не приобретет популярности в верхах. Вы что, действительно считали, будто из большой любезности должны сообщить мне это под большим секретом?

— Но это правда. Я слышал, как обсуждали его

поведение, и подумал, что должен вам об этом сообщить.

— Я знаю, что это правда. Я знаю, что его будут обсуждать. Я знаю также, что если бы с ним хотели что-то сделать, то сделали бы это сразу после процесса. Господи, как им этого хотелось! Поэтому мне ясно, что он — единственный из вас, кто сегодня вне опасности. Я знаю, что они его боятся. Теперь вы видите, как хорошо я понимаю все, что вы имеете в виду, дорогой?

— Если вы думаете, что понимаете меня, я должен сказать, что, со своей стороны, не понимаю вас вовсе. Не понимаю, что вы делаете.

— Я просто хочу назвать все своими именами, дабы вы поняли, как сильно я вам нужна. А теперь скажу правду: я не обманула вас, просто моя попытка все устроить не удалась. Его поведение в суде стало для меня еще большей неожиданностью, чем для вас. У меня были веские причины не ожидать ничего подобного. Но что-то пошло не так. Не знаю, что именно. Я пытаюсь это выяснить. Когда выясню, сдержу свое слово. И вы будете вправе сказать своим высоким друзьям, будто это вы лично его обезоружили.

— Лилиан, — нервно сказал Джим, — именно это я имел в виду, когда сказал, что готов

предоставить вам доказательства своей дружбы, поэтому, если я могу для вас что-нибудь сделать…

Она рассмеялась.

— Ничего. Я знаю, о чем вы. Но вы ничего не можете сделать для меня. Никакого одолжения. Никаких сделок. Я действительно не деловой человек, мне ничего от вас не нужно. Вам не повезло, Джим. Вам придется рассчитывать на мою благотворительность.

— Но зачем тогда это вам самой? Что *вы* от этого получите?

Улыбаясь, Лилиан откинулась на спинку стула:

— Этот завтрак. Возможность увидеть вас здесь. Знать, что вам пришлось прийти ко мне.

Злой огонек вспыхнул в глазах Таггерта, потом глаза медленно сузились, и он тоже откинулся назад. Его лицо расслабилось, на нем теперь отражались насмешка и удовлетворенность. Даже опираясь на свой сумбурный, не сформулированный, грязный кодекс ценностей, он смог осознать, кто из них больше зависит от другого и заслуживает большего презрения.

Когда они расстались у дверей ресторана, Лилиан отправилась в номер Риардена в отеле

«*Уэйн-Фолкленд*», где время от времени останавливалась в его отсутствие. Почти полчаса она задумчиво мерила комнату шагами. Потом решительным жестом взяла телефонную трубку, позвонила в заводскую контору и спросила мисс Айвз, когда ожидается приезд Риардена.

— Мистер Риарден прибудет в Нью-Йорк завтра поездом «*Комета*», миссис Риарден, — учтиво сообщила мисс Айвз.

— Завтра? Чудесно. Мисс Айвз, не могли бы вы оказать мне любезность? Позвоните Гертруде и скажите, чтобы она не ждала меня дома к обеду. Я переночую в Нью-Йорке.

Положив трубку, она посмотрела на часы и позвонила флористу отеля.

— Говорит миссис Генри Риарден. Я хотела бы заказать две дюжины роз в купе мистера Риардена в поезде «*Комета*»… Да, сегодня, когда «*Комета*» прибудет в Чикаго… Нет, никакой карточки не нужно, только цветы… Благодарю вас.

Поговорила она и с Джимом Таггертом.

— Джим, не могли бы вы прислать мне пропуск на ваши пассажирские платформы? Хочу завтра встретить мужа на вокзале.

Поколебавшись между Бальфом Юбэнком и Бертрамом Скаддером, она выбрала Бальфа

Юбэнка, позвонила ему и назначила встречу за ужином в варьете. Потом приняла ванну, почитывая журналы, посвященные проблемам политэкономии.

Позднее ей позвонил флорист:

— Из нашего чикагского офиса пришло сообщение, что они не могут поставить цветы, миссис Риарден. Мистера Риардена в «*Комете*» нет.

— Вы уверены? — переспросила Лилиан.

— Совершенно уверены, миссис Риарден. Наш человек выяснил на вокзале Чикаго, что купе на имя мистера Риардена не забронировано. Мы проверили в нью-йоркской конторе «*Таггерт Трансконтинентал*», и там нам сказали, что среди пассажиров «*Кометы*» имя мистера Риардена не значится.

— Понимаю… Тогда снимите заказ, пожалуйста… Спасибо.

Нахмурясь, она минуту посидела у телефона, потом позвонила мисс Айвз.

— Извините, пожалуйста, я спешила и была немного рассеянна, ничего не записала, и теперь не уверена в том, что вы мне сказали. Так мистер Риарден действительно возвращается завтра? На «*Комете*»?

— Да, миссис Риарден.

— Вы не слышали, не будет ли задержки рейса, не изменились ли у него планы?

— Нет. Я около часа назад говорила с мистером Риарденом по телефону. Он звонил с чикагского вокзала и сказал, что должен торопиться на поезд, потому что «*Комета*» отправляется.

— Понятно. Спасибо.

Едва положив трубку, Лилиан вскочила на ноги. Она ходила по комнате нервным, напряженным шагом. Потом пораженная внезапной мыслью остановилась.

Существовала только одна причина, по которой мужчина мог зарегистрироваться под чужим именем, — если он путешествовал не один. Ее лицо медленно расплылось в удовлетворенной улыбке: о такой возможности она могла только мечтать.

Стоя на платформе Терминала, у середины состава, Лилиан осматривала пассажиров, высаживавшихся с «*Кометы*». Губы сложены в полуулыбку, глаза, оживленные искрой возбуждения, перебегают с одного лица на другое, как у школьницы. Она предвкушала, какое будет выражение у Риардена, шагающего рядом с любовницей, в тот момент, когда он увидит Лилиан на платформе.

Она с надеждой всматривалась в каждую привлекательную молодую женщину, сходящую с поезда. Это оказалось нелегким делом: платформу затопил мощный поток пассажиров, следовавших в одном направлении, и рассматривать отдельных людей стало трудно. Фонари скорее мерцали, чем освещали, прорезая маслянистые густые сумерки узкими лучами света. Лилиан приходилось прилагать усилия, чтобы устоять против невиданного напора движения.

Вид Риардена вызвал у нее шок: Лилиан не заметила, как Хэнк сошел с поезда, и вот он уже шел прямо к ней откуда-то с дальнего конца состава. Он был один. Шагал своей обычной деловитой походкой, сунув руки в карманы пальто полувоенного покроя. Рядом с ним не было ни женщины, ни другого попутчика, только носильщик поспешал следом со знакомым чемоданом.

Не в силах поверить в неудачу, разочарованная Лилиан лихорадочно пыталась отыскать в толпе хоть какую-нибудь женскую фигуру. Она была уверена, что угадает, на ком остановил свой выбор Риарден. Ничего похожего на глаза не попадалось. И здесь она рассмотрела, что последним в поезде прицеплен частный вагон,

а у его ступенек, разговаривая с каким-то вокзальным служащим, стоит женщина. Не в норке и вуалетке, а в простом спортивном пальто, только усиливавшем несомненное изящество стройной фигуры хозяйки железной дороги и вокзала Дагни Таггерт. И тут Лилиан Риарден все поняла.

— Лилиан! Что случилось?

Она услышала голос Риардена, почувствовала, что он сжал ее руку, увидела, с какой тревогой он смотрит на нее, словно на вестницу несчастья. Хэнк сразу заметил бледность жены и испуганное выражение ее лица.

— Что случилось? Что ты здесь делаешь?

— Я… Привет, Генри… Я просто пришла встретить тебя… Никакой особенной причины… Просто захотелось тебя встретить, — страх исчез с лица Лилиан, но говорила она странным, безжизненным голосом. — Захотелось увидеть тебя, просто порыв, которому я не смогла противиться, потому что…

— Но ты… у тебя больной вид.

— Нет… Может, голова немного закружилась, здесь такая давка… Я не могла не прийти, потому что вспомнила о тех днях, когда ты был рад меня видеть… Минутная иллюзия, чтобы утешить

себя… — она произносила слова, как давно заученный урок.

Лилиан понимала, что нужно говорить, пока рассудок не охватил *всего* значения сделанного ею открытия. Слова были частью ее плана, который она хотела применить, когда встретит Риардена после того, как он обнаружит в своем купе розы.

Нахмурившись, Риарден молча пристально смотрел на нее.

— Я скучала по тебе, Генри, я знаю, о чем говорю. Но не надеялась, что для тебя это все еще что-то значит, — слова не подходили к напряженному выражению ее лица, губы повиновались с трудом, глаза по-прежнему смотрели мимо Риардена, на платформу. — Я хотела… я просто хотела сделать тебе сюрприз… — на ее лицо вернулось выражение сметливости и проницательности.

Риарден взял ее за руку, но она отдернула ладонь — пожалуй, слишком резко.

— Ты ничего не хочешь мне сказать, Генри?

— Что ты хочешь от меня услышать?

— Тебе ужасно не нравится, что твоя жена пришла на вокзал встретить тебя? — она снова глянула на платформу: Дагни Таггерт шла в их

сторону, но Риарден ее не видел.

— Пойдем, — предложил он.

Лилиан не двинулась с места.

— Тебе не нравится? — еще раз спросила она.

— Что?

— Тебе не нравится, что я пришла?

— Нет. Я просто не понял, зачем.

— Расскажи мне о своей поездке. Уверена: путешествие было очень приятным.

— Пойдем. Мы поговорим дома.

— Разве у меня когда-нибудь была возможность поговорить с тобой дома? — она говорила, невозмутимо растягивая слова, чтобы выиграть время, по причине, которой сама пока не знала. — Я надеялась на несколько минут занять твое внимание прямо здесь, между поездом и деловыми встречами, и всевозможными важными материями, которые не отпускают тебя днем и ночью, всеми твоими великими достижениями… Привет, мисс Таггерт! — почти крикнула Лилиан.

Риарден резко обернулся. Проходившая мимо Дагни остановилась.

— Здравствуйте, — она кивнула Лилиан, ее лицо ничего не выражало.

— Извините, мисс Таггерт, — улыбаясь, сказала

Лилиан. — Вы должны простить меня, если я не найду подходящих слов соболезнования. — Она отметила про себя, что Дагни и Риарден не поздоровались. — Вы вернулись, можно сказать, с похорон вашего ребенка от моего мужа, не так ли?

Губы Дагни изогнулись с выражением удивления и сочувствия. Она чуть наклонила голову, словно прощаясь, и пошла прочь.

Лилиан впилась взглядом в лицо Риардена. Тот ответил ей неопределенным, озадаченным взглядом. Она ничего не сказала и молча последовала за ним, когда он двинулся к выходу. Она молчала и в такси, полуотвернувшись от мужа, всю дорогу до отеля. Риарден по одному выражению ее сжатых губ понимал, какая жестокая буря бушует у нее внутри. Он никогда еще не видел, чтобы ее терзали столь сильные эмоции.

Как только они осталась в комнате одни, Лилиан резко повернулась к Риардену. Он смотрел на нее, не веря происходящему.

— Так это Дагни Таггерт твоя любовница, верно?

Он не ответил.

— Мне случайно стало известно, что ты не за-

казывал купе в этом поезде. Теперь я знаю, где ты провел несколько последних ночей. Ты признаешься сам или хочешь, чтобы я наняла частных детективов опросить служащих поезда и ее слуг? Это Дагни Таггерт?

— Да, — спокойно ответил он.

Лилиан вскрикнула, ее губы искривились, она смотрела мимо него.

— Я должна была догадаться. Вот почему ничего не вышло!

— Что не вышло? — недоуменно переспросил Риарден.

Лилиан отшатнулась, словно внезапно вспомнив о его присутствии.

— Вы… когда она была в нашем доме, на приеме, вы тогда?..

— Нет. Позднее.

— Великая бизнес-леди, — проговорила она, — без страха и упрека, выше женских слабостей. Могучий ум, не подчиненный телу… — она рассмеялась, но вдруг осеклась: — Браслет… — с застывшим взглядом произнесла Лилиан, слова как будто случайно всплывали из водоворота ее мыслей. — Так вот что она для тебя значила. Это она дала тебе в руки оружие…

— Если ты действительно понимаешь, что го-

воришь, то да, ты права.

— Думаешь, тебе удастся выкрутиться?

— Выкрутиться? — он смотрел на нее с недоверчивым, растерянным любопытством.

— Вот почему в суде… — она замолкла.

— Что такое с моим судом?

Лилиан трясло.

— Ты, конечно, понимаешь, что я не позволю этому продолжаться.

— Как это связано с моим судом?

— Я не позволю тебе быть с этой женщиной. Не с нею. С кем угодно, только не с нею.

Подождав мгновение, он спросил ровным голосом:

— Почему?

— Я этого не позволю! Ты бросишь ее! — Риарден смотрел на Лилиан без выражения, но пристальность его взгляда была страшнее гнева. — Ты бросишь ее, ты никогда больше не увидишь ее!

— Лилиан, если ты хочешь это обсудить, то должна понять одну вещь: ничто и никто на свете не заставит меня ее бросить.

— Но я *требую* этого!

— Я уже сказал, ты можешь требовать чего угодно, но не этого.

Он видел, как судорожный страх наполняет ее глаза: не понимание, а враждебный отказ понимать происходящее. Лилиан как будто хотелось превратить взрыв эмоций в дымовую завесу в надежде, что та сделает ее слепой перед действительностью, и именно слепота заставит действительность исчезнуть.

— Но я имею право требовать этого! Твоя жизнь принадлежит мне! Она — моя собственность. Моя собственность, ты в этом поклялся. Ты клялся дать мне счастье, мне, а не себе! Что ты со мной сделал? Ты не дал мне ничего, ты ничем не пожертвовал ради меня, ты никогда ни о ком не думал, только о себе — своей работе, своем заводе, своем таланте, своей любовнице! А как же я? Мне принадлежит право на твои мысли! Ты — банковский счет, принадлежащий мне!

Именно выражение лица Риардена заставляло Лилиан в страхе выкрикивать одну фразу за другой. Но она не находила в нем ни гнева, ни боли, только одно — безразличие.

— Ты подумал обо мне? — кричала она в лицо Риардену. — Ты подумал, что ты со мной делаешь? Ты не имеешь права продолжать! Каждый раз, ложась в постель с этой женщиной, ты ввергаешь меня в ад! Я не могу этого выно-

сить, я не выношу этого с той минуты, как только узнала! Ты принес меня в жертву своим животным инстинктам! Неужели ты настолько жесток и эгоистичен? Ты способен покупать свое удовольствие ценой моего страдания? Как ты можешь наслаждаться, зная, *что* я при этом испытываю?

Не чувствуя ничего, кроме недоумения, Риарден сосредоточился на зрелище, которое, мелькнув перед ним в прошлом, предстало сейчас во всей неприглядности: мольбы о жалости, порожденные рычащей ненавистью, с угрозами и требованиями.

— Лилиан, — очень спокойно сказал Риарден. — Я не откажусь от своих чувств, даже если ты потратишь на это всю свою жизнь.

Она услышала его. И поняла больше, чем он сам вкладывал в свои слова. Риардена потрясло, что она не закричала в ответ, а затихла и съежилась.

— Ты не имеешь права, — тупо проговорила Лилиан. Слова показались ненужными и бесполезными, она сама почувствовала их бессмысленность.

— Ни один человек не может требовать от другого, чтобы он прекратил существовать, — отве-

тил Риарден.

— Она так много для тебя значит?

— Даже больше.

Осмысленное выражение вернулось на лицо Лилиан, но это было выражение хитрости. Она хранила молчание.

— Лилиан, я рад, что ты узнала правду. Теперь ты можешь сделать выбор с полным пониманием ситуации. Ты можешь развестись со мной или предпочесть, чтобы все шло по-прежнему. Другого выбора у тебя нет. Больше мне нечего тебе предложить. Думаю, ты понимаешь, что я предпочел бы развестись. Но не прошу тебя приносить себя в жертву. Не знаю, чем для тебя удобен наш брак, но если так, я не стану ни на чем настаивать. Я не знаю, зачем ты удерживаешь меня, не знаю, что я для тебя значу, не знаю, чего ты ищешь, какое счастье ты хочешь найти в жизни, которую я считаю невыносимой для нас обоих. По моим стандартам, ты должна была развестись со мной давным-давно. В моем понимании, наш брак был жестоким обманом. Но это мои стандарты — не твои. Я не понимаю твоих и никогда не понимал, но принял их. Если в этом твоя любовь ко мне, если носить мое имя — смысл твоей жизни, я не стану отбирать его у тебя. Это я

нарушил клятву, значит, я должен понести наказание. Тебе, разумеется, известно, что я могу купить одного из этих современных судей, чтобы получить развод, как только захочу. Но я не стану этого делать. Я сдержу слово, если ты этого хочешь. А теперь принимай решение, но если ты предпочтешь удержать меня, то никогда больше не говори мне о ней, никогда не подавай виду, что знаешь ее, если в будущем вы встретитесь, и никогда не касайся этой части моей жизни.

Лилиан стояла сгорбившись, отрешенно глядя на Риардена, словно ее ярость приняла форму неряшливости и расхлябанности, словно из-за него она позабыла все приличия.

— Мисс Дагни Таггерт, — Лилиан коротко рассмеялась. — Суперженщина, которую ординарная жена ни в чем бы не заподозрила. Женщина, не думающая ни о чем, кроме бизнеса, и которая держится по-мужски. Отважная женщина, ее чувства к тебе платоничны, она восхищена твоей гениальностью, твоими заводами и твоим металлом! — Лилиан усмехнулась. — Мне нужно было догадаться, что она — просто сука, которая хочет тебя точно так же, как любая другая сука, потому что в постели ты эксперт не хуже, чем за рабочим столом, если я вправе судить о та-

ких вещах. Но мне до нее далеко, ведь она во всем предпочитает экспертов и к тому же ложилась под каждого на своей железной дороге!

Она замолчала, потому что в первый раз в жизни почувствовала, каким бывает взгляд у человека, способного на убийство. Но Риарден не смотрел на нее. Она даже не была уверена, что он видел ее или слышал ее голос.

Это продолжалось одно мгновение: всего лишь нечто темное, мелькнувшее в его сознании. Перенесенное потрясение вернуло его к действительности. Присутствие Лилиан внезапно показалось ему досадным, нужно было что-то сказать.

— Лилиан, — спокойный голос мужа лишил ее возможности почувствовать гордость за то, что она вызвала его гнев. — Больше не говори со мной о ней. Если ты сделаешь это снова, я отвечу тебе, как ответил бы бандиту: побью. Больше ни ты, ни я не будем ее обсуждать.

Лилиан посмотрела на него.

— Вот как? — слова прозвучали странно, буднично, будто сказанное не могло избавить ее от мысли, засевшей в мозгу, словно гвоздь. Лилиан, казалось, не могла оторваться от некоей воображаемой картины.

Риарден сказал спокойно, с легким удивлением:

— Я думал, ты будешь рада, открыв для себя правду. Мне казалось, что ты предпочла бы все знать, хотя бы ради той любви или того уважения, которое испытывала ко мне. Если я тебя и предал, то не походя, не из-за дешевой интрижки с хористкой, а из-за самого серьезного чувства в моей жизни.

Лилиан против воли бросило к нему, и столь же непроизвольно у нее вырвался крик обнаженной ненависти:

— Ах ты, идиот проклятый!

Риарден промолчал.

К Лилиан вернулось самообладание, вместе с легкой улыбкой, скрывающей насмешку.

— Наверное, ты ждешь от меня ответа? — спросила она. — Нет, я не стану с тобой разводиться. Даже не надейся. Мы будем жить как прежде, ты сам это предложил, раз ты считаешь, что так может продолжаться и дальше. Посмотрим, как ты сможешь пренебречь своими нравственными принципами и остаться при этом безнаказанным!

Надевая пальто, Лилиан сказала, что возвращается домой, но Риарден ее не слушал и почти

не заметил, как за ней закрылась дверь. Он стоял неподвижно, охваченный незнакомым чувством. Он знал, что позднее все обдумает и поймет, но в тот момент ему не хотелось ничего, только разобраться в том, что же он чувствует.

Риардена наполняло чувство полной свободы, как если бы он стоял, овеваемый потоком свежего воздуха, ощущая, какой огромный груз сбросил с плеч. Чувство полного освобождения. Понимание того, что реакции Лилиан, ее страдания его больше не тревожат и даже больше: *чувство отсутствия вины* за то, что это больше не имеет, да и не должно иметь для него значения.

ГЛАВА VI. ЧУДЕСНЫЙ МЕТАЛЛ

— Но как мы сможем выпутаться из этой ситуации? — спросил Уэсли Моуч голосом визгливым и тонким от злости и страха. Никто ему не ответил. Джеймс Таггерт, сидя на краешке стула, смотрел на него исподлобья, Оррен Бойль яростно ткнул сигарой в пепельницу, стряхивая пепел. Доктор Флойд Феррис улыбался. Мистер Уизерби поджал губы. Фред Киннан, глава Альянса трудящихся Америки, перестал слоняться по комнате, уселся на подоконник и скрестил руки на груди. Юджин Лоусон, который, сгорбившись, рассеянно переставлял цветы в вазе на низком стеклянном столике, выпрямился и обиженно посмотрел в потолок. Моуч сидел за столом, придавив кулаком лист бумаги. Ответил ему Юджин Лоусон:

— По-моему, этот путь не годится. Мы не должны позволить банальным трудностям препятствовать нашему пониманию того, что этот план вызван исключительно заботой о благосостоянии народа. Он служит общественному благу. Он нужен людям. Главное — ответить на чаяния народа, поэтому мы не должны думать ни о чем другом.

Никто не возразил, но и не подхватил тему. Казалось, своим заявлением Лоусон только затруднил продолжение дискуссии. Но невысокий человек, скромно сидевший на лучшем стуле в комнате, в сторонке от остальных, дабы казаться незамеченным, однако прекрасно знавший, что никто не забывает о его присутствии, глянул на Лоусона, потом на Моуча, и бодро изрек:

— А это мысль, Уэсли. Расширь ее, приукрась, вели своим газетчикам расхвалить ее, и волноваться будет не о чем.

— Да, мистер Томпсон, — мрачно ответил Моуч.

Мистер Томпсон, глава государства, обладал удивительной способностью держаться неприметно. В компании троих мужчин он уже был неразличим, а если попадался на глаза один, то моментально собирал вокруг себя целую толпу людей, всех как один напоминавших его самого.

Страна не имела ясного представления о том, как он выглядит: его фотографии появлялись на обложках журналов так же часто, как и снимки всех его предшественников по кабинету, но люди никогда не были уверены, на каком фото Томпсон, а на каком — мелкий служащий. Сопровождающие статьи о ежедневных событиях

также оставались невыразительными. Единственное, чем отличался мистер Томпсон от других, были мятые воротнички. При тщедушном теле он выделялся широкими плечами. Жидкие волосы, большой рот и полная неопределенность возраста: его можно было принять и за усталого сорокалетнего мужчину, и за необычно бодрого старикана лет шестидесяти. Обладая огромной властью, он неустанно стремился ее расширить, потому что именно этого ожидали от него те, кто продвинул его на высокий пост. Он обладал коварством интеллектуала и неистовой энергией зверька. Единственной тайной головокружительной карьеры Томпсона был тот факт, что на самый верх его забросило стечение обстоятельств, и он не претендовал на большее.

— Совершенно очевидно, что необходимо принять меры. Решительные меры, — Джим Таггерт обращался не к мистеру Томпсону, а к Уэсли Моучу. — Мы не можем больше позволять событиям развиваться по-прежнему.

Его дрожащий голос звучал воинственно.

— Успокойся, Джим, — сказал Оррен Бойль.

— Нужно что-то делать и делать быстро!

— Не смотрите на меня, — огрызнулся Уэсли Моуч. — Что я могу, если люди отказываются

сотрудничать? Я связан. Мне нужны более широкие полномочия.

Моуч собрал их всех в Вашингтоне, как своих друзей и личных советников, на приватное, неофициальное совещание по национальному кризису. Но наблюдая за ним, собравшиеся никак не могли понять: повелевает он или умоляет, угрожает им или взывает о помощи.

— Факты таковы, — произнес мистер Уизерби сухим тоном статистической справки, — что за двенадцатимесячный период, на первый день нового года, уровень банкротств в бизнесе удвоился по сравнению с предыдущим аналогичным периодом. А с начала текущего года он уже утроился.

— Будьте уверены, они считают, что это произошло по их вине, — буднично вставил доктор Феррис.

— А? — Уэсли Моуч перевел взгляд на него.

— Что бы вы ни сделали, не извиняйтесь, — добавил доктор Феррис. — Пусть они чувствуют себя виноватыми.

— Я не извиняюсь! — огрызнулся Моуч. — Меня не в чем упрекнуть. Мне нужны более широкие полномочия.

— Но они действительно сами во всем вино-

ваты! — Юджин Лоусон агрессивно повернулся к доктору Феррису. — Им не хватает общественного сознания. Они отказываются признать, что производство — не их частное дело, а обязанность перед обществом. Они не имеют права на неудачу, неважно, что там у них происходит. Они должны продолжать производить товары. Таково требование общества. Работа — не личное дело человека, это его долг перед обществом. Не существует *частного* дела, как и *частной* жизни. Вот чему мы должны заставить их научиться.

— Джин Лоусон знает, о чем я говорю, — с легкой улыбкой сказал доктор Феррис. — Хоть и сам не понимает, что делает.

— Что ты еще придумал? — повысил голос Лоусон.

— Бросьте, — приказал ему Моуч.

— Мне все равно, что вы задумали, Уэсли, — произнес мистер Томпсон, — и станет ли бизнес протестовать по этому поводу. Достаточно и того, если вы убедитесь, что пресса на вашей стороне. Будьте, черт возьми, уверены в ней.

— Они все мои, — отрезал Моуч.

— Один-единственный издатель, не вовремя открывший пасть, принесет больше вреда,

чем десять разгневанных миллионеров.

— Это верно, мистер Томпсон, — согласился доктор Феррис. — Но можете ли вы назвать хоть одного издателя, которому это известно?

— Кажется, не могу, — мистер Томпсон был явно доволен.

— На каких бы людей мы ни рассчитывали, составляя наши планы, — продолжил доктор Феррис, — существует одно старое изречение, которое мы можем благополучно забыть: нужно рассчитывать на мудрых и честных. Мы не будем на них полагаться. Эти люди устарели.

Джеймс Таггерт посмотрел в окно. В небе над просторными улицами Вашингтона появились просветы нежной апрельской голубизны, и несколько лучей пробились сквозь облака. В отдалении белел залитый солнцем монумент. Белоснежный высокий обелиск, возведенный в память о человеке, которого процитировал доктор Феррис, человеке, чьим именем назван этот город. Джеймс Таггерт отвернулся от окна.

— Мне не нравятся замечания профессора, — громко и угрюмо заявил Лоусон.

— Спокойно, — оборвал его Уэсли Моуч. — Доктор Феррис говорит не о теории, а о практике.

— Ну, если вы хотите говорить практически, —

вмешался Фред Киннан, — тогда позвольте мне сказать, что мы не можем заботиться о бизнесменах в наше трудное время. О чем нам действительно нужно подумать, так это о занятости. Больше рабочих мест для людей. В моих профсоюзах каждый работающий человек кормит пятерых безработных, не считая кучи голодных родственников. Если вы хотите, чтобы я дал вам совет… нет, я знаю, советы вам не нужны, это просто мои соображения… выпустите директиву, обязывающую добавить еще треть людей к каждой платежной ведомости в стране.

— Боже всемогущий! — взвизгнул Таггерт. — Вы с ума сошли? Мы и сейчас едва-едва справляемся с оплатой платежных ведомостей! Даже для тех, кто уже нанят, работы не хватает! Еще треть? Мы все равно не найдем им применения!

— Кого волнует, найдете вы им применение или нет? — пожал плечами Фред Киннан. — Людям нужна работа. Для нас главное — помочь нуждающимся, а не ваши прибыли.

— Дело вовсе не в прибыли! — продолжал визжать Таггерт. — Я вообще ни слова не сказал о прибыли. Я не давал вам повода оскорблять меня. Вопрос в том, где, черт возьми, мы возьмем

деньги для заработной платы вашим людям, когда половина наших поездов идет порожняком и грузов катастрофически не хватает, — его голос внезапно зазвучал тихо и задумчиво: — Однако мы понимаем, в каком тяжелом состоянии сейчас находятся рабочие, и... это просто так, мысли вслух... мы, возможно, сможем принять на работу еще некоторое количество людей, если вы разрешите нам удвоить тарифы на грузовые перевозки, которые...

— Да вы что, рассудка лишились? — взвыл Оррен Бойль. — Я и при сегодняшних тарифах еле держусь, меня дрожь пробирает каждый раз, когда проклятый товарный вагон въезжает или выезжает с завода, они из меня всю кровь выпустили, я не могу себе позволить таких расходов, а вы хотите удвоить тарифы!

— Это не самое главное, можете вы себе позволить такие расходы или не можете, — холодно ответил Таггерт. — Вы должны быть готовы к жертвам. Людям нужны железные дороги. Главное — нужды людей, а не ваши прибыли.

— Какие прибыли? — выл Оррен Бойль. — Когда это я получал прибыль? Никто не может упрекнуть меня в том, что я занимаюсь бизнесом ради выкачивания прибыли! Посмотрите луч-

ше на мой балансовый отчет, а потом сравните с моими конкурентами, у которых все клиенты, всё сырье, все технические преимущества и монополии, а потом говорите, у кого прибыли!.. Но, разумеется, людям нужны железные дороги, и, возможно, я мог бы согласиться на некоторое повышение тарифов, если это неизбежно, и если я получу субсидию, которая позволит мне продержаться год или два, пока я не встану на ноги и…

— Что? Опять? — теперь уже взвыл мистер Уизерби, утратив весь свой чопорный вид. — Сколько субсидий вы уже получили от нас и сколько отсрочек, продлений и мораториев? Вы пока еще не выплатили ни цента, а когда вы все вместе погубите на корню систему сбора налогов, откуда мы сможем взять денег на ваши субсидии?

— Есть еще люди, которые не сломались, — медленно проговорил Бойль. — Вам, парни, нет прощения за то, что вы позволили нужде и горю распространиться по всей стране, но есть еще люди, которые не сломались.

— Я не могу этому помочь! — проорал Уэсли Моуч. — Я ничего не могу поделать! Мне нужны более широкие полномочия!

Собравшиеся не могли сказать, что заставило мистера Томпсона присутствовать на приватном

совещании. Он мало говорил, но слушал с интересом. Казалось, что Глава государства очень хотел в чем-то разобраться, и теперь у него был вид, словно он усвоил то, что хотел. Томпсон встал и бодро улыбнулся.

— Начинайте, Уэсли, — кивнул он. — Вводите в действие номер 10–289. У вас не возникнет никаких трудностей.

Все неохотно, с угрюмым уважением поднялись с мест. Уэсли Моуч посмотрел на свой листок бумаги и недовольно сказал:

— Если вы хотите, чтобы я начинал, вы должны объявить о введении чрезвычайного положения.

— Я объявлю его, как только вы будете готовы.

— Есть определенные трудности, которые…

— Предоставляю вам решить их любым доступным вам способом. Это ваша работа. Покажите мне примерный набросок завтра или послезавтра, но не досаждайте мне мелкими деталями. Мне еще нужно подготовиться к речи на радио. Мое выступление — через полчаса.

— Главная трудность состоит в том, что я не уверен, позволяет ли нам закон вводить в действие некоторые положения Директивы номер 10–289. Боюсь, могут возникнуть определенные проблемы.

— Черт, мы же приняли столько чрезвычайных законов. Если их просмотреть, вы наверняка откопаете какую-нибудь зацепку, прикрывающую ваши действия.

Мистер Томпсон повернулся к остальным с доброй дружественной улыбкой.

— Предоставляю вам, парни, отшлифовать детали, — сказал он. — Благодарю вас за прибытие в Вашингтон, ваши замечания я нахожу очень полезными. Рад был вас видеть.

Они подождали, пока за Томпсоном закрылась дверь, и снова заняли свои места, не глядя друг на друга.

Не будучи детально знакомы с текстом Директивы 10–289, собравшиеся в общем знали о ее содержании. Знали довольно давно, но, по негласной договоренности, держали в секрете и не позволяли себе комментировать. По тем же соображениям они хотели бы, если возможно, и сейчас воздерживаться от обсуждения. В таких вопросах следовало избегать прямоты. Но в то же время им очень хотелось, чтобы директива вступила в действие, причем без лишних слов с их стороны, чтобы не знать, что они делают именно то, что делают. Никто не признавался, что Директива номер 10–289 — конечная цель всех усилий

каждого из них.

И вот спустя годы ее введение оказалось возможным. Все последние месяцы каждое положение директивы подготавливалось при помощи бесконечных речей, статей, проповедей, газетных передовиц, озабоченных голосов, гневно возражавших всякому, кто объяснял их истинные намерения.

— Картина такова, — приступил Уэсли Моуч. — Экономическая ситуация в стране в прошлом году была лучше, чем в текущем, а в позапрошлом — лучше, чем в прошлом. Очевидно, что при такой «прогрессии» нам не пережить еще один год. Поэтому наша единственная цель — попытаться удержать страну на существующем уровне. Замереть, чтобы собраться и сделать шаг вперед. Достигнуть тотальной стабильности. Свобода получила свой шанс, но потерпела неудачу. Поэтому необходим еще более жесткий контроль. Поскольку люди не способны и не желают разрешить свои проблемы добровольно, их нужно заставить это сделать, — помолчав, он взял в руки лежавший перед ним лист бумаги и добавил менее официальным тоном: — Черт, получается, что мы можем существовать на том уровне, которого сейчас достигли, но не можем

позволить себе двигаться! Значит, нам придется стоять на месте. Нам придется заставить этих ублюдков замереть!

Втянув голову в плечи, он посмотрел на окружающих со злостью, словно трудности, возникшие в стране, нанесли ему личное оскорбление. Слишком много людей, добивавшихся для себя привилегий, боялись его, и сейчас он вел себя так, будто его гнев решал все проблемы, будто его гнев всесилен, будто все, что ему нужно было сделать — это разгневаться.

И все же, глядя на него, люди, сидевшие молчаливым полукругом, не могли понять, сами ли они потеют от страха, или эта сгорбленная фигура за столом излучает страх крысы, загнанной в угол.

Длинное угловатое лицо Уэсли Моуча и его тупоконечный череп завершала стрижка «ежиком». Капризно выпяченная нижняя губа и глаза, похожие на яичные желтки на фоне не очень светлых белков, тоже не красили его. Мышцы лица резко исказились и расслабились, превратив его в бесстрастную маску. Никто никогда не видел, как он улыбается. Уэсли Моуч был родом из семьи, которая на протяжении многих поколений не знала ни бедности, ни богатства, ни знатно-

сти и цеплялась за свои собственные традиции: получить высшее образование и вследствие этого презирать тех, кто занимается бизнесом. Все полученные домочадцами дипломы всегда висели на стене немым укором миру, потому что дипломы эти не приносили материального эквивалента аттестованной духовности. Среди многочисленных родственников семейства был один весьма состоятельный дядюшка. Он женился на богатенькой и, овдовев в старости, среди прочих племянников и племянниц избрал Уэсли своим любимчиком. Уэсли был самым непримечательным, а следовательно, заключил дядя Джулиус, самым безопасным родственником. Дядя Джулиус не интересовался яркими людьми. Он не заботился и о том, как тратить деньги, поэтому поручил эту заботу Уэсли. К тому времени, когда Уэсли окончил колледж, денег, которыми можно было бы распорядиться, не осталось вовсе. Дядя Джулиус обвинил в этом коварного племянника, крича, что Уэсли — недобросовестный прожектер.

Но на самом деле никакими проектами там и не пахло, — Уэсли даже не мог объяснить, куда подевались деньги. В старших классах школы Уэсли был одним из самых слабых учеников

и жестоко завидовал тем, кто ходил в отличниках. Колледж научил его, что завидовать им вовсе не стоит. После окончания учебы он получил работу в отделе рекламы компании, производившей сомнительное средство от мозолей. Средство распродавалось хорошо, и Уэсли повысили до главы департамента. Но он перешел на работу по рекламе восстановителя волос, потом — патентованных лифчиков, затем — нового сорта мыла, вслед за тем — безалкогольных напитков и, наконец, стал вице-президентом автомобильного концерна. Уэсли попытался продавать автомобили так же, как торговал поддельным средством от мозолей. Автомобили не продавались.

Уэсли обвинил в этом неэффективный рекламный бюджет. Именно президент автомобильного концерна рекомендовал его Риардену. Хэнк, не имея стандартов для оценки его деятельности, представил Уэсли в Вашингтоне. Джеймс Таггерт дал старт его деятельности в Бюро экономического планирования и национальных ресурсов по обману Риардена, с целью помочь Оррену Бойлю в благодарность за поражение Дэна Конвея. С тех пор люди помогали Уэсли Моучу по той же причине, которая подвигла на это дядю

Джулиуса: они считали, что посредственность безопасна. Тех людей, что сидели сейчас перед его столом, научили, что причинно-следственная связь — предрассудок, и ситуацию можно разрешить, не разбираясь в ее причинах. В данной конкретной ситуации они заключили, что Уэсли Моуч — человек высочайшего ума и коварства, поскольку он единственный из миллионов претендентов достиг власти. О том, что Уэсли Моуч — нулевая точка в пересечении сил, развязавших войну на уничтожение друг друга, не позволял догадаться привычный им метод мышления.

— Вот проект Директивы номер 10–289, — сообщил Уэсли Моуч, — которую Джин, Клем и я набросали, чтобы дать вам общее представление. Мы хотим услышать ваши мнения, предложения и так далее, поскольку вы представляете промышленность, транспорт и профсоюзы.

Фред Киннан встал с подоконника и пересел на подлокотник кресла. Оррен Бойль выплюнул окурок сигары. Джеймс Таггерт посмотрел на свои руки. Доктор Феррис, кажется, единственный чувствовал себя в своей тарелке.

— «Во имя достижения всеобщего благосостояния, — зачитал Уэсли Моуч, — с целью защиты

безопасности населения, обеспечения полного равенства и тотальной стабильности, на время чрезвычайной ситуации в стране постановляем:

Пункт первый. Все рабочие и наемные работники всех типов отныне и впредь будут закреплены на своих рабочих местах и не будут их покидать или увольняться, а также не могут сменить занятие под угрозой наказания в виде тюремного заключения. Наказание должно быть определено Объединенным советом, назначенным Бюро экономического планирования и национальных ресурсов. Все граждане, достигшие возраста двадцати одного года, должны зарегистрироваться в местных отделениях Объединенного совета, который предпишет им где, по мнению Совета, их услуги наилучшим образом послужат интересам нации.

Пункт второй. Все промышленные, коммерческие предприятия и предприятия бизнеса всех типов должны отныне функционировать бесперебойно, и владельцы таковых предприятий не должны увольняться или закрывать производство, а также не могут продавать или передавать свое дело под угрозой наказания путем национализации их предприятий и всей их собственности.

Пункт третий. Все патенты и авторские права на любые устройства, изобретения, химические составы и процессы, а также услуги любого типа должны быть переданы нации в качестве чрезвычайного патриотического дара посредством Сертификатов дарения, добровольно подписанных владельцами всех указанных патентов и авторских прав. Объединенный совет должен затем лицензировать использование таковых патентов и авторских прав всеми заявителями, на равных условиях и без дискриминации, в целях исключения монопольного применения, устранения устаревшего оборудования и роста производства доступных товаров для всей нации. Все торговые марки, бренды и защищенные авторским правом названия больше не охраняются. Каждый запатентованный продукт получит новое наименование и будет продаваться под названием, избранным для него Объединенным советом. Все частные торговые марки и бренды впредь отменяются.

Пункт четвертый. Начиная с даты вступления в силу настоящей Директивы никакие новые устройства, продукты либо товары всех типов, не присутствующие в настоящее время на рынке, не будут производиться, создаваться,

изготавливаться и продаваться. В связи с этим деятельность Бюро патентов и авторских прав приостанавливается.

Пункт пятый. Каждое предприятие, концерн, корпорация или гражданин, вовлеченные в производство любого рода, отныне обязуются производить тот же объем товаров в год, каковой они или он производили в течение базового года, не больше и не меньше. Базовым годом считать год, закончившийся до даты вступления в силу данной директивы. Перепроизводство или снижение уровня производства будут наказываться наложением штрафа, размеры которого определяет Объединенный совет.

Пункт шестой. Каждый человек любого возраста, пола, класса и уровня доходов впредь обязуется ежегодно тратить тот же объем финансов, который был им потрачен в течение базового года, не больше и не меньше. Превышения или занижение приобретений будут наказываться штрафом, размеры которого определяет Объединенный совет.

Пункт седьмой. Все заработки, цены, жалованья, дивиденды, прибыли, проценты с вкладов, формы и виды прибыли всех типов должны быть заморожены на уровне существующих на день

вступления в силу данной директивы.

Пункт восьмой. Все случаи и правила, не оговоренные особо в данной директиве, должны рассматриваться и разрешаться Объединенным советом, решение которого считается окончательным».

Даже в душах четверых мужчин, слушавших Моуча, еще уцелели остатки человеческого достоинства, заставившие их целую минуту сидеть неподвижно, борясь с тошнотой.

Первым заговорил Джеймс Таггерт, чей голос дрожал от напряжения, словно он подавлял крик:

— А почему бы и нет? Почему *они* могут, а *мы* нет? Почему они должны быть выше нас? Если нам суждено погибнуть, так давайте убедимся, по крайней мере, что мы погибнем все вместе. Давайте убедимся, что мы не оставили им шанса выжить!

— Чертовски забавное заявление по поводу весьма практичного плана, который устроит всех и каждого, — дрожа, произнес Оррен Бойль, испуганно глядя на Таггерта.

Доктор Феррис крякнул.

Таггерт немного успокоился, сосредоточился и поправился, заявив более уверенным тоном:

— Да, разумеется, это очень реалистичный план. Он необходим, практичен и справедлив. Он решит все проблемы. Он даст каждому шанс почувствовать себя в безопасности. Даст шанс передохнуть.

— Он даст людям чувство защищенности, — вставил Юджин Лоусон, и его губы искривились в улыбке. — Защищенность, вот чего так всем не хватает. Если они ее хотят, то почему не могут получить? Только потому, что горстка богачей станет возражать?

— Это не богачи станут возражать, — лениво произнес доктор Феррис. — Богатые стремятся к защищенности больше всех других видов животных, разве вы этого еще не поняли?

— Кто же тогда? — огрызнулся Лоусон.

Доктор Феррис тонко улыбнулся и не ответил.

Лоусон отвел глаза.

— Черт с ними! Почему мы должны о них волноваться? Мы должны поддерживать мир ради маленьких людей. Интеллектуальность — вот причина всех трудностей человечества. Ум человеческий — корень любого зла. Настал век сердца. Только слабые, кроткие, немощные и покорные должны стать объектами нашего внимания, — нижняя губа Ферриса пренебрежи-

тельно искривилась. — Те, кто велик, должны служить малым сим. Если они откажутся выполнять свой нравственный долг, мы должны их заставить. Век разума прошел, мы переросли его. Настал Век Любви.

— Заткнись! — рявкнул Джеймс Таггерт.

Все уставились на него.

— Ради бога, Джим, что случилось? — дрожа, спросил Оррен Бойль.

— Ничего, — пробормотал Таггерт, — так, ничего… Уэсли, скажи ему, пусть замолчит.

— Но я не понимаю… — обеспокоенно начал Моуч.

— Просто пусть замолчит. Мы же не обязаны его слушать, верно?

— Да, но…

— Тогда продолжим.

— Что такое? — потребовал Лоусон. — Я возмущен. Я категорически… — Но он не нашел в лицах окружающих поддержки и замолчал, с ненавистью сжав губы.

— Давайте продолжим, — лихорадочно твердил Таггерт.

— Что с тобой? — спросил Оррен Бойль, пытаясь не думать о том, что происходит с ним самим, и почему ему так страшно.

— Гениальность — всего лишь предрассудок, Джим, — произнес доктор Феррис медленно и с нажимом, словно зная, что называет слова, которые оставались неозвученными в умах всех присутствующих. — Не существует таких вещей, как интеллект. Мозг человека — продукт социальный. Сумма влияний, которую он усвоил от окружающих. Никто ничего не изобретает, человек просто отражает идеи, носящиеся в атмосфере общества. Гений — интеллектуальный стервятник, алчный накопитель идей, по праву принадлежащих обществу, у которого человек их крадет. Мышление — всегда воровство. Если мы отменим частную собственность, то получим самое справедливое распределение богатства. Отменив гениальность, мы справедливейшим образом распределим идеи в обществе.

— Мы здесь дела обсуждаем или дурачим друг друга? — спросил Фред Киннан.

Все повернулись к нему. Крупные черты лица этого мускулистого человека имели удивительную особенность: уголки его губ словно навсегда приподнялись от выражения всезнающей сардонической усмешки. Засунув руки в карманы, он сидел на подлокотнике кресла и тяжело смотрел на Моуча как полицейский, поймавший

в универмаге мелкого воришку.

— Я только хочу сказать, что этот Объединенный совет вам бы лучше набрать из моих людей, — заявил он. — Позаботься об этом, брат, иначе я пошлю ваш «Пункт первый» ко всем чертям.

— Разумеется, я намерен ввести представителей рабочих в этот Совет, — сухо ответил Моуч. — Равно как и представителей промышленности, профсоюзов и всех слоев…

— Никаких слоев, — отрубил Киннан. — Только представителей рабочих. И точка.

— Что за черт! — завыл Оррен Бойль. — Это подтасовка!

— Вот именно, — кивнул Фред Киннан.

— Но это дает вам в руки господство над всем бизнесом страны!

— А вы думаете, чего я добиваюсь?

— Это нечестно! — продолжал вопить Бойль. — Я этого не потерплю! Вы не имеете права! Вы…

— Право? — тоном святой невинности проговорил Киннан. — Вы о *правах* заговорили?

— Но… я хотел сказать… в конце концов, существуют же фундаментальные права собственности, которые…

— Слушай, друг, ты, короче, хочешь себе «Пункт

третий»?

— Ну, я…

— Тогда тебе лучше заткнуть варежку насчет прав собственности. Накрепко заткнуть.

— Мистер Киннан, — вмешался доктор Феррис, — вам не следует совершать извечную ошибку, используя широкие обобщения. Наша политика — быть гибкими. Не существует абсолютных принципов, которые…

— Оставь эти речи для Джима Таггерта, док, — отмахнулся Фред Киннан. — Я знаю, о чем говорю. Потому что в колледж не ходил.

— Я возражаю, — встрял Бойль, — против ваших диктаторских методов…

Киннан повернулся к нему спиной и сказал:

— Послушай, Уэсли, моим ребятам не понравится «Пункт первый». Если я буду управлять, то заставлю их проглотить его. Если нет — нет. Решай.

— Ну… — начал было Моуч, но замолчал.

— Ради бога, Уэсли, а с нами-то что? — заныл Таггерт.

— А вы приходите ко мне, — пояснил Киннан, — когда понадобится утрясти дело с советом. Но руководить советом буду я. Мы с Уэсли.

— Думаете, страна потерпит такое? — взвился

Таггерт.

— Не обманывайте себя, — хмыкнул Киннан. — *Страна?* Если больше не существует никаких принципов — а я думаю, что доктор прав, и их совсем не осталось, — если в игре не стало правил, и вопрос только в том, кто кого грабит, то я получу голосов больше, чем все вы вместе взятые, рабочих-то больше, не забывайте об этом, ребята!

— Вы заняли странную позицию, — надменно произнес Таггерт, — по отношению к мерам, которые, в конце концов, призваны дать преимущества не только рабочим и наемным работникам, а общему благосостоянию народа.

— Ладно, — миролюбиво согласился Киннан. — Давайте говорить на вашем птичьем языке. Кто он, этот народ? С точки зрения качества это не вы, Джим, и не вы, Орри Бойль. С точки зрения количества, это уж точно я, потому что количество стоит за мной, — его улыбка исчезла, и с неожиданно горьким и усталым выражением он добавил: — Только я не стану говорить, что работаю на благосостояние моего народа, потому что понимаю, что это не так. Я знаю, что всего лишь отдаю бедных ублюдков в рабство, ничего больше. Да и они это понимают. Но они зна-

ют, что я иногда брошу им кость со стола, если уж решил заняться своим рэкетом, а вот от вас этого не дождаться. Вот почему, если уж суждено им оказаться под кнутом надсмотрщика, то лучше пусть это буду я, а не вы, праздно болтающие, слезливые, сладкоречивые лизоблюды при народном благосостоянии! Не думаете ли вы, что кроме ваших божьих одуванчиков с институтским дипломом вам удастся одурачить хоть одного деревенского идиота? Я рэкетир, но знаю это, и все мои ребята знают это и знают, что я расплачусь сполна. Не от доброты сердца, конечно, и ни центом больше, чем получу сам, но, по крайней мере, они могут на меня рассчитывать. Конечно, иногда мне тошно, да и сейчас меня тошнит, но не я создал этот мир, это вы его создали, и я играю по правилам, установленным вами, и собираюсь играть так долго, пока игра будет идти, да и получше вас!

Киннан поднялся. Никто ему не ответил. Он смотрел на них, переводя взгляд с одного на другого и остановил его на Уэсли Моуче.

— Так совет за мной, Уэсли? — буднично спросил он.

— Выборы особого персонала — всего лишь техническая деталь, — угодливо ответил Мо-

уч. — Полагаю, мы можем обсудить это позднее, вы и я. *Вдвоем*.

Каждому в комнате стало ясно, что его ответ означает «да».

— Ладно, друг, — согласился Киннан. Он вернулся к окну, уселся на подоконник и закурил сигарету.

По необъяснимой причине все воззрились на доктора Ферриса, словно ожидая руководства к действию.

— Пусть вас не тревожит услышанная риторика, — доктор Феррис пытался сгладить тягостное впечатление. — Мистер Киннан — прекрасный оратор, но ему недостает чувства реальности. Он не способен мыслить диалектически.

Снова воцарилось молчание, затем Джеймс Таггерт внезапно заговорил:

— Мне все равно. Это не имеет значения. Ему придется удержать существующее положение. Все должно оставаться как есть. Никому не разрешается ничего менять. За исключением… — он резко обернулся к Уэсли Моучу.

— Уэсли, согласно «Пункту четвертому», мы должны закрыть все исследовательские отделы, экспериментальные лаборатории, научные фонды и все учреждения подобного рода.

Они должны быть запрещены.

— Да, это верно, — ответил Моуч, — я об этом не подумал. Мы должны вставить в текст пару строк, — он потянулся за карандашом и сделал несколько пометок на полях документа.

— Это прекратит ненужную конкуренцию, — продолжил Джеймс Таггерт. — Мы перестанем биться друг с другом за неисследованное и неизвестное. Нам не нужно будет заботиться о новых открытиях, опрокидывающих рынок. Не нужно будет тратить деньги на бесполезные эксперименты лишь для того, чтобы не отстать от других амбициозных конкурентов.

— Да, — произнес Оррен Бойль. — Никому не разрешается тратить деньги на новое, пока у всех достаточно старого. Закройте все эти проклятые лаборатории, и чем скорее, тем лучше.

— Да, — согласился Уэсли Моуч. — Мы их закроем. Все.

— И Государственный научный институт тоже? — уточнил Фред Киннан.

— О нет! — быстро возразил Моуч. — Это совсем другое дело. Он нужен правительству. Кроме того, это некоммерческое учреждение. Он будет полезен в деле надзора за всем научным прогрессом.

— Весьма полезен, — кивнул доктор Феррис.

— А что станет со всеми инженерами, профессорами и прочими, когда вы закроете лаборатории? — поинтересовался Фред Киннан. — Что им придется делать, чтобы выжить, если все другие рабочие места и предпринимательство будут заморожены?

— Ох, — растерялся Уэсли Моуч и почесал в затылке. Потом обернулся к мистеру Уизерби. — Посадим их на пособие, Клем?

— Нет, — ответил мистер Уизерби. — Чего ради? Их не так много, чтобы они могли устроить бучу. Не стоит обращать на них внимания.

— Полагаю, — Моуч обернулся к доктору Феррису, — что вы сумеете нейтрализовать часть из них, Флойд?

— Некоторых, — медленно, словно наслаждаясь каждым произносимым звуком, ответил Феррис. — Только тех, кто станет с нами сотрудничать.

— А с остальными как? — спросил Фред Киннан.

— Им придется подождать, пока совет подыщет им какое-нибудь применение, — решил Уэсли Моуч.

— А что они станут есть, пока им придется ждать?

Моуч пожал плечами.

— Во время чрезвычайных ситуаций возможны жертвы. Этого никак не избежать.

— У нас есть на это право! — внезапно выкрикнул Таггерт, нарушив покой кабинета. — Нам это необходимо. Нам необходимо это, не так ли? — ответа не последовало. — У нас есть право защитить свои средства на существование! — снова никто ему не возразил, и в голосе Джима зазвучала просительная, визгливая настойчивость: — Мы впервые за многие столетия обретем безопасность. Каждый будет знать свое место и свою работу, равно как место и работу всех других; мы не сдадимся на милость какого-нибудь чудака, сбившегося с пути истинного и заявившегося с новой идеей. Никто не вышибет нас из бизнеса, не украдет наши рынки, не станет продавать дешевле, чем конкуренты, не сделает наши товары устаревшими. Никто не придет с предложением технической новинки, не заставит гадать, не останемся ли мы без последней рубашки, если купим ее или останемся без нее, если новинку купит кто-то другой! Нам не нужно будет решать. Никому не дадут права принимать решения. Все будет решено раз и навсегда, — он умоляюще переводил взгляд

с одного лица на другое. — И без того сделано достаточно изобретений, для комфорта — более чем достаточно, так зачем позволять делать новые? К чему разрешать им выбивать почву у нас из-под ног? Зачем обрекать себя на бесконечную неуверенность? Только ради нескольких беспокойных амбициозных авантюристов? Должны ли мы принести довольство всего человечества в жертву алчности нескольких нонконформистов? Они нам не нужны. Они нам *совершенно* не нужны!.. Как бы мне хотелось, чтобы мы избавились от преклонения перед героями! Герои? На протяжении всей истории они не приносили ничего, кроме вреда. Они обрекали человечество на безумную гонку, не давая перевести дыхание, без отдыха, без избавления, без защищенности. Бежать, чтобы не отстать от них… всегда, без конца… едва мы их настигнем, как они снова впереди на целые годы… Они не оставили нам шанса… Они никогда не оставляют нам шанса… — его блуждающий взгляд остановился на окне. Но, глядя куда-то далеко, Джим не видел белого обелиска. — Мы одолели их. Мы победили. Это наш век. Наш мир. Мы обретем защищенность впервые за столетия, впервые с начала промышленной революции!

— Думаю, сейчас-то у нас антипромышленная революция, — поправил его Фред Киннан.

— Что за странные вещи вы говорите! — оборвал его Уэсли Моуч. — Мы не можем позволить себе произносить подобное публично.

— Не волнуйся, брат. Публично я такого не скажу.

— Это ошибочное утверждение, — заявил доктор Феррис. — Оно вызвано невежеством. Всеми специалистами давно было признано, что плановая экономика достигает максимальной продуктивности, а централизация ведет к супериндустриализации.

— Централизация замедляет ослабление монополий, — сообщил Бойль.

— Это как же? — протянул Киннан.

Бойль не заметил насмешливого тона и ответил всерьез:

— Она мешает ослаблению монополии. Ведет к демократизации промышленности. Все становится доступным для всех. Например, сейчас, в наше время, когда ощущается такая нехватка железной руды, есть ли смысл тратить деньги, труд и национальные ресурсы на изготовление устаревшей стали, когда существует металл намного лучший, который я мог бы произво-

дить? Этот металл нужен всем, но получить его никто не может. Можно ли при сложившемся положении говорить о хорошей экономике или достаточной эффективности демократической справедливости? Почему бы не разрешить производить этот металл мне, и почему бы людям не получать его, когда он необходим? Только из-за частной монополии одного эгоистичного индивидуума? Должны ли мы жертвовать своими правами ради его личных интересов?

— Брось ты, брат, — остановил его Киннан. — Я уже читал эту трескотню в тех же газетах, что и ты.

— Мне не нравится ваша позиция, — внезапно озлился Бойль с тем выражением, которое в баре предвещает скорое начало мордобоя. Он выпрямился в кресле, мысленно чувствуя поддержку отпечатанных на желтоватой бумаге «пунктов», не покидавших его воображения: — Во времена крайней нужды народа можем ли мы тратить усилия общества на производство устаревших продуктов? Можем ли мы оставить большинство в нужде, в то время как меньшинство отнимает у нас лучшие продукты и методы? Остановит ли нас предрассудок патентного права? Разве не очевидно, что частная промышленность не спо-

собна справиться с экономическим кризисом? Как долго, например, мы собираемся мириться с вопиющей нехваткой сплава Риардена? Сам Риарден не в силах удовлетворить огромный спрос на него. Когда мы положим конец экономической несправедливости и особым привилегиям? Почему только одному Риардену разрешено производить его металл?.. Мне не нравится ваша позиция, — заключил Бойль. — Поскольку мы уважаем права рабочих, мы хотим, чтобы вы уважали права промышленников.

— Какие права, каких промышленников? — гнул свое Киннан.

— Я склонен думать, — поспешно вмешался доктор Феррис, — что «Пункт второй», возможно, наиболее важен для всех присутствующих. Мы должны положить конец пресловутой практике промышленников, покидающих бизнес и исчезающих неизвестно куда. Мы должны остановить их, чтобы не допустить разорения всей нашей экономики.

— Почему они так поступают? — нервничал Таггерт. — Зачем?

— Никто этого не знает, — ответил доктор Феррис. — У нас нет ни информации, ни объяснений происходящему. Но бегству следует положить ко-

нец. Во времена кризиса экономическая служба столь же необходима стране, сколь военная. Всякий уклоняющийся от нее должен быть признан дезертиром. Я рекомендовал ввести для таких людей наказание в виде смертной казни, но Уэсли не согласился.

— Спокойно, парень, — медленно проговорил Фред Киннан каким-то странным тоном. Он неожиданно замер, сложив руки, и посмотрел на Ферриса так, что все в комнате вдруг поняли: доктор Феррис предложил убивать людей. — Только не говори мне о смертной казни в промышленности.

Доктор Феррис пожал плечами.

— Мы не должны принимать крайних мер, — поспешно вставил Моуч. — Мы не хотим напугать людей. Мы хотим, чтобы они встали на нашу сторону. Главная проблема сейчас — примут ли они вообще нашу директиву?

— Примут, — отрезал доктор Феррис.

— Я немного волнуюсь, — проговорил Юджин Лоусон, — о «Пункте третьем» и «Пункте четвертом». Все, что касается патентов, изложено прекрасно. Но меня тревожит положение об авторских правах. Это вызовет антагонизм интеллектуалов. Это опасно. Это вопрос духовно-

сти. Не означает ли смысл «Пункта четвертого», что отныне не будут написаны и опубликованы новые книги?

— Да, — ответил Моуч, — означает. Мы не можем делать исключение для издательского бизнеса. Это такая же промышленность, как и всякая другая. Когда мы говорим «нет» новым продуктам, это должно означать «нет» новым продуктам, в чем бы они ни выражались.

— Но это вопрос духовности, — в голосе Лоусона звучало не разумное уважение, а благоговейный страх.

— Мы не вмешиваемся ни в чью духовность. Но, когда вы печатаете книгу на бумаге, она становится материальным объектом, товаром, а если мы сделаем исключение для одного товара, то не сможем удержать в узде остальные.

— Да, это правда. Но…

— Не будьте тупицей, Джин, — сказал доктор Феррис. — Вы же не хотите, чтобы к нам явился какой-нибудь бунтарь с трактатом, который пошлет к чертям всю нашу программу? Стоит только вымолвить слово «цензура», и они заорут, что ты — кровавый убийца. Они пока еще не готовы. Но если вы оставите в стороне духовность и переведете все на материальные рельсы —

не материю идей, а материю в виде бумаги, краски и печатных прессов — вы достигнете цели гораздо легче. Сделайте так, чтобы ничего опасного не было напечатано, и никто не станет бороться с материальной стороной дела.

— Да, но… но я не думаю, что писателям это понравится.

— Вы уверены? — Уэсли Моуч почти улыбался. — Не забывайте, что согласно «Пункту пятому» издатели должны печатать столько же книг, сколько выпустили в базовом году. Поскольку новых книг не будет, им придется переиздавать старые, а публике — покупать их. Существует очень много толковых книг, которым не выпало равного со всеми шанса.

— Ох… — Лоусон припомнил, что две недели назад видел, как Моуч обедал с Бальфом Юбэнком. Потом нахмурился и покачал головой: — И все-таки мне тревожно. Интеллектуалы — наши друзья. Мы не хотим их потерять. Иначе они могут доставить нам немало неприятностей.

— Не доставят, — ответил Фред Киннан. — Интеллектуалы вашего толка захлопнут рты при первом признаке опасности. Они много лет плевали в человека, который их кормил, и лизали руку того, кто отвешивал им пощечины. Разве

не сдали они все страны Европы, одну за другой, коммунистам и головорезам? Разве не они вопили, пока не заткнули все орущие охранные сигнализации и не сломали все висячие замки? И с тех пор они уже не пискнули. А кто орал, что только они — друзья трудящимся? Почему же сейчас они не орут о лагерях рабов, мафиозных структурах, четырнадцатичасовом рабочем дне и повальной смертности от цинги в народных республиках Европы? Нет, мы слышим, как они внушают забитым беднякам, что голод — это процветание, рабство — это свобода, что пыточные камеры — ковчеги братской любви и что если бедняки этого не понимают, то страдают они по собственной вине; а искалеченные тела в тюремных камерах нужно проклинать за все беды, поскольку жертвами пали вовсе не лидеры, желавшие им добра. Интеллектуалы? Вам лучше волноваться о любой другой породе людей, но не о современных интеллектуалах: эти все проглотят. Я никогда не чувствовал себя в безопасности рядом с последним такелажником в профсоюзе портовых грузчиков: тот еще способен внезапно вспомнить, что он — человек, и тогда мне его не удержать. Но интеллектуалы? Эту истину они давным-давно забыли. Я думаю,

здесь здорово постаралось образование, такова уж его цель. С интеллектуалами делайте, что пожелаете. Они все примут.

— В одном я согласен с мистером Киннаном, — вступил доктор Феррис. — Я согласен с приведенными им фактами, но не с его чувствами. Уэсли, тебя не должны тревожить интеллектуалы. Просто вставь нескольких из них в правительственную платежную ведомость и пошли проповедовать все то, что сказал мистер Киннан: порицания, мол, заслуживают сами жертвы. Дай им более-менее приличный заработок и титулы поблагозвучнее, и они позабудут о своих авторских правах и обслужат вас лучше, чем целая армия правоохранительных органов.

— Да, — согласился Моуч. — Я знаю.

— Опасность, которая меня тревожит, подстерегает с другой стороны, — задумчиво проговорил доктор Феррис. — Уэсли, тебе может немало досадить это «добровольное подписание Сертификата дарения».

— Догадываюсь, — мрачно ответил Моуч. — Я хотел, чтобы в этом вопросе нам помог Томпсон. Но теперь понимаю, что не поможет. По сути, у нас нет законного права завладеть патентами. Да, существуют десятки законов, которые могут

нас прикрыть — почти, но не совсем. У любого воротилы, который захочет устроить процесс по прецеденту, есть все шансы разбить нас. Мы просто обязаны создать видимость законности, иначе население не примет директивы.

— Совершенно верно, — подтвердил доктор Феррис. — Принципиально важно, чтобы владельцы отдали нам патенты добровольно. Даже имея закон, разрешающий прямую национализацию, для нас предпочтительнее получить патенты в дар. Мы хотим сохранить у людей иллюзию защиты их прав на частную собственность. И многие из них примут наши условия игры и подпишут Сертификаты дарения. Главное — организовать пропагандистскую кампанию и внушить людям, что это их патриотический долг, а все те, кто отказываются подписать сертификат, — воплощенное зло, вот они и подпишут. Но… — Феррис умолк.

— Я понимаю, — Моуч все больше нервничал. — Наверное, появятся кое-где старомодные ублюдки, которые откажутся подписывать, но у них не хватит влияния, чтобы поднять шум. Никто не станет их слушать — бывшие соратники и друзья отвернутся от них, обвинив в эгоизме, поэтому нам они вреда не причинят.

Так или иначе, мы получим патенты, а у этих типов не хватит ни денег, ни нервов, чтобы обращаться в суд. Вот только… — Моуч замолчал.

Джеймс Таггерт смотрел на них, откинувшись на спинку кресла: ему начинал нравиться ход беседы.

— Да, — продолжил доктор Феррис. — Я тоже об этом подумал. Что, если некий магнат задумает нас разбить? Трудно сказать, удастся нам возродиться из пепла или нет. Одному богу известно, что может произойти в наше, столь истерическое время, да еще и в такой деликатной ситуации. Любая неожиданность способна нарушить шаткое равновесие и погубить все дело. Если есть хоть один человек, желающий это сделать, он это сделает. Ему известно истинное положение вещей, он знает то, о чем не говорят вслух, и не побоится назвать все своими именами. Он владеет самым опасным оружием. Он — наш смертельный враг.

— Кто? — выдохнул Лоусон.

Поколебавшись, доктор Феррис пожал плечами и ответил:

— Невиновный человек.

Лоусон непонимающе смотрел на него.

— Что вы имеете в виду, о ком говорите?

Джеймс Таггерт улыбнулся.

— Я имею в виду, что единственный способ обезоружить человека — преступление, — объявил Феррис. — То, что он сам считает своим преступлением. Если человек некогда украл хоть цент, вы смело можете подвергнуть его наказанию, как будто он ограбил банк, и он смирится с ним. Он вынесет любое страдание, в уверенности, что не заслуживает лучшего. Если в мире недостаточно преступлений, мы должны их создавать. Если мы внушим человеку, что любоваться весенними цветами дурно, и он нам поверит, а потом совершит этот поступок, то мы сможем делать с ним все, что заблагорассудится. Он не станет защищаться, потому что сочтет себя недостойным. Он не станет бороться. Но спаси нас, боже, от человека, который живет по своим собственным стандартам. Спаси нас от человека с чистой совестью. Такой человек нас одолеет.

— Вы говорите о Генрихе Риардене? — невинным тоном осведомился Таггерт.

Имя, которого никто не хотел произносить, повергло комнату в звенящую тишину.

— Что, если и так? — наконец осторожно спросил доктор Феррис.

— Ничего, — пожал плечами Таггерт. — Просто,

если речь идет о нем, я должен сказать, что смогу сдать Генри Риардена. Он все подпишет.

Интуиция и выучка позволили им догадаться, что Джим не блефует.

— Господи, Джим! Нет! — ахнул Уэсли Моуч.

— Да, — подтвердил Таггерт. — Я сам оторопел, когда узнал то, что знаю. Не ожидал такого. Все, что угодно, только не это.

— Рад это слышать, — осторожно продолжил Моуч. — Конструктивная информация. И может оказаться очень полезной.

— Более чем полезной, — любезно уточнил Таггерт. — Когда вы планируете ввести директиву?

— Нам нужно поторапливаться. Нельзя, чтобы новость просочилась в массы. Я надеюсь, что все здесь присутствующие будут строго соблюдать конфиденциальность. Я бы сказал, что мы будем готовы ввести директиву через пару недель.

— Не кажется ли вам целесообразным, пока еще не заморожены цены, уладить дело с железнодорожными тарифами? Я подумываю об их повышении. Небольшое, но заметное повышение необходимо.

— Мы обсудим это, вы и я. *Вдвоем*, — благосклонно ответил Моуч. У Бойля вытянулось лицо. — Нам предстоит выяснить еще нема-

ло деталей, но я уверен, что наша программа не встретит больших трудностей, — Моуч заговорил уверенным тоном официального спича, в деловой и почти веселой манере. — Некоторые шероховатости вполне возможны. Если одно не сработает, попробуем другое. Метод проб и ошибок — единственный прагматичный способ работы. Мы будем пробовать снова и снова. Если возникнет затруднение, помните о том, что оно носит временный характер. Пока чрезвычайная ситуация в стране не преодолена.

— Скажите, — вмешался Киннан, — как может закончиться чрезвычайная ситуация, если все стоит на месте?

— Не нужно теоретизировать попусту, — нетерпеливо бросил Моуч. — Мы вынуждены считаться с требованиями момента. Пусть вас не беспокоят детали, если общее направление нашей политики понятно. Мы обладаем властью. Мы сможем разрешить любую проблему и ответить на любой вопрос.

Фред Киннан хохотнул:

— Кто такой Джон Голт?

— Не говорите так! — вскрикнул Таггерт.

— У меня вопрос по «Пункту седьмому», — продолжил Киннан уже всерьез. — В нем говорится,

что все заработки, цены, дивиденды, прибыли и прочее будут заморожены со дня вступления в силу директивы. И налоги тоже?

— О нет! — воскликнул Моуч. — Можем ли мы знать, какое финансирование понадобится нам в будущем?

Киннан, похоже, улыбался.

— Что такое? — огрызнулся Моуч.

— Ничего, — пожал плечами Киннан. — Просто спросил.

Моуч откинулся в кресле.

— Должен сказать, что благодарен вам за ваш приход сюда и за высказанные соображения. Они будут нам полезны, — наклонившись вперед, он заглянул в свой настольный календарь и поиграл над ним карандашом. Затем карандаш опустился, подчеркнул дату и обвел ее кружком. — Директива номер 10–289 вступит в силу утром первого мая.

Не глядя друг на друга, все кивнули, соглашаясь.

Джеймс Таггерт поднялся, подошел к окну и опустил штору, закрыв вид на белый обелиск.

* * *

Проснувшись, Дагни в первый момент изумилась, увидев в окне шпили незнакомых домов на фоне бледно-голубого неба. Потом она заметила перекрученный шов чулка на ноге, почувствовала дискомфорт в пояснице и поняла, что лежит на диване в своем кабинете; часы на столе показывали четверть седьмого, а первые лучи солнца серебрили силуэты небоскребов. Она смогла припомнить только, как падает на диван, решив отдохнуть минут десять, — за окном темно, а на часах половина четвертого.

Резко поднявшись, она почувствовала жуткую слабость. Горящая лампа, бросавшая свет на кипы бумаг — ее безрадостную незаконченную работу — казалась неуместной при утреннем свете. Дагни заставила себя не думать о деле и дойти до ванной комнаты, чтобы плеснуть в лицо холодной водой.

Слабость прошла, как только Дагни вновь ступила на порог кабинета. Неважно, какой была предшествующая ночь, она не могла припомнить утро, когда бы в ней не просыпалось ощущение подъема, тихого волнения, рождавшего в теле энергию, а в уме — жажду деятельности.

Это было начало ее дня, дня ее жизни.

Дагни посмотрела сверху на город. Пустые пока что улицы казались шире и в ослепительной чистоте весеннего воздуха словно ожидали, когда их вновь запрудит бурная, деятельная толпа. Календарь сообщал: сегодня первое мая.

Усевшись за стол, Дагни с вызовом улыбнулась. Она ненавидела читать отчеты, но это была ее работа, ее железная дорога. Она закурила сигарету, решив про себя, что все закончит к завтраку, и, выключив ненужную лампу, придвинула к себе бумаги.

Отчеты поступали от генеральных менеджеров четырех регионов сети дорог Таггертов. Машинописные страницы отчаянно кричали о поломках оборудования. Далее следовало сообщение об аварии на главной линии неподалеку от Уинстона, штат Колорадо. Новый бюджет Департамента по эксплуатации, исправленный с учетом повышения тарифов, которое Джим выбил на прошлой неделе. Медленно просматривая колонки цифр, Дагни не могла отделаться от раздражения: все эти расчеты были сделаны с допуском, что объем грузоперевозок останется без изменений, и к концу года повышение тарифов принесет добавочный доход. Она-то знала,

что тоннаж грузоперевозок неуклонно снижается, поэтому повышение тарифов не сыграет роли, и к концу года потери превысят все предыдущие.

Когда она подняла голову от бумаг, то с неприятным изумлением увидела, что на часах уже девять двадцать пять. Из приемной доносился приглушенный шум голосов: это сотрудники начинали рабочий день. Дагни удивилась, что никто до сих пор не вошел к ней в кабинет, и тому, что молчит телефон. Обычно к этому часу жизнь уже кипела вовсю. Дагни посмотрела в настольный календарь и увидела пометку: ровно в девять ей должны были позвонить из «*Макнил Кар Фаундри*» по поводу новых грузовых вагонов, которых «*Таггерт Трансконтинентал*» дожидалась уже шесть месяцев.

Дагни переключилась на внутреннюю связь, чтобы вызвать секретаря. Голос девушки прозвучал испуганно:

— Мисс Таггерт! Вы здесь, в кабинете?

— Я опять ночевала здесь. Не хотела, но так получилось. Мне звонили из «*Макнил Кар Фаундри*»?

— Нет, мисс Таггерт.

— Как только позвонят, соедините меня немедленно.

— Да, мисс Таггерт.

Отключив переговорное устройство, она задумалась, не показалось ли ей, что в голосе секретарши слышалось странное, неестественное напряжение.

От голода слегка кружилась голова, и Дагни подумала, что нужно бы спуститься вниз и выпить чашку кофе, но оставался еще один отчет главного инженера, так что вместо кофе она закурила очередную сигарету.

Главный инженер наблюдал за установкой на главной магистрали рельсов из риарден-металла, снятых с закрытой линии Рио-Норте. Дагни сама выбрала отрезки пути, срочно нуждавшиеся в ремонте. Открыв отчет, она с гневным недоверием прочитала о том, что главный инженер прекратил работы на горном участке вблизи Уинстона, Колорадо. Он рекомендовал изменить планы, и рельсы, предназначавшиеся для Уинстона, направить на ремонт ветки Вашингтон — Майами. Причина состояла в том, что на прошлой неделе на указанной линии произошло крушение, и мистер Тинки Холлоуэй из Вашингтона, путешествовавший с группой друзей, опоздал на три часа. Главному инженеру было доложено, что мистер Холлоуэй выразил

по этому поводу крайнее недовольство. Несмотря на то, что с технической точки зрения участок линии Майами находится в лучшем состоянии, чем Уинстон, не следовало забывать о том, что ветка Майами перевозила «более социально значимый слой пассажиров». Поэтому главный инженер предлагал подождать с ремонтом Уинстона и пожертвовать горным участком ради ветки, на которой «*Таггерт Трансконтинентал*» не может позволить себе «производить неблагоприятное впечатление».

Дагни читала, яростно черкая пометки на полях отчета, решив, что сегодня первым делом прекратит вопиющее безобразие.

Зазвонил телефон.

— Да? — схватив трубку, ответила Дагни. — «*Макнил Кар Фаундри*»?

— Нет, — ответил голос секретарши. — Сеньор Франсиско д'Анкония.

Пораженная Дагни молча уставилась на телефонную трубку.

— Хорошо… Соедините.

Послышался голос Франсиско.

— Я вижу, ты, как всегда, в кабинете, — в напряженном голосе звучала резкая насмешка.

— А где ты ожидал меня найти?

— Как тебе новая директива?

— Какая еще… директива?

— Мораторий на мозги.

— О чем ты говоришь?

— Ты видела сегодняшние газеты?

— Нет.

Последовала пауза, потом он заговорил изменившимся, суровым голосом:

— Посмотри газеты, Дагни.

— Хорошо.

— Я позвоню позднее.

Она положила трубку и переключилась на внутреннюю связь.

— Принесите мне газеты, — велела она секретарше.

— Да, мисс Таггерт, — мрачно ответила та.

Газеты принес Эдди Уиллерс. Выражение его лица совпадало с тоном голоса Франсиско: предчувствие непоправимого несчастья.

— Никто из нас не хотел сообщать вам об этом первым, — очень тихо сказал он и вышел.

* * *

Через несколько минут Дагни вновь могла контролировать свое тело, хоть и не вполне была уверена в его существовании. Она почувствова-

ла, как поднялась из-за стола и выпрямилась, не чувствуя под ногами опоры. Каждый предмет в комнате казался неестественно четким, и в то же время Дагни едва ли видела, что ее окружает, зная только, что при необходимости разглядит паутину в углу и пройдет по краю крыши с уверенностью сомнамбулы. Она не догадывалась, что смотрит на окружающее глазами человека, потерявшего способность сомневаться, и остались в ней только примитивные эмоции да единожды выбранная цель. Внутри застыла непривычно спокойная сила абсолютной уверенности, прежде казавшаяся такой жестокой. Гнев, сотрясавший все ее тело, превративший ее в существо, с одинаковым безразличием готовое и убить, и умереть, был выражением ее любви к честности — единственной любви, которой она посвятила свою жизнь.

Держа в руке газету, Дагни вышла из кабинета и направилась к коридору. Пересекая приемную, она видела обращенные к ней лица сотрудников, которые, казалось, пребывали в другом измерении.

Быстро, без усилий, она шла по коридору, но с таким чувством, что ноги не касаются пола. Не помня, сколько комнат пришлось ей

миновать и скольких сотрудников встретить, она инстинктивно двигалась в правильном направлении, распахнула нужную дверь, вошла без предупреждения и направилась прямиком к столу Джима.

Дагни швырнула скрученную в рулон газету Джиму в лицо; та полоснула его по щеке и упала на пол.

— Вот мое заявление об отставке, Джим, — заявила она. — Я не стану работать ни рабом, ни надсмотрщиком за рабами. — Дагни не услышала ответного сдавленного вздоха: его заглушил стук захлопнувшейся за ней двери. Она вернулась в свой кабинет, взмахом руки пригласив к себе Эдди. Спокойно и четко сказала ему:

— Я подала в отставку.

Тот молча кивнул.

— Пока не знаю, чем займусь. Я уезжаю, чтобы все обдумать и принять решение. Если хотите последовать за мной, я буду в коттедже в Вудстоке.

В лесистой части Беркширских гор у Дагни имелся охотничий домик, унаследованный от отца, который она не навещала уже несколько лет.

— Я хочу поехать с вами, — прошептал Эдди. — Я хочу уволиться, но… не могу. Не могу сделать это сам.

— Тогда не окажете ли вы мне услугу?

— Конечно.

— Не звоните и не пишите мне, чтобы рассказать о железной дороге. Не желаю о ней слышать. Никому не говорите, где я, кроме Хэнка Риардена. Если он спросит, расскажите про коттедж, и как туда добраться. Но больше — никому. Я не хочу никого видеть.

— Хорошо.

— Обещаете?

— Разумеется.

— Когда я решу, что делать, я дам вам знать.

— Я буду ждать.

— Это все, Эдди.

Он знал, что каждое сказанное слово — чистая правда, и говорить больше не о чем. Наклонив голову, словно сказал ей все, что хотел, он вышел из кабинета.

Дагни посмотрела на отчет главного инженера, по-прежнему лежавший на столе, и подумала, что должна приказать ему закончить работы в Уинстоне, но потом вспомнила: эта проблема больше ее не касается. Боли она не чувствовала. Знала, что боль придет позднее, настоящая агония, а охватившее ее оцепенение — всего лишь краткий отдых, дарованный ей не после, а до на-

чала боли, чтобы она смогла ее вытерпеть. «Если это от меня требуется, — подумала Дагни, — я перетерплю».

Она села на стол и позвонила в Пенсильванию на завод Риардена.

— Привет, любимая, — ответил он так просто и ясно, словно это была единственная реальность, на которую ему так хотелось опереться.

— Хэнк, я подала в отставку.

— Понятно, — кажется, он ожидал именно этого.

— За мной не приходил разрушитель, может, никакого разрушителя и вовсе не существует. Не знаю, что делать дальше, но уехать я должна, потому что какое-то время не хочу никого видеть. Потом решу. Я знаю, что ты сейчас не сможешь поехать со мной.

— Не смогу. У меня есть две недели, в течение которых от меня ожидают подписания Сертификата дарения. Хочу быть здесь, когда эти две недели истекут.

— Я могу чем-то помочь?

— Нет. Тебе сейчас хуже, чем мне. У тебя нет средств с ними бороться. У меня есть. Я даже рад, что они это сделали. Теперь все стало ясно до конца. Не тревожься обо мне. Отдохни. В первую

очередь — отдохни от *всего*.

— Да.

— Куда направишься?

— В деревню. В свой коттедж в Беркширских горах. Если захочешь со мной увидеться, Эдди Уиллерс расскажет тебе, как туда добраться. Я вернусь через две недели.

— Хочешь сделать мне приятное?

— Да.

— Не возвращайся, пока я не приеду к тебе.

— Но я хочу быть с тобой, когда все случится.

— Предоставь это мне.

— Как бы с тобой ни поступили, я хочу, чтобы со мной сделали то же самое.

— Предоставь все мне. Любимая, разве ты не понимаешь? Думаю, что мы хотим одного и того же: никого из них не видеть. Но я должен оставаться на месте. Поэтому мне очень поможет сознание того, что хотя бы ты для них недостижима. Мне так нужна эта единственная надежная опора. Балаган продлится недолго, а потом я к тебе приеду. Понимаешь?

— Да, мой дорогой. До встречи.

Теперь так легко было выйти из кабинета и пройти по длинным коридорам «*Таггерт Трансконтинентал*». Дагни шла, глядя прямо

перед собой, ровным, неторопливым шагом, как будто завершила все свои дела.

На лице застыло выражение легкого удивления, смирения, покоя.

Пересекая пути Терминала, Дагни увидела статую Натаниеля Таггерта. Но ни боль, ни упрек не шевельнулись в ее сердце, лишь нахлынула любовь — чувство, что она должна присоединиться к нему, но не в смерти, а в том, что некогда было его жизнью.

* * *

Первым из «*Риарден Стил*» уволился Том Колби, техник с прокатного завода, глава профсоюза рабочих компании. Десять лет его позорили на всю страну за то, что он возглавлял союз, но никогда не вступал в конфликты с управлением компании. Это соответствовало действительности: в конфликтах просто не было нужды. Риарден платил рабочим по самой высокой тарифной сетке в стране, за которую требовал и получал самую лучшую рабочую силу.

Когда Том Колби сказал Риардену, что уходит, тот молча кивнул, не задавая вопросов.

— Я и сам не стану работать в таких условиях и помогать удерживать рабочих на местах тоже

не стану, — спокойно сказал Колби. — Они мне доверяют. Не хочу быть Иудой, который ведет их на скотопригонный двор.

— Что станете делать, чтобы прожить? — спросил Риарден.

— Я скопил денег, на год хватит.

— А потом что?

Колби только плечами пожал.

Риарден подумал о парне со злыми глазами, который добывал для него уголь по ночам, как преступник. О ночных дорогах, улицах, темных углах, где лучшие работники страны станут теперь обмениваться услугами по бартеру и законам джунглей, ловя случайную работу, обманывая и воруя. Подумал о том, куда это приведет…

Том Колби, казалось, догадался о его мыслях.

— Вы пойдете той же дорогой, мистер Риарден, следом за мной, — он покачал головой. — Вы собираетесь отписать им свои мозги?

— Нет.

— А потом — что?

Риарден пожал плечами.

Выцветшие, умные глаза Колби выделялись на загоревшем лице.

— Сколько лет они твердили, что вы против

меня, мистер Риарден. Но это не так. Это Оррен Бойль и Фред Киннан против нас с вами.

— Я знаю.

Кормилица никогда не переступал порог кабинета Риардена, как будто нутром чуя, что не имеет на это права. Он всегда поджидал Риардена снаружи. Директива привязала его к месту работы как официального сторожевого пса, надзирающего за тем, чтобы объем производства не превышался, но и не понижался. Спустя несколько дней он остановил Риардена в проходе между двумя рядами пылающих плавильных печей. Его обычно бесстрастное лицо выражало непривычную свирепость.

— Мистер Риарден, — заявил он. — Я имею вам кое-что сказать. Если вы хотите разлить свой сплав в десять раз больше положенной квоты или сталь, или чугун в чушках, а потом продать из-под полы кому угодно и за любую плату, только скажите, я готов. Я все устрою. Я подчищу учетные книги, отчеты, найду лжесвидетелей, составлю поддельные письменные свидетельства, чтобы вы не сомневались — *вам ничего за это не будет!*

— И с чего бы ты на это решился? — улыбаясь, спросил Риарден, но его улыбка исчезла, когда он

услышал в ответ.

— Потому что я решил наконец совершить *нравственный* поступок!

— Нельзя быть нравственным… — начал было Риарден, но внезапно замолчал, поняв, что перед мальчишкой открылся единственно возможный путь после бесчисленных уверток и борьбы с коррупцией.

— Я понимаю, это слово неподходящее, — смущенно продолжил мальчишка. — Слишком старомодное и скучное. Я не это хотел сказать. Я хотел сказать… — у него вырвался крик отчаяния и возмущения: — Мистер Риарден, они не имеют права!!!

— На что?

— Забрать у вас ваш металл.

Риарден улыбнулся и, поддавшись жалости, сказал:

— Забудь об этом, Отрицатель Абсолютов. Прав тоже не существует.

— Я знаю, что не существует. Но я хочу сказать… они не должны были так поступать.

— Почему? — Риарден не смог сдержать улыбки.

— Мистер Риарден, не подписывайте Сертификат дарения! Из принципа не подписывайте.

— Не подпишу. Но принципов тоже нет.

— Я знаю, что их нет, — и Кормилица процитировал с аккуратностью и святой верой прилежного школяра: — «Я знаю, что все относительно, и никто ничего не может знать точно, сама причина — только иллюзия, а реальности не существует». Но я сейчас говорю о риарденметалле. Не подписывайте, мистер Риарден. Существует мораль или нет, есть принципы или их нет, не подписывайте, и все тут — потому что это неправильно!

Кроме Кормилицы, никто не упоминал о Директиве в присутствии Риардена. Молчание — вот что стало новым на заводах. Люди не заговаривали с ним в цехах, он заметил, что рабочие и друг с другом не разговаривают. Официальных заявлений об увольнении не поступало. Но каждое утро один-два человека не выходили на работу и больше уже не появлялись на заводе никогда. При выяснении обстоятельств неявки, их дома находили брошенными и опустевшими. О таких уходах управленческий персонал не сообщал, как того и требовала директива. Риарден стал замечать среди вахтенных незнакомые, испитые лица людей, долгое время живших без работы, и слышал, как к ним обращают-

ся по именам тех, кто ушел. Риарден ни о чем не спрашивал.

Зловещее молчание распространилось по всей стране. Риарден не знал, как много промышленников отошли от дел и исчезли первого и второго мая, оставив свои заводы. Он насчитал десятерых только среди своих клиентов, в том числе Макнила из чикагской «*Макнил Кар Фаундри*». О других нельзя было ничего узнать, поскольку газеты ничего не сообщали.

Первые полосы газет неожиданно наполнились историями о весеннем паводке, автомобильных катастрофах, школьных пикниках и торжествах по поводу золотых свадеб.

В его доме тоже царило молчание. Лилиан уехала во Флориду еще в середине апреля. Эта необъяснимая причуда удивила его: она уехала одна впервые за все годы их брака. Филипп панически избегал его. Мать смотрела на Риардена с упреком и замешательством, не говоря ни слова, но разражалась рыданиями, словно желая сообщить, что предчувствует надвигающееся несчастье.

Утром пятнадцатого мая Риарден сидел в кабинете над кипой бумаг и следил за дымами, поднимавшимися к ясному голубому небу. Не-

которые, совершенно прозрачные, колыхались в воздухе, как марево в жаркий день — невидимые, но искажавшие предметы. Над заводом вздымались струи красноватого дыма, колонны желтого, легкие, растекающиеся спирали голубоватого и густые, плотные, похожие на скрученные рулоны шелка, окрашенные солнцем в цвет розового перламутра.

На столе зажужжал аппарат внутренней связи, и голос мисс Айвз сообщил:

— Мистер Риарден, доктор Флойд Феррис хочет вас видеть, без предварительной записи, — несмотря на официальную твердость, голос звучал вопросом: «Должна ли я его впустить?»

Риарден немного удивился: он не ожидал, что пришлют именно Ферриса. И спокойно ответил:

— Пригласите его в кабинет.

Подойдя к столу, доктор Феррис не улыбался: выражение его лица явственно показывало, что он имеет самые веские причины для улыбки и посему воздерживается от очевидного. Не дожидаясь приглашения, он уселся напротив Риардена, положив на колени портфель. Он держался так, словно сам факт его присутствия в кабинете делает слова излишними.

Риарден молча смотрел на него с терпеливым ожиданием.

— Поскольку срок подписания национальных Сертификатов дарения истекает сегодня в полночь, — провозгласил доктор Феррис тоном продавца, оказывающего клиенту необычайную любезность, — я пришел, чтобы получить вашу подпись, мистер Риарден.

Он сделал паузу, давая понять, что ответ необходим.

— Продолжайте, — сказал Риарден. — Я слушаю.

— Да, полагаю, я должен объяснить, — продолжил доктор Феррис, — что мы хотели бы получить вашу подпись сегодня в начале дня, дабы сообщить об этом факте по национальному радио. Несмотря на то, что программа подписания Сертификатов дарения проходит в целом довольно гладко, все же остались несколько индивидуалистов, которые ответили нам отказом. Мелкая сошка, конечно, их патенты не имеют решающего значения, но мы никого не можем освободить от обязательств, вы же понимаете, это дело принципа. Они, насколько мы понимаем, выжидают, как поступите вы. У вас много почитателей, мистер Риарден, намного больше,

чем вы могли бы ожидать. Таким образом, подписанный вами сертификат уничтожит последние островки сопротивления и к полуночи принесет нам оставшиеся подписи, завершив тем самым программу.

Риарден понимал, что ничего подобного доктор Феррис никогда не высказал бы вслух, если бы у него оставалось хоть малейшее сомнение в том, что его ожидает победа.

— Продолжайте, — так же ровно ответил Риарден. — Вы не закончили.

— Вам известно — и вы сказали об этом на судебном процессе, — что для нас очень важно получить всю собственность при добровольном согласии жертв, — доктор Феррис открыл портфель. — Вот ваш Сертификат дарения, мистер Риарден. Мы заполнили его, вам осталось только поставить внизу вашу подпись.

Лист бумаги, который он положил на стол перед Риарденом, напоминал своего рода диплом об окончании колледжа: с текстом, напечатанным старинным шрифтом, и отдельными фразами, впечатанными на машинке. В документе говорилось, что он, Генри Риарден, настоящим передает нации все права на металлический сплав, известный как «сплав Риардена, или,

в просторечии, риарден-металл», который, таким образом, может производиться любым, кто того пожелает, и станет называться «Чудесным сплавом», каковое название избрано представителями народа.

Глядя на бумагу, Риарден недоумевал, что это: грубая пародия на приличие или заведомо заниженная оценка интеллекта жертв, позволившая создателям документа напечатать сей текст поверх светлого силуэта статуи Свободы?

Он медленно поднял глаза на доктора Ферриса.

— Вы не пришли бы сюда, — констатировал Риарден, — если бы не заготовили против меня козырной карты. Что за козырь?

— Разумеется, — признал доктор Феррис. — Я ожидал, что вы догадаетесь. Поэтому в долгих объяснениях нет необходимости, — он снова открыл портфель. — Хотите взглянуть на мой козырь? Я принес несколько штук.

Подобно карточному шулеру, он одним взмахом руки раскинул перед Риарденом веер глянцевых снимков. Это были фотокопии квитанций из отелей и мотелей, подписанных именами мистера и миссис Смит.

— Вы, конечно, знаете, — промурлыкал доктор Феррис, — хоть и можете поинтересоваться, от-

куда нам известно, что под именем миссис Джей Смит скрывается мисс Дагни Таггерт.

Он ничего не смог прочитать на лице Риардена. Тот не наклонился к снимкам, не стал их придирчиво рассматривать, словно *уже* заметил в них нечто для себя неизвестное.

— У нас есть достаточно других свидетельств, — и доктор Феррис швырнул на стол фотокопию счета от ювелира на рубиновую подвеску. — Вам нет нужды знакомиться с показаниями привратника и прислуги мисс Таггерт, для вас там нет ничего нового, если не считать количества тех свидетелей, которые знали о том, где вы проводили ночи в Нью-Йорке в течение последних двух лет. Вы не должны слишком уж упрекать их. Отличительная черта нашего века — люди боятся сказать то, что они хотят сказать, но, когда их спрашивают, боятся промолчать о том, чего предпочли бы не произносить вслух. Это так понятно. Но вы бы немало удивились, узнав, *кто* дал нам главный козырь.

— Я знаю, — голос Риардена не дрогнул. Путешествие во Флориду перестало казаться необъяснимым.

— Среди моих козырей нет ничего, что причинило бы вред *лично вам*, — с особой интонацией

уточнил доктор Феррис. — Мы знали, что никакие обвинения не заставят вас сдаться. Поэтому я откровенно сообщаю, что лично вас это никак не коснется. Это повредит только мисс Таггерт.

Теперь Риарден смотрел на него в упор, но доктор Феррис недоумевал, почему ему стало казаться, что это спокойное, замкнутое лицо стало медленно удаляться от него все дальше и дальше.

— Если о вашей интрижке станет известно всей стране, — продолжил доктор Феррис, — а этим займутся такие специалисты по копанию в грязном белье, как Бертрам Скаддер, *ваша* репутация не пострадает. Если не считать нескольких косых взглядов и нескольких пар поднятых бровей в кабинетах каких-то там ханжей, вы никак не пострадаете. Приключения такого рода свойственны мужчинам. На самом деле ваша репутация только выиграет. Она приобретет ауру романтического гламура в глазах женщин, а среди мужчин вы заработаете нечто вроде престижа, с оттенком зависти к вашей неординарной добыче. Но что она принесет мисс Таггерт, с ее незапятнанным именем и безупречной репутацией, ее особому положению женщины, ведущей бизнес строго по-мужски, что она с ней сделает,

что увидит ваша любовница во взглядах всех встречных, что услышит от любого мужчины, с которым станет работать? Я предоставляю вам самому вообразить это. И поразмыслить.

Риарден не чувствовал ничего, кроме огромной пустоты и ясности. Как будто некий голос жестоко твердил ему: «Время пришло. Включить прожекторы! Смотрите». И он оказался нагим посреди сцены, залитой беспощадным светом, под пристальными взглядами, не чувствуя ни страха, ни боли, ни надежды — ничего, кроме желания понять.

Доктора Ферриса удивила его медленная, невыразительная речь, словно Риарден ни к кому не обращался.

— Так все ваши расчеты основаны на том, что мисс Таггерт — добродетельная женщина, а не потаскушка, какой вы желаете ее представить.

— Да, именно так, — признал Феррис.

— И на том, что для меня это больше, чем обычная интрижка.

— Разумеется.

— Если бы она и я были подонками, какими вы хотите нас выставить, ваш шантаж не сработал бы.

— Вот именно.

— Если бы наши отношения носили непристойный характер, как вы хотите их представить, вы не смогли бы нанести нам вреда.

— Верно.

— Тогда мы остались бы недосягаемыми для вас.

— Разумеется.

Риарден обращался вовсе не к доктору Феррису. Он видел перед собой длинную вереницу людей, протянувшуюся со времен Платона до наших дней, чьим наследником и конечным продуктом был некомпетентный маленький профессор с внешностью жиголо и душой головореза.

— Однажды я уже предлагал вам возможность присоединиться к нам, — напомнил доктор Феррис. — Вы отказались. Теперь вы пожинаете плоды. Как может человек вашего ума думать, что можно победить, ведя честную игру, вот чего я не могу понять.

— Но если бы я к вам присоединился, — с прежним безразличием, словно беседуя с самим собой, продолжил Риарден, — что я мог бы украсть у Оррена Бойля?

— Черт возьми, в мире всегда хватало простаков, которых грабят!

— Таких, как мисс Таггерт? Как Кен Данаггер? Как Элисс Уайэтт? Как я?

— Таких, как тот, который поступает непрактично.

— Вы хотите сказать, что жить на земле непрактично, не так ли?

Риарден не слышал, ответил ли ему доктор Феррис. Он больше вообще его не слушал. Он видел Оррена Бойля, его вытянутое лицо с поросячьими глазками, рыхлую физиономию мистера Моуэна, чей взгляд избегал всякого говорящего и лукаво уходил от любого решения… Он видел, как они, с неловкостью обезьяны, бездумно выполняющей заученные движения, пытаются произвести риарден-металл, не имея ни понятия, ни способностей для того, чтобы уяснить, что в экспериментальной лаборатории «*Риарден Стил*» на это ушло десять лет самоотверженного труда и преданного служения. Новое название — «Чудесный металл» — вполне подходит; это единственное имя, годящееся для того чуда, из которого родился сплав Риардена. Чудом в их глазах было все, чем мог стать он, продукт, который нельзя познать, но можно захватить, как камень или палку: «Можем ли мы оставить большинство в нужде, когда меньшинство утаи-

вает от нас лучшие продукты и методы?»

«Если бы я не знал, что моя жизнь зависит только от моего разума и труда, — Риарден беззвучно обращался к веренице людей, протянувшейся через столетия, — *если бы я не сделал своей высшей нравственной целью положить все физические и умственные способности на поддержание и улучшение собственной жизни, вам нечего было бы украсть у меня, нечем было бы поддержать свое существование. Вы оскорбляете меня не за мои грехи, а за мои добродетели. Вы сами называете их добродетелями, поскольку ваша жизнь зависит от них; они нужны вам, и вы не в состоянии разрушить мои достижения, вы можете завладеть ими только силой»*.

До Риардена донесся голос жиголо от науки, разливавшегося соловьем.

— За нами власть, и мы это знаем. Ваши друзья — скупердяи, но мы умеем вести дела.

«Мы не обладаем властью, — беззвучно отвечал Риарден духовным предшественникам жиголо, — и мы не живем по правилам, которые осуждаем. Мы полагаем способность производить добродетелью и видим в ней мерило ценности человека. Мы не извлекаем пользы из того, что считаем злом, нам не нужны гра-

бители, чтобы руководить нашими банками, и не нужны воры для управления нашими домами или убийцы, чтобы защищать наши жизни. А вам нужны *продукты* человеческих способностей, хоть вы и называете дар производить эгоизмом и злом, и превратили уровень таланта человека в мерило его потерь. Мы живем тем, что считаем добром, и отвергаем то, что считаем злом. Вы же живете за счет того, что объявили злом, и отвергаете то, что является — и вы знаете об этом — добром…»

…Риардену припомнилась формула наказания, которому Лилиан хотела его подвергнуть, и которую он счел чудовищной, чтобы в нее поверить. Сейчас она предстала перед ним в полном свете как система мышления, образ жизни и шкала ценностей. Вот оно, наказание, требующее в качестве горючего добродетель жертвы. Изобретение им «Чудесного металла» использовано в качестве причины экспроприации сплава. Честь Дагни и глубина их чувства стали инструментом шантажа, перед которым порочность оставалась неуязвимой. А в народных республиках Европы миллионы людей держат в оковах по той причине, что они желают жить, по той причине, что их энергия выжимается

подневольным трудом, по причине их способности кормить своих хозяев, по причине системы заложников, их любви к своим женам, детям и друзьям. Любовь, способности и удовольствия используются как основание для угроз и приманка для вымогательства. Любовь ведет к страху, потребности наказания, стремлению конфисковать… Там шантаж занял место закона, и спасение от боли, а не стремление к удовольствию, стало единственным побуждением к действию, единственным вознаграждением за достижение. Люди обращены в рабство только за то, что обладают жизненной силой и стремятся к радости. Таков тайный код, принятый в мире, и вот что служит ключом к его пониманию: сама любовь к жизни зависит от круговращения мучений, и только человеку, которому нечего предложить, нечего бояться. И тогда добродетели, делающие жизнь возможной, и ценности, придающие ей смысл, становятся орудиями разрушения, а все лучшее в человеке превращается в инструмент его агонии, и сама жизнь на земле теряет свой смысл.

«Ты жил по закону жизни, — раздался у него в голове голос человека, которого он не в силах был забыть. — Каков тогда *их* закон?»

«Почему мир смирился с этим? — думал Риарден. — Как жертвы могли согласиться с законом, провозгласившим их виновными уже самим фактом существования?..»

Жестокое внутреннее потрясение погрузило его в прострацию, потому что со вспышкой мгновенного озарения он осознал, что сам поступил так же. Разве не он дал согласие на осуждение его на вечные муки? Дагни, подумал он, наше глубокое взаимное чувство… Шантаж, перед которым только порочность неуязвима… Не он ли некогда признал это порочностью? Не он ли первый швырнул ей в лицо все те оскорбления, которые сейчас сброд готов обрушить на нее публично? Не сам ли он принял как вину высочайшее счастье свой жизни, которое наконец обрел?

«Вы, не допускающий ни единого процента примесей в своем сплаве, — вещал у него в голове незабываемый голос, — кого вы допустили в святую святых своего нравственного закона?»

— …Итак, мистер Риарден, — донесся до него голос Ферриса, — теперь вы меня понимаете? Получим ли мы ваш сплав или выставим на всеобщее обозрение спальню мисс Таггерт?

Он не видел доктора Ферриса. Перед его мысленным взором с пугающей ясностью, словно

под ослепительным скальпелем прожектора, раскрывались все тайны. Начиная с того дня, когда он впервые встретил Дагни. Прошло всего несколько месяцев, как она стала вице-президентом «*Таггерт Трансконтинентал*». Риарден скептически относился к появлявшимся время от времени слухам о том, что железной дорогой управляет сестра Джима Таггерта. Тем летом, когда его все больше раздражали задержки и противоречивые проволочки в заказах на рельсы для нового участка дороги, которые Таггерт бесконечно подавал, отзывал и переделывал, кто-то подсказал Риардену: если он хочет, чтобы его переговоры с «*Таггерт Трансконтинентал*» дали практический результат, лучше всего решать все вопросы с сестрой Джима. Риарден позвонил ей в контору, чтобы добиться встречи в тот же день. Ее секретарь сказал, что мисс Таггерт будет на строительстве нового участка дороги сегодня после полудня на станции Милфорд, между Нью-Йорком и Филадельфией, где с радостью встретится с ним, если он пожелает. Возмущенный Риарден приехал в назначенное место. Он недолюбливал тех деловых женщин, с которыми сводил его бизнес, и ему казалось, что железная дорога — не самая подходящая ра-

бота для девчонки, высокомерной сестры главы компании. Он ожидал увидеть избалованную наследницу, использующую свое имя и пол вместо необходимых способностей, этакую холеную самку с выщипанными бровями, вроде дам, управляющих крупными супермаркетами.

Риарден вышел из последнего вагона длинного поезда, вдалеке от платформы Милфорд. Его окружали пересечения железнодорожных путей, грузовые вагоны, краны и экскаваторы, а у склона оврага рабочие готовили насыпь для нового участка путей. Риарден пошел было между путями к зданию вокзала, но остановился.

Он увидел девушку, стоящую рядом с грудой деталей, сложенных на открытой платформе.

Подняв голову, она смотрела на насыпь, и пряди спутанных волос развевались на ветру. Простой серый костюм казался тонкой металлической пленкой, облепившей стройную фигуру, четко вырисовывающуюся на залитом солнцем пространстве неба. В ее позе читались легкость и не осознаваемая ею самой надменная самоуверенность. Она пристально наблюдала за работой, явно в ней разбираясь. Она была на своем месте, и казалось, что наслаждение трудом — ее обычное состояние. Лицо девушки с чувственным

женственным ртом светилось живым умом. А тело как будто интересовало ее лишь как инструмент, всегда готовый для любой практичной цели.

Если бы минуту назад Риардена спросили, как он представляет себе женщину своей мечты, он не смог бы ответить. Теперь, глядя на эту девушку, он понял, что именно ее образ преследовал его многие годы. Но он смотрел на нее не как на женщину. Позабыв, где находится и зачем приехал, он просто по-детски наслаждался мгновением, открытием неведомого и неожиданного; его не отпускало изумление, граничащее с шоком: слишком редко доводится видеть то, что любишь по-настоящему, любишь, принимая целиком, без изъятия. Он смотрел на нее с бессознательной улыбкой, как любовался бы статуей или пейзажем, испытывая несказанное наслаждение, неведомое ему дотоле эстетическое удовольствие.

Увидев проходящего стрелочника, Риарден спросил у него, указав на девушку:

— Кто это?

— Дагни Таггерт, — ответил тот и зашагал дальше.

Риардену показалось, что эти слова пронзили

его. На мгновение прервалось дыхание, а вернувшись, наполнило тело тяжестью и неизбывной страстью. Он четко понимал, где находится, что значит имя *Дагни Таггерт*, ее положение в компании и обществе, но все это отступало на задний план, за пределы круга, в центре которого стоял он один, и единственной реальностью было его желание обладать этой женщиной здесь и сейчас, прямо на товарной платформе, в лучах солнца. Овладеть ею прежде, чем между ними будет сказано хоть одно слово, ознаменовав этим первый миг их встречи, потому что только *так* он сможет выразить все, потому что давно этого хотел…

Девушка повернулась: плавное движение головы, ее глаза… они встретились с глазами Риардена и замерли. Он был уверен, что она поняла смысл его взгляда, что он приковал ее. Но затем ее глаза скользнули дальше, и она заговорила с мужчиной, стоявшим рядом с платформой и делавшим какие-то пометки в блокноте.

На плечи Риардена тяжко рухнуло возвращение к реальности, во рту появился полынно-горький привкус вины. На мгновение он испытал чувство, пережить которое в полном объеме и выжить для человека невозможно: ненависть

к себе, особо невыносимая оттого, что какая-то часть его существа отказывалась принять ее, тем самым лишь усугубляя горечь вины. Риардену был вынесен молчаливый приговор: в этом твоя натура, твоя порочность, ты никогда не мог противостоять постыдным желаниям. Приговор этот, ставший эхом единственного взгляда на внезапно обретенную красоту, звучал с такой ледяной жестокостью, что ему оставалась лишь последняя свобода — скрыться и презирать себя, не имея надежды избавиться от памяти, пока живы эта женщина и он сам. Риарден не мог бы сказать, как долго он простоял на путях, и какое опустошение оставил в его душе пролетевший шквал чувств. Единственным утешением было твердое решение, что девушка никогда не узнает о том, чего он хотел, глядя на нее.

Дождавшись, когда Дагни спустится вниз, и мужчина с блокнотом исчезнет, Риарден подошел и холодно произнес:

— Мисс Таггерт? Я — Генри Риарден.

Тихо ахнув, словно от неожиданности, она совершенно спокойно сказала:

— Здравствуйте, мистер Риарден.

Не признаваясь в этом самому себе, Риарден все же *знал*: ее вздох удивления был неким сла-

бым подобием чувства, только что пережитого им самим — Дагни просто обрадовало, что понравившееся ей лицо принадлежит человеку, которым она может восхищаться.

Когда Риарден заговорил с ней о деле, его манеры и тон по резкости и прямоте превосходили обычный стандарт общения с мужчинами, партнерами по бизнесу.

Вспоминая девушку с товарной платформы и глядя на сертификат, лежавший перед ним на столе, Риарден чувствовал, что при той встрече оба они испытали потрясение, сметающее все дни и препоны, разделявшие их. И яркая вспышка финала дала ответы на все его вопросы.

Он думал: виновен? Даже больше, чем мог представить себе в тот день. «Виновен в том, что проклинал как свою вину то, что было лучшим событием моей жизни. Проклинал тот факт, что радость — суть существования, движущая сила любого живого существа, потребность тела и цель духа. Мое тело — не масса неодушевленных мышц, а инструмент, способный доставить несравнимую радость, объединяющую душу и плоть. Дар этот, который я проклинал как постыдный, сделал меня безразличным к шлюхам, но подарил единственное желание —

ответ на женское величие. Это желание — а ведь и его я проклинал как недостойное — родилось не от взгляда на ее тело, а от осознания того, что прекрасная форма, явленная моим глазам, выражает величие духа. Я желал не ее тела, а ее личности, жаждал не девушки в сером, а женщины, управлявшей железной дорогой.

Но я предал анафеме способность моего тела выражать чувства, проклял, защищаясь от нее, и заплатил за это самую высокую цену, какую только мог. Точно так же *они* прокляли способность моего интеллекта создавать новый металл, прокляли меня за преобразование материи, служившей мне. Я принял их закон и поверил тому, чему они меня учили: духовные ценности — лишь бессильные устремления, от них не ждут действий, способных стать реальностью; жизнь тела должна протекать в ничтожестве бесчувствия, а те, кто пытаются ею наслаждаться, достойны клейма низменных скотов.

Нарушив этот закон, я попал в устроенную ими западню. Я не гордился своим бунтом, я ощущал его как провинность, проклинал не их, а себя, не их закон, а свое существование, и сделал свое счастье постыдной тайной. Я должен был жить в радости, открыто, сделать ее своей женой, ведь

на деле так оно и есть… Но я заклеймил свое счастье как проявление зла и заставил ее терпеть его как бесчестие. То, что они хотят сделать с ней сейчас, раньше я уже сделал сам. Сам позволил им так поступать.

Я сделал это из жалости к самой презренной женщине. Это тоже предписано их законом, и я принял его. Я верил, что человек облечен долгом перед другими и не должен получать ничего взамен. Верил, что мой долг — любить женщину, которая ничего мне не дала, которая предала все, ради чего я жил, и требовала себе счастья ценой счастья моего. Верил, что любовь — подарок, получив который однажды, не нужно заслуживать его снова. Как они верили, что богатство — собственность, ее можно незаконно захватить и владеть потом, не прилагая усилий. Верил, что любовь — подарок, а не вознаграждение, которое нужно заслужить, как они верили, что имеют право требовать богатства, которого не заработали.

И точно так же, как они верили в то, что их лень может претендовать на мою энергию, я верил, что ее несчастье может претендовать на мою жизнь. Из жалости, а не по справедливости я претерпел десять лет мучений. Я поставил жалость

выше совести, и в этом суть моей вины. Я совершил преступление, сказав ей, что по всем моим стандартам, продолжать наш брак — бесчестный обман. Но мои стандарты — не твои стандарты. Твоих стандартов я не понимаю, но приму их.

И вот они лежат передо мной на столе, те стандарты, которые я принял, не понимая их. Вот ее любовь ко мне, любовь, в которую я никогда не верил, но пытался разделить. И вот результат. Я считал, что достойно творить несправедливость, если единственным пострадавшим окажусь я сам. Но оправдать несправедливость нельзя ничем.

Это наказание за то, что я принял, как должное, страшное зло — добровольное принесение себя в жертву. Но я думал, что стану его единственной жертвой.

Вместо этого я самую благородную из женщин принес в жертву самой низкой. Когда один человек действует во имя жалости, ставя ее выше справедливости, он наказывает добро во имя зла. Спасая виновного от страдания, он заставляет страдать невинного. Невозможно скрыться от справедливости, ничто в мире нельзя получить незаслуженно и безнаказанно, ни материального, ни духовного. Если виновно-

го не наказывать, за него заплатит невинный. Меня победили не дешевые мелкие грабители, тому виной я сам. Не они разоружили меня, я сам отбросил оружие. В этой битве можно победить только с чистыми руками, потому что единственная сила врага — наша больная совесть. А я принял закон, согласно которому считал силу своих рук грехом и грязью».

— Так мы получили сплав, мистер Риарден?

Глядя на сертификат, Риарден мысленно видел девушку на грузовой платформе. И спрашивал себя, может ли он отдать это лучезарное существо грабителям разума и подонкам из прессы. Может ли он позволить, чтобы невинная жертва продолжала страдать? Может ли поставить ее в положение, которое по всем канонам совести отведено ему?

Сможет ли он сейчас отвергнуть закон врагов, когда бесчестье обрушится на нее, а не на него, когда на нее, а не на него хлынут нечистоты, когда ей придется сражаться, а он останется в стороне? Позволит ли он ввергнуть ее существование в бездну, в которую ему хода нет?

Сидя неподвижно, глядя на девушку на грузовой платформе, он мысленно говорил ей: «Я люблю тебя, Дагни», чувствуя тихое счастье

в простых словах, несмотря на то, что говорил их сейчас впервые.

Глядя на сертификат, он думал: «Дагни, ты не позволила бы мне сделать это, если бы узнала; ты будешь ненавидеть меня за это, но я не могу позволить тебе платить по моим долгам. Вина на мне, и я не позволю, чтобы наказание за нее коснулось тебя. Даже если они отберут у меня все, у меня еще очень многое останется: я вижу правду, я свободен от их вины и в собственных глазах буду невиновным. Я знаю, что прав, прав полностью, впервые в жизни прав и останусь приверженным единственной заповеди моего кодекса, которую никогда не нарушал: быть человеком, который за все платит сам».

«Я люблю тебя», — повторил он девушке на грузовой платформе, чувствуя тепло, словно лучи летнего солнца снова касаются его лба, а сам он стоит под распахнутым небом, над необъятной землей, и у него ничего не осталось, кроме самого себя.

— Ну, мистер Риарден? Вы подпишете? — спросил доктор Феррис.

Взгляд Риардена остановился на Феррисе. Он и забыл, что доктор еще здесь, не слышал, говорил ли он, спорил или молча ждал.

— Ах, это? — протянул Риарден.

Он взял ручку и, не медля больше ни секунды, легким жестом, каким миллионер подписывает чек, начертал свое имя под основанием статуи Свободы и оттолкнул от себя листок.

ГЛАВА VII. МОРАТОРИЙ НА МОЗГИ

— Где ты был все это время? — спросил Эдди у знакомого рабочего из подземного кафетерия и добавил с искательной, извиняющейся улыбкой: — Да, знаю, это я сюда неделями не заходил, — его улыбка напоминала попытку искалеченного ребенка сделать движение, на которое он больше не способен. — Пришел как-то раз, недели две назад, а тебя не было в тот вечер. Я уже боялся, что ты ушел… так много людей незаметно исчезают. Я слышал, по стране бродят тысячи. Полиция арестовывает их за то, что они бросили рабочие места, их теперь зовут дезертирами. Но сбежавших людей так много, что в тюрьмах не хватает для них еды, поэтому никому больше нет до них дела. Говорят, дезертиры промышляют случайной работой и кое-чем похуже, да и кто сейчас может предоставить случайную работу?.. Мы теряем лучших людей, тех, кто проработал в компании по двадцать лет, а то и больше. Зачем их приковывать цепями к рабочим местам? Они и не собирались уходить, а теперь уходят при малейших неприятностях, просто бросают инструменты и исчезают, в лю-

бое время дня и ночи, ставя нас в очень трудное положение. И это люди, которые выпрыгивали из постелей по первому зову, когда железная дорога нуждалась в них… Посмотрел бы ты, каким отребьем мы вынуждены их заменять. Некоторые еще ничего, зато боятся собственной тени. Другие — просто сброд, я и не знал, что есть такие: получают работу, зная, что мы не можем вышвырнуть их сразу же, и прямо дают понять, что не собираются отрабатывать зарплату и никогда не собирались. Этим людям нравится то, что сейчас творится. Ты можешь представить себе, что есть такие, которым это может понравиться? А они есть… Знаешь, я до сих пор не могу поверить в то, что происходит. Оно действительно происходит, но я в это не верю. Я думаю, что безумие — это состояние, когда человек не может решить, что реально, а что нет.

Потому что сегодняшняя реальность — безумие, и если я приму ее как реальность, то потеряю разум, разве не так?.. Я продолжаю работать и твержу себе, что это для «*Таггерт Трансконтинентал*». Я все равно жду, когда она вернется, распахнет дверь… Господи, я же не собирался об этом говорить!.. Что? Ты это знал? Ты знал, что она ушла?.. Это держат в секрете. Но, кажет-

ся, все об этом знают, только вслух не говорят. Людям говорят, что она в отъезде. Она по-прежнему числится нашим вице-президентом. Думаю, только мы с Джимом знаем, что она ушла насовсем. Джим до смерти боится, что его друзья в Вашингтоне все у него отберут, если узнают, что она ушла. Считается, что если выдающийся человек уходит, то это удар по общественной морали, и Джим скрывает, что в его собственной семье есть дезертир… Но это еще не все. Джим боится, что держатели акций, работодатели и кто там еще есть в бизнесе потеряют последнее доверие к «*Таггерт Трансконтинентал*», если узнают, что она ушла. Доверие! Неужели ты думаешь, что это имеет значение сейчас, когда никто не может ничего поделать. И все же Джим думает, что мы должны поддерживать видимость былого величия «*Таггерт Трансконтинентал*». Но знает, что остатки этого величия ушли вместе с ней… Нет, они не знают, где она… Да, но я им не скажу. Я единственный, кто это знает… Да, они пытались это выяснить. Пытались выжать из меня всеми известными им способами, но безуспешно.

Я не скажу никому… Видел бы ты того дрессированного тюленя, который занял ее место,

нашего нового вице-президента. Да, он есть, но это все равно, что его нет. Совсем как все остальное в наше время — оно есть, и его нет, та же песня. Его зовут Клифтон Лоси, он из аппарата Джима, блестящий, прогрессивный *молодой человек* сорока семи лет и личный друг Джима к тому же. Предполагалось, что он станет ей заменой, а он только сидит в ее кабинете. Мы знаем, что он — вице-президент. Он отдает приказания, хоть и старается, чтобы его на этом не поймали. Он упорно трудится над тем, чтобы его не заставили принять хоть одно решение и, следовательно, чтобы его не в чем было упрекнуть. Понимаешь, его цель не управлять дорогой, а просто удержаться на работе. Он не хочет пускать поезда по маршрутам, он хочет угодить Джиму. Ему плевать, пошел хоть один поезд или нет, лишь бы произвести хорошее впечатление на Джима и парней в Вашингтоне. Вот мистер Лоси и обвинил двоих: молодого третьего помощника в том, что тот не передавал распоряжения, которых мистер Лоси не отдавал, и менеджера по грузам, который не так выполнил указание, отданное мистером Лоси, только вот сам менеджер не может доказать, что получил другое указание. Обоих уволили официально, согласно решению

Объединенного совета… Когда дела идут хорошо — такая ситуация никогда не продолжается более получаса — мистер Лоси не преминет сказать, что «сейчас вам не времена мисс Таггерт». При первых признаках трудностей он вызывает меня к себе в кабинет и спрашивает небрежно, как бы между делом, что делала мисс Таггерт в подобных чрезвычайных обстоятельствах. Я всегда рассказывал, что знал. А себя уговаривал, что это ради «*Таггерт Трансконтинентал*», и… от нашего решения зависят тысячи жизней на десятках поездов. В промежутках между трудными ситуациями мистер Лоси позволяет себе быть со мной грубым, чтобы я не подумал, будто он во мне нуждается. Он взял себе за правило изменять все, напоминающее ее действия в ситуациях малозначительных, второстепенных, и чертовски осторожен с вещами серьезными, стараясь не менять ничего важного. Беда в том, что он не всегда может отличить важное от пустякового… В первый же день в своем новом кабинете он заявил мне, что повесить на стену портрет Нэта Таггерта — не слишком хорошая идея. «Нэт Таггерт, — сказал он, — принадлежит к нашему трудному прошлому, веку темной алчности, он не может служить символом новой,

прогрессивной политики, он производит плохое впечатление, люди могут отождествить меня с ним». «Нет, не могут», — ответил я. Но все-таки снял портрет со стены… Что?… Нет, она ничего этого не знает. Я с ней не связывался. Ни разу. Она так велела… На прошлой неделе я чуть не уволился. Из-за поезда «*Чик Спешл*». Мистер Чик Моррисон из Вашингтона, черт знает кто он такой, отправился в тур через всю страну, чтобы рассказывать о директиве и поднимать моральный настрой народа, потому как дела повсюду идут ужасно плохо. Он потребовал специальный поезд для себя и своей свиты — спальный вагон, вагон-салон и вагон-ресторан с баром. Объединенный совет выдал ему разрешение передвигаться со скоростью сто миль в час, поскольку это некоммерческая поездка. Что ж, так и есть. Эта поездка нужна для того, чтобы уговорить людей продолжать гнуть спины и создавать прибыль на поддержку других людей, которые прибыли не приносят. Трудности у нас начались, когда мистер Чик Моррисон потребовал для своего поезда дизельный тепловоз. У нас его не было. Каждый наш дизель на дороге тянет или «*Комету*», или трансконтинентальные грузовые составы, лишнего в системе нет, если не считать… ну,

об этом исключении я не стал говорить мистеру Клифтону Лоси. Мистер Лоси поднял шум, крича, что ни под каким видом не может отказать мистеру Чику Моррисону. Не знаю, какой придурок сказал ему, наконец, о запасном дизеле, который мы держим в Уинстоне, штат Колорадо, у входа в туннель. Я объяснял мистеру Лоси, пугал его, умолял, говорил, что она строго-настрого приказала не оставлять Уинстон без запасного дизеля. Он велел мне запомнить, что он — не мисс Таггерт, как будто я способен хоть на минуту забыть об этом! Он заявил, что это нонсенс, потому как за все предыдущие годы ничего не случилось, и Уинстон прекрасно сможет обойтись без дизеля пару месяцев, а он не станет забивать себе голову гипотетическими проблемами будущего, когда над нами нависла опасность немедленного страшного бедствия в случае, если мистер Чик Моррисон на нас рассердится. Вот «*Чик Спешл*» и получил дизель. Управляющий нашего отделения в Колорадо ушел. Мистер Лоси передал его работу своему другу. Я тоже хотел уйти. Никогда еще мне так не хотелось уйти. Но не ушел… Нет, я ничего от нее не получал. С тех пор, как она уехала. Почему ты все время спрашиваешь о ней? Забудь. Она не вернется… Не знаю, на что

я надеюсь. Надеяться не на что. Просто живу, день за днем, и стараюсь не заглядывать вперед. Сначала я надеялся, что кто-нибудь нас спасет. Думал, может это будет Хэнк Риарден. Но он сдался. Не знаю, что они с ним сделали, как заставили подписать, знаю только, что-то ужасное. Все так думают. Все шепчутся об этом, прикидывают, чем и как на него надавили… Нет, никто ничего не знает. Он не сделал никаких публичных заявлений и не хочет никого видеть… Но, послушай, я скажу тебе еще кое-что, о чем все шепчутся. Наклонись поближе. Я не хочу говорить слишком громко. Говорят, Оррен Бойль знал о директиве уже давно, за несколько недель, а то и месяцев, потому что потихоньку начал реконструировать плавильные печи для производства сплава Риардена на своих небольших сталелитейных заводах в тихом темном местечке на побережье штата Мэн. И к тому моменту, когда Риардена вынудили подписать бумагу, я имею в виду Сертификат дарения, Бойль был уже готов к производству риарден-металла. И знаешь, накануне того дня, когда хотели начать литье, и люди Бойля уже зажгли печи на побережье, вдруг послышался голос, непонятно откуда, с самолета или по радио. Мужской голос объявил, что дает им десять

минут покинуть завод.

Люди вышли. Потому что голос сказал им, что он — Рагнар Даннескьолд. В течение получаса завод Бойля был стерт с лица земли. Камня на камне не осталось. Говорят, при помощи дальнобойных судовых орудий, откуда-то из Атлантического океана. Никто не видел корабля Рагнара Даннескьолда… Вот о чем все перешептываются. В газетах об этом не напечатали ни слова. Парни в Вашингтоне говорят, что это только слухи, которые распускают паникеры… Не знаю, правдива ли эта история. Думаю, все — правда. Надеюсь, все так и есть… Знаешь, когда мне было пятнадцать, я все думал, как человек становится преступником, и не мог понять, *что* для этого должно произойти.

А теперь я рад, что Рагнар Даннескьолд взорвал эти заводы. Благослови его Бог, и пусть его никогда не поймают, кем бы он ни был!.. Да, вот так я теперь думаю. Как они полагают, насколько у людей хватит терпения?.. Днем еще ничего, потому что я занят и думать некогда, но ночью меня это донимает. Я уже и заснуть не могу, часами лежу, не сплю… Да! Если хочешь знать, да, это потому, что я тревожусь о ней! Я боюсь за нее до смерти. Вудсток — такая ничтожная дыра, за много

миль от цивилизации, а коттедж Таггертов еще в двадцати милях в стороне. Двадцать миль кривых рельсов в богом забытых лесах. Как я узнаю, не случилось ли с ней чего-нибудь? Она там одна, а по стране носятся банды, как раз по таким вот дремучим местам, как Беркширские горы… Знаю, я не должен об этом думать. Знаю, она сама может о себе позаботиться. Только очень хочется получить от нее хоть строчку. Вот бы поехать туда… Но она мне не велела.

Я обещал ей ждать… Знаешь, я рад, что ты сегодня вечером здесь. Мне это помогает, наши разговоры с тобой… даже просто посмотреть на тебя — и то хорошо. Ты же не исчезнешь, как все остальные, а?.. Что, на следующей неделе?.. А, просто в отпуск. Надолго?.. Как ты добился месячного отпуска?.. Хотел бы я взять месяц за свой счет. Но мне не дадут… Правда? Завидую тебе… Несколько лет назад я не стал бы тебе завидовать. А теперь мне хотелось бы уехать. Теперь я завидую тому, что ты в течение двенадцати лет мог каждое лето уезжать на целый месяц.

* * *

Дорога тонула в темноте и вела в другом направлении. Риарден шел с завода, но не в сторону

дома, а к Филадельфии.

Путь предстоял неблизкий, но вечерами ему хотелось хорошенько пройтись; так он поступал каждый день всю прошедшую неделю. Пустынная мрачность загородной местности приносила ему покой, вокруг не было ничего, кроме темных силуэтов деревьев, никакого движения, кроме его шагов и качавшихся на ветру веток. Никаких фонарей, только слабые вспышки светляков в кустах. Два часа хода от завода до города стали для него временем отдохновения.

Риарден переехал в Филадельфию. Не объясняя ничего матери и Филиппу, он сказал, что они могут оставаться в доме, если пожелают, а мисс Айвз позаботится об оплате счетов. Велел им передать Лилиан, когда она вернется, чтобы не пыталась встретиться с ним.

Они смотрели на него в испуганном молчании.

Риарден передал своему адвокату подписанный бланк и сказал:

— Получите для меня развод. На любых условиях и за мой счет. Меня не волнует, какие основания вы представите, скольких судей подкупите или в чем ложно обвините мою жену. Делайте все, что захотите. Но не должно быть никаких алиментов или раздела имущества.

Адвокат посмотрел на него с мудрой и грустной полуулыбкой, как будто давным-давно этого ожидал. И ответил:

— Хорошо, Хэнк. Это можно сделать. Но потребуется время.

— Сделайте все как можно скорее.

Никто не задавал вопросов о его подписи на Сертификате дарения. Но он заметил, что люди на заводе смотрят на него изучающе и с любопытством, как будто пытаясь разглядеть шрамы или следы пыток.

Риарден не чувствовал ничего, его окружили умиротворяющие сумерки, словно расплавленный металл покрылся коркой шлака, затягивающей и скрывающей под собой последние проблески белого мерцания. Он не питал никаких чувств к мародерам, которые теперь собирались выпускать его сплав. Желание удержать свое право, гордость за то, что он — единственный его производитель и поставщик, были формой уважения к соратникам, свято в него верившим и полагавшим честью для себя работать с ним. Желание, уважение и вера ушли. Его не заботило, что делают люди, что продают, и знают ли, что это его металл. Человеческие фигуры, двигавшиеся мимо него по улицам, стали ничего

не значащими физическими объектами. Реальной оставалась только природа, с ее темнотой, скрадывающей все следы человеческой деятельности, оставлявшей лишь нетронутую почву, с которой он некогда мог управляться.

В кармане он носил пистолет, как посоветовали полицейские из патрульной машины с громкоговорителем. Они предупредили его, что в темное время на дорогах небезопасно. Он подумал: пистолет, скорее, нужен на заводе, а не в мирном и безопасном ночном одиночестве. Что может отобрать у него оголодавший бродяга по сравнению с ущербом, нанесенным ему так называемыми его защитниками?

Риарден шагал, думая, что даже этот сумеречный ландшафт все еще способен давать ему силы, напоминая, что впереди простирается нетронутое людским вмешательством пространство.

Человек, внезапно возникший на дороге, должно быть, появился из-за ивы, но так проворно, что, казалось, выпрыгнул прямо на середину шоссе. Рука Риардена рванулась было к пистолету, но остановилась: по горделивой осанке, прямой линии плеч, вырисовывавшейся на фоне звездного неба, он догадался, что это не бандит. Услышав голос незнакомца, он понял, что это

и не попрошайка.

— Я хотел бы поговорить с вами, мистер Риарден.

В голосе звучали твердость, ясность и особая учтивость, непривычная для человека, который больше привык отдавать приказания.

Простая одежда незнакомца выглядела элегантной. Темные брюки и темно-синяя ветровка, застегнутая до подбородка, подчеркивали стройные линии высокой фигуры. Он носил темно-синюю шляпу, и единственным, что можно было разглядеть в ночи, оставались его руки, лицо да прядь золотистых светлых волос на виске. В руках не видно было оружия, только предмет, похожий на завернутый в мешковину блок сигарет.

— Нет, мистер Риарден, — произнес незнакомец, — я не собираюсь просить у вас денег, наоборот, хочу их вам вернуть.

— Вернуть деньги?

— Да.

— Что еще за деньги?

— Маленькое возмещение большого долга.

— Вы брали у меня в долг?

— Нет, не я. Всего лишь символическая выплата, но я хочу, чтобы вы приняли ее в дока-

зательство того, что, если мы с вами проживем достаточно долго, каждый доллар из этой задолженности будет вам возвращен.

— Какой задолженности?

— Речь о деньгах, которые забрали у вас силой.

Он протянул Риардену сверток, откинув мешковину.

Риарден увидел, как звездный свет отразился от зеркальной поверхности, словно пламя. По весу и блеску поверхности он понял — незнакомец держит в руке слиток золота.

Он перевел взгляд на лицо незнакомца, но увидел, что оно тверже и непроницаемее, чем сама поверхность металла.

— Кто вы? — спросил Риарден.

— Друг тех, у кого нет друзей.

— Вы пришли, чтобы отдать мне это?

— Да.

— Хотите сказать, что выследили меня ночью на безлюдной дороге не для того, чтобы ограбить, а чтобы вручить мне слиток золота?

— Да.

— Почему?

— Когда ограбление случилось при свете дня, с разрешения закона, как это происходит сегодня, то любой акт реституции должен быть

скрытным.

— Что заставило вас думать, что я приму подобный подарок?

— Это не подарок, мистер Риарден. Это ваши собственные деньги. Но я должен попросить вас об одной услуге. Это просьба, а не условие, потому что *нельзя передавать собственность, оговаривая условия*. Золото принадлежит вам, поэтому вы можете использовать его, как вам заблагорассудится. Но я рисковал жизнью, чтобы принести вам его сегодня ночью, и прошу вас, как об одолжении, сохранить его на будущее или потратить на себя. Ни на что другое, кроме вашего комфорта и удовольствия. Не отдавайте его и не вкладывайте в свой бизнес.

— Почему?

— Просто я не хочу, чтобы это золото служило кому-либо, кроме вас. Иначе я нарушу клятву, которую принес много лет назад, как нарушаю все правила, установленные самим собой, разговаривая с вами.

— Что вы имеете в виду?

— Эти деньги я долго собирал для вас. Но я не намеревался видеться с вами или говорить об этом, хотел отдать их вам много позднее.

— Так почему же здесь и сейчас?

— Потому что не мог больше этого выносить.

— Выносить что?

— Я много повидал и думал, что уже смогу на все смотреть спокойно. Но когда у вас отобрали ваш металл, это было слишком даже для меня. Я знаю, в настоящий момент золото вам не нужно. Вам нужна справедливость, которую оно воплощает, и знание того, что есть еще люди, стремящиеся к справедливости.

Борясь с переполнявшими его эмоциями, замешательством и сомнениями, Риарден пытался рассмотреть лицо незнакомца, ища ключ, который помог бы ему понять происходящее. Но лицо оставалось бесстрастным, не изменившись даже при разговоре, словно человек давно утратил способность чувствовать, и его черты навеки застыли. Риардену вдруг показалось, будто перед ним не человек, а карающий ангел.

— Зачем вам это? — спросил он. — Что я для вас значу?

— Много больше, чем вы можете подозревать. И еще у меня есть друг, для которого вы значите гораздо больше, чем вам кажется. Он все бы отдал, чтобы стоять сейчас рядом с вами. Но он не смог прийти. Поэтому вместо него пришел я.

— Какой друг?

— Я предпочитаю не называть его имени.

— Вы говорите, что долгое время собирали для меня деньги?

— Я собрал намного больше, чем это, — он указал на слиток. — Я храню эти деньги для вас и передам их вам, как только придет время. Это всего лишь аванс, доказательство того, что ваше золото существует. И если однажды вдруг обнаружится, что у вас выкрали последнее, я хочу, чтобы вы помнили — вас ожидает весомый счет в банке.

— Какой такой счет?!

— Если вы попытаетесь припомнить все деньги, которые у вас отобрали силой, то поймете, что на вашем счету крупная сумма.

— Как вы ее собрали? Откуда взялось это золото?

— Оно взято у тех, кто грабил вас.

— Кем взято?

— Мною.

— Кто вы?

— Рагнар Даннескьолд.

Риарден посмотрел на него долгим взглядом и выронил слиток из рук.

Даннескьолд не посмотрел вниз, его глаза, не изменив выражения, по-прежнему были устремлены на Риардена.

— Вы предпочли бы встретиться с законопослушным гражданином, мистер Риарден? Если так, каким законом я должен руководствоваться? Директивой 10–289?

— Рагнар Даннескьолд… — проговорил Риарден; перед его мысленным взором как будто развернулось все последнее десятилетие, и он увидел нескончаемую цепь преступлений.

— Смотрите внимательнее, мистер Риарден. Сегодняшняя реальность предоставляет нам выбор: быть мародером, грабящим безоружных жертв, или стать жертвой, что трудится на тех, кто ее обирает. Я не стал ни тем, ни другим.

— Вы выбрали жизнь по законам силы, как все остальные.

— Да. И, если хотите, совершенно сознательно. Я не граблю тех, кого связали, заткнув рот. Не требую, чтобы мои жертвы помогали мне, я не внушаю им, что действую ради их же блага. При каждой стычке с людьми я рискую своей жизнью, у них есть возможность воспользоваться оружием и своим разумом в честной схватке со мной. Я восстал против организованной силы, пушек, самолетов и военных кораблей всех пяти континентов. Если уж зашла речь о нравственности и справедливости, мистер Риарден,

чья мораль выше — моя или Уэсли Моуча?

— У меня нет ответа, — тихо произнес Риарден.

— Что вас так шокировало, мистер Риарден? Я просто подчиняюсь той системе, которую создали мои собратья. Если они верят, что сила — достаточное основание для отношений между людьми, значит, я даю им то, чего они хотят. Если они считают, что служить им — цель моей жизни, пусть добьются того, во что верят. Если считают мой разум своей собственностью, пусть придут и возьмут его.

— Так какую жизнь вы избрали? Какой цели служит ваш разум?

— Моей любви к справедливости.

— Вы стали пиратствовать, чтобы служить справедливости?

— Я работаю, чтобы приблизить день, когда мне больше не нужно будет оставаться пиратом.

— Какой день?

— День, когда вы сможете свободно получать прибыль от риарден-металла.

— О боже! — грустно рассмеялся Риарден. — Так вот в чем ваша цель?

Лицо Даннескьолда по-прежнему не изменилось.

— Да.

— И вы собираетесь дожить до этого дня?

— Да. А вы не собираетесь?

— Нет.

— Тогда чего вы ожидаете от будущего, мистер Риарден?

— Ничего.

— А для чего работаете?

Риарден посмотрел на Даннескьолда.

— Почему вы об этом спрашиваете?

— Чтобы вы поняли, почему не работаю я.

— Не ждите, чтобы я оправдывал преступника.

— Я этого и не жду. Я хочу помочь вам понять некоторые вещи.

— Даже если вы говорите правду, то почему решили стать бандитом? Почему просто не отошли в сторону, как… — он умолк.

— Как Эллис Уайэтт, мистер Риарден? Как Эндрю Стоктон? Как ваш друг Кен Данаггер?

— Да!

— Вы одобряете их поступок?

— Я… — Риарден замолк, потрясенный собственными словами.

Следующим потрясением стала улыбка Даннескьолда, напоминавшая первую весеннюю зелень пробившую снег. Риарден внезапно по-

нял, что лицо Даннескьолда более чем красиво, оно *ошеломляло* красотой физического совершенства. Твердые, гордые черты, презрительный изгиб губ, как у скульптурного изображения викинга.

А в улыбке блистала жизнь.

— Я одобряю их поступок, мистер Риарден. Но для себя избрал особую миссию. Я преследую человека, которого намерен уничтожить. Он умер много столетий назад, но до тех пор, пока последняя память о нем не изгладится из людской памяти, мир не станет достойным жизни.

— Что это за человек?

— Робин Гуд.

Обескураженный Риарден молча взирал на собеседника.

— Этот человек грабил богатых и отдавал все бедным. А я — тот, кто грабит бедных и отдает деньги богатым, или, если быть точным, человек, который грабит бедных воров и возвращает деньги богатым людям, способным производить ценности.

— Что, черт побери, вы хотите сказать?

— Если вы припоминаете, что обо мне писали в газетах, пока не прекратили вовсе упоминать мое имя, то знаете, что я никогда не грабил

частные суда и ни разу не завладел частной собственностью. Точно так же я никогда не нападал на военные корабли по той причине, что задача военного флота — защищать от насилия граждан, которые платят за это; он выполняет одну из функций правительства. Но я захватывал каждый корабль мародеров, попавший в радиус действия моих пушек, каждое судно с помощью зарубежным государствам, каждый пароход, груженный товарами, захваченными силой у одних людей для незаслуженного обогащения других. Я захватывал яхты, плавающие под флагом идеи, с которой борюсь: нужда — священный идол, требующий человеческих жертвоприношений, нужда одних — нож гильотины, нависшей над другими. Я борюсь с тем, что мы все должны жить с нашими надеждами, планами, усилиями, ожидая, когда этот нож упадет на нас. Я борюсь с тем, что уровень наших способностей превратился в степень нависшей над ними опасности. Успех кладет наши головы на плаху, а поражение дает кому-то право дергать за веревку нож гильотины. Этот ужас Робин Гуд обессмертил как идеал справедливости. Говорят, что он боролся против правивших грабителей и возвращал награбленное тем, кого они грабили, но значение

сохранившейся до наших дней легенды не в этом. Его запомнили не как защитника собственности, а как защитника нуждающихся, не как защитника ограбленных, а как кормильца бедных. Он — первый человек, обретший ореол добродетели, занимаясь благотворительностью с помощью богатства, которое ему не принадлежало, раздавая добро, которого не создал, заставляя других оплачивать свою жалость. Он стал символом идеи, провозгласившей, что нужда, а не достижение — источник прав, что мы должны не производить, а хотеть, и что заработанное нам не принадлежит, а принадлежит — незаслуженное. Он стал оправданием каждой посредственности, которая, не умея обеспечить свое существование, требует у власти разделения собственности ее лучших представителей. Он провозглашал готовность посвятить свою жизнь слабейшим ценой грабежа сильнейших. Он — худший из всех существ, двойной паразит, существовавший за счет язв бедных и крови богатых, а люди стали смотреть на него, как на нравственный идеал. Это привело нас в мир, где, чем больше человек создает, тем больше приближается к утрате всех своих прав. А если его способности достаточно велики, он становится бесправной добычей каждого

претендента на его собственность. И для того, чтобы стать выше прав, принципов, морали, получить позволение на все, вплоть до разбоя и убийства, нужно лишь одно — стать нуждающимся. Не задумывались ли вы о том, почему окружающий нас мир разваливается? С этим я и борюсь, мистер Риарден. Пока люди не поймут, что из всех человеческих символов Робин Гуд — самый аморальный и самый презренный, на земле не восторжествует справедливость, и не будет у человечества способа выжить.

Риарден слушал в оцепенении. Но в глубине души, словно прорастающее зерно, в нем родилось еле заметное, но уже знакомое чувство, пережитое давным-давно.

— На самом деле я полицейский, мистер Риарден. Долг полицейского — возвращать украденную собственность ее хозяевам. Но когда грабеж становится целью законности, а долгом полицейского — не защита, а захват собственности, тогда преступивший закон становится полицейским. Захваченную собственность я продавал контрабандистам и торговцам с черного рынка народных республик Европы. Вы знаете, в каких условиях живут там люди? Поскольку производство и торговля — а не насилие — бы-

ли объявлены преступлением, лучшие люди этих государств живут на милостыню от их собственных грабителей. Я не даю им милостыню. Я продаю товары европейским нарушителям закона по самым высоким ценам и заставляю их платить мне золотом. Золото — объективная ценность, средство сохранения богатства, обеспечения будущего. В Европе никому не разрешается иметь золото, кроме вооруженных кнутом друзей человечества, лгущих, что они распоряжаются им на благо своих жертв. Именно это золото добывают мои клиенты-контрабандисты, чтобы платить мне. Как? Тем же способом, которым я добываю товары. А потом я возвращаю золото тем, у кого были украдены товары, вам, мистер Риарден, и другим людям, таким же, как вы.

Риарден, наконец, понял, что за забытое чувство он испытывает. Когда ему было четырнадцать, так он смотрел на свой первый заработок, а в двадцать четыре, став управляющим на руднике, — на первый заказ на новое оборудование от лучшего по тем временам моторостроительного завода «*Двадцатый век*». Торжественное, радостное волнение, понимание того, что завоевал свое место в мире, который уважал, и добился признания у тех людей, которыми восхищался.

Почти двадцать лет это чувство было погребено под обломками, и годы добавляли все новые слои поверх серого налета презрения и возмущения. Он старался не смотреть по сторонам, чтобы не видеть, с кем приходилось иметь дело, не ждал от людей ничего, сохраняя в четырех стенах своего кабинета это светлое ощущение мира, до которого он так надеялся дорасти. И вот теперь оно снова пробилось из-под обломков — чувство оживающего интереса к жизни, внимания ясному голосу разума, с которым он мог общаться, взаимодействовать и жить. Но голос принадлежал пирату, рассказывавшему об актах насилия, предлагавшему ему свою замену миру разума и справедливости. Он не мог принять ее, не мог потерять остатки прежнего видения мира. Он слушал, борясь с желанием бежать, скрыться, но понимая при этом, что не может пропустить ни единого слова.

— Я поместил золото в банк, в банк золотого стандарта, мистер Риарден, на счет людей, которые являются его законными владельцами. Это люди выдающихся способностей, создавшие свои состояния собственными усилиями, свободной торговлей, без принуждения, без содействия правительства. Они пожертвовали многим, полу-

чив в ответ черную неблагодарность — они сами стали жертвами. Их имена записаны в моей книге реституций. Каждый добытый груз золота я делю между ними и помещаю в банк на их счета.

— Кто они?

— Вы один из них, мистер Риарден. Мне не удалось подсчитать, какую именно сумму отобрали у вас вымогатели в виде скрытых налогов, регулирующих актов, потерянного времени, упущенной прибыли, энергии, потраченной на преодоление искусственных преград. Я не смог сосчитать всех денег, но, если вы хотите представить величину суммы, оглянитесь вокруг. Объем страданий в этой некогда процветавшей стране сравнялся с объемом несправедливости, от которой и вы пострадали. Если люди отказываются выплачивать вам свой долг, им придется заплатить. Но есть часть долга, которую удалось сосчитать и записать. Я сделал своей целью собрать эти деньги и вернуть вам.

— Какие деньги?

— Ваш налог на прибыль, мистер Риарден.

— Что?

— Ваш налог на прибыль за последние двенадцать лет.

— Вы собираетесь возместить его?

— Полностью, мистер Риарден, и золотом.

Риарден расхохотался, весело, как мальчишка.

— Боже всемогущий! Вы не только полицейский, но еще и налоговый инспектор.

— Да, — и глазом не моргнув, ответил Даннескьолд.

— Вы говорите это не всерьез, надеюсь?

— Разве похоже, что я шучу?

— Но это нелепо!

— Есть ли на свете что-нибудь более нелепое, чем Директива номер 10–289?

— Это нереально, невозможно!

— Разве одно только зло реально и возможно?

— Но…

— Уж не думаете ли вы, мистер Риарден, что смерть и налоги — единственное, во что можно верить? Что ж, о первом я ничего не могу сказать, здесь я бессилен, но, если я сниму бремя второго, люди увидят связь между этими двумя понятиями и поймут, какую счастливую, более продолжительную жизнь они могут обрести. Они смогут принять в качестве абсолюта не смерть и налоги, а жизнь и производство и сделать их основой своего нравственного закона.

Риарден смотрел на него без улыбки. Высокая, худощавая фигура разбойника с большой дороги, тренированные мускулы которой подчеркивала ветровка, жесткое, словно мраморное, лицо судьи, сухой, бесстрастный голос бухгалтера.

— Мародеры не единственные, кто следит за вашими делами, мистер Риарден. Я тоже это делаю. В моих досье есть копии всех ваших счетов на уплату подоходного налога за последние двенадцать лет, точно так же как и других моих клиентов. У меня есть друзья в самых неожиданных местах, которые получают для меня необходимые копии. Я делю деньги между моими клиентами пропорционально тем суммам, которые у них отняты. Большая часть моих счетов уже передана их владельцам. Осталось уладить дела с вашим счетом — самым крупным. В тот день, когда вы будете готовы затребовать его, то есть в тот день, когда я узнаю, что ни цента из этих денег не вернется на поддержку мародеров, я передам вам всю сумму. А до тех пор, — он посмотрел на золото, лежавшее на земле, — возьмите его, мистер Риарден. Оно не краденое. Оно ваше.

Риарден не двинулся, не ответил, не посмотрел вниз.

— В банке на ваше имя положено гораздо боль-

ше.

— В каком банке?

— Вы помните Мидаса Маллигана из Чикаго?

— Да, конечно.

— Все мои средства помещены в «*Банк Маллиган*».

— В Чикаго нет никакого «*Банка Маллиган*».

— Он не в Чикаго.

Помолчав, Риарден спросил:

— Где же он?

— Думаю, скоро вы все узнаете, мистер Риарден. Но сейчас я не могу вам этого сказать, — и добавил: — Однако должен вам сообщить, что я единственный, кто отвечает за это предприятие. Это моя личная, персональная миссия. Никто, кроме меня, в этом не замешан, кроме судовой команды. Даже мой банкир не принимает в ней участие, он только хранит деньги на счетах. Многие мои друзья не одобряют тот путь, что я избрал. Все мы идем разными путями, хоть и сражаемся в одной и той же битве, и мой путь таков.

Риарден пренебрежительно улыбнулся:

— Вы один из тех чертовых альтруистов, которые тратят время на некоммерческие предприятия и рискуют собственной жизнью, чтобы помочь другим?

— Нет, мистер Риарден, я инвестирую свое время в собственное будущее. Когда мы будем свободны и начнем подниматься из руин, я хочу увидеть возрожденный мир как можно скорее. И тогда необходимый для работы капитал в надежных руках, руках наших лучших, наиболее продуктивных людей сэкономит остальным годы, а для истории страны — целые столетия. Знаете ли вы, что значите для меня, кем я хотел бы стать в тот день, когда на земле появится место для нового существования? Пусть даже это единственный способ нашего взаимодействия — я хотел бы работать с вами в будущем и быть полезным вам в настоящем.

— Почему? — прошептал Риарден.

— Потому что моя единственная любовь, единственная ценность, ради которой я живу, это человеческий талант, пусть его никогда не любил наш мир, не желали признавать ни друзья, ни враги. Этой своей любви я служу, и если мне придется отдать жизнь, то можно ли найти для этого лучшую цель?

«Может, этот человек потерял способность чувствовать?» — размышлял Риарден и понимал, что строгость мраморного лица — лишь дисциплина, форма, прикрывающая слишком глубокие

чувства. Ровный голос бесстрастно продолжал:

— Я хотел, чтобы вы это знали. Чтобы вы знали это сейчас, когда вам кажется, что вы оказались на дне пропасти, в окружении недочеловеков, и это все, что осталось от человечества. Я хотел, чтобы вы знали в самый беспросветный час вашей жизни — день освобождения гораздо ближе, чем вам кажется. Есть и еще одна, особенная причина, почему я должен был поговорить с вами и раскрыть вам свои секреты раньше положенного срока. Слышали ли вы о том, что случилось на сталеплавильных заводах Оррена Бойля на побережье штата Мэн?

— Да, — Риарден сам удивился тому, что в его голосе прозвучала радость, прорвавшаяся из глубин души. — Не знал только, правда ли это.

— Все — правда. Это сделал я. Бойль не будет производить риарден-металл на побережье штата Мэн. Он не будет производить его нигде. И никакой другой мародер, возомнивший, что директива может передать ему права на ваш разум. Кто бы ни задумал начать производство этого сплава, найдет свои печи взорванными, машины — разрушенными, склады — в руинах, завод — охваченным пламенем. Так много неприятностей случится с тем, кто попытает-

ся выпускать сплав, что люди начнут болтать, будто на нем лежит проклятье, и очень скоро в стране не останется ни одного рабочего, согласного поступить на завод нового производителя сплава Риардена. Если люди вроде Бойля думают, что сила — самый надежный способ грабить выдающихся людей, пусть увидят последствие того, когда эти люди сами прибегнут к силе. Я хочу, чтобы вы знали, мистер Риарден — никто не сможет производить ваш сплав, никто не заработает на нем ни цента.

Риардена раздирало неудержимое желание расхохотаться, как хохотал он, узнав о пожаре Уайэтта и о крахе «*Д'Анкония Коппер*». Но он понимал, что если даст себе волю, то мысль, державшая его в страхе, все равно не отступит, и он никогда больше не увидит своего завода. Риарден отшатнулся, крепко сжав губы, чтобы не вырвался ни единый звук. Немного успокоившись, он тихо сказал твердым ледяным голосом:

— Заберите ваше золото и оставьте меня. Я не приму помощи от преступника.

И снова лицо Даннескьолда осталось безмятежным.

— Я не могу заставить вас силой принять золото, мистер Риарден. Но и сам его не возьму. Если

хотите, можете оставить его там, где оно лежит.

— Мне не нужна ваша помощь, и я не намерен вас защищать. Если бы рядом оказался телефон, я позвонил бы в полицию. И я позвоню, как только вы снова попытаетесь явиться ко мне. И буду полагать мои действия самообороной.

— Я понял все, что вы имеете в виду.

— Вам только кажется, что поняли, поскольку я выслушал вас с готовностью, не осуждая вас. Но я не осуждаю никого. В жизни людей не осталось больше стандартов, поэтому я не осуждаю ни то, что делают люди, ни то, как они этого добиваются. Идите к черту той дорогой, которую выбрали, но я не желаю становиться частью вашего пути. Меня не вдохновляет ни ваша идея, ни ее воплощение. Не ждите, что я когда-нибудь приму от вас ваш банковский счет, даже если он существует. Потратьте его на еще одну броню для себя, потому что я собираюсь сообщить о вас полиции и дать им все возможные приметы, чтобы помочь выследить вас.

Даннескьолд не двинулся, не издал ни звука. Недалеко от них, в темноте, проходил грузовой состав; они не могли его видеть, но слышали стук колес, наполнявший тишину. Казалось, призрачный поезд, ставший лишь долгим ритмичным

звуком, летел мимо них сквозь ночную тьму.

— Вы хотели помочь мне в самый безнадежный час? — спросил Риарден. — Если моим последним и единственным защитником стал пират, то мне не нужно больше защиты. Вы говорите вполне человеческим языком, и во имя его я заклинаю вас: да, у меня вообще не осталось надежды, но есть твердое знание того, что я буду жить по своим стандартам, и когда придет конец, пусть я останусь последним, кто их придерживается. Я буду жить в мире, в котором начал жизнь, и доживу в нем до последнего своего дня. Не думаю, что вы захотите меня понять, но…

Удар светового луча обрушился на них внезапно. Металлическое лязганье поезда поглотило рокот автомобильного мотора, и они не услышали, как со стороны фермы подъехала машина. Они стояли не на ее пути, но раздался визг тормозов, и невидимый автомобиль остановился. Риарден невольно отпрыгнул, успев подивиться реакции собеседника: с непостижимым самообладанием тот не двинулся с места.

Перед ними стояла полицейская машина.

Водитель высунулся из окна:

— Ах, это вы, мистер Риарден! — он прикоснулся кончиками пальцев к фуражке. — Добрый

вечер, сэр.

— Привет, — ответил Риарден, пытаясь совладать с голосом.

Лица двоих патрульных на переднем сидении выглядели непривычно сурово, обычное дружеское выражение, свойственное им, когда они останавливались перекинуться словечком, исчезло.

— Мистер Риарден, вы шли с завода по Эджвуд-роуд, мимо Блэксмит-Коув?

— Да. А в чем дело?

— Не попадался ли вам поблизости торопящийся куда-то незнакомец?

— Какой еще незнакомец?

— Возможно, он шел пешком или ехал на развалюхе с мотором в миллион долларов.

— Что за человек?

— Высокий, со светлыми волосами.

— Кто он такой?

— Вы все равно не поверите, мистер Риарден, если я вам скажу. Вы его не видели?

Риарден с удивлением обнаружил, что слова с трудом пробиваются сквозь пульсирующий барьер, возникший у него в гортани. Он смотрел на полицейского в упор, но глаз невольно фокусировался на боковом зрении, и отчетливее

всего он видел лицо Даннескьолда, в котором ни единая черточка, ни малейший мускул не выдавали движения чувств. Руки свободно висели вдоль тела, расслабленно, не делая ни малейшей попытки потянуться к оружию. При свете фар казалось, что лицо его намного моложе, а глаза сияют небесной голубизной.

Риарден почувствовал, что смотреть на Даннескьолда опасно, и не сводил взгляда с полицейского, с медных пуговиц на его униформе. А в голове пульсировала мысль, что тело Даннескьолда, его крепкое стройное тело, в любой момент могло прекратить существование. Он плохо слышал, что говорил; ему не давала покоя произнесенная пиратом фраза: «Если мне придется отдать жизнь, то можно ли найти для этого лучшую цель?»

— Так вы не видели его, мистер Риарден?

— Нет, — ответил Риарден. — Не видел.

Полицейский с сожалением пожал плечами и сжал руками руль.

— Никаких подозрительных людей на дороге не встречали?

— Нет.

— Может, незнакомая машина проезжала?

— Нет.

Полицейский потянулся к ключу зажигания.

— Говорят, его видели в наших краях, на побережье, сегодня вечером. Вот и объявили облаву в пяти округах. Мы не должны называть его имени, чтобы не пугать народ, но голова этого человека оценена в три миллиона долларов по всему миру.

Он повернул ключ зажигания, мотор затрещал, из выхлопной трубы вырвался клуб дыма, как вдруг второй полицейский наклонился вперед.

Он уставился на прядь светлых волос, выбившуюся из-под шляпы Даннескьолда.

— Кто это с вами, мистер Риарден? — спросил он.

— Мой новый телохранитель, — ответил Риарден.

— О!.. Замечательная предосторожность, мистер Риарден, очень своевременная в наши дни. Спокойной ночи.

Автомобиль рванулся вперед. Красные огоньки задних фонарей устремились вниз по дороге. Даннескьолд посмотрел им вслед, потом на правую руку Риардена. И тот неожиданно для себя понял, что, стоя лицом к полицейским, сжимал в кармане пистолет, каждую минуту готовый

пустить его в ход.

Разжав пальцы, он поспешно вытащил руку из кармана. Даннескьолд молча улыбнулся. Он просто сиял весельем и молодой радостью жизни.

Хотя эти двое были совершенно не похожи, улыбка напомнила Риардену Франсиско д'Анкония.

— Вы не солгали, — проговорил Рагнар Даннескьолд. — Я действительно ваш телохранитель и многократно заслужил право быть им, хоть вы об этом пока не знаете. Благодарю, мистер Риарден, и до свидания. Мы встретимся снова скорее, чем я смел надеяться.

Прежде чем Риарден успел ответить, Даннескьолд скрылся за каменной оградой, так же мгновенно и беззвучно, как появился. Когда Риарден обернулся, чтобы посмотреть по сторонам, его уже и след простыл — он словно растворился в потемках.

На краю пустынной дороги Риардена охватило чувство одиночества, беспросветнее прежнего. У своих ног он увидел предмет, завернутый в мешковину; один уголок его высунулся, блестя в лунном свете, словно прядь волос пирата. Он наклонился, подобрал слиток и пошел дальше.

* * *

Кип Чалмерс выругался, пролив коктейль при резком рывке поезда. Он угодил локтем в лужицу на столе и проворчал:

— Черт бы побрал эти железные дороги! Что там случилось с рельсами? Платя такие деньги, ожидаешь взамен хоть каких-то усилий, чтобы нас не трясло, как фермера в телеге!

Его компаньоны не потрудились ответить. Было уже поздно, и они оставались в вагоне-салоне только потому, что перебираться в свои купе потребовало бы усилий. Огни в салоне напоминали слабые просветы в густом сигаретном дыму, приправленном запахом алкоголя. Чалмерсу удалось добиться отдельного вагона-салона, который прицепили в самом конце «*Кометы*», и на поворотах между горными кручами его мотало, как хвост рассерженного кота.

— Я подумываю начать кампанию по национализации железных дорог, — заявил Кип Чалмерс, яростно воззрившись на неприметного серого человечка, смотревшего на него без интереса. — Она будет моей предвыборной платформой. Мне нужна своя платформа. Мне не нравится Джим Таггерт. Похож на недоваренного моллюс-

ка. К черту железные дороги! Пора прибрать их к рукам.

— Ступай в постель, — велел ему человечек, — если хочешь завтра на съезде быть в форме.

— Думаешь, мы их победим?

— Ты должен это сделать.

— Знаю, что должен. Но боюсь, мы не попадем туда вовремя. Эта чертова сверхскоростная улитка опаздывает на несколько часов.

— Ты должен туда попасть, Кип, — зловеще повторил человечек с тупой монотонностью, словно подводя итог.

— Черт побери, думаешь, я сам не знаю?

У Кипа Чалмерса были светлые кудрявые волосы и бесформенный рот. Кип — выходец из не слишком богатой, не слишком знатной семьи, презрительно фыркал на богатство и знатность в циничной манере, которую может себе позволить только верхушка аристократии. Он окончил колледж, специализировавшийся на выведении такого типа людей. Колледж научил его: цель любой идеи — одурачить тех, кто недостаточно умен, чтобы думать. Он проделал свой путь до Вашингтона с изяществом вора-форточника, перебираясь из отдела в отдел, словно с уступа на уступ, вверх по горной круче.

Он достиг уровня полувласти, но его манеры обманывали многих, вот он и прослыл фигурой масштаба Уэсли Моуча.

В соответствии с принципами своей личной стратегии, Кип Чалмерс решил пойти в политику и принять участие в выборах в законодательное собрание штата Калифорния, хотя ничего слыхом не слыхивал о штате, кроме киноиндустрии и пляжных клубов. Глава штаба его предвыборной кампании провел всю подготовительную работу, и Чалмерс направлялся теперь в Сан-Франциско на первую встречу со своими будущими избирателями на широко разрекламированном съезде, открывавшемся завтра вечером. Глава штаба хотел, чтобы он начал подготовку к этому событию еще накануне, но Чалмерс задержался в Вашингтоне, чтобы пропустить пару-тройку коктейлей в компании приятелей, и успел только на последний поезд. Он не беспокоился о предстоящем съезде до сегодняшнего вечера, когда вдруг заметил, что «*Комета*» опаздывает на шесть часов.

Три компаньона не обращали внимания на настроение Чалмерса: им нравилась его выпивка. Лестер Такк, глава предвыборного штаба, невысокий пожилой человек, выделялся разве что

лицом, по которому как будто однажды сильно ударили, после чего оно так и не выправилось. Этот адвокат в свое время представлял в суде интересы мелких воришек и людей, которые инсценировали несчастные случаи на территории богатых корпораций, но потом счел более выгодным работать на таких людей, как Кип Чалмерс.

Лору Брэдфорд, свою теперешнюю любовницу, Чалмерс обожал за то, что его предшественником в ее кровати был сам Уэсли Моуч. Лора достаточно быстро проделала путь от характерной актрисы до посредственной звезды благодаря тому, что спала не с управляющими студий, а с бюрократами из высших эшелонов власти. В своих интервью она обсуждала не гламурные новости, а экономику, причем в воинственном духе третьеразрядных таблоидов. Ее «экономика» состояла из туманных, но весьма напористых заявлений о том, что «мы должны помочь бедным».

Гилберт Кейт-Уортинг стал гостем Чалмерса по причине, до которой никто из остальных так и не смог докопаться. Этот британский прозаик с мировой славой обрел популярность тридцать лет назад, и с тех пор никто больше не читал его писанины, но все держали его за живого

классика.

Его считали глубоким мыслителем за изрекаемые им фразы вроде: «Свобода? Давайте не будем толковать о свободе. Свобода недостижима. Человек никогда не сможет освободиться от голода, холода, болезней, несчастных случаев. Он никогда не освободится от тирании природы. Так стоит ли отвергать тиранию политического диктата?» Когда вся Европа ввела в практику провозглашаемые им идеи, писатель перебрался в Америку. С годами его литературный стиль и его тело приобрели дряблость. К семидесяти годам он стал тучным стариком с крашеными волосами и циничными манерами. Свои высказывания он частенько разбавлял цитатами из «Упанишад» относительно тщеты всех человеческих усилий. Кип Чалмерс пригласил его, потому что старик выглядел весьма аристократично. Гилберт Кейт-Уортинг согласился, поскольку случай оказаться в центре внимания предоставлялся не часто.

— Черт бы побрал эти железные дороги! — ворчал Кип Чалмерс. — Это все враги подстроили. Хотят помешать моей предвыборной кампании. Я не могу пропустить съезд! Ради бога, Лестер, сделайте что-нибудь!

— Я пытался, — ответил Лестер Такк. На последней остановке он хотел было по телефону организовать авиаперелет до места назначения, но коммерческие рейсы на ближайшие два дня оказались недоступными.

— Если они не доставят меня на съезд вовремя, я сдеру с них скальпы и заберу вместе с их железной дорогой! Не могли бы вы сказать машинисту, чтобы он поторопился?

— Три раза говорил.

— Я его уволю. Я их всех уволю. Не могут ничего сделать, все оправдываются, рассказывая про свои технические неувязки. Мне нужна скорость, а не оправдания. Они не смеют обращаться со мной, как с пассажирами дешевых сидячих поездов. Они обязаны доставить меня в нужное мне место и в положенное время. Они что, не знают, что на этом поезде еду *я*?

— Теперь уже знают, — вступила Лора Брэдфорд. — Заткнись, Кип. Ты мне надоел.

Чалмерс вновь наполнил свой стакан. Вагон бросало, стекло на полках бара позвякивало. Звездное небо в окнах подрагивало, и казалось, звезды тоже звякают, ударяясь друг о друга. Пассажиры не видели ничего, кроме отсветов красных и зеленых фонарей в самом хвосте

вагона, да небольшого участка рельсов, убегающих назад, в темноту. Попадавшиеся на пути горы на миг заслоняли звезды, и тогда в темноте смутно вырисовывались очертания хребтов Колорадо.

— Горы, — удовлетворенно протянул Гилберт Кейт-Уортинг. — Одно из тех зрелищ, которое заставляет чувствовать ничтожность человека. Что есть этот жалкий отрезок рельсов, сотворением которого так кичатся заскорузлые материалисты, по сравнению с непреходящим величием горных круч? Не более чем нитка наметки, пущенной белошвейкой по кромке царственной мантии природы. Если один из этих гранитных гигантов решит рассыпаться, он уничтожит весь наш поезд.

— С чего бы ему рассыпаться? — без интереса спросила Лора Брэдфорд.

— Кажется, поезд идет еще медленнее, — капризно заметил Кип Чалмерс. — Эти сволочи снизили скорость, вместо того, чтобы слушать меня!

— Ну знаете, здесь все-таки горы… — пожал плечами Лестер Такк.

— Проклятые горы! Лестер, какое сегодня число? Со всеми этими часовыми поясами я не могу

сказать…

— Двадцать седьмое мая, — вздохнул Лестер Такк.

— Нет, двадцать восьмое, — поправил его Гилберт Кейт-Уортинг, посмотрев на часы. — Уже двенадцать минут первого.

— Господи Иисусе! — вскричал Чалмерс. — Так значит, съезд начнется сегодня?

— Да, — кивнул Лестер Такк.

— Мы не успеем! Мы…

Поезд сильно дернулся, выбив стакан из руки Чалмерса.

Звон разбитого стекла смешался со скрипом колес на крутом повороте.

— Послушайте, — нервно произнес Гилберт Кейт-Уортинг. — Ваши железные дороги безопасны?

— Да, черт возьми! — ответил Кип Чалмерс. — У нас так много законов, регулирующих правил и контролеров, что эти сволочи просто не имеют права не быть безопасными!.. Лестер, далеко ли мы заехали? Где будет следующая остановка?

— Остановок не будет до Солт-Лейк-Сити.

— Я хотел спросить, в каких краях мы скоро окажемся?

Лестер достал потертую карту, с которой

сверялся каждые несколько минут после наступления темноты.

— Уинстон, — объявил он. — Уинстон, штат Колорадо.

Кип Чалмерс потянулся за новым стаканом.

— Тинки Холлоуэй сказал, что если ты свернешь себе на этих выборах шею, то ты — конченый человек, — лениво произнесла Лора Брэдфорд. Она полулежала в своем кресле, глядя мимо Чалмерса, изучая свое лицо в настенном зеркале. Лора скучала, развлекаясь тем, что отпускала шпильки по адресу бесполезно кипятившегося Кипа.

— Проклятая сволочь! Следил бы лучше за своей шеей!

— Ну не знаю, Уэсли его так любит, — подбавила она пару. — Уж Тинки Холлоуэй точно не позволил бы, чтобы какой-то несчастный поезд заставил его опоздать на важную встречу. *Его* не посмели бы задерживать.

Кип Чалмерс сидел, уставясь в стакан.

— Я позабочусь о том, чтобы правительство отобрало все железные дороги, — угрюмо произнес он.

— Вот как? — присоединился к беседе Гилберт Кейт-Уортинг. — Не понимаю, почему вы не сде-

лали этого давным-давно. США — единственная страна на свете, отставшая настолько, что допускает частное владение железными дорогами.

— Мы быстро вас догоним, — заверил его Кип Чалмерс.

— Ваша страна невероятно наивна. Какой-то анахронизм. Вся эта болтовня о свободе и правах человека… я не слышал ничего подобного со времен моего прадедушки. Это не более чем словесная роскошь для богачей. В конце концов какая разница бедным, кому они обязаны средствами к существованию — промышленникам или бюрократам.

— Век промышленников давно прошел. Наступил век…

Сильнейший толчок швырнул всех вперед, а пол под ногами остался на месте. Кип Чалмерс растянулся на ковре, Гилберта Кейт-Уортинга выбросило на стол, лампы погасли. С полок посыпались бокалы, стальные стены вагона стонали, готовые лопнуть, колеса напряглись, словно в конвульсии.

Подняв голову, Чалмерс увидел, что вагон стоит, целый и невредимый; отовсюду доносились стоны его компаньонов, а у Лоры Брэдфорд начиналась истерика. Он подполз к двери, распахнул

ее и спустился по ступенькам. Далеко впереди, у самого склона, примерно там, где, по его расчетам, находился локомотив, он увидел мелькающие огоньки и красное зарево. Спотыкаясь, Чалмерс побрел в темноте, то и дело сталкиваясь с полуодетыми пассажирами, безуспешно пытавшимися осветить себе путь слабыми вспышками спичек.

Впереди на рельсах он увидел человека с фонариком и схватил его за руку. Оказалось, это проводник.

— Что случилось? — выдохнул Чалмерс.

— Рельс треснул, — бесстрастно ответил проводник. — Локомотив сошел с рельсов.

— С рельсов?.. *Сош… шел???*

— Упал на бок.

— Кто-нибудь… погиб?

— Нет. Машинисты в порядке. Кочегар ранен.

— Рельс треснул? Что значит «рельс треснул»?

На лице проводника появилось странное выражение: угрюмое, осуждающее и одновременно замкнутое.

— Рельсы износились, мистер Чалмерс, — с нажимом ответил он. — Особенно на поворотах.

— Разве вы не знали, что они износились?

— Знали.

— Так почему не заменили их?

— Их собирались заменить. Но мистер Лоси остановил работы.

— Кто такой этот мистер Лоси?

— Человек, который *не является* нашим вице-президентом.

Чалмерс заметил, что проводник смотрит на него так, как будто он каким-то образом виноват в катастрофе.

— А… вы не собираетесь вернуть локомотив на рельсы?

— Судя по тому, как он выглядит, этот локомотив никогда больше не встанет на рельсы.

— Но… но он должен нас везти!

— Он не сможет.

Среди редких вспышек огней и приглушенных криков Чалмерс внезапно остро, не видя ничего, *кожей* ощутил черную необъятность гор, молчание сотен необитаемых миль вокруг и ненадежность узкой полоски пути, отделяющей отвесную скалу от пропасти. Он крепко вцепился в руку проводника.

— Но… что же нам делать?

— Машинист пошел звонить в Уинстон.

— Звонить? Каким образом?

— В паре миль отсюда есть телефон.

— Нас вытащат отсюда?

— Вытащат.

— Но… — его ум сумел, наконец, связать прошлое и будущее, и голос превратился в крик: — Как долго нам придется ждать?

— Не знаю, — ответил проводник. Стряхнул руку Чалмерса и ушел.

Ночной оператор в Уинстоне выслушал телефонное сообщение, бросил трубку и побежал вверх по лестнице, чтобы растолкать спящего начальника станции. Начальник станции, неприветливый и никчемный детина, десять дней тому назад заступил на службу по распоряжению нового управляющего отделением. Он сонно поднялся на ноги, но, услышав слова оператора, моментально проснулся.

— Что? — ахнул он. — Господи Иисусе! «*Комета*»?? Да не трясись ты! Звони в Сильвер-Спрингс!

Выслушав сообщение, ночной диспетчер в штаб-квартире отделения Сильвер-Спрингс позвонил Дэйву Митчему, новому управляющему отделения Колорадо.

— «*Комета*»?? — ахнул Митчем. Прижимая к уху телефонную трубку, нащупав ногами пол, он вскочил с постели. — Дизельный локомотив?

— Да, сэр.

— О боже всемогущий! Что же делать? — потом, вспомнив о своем положении, добавил: — Что ж, высылай аварийный поезд.

— Уже выслал.

— Что там у тебя по расписанию?

— Армейский грузовой специальный, в западном направлении. Но он опаздывает на шесть часов. Прибудет позже.

— Мне надо… подожди, вызови ко мне Билла, Сэнди и Кларенса. Много же нам придется заплатить!

Дэйв Митчем всегда жаловался на несправедливость, потому что, по его словам, ему вечно не везло. Он туманно намекал на заговор больших начальников, не дававших ему дороги, но не объяснял, кого именно называет «большими начальниками». Вышестоящие по службе были излюбленным объектом его жалоб и единственным стандартом ценности. Он проработал на железной дороге дольше многих из тех, кто обогнал его в продвижении по иерархической лестнице. Это и доказывало, по его словам, несправедливость «общественной системы». Дэйв служил на разных железных дорогах, но нигде не задерживался надолго. Его работода-

тели не предъявляли ему особенных претензий, они просто отпускали его, потому что он слишком часто повторял: «Никто мной не командовал!» Он не знал, что получил свою работу благодаря сделке между Джеймсом Таггертом и Уэсли Моучем: когда Таггерт продал Моучу секрет частной жизни своей сестры в обмен на увеличение железнодорожных тарифов, Моуч заставил его пойти еще на одну уступку, согласно своим правилам ведения дел: из каждой трансакции нужно выжимать максимум возможного. Это и была работа для Дэйва Митчема, зятя Клода Слэгенхопа, президента «*Друзей Глобального Прогресса*». Моуч рассматривал его как ценный источник влияния на общественное мнение. Джеймс Таггерт спихнул ответственность за поиски теплого местечка для Митчема на Клифтона Лоси. Лоси посадил Митчема в первое подвернувшееся кресло, сделав управляющим отделением Колорадо, когда его предшественник скрылся без предупреждения. А скрылся он потому, что запасной дизель *Узла Уинстона* был передан специальному составу Чика Моррисона.

— Что же нам делать? — кричал полуодетый и полусонный Дэйв Митчем, ворвавшись в свой кабинет, где его уже ожидали главный диспет-

чер, формировщик составов и главный механик.

Все трое промолчали. Эти мужчины средних лет имели за спиной большой опыт работы на железной дороге. Еще месяц назад они добровольно предлагали свои советы при первой необходимости, но вскоре начали понимать, что все изменилось и говорить теперь стало опасно.

— Что, черт возьми, нам делать?

— Одно я знаю точно, — ответил Билл Брент, главный диспетчер, — мы не можем посылать в туннель поезд с паровозом, работающем на угле.

Дэйв Митчем помрачнел: он знал, что все сейчас думают об одном, и не хотел, чтобы Брент заявил об этом вслух.

— Да, но где мы возьмем дизель? — сердито спросил он.

— Его у нас нет, — ответил главный механик.

— Но мы не можем заставить «*Комету*» всю ночь ждать на запасных путях!

— Боюсь, это все же придется сделать, — ответил формировщик составов. — Что толку говорить об этом, Дэйв? Вы же знаете, что в отделении нет больше дизеля.

— Но, боже всемогущий, неужели они ждут, что мы будем пускать поезда без локомотивов?

— Мисс Таггерт не ждала, — ответил главный механик. — А мистер Лоси ждет.

— Билл, — умоляющим тоном попросил Митчем, — нет ли по расписанию таггертовского состава хоть с каким-то дизелем?

— Один уже на подходе, — ответил Билл Брент, — номер 236, скорый грузовой из Сан-Франциско, прибытием в Уинстон в семь восемнадцать утра, — и добавил: — Самый близкий к нам дизель на этот час. Я проверил.

— А что с армейским специальным?

— О нем лучше не думай, Дэйв. Этот на линии самый главный, важнее «*Кометы*», по заказу военных. Они опаздывают, идут не по графику. Везут боеприпасы в арсеналы Западного побережья. Молись лучше, чтобы ничто их не задержало на твоем направлении. Если ты боишься неприятностей, задержав «*Комету*», то, поверь, это цветочки по сравнению с бурей, что нас ждет, попытайся мы только остановить армейский специальный.

Все молчали. Через распахнутые в летнюю ночь окна доносились телефонные звонки в кабинете диспетчера на первом этаже. Сигнальные огни моргали над пустынными полями, которые некогда были оживленным железнодорожным

узлом.

Митчем посмотрел в сторону депо: там, в туманном свете, вырисовывались силуэты нескольких паровозов.

— Туннель… — начал было он, но замолчал.

— …длиной восемь миль, — жестко закончил главный диспетчер.

— Я просто подумал вслух, — огрызнулся Митчем.

— Об этом лучше даже не думать, — спокойно посоветовал Брент.

— Я ничего не сказал!

— О чем тебе, Билл, говорил Дик Хортон, прежде чем уйти? — слишком уж невинным тоном, как о чем-то постороннем, спросил главный механик. — Случайно, не о сломанной системе вентиляции туннеля? Он не говорил, что туннель теперь небезопасен даже для дизелей?

— Зачем вы об этом вспомнили? — прошипел Митчем. — Я ничего не говорил! — Дик Хортон, главный инженер отделения, ушел через три дня после его назначения.

— Так, просто вспомнил, — с тем же невинным видом ответил главный механик.

— Послушай, Дэйв, — произнес Билл Брент, зная, что Митчем протянет еще целый час,

но не предложит ничего путного. — Ты же прекрасно понимаешь, что мы можем сделать только одно: задержать «*Комету*» в Уинстоне до утра, дождаться состава номер 236, протянуть «*Комету*» его дизелем через туннель, а на другом конце дать ей лучший паровоз для окончания рейса.

— На сколько часов она опоздает?

Брент пожал плечами.

— На двенадцать… или восемнадцать, кто знает?

— Восемнадцать часов для «*Кометы*»?! Господи, такого прежде не бывало!

— Ничего из того, что с нами происходит теперь, прежде не случалось, — устало констатировал опытный Брент.

— Но в Нью-Йорке нами будут недовольны! Во всем обвинят нас!

Брент снова пожал плечами. Месяц назад он счел бы такую несправедливость вопиющей, сегодня он стал мудрее.

— Думаю… — жалко протянул Митчем, — думаю, нам больше ничего не остается.

— Больше ничего, Дэйв.

— Господи! Почему все это случилось *с нами*?

— А кто такой Джон Голт?

* * *

Только в половине третьего ночи «*Комета*», прицепленная к старому маневровому паровозу, прибыла к стоянке на запасных путях Уинстона. Кипящий возмущением Кип Чалмерс поглядывал на редкие лачуги на темных склонах и одряхлевшее здание вокзала.

— Ну, и что? Для чего нас здесь оставили? — вскричал он и вызвал звонком проводника.

Как только движение возобновилось, его страх улетучился и обратился в гнев. Чалмерс чувствовал себя обманутым, как будто его просто так, шутки ради, заставили перепугаться. Его компаньоны по-прежнему сутулились за столиками в салоне, слишком перенервничав, чтобы заснуть.

— Надолго ли? — бесстрастно переспросил проводник. — До утра, мистер Чалмерс.

Потрясенный Чалмерс воззрился на него.

— Мы будем торчать тут до утра?

— Да, мистер Чалмерс.

— Но у меня сегодня вечером в Сан-Франциско съезд!

Проводник не ответил.

— Почему? Почему мы должны стоять? Что,

черт возьми, произошло?

Медленно, терпеливо, с официальной вежливостью, проводник дал ему полный отчет о сложившейся ситуации. Но много лет подряд, сначала в школе, а потом в колледже, Кипа Чалмерса учили, что человек не должен жить, руководствуясь здравым смыслом.

— Будь проклят ваш туннель! — кипятился он. — Вы что, думаете, я позволю вам задержать меня здесь из-за какого-то несчастного туннеля? Думаете, из-за вашего туннеля можно нарушить важнейшие государственные планы? Скажите машинисту, что я должен быть в Сан-Франциско к вечеру, и он обязан меня туда доставить!

— Как?

— Это ваша работа, а не моя!

— У нас нет такой возможности.

— Так найдите способ, разрази вас бог!

Проводник не ответил.

— Думаете, я позволю вашим жалким техническим проблемам вмешаться в крайне важные общественные события? Да вы хоть знаете, кто я? Скажите машинисту, чтобы немедленно обеспечил движение, если ему дорога его работа!

— Машинист получил все необходимые распоряжения.

— К черту распоряжения! Сегодня *я* отдаю распоряжения! Прикажите ему двигаться немедленно!

— Возможно, вам лучше поговорить с начальником станции, мистер Чалмерс. У меня нет полномочий отвечать вам надлежащим образом, — с этими словами проводник ушел.

Чалмерс вскочил на ноги.

— Послушай, Кип, — неуверенно произнес Лестер Такк, — может, и правда… может быть, они не могут этого сделать.

— Смогут, если их заставить! — огрызнулся Чалмерс, решительным шагом направляясь к двери.

Много лет назад, в колледже, его учили, что единственным эффективным средством, побуждающим людей к действию, является страх.

В обшарпанном офисе вокзала Уинстона он обнаружил сонного мужчину с обрюзгшим лицом и испуганного юношу, сидевшего за столом оператора. В молчаливом столбняке они внимали потоку столь отборного сквернословия, какого не слышали прежде даже от местных бандитов.

— …это не мои проблемы, как вы проведете поезд через туннель, сами выкручивайтесь! — заключил Чалмерс. — Но если вы не достанете мне локомотив и не отправите поезд, можете

распрощаться с рабочими местами, с разрешениями на работу вообще и со всей вашей чертовой железной дорогой!

Начальник станции никогда не слышал о Кипе Чалмерсе и понятия не имел, какой пост он занимает. Зато он знал, что настали дни, когда неизвестный человек с неопределенным положением может обладать неограниченной властью — властью распоряжаться жизнью и смертью.

— Это зависит не от нас, мистер Чалмерс, — умоляющим тоном объяснял он. — Мы здесь не отдаем распоряжений. Приказы поступают из Силвер-Спрингс. Может быть, вы позвоните мистеру Митчему и…

— Кто такой мистер Митчем?

— Управляющий отделением Силвер-Спрингс. Может быть, вы пошлете ему сообщение, чтобы…

— Я не собираюсь связываться с каким-то управляющим отделением! Я пошлю сообщение Джиму Таггерту, вот что я сделаю!

Прежде чем начальник станции успел опомниться, Чалмерс повернулся к юноше и приказал:

— Ты, запиши и отправь немедленно!

Месяц назад такое сообщение начальник станции не принял бы ни у кого из пассажиров, правила это запрещали, но сегодня он больше не был уверен ни в каких правилах.

«Мистеру Джеймсу Таггерту, Нью-Йорк. Задержан на «*Комете*» в Уинстоне, штат Колорадо, вследствие некомпетентности ваших людей, отказавшихся предоставить мне локомотив. Вечером должен присутствовать в Сан-Франциско на съезде общенациональной важности. Если вы немедленно не пустите мой поезд, за последствия не ручаюсь. Кип Чалмерс».

После того как юноша послал телеграмму по проводам, протянувшимся от столба к столбу через весь континент, подобно стражникам, охранявшим железную дорогу Таггертов, а Кип Чалмерс вернулся в свой вагон ждать ответа, начальник станции позвонил Дэйву Митчему, своему другу, и зачитал ему текст телеграммы. В ответ раздался стон Митчема.

— Думаю, я должен был сказать тебе, Дэйв. Я никогда не слышал об этом парне, но, возможно, это важная шишка.

— Да ты что! — простонал Митчем. — Кип Чалмерс! Его имя то и дело печатают в газетах вместе со всей верхушкой. Не знаю, кто он там, но он

из Вашингтона, и у нас шансов нет. Господи Иисусе, что же делать?

У нас нет шансов, подумал оператор «*Таггерт Трансконтинентал*» в Нью-Йорке и передал телеграмму домой Джиму Таггерту. В Нью-Йорке время приближалось к шести утра, и Джеймс Таггерт очнулся от беспокойного сна наполовину бессонной ночи. Выслушав сообщение по телефону, он обмяк, ощутив тот же страх, что и начальник *Узла Уинстон*, и по той же причине.

Он позвонил домой Клифтону Лоси. Весь гнев, который Джим не мог обратить на Кипа Чалмерса, обрушился на Лоси.

— Сделайте что-нибудь! — орал Таггерт. — Мне все равно, что вы придумаете, это ваша работа, а не моя, но проследите, чтобы поезд пошел! Что, черт возьми, происходит? Я никогда еще не слышал, чтобы «*Комету*» задерживали! Так-то вы руководите своим департаментом? Хорошенькое дело, важные пассажиры уже посылают мне телеграммы! Когда дорогой управляла моя сестра, меня по крайней мере не будили посреди ночи по поводу каждого гвоздя, сломавшегося в Колорадо!

— Постой, Джим, не кипятись, — увещевал

его Клифтон Лоси тоном, в котором смешались извинение, убеждение и тщательно отмеренное отеческое доверие. — Это недоразумение. Чья-нибудь досадная оплошность. Не волнуйся, я обо всем позабочусь. Я, по правде говоря, был в постели. Но сей же час займусь этим делом.

Клифтон Лоси не был в постели, он только что вернулся из тура по ночным клубам в компании молоденькой дамы. Он попросил ее подождать и поспешил в контору «*Таггерт Трансконтинентал*». Никто из сотрудников, видевших его, не смог бы сказать, зачем он явился туда лично и тем более был ли его визит вызван необходимостью. Лоси пронесся по нескольким кабинетам, на всех произвел впечатление бешеной активности, единственным вещественным результатом которой стал приказ, переданный Дэйву Митчему, управляющему отделением Колорадо:

«Немедленно предоставить локомотив мистеру Чалмерсу. Отправить «*Комету*» в рейс без риска и ненужных проволочек. Если вы не способны выполнять ваши обязанности, будете отвечать перед Объединенным советом. Клифтон Лоси».

Затем Лоси позвонил своей подружке, велел ей присоединиться к нему и отправился в заго-

родный ресторанчик, где мог быть уверен в том, что в ближайшие несколько часов его никто не сможет разыскать.

Диспетчер в Силвер-Спрингс был озадачен приказом, который сразу же передал в руки Дэйву Митчему, но Дэйв Митчем все понял. Он знал, что никогда приказы по железной дороге не писали подобными словами: «Немедленно предоставить локомотив пассажиру», понимал, что все это сплошная показуха, догадывался, что за шоу устроили начальники, и исходил холодным потом при мысли, кого сделают козлом отпущения.

— Что случилось, Дэйв? — спросил главный механик.

Митчем не ответил. Дрожащими руками он схватился за телефон, прося соединить его с оператором Таггерта в Нью-Йорке. Он напоминал животное, попавшее в западню.

Нью-йоркского оператора он умолил соединить его с домом мистера Клифтона Лоси. Оператор попытался. Ответа не последовало. Митчем упросил оператора продолжать попытки соединиться с любым номером, где можно отыскать мистера Лоси. Оператор пообещал это сделать, и Митчем положил трубку, понимая в глубине

души, что ждать так же бесполезно, как пытаться договориться с кем-нибудь из департамента мистера Лоси.

— Что случилось, Дэйв?

Митчем протянул главному механику приказ и по выражению его лица понял, что не ошибся в оценке ситуации.

Он позвонил в региональную штаб-квартиру «*Таггерт Трансконтинентал*» в Омахе, штат Небраска, и попросил соединить его с генеральным менеджером. После короткого молчания голос оператора Омахи сообщил, что генеральный менеджер уволился и исчез три дня назад. «Из-за небольшого недоразумения с мистером Лоси», — добавил оператор.

Митчем хотел поговорить с помощником генерального менеджера в одном из подразделений, но помощник на неделю уехал из города, и с ним невозможно было соединиться.

— Дайте мне кого-нибудь еще! — умолял Митчем. — Кого угодно, из любого региона! Ради бога, дайте мне кого-нибудь, кто скажет мне, что делать!

По телефону ответил помощник генерального менеджера региона Айова — Миннесота.

— Что? — перебил он Митчема после первых же

слов. — В Уинстоне, Колорадо? Почему, черт возьми, вы мне звоните?.. Нет, не объясняйте мне, что у вас там стряслось, я не хочу этого знать!.. Нет, я сказал! Нет! Вам не удастся втянуть меня в эту историю, чтобы *мне* пришлось потом объяснять, почему я сделал или не сделал то или это. Это не мои проблемы!.. Разговаривайте с начальством вашего региона, не вмешивайте меня, зачем мне Колорадо?.. О, черт, не знаю, свяжитесь с главным инженером, с ним поговорите!

Главный инженер Центрального региона ответил нетерпеливо:

— Да? Что? Что такое? — и Митчем отчаянно заторопился, объясняя ситуацию. Когда главный инженер узнал, что дизеля нет в наличии, он оборвал Митчема: — Тогда, конечно, задержите поезд! — Услышав про Чалмерса, он ответил более сдержанно: — Хм… Кип Чалмерс? Из Вашингтона?.. Ну, я не знаю. Это должен решить мистер Лоси. — Когда же Митчем сказал, что мистер Лоси приказал все организовать, но… главный инженер с огромным облегчением прервал его: — Так делайте то, что приказал мистер Лоси! — и дал отбой.

Дэйв Митчем осторожно положил телефонную трубку. Он больше не кричал. Вместо этого

он на цыпочках, крадучись, подошел к креслу. Он сидел и довольно долго смотрел на приказ мистера Лоси.

Потом окинул взглядом комнату. Диспетчер говорил по телефону. Главный механик и формировщик составов находились тут же, но делали вид, что ничего не видят и ничего не слышат. Ему хотелось, чтобы Билл Брент, главный диспетчер, ушел домой. Но Билл Брент стоял в углу и смотрел на него.

Невысокий, худой, широкоплечий Брент выглядел моложе своих сорока лет. Бледная кожа конторского служащего никак не соответствовала резким чертам лица ковбоя. Он считался лучшим диспетчером всей системы.

Митчем резко встал и поднялся по лестнице в свой кабинет, сжимая в руке приказ Лоси.

Дэйв Митчем звезд с неба не хватал, он плохо разбирался в инженерных и транспортных проблемах, но понимал людей вроде Клифтона Лоси и ту игру, что затеяли начальники в Нью-Йорке, и то, что они с ним сейчас делали. Приказ не предписывал ему дать мистеру Чалмерсу работающий на угле паровоз, там было написано «локомотив». Когда придет время отвечать на вопросы, не ахнет ли возмущенный мистер Лоси:

как так, он не сомневался, что управляющему отделением отлично известно — только *дизельный* локомотив мог иметься в виду в приказе! В приказе же ясно сказано: провести «*Комету*» через туннель «без риска и ненужных проволочек», разве управляющему отделением не ясно, что такое «без риска»? А ненужные задержки? Если это связано с возможными авариями, тогда может ли недельная или месячная задержка считаться необходимой?

Нью-йоркскому начальству все равно, думал Митчем, им наплевать, успеет ли мистер Чалмерс попасть на свой съезд вовремя или дорогу разрушит беспрецедентная катастрофа. Они заботятся только о том, чтобы их не в чем было упрекнуть при любом варианте развития событий. Если он задержит поезд, они сделают его козлом отпущения, дабы умерить гнев мистера Чалмерса. Если он отправит поезд и тот не доберется до конца туннеля, они обвинят его в некомпетентности. Чем бы дело ни кончилось, повернут все так, будто он действовал вопреки их приказам. Что он сможет доказать? Кому? Трибуналу ничего не докажешь, если у него нет ни утвержденной политики, ни узаконенной процедуры, ни прав свидетельствования, ни си-

стемы доказательств. Трибунал Объединенного совета признаёт людей виновными или невиновными как сочтет нужным, не сообразуясь с принципами виновности или невиновности.

Дэйв Митчем не разбирался в тонкостях юриспруденции, но понимал, что суд не связан никакими правилами, не считается ни с какими фактами, а слушания есть не торжество законности, а действия людей, и судьба человека зависит не от того, что он сделал или чего не делал, а только от того, с кем он знаком или не знаком. Он спросил себя, есть ли у него шансы победить на слушаниях против мистера Джеймса Таггерта, мистера Клифтона Лоси, мистера Кипа Чалмерса и их могущественных друзей?

Всю жизнь Дэйв Митчем уходил от необходимости принимать решения. Ждал, когда ему скажут, что делать, и никогда ни в чем не был уверен. Единственное, что крутилось сейчас у него в мозгу, так это возмущение по поводу вопиющей несправедливости. Фортуна, думал он, повернулась к нему спиной, начальство подвело его под монастырь на единственной за всю жизнь приличной работе. Он никогда не понимал, что способ, которым он получил работу и то, как его подставили, неразрывно связаны

воедино.

Глядя на приказ Лоси, он думал, что можно задержать «*Комету*», прицепить один только вагон мистера Чалмерса к локомотиву и отправить через туннель. Но прежде чем мысль полностью оформилась, он потряс головой: такое положение заставит мистера Чалмерса заподозрить рискованность предприятия. Мистер Чалмерс может отказаться и продолжить свои требования получить безопасный, но несуществующий дизель. И более того: это будет означать, что он, Митчем, примет на себя всю ответственность, проявит полное понимание опасности, открыто признав суть ситуации, то есть сделает именно то, от чего ловко открестились его начальники.

Дэйв Митчем был не тем человеком, который бунтует против сложившихся обстоятельств или требует от подчиненных выполнения нравственного долга. Он выбрал другой путь: не противиться, а следовать политике начальства. Билл Брент намного превосходил его в любом вопросе, касавшемся техники, но в данном случае Дэйв мог побить Брента без усилий. Прежнему обществу для выживания были необходимы способности Билла Брента, теперь же требовался талант Дэйва Митчема.

Митчем уселся за печатную машинку своей секретарши и двумя пальцами аккуратно напечатал под копирку одно распоряжение формировщику составов и второе — главному механику. Первым он предписывал срочно собрать бригаду локомотива для выполнения «чрезвычайного» задания. Вторым приказывал главному механику «послать лучший из имеющихся в их распоряжении двигателей в Уинстон, чтобы выполнить чрезвычайное задание».

Копии он положил себе в карман, открыл дверь, крикнул ночному диспетчеру, чтобы тот поднялся, и вручил ему два приказа для двоих подчиненных, что ждали внизу. Ночной диспетчер, добросовестный молодой человек, доверял своим начальникам и знал, что дисциплина — первое правило на железной дороге. Он удивился тому, что Митчем посылает письменные предписания на первый этаж, но не стал задавать вопросов. Митчем нервно ожидал результата. Спустя недолгое время он увидел, что главный механик идет через двор к депо. Митчем расслабился: подчиненные не пошли на конфликт с ним лично, они все поняли и станут играть по тем же правилам, что и он.

Главный механик шел по двору, глядя в землю.

Он думал о своей жене, двоих детях и доме, на покупку которого потратил всю жизнь. Он понимал, что задумали его начальники, и размышлял, должен ли отказаться подчиняться их приказу. Главный механик никогда не боялся потерять работу. Как квалифицированный специалист прежде он знал, что, поссорившись с одним работодателем, всегда найдет себе другого. Сейчас он испугался, так как не имел права уйти с одной работы, чтобы найти другую. Если он не подчинится работодателю, его предадут суду Объединенного совета, а если Объединенный совет повернет дело против него, это будет означать приговор, обрекающий на медленную смерть от голода, потому как ему запретят всякую работу. Он знал, что Объединенный совет будет против него, знал, что единственный ключ к влиянию на противоречивые решения совета — протекция. Какие шансы могут быть у него в суде против мистера Митчема? Или, хуже того, Чалмерса? Прошли те времена, когда работодатель требовал от него только максимальной отдачи, работы по способностям.

Сегодня способности стали не нужны. Раньше от него требовали наилучшего исполнения обязанностей и соответственно награждали. Сейчас

он не мог ожидать ничего, кроме наказания, если стал бы поступать по совести. Раньше от него требовалось уметь думать. А теперь…

Теперь никто не требовал от него умения думать — только повиновения. И совестливости от него тоже никто не ждал. Должен ли он высказать свое мнение? Ради кого? Он подумал о трех сотнях пассажиров «*Кометы*». Подумал о своих детях. Его сын заканчивал школу, а дочь девятнадцати лет, которой он страшно гордился, называли самой красивой девушкой города. Главный механик спрашивал себя, сможет ли он обречь собственных чад на участь детей безработного, которых видел в трущобах, протянувшихся вдоль закрытых фабрик и заброшенных железнодорожных путей. И с ужасом обнаружил, что должен сейчас выбрать между жизнями своих детей и пассажиров *«Кометы»*. Конфликт такого рода прежде был невозможен. Тогда безопасность его детей зависела от неприкосновенности пассажиров, обслуживая одних, он служил другим, не происходило столкновения интересов, не нужно было никого приносить в жертву. Теперь спасти пассажиров он мог только ценой жизни собственных детей.

Главный механик смутно припоминал слы-

шанные им проповеди о прелестях самопожертвования, о добродетели принесения человеком в жертву самого дорогого ради блага других людей. Он ничего не знал о тонкостях морали, но внезапно — сквозь темную, сверлящую боль — ощутил: если добродетель такова, то он не желает быть к ней причастным.

Он вошел в здание депо и приказал подготовить большой старинный паровоз к рейсу в Уинстон.

Формировщик потянулся к телефону в кабинете диспетчера, чтобы, как ему приказали, вызвать паровозную бригаду. Но рука замерла на полпути. Его внезапно резанула мысль о том, что он отправляет людей на смерть, и что из двадцати человек, значившихся в списке, двое, по его выбору, погибнут. Внутри все похолодело, но он не находил в себе ни сожаления, ни тревоги — одно только замешательство и возмущение. Никогда еще он не посылал людей на смерть, его обязанностью было посылать их на работу, которая давала им деньги на жизнь. «Странно, — подумал он, — и странно, что рука остановилась». Ее остановило чувство, которое он испытал лет двадцать назад… нет, припомнил он, всего лишь месяц назад.

Формировщику составов исполнилось сорок восемь лет. Ни семьи, ни друзей, ни даже собаки или кошки у него не было. Всю силу привязанности, дарованную ему природой, он обратил на своего младшего брата двадцати пяти лет, которого вырастил и воспитал. Он послал его в технологический колледж и знал, как и все преподаватели, что на этом хмуром юном лбу лежит печать гения. С той же целеустремленностью брата-однолюба юноша не интересовался ничем, кроме своих занятий: ни спортом, ни вечеринками, ни девушками — только теми дисциплинами, которые могли потребоваться ему в последующей работе. Он окончил колледж и поступил в исследовательскую лабораторию крупного электрического концерна в Массачусетсе, получив не по возрасту высокое жалованье.

Сегодня двадцать восьмое мая, подумал комплектовщик составов. Директива номер 10–289 вышла утром первого мая. А вечером того же дня ему сообщили, что его брат покончил с собой.

Формировщик составов слышал, как говорили, что директива необходима для спасения страны. Он не знал, правда ли это, и не смог бы сказать, что именно для спасения страны нужно. Но, движимый внутренним чувством, которое

сам не способен был определить, он пришел в кабинет местной газеты и потребовал, чтобы опубликовали историю смерти его брата. Единственным его доводом были слова: «Люди должны об этом знать». Формировщик составов не смог бы проследить, какие нарушенные связи в его мозгу привели к убеждению: если такое случилось по воле людей, то люди должны об этом знать. Он верил, что люди, узнав о случившемся с его братом, никогда больше не повторят той же ошибки. Редактор отказался, утверждая, что такая статья нанесет вред моральному настрою читателей газеты.

Формировщик составов ничего не знал о тонкостях политики, но понимал, что в этот момент потерял интерес к жизни и смерти, и ко всем людям, населявшим страну. Он думал, держа в руке телефонную трубку, что, может быть, должен предупредить людей, которым собирался звонить. Они ему доверяли, им бы и в голову не пришло, что он способен сознательно послать их на верную смерть.

Но формировщик составов покачал головой: это мысль из прежней жизни, прошлогодняя мысль, пережиток того времени, когда он тоже доверял людям. Теперь она не имеет значения.

Его мозг работал медленно, как будто мысли с трудом пробивались сквозь некую желеобразную массу, лишенную эмоций. Он подумал, предупреди он кого-нибудь из команды, могут возникнуть неприятности, возможно, начнется борьба, и ему придется действовать куда более жестко… Вот только он позабыл, ради чего будет эта борьба? Ради истины? Справедливости? Братской любви? Ему не хотелось делать усилий. Он так устал. Если он предупредит своих подчиненных, подумал он, тогда никто не поедет на поезде, и он спасет две жизни и еще три сотни жизней пассажиров «*Кометы*».

Но ничто не откликнулось в его душе на эти цифры. «Жизни» — просто слово, в нем нет смысла. Он прижал телефонную трубку к уху, набрал два номера и вызвал машиниста и кочегара на срочную работу.

Поезд номер 306 отправился в Уинстон, когда Дэйв Митчем спустился на первый этаж.

— Вызовите для меня дрезину, — распорядился он. — Я должен уехать в Фэрмаунт.

Маленькая станция Фэрмаунт находилась в двадцати милях. Подчиненные кивнули, не задавая вопросов. Билла Брента среди них не было. Митчем вошел в кабинет Брента. Тот молча сидел

за столом, казалось, он чего-то ждал.

— Я уезжаю в Фэрмаунт, — сообщил Митчем тоном, не терпящим возражений. — Пару недель назад там был дизель… знаете, срочный ремонт или что-то в этом роде… Я съезжу, посмотрю, не сможем ли мы его использовать.

Митчем выдержал паузу, Брент ничего не ответил.

— При сложившихся обстоятельствах, — продолжил Митчем, не глядя на Брента, — мы не можем удерживать «*Комету*» до утра. Так или иначе, нужно действовать. Сейчас я думаю, может быть, тот дизель нам подойдет, но это последняя возможность. Поэтому, если вы не услышите обо мне через полчаса, напишите распоряжение и посылайте «*Комету*», пусть ее тянет номер 306.

О чем бы ни думал в ту минуту Брент, услышав слова Митчема, он не поверил своим ушам. Он ответил не сразу и только немного погодя произнес:

— Нет.

— Что вы хотите сказать своим «нет»?

— Я этого не сделаю.

— То есть как «не сделаю», это приказ!

— Я этого не сделаю, — в голосе Брента звучала

твердость, не замутненная эмоциями.

— Вы отказываетесь выполнять приказ?

— Отказываюсь.

— Но вы не имеете права! И я не собираюсь с вами спорить. Я так решил, это моя обязанность, и я не спрашиваю вашего мнения. Ваша работа — принимать к исполнению мои приказы.

— Вы отдадите мне этот приказ в письменном виде?

— С какой стати, черт возьми? Вы намекаете, что не доверяете мне? Вы что…

— Зачем вы едете в Фэрмаунт, Дэйв? Почему не можете поговорить о дизеле по телефону, если думаете, что он у них есть?

— Не учите меня, как работать! Не задавайте мне вопросов! Захлопните пасть и делайте то, что вам велят, или я предоставлю вам возможность поговорить на Объединенном совете!

Нелегко было читать эмоции на бесстрастном ковбойском лице Брента, но Митчем рассмотрел нечто, напоминавшее ужас, смешанный с недоверием, только это был ужас от самого его вида, а не от его слов. Не этот, совсем не этот страх надеялся Митчем увидеть в глазах Брента.

Брент понял: завтра утром он выступит против Митчема, Митчем станет отрицать, что отдал

такой приказ. Митчем покажет письменное доказательство того, что поезд номер 306 был послан в Уинстон только для того, чтобы «быть под рукой», и найдет тьму свидетелей, что сам он уехал в Фэрмаунт, чтобы найти дизель. Митчем станет утверждать, что фатальный приказ был отдан по личной инициативе Билла Брента, главного диспетчера. Этого будет достаточно для Объединенного совета, чья позиция состояла в том, чтобы не позволить ничего изучать детально. Брент знал, что мог бы играть в ту же игру и передать ответственность другой жертве, знал, что у него хватит ума все устроить и уйти из-под удара, но он скорее бы умер, чем пошел на такое.

Вовсе не вид Митчема заставил его оцепенеть от ужаса. Причиной стало осознание того, что ему некому позвонить, чтобы разоблачить происходящее и положить ему конец: не осталось ни одного честного начальника на линии от Колорадо до Омахи и Нью-Йорка. Они все были замешаны, все делали одно и то же, они сами дали в руки Митчему метод работы. Теперь Дэйв Митчем принадлежал этой железной дороге, а он, Билл Брент, стал лишним.

Подобно тому, как он привык одним взглядом

на бумаги вбирать в себя ситуацию на всем своем участке, так и сейчас перед ним предстала вся его жизнь и заодно цена того решения, которое ему предстояло принять. Брент полюбил, когда юность его уже прошла. Ту, которую желал, он нашел в тридцать шесть лет. Последние четыре года они были помолвлены. Билл ждал, потому что на руках у него были больная мать и овдовевшая сестра с тремя детьми. Он никогда не боялся трудностей, потому что знал — ему достанет сил их вынести. Он вообще не брал на себя обязательств, если не был уверен, что выполнит их. Брент ждал, копил деньги, и вот теперь настало время, когда он мог бы позволить себе стать счастливым. Он должен был жениться через несколько недель, в предстоящем июне. Он думал об этом, сидя за рабочим столом, глядя на Митчема, но мысль не рождала в нем колебаний, только сожаление и отдаленную печаль. Отдаленную, поскольку он знал, что не позволит печали смутить его в эту минуту.

Билл Брент ничего не знал о теории познания, но понимал, что должен жить, опираясь на свое собственное, разумное восприятие действительности. Он не может пойти против него, отбросить или подменить, и этот способ жить — единствен-

ный.

Он поднялся из-за стола.

— Это правда, с тех пор, как я здесь работаю, я не мог отказаться повиноваться вам, — произнес он. — Но смогу, если уйду с работы. Поэтому я ухожу.

— Вы… *что делаете*?

— Я ухожу, и немедленно.

— Но вы не имеете права уйти, вы, чертов ублюдок! Разве вы не знаете? Разве вы не знаете, что я вас брошу за это в тюрьму?

— Если утром вы захотите послать ко мне шерифа, я буду дома. Сбежать не попытаюсь. Идти мне некуда.

Дэйв Митчем, ростом шесть футов и два дюйма, с телом боксера, стоял, дрожа от ярости и страха, перед тщедушной фигурой Билла Брента.

— Вы не можете уйти! Закон не позволяет этого! Закон на моей стороне! Вы не можете просто взять и уйти! Я не позволяю вам покидать это здание сегодня ночью!

Брент направился к двери.

— Вы можете повторить приказ перед остальными? Нет? Тогда я уйду!

Когда он взялся за ручку двери, кулак Митчема врезался в его лицо, и Брент упал.

На пороге открытой двери стояли главный механик и формировщик составов.

— Он хотел уйти! — крикнул Митчем. — Трусливый ублюдок бросил работу в такое трудное время! Он нарушитель закона и трус!

Медленно поднимаясь с пола, сквозь кровавую пелену Билл Брент смотрел на двоих мужчин. Он видел, что те все понимают, но рядом видел и лица тех, кто не хотел понимать, не хотел вмешиваться и ненавидел его. Ничего не говоря, Брент поднялся и вышел из здания.

Митчем старательно избегал взглядов.

— Эй вы, — он дернул головой в сторону ночного диспетчера. — Идите сюда. Принимайте обязанности Брента.

Закрыв дверь, он повторил парню историю про дизель в Фэрмаунте, которую прежде рассказал Бренту, и приказе послать «*Комету*» с локомотивом поезда номер 306. Парень был не в состоянии думать, говорить и понимать что бы то ни было: перед его глазами еще стояло окровавленное лицо Билла Брента — его кумира.

— Да, сэр, — тупо ответил он.

Дэйв Митчем отбыл в Фэрмаунт на поиски дизеля для «*Кометы*»; он сообщил об этом каждому рабочему депо, стрелочнику и дворнику,

попавшемуся ему на глаза, и лишь потом сел на мотодрезину.

Ночной диспетчер опустился за рабочий стол, глядя на телефон и молясь, чтобы он зазвонил, и мистер Митчем связался с ним. Но полчаса прошли в тишине, и когда оставалось всего три минуты, парень почувствовал безотчетный ужас, который не мог объяснить, зная только, что не хочет посылать приказ. Он обернулся к главному механику и формировщику составов, и, поколебавшись, спросил:

— Перед отъездом мистер Митчем отдал мне приказ, но не знаю, должен ли я передавать его, потому что… я думаю, он неправильный. Он сказал…

Формировщик составов отвернулся, не чувствуя за собой вины: парень был тех же лет, что и его покойный брат.

Главный механик огрызнулся:

— Делай, что приказал мистер Митчем. Мы не обязаны думать, — и вышел из комнаты.

Ответственность, от которой уклонились Джеймс Таггерт и Клифтон Лоси, легла на плечи дрожащего, растерянного мальчишки. Поколебавшись, он набрался решимости при мысли о том, что не стоит подвергать сомнению ком-

петентность руководства железной дороги. Он не знал, что его представление о железной дороге и ее руководстве запоздало лет на сто.

С добросовестной пунктуальностью ответственного работника проследив, когда стрелка часов достигнет нужной цифры, он проставил свое имя на приказе, предписывающем «*Комете*» проследовать с локомотивом номер 306, и отправил его на станцию Уинстон.

Начальник станции в Уинстоне содрогнулся, прочитав приказ, но не тот он был человек, чтобы не подчиниться начальству. Он убедил себя в том, что, возможно, туннель не столь опасен, как ему кажется. А также в том, что в наши дни лучшая политика — не думать. Когда он передал копии приказа проводнику и машинисту «*Кометы*», проводник медленно обвел глазами комнату, переводя взгляд с лица на лицо, сложил листок бумаги, сунул в карман и вышел, не сказав ни слова.

Машинист минуту стоял, глядя на приказ, потом швырнул его на пол и заявил:

— Я не стану этого делать. И если дошло до того, что мне отдают подобные приказы, я не собираюсь здесь работать. Запишите, что я ухожу.

— Но вы не можете бросить работу! — восклик-

нул начальник станции. — Вас за это арестуют!

— Если поймают, — ответил машинист и вышел в темноту ночных гор.

Сидевший в углу машинист, пригнавший паровоз номер 306 из Сильвер-Спрингс, крякнул и сказал:

— Он трус.

Начальник станции обернулся к нему:

— Ты сделаешь это, Джо? Примешь «*Комету*»?

Джо Скотт был пьян. В прежнее время к работнику железной дороги, явившемуся на службу с малейшими признаками опьянения, отнеслись бы как к врачу, пришедшему к пациенту в оспенных болячках на лице. Но Джо Скотт относился к привилегированным особам. Три месяца назад его уволили за нарушение правил безопасности, повлекшее за собой крупное крушение. Две недели назад восстановили на работе по распоряжению Объединенного совета. Он дружил с Фредом Киннаном, защищая его интересы в своем профсоюзе, но не от работодателей, а от членов того же профсоюза.

— Конечно, — заявил Скотт. — Я приму «*Комету*». Я проведу ее по туннелю, если поеду достаточно быстро.

Кочегар паровоза номер 306 находился в ка-

бине.

Когда пришли присоединять его паровоз к «*Комете*», он опасливо поежился, глядя на красные и зеленые фонари туннеля, светившиеся в двадцати милях впереди, на скалах. Этот спокойный, дружелюбный человек, хороший кочегар, никогда не стремился стать машинистом, и его единственными достоинствами были могучие мускулы.

Кочегар не сомневался, что его начальники знают, что делают, поэтому не задал ни одного вопроса.

Проводник стоял у последнего вагона «*Кометы*». Он посмотрел на огни туннеля, а потом на длинную череду окон поезда. Некоторые светились, но бóльшая часть мерцала только слабым синим светом ночных лампочек из-под опущенных жалюзи. Проводник подумал, что должен разбудить пассажиров и предупредить их. В прежние времена он ставил безопасность пассажиров превыше своей собственной, не потому что любил их, а потому что эта обязанность была частью его работы, которой он гордился. Сейчас он чувствовал полное безразличие к судьбе с оттенком презрения и никакого желания спасать пассажиров. Они просили Директивы 10–289,

и они ее получили, думал он, они продолжали жить, день за днем, избегая думать о вердиктах, которые Объединенный совет выносит невинным жертвам. Почему бы и проводнику не отвернуться от них? Если он спасет им жизнь, ни один из них не станет защищать его перед Объединенным советом, если проводника обвинят в неисполнении приказов, создании паники, задержке мистера Чалмерса. Он не чувствовал ни малейшего желания становиться жертвой ради того, чтобы потворствовать людям, безнаказанно совершавшим зло.

Когда время пришло, он поднял свой фонарь и просигналил машинисту: можно трогать.

— Видите? — торжествующе воскликнул Кип Чалмерс, обращаясь к Лестеру Такку, когда колеса поезда застучали. — Страх — единственно действенное средство управления людьми.

Проводник поднялся на площадку последнего вагона. Никто не видел, что он спустился по ступенькам с другой стороны, соскочил с поезда и растворился в темноте.

Стрелочник готовился перевести стрелку, направлявшую «*Комету*» с подъездного пути на главную линию. Он смотрел, как состав медленно проследовал мимо него. Слепящий

белый луч протянулся высоко над его головой, а рельс под ногами тяжело завибрировал. Стрелочник понимал, что стрелку нельзя переводить. Он вспоминал, как однажды ночью, десять лет назад во время наводнения, рискуя жизнью, спас поезд на участке, где образовалась промоина. Но понимал он и другое: времена изменились. В тот момент, когда он перевел стрелку и увидел, как головной прожектор дернулся в сторону, стрелочник понял, что отныне и до конца жизни будет ненавидеть свою работу.

«Комета» выкатилась с подъездных путей на главную линию, прямую как стрела, и направилась к горам; головной прожектор паровоза, подобно вытянутой руке указывал направление, а в конце состава светилась дуга окон вагона для осмотра окрестности.

Часть пассажиров бодрствовала. Когда поезд начал по спирали подниматься в горы, они увидели внизу небольшое скопление огоньков Уинстона, а потом в темноте появились красные и зеленые фонари у въезда в горный туннель. Огоньки Уинстона становились все мельче, черный зев туннеля рос. Темная вуаль временами затеняла вид из окон: это стелился густой, тяжелый дым от сжигаемого в топках паровоза угля.

Когда туннель приблизился, пассажиры увидели на краю неба, далеко на юге, среди свободного пространства и горных склонов, пятнышко живого огня, развевавшегося на ветру. Они не знали, что это такое, да и не хотели знать.

Говорят, что катастрофы — дело случая, и нашлись бы люди, сказавшие, что пассажиры «*Кометы*» не виноваты и не отвечают за то, что с ними случилось.

В спальном отделении вагона номер один ехал профессор социологии, который учил, что индивидуальные способности человека не имеют значения, что индивидуальные усилия тщетны, индивидуальная совесть — бесполезная роскошь, что не существует ни индивидуального разума, ни характера, ни достижений и что все на свете — результат коллективных достижений, и что значение имеют массы, а не личность.

В седьмом купе вагона номер два ехал журналист, писавший, что применение принуждения «во имя благих целей» вполне морально и достойно. Он свято верил в действенность физической силы — можно ломать жизни, душить амбиции, признавать виновным, сажать в тюрьму, грабить, убивать, — все во имя идеи «благого дела». На самом деле идеи никогда не было, поскольк-

ку журналист так и не объяснил, что именно считает добром, а просто постановил: он руководствуется «чувством», не сдерживаемым никаким знанием, поскольку ставит эмоцию выше знания и полагается единственно на свои собственные «добрые намерения» и на власть оружия.

Женщина из десятого купе вагона номер три, пожилая школьная учительница, всю свою жизнь, класс за классом, превращала беззащитных детишек в жалких трусов, внушая им, что воля старшего — единственный стандарт добра и зла: старшему позволено делать все, что заблагорассудится, а детям не до́лжно утверждать свою личность, а поступать, как все.

Мужчина в купе салон-вагона номер четыре, издатель газеты, верил, что люди по природе своей исчадия зла, недостойные свободы, а основные инстинкты, если их не контролировать, направлены на то, чтобы лгать, грабить и убивать себе подобных. А потому и управлять людьми следует на основе лжи, грабежа и убийств, которые должны стать исключительной прерогативой правящих классов, с целью принудить людей к работе, обучить их морали и держать в строгих рамках порядка и законности.

Финансист из спального вагона номер шесть

сколотил состояние, скупая «замороженные» железнодорожные долговые обязательства и «размораживая» их с помощью своих друзей в Вашингтоне.

Рабочий, ехавший на пятом месте в вагоне номер семь, верил, что имеет право на работу, хочет этого работодатель или нет.

Женщина из купе вагона номер восемь читала лекции, свято веря в то, что как потребитель имеет право на пользование транспортом, независимо оттого, захотят ли работники железной дороги обеспечить его или нет.

Профессор экономики из второго купе вагона номер девять оправдывал ликвидацию частной собственности, объясняя это тем, что разум не имеет значения в промышленном производстве — разум человека обусловлен материальными орудиями, неважно, кто управляет фабрикой или железной дорогой, это просто вопрос захвата механизмов.

Женщина из спального вагона номер десять уложила спать двоих детей на верхнюю полку, закутав, чтобы уберечь от сквозняков и толчков. Ее муж на государственной службе обеспечивал исполнение директив, и она полностью оправдывала это, говоря: «Мне все равно, это коснется

только богатых. В конце концов я должна думать о детях».

Мужчина из третьего купе вагона номер одиннадцать, жалкий слюнтяй и невротик, выполняя общественный заказ, писал дешевые пьески, в которые вставлял трусливые непристойности, создававшие впечатление, что все бизнесмены — негодяи.

Домохозяйка из девятого купе вагона номер двенадцать верила, что имеет право избирать политиков, о которых ничего не знала, контролировать гигантов индустрии, в которых ни бельмеса не смыслила.

Адвокат из спального отделения вагона номер тринадцать имел обыкновение говорить: «Кто? Я? Я приспособлюсь к любой политической системе».

Мужчина из купе вагона номер пятнадцать, получивший в наследство большое состояние, твердил: «Почему Риарден должен быть единственным, кто производит риарден-металл?»

Мужчина из купе «А» вагона номер шестнадцать, гуманитарий, как-то сказал: «Способные люди? Меня не волнует, почему их заставили страдать. Их необходимо штрафовать, чтобы поддержать неспособных. Откровенно говоря, меня

не волнует, справедливо ли это. Я горжусь тем, что не имею снисхождения к способным, когда речь идет о нуждах малых сих».

Все эти пассажиры не спали. Но в поезде не нашлось бы ни одного человека, который в той или иной мере не разделял их идей. Поезд вошел в туннель, и последним, что они видели, был Факел Уайэтта.

ГЛАВА VIII. РАДИ НАШЕЙ ЛЮБВИ

Солнечный луч коснулся вершин деревьев на склоне холма, и они засеребрились, отражая голубизну неба. Дагни стояла у двери коттеджа, подставив лицо первым ласковым лучам и любуясь бескрайними лесами, простиравшимися у ее ног. Вдоль дороги, что проходила внизу, листья меняли оттенки от серебристо-зеленого к дымчато-голубому. Свет, просочившись сквозь ветки, падал на заросли папоротника, которые вновь посылали его вверх яркими фонтанами зеленых лучей. Дагни наслаждалась игрой отражений среди зачарованной дикой природы.

Она зачеркнула еще один день на листке, пришпиленном к стене, как делала каждое утро. Смена дат на бумаге — единственное движение в покое ее дней, как зарубки Робинзона на необитаемом острове. Сегодня двадцать восьмое мая.

Дагни хотела, чтобы дни приближали ее к цели, но не знала, достигла ли желаемого. Приехав в глушь, она дала себе три задания: отдохнуть, научиться жить без железной дороги, избавиться от боли. Избавиться от боли — именно так она сформулировала. Дагни казалось, что она

привязана к раненому незнакомцу, с которым в любой момент может начаться припадок, и тогда все потонет в его криках. Дагни не испытывала к чужаку жалости, только презрительное нетерпение. Она должна была бороться с ним, истребить его и тогда, освободившись, принять решение, чего же она хочет. Но победить чужака оказалось непросто.

Выполнить задание «отдохнуть» оказалось легче. Она обнаружила, что ей нравится одиночество. Утром Дагни просыпалась с чувством спокойной благожелательности, при котором так хорошо ладились дела. В городе ей приходилось жить в хроническом напряжении, противостоя гневу, презрению, отвращению и негодованию.

Единственное, что мешало ей, это физическая боль, вернее усталость. Ее коттедж стоял вдалеке от дороги, так поставил его отец. Она готовила еду на дровяной плите и собирала хворост в лесу на холмах. Она вырубила всю поросль, облепившую стены дома, перекрыла кровлю, покрасила дверь и оконные рамы. Дожди, трава и кустарник скрыли тропу, некогда ступенчато поднимавшуюся по террасам от дороги к самому порогу коттеджа. Она выстроила ее заново, расчистила террасы, замостила их камнем, огородив

участки мягкой земли стенками из дикого камня. Ей доставило немалое удовлетворение соорудить из старых железок сложное устройство из блоков и рычагов, с помощью которого она передвигала неподъемные камни. Посадив настурцию и вьюнок, Дагни следила за тем, как они мало-помалу выстилают землю и обвивают стволы деревьев, становятся пышнее.

Работа приносила желанное успокоение. Она не заметила, когда это началось и почему. Просто все преображалось, побуждало двигаться дальше, давая целительное чувство умиротворения. Потом Дагни осознала, что ей необходимо было движение к цели, пусть даже небольшой, и неважно, в какой форме, — лишь бы чувствовать, что, преодолевая отрезки времени, шаг за шагом приближаешься к финалу. Процесс приготовления пищи напоминал замкнутый цикл, законченный, никуда не ведущий. А работа по восстановлению дороги оживляла ее, она не убивала дни, нет, каждый день включал в себя все предыдущие и обретал бессмертие в каждом последующем. Цикл, думала она, это движение, свойственное физической природе. Считается, что в окружающей нас неживой природе нет ничего, кроме циклического движе-

ния, а прямая линия — клеймо человека, прямая линия геометрической абстракции, которая определяет дороги, рельсы и мосты; прямая линия, которая рассекает бесцельные изгибы природы целенаправленным движением от начала к концу.

Приготовление пищи, думала Дагни, похоже на подбрасывание угля в топку паровоза ради быстрого движения, но что за глупое занятие — топить паровоз, которому некуда двигаться? Плохо, если жизнь человека зацикливается, думала она, или становится чередой лет, падающих за спиной, как бесполезные нули. Жизнь должна быть прямой линией от одной цели к следующей, и так до конца — к единому, большому итогу, как путешествие по рельсам железной дороги от станции к станции и… ох, прекрати!

Прекрати, спокойно приказала она себе. Не думай об этом, не заглядывай в будущее, тебе нравится строить свою дорожку, вот и занимайся ей, не смотри дальше, чем на фут вперед.

Она несколько раз ездила на машине в магазин в Вудсток, всего в двадцати милях от ее дома, чтобы закупить еды и прочих припасов. Вудсток оказался крошечным скоплением умирающих построек, возведенных несколько поколений

назад, по причинам и с целью, ныне навеки забытыми. Его не подпитывала ни железная дорога, ни электричество, только автомагистраль округа, да и та пустела от года к году.

Единственный магазин располагался в деревянной лачуге. С углами, заросшими паутиной и сгнившим посередине полом, который не выдержал дождей, проникавших через худую крышу. Хозяйка магазина, толстая, бледная, равнодушная ко всему женщина, двигалась с трудом, но, казалось, даже не замечала этого. Выбор продуктов состоял из пыльных жестянок с выцветшими этикетками, нескольких видов круп и овощей, что гнили в древних корзинках у входной двери.

— Почему вы не уберете овощи с солнцепека? — спросила раз Дагни.

Женщина тупо посмотрела на нее, словно не понимала, о чем ее спрашивают.

— Они там были всегда, — равнодушно ответила она.

Ведя машину обратно к коттеджу, Дагни любовалась горным водопадом, устремлявшимся с невероятной силой с гранитной стены, его брызгами, радугой сиявшими на солнце. Она подумала: здесь можно построить электростанцию,

достаточно мощную, чтобы снабжать электричеством ее коттедж и весь Вудсток — город мог ожить. Те одичавшие яблони, что она видела на холмах в огромных количествах, были остатками садов. Что, если бы кто-нибудь восстановил их, потом построил маленькую ветку к ближайшей железной дороге и… ох, прекрати!

— Сегодня керосина нет, — сообщила хозяйка магазина в ее следующий приезд. — В четверг ночью прошел дождь, грузовики не могут проехать через ущелье Фэрфилд, дорогу затопило, и цистерна с керосином не прибудет до следующего месяца.

— Если вы знаете, что дорогу заливает после каждого дождя, то почему не отремонтируете ее?

Женщина ответила.

— Дорога всегда была такая.

Возвращаясь, Дагни остановилась на вершине холма и посмотрела на раскинувшуюся внизу лесистую местность. Она смотрела на ущелье Фэрфилд, где шоссе, извиваясь в болотистой почве ниже уровня реки, оказывалось в ловушке между двумя холмами. Как просто было бы обойти эти холмы, подумала она, построив дорогу на другом берегу реки. Жителям Вудстока все равно нечего делать, она научила бы их, как проложить дорогу

прямо на юго-восток, сэкономив несколько миль, соединить с автострадой штата, с депо грузовых перевозок…. ох, прекрати!

Она отставила керосиновую лампу и сидела в коттедже при свете свечи, слушая музыку из маленького портативного приемника.

Дагни пыталась отыскать концерт симфонической музыки, торопливо крутя колесико настройки, но все время попадала на пронзительные звуки программ новостей: ей не хотелось их слушать.

Не думай о «*Таггерт Трансконтинентал*», твердила она себе в первую ночь в коттедже. Не думай, пока эти слова не станут такими же безразличными, как «*Атлантик Саусерн*» или «*Ассошиэйтед Стил*». Но проходили недели, а рана не покрывалась целительными рубцами.

Ей казалось, что она сражается с непредсказуемой жестокостью своего собственного разума. Лежа в постели, почти засыпая, она вдруг обнаруживала, что размышляет о том, что на паровозной станции «*Уиллоу Бенд*» в штате Индиана износилась лента конвейера, она сама видела это из окна машины в свой последний приезд туда. Нужно сказать, чтобы его заменили, иначе… И вот она сидит в постели и плачет. *Прекрати!*

Она прекращала плакать, но не могла уснуть всю ночь.

Иногда на закате она сидела на пороге коттеджа и следила за тем, как в сумерках успокаиваются, словно засыпая, листья, как тут и там вспыхивают в траве светляки; вспыхивают медленно, как сигнальные огни, подмигивающие в ночи на железнодорожных путях… Прекрати!

Бывали минуты, когда она не могла с собой справиться и, не в силах переносить почти физическую боль, падала на пол или на траву и сидела, застыв, пряча лицо, борясь с желанием завыть в голос. В этот момент они внезапно оказывались так близко к ней и были так же реальны, как тело любимого: две линии рельсов, стремительно удаляющиеся к точке на горизонте, локомотив, рассекающий пространство грудью, украшенной буквами «*ТТ*», характерный ритм колес под полом *ее* личного вагона, статуя Нэта Таггерта у терминала. Она замирала в напряженном стремлении все забыть, ничего не чувствовать, и только лицо терлось о сложенные ладони, в отчаянных попытках из последних сил беззвучно повторяя вновь и вновь: «Смирись с тем, что все прошло». Наступали промежутки покоя, когда она обретала способность взгля-

нуть на проблему с бесстрастной ясностью, как на решение технической задачи. Но ответа не находила. Дагни понимала, что ее отчаянная тяга, привязанность к железной дороге пройдет, пусть даже эта мысль и казалась ей невероятной и недостойной. Но привязанность эта рождалась из уверенности, что правда и право на ее стороне, что враг нереален и иррационален, что она не может поставить себе другую цель, поскольку не найдет в себе достаточно любви, дабы достигнуть ее, в то время когда истинное достижение потеряно, отнято не высшей силой, а отвратительным злом, победившим вопреки собственному бессилию.

Я смогу отказаться от линий, рельсов и шпал, думала Дагни, смогу найти успокоение здесь, в лесу. Дострою тропу, соединю ее с дорогой внизу, перестрою дорогу, доведу до магазина в Вудстоке… и тут наступит конец. Пустое бледное лицо, взирающее на Вселенную в застоявшейся апатии — вот что станет пределом моих усилий. «*Почему??!*» — услышала Дагни свой крик. Но не услышала ответа.

Так оставайся здесь, пока не услышишь его, думала она. Идти тебе некуда, ты не можешь двигаться вперед, не можешь пересечь полосу

отчуждения до тех пор, пока… пока не узнаешь достаточно, чтобы выбрать станцию назначения.

Длинными тихими вечерами, глядя в недостижимую даль, протянувшуюся на юг в тускнеющем свете, Дагни тосковала о Хэнке Риардене. Ей хотелось увидеть его непреклонное лицо, доверчивый взгляд с искрой улыбки, устремленный на нее. Но она знала, что не сможет увидеть его, пока он не одержит победу в своей битве. Его улыбку нужно заслужить, она предназначалась противнику, который обменивал силу Дагни на его силу, не забитому бедняге, искавшему в этой улыбке облегчение и тем самым разрушившему ее. Он помог бы ей жить, но не мог сделать за неё выбор, она сама должна решить, какую цель избрать, чтобы продолжить жизнь.

Отметив утром в календаре «15 мая», Дагни почувствовала легкое волнение. Она впервые заставила себя прослушать по радио новости, но не услышала имени Риардена. Страх за него остался единственной ниточкой, связывавшей ее с городом, понуждая то и дело поглядывать на горизонт на юге, или на дорогу у подножия холма. Она ловила себя на том, что ждет его появления, прислушивается, ловя далекий шум мотора.

Но единственным звуком, давшим вспышку напрасной надежды, был громкий треск крыльев птицы, вспорхнувшей с ветки в небо.

Еще одна нить связывала ее с прошлым — вопрос, также не получивший ответа: Квентин Дэниелс и мотор, который он пытался восстановить.

Первого июня она должна была послать ему чек на ежемесячную сумму. Сказать ли ему, что она бросила работу, что мотор ей никогда не понадобится, как, впрочем, и всему остальному человечеству? Велеть прекратить работу, и позволить останкам мотора сгинуть в ржавчине в какой-нибудь куче мусора, вроде той, где она его нашла? Но Дагни не могла себя заставить. Казалось, сделать это еще труднее, чем оставить железную дорогу. Таинственный мотор — не ниточка в прошлое, думала она, он — ее последняя связь с будущим. Погубить мотор казалось ей не убийством, а, скорее, актом самоубийства. Приказать Квентину прекратить работу, значит подписаться под признанием того, что впереди уже ничто ее не ждет.

Неправда, думала Дагни, стоя у двери коттеджа утром двадцать восьмого мая, неправда, что в будущем нет места грандиозным достижениям

человеческого разума, это никогда не станет правдой. Несмотря на случившееся, с ней всегда пребудет непреложное убеждение в том, что зло противоестественно и временно. Сегодня утром, как никогда прежде, она чувствовала, что безобразие людей города и неприглядность ее страданий преходящи. При взгляде на солнце, затопившее лес, внутри у нее крепло чувство, огромное и неподдельное, рождавшее улыбку и обещавшее надежду.

Она курила, стоя на пороге. В комнате позади нее из радиоприемника доносились звуки симфонии времен ее дедушки. Почти не вслушиваясь, Дагни следила только за партией струнных, неуловимо гармонировавшей со струйками дыма, закручивавшимися над ее сигаретой, и плавным движением своей руки, время от времени подносившей сигарету к губам. Закрыв глаза, она замерла, наслаждаясь лучами солнца, прикасавшимися к ее телу. Наслаждаться моментом, позволить воспоминаниям о боли притупиться, вот как сейчас, — тоже достижение, думала Дагни. Если она сумеет сохранить это чувство, то наберется сил, чтобы продолжить жизнь.

Сознание не сразу вычленило из музыки легкий шум, напоминавший шорох старой пла-

стинки. Первой реакцией стала отброшенная сигарета. Откуда-то издалека пришло осознание того, что посторонний шум нарастает, и что это звук автомобильного мотора. Потом она невольно вздрогнула — так сильно хотелось ей услышать этот звук, так отчаянно она ждала Хэнка Риардена.

Дагни услышала свой короткий смех, низкий, негромкий, словно она боялась заглушить урчание, уже переросшее в ясно различимый рев взбирающейся вверх по склону машины.

Дагни не видела всей дороги: короткий участок у подножия холма, под аркой смыкавшихся ветвей, был единственным отрезком, доступным ее глазам. Она следила за движением машины по повелительному рокоту сражавшегося с уступами мотора и шуршанию шин на поворотах.

Автомобиль остановился под ветвями деревьев. Она не узнала его, это оказался не черный «хэммонд», а длинный серый кабриолет. Дагни видела, как водитель вышел из кабины. Присутствие этого человека казалось ей невозможным.

Франсиско д'Анкония.

Сильнейшее потрясение, которое она испытала, не напоминало разочарования, скорее, она чувствовала, что разочарование сейчас

было бы неуместным. Радость и странный, торжественный покой, внезапная уверенность в том, что она видит приближение чего-то неведомого, но очень важного.

Франсиско устремился к коттеджу быстрыми шагами, пока не поднял голову. Увидев ее на пороге дома, он остановился. Дагни не могла рассмотреть выражение его лица. Он долгую минуту стоял на месте, смотря на нее. Потом продолжил путь наверх.

Дагни как будто ожидала, что повторится сцена из их детства. Франсиско шел к ней — не бежал, но нетерпеливо приближался с победоносным и уверенным видом. Нет, подумала она, это не детство, это возможное будущее, которое представлялось ей в те далекие дни, когда она ждала его прихода как освобождения из тюрьмы. Мгновенный образ утра… оно могло бы осуществиться, если бы исполнились ее детские мечты, если бы они оба пошли тем путем, в который Дагни так верила. Благоговейно замерев, она стояла, глядя на него, впитывая момент не будущего, нет, их общего прошлого.

Когда Франсиско приблизился достаточно, чтобы Дагни смогла рассмотреть его лицо, оказалось, что оно сияет радостью, преодолевшей

серьезность человека, заслужившего право на беспечность. Он улыбался, насвистывая мотив, созвучный размеренным, летящим шагам.

Мелодия показалась ей смутно знакомой. Дагни чувствовала, как она уместна, и в то же время, было в ней нечто странное, что непременно хотелось понять, вот только сейчас она не могла об этом думать.

— Привет, Чушка!

— Привет, Фриско!

По тому, как он смотрел на нее, как на мгновение прикрыл глаза, как тряхнул головой, по его легкой полуулыбке, по тому, как беспомощно расслабились губы, а руки, обнявшие ее, оказались резки, Дагни поняла, что все происходит против его воли, что он не собирался так себя вести, но то, что случилось, было правильно, и сопротивляться они оба были не в силах.

Неистовость объятий, причиняющие боль губы, прижавшиеся к ее губам, ликующая капитуляция тела при прикосновении к ней, выдавали не минутное удовольствие; она знала, что не физиологический голод доводит мужчину до такого состояния. Дагни понимала, что это признание, которого прежде никогда от него не слышала, самое великое признание, какое только может

сделать мужчина женщине. Неважно, что он натворил, сломав свою жизнь, он все равно остался прежним Фриско, в постели с которым она испытывала такую гордость. Неважно, что мир не раз предавал Дагни, ее понимание жизни осталось прежним, и некая нерушимая часть его передалась и Франсиско. И, в ответ на эту общность, ее тело откликнулось, ее руки и губы устремились к нему, признаваясь в страстном желании, в благодарности, которые она всегда отдавала ему и всегда будет отдавать.

Но затем ее пронзила боль понимания того, что, чем крупнее личность, тем ужаснее вина в разрушении самое себя. Она отшатнулась от него, покачала головой и сказала им обоим:

— Нет.

Обезоруженный, он смотрел на нее, улыбаясь:

— Не сейчас. Сначала ты должна мне еще многое простить. Но теперь я расскажу тебе все.

Дагни никогда еще не слышала в его низком голосе такой беспомощности. Он с трудом овладел собой. В его улыбке читалось извинение ребенка, просящего о снисхождении, и радостное удивление взрослого, который со смехом объявляет, что не станет скрывать своих усилий, потому что борется со счастьем, а не с болью.

Она отступила назад, эмоции захлестнули ее против воли, теснившиеся в голове вопросы не могли вылиться в слова.

— Дагни, та пытка, через которую ты прошла за последний месяц… ответь мне, только честно… ты смогла бы вынести ее двенадцать лет назад?

— Нет, — ответила Дагни, и Франсиско улыбнулся в ответ. — Почему ты об этом спрашиваешь?

— Чтобы искупить двенадцать лет своей жизни, которым нет прощения.

— Что ты имеешь в виду? И… — вопросы, наконец, сложились в слова. — И что ты знаешь о моей пытке?

— Дагни, разве ты еще не поняла, что я знаю о тебе все?

— Как… Франсиско! Что ты насвистывал, когда поднимался на холм?

— Разве я насвистывал? Не заметил.

— Пятый концерт Ричарда Халлея, верно?

— О… я… — он ошарашенно замолк, потом удивленно улыбнулся и серьезно ответил: — Я скажу тебе об этом позднее.

— Как ты узнал, где я?

— Я и это тебе скажу.

— Ты выпытал у Эдди.

— Я не видел Эдди около года.

— Он единственный знал, где я нахожусь.

— Мне не Эдди сказал об этом.

— Я не хотела, чтобы меня нашли.

Франсиско медленно огляделся; она заметила, как его взгляд задержался на восстановленной ею тропе, приведенных в порядок цветах, на свежей дранке кровли. Он хмыкнул, как будто все понял, и это его ранило.

— Нельзя было оставлять тебя здесь на целый месяц, — объявил он. — Господи, нельзя! Это мой промах, и я не хотел так ошибиться. Но мне казалось, ты не готова бросить все. Если бы я знал, то следил бы за тобой днем и ночью.

— Правда? Для чего?

— Чтобы разделить с тобой, — он указал на дело ее рук, — все это.

— Франсиско, — изменившимся голосом произнесла Дагни, — если тебя волнует перенесенная мной пытка, то ты должен знать, что я не желаю слышать, как ты об этом говоришь, потому что... — Дагни замолкла. Она никогда ему не жаловалась, ни разу за все эти годы. Совладав с голосом, она закончила: — Просто не хочу об этом слышать.

— Потому что я — единственный человек, ко-

торый не имеет права говорить об этом? Дагни, ты думаешь, что я не знаю, как много боли я тебе причинил? Я расскажу тебе о тех годах, когда я… Но это все позади. О, дорогая, все позади!

— Утром.

— Но все кончено, дорогая! Все позади!

— Вот как?

— Прости, я не должен говорить так до тех пор, пока ты сама не скажешь, — пробормотал Франсиско изменившимся голосом. Счастье переполняло его, бороться с ним было выше его сил.

— Ты рад тому, что я потеряла все, ради чего жила? Хорошо, я скажу сама, если ты пришел, чтобы это услышать: ты — первый, кого я потеряла. Тебя забавляет, что теперь я утратила все остальное?

Франсиско пристально всматривался в Дагни, от усилий его глаза сузились, словно угрожая, и она поняла, что не имела права на слово «забавляет» по отношению к прошедшим годам.

— Ты действительно так думаешь? — глухо спросил он.

— Нет… — прошептала она.

— Дагни, мы не можем потерять то, ради чего живем. Иногда нам приходится изменять форму смысла жизни, и, порой, мы можем совершить

ошибку, но смысл остается прежним, а менять его форму — наше право.

— Я твердила это себе целый месяц. Но мне отрезан путь к цели, неважно, какова она.

Франсиско не ответил. Он присел на валун у порога, глядя на Дагни так пристально, словно боялся упустить малейшую тень, промелькнувшую на ее лице.

— Что ты сегодня думаешь о тех людях, что ушли от дел и исчезли? — спросил он.

С беспомощной, грустной улыбкой Дагни пожала плечами и присела рядом с ним на камень.

— Знаешь, я думала, что за ними приходит какой-то разрушитель и принуждает их скрыться. Но теперь я полагаю, что его не существует. За последний месяц случались минуты, когда мне почти хотелось, чтобы он пришел и за мной. Но никто не пришел.

— Никто?

— Никто. Я думала, что он сообщает людям некую неопровержимую, но непознанную ими истину, которая заставляет их предавать все, что они любили. Но в этом нет нужды. Я понимаю, что они чувствовали. И больше не виню их. Вот только не могу понять, как они могли научиться жить после ухода, если только они

еще живы.

— Ты считаешь, что предала «*Таггерт Трансконтинентал*»?

— Нет. Я… я чувствую, что предала бы ее, оставшись на рабочем месте.

— Верно.

— Если бы я согласилась служить мародерам, то… то предала бы Нэта Таггерта. Этого я сделать не могла. Не могла допустить, чтобы его и мое достижение, в конце концов, завершилось тем, что попало в руки мародеров. Не такой была наша цель.

— И ты называешь это безразличием? Ты считаешь, что теперь любишь свою железную дорогу меньше, чем месяц назад?

— Я отдала бы жизнь за один год на железной дороге… Но не могу туда вернуться.

— Тогда ты знаешь, что чувствовали все, кто ушел, и *что* они любили, когда уходили.

— Франсиско, — наклонив голову и не глядя на него, спросила Дагни, — почему ты спросил, не сдалась бы я двенадцать лет назад?

— Ты понимаешь, о какой ночи я все время думаю так же, как и ты?

— Да… — прошептала Дагни.

Медленно, с усилием, она подняла на него

глаза.

На его лице она увидела то же выражение, что и утром двенадцать лет назад: подобие улыбки, хотя губы не улыбались. Спокойную победу над страданием, мужскую гордость за ту цену, которую он заплатил, и за то, *что* стоило этой цены.

— Но ты не сдался, — возразила она. — Ты не бросил дело, ты до сих пор президент «*Д'Анкония Коппер*», просто теперь это для тебя ничего не значит.

— Сегодня дело значит для меня столь же много, как и в ту далекую ночь.

— Зачем тогда ты разрушил компанию?

— Дагни, ты счастливее меня. «*Таггерт Трансконтинентал*» — средоточие высокоточных механизмов. Компания недолго сможет существовать без тебя. Не сможет двигаться лишь при помощи рабской силы. Они безжалостно разрушат ее сами, и ты не увидишь — просто не успеешь увидеть, — как твоя дорога служит мародерам. Но добыча медной руды — дело попроще. «*Д'Анкония Коппер*» продержится под присмотром нескольких поколений грабителей и рабов. Управляемая грубо, жалко, неумело, она все равно поможет им выживать. Я должен

разрушить ее своими руками.

— Ты… что?

— Я сознательно и последовательно разрушаю «*Д'Анкония Коппер*», преднамеренно и планомерно, своими собственными руками. Я спланировал все так аккуратно и работал так усердно, как будто зарабатывал себе состояние, чтобы не дать им заметить и остановить меня, чтобы не дать им захватить рудники до тех пор, пока не станет слишком поздно. Все силы и энергию, что ожидали от меня в управлении «*Д'Анкония Коппер*», я потратил не на то, чтобы усилить компанию. Я разрушу ее до последнего камня, до последнего цента моего состояния, до последней унции меди, которая могла бы достаться мародерам. Я не оставлю ее в том жирном благополучии, в каком унаследовал, я верну ее к тому, с чего начинал Себастьян д'Анкония, а потом предоставлю им попробовать выжить без него и без меня!

— Франсиско! — вскричала Дагни. — Как ты мог заставить себя сотворить такое?

— По милости той же любви, какую питаешь ты сама, — спокойно ответил он. — Моей любви к «*Д'Анкония Коппер*» и ради того духа, чьим воплощением она является. Была, есть и когда-нибудь станет снова.

Дагни стояла молча, пытаясь собрать воедино все сказанное — все то, что повергло ее в оцепенение. В тишине стала слышна музыка из радиоприемника, и ритм струнных настиг ее, подобно медленным глухим шагам. Перед мысленным взором Дагни пронеслись прошедшие двенадцать лет: измученный мальчик, просящий о помощи у нее на груди; мужчина, сидящий на полу, играя в марблс и смеясь над разрушением промышленных монополий; мужчина, отказывающийся ей помочь с криком: «Любовь моя, я не могу!»; мужчина, произносящий в дымном баре тост за долгие годы, которые пришлось ждать Себастьяну д'Анкония…

— Франсиско… я многое поняла про тебя… но никогда не думала, что ты — один из тех, кто ушел…

— Я ушел одним из первых.

— Я думала, что эти люди всегда исчезают…

— А разве я не исчез? Разве это не самое худшее, что я тебе причинил — бросил тебя, предоставив любоваться испорченным плейбоем, который уже не был тем Франсиско д'Анкония, которого ты знала?

— Да… — прошептала она, — только самое худшее то, что я так и не смогла в это поверить…

никогда не верила… Каждый раз, глядя на тебя, я видела того Франсиско д'Анкониа…

— Знаю. И знаю, чего это тебе стоило. Я старался помочь тебе понять, но время еще не пришло. Дагни, если бы тогда, когда ты пришла ко мне, чтобы проклясть за то, что я сделал с шахтами Сан-Себастьяна, я бы тебе сказал, что я не пустой бездельник, что я стараюсь ускорить разрушение всего, чему мы с тобой поклонялись: «*Д'Анкония Коппер*», «*Таггерт Трансконтинентал*», «*Уайэтт Ойл*», «*Риарден Стил*», — стало бы тебе легче понять меня?

— Нет, только труднее, — прошептала Дагни. — Я даже сейчас не уверена, что могу принять то, что случилось. Ни твою форму отречения, ни мою… Но, Франсиско, — она внезапно вскинула голову, чтобы посмотреть ему в глаза, — если это и есть твоя тайна, то из всего, что ты пережил, я была…

— Да, моя дорогая, ты — моя беда! — в своем отчаянном то ли крике, то ли смехе он признавался в агонии, которую так хотел изжить. Он схватил ее за руку, прижал пальцы к губам, потом ко лбу, чтобы не дать ей увидеть, чем отразились на его лице прошедшие двенадцать лет. — Если только возможно искупить… какое бы страдание я

тебе ни принес, я заплатил за него… ведь я знал, *что* причинил тебе, но должен был это сделать… И ждать, ждать, покуда… Но теперь все кончено.

Улыбаясь, Франсиско поднял голову; он прочел в ее глазах отчаяние, и в его взгляде появилась хрупкая нежность.

— Дагни, не думай об этом. Я не попытаюсь оправдать себя теми страданиями, которые перенес. В чем бы ни состояла причина, я знал, что делаю, и знал, что терзаю тебя. Понадобятся годы, чтобы все исправить. Забудь, что… — она поняла, его объятие подсказало ей, о чем он говорит. — Из того, что я должен сказать тебе, это будет последним, — но его глаза, его улыбка, его пальцы на ее запястье свидетельствовали совсем о другом. — Ты слишком многое пережила, и тебе придется научиться многое понимать, чтобы зажили шрамы той пытки, с которой ты не должна была столкнуться. Сейчас имеет значение только то, что ты свободна. Мы оба свободны, мы свободны от мародеров, им до нас не добраться.

Борясь с безысходностью, Дагни тихо вздохнула:

— За этим я сюда и приехала — чтобы понять. Но не понимаю. Кажется ужасным, неправиль-

ным, уступить наш мир мародерам, и еще ужаснее жить под их властью. Я не могу ни сдаться, ни вернуться. Не могу жить без работы и не могу работать как раб. Я всегда думала, что любая драка достойнее, чем отречение. Я не уверена, что мы были правы, ты и я, уйдя со сцены. Но сражаться невозможно. Мы капитулируем, если уйдем, но и, оставшись, тоже капитулируем. Я больше не знаю, что правильнее.

— Проверь логические посылки, Дагни. Противоречие невозможно.

— Но я не нахожу ответа. Я не могу упрекать тебя за то, что ты делаешь, хоть это вызывает у меня ужас, ужас и восхищение одновременно. Ты, наследник семьи д'Анкония, превзошедший предков, направил свой несравненный талант на разрушения. Я играю с булыжниками, перестилаю кровлю, когда трансконтинентальная железнодорожная система разваливается в руках моральных уродов. А ведь от таких, как мы с тобой, зависит судьба мира. Если мы допустили то, что случилось, значит, в этом есть и наша вина. Только я не могу разобраться, в чем состояла ошибка.

— Да, Дагни, в том, что произошло, есть наша вина.

— Потому что мы работали недостаточно усердно?

— Потому что мы работали *слишком* усердно, но требовали *слишком* мало.

— О чем ты?

— Мы никогда не требовали от мира платы, которую он нам задолжал, и позволяли нашему заслуженному вознаграждению уходить к не заслуживающим того людям. Ошибка произошла сотни лет назад, ее совершили Себастьян д'Анкония, Нэт Таггерт и каждый из тех, кто кормил мир и в ответ не получал даже благодарности. Ты сегодня не знаешь, что хорошо, а что плохо? Дагни, это не битва за материальные ценности. Это моральный кризис, крупнейший за все время существования мира и последний. Наш век — кульминация столетий зла. Мы, люди разума, должны положить этому конец, раз и навсегда, или погибнуть. Мы сами виноваты. Мы создали мировое богатство, но позволили своим врагам написать свод моральных законов этого мира.

— Но мы никогда не принимали их законов. Мы жили по собственным стандартам.

— Да, и платили за это штрафы! Штрафы, выкупы, материальные и духовные: деньгами, которые наши враги получали, хоть и не за-

служивали, и честью, которую мы заслужили, но не получили. Наша ошибка заключалась в том, что мы платили их добровольно. Мы поддерживали жизнь человечества и все-таки позволяли людям презирать нас и преклоняться перед разрушителями. Мы позволяли им поклоняться некомпетентности и жестокости, потребителям и расточителям незаработанного благосостояния. Принимая наказание не за отсутствующую вину, а за добродетели, мы предавали наш кодекс и допускали существование их законов. Дагни, их мораль — мораль тех, кто делает людей заложниками. Они делают заложником твою любовь к добродетели. Они знают, ради работы и возможности производить ты вытерпишь все, потому как полагаешь, что достижение — высочайшая нравственная цель человека, он не может существовать без нее, и твоя любовь к добродетели — это твоя любовь к жизни. Дагни, твои враги разрушают тебя твоими собственными руками. Твоя щедрость и твоя стойкость — их единственное оружие. Твоя собственная нравственность — только ею они могут удержать тебя. Они это знают. Ты — нет. Но они боятся, что настанет день, когда ты откроешь для себя эту истину. Ты должна научиться по-

нимать их. Ты не сможешь освободиться от них, пока не поймешь их. Но когда поймешь, тобой овладеет праведный гнев такой силы, что ты, скорее, собственноручно выломаешь каждый рельс «*Таггерт Трансконтинентал*», чем отдашь его на службу этим людям!

— Но оставить дорогу им! — простонала Дагни. — Отказаться от нее… Отказаться от «*Таггерт Трансконтинентал*» теперь, когда она… Она же совсем как человек…

— Была. Но все кончено. Оставь ее мародерам. Она не принесет им добра. Пусть все идет, как идет. Нам она не нужна. Мы можем ее построить заново. Они не могут. Мы выживем без нее. Они не выживут.

— Но нас заставили отречься и сдаться!

— Дагни, мы, которых убийцы человеческого духа прозвали «материалистами», мы — единственные, кто знает, как мало значат материальные объекты, потому что значение и ценность этих объектов зависит от нас. Мы можем себе позволить временно сдаться, чтобы создать нечто более значительное. Мы — душа, без которой железные дороги, медные рудники, сталелитейные заводы и нефтяные месторождения всего лишь тела, тупые организмы. Они словно сердце,

день и ночь бьющееся, выполняющее священную функцию поддержки человеческой жизни, но лишь до тех пор, пока остаются нашим телом, материальным выражением и достижениями. Без нас они станут трупами, их единственная продукция — яд, а не богатство и пища, трупный яд разложения, превращающий людей в орды стервятников. Дагни, научись понимать природу своей силы и ты поймешь окружающий тебя парадокс. Ты не должна зависеть от материального имущества, это оно зависит от тебя, ты его создаешь, ты владеешь одним-единственным орудием производства. Где бы ты ни оказалась, ты всегда будешь способна производить ценности. Но мародеры, согласно их собственной теории, постоянно находятся в отчаянной, врожденной нужде и всецело зависят от материи. Почему ты не отдашь им то, о чем они просят? Им нужны железные дороги, заводы, шахты, моторы, которых они не могут создать, которыми не могут управлять. Зачем им твоя дорога без тебя? Кто свяжет ее воедино? Кто поддержит ее жизнь? Кто спасет ее, снова и снова? Твой брат Джеймс? Кто его накормит? Кто накормит мародеров? Кто производит для них оружие? Кто даст право обратить тебя в рабство? Жуткое зрелище: битые жизнью

мелкие невежды, которые тщатся удержать контроль над тем, что создано гением — кто сделал его возможным? Кто поддерживал твоих врагов, кто выковал твои цепи, кто разрушил твои достижения?

Как будто беззвучный крик заставил ее распрямиться. Он вскочил на ноги, словно пружина, голос зазвучал безжалостным триумфом:

— Ты начинаешь понимать, Дагни, верно? Дагни! Оставь им руины своей железной дороги, брось им все ржавые рельсы, гнилые шпалы и развалившиеся паровозы, но не отдавай своего разума! Не отдавай им своего разума! От твоего решения зависит судьба мира!

— …Дамы и господа, — прервал божественную музыку исполненный паники голос из радиоприемника. — Мы прерываем трансляцию. Специальное сообщение. Рано утром на главной линии «*Таггерт Трансконтинентал*» в Уинстоне, штат Колорадо, произошла величайшая катастрофа в истории железных дорог, полностью разрушившая знаменитый туннель Таггерта…

Ее крик прозвучал точно так же, как последние крики в темноте взорвавшегося туннеля. Они оба бросились в коттедж, к приемнику, и застыли в безмолвном ужасе. Дагни впилась

взглядом в приемник; Франсиско смотрел на ее лицо, и горестный крик Дагни звучал в его ушах до окончания сообщения.

— …Детали происшествия мы узнали от Люка Била, кочегара «*Кометы*», главного лайнера «*Таггерт Трансконтинентал*». Сегодня утром Била нашли у западного портала туннеля, без сознания. Он единственный, кто выжил в катастрофе. Вследствие беспрецедентных нарушений правил безопасности, обстоятельства которых в настоящее время не до конца изучены, «*Комета*», следовавшая рейсом в западном направлении на Сан-Франциско, была направлена в туннель с паровым угольным локомотивом. Туннель Таггерт, протяженностью восемь миль, был проложен в труднодоступном участке Скалистых гор и считается инженерным чудом, равных которому нет во всем мире. Он построен Натаниэлем Таггертом в эру чистых, бездымных электрических дизелей. Вентиляционная система туннеля не рассчитана для использования дымных угольных паровозов. Посылать в туннель паровоз значило обречь людей на гибель в удушливом дыму, о чем было известно всем служащим отделения железной дороги. Несмотря на это, «*Комета*» получила приказ отправиться в рейс.

Согласно показаниям кочегара Била, воздействие дыма начало сказываться, когда поезд углубился в туннель на три мили. Машинист Джозеф Скотт вел поезд на всех парах, в отчаянной попытке достичь максимальной скорости, но старый, изношенный паровоз не справлялся с массой длинного состава. Ситуация усугублялось тем, что дорога шла вверх по склону. Сражаясь со сгущающимся дымом, машинист и кочегар с трудом довели скорость изношенных двигателей до сорока миль в час, когда один из пассажиров, поддавшись панике, дернул стоп-кран. Внезапный толчок сломал воздуховод парового двигателя, исключив тем самым возможность его повторного запуска. Из вагонов раздавались крики. Пассажиры разбивали окна. Машинист Скотт безуспешно пытался запустить двигатель, но, задохнувшись в дыму, потерял сознание.

Кочегар Бил выпрыгнул из паровоза и побежал. Он уже видел западный портал туннеля, когда услышал за спиной взрыв, после чего лишился чувств. Дальнейший ход событий мы выяснили у служащих станции Уинстон. Из их показаний явствует, что специальный военный грузовой состав, груженный взрывчатыми веществами, не получил предупреждения о нахождении впе-

реди на трассе *«Кометы»*. Оба поезда следовали со значительным опозданием и выпали из графика. Случилось так, что грузовой состав получил приказ следовать вперед, не обращая внимания на сигналы, поскольку сигнальная система туннеля вышла из строя. Вопреки правилам, регулирующим скорость, несмотря на частые сбои в работе вентиляционной системы, по молчаливому уговору, машинисты проходили туннель на полной скорости. В настоящее время установлено, что «*Комета»* остановилась именно в той точке, где туннель круто изгибается. Установлено, что к этому моменту все ее пассажиры были мертвы. Вызывает сомнение, что машинист специального грузового, следуя к повороту со скоростью восемьдесят миль в час, способен был вовремя заметить обзорные окна последнего вагона «*Кометы»*, ярко освещенные при отбытии со станции Уинстон. Известно только, что специальный грузовой врезался в последний вагон «*Кометы»*. Сила взрыва груза специального состава была такова, что выбила окна на фермах в пяти милях от туннеля и обрушила такой объем горных пород, что спасательные команды до сих пор не могут преодолеть участок в три мили, чтобы добраться до поезда. У них нет надежды

отыскать выживших. Они уверены, что туннель Таггерта не подлежит восстановлению…

Дагни не двигалась. Казалось, она видит не комнату в своем доме, а сцену трагедии, разыгравшейся в Колорадо. Внезапно она судорожно дернулась и с автоматизмом сомнамбулы схватилась за сумочку, будто та ей немедленно понадобилась. После этого Дагни развернулась и бегом бросилась к двери.

— Дагни! — крикнул ей вслед Франсиско. — Не возвращайся туда!

Но его крик не имел больше над ней власти, словно их разделили многие мили, что протянулись до гор Колорадо.

Франсиско побежал за ней, догнал и схватил за локоть, повторяя:

— Не возвращайся туда! Дагни! Ради всего святого, не возвращайся!

Она посмотрела на него так, словно видела впервые. Франсиско в отчаянии даже был готов сломать ей руку, но Дагни высвободилась с невероятной силой животного, борющегося за жизнь; Франсиско даже на мгновение потерял равновесие. Когда он выпрямился, она сломя голову сбегала с холма — так же, как бежал когда-то сам Франсиско, услышав аварийную сирену на заводе

Риардена — прямиком к своей машине, стоявшей на дороге внизу.

Прошение об отставке лежало перед ним на столе, и Джеймс Таггерт неотрывно смотрел на него, сгорбившись от ненависти. Он таращился на лист бумаги, словно на заклятого врага, как будто не слова, написанные на нем, а именно бумага и чернила придавали прошению законченность. Он всегда считал мысли и слова неубедительными, но их материального выражения — обязательства — он избегал всю жизнь.

Он пока еще не принял окончательного решения, продиктовав прошение «на всякий случай». Прошение должно было стать формой защиты. Но *на всякий случай* он пока его не подписал, и это было защитой против защиты. Его ненависть объяснялась одной простой причиной: он понимал, что ему не удастся растягивать этот процесс до бесконечности.

Джеймс получил сообщение о катастрофе в восемь утра, но в свой офис приехал к полудню. Инстинкт самосохранения подсказывал ему, что сейчас он обязан быть в конторе.

Люди, тасовавшие его крапленые карты в игре, которую он так хорошо знал, в одночасье исчезли. Клифтон Лоси прикрылся медицинской

справкой, удостоверявшей, что в настоящее время его нельзя беспокоить по причине тяжелого заболевания сердца. Один из управляющих прошлой ночью отбыл в Бостон, другого неожиданно вызвали в неизвестную клинику, к постели больного отца, о котором никто прежде не слышал. Телефон в доме главного инженера не отвечал. Вице-президента по связям с общественностью не могли разыскать.

Подъезжая на машине к конторе, Таггерт видел огромные черные буквы на первых полосах всех газет. Шагая по коридорам «*Таггерт Трансконтинентал*», он слышал голос диктора из радиоприемника в чьем-то кабинете, похожий на зловещий голос бандита, подстерегающего жертв в темном переулке. Диктор требовал национализации железных дорог.

Джеймс специально громко стучал каблуками, чтобы его видели сотрудники, и двигался достаточно быстро, чтобы никто не остановил его неуместным вопросом. Запершись в кабинете, он приказал секретарю никого не пускать и ни с кем не соединять его по телефону, а всем визитерам говорить, что мистер Таггерт очень занят.

Потом он сидел за столом, парализованный

ужасом. Джеймсу мерещилось, что он заперт в подземелье и замок ему не открыть. Еще ему казалось, что его выставили на публичное обозрение перед всем городом, и тогда он молился, чтобы замок продержался как можно дольше. Он должен находиться здесь, в своем кабинете, просто сидеть и ждать неизвестно кого, любого, кто пришел бы к нему и объяснил, что делать. Он одинаково боялся и того, что к нему могут прийти, и того, что никто не придет и не подскажет, как теперь быть.

Телефонные звонки в приемной напоминали крики о помощи. Джеймс смотрел на дверь со злорадным торжеством при мысли о людях, остановленных равнодушной фигурой его секретаря, молодого специалиста, ни в чем не преуспевшего так, как в искусстве уверток, которым владел в совершенстве с безрадостной резиновой вялостью человека, лишенного моральных норм. Сейчас, думал Таггерт, раздаются голоса из Колорадо, из каждого центра, каждого офиса сети Таггертов. До тех пор, пока Джеймс их не слышит, он в безопасности.

Все чувства слиплись у Джеймса внутри в один плотный мутный шар, куда не пробивались мысли враждебно настроенных людей — управ-

лявших отделениями, от которых нет спасения. Острые приступы страха накатывали при мысли о членах совета директоров, но для них было заготовлено прошение об отставке, его пожарный выход: он убежит, а они окажутся в огне. Самый сильный приступ страха обрушился на него при мысли о людях из Вашингтона. Если они позвонят, ему придется отвечать, его резиновый секретарь знает, перед чьими голосами приказы Джеймса бессильны. Но из Вашингтона не звонили.

Спазмы страха следовали один за другим так, что во рту пересыхало. Джеймс и сам не знал, чего боится. Понимал только, что испугался не диктора. При звуке этого зловещего голоса он испытывал служебный страх, неизбежный при той должности, что он занимал, и привычный, как хорошо сшитый костюм и речи на официальных застольях. Но под его покровом затаилась слабая надежда, едва уловимая и вороватая, как тараканья пробежка: если угроза обретет *конкретное* выражение, то все разрешится, спасая его от принятия решения, от подписания прошения… он не будет больше президентом «*Таггерт Трансконтинентал*», но и никто другой никогда им не станет… никто

больше не станет президентом…

Джеймс сидел, уставившись в стол, не позволяя взгляду и мыслям сосредоточиться. Он словно растворился в туманном облаке, сопротивляясь его попыткам принять какую-то форму. Все, что существует, имеет название. Джеймс мог удержать от существования все что угодно, отказываясь его назвать.

Он не проверил, что конкретно произошло в Колорадо, не пытался изучить причину событий, не просчитывал возможные последствия. Он не думал. Слипшийся комок чувств давил в груди реальной тяжестью, наполнял сознание, лишал способности рассуждать. Этот комок состоял из ненависти — его единственным ответом стала ненависть, ненависть к самой реальности, ненависть, не имеющая конкретного объекта, причины, начала и конца. Она была обращена ко всей Вселенной как оправдание, как выстраданное право, как абсолют.

Телефонные звонки не умолкали, разрывая тишину. Джеймс понимал, что эти крики о помощи обращены не к нему, а к человеку, чей образ он украл. И теперь телефонные звонки этот образ с него срывали. Джеймсу казалось, что они превратились в хлысты, полосующие его череп.

Объект ненависти, будто очерчиваемый этими звонками, начал приобретать форму. Плотный комок внутри взорвался и толкнул на слепые действия. Вылетев из комнаты, не обращая внимания на окружившие его лица, он бегом бросился вниз, в производственный отдел, к приемной вице-президента.

Через распахнутую настежь дверь он увидел в широких окнах небо над пустым столом. Потом заметил подошедших сотрудников, белокурую голову Эдди Уиллерса за стеклянной стеной. Решительно направился к Эдди, рванул стеклянную дверь и с порога, так, чтобы слышали все, заорал:

— Где она?!

Эдди Уиллерс медленно поднялся из-за стола, со спокойным любопытством глядя на Таггерта, как на еще один странный объект среди множества неожиданных явлений, которые он изучал. Эдди не ответил.

– Где она?

— Я не могу вам этого сказать.

— Послушайте, ты, тупой подонок, сейчас не до церемоний! Если ты задумал убедить меня, что не знаешь, куда она сгинула, то я не поверю! Ты знаешь, где она, и скажешь об этом мне, ина-

че я доложу Объединенному совету! Я поклянусь им, что ты знаешь, где ее найти, и попробуй тогда убедить их в обратном!

Эдди ответил с легким оттенком удивления:

— Я никогда не делал вид, что не знаю, где она находится, Джим. Я это знаю. Но вам не скажу.

Крик Таггерта превратился в дрожащий, бессильный визг, выдавший, что он понял свой просчет.

— Ты соображаешь, что говоришь?

— Ну конечно, понимаю.

— И повторишь при свидетелях? — он махнул рукой в сторону приемной.

Эдди повысил голос, более для четкости, чем для громкости:

— Я знаю, где она находится. Но вам не скажу.

— Ты признаешься в том, что являешься сообщником дезертира?

— Если хотите, можете назвать это так.

— Но это же преступление! Преступление против нации. Ты понимаешь?

— Нет.

— Это противоречит закону!

— Да.

— В стране чрезвычайное положение! Ты не имеешь права на частные секреты! Ты ута-

иваешь жизненно важную информацию! Я — президент железной дороги! Я приказываю тебе отвечать! Ты не можешь не подчиниться моему приказу! Это подсудное дело! Ты понимаешь?

— Да.

— Ты отказываешься отвечать?

— Отказываюсь.

Годы тренировок приучили Таггерта следить за окружающими, не подавая виду. Он видел напряженные, замкнутые лица сотрудников, явно не его союзников. Все лица выражали отчаяние, кроме лица Эдди Уиллерса. «Феодального слугу» компании «*Таггерт Трансконтинентал*», кажется, единственного не затронуло несчастье. Он взирал на Таггерта безжизненным, тупым взглядом школяра, столкнувшегося с областью знаний, которую не собирался изучать.

— Ты понимаешь, что ты — предатель? — визжал Таггерт.

Эдди спокойно уточнил:

— Кого я предал?

— Людей! Укрывать дезертира преступно! Это экономическое преступление! Твой долг служения людям превыше всего! Тебе это скажет любой представитель общественности! Ты этого не знал? Понимаешь, что с тобой сделают?

— Разве неясно, что мне на это наплевать?

— Ах, вот как? Я передам твои слова в Объединенный совет! У меня достаточно свидетелей, которые могут подтвердить твои слова…

— Не беспокойтесь о свидетелях, Джим. Не вмешивайте их. Я запишу все, что сказал, и подпишусь под своими словами, и можете передать их Объединенному совету.

Внезапно вспыхнув, словно от пощечины, Таггерт завизжал:

— Кто ты такой, чтобы выступать против правительства? Кто ты такой, жалкая конторская крыса, чтобы обсуждать национальную политику и иметь на ее счет собственное мнение? Не думаешь ли ты, что у страны есть время заботиться о твоем мнении, твоих устремлениях или о твоей драгоценной маленькой совести? Тебе нужно усвоить один урок — всем вам! — избалованным, потакающим своим страстишкам, недисциплинированным мелким клеркам, возомнившим, что вся эта дребедень о правах говорится всерьез! Тебе нужно усвоить, что у нас теперь не времена Нэта Таггерта!

Эдди не сказал ничего. Несколько мгновений они стояли, глядя друг на друга через стол. Физиономия Таггерта была искажена яростью,

лицо Эдди сохраняло строгую безмятежность. Джеймс Таггерт слишком хорошо знал жизнь Эдди Уиллерса. Эдди Уиллерс не мог понять жизни Джеймса Таггерта.

— Думаешь, страна станет беспокоиться о твоих или ее желаниях? — продолжал кричать Таггерт. — Ее долг — вернуться! Ее долг — работать! Нас не волнует, хочет она работать или нет! Она нам нужна!

— Нужна вам, Джим?

Инстинкт самосохранения заставил Таггерта отпрянуть в сторону от звука очень уж спокойного, *подозрительно* спокойного голоса Эдди Уиллерса. Но Эдди не двинулся вслед за ним. Он остался стоять у своего стола, как пристало вышколенному офисному работнику.

— Вы не найдете ее, — продолжил он. — Она не вернется. Я рад, что она не вернется. Вы можете умереть с голоду, можете закрыть железную дорогу, можете бросить меня в тюрьму, застрелить меня, разве это имеет значение? Я все равно не скажу вам, где она. Если вся страна развалится у меня на глазах, я и тогда не скажу. Вы не найдете ее. Вы…

Все обернулись на громкий звук распахнувшейся двери. На пороге стояла Дагни. Платье

помято, волосы спутались от долгих часов, проведенных за рулем. Она обвела комнату глазами, будто припоминая, где находится, но, казалось, без особого успеха. Взгляд ее словно быстро пересчитал находящиеся вокруг предметы. Лицо Дагни изменилось, казалось, состарилось, но не от появления морщинок, а из-за застывшего, обнаженного взора, исполненного одной лишь безжалостности.

Первой реакцией, опередившей удивление, был пронесшийся по всей комнате вздох облегчения. Эмоция отразилась на лицах всех, кроме Эдди: только что такой спокойный, он молча уронил голову на стол; его плечи сотрясались от беззвучных рыданий.

Как бы не узнавая окружающих, не здороваясь, словно она и не покидала офиса, и в приветствиях не было нужды, Дагни направилась к двери кабинета. Проходя мимо стола секретарши, механическим голосом, не выражавшим ни грубости, ни ласки, она велела:

— Попросите Эдди зайти.

Джеймс Таггерт опомнился первым, словно испугался, что потеряет ее из виду. Семеня следом, он возопил:

— Я не мог этому помешать! — тут жизнь вер-

нулась к нему, его обычная, нормальная жизнь, и он крикнул: — Это твоя авария! Ты это сделала! Ты во всем виновата! Потому что ты *сбежала*!

Джим подумал, уж не показалось ли ему, что он действительно это сказал? Лицо Дагни не изменилось, она просто повернулась к нему. Казалось, она слышит звуки, не различая слов и не понимая их значения. На мгновение он остро почувствовал, что очутился на самом краю небытия.

По губам Дагни скользнула легкая гримаска: она заметила присутствие какого-то человека, но смотрела мимо него. Обернувшись, Джим увидел, что в кабинет вошел Эдди Уиллерс. Тот не пытался скрыть следы слез, как будто ни слезы, ни извинения за них не имели значения ни для него, ни для Дагни. Она приказала:

— Позвоните Райану, скажите, что я здесь, потом соедините меня с ним. — Райан исполнял обязанности генерального менеджера Центрального отделения железной дороги.

Эдди ответил не сразу, потом ровным голосом произнес:

— Райан больше не работает, Дагни. Он ушел на прошлой неделе.

Они не замечали Таггерта, как будто он был

мебелью. Она не снизошла ни до узнавания, ни до приказа покинуть ее кабинет. Как паралитик, не уверенный в том, что мышцы ему послушны, он собрался с силами и выбрался за дверь. Джим точно знал, что должен сделать в первую очередь: он поспешил в свой кабинет, чтобы уничтожить прошение об отставке.

Дагни не заметила его ухода, она смотрела на Эдди.

— Ноланд здесь? — спросила она.

— Нет. Ушел.

— Эндрюс?

— Ушел.

— Макгир?

— Ушел.

Эдди продолжал спокойно перечислять всех, о ком она могла спросить, самых необходимых на этот час людей, ушедших и исчезнувших за последний месяц. Она внимала без удивления, без эмоций, как иной слушает список выбывших из строя в битве, где погибли все, и неважно, чье имя выпало первым.

Когда Эдди закончил, она только спросила:

— Что уже сделано сегодня с утра?

— Ничего.

— Ничего?

— Дагни, сегодня любой посыльный мог бы отдавать приказы, и все подчинились бы ему, но даже посыльный понимает, что на того, кто совершит первое движение, повесят всех собак за прошедшее, настоящее и будущее, когда начнется перекладывание ответственности. Он не сохранит сеть, а работу потеряет, как только спасет свой участок. Ничего не сделано. Все стоит на месте. Если что-то делается, то вслепую, а на линии не знают, двигаться им или остановиться. Некоторые поезда задержаны на станциях, другие еще идут, но будут остановлены, как только достигнут Колорадо. Все происходит по решению местных диспетчеров. Менеджер Терминала, что на первом этаже, отменил все трансконтинентальное движение на сегодня, в том числе и вечернюю «*Комету*». Я не знаю, что делает менеджер в Сан-Франциско. Работают только бригады спасателей. В туннеле. Но до сих пор еще не добрались до места аварии. Думаю, что и не доберутся.

— Позвони вниз, менеджеру Терминала, скажи, чтобы пускал все трансконтинентальные поезда по расписанию, в том числе и вечернюю «*Комету*». Потом возвращайся.

Вернувшись, Эдди увидел, что Дагни склони-

лась над расстеленной на столе картой. Она сразу же начала диктовать ему распоряжения.

— Пустить все поезда западного направления на юг из Кирби, штат Небраска, по ответвлению до Гастингса, далее — по дороге «*Канзас-Вестерн*» до Лоурела, штат Канзас, потом по линии «*Атлантик Саусерн*» на Джаспер, штат Оклахома. Западные — по «*Атлантик Саусерн*» до Флэгстаффа, штат Аризона, северные — по участку Флэгстафф-Хоумдэйл до Эльгина, штат Юта, далее — на Мидлэнд. Северо-западные — по линии «*Уэсэтч Рейлвей*» до Солт-Лейк-Сити. «*Уэсэтч Рейлвей*» — заброшенная узкоколейка. Купите ее. Расширьте до стандартной. Если владельцы побоятся незаконности сделки, заплатите им вдвое больше стоимости и приступайте к работе. Между Лоурелом, штат Канзас, и Джаспером в Оклахоме нет рельсов на протяжении трех миль, нет их и между Эльгином и Мидлэндом в Юте, там без рельсов пять с половиной миль. Проложите рельсы… Наберите строительные бригады, пусть приступают к работе немедленно, нанимайте любых доступных на местах людей, платите вдвое больше официальной зарплаты или втрое — столько, сколько запросят, — организуйте работу в три смены, чтобы за ночь

закончить прокладку путей. Рельсы возьмите, разобрав запасные пути в Уинстоне и Сильвер-Спрингс в Колорадо, в Лидсе, штат Юта, в Бенсоне, штат Невада. Если местные подпевалы Объединенного совета попытаются приостановить работы, найдите нашего человека, которому вы доверяете, пусть подкупит их. Не сообщайте ничего Департаменту финансов — скажите мне, я оплачу. Если в каком-либо месте это не сработает, пусть подпевалам скажут, что Директива 10–289 запрещает вмешательство местных властей, что нашей штаб-квартирой получены все необходимые санкции, и если они станут мешать нам, им придется иметь дело со мной.

— Это правда?

— А ты как думаешь? Откуда людям знать? Но, пока они разберутся и решат, что делать, наша дорога уже будет построена.

— Понял.

— Я просмотрю списки и сообщу тебе имена людей на местах, которых необходимо нанять, если они еще там. К тому времени, когда «*Комета*» достигнет Кирби, штат Небраска, дорога будет готова. Продолжительность трансконтинентального движения увеличится на тридцать шесть часов, но зато оно останется трансконтинентальным.

ным. Потом пусть мне принесут старые карты из архива нашей дороги, посмотрим, как все было до того, как Нэт Таггерт проложил туннель.

— Что? — у Эдди от изумления перехватило дыхание, чего он постарался не показать.

Лицо Дагни осталось прежним, но виноватая нотка в ее голосе звучала благодарностью, нежностью, без малейшего следа упрека:

— Старые карты времен непостроенного туннеля. Сейчас нам его не восстановить. Мы возвращаемся вспять, Эдди. Будем надеяться, что у нас получится. Нет, мы не станем восстанавливать туннель. Сейчас это невозможно. Но старый путь через Скалистые горы остался. Его можно перестроить. Правда, достать рельсы будет трудновато, да и людей найти тоже непросто. Особенно трудно с людьми.

Он знал, с самого начала знал, что она заметила его слезы и не останется к ним равнодушной, хоть ее четкий голос и застывшее лицо не выдавали никаких чувств. Но что-то невыразимое в ее манерах говорило ему — она с ним. Если бы он смог выразить то, что чувствовал сердцем, то услышал бы: «Я знаю, я понимаю, я чувствовала бы сострадание и благодарность, если бы мы были живы, но мы не живем, правда, Эдди?

Мы на мертвой планете, вроде Луны. Мы должны двигаться, не смеем остановиться, чтобы перевести дух, собраться с чувствами, иначе мы вдруг поймем, что воздуха для дыхания нет».

— Сегодня и завтра мы запустим движение, — продолжала она. — Завтра вечером я еду в Колорадо.

— Если вы хотите лететь, я найду самолет. Ваш до сих пор в мастерских, не хватает запчастей.

— Нет, я поеду по железной дороге. Должна видеть рельсы. Сяду на вечернюю «*Комету*».

Спустя два часа, во время короткой паузы между междугородными телефонными звонками, она внезапно задала ему первый вопрос, не связанный с железной дорогой:

— Что они сделали Хэнку Риардену?

Эдди поймал себя на том, что пытается отвести взгляд, потом через силу посмотрел ей прямо в глаза и ответил:

— Он сдался. Подписал Сертификат дарения, в самый последний момент.

— Ох… — возглас не выражал ни шока, ни осуждения, просто звук в ответ на реплику, обозначивший принятый к сведению факт. — Были вести от Квентина Дэниелса?

— Нет.

— Не присылал ли он мне письма, телеграммы?

— Нет, — он знал, чего боялась Дагни, и это напомнило ему о том, что он не успел ей рассказать. — Дагни, есть еще одна проблема, с тех пор как вы уехали, она распространилась по всей сети. Начиная с первого мая. Замороженные поезда.

— Что такое?

— Посреди пустынных местностей на линии стоят брошенные поезда. Команды в полном составе покидали их и исчезали, обычно это происходило по ночам. Ни предупреждений, ни конкретной причины, просто эпидемия какая-то среди персонала. На других железных дорогах то же самое. Никто не может ничего объяснить. Но я думаю, что все понимают — это вызвано директивой. Форма протеста людей. Они пытаются продолжать работу, но внезапно наступает момент, когда они больше не могут. Что нам с этим делать? — но сам себе ответил, безнадежно пожав плечами: — Кто такой Джон Голт?

Она задумчиво кивнула, кажется, нисколько не удивившись.

Затрещал телефон, и голос секретарши про-

изнес:

— Мисс Таггерт, вам звонит мистер Уэсли Моуч из Вашингтона.

Она непроизвольно сжала губы, словно почувствовав болезненный укус насекомого.

— Звонят, должно быть, моему брату.

— Нет, мисс Таггерт, вам.

— Хорошо. Соедините.

— Мисс Таггерт, — Уэсли Моуч говорил тоном гостя на вечернем официальном приеме. — Я так обрадовался, услышав, что вы поправили ваше здоровье, вот и захотел лично засвидетельствовать вам свое почтение. Знаю, ваше здоровье потребовало длительного отдыха, и приветствую патриотизм, заставивший вас прервать его в момент тяжелого испытания. Хотел бы заверить вас в том, что вы можете рассчитывать на наше сотрудничество в каждом предпринимаемом вами проекте. В нашем полнейшем понимании, содействии и поддержке. Если вдруг вам понадобятся некие… *специальные*, исключительные меры, прошу не сомневаться в том, что препятствий у вас не возникнет.

Она позволила ему договорить до конца, несмотря на небольшие паузы, приглашавшие ее к ответу. Когда последняя пауза затянулась,

она сказала:

— Была бы вам весьма обязана, если бы вы позволили мне поговорить с мистером Уизерби.

— Разумеется, мисс Таггерт, в любое время… то есть… вы хотите сказать, прямо сейчас?

— Да. Прямо сейчас.

Он понял. Но сказал:

— Да, мисс Таггерт.

Из трубки послышался осторожный голос мистера Уизерби:

— Да, мисс Таггерт. Чем могу быть полезен?

— Скажите своему боссу следующее. Если он не хочет, чтобы я снова покинула свой пост, а он знает, что я на это способна, пусть никогда больше мне не звонит. Когда вашей банде понадобится сказать что-нибудь, пусть они поручат это вам. Я буду говорить с вами, а не с ним. Можете сообщить ему: причина в том, что он сделал Хэнку Риардену, находясь у него на содержании. Если кто-то и забыл об этом, то только не я.

— Мой долг способствовать всестороннему развитию национальных железных дорог в любое время, мисс Таггерт, — мистер Уизерби явно старался сделать вид, что не слышит ничего из того, что она сказала. Но в его голосе внезапно появилась нотка интереса, и он спросил медленно,

задумчиво, с осторожной проницательностью: — Должен ли я понимать, мисс Таггерт, что по всем официальным вопросам вы желали бы работать исключительно со мной? Могу ли я считать это вашей политикой?

Она коротко рассмеялась.

— Валяйте, — ответила она. — Можете вставить меня в список вашей *исключительной собственности*, использовать как *особую часть вашей протекции* и предъявлять меня в этом качестве всему Вашингтону. Но я не знаю, какую пользу это вам принесет, поскольку я не собираюсь играть по вашим правилам, не собираюсь торговать разрешениями. Я просто намерена начать ломать ваши законы прямо сейчас, и можете арестовать меня, когда сочтете это возможным.

— Думаю, у вас устаревшие представления, мисс Таггерт. Кто говорит о старых, несгибаемых законах? Наши современные законы эластичны и открыты для широкой интерпретации в соответствии с… *разными* обстоятельствами.

— Тогда начинайте становиться эластичными прямо сейчас, потому что ни я, ни катастрофы на дороге не эластичны.

Она положила трубку и сообщила Эдди, будто говоря о чем-то неодушевленном:

— На некоторое время они оставят нас в покое.

Кажется, Дагни не обратила внимания на изменения в кабинете: отсутствие портрета Нэта Таггерта, новый стеклянный кофейный столик, на котором для удобства посетителей мистер Лоси разложил глянцевые журналы с названиями статей на обложках. Она слушала, не сосредоточиваясь, как записывающее устройство, отчет Эдди о том, что стало с железной дорогой всего за один месяц, из чего возникли причины катастрофы. Безразличным взглядом Дагни смотрела на людей, которые торопливо, с преувеличенным почтением, входили и выходили из ее кабинета. Эдди подумал, что она просто перестала воспринимать окружающее. Но неожиданно, в то время, когда Дагни, шагая по кабинету, диктовала ему список материалов, необходимых для прокладки путей, и тех мест, где можно нелегально их достать, она остановилась, привлеченная журналами на кофейном столике. Заголовки статей на обложках гласили: «Новая совесть общества», «Наш долг перед людьми, лишенными привилегий», «Нужда против алчности». Резким движением руки она смела журналы со стола и продолжила диктовку, недрогнувшим голосом перечисляя цифры, как будто ее движение было

чисто автоматическим, не продиктованным сознанием.

В самом конце дня, улучив момент, когда ее оставили в кабинете одну, Дагни позвонила Риардену.

Она назвала свое имя секретарше и услышала, как торопливо он ответил ей.

— Дагни?

— Привет, Хэнк. Я вернулась.

— Где ты?

— В своем кабинете.

Пауза. Она услышала все, что он не произнес вслух, потом снова послышался его голос:

— Думаю, мне нужно срочно начать подкупать людей, чтобы получить руду и начать делать для тебя рельсы.

— Да. Как можно больше. Пусть это будет не риарден-металл. Это может быть… — надрыв в ее голосе был почти незаметен, но в нем сквозил истеричный вопрос: «Отказ от его сплава?.. Возвращение к временам тяжелой стали?.. К деревянным рельсам с железными накладками?» — Это может быть сталь любого веса, любая, какую ты сможешь мне дать.

— Хорошо. Дагни, ты знаешь, что я отдал им мой сплав? Подписал Сертификат дарения.

— Да, я знаю.

— Я сдался.

— Кто я такая, чтобы упрекать тебя? Разве я сама не сдалась? — Он не ответил, и она продолжила: — Хэнк, мне кажется, их не заботит, остался ли еще на земле хоть один поезд или плавильная печь. А нас заботит. Они удерживают нас нашей любовью к работе, и мы будем расплачиваться за это, пока еще есть хоть один шанс сохранять колеса поездов и разум человека в движении. Мы будем удерживаться на плаву, как будто тонет наш ребенок, а когда наводнение поглотит его, мы пойдем ко дну вместе с последним колесом и последней здравой мыслью. Я знаю, *чем* мы платим, но теперь цена больше не имеет значения.

— Знаю.

— Не бойся за меня, Хэнк. К утру я буду в норме.

— Я всегда верил в тебя, любимая. Увидимся сегодня вечером.

ГЛАВА IX. ЛИЦО БЕЗ БОЛИ, СТРАХА И ВИНЫ

Дагни вошла в свою тихую квартиру, обставленную со вкусом подобранными вещицами, застывшими там же, где она оставила их месяц назад; ее охватили блаженный покой и… чувство одиночества. Тишина создавала иллюзию уединенности и защищенности, вещи словно хранили воспоминание о былых минутах, которых больше не вернуть, как не вернуть теперь всех событий, произошедших с тех пор.

Дневной свет за окнами еще не совсем померк. Дагни ушла с работы раньше, чем собиралась, полностью выложившись и поняв, что оставшиеся дела лучше отложить до утра. Это состояние было ей в новинку. Удивляло и другое: теперь она чувствовала себя дома в квартире, а не в кабинете.

Включив душ, она долго стояла, всем телом ощущая струящуюся воду, но как только поняла, что смыть-то ей хочется не дорожную пыль, а атмосферу офиса, быстро вышла из ванной.

Она оделась, закурила сигарету и, войдя в го-

стиную, встала у окна, глядя на город, как еще совсем недавно, на рассвете, всматривалась в изгибы дороги среди лесистых холмов.

Помнится, она сказала, что отдала бы жизнь за еще один год на железной дороге. И вот она вернулась, но не к радости труда: она чувствовала лишь спокойную ясность принятого решения и постоянство боли, в которой не хотела признаваться даже самой себе.

Закрыв горизонт, облака густым туманом окутали улицы, словно само небо затопило город. Дагни видела почти весь Манхэттен, длинный треугольный остров, будто обрезанный далеким океаном. Он напоминал нос затонувшего корабля: над ним, подобно пароходным трубам, еще возвышались несколько высотных зданий, а все остальное скрывали серо-голубые клубы, медленно сгущавшиеся в пространстве. Вот так, погружаясь в океан, уходила Атлантида, подумала она, и все другие цивилизации, исчезнувшие с лица земли, оставив после себя легенды, одинаковые на всех языках человечества и вызывающие одинаковую ностальгию.

К ней вернулось чувство, испытанное однажды весенней ночью, когда она склонялась над письменным столом в кабинете «*Линии Джона Голта*»

у окна, выходящего на темную улицу: чувство ее собственного мира, которого больше не вернуть… Ты, думала она, кем бы ты ни был, кого я всегда любила, но так и не встретила, кто, как я думала, видит конец рельсов за горизонтом, чье присутствие я всегда ощущаю на улицах городов и чей мир так хотела построить на земле. Это моя любовь к тебе заставляет меня двигаться вперед, моя любовь и моя надежда найти тебя, мое стремление быть достойной тебя в тот день, когда предстану перед тобой лицом к лицу. Теперь я знаю, что мне никогда не найти тебя, это невозможно, но единственное, что осталось мне в этой жизни — ты, и я буду жить во имя тебя, хоть никогда не узнаю твоего имени. Я буду и дальше служить тебе, хоть никогда мне не одержать победы, я буду идти вперед, чтобы стать достойной тебя в тот день, когда встречусь с тобой, даже если этого никогда не будет…

Стоя у окна и глядя на утонувший в тумане город, никогда не смирявшаяся с безнадежностью, Дагни посвящала себя безответной любви.

В дверь позвонили.

Почти не удивившись, Дагни пошла открывать. Увидев на пороге Франсиско д'Анкония, она поняла, что ожидала его прихода, и не ощутила

ни шока, ни раздражения, только безмятежную уверенность в себе и гордо подняла голову, как бы говоря ему, что тверда в своей позиции и не скрывает ее.

Выражение счастья покинуло его серьезное и спокойное лицо, но и наигранное веселье плейбоя не вернулось к Франсиско. Сбросив маску, он смотрел на нее прямо, держался строго и уверенно, как человек, знающий цену словам и поступкам. Именно таким она когда-то хотела его видеть. Он никогда не был так привлекателен, как в эту минуту, и Дагни вдруг с изумлением поняла, что не он ее бросил, а она покинула его.

— Дагни, ты можешь сейчас поговорить со мной?

— Да, если хочешь. Входи.

Он бегло оглядел ее гостиную — дом, где он никогда прежде не бывал; потом его взгляд вернулся к ней. Франсиско пристально смотрел на Дагни. Кажется, он понял, что ее спокойствие — не самое подходящее состояние для их разговора: сплошной пепел, под которым ни одного живого уголька, нет даже боли, которая тоже есть форма огня.

— Садись, Франсиско.

Она осталась стоять перед ним, как будто спе-

циально показывая, что ей нечего скрывать, даже усталость — цену, которую ей пришлось заплатить тяжелому дню.

— Не думаю, что смогу остановить тебя сейчас, — начал он, — когда выбор сделан. Но если остался хоть один шанс задержать тебя, я хочу им воспользоваться.

Она медленно покачала головой.

— Нет такого шанса. Да и зачем, Франсиско? Ты отказался от всего. Какая тебе разница, где я пропаду, на железной дороге или вдали от нее?

— Я не отказался от будущего.

– *Какого* будущего?

— От того дня, когда исчезнут мародеры, но не исчезнем мы.

— Если вместе с мародерами исчезнет *«Таггерт Трансконтинентал»*, то и я вместе с ней.

Он не ответил, не отрывая взгляда от ее лица.

Дагни продолжила монотонным, начисто лишенным эмоций голосом:

— Я думала, что смогу жить без нее. Не смогла. Никогда больше не сделаю такой попытки. Франсиско, ты помнишь? Мы оба верили, когда начинали, что единственный грех на земле — сделать дело плохо, и я до сих так считаю, — тут в ее голосе зародилась живая нота. — Я не смогу стоять

в стороне и смотреть, как они копаются в *моем* туннеле. Я не смогу принять того, что приняли все они, Франсиско, того, что мы считали таким ужасным — веру в несчастье, как в судьбу, которую нужно слепо принимать, с которой не нужно бороться. Я не могу принять покорность судьбе. Я не могу смириться с беспомощностью. Я не могу отречься. Поэтому, пока есть еще железная дорога и ею нужно управлять, я буду ею управлять.

— Чтобы поддерживать мир мародеров?

— Чтобы поддерживать саму себя.

— Дагни, — медленно произнес он, — я знаю, почему ты любишь свою работу. Знаю, что она для тебя значит, как ты любишь пускать поезда. Но ты не сможешь их пускать, когда они опустеют. Дагни, что тебе представляется, когда ты думаешь о движущемся поезде?

Она смотрела на город.

— Жизнь обычного, нормального человека, который мог бы погибнуть в катастрофе, но избежал ее, потому что я ее предотвратила. Человека, обладающего разумом и неограниченными амбициями, не идущего на компромисс, любящего свою жизнь… такого, какими были мы сами, ты и я, когда начинали. Ты отказался от него.

Я не могу.

Он ненадолго прикрыл глаза, сжав губы, чуть улыбнувшись, и эта улыбка заменила стон понимания, нервозности и боли. Он спросил с нежной печалью:

— Ты думаешь, что все еще сможешь служить ему, управляя дорогой?

— Да.

— Хорошо, Дагни. Я не стану пытаться остановить тебя. Раз уж ты так думаешь, тебе никто не сможет помешать. Ты остановишься сама в тот день, когда обнаружишь, что твоя работа служит не жизни человека, а его уничтожению.

— Франсиско! — в изумлении и отчаянии воскликнула она. — Ты же понимаешь, ты знаешь, кого я имею в виду, ты видишь этого человека!

— О да, — просто и буднично ответил он, глядя в одну точку, словно воочию лицезрел в комнате реального человека. И добавил: — Что тебя удивило? Ты же сама сказала, что мы некогда были такими же. Мы ими и остались. Но один из нас предал его.

— Да, — жестко ответила она. — Один из нас. Мы не сможем служить ему, если отречемся.

— Мы не сможем служить ему, вступая в сговор с его разрушителями.

— Я не вступаю с ними в сговор. Они нуждаются во мне. Они это знают. Я заставляю их принимать мои условия.

— Ведя игру, из которой они извлекают пользу, а тебе причиняют ущерб?

— Единственная польза, которую я хочу извлечь для себя, — сохранить жизнь «*Таггерт Трансконтинентал*». Мне все равно, пусть они заставят меня заплатить выкуп. Пусть получат, что хотят. Я получу железную дорогу.

Он улыбнулся.

— Ты так думаешь? Думаешь, что тебя защитит их нужда в тебе? Думаешь, что ты можешь дать им то, чего они хотят? Нет, ты не уйдешь, пока не увидишь собственными глазами, чего они хотят на самом деле. Знаешь, Дагни, нас учили, что Богу — Богово, а кесарю — кесарево. Возможно, их Бог такое дозволяет. Но человек, которому мы служим, нет. Он не допускает двойной лояльности, войны между разумом и телом, пропасти, разделяющей ценности и действия, не признает никакой дани кесарю. Он не допускает существования кесарей.

— Двенадцать лет, — мягко произнесла она, — я и подумать не могла, что настанет день, когда я смогу на коленях просить у тебя прощение.

Теперь я считаю такое возможным. Если я пойму, что ты прав, я сделаю это. Но не раньше.

— Ты сделаешь это. Но не стоя на коленях.

Франсиско смотрел на нее, будто видел ее всю, хоть его глаза были устремлены прямо на лицо Дагни. Его взгляд сказал ей, какое искупление и капитуляцию он предвидит в будущем. С видимым усилием он отвел глаза в надежде, что Дагни не успела понять значение его взгляда, его молчаливую борьбу, которую *почти* удалось скрыть столь хорошо знакомому ей лицу.

— А до тех пор, Дагни, запомни, что мы с тобой враги. Я не хотел тебе этого говорить, но ты первая, кто почти ступил в рай, но вернулся на грешную землю. Ты разглядела слишком многое, поэтому я говорю с тобой открыто. Это с тобой я воюю, а не с твоим братом Джеймсом или с Уэсли Моучем. Это тебя я должен победить. Я намерен вскоре положить конец всему, что для тебя наиболее ценно. Поскольку ты сражаешься за спасение «*Таггерт Трансконтинентал*», я буду трудиться над ее разрушением. Никогда не проси у меня ни помощи, ни денег. Ты знаешь, почему. Можешь меня ненавидеть, ведь исходя из твоей позиции ты просто обязана возненавидеть меня.

Не изменив позы, Дагни приподняла голову

ровно настолько, чтобы показать: *я понимаю*. В ее ответе, в несколько преувеличенных паузах между словами, прозвучал намек на презрение:

— А… с тобой… что станет?

Он посмотрел на нее, не позволяя вырваться признанию, которое она хотела услышать, однако и не отрицая ее догадки.

— Это касается только меня.

Она сдалась, но, произнося свои слова, в тот же миг осознала, что совершает еще большую жестокость:

— Я не испытываю к тебе ненависти. Я много лет пыталась возненавидеть тебя, но не смогла, и неважно, что мы оба наделали.

— Я знаю, — тихо ответил Франсиско, и она не расслышала в его голосе боли, но почувствовала ее в собственном сердце, как будто боль эта зеркально отразилась в ней.

— Франсиско! — вскричала Дагни, защищая его от себя самой. — Как ты можешь хотеть совершить… такое?

— Я поступаю так во имя любви… — «к тебе», сказали его глаза, — к человеку, — произнес его голос, — который не погиб в твоей катастрофе и никогда не погибнет.

Она замерла на мгновение в почтительной

благодарности.

— Я хотел бы разделить с тобой то, через что тебе предстоит пройти, — сказали его слова, а нежность в его голосе говорила: «Ты не должна меня жалеть».

— Каждый из нас обязан пройти свой путь самостоятельно.

— Но ведь это одна и та же дорога.

— Куда она ведет?

Он улыбнулся, словно деликатно положив конец вопросам, на которые не станет отвечать. Но все же ответил:

— В Атлантиду.

— Что? — испуганно спросила Дагни.

— Ты не помнишь? Исчезнувшая страна, в которую могут войти только души героев.

Совпадение потрясло ее, она думала об Атлантиде с утра и сейчас испытала смутное волнение, которое не могла разгадать. Но и беспокойство. Беспокойство о его судьбе и его решении, как будто он действовал в одиночку. Припомнила она и огромный, полный опасности, смутный образ врага, перед лицом которого стояла.

— Ты — один из них, не так ли? — медленно произнесла Дагни.

— Один из… кого?

— Это ты был в кабинете Данаггера?

Он улыбнулся.

— Нет.

Дагни тут же отметила про себя: он не переспросил, что она имеет в виду.

— Ты должен знать… Скажи, существует ли в мире разрушитель?

— Разумеется.

— Кто он?

— Ты.

Она вздрогнула, лицо окаменело.

— Люди, которые ушли от дел, живы или умерли?

— Для тебя они умерли. Но мир ожидает второй Ренессанс. Я ожидаю его.

— Нет! — внезапная жесткость ее голоса была ответом на один из двух его молчаливых вопросов. — Нет, не жди меня!

— Я буду ждать тебя всегда, и не важно, что делает каждый из нас.

Они услышали звук ключа, поворачиваемого в замке. Дверь открылась, и вошел Хэнк Риарден.

Помедлив на пороге, он медленно вошел в гостиную, опуская на ходу ключ в карман.

Дагни понимала, что он увидел Франсиско раньше, чем ее.

Риарден взглянул на нее, потом снова на Франсиско, словно сейчас не мог смотреть ни на кого другого.

На плечи Дагни словно рухнула неподъемная ноша. Франсиско поднялся неспешным, автоматическим движением, продиктованным кодексом чести семьи д'Анкония. Риарден ничего не смог прочитать в его лице. Но то, что видела в нем Дагни, превосходило все ее страхи.

— Что ты здесь делаешь? — спросил Риарден тоном, каким говорят с лакеем, застигнутым в кабинете.

— Вижу, что я не имею права задать вам тот же вопрос, — ответил Франсиско. Дагни знала, каких сил стоил ему этот ровный, спокойный голос. Его глаза были прикованы к правой руке Риардена, будто все еще видели зажатый в ней ключ.

— Так ответь на мой, — приказал Риарден.

— Хэнк, задай все свои вопросы мне, — вступила Дагни.

Риарден, казалось, ее не слышал.

— Отвечай, — повторил он.

— Вы имеете право требовать только одного ответа, — произнес Франсиско. — Поэтому я отвечаю вам, что причина моего присутствия здесь не в этом.

— Существует только одна причина твоего присутствия в доме любой женщины, — заявил Риарден. — Я подчеркиваю, *любой* женщины, поскольку дело касается тебя. Уж не думаешь ли ты, что я поверю чему-нибудь другому?

— Я действительно дал вам основания не доверять мне, но не в отношении мисс Таггерт.

— Не говори мне, что у тебя здесь нет шансов. Я это и так знаю. Их нет, не было и не будет. Но я должен разобраться, прежде…

— Хэнк, если ты хочешь обвинить меня… — начала она, но Риарден круто повернулся к ней.

— Господи, Дагни, нет! Но тебя не должны видеть с ним. Ты не должна иметь с ним никаких дел. Ты его не знаешь. А я знаю, — он повернулся к Франсиско: — Что тебе нужно? Ты надеешься включить ее в список своих побед или…

— Нет! — крик вырвался против его воли и прозвучал неубедительно, хоть и со всей серьезностью единственного доказательства.

— Нет? Так значит, ты здесь по делам? Готовишь ловушку, такую же, как мне? Какой вид обмана ты приготовил для нее?

— Моей целью был… не был… бизнес.

— А что же?

— Если вы еще в состоянии мне поверить,

я могу сказать вам только, что она не связана… ни с каким предательством.

— Ты думаешь, что все еще можешь говорить о предательстве в моем присутствии?

— Однажды я отвечу на все ваши вопросы. Но сейчас не могу.

— Тебе не нравится напоминание о предательстве, не так ли? Ты с тех пор избегаешь меня, верно? И не ожидал увидеть меня здесь? Ты не хочешь смотреть на меня? — Но он знал, что Франсиско смотрел на него в эти дни больше других. Он то и дело как будто видел глаза, искавшие его взгляда, видел лицо без эмоций, без призыва или самозащиты, готовое встретить все, с чем столкнется. Он видел открытый взгляд, отважный и незащищенный, взгляд человека, которого он уважал, который освободил его от чувства вины. И он обнаружил, что борется со странным ощущением, будто это лицо по-прежнему спасает его от всякой скверны… Но сейчас, после целого месяца нетерпеливого ожидания Дагни, его нервы были на пределе.

— Почему ты не говоришь правды, если тебе нечего скрывать? Зачем ты здесь? Почему вдруг застыл, увидев, что я вошел?

— Хэнк, остановись! — крикнула Дагни, отшат-

нувшись, зная, что жестокость в этот момент недопустима.

Они оба обернулись к ней.

— Пожалуйста, позволь ответить мне одному, — спокойно попросил Франсиско.

— Я говорил тебе, что надеялся никогда больше его не увидеть, — напомнил Риарден. — Извини, что это случилось здесь. Это не касается тебя, но кое за что он должен заплатить.

— Если ваша цель отомстить, — с усилием произнес Франсиско, — разве вы ее уже не достигли?

— В чем дело? — лицо Риардена застыло. Губы двигались с усилием, голос звучал хрипло. — Это твой способ просить о милосердии?

Франсиско понадобилось время, чтобы собраться с силами.

— Да… если хотите, — ответил он.

— А когда ты держал мое будущее в своих руках, ты даровал мне милосердие?

— Вы вправе думать обо мне все, что пожелаете. Но, поскольку дело не касается мисс Таггерт… вы позволите мне удалиться?

— Нет! Ты хочешь сбежать, как сбежали все остальные трусы? Ты хочешь скрыться?

— Я готов встретиться с вами в любом месте и в любое время, если вы пожелаете. Но я предпо-

чел бы, чтобы все произошло без мисс Таггерт.

— Почему бы нет? Я хочу, чтобы все произошло в ее присутствии, ведь это единственное место, где ты не имел права появляться. У меня не оставалось ничего, что бы я мог защищать от тебя, ты забрал больше, чем любой из мародеров, ты разрушил все, к чему прикасался, но есть одно, последнее, к чему ты никогда не прикоснешься, — он понимал, что окаменевшее, лишенное всякого выражения лицо Франсиско — самое верное свидетельство переживаемых им сильнейших чувств, свидетельство того невероятного усилия, которого требует от него контроль над собой. Он понимал, что для него это пытка, и что он, Риарден, движим слепым чувством палача, наслаждающегося пыткой… вот только не смог бы сказать, Франсиско он пытает или самого себя. — Ты хуже мародеров, потому что совершаешь предательство, полностью отдавая себе отчет в том, что именно ты предаешь. Я не знаю, какая из форм морального разложения движет тобой, но хочу, чтобы ты усвоил: есть вещи вне твоей власти, они выше твоей алчности и жестокости.

— Вам больше не нужно… меня бояться.

— Хочу, чтобы ты запомнил: ты не должен

ни думать о ней, ни смотреть на нее, ни приближаться к ней. Из всех мужчин только ты один не имеешь права появляться там, где находится она, — Риарден понимал, что им движет слепой гнев, вызванный былой симпатией к Франсиско, по-прежнему еще живой в нем, и именно ее он должен был разрушить. — Каковы бы ни были твои намерения, я ограждаю Дагни от любого контакта с тобой.

— Я дал вам слово… — Франсиско замолк.

Риарден коротко рассмеялся:

— Я знаю, чего стоят твои слова, признания, дружба и клятвы именем единственной женщины, которую ты…

Он замолчал. Все поняли, что произошло, в ту же минуту, когда это понял сам Риарден.

Он шагнул к Франсиско и спросил, указывая на Дагни, голосом тихим и чужим, словно не принадлежавшим человеческому существу:

— Ты любишь эту женщину?

Франсиско закрыл глаза.

— Не спрашивай его об этом! — крикнула Дагни.

— Ты любишь эту женщину?

Глядя на Дагни, Франсиско ответил:

— Да.

Рука Риардена взлетела и ударила Франсиско по лицу.

Дагни вскрикнула. Спустя долгую минуту, когда она снова обрела зрение, как будто удар поразил ее щеку, она сразу увидела Франсиско. Наследник семейства д'Анкония отступил к столу, сжимая его край руками у себя за спиной не для того, чтобы опереться, а для того, чтобы не дать им воли. Она заметила, как напряглось его тело, казавшееся изломанным из-за неестественных изгибов в талии и плечах. Казалось, что вся сила ушла на то, чтобы не сделать лишнего движения, и вынужденное бездействие прошило его мышцы резкой болью. Дагни смотрела на его сведенные судорогой пальцы, гадая, что сломается раньше — деревянный стол или кости, отчетливо понимая, что жизнь Риардена висит на волоске.

Переведя взгляд на лицо Франсиско, она не нашла в нем следов борьбы, только щеки и виски запали, он словно осунулся больше обычного. Дагни испугалась, потому что увидела в его глазах слезы, которых на самом деле не было. Сухие глаза блестели. Он смотрел на Риардена, но видел не его. Казалось, Франсиско смотрит на кого-то другого, кто незримо присутствует в комнате, и его взгляд говорит: «Если это то, чего ты от меня

требуешь, значит, даже это принадлежит тебе; ты это примешь, а я должен вытерпеть, больше мне нечего тебе дать, но позволь мне гордиться сознанием того, что я отдал тебе так много». Увидев, как на шее у него лихорадочно бьется жилка, розовую капельку пены в уголке губ и полный преданности взгляд, почти улыбку, она догадалась, что стала свидетельницей величайшего триумфа Франсиско д'Анкония.

Дагни почувствовала, что ее сотрясает дрожь, и услышала собственный голос — наверное, это были отголоски ее крика — и тут догадалась, каким длинным показалось ей минувшее мгновение. Ее голос зазвенел вновь:

— Не надо защищать меня от него! Хэнк, задолго до того, как ты…

— Не смей! — голова Франсиско резко дернулась к ней, его резкий окрик был полон нерастраченного гнева, и Дагни поняла, что его приказу надлежит покориться.

Франсиско не изменил позы, но повернулся к Риардену. Дагни видела, как его руки отпустили край стола и повисли вдоль тела. Теперь он смотрел на Риардена, перенесенное напряжение на его лице сменилось опустошением. Внезапно Риарден понял, как сильно этот человек лю-

бит ее.

— Вы все поняли правильно, — спокойно произнес Франсиско.

Не дожидаясь ответа, он направился к выходу. У порога сухо и обыденно кивнул Дагни, затем Риардену и вышел.

Риарден стоял, глядя ему вслед, уверенный, что отдал бы жизнь за возможность исправить то, что натворил. Когда он обернулся к Дагни, его лицо выражало усталость и озадаченность, как будто он не спрашивал о незаконченной ею фразе, но ждал ее продолжения.

Содрогнувшись от острой жалости, она тряхнула головой, не в силах разобраться, кому из двоих предназначалось это лишившее ее речи чувство. Она снова и снова качала головой, словно в безуспешной попытке избавиться от огромного безличного страдания, чьими жертвами стали все трое.

— Если что-нибудь нужно сказать, скажи, — произнес Риарден ровным, бесцветным голосом.

С ее уст сорвался не то смех, не то стон; не желание отомстить, а отчаянное стремление к справедливости наполнило ее голос горечью, когда она бросила ему в лицо:

— Ты хотел знать имя *того* человека? С кото-

рым я спала? Моего первого мужчины? Это Франсиско д'Анкония!

Силу удара Дагни оценила, увидев мгновенно побледневшее лицо Риардена. Если справедливость была ее целью, то она добилась своего, поскольку ее удар оказался куда сильнее пощечины Риардена. Она внезапно успокоилась, поняв, что эти слова необходимо было сказать ради всех троих. Отчаяние беспомощной жертвы оставило ее: она перестала ощущать себя жертвой, она превратилась в одного из противников, готовая нести ответственность за свои действия. Она смотрела на него, ожидая ответа и чувствуя, что почти готова стать следующим объектом насилия.

Дагни не знала, какую муку переживает Риарден, что сломалось внутри него, чего он никому не позволит увидеть. Ни единого признака страдания, который предупредил бы ее. Он стоял посреди комнаты, пытаясь принять факт, существования которого не хотел признавать. Потом Дагни заметила, что он не изменил позы, даже пальцы свободно висящих рук остались полусогнутыми. Ей казалось, что она физически ощущает его оцепенение, остановившуюся кровь, и это было единственным свидетельством муки,

которое ей удалось уловить. Но оно подсказало ей, что пережитая буря лишила Риардена сил чувствовать что-либо, даже собственное тело.

Дагни ждала, ее жалость превратилась в уважение. Потом она увидела, как его глаза медленно опустились с ее лица ниже, и догадалась, какую пытку он задумал пережить, потому что смысл его взгляда не мог укрыться от ее понимания. Она понимала, что Риарден пытается увидеть ее такой, какой она была в семнадцать лет, вдвоем с ненавистным соперником, и это видение он не в силах был ни перенести, ни отбросить. Она заметила, как спасительный контроль по каплям исчезает с его лица, и он не заботится больше о том, что она увидит его во всей наготе чувств, от которых не осталось ничего, кроме жестокости и ненависти.

Риарден схватил ее за плечи, и Дагни приготовилась к тому, что он ее убьет или изобьет до бесчувствия, и в тот миг, когда она уже смирилась с этим, он вдруг притянул ее к себе, впился губами в ее рот, и жестокость его поступка превзошла все мыслимые побои.

Она извивалась в страхе, пыталась сопротивляться и, наконец, в исступлении обхватив его руками, впилась в его губы до крови, остро

осознавая, что никогда еще не желала его так сильно, как сейчас.

Когда Риарден швырнул ее на диван, она уловила в ритме биения его тела, что он празднует победу над сдавшимся соперником. Его невыносимая жестокость была порождением мысли о предавшем его человеке. Он творил акт возмездия, превращая ненависть в наслаждение, он сражался за ее тело. Дагни чувствовала незримое присутствие Франсиско рядом с Риарденом, ей казалось, что она сдается им обоим — тому, чему поклонялась в них, тому, что их объединяло, общей сущности их характеров, которая превращала ее любовь к каждому из них в преданность им обоим. Она понимала и то, что это бунт против окружающего их мира, его деградации, нескончаемой муки мрачных, потерянных дней. Риарден хотел отстоять свою победу вдвоем с ней, в полутьме, над руинами города, сжимая ее в объятиях как свою последнюю собственность.

Потом они затихли, Риарден положил голову ей на плечо. Сверху, на потолке, билось отражение коротких вспышек неоновой вывески. Он взял ее руку и на мгновение прижался губами к ладони так нежно, что она скорее догадалась о его прикосновении, чем почувствовала его.

Чуть погодя Дагни поднялась, потянулась за сигаретой, прикурила и вопросительным жестом протянула ему. Он кивнул. Она отдала ему сигарету и закурила вторую для себя. Дагни чувствовала, какой безмятежный покой обволакивает их. Интимность незначительных жестов подчеркивала важность тех слов, что остались недосказанными. Впрочем, все уже сказано, думала она, но знала, что это ей еще только предстоит осознать.

Она заметила, что он долгим взглядом посмотрел на входную дверь, будто все еще видел человека, который ушел.

Риарден сказал спокойно:

— Он мог ударить меня в любой момент. Почему он этого не сделал?

Она пожала плечами, беспомощно и грустно развела руками, поскольку оба они знали ответ.

— Он очень много для тебя значил, верно?

— Да.

Два огонька на кончиках сигарет медленно порхали в их пальцах, порой вспыхивая ярче, когда в тишине с них стряхивали пепел. В дверь неожиданно позвонили. Они знали, что это не тот человек, которого им хотелось бы увидеть, но втайне надеялись на его возвращение. Дагни,

сердито нахмурив брови, направилась к двери. Ей понадобилось время, чтобы понять, что безобидный учтивый человек, поклонившийся ей с формальной улыбкой, всего лишь помощник управляющего домом.

— Добрый вечер, мисс Таггерт. Мы очень рады, что вы вернулись. Я как раз заступил на дежурство и решил лично вас поприветствовать.

— Спасибо, — Дагни не двинулась с места, не пригласила его войти.

— У меня есть для вас письмо, мисс Таггерт, оно пришло около двух недель назад, — служитель сунул руку в карман. — Должно быть, очень важное, на нем есть пометка «Лично в руки», поэтому мы не стали пересылать его к вам в контору, к тому же у нас нет адреса. Не зная, как поступить, я хранил письмо у себя, чтобы вручить вам, когда вы вернетесь.

На конверте в руках помощника управляющего стояли пометки: «Авиапочта. Срочное. Лично в руки». Адрес отправителя гласил: «Квентин Дэниелс, Технологический институт штата Юта, г. Афтон».

— Ох… Благодарю вас.

До ушей помощника управляющего долетел удивленный вздох, который Дагни тщетно попы-

талась скрыть, ее голос упал до шепота. Заметив, что она не может отвести взгляда от обратного адреса, служитель вежливо попрощался и ушел.

Идя к Риардену, Дагни надорвала конверт и остановилась посреди комнаты, читая письмо. Послание было напечатано на машинке; Риарден видел темные участки текста на полупрозрачных листках и выражение лица Дагни.

Как он и опасался, дочитав письмо до конца, она бросилась к телефону. Риарден услышал яростное вращение диска и напряженный голос.

— Междугородную, пожалуйста… Оператор, соедините меня с Технологическим институтом штата Юта в Афтоне!

— Что случилось? — подойдя, спросил Риарден.

Не отрывая взгляда от телефона, словно приказывая ему ответить на вызов, Дагни протянула ему письмо.

Квентин писал:

«Уважаемая мисс Таггерт, я сопротивлялся три недели, я не хотел этого делать, зная, как это вас расстроит. Знаю все ваши аргументы, потому что сам себе их приводил, но сейчас пишу, дабы сообщить вам, что я ухожу.

Я не могу работать согласно положениям

Директивы номер 10–289, но не по тем причинам, которые обычно выдвигают люди. Я знаю, что упразднение всех научных исследований ни для вас, ни для меня ничего не значит, и вы хотите, чтобы я продолжал работу. Но я должен ее прекратить, потому что больше не стремлюсь к успешному ее завершению. Я не желаю работать в мире, который относится ко мне как к рабу. Не желаю приносить людям пользу. Если бы я преуспел в восстановлении мотора, я бы не отдал его на службу людям. Моя совесть не позволила бы мне допустить, чтобы нечто, созданное моим разумом, использовалось для обеспечения их комфорта. Знаю, что они с радостью и готовностью экспроприировали бы мотор, достигни я успеха. И во имя этой перспективы вы и я должны стать преступниками и жить под угрозой ареста в любой момент, по их первому крику? Этого я не могу принять, даже если бы мог смириться со всем остальным: с тем, что, принеся им неоценимую пользу, мы должны будем пожертвовать не только собой, но и теми людьми, которые об этом не подозревают. С чем угодно я бы смирился, но, думая об этом, я говорю: будь они прокляты, я скорее увижу, как все они умрут от голода, в том числе и я сам, чем прощу их

или допущу это!

Чтобы быть честным до конца, признаюсь, мне никогда еще так не хотелось достигнуть успеха, раскрыть тайну мотора. Поэтому я продолжу работу для собственного удовольствия, пока буду жить. Но если я разрешу проблему, то сохраню ее в тайне. Не отдам для коммерческого использования. Я больше не могу принимать от вас деньги. Меркантилизм — вещь презираемая, поэтому все люди поверят в мое решение, а я устал служить тем, кто меня презирает.

Не знаю, как долго я протяну и что стану делать в будущем. Сейчас я намерен остаться в институте. Но если кто-то из его попечителей или скупщиков краденого напомнит мне, что отныне закон запрещает мне быть здесь дворником, я уйду.

Вы дали мне самый большой шанс в моей жизни, и если сейчас я нанес вам болезненный удар, то, наверное, должен просить у вас прощения. Думаю, вы любите вашу работу так же сильно, как я люблю свою, поэтому поймете, как нелегко далось мне это решение, но я вынужден его принять. Пишу вам письмо и испытываю при этом странное чувство. Я не намерен умереть, но я оставляю мир, и из-за этого письмо похоже на за-

писку самоубийцы. Поэтому я хочу сказать вам, что из всех людей, которых я знал, вы единственная, о ком я сожалею, уходя.

С уважением, Квентин Дэниелс».

Подняв глаза от письма, Риарден услышал то же, что улавливал краем уха во время чтения машинописных строк: Дагни с нарастающим в голосе отчаянием повторяет:

— Продолжайте, оператор, постарайтесь дозвониться! Пожалуйста, продолжайте!

— Что еще ты можешь ему сказать? — обратился Риарден к Дагни. — Все аргументы исчерпаны.

— У меня нет больше надежды поговорить с ним! Он уже ушел. Письмо написано неделю назад. Уверена, что он ушел. Они и до него добрались.

— Кто до него добрался?

— ...Да, оператор! Я не вешаю трубку, продолжайте дозваниваться!

— Что ты скажешь ему, если он ответит?

— Я стану умолять его продолжать принимать мои деньги, безо всяких условий, просто для того, чтобы он смог спокойно жить и работать! Я пообещаю ему, что в случае успеха не стану просить его передать мотор или тайну его устройства мне, если сохранится власть мародеров. Но если

к этому времени мы обретем свободу… — Дагни умолкла.

— Если мы обретем свободу…

— Мне сейчас нужно от Квентина только одно — чтобы он не бросал работу и не исчез как… как все остальные. Я не хочу, чтобы они до него добрались. Если еще не поздно… Господи, я не хочу, чтобы они забрали его!..Да, оператор, продолжайте звонить!

— Что нам даст продолжение работы над мотором?

— Это все, о чем я его попрошу — просто не бросать работу. Может, у меня нет шанса использовать его впоследствии. Но я хочу знать, что где-то в мире могучий мозг все еще трудится над грандиозной задачей, и у нас остается надежда на будущее… Если этот мотор будет снова утрачен, нас не ждет ничего, кроме падения в пропасть.

— Да. Понимаю.

Сдерживая дрожь в напряженной руке, Дагни не отрывала от уха телефонную трубку. Она ждала, и Риарден слышал в тишине квартиры безответные и бесполезные гудки.

— Он ушел, — бормотала Дагни. — Они его забрали. Неделя — слишком долгий срок, им хва-

тило бы меньшего. Не знаю, как они узнали, когда время пришло, и это, — она указала на письмо, — это их время. Они не упустят его.

— Кто?

— Агенты разрушителя.

— Ты начинаешь думать, что они существуют в действительности?

— Да.

— Ты серьезно?

— Да. Я встретила одного из них.

— Кого?

— Потом скажу. Я не знаю, кто у них главный, но обязательно скоро узнаю. Я намерена это установить. Будь я проклята, если позволю им…

У Дагни перехватило дыхание. По ее изменившемуся лицу Риарден понял, что на том конце провода кто-то поднял трубку, и услышал далекий мужской голос.

— Алло?

— Дэниелс! Это вы? Вы живы? Вы все еще там?

— Ну, да… Это вы, мисс Таггерт? Что случилось?

— Я… я думала, вы ушли.

— Извините, я только что услышал звонок телефона, я выходил на задний двор, собирал морковь.

— Морковь? — она истерически рассмеялась.

— У меня здесь овощная грядка. На прежней институтской автостоянке. Вы звоните из Нью-Йорка, мисс Таггерт?

— Да. Я только что получила ваше письмо. Только что. Я… уезжала.

Последовала пауза, после чего Дэниелс произнес:

— Мне больше нечего сказать вам, мисс Таггерт.

— Скажите, вы собираетесь уйти?

— Нет.

— Вы не планируете уехать?

— Нет. Да и куда?

— Значит, вы собираетесь остаться в институте?

— Да.

— Надолго? Очень надолго?

— Да, кажется.

— К вам кто-нибудь обращался?

— По поводу чего?

— По поводу отъезда.

— Нет. А что?

— Послушайте, Дэниелс, я не стану обсуждать ваше письмо по телефону. Но я должна поговорить с вами. Я приеду к вам так быстро,

как только смогу.

— Я не хочу, чтобы вы это делали, мисс Таггерт. Не хочу, чтобы вы утруждались напрасно.

— Дайте мне шанс, хорошо? Вы не должны обещать изменить свое решение, не должны поддаваться на уговоры, просто выслушайте. Раз уж я собралась приехать, то пусть это будет риском для меня. Я хочу рассказать вам кое-что, и прошу вас только об одном — дайте мне возможность сделать это.

— Вы знаете, что я всегда готов дать вам шанс, мисс Таггерт.

— Я выезжаю в Юту сей же час. Обещайте мне только одно: дождаться меня. Обещаете? Вы обещаете быть на месте, когда я приеду?

— Ну… разумеется, мисс Таггерт. Если только я не умру или не произойдет что-нибудь еще, мне неподвластное, но, думаю, ничего не случится.

— Если только вы не умрете, вы дождетесь меня, что бы ни случилось?

— Конечно.

— Даете слово, что дождетесь?

— Да, мисс Таггерт.

— Благодарю. Доброй ночи.

— Доброй ночи, мисс Таггерт.

Она положила телефонную трубку, и тут же схватив ее снова, торопливо набрала номер.

— Эдди?.. Прикажи задержать для меня «*Комету*». Распорядись, чтобы прицепили мой вагон, потом сразу же приезжай сюда, ко мне на квартиру, — Дагни посмотрела на часы: — Сейчас двенадцать минут девятого. У меня в запасе час. Думаю, что не задержу поезд надолго. Поговорим, пока я буду укладываться.

Повесив трубку, она обернулась к Риардену.

— Едешь сегодня вечером? — уточнил он.

— Я должна.

— Понимаю. Но разве тебе не нужно быть в Колорадо?

— Да. Я собиралась выехать туда завтра в ночь. Но, думаю, Эдди сам сможет позаботиться о делах в конторе, а мне лучше выехать прямо сейчас. Это займет у меня три дня… — тут она вспомнила, что все изменилось. — То есть пять. Теперь дорога до Юты занимает пять дней. Нужно ехать поездом, я должна по пути встретиться с некоторыми людьми на железной дороге, и этого тоже нельзя откладывать.

— А потом — в Колорадо? Надолго там задержишься?

— Трудно сказать.

— Позвони мне, как только приедешь туда, хорошо? Если дела затянутся, я присоединюсь к тебе.

Риардену так отчаянно хотелось сказать ей еще кое-что, он так этого ждал, для этого и пришел к ней и сейчас желал бы произнести самые важные слова, но понимал, что сегодня не время.

Дагни поняла по его сдавленному голосу, что он до сих пор глубоко переживает ее признание, его капитуляцию, то, что она его простила. И спросила:

— Ты можешь уехать с завода?

— Потребуется несколько дней, чтобы все организовать, но уехать я смогу.

Риарден видел: Дагни понимает, благодарит и прощает его, поэтому не удивился, когда услышал:

— Хэнк, почему бы тебе не встретить меня в Колорадо через неделю? Если ты вылетишь на своем самолете, мы прибудем туда одновременно. И вернемся вместе.

— Хорошо… любимая.

Дагни диктовала список инструкций, шагая по комнате, собирая одежду, торопливо упаковывая вещи в чемодан. Риарден ушел. Эдди Уиллерс записывал распоряжения, сидя за ее туалетным

столиком. Работал он с обычной сосредоточенностью, не обращая внимания на флаконы с духами и коробочки с пудрой, как у себя в кабинете за привычным письменным столом.

— Я позвоню вам из Чикаго, Омахи, Флэгстафа и Афтона, — Дагни швыряла белье в чемодан. — Если понадобится, позвоните любому оператору на линии, пусть даст сигнал остановить поезд.

— Остановить «*Комету*»? — переспросил он.

— Да, черт возьми, «*Комету*»!

— Хорошо.

— Если возникнет необходимость, звоните не задумываясь.

— Хорошо. Но, думаю, этого не понадобится.

— Посмотрим. Будем работать, активно задействовав междугородную связь, как в тот раз, когда… — Дагни умолкла, потом тихо договорила: — …когда прокладывали ветку «*Линия Джона Голта*».

Они молча переглянулись.

— Что в последних рапортах строительных бригад? — продолжила Дагни.

— Все идет по плану. Как только вы покинули офис, я получил сообщение из Лоурела, штат Канзас, и из Джаспера, Оклахома, что прокладчики насыпи приступили к работе. Рельсы им

уже везут из Сильвер-Спрингс. Все на мази. Самое трудное было…

— Люди?

— Да. Найти людей. На западе от Эльгина до Мидлэнда мы столкнулись с трудностями. Все, на кого мы рассчитывали, ушли. Я не мог найти никого, кто взял бы на себя ответственность, ни на железной дороге, ни где-либо еще. Я даже пытался нанять Дэна Конвея. Но…

— Дэна Конвея? — остановившись, переспросила Дагни.

— Да. Пытался. Помните, как он ухитрялся проложить по пять миль рельсов в день, как раз в той части страны? О, я знаю, у него достаточно причин ненавидеть нас, но имеет ли это значение сейчас? Я нашел его, он теперь живет на ранчо в Аризоне. Я позвонил ему лично и умолял спасти нас. Просил наняться на работу на одну ночь, чтобы построить пять с половиной миль железнодорожного полотна. Пять с половиной миль, Дагни, которые нас спасут, а он — величайший прокладчик за всю историю железной дороги! Я сказал ему, что это было бы знаком его уважения к нам. Знаете, я думаю, он понял меня. Он не злился. Говорил с грустью. Но не согласился. Сказал, что нельзя вытаскивать

людей из могил… Пожелал мне удачи. Думаю, искренне… Знаете, мне кажется, он не из тех, кого разрушитель заставил выйти из дела. Похоже, он сам сломался.

— Да. Он сам сломался, я знаю.

Увидев выражение ее лица, Эдди быстро взял себя в руки.

— В конце концов мы нашли человека в Эльгине, — сказал он нарочито уверенным голосом. — Не волнуйтесь, дорогу проложат задолго до того, как вы туда приедете.

Она взглянула на него с полуулыбкой, думая о том, как часто она слышала от него подобные слова, и о той отчаянной браваде, которую он сейчас перед ней изображал. Эдди поймал ее взгляд, понял его, и ответная улыбка получилась смущенной и извиняющейся.

Эдди вернулся к своему блокноту, сердясь на себя за то, что нарушил собственное решение не усложнять положение Дагни. Он не должен был рассказывать ей о Дэне Конвее, думал Эдди, не должен был лишний раз напоминать о том отчаянном положении, в котором они оказались. Он недоумевал, что с ним происходит, ведь подобные нарушения дисциплины всегда казались ему недопустимыми, тем более сейчас, когда они

находились в ее квартире, а не на работе.

Дагни продолжила диктовку, и Эдди слушал, глядя в блокнот, время от времени делая короткие заметки. Он запретил себе смотреть на нее. Дагни открыла дверь в гардеробную, сдернула с вешалки костюм и наспех сложила его; голос ее звучал с прежней четкостью.

Эдди не поднял головы, следя за ней только по звукам быстрых движений и размеренного голоса. Он понимал, что с ним творится: ему не хотелось потерять ее снова, после столь краткого воссоединения. Но идти на поводу собственного одиночества, в то время как железная дорога крайне нуждается в Дагни, он считал непозволительным эгоизмом и поэтому чувствовал себя виноватым.

— Пошлите распоряжение, чтобы «*Комета*» следовала со всеми ключевыми остановками, — говорила Дагни. — И чтобы все управляющие отделениями подготовили мне рапорты об…

Эдди поднял глаза и вдруг перестал слышать Дагни; его взгляд застыл. Он увидел на вешалке открытой двери в гардеробную мужской халат, темно-синий халат с белыми инициалами «ХР» на нагрудном кармане.

Эдди припомнил, где видел этот халат прежде,

на мужчине, который смотрел на него через стол на завтраке в отеле «*Уэйн-Фолкленд*». Вспомнил, что этот человек пришел без предупреждения поздно вечером в День Благодарения в офис Дагни. И то, о чем он должен был давно уже догадаться, потрясло его подобно двум толчками одного землетрясения: внутри него раздался такой дикий крик «Нет!!!», что, казалось, рухнули все несущие опоры. Но еще больше, чем первое неожиданное открытие, его потряс шок: он наконец-то разобрался в собственных чувствах.

В его мозгу осталась одна-единственная мысль: нельзя дать Дагни заметить, *что* он увидел и что из-за этого пережил. Его смятение достигло апогея, превратившись в физическую муку. Эдди испугался, что вторгся в ее частную жизнь дважды: узнав ее тайну и разоблачив свою собственную. Эдди еще ниже склонился над блокнотом, стараясь сосредоточиться на важнейшем в тот момент деле: остановить трясущийся карандаш.

— …проложить в горах пятьдесят миль железнодорожного полотна и рассчитывать при этом только на имеющиеся в наличии материалы.

— Прошу прощения, — едва слышно переспросил Эдди. — Я не расслышал, что вы сказали.

— Я сказала, что мне нужен отчет от всех

управляющих о каждом метре рельсов и каждой единице оборудования, которыми они располагают у себя в отделениях.

— Хорошо.

— Я поговорю с каждым из них по очереди. Пусть являются в мой вагон «*Кометы*».

— Хорошо.

— Разошлите неофициальное сообщение, что машинисты должны выгадать время для остановок, следуя по линии на скорости семьдесят, восемьдесят, сто миль в час, где и как придется, а я… Эдди?

— Да. Хорошо.

— Эдди, что случилось?

Ему пришлось поднять голову и, глядя ей в глаза, впервые в жизни солгать.

— Я… я боюсь тех затруднений, которые могут возникнуть у нас с законом.

— Забудьте о них. Разве вы не видите, что никаких законов не осталось? Теперь все идет иначе: кто сумел что-то урвать, тот и прав. Теперь мы сами устанавливаем законы.

Когда Дагни собралась, Эдди донес ее чемодан до такси, а потом по платформе до ее вагона-офиса, самого последнего в составе «*Кометы*». Стоя рядом, он смотрел, как, дернувшись, поезд пошел,

и проводил взглядом красные фонари последнего вагона, удаляющегося в темноту туннеля. Когда огни пропали из виду, он понял, что чувствует человек, распрощавшись с мечтой, о существовании которой и не подозревал, пока не потерял ее навсегда.

Людей на платформе оставалось немного, они двигались напряженно, погруженные в свои мысли, как будто накрытые аурой несчастья, заполнившей все пространство от рельсов до потолочных балок вокзала. Эдди безразлично подумал: после ста лет безопасности люди снова почувствовали, что отправление поезда — не просто событие, а игра со смертью.

Он вспомнил, что не обедал, хотя не чувствовал голода, но подземное кафе Терминала больше походило на его дом, чем несколько кубометров пустого пространства, о котором он сейчас думал как о своей квартире. Вот он и направился в кафетерий, ведь больше идти ему было некуда. Войдя в безлюдный зал, он сразу заметил тонкую струйку дыма, поднимавшуюся над сигаретой рабочего, что одиноко сидел за столиком в темном углу.

Не глядя, Эдди поставил что-то на свой поднос и, садясь за столик рядом с ним, сказал только:

— Привет.

Тупо глядя на столовые приборы перед собой, он гадал об их предназначении, потом припомнил, как пользуются вилкой, и попытался изобразить движения, необходимые для поглощения пищи, но обнаружил, что это выше его сил. Спустя какое-то время он поднял глаза и увидел, что рабочий внимательно смотрит на него.

— Нет, — ответил Эдди. — Нет, со мной ничего не случилось… Да, произошло много событий, но какое это теперь имеет значение?.. Да, она вернулась… Что еще ты хочешь, чтобы я тебе об этом рассказал?.. Откуда ты знаешь, что она вернулась? Ах, да, наверное, вся компания узнала об этом в первые же десять минут… Нет, я не знаю, рад ли я ее возвращению… Конечно, она спасет железную дорогу, через год или через месяц… Что ты хочешь, чтобы я сказал?… Нет. Она не сказала мне, на что рассчитывает. Она не говорила, что чувствует, о чем думает… Ну, а ты сам-то как полагаешь, что она чувствует? Это для нее настоящий ад, да и для меня тоже! Только часть этого ада — моя собственная вина… Нет. Ничего. Я не могу говорить об этом… Говорить? Да я даже думать об этом не должен, я просто обязан положить этому конец, прекра-

тить думать о ней и о… Я хотел сказать о ней.

Он помолчал, размышляя о том, почему глаза рабочего, которые всегда видели его насквозь, сегодня вызывают у него чувство неловкости. Он смотрел в стол и заметил, что в стоявшей перед рабочим тарелке полно окурков.

— У тебя тоже неприятности? — спросил Эдди. — Ты сидишь здесь уже так долго… Меня? Почему ты хотел дождаться меня?.. Знаешь, я не думал, что тебя тревожит, увидишь ты меня или нет. Ты всегда казался погруженным в себя, поэтому мне так нравилось говорить с тобой. Я чувствовал, что ты всегда меня понимал, но ничто не может причинить тебе боль, ты всегда выглядел так, словно тебя ничто в мире не беспокоит, и это давало мне ощущение свободы, как будто… как будто в мире нет страдания… Знаешь, что странного в твоем лице? Ты выглядишь так, словно никогда не испытывал *ни боли, ни страха, ни вины*… Извини, что сегодня я пришел так поздно. Я должен был проводить ее, она уехала на «*Комете*»… Да, сегодня вечером, только что… Да, она уехала… Да, она неожиданно так решила, буквально час назад. Она собиралась уехать завтра вечером, но случилось что-то неожиданное, и она решила срочно уехать…

Да, она поедет в Колорадо, но позднее… Сначала в Юту…

Пришло письмо от Квентина Дэниелса — он бросает дела, а единственное дело, которое она *не может* бросить, не может *позволить себе* бросить, это мотор. Помнишь, я говорил тебе про мотор, остатки которого она нашла… Дэниелс? Это физик, он последний год работал в Технологическом институте в Юте, пытаясь раскрыть секрет мотора и восстановить его… Почему ты так смотришь на меня?.. Я раньше не говорил тебе о нем, потому что это тайна. Тайна, ее личный секретный проект, и почему он может тебя интересовать?.. Думаю, теперь я могу говорить об этом, потому что Дэниелс ушел… Да, он изложил ей причины. Сказал, что не отдаст того, что произвел его разум, миру, который относится к нему как к рабу. Сказал, что не станет приносить себя в жертву людям, которые получат огромную прибыль… Над чем ты смеешься?.. Перестань, слышишь? Почему ты так смеешься?.. Весь секрет? Нет, не раскрыл, если ты об этом, но, кажется, делал успехи, у него был верный шанс. Теперь шанс потерян. Она помчалась к нему, хочет умолить, удержать, заставить продолжать работу, только, я думаю, все впустую. Если

они останавливаются, то уже не возвращаются к работе. Никто не вернулся… Нет, мне теперь все равно, мы понесли столько потерь, что я привык к ним… Нет! Вовсе не мысли о Дэниелсе не дают мне покоя, нет, оставь это. Не спрашивай меня об этом. Весь мир разваливается на части, она все еще борется за его спасение, а я сижу здесь, проклиная ее за то, о чем не имею права знать… Нет! Она не сделала ничего, за что ее можно проклинать, ничего, и к тому же это не касается железной дороги… Не обращай на меня внимания, это неправда, это не ее я проклинаю, а себя…

Послушай, я всегда знал, что ты любишь «*Таггерт Трансконтинентал*» так же, как любил ее я, она для тебя много значит, для тебя лично, вот почему тебе так нравилось слушать, когда я о ней говорил. Но то, о чем я узнал сегодня, не имеет отношения к железной дороге. Для тебя это неважно. Забудь… Просто мне случайно стало известно о Дагни то, о чем я раньше и не подозревал, вот и все… Мы с ней вместе росли. Я думал, что знаю ее. Но не знал… Понять не могу, чего я ожидал… Наверное, считал, что у нее вообще нет личной жизни. Для меня она всегда была не человеком и не… не женщиной. Она олицетворяла

собой дорогу. И я не думал, что у кого-то хватит дерзости посмотреть на нее иначе… Что ж, поделом мне. Забудь об этом… Забудь, говорю! Почему ты так меня расспрашиваешь? Это ее личная жизнь. Как это может тебя касаться?.. Оставь, ради бога! Разве ты не видишь, что я не могу об этом говорить?.. Ничего не случилось, со мной все в порядке, я просто… Господи, в чем я вру? Я не могу врать тебе, ты всегда все понимал, хуже всего, что я лгу сам себе!.. Я лгал себе. Я не осознавал, какие чувства испытываю к ней. Железная дорога? Я законченный лицемер. Если бы она означала для меня только железную дорогу, то не причинила бы мне такую боль. И мне сейчас не хотелось бы его убить!.. Да что с тобой сегодня? Почему ты так смотришь на меня?.. Господи, что со всеми нами творится? Почему нам всем осталось одно только страдание? Почему мы так много страдаем? Мы не хотели этого. Я всегда думал, что мы будем счастливы, все мы, что это наше естественное состояние. Что мы делаем? Что потеряли? Год назад я не стал бы проклинать ее за то, что она нашла то, чего искала. Но теперь я знаю, что они обречены, они оба, и я тоже, и все люди обречены, а она — все, что у меня осталось… Это было слишком прекрасно, чтобы

осуществиться — чудо! Я не знал, что любил это чудо, что такова была наша любовь, ее и моя. Но мир начал рушиться. И мы не в силах остановить его. Почему мы разрушаем себя? Кто скажет нам правду? Кто спасет нас? О, кто такой Джон Голт?!

Теперь это неважно. Почему я должен что-то чувствовать? Нам уже недолго осталось. Почему меня должно заботить, что она делает? Почему меня должно волновать, что она спит с Хэнком Риарденом?.. О, Господи! Что с тобой? Не уходи! Куда же ты?!

ГЛАВА X. ЗНАК ДОЛЛАРА

Дагни сидела у вагонного окна, откинув голову и мечтая о том, чтобы больше никогда и никуда не ехать. В окне убегали вдаль телеграфные столбы, а поезд, кажется, затерялся в бескрайнем пространстве между бурой плоскостью прерии и тяжелым одеялом сероватых, тронутых ржавчиной облаков. Сумерки спускались на землю, так и не открыв просвета закатного солнца. Вечер напоминал бледное тело, которое покидали остатки крови и света. Поезд шел на запад, словно хотел угнаться за последними лучами солнца и исчезнуть вместе с ними с земли. Дагни сидела тихо, смирившись со звуком движения.

Ей страстно хотелось не слышать больше стука колес, их размеренного ритма, с аккуратно подчеркнутым каждым четвертым ударом, звучавшим громче остальных. В торопливом частом постукивании ей чудилось паническое бегство к спасению, а более редкие подчеркнутые удары напоминали зловещую поступь врага, неотвратимо следующего к цели.

Никогда прежде Дагни не охватывало дурное предчувствие при взгляде на прерии. Теперь

ей казалось, что рельсы напоминают тонкую непрочную нить, протянувшуюся через огромное пустое пространство, словно туго натянутый, готовый лопнуть нерв. Могла ли она, всегда ощущавшая себя движущей силой состава, представить, что будет сидеть в нем, как сейчас, — словно малый ребенок или дикарь, страстно желая: пусть поезд движется вечно, пусть он не останавливается, пусть довезет ее в срок… И это желание было не актом воли, а мольбой, обращенной к неведомому темному пространству.

Она размышляла о том, как многое может измениться всего за один месяц. Перемены читались даже в лицах людей на станциях. Рабочие, стрелочники, сотрудники депо, обычно с веселыми улыбками приветствовавшие ее по всей линии, сегодня смотрели с холодным безразличием, отворачивались с замкнутым, усталым выражением обреченности.

Дагни захотелось крикнуть, прося прощения: «Это не я виновата в том, что с вами стало!» Но она припомнила, как смирялась с происходящим, дав им право ненавидеть ее, что теперь она одновременно и раб, и надсмотрщик над рабами, как, впрочем, и все остальные, живущие в стране, и ненависть отныне — единственное чувство, ко-

торое люди способны испытывать друг к другу.

Два дня она утешалась видами городов, проносившихся за окном: заводами, мостами, неоновыми вывесками и рекламными щитами над крышами зданий — всей многолюдной, закопченной, активной жизнью промышленного Запада.

Но города остались позади. Поезд преодолевал прерии штата Небраска, и стук его колес начал напоминать дрожь, словно он замерзал. Дагни видела одинокие строения, некогда бывшие фермами, которые мелькали на пустошах, некогда бывших возделанными полями. Активность труда, вспыхнувшая несколько поколений назад, еще оставила светлые ручейки, прорезавшие пустоту — иные из них уже иссякли, зато в других по-прежнему теплилась жизнь.

Огни небольшого городка пронеслись мимо ее вагона и, исчезнув, сделали окружающую темноту еще непроницаемее. Дагни не двинулась, чтобы зажечь свет. Она сидела, следя за огоньками редких селений. Порой встречный луч света коротко освещал ее лицо, напоминая беглое приветствие.

Она видела, как проносились мимо вывески на стенах скромных строений, над закопченны-

ми крышами, вдоль стройных заводских труб, на боках цистерн: «*Комбайны Рейнолдса*», «*Цемент Мэйси*», «*Прессованная люцерна Куинлэна и Джонса*», «*Матрацы Кроуфорда*», «*Зерно и крупы Уайли*». Слова кричали на фоне глухой пустоты неба, подобно флагам былых времен — неподвижным символам движения, усилия, отваги, надежды; слова-памятники тому, как многого добились люди на краю света, люди, которые так и не обрели свободы, несмотря на свои достижения. Она видела уютные домики на улицах с неоправданно просторной застройкой, небольшие магазинчики, электрическое освещение, крестообразно пересекающее темные участки пустырей. В промежутках между полуобжитыми поселками встречались призраки городов, остовы заводов с осыпающимися фабричными трубами, трупы магазинов с выбитыми окнами, покосившиеся столбы с обрывками проводов, миражи бензозаправочных станций, подобно осколкам белого стекла и бетона блестевших под огромной тяжестью черного неба. Потом она увидела огромный конус бутафорского мороженого из сияющих неоновых трубок, нависший над углом одной из улиц, остановившийся под ним видавший виды автомобиль, из которого вышли

юноша и девушка в белом платье, развевающемся на летнем ветерке. При виде этих двоих Дагни поежилась: «Не могу смотреть на вас… Я, которая знает, как много пришлось совершить, чтобы дать вам вашу юность, этот вечер, старенькую машину и гигантский конус мороженого, которое вы собираетесь купить за четвертак». Она увидела на краю городка здание с этажами, светившимися голубоватыми огнями — дежурным освещением заводских цехов, цвет которого она так любила, с силуэтами станков в окнах и рекламным щитом над крышей. И, внезапно уронив голову на руки, она беззвучно зарыдала, оплакивая эту ночь, себя, всех живых, кто еще остался в мире, умоляя: «Не позволяйте, не допускайте этого!..»

Вскочив, Дагни включила свет. Постояла, пытаясь совладать с собой, зная, как опасны для нее такие моменты. Огни города унеслись назад, окно превратилось в пустой темный прямоугольник, и в тишине она вновь услышала неизменную цикличность четвертых ударов колес: неумолимую, равномерную поступь врага, не замедлявшуюся, но и не ускорявшуюся.

Испытывая отчаянную потребность увидеть живых, нормальных людей, Дагни решила не за-

казывать ужин к себе, а отправиться в вагон-ресторан. Словно для того, чтобы подчеркнуть ее одиночество и сделать его еще более невыносимым, в ее голове прозвучал голос: «Но ты не сможешь пускать поезда, если они опустеют». «Забудь!» — сердито приказала она себе, торопливо шагая к двери своего вагона.

Подходя к тамбуру, Дагни с удивлением уловила голоса. Потянув ручку двери, она услышала крик:

— Пошел ты к черту!

В самом углу тамбура нашел пристанище пожилой бродяга.

Он сидел на полу в позе, ясно говорящей о том, что у него нет сил ни встать, ни защищаться. Он смотрел на проводника отсутствующим взглядом, осмысленным, но лишенным сколько-нибудь конкретной эмоции. Поезд снизил скорость, проходя опасный поворот; проводник распахнул дверь в завывающий холодный ветер и, тыча рукой в проносящуюся черную пустоту, приказал:

— Убирайся! Выметайся, или я вышибу тебе мозги!

На лице бродяги не отразилось ни протеста, ни гнева, ни надежды. Похоже, он давно уже

не осуждал никого и ничего. Послушно двинулся, пытаясь подняться, цепляясь рукой за заклепки на стене вагона. Дагни поймала на себе его взгляд, потом увидела, как он отвел глаза, будто принял ее за еще одну деталь поезда. Кажется, бродяга совершенно не обратил на нее внимания; он с полным безразличием собирался подчиниться приказу, что означало для него верную смерть.

Посмотрев на проводника, Дагни не заметила в его лице ничего, кроме слепой злобы, долго сдерживаемой ярости, вырвавшейся наружу при первом представившемся случае, а кто стал ее объектом, значения не имело. Столкнувшись, эти двое перестали быть людьми.

Костюм бродяги состоял из аккуратных заплат, сплошь покрывавших ткань, такую заскорузлую и засалившуюся от носки, что, кажется, согни ее, и она треснет, как стекло. Однако на рубашке присутствовал воротничок, истрепавшийся от бесконечных стирок, но все еще хранивший подобие прежней формы. Бродяга почти поднялся на ноги, безразлично глядя на черную дыру, открывшуюся над милями необитаемой пустыни, где никто не услышит вскрика искалеченного человека и не увидит его тела. Его реакцию вы-

дал только жест, которым он крепко вцепился в свою жалкую, грязную котомку, словно хотел убедиться, что, прыгнув с поезда, не выронит ее.

Именно застиранный воротничок и то, как бродяга цеплялся за свое последнее имущество — жест, говоривший об остатках чувства собственности, полоснули Дагни обжигающей болью.

— Подождите! — вырвалось у нее.

Оба обернулись к ней.

— Он будет моим гостем, — сказала она проводнику и, открыв перед бродягой дверь, приказала ему: — Заходите.

Бродяга повиновался ей так же послушно и безучастно, как перед этим проводнику.

Стоя посреди вагона, держа в руках свою котомку, он огляделся с тем же отстраненным, лишенным всякого выражения видом.

— Садитесь, — предложила Дагни.

Он послушался и посмотрел на нее, словно ожидая дальнейших приказаний. В его манерах проскальзывала почтительность, открытое признание того, что он не станет ни требовать, ни выпрашивать, ни задавать вопросов; что примет все, что с ним захотят сотворить, и готов безропотно все снести.

Мужчине, похоже, перевалило за пятьдесят. Су-

дя по сложению и обвисшему костюму, некогда он отличался крепким телосложением. Безжизненному безразличию взгляда не удавалось скрыть искру разума. Морщины мягкосердечного лица придавали ему выражение невероятной горечи, не до конца стершей честность.

— Когда вы ели в последний раз? — спросила Дагни.

— Вчера, — ответил мужчина, потом добавил: — Кажется.

Дагни позвонила и попросила стюарда принести из вагона-ресторана ужин на двоих.

Бродяга молча смотрел на нее, но, стоило стюарду уйти, отплатил ей единственным, что оставалось в его распоряжении, сказав:

— Мне не хотелось бы создавать вам проблем, мэм.

— Каких? — улыбнулась Дагни.

— Вы путешествуете с одним из воротил, владельцев железной дороги, не так ли?

— Нет, я еду одна.

— Значит, вы — жена одного из хозяев?

— Нет.

— О…

Дагни заметила его попытку сохранить во взгляде что-то вроде уважения, словно она

призналась в порочащем ее поступке и засмеялась:

— Нет, я не то, что вы подумали. Кажется, я и есть одна из железнодорожных воротил. Меня зовут Дагни Таггерт, я работаю на эту железную дорогу.

— Кажется, я слышал о вас, мэм, в прежние времена, — трудно было догадаться, что именно означали для него слова «прежние времена»: месяцы, годы или всего лишь период, миновавший с тех пор, как он бросил работу. Он смотрел на нее с невнятным интересом, будто вспоминая о днях, когда считал ее достойной персоной. — Вы — та леди, которая управляла всей железной дорогой?

— Да, — кивнула она. — Это я.

Мужчину, казалось, не удивило ее решение помочь ему. Создавалось впечатление, что он сталкивался с таким количеством грубости и жестокости, что вообще разучился чему бы то ни было удивляться.

— Где вы сели на поезд? — поинтересовалась Дагни.

— На пункте формирования состава, мэм. Дверь оказалась не заперта, — и добавил: — Я подумал, вдруг меня до утра никто не заметит, ведь это

частный вагон.

— Куда направляетесь?

— Не знаю… — потом, почувствовав, что его слова могут вызвать жалость, пояснил: — Наверное, просто решил ездить, пока не найду место, где может подвернуться работа, — он явно хотел создать впечатление, будто передвигается осознанно, с определенной целью — не желая слишком уж испытывать ее сострадание бременем своей безысходности… Еще одна попытка сохранить приличие, вроде воротничка его сорочки.

— Какую именно работу вы ищете?

— Люди сейчас больше не ищут работы по специальности, мэм, — бесстрастно ответил мужчина. — Они ищут *просто работу*.

— Какую работу вы надеетесь найти?

— Наверное, на заводе.

— Кажется, для этого вы выбрали неверное направление. Все заводы находятся на востоке.

— Нет, — с твердостью знающего человека ответил он. — На востоке слишком много людей. За заводами слишком хорошо следят. Я думаю, больше шансов найти работу там, где меньше людей и законов.

— А, так вы беглец? Скрываетесь от закона,

верно?

— Не то, что называлось этими словами в прежние дни, мэм. Но при нынешних обстоятельствах, наверное, так и есть. Я хочу работать.

— Что вы имеете в виду?

— На востоке не осталось работы. Даже если у нанимателя есть работа, он вам ее не даст, потому что его за это упрячут в тюрьму. За ним следят. Нельзя получить работу без санкции Объединенного совета. А у Объединенного совета есть своя очередь друзей, ожидающих работы; их больше, чем родственников у миллионера.

— Где вы работали в последний раз?

— Я колесил по стране месяцев шесть… да нет, дольше, наверное, с год. Обычно попадалась работа на один день. В основном на фермах. Но теперь с этим покончено. Я знаю, как на нас смотрят фермеры, они не могут спокойно видеть голодающего, но сами близки к голодной смерти, у них нет для нас ни работы, ни еды. А если им удается заработать деньги, то их отберут или сборщики налогов, или грабители — вы же знаете, по стране рыщут банды тех, кого называют дезертирами.

— Думаете, на западе лучше?

— Нет. Не думаю.

— Зачем же тогда вы туда едете?

— Потому что там я еще не бывал. Здесь больше нечего искать. Нужно куда-то ехать. Просто двигаться вперед… Знаете, — неожиданно продолжил он, — я не думаю, что выйдет толк. Но на Востоке ничего не остается, как только сесть под куст и ждать, когда умрешь. Кажется, я не стал бы возражать против смерти. Стало бы намного легче. Только, наверное, грешно сесть и позволить жизни покинуть тебя, не пытаясь ее сохранить.

Дагни вдруг подумала о современных паразитах, испорченных колледжами, усвоивших тлетворный дух нравственного лицемерия, провозглашающих стандартные банальности о своей ответственности за благосостояние людей. Последняя фраза бродяги — самое высоконравственное заявление из всех когда-либо слышанных ею. Но сам он не подозревал об этом, произнося слова безжизненным, погасшим голосом, просто и сухо, как нечто само собой разумеющееся.

— Из какого штата вы приехали? — спросила Дагни.

— Из Висконсина, — ответил мужчина.

Вошел официант, принес им ужин. Накрыв

стол, учтиво пододвинул к нему два стула, не выказывая ни малейшего удивления тому, что видит.

Дагни посмотрела на стол и подумала о том, что это остатки от великолепия мира, в котором люди могли позволить себе такую роскошь, как накрахмаленные салфетки и позвякивающие кубики льда, всего за несколько долларов полагавшиеся к трапезе путешественников. Они сохранились с тех времен, когда борьба человека за жизнь еще не являлась преступлением, а пища не стала причиной гонки со смертью. И эти последние остатки очень скоро исчезнут, как застекленные боксы бензозаправок на краю зеленых джунглей.

Дагни увидела, что бродяга, не имевший сил стоять прямо, не утратил уважения к вещам, разложенным перед ним на столе. Он не набросился на пищу. Напротив, стараясь действовать уверенно и плавно, мужчина развернул салфетку, вслед за нею взял вилку дрожащей рукой, словно помня, что, каким бы унижениям его ни подвергали, нужно держаться достойно.

— Где вы работали в прежнее время? — спросила Дагни, когда официант ушел. — На заводах, не так ли?

— Да, мэм.

— По какой специальности?

— Токарь высшего разряда.

— Где последний раз работали по специальности?

— В Колорадо, мэм. В *«Хэммонд Кар Компани»*.

— О!

— Что-то не так, мэм?

— Нет, ничего. Долго там проработали?

— Нет, мэм. Всего две недели.

— Как получили работу?

— Я проторчал в Колорадо целый год, дожидаясь ее. В *«Хэммонд Кар Компани»* тоже был свой лист ожидания, только они не принимали людей по дружбе или по старшинству, учитывали опыт работы. У меня был хороший опыт. Но ровно через две недели после того, как я поступил на работу, Лоуренс Хэммонд ушел. Ушел и исчез. Завод закрыли. Потом создали гражданский комитет и открыли завод заново. Меня взяли назад. Но завод продержался всего пять дней. Почти сразу же начались отстранения от работы. По старшинству. Пришлось мне уйти. Я слышал, гражданский комитет продержался три месяца. Потом завод закрыли навсегда.

— А до этого где работали?

— Да, пожалуй, во всех восточных штатах, мэм. Но никогда не удавалось продержаться больше одного-двух месяцев. Заводы все время закрывались.

— И так случалось на всех заводах… где вы работали?

Он посмотрел на Дагни, словно догадавшись, о чем она говорит.

— Нет, мэм, — и в первый раз в его голосе прозвучала гордость. — На своем первом рабочем месте я проработал двадцать лет. Не в той же должности, я хочу сказать, а на одном и том же заводе. Я был мастером цеха. Двадцать лет назад. Потом владелец завода умер, а его наследники свели дело к нулю. И в прежние времена было не без проблем, но с тех пор все стало разваливаться быстрее и быстрее. С тех пор, куда бы я не сунулся, все приходило в упадок. Сначала мы думали, что это творится только в нашем штате. Большинство из нас считали, что Колорадо продержится. Но и этот штат тоже пришел в упадок. Чего ни коснись, все рассыпается как песок. Куда ни посмотри, работа прекращалась, заводы вставали, станки выключали, — он медленно добавил шепотом, как будто его преследовало пугающее зрелище: — Станки… выключали! — потом по-

громче: — О боже, кто такой… — и умолк.

— …Джон Голт? — закончила она за него.

— Да, — мужчина тряхнул головой, словно пытаясь избавиться от навязчивой картины. — Только я не люблю это повторять.

— Я тоже. Хотелось бы мне узнать, почему люди так говорят и кто первый начал.

— Вот этого я и боюсь, мэм. Наверное, это я начал.

— Что?!

— Я или еще шесть тысяч наших. Мы начали. Наверное, это мы. Надеюсь, мы ошибаемся.

— Что вы хотите этим сказать?

— Знаете, на том заводе, где я проработал двадцать лет, случилась одна история. Как раз тогда, когда старик умер и его наследники приняли дела. Их было трое, двое сыновей и дочь, и они составили новый план работы завода. Они предложили нам проголосовать за него, и все мы — почти все — проголосовали «за». Мы не знали. Мы думали, так будет лучше. План состоял в том, чтобы каждый на заводе работал сообразно своим способностям, а оплату получал согласно своим нуждам. Мы… В чем дело, мэм? Почему вы так на меня смотрите?

— Как назывался ваш завод? — еле слышно

спросила Дагни.

— Моторостроительная компания «*Двадцатый век*», мэм. В Старнсвилле, штат Висконсин.

— Продолжайте…

— Мы проголосовали за этот план на большом собрании, пришли все работники завода, шесть тысяч человек. Наследники Старнса произносили длинные речи, дело яснее не стало, но никто не задавал вопросов. Никто из нас не знал, как будет работать план, но каждый думал, что другие это понимают. А если кто-то сомневался в успехе, то чувствовал себя виноватым и не раскрывал рта, поскольку выходило так, что каждый возражающий — в душе детоубийца и не человек вовсе. Нам сказали, что этот план приведет нас к благородному идеалу. Откуда нам было знать? Мы всю жизнь слышали это, сначала от родителей и учителей, потом от министров, да и в каждой газете, что мы прочли, в каждом фильме и в каждой публичной речи. Разве нам не твердили постоянно, что это справедливо и правильно? Может быть, это немного извиняет нас за то, что мы сделали на собрании. Мы проголосовали за план, и за что боролись, на то и напоролись. Знаете, мэм, мы люди меченые в некотором смысле — те из нас, кто прожили

четыре года на заводе «*Двадцатый век*» по плану. Что из этого могло получиться? Зло. Обычное, голое, нагло ухмыляющееся зло, и больше ничего. А мы помогали ему, и я считаю, что все мы прокляты, каждый из нас, и, может быть, нам не будет прощения…

Знаете, как работал тот план и что он сделал с людьми? Попробуйте наполнить бочку водой, когда внизу у нее есть труба, из которой все выливается быстрее, чем вы льете сверху, и каждое вылитое вами ведро воды разрушает трубу и делает отверстие на дюйм шире. И чем упорнее вы трудитесь, тем больше усилий от вас требуется. И вы таскаете ведра по сорок часов в неделю, потом — по сорок восемь, потом — по шестьдесят четыре. Для того чтобы у вашего соседа был ужин, чтобы сделать операцию его жене, вылечить корь у его ребенка, чтобы дать инвалидную коляску его матери, купить рубашку его дяде, послать в школу его племянника, для ребенка в соседней квартире, для будущего ребенка, для каждого из тех, кто вас окружает. Они получат все, от пеленок до зубных протезов, а вы будете работать от зари до зари, месяц за месяцем, год за годом и ничего не получите, кроме пота, и не увидите ничего, кроме их удовольствия, и так всю жизнь,

без отдыха, без надежды, без конца… От каждого по способностям, каждому по потребностям.

Мы все — одна большая семья, говорили нам, мы все здесь заодно. Вот только не все работают у ацетиленового резака по десять часов кряду, и не у всех от этого болит живот. Что главное из способностей и что имеет преимущество из потребностей? Когда все идет в общий котел, вы же не можете позволить каждому решать, каковы его потребности, правда? Если так рассуждать, он может заявить, что ему необходима яхта, и если кроме желания ему нечего предъявить, то пусть докажет ее необходимость. Почему бы нет? Если мне не позволено иметь машину, пока я не доработаюсь до больничной палаты, зарабатывая на машину для каждого бездельника и для последнего голого дикаря на земле, почему бы ему не потребовать себе еще и яхту, если я до сих пор держусь на ногах? Нет? Не может? Тогда почему он требует, чтобы я пил кофе без сливок, пока он не переклеит обои в своей комнате?.. Короче, решили, что ни у кого нет права оценивать собственные способности и потребности. Проголосовали за это. Да, мэм, мы голосовали за это на собраниях дважды в год. Как еще можно было все устроить? Пред-

ставляете, что творилось на этих собраниях? На первом же мы обнаружили, что все как один превратились в попрошаек, потому что никто не мог требовать оплаты как законного заработка: у него не было прав, не было заработка, его труд ему не принадлежал, он принадлежал «семье», которая ничего не давала ему взамен, и единственное, что он мог предъявить — свою «потребность». То есть публично попросить удовлетворить его потребности как последний нищий, перечислив все свои трудности и страдания, от залатанных одеял до простуды жены, в надежде, что «семья» подаст ему милостыню. Человек предъявлял страдания. Потому что они, а не его работа, встали во главу угла. И шесть тысяч человек превратились в соревнующихся попрошаек, кричащих, что его нужда острее, чем у его брата. Могло ли быть иначе? Представляете, что произошло? Кто-то молчал, маясь от стыда, а кто-то шел домой с главным призом.

Но и это еще не все. На этом собрании открылось и другое. За первое полугодие объем выпущенной заводом продукции упал на сорок процентов, поэтому было решено, что кто-то не получит «по потребности». Кто? Как решить? «Семья» проголосовала и за это решение. Они го-

лосованием избрали лучших и присудили им работать дополнительное время каждый вечер в течение следующих шести месяцев. Сверхурочная работа без оплаты, потому что оплачивается не отработанное время, а потребности.

Нужно ли мне говорить, что случилось потом и в кого стали превращаться мы, те, кто раньше были людьми? Мы стали скрывать свои способности, замедлять работу и пристально следить за тем, чтобы не сделать дневную норму лучше или быстрее соседа. Нам просто не оставалось ничего другого, ведь мы знали: если станем выкладываться на «семью», то не получим за это ни благодарности, ни вознаграждения, а одно лишь наказание. Мы знали, стоит любому засранцу загубить партию моторов и принести компании убыток — неважно, из-за своей небрежности или из-за некомпетентности — трудиться по ночам и по воскресеньям придется нам. Поэтому мы старались работать не лучшим образом.

Был среди нас один молодой парень, поначалу горячо взявшийся за дело. Он горел желанием добиться благородного идеала — без образования, но способный, с хорошей головой на плечах. В первый год он придумал рабочий процесс, ко-

торый сэкономил нам тысячи человеко-часов. Передал его «семье», ничего не прося взамен. Он был хороший парень. Говорил: для достижения идеала. Но когда он увидел, что голосованием его избрали лучшим и присудили к работе по ночам, потому что не все еще из него выжали, он прикусил язык и отключил мозги. Можете быть уверены, на второй год он не предложил ни одной идеи.

А что они толковали нам про жестокую конкуренцию в экономике свободного предпринимательства, когда люди стремятся сделать лучше и больше других? Жестокая, говорите? Они увидели, на что она похожа, когда мы все соревновались друг с другом, кто хуже сделает свою работу. Чтобы разрушить человека, нет средства вернее, чем поставить в положение, когда его целью становится не добиться наивысшего результата, а день за днем работать все хуже. Это доконает его куда быстрее, чем пьянка, безделье или зарабатывание на жизнь мелким воровством. Но у нас не было другого пути, кроме как демонстрировать профнепригодность. Единственное, чего мы страшились, было обвинение в одаренности. Одаренность, большие способности, превращали нас в заклад, который нам

никогда не удалось бы выкупить. Да и для чего было работать? Когда знаешь, что в любом случае получишь основное содержание, твое «продовольственное и квартирное пособие», как они это называли, а сверх него не было возможности получить ничего, как бы упорно ты ни трудился. Ты не мог рассчитывать купить новый костюм на следующий год, потому что не знал, дадут тебе «пособие на одежду» или нет, потому что кто-то может сломать ногу, будет нуждаться в операции или родит новых детей. Если нет денег на новый костюм для всех, значит, и ты его не получишь.

Один человек трудился всю жизнь, потому что мечтал послать сына в колледж. Мальчик окончил среднюю школу на второй год работы завода по плану, но «семья» не дала его отцу пособия на колледж. Сказали, что его сын не может поступить в колледж, пока не появится достаточно денег, чтобы всех сыновей посылать в колледжи. Сначала всех детей нужно обучить в средней школе, а у нас и на это денег не хватает. Через год отец погиб — просто вышла в салуне поножовщина, так, без особой причины… драки у нас стали случаться все чаще.

Еще один старик-вдовец, без семьи, имел хобби, собирал пластинки. У него в жизни больше

ничего не осталось. В старые времена он экономил на еде, чтобы купить новую пластинку с классической музыкой. Так вот, они не дали ему пособия на пластинки, назвали это «роскошью». Но на том же самом собрании Милли Буш, чья-то дочка, страшненькая одиннадцатилетняя девчонка, получила пару золотых корректирующих пластинок для зубов. Все проголосовали за «медицинскую необходимость», потому что штатный психолог заявил, что у бедной девочки разовьется комплекс неполноценности, если зубы не исправить. Старик, любивший музыку, запил. С тех пор его трезвым и не видели. Но кое-что он так и не сумел забыть. Однажды вечером он шел, пошатываясь, по улице, увидел Милли Буш, размахнулся и выбил ей кулаком зубы. Все до одного.

Мы, конечно, начали пить, кто больше, кто меньше. Не спрашивайте, откуда мы брали деньги на выпивку. Когда все приличные удовольствия запрещены, всегда найдется способ заполучить недозволенные. Ты не станешь вламываться по ночам в лавки или шарить по карманам друзей, чтобы купить пластинки с классической музыкой или рыболовные снасти, но если можно обобрать в стельку пьяного

и забыть об этом, ты так и сделаешь. Рыболовные снасти? Охотничьи ружья? Фотокамеры? Хобби? Пособия на «развлечения» не давали никому. Их отмели в первую очередь. Не стыдно ли будет возражать, если придется отказаться от того, что доставляет вам удовольствие? Даже «пособие на табак» урезали до двух пачек сигарет в месяц, а все потому, сказали нам, что деньги нужны на молоко для младенцев. Дети — единственный вид продукции, уровень которой не снизился, а повысился и продолжал повышаться, наверное, потому, что больше людям нечем было заняться, и потому, что о детях они не заботились, предоставив это «семье». На деле единственным способом жить получше было получить детское пособие. Либо детское, либо пособие по тяжелой болезни.

Нам не понадобилось много времени, чтобы понять, к чему идет дело. Всякий, кто пытался играть честно, отказывал себе во всем. Он терял вкус к удовольствиям, боялся выкурить десятицентовую сигаретку или сжевать пластинку жвачки, беспокоясь о том, что кому-то этот десятицентовик нужен больше, чем ему. Он стыдился за каждый проглоченный кусок хлеба — ведь он оплачен ночной сменой дру-

гого человека, и эта еда ему не принадлежит. Он предпочитал быть обманутым, чем обманывать самому, быть жертвой, а не кровопийцей. Он не женился, не забирал в свой дом родственников, чтобы не обременять «семью». Кроме того, если у него еще оставалось чувство ответственности, он не мог завести детей, не мог ничего планировать, ничего обещать, ни на что рассчитывать. Но безответственные типы пустились во все тяжкие. Они рожали детей, брюхатили девушек, тащили к себе дальних родственников со всей страны, каждую беременную незамужнюю сестру, чтобы получить новое «пособие по нетрудоспособности», они находили у себя все больше болезней, портили одежду, мебель, дома. Что такого, черт возьми, «семья» за все заплатит! Они находили столько новых «потребностей», сколько все остальные и придумать не могли, они развивали в себе эту способность, свой единственный талант.

Что же мы увидели, мэм? Мы увидели, что нам дали закон для жизни, нравственный закон, как они его называли, который наказал тех, кто его соблюдал, за то, что они его соблюдали. Чем больше мы старались жить по этому закону, тем больше мы страдали. Чем больше мы

нарушали его, тем большее вознаграждение получали. Наша совесть стала инструментом в руках бессовестных. Честные платили, бесчестные получали. Честные проигрывали, бесчестные выигрывали. Долго ли проживут добрые люди при этаком законе добра? Мы были неплохими парнями, когда начинали. Среди нас немного было мошенников. Мы знали свое ремесло и гордились им, и работали на лучшем заводе в стране, на который старик Старнс нанимал лучших работников. Всего за один год работы по новому плану среди нас не осталось ни одного честного человека. Вот оно — зло, то самое адское зло, страх Господень, которым нас пугали проповедники и который мы все надеялись не увидеть при жизни. План не то чтобы воодушевил нескольких подонков, он превратил всех достойных людей в подонков, и ничего другого он не мог совершить, и его называли нравственным законом!

Для чего нам было стремиться работать? Ради любви к нашим братьям? Каким братьям? К пройдохам, мошенникам, попрошайкам, окружившим нас? Лукавили они или просто оказались невеждами, безвольными или немощными, какая разница? Если мы были обречены

на жизнь на их уровне недееспособности, ложной или настоящей, долго ли мы продержались бы? Мы не могли узнать их способностей, не могли контролировать их потребности, мы знали только, что работали, как скот, в месте, которое оказалось наполовину больницей, наполовину скотопригонным двором, обрекавшем нас на бессилие, несчастье, болезни. Мы стали быдлом, трудившимся для того, чтобы по чужому решению обеспечить чьи-то потребности.

Любовь к братьям? Вот когда мы научились ненавидеть братьев впервые в жизни. Мы стали ненавидеть их за каждый съеденный ими кусок, за каждое маленькое удовольствие, что им выпадало. За новую сорочку, за шляпку жены, за вечеринку, за покрашенный дом, ведь все это было отнято у нас, оплачено ценой наших лишений, самоограничения, голода. Мы стали следить друг за другом, в надежде уличить во лжи, в притязаниях на незаслуженные нужды, чтобы урезать чужие пособия на следующем собрании. Мы завели стукачей, доносивших, например, о тайно купленной индейке для воскресного семейного обеда, за которую, скорее всего, заплатили деньгами, выигранными в азартные игры. Мы стали вмешиваться в чужую жизнь.

Мы провоцировали семейные ссоры, чтобы выбросить вон кого-нибудь из родственников. Как только мы видели, что мужчина ухаживает за девушкой, мы делали его жизнь невыносимой. Мы расстроили немало помолвок. Мы не хотели, чтобы заключались браки, мы не желали кормить нахлебников.

В старые времена мы устраивали праздник, когда рождался ребенок, мы сбрасывались, чтобы помочь с оплатой больничных счетов, если человеку приходилось туго. Теперь мы неделями не разговаривали с родителями новорожденного. Дети стали для нас чем-то вроде саранчи. В старые времена мы помогали тому, у кого в семье случалась тяжелая болезнь. Теперь все стало не так… Лучше я вам приведу пример. Мы, коллеги, работали вместе с одним человеком пятнадцать лет. Его мать, добрая старая женщина, веселая и мудрая, знала всех нас по именам, и мы любили ее. Однажды она поскользнулась на лестнице, упала и сломала бедро. Мы понимали, что это означает в ее возрасте. Штатный доктор сказал, что ее необходимо поместить в городскую больницу на длительное дорогостоящее лечение. Старушка скончалась накануне того дня, когда должна была поехать в город. Причину

ее смерти так и не установили. Нет, я не думаю, что ее убили. Никто этого не говорил. Никто вообще не заводил о ней речи. Я знаю только и никогда этого не забуду — я и сам не раз ловил себя на мысли, что желаю ей смерти. Да простит нас Господь, вот во что превратились братская любовь, безопасность и изобилие, которых мы должны были достигнуть по нашему плану!

По какой причине проповедуются подобные идеи? Хоть кто-нибудь извлек из них выгоду? Да, наследники Старнса. Надеюсь, вы не станете напоминать мне о том, что они пожертвовали своим состоянием и принесли свой завод нам в дар. Нас этим тоже одурачили. Да, они отдали завод. Но прибыль, мэм, зависит от того, чего вы добиваетесь. А наследники Старнса гнались не за деньгами, этого ни за какие деньги не купишь. Деньги слишком чисты и непорочны для этого.

Эрик Старнс, самый молодой, законченная медуза, вообще ничего не хотел. Он стал главой отделения по связям с общественностью, мы за это проголосовали. Сам он не делал ничего, у него для этого был набран целый штат, он даже в офисе не появлялся. Плата, которую он получал, — нет, я не должен называть это пла-

той, никто из нас не получал плату, подаяние он получал довольно скромное: раз в десять больше моего, но не богатое. Эрик не гнался за деньгами, он не знал, что с ними делать. Он проводил время, отираясь среди нас, показывая, какой он дружелюбный и демократичный. Наверное, хотел, чтобы его любили. Для этого постоянно напоминал нам, что отдал нам завод. Мы его терпеть не могли.

Джеральд Старнс стал нашим исполнительным директором. Мы так никогда и не узнали, какие комиссионные — его долю с прибыли — он получал. Потребовался целый штат бухгалтеров, чтобы высчитать, и штат инженеров, чтобы раскрыть пути, которыми, прямо или косвенно, деньги попадали к нему. Ни цента из этих денег не предназначалось ему, все тратились на «семью». У Джеральда было три автомобиля, четыре секретарши, пять телефонов, и он привык закатывать такие вечеринки с икрой и шампанским, которые не снились ни одному воротиле, платившему налоги. За один год он потратил больше, чем составила прибыль его отца за последние два года жизни. Мы видели в кабинете Джеральда стофунтовые пачки журналов — сто фунтов, мы взвешивали — проспектов, полных исто-

рий про наш завод и наш благородный план, с большими фотографиями Джеральда Старнса, где он назывался величайшим общественным деятелем. Джеральду нравилось заходить по ночам в мастерские в парадном костюме, сверкая бриллиантовыми запонками размером с десятицентовик, и стряхивать, где попало, сигарный пепел. Любой дешевый бахвал, которому нечем похвастать, кроме денег, уже противен, тем более тот, кто потерял голову от денег, которые ему не принадлежат. Хочешь — глазей на него, не хочешь — не смотри, обычно никто и не смотрит. Но когда подонок, вроде Джеральда Старнса, разглагольствует о том, что его не интересует материальное благосостояние, он, якобы, только служит «семье», и все роскошества служат не ему самому, а нашей же пользе и общему благу, поскольку необходимо поддерживать престиж компании и благородного плана в глазах общественности, вот тут и начинаешь ненавидеть его так, как никого другого.

Но его сестра Айви хуже всех. Ее действительно не заботили материальные блага. Жалованье она получала не больше нашего, ходила в разбитых туфлях без каблуков, в блузках вроде мужской рубашки, чтобы показать, какая она бескорыстная.

Работала нашим директором по распределению, ее служебной обязанностью было обслуживать наши материальные потребности. Вот кто держал нас за горло. Конечно, распределение решалось голосованием — голосами, поданными народом. Но когда народ — это шесть тысяч вопящих глоток — пытается принять решение, не имея мерила, резона и смысла, когда в игре нет правил и каждый требует всего, не имея права ни на что, когда каждый признает власть закона над всеми, кроме самого себя, все идет кувырком. И голосом народа становится голос Айви Старнс. К концу второго года мы перестали изображать «семейные собрания» ради «эффективности производства и экономии», потому что собрания растягивались дней на десять. Все прошения о потребностях просто посылали мисс Старнс. Нет, не посылали. Каждый нуждающийся лично сообщал ей свое прошение. Потом она составляла перечень прошений и зачитывала его нам на собрании, которое продолжалось три четверти часа. Мы голосовали за принятие списка. Потом в повестке дня давались десять минут на обсуждение и возражения. Мы не возражали. К тому времени мы все уже поняли. Никто не станет делить прибыль завода на шесть тысяч человек,

не оценив людей по степени их важности. Мерой Айви стали подхалимаж и лесть. Бескорыстная? Во времена ее отца все его деньги не позволяли ему безнаказанно говорить с последним уборщиком так, как Айви разговаривала с нашими лучшими рабочими и их женами. Помню ее бледные рыбьи глаза, холодные и мертвые. Если бы вам захотелось узреть воплощенное зло, вам нужно было бы увидеть, как блестели ее глаза, когда она смотрела на человека, сказавшего что-то ей вслед. А потом он слышал свое имя среди тех, кто не получил ничего, кроме «базового пособия». Увидев глаза Айви, вы поняли бы истинное значение выражения «От каждого по способностям, каждому по потребностям».

Вот и весь секрет. Сначала я удивлялся. Как может получиться, что образованные, культурные, известные люди могут совершить такую большую ошибку и искренне проповедовать подобную мерзость. Ведь пяти минут размышлений хватит понять, к чему она приведет на практике. Теперь я понимаю, что они творили это не по ошибке. Ошибки такого масштаба никогда не делаются по простоте душевной. Если люди впадали в подобную ересь, не в силах заставить служить ее себе или объяснить свой выбор, зна-

чит, у них была на то причина, о которой им не хотелось говорить. Мы тоже были не без греха, когда голосовали за план на первом собрании. Не потому, что верили, что пустая болтовня, которую на нас обрушивали, — правда. У нас был другой резон, а болтовня позволяла скрыть его от окружающих и от самих себя. Она давала нам шанс выдать за добродетель то, в чем прежде мы постыдились бы признаться. Не было человека, кто, голосуя за план, не думал бы о том, что под эту музыку он захапает часть прибыли более способных людей. Не слишком богатые и умные думали: есть люди поумнее и побогаче, от которых им перепадет часть их богатства и ума. Но, думая о получении незаслуженных выгод от тех, кто стоял выше них, люди забывали о других, кто стоял ниже, также рассчитывая на незаслуженные блага. Рабочий, возомнивший, что может рассчитывать на лимузин, как у его босса, забывал о бродягах и нищих, которые непременно завопят, что им необходимы такие же холодильники, как у него. Вот в чем состоял истинный мотив нашего голосования, но нам было неприятно так думать. Однако чем меньше нам нравилось так думать, тем громче мы вопили о своей любви к общему благу.

Что ж, мы получили то, чего хотели. Когда мы поняли, чего просили, было уже поздно. Мы оказались в ловушке. Лучшие люди покинули завод в первую же неделю действия плана. Мы лишились лучших инженеров, управляющих, мастеров и высококлассных рабочих. Уважающий себя человек не станет дойной коровой для других. Самые способные попытались выделиться, но не смогли продержаться долго. Мы продолжали терять людей, они постоянно бежали с завода, как из холерного барака, пока мы не остались только с людьми с потребностями, но без людей со способностями.

Те немногие из нас, кто чего-то стоил, но не ушел, продержались довольно долго. В старые времена никто не увольнялся с «*Двадцатого века*», а мы не могли поверить, что прежнего завода больше нет. Спустя время мы уже не могли уйти, потому что другой работодатель не принял бы нас, за что я лично не стал бы его корить. Никто не хотел иметь с нами никаких дел, ни одна уважающая себя фирма. Все мелкие предприятия вскоре стали уезжать из Старнсвилля, и нам не осталось ничего, кроме салунов, игорных залов и проходимцев, которые торговали барахлом по дутым

ценам. Наши пособия становились все меньше, а стоимость жизни росла. Перечень нужд продолжал распухать, а список производителей сжимался. Все меньшую прибыль приходилось распределять среди все большего числа людей. В прежние времена говорили, что торговая марка «*Двадцатый век*» надежна, как проба на золоте. Не знаю, о чем думали наследники Старнса, если они вообще думали, но мне кажется, что они, подобно всем плановикам или дикарям, считали, что эта фирма волшебная и обладает шаманской силой, которая сохранит их богатство, как хранила прежде их отца. Но когда наши клиенты заметили, что мы не выполняем заказы в срок и в работе наших двигателей постоянно случаются неполадки, волшебная марка начала работать в обратном направлении: люди не хотели брать наши моторы даже даром. Кончилось все тем, что среди наших клиентов остались только те, кто не оплачивали, да и не собирались оплачивать счета. Но Джеральд Старнс, опьяненный своей известностью, завелся и тоном морального превосходства стал требовать от нас новых усилий, но не потому, что наши моторы были так уж хороши, а потому что считал, что нам страсть как нужны его приказания.

К тому времени уже последнему деревенскому дурачку стало ясным то, чего поколения профессоров предпочитали не замечать. Что хорошего принесут наши дефектные двигатели электростанции, если встанут ее генераторы? Человеку на операционном столе, если погаснут софиты? Пассажирам самолета, сломавшегося высоко над землей?

А если наш продукт купят за его прежние заслуги или из-за нашей нужды, то спокойной ли будет совесть у хозяина электростанции, хирурга или авиастроителя?

И все-таки именно такой нравственный закон профессора, лидеры и мыслители всех мастей хотели установить повсюду. Если кто-то натворил дел в одном маленьком городишке, где все друг друга знали, то подумайте только, что сделалось бы на мировом уровне? Вообразите только, на что это будет похоже, если вам придется жить и работать, связанной со всеми несчастьями и несуразностями в глобальном масштабе? Если где-то человек ошибся, вы должны исправить совершенное им. Работать, не имея шанса подняться, когда ваша пища, одежда, дом, удовольствия зависят от каждого обмана, голода, эпидемии, случившихся где-то в мире. Работать, не надеясь

на добавочный паёк, пока всех камбоджийцев и патагонцев не накормят и не пошлют в колледж. Работать на всех родившихся младенцев, на людей, которых вы никогда не увидите, о чьих нуждах ничего не узнаете, чьи таланты или лень, или никчемность, или лживость вы не раскроете и с кого не имеете права спросить. Просто работать и работать, предоставив решать Айви и Джеральдам всего мира, в чьем желудке исчезнут труды, мечты и годы вашей жизни. Принять ли такой нравственный закон? И таков ли нравственный идеал?

Что ж, мы сделали попытку и получили урок. Наша агония длилась четыре года, со дня первого собрания и до последнего, и привела она к единственно возможному результату: к банкротству. На нашем последнем собрании только Айви Старнс пыталась нагло отрицать свою вину. Она выступила с краткой резкой речью, в которой заявила, что план потерпел неудачу, поскольку вся остальная страна не приняла его, и что отдельно взятое сообщество не может преуспеть посреди алчного, эгоистичного мира, а план-де был благородным идеалом, просто человеческая натура недостаточно хороша для него. Юноша, тот, что был наказан за предложенную

им полезную идею в первый же год, посреди всеобщего молчания поднялся на платформу, прямиком к Айви. Он ничего не сказал. Плюнул ей в лицо. Так пришел конец благородному плану «*Двадцатого века*»…

Мужчина говорил и говорил, словно с его плеч наконец спало бремя многолетнего молчания. Дагни понимала, что в глубине души этот человек, отвыкший от элементарного общения, сильно страдает и… по-настоящему тронут. Своим отчаянным признанием, нескончаемым воплем против несправедливости, который жил в нем много лет, он выражал ей свою признательность. Она была первой, чей слух не остался безучастным к его словам. К нему как будто возвращалась жизнь, уже почти им забытая, потому что он вновь обрел две великие ценности, в которых так нуждался — пищу и присутствие разумного собеседника.

— А что же Джон Голт? — напомнила Дагни.

— Ах, да… — припомнил мужчина.

— Вы хотели рассказать мне, почему люди стали задавать этот вопрос.

— Да… — взгляд мужчины стал отсутствующим, как будто он видел события, преследовавшие его много лет, но так и оставшиеся для него тайной.

Странное, вопросительно-испуганное выражение появилось на его лице.

— Вы хотели рассказать, о каком Джоне Голте они говорили, если такой человек вообще существовал.

— Надеюсь, его не было. Я хотел сказать, мэм, что это просто совпадение, выражение, не имеющее смысла.

— Но у вас явно есть что-то на уме.

— На первом собрании в «*Двадцатом веке*» произошло событие… Возможно, с него все и началось, а может быть, и нет. Не знаю… Собрание проходило весенним вечером, двенадцать лет назад. Шесть тысяч человек собрались на трибунах, возведенных до самых стропил крупнейшего из заводских ангаров. Мы только что проголосовали за новый план и были возбуждены, шумели, приветствуя победу народа, грозя каким-то неведомым врагам, затевали шуточную борьбу, как буйные хулиганы с нечистой совестью. В неприглядную, опасную толпу светили сильные прожекторы. Джеральд Старнс, председательствовавший на собрании, постучал молоточком, взывая к порядку, и мы немного угомонились, но не до конца; человеческая масса волновалась, словно вода на горячей сковородке.

Сквозь шум Джеральд Старнс прокричал: «Наступил ключевой момент в истории человечества! Помните, отныне ни один из нас не может покинуть завод, потому что всех нас связывает воедино нравственный закон, который мы приняли!» Один из молодых инженеров встал и заявил: «Я его не принимаю». Почти никто его не знал. Он всегда держался в стороне. Все мы внезапно замерли — так гордо он поднял голову. Высокий стройный парень… я еще подумал тогда, что такому можно свернуть шею разве что вдвоем. Но всем нам стало страшно. Он стоял с видом человека, уверенного в своей правоте. «Я положу этому конец, раз и навсегда», — произнес он сильным, звонким, но совершенно спокойным голосом. Не сказав больше ни слова, он направился к выходу. В ослепительном свете прожекторов он неторопливо шагал вниз, не глядя на нас. Никто не попытался его остановить. Джеральд Старнс с издевкой крикнул ему вслед: «Как?» Обернувшись, парень серьезно ответил: «Я остановлю мотор, движущий мир». И ушел. Больше мы его не видели.

Мы так и не узнали, что с ним стало. Но через несколько лет мы заметили, как на крупнейших заводах, из поколения в поколение стоявших

крепко, как скала, один за другим гаснут огни, увидели закрывающиеся ворота и замирающие конвейеры, пустеющие автострады. Когда нам стало казаться, что некая безмолвная сила перекрывает источники энергии всего мира и мир постепенно затихает, словно тело, испускающее дух, мы вспомнили о нем и стали расспрашивать друг друга и тех, кто слышал его слова.

Мы стали думать, что он держит свое слово — человек, знавший правду, которую мы отказались принять и этим навлекли на свои головы возмездие, кару мудреца, чье мнение мы отвергли. Нам казалось, что он проклял нас, что от его приговора нет и не будет спасения. Самым страшным было то, что он не преследовал нас, это мы неожиданно стали искать его, а он исчез без следа. Нигде мы не нашли о нем ни слова. Мы задавались вопросом, что за неведомой силой он обладал, дав такое обязательство. Но не нашли ответа. Узнав об очередной катастрофе, мы вспоминали о нем, хоть и не могли объяснить, почему это случается при каждом ударе судьбы, при гибели очередной надежды, каждый раз, когда все оказывались в густой серой мгле, непреодолимо окутывающей землю. Наверное, люди слышали, как мы выкрикива-

ли свой вопрос, не зная его смысла, но хорошо понимая чувства, которые заставляли нас его выкрикивать. Они тоже замечали, что в мире исчезло что-то важное. Возможно, поэтому они и начали повторять этот вопрос, когда чувствовали, что надежды нет. Мне хотелось бы думать, что я не прав, что эти слова не имеют смысла, что за картиной гибели человеческой расы не скрывается сознательное намерение человека отомстить и покарать. Но когда я слышу, как люди повторяют этот вопрос, я испытываю страх. Я думаю о человеке, который обещал остановить мотор, движущий мир. Понимаете, его звали Джон Голт.

* * *

Дагни очнулась, потому что ритм колес изменился. Стук стал нерегулярным, с вкраплениями скрипа и короткого скрежета, напоминавшего истерический смех, сопровождавший дерганье вагонов. Не глядя на часы, она догадалась, что начался участок пути компании «*Канзас Вестерн*», и поезд въехал на длинный объездной путь от Кирби, штат Небраска.

В полупустом поезде люди пересекали континент на первой «*Комете*», вышедшей в рейс

после катастрофы в туннеле. Предоставив бродяге спальню, Дагни осталась наедине с его рассказом.

Она хотела обдумать услышанное, все вопросы, которые сможет задать ему завтра, но обнаружила, что разум застыл, словно зритель, способный только смотреть пьесу, но утерявший способность двигаться. Она чувствовала, что без лишних вопросов понимает значение спектакля, и должна спастись от него. «*Бежать, бежать!*» — настойчиво стучало в ее мозгу, словно и в самом движении заключался конец, ключевой момент, абсолютный и предопределенный.

Сквозь тонкую пелену сна стук колес нагнетал напряжение. Дагни в необъяснимой панике проснулась, вскинувшись как от удара, с мыслью: «Что это было?» Потом попыталась себя успокоить: «Мы двигаемся… мы все еще двигаемся…»

Участок «*Канзас Вестерн*» оказался еще хуже, чем она ожидала. Поезд еле тащился в сотнях километров от Юты. Ею овладело отчаянное желание сойти с него на главной линии, бросить все проблемы «*Таггерт Трансконтинентал*», найти самолет и полететь прямиком к Квентину Дэниелсу.

Ценой неимоверных усилий Дагни заставила себя остаться в вагоне. Лежа в темноте, слушая стук колес, неотступно думая о Дэниелсе и его моторе, Дагни рвалась вперед. К чему теперь ей мотор? Она не могла ответить на этот вопрос. Почему она так уверена, что должна спешить в Юту?

И снова нет ответа. Успеть к Дэниелсу вовремя — вот единственный ультиматум, стучавший у нее в висках. Она не задавала больше вопросов. Ответ был ясен без слов: мотор нужен не для того, чтобы двигать поезда, а для того, чтобы она сама продолжала движение…

Сквозь скрип металла Дагни больше не слышала четвертых ударов колес на стыках, поступи врага, которого хотела обогнать, а один только безнадежный, панический перестук… Я успею, думала она. Я успею первой, я спасу мотор. Есть один мотор, который ему не остановить, думала она. Ему не остановить его… ему не остановить, ему не остановить… — и снова она проснулась, как от толчка, подняв голову с подушки. Колеса поезда остановились.

Минуту Дагни лежала спокойно, пытаясь понять, почему вокруг так непривычно тихо. Тщетная попытка познать образ прекратившегося

существования. Не осталось никаких признаков реальности, которые можно было бы воспринять или постигнуть, кроме их полного отсутствия. Ни звука, как будто она осталась в поезде совсем одна, ни движения, словно и поезда-то никакого не было, а была просто комната в доме. Никакого света, словно не было ни поезда, ни комнаты, а осталось всего лишь пространство без предметов. Ни жестокости, ни физического страдания, будто наступило такое состояние, когда даже страдание невозможно.

Как только Дагни поняла причину покоя, она быстро, резко выпрямилась, и движение ее напоминало крик неповиновения. Громкий скрип оконных жалюзи прорезал тишину — она дернула экран вверх. Снаружи простиралась безымянная бесконечность прерий. Сильный ветер рвал облака, полоски лунного света падали сквозь прорехи вниз, на землю, столь же мертвенную, как и небо.

Дагни нажала на выключатель и звонок вызова проводника. Свет электрической лампочки вернул ее в действительность. Она посмотрела на часы: всего несколько минут за полночь. Она выглянула в заднее окно, увидела прямую линию железнодорожного полотна, уходящую

вдаль, и красные фонари на положенном расстоянии, обозначающие конец хвостового вагона. Зрелище казалось успокаивающим.

Дагни еще раз вызвала проводника. Подождала. Вышла в коридор, отперла дверь и высунулась, чтобы посмотреть на поезд. В длинном зашторенном составе светилось несколько окон, но не заметно было ни людей, ни движения. Захлопнув дверь, она вернулась к себе и быстро, но спокойно начала одеваться.

На ее звонок так никто и не явился. Когда Дагни торопливо шла через следующий вагон, она не чувствовала ни страха, ни нерешительности, ни отчаяния — ничего, кроме необходимости что-то делать. И в следующих двух вагонах проводника не оказалось. Дагни почти бежала по узким коридорам, не встречая по пути ни одной живой души. Двери нескольких купе оказались открытыми. Пассажиры сидели внутри, одетые либо полуодетые, молча, словно ожидая чего-то. За ее торопливой пробежкой они наблюдали странными вороватыми взглядами, как будто знали, что она ищет, как будто дожидались человека, который должен прийти, чтобы увидеть то, чего они видеть не желали. Дагни продолжала бежать по спинному хребту мертвого поезда,

отметив про себя странное сочетание освещенных купе, открытых дверей и пустых коридоров: никто не рискнул выйти. Никто не хотел первым задать вопрос.

Она бежала через единственный в поезде вагон с сидячими местами, где часть пассажиров спали, а другие бодрствовали, притихнув в позах животных, ожидающих удара, не делая даже попытки избежать его. В коридоре этого вагона она остановилась. Она увидела мужчину, который отпер дверь и выглянул наружу, с любопытством вглядываясь в темноту, уже готовый спрыгнуть на землю. Он обернулся на звук ее шагов. Дагни узнала его: Оуэн Келлог, он некогда отверг будущее, которое она ему предложила.

— Келлог! — ахнула Дагни, с ноткой смеха в голосе, прозвучавшей как вскрик облегчения при виде человека в пустыне.

— Здравствуйте, мисс Таггерт, — ответил он с удивленной улыбкой, выдававшей невероятное удовольствие и некоторую мечтательность. — Не знал, что вы едете в этом поезде.

— Быстрее, за мной, — приказала она, как будто он все еще работал на ее дороге. — Боюсь, поезд этот дальше не пойдет.

— Очень может быть, — проворчал он и дис-

циплинированно последовал за ней. Никаких объяснений не понадобилось. Понимая друг друга без слов, они как будто приняли вызов на вахту. И казалось вполне естественным, что среди сотен человек в поезде именно эти двое стали партнерами.

— Знаете, сколько времени мы уже стоим? — спросила Дагни, быстро шагая по следующему вагону.

— Нет, — ответил он. — Я проснулся, когда поезд уже стоял.

Они прошли через весь поезд, не найдя ни проводников, ни стюардов и официантов в вагоне-ресторане, ни тормозного кондуктора. Посмотрев друг на друга, они промолчали. Они не раз слышали истории о брошенных поездах, обслуживающих бригадах, исчезнувших, словно в истерии неожиданного бунта против своего рабского положения.

Они сошли со ступенек первого вагона в пустоту, где один лишь ветер обвевал их лица, и быстро взобрались на локомотив. Прожектор горел, словно протягивал руку с указующим перстом в ночную бездну. Кабина была пуста.

Несмотря на шок от увиденной картины, у Дагни вырвался отчаянный, торжествующий

вскрик:

— Молодцы! Настоящие люди!

Дагни замолкла, пораженная, словно кричал другой человек. Она заметила, что Келлог смотрит на нее с любопытством, с легкой полуулыбкой.

Паровоз был старый, самый лучший из тех, что дорога могла выделить для «*Кометы*». На колосниках горел огонь, напор пара ослаб. Через ветровое стекло они видели освещенные головным прожектором неподвижные шпалы, похожие на ступеньки лестницы, пересчитанные, пронумерованные, пришедшие к концу.

Дагни взяла бортовой журнал и просмотрела фамилии последнего экипажа. Машинист — Пэт Логан… Медленно склонив голову, она прикрыла глаза, представив первую поездку по дороге, какой ее должен был запомнить Пэт Логан, какой она сохранилась в ее памяти, и молчаливые часы его последнего рейса.

— Мисс Таггерт, — осторожно позвал ее Оуэн Келлог.

Она вскинула голову.

— Да, да… Что ж… — в голосе зазвучал металлический оттенок принятого решения. — Мы должны добраться до телефона и вызвать новую бри-

гаду, — Дагни сверилась с часами. — Учитывая нашу скорость, мы сейчас милях в восьмидесяти от штата Оклахома. Думаю, ближайший телефон на этом направлении находится в Брэдшоу. Примерно в тридцати милях от нас.

— За нами следуют другие поезда дороги Таггертов?

— Следующий поезд номер 235, трансконтинентальный грузовой состав, но он подойдет сюда не раньше семи часов утра, если будет следовать согласно графику, в чем я сомневаюсь.

— Всего один грузовой состав за семь часов? — непроизвольно вырвалось у Келлога с ноткой оскорбленной преданности дороге, которой он некогда так гордился.

Губы Дагни быстро изогнулись в улыбке.

— Наш трансконтинентальный график движения уже не тот, каким был при вас.

Он медленно наклонил голову.

— Полагаю, поездов компании «*Канзас Вестерн*» сегодня тоже не будет?

— Точно не помню, но, кажется, нет.

Келлог посмотрел на телеграфные столбы вдоль путей.

— Надеюсь, что люди «*Канзас Вестерн*» содержат свои телефоны в порядке.

— Вы хотите сказать, что, судя по состоянию путей, телефоны могут не работать? Но мы должны попытаться.

— Да.

Дагни повернулась, чтобы идти, но остановилась. Она понимала, что слова бесполезны, но они вырвались у нее против воли:

— Знаете, тяжелее всего видеть те красные фонари, что наши люди установили позади поезда, чтобы защитить нас. Они ценят наши жизни больше, чем страна — их жизни.

Бросив на нее многозначительный взгляд, он серьезно ответил:

— Да, мисс Таггерт.

Спускаясь по лестнице с паровоза, они увидели группку пассажиров, столпившихся у путей, и еще несколько фигурок, выходящих из вагонов, чтобы присоединиться к остальным. Повинуясь инстинкту, люди, недавно молча ожидавшие внутри поезда, догадались, что кто-то принял на себя ответственность за происходящее, и теперь уже безопасно проявлять признаки жизни.

Пассажиры с надеждой смотрели на приближавшуюся к ним Дагни. Лица, неестественно бледные в свете луны, объединило общее настороженное выражение страха, смешанного

с надеждой, и дерзости, прикрытой выжиданием.

— Есть здесь человек, готовый говорить от имени пассажиров? — спросила Дагни.

Переглянувшись между собой, люди не ответили.

— Хорошо, — продолжила она. — Вам и не нужно говорить. Я — Дагни Таггерт, вице-президент этой железной дороги и… — из группы пассажиров донесся ропот и шепот облегчения, — …и говорить буду я. Наш поезд бросила обслуживающая бригада. Это не авария. Никаких поломок нет. Паровоз исправен. Но им некому управлять. В газетах такие поезда называют «замороженными». Вы все знаете, что это означает, знаете и причины. Возможно, они были вам известны даже раньше, чем тем людям, что бросили вас сегодня ночью. Закон запрещает им дезертировать. Но сейчас нам это не поможет.

Неожиданно раздался истерический женский крик:

— Что же нам делать?

Дагни посмотрела на нее. Женщина как будто хотела вжаться в остальных, заслониться человеческими телами от вида великой пустоты, плоской равнины, растворившейся в мертвен-

ном лунном свете. Женщина накинула пальто прямо поверх халата. Пальто распахнулось: из-под тонкой ткани с нарочитой непристойностью выступал округлый живот, и она даже не пыталась его прикрыть. На мгновение Дагни пожалела о необходимости продолжать.

— Я пойду по путям до телефона, — звонким голосом, холодным как лунный свет, продолжила она. — С интервалами в пять миль на линии есть телефоны для экстренной связи. Я позвоню, чтобы выслали новую бригаду. Это займет некоторое время. Прошу всех оставаться на местах и, по возможности, сохранять порядок.

— А как быть с бандами налетчиков? — спросил другой нервный женский голос.

— Правильно, — согласилась Дагни. — Мне лучше найти спутника. Кто готов пойти со мной?

Видимо, Дагни неверно поняла, чью безопасность имела в виду женщина — никто не захотел пойти с ней.

Пассажиры не смотрели на нее и избегали взглядов друг друга. Дагни не видела глаз, только влажные овалы, поблескивающие в свете луны. Вот они, думала она, люди нового века, те, кто требуют самопожертвования и принимают его. Ее остро полоснуло чувство гнева, крывше-

еся в молчании людей, гнева, говорящего о том, что никто и не думал ей помогать — от нее ждали жертвы, и с чувством жестокости, новым для нее, она сознательно промолчала.

Дагни заметила, что Оуэн Келлог тоже чего-то ждет, но смотрит не на пассажиров, а на нее. Убедившись, что никто из толпы не ответил, он спокойно произнес:

— Конечно же, мисс Таггерт, я пойду с вами.

— Благодарю.

— А как же мы? — возмутилась нервная женщина.

Дагни повернулась к ней и ответила с официальной монотонностью чиновника при исполнении:

— Банды налетчиков еще ни разу не нападали на «замороженные» поезда. К сожалению.

— Но где мы находимся? — спросил плотный мужчина в слишком дорогом пальто и со слишком дряблым лицом. Он говорил с Дагни так, как обращаются к слугам люди, не умеющие ими управлять. — В какой части штата?

— Не знаю, — ответила Дагни.

— Как долго мы пробудем здесь? — спросил другой тоном кредитора, спрашивающего с должника.

— Не знаю.

— Когда мы будем в Сан-Франциско? — спросил третий со строгостью шерифа, говорящего с подозреваемым.

— Не знаю.

Возмущение пассажиров разрешилось серией небольших вспышек, напомнивших Дагни треск каштанов на угольях — заработала темная печь умов людей, убедившихся в том, что теперь о них позаботятся.

— Это возмутительно! — вперед вырвалась женщина, крича прямо в лицо Дагни. — Вы не имеете права допускать подобное! Я не собираюсь ждать здесь, в чистом поле! Я требую доставить меня к месту назначения!

— Прикусите язык, — ответила Дагни. — Иначе я запру двери вагонов и просто брошу вас здесь.

— Вы не можете так поступить! Вы — представитель транспортной компании! Вы не имеете права так обращаться с пассажирами! Я сообщу в Объединенный совет!

— Да, если *я* дам вам поезд, чтобы вы добрались до вашего Объединенного совета, — Дагни повернулась и пошла прочь.

Она поймала взгляд Келлога, словно — с явным одобрением — подчеркнувший жирной чертой

ее последние слова.

— Достаньте где-нибудь фонарь, — велела она, — пока я схожу за сумкой, и двинемся в путь.

Когда они шли мимо молчаливой череды вагонов, то увидели еще одну фигуру, спустившуюся по ступенькам и бегущую им навстречу. Дагни узнала бродягу.

— Какие-то трудности, мэм? — остановившись, спросил он.

— Экипаж поезда сбежал.

— Ох… Что нужно делать?

— Я собираюсь позвонить в отделение железной дороги по экстренной связи.

— В наши дни вам нельзя идти в одиночку, мэм. Будет лучше, если с вами пойду я.

Дагни улыбнулась.

— Спасибо. Все будет в порядке. Со мной пойдет мистер Келлог. Скажите, как ваше имя?

— Джеф Аллен, мэм.

— Послушайте, Аллен, вы когда-нибудь работали на железной дороге?

— Нет, мэм.

— Значит, теперь будете. Вы — заместитель проводника и доверенное лицо вице-президента компании «*Таггерт Трансконтинентал*». Ваша

работа — руководить поездом во время моего отсутствия, поддерживать порядок и следить, чтобы стадо не разбежалось. Скажите, что я вас уполномочила. Вам не нужны никакие доказательства. Они станут повиноваться любому, кто потребует от них повиновения.

— Да, мэм, — твердо ответил Джеф Аллен и понимающе кивнул.

Дагни вспомнилось, что деньги в кармане имеют способность внушать человеку самоуважение. Она достала из сумочки стодолларовую банкноту и сунула в руку Аллену.

— Это ваш аванс, — пояснила она.

— Да, мэм.

Она двинулась вперед, как вдруг Аллен окликнул ее:

— Мисс Таггерт!

— Что? — обернулась Дагни.

— Спасибо, — произнес он.

Дагни улыбнулась, отсалютовала ему рукой и зашагала вперед.

— Кто это? — спросил ее Келлог.

— Бродяга, его поймали, когда он хотел проехать зайцем.

— Мне кажется, он справится с работой.

— Справится.

Они молча прошли мимо паровоза в том направлении, куда указывал его головной прожектор. Сначала, шагая по шпалам, освещенные сзади мощным лучом, они чувствовали себя как дома, в привычной обстановке железной дороги. Потом Дагни заметила, что свет выхватывает из темноты только шпалы под ногами, медленно ослабевая, и ей захотелось удержать его, видеть его сияние, пусть даже слабое, как можно дольше. Но вскоре она поняла, что неверный отблеск на траве всего лишь лунный свет. Она не смогла побороть дрожь, заставившую ее обернуться. Головной прожектор паровоза все еще виднелся вдали, напоминая жидкий серебряный шар планеты, обманчиво близкий, но на самом деле принадлежащий к иной орбите, к чуждой системе планет.

Оуэн Келлог молча шагал рядом с ней, и Дагни не сомневалась — каждый из них знает, о чем думает другой.

— Он не смог бы. Господи, он не смог бы! — неожиданно произнесла она, не замечая, что говорит вслух.

— Кто?

— Натаниэль Таггерт. Он не смог бы работать с такими людьми, как эти пассажиры. Не стал бы

пускать для них свои поезда. Не смог бы искать среди них сотрудников. Не смог бы использовать их ни как персонал, ни как потребителей своих услуг.

Келлог улыбнулся.

— Вы хотите сказать, мисс Таггерт, что он не разбогател бы, *эксплуатируя* их?

Она, не задумываясь, кивнула.

— Они… — начала она, и Келлог услышал, как ее голос задрожал от любви, боли и презрения, — они годами твердили, что он богатеет, присваивая способности других людей, не оставляя им никакого шанса, и что… что использует в своих интересах человеческую некомпетентность… Но он требовал от людей не просто повиновения, а…

— Мисс Таггерт, — прервал ее Келлог с оттенком суровости в голосе, — не забывайте, что он жил по закону, который довольно быстро уничтожил рабство в цивилизованном мире. Припомните это, когда характер его врагов поставит вас в тупик.

— Вы когда-нибудь слышали о женщине по имени Айви Старнс?

— О, да…

— Я все думаю, что зрелище наших пассажиров

доставило бы ей удовольствие. Вот чего она искала. Но мы не можем так жить, вы и я, не так ли? С этим невозможно жить.

— Что заставляет вас думать, что цель Айви Старнс — жизнь?

Где-то на краешке сознания, подобно зарницам, мелькавшим над прерией, — не то лучами, не то облачками — она уловила некий образ, пока что невнятный, но настоятельно требовавший опознания.

Дагни не ответила, и ритм шагов, ограниченный расстоянием между шпалами, подобно звеньям цепочки, продолжал разворачиваться у нее под ногами, отсчитываемый стуком каблуков.

Раньше у Дагни не было времени думать о Келлоге иначе, как о товарище, посланном свыше, сейчас же она смотрела на него с вниманием иного рода. Его лицо несло то же ясное, твердое выражение, которое так нравилось ей в прежние времена. Но теперь оно стало более добрым и безмятежным. Он носил старый кожаный пиджак, и даже в темноте она могла рассмотреть испещрявшие его пятна.

— Чем вы занимались, когда оставили «*Таггерт Трансконтинентал*»? — спросила Дагни.

— О, очень многим.

— Где работаете сейчас?

— Выполняю особые поручения.

— Какого рода?

— Любого.

— Вы никак не связаны с железной дорогой?

— Нет.

Резкий, краткий ответ прозвучал убедительнее самой длинной фразы. Она понимала, чем он вызван.

— Келлог, если бы я сказала вам, что в моей компании больше нет ни одного сто́ящего человека, и предложила бы вам работу… любую работу на любых условиях, за любые деньги, которые вы сами назначили бы, вы вернулись бы к нам?

— Нет.

— Вас возмутило сокращение наших перевозок. Вряд ли вам известно, что нам принесла потеря работавших на нас людей. Не могу передать, какую агонию я пережила три дня назад, когда пыталась отыскать хоть одного достойного человека, способного построить пять миль временного железнодорожного полотна. Мне нужно проложить пятьдесят миль пути через Скалистые горы. Я не вижу способа это сделать. Но сделать это необходимо. Я прочесала всю страну

в поисках людей. Никого не осталось. И вот, неожиданно встретив вас сейчас, когда я отдала бы половину всего за одного такого работника, как вы… Вы понимаете, почему я не могу отпустить вас просто так? Выбирайте все, что хотите. Хотите стать генеральным менеджером региона? Или помощником вице-президента?

— Нет.

— Вы по-прежнему зарабатываете себе на жизнь, верно?

— Да.

— Непохоже, что вы зарабатываете много.

— Я зарабатываю достаточно для себя и больше ни для кого.

— Почему вы не хотите работать на «*Таггерт Трансконтинентал*»?

— Потому что вы не дадите мне ту работу, которую я хочу получить.

— Я?! — опешила Дагни. — Господи, Келлог! Разве вы еще не поняли? Я дам вам *любую* работу, которую вы захотите!

— Хорошо. Путевой обходчик.

– *Что?*

— Стрелочник. Мойщик паровозов, — он улыбнулся, увидев выражение ее лица. — Нет? Я же говорил, что вы не согласитесь.

— Вы хотите сказать, что согласны быть простым рабочим?

— В любое время, как только вы прикажете.

— И больше никем?

— Верно, больше никем.

— Разве вы не понимаете, что для таких работ у нас людей предостаточно, но для более серьезных заданий никого нет?

— Я это понимаю, мисс Таггерт. А вы?

— Мне нужен ваш…

— …разум, мисс Таггерт? Мой разум больше не продается.

Дагни смотрела на Келлога, и лицо ее словно затвердевало.

— Вы ведь один из них, не так ли? — наконец произнесла она.

— Один из кого?

Дагни не ответила, пожала плечами и пошла дальше.

— Мисс Таггерт, — спросил Келлог. — Как долго вы собираетесь работать на железной дороге?

— Я не отдам мир тому человеку, которого вы цитируете.

— Ваш ответ той пассажирке прозвучал более здраво.

Они отсчитывали шаги еще много молчаливых

минут, прежде чем Дагни спросила:

— Почему вы остались со мной этой ночью? Вы хотели помочь мне?

Он ответил легко, почти весело:

— Потому что ни одному из пассажиров поезда не нужно так срочно попасть к месту назначения, как мне. Если поезд двинется дальше, я выиграю больше всех. А когда мне куда-нибудь нужно, я не сижу и не жду чьей-то помощи, как та ваша пассажирка.

— Не ждете? А что, если поезда вообще перестанут ходить?

— Тогда я найду иной способ передвижения.

— Куда вы едете?

— На запад.

— По «особому поручению»?

— Нет. В месячный отпуск, с друзьями.

— Отпуск? Это для вас так важно?

— Важней всего на свете.

Они прошли еще две мили и у разветвления путей увидели серый ящик — телефон экстренной связи.

Разбитая грозами кабинка косо свисала со столба. Дагни рванула дверцу. Телефон оказался на месте; такой знакомый, привычный, он поблескивал под лучом фонарика Келлога. Но когда

Дагни поднесла трубку к уху и постучала пальцем по рычагу, она поняла, что телефон неисправен.

Она без слов протянула трубку Келлогу. Потом держала фонарик, пока он доставал инструмент и снимал аппарат со стенки, чтобы осмотреть контакты.

— Проводка в порядке, — сообщил Келлог. — Соединение есть. Это сам аппарат испорчен. Есть шанс, что следующий окажется исправным, — и уточнил: — Он в пяти милях отсюда.

— Пойдемте, — ответила Дагни.

Далеко позади еще различался свет паровоза; теперь он напоминал не планету, а маленькую, мерцающую сквозь дымку звездочку.

Впереди рельсы уходили в голубоватое пространство, которому не было конца.

Дагни поймала себя на том, что часто оглядывается назад, на горящий прожектор. Пока его можно было различить, ей казалось, что их поддерживает надежно закрепленный страховочный канат. Теперь им пришлось разорвать его и нырнуть в… И нырнуть прочь с этой планеты, додумала она. Она заметила, что Келлог тоже остановился, чтобы посмотреть на прожектор, оставшийся далеко позади. Они молча обменялись взглядами. Треск гравия под ее каблуком

прозвучал в ночной тишине оглушительно, как грохот петарды.

Хладнокровным движением Келлог поддал ногой телефонный аппарат, скинув его в канаву. Резкий звук расколол окружающую пустоту.

— Будь он проклят, — спокойно, не повышая голоса, с отвращением произнес Келлог. — Телефон и не собирался работать, просто *ему* нужны были деньги, когда *он* его устанавливал, и никто не имел права требовать, чтобы аппарат работал.

— Пойдемте, — тихо произнесла Дагни.

— Если вы устали, мисс Таггерт, мы можем передохнуть.

— Со мной все в порядке. У нас нет времени на усталость.

— В этом наша большая ошибка, мисс Таггерт. Мы должны иногда находить время для отдыха.

Она коротко рассмеялась и шагнула на шпалы, подчеркнув этим свой ответ. Они продолжили путь. Идти по шпалам было нелегко, но когда они попытались пойти вдоль полотна, оказалось, что там идти еще труднее. Каблуки увязали в насыпи, податливой субстанции из смеси песка, гравия и глины, которая напоминала нечто среднее между жидкостью и пластилином.

Пришлось вернуться назад. Теперь они словно переправлялись через реку, перепрыгивая с бревна на бревно.

Дагни думала, в какое огромное расстояние превратились какие-то пять миль пути, и о том, что узловая станция в тридцати милях отсюда теперь стала недостижимой. И это в эру железных дорог, построенных людьми, которые властвовали над тысячами миль трансконтинентальных линий. И что вся сеть рельсов и огней, протянувшаяся от океана до океана, держалась на обрывке провода, на поломанном соединении внутри паршивого ржавого телефона? Нет, подумала Дагни, на чем-то более мощном и более тонком. Дорога держалась на контакте человеческих умов, которые знали, что существование проводов, поездов, рабочих мест — их самих и их взаимодействии — абсолютная истина, реальность, от которой не уйти. Но сами эти могучие умы исчезли, и судьба поезда весом в две тысячи тонн зависела теперь от силы ног Дагни и Келлога.

«Устала ли я?» — думала Дагни. Даже само движение было ей дорого, став маленькой частицей реальности в безжизненности окружающей пустыни. Да, ноги болели, неся слабость — и это не могло быть ничем другим посреди простран-

ства, лишенного света и тьмы, на земле, которая не держала, но и не сдавалась под ногой, в тумане, что не двигался, но и не стоял на месте. Напряжение стало единственным доказательством их перемещения во времени и пространстве: в окружавшей пустоте ничто не изменило формы, отмечая продвижение вперед. Дагни всегда мучил вопрос о сектах, которые молились, призывая гибель Вселенной для достижения своего Идеала. Вот в таком мире они могли бы жить, там воплотилась бы их больная мечта…

Наконец, впереди возник зеленый сигнальный огонек, такой неожиданный посреди колышущейся неопределенности. У них появился ориентир, принесший им изрядное облегчение, но его нужно было достичь и оставить позади. Он казался пришельцем из далекого исчезнувшего мира, подобного звездам, свет которых виден еще долго после того, как они погаснут. Зеленый кружок мерцал, обозначая свободный путь, приглашал туда, куда двигаться было некому и нечему. «Кто из философов провозгласил, что движение существует независимо от материальных объектов?» — подумала она. Этот мир очень бы ему подошел.

Дагни заметила, что ускорила шаг, будто

преодолевая сопротивление, не давившее, а засасывавшее ее. Посмотрев на Келлога, она увидела, что и он идет, словно борясь с бурей. Дагни казалось, что они двое — единственные люди, выжившие в… реальности. Две одинокие фигуры, пробивавшиеся не сквозь бурю, а сквозь небытие.

Келлог оглянулся первым, и Дагни проследила за его взглядом: позади уже не светился глазок далекого прожектора. Они не остановились. Глядя прямо перед собой, Келлог рассеянно сунул руку в карман, достал пачку сигарет и протянул ей. Она почти взяла сигарету, как вдруг схватила его за запястье и вырвала пачку из пальцев. На белом картоне красовалось единственное изображение — знак доллара.

— Дайте мне фонарик! — резко остановившись, приказала она.

Келлог послушно направил луч фонарика на коробку в ее руке. Она заметила, как на его лице мелькнуло выражение удивления и… да, если она не ошиблась, *радости*!

Дагни не нашла на картонке ни торговой марки, ни адреса производителя — только знак доллара, нанесенный золотой краской. На сигаретах был тот же символ.

— Где вы это взяли? — спросила Дагни.

Келлог улыбнулся:

— Если вы знаете достаточно, чтобы задать такой вопрос, мисс Таггерт, вам следовало бы понимать, что я на него не отвечу.

— Я знаю, что это изображение что-то означает.

— Знак доллара? Очень многое. Он нарисован на каждой толстой свиноподобной фигуре в мультиках, чтобы обозначить обманщика, мошенника, негодяя клеймом зла. На деньгах свободной страны он обозначает достижение, успех, одаренность, мыслительную способность человека, и именно по этой причине используется как символ бесчестия и позора. Он сияет на лбу у таких людей, как Хэнк Риарден — печатью проклятия. Кстати, вы не знаете, откуда взялся это знак? Он обозначает инициалы Соединенных Штатов Америки.

Келлог отключил фонарик, но не двинулся вперед. Дагни увидела промелькнувшую по его лицу горькую улыбку.

— Известно ли вам, что Соединенные Штаты — единственная страна в истории, которая использовала собственную монограмму как символ греховности? Спросите у себя, почему это

случилось. Спросите, как долго проживет страна, допустившая подобное? Чьи нравственные стандарты разрушили ее? Это единственная страна в истории, где богатство добыто не грабежом, а производством, не силой, а торговлей. Единственная страна, деньги которой были символом права человека на собственный разум, на работу, на жизнь, на счастье, на само право. Если по стандартам современного мира зло — это деньги, и они являются поводом проклинать нас, тогда мы — те, кто гонятся за долларом и делают деньги, — так же примем этот закон, чтобы мир проклял нас! Мы выбрали жребий носить эмблему доллара на своем лбу гордо, как знак благородства, знак того, ради чего хотим жить и, если понадобится, умереть.

Он протянул руку к пачке. Дагни сначала вцепилась в нее, но потом передумала и отдала. С нарочитой медлительностью, словно подчеркивая значение происходящего, Келлог предложил ей сигарету. Она взяла ее и сжала губами.

Он взял другую сигарету, чиркнул спичкой, зажег обе, и они пошли дальше.

Они шагали по гнилым шпалам, поддававшимся под ногами, сквозь туман, подсвеченный лунным светом, с двумя точками живого огня

в руках, озарявшими их лица маленькими кругами света.

«Огонь — опасная сила, покоренная кончиками его пальцев...» — припомнились Дагни слова старика, сказавшего ей, что эти сигареты изготовлены не на Земле. «Когда человек думает, в его мозгу горит огонек, и кончик зажженной сигареты — достойное и единственное тому свидетельство».

— Я хотела бы знать, кто их делает, — с безнадежной улыбкой сказала Дагни.

Он добродушно крякнул.

— Эту малость я могу вам сообщить. Их делает мой друг, на продажу, но не для общественного пользования. Он делает их только для своих друзей.

— Продайте мне эту пачку.

— Не думаю, что вы сможете себе это позволить, мисс Таггерт. Но, если хотите, продам.

— Сколько она стоит?

— Пять центов.

– *Пять центов?* — пролепетала Дагни.

— Пять центов, — подтвердил Келлог и добавил: — Золотом.

Она остановилась, потрясенно глядя на него.

— Золотом?

— Да, мисс Таггерт.

— Тогда каков курс обмена? Сколько это будет в обычных деньгах?

— Никакого обменного курса нет, мисс Таггерт. Ни за какую физическую или прочую валюту, чей твердый стандарт установлен мистером Уэсли Моучем, этих сигарет не купить.

— Понимаю.

Он вынул из кармана пачку и протянул ее Дагни.

— Я отдаю их вам, мисс Таггерт, потому что вы многократно их заслужили и потому что они нужны вам для того же, для чего и нам.

— Для чего?

— Напоминать нам в моменты разочарований и одиночества в изгнании о нашей истинной родине, которая всегда была и вашей родиной тоже, мисс Таггерт.

— Благодарю, — она опустила сигареты в карман; рука ее дрожала.

Они молча дошли до четвертого из пяти мерных столбов; сил у них осталось лишь на то, чтобы передвигать ноги. Впереди они увидели светящуюся точку, слишком близкую к горизонту, но слишком яркую, чтобы принять ее за звезду. Они не отрывали от нее взглядов

и ничего не говорили, пока не поняли, что это мощный электрический маяк, сияющий посреди пустынной прерии.

— Что это? — спросила Дагни.

— Не знаю, — ответил Келлог, — похоже на…

— Нет, — поспешно перебила Дагни. — Его не может быть здесь. Не может… Он должен быть дальше…

Она не хотела услышать, как он назовет имя той надежды, что она лелеяла уже давно. Не могла позволить себе думать об этом или признать, что они все-таки нашли телефонный ящик на пятом столбе. Маяк, подобно жестокому пятну холодного пламени, висел всего в полумиле к югу от них.

Телефон оказался исправным. Сняв трубку, Дагни услышала гудение зуммера, как дыхание живого существа. Потом послышался голос, растягивающий слова:

— Джессуп слушает, станция Брэдшоу.

— Это Дагни Таггерт, я говорю из…

— Кто?

— Дагни Таггерт, из «*Таггерт Трансконтинентал*», я говорю…

— Ох… да… понятно… Да?

— …говорю с вашего телефона номер восемь-

десят три. «*Комета*» остановилась в семи милях на север отсюда. Ее бросила паровозная бригада. Они сбежали.

Последовала пауза.

— И чего вы хотите от меня?

Она в свою очередь затянула паузу, чтобы поверить в то, что слышит.

— Вы ночной диспетчер?

— Ага.

— Тогда пошлите срочно сюда сменную бригаду.

— Полную бригаду для обслуживания пассажирского поезда?

— Разумеется.

— Сейчас?

— Да.

Снова пауза.

— В инструкции об этом ничего не сказано.

— Переключите меня на главного диспетчера.

— Он уехал в отпуск.

— Соедините с управляющим отделения.

— Он уехал в Лорел на пару дней.

— Позовите кого-нибудь, кто сейчас на службе.

— Я на службе.

— Послушайте, — медленно, сдерживая ярость, сказала Дагни, — вы понимаете, что поезд стоит,

пассажиры брошены посреди дороги?

— Да, но откуда мне знать, что с этим делать? В правилах ничего об этом не сказано. Теперь, если случается крушение, мы высылаем ремонтный состав, но если аварии нет… Вам не нужен аварийный поезд?

— Нет. Нам не нужен ремонтный состав. Нам нужны люди. Вы понимаете? Живые люди, чтобы вести паровоз.

— В правилах ничего не сказано про людей без поезда. Или про поезд без людей. В инструкции не сказано, когда нужно вызывать бригаду среди ночи и посылать ее разыскивать поезд неизвестно где. Никогда о таком не слышал.

— Теперь слышите. Вы не знаете, что вам следует делать?

— Кто я такой, чтобы это знать?

— Вам известно, что ваша работа — обеспечивать движение поездов?

— Моя работа — следовать инструкциям. Если я стану рассылать бригады, один бог знает, что произойдет! Кто я такой, чтобы при Объединенном совете и всех регулирующих постановлениях самолично принимать решения?

— А что будет, если у вас на линии застрянет поезд?

— В этом нет моей вины. Я тут ни при чем. Меня не в чем упрекнуть. Я не мог этого предотвратить.

— Вы можете предотвратить это сейчас.

— Мне никто не приказывал.

— Я вам приказываю!

— Откуда мне знать, имеете вы право приказывать или нет? Мы не обязаны обслуживать составы Таггертов. Вы должны сами справляться, со своими бригадами. Так нам сказали.

— Но это чрезвычайная ситуация!

— Никто мне ничего не сообщал про чрезвычайные ситуации.

Дагни понадобилось несколько секунд, чтобы совладать с собой. Она видела, как Келлог смотрит на нее с насмешливой улыбкой.

— Послушайте, — сказала она в трубку. — Вы знаете, что «*Комета*» должна была прибыть в Брэдшоу три часа назад?

— Ой, точно. Но из этого никто не делает трагедии. В наши дни поезда идут не по расписанию.

— Так вы хотите, чтобы мы заблокировали вашу линию навсегда?

— У нас ничего не запланировано до четвертого ноября, до прохождения пассажирского поезда северного направления из Лорела, в восемь со-

рок семь утра. До этого времени можете ждать. К тому времени придет дневной диспетчер. И вы сможете с ним поговорить.

— Вы что, законченный идиот?! Это же «*Комета*»!

— А мне-то что за дело? Это вам не «*Таггерт Трансконтинентал*». Вы слишком многого хотите за свои деньги. У нас одна головная боль от вашей дополнительной нагрузки без дополнительной оплаты, — его голос стал визгливым и надменным: — Вы не смеете так говорить со мной. Прошло то время, когда вы могли так разговаривать с людьми!

Дагни никогда не верила, что есть уроды, на которых действует прием, которым она никогда не пользовалась. Таких в *«Таггерт Трансконтинентал»* просто никогда не нанимали, и ей еще не приходилось проверять его на деле.

— Вы понимаете, *с кем* разговариваете? — произнесла Дагни холодным, повелительным тоном *личной* угрозы.

Прием сработал.

— В общем… понимаю, — ответил диспетчер.

— Тогда позвольте вам сказать, что если вы не вышлете мне бригаду немедленно, то вылетите с работы через час после того, как я прибуду

в Брэдшоу, где я непременно появлюсь, рано или поздно. И лучше вам поторопиться.

— Да, мэм, — пролепетал он.

— Вызовите полную бригаду по обслуживанию пассажирского поезда и распорядитесь, чтобы доставили поезд до Лорела, где у нас есть свои люди.

— Да, мэм. Вы скажете моему начальству, что это вы приказали мне сделать это?

— Скажу.

— И что это вы за все отвечаете?

— Да.

Последовала пауза, потом он беспомощно спросил:

— А как мне теперь вызывать людей? У большинства из них и телефонов-то нет.

— У вас есть посыльный?

— Есть, но он не придет до утра.

— А сейчас кто-нибудь есть в конторе?

— Уборщик в депо.

— Пошлите его, пусть сообщит людям.

— Да, мэм. Не кладите трубку.

Она ждала, прислонившись к телефонной будке. Келлог улыбался.

— И вы предлагаете управлять трансконтинентальной железной дорогой *вот так*? — осведо-

мился он.

Она пожала плечами.

Дагни не могла отвести глаз от маяка. Он казался таким близким, таким достижимым. Она чувствовала, как внутри нее яростно бьется мысль, в которой она боялась себе признаться: в мире есть человек, способный обуздать неограниченную энергию, человек, работающий над мотором, способным сделать все остальные двигатели ненужными… и через несколько часов она сможет поговорить с ним… всего через несколько часов… А что, если уже нет нужды торопиться к нему? Это было все, чего ей хотелось…

Ее работа? Что теперь для нее работа: стремиться к наиболее полному, эффективному использованию своего разума или провести остаток жизни, думая о человеке, который не способен выполнять работу ночного диспетчера? Почему она должна делать выбор?

Разве в порядке вещей оставаться на том уровне, с которого она начинала — ночной дежурной в Роксдейле? Нет, она была лучше этого диспетчера даже в Роксдейле. Что за бесславный конец — завершить работу на более низком уровне, чем начинала?.. Что заставляло ее спешить? Она сама… Им нужны поезда, но не нужен

двигатель? Ей нужен мотор… Но разве это ее долг? Перед кем?

Диспетчер ушел надолго, потом вернулся и угрюмым голосом сообщил:

— Уборщик говорит, что сможет дойти до людей, но только все это зря, потому что как я их к вам-то пошлю? У нас и паровоза нет.

— Нет паровоза??

— Нет. Управляющий взял один, чтобы съездить до Лорела, а остальные в мастерских, уже несколько недель, а маневровый утром сошел с рельсов, его будут ремонтировать до завтрашнего утра.

— А паровоз аварийной команды, которую вы предлагали к нам послать?

— А, этот… Он на север ушел. Там вчера произошло крушение. Он еще не вернулся.

— Есть у вас дизельный локомотив?

— Никогда не было.

— Моторная дрезина у вас есть?

— Да, есть.

— Высылайте бригаду на дрезине.

— А… ну, да, мэм.

— Велите вашим людям остановиться у телефона номер 83 и захватить мистера Келлога и меня.

— Да, мэм.

— Позвоните в «*Таггерт Трансконтинентал*» в Лореле, сообщите о задержке «*Кометы*» и объясните, что здесь случилось, — она опустила руку в карман и неожиданно ее пальцы сомкнулись вокруг пачки сигарет. — …Слушайте, а что там за маяк, в полумиле от нас?

— Ах, это. Наверное, запасной аэродром *«Флэгшип Эрлайнс»*.

— Понятно… Хорошо, это все. Прикажите вашим людям немедленно выезжать. Прикажите подобрать мистера Келлога у телефона номер 83.

— Да, мэм.

Она повесила трубку. Келлог улыбался.

— Это аэродром, не так ли?

— Да, — она смотрела на маяк, сжимая в кармане пачку сигарет.

— Так они должны подобрать *мистера Келлога*, верно?

Дагни обернулась к нему, лишь теперь осознав уже принятое решение.

— Понимаете… — смутилась она. — Я не собиралась бросить вас здесь. Просто у меня тоже есть очень важная цель на западе, и я должна торопиться, вот и подумала, что попытаюсь найти самолет, но, впрочем, могу этого и не делать…

— Пойдемте, — сказал Келлог и двинулся в сто-

рону аэродрома.

— Но я…

— Если у вас есть дело поважнее, чем нянчиться с этими недоумками, им и займитесь.

— Важнее всего на свете, — еле слышно прошептала она.

— Я согласен поработать на вас и отправить «*Комету*» к вашим людям в Лореле.

— Спасибо… Но… если вы думаете… Я не дезертирую, вы это знаете.

— Знаю.

— Почему тогда помогаете мне?

— Просто хочу посмотреть, на что это похоже — сделать что-нибудь для вас.

— Не велик шанс, что на аэродроме есть самолет.

— А почему бы и нет? — как-то странно улыбнулся он.

На краю летного поля стояли два самолета. Один представлял собой останки, негодные даже на запчасти. Второй — моноплан «*Дуайт Сандерс*», новенький, одна из тех машин, о которой мечтает каждый мужчина. На поле появился сонный служащий, молодой толстячок, говоривший как выпускник колледжа, родной брат по разуму ночного диспетчера из Брэдшоу. О двух

самолетах он ничего не знал: они уже стояли здесь, когда он год назад поступил на работу. Он ими никогда не интересовался, впрочем, как и всем остальным. Тихо распалась и растворилась в неизвестности великая авиакомпания, и о моноплане «*Сандерс*» забыли, как забыли и о его качествах… Забыли же модель мотора в куче мусора, вот и моноплан неприкаянно стоял, не перевозя ничего для своих наследников или преемников… В инструкциях ничего не было сказано о том, должен ли молодой служащий охранять самолет. Решение приняли за него двое уверенных в себе незнакомцев, кажется, из Вашингтона, мужчина и женщина, последняя — с удостоверением на имя мисс Дагни Таггерт, вице-президента железной дороги, намекнувшая на секретное задание чрезвычайной важности. Они упоминали также об имеющемся у них согласии высшего руководства компании в Нью-Йорке, чьих имен он прежде никогда не слышал. Завершилось все получением чека на пятнадцать тысяч долларов, подписанным мисс Таггерт, в качестве залога за моноплан, и другим чеком, на две тысячи долларов, в благодарность за его любезность.

Он заправил самолет, проверил, как умел,

отыскал карту аэропортов страны, на которой Дагни увидела, что летное поле на окраине Афтона в штате Юта обозначено как действующее. Она была так возбуждена, что почти ничего не чувствовала, но в последний момент, когда служащий включил прожектор, освещающий взлетную полосу, и она готова была подняться на борт, остановилась, чтобы еще раз взглянуть на огромную пустоту неба и Оуэна Келлога. Он одиноко стоял в слепящем белом свете, твердо упершись ногами в островок цемента, за которым начиналась непроглядная ночь, и Дагни спросила себя: кто из них остался лицом к лицу перед бóльшей неизвестностью, кому предоставлен самый великий шанс?

— Если со мной что-нибудь случится, — сказала она, — вы сообщите Эдди Уиллерсу в мою контору, чтобы принял на работу Джефа Аллена, как я ему обещала?

— Сообщу… Больше вы ничего не прикажете сделать… если что-нибудь случится?

Подумав, она печально улыбнулась.

— Да, кажется, это все… Вот только сообщите Хэнку Риардену, что произошло, и что я просила вас рассказать ему об этом.

— Сделаю.

Подняв голову, она твердо сказала:

— Не думаю, что со мной что-то случится. Когда приедете в Лорел, позвоните в Уинстон, штат Колорадо, и скажите, что завтра к полудню я буду там.

— Да, мисс Таггерт.

Она хотела протянуть ему руку на прощанье, но сочла это неуместным, и ей припомнились его слова о времени одиночества. Она достала пачку и предложила ему одну из его собственных сигарет. Он понимающе улыбнулся, и маленькое пламя спички, от которого они прикурили, было крепче всякого рукопожатия.

Потом Дагни поднялась в кабину, и в ее сознании остались не момент расставания, а слившиеся воедино время и пространство, последовательность движений, словно ноты, слагающие мелодию: прикосновение ее руки к ключу зажигания, рев мотора, который, подобно горной лавине, отсек ее от всего, что осталось позади. Вращение лопастей, превратившееся в ревущий поток воздуха, рассекавший пространство. Разбег, короткая пауза, потом рывок вперед, к долгому, рискованному пути по взлетной полосе, все нарастающее давление, направленное к единой цели, к неуловимому мгновению, когда земля

обрушивается вниз, а самолет уходит в небо — вроде бы, так просто и естественно.

Дагни видела, как телеграфные столбы вдоль дороги убегают вниз и назад. Земля проваливалась все глубже и глубже, и она чувствовала, что теряет вес, как будто Земной шар уменьшился до размера того ядра обязательств, что было приковано к ее ноге, и от которого она избавилась.

Тело наполнило пьянящее ощущение открытия, оно и машина поворачивались согласно — нет, это земля внизу поворачивалась силой ее рук. Открытие состояло в том, что жизнь теперь в ее руках, не нужно больше спорить, объяснять, учить, упрашивать, бороться, нужно только смотреть вперед и действовать. Потом земля застыла обширным черным покрывалом и становилась все шире, пока Дагни набирала высоту. Она посмотрела вниз в последний раз, на уменьшившиеся огни аэродрома, где остался только луч маяка, похожий на раскаленный кончик сигареты Келлога, прощальным приветствием горящий в темноте.

Потом Дагни осталась наедине с огоньками приборной панели и россыпью звезд над стеклом фонаря кабины. Ее ничего не поддерживало,

кроме работающего двигателя и разума людей, создавших самолет. «Но что еще нас поддерживает в этом мире?» — подумала она.

Дагни держала курс на северо-запад, по диагонали пересекая штат Колорадо. Она понимала, что выбрала самый рискованный маршрут, с довольно длинным участком над горным хребтом, но зато самый короткий, и горы не казались ей такими опасными, как диспетчер в Брэдшоу.

Звезды окутывали горизонт серебряной пеной; казалось, все небо движется круговыми волнами. На земле еще раз вспыхнула искра огня, ярче, чем холодное голубое сияние вверху. Но она светила одиноко, между чернотой праха и синевой тайны неба, и, словно сражаясь за свою хрупкую жизнь, подмигнула Дагни и пропала.

Бледная полоска реки медленно появилась из темноты и долго оставалась на виду, скользя навстречу. Она напоминала фосфоресцирующую вену на коже земли, тонкую вену без крови.

Потом Дагни увидела огни города — горстку золотых монеток, брошенных в прерии, яркие колючие электрические угольки казались такими же далекими, как звезды, и столь же недосягаемыми. Энергия, питавшая их, вырабатывавшаяся электростанцией в пустынных

прериях, вдруг пропала, исчезла, и она не знала, как овладеть ею вновь. И все-таки это ее звезды, думала Дагни, глядя вниз, ее цель, ее маяк, стремление, поднявшее ее ввысь. То, что другие люди чувствовали, глядя на звезды, удаленные на миллионы лет и не побуждавшие их к действию, а лишь наполнявшие ощущением тщетности всех усилий, Дагни чувствовала при взгляде на электрические лампы, освещавшие улицы городов. Ее вершиной, которую надо покорить, стала земля, и она не понимала, как могла потерять ее, кто превратил ее в ядро на ноге каторжника, кто превратил обещание величия в недостижимый образ. Но город остался позади, и нужно было смотреть вперед, на горы Колорадо, поднимавшиеся ей навстречу.

Приборы на панели показывали, что моноплан поднимается все выше и выше.

Звук двигателя, несущего ее над горными пиками, пробивался через свою металлическую скорлупу, дрожа в штурвале, как стойкое биение сердца. Земля превратилась в покачивающийся морщинистый макет, картину после взрыва, все еще посылавшего вверх резкие потоки воздуха, достигавшие самолет. Зубчатые черные острия прорезали молочную пелену тумана

прямо у нее на пути. Ум слился с телом, а тело с самолетом, борясь со внезапными невидимыми потоками, что тянули ее вниз. Кажется, она вот-вот упадет в небо, и половина гор последует за ней. Полет напоминал покорение замерзшего океана, когда каждый всплеск из-подо льда мог оказаться смертельным.

Порой горы расступались, показывая спокойные долины, затопленные туманом. Иногда туман поднимался, поглощая землю, растворяя ее в пространстве, где не осталось ничего, кроме шума двигателя.

Но Дагни не нужно было смотреть на землю. Ее органом зрения стала приборная панель. Сконцентрированная мудрость лучших умов указывала ей путь. Их зрение, думала Дагни, соединенное с ее глазами, требовало от нее только способности читать. Чем заплатили им, тем людям, что дали ей это зрение? От сгущенного молока и музыки, записанной на пластинках — к кристально четкому зрению точных приборов. Какое богатство они дали миру, и что получили взамен? Где они теперь? Где Дуайт Сандерс? Где создатель мотора?

Туман поднимался, и в неожиданном просвете она увидела каплю огня на горном склоне.

Не электрический свет — одинокое пламя в темноте, окутавшей землю. Дагни догадалась, что видит Факел Уайэтта.

Дагни приближалась к цели. Где-то позади, на северо-востоке, высились массивы гор, пронизанные туннелем Таггерта. Вершины медленно снижались, переходя в более пологие земли Юты. Она позволила самолету приблизиться к земле. Звезды растаяли, небо потемнело, но в полосе облаков на востоке уже начали появляться размывы, сначала в виде нитей, потом — светлые пятнышки, а затем и прямые полосы, еще не розовые, но уже и не фиолетовые, цвета наступающего утра, первые признаки близящегося рассвета. Они то появлялись, то пропадали, мало-помалу становясь все явственнее, а потом вдруг широко распахнули небо, словно борясь за свое существование. В голове зазвучала мелодия, которая редко вспоминалась ей: не Пятый концерт Халлея, а его Четвертый, где слышался зов борьбы и страдания, а сквозь него прорывались струнные, словно стремясь к отдаленному видению.

За много миль впереди она увидела вспышку белых лучей — аэропорт Афтона, освещенный для взлетающего самолета, и Дагни пришлось

подождать с приземлением. Кружа в темноте над полем, она видела серебряную сигару самолета, подобно Фениксу возникшего из белого огня. Оставляя за собой короткий сияющий след, он оторвался от земли и полетел к востоку.

Плавно спускаясь вниз, она нырнула в светящееся перекрестье лучей, увидела бетонную дорожку, летящую прямо в лицо, ощутила толчок шасси, встретивших землю, ответное, по инерции, движение тела, и вот уже самолет превратился в безопасный автомобиль и уверенно, как такси, съехал с взлетно-посадочной полосы на бетонную стоянку.

Небольшой частный аэродром обслуживал скудное движение нескольких промышленных концернов, оставшихся в Афтоне. Навстречу бежал ночной дежурный. Как только самолет остановился, Дагни спрыгнула на землю, и несколько секунд нетерпеливого ожидания вытеснили из памяти часы полета.

— Могу ли я найти машину, чтобы немедленно поехать в Технологический институт? — спросила Дагни.

Дежурный в замешательстве посмотрел на нее.

— Думаю, сможете, мэм. Но… зачем? Там никого

не осталось.

— Там мистер Квентин Дэниелс.

Дежурный медленно покачал головой, потом отогнул большой палец и указал через плечо на восток, на удаляющиеся габаритные огни самолета.

— Вон где теперь мистер Дэниелс.

— Что?

— Он только что улетел.

— Улетел? Почему??

— Он отбыл с человеком, который прилетел за ним часа два или три назад.

— Что за человек?

— Не знаю, никогда раньше его не видел, но, господи, какой красивый у него самолет!

Она вернулась к штурвалу, поспешно вырулила на взлетную полосу, взлетела; ее самолет подобно пуле устремился за двумя мерцающими в небе красно-зелеными точками, удалявшимися на восток. Дагни не переставала твердить:

— Нет, они не смеют! Они не смеют! Не смеют!! Не смеют!!!

«Сейчас или никогда, — думала Дагни, сжимая штурвал, словно горло врага, и ее слова взрывались в мозгу, оставляя огненный шлейф: — *Сейчас или никогда...* встретиться с разрушителем ли-

цом к лицу… узнать, кто он и где скрывается… только не мотор… он не может забрать мотор в неизвестность… на этот раз ему не уйти…»

Широкая полоса света поднималась на востоке, словно из недр земли, и обретала свободу как долго сдерживаемое дыхание. В темной голубизне неба чужой самолет сверкнул одинокой искоркой, меняя цвет, как кончик маятника, раскачивающийся в темноте, отсчитывая время.

Искра приблизилась к земле, и Дагни старалась не потерять ее из вида, не позволить ей прикоснуться к горизонту и исчезнуть. Дагни летела, как будто чужой самолет тянул ее на буксире. Он направлялся на юго-восток, и Дагни следовала за ним навстречу восходу солнца.

Еще недавно прозрачно-зеленое, как лед, небо окрасилось бледным золотом и разлилось широким озером под тонкой пленкой розового стекла, цвета того забытого утра, когда Дагни впервые увидела землю из поднебесья. Облака разбежались длинными дымчато-голубыми нитями. Дагни не сводила глаз с самолета, как будто ее взгляд стал буксирным тросом, тянущим ее моноплан. Чужой самолет стал черным крестиком на сияющем небе.

Потом Дагни заметила, что у края земли собра-

лись облака, и догадалась, что самолет направляется к горам Колорадо, и ей вновь предстоит сражаться с невидимой бурей. Она отметила это про себя без эмоций, не задумываясь, достанет ли сил ее телу и самолету повторить пройденное. Пока она может двигаться, она будет следовать за пылинкой, которая уносит последнее, что осталось у нее в жизни. Она не чувствовала ничего, кроме одиночества, сменившего ненависть и гнев, отчаянного позыва бороться до самой смерти. Одно леденящее стремление — догнать чужака, кем бы он ни оказался, что бы для этого ни потребовалось, догнать и… она не закончила фразы этого внутреннего монолога, но на дне сознания таилось завершение: и отдать свою жизнь, если прежде она не сможет отобрать жизнь у него.

Ее тело с размеренностью автомата выполняло действия, необходимые для управления самолетом. В синеватом тумане внизу разворачивались горы, зубчатыми верхушками пробивая голубую дымку. Она заметила, что расстояние до чужого самолета сократилось: ему приходилось сдерживать скорость на опасном участке, она же летела, забыв об опасности, напрягая мышцы ног и рук, чтобы не потерять управление самолетом.

Ее губы изогнулись в короткой усмешке: он сам направлял ее, он дал ей силы преследовать его с непогрешимой точностью сомнамбулы.

Игла альтиметра медленно двигалась вверх. Дагни продолжала набирать высоту, не зная, кому раньше не хватит воздуха — ей или самолету.

Самолет летел на юго-восток, к самым высоким горам, заслонявшим солнце.

Самолет чужака первым встретился с рассветными лучами. Он сверкнул, подобно вспышке белого пламени, отразив крыльями ослепительные лучи.

Затем осветились горные пики; Дагни увидела, как солнечный свет высветил снежные языки в расщелинах склонов, заскользил по гранитным отрогам. Резкие тени легли на камни, придав горному массиву законченную форму.

Они летели над самым глухим уголком Колорадо, необитаемым, труднодоступным для людей. Сюда не могли добраться ни пешком, ни на самолете. В радиусе сотни миль не было возможности совершить посадку. Дагни посмотрела на уровень горючего: лететь ей оставалось от силы полчаса. Чужак направлялся к следующему, самому высокому кряжу. Дагни не могла понять, почему он выбрал путь, не отмеченный на маршрутных

картах, по которому никто никогда не летал. Вот было бы хорошо, подумала она, если бы этот кряж остался позади.

Самолет чужака неожиданно снизил скорость. Он терял высоту — а Дагни ожидала, что он поднимется выше. На его пути высился гранитный барьер: он приближался, тянулся к его крыльям, но самолет продолжал неуклонно снижаться. Она не замечала в движении самолета ни резких перепадов, ни толчков, никаких других признаков аварии. Казалось, снижение происходило сознательно и под четким контролем пилота. Блеснув крыльями на солнце, самолет внезапно сделал вираж в длинный распадок; лучи солнца сверкнули на его фюзеляже. Потом стал закладывать спиральные круги, будто заходил на посадку туда, где она казалась невозможной.

Дагни смотрела, не пытаясь ничего объяснить, не веря тому, что видит, ожидая, что самолет резко пойдет вверх и вернется на прежний курс. Но он снижался легкими, плавными кругами, приближаясь к земле, о которой она не решалась и подумать… Подобно обломкам острых челюстей, цепочки гранитных зубцов вставали между их самолетами. Дагни не знала, что́ находилось на дне его смертельной спирали.

Она знала только, что происходящее не было похоже на самоубийство.

Она постоянно видела отблески солнца на его крыльях. Потом, как человек, ныряющий с раскинутыми в стороны руками, самолет ушел в крутое пике и исчез за скалистым хребтом.

Дагни летела следом, ожидая: вот-вот он появится вновь, не в силах поверить, что стала свидетельницей ужасной катастрофы, свершившейся так просто и тихо. Она летела к месту падения самолета. Но, кажется, посреди кольца гор находилась долина.

Она достигла долины и посмотрела вниз. Там не было места для возможной посадки. И никаких следов самолета.

Дно долины напоминало потрескавшуюся корку, которая образовалась в те времена, когда земля начала остывать, и с тех пор осталась непотревоженной. Скалы громоздились одна над другой, огромные осколки образовали причудливые формы с длинными темными трещинами и немногими искривленными соснами, что росли почти горизонтально.

Дагни не могла отыскать ровного места даже размером с платок. Здесь негде спрятаться самолету. Следов катастрофы тоже видно не было.

Она резко послала машину вниз и стала кружить над долиной, медленно снижаясь. Из-за странного оптического эффекта, который Дагни не могла объяснить, дно долины видно было отчетливее окружавшей ее земли.

Она ясно видела, что самолета в долине нет.

Дагни кружила, продолжая снижаться. Она смотрела по сторонам и в один пугающий момент подумала, что в это тихое летнее утро осталась совершенно одна в затерянном уголке Скалистых гор, куда никогда никого больше не занесет. Сжигая остатки горючего, она ищет самолет, которого никогда не существовало, в поисках разрушителя, который исчез, как исчезал всегда. Может быть, это его призрак заманил Дагни сюда, чтобы уничтожить. Она тряхнула головой, сжала губы и продолжила снижение.

Она думала при этом, что не может бросить бесценное сокровище — мозг Квентина Дэниелса, который сейчас, возможно, был еще жив там, внизу. Она спускалась в центр горного кольца, окружавшего долину. Полет был опасным — слишком мало места для маневра, но Дагни продолжала спускаться, пытаясь одновременно выполнить две задачи: отыскать дно долины и избежать гранитных скал, которые грозили

задеть крылья моноплана.

Опасность составляла лишь часть ее работы. Ею овладело дикое чувство, близкое к наслаждению, финальный азарт проигранной битвы. «Нет! — мысленно кричала она разрушителю, тому миру, который отринула, прошедшим годам, длинной череде поражений. — Нет!.. Нет!.. Нет!..» Она бросила взгляд на приборную панель и застыла, задохнувшись. Когда Дагни последний раз смотрела на альтиметр, он показывал высоту одиннадцать тысяч футов. Теперь его стрелка застыла на отметке десять тысяч, а дно долины внешне не изменилось. Оно не приблизилось, осталось таким же далеким, как при ее первом взгляде вниз.

Дагни знала, что отметка в восемь тысяч футов в горном районе Колорадо означала уровень земли. Она потеряла все ориентиры, но продолжала снижаться.

Дагни заметила, что земля, казавшаяся такой явственной и близкой с высоты, теперь стала более туманной и слишком далекой. Она смотрела на те же скалы, с той же перспективы, но скалы не стали крупнее, их тени не сдвинулись, и странный неестественный свет по-прежнему висел над дном долины.

Дагни решила, что альтиметр вышел из строя, и продолжила спуск по спирали. Она увидела, как стрелка на циферблате стала двигаться вниз, гранитные стены поднялись вверх, кольцо окружающих гор словно выросло, их пики сдвинулись ближе на фоне неба, но дно долины оставалось неизменным, словно она опускалась в колодец, дна которого невозможно достигнуть. Стрелка упала до девяти с половиной тысяч, потом до девяти, потом до восьми тысяч семисот футов.

Вспышка света, настигшая ее, не имела источника. Казалось, что воздух внутри и снаружи самолета взорвался холодным ослепительным пламенем, внезапным и беззвучным. Шок заставил ее отпрянуть назад. Бросив управление, Дагни закрыла глаза руками. Спустя мгновение, она снова вцепилась в штурвал, свет погас, но ее самолет вошел в штопор, в ушах звенела тишина, пропеллер замер: горючее кончилось, мотор заглох.

Дагни пыталась выровнять машину, набрать высоту, но моноплан падал вниз, и она увидела, что навстречу ей летят не потрескавшиеся скалы, а зеленая трава, прямо там, где никакой травы не могло быть и в помине.

Рассмотреть остальное времени не оставалось.

Не было времени ни думать, ни искать объяснений, ни выходить из штопора. Зеленая земля превратилась в потолок всего в нескольких сотнях футов от моноплана. И этот потолок стремительно падал на нее.

Ее бросало из стороны в сторону, как мячик. Она цеплялась за штурвал, пытаясь перевести моноплан в планирующий полет, чтобы попытаться приземлиться. А зеленая земля вращалась вокруг нее, оказывалась то сверху, то снизу, сужая кольца спирали. Она тянула на себя штурвал, не понимая, удается ли ей противостоять стремительно сокращавшемуся пространству и времени. С небывалой ясностью она во всей полноте ощутила то острое чувство жизни, которое всегда было ей присуще. В этот момент в ней слились молитвенное обращение к своей любви, отрицание грядущей катастрофы, желание жить и… Дагни озарила гордая, твердая уверенность в том, что она выживет.

Стремительно несясь навстречу земле, она услышала, как, бросая вызов судьбе, с бравадой отчаяния и мольбой о помощи, мысленно кричит ненавистные слова:

— О, черт! Кто такой Джон Голт?

ЧАСТЬ III
А есть А

ГЛАВА I. АТЛАНТИДА

Открыв глаза, Дагни увидела солнечный свет, зеленую листву и мужское лицо. Подумала: «Я знаю, что это». Это был тот мир, который в шестнадцать лет она ожидала увидеть, и вот оказалась в нем. Он выглядел таким простым, понятным, что впечатление от него походило на благословение, содержащееся всего в двух словах и многоточии: «*Ну, конечно…*»

Дагни посмотрела на мужчину, стоящего подле нее на коленях, и поняла, что всегда готова была отдать жизнь, дабы увидеть это: лицо без следов страдания, страха или вины. Выражение лица было таково, что казалось: этот человек гордится тем, что горд. Угловатость скул наводила на мысль о надменности, напряженности, презрительности — и, однако, в лице не виделось ничего подобного, оно выражало, скорее, конечный результат: безмятежную решимость и уверенность, безжалостную чистоту, которая не станет ни искать прощения, ни даровать его. Перед ней предстало лицо человека, которому нечего скрывать или избегать, в нем не угадывалось ни страха быть увиденным, ни страха

смотреть, поэтому первое, что Дагни уловила, был пронизывающий взгляд: он смотрел так, словно зрение — его любимое орудие, а наблюдать — безграничное, радостное приключение; его глаза представляли собой высшую ценность для мира и для него самого; для него — из-за способности видеть, для мира — потому, что видеть его очень даже стоило. На миг Дагни подумала, что оказалась в обществе не просто человека, а чистого сознания, тем не менее она никогда еще не воспринимала мужское тело так остро. Легкая ткань рубашки, казалось, не скрывала, а подчеркивала очертания фигуры; кожа была загорелой, тело обладало твердостью, суровой, непреклонной силой, гладкой четкостью отливки из какого-то потускневшего, плохо обработанного металла, вроде сплава меди с алюминием; цвет кожи сливался с каштановыми волосами, их пряди золотились под солнцем, глаза светились, словно единственная не потускневшая, тщательно отполированная часть всей композиции: они походили на темно-зеленый отблеск на металле.

Мужчина смотрел на нее с легкой улыбкой, говорившей не о радости открытия, а о простом созерцании, словно он тоже видел нечто дол-

гожданное, в существовании которого никогда не сомневался.

Дагни подумала, что это ее мир, что вот так люди должны выглядеть и ощущать себя, а все прочие годы неразберихи и борьбы были лишь чьей-то бессмысленной шуткой. Она улыбнулась этому человеку как собрату-заговорщику, с облегчением, чувством освобождения, радостной насмешкой надо всем, что ей никогда больше не придется считать значительным. Он улыбнулся в ответ, улыбка была такой же, как и у нее, словно он испытывал то же самое и понимал, что у нее на уме.

— Не нужно воспринимать все это всерьез, правда? — прошептала Дагни.

— Не нужно.

Тут сознание вернулось к ней полностью, и она поняла, что совершенно не знает этого человека. Хотела отстраниться, но вышло лишь легкое движение головы по густой траве, на которой она лежала. Попыталась встать.

Боль в спине заставила ее от этой мысли отказаться.

— Не двигайтесь, мисс Таггерт. Вы получили травму.

— Вы меня знаете?

Голос ее был спокойным, твердым.

— Я знаю вас много лет.

— А я вас?

— Думаю, да.

— Как вас зовут?

— Джон Голт.

Дагни посмотрела на него в каком-то оцепенении.

— Почему вы испугались? — спросил он.

— Потому что верю.

Он улыбнулся, словно полностью поняв смысл, вложенный ею в эти слова; в улыбке было и согласие принять вызов, и насмешка взрослого над самообманом ребенка.

Дагни чувствовала себя так, словно возвращалась к жизни после катастрофы, в которой разбился не только самолет. Она не могла собрать обломки, не могла припомнить, что знала об этом имени, знала только, что оно обозначало какую-то темную пустоту, и ее требовалось постепенно заполнить. Сделать это сейчас она не могла, человек рядом с ней слепил ее, словно прожектор, не позволяющий разглядеть вещи, выброшенные во внешнюю тьму.

— Это вас я преследовала? — спросила она.

— Да.

Дагни медленно огляделась. Она лежала на лугу у подножия гранитного утеса, поднимавшегося на тысячи футов в голубое небо. По другую сторону луга скалы, сосны и блестящие листья берез скрывали пространство, тянущееся к далекой стене окружавших долину гор. Самолет ее не разбился — он лежал в нескольких футах в стороне на брюхе. Нигде не было видно ни другого самолета, ни строений, ни хоть каких-то признаков человеческого жилья.

— Что это за долина? — спросила она.

Он улыбнулся.

— Терминал Таггертов.

— Как это понять?

— Увидите.

Смутное, будто невесть кем подсказанное желание побудило Дагни проверить, остались ли у нее силы. Она могла двигать руками и ногами; могла приподнять голову, а когда глубоко вдохнула, почувствовала острую боль, затем увидела текущую тонкой струйкой кровь.

— Отсюда можно выбраться? — спросила она.

Голос Голта казался серьезным, но отливающие металлом зеленые глаза улыбались.

— Совсем — нет. Временно — да.

Дагни стала подниматься. Голт наклонил-

ся, чтобы помочь ей, но она вложила все силы в быстрый, решительный рывок и ускользнула от его рук, силясь встать на ноги.

— Думаю, я могу… — начала она и, едва ее ступни коснулись земли, упала; лодыжку пронзила острая боль.

Голт поднял ее на руки и улыбнулся.

— Нет, мисс Таггерт, не можете.

И понес ее через луг.

Дагни лежала неподвижно, полуобняв Голта, положив голову ему на плечо, и думала: «Всего на несколько минут — пока это длится — можно покориться: забыть все и позволить себе чувствовать…» Она задумалась, испытывала ли раньше что-то подобное, около минуты промучилась, но вспомнить не смогла. Некогда ей дано было познать чувство уверенности — окончательной, достигнутой, не подлежащей сомнению. Но ощущение безопасности и сознание, что принимать защиту, а значит, сдаваться, допустимо для нее — было внове, потому что это странное чувство было охранной грамотой не от будущего, а от прошлого, щитом, избавляющим не от битвы, а от поражения, плечом, подставленным не ее слабости, а силе… Ощущая, сколь крепки его руки, видя медно-золотистые пряди его волос,

тени ресниц на лице, она вяло подумала: «Да, защищена, но от чего?.. Это он — тот враг... так ведь? Так почему?..» Дагни не знала и не могла сейчас об этом думать. Потребовалось усилие, чтобы вспомнить: несколько часов назад у нее были некие цели и мотив. Она пыталась вспомнить, какие.

— Вы знали, что я лечу за вами? — спросила она.

— Нет.

— Где ваш самолет?

— На летном поле.

— А где оно?

— В другом конце долины.

— Когда я смотрела вниз, там не было никакого поля. Да и луга не было. Откуда он взялся?

Голт поднял взгляд к небу.

— Посмотрите внимательно. Видите что-нибудь вверху?

Дагни запрокинула голову, однако не увидела ничего, кроме безмятежной утренней лазури. Вскоре разглядела несколько легких полос мерцающего воздуха.

— Тепловые волны, — сказала она.

— Преломление лучей света в земной атмосфере, — ответил он. — Эта долина представляет

собой вершину горы высотой в восемь тысяч футов и находится в пяти милях отсюда.

— Что-что?

— Да, не удивляйтесь, вершина горы, на которую не станет садиться ни один летчик. То, что вы видели, было ее отражением, спроецированным над этой долиной.

— Каким образом?

— Тем же, что вызывает в пустыне мираж: отражением от слоя нагретого воздуха.

— И что же вызывает это отражение?

— Воздушный экран, надежно защищающий от всего — кроме такой смелости, как ваша.

— О чем это вы?

— Я никак не думал, что какой-нибудь самолет станет пикировать всего лишь в семистах футах от земли. Вы врезались в лучевой экран. Некоторые из этих лучей, создавая магнитное поле, глушат моторы. Ну, что ж, вы второй раз удивили меня: за мной никогда еще не летали.

— А зачем вам этот экран?

— Это место — частная собственность, и она должна оставаться частной.

— Что это за место?

— Я покажу его вам, раз уж вы здесь, мисс Таггерт. А потом отвечу на ваши вопросы.

Дагни умолкла. Она вдруг поняла, что спрашивает Голта о чем угодно, только не о нем самом. Казалось, он представлял собой единое целое, ставшее понятным с первого взгляда, как некий неизменный абсолют, как не требующая объяснений аксиома; она словно и так уже знала о нем все, и теперь ей в этом знании оставалось только утвердиться.

Голт нес ее по узкой извилистой тропе, спускавшейся ко дну долины. На склонах вокруг, неподвижно прямо, в мужественной простоте, будто доведенные до искомой формы скульптуры, стояли высокие темные пирамиды елей — полная противоположность сложному, женственному, многообразному кружеву трепетавших в солнечных лучах березовых листьев.

Лучи солнца падали сквозь листву на его волосы, на их лица. Дагни не могла видеть, что лежит внизу, за серпантином тропы.

Ее взгляд постоянно возвращался к его лицу. Голт также то и дело смотрел на нее. Сперва она отворачивалась, будто стыдясь своего интереса. Потом, следуя его примеру, больше не отводила глаз, видя: он знает, что она чувствует, и не скрывает от нее смысла своих взглядов.

Дагни понимала: его молчание такое же при-

знание, как и ее. Он держал ее не бесстрастно, как мужчина, просто несущий раненую женщину, лишь потому, что она не может ходить. Это было объятием, хотя она не замечала даже намека на какую-то интимность в поведении Голта; она только *чувствовала*, как он всем телом *чувствует* ее тело.

Дагни услышала шум водопада еще до того, как увидела хрупкую хрустальную нить, падающую прерывистыми блестящими полосками по уступам. Этот звук доносился сквозь неясный ритм в ее мозгу, казавшийся не громче отголосков воспоминаний — но они двигались дальше, а ритм сохранялся. Дагни прислушивалась к шуму воды, но другой звук становился отчетливее, нарастая не в ее голове, а где-то в листве. Тропинка круто свернула, и во внезапно открывшейся прогалине Дагни увидела внизу, на уступе, небольшой дом с блеском солнца на стеклах распахнутого окна. И тут поняла, *что* из прошлого вызвало у нее желание покориться настоящему — это было ночью в пыльном вагоне «*Кометы*», когда она впервые услышала тему Пятого концерта Халлея: чистую, свободно парящую музыку, будто взлетающую над клавишами фортепиано под четкими движениями

чьих-то сильных, уверенных пальцев.

Дагни поспешно, словно надеясь застать Голта врасплох, спросила:

— Это ведь Пятый концерт Ричарда Халлея, так ведь?

— Да.

— Когда он написал его?

— Почему бы не спросить у самого композитора?

— Он здесь?

— Вы слышите его игру. Это его дом.

— О!..

— Вы познакомитесь с ним позже. Халлей будет рад поговорить с вами. Он знает, что вечерами, в одиночестве, вы слушаете только его пластинки.

— Откуда?

— Я сказал ему.

На лице Дагни отразился вопрос, который она готова была начать словами: «Как, черт возьми...» — но увидела выражение глаз Голта и засмеялась; смех ее отражал то же, что его взгляд. Нельзя спрашивать ни о чем, подумала она, нельзя ни в чем сомневаться — при звуках такой музыки, торжественно поднимающейся сквозь залитую солнцем листву, музыки

освобождения, избавления, исполняемой так, как и до́лжно, как она силилась услышать ее в раскачивающемся вагоне сквозь стук усталых колес… Должно быть, именно так *виделись* ей эти звуки той ночью: волшебная долина, утреннее солнце и… Она ахнула, потому что тропинка повернула, и с высоты открытого уступа она увидела город на дне долины.

Собственно, это был не город, лишь скопление домов, беспорядочно разбросанных от дна до уступов гор, вздымавшихся над крышами и охватывающих их крутым, непроходимым кольцом.

Это были жилые дома, небольшие, новые, с резкими, угловатыми формами и блеском широких окон. Вдали некоторые строения казались более высокими, струйки дыма над ними наводили на мысль о промышленном районе. Но вблизи, на стройной гранитной колонне, поднимавшейся с уступа внизу до уровня ее глаз, стоял слепивший своим блеском, делавший все остальное тусклым, знак доллара высотой в три фута, выполненный из чистого золота. Он сиял в пространстве над городом, словно его герб, его символ, его маяк, и улавливал солнечные лучи, будто аккумулируя их и пересылая в сиянии

своем туда, вниз, к крышам домов.

— Что это? — изумленно спросила Дагни.

— А, это шутка Франсиско.

— Какого Франсиско? — прошептала она, уже зная ответ.

— Франсиско д'Анкония.

— Он тоже здесь?

— Будет со дня на день.

— Почему вы назвали это шуткой?

— Он установил сей знак как юбилейный подарок хозяину этих мест. А потом мы сделали его своей эмблемой. Нам понравился ход мысли Франсиско.

— Разве владелец этих мест не вы?

— Я? Нет, что вы… — Голт глянул вниз, на подножие уступа, и добавил, указывая: — Вот идет хозяин.

В конце грунтовой дороги остановилась легковая машина, из нее вышли двое и стали торопливо подниматься. Разглядеть их лиц Дагни не могла; один был высоким, худощавым, другой пониже, более мускулистый. Они скрылись из виду за поворотом тропинки.

Дагни снова увидела их, когда они появились из-за выступа скалы. Их лица поразили ее, словно внезапное столкновение.

— Ну и ну, будь я проклят! — сказал, глядя на нее, мускулистый, которого она не знала.

Она же смотрела на его элегантного, высокого спутника: это был Хью Экстон.

Он заговорил первым, поклонясь ей с любезной приветственной улыбкой:

— Мисс Таггерт, мне впервые кто-то доказал мою неправоту. Я и не думал, говоря, что вы никогда его не найдете, увидеть вас у него на руках.

— На руках у кого?

— Ну, как же, у изобретателя того двигателя.

Дагни ахнула, закрыв глаза; она должна была догадаться сама. Подняв веки, она взглянула на Джона Голта. Тот улыбался, уверенно, насмешливо, словно *опять* понимал, что́ это для нее значит.

— Было бы поделом, если б вы себе шею свернули! — гневно проворчал мускулистый, впрочем, с явной озабоченностью, даже чуть ли не с симпатией. — Надо ж было додуматься выкинуть такой трюк, и кому?! Женщине, которую бы здесь и так приняли с распростертыми объятиями, войди она через парадную дверь!

— Мисс Таггерт, позвольте представить вам Мидаса Маллигана, — сказал Голт.

— О!.. — только и вымолвила Дагни, а потом

рассмеялась: удивляться она уже не могла. — Вы хотите сказать, что я погибла в катастрофе, и это какой-то иной род существования?

— Верно, род существования иной, — ответил Голт. — А что касается гибели, разве не кажется, что все, скорее, наоборот?

— Да, — прошептала она, — да… — и улыбнулась Маллигану. — А где эта парадная дверь?

— Здесь, — ответил он, указывая на свой лоб.

— Я потеряла ключ, — сказала Дагни искренне, без обиды, — я теперь потеряла все ключи.

— Вы найдете их. Но что, черт возьми, вы делали в этом самолете?

— Преследовала.

— Его? — он указал на Голта.

— Да.

— Вам повезло, что остались живы! Сильно покалечились?

— Не думаю.

— Когда вам окажут помощь, придется ответить на несколько вопросов.

Маллиган резко повернулся и первым пошел вниз, к машине, потом оглянулся на Голта:

— Ну, что теперь делать? Мы не готовы к этому: первый штрейкбрехер.

— Первый… кто? — спросила Дагни.

— Неважно, — ответил Маллиган и снова поглядел на Голта. — Так что делать-то?

— Она будет на моем попечении, — ответил Голт, — я за нее в ответе. Вы займитесь Квентином Дэниелсом.

— О, с ним все в порядке. Ему нужно лишь осмотреться. Все остальное он, как будто, знает.

— Да. Квентин практически сам прошел весь путь, — видя, что Дагни смотрит на него в изумлении, Голт сказал: — Вы сделали мне комплимент, выбрав Дэниелса моим дублером. Он вполне заслуживал доверия.

— Где он? — спросила Дагни. — Расскажите, что случилось.

— Ну, Мидас встретил нас на летном поле, отвез меня домой, а Дэниелса взял к себе. Я собирался встретиться с ними за завтраком, но увидел, как ваш самолет, вертясь, падает на луг. Я оказался ближе всех.

— Мы приехали быстро, как только смогли, — сказал Маллиган. — я считал, что тот, кто сидит в этом самолете, вполне заслуживает гибели. Мне и в голову не могло прийти, что это один из тех двоих на всем белом свете, единственных, для кого я сделал бы исключение.

— А кто второй? — спросила Дагни.

— Хэнк Риарден.

Она невольно поморщилась, как от боли; это походило на внезапный удар в солнечное сплетение.

Дагни стало любопытно, почему ей вдруг показалось, что Голт смотрит пристально ей в лицо и что она заметила в нем какую-то перемену, слишком быструю, чтобы ее понять.

Они подошли к машине. Это был «хэммонд» с откинутым верхом, одна из самых дорогих моделей, выпущенный несколько лет назад, но в превосходном состоянии благодаря умелому обращению. Голт посадил Дагни на заднее сиденье, он придерживал ее, обняв одной рукой. Она время от времени чувствовала острую боль в ноге, но старалась не обращать на нее внимания. Смотрела на далекие дома города, когда Маллиган повернул ключ зажигания, и машина тронулась, а когда они проезжали мимо символа доллара, и золотой луч, скользнув по лбу, резанул ей по глазам, она спросила:

— И кто же хозяин всего этого?

— Я, — ответил Маллиган.

— А он кто? — она кивнула на Голта.

Маллиган усмехнулся:

— Он просто здесь работает.

— А вы, доктор Экстон? — спросила она.

Тот обратил взгляд на Голта.

— Я — один из его двух отцов, мисс Таггерт. Тот самый, который не предал его.

— О! — произнесла она, догадавшись. — Ваш третий ученик?

— Да.

— Помощник бухгалтера! — простонала она, вспомнив.

— Что-что?

— Так назвал его доктор Стэдлер. Сказал, что вот кем, видимо, стал его третий ученик.

— Он дал мне слишком высокую оценку, — сказал Голт. — По его меркам, по меркам его мира, я значительно ниже.

Машина свернула на узкую дорогу, ведшую к дому, одиноко стоявшему на гребне горы над долиной. Дагни увидела человека, быстро шагавшего по тропинке в сторону города. Он был одет в синий хлопчатобумажный комбинезон и нес под мышкой жестяную коробку для завтрака. В его быстрых, порывистых движениях было что-то знакомое. Когда машина проезжала мимо, Дагни мельком увидела его лицо — и откинулась назад; голос ее взвился до вопля от боли, причиненной внезапным толчком машины…

и увиденным:

— Остановите! Остановите! Не дайте ему уйти!

Это был Эллис Уайэтт.

Мужчины рассмеялись, но Маллиган остановил машину.

— О… — виновато пролепетала Дагни слабым голосом, поняв, что из этой долины Уайэтт не исчезнет.

Уайэтт побежал к ним: он тоже узнал ее. Когда он ухватился за край дверцы, Дагни увидела его лицо и пылкую, торжествующую улыбку, которую видела раньше всего лишь раз: на платформе *«Узла Уайэтта»*.

— Дагни! И вы, наконец, тоже? Одна из нас?

— Нет, — ответил ему Голт. — Мисс Таггерт здесь случайно.

— Что?

— Ее самолет разбился. Не видели?

— Разбился… *здес*ь?

— Да.

— Я слышал шум самолета, но… — выражение замешательства на его лице сменилось улыбкой, сожалеющей, удивленной, дружеской. — Понятно. О, черт, Дагни, это просто нелепо!

Она беспомощно смотрела на него, не в силах связать прошлое с настоящим; беспомощно —

как человек, говоривший во сне мертвому другу те слова, что не сказал ему при жизни, но теперь повторяющий их наяву, вспоминая, как старался дозвониться до него почти два года назад, те самые слова, которые надеялся произнести, если увидит его снова:

— Я… я пыталась связаться с вами.

Уайэтт мягко улыбнулся:

— Мы тоже долго пытались связаться с вами, Дагни… Вечером увидимся. Не беспокойтесь, я не исчезну — думаю, вы тоже.

Он помахал остальным и пошел, унося свою жестяную коробку. Маллиган завел мотор; она подняла взгляд и увидела, что Голт опять пристально на нее смотрит. Лицо Дагни помрачнело, словно она позволила себе признать боль, отказывая ему в удовольствии упрекнуть ее в скрытности.

— Ладно, — сказала она. — Догадываюсь, что за демонстрацию вы хотите устроить, дабы меня впечатлить.

Хоть, возможно, и неловко Дагни пыталась пошутить, но на лице Голта не отразилось никакой ответной реакции, если, конечно, не считать таковой полное бесстрастие.

— Наше первое правило, мисс Таггерт, — ска-

зал он, — в том, что каждый должен увидеть все своими глазами.

Машина остановилась перед одиноко стоящим домом. Он был выстроен из грубо обтесанных гранитных блоков, фронтон его был полностью прозрачен — почти сплошной лист стекла.

— Я пришлю врача, — сказал Маллиган, отъезжая, а Голт понес Дагни по дорожке.

— Это ваш дом? — спросила она.

— Мой, — ответил Джон Голт, открывая ногой дверь.

Он перенес Дагни через порог в блестящую просторную гостиную; потоки солнечного света падали на полированные сосновые доски стен. Она увидела несколько изготовленных вручную предметов мебели, потолок с голыми балками, сводчатый проход в небольшую кухню с неотшлифованными полками, деревянным столом и поразительно искусными деталями хромировки электрической плиты; дом обладал примитивной простотой хижины первопроходца, сведенной к самому необходимому, но построенный со сверхсовременным мастерством.

Голт пронес Дагни через поток солнечного света в маленькую комнату для гостей и уложил на кровать. Она увидела окно, выходившее

на склон с каменными ступенями и устремленными в небо соснами. Под подоконником — надписи мелкими буквами, словно вырезанными в древесине стен; несколько разрозненных строчек, будто написанных разными почерками. Слов Дагни разобрать не могла. Затем увидела еще одну дверь, полуоткрытую — она вела в спальню Голта.

— Я здесь гостья или арестантка? — спросила Дагни.

— Это будет зависеть от вашего выбора, мисс Таггерт.

— Я не могу выбирать, имея дело с незнакомцем.

— С незнакомцем? Разве вы не назвали *свою* железную дорогу моим именем?

— О!.. Да… — и вновь мелькнула смутная догадка. — Да, я… — она смотрела на высокого человека с залитыми солнцем волосами, со сдержанной улыбкой в беспощадно проницательных глазах и видела — словно отражение — Свою Дорогу и тот летний день, когда был пущен первый состав, думала, что если человеческая фигура и может служить эмблемой Этой Дороги, то она перед ней. — Да… Назвала… — затем, припомнив остальное, добавила: — Оказалось, что именем

врага.

Голт улыбнулся.

— Это противоречие вам рано или поздно придется разрешить, мисс Таггерт.

— Это вы… Не так ли? Уничтожили мою дорогу…

— Нет. Уничтожило ее противоречие.

Дагни закрыла глаза; через несколько секунд задала вопрос:

— Я слышала о вас всякое, что же правда?

— Все.

— Вы сами распространяли эти слухи?

— Нет. Зачем? Я никогда не хотел, чтобы обо мне говорили.

— Но знаете, что стали легендой?

— Да.

— Молодой изобретатель из моторостроительной компании «Двадцатый век» — одна из подобных *правд*, так ведь?

— Да.

Дагни не могла сдержать волнения, ее голос упал до шепота:

— Тот двигатель… что я обнаружила… его сделали вы?

— Да.

Дагни невольно вскинула голову от радости.

— Секрет преображения энергии… — начала было она и умолкла.

— Я мог бы объяснить его вам за пятнадцать минут, — сказал Голт в ответ на ее невысказанную, отчаянную просьбу, — но на свете нет силы, способной заставить меня это сделать. Если понимаете это, значит, со временем поймете и все остальное.

— Та ночь… двенадцать лет назад… весенняя ночь, когда вы ушли с собрания шести тысяч предателей — эта история верна, не так ли?

— Да.

— Вы сказали им, что остановите двигатель мира.

— Я остановил его.

— Что *именно* вы сделали?

— Ничего, мисс Таггерт. И в этом весь мой секрет.

Дагни молча устремила на него долгий взгляд. Голт стоял с таким видом, словно читал ее мысли.

— Разрушитель… — заговорила она потерянным, беспомощным голосом.

— …самая зловредная тварь на свете, — продолжил он, почти цитируя, и она узнала свои слова, — человек, организующий утечку моз-

гов…

— Как же пристально вы следили за мной, — заметила Дагни, — и как долго?

Пауза была очень краткой; взгляд его остался неподвижным, но ей показалось, что в нем появилась напряженность, словно оттого, что он давно ждал этой встречи, и она услышала в его голосе какую-то странную, тщательно скрываемую пылкость, когда Голт спокойно ответил:

— Много лет.

Дагни закрыла глаза; ей хотелось просто расслабиться и сдаться. Она чувствовала какое-то беззаботное равнодушие, она стремилась лишь к покою — к тому, чтобы кто-нибудь объявил ее беспомощной и позаботился о ней.

Приехал врач, седовласый человек с добрым, задумчивым лицом и сдержанными, уверенными манерами.

— Мисс Таггерт, — сказал Голт, — позвольте представить нам доктора Хендрикса.

— Неужели Томаса Хендрикса? — воскликнула она с невольной детской бестактностью; это было имя знаменитого хирурга, ушедшего на покой и исчезнувшего шесть лет назад.

— Разумеется, — пожал плечами Голт.

Доктор Хендрикс в ответ улыбнулся.

— Мидас сказал, что мисс Таггерт нужно лечить от потрясения, — произнес он, — причем не того, которое она перенесла, а от будущего.

— Оставлю вас заниматься этим, — сказал Голт, — а сам пойду купить что-нибудь к завтраку.

Дагни наблюдала за сноровистостью работы доктора Хендрикса, осматривающего ее травмы. Он привез прибор, какого она раньше не видела: портативный рентгеновский аппарат. Доктор сказал, что у нее треснули хрящи двух ребер, растянуты связки голеностопного сустава, содрана кожа на колене и локте, а на теле появилось несколько фиолетовых синяков. К тому времени, когда он быстро и умело наложил повязки и приклеил пластырь, ей казалось, что ее тело представляет собой мотор, проверенный опытным механиком, и беспокоиться о нем больше не стоит.

— Мисс Таггерт, я бы советовал вам оставаться в постели.

— О, нет! Если ходить осторожно и медленно, все будет в порядке.

— Вам следует отдохнуть.

— Думаете, я смогу?

Доктор Хендрикс улыбнулся:

— Пожалуй, нет.

Когда вернулся хозяин дома, она уже оделась. Доктор описал ему состояние Дагни и добавил:

— Завтра я заеду.

— Спасибо, — сказал Голт. — Счет пришлите мне.

— Ни в коем случае! — возмутилась Дагни. — Я сама его оплачу.

Мужчины переглянулись с усмешкой, словно услышав похвальбу нищего.

— Обсудим это позже, — сказал Голт.

Доктор Хендрикс ушел, и Дагни попыталась встать, хромая, держась за мебель. Голт поднял ее, отнес на кухню и усадил за накрытый на двоих стол.

Увидев кипящий на плите кофейник, два стакана апельсинового сока, толстые керамические тарелки, блестящие в лучах солнца на чистом столе, она ощутила голод.

— Когда вы спали и ели последний раз? — спросил Голт.

— Не знаю… я обедала в поезде с… с бродягой, — чуть не брякнула она и услышала какой-то отчаянный голос, умолявший ее бежать, бежать от мстителя, который не станет ее преследовать — мстителя, сидевшего напротив нее со ста-

каном апельсинового сока в руках. — Не знаю… кажется, много веков назад, на другой планете.

— Как получилось, что вы стали преследовать меня?

— Я приземлилась в аэропорту Афтона, когда вы взлетали. Один человек сказал мне, что Квентин Дэниелс улетел с вами.

— Помню, как ваш самолет заходил на посадку. Но это был единственный раз, когда я о вас не думал. Я полагал, что вы едете поездом.

Глядя на него в упор, она спросила:

— Как прикажете это понимать?

— Что?

– *Единственный раз, когда вы не думали обо мне.*

Голт не отвел взгляда; Дагни увидела характерную для него мимику: гордые, упрямо сложенные губы изогнулись в легкой улыбке.

— Как хотите, — ответил он.

Она чуть помолчала, лицо ее стало суровым. А в голосе звучало обвинение:

— Вы знали, что я еду за Квентином Дэниелсом?

— Да.

— И примчались раньше, чтобы не дать мне встретиться с ним? Чтобы нанести мне пораже-

ние — прекрасно зная, *что* оно будет означать для меня?

— Конечно.

Дагни отвела взгляд и промолчала. Голт поднялся, чтобы закончить готовить завтрак. Она наблюдала, как он, стоя у плиты, жарит гренки и яичницу с беконом. Движения его были уверенными, непринужденными, но это было мастерство другой профессии; руки его двигались с четкостью машиниста, передвигающего рычаги управления. Она внезапно вспомнила, где уже видела такие же виртуозные и бессмысленные действия.

— Научились этому у доктора Экстона? — спросила она, указывая на плиту.

— Да, помимо всего прочего.

— Он учил вас тратить время, *ваше время*, — она не могла сдержать негодующей дрожи в голосе, — на такую работу?!

— Я тратил время и на гораздо большие пустяки.

Когда он поставил перед ней тарелку, она спросила:

— Где вы взяли продукты? Здесь есть продовольственный магазин?

— Лучший на свете. Принадлежит Лоуренсу

Хэммонду.

— Что?!

— Лоуренсу Хэммонду из «*Хэммонд Кар Компани*». Бекон с фермы Дуайта Сандерса — из «*Сандерс эркрафт*». Яйца и масло от судьи Наррангасетта — из Верховного суда штата Иллинойс.

Дагни злобно посмотрела на тарелку, словно боясь коснуться ее.

— Это самый дорогой завтрак, какой у меня когда-либо был, учитывая стоимость времени повара и всех остальных.

— С одной стороны — да. Но с другой — самый дешевый, потому что никакая часть его не ушла к грабителям, которые заставили бы вас платить за него из года в год и в конце концов бросили голодать.

После долгого молчания она спросила простодушно, чуть ли не с завистью:

— Что вы все здесь делаете?

— Живем.

Дагни еще ни разу не слышала, чтобы это слово звучало так убедительно.

— А что у вас за служба, место, должность, чин… не знаю, как и назвать? Ведь Мидас Маллиган сказал, что вы работаете здесь.

— Пожалуй, я мастер на все руки.

— Что-что? Простите, не поняла.

— Меня вызывают, когда выходит из строя какое-то оборудование — к примеру, в системе энергоснабжения.

Дагни посмотрела на него и внезапно подскочила, невольно бросив взгляд на электрическую плиту, но боль в ноге заставила ее снова сесть.

Голт усмехнулся:

— Да-да, и это тоже, только успокойтесь, а то доктор Хендрикс вернет вас в кровать.

— Система энергообеспечения… — сдавленно произнесла она, — энергетическая система здесь… *работающая на вашем двигателе*?

— Да.

— Он построен? Действует?

— Он готовил вам завтрак.

— Я хочу видеть его!!!

— Не стоит калечиться, чтобы посмотреть на плиту. Это обыкновенная электрическая плита, только эксплуатация ее примерно в сто раз дешевле. И это все, что вы сможете увидеть, мисс Таггерт.

— Вы обещали показать мне долину.

— Долину покажу. Но генератор — нет.

— Ладно. А остальное — сейчас, как только покончим с завтраком?

— Если хотите и если способны двигаться.

— Способна.

Голт встал, подошел к телефону и набрал номер:

— Алло, Мидас?.. Да… Он был? Да, у нее все в порядке… Дашь мне машину на сегодня?.. Спасибо. Да, по обычной ставке, двадцать пять центов… Пришлешь ее сюда?.. Слушай, а нет ли у тебя случайно какой-нибудь трости? Она ей потребуется… Сегодня вечером? Да, пожалуй. Мы будем. Спасибо.

Он положил трубку. Дагни изумленно смотрела на него.

— Насколько я поняла, мистер Маллиган — которому принадлежит около двухсот миллионов долларов, — будет брать с вас двадцать пять центов за пользование машиной?

— Совершенно верно.

— Господи, неужели он не может дать ее вам просто так, в виде любезности?

Голт посмотрел на Дагни какое-то время, так, чтобы она непременно заметила и верно оценила его холодную усмешку.

— Мисс Таггерт, — заговорил он, — у нас в этой долине нет ни законов, ни правил, ни каких-то официальных организаций. Мы приехали сюда,

потому что хотим отдохнуть. Но есть определенные обычаи, которые мы все соблюдаем, так как прекрасно понимаем, от чего именно хотим отдохнуть и от чего наш отдых зависит. Поэтому сразу предупреждаю вас, что в этой долине одно слово находится под запретом: слово «дай».

— Прошу прощения, — сказала она. — Вы правы.

Он снова налил ей кофе и протянул пачку сигарет.

Беря сигарету, она улыбнулась: на ней был знак доллара.

— Если к вечеру не очень устанете, — сказал Голт, — Маллиган приглашает нас на ужин. Там будет несколько гостей, с которыми, полагаю, вы захотите встретиться.

— О, конечно! Я не устану. Думаю, никогда больше не буду уставать.

Когда они позавтракали, Дагни увидела, как перед домом остановилась машина Маллигана. Водитель выскочил, побежал по дорожке и ринулся в комнату, даже не задержавшись, чтобы позвонить или постучать. Она не сразу поняла, что этот пылкий, запыхавшийся, растрепанный молодой человек — Квентин Дэниелс.

— Мисс Таггерт, — воскликнул он, — прошу

меня простить! — искренняя вина в его голосе противоречила радостно-взволнованному выражению лица. — Раньше я никогда не нарушал слова! Оправдания этому нет, я не могу просить у вас извинений и знаю, вы не поверите мне, но правда заключается в том, что я… я забыл!

Она взглянула на Голта.

— Я вам верю.

— Я забыл, что обещал ждать, забыл обо всем — вспомнил лишь несколько минут назад, когда мистер Маллиган сказал, что вы разбились здесь на самолете, тут я понял, что это моя вина, и если с вами что-то случилось… Господи, вы целы?

— Да. Не беспокойтесь. Присаживайтесь.

— Я не представляю, как можно забыть о честном слове. Не знаю, что со мной случилось.

— Зато я знаю.

— Мисс Таггерт, я несколько месяцев работал над той гипотезой, и чем дальше, тем более безнадежной она мне представлялась. Я провел в лаборатории два последних дня, пытаясь решить математическое уравнение, казавшееся тупиковым. Думал, что скорей умру у грифельной доски, но не сдамся. Когда он вошел, время было уже позднее. Кажется, я его даже не заметил. Он сказал, что хочет поговорить со мной,

я попросил его подождать и продолжал работать. Думаю, просто забыл о его присутствии. Не знаю, сколько он простоял, наблюдая за мной, но помню, как он протянул руку, стер с доски все мои цифры и написал одно краткое уравнение. И тут я заметил его! Потом вскрикнул — это не было полным решением проблемы двигателя, но было путем, которого я не видел, о существовании которого не подозревал, но я понял, куда он ведет! Помню я воскликнул: «Откуда вы можете это знать?» — И он ответил, указывая на фотографию вашего двигателя: «Я тот, кто его сделал». И больше я ничего не помню, мисс Таггерт, я забыл даже о собственном существовании, потому что мы заговорили о статическом электричестве, преображении энергии и этом моторе.

— По пути сюда мы все время твердили о несовершенстве современной физики и связанных с этим проблемах, — сказал Голт.

— О, я помню, как вы спросили, полечу ли я с вами, — сказал Дэниелс, — хочу ли я улететь, никогда не возвращаться и махнуть рукой на все… На все? На мертвый институт, который разрушается, превращается в джунгли, на свое будущее в роли дворника, раба по закону, на Уэсли Моуча, на Директиву 10–289 и низших

животных, которые ползают на брюхе, бормоча, что не существует никакого разума!.. Мисс Таггерт! — ликующе рассмеялся он. — Этот человек спросил меня, махну ли я на все это рукой и полечу ли с ним! Ему пришлось спрашивать дважды, сперва я просто не мог поверить. Не мог поверить, что человека нужно *вообще* об этом спрашивать. Улететь? Да я бы с небоскреба спрыгнул, чтобы последовать за ним, чтобы услышать его формулу, пусть даже в коротком полете, пока мы не ударились о землю!

— Я вас не виню, — сказала Дагни; она смотрела на него с легкой тоской, чуть ли не с завистью. — Кроме того, вы выполнили условия контракта. Вы привели меня к тайне этого двигателя.

— Я и здесь буду дворником, — продолжил Дэниелс, радостно улыбаясь. — Мистер Маллиган сказал, что даст мне работу дворника на электростанции. А когда обучусь, повысит меня до электрика. Мидас Маллиган — великий человек, правда? Я хочу стать таким же к его возрасту. Хочу заколачивать деньги. Миллионы. Не меньше, чем он!

— Дэниелс! — Дагни рассмеялась, вспомнив спокойную сдержанность, четкую пунктуальность, строгую логику молодого ученого, которого

знала в другом мире, в другое время. — Что это с вами? Где вы? Понимаете, что говорите?

— Где я? Я *здесь*, мисс Таггерт — и *здесь* никто на меня не давит! Я живу, как хочу! Я стану лучшим, самым богатым электриком на свете! Стану…

— Сперва ты пойдешь в дом Маллигана, — сказал Голт, — и проспишь сутки, иначе близко не подпущу к электростанции.

— Да, сэр, — кротко ответил Дэниелс.

Когда они вышли из дома, солнце клонилось к вершинам сосен, описав круг над долиной блестящего гранита и сверкающего снега. Дагни внезапно показалось, что за этой границей света ничего нет, и она обрадовалась величавому покою, который можно обрести в конкретной, предельной реальности, в знании, что все твои заботы здесь, рядом, под рукой, и не надо ничего выдумывать. Ей захотелось поднять руки над крышами лежавшего внизу города, представляя себе, как кончики пальцев коснутся горных вершин. Но поднять рук Дагни не могла; одной она опиралась о трость, другой — о плечо Голта, и медленно, старательно ступая, шла к машине, словно ребенок, который только учится ходить.

Дагни сидела рядом с Голтом, когда он, огибая

город, вел машину к дому Мидаса. Его дом, самый большой в долине, стоял на гребне холма. В отличие от всех прочих он был двухэтажным и представлял собой причудливую комбинацию старинной крепости с толстыми гранитными стенами, разбитыми широкими открытыми террасами, и ультрасовременной виллы. Голт остановился, высадил Дэниелса и поехал дальше по извилистой, медленно поднимавшейся в горы дороге.

Мысль о несомненном превосходстве и состоятельности Маллигана, роскошная машина, лежавшие на руле руки Голта заставили Дагни подумать, богат ли сам Голт. Она взглянула на его одежду: серые брюки и белая рубашка казались сшитыми из простого, но долговечного материала; узкий кожаный ремень выглядел явно не новым; часы на запястье хоть и показывали точное время, были оправлены в простой корпус из нержавеющей стали… Единственный намек на роскошь — его волосы: пряди струились на ветру, словно жидкое золото или медь.

За поворотом дороги Дагни вдруг увидела зеленые пастбища, тянувшиеся к далекой ферме. Там паслись отары овец, щипали травку лошади; далее мелькали прямоугольники многочислен-

ных свинарников под широкими навесами… затем появился металлический ангар, каких на фермах не бывает. К нему быстро шел человек в яркой ковбойской рубашке. Голт остановил машину и помахал ему, но на вопросительный взгляд Дагни не ответил. И не случайно. Он подарил ей радость открытия: подбежавший к машине человек был Дуайт Сандерс.

— Здравствуйте, мисс Таггерт, — сказал он, улыбаясь.

Она молча посмотрела на закатанные рукава его рубашки, на грубые сапоги, на скот вокруг.

— Стало быть, это все, что осталось от вашей авиакомпании?

— Ну что вы. Есть превосходный моноплан, моя лучшая модель, который вы разбили там, на холмах.

— О, вы знаете об этом? Да, так это один из ваших… Замечательная машина. Но, боюсь, я слишком сильно повредила его.

— Вам следует заплатить за ремонт.

— Кажется, при посадке я распорола брюхо вашего красавца. Никто не сможет его починить.

— Я смогу, мисс Таггерт, поверьте.

Столь теплого, дружеского тона Дагни не слышала уже много лет и давно потеряла надежду

услышать его вновь. Она лишь горько усмехнулась:

— Каким образом? Здесь, на свиноферме?

— Ну что вы, — обиделся он. — На «*Сандерс Эркрафт*».

— И где же она?

— А где она, по-вашему, была? В Нью-Джерси, в том здании, которое кузен Тинки Холлоуэй купил у моих обанкротившихся преемников на средства от государственного займа и временного освобождения от налогов? В здании, где он построил шесть самолетов, так и не поднявшихся в небо, и восемь, что поднялись, но разбились, с сорока пассажирами каждый?

— Тогда… где же она теперь?

— Там, где я.

Он указал на другую сторону дороги. Сквозь вершины сосен Дагни увидела на дне долины прямоугольник аэродрома.

— У нас здесь несколько самолетов, и моя работа — содержать их в исправности, — сказал Сэндерс. — Я — фермер и аэродромный служащий. Прекрасно делаю ветчину и бекон сам, без помощи тех, у кого раньше их покупал. Но они делать без меня самолеты не могут, как, впрочем, и свою прежнюю ветчину.

— Но вы… вы ведь не конструировали самолеты.

— Да, не конструировал. И не строил тепловозы, как некогда вам обещал. Со времени нашей последней встречи я спроектировал и построил всего один новый трактор. Сам. Вручную. Необходимости в массовом производстве не возникло. Этот трактор сократил восьмичасовой рабочий день до четырехчасового там… — его рука по-королевски широким жестом вольного человека указала на другую сторону долины, где Дагни увидела зеленые террасы висячих садов на дальнем горном склоне, — и там, на фермах судьи Наррангасетта, — его рука медленно двинулась дальше, к длинному, плоскому зеленовато-золотистому участку у начала ущелья, затем к ярко-зеленой полосе. — И там, на пшеничных полях и табачных делянках Мидаса Маллигана, — рука поднялась выше, к гранитному склону с обширными полосами блестящей от влаги листвы, — и там, на плодовых плантациях Ричарда Халлея…

Еще долго после того, как его рука опустилась, Дагни молчала, а затем сказала лишь:

— Ясно.

— Теперь верите, что я смогу отремонтировать

ваш самолет? — спросил Сандерс.

— Верю. Но вы его видели?

— Конечно. Мидас немедленно вызвал двух врачей: Хендрикса для вас, меня для вашего самолета. Но работа эта будет дорого стоить.

— Сколько?

— Двести долларов.

— Двести долларов? — удивленно переспросила Дагни: цена показалась ей до смешного низкой.

— Золотом, мисс Таггерт.

— О!.. Хорошо, где можно купить золото?

— Нигде нельзя, — усмехнулся Голт.

Она резко повернулась и вызывающе взглянула на него:

— Как это *нельзя*?

— Нельзя там, откуда вы прибыли. Ваши законы это запрещают.

— А ваши нет?

— А наши — нет.

— Тогда продайте его мне. По своему валютному курсу. Назовите любую сумму — в моих деньгах.

— В каких деньгах? Вы неимущая, мисс Таггерт.

— Что???

Наследница Таггертов никак не ожидала услы-

шать подобное в свой адрес, в какой бы точке планеты она ни находилась.

— Увы, но так оно и есть. В этой долине вы неимущая. У вас миллионы долларов в акциях *«Таггерт Трансконтинентал»*, однако здесь вы не купите на них и фунта бекона.

— Ясно…

Голт улыбнулся и повернулся к Сандерсу:

— Принимайся за ремонт самолета. Когда-нибудь мисс Таггерт расплатится.

Он завел мотор и повел машину дальше. Дагни сидела, ни о чем не спрашивая; в горле стоял комок.

Полоса яркой бирюзы рассекла скалы впереди — дорога делала поворот; Дагни не сразу догадалась, что это озеро. Его недвижная поверхность смешивала голубизну небосвода и зелень поросших соснами гор в такой ясный, чистый цвет, что небо над ней казалось светло-серым. Между соснами несся бурный поток, шумно спадая по каменным уступам и исчезая в безмятежной воде. Неподалеку стояло маленькое гранитное строение.

Голт остановил машину, и тут же из открытой двери дома вышел человек в комбинезоне. Это был Дик Макнамара, некогда ее лучший

подрядчик.

— Здравствуйте, мисс Таггерт! — приветливо сказал он. — Рад видеть, что вы не очень пострадали.

Дагни молча кивнула — это было словно приветствие былой потере и безрадостному прошлому, унылому вечеру и выражению отчаяния на лице Эдди Уиллерса, сообщающего о том, что Макнамара ушел. «Пострадала? — подумала она. — Да, но не в этой авиакатастрофе, а в тот вечер, в пустом кабинете…» А вслух произнесла:

— Что вы здесь делаете? Ради чего предали меня в самый тяжелый момент?

Макнамара с улыбкой указал на каменное строение и скалистый обрыв, по которому, исчезая в подлеске, шла водопроводная труба.

— Я занимаюсь коммуникациями. Забочусь о водоснабжении, линиях электропередач и телефонной сети.

— В одиночку?

— Раньше — да. Но за прошлый год нас тут стало так много, что пришлось нанять троих помощников.

— Кого? Откуда?

— Ну, один — профессор экономики, он не мог найти работу, так как учил, что невозможно

потреблять больше, чем произведено; другой — профессор истории, не мог найти работу, так как учил, что обитатели трущоб вовсе не те люди, что создали эту страну; третий — профессор психологии, не мог найти работу, так как учил, что люди способны мыслить.

— Они работают у вас водопроводчиками и монтерами?

— Вас удивило бы, как хорошо они справляются.

— А кому остались наши колледжи?

— Какая разница? — Макнамара фыркнул. — Когда я предал вас, мисс Таггерт? Меньше трех лет назад, верно? Я отказался строить ветку для вашей «*Линии Джона Голта*». Где теперь ваша линия? А мои линии увеличились за это время от двух миль, проложенных Маллиганом, до сотен миль труб и проводов по всей этой долине.

Он увидел на лице Дагни выражение невольного восторга, высокой оценки профессионала; улыбнулся, взглянул мельком на ее спутника и негромко добавил:

— Знаете, мисс Таггерт, если уж говорить о «*Линии Джона Голта*», может быть, я-то как раз был ей верен, а предали ее вы.

Она посмотрела на Голта. Тот наблюдал за ней,

но по его лицу прочесть ничего было нельзя.

Когда они ехали по берегу озера, Дагни спросила:

— Вы нарочно выбрали этот маршрут, да? Показываете мне всех людей, которых… — она умолкла, ей очень не хотелось говорить это, и она закончила иначе: — …которых я потеряла?

— Я показываю вам всех тех, кого увел от вас, — спокойно ответил он.

«Вот откуда, — подумала Дагни, — этот отпечаток безвинности на его лице: он догадался и произнес те слова, от которых я хотела его избавить, отверг мою попытку смягчить фразу, как отверг и все то, что не основано на его ценностях, и полный гордой уверенности в своей нерушимой правоте похвастался тем, в чем я хотела его обвинить».

Дагни увидела впереди деревянный причал. На залитом солнцем пирсе лежала женщина, наблюдавшая за удочками. Услышав шум машины, она подняла взгляд, потом одним поспешным движением — быть может, слишком поспешным — вскочила на ноги и побежала к дороге. Она была большеглазой, с темными растрепанными волосами, в закатанных выше колена брюках. Голт помахал ей.

— Привет, Джон! Когда вернулся? — крикнула она.

— Сегодня утром, — ответил он с улыбкой и поехал дальше.

Дагни резко обернулась и увидела, каким взглядом эта женщина провожала Голта. И хотя в ее глазах была спокойная грусть уже пережитой неудачи, Дагни ощутила то, чего никогда не знала раньше: укол ревности.

— Кто это? — спросила она.

— Наша лучшая рыбачка. Поставляет рыбу на продовольственный рынок Хэммонда.

— А еще кто?

— Вы заметили, что это «еще кто» есть здесь у каждого из нас? Она писательница. *Там* ее издавать не будут. Она считает, что когда человек имеет дело со словами, то имеет дело с разумом.

Машина свернула на узкую дорогу, круто уходившую вверх, в чащу кустов и сосен. Дагни поняла, чего ожидать, когда увидела прибитый к дереву дорожный указатель ручной работы с надписью «Проезд *Buena Esperanza*»[2].

То был не проезд, то была стена слоистого камня со сложной системой труб, насосов, вентилей

---

[2] Примечания: 2
Добрая надежда (исп.).

и клапанов, поднимающаяся, как лоза, по узким выступам, а на самом верху высился громадный деревянный символ — гордая сила букв, соединившихся в двух словах: «*Уайэтт Ойл*».

Нефть текла блестящей струей из трубы в цистерну у основания стены — единственное свидетельство громадной тайной работы внутри камня, итога бесперебойного функционирования всех сложных механизмов; но эти механизмы не походили на устройство буровой вышки, и Дагни догадалась, что смотрит на секрет «Проезда *Buena Esperanza*», поняла, что нефть добывается из недр каким-то способом, который до сих пор люди считали невозможным.

Эллис Уайэтт стоял на уступе, глядя на застекленную шкалу врезанного в камень датчика. Увидев остановившуюся внизу машину, он крикнул:

— Привет, Дагни! Сейчас спущусь!

Вместе с ним работали еще двое: рослый мускулистый мужчина рядом с насосом посреди стены и парень возле цистерны на земле. У парня были белокурые волосы и необычайно правильные черты. Дагни была уверена, что это лицо ей знакомо, но не могла вспомнить, где его видела. Парень поймал ее недоуменный взгляд,

усмехнулся и, словно желая помочь, насвистал негромко, почти неслышно, первые ноты Пятого концерта Ричарда Халлея. Это был тот юный кондуктор с «*Кометы*».

Она засмеялась:

— Это все-таки был Пятый концерт, верно?

— Конечно, — ответил парень. — Но разве я сказал бы об этом штрейкбрехеру?

— Кому-кому?

— За что я тебе плачу деньги? — спросил, подходя, Эллис Уайэтт; парень со смешком бросился к оставленному на минуту рычагу и снова взялся за него. — Это мисс Таггерт не могла уволить тебя за безделье. Я могу.

— Мисс Таггерт, это одна из причин того, почему я ушел с железной дороги, — сказал парень.

— Вы знали, что я похитил его у вас? — спросил Уайэтт. — *Там* он был лучшим тормозным кондуктором, а здесь, у меня, — лучший механик, но никто из нас не может удержать его надолго.

— А кто может?

— Ричард Халлей. Музыка. Он лучший ученик Халлея.

Дагни улыбнулась.

— Вижу, здесь на самую дрянную работу нанимают только аристократов.

— Они все аристократы, это верно, — сказал Уайэтт, — потому что знают: не существует дрянной работы, существуют только дрянные люди, которые не хотят за нее браться.

Мужчина наверху с любопытством прислушивался. Дагни подняла взгляд; он походил на водителя грузовика, поэтому она спросила:

— Кем вы были *там*? Наверно, профессором сравнительной филологии?

— Нет, мэм, — ответил он. — Водителем грузовика. — И добавил: — Но не хотел навсегда им оставаться.

Эллис Уайэтт оглядывал свои владения с какой-то мальчишеской гордостью и с жаждой признания: это были гордость хозяина на официальном приеме в гостиной его дома и жажда признания художника на открытии его персональной выставки. Дагни улыбнулась и спросила, указывая на механизмы:

— Сланцевая нефть?

— Угу.

— Это тот самый процесс, что вы изобрели, когда были там… на земле? — невольно вырвалось у нее, и она смутилась.

Эллис засмеялся.

— Когда был в аду. На земле я сейчас.

— И сколько добываете?

— Двести баррелей в день.

В голосе Дагни снова появилась печальная нотка:

— Это тот процесс, с помощью которого вы некогда собирались заполнять пять составов цистерн в день.

— Дагни, — дружески улыбнулся Эллис, — один галлон нефти здесь стоит больше, чем целый состав там, в аду, потому что она *моя*, вся до последней капли, и расходовать ее я буду только на себя.

Он поднял испачканную руку, демонстрируя жирные пятна, как сокровище, и черная капля на кончике его пальца засверкала, словно драгоценный камень.

— Моя, — повторил он. — Неужели они довели вас до того, что вы забыли значение этого слова, его силу? Так позвольте себе выучить его снова.

— Вы прячетесь в глуши, — холодно сказала Дагни, — и добываете в день двести баррелей нефти, хотя могли бы залить ею весь мир.

— Зачем? Чтобы кормить грабителей?

— Нет! Чтобы заработать состояние, которого вы заслуживаете.

— Но я теперь много богаче, чем был. Что та-

кое богатство, как не средство жить достойно? Сделать это можно двумя способами: добывать либо больше, либо быстрее. И я делаю вот что: я произвожу время.

— Как это понять?

— Я добываю столько нефти, сколько мне нужно. Я стараюсь улучшать свои методы, и каждый сбереженный мною час прибавляется к моей жизни. Раньше на заполнение этой цистерны у меня уходило пять часов. Теперь три. Те два, которые я сберег, — мои. Они бесценны, я как бы отдаляюсь от могилы на два часа из каждых пяти, имеющихся в моем распоряжении. Эти два часа, сэкономленные на одном деле, можно употребить на другое — два часа, чтобы работать, расти, двигаться вперед. Я увеличиваю свой срочный вклад. Найдется ли во внешнем мире хоть один сейф, способный его сберечь?

— Но где у вас пространство, чтобы двигаться вперед? Где ваш рынок?

Эллис усмехнулся:

— Рынок? Я работаю сейчас ради пользы, а не для доходов: ради *своей* пользы, а не для доходов грабителей. Мой рынок — те, что продлевают мою жизнь, а не сокращают ее. Только те, что производят, а не потребляют, могут быть

чьим бы то ни было рынком. Я имею дело с теми, кто дает жизнь, а не с каннибалами. Если добыча нефти требует от меня меньших усилий, я меньше требую на свои нужды с тех людей, которым сбываю ее. Каждым галлоном моей нефти, который они сжигают, я добавляю дополнительный отрезок времени к их жизням. И поскольку это такие же люди, как я, они все время изобретают более эффективные, а значит, быстрые способы производить то, что производят, поэтому каждый из них добавляет минуту, час или день к моей жизни хлебом, который я приобретаю у них, одеждой, древесиной, металлом, — он взглянул на Голта, — добавляют ежемесячно год тем электричеством, которое я покупаю. Вот это наш рынок, и вот так он работает на нас — но во внешнем мире он работает иначе. В какой дренаж сливают там наши дни, наши жизни, наши силы! В какую бездонную, лишенную будущего канализацию неоплаченного, бездарно потерянного времени! Здесь мы продаем достижения, а не провалы, ценности, а не нужды. Мы свободны друг от друга и тем не менее развиваемся все вместе. Богатство, Дагни? Какое еще нужно богатство, кроме того, чтобы быть хозяином своей жизни и тратить ее на рост? Расти, расширяться

должно все живое. Оно не может застыть. Нужно либо расти, либо сгинуть. Смотрите, — Эллис указал на растение, пробивающееся вверх из-под обломка скалы: длинный, узловатый стебель, искореженный непосильной борьбой, с вислыми, пожелтевшими остатками нераспустившихся листьев и единственным зеленым побегом, пробившимся к солнцу в отчаянии последнего, решительного рывка. — Вот что делают с нами в аду. Можете представить, чтобы я смирился с чем-то подобным?

— Нет, — прошептала она.

— А он? — Эллис кивнул на Голта.

— Боже правый, нет!

— Тогда не удивляйтесь ничему из того, что увидите в долине.

Когда они поехали дальше, Дагни хранила молчание. Голт тоже не произнес ни слова.

На дальнем горном склоне, среди густой зелени леса, одна высокая сосна внезапно стала крениться, описывая дугу, словно стрелка часов, потом резко исчезла из виду. Дагни поняла, что дерево свалено человеком.

— Кто здесь лесоруб? — спросила она.

— Тед Нильсен.

Среди пологих холмов дорога стала ровнее,

не такой извилистой. Дагни увидела ржаво-коричневый склон с двумя прямоугольниками зелени разных оттенков: темной, пыльной картофельной ботвы и светлой, с серебристым отливом, капусты. Человек в красной рубашке вел маленький трактор с культиватором.

— Кто этот капустный магнат? — спросила она.

— Роджер Марш.

Дагни закрыла глаза. Подумала о бурьяне, взбирающемся по ступеням закрытого завода, скрывшем его блестящий кафельный фасад всего в нескольких сотнях миль от этих гор.

Дорога спускалась ко дну долины. Дагни увидела прямо под собой крыши домов городка и маленькое, блестящее изображение знака доллара вдали. Голт остановил машину перед первым строением на высившемся над городом уступе, кирпичным зданием с легким красноватым маревом, струившимся из массивной дымовой трубы. С близким к потрясению чувством Дагни увидела над дверью до боли знакомую вывеску: «*Стоктон Фаундри*».

Когда она, опираясь на трость, вошла с солнечного света в сырой полумрак здания, то, что она испытала, было отчасти дежавю, отчасти

ностальгией. Это был старый добрый промышленный Восток, от которого, как ей уже стало казаться, ее отделяли столетия. Дагни застыла, очарованная столь привычным и столь приятным зрелищем поднимающихся к стальным балкам потолка красноватых волн, летящих из невидимых источников искр, внезапно вспыхивающих, пронизывающих густой туман, языков пламени, песчаных изложниц, светящихся белым металлом. Стен здания в тумане видно не было, все габариты скрадывались. И на миг Дагни представила себя посреди громадного литейного цеха в Стоктоне, штат Колорадо… это был «*Нильсен Моторс*»… а может, и «*Риарден Стил*».

— Привет, Дагни!

Из тумана к ней вышел улыбающийся Эндрю Стоктон; она увидела протянутую с гордой уверенностью, черную от сажи ладонь, словно олицетворявшую все увиденное вокруг.

Дагни пожала руку.

— Здравствуйте, — ответила она, не зная, приветствует прошлое или будущее. Потом, покачав головой, добавила: — Как получилось, что вы здесь не сажаете картошку и не шьете обувь? Вы почему-то занимаетесь своим делом.

— А, обувь шьет Кэлвин Этвуд из нью-йорк-

ской компании «*Этвуд Лайт энд Пауэр*». Кроме того, мое дело — одно из древнейших и повсюду до зарезу необходимое. Однако все не просто так. Я за него боролся. Пришлось сперва разорить конкурента.

— Что?

Кэлвин усмехнулся и указал на застекленную дверь залитой солнцем комнаты.

— Вот он, мой разоренный конкурент.

Сквозь стекло Дагни увидела согнувшегося над длинным столом молодого человека: он трудился над сложным чертежом изложницы нового типа. У него были изящные, сильные пальцы пианиста и решительное лицо хирурга, сосредоточенного на жизненно важной операции.

— Он скульптор, — сказал Стоктон. — Когда я приехал сюда, у него с партнером были кузница и ремонтная мастерская. Я открыл настоящий литейный цех и отнял у них всех клиентов. Этот парень не мог делать того, что умею я, да и для него это было лишь побочным занятием: его основное дело — скульптура, поэтому он стал работать у меня. Теперь он получает больше денег даже за укороченный рабочий день, чем в своей мастерской. Его партнер — химик, и он занялся производством удобрений, от кото-

рых урожай некоторых культур повысился здесь вдвое. В частности, картофеля.

— Значит, кто-то может вытеснить из дела и вас?

— Конечно. В любое время. Я знаю человека, который смог бы и, возможно, сделает это, когда переберется сюда. Но, черт возьми, я бы согласился работать у него хоть дворником. Он бы пронесся ракетой по этой долине. Удвоил, утроил бы все то, чем я занимаюсь.

— И кто же это?

— Хэнк Риарден.

— Да… — прошептала Дагни. — Да, конечно…

Она и сама удивилась, почему сказала это с такой уверенностью. Она ведь прекрасно знала, что, с одной стороны, присутствие Хэнка Риардена в этой долине невозможно, а с другой — что это *его* место, именно его, это мечта его юности, всей его жизни, это земля, к которой он всегда стремился, цель его мучительной битвы… Ей казалось, спирали окрашенного пламенем тумана ломают время, втягивая его в какой-то дикий водоворот; в сознании ее проплывала смутная мысль, словно некое затертое нравоучение, которому все равно никто никогда не следовал: «Обладать вечной юностью значит

достичь изначальной мечты», а в ушах зазвучали слова того бродяги в хвостовом вагоне «*Кометы*» о том, что Джон Голт нашел источник юности, вечной жизни, который, подобно огню Прометея, хотел дать людям. Только он не вернулся… так как понял, что это просто невозможно.

В гуще тумана взлетел сноп искр, и Дагни увидела широкую спину мастера, тот широким жестом подавал кому-то какой-то знак, руководя одному ему ведомым процессом. Он повернул голову, она увидела его профиль, и у нее перехватило дыхание.

Стоктон заметил это, усмехнулся и крикнул в туман:

— Эй, Кен! Иди сюда! Здесь твоя старая приятельница!

Дагни смотрела на подходившего Кена Данаггера. Крупный промышленник, которого она помнила в безупречном фраке на самых громких приемах, теперь был в грязном комбинезоне.

— Привет, мисс Таггерт. Я же говорил, что скоро мы снова встретимся.

Она кивнула, словно соглашаясь с его словами и в то же время приветствуя его, но ей пришлось на миг крепко опереться на трость при воспоминании об их последней встрече: мучительный час

ожидания в приемной, потом по-детски просветленное лицо за письменным столом и звяканье стекла в двери, закрывшейся за незнакомцем.

Миг этот был столь кратким, что все могли расценить ее кивок лишь как приветствие, но, подняв голову, она взглянула на Голта и увидела: он смотрит на нее так, словно понимает, что с ней творится, видит, что она *знает* — это он вышел в тот день из кабинета Данаггера. Больше его лицо не выражало ничего: на нем лежал отпечаток почтительного смирения, с которым человек констатирует тот непреложный факт, что истина есть истина, а есть А, по аристотелевскому закону тождества.

— Я не ожидала этого, — негромко сказала она Данаггеру. — Не ожидала увидеть вас так скоро.

Данаггер смотрел на нее со снисходительной улыбкой, словно она когда-то была подающим надежды ребенком, которого он обнаружил, выпестовал и теперь любуется результатами.

— Знаю, — сказал он. — Но почему вы так потрясены?

— Я… это… это просто нелепо! — она чуть ли не с возмущением указала на его комбинезон.

— Чем он вам не нравится?

— Значит, это конец вашего пути?

— Нет, черт возьми! Начало.

— И чем собираетесь заниматься?

— Горным делом. Только добывать не уголь. Железную руду.

— Где?

Он указал на горы.

— Здесь. Знаете вы хоть один случай, чтобы Мидас Маллиган сделал неудачное вложение капитала? Вас поразит, что можно обнаружить в этих скалах, если умеешь искать. Вот этим я и занимаюсь — ищу.

— А если не найдете свою вожделенную руду?

Данаггер пожал плечами:

— Есть и другие дела. Мне всегда не хватало на них времени.

Дагни с любопытством взглянула на Стоктона.

— Не готовите ли вы себе самого опасного конкурента?

— Я беру на работу только таких людей. Дагни, не слишком ли долго вы жили среди грабителей? Не стали ли думать, что способности одного человека представляют собой угрозу другому?

— Нет-нет! Но я считала, что почти все, кроме меня, конечно, думают именно так.

— Каждый, кто боится нанять самого способного работника, какого только может найти, —

жалкий тип, занимающийся не своим делом. Он хуже преступника. Для меня отвратителен любой работодатель, который отвергает людей лишь потому, что они лучшие и могут когда-нибудь стать конкурентами. Я всегда считал так и… но, послушайте, чему вы улыбаетесь?

Дагни действительно слушала его с восторженной улыбкой.

— Это так поразительно слышать… — сказала она. — Ведь вы правы, совершенно и во всем!

— А разве можно считать иначе?

Она негромко засмеялась.

— Знаете, в детстве я думала, что так должен считать каждый честный бизнесмен.

— А потом?

— А потом научилась не ожидать этого.

— Но это правильно, так ведь?

— Я научилась не ожидать правильного.

— Но ведь это подсказывает элементарный здравый смысл.

— Я перестала ожидать здравого смысла.

— Вот этого делать нельзя, — покачал головой Кен Данаггер.

Они вернулись в машину и пустились в путь по последним, убегающим вниз поворотам дороги. Дагни повернулась к Голту; он тоже по-

вернулся к ней, словно ждал этого.

— Это вы были в тот день в кабинете Данаггера, ведь так? — спросила она.

— Да.

— И, стало быть, знали, что я жду в приемной?

— Да.

— Знали, каково ждать за закрытой дверью?

Дагни не могла понять, что означал брошенный на нее взгляд. Не жалость, потому что жалеть ее было вроде бы не за что, но и тем более не сочувствие… а скорее любопытство.

— Да, — ответил он спокойно, почти беспечно.

Первый магазин, который Дагни увидела на единственной улице городка, неожиданно напоминал театр на открытом воздухе: каркасное сооружение без фронтона, с яркими декорациями, присущими музыкальной комедии, — разноцветными квадратами, зелеными кругами, золотистыми и красными треугольниками, представлявшими собой ящики помидоров, корзинки салата-латука, пирамиды апельсинов; сзади блестели на солнце металлические контейнеры. На маркизе сияла надпись: «*Продовольственный рынок Хэммонда*». Человек аристократической внешности в одной рубашке, со строгим профилем и седыми висками, взвешивал кусок масла

стоявшей у прилавка привлекательной молодой женщине; поза ее была непринужденной, как у танцовщицы, юбка слегка развевалась на ветру, отчего походила на бальный наряд. Дагни невольно улыбнулась.

За прилавком распоряжался Лоуренс Хэммонд.

Магазины размещались в маленьких одноэтажных строениях, и когда они проезжали мимо, Дагни видела на вывесках знакомые фамилии, словно заголовки на страницах книги: «*Универмаг Маллигана*», «*Кожгалантерея Этвуд*», «*Пиломатериалы Нильсена*», потом — символ доллара над небольшой фабрикой с кирпичными стенами, где красовалась надпись: «*Табачная компания Маллигана*».

— Мидас Маллиган — единственный владелец? — спросила Дагни.

— Нет. Он создал эту компанию совместно с доктором Экстоном, — ответил Голт.

На улице мелькали немногочисленные прохожие, большей частью мужчины, шли они быстро, с деловитым видом, словно по особым поручениям. При виде машины они останавливались, махали рукой Голту и смотрели на Дагни с любопытством, но без удивления.

— Давно меня ждали здесь? — спросила Дагни.

— До сих пор ждут, — последовал ответ.

На обочине дороги она увидела строение из стеклянных блоков, соединенных деревянным каркасом, но на миг ей показалось, что это не здание, а рама для портрета — портрета женщины, высокой, хрупкой, с белокурыми волосами и удивительно красивым лицом, но немного размытым, как бы смазанным, завуалированным расстоянием, словно художник сумел лишь намекнуть, но не передал во всем совершенстве. Потом женщина повела головой, и Дагни вдруг поняла, что там, внутри, за столиками, сидят люди, что это кафе, что женщина стоит за стойкой, что это Кэй Ладлоу, кинозвезда, которую, единожды увидев, уже никогда не забудешь; звезда, переставшая сниматься и исчезнувшая пять лет назад, а ей на смену экран заполонили девицы с почти одинаковыми именами и почти одинаковыми лицами. Но хоть и потрясенная увиденным, Дагни невольно подумала о том, какие теперь снимают фильмы, и поняла, что для Кэй достойнее быть здесь, привлекая своей красотой посетителей в это стеклянное кафе, чем сниматься в картинах, возвеличивающих обыденность и порочащих величие былого кинематографа.

Позади кафе находилось невысокое приземистое здание из нарочито грубо обработанного гранита, основательное, крепкое, аккуратно сложенное, с четкими, как складки на отутюженной одежде, прямыми линиями, но Дагни вспомнился как мимолетное видение небоскреб, вознесшийся среди клубов чикагского тумана — небоскреб, на котором некогда красовалась гигантская надпись, ныне куда более скромная, перекочевавшая на служившую вывеской сосновую доску: «*Банк Маллигана*».

Проезжая мимо, Голт замедлил ход, словно выражая тем самым свое почтение.

Затем появилось небольшое кирпичное строение с надписью «*Монетный двор Маллигана*».

— Монетный двор? — удивилась Дагни. — Зачем он Мидасу?

Голт молча полез в карман и опустил ей в ладонь две монетки. Это были миниатюрные диски сверкающего золота, величиной меньше цента; таких не было в обращении со времен Ната Таггерта: на одной стороне было изображение головы статуи Свободы, на другой — надпись: «Соединенные Штаты Америки. Один доллар»; даты говорили о том, что монетам уже два года.

— Здесь мы пользуемся этими деньгами, — ска-

зал Голт. — Их чеканит Мидас Маллиган.

— Но… кто дал ему такие полномочия?

— Это указано на монетах. С обеих сторон.

— А центы у вас какие?

— Маллиган чеканит и мелкую монету, из серебра. Другой валюты в этой долине мы не признаем. Здесь в ходу только реальная ценность.

Дагни еще раз взглянула на монетки.

— Они похожи… похожи на то, что было во времена моих предков.

Голт указал на долину:

— Точно. А разве это не так?

Дагни сидела, разглядывая тонкие, изящные, почти невесомые кружки золота на ладони, сознавая, что на них взросла когда-то вся могучая корпорация Таггертов, что они были базой, фундаментом, державшим на себе краеугольные камни — своды вокзалов Таггертов, шпалы дорог Таггертов, мостов Таггертов, небоскреба Таггертов… Она покачала головой и сунула монетки обратно в руку Голта.

— Вы явно не стараетесь сделать эту поездку приятной для меня, — сказала она негромко.

— Я делаю ее как можно неприятнее.

— Почему бы не обойтись словами? Почему вы просто не сказали все, что мне нужно узнать?

Голт указал на город, на дорогу позади них:

— А что, разве это не красноречивей любых слов?

Они продолжали путь молча. Через некоторое время Дагни сухо, деловито осведомилась:

— Какое состояние Маллиган нажил в этой долине?

Он указал вперед и коротко ответил:

— Судите сами.

Дорога, виляя между ямами и ухабами, вела теперь к жилым домам. Они не образовывали улицу, а были беспорядочно разбросаны по возвышенностям и низинам — маленькие, простые коттеджи, построенные из местных материалов, главным образом, сосны и гранита, однако с щедрой изобретательностью и строгой экономией сил. Каждый дом имел собственный облик, двух похожих не было, общим у них была только печать разума, понявшего проблему и решившего ее. Голт время от времени указывал на жилища, называя известные Дагни фамилии владельцев, и для нее это звучало сводкой котировок самой богатой фондовой биржи мира или списком знаменитостей: Кен Данаггер… Тед Нильсен… Лоуренс Хэммонд… Роджер Марш… Эллис Уайэтт… Оуэн Келлог… доктор Экстон…

Дом доктора Экстона был последним, это был маленький коттедж с большой верандой на вершине холмика, прямо за которым высился неприступный склон горы. Дорога бежала мимо и извилисто поднималась, сужаясь до тропинки между стенами старых сосен; их прямые, высокие стволы окаймляли ее мрачной колоннадой, ветви сходились вверху, погружая все вокруг в тишину и полумрак. На узкой полоске земли следов шин не было, она казалась заброшенной, забытой; несколько минут пути — и ряд поворотов дороги словно бы унесли машину за много миль от человеческого жилья. Ничто не нарушало гнетущего сумрака, кроме редких солнечных лучей, пробивавшихся между стволами в глубине леса.

Внезапно возникший в самом конце тропы дом ошеломил Дагни, словно звук выстрела: построенный в глуши, отрезанный от всего внешнего мира, он выглядел тайным прибежищем убежденного отшельника или обителью неизбывного горя. Это был самый скромный из всех домов долины: бревенчатая хижина с темными следами слез многочисленных дождей на стенах, лишь его большие окна непогода, казалось, не тронула, и теперь они встречали путников со спокойной, сияющей, равнодушной безмятежностью стекла.

— Чей это… Ох! — Дагни затаила дыхание и резко отвернулась. Над дверью, освещенный лучом солнца, висел, утративший блеск своих узоров, истертый ветрами времен серебряный герб Себастьяна д'Анкония.

Голт словно нарочно, в ответ на ее невольное движение, остановил машину. Какой-то миг они смотрели друг другу в глаза: в ее взгляде застыл вопрос, в его — приказ; ее лицо отражало готовность понять, его — непроницаемую суровость. Дагни догадывалась о цели Голта, но не о его мотиве. Она повиновалась. Вышла, опираясь на трость, из машины и встала лицом к дому.

Дагни смотрела на серебряный герб, проделавший путь от мраморного дворца в Испании до лачуги в Андах, а оттуда — до бревенчатого домика в Колорадо: герб людей, которые не сдаются. Дверь была заперта, солнце не проникало в темноту за окнами, ветви сосен нависали над крышей, словно руки, призванные защитить, простертые в торжественном благословении. Тишина, лишь изредка нарушаемая треском сломанной веточки или звуком падающей капли где-то в лесу, казалось, оберегала все самое сокровенное, сокрытое здесь, надежно затаившееся и никому неведомое. Дагни, окончательно сми-

рившись со всем, вспомнила слова Франсиско: «*Посмотрим, кто из нас окажется более верен своим предкам: ты — Нату Таггерту или я — Себастьяну д'Анкония... Дагни! Помоги мне остаться. Отказаться. Хоть он и прав!..*»

Она повернулась к Голту, понимая, что ничем не смогла бы помочь, что противостоять этому человеку просто невозможно. Голт сидел за рулем; он не вышел из машины следом за ней, даже не попытался помочь, словно хотел, чтобы она почтила прошлое, и уважал торжественность момента. Дагни заметила, он даже не изменил позы: рука его по-прежнему лежала на руле, согнутая под тем же углом; пальцы застыли в том же положении. Глаза его были устремлены на нее, но прочесть в них она смогла только пристальное, даже отчасти настороженное внимание.

Когда Дагни снова села рядом с ним, Голт сказал:

— Он был первым, кого я увел от вас.

Дагни, не скрывая вызова, ледяным тоном спросила:

— Что вы можете об этом *знать*?

— С его слов — ничего. Лишь то, о чем я догадался по тону голоса, когда он говорил о вас.

Дагни кивнула. В чуть искусственном спокой-

ствии его голоса она уловила нотку сочувствия.

Голт включил зажигание; рев мотора разрушил таинство тишины, и они поехали дальше. Дорога чуть расширилась, выходя к морю солнечного света.

Когда они выехали на опушку, Дагни заметила среди ветвей блеск проводов. Возле склона холма, на каменистом откосе, стояла небольшая постройка — простой гранитный куб величиной с сарай для инструментов, без окон и прочих отверстий, с дверью из полированной нержавеющей стали и сложной системой антенн, торчащих из крыши в разные стороны. Голт вел машину, даже не взглянув в его сторону, но Дагни с внезапным волнением спросила:

— Что это?

Он улыбнулся:

— Электростанция.

— О, пожалуйста, остановите!

Голт повиновался, подогнав машину задним ходом к подножию холма. Дагни сделала несколько шагов по каменистому склону и остановилась, словно подниматься больше не было нужды, и застыла с тем же чувством, что и в тот миг, когда пришла в себя на дне долины, — миг, сведший воедино начало и конечную цель ее жизни.

Дагни долго стояла, глядя на постройку; сознание ее сузилось до одной конкретной точки, но она всегда знала, что чувство представляет собой некую сумму, выведенную счетной машиной разума, и ее теперешние ощущения были именно такой суммой мыслей, облекать которые в слова не было никакой нужды. Если она держалась за Квентина Дэниелса без малейшей надежды использовать этот двигатель, то лишь ради уверенности в том, что изобретение не исчезнет бесследно; если, словно ныряльщик с грузом, она погружалась в океан непроходимой серости под давлением людей с рыбьими глазами, наждачными голосами, путаными доводами, кривыми душами и холеными руками бездельников, то держалась, словно за спасательный трос и кислородную маску, за мысль о высшем достижении человеческого разума; если при одном виде остатков двигателя доктор Стэдлер, чуть не задохнувшись от восторга, в последний раз стал тем, кем был когда-то, это и явилось подпиткой, горючим ее жизни; если искала, послушная мечтам юности, некий идеал — то вот, он был перед ней, достигнутый и завершенный, продукт гениального разума, обретший форму в сети проводов, мирно потрескивающих под летним

небом, втягивающий несметную энергию пространства внутрь крохотного каменного домика.

Дагни думала об установке, размерами вдвое меньшей товарного вагона, заменяющей электростанции всей страны, эти бездонные пропасти, пожирающие гигантское количество металла, топлива и сил; о токе, идущем от этого домика, снимающем унции, фунты, тонны нагрузок с плеч тех, кто станет производить электроэнергию или пользоваться ею, добавляющем часы, дни, годы свободного времени к их жизням, будь то возможность на миг оторваться от своей работы и взглянуть на солнце, дополнительная пачка сигарет, купленная на деньги, сэкономленные на счете за электричество, час, высвобожденный из рабочего дня на всех использующих электричество заводах, или месячное путешествие по всему миру по билету, оплаченному единственным рабочим днем, на поезде с таким двигателем. И все эти нагрузки, напряжение, время замещены и оплачены силой одного разума, знавшего, как заставить соединение проводов следовать соединениям его мыслей. Но Дагни понимала и то, что двигатели, заводы и поезда не самоцель, их единственное назначение — дарить человеку радость, и они

этому служат. Она не уставала восхищаться достижением человека, породившего новую энергию, представлявшего себе землю местом радости, а не гибельного, самоубийственного труда, но знавшего, что разумный труд по достижению этого счастья становится целью, мотивом и смыслом жизни.

Дверь постройки представляла собой гладкий лист нержавеющей стали с синеватым отливом, мягко блестевшей под солнцем. Над ней в граните была высечена надпись: «КЛЯНУСЬ СВОЕЙ ЖИЗНЬЮ и ЛЮБОВЬЮ К НЕЙ, ЧТО НИКОГДА НЕ БУДУ ЖИТЬ ДЛЯ КОГО-ТО ДРУГОГО и НЕ ПОПРОШУ КОГО-ТО ДРУГОГО ЖИТЬ ДЛЯ МЕНЯ».

Дагни повернулась к Голту. Тот внезапно оказался рядом; он все-таки вышел из машины, последовал за ней, по-детски не желая пропустить момент своего торжества. Она смотрела на изобретателя чудесного двигателя, но видела перед собой только фигуру рабочего на своем месте за своим делом; отметила непринужденность, независимость его позы, свободную манеру держаться, превосходное владение телом — стройным телом в простой одежде: тонкой рубашке, легких брюках, стянутых ремнем вокруг

юношеской талии… Его длинные волосы с металлическим блеском трепал легкий ветерок. Дагни смотрела на него теми же глазами, что и на его электростанцию.

Потом она поняла, что первые две фразы, которые они сказали друг другу, все еще стоят между ними, наполненные прежним смыслом, и она принимает это, хранит в памяти, не позволяя себе забыть. Вслед за этим она внезапно остро осознала, что они одни… Факт, не допускающий никаких излишних толкований, но он только подчеркивал смысл того, о чем вслух упомянуто не было. Они стояли здесь, в глухом лесу, у подножия похожего на древний храм строения — и она отлично понимала, какой именно ритуал подошел бы времени и месту…

У Дагни вдруг сдавило горло, голова ее чуть запрокинулась, она едва почувствовала пробежавший по волосам холодок ветерка, но ей казалось, что тело ее покоится в неосязаемом пространстве, опираясь лишь о воздух.

Он стоял, пристально наблюдая за ней; лицо его казалось спокойным, но глаза на какой-то миг сощурились, словно от яркого света. То было нечто, подобное созвучию трех мгновений: это стало вторым, а в следующее она ощутила

жестокую радость от его напряжения, его борьбы. Оказалось, ему даже труднее, чем ей… Потом он отвернулся и поднял взгляд к надписи на стене.

Она чуть помолчала, как поступает обычно человек милосердный и снисходительный, дающий возможность противнику восстановить силы. Затем тоже посмотрела на надпись — довольно холодно, даже чуть высокомерно спросила:

— Что это?

— Клятва, которую в этой долине принесли все, кроме вас.

Она передернула плечами:

— Это и так всегда было законом моей жизни.

— Знаю.

— Но не думаю, что вы живете по этому закону.

— Тогда вам предстоит узнать, кто из нас ошибается.

Дагни уверенно подошла к стальной двери и, не спрашивая разрешения, попыталась повернуть шарообразную ручку. Но крепко запертая дверь казалась влитой в камень.

— Не пытайтесь открыть ее, мисс Таггерт, — Голт двинулся к ней, ступая чуть слышно, словно давая ей понять: он знает, она прислушивается к каждому его шагу. — Дверь не поддастся ника-

кой физической силе. Открывается она только мыслью. Если попытаетесь вскрыть ее самой лучшей на свете взрывчаткой, оборудование внутри развалится задолго до того, как вам удастся войти. Но поймите же, наконец, самое главное — и секрет двигателя откроется вам, как и… — голос его впервые прервался, — …как и все другие секреты, которые вы захотите узнать. — Он поглядел на нее, словно полностью раскрываясь перед ней, потом спокойно, хотя и немного странно, улыбнулся какой-то своей мысли и добавил: — Я покажу вам, как это делается.

Голт отошел назад. Затем, застыв и подняв лицо к высеченным в камне словам, повторил их медленно, ровно, будто снова давая клятву. В голосе его не было волнения, не было ничего, кроме ясной размеренности звуков, произносимых с полным осознанием их смысла, но Дагни понимала, что присутствует при самом торжественном событии в своей жизни: она увидела открытую душу человека и ту цену, которую ей придется за это заплатить, — она слушала эхо того дня, когда он произнес эту клятву впервые, отлично понимая, что дает ее на многие годы. Теперь Дагни ясно видела, *что* за человек восстал против шести тысяч других темной весенней

ночью и почему они боялись его; понимала, что это стало началом и сутью всего, что произошло с миром за эти прошедшие двенадцать лет; понимала, что *это* было гораздо важнее гениального двигателя, — понимала под звуки размеренного мужского голоса, произносящего, будто в напоминание самому себе с неизбывной страстностью:

— Клянусь своей жизнью… и любовью к ней… что никогда не буду жить для кого-то другого… и не попрошу кого-то другого… жить… для меня.

Ее не испугало, даже не удивило, что, едва отзвучал последний слог, дверь стала открываться — медленно, без чьего-либо прикосновения, уходя внутрь, в темноту.

Как только в помещении вспыхнул электрический свет, Голт взялся за ручку, потянул дверь на себя, и замок защелкнулся снова.

— Это акустический замок, — безмятежно пояснил он. — Данная фраза представляет собой комбинацию звуков, необходимую, чтобы его отпереть. Я спокойно открываю вам этот секрет, так как верю: вы не произнесете этих слов, пока не вложите в них того смысла, какой вкладываю я.

Дагни кивнула:

— Не произнесу.

И медленно пошла за ним к машине, внезапно почувствовав себя совершенно изнеможенной. Она откинулась на спинку сиденья, закрыла глаза и едва слышала работу стартера. Накопившееся напряжение и тяжесть бессонных часов навалились на нее внезапно, прорвав барьер, воздвигнутый нервами, противившимися этой минуте. Она сидела неподвижно, неспособная думать, реагировать, бороться, лишенная всех эмоций, кроме одной.

Дагни молчала. И не открывала глаз, пока машина не остановилась перед домом Голта.

— Вам нужно отдохнуть, — сказал он. — Ложитесь спать, если хотите вечером поехать на ужин к Маллигану.

Дагни покорно кивнула. Пошатываясь, вошла в дом сама, отказавшись от его помощи. Сделав усилие, сказала ему: «Я буду в порядке», а когда вокруг нее сомкнулся безопасный периметр комнаты, из последних сил закрыла дверь.

Она повалилась ничком на кровать. Дело было не только в усталости. Она была во власти единственного, до невыносимости сильного чувства. Телесных сил не осталось, лишь одна эмоция поддерживала остатки ее энергии, здра-

вого смысла, контроля, не оставляя возможности противиться ей или направлять ее, позволяя лишь чувствовать, а не желать, сводя ее существо к некоему статичному состоянию, без начала и цели. Перед ее глазами все еще стояла фигура Голта у той стальной двери, а дальше — полная апатия: ни желания, ни надежды, ни оценки своих ощущений, ни понимания их природы, ни их связи с собой; она словно перестала существовать, перестала быть личностью, превратившись лишь в зрительную *функцию*, и это зрелище было само по себе и целью, и смыслом — все остальное просто исчезло.

Уткнувшись лицом в подушку, Дагни смутно, будто нечто страшно далекое, вспомнила взлет с залитой светом прожекторов полосы канзасского аэродрома. Услышала рев двигателя, все ускорявшего разбег самолета… и, когда колеса оторвались от земли, она заснула.

Когда они ехали к дому Маллигана, дно долины походило на заводь, все еще отражавшую сияние неба, но цвет сменился с золотого на медный, края ее тонули в сумерках, а вершины гор стали сизыми.

В том, как держалась Дагни, не было ни следа усталости, ни остатков волнения. Она просну-

лась на закате, вышла из комнаты и обнаружила, что Голт ждет ее, неподвижно сидя в свете лампы. Он взглянул на нее: Дагни стояла в дверном проеме, лицо ее было спокойным, поза расслабленной и уверенной — так она выглядела бы на пороге своего кабинета в небоскребе Таггертов, если не считать трости в правой руке. Голт еще какое-то время смотрел на нее, и она невольно спросила себя, почему так уверена, что ему представляется именно ее кабинет, словно сама давно этого хотела, но считала невозможным.

Дагни сидела рядом с ним в машине; Голт не открывал рта, ей тоже не хотелось говорить: она понимала, что у их молчания одна, общая, причина. Она увидела несколько огоньков, вспыхнувших в далеких домах, потом — освещенные окна дома Маллигана на уступе впереди. Спросила:

— Кто будет там?

— Кое-кто из ваших недавних друзей, — уклончиво ответил он, — и моих старинных.

Мидас Маллиган встретил их у двери. Дагни обратила внимание, что на этот раз его суровое широкое лицо не столь жестко-безразличное, как раньше: оно казалось даже удовлетворенным, впрочем, это не слишком смягчало его

черты, лишь как бы высекало из них, словно из кремня, искры юмора, слабо мерцавшие в уголках глаз, юмора, более проницательного, более требовательного, и притом более теплого, чем просто дежурная улыбка.

Маллиган открыл дверь и несколько замедленным, торжественным жестом пригласил их внутрь.

Войдя в гостиную, Дагни увидела семерых мужчин; при ее появлении они встали.

— Джентльмены — *«Таггерт Трансконтинентал»*, — произнес Мидас Маллиган.

Сказал он это с улыбкой, но глаза оставались серьезными; благодаря какой-то неуловимой интонации его голоса, название железной дороги прозвучало подобно звучному титулу, как во времена Ната Таггерта.

Дагни неторопливо кивнула стоявшим перед ней мужчинам, заранее зная, что это люди, чьи критерии ценности и чести такие же, как у нее, люди, знающие цену этого титула не хуже ее самой, и со внезапной тоской поняла, насколько нуждалась в таком признании многие годы.

Она медленно переводила взгляд от лица к лицу: Эллис Уайэтт… Кен Данаггер… Хью Экстон…

доктор Хендрикс… Квентин Дэниелс; Маллиган назвал имена двух остальных:

— Ричард Халлей, судья Наррангасетт.

Легкая улыбка Ричарда Халлея словно бы говорила ей, что они знают друг друга много лет, — как оно и было, в ее одинокие вечера у проигрывателя. Суровая внешность седовласого судьи Наррангасетта напомнила, что его как-то назвали мраморной статуей с повязкой на глазах; фигуры, подобные этой, исчезли из залов суда, когда золотые монеты вышли из обращения, уступив место невнятной бумаге.

— Вам давно уготовано место здесь, мисс Таггерт, — сказал Мидас Маллиган. — Мы ждали, что вы появитесь не так, но все равно — с приездом.

Ей хотелось крикнуть «Нет!», но она услышала свой негромкий голос:

— Спасибо.

— Дагни, сколько лет вам потребуется, чтобы научиться быть собой? — это сказал Эллис Уайэтт, он взял ее под локоть и повел к креслу, откровенно посмеиваясь над выражением беспомощности на ее лице, над борьбой улыбки и усиленным сопротивлением ей. — Только не притворяйтесь, что не понимаете нас. Прекрасно понимаете.

— Мы никогда не судим излишне категорично, мисс Таггерт, — заговорил Хью Экстон. — Это моральное преступление, характерное для наших врагов. Мы не говорим — мы демонстрируем. Не заявляем — доказываем. Мы ждем не вашего послушания нам, а сознательной убежденности. Вам открылись ныне все грани нашего секрета. Вывод делайте сами. Мы можем помочь вам *назвать* его, дать ему имя, но не *принять* — последнее зависит только от вас, от вашей доброй воли.

— Мне кажется, я знаю ваш секрет, — искренне ответила она. — Кажется, я всегда знала его, только не могла найти, нащупать, и теперь боюсь… боюсь не услышать его *имя*, а того, что он так близок.

Экстон улыбнулся:

— Как вам это общество, мисс Таггерт?

Он обвел рукой комнату.

— Это? — она внезапно рассмеялась, глядя на лица мужчин на фоне золотисто-медного света, заполнявшего большие окна. — Общество… Знаете, я уже не надеялась снова увидеть кого-то из вас. Иногда думала, чего бы ни отдала за один только взгляд, за одно только слово. А теперь… теперь это словно детская мечта, когда казалось,

что когда-нибудь в раю я увижу тех великих умерших, кого не видела на Земле, и выберу из всех минувших веков лишь тех людей, с кем хотела бы познакомиться.

— Ну, что ж, это один из ключей к нашему секрету, — кивнул Экстон. — Спросите себя, должна ли ваша мечта о рае сбыться, когда мы все будем в могиле, или осуществиться здесь и сейчас. В этой жизни, на этой земле.

— Понимаю, — прошептала Дагни.

— А если б вы встретили в раю этих великих людей, — спросил Кен Данаггер, — что бы хотели сказать им?

— Просто… просто «здравствуйте», наверно.

— Это не все, — сказал Данаггер. — Есть нечто, что вы захотите от них услышать. Я тоже не знал, что именно, пока впервые не увидел его, — указал он на Голта, — и Джон сказал это, и тут я понял, чего недоставало мне всю жизнь. Мисс Таггерт, вы захотите, чтобы они посмотрели на вас и произнесли одно короткое, но веское слово: «Молодчина!»

Дагни молча кивнула и опустила голову, не желая, чтобы все видели ее внезапные слезы.

— Раз так, хорошо: «Молодчина, Дагни! Молодчина…», а теперь вам пора отдохнуть от того

бремени, которого вы не ждали.

— Хватит тебе, — сказал Мидас Маллиган, с беспокойством глядя на ее склоненную голову.

Но Дагни подняла глаза и улыбнулась.

— Спасибо, — сказала она Данаггеру.

— Если сам заговорил об отдыхе, так дай ей отдохнуть, — сказал Маллиган. — Хватит уж с нее на сегодня.

— Нет, — она снова улыбнулась. — Продолжайте, скажите все, что хотели.

— Потом, — сказал Маллиган.

Ужин подавали Маллиган с Экстоном, Квентин Дэниелс им помогал. Они ставили маленькие серебряные подносы с сервированными блюдами на подлокотники кресел. В окнах угасало закатное зарево, отражения электрических лампочек мерцали искрами в бокалах с вином. В комнате царила атмосфера роскоши, но это была роскошь изысканной простоты; Дагни обратила внимание на великолепную мебель, купленную в те времена, когда предметы обстановки все еще являлись искусством. Лишних деталей, казалось бы, не было, но она увидела работу художника эпохи Возрождения, стоившую целое состояние, заметила и персидский ковер столь изысканной текстуры и расцветки, что место ему

было в музее. «Таково представление Маллигана о богатстве, — подумала она, — это богатство выбора, а не накопления».

Квентин Дэниелс устроился на полу, с подносом на коленях; он, казалось, чувствовал себя, как дома, то и дело поглядывал на Дагни, усмехаясь, как дерзкий младший братишка, узнавший секрет, которого она не знает. «Прибыл в долину на десять минут раньше, — подумала она, — и все-таки он один из *них*, а я по-прежнему посторонняя».

Голт сидел в стороне, за кругом света, на подлокотнике кресла доктора Экстона. Он не сказал ни слова, отошел в сторону и наблюдал за происходящим, как за спектаклем, в котором уже не участвует. Но Дагни то и дело поглядывала на него, не сомневаясь, что он — автор и постановщик этой пьесы: он давно уже задумал ее, и все остальные это отлично знают.

Дагни заметила, что еще один человек остро ощущает присутствие Голта: Хью Экстон. Тот время от времени невольно, почти тайком, бросал на него взгляд, как будто старался не выдать радости долгожданной встречи. Экстон не заговаривал с ним, словно и так всегда был рядом, но когда Голт вдруг наклонился и на лицо ему

упала прядь волос, Экстон отвел ее обратно; рука его на неуловимый миг задержалась на лбу ученика: это было единственное проявление чувств, какое он позволил себе, — это был жест отца.

Дагни незаметно для себя оказалась втянутой в разговор: уютная обстановка расслабляла. Она автоматически задавала вопросы то одному, то другому, но ответы отпечатывались в ее сознании, двигались фраза за фразой к достижению некой цели.

— Пятый концерт? — сказал Ричард Халлей, отвечая на очередной вопрос. — Я написал его десять лет назад. Мы называем его Концерт Освобождения. Спасибо, что узнали его по нескольким тактам, насвистанным в ночи… Да, я знаю об этом… Да, раз вы знали все мои предыдущие произведения, вы должны были понять, услышав мелодию, что в этом концерте сказано все, чего я хотел достичь. Концерт посвящен ему… — он указал на Голта. — Ну что вы, мисс Таггерт, я не бросил музыку. С чего вы взяли? За последние десять лет я написал больше, чем в любой другой период моей жизни. Сыграю для вас все, что угодно, когда придете ко мне… Нет, мисс Таггерт, *там* это не будет опубликовано. Ни единой ноты не будет услышано за пределами этих гор.

— Нет, мисс Таггерт, я не оставил медицину, — сказал, отвечая на ее вопрос доктор Хендрикс. — Последние шесть лет я занимался исследованиями. Открыл метод защиты кровеносных сосудов мозга от тех роковых разрывов, которые именуются апоплексическими ударами. Он избавит человечество от ужаса внезапного паралича… Нет, *там* ничего не узнают о моем открытии.

— Право, мисс Таггерт? — сказал судья Наррангасетт. — Какое право? Я не оставлял его — просто *там* оно перестало существовать. Но я все равно работаю над его усовершенствованием, то есть служу делу справедливости… Нет, справедливость не перестала существовать. Это немыслимо. Люди могут забыть о ней, но тогда она их уничтожит. Справедливость не может уйти из жизни, потому что она символ ее; справедливость — акт признания того, что существует… Да, здесь я продолжаю свое дело. Пишу трактат по философии права. Я докажу, что самое черное зло человечества, самая разрушительная машина ужаса, это *необъективное* право… Нет, мисс Таггерт, мой трактат не будет *там* опубликован.

— Мое дело, мисс Таггерт? — сказал Мидас Маллиган. — Мое дело — переливание крови, и я по-прежнему занимаюсь им. Моя работа —

снабжать горючим жизни все то, что способно расти. Но спросите доктора Хендрикса, может ли любое количество крови спасти тело, которое отказывается функционировать, гнилую оболочку, желающую жить без усилий. Мой банк крови — золото. Золото — это топливо, способное творить чудеса, но любое топливо бессмысленно там, где нет мотора… О, что вы, я не сдался. Просто мне надоело руководить бойней, где выкачивают кровь из здоровых живых существ и переливают ее вялым полутрупам.

— Сдался? Это я-то сдался? — возмутился Хью Экстон. — У вас ложные посылки суждений, мисс Таггерт. Никто из нас не сдался. Сдался *тот* мир… Что плохого, если философ открывает придорожное кафе? Или руководит сигаретной фабрикой, как я в настоящее время? Любая работа есть философское деяние. И когда люди научатся считать производительный труд и то, что является его источником, — критерием своих моральных ценностей, они достигнут совершенства, представляющего собой право первородства, ныне ими утраченного… Источник труда? Разум, мисс Таггерт, мыслящий человеческий разум. Я пишу книгу на эту тему, характеризую новую мораль, базис которой почерпнул у своего ученика…

Да, она могла бы спасти мир… Нет, *там* она опубликована не будет.

— Почему? — воскликнула Дагни. — Почему? Что вы все, в конце концов, делаете?

— Бастуем, — развел руками Джон Голт.

Все повернулись к нему, словно ждали именно этого слова. Глядя на них сквозь полосу света лампы, Дагни услышала внутри себя гулкое тиканье несуществующих часов, пустой ход пустого времени, внезапную тишину в комнате, где все будто замерло…. Голт небрежно сидел на подлокотнике кресла, подавшись вперед и положив руку на колено; кисть ее расслабленно свисала. А на лице играла легкая улыбка, придающая словам убийственную неотвратимость:

— Почему это кажется вам столь удивительным? Существует лишь один клан людей, не бастовавших ни разу в человеческой истории. Все другие сословия и категории бросали работу, когда хотели, и предъявляли миру требования, заявляя о своей незаменимости… Все, кроме тех, кто нес мир на плечах, не давая ему погибнуть, единственным вознаграждением же им было страдание, но они никогда не отворачивались от рода человеческого. Ну вот, теперь наступила их очередь. Пусть мир, наконец, узнает, что эти

люди представляют собой, чем заняты, и что происходит, когда они отказываются работать. Это забастовка людей разума, мисс Таггерт. Это бастует разум.

Дагни не шевелилась, лишь пальцы медленно ползли по щеке к виску.

— Во все века, — продолжал Голт, — разум считался злом и терпел всевозможные оскорбления, его объявляли еретиком, материалистом, эсплуататором; его преследовали, лишали прав, экспроприировали; его подвергали всяческим мукам: глумились, вздергивали на дыбе, сжигали на кострах. Тот, кто брал на себя ответственность смотреть на мир глазами мыслящего существа и вершить круг разумных взаимосвязей, испивал полную чашу страданий. Однако даже в цепях, в темницах, в потайных убежищах, в кельях философов, в лавках торговцев люди продолжали мыслить — человечество продолжало существовать. Во все века поклонения иррациональности, какие бы формы косности она ни избрала, какие бы зверства ни практиковала, мы живы лишь благодаря тем людям, которые постигали, что пшенице для роста нужна вода, что выложенные дугой камни образуют арку, что дважды два — четыре, что любовь не мука, а счастье,

что жизнь не поддерживается разрушением. Благодаря этим людям все прочие научились переживать минуты проблеска человечности, и только они, эти минуты, позволяли им существовать. Это человек разума научил их печь хлеб, залечивать раны, ковать оружие и даже строить тюрьмы, в которые они его же и бросали. Он был человеком необычайной энергии и безрассудной щедрости, знавшим, что косность не удел существа мыслящего, что бессилие не его природа, но что изобретательность ума — его самая благородная и радостная сила, и в служении этой любви к жизни, которую ощущал лишь он один, он продолжал работать… Работать любой ценой для своих грабителей, тюремщиков, мучителей, платя своей жизнью за спасение их жизней. Его победой и поражением было то, что он позволил им заставить себя чувствовать виновным и в том, и в другом, принять роль жертвенного животного и в наказание за грех незаурядности гибнуть на алтарях дикарей. Трагическая шутка истории в том, что на каждом воздвигнутом людьми алтаре всегда оказывались двое: человек, которого они приносили в жертву, и животное, которому они поклонялись. Люди из века в век поклонялись не человеческим,

а животным символам: идолам инстинкта и идолам силы — мистикам и королям. Мистикам, жаждавшим абсолютного подчинения, и королям, правившим с помощью бича. Защитники души человека были озабочены его чувствами, защитники тела — его желудком, но и те и другие объединялись против его разума. Однако никто, даже самый последний невежда, никогда не сможет полностью отвергнуть *мысль*. В абсурд верить невозможно, а в несправедливость — легко.

Всякий раз, когда человек осуждает разум, причина одна — он не в состоянии его познать. Когда он проповедует несообразность, то полагает, что кто-то другой, не он, принимает на себя бремя невозможного, кто-то другой, не он, заставит эту несообразность работать на него ценой чего угодно, даже смерти. Но человек этот не знает и не может знать, что ценой любой несообразности является гибель. Несправедливость проистекает из возможности жертвовать… Увы, именно люди разума помогли дикарям успешно править. Причиной возникновения всех вер, противоречащих здравому смыслу, было обнищание мозгов. А целью всех вер, проповедующих самопожертвование, было ограбление способности

мыслить. Грабители это знали. Мы — нет. Настало время понять это и нам. То, чему нам теперь предлагают поклоняться, тот, кого раньше рядили в бога, короля или мага, есть некий нелепый, извращенный, бессмысленный образ человеческой Неспособности. Это новый идеал, цель, к которой нужно стремиться, ради которой нужно жить, и каждый должен быть вознагражден в соответствии с тем, насколько он приблизился к этому идеалу. Нам говорят, что наступил век Простого Человека, это титул, на который может претендовать каждый в меру тех степеней, каких он сумел *не* достичь. Он возвысится до класса аристократов благодаря усилиям, которых *не* приложил, будет почитаем за достоинства, которые *не* проявил, получать деньги за товары, которые *не* произвел. Но мы, обязанные искупать вину своих способностей, будем работать на него по его указаниям, и единственным нашим вознаграждением будет его удовольствие. Поскольку мы должны больше всех работать, то должны меньше всех говорить. Поскольку мы обладаем лучшей способностью думать, нам не будет дозволено ни единой собственной мысли. Поскольку мы способны выбирать образ действий, нам не позволят действовать

по собственному выбору. Мы будем работать по указаниям, исходящим от тех, кто не способен работать. Они будут использовать наши силы, потому что сами ничего предложить не могут. Скажете, так не бывает? Бывает и еще как. Они-то это знают, но вы нет, и в этом их сила. Они рассчитывают, что вы будете работать и дальше на пределе сил, кормить их, пока живы, а когда умрете, появится очередная жертва и снова будет их кормить, силясь при этом выжить. Продолжительность жизни каждой новой жертвы будет все короче: если вам придется оставить им банк или железную дорогу, то у вашего последнего духовного наследника отберут и черствую горбушку.

Сейчас грабителей это не беспокоит. Их план, как все планы прошлых царственных грабителей, в том, чтобы награбленного хватило до конца их жизни. Раньше это удавалось: на одно поколение жертв хватало. Но теперь все иначе. Жертвы забастовали. Мы бастуем против грабежа и против морального кодекса, который его требует. Бастуем против тех, кто считает, что один человек должен жить для другого. Бастуем против морали каннибалов — пожирателей плоти и пожирателей духа. Мы будем

вести дела с людьми только на своих условиях, а наш моральный кодекс утверждает, что человек сам по себе есть цель, а не средство для целей других. Навязывать им наш кодекс мы не собираемся. Они вольны верить во что угодно. Однако теперь им *придется* смириться с ним и… выживать без нашей помощи. И постичь, раз и навсегда, всю порочность своей веры. Вера эта существовала веками исключительно с согласия жертв — из-за их готовности принимать наказания за нарушение правил, по которым невозможно жить. Но их кодекс — особый, созданный именно для того, чтобы его нарушали. Он существует не благодаря тем, кто соблюдает его, а тем, кто нарушает. Эта мораль живет не из добродетели святых, а по милости грешников. Мы решили больше не быть грешниками. Мы перестали нарушать этот кодекс. Мы навсегда уничтожим его единственным способом, какого он не выдержит, — соблюдая его. Мы его соблюдаем. Мы соглашаемся. Мы скрупулезно соблюдаем кодекс их ценностей, избавляем от всех зол, которые они осуждают. Разум — зло? Допустим. Мы забрали из общества все плоды своего разума, и ни одна наша идея не станет известна людям. Способность — зло эгоистичное, не оставляющее

никаких возможностей менее способным? А нам-то что?! Мы вышли из конкуренции и предоставили неспособным все возможности. Стремление к богатству есть жадность, корень всех зол? Ладно. Мы больше не стремимся сколачивать состояния. Зарабатывать больше, чем нужно для пропитания, — зло? Пусть так. У нас самые скромные должности, мы производим с помощью разума и руками не больше, чем нужно для удовлетворения насущных потребностей. И ни доллара, ни цента не остается, чтобы вредить окружающему миру. Преуспевать — зло, поскольку успеха добиваются сильные за счет слабых? Помилуйте, полная чушь. Мы же перестали обременять слабых нашими заботами и оставили их преуспевать без нас. Быть работодателем — зло? Мы никому не предлагаем работу. Иметь собственность — зло? Мы ничего не имеем. Наслаждаться жизнью — зло? Мы не хотим никаких наслаждений, присущих их миру, и — а это было труднее всего — сформулировали их идеал: равнодушие-пустота-ноль-знак смерти… и мы оставили людям все, что они веками считали добродетелью. Теперь пусть сами решают, хотят ли они этого.

— Это вы начали забастовку? — спросила Да-

гни.

— Я.

Голт встал, держа руки в карманах; лицо его было на свету, и Дагни видела, как он улыбается — спокойно, непринужденно, весело и уверенно.

— Мы много слышали о забастовках, — продолжил он, — и о зависимости людей способных от людей обыкновенных. Мы слышали крики, что промышленник — паразит, что рабочие обеспечивают его, создают ему богатство, дают ему возможность жить в роскоши, и что будет с ним, если они уйдут. Вот я и предлагаю показать миру, кто от кого на самом деле зависит, кто кого обеспечивает, кто кому делает жизнь комфортной, и что с кем будет, когда кто-то уйдет.

Окна уже потемнели, в них отражались огоньки сигарет. Голт тоже взял сигарету из пачки со стола подле него, и в пламени спички Дагни увидела, как между его пальцами сверкнул золотой знак доллара.

— Я ушел, присоединился к нему… забастовал, — взял слово Хью Экстон, — потому что не мог работать среди людей, пытающихся доказать, что интеллектуальный уровень измеряется тем, что интеллекта попросту не существует. Ни-

кто не станет держать на работе водопроводчика, который попытается доказывать свое профессиональное мастерство, утверждая, что водопровод пока еще не изобрели, но, видимо, те же меры предосторожности в отношении философов считаются излишними. Однако я узнал от своего ученика, что сам сделал это возможным. Когда мыслители принимают мнение тех, кто отрицает существование мышления, как собратьев — мыслителей иной школы, они сознательно добиваются разрушения разума. Они принимают основную логическую посылку противника и тем самым придают статус разума форменному безумию. Основная посылка — это абсолют, не допускающий никаких антитез и не знающий никакой терпимости. Точно так же как банкир не может принимать и пускать в оборот фальшивые деньги, наделяя их честью и престижем своего банка, не может удовлетворить просьбу фальшивомонетчика быть терпимым к иным взглядам на бизнес, я не могу признать доктора Саймона Притчетта философом и бороться с ним за умы людей. Доктору Притчетту нечего сказать, кроме помпезной декларации о намерении уничтожить философию как таковую. Он хочет использовать в своих интересах силу человече-

ского разума, отрицая ее. Хочет поставить печать разума на планах своих хозяев-грабителей. Хочет использовать престиж философии для оплаты порабощения мысли. Но престиж этот представляет собой счет, который может существовать лишь до тех пор, пока кто-то подписывает чеки. Пусть Притчетт делает это без меня. Пусть он и те, кто доверяет ему разум своих потомков, получают именно то, чего хотят: мир интеллектуалов без интеллекта, мир мыслителей, открыто заявляющих, что не способны мыслить. Я устраняюсь. Снимаю с себя ответственность. И когда они осознают беспощадную реальность своего лишенного абсолютов мира, я не буду расплачиваться за их алогизмы.

— Доктор Экстон ушел, руководствуясь принципами честного банкира, — заговорил Мидас Маллиган. — Я руководствовался принципом любви. Любовь — высшая форма признания величайших ценностей. Уйти меня подвигло дело Гансекера — дело, по которому суд постановил, что я должен признавать первоочередным правом на получение денег требования тех, кто представит доказательства, что не имеет на них права. Мне было предписано выдать доверенные моему банку другими людьми деньги

никчемному шалопаю. Иск его основывался только на том, что он не способен их заработать. Я родился на ферме. Я знал, как достаются деньги. В жизни я имел дело со многими людьми. Я видел их рост. Я сколотил свое состояние благодаря тому, что сумел найти людей определенного типа. Это люди не просили веры, надежды и отзывчивости, а предлагали факты, доказательства и выгоду. Знали вы, что я вложил деньги в дело Хэнка Риардена в то время, когда он только начинал путь наверх, когда только сумел вырваться из Миннесоты и купить сталелитейные заводы в Пенсильвании? Так вот, когда я нашел у себя на столе это распоряжение суда, меня посетило видение. Мне явилась некая картина, причем столь явственно, что она изменила мои взгляды на все. Я увидел молодого Риардена таким, каким впервые встретил его, — с умным лицом и горящим взором. Он лежал, истекая кровью, у подножия алтаря — а на алтаре был Ли Гансекер с гноящимися глазами и скулил, что у него никогда не было ни единого шанса… Поразительно, до чего понятными становятся вещи, когда их ясно разглядишь. Закрыть банк и уйти мне было нетрудно; я впервые в жизни окончательно понял, для чего жил и что любил.

Дагни перевела взгляд на судью Наррангасетта:

— Вы тоже ушли из-за этого дела, так ведь?

— Да, — ответил Наррангасетт. — Ушел, когда апелляционный суд отменил мое решение. Я выбрал эту профессию, потому что твердо решил стать стражем справедливости. Но законы, соблюдение которых мне следовало отстаивать, делали меня орудием самой гнусной подлости, какую только можно представить. От меня требовалось применять силу, нарушая права беззащитных людей, приходивших ко мне в поисках защиты. Участники тяжбы подчиняются решению суда, лишь исходя из предпосылки, что существуют объективные правила, которые они принимают. А тут я увидел, что один связан этими правилами, а другой нет, один должен им повиноваться, а другой нагло требует удовлетворения своего желания — своей потребности — и закон вынуждает меня встать на сторону последнего. Правосудие должно было поощрять то, что оправдания не имеет. Я ушел потому, что не мог слышать, как простые, хорошие люди обращаются ко мне «Ваша Честь».

Дагни медленно перевела взгляд на Ричарда Халлея, словно прося его рассказать свою исто-

рию и боясь ее услышать. Он улыбнулся.

— Я простил бы людей за то, что мне приходилось биться как рыба об лед, — заговорил Ричард. — А вот их отношения к моему успеху не мог простить. Все те годы, когда я был непризнан, я не испытывал никакой ненависти. Если моя музыка была чем-то новым, непривычным, требовалось дать людям время понять ее; если я гордился тем, что первым проложил путь к своей вершине, то не имел права жаловаться, что другие не спешат следовать за мной. Это я твердил себе все долгие годы и лишь иногда, вечерами, когда не мог больше ни ждать, ни верить, восклицал: «Почему?», но ответа не находил. Потом однажды, когда люди решили поаплодировать мне, я стоял перед ними на сцене и думал: «Вот она, та минута, к которой я стремился… хотел прочувствовать ее, но напрасно». Я помнил все прочие вечера, слышал свои «Почему?», на которые так и не нашел ответа. И эти аплодисменты казались мне такими же холодными, как пренебрежение. Если б они просто сказали: «Извините, но это не то, чего мы ждали», я бы не желал ничего большего, и они могли бы получить все, что я был способен им дать. Но в их лицах, в тоне их голосов, когда они толпились, восхваляя ме-

ня, я уловил то, что внушалось всем великим артистам, — только я не верил, будто кто-то из них может всерьез так считать. Они словно бы говорили: «Мы ничего тебе не должны», и их глухота давала мне понять, что моим долгом было и дальше ломиться в запертые двери, страдать и терпеть — ради них — все насмешки, презрение, несправедливость, пытки, которыми они донимали меня, терпеть, дабы научить их понять мою музыку, что это было их законным правом и моей непременной целью. И тут я понял сущность этих духовных грабителей, постичь которую раньше не мог. Я увидел, что они лезут ко мне в душу, как в карман к Маллигану, хотят присвоить мой талант, как и его богатство; увидел наглую злобу посредственности, хвастливо выставляющей напоказ свою пустоту, словно бездну, которую нужно заполнить телами тех, кто выше их; увидел, что они хотят нажиться, как на деньгах Маллигана, на тех часах, когда я писал свою музыку, и на чувстве, подвигавшем меня ее писать, хотят проложить себе путь к самоуважению, вырвав у меня признание, что *они* были целью моей музыки, поэтому, раз я желаю добиться успеха, *они* должны признать мою ценность, а я — склониться перед ними… и в тот

вечер я дал себе клятву: они больше не услышат ни одной моей ноты. Улицы были безлюдны, когда я покинул концертный зал. Я уходил последним и вдруг увидел совершенно незнакомого человека, поджидавшего меня под уличным фонарем. Тратить много слов ему не потребовалось. Но концерт, который я посвятил ему, назван Концертом Освобождения.

Дагни взглянула на остальных.

— Пожалуйста, откройте мне свои причины, — попросила она с ноткой упрямства, словно получала трепку, но хотела вытерпеть ее до конца.

— Я ушел несколько лет назад, когда медицина была взята под контроль государства, — заговорил доктор Хендрикс. — Знаете, что такое операция на мозге? Знаете, какой она требует подготовки? Скольких лет страстной, суровой, мучительной работы, чтобы приобрести подобную квалификацию? Вот чего я не хотел отдавать людям, единственной силой которых для контроля надо мной являлась демагогия, открывшая им на выборах путь к привилегии диктовать другим свою волю. Я не хотел позволять *им* устанавливать мне цель, условия работы, выбор пациентов и размеры моего вознаграждения. Я обратил вни-

мание, что во всех дискуссиях, предшествовавших порабощению медицины, люди обсуждали все, кроме желаний самих врачей. Принималось во внимание лишь «благополучие» пациентов, без мысли о тех, кто должен его обеспечивать. То, что у врачей должны быть какие-то права, желания или выбор, считалось «неуместным эгоизмом»; говорили, что врач не может выбирать, он обязан «служить». То, что человек, согласный работать по принуждению, опасней дикаря, и ему нельзя доверить работу даже на скотном дворе, просто не приходило в голову тем, кто предлагал помогать больным, делая невозможной жизнь здоровых. Я искренне поражался самоуверенности, с которой люди утверждали свое право порабощать меня, контролировать мою работу, насиловать мою волю, мою совесть, подавлять мой разум… однако на что после этого они могли рассчитывать, ложась на операционный стол под мой скальпель? Их моральный кодекс учил, что можно полностью полагаться на добродетельность их жертв. Так вот, то, что я ушел, и есть добродетель. Пусть увидят, *каких* врачей будет теперь создавать их система. Пусть поймут, что в операционных, в больничных палатах крайне небезопасно вверять свою жизнь

человеку, которого они подавляли. Небезопасно, если он этим возмущен… и еще небезопаснее, если нет.

— Я ушел, — сказал Эллис Уайэтт, — потому что не хотел быть для каннибалов пищей и одновременно поваром.

— Я понял, — сказал Кен Данаггер, — что люди, с которыми я сражался, бессильны. Они беспомощны, бесполезны, безответственны, неразумны. Я в них не нуждался, не им было диктовать мне условия, не мне было подчиняться их требованиям. Я ушел, чтобы и они это поняли.

— Я ушел, — сказал Квентин Дэниелс, — потому что, если существуют разные степени проклятья, ученый, отдающий разум на службу грубой силе, заслуживает самого страшного, поскольку становится самым опасным убийцей.

Дагни повернулась к Голту.

— А вы? — спросила она. — Вы были первым. Что подвигло к уходу вас?

Он усмехнулся.

— Отказ признавать за собой какой-то первородный грех.

— То есть?

— Я никогда не испытывал чувства вины за свои способности. За свой разум. За то, что я

человек. Я не принимал никаких незаслуженных обвинений, поэтому был волен зарабатывать и сознавать свою ценность. Сколько помню себя, я чувствовал, что готов убить любого, кто скажет, что я живу для удовлетворения его потребностей, и полагал это самой высокой моралью. В тот вечер собрания на заводе «*Двадцатый век*», когда я услышал, как о вопиющем зле говорится тоном праведности, я увидел корень мировой трагедии, ключ к ней и решение ее проблемы. Понял, что нужно сделать. И ушел делать это.

— А двигатель? — спросила Дагни. — Почему бросили его? Почему оставили наследникам Старнса?

— Двигатель был собственностью их отца. Он заплатил мне за него. Я сделал мотор при его жизни. Но я знал, что им он не принесет никакой пользы, и никто о нем никогда не узнает. То была первая экспериментальная модель. Никто, кроме меня или человека моих способностей, не мог доделать его или хотя бы понять, что он собой представляет. А я знал, что ни один человек моих способностей и близко не подойдет к этому заводу.

— Вы понимали, какое достижение представлял собой ваш мотор?

— Да, — Голт посмотрел в темноту за окном и горько усмехнулся. — Перед уходом я взглянул на него еще раз. Подумал о тех, кто говорит, что богатство — вопрос природных ресурсов, о тех, кто говорит, что оно — вопрос конфискации заводов, о тех, кто говорит, что разум обусловлен машинами. Ну что ж, там был мой мотор, чтобы обусловливать их разум. Я оставил его именно в том виде, что он представлял собой без человеческого разума, — груда брошенных ржаветь железок и проводов. Вы думали о той великой службе, которую этот двигатель мог бы сослужить человечеству, будь он запущен в производство? Полагаю, в тот день, когда люди уразумеют, *как* мой мотор оказался в груде заводского металлолома, его час, возможно, и пробьет.

— Вы надеялись увидеть этот день, когда оставляли двигатель?

— Нет.

— Надеялись получить возможность вновь построить его в другом месте?

— Нет.

— И были готовы бросить его навсегда в груде металлолома?

— Да, именно из-за того, что этот двигатель для меня значил, — медленно ответил Голт, —

мне требовалось быть готовым оставить его разваливаться и сгинуть навсегда.

Он взглянул прямо ей в лицо, и она услышала в его голосе спокойную, твердую безжалостность:

— Как и вам потребуется быть готовой позволить рельсам *«Таггерт Трансконтинентал»* развалиться и сгинуть.

Дагни подняла голову, посмотрела ему в глаза и негромко сказала:

— Не требуйте от меня немедленного ответа.

— Не буду. Мы скажем вам все, что вы захотите узнать. И не станем торопить с решением, — потом добавил, и Дагни была удивлена внезапной мягкости его голоса: — Такого равнодушия к миру, какое требуется от нас, достичь труднее всего. Я знаю. Мы все через это прошли.

Дагни смотрела на тихую, мирную комнату, на свет, дарованный его двигателем, на лица людей самой невозмутимой и сплоченной компании, какую она только видела.

— Что вы делали, когда ушли с «*Двадцатого века*»? — спросила она.

— Высматривал яркие вспышки в сгущавшейся ночи дикости — вспышки способностей, интеллекта. Наблюдал за их путем, за их борьбой

и мучением, а потом уводил их, когда понимал, что они настрадались достаточно.

— Что вы говорили им, убеждая бросить все?

— Говорил, что они правы.

И в ответ на вопрос в ее взгляде Голт добавил:

— Я давал им гордость, о которой они не знали. Давал слова, ее определявшие. Давал бесценный дар, в котором они давно нуждались, сами того не подозревая — моральную поддержку. Вы назвали меня разрушителем и охотником за людьми? Я был организатором этой забастовки, вождем восстания жертв, защитником угнетенных, обездоленных, эксплуатируемых. И когда я сейчас произношу эти слова, они имеют буквальный смысл.

— Кто первым последовал за вами?

Голт сделал краткую, многозначительную паузу, потом ответил:

— Два моих лучших друга. Один из них вам знаком. И, пожалуй, вы лучше всех знаете, какую цену он заплатил за это. Третий — наш учитель, доктор Экстон. Чтобы он присоединился к нам, оказалось достаточно одной беседы както вечером. Уильям Гастингс, мой начальник в исследовательской лаборатории «*Двадцатого века*», пережил нелегкое время, борясь с собой.

На это у него ушел год. Но он присоединился к нам. Затем Ричард Халлей. Потом Мидас Маллиган.

— Встреча с которым заняла всего пятнадцать минут, — вставил тот.

Дагни повернулась к нему:

— Эту долину предоставили вы?

— Да, — ответил Маллиган. — Поначалу она была моим частным владением. Я купил ее уже довольно давно, купил многие мили этих гор, у фермеров и скотоводов, не понимавших, чем владеют. Долина не обозначена ни на одной карте. Дом этот построил, когда решил уйти. Перекрыл все пути подступа сюда, кроме одной дороги — она отлично замаскирована и никому ее не найти, — и оборудовал это место так, чтобы оно могло существовать независимо, чтобы я мог жить здесь до конца своих дней и не видеть ни одного грабителя. Когда узнал, что Джон привлек на свою сторону Наррангасетта, пригласил судью сюда. Потом попросил присоединиться к нам Ричарда Халлея. Остальные сперва оставались за ее пределами.

— У нас не было никаких правил, — снова заговорил Голт, — кроме одного: когда человек приносил нашу клятву, он брал на себя обязательство

не работать по профессии, не отдавать миру плодов своего разума. Каждый держал слово на свой лад. Те, у кого были деньги, уходили на покой и жили на свои сбережения. Те, кто вынуждены были трудиться, брались за самую скромную работу, какую могли найти. Одни из нас уже были знаменитыми и успели натерпеться, других — как вашего юного тормозного кондуктора, которого открыл Халлей, — мы *убедили* еще до того, как их начали мучить. Но от своего разума, от любимой работы, мы не отреклись. Каждый продолжал заниматься своим настоящим делом, так или иначе, в то время, какое удавалось выкроить, — но делали это лишь для себя, ничего не давая миру, ничем не делясь с ним. Мы были рассеяны по всей стране, словно изгнанники, да, собственно, и были ими, только теперь сознательно играли эту роль. Единственной отрадой для нас бывали те редкие случаи, когда мы могли видеться.

Мы обнаружили, что любим встречаться — дабы напоминать себе, что люди еще существуют. Поэтому решили выкраивать один месяц в году и проводить его в этой долине с целью отдохнуть, пожить в разумном мире, занимаясь своим настоящим делом открыто, обмениваясь свои-

ми достижениями, — здесь они оплачивались, а не экспроприировались. Каждый построил себе на свои деньги дом — ради одного месяца жизни из двенадцати. После этого остальные одиннадцать переносились легче.

— Видите ли, мисс Таггерт, — сказал Хью Экстон, — человек — существо общественное, но не в том смысле, какой проповедуют грабители.

— Развитие этой долины началось с разорения штата Колорадо, — заговорил Мидас Маллиган. — Эллис Уайэтт и кое-кто еще стали жить здесь постоянно, потому что вынуждены были скрываться. Ту часть состояния, какую удалось сберечь, они превратили в золото или в оборудование, как я, и привезли сюда. Нас стало достаточно, чтобы благоустраивать долину, создавать в ней рабочие места для тех, кому приходилось зарабатывать на жизнь. Мы уже достигли той стадии, когда большинство из нас могут жить здесь постоянно. Долина уже почти самообеспечена, а что до тех товаров, какие мы не производим, я закупаю их во внешнем мире и переправляю сюда своим маршрутом. Мы здесь не государство, не община, мы — добровольное объединение людей, не связанных ничем, кроме

личных интересов каждого. Долина принадлежит мне, и я продаю землю людям, когда им это нужно. В спорных случаях судья Наррангасетт должен выступать нашим арбитром. Обращаться к нему пока что не было нужды. Говорят, людям трудно прийти к согласию. Вы поразились бы, узнав, как это легко, если обе стороны считают моральным абсолютом то, что никто не живет для другого, и разум — единственная основа ведения дел. Близится время, когда всем нам придется жить здесь постоянно, — мир разваливается так быстро, что вскоре начнет голодать. Но здесь мы сможем себя обеспечить.

— Мир рушится быстрее, чем мы ожидали, — откликнулся Хью Экстон.

— Люди перестают работать. Ваши поезда стоят. Бандиты, дезертиры — эти люди ничего о нас не знают, они не участники нашей забастовки, они действуют по собственному почину: это естественная реакция остатков их рассудка, это протест того же рода, что и наш.

— Мы начали, не устанавливая временных границ, — сказал Голт. — Мы не знаем, доживем ли до освобождения мира или будем вынуждены передать нашу борьбу и нашу тайну другим поколениям. Мы знали только, что хотим жить лишь

так. Но теперь думаем, что увидим, и довольно скоро, день нашей победы и нашего возвращения.

— Когда? — прошептала Дагни.

— Когда моральный кодекс грабителей потерпит крах.

Голт увидел во взгляде Дагни вопрос и надежду и добавил:

— Когда суть религии самоуничтожения наконец станет ясна всем; когда люди не найдут больше жертв, готовых преграждать путь справедливости и спасать их от возмездия; когда проповедники самопожертвования поймут, что тем, кто хочет следовать их заповедям, жертвовать нечем, а те, кому есть чем, больше не хотят этого делать; когда люди осознают, что ни слова, ни лозунги не могут их спасти, а разума, который они проклинали, уже не осталось; когда они завопят о помощи; когда потерпят крах — как и должно быть с существами, лишенными возможности мыслить; когда у них не останется ни претензий на авторитет, ни следов закона, ни морали, ни надежды, ни еды, ни возможности раздобыть ее; когда они потерпят окончательный, *абсолютный* крах, и дорога будет открыта, вот тогда мы вернемся, чтобы перестроить мир.

Терминал Таггертов, подумала Дагни; эти слова бились в ее онемелом мозгу бременем, тяжесть которого ей до сих пор некогда было осмыслить. Вот он, Терминал Таггертов, снова подумала она, эта комната, а не огромный вокзал в Нью-Йорке; это и есть ее цель, конец пути, а не точка на горизонте, где ровные линии рельсов сходятся и исчезают из виду, маня ее вперед, как манила когда-то Натаниэля Таггерта, — это та самая цель, которую видел вдалеке ее предшественник, и туда все еще был устремлен его взор: туда он смотрел, подняв гранитную голову над кружащейся в зале толпой. Ради этого она посвятила себя *«Таггерт Трансконтинентал»*, словно телу для еще не обретенного духа. Она обрела его, нашла все, что хотела: желанный дух был здесь, в этой комнате… но ценой ему станет сеть железных дорог, рельсы, которые исчезнут, мосты, которые рухнут, сигнальные огни, которые погаснут… И однако же… Однако же это все, чего я только хотела, подумала Дагни, отворачиваясь от мужчины с волосами цвета медного солнца и непреклонной решимостью в глазах.

— Вам не нужно давать ответ прямо сейчас.

Дагни подняла голову; Голт смотрел на Дагни, словно следя за ходом ее мысли.

— Мы никогда не требуем согласия, — продолжил он. — Никогда не говорим человеку больше, чем он готов услышать. Вы первая узнали наш секрет раньше времени. Но вы здесь, и это было неизбежно. Теперь вы знаете сущность выбора, который вам предстоит сделать. Если он кажется трудным, это потому, что вы все еще думаете, что не обязательно должно быть либо одно, либо другое. Но вы поймете, что обязательно.

— Дадите мне время?

— Ваше время принадлежит вам. Не спешите. Только вы можете решить, что предпочтете сделать и когда. Мы знаем цену такому решению. Мы все заплатили ее. То, что вы оказались здесь случайно, может сделать ваш выбор легче… или труднее.

— Труднее, — прошептала Дагни.

— Я знаю.

Голт сказал это так же тихо, как и она, словно задержав дыхание, и Дагни вздрогнула, как от удара, внезапно осознав, что именно это слияние мыслей и голосов, даже не те минуты, когда он нес ее на руках вниз по склону, стало их самым тесным соприкосновением.

Когда они ехали обратно к его дому, в небе над долиной стояла полная луна; она походила

на висящий в вышине плоский, круглый фонарь, окутанный облаком света, не достигавшим земли; казалось, вокруг светло от необычайной белизны грунта. Ставшая бесцветной земля в своем мертвенном покое представлялась затянутой дымкой расстояния, рельефы ее не сливались в ландшафт, а медленно проплывали мимо, словно облака.

Дагни вдруг поймала себя на том, что улыбается. Она смотрела вниз, на дома в долине. Светившиеся окна застилала какая-то голубоватая завеса, очертания стен расплывались, среди них мягкими волнами медленно изгибались длинные полосы тумана. Зрелище напоминало погружающийся в воду город.

— Как называется эта долина? — спросила она.

— Я называю ее Долиной Маллигана, — ответил он. — А то, что вокруг, — Ущельем Голта.

— Я бы назвала ее…

Дагни не договорила.

Голт взглянул на нее. Она знала, что он видит на ее лице. Он отвернулся. Она увидела легкое шевеление его губ: казалось, дыхание дается ему с трудом. Дагни опустила взгляд и уронила руки, словно они вдруг стали слишком тяжелыми.

Дорога поднималась и становилась темнее,

ветви сосен смыкались над их головами. Над приближавшимся пологим уступом скалы Дагни увидела лунный свет, отражавшийся в окнах дома Голта. Она откинула голову на спинку сиденья и замерла, забыв о машине и ощущая лишь движение. Звезды походили на блестящие среди сосновых ветвей капли воды.

Когда машина остановилась, Дагни вышла из нее, запретив себе даже смотреть на Голта. Она замерла, глядя на темные окна. Она не слышала, как он подошел, но с потрясающей остротой почувствовала прикосновение его рук, словно ничего, кроме них, для нее не существовало.

Он поднял ее и медленно понес по дорожке к дому.

Голт шел, не глядя на Дагни, крепко прижимая ее к себе, словно хотел остановить время, удержать тот миг, когда прижал ее к груди. Она ощущала каждый его шаг, словно они вели ее к еще не до конца понятной, но великой цели; они звучали, как бой часов, и, услышав один их удар, она не осмеливалась думать о следующем.

Головы их почти соприкасались, его волосы касались ее щеки, но она знала, что никто не сделает движения, чтобы их лица сблизились. Это было неожиданное состояние полного, спо-

койного опьянения; чувство, словно лучи двух звезд наконец-то встретились, она видела, что он идет с закрытыми глазами, словно даже взгляд мог стать сейчас помехой.

Голт вошел в дом и, проходя по гостиной, не смотрел налево, не смотрела туда и она, но *знала,* что оба видят дверь, ведущую в его спальню. Он вошел в лунный свет, падающий на кровать для гостей, опустил на нее Дагни; она почувствовала, как он чуть задержал руки на ее плечах и талии, и когда прикосновение его пальцев исчезло, поняла, что этот миг истек.

Голт отошел и щелкнул выключателем, отдав комнату во власть неумолимо яркого света. Он стоял неподвижно, словно требуя ее взгляда; выражение лица его было выжидающим, суровым.

— Вы забыли, что хотели застрелить меня, как только увидите?

Его неподвижность, незащищенность придавали словам жесткую реальность обвинения. Дагни вздрогнула и резко выпрямилась, это походило на крик протеста, но она посмотрела ему в глаза и спокойно ответила:

— Это правда. Хотела.

— Тогда действуйте.

Голос ее прозвучал негромко, в его напряженности слышались и капитуляция, и презрительный упрек:

— Вы же знаете, что я этого не сделаю, правда?

Голт покачал головой.

— Нет, вам нужно помнить, что у вас было такое желание. В прошлом вы были правы. Пока являлись частью внешнего мира, вы должны были стараться уничтожить меня. Теперь перед вами открыты два пути, и один приведет к тому, что когда-нибудь вы будете вынуждены это сделать.

Дагни не ответила, она сидела, опустив взгляд, и он видел, как разметало ее волосы, когда она помотала головой в отчаянном протесте.

— Вы и только вы опасны для меня. Только вы можете выдать меня врагам. Если останетесь с ними, выдадите. Выберите этот путь, коли угодно, но отдавайте себе полный отчет в своих поступках. Сейчас не отвечайте. Но пока не ответили, — в суровости его голоса звучало насилие над собой, — помните, что я знаю значение каждого ответа.

— Так же полно, как я? — прошептала она.

— Так же.

Голт повернулся, собираясь уйти, и вдруг взгляд

ее упал на надписи на стенах, которые она уже видела и о которых забыла. Они были выведены на полированном дереве и все еще хранили силу нажима карандаша: «Ты доведешь дело до конца. Эллис Уайэтт», «К утру все будет хорошо. Кен Данаггер», «Оно того стоит. Роджер Марш». Были и другие.

— Что это? — спросила Дагни.

Голт улыбнулся.

— Это комната, где они провели первую ночь в долине. Первая ночь всегда самая трудная. Это последний рывок разрыва с воспоминаниями, весьма мучительный. Я размещаю вновь прибывших здесь, чтобы они могли позвать меня при желании. Разговариваю с ними, если они не могут уснуть. Большинство не могут. Но к утру это проходит… Они все *пережили* эту комнату. Теперь называют ее камерой пыток или прихожей, потому что всем приходилось входить в долину через мой дом.

На пороге Голт остановился и добавил:

— Я не думал, что здесь окажетесь и вы. Спокойной ночи, мисс Таггерт.

ГЛАВА II. УТОПИЯ АЛЧНОСТИ

— Доброе утро.

Дагни взглянула на Голта, стоявшего на пороге комнаты. В окнах позади него высились горы в серебристо-розовом мареве, казавшемся ярче дневного света. Солнце уже взошло где-то над землей, но еще не поднялось над этим барьером, и небо сияло, говоря о его приближении. Она только что слышала радостное приветствие наступившему утру — но не птичье пение, а звон телефона, видела начало нового дня — но не в блестящей зелени ветвей снаружи, а в сверкании хромированной плиты, сиянии стеклянной пепельницы на столе и в свежей белизне рубашки Голта. В ее голосе прозвучала та же теплота, что и в его приветствии:

— Доброе утро.

Голт собрал со стола исписанные карандашом листки с расчетами и сунул в карман.

— Нужно ехать на электростанцию, — сказал он. — Мне сейчас позвонили, что с лучевым экраном неполадки. Видимо, его повредил ваш самолет. Через полчаса вернусь и приготовлю завтрак.

Небрежная обыденность его голоса, манера воспринимать ее присутствие как часть привычного домашнего распорядка, как нечто само собой разумеющееся, подсказали Дагни, что за ними кроется особый смысл, и что Голт говорит так намеренно.

Она так же небрежно ответила:

— Если принесете оставленную в машине трость, к вашему возвращению я приготовлю нам завтрак.

Голт посмотрел на нее с легким удивлением; взгляд его скользнул от забинтованной лодыжки к коротким рукавам блузки, оставлявшим на виду руки с толстой повязкой на левом локте. Но прозрачная блузка, открытый воротник, волосы, спадающие на плечи, казавшиеся невинно обнаженными под тонкой тканью, делали ее похожей не на инвалида, а на школьницу, и бинты ничего не значили. Он улыбнулся, но словно бы не ей, а какому-то доброму воспоминанию.

— Как скажете.

Странно было оставаться в его доме одной. С одной стороны, тут было незнакомое раньше Дагни чувство благоговейного уважения, делавшее все ее движения робкими, словно прикосновение к любому предмету было чрезмерной интимно-

стью, с другой — беззаботная непринужденность, ощущение, что она здесь дома, что здесь ей принадлежит все, включая хозяина.

Странно было испытывать такую чистую радость от элементарного приготовления завтрака. Оно казалось самоцелью, словно налить воды в кофейник, выжать сок из апельсинов, нарезать хлеб дарило удовольствие, которого ожидаешь, но редко получаешь. Ее поразила мысль, что она не испытывала такой радости от работы с тех пор, как сидела за диспетчерским столом в Рокдейле.

Накрывая стол, Дагни увидела торопливо идущего к дому мужчину: быстрого, проворного, перескакивающего через валуны легко, будто взлетая. Он распахнул дверь, позвал: «Эй, Джон!» и, увидев ее, замер. У него были золотистые волосы и лицо такой совершенной красоты, что Дагни остолбенела, глядя на него даже не восхищенно, а изумленно.

Он смотрел на нее так, словно присутствие женщины в этом доме было для него чем-то невозможным. Выражение его лица менялось на глазах: сначала на нем мелькнуло удивление, будто он узнал ее, потом его озарила улыбка — отчасти веселая, отчасти торжественная.

— О, вы примкнули к нам?

— Нет, — сухо ответила Дагни. — Не примкнула. Я штрейкбрехер.

Мужчина снисходительно рассмеялся, словно взрослый над ребенком, лепет которого ему невнятен.

— Если б вы осознавали, что говорите, то поняли бы, что здесь это невозможно.

— Я взломала ворота. В буквальном смысле.

Мужчина поглядел на ее бинты, задумался на мгновение, потом взгляд его стал почти наглым, и он с откровенным любопытством спросил:

— Когда?

— Вчера.

— Каким образом?

— На самолете.

— С какой стати вы вздумали здесь летать?

У него была уверенная, властная манера аристократа или хулигана, выглядел он, как первый, а одет был, как второй. Дагни несколько секунд рассматривала его, умышленно затягивая паузу.

— Хотела приземлиться на доисторический мираж, — ответила она, — и приземлилась.

— Да, вы штрейкбрехер, — сказал он и усмехнулся, словно поняв суть проблемы. — А где

Джон?

— Мистер Голт на электростанции. Должен вернуться с минуты на минуту.

Мужчина, не спрашивая разрешения, сел в кресло, словно у себя дома. Дагни молча вернулась к своей работе. Он наблюдал за ней, не скрывая улыбки, словно в том, как она раскладывает на кухне столовые приборы, было нечто парадоксальное.

— Что сказал Франсиско, увидев вас здесь? — спросил он.

Дагни резко повернулась к нему, но ответила спокойно:

— Его пока что здесь нет.

— Разве? — Мужчина казался удивленным. — Вы уверены?

— Мне так сказали.

Мужчина закурил сигарету. Дагни попыталась догадаться, какую профессию он избрал, любил и оставил, чтобы поселиться в этой долине. И не смогла: все казалось неподходящим; она поймала себя на нелепом предположении, что у него вообще не было профессии, потому что любая работа казалась слишком опасной для такой немыслимой красоты. Впрочем, эта мысль была совершенно целомудренной: она видела

в нем не мужчину, а ожившее произведение искусства. И оно, казалось, подчеркивало бездушие внешнего мира, потому что такое совершенство подвергалось потрясениям, нервотрепкам, ударам, уготованным каждому любящему свою работу.

Но предположение ее казалось тем более нелепым, что в чертах его лица проглядывала такая суровость, какой не страшны никакие опасности.

— Нет, мисс Таггерт, — неожиданно сказал он, поймав ее взгляд, — раньше вы ни разу меня не видели.

Она быстро отвела взгляд, вдруг поняв, что откровенно его разглядывала.

— Откуда вы знаете, кто я?

— Во-первых, много раз видел в газетах ваши фотографии. Во-вторых, насколько нам известно, вы — единственная женщина, оставшаяся во внешнем мире, которой позволят остаться в Ущелье Голта. В-третьих, вы — единственная женщина, у которой хватило мужества — и расточительности — до сих пор оставаться штрейкбрехером.

— Откуда вы знаете, что я была штрейкбрехером?

— Во-первых, вы сами так сказали. А потом… иначе бы вы знали, что доисторический мираж вовсе не эта долина, а тот взгляд на жизнь, которого придерживается внешний мир.

Они услышали шум мотора, увидели остановившуюся перед домом машину. Дагни невольно отметила скорость, с какой нежданный гость при виде Голта вскочил на ноги; не будь это вызвано желанием как можно скорее с ним встретиться, походило бы на чисто армейское чинопочитание.

Дагни отметила, как замер Голт, когда вошел и увидел гостя. Затем он улыбнулся, но голос его был странно тихим, почти торжественным, словно в нем звучало невольное облегчение, когда он очень спокойно произнес:

— Здравствуй.

— Привет, Джон, — весело ответил гость.

Она заметила, что их рукопожатие продлилось на миг дольше, чем следовало, как у людей, которые не были уверены, что их предыдущая встреча не окажется последней.

Голт повернулся к ней.

— Вы уже познакомились? — спросил он, обращаясь к обоим.

— Не совсем, — ответил гость.

— Мисс Таггерт, позвольте представить вам Рагнара Даннескьолда.

Дагни поняла, какое выражение было у нее на лице, когда услышала голос гостя словно бы издалека:

— Мисс Таггерт, не надо пугаться. В Ущелье Голта я не опасен ни для кого.

Она смогла лишь покачать головой, потом вновь обрела дар речи и сказала:

— Дело не в том, как вы поступаете с другими… в том, как они поступают с вами…

Его смех вывел ее из ступора.

— Будьте осторожны, мисс Таггерт. Если начинаете так считать, то недолго останетесь штрейкбрехером, — сказал Даннескьолд. И добавил: — Но вам полезней будет присматриваться к удачам людей из Ущелья Голта, а не к их ошибкам: они двенадцать лет беспокоились обо мне. И совершенно напрасно.

Потом взглянул на Голта.

— Когда появился здесь? — спросил тот.

— Вчера поздно вечером.

— Садись, позавтракай с нами.

— А где Франсиско? Почему его до сих пор нет?

— Не знаю, — ответил Голт, чуть нахмурясь. — Я только что справлялся в аэропорте. Вестей

от него не поступало.

Когда Дагни пошла на кухню, Голт хотел последовать за ней.

— Нет, — сказала она. — Сегодня это моя обязанность.

— Давайте помогу.

— В этой долине не просят помощи, так ведь?

Голт улыбнулся.

— Да, верно.

Дагни никогда еще не двигалась с таким удовольствием; ступни словно не ощущали тяжести тела, трость стала лишь дополнительной деталью, придающей особую элегантность походке — быстрой, легкой и прямой. Осанка Дагни говорила о том, что мужчины наблюдают за ней, и ей это прекрасно известно: она держала голову, словно актриса на сцене, словно дама на балу, словно победительница в некоем безмолвном соперничестве.

— Франсиско будет рад узнать, что сегодня его подменили вы, — сказал Даннескьолд, когда Дагни села за стол.

— Подменила?

— Видите ли, сегодня первое июня, и мы втроем: Джон, Франсиско и я — двенадцать лет завтракали в этот день вместе.

— Здесь?

— Сперва нет. Но здесь — уже восемь лет, с тех пор, как построен дом, — он с улыбкой пожал плечами. — Странно, что Франсиско, у которого за плечами больше веков традиций, чем у меня, первым нарушил наш обычай.

— А мистер Голт? — спросила Дагни. — Сколько веков традиций у него?

— У Джона? Позади ни одного, все впереди.

— Оставь века, — сказал Голт. — Скажи, какой год у тебя позади. Потерял кого-нибудь из своих людей?

— Нет.

— Потерял время?

— Имеешь в виду, был ли я ранен? Нет, не получил ни единой царапины после того случая десять лет назад, когда был еще дилетантом, о чем уже пора забыть. В этом году я не подвергался никакой опасности… собственно говоря, находился даже в большей безопасности, чем если бы, по Директиве 10–289, содержал аптеку в каком-нибудь маленьком городке.

— Проиграл бои?

— Ни одного. В этом году все потери нес противник. Грабители потеряли большинство судов по моей милости, и большинство людей — по тво-

ей. У тебя тоже ведь был хороший год, верно? Я знаю, следил за твоими делами. Со времени нашего последнего завтрака ты увел всех, кого хотел, из штата Колорадо и еще кое-кого, например Кена Данаггера, это большая удача. Но позволь сказать тебе о еще более значимом человеке, который уже почти твой. Ты скоро его заполучишь, он висит на тонкой ниточке и, можно сказать, готов упасть к твоим ногам. Этот человек спас мне жизнь — сам видишь, как далеко он зашел.

Голт откинулся на спинку стула и прищурился.

— Так значит, говоришь, никакой опасности не было?

Даннескьолд засмеялся.

— О, я пошел на небольшой риск. Он того стоил. Такой приятной встречи у меня в жизни не было. Мне не терпелось рассказать тебе о ней. Эту историю ты с удовольствием выслушаешь. Знаешь, кто этот человек? Хэнк Риарден. Я…

— Нет.

Это произнес Джон Голт. Это был приказ. В коротком слове прозвучала нотка ярости, которой оба раньше от него не слышали.

— Что? — с удивлением негромко спросил Даннескьолд.

– *Сейчас* не рассказывай.

— Но ты ведь сам говорил, что именно Хэнк Риарден — тот человек, кому здесь самое место.

— Все верно. Но расскажешь *потом*.

Дагни пристально вглядывалась в лицо Голта, но не могла найти никакого объяснения его внезапному взрыву, видела только бесстрастное, замкнутое выражение то ли решимости, то ли нерешительности, напряженные скулы, плотно сжатый рот. «Что бы он ни узнал обо мне, — подумала она, — ему просто *не может быть* известно что-то такое, чем объяснялась бы подобная реакция».

— Вы встречались с Хэнком Риарденом? — спросила Дагни Даннескьолда. — И он спас вам жизнь?

— Да.

— Я хочу послушать об этом.

— А я — нет, — отрезал Голт.

— Почему?

— Вы не одна из нас, мисс Таггерт.

Дагни чуть вызывающе улыбнулась:

— Вы подумали, что я могу помешать вам заполучить Хэнка Риардена?

— Нет, я подумал не об этом.

Она заметила, что Даннескьолд смотрит

на Голта так, словно тоже находит его поведение необъяснимым. Голт открыто и спокойно выдерживал его взгляд, словно предлагая подыскать объяснение и заверяя, что найти его не удастся. Когда он насмешливо прищурился, Дагни поняла, что в этой дуэли взглядов Даннескьолд потерпел поражение.

— Чего еще, — спросил Голт, — добился ты в этом году?

— Пренебрег законом всемирного тяготения.

— Ты всегда это делал. Каким образом на сей раз?

— Перелетом с середины Атлантики до штата Колорадо на перегруженном золотом самолете. Подожди, пусть Мидас увидит, какой вклад я сделаю в его банк. Мои клиенты в этом году станут богаче на… Послушай, ты сказал мисс Таггерт, что она тоже мой клиент?

— Нет, еще не говорил. Можешь сказать сам, если хочешь.

— Я… ваш клиент? — искренне удивилась Дагни.

— Не возмущайтесь, мисс Таггерт, — заговорил Даннескьолд. — И не протестуйте. Я привык к протестам. Меня ведь здесь считают сумасбродом. Никто не одобряет моих методов вести нашу

общую битву. Джон не одобряет. Доктор Экстон не одобряет. Думают, моя жизнь слишком ценна для этого. Но, видите ли, мой отец был епископом, но из всех его уроков я принял как закон лишь одно изречение: «Кто мечом убивает, тому самому надлежит быть убиту мечом».

— Что вы имеете в виду?

— Что насилие непрактично. Если мир полагает, что его объединенные силы — самое действенное средство управлять мною, то пусть узнает исход борьбы между грубой силой и силой, управляемой разумом. Даже Джон признает, что в наше время я имел моральное право избрать тот путь, который избрал. Я делаю то же, что и он, — только на свой манер. Он лишает грабителей человеческого духа. Я — результатов деятельности человеческого духа. Он лишает их разума. Я — богатства. Он обедняет душу мира. Я — тело. Он дает грабителям урок, который им придется усвоить, только я нетерпелив и хочу ускорить процесс их обучения. Но, как и Джон, просто повинуюсь их моральному кодексу и отказываюсь предоставлять им двойные критерии за свой счет. Или за счет Риардена. Или за ваш.

— О чем это вы?

— О методе взимания налогов. Все схемы

сбора налогов сложны, но моя очень проста, так как представляет собой обнаженную суть всех прочих. Давайте объясню.

Дагни вся обратилась в слух. Она слышала его голос, перечисляющий сухим тоном педантичного бухгалтера сведения о трансфертах, банковских счетах, возвратах подоходных налогов, словно Даннескьолд читал вслух пыльные страницы гроссбуха… особого гроссбуха, где каждая запись сделана благодаря тому, что люди предлагали в виде дополнительного обеспечения собственную кровь, и она могла быть взята в любой момент при любой ошибке или описке счетовода. Слушая, она не могла оторвать глаз от совершенной красоты его лица и все время думала, что за эту голову мир назначил многомиллионное вознаграждение, дабы предать ее тлену… Лицо, казавшееся ей слишком прекрасным для того, чтобы карьера оставляла на нем шрамы… Она думала, пропуская половину слов: *«Это лицо слишком красиво, чтобы подвергать его риску».* Потом ее осенило, что его физическое совершенство лишь иллюстрация, наглядный урок, преподанный ей с кричаще очевидной откровенностью, о природе внешнего мира и судьбе всех человеческих ценностей

в бесчеловечном веке. «Какими бы ни были справедливость или порочность его пути, — думала она, — как они могут… Нет! Он избрал верный путь; в том-то и весь ужас, что справедливость просто не может избрать иной, и я не могу судить его, не могу сказать ни слова одобрения, ни упрека».

— …и своих клиентов, мисс Таггерт, я выбирал неторопливо, по одному. Чтобы не сомневаться в их репутации и пользе для общества будущего. В моем списке реституций ваша фамилия стоит одной из первых.

Дагни усилием воли сохранила непроницаемое выражение лица и ответила только:

— Ясно.

— Правда, ваш счет не самый большой, хотя за последние двенадцать лет у вас силой отняли огромные суммы. Вы увидите — как указано на копиях квитанций возврата взысканных подоходных налогов, которые передаст вам Маллиган, — что я возмещаю вам лишь те налоги, которые вы платили с жалованья вице-президента компании, а те, что с доходов по акциям *«Таггерт Трансконтинентал»*, — нет. Вы заработали каждый цент, вложенный в эти акции, и во времена вашего отца я вернул бы вам всю

вашу прибыль до цента, но под управлением вашего брата *«Таггерт Трансконтинентал»* получила свою долю награбленного — компания выколачивала доходы силой, с помощью правительственных протекций, субсидий, мораториев, директив. Вы за это не в ответе, вы, по сути, первая жертва этой политики, но я возвращаю лишь *заработанные* деньги, а не те, которые являются частью награбленного.

— Ясно.

Завтрак подошел к концу. Даннескьолд закурил сигарету и посмотрел на Дагни сквозь первую струйку дыма, словно следя за напряженной борьбой ее сознания с услышанным, потом улыбнулся Голту и встал.

— Побегу, — сказал он. — Жена ждет.

— Что?! — задохнулась Дагни.

— Жена ждет, — весело повторил он, словно не понимая причины ее потрясения.

— Кто она?

— Кэй Ладлоу.

На Дагни нахлынуло столько мыслей, что она не могла в них разобраться.

— Когда… когда вы поженились?

— Четыре года назад.

— Как вы могли показаться где-то в публичном

месте во время бракосочетания?

— Нас сочетал судья Наррангасетт здесь, в этой долине.

— Как… — Дагни попыталась сдержаться, но слова невольно вырвались в беспомощном, негодующем протесте — против него, судьбы или внешнего мира, она не знала. — Как она может жить здесь одна одиннадцать месяцев в году, постоянно думая, что вы в любую минуту можете…

Она не договорила.

Даннескьолд улыбался, но Дагни отлично видела, что он *правильно понял ее*, иначе она никогда бы не заслужила права на такую улыбку.

— Она может жить так, мисс Таггерт, потому что мы не считаем, что земля — это юдоль скорби, где человек обречен на гибель. Мы не считаем, что трагедия — наша неизбежная участь, и не живем в постоянном страхе перед несчастьем. Не ожидаем беды, пока нет видимых причин ожидать ее, и когда сталкиваемся с ней, способны ей противостоять. Неестественными мы считаем страдания, а не счастье. Не успех, а поражение считаем ненормальным исключением в человеческой жизни.

Голт проводил его до двери, вернулся,

сел за стол и неторопливо протянул руку к кофейнику.

Дагни внезапно вскочила, словно подброшенная мощной струей сжатого пара, сорвавшего предохранительный клапан.

— Думаете, я приму его деньги? — вскричала она.

Голт подождал, чтобы дымящаяся струя из кофейника наполнила его чашечку, потом, подняв взгляд на Дагни, ответил:

— Да, думаю, примете.

— Нет! Я не позволю ему рисковать ради этого жизнью!

— Тут вы бессильны что-либо поделать.

— Я могу никогда не потребовать этих денег!

— Да, можете.

— Тогда они пролежат в банке до Судного дня!

— Нет, не пролежат. Если вы не потребуете этих денег, часть их — очень малая — будет передана мне от вашего имени.

— От моего? Почему?

— В оплату за жилье и стол.

Дагни уставилась на него, гнев на ее лице сменило недоумение, и она медленно опустилась на стул.

Голт улыбнулся:

— Как долго, по-вашему, вы пробудете здесь, мисс Таггерт? — в ее глазах стояли испуг и беспомощность. — Не думали об этом? А я думал. Вы проживете здесь месяц. Месяц отпуска, как и все мы. Я не спрашиваю вашего согласия — вы же не спрашивали нашего, когда появились здесь. Вы нарушили наши правила и должны примириться с последствиями. В течение этого месяца долину не покинет никто. Я, конечно, мог бы отпустить вас, но не отпущу. Закона, требующего, чтобы я удерживал вас, не существует, но, ворвавшись сюда, вы дали мне право действовать по своему усмотрению — и я воспользуюсь этим, так как хочу, чтобы вы были здесь. Если в конце месяца вы примете решение вернуться, у вас будет такая возможность. Но не раньше.

Дагни сидела прямо; напряжение покинуло ее лицо, но губы чуть растянулись в жесткой, решительной улыбке, не сулящей противнику ничего хорошего; глаза холодно блестели, хотя и затаили какую-то странную мягкость, словно глаза врага, который твердо намерен сражаться, но совсем не расстроится, если окажется побежден.

— Прекрасно, — сказала она.

— Я буду взимать с вас плату за жилье и стол — наши правила запрещают содержать человека

даром. Кое у кого есть жены и дети, но тут существуют взаимный обмен и взаимная плата такого рода, — он выразительно взглянул на нее, — какую я не имею права получать. Поэтому буду брать с вас по пятьдесят центов в день, и вы расплатитесь со мной, когда вступите во владение счетом, открытым на ваше имя в банке Маллигана. Если откажетесь от счета, Маллиган снимет с него ваш долг и отдаст мне деньги по первому требованию.

— Я принимаю ваши условия, — ответила Дагни; в голосе ее была расчетливая, осторожная медлительность торговца. — Но не позволю покрывать из этих денег мои долги.

— Как же еще вы собираетесь платить?

— Буду отрабатывать жилье и стол.

— Каким образом?

— В качестве кухарки и прислуги.

Дагни впервые увидела его потрясенным — до глубины души и с такой силой, что предвидеть этого, конечно же, не могла. Голт разразился смехом — но смеялся так, словно получил удар, откуда совершенно не ждал, словно уловил в ее словах нечто гораздо большее, чем они значили в действительности; она поняла, что невольно задела его прошлое, пробудив какие-то воспо-

минания и чувства, знать которых не могла. Он смеялся так, словно увидел вдруг какой-то далекий образ и хохотал ему в лицо, словно победил наконец, и мстил за что-то давнее, ей неведомое.

— Если возьмете меня на работу, — невозмутимо продолжила Дагни, лицо ее было официально вежливым, голос отчетливым и строгим, — я буду стряпать, убирать в доме, стирать и выполнять прочие подобные обязанности, которые требуются от прислуги, в счет оплаты жилья, стола и тех денег, какие потребуются мне на кое-какую одежду. Возможно, ближайшие несколько дней травмы будут мне слегка мешать, но они пройдут, и я смогу работать в полную силу.

— Вы *действительно* этого хотите? — спросил Голт.

— Хочу, — ответила Дагни и умолкла, чтобы с губ не сорвались заветные слова: «Больше всего на свете».

Голт все еще улыбался; улыбка была веселой, но, казалось, это веселье может в любой момент перерасти в некое ликующее торжество.

— Хорошо, мисс Таггерт, — сказал он, — я беру вас на работу.

Она сухо кивнула со сдержанной благодарностью.

— Спасибо.

— В дополнение к жилью и столу будут платить вам десять долларов в месяц.

— Прекрасно.

— Буду первым человеком в долине, нанявшим прислугу, — Голт встал, полез в карман и выложил на стол золотую пятидолларовую монету. — Это аванс.

Потянувшись к монете, Дагни с удивлением обнаружила, что испытывает пылкую, отчаянную, робкую надежду девушки, впервые принятой на работу: надежду, что окажется достойной этой платы.

— Да, сэр, — сказала она, потупясь.

* * *

На третий день ее пребывания в долине прилетел Оуэн Келлог. Дагни не могла понять, что его поразило больше: она, стоявшая на краю летного поля, когда он спускался по трапу, ее одежда — тонкая, прозрачная блузка, сшитая в самом дорогом ателье Нью-Йорка, и широкая юбка из набивного ситца, купленная в долине за шестьдесят центов, — трость, бинты или висевшая на руке корзинка с продуктами. Келлог спускался вместе с группой мужчин; увидев ее,

он остановился, потом побежал к ней, словно влекомый столь сильным чувством, что оно, каким бы ни было, больше походило на ужас.

— Мисс Таггерт… — прошептал Келлог и умолк, а она со смехом стала объяснять, как оказалась здесь раньше него.

Он слушал с таким видом, будто это не имело значения, а потом выплеснул то, от чего только что оправился:

— А мы-то думали, что вы погибли!

— Кто думал?

— Все мы… то есть все во внешнем мире.

Улыбка исчезла с лица Дагни, когда после радостных восклицаний Келлог заговорил:

— Мисс Таггерт, помните? Вы сказали, чтобы я позвонил в Уинстон, сообщил, что вы будете там на следующий день, к полудню. То есть позавчера. Тридцать первого мая. Но вы не появились в Уинстоне, и под вечер все радиостанции сообщали о вашей гибели в авиакатастрофе где-то в Скалистых горах.

Дагни молча кивнула, осмысливая события, о которых не задумывалась.

— Я узнал об этом в «*Комете*», — продолжал Келлог. — На какой-то маленькой станции в Нью-Мексико. Начальник поезда держал там

«*Комету*» целый час, пока мы с ним проверяли это известие, звонили по междугородной связи в другие города. Он был потрясен так же, как и я. Все были потрясены: поездная бригада, начальник станции, стрелочники. Они толпились вокруг меня, пока я звонил в отделы новостей нью-йоркских и денверских газет. Узнали мы очень мало. Только то, что вы перед самым рассветом поднялись с афтонского аэродрома, что как будто преследовали чей-то самолет; дежурный оператор сказал, что вы полетели на юго-восток, и что потом никто вас больше не видел… и что поисковые группы прочесывали Скалистые горы, ища обломки вашего самолета.

Дагни невольно спросила:

— Пришла «*Комета*» в Сан-Франциско?

— Не знаю. Я сошел с нее, когда она ползла к северу по Аризоне. Было очень много задержек, неполадок, противоречивых распоряжений. Я всю ночь добирался до Колорадо попутным транспортом: на грузовиках, в колясках, на телегах, — и вовремя прибыл к месту сбора, где мы ждали, когда прилетит самолет Мидаса и доставит нас сюда.

Дагни медленно пошла по тропинке к машине, оставленной возле «*Продовольственного рынка*

Хэммонда». Келлог следовал за ней и когда заговорил снова, голос его стал чуть тише, спокойнее, под стать ее шагам, словно они оба хотели что-то отсрочить:

— Я нашел работу для Джеффа Аллена, — сказал Келлог; тон его голоса был странно торжественным, подобающим фразе «Я исполнил вашу последнюю волю». — Когда мы приехали в Лорел, начальник станции тут же приставил его к делу. Ему очень был нужен здоровый… то есть здравомыслящий человек.

Они подошли к машине, но Дагни не села в нее.

— Мисс Таггерт, вы не очень пострадали, так ведь? Вы сказали, что разбились, но… это не опасно?

— Нет, ничуть не опасно. Завтра я уже смогу обходиться без машины Маллигана, а еще через день-другой и без этой штуки.

Она помахала тростью и небрежно бросила ее в салон.

Они стояли молча; Дагни ждала.

— С той станции в Нью-Мексико, — неторопливо заговорил Келлог, — последний звонок я сделал в Пенсильванию. Говорил с Хэнком Риарденом. Сообщил ему все. Он выслушал,

сделал паузу, потом сказал: «Спасибо, что позвонили». — Келлог опустил взгляд и от души добавил: — Не хочу никогда больше слышать такой паузы.

Он посмотрел ей в глаза; в его взгляде не было упрека, словно еще тогда, услышав ее просьбу, он обо всем догадался.

— Спасибо, — сказала Дагни, садясь за руль. — Подвезти вас? Мне нужно вернуться и приготовить обед к приходу моего работодателя.

Когда Дагни вошла в дом Голта и осталась одна в тихой, залитой солнцем комнате, она, наконец, постаралась разобраться в своих чувствах. Посмотрела в окно на горы, закрывавшие часть неба на востоке. Подумала о Хэнке Риардене, сидящем за письменным столом в двух тысячах миль от нее с окаменевшим от горя лицом, — как каменело оно всегда под всеми ударами, — и ощутила отчаянное желание бороться за Хэнка, за его прошлое, за эту напряженность лица, питавшую ее мужество… точно так же ей хотелось бороться за «*Комету*», еле-еле ползущую по полуразрушенному пути. Она содрогнулась и зажмурилась, чувствуя себя виновной в двойной измене, как бы повисшей в пространстве между долиной гениев и всем прочим миром. В этот момент ей казалось,

что она не имеет права ни на то, ни на другое.

Это чувство прошло, когда она сидела напротив Голта за обеденным столом. Голт смотрел на Дагни открыто, спокойно, словно ее присутствие стало чем-то обычным, словно он привык уже видеть ее каждый день и был этому рад.

Дагни слегка откинулась на спинку стула, как бы смиряясь с таким положением вещей, и нарочито сухо, деловито сказала:

— Я осмотрела ваши рубашки, сэр, и обнаружила, что на одной нет двух пуговиц, а у другой протерся левый рукав. Хотите, приведу их в порядок?

— Да, конечно… если сумеете.

— Сумею.

Взгляд Голта не изменился, он только молча кивнул, словно услышал именно то, что хотел, — только Дагни сомневалась, что он вообще хотел от нее что-нибудь услышать.

За окном грозовые тучи затягивали на востоке все небо. Дагни задумалась, почему вдруг у нее пропало желание смотреть на то, что происходит за окном, почему вдруг захотелось не расставаться с золотистыми пятнами на столешнице, на булочках, на медном кофейнике, на волосах Голта — словно с островком на краю бескрайней

пустоты.

Потом она услышала свой голос, спрашивающий невольно, неожиданно для нее самой, и поняла, что хочет избежать хотя бы одной измены:

— У вас дозволена какая-то связь с внешним миром?

— Нет.

— Никакой? Нельзя даже отправить письмо без обратного адреса?

— Нет.

— Даже краткого сообщения, если в нем не выданы ваши секреты или координаты?

— Отсюда нельзя. В течение этого месяца. А посторонним *вообще* нельзя.

Заметив, что избегает смотреть ему в глаза, Дагни заставила себя поднять голову и прямо посмотреть на него. Взгляд Голта изменился: стал пристальным, неподвижным, беспощадно проницательным. Он спросил, глядя на нее так, словно знал причину ее вопросов:

— Хотите обратиться с просьбой сделать для вас исключение?

— Нет, — ответила Дагни, не опуская глаз.

На другое утро после завтрака, когда Дагни сидела за шитьем, старательно накладывая заплату

на рукав его рубашки, в своей комнате, при закрытой двери, чтобы Голт не видел ее неловкости в непривычном деле, она услышала, как перед домом остановилась машина. Уловила звук торопливых шагов Голта в гостиной, услышала, как он распахнул входную дверь и с радостным гневом вскричал:

— Ну наконец-то!

Дагни поднялась на ноги, но замерла: голос Голта резко изменился, посерьезнел, словно он увидел что-то неожиданное:

— В чем дело?

— Привет, Джон, — послышался усталый, негромкий, но ясный и твердый ответ.

Дагни села на кровать, внезапно почувствовав, что силы оставили ее: это был голос Франсиско.

Голт озабоченно спросил:

— Что случилось?

— Потом расскажу.

— Почему так поздно?

— Через час нужно снова улетать.

— Но почему?

— Джон, я прилетел только сказать тебе, что в этом году не смогу здесь оставаться.

Наступило молчание, потом Голт негромко, сдержанно спросил:

— Что-то серьезное?

— Да. Я… может, вернусь до конца месяца. Не знаю… Не знаю, смогу ли я покончить с этим быстро, или… или нет.

— Франсиско, ты способен сейчас вынести потрясение?

— Я? Сейчас меня ничто не может потрясти.

— У меня в гостевой комнате человек, которого тебе нужно увидеть. Для тебя это явится шоком, поэтому заранее предупреждаю, что этот человек все еще штрейкбрехер.

— Что? Штрейкбрехер? В твоем доме?

— Давай расскажу, как…

— Это я хочу сам увидеть!

Дагни услышала презрительный смешок Франсиско, его быстрые шаги, увидела, как дверь распахнулась и как Голт закрыл ее, оставив их наедине.

Дагни не знала, как долго Франсиско смотрел на нее, но в какой-то миг она вдруг увидела, что он стоит на коленях, держась за ее колени и прижавшись лицом к ее ногам, почувствовала, как по ним пробежала дрожь, передавшись всему телу, и вывела ее из оцепенения.

Дагни с удивлением увидела свою руку, нежно гладящую его волосы, она подумала, что не имеет

права этого делать, но чувствовала, будто из ее ладони исходит некий ток успокоения, окутывая их обоих, заглаживая прошлое. Франсиско не двигался, не издавал ни звука, словно одно лишь прикосновение к ней говорило все, что он должен сказать.

Наконец Франсиско поднял голову; он выглядел так же, как она, когда очнулась после крушения в долине: будто на свете не существует никакой боли. Он смеялся.

— Дагни, Дагни, Дагни… — голос его звучал так, как будто это не было признанием, вырванным из плена долгих лет, словно он повторял нечто давно известное, смеясь над самой мыслью о том, что это еще не было сказано. — Я люблю тебя. Ты испугалась, что он заставил меня, наконец, это произнести? Я повторю, сколько захочешь — я люблю тебя, дорогая, люблю и всегда буду любить. Не пугайся, пусть ты никогда не будешь мне принадлежать, какое это имеет значение? Ты жива, ты здесь и теперь знаешь… и все очень просто, правда? Теперь ты понимаешь, в чем было дело, и почему я должен был покинуть тебя? — Он указал на долину: — Вот твоя земля, твое царство, твой мир. Дагни, я всегда любил тебя, и то, что покинул, было частью этой любви.

Франсиско взял ее руки, прижал к губам и держал, не шевелясь, не в поцелуе, а в долгом миге молчаливого покоя, словно речь отвлекала его от главного факта — ее присутствия здесь, хотя сказать хотелось очень многое, выплеснуть все невысказанные за прошедшие годы слова.

— Женщины, за которыми я ухлестывал… ты же не верила в это, правда? Я не притронулся ни к одной — но, думаю, ты это знала, знала все время. Я вынужден был играть роль повесы, чтобы грабители меня не заподозрили, когда я разваливал *«Д'Анкония Коппер»* на виду у всего мира. Это порок их системы, они готовы сражаться с любым энергичным, честолюбивым человеком, но если видят никчемного шалопая, думают, что он — их сторонник, что он безопасен — безопасен! Таков их взгляд на жизнь, но они поймут! Поймут, безопасно ли зло и практична ли неспособность!..

Дагни, в тот вечер, когда я впервые понял, что люблю тебя, я понял и то, что должен уйти. В тот вечер, когда ты вошла в мой номер, я понял, что ты значишь для меня и что ждет тебя в будущем. Если б ты меньше для меня значила, то, может быть, задержала бы на какое-то время. Но это была ты, *ты* стала окончательным доводом, ко-

торый подвигнул меня тебя оставить. В тот вечер я просил твоей помощи — в противостоянии Голту. Но я знал, что ты — самое сильное его оружие против меня, хотя ни ты, ни он не могли этого знать. Ты воплощала собой все, что он искал, все, ради чего, по его словам, нужно жить или умереть, если потребуется… я был готов примкнуть к нему, когда он той весной неожиданно вызвал меня в Нью-Йорк. Какое-то время я не имел от него вестей. Голт решал ту же проблему, что я. Он решил ее… Помнишь? Тогда я пропал на три года. Дагни, когда я принял компанию отца, когда начал иметь дело со всей промышленной системой мира, я стал понимать природу зла, относительно нее у меня существовали подозрения, но я считал их слишком чудовищными, чтобы поверить им. Я увидел паразитарную систему налогообложения, много веков подрывавшую *«Д'Анкония Коппер»*, истощавшую нас неизвестно по какому праву; увидел, что правительственные постановления принимаются, чтобы навредить мне, потому что я добивался успеха, и помочь моим конкурентам, потому что они были бездельниками и неудачниками; увидел, что все притязания профсоюзов ко мне удовлетворяются, потому что я был способен дать рабочим

заработать на жизнь; увидел, что желание человека получать деньги, заработать которые он не способен, считается добродетельным, но если он зарабатывал их, это осуждалось как алчность; увидел, как политики, подмигивая, советуют мне не беспокоиться, потому что я могу работать немного усерднее и перехитрить их всех. Я мирился с потерей доходов и видел, что чем усерднее работаю, тем туже затягиваю петлю на своей шее. Видел, что моя энергия расходуется впустую, что объедавшие меня паразиты сами становятся жертвами других паразитов, что они попадаются в собственную западню, и этому нет разумного объяснения, что канализационные трубы мира уносят его животворную кровь в какой-то промозглый туман, куда никто не смеет заглянуть, а люди лишь пожимают плечами и говорят, что жизнь на земле может представлять собой только зло. И я понял, что всей промышленной системой мира с ее великолепными машинами, тысячетонными доменными печами, трансатлантическими кабелями, кабинетами с мебелью красного дерева, биржами, сияющими электрическими вывесками, мощью, богатством управляют не банкиры и советы директоров, а демагог из подвальной пивнушки с исполненным

злобы лицом, проповедующий, что добродетель должна караться за то, что она добродетель, что задача таланта — служить бездарности, что человек имеет право жить только для других… я это понял. Но не видел способа бороться с этим. Джон нашел способ. Нас было двое с ним в ту ночь, когда мы приехали в Нью-Йорк по его вызову, Рагнар и я. Он сказал нам, что нужно делать, с какими людьми налаживать связи. Джон ушел с завода «*Двадцатый век*» и жил на чердаке в трущобе. Он подошел к окну и указал на небоскребы. Сказал, что мы должны погасить огни мира и, когда увидим, что огни Нью-Йорка погасли, поймем, что наше дело сделано. Он не просил нас сразу же примкнуть к нему. Сказал, чтобы мы обдумали и взвесили то, как это повлияет на наши жизни. Я дал ему ответ утром, а Рагнар чуть позже, во второй половине дня… Дагни, это было утро после нашей последней проведенной вместе ночи. Мне словно бы предстало видение того, за что я должен сражаться. За то, как ты выглядела в тот вечер, за то, как говорила о своей железной дороге, за то, какой была, когда мы пытались разглядеть на горизонте очертания Нью-Йорка с той скалы над Гудзоном, я должен был спасти тебя, расчистить тебе путь, помочь

тебе найти твой город, чтобы ты не тратила годы жизни, бродя по ядовитому туману, не тратила силы, чтобы найти в конце пути башни города, а не толстого, вялого, тупого урода, предающегося радостям жизни, лакая джин, за который заплачено твоей жизнью! Чтобы ты не знала радости, дабы ее мог знать он? Чтобы ты служила орудием для удовольствия других? Была средством, а человекообразная тварь — целью? Дагни, вот что я увидел, вот чего я не мог позволить им с тобой сделать! Ни с тобой, ни с одним ребенком, который так же, как ты, смотрит в будущее, ни с одним человеком, который обладает твоим духом и способен чувствовать, что он гордое, уверенное, радостное, живое создание. Я покинул тебя, чтобы сражаться за мою любовь, за это состояние человеческого духа, и знал, что если потеряю тебя, то все равно буду тебя завоевывать с каждым годом борьбы. Но теперь ты понимаешь это, правда? Ты видела долину. Она — то место, которого в детстве мы решили достичь. Мы его достигли. Чего мне еще желать? Только видеть тебя здесь. Джон сказал, что ты все еще штрейкбрехер? Ну, это лишь вопрос времени, ты будешь одной из нас, потому что всегда была, даже не сознавая этого. Мы подождем, ни-

чего страшного — главное, что ты жива, что мне больше не нужно летать над Скалистыми горами в поисках обломков твоего самолета!

Дагни негромко ахнула, поняв, почему он не появился в долине вовремя.

Франсиско засмеялся.

— Не смотри на меня так, словно я — рана, которой тебе страшно коснуться.

— Франсиско, я причинила тебе столько страданий…

— Нет! Ты не причинила мне страданий. И он тоже. Не говори ничего об этом, ему сейчас плохо, но мы спасем его, он тоже приедет сюда, где его место, он тоже узнает и тогда тоже сможет посмеяться над былыми бедами. Дагни, я не думал, что ты будешь меня ждать, не надеялся. Я знал, на какой риск иду, и раз у тебя должен был кто-то появиться, я рад, что это он.

Дагни закрыла глаза и сжала губы, чтобы не застонать.

— Дорогая, не надо! Разве не видишь, что я принял это?

«Но это не *он*, — подумала Дагни, — и я не могу сказать тебе правды, потому что *тот, другой*, возможно, никогда от меня этого не услышит и не будет принадлежать мне».

— Франсиско, я любила тебя, — сказала она и потрясенно умолкла, осознав, что не хотела говорить этого и не хотела употреблять прошедшее время.

— Но ты любишь меня, — сказал он с улыбкой. — Ты все еще любишь меня — даже если существует лишь одно *выражение* любви, которого мне больше не видать. Я остался прежним, ты всегда будешь это видеть и всегда питать ко мне любовь, даже если и одаришь большей другого. Каковы бы ни были твои чувства к нему, это не изменит твоих чувств ко мне, и это не будет изменой, потому что корень у этих чувств один, это та же плата за те же ценности. Что бы ни случилось в будущем, мы всегда будем друг для друга теми, что были, потому что ты всегда будешь меня любить.

— Франсиско, — прошептала Дагни, — ты это знаешь?

— Конечно. Неужели ты еще не поняла? Дагни, все формы счастья едины, всеми желаниями управляет одна сила — наша любовь к единой ценности, к высшей возможности нашей жизни. И каждый успех является выражением этой любви. Посмотри вокруг. Видишь, как много открывается нам здесь, на земле, где никто не ставит

препятствий? Сколько я могу сделать, испытать, достичь? И если увижу восхищенную улыбку на твоем лице при виде новой медеплавильни, которую построил, это будет просто иной формой того, что я чувствовал, лежа с тобой в постели. Буду ли я хотеть спать с тобой? Отчаянно. Буду ли завидовать тому, кому повезло больше? Конечно. Но какое это имеет значение? Это очень много — видеть тебя здесь, любить тебя и быть живым.

Дагни опустила взгляд, лицо ее было суровым, голова склоненной, словно в трауре, и неторопливо произнесла, будто исполняя некое торжественное обещание:

— Ты меня простишь?

На лице Франсиско отразилось удивление, потом он вспомнил, весело усмехнулся и ответил:

— Пока еще нет. Прощать нечего, но я прощу, когда присоединишься к нам.

Он встал, обнял ее. И поцелуй стал подведением итога их прошлому, его концом и свидетельством того, что они приемлют этот итог.

Когда они вышли в гостиную, Голт повернулся к ним. Он стоял у окна, глядя на долину. Дагни поняла, что он стоял так все это время. Он испытующе вгляделся в них. Выражение его лица слегка смягчилось, когда он увидел, как изменил-

ся Франсиско.

Тот с улыбкой спросил:

— Почему ты так пристально смотришь на меня?

— Знаешь, как ты выглядел, когда вошел?

— Скверно? Это потому, что три ночи не спал. Джон, пригласишь меня на ужин? Я хочу узнать, как эта женщина-штрейкбрехер оказалась здесь, но боюсь уснуть на середине фразы — хотя сейчас чувствую себя так, будто мне сон никогда не потребуется, — и, пожалуй, пойду домой, пробуду до вечера там.

Голт смотрел на него с легкой улыбкой.

— Ты же собирался улететь через час?

— Что? Нет… — с удивлением произнес Франсиско, потом вспомнил. — Нет! — ликующе засмеялся он. — В этом больше нет нужды! Да, я же не сказал тебе, где был, верно? Я искал Дагни. Искал… обломки ее самолета. Сообщили, что она погибла в авиакатастрофе в Скалистых горах.

— Понятно, — спокойно сказал Голт.

— Никак не мог подумать, что она выберет для катастрофы Ущелье Голта, — весело сказал Франсиско, в голосе его звучало радостное облегчение, с которым чуть ли не смакуют ужас прошлого, противопоставляя ему насто-

ящее. — я летал над районом между Афтоном и Уинстоном, над каждой его вершиной и расселиной, и, завидев где-нибудь внизу разбитую машину… — он умолк и содрогнулся. — А ночью мы — поисковые группы уинстонских железнодорожников — ходили пешком, без какой-либо подсказки, без плана, без остановки, пока вновь не наступал день, — пожал плечами, пытаясь отогнать это видение, и улыбнуться. — Злейшему врагу не пожелал бы… — и умолк; улыбка исчезла, лицо помрачнело, словно при неожиданном воспоминании. Через несколько секунд он обратился к Голту:

— Джон, — в голосе его звучала странная официальность, — можно известить тех, кому важно знать, что Дагни жива… на тот случай, если кто-то… испытывает то же, что испытывал я?

Голт посмотрел на него в упор:

— Хочешь дать кому-то из чужих понять, что он так и останется чужим?

Франсиско опустил глаза, но твердо ответил:

— Нет.

— Жалость, Франсиско?

— Да. Забудь об этом. Ты прав.

Голт отвернулся; движение это было странно резким, словно невольным.

Франсиско удивленно посмотрел на него и негромко спросил:

— В чем дело?

Голт повернулся к нему и какой-то миг смотрел, не отвечая. Дагни не могла понять, какое чувство смягчило выражение его лица: в улыбке Голта были терпение, мука и нечто иное, большее…

— Какую бы цену ни заплатил каждый из нас за эту борьбу, — сказал Голт, — тебе пришлось тяжелее всех, не так ли?

— Кому? Мне? — Франсиско удивленно улыбнулся. — Никоим образом! Что это с тобой? — и со смешком добавил: — Жалость, Джон?

— Нет, — твердо ответил Голт.

Дагни увидела, что Франсиско недоуменно нахмурился, потому что Голт сказал это, глядя не на него, а на нее.

* * *

Чувства, которые испытала Дагни, впервые войдя в дом Франсиско, были совсем не теми, что вызвал его угрюмый вид. Она ощущала не трагическое одиночество, а бодрящую живость. Комнаты были пустыми и отличались грубой простотой, дом казался построенным с присущими Франсиско мастерством, решитель-

ностью и нетерпеливостью; он походил на лачугу колониста-первопроходца, сколоченную наспех, чтобы служить лишь трамплином для долгого прыжка в будущее — будущее, где его ждало такое громадное поле деятельности, что нельзя было тратить время на обустройство настоящего. Дом обладал энергией не жилища, а лесов, возведенных вокруг вздымающегося небоскреба.

Сняв пиджак, Франсиско стоял посреди тесной гостиной с видом владельца дворца. Из всех дворцов, где его видела Дагни, этот казался самым подходящим для него фоном. Как простота одежды в сочетании с гордой осанкой придавали ему вид истинного аристократа, так и скромность комнаты придавала ей вид патрицианского жилища; к этой скромности добавляли единственный величественный штрих два древних серебряных кубка в небольшой нише, вырубленной в голых бревнах стены; их узор, потускневший ныне от патины столетий, потребовал долгого кропотливого труда, куда большего, чем постройка самого дома. В непринужденном, естественном поведении Франсиско был оттенок спокойной гордости, его улыбка словно бы говорила Дагни: «Вот какой я на самом деле и каким был все эти годы».

Она посмотрела на кубки.

— Да, — сказал Франсиско в ответ на ее безмолвную догадку, — они принадлежали Себастьяну д'Анкония и его жене. Из своего дворца в Буэнос-Айресе я привез только их. Да еще герб над дверью. Вот и все, что я хотел сберечь. Остальное исчезнет в ближайшие месяцы, — он усмехнулся. — Они растащат все, последние остатки *«Д'Анкония Коппер»*, но будут очень удивлены. Найдут они очень немного. А что до дворца, то даже не смогут оплатить счет за его отопление.

— А потом? — спросила Дагни. — Куда ты уйдешь?

— Я? Буду работать в *«Д'Анкония Коппер»*.

— Как это понять?

— Помнишь древнюю ритуальную фразу англичан: «Король умер, да здравствует король»? Когда останки владений моих предков перестанут мешаться под ногами, мой рудник станет юным телом *«Д'Анкония Коппер»*, той собственностью, о которой они мечтали, ради которой трудились, которой заслуживали, но так и не получили.

— Твой рудник? Какой? Где?

— Здесь, — сказал он, указывая на горные вершины. — Ты этого не знала?

— Нет.

— У меня есть рудник, до которого грабителям не дотянуться. Я провел разведку, обнаружил медь, сделал пробу. Это было восемь лет назад. Я стал первым, кому Мидас продал землю в этой долине. Я купил этот рудник. Начал дело собственными руками, как Себастьян д'Анкония. Сейчас работой руководит управляющий, в прошлом лучший мой металлург в Чили. Рудник дает столько меди, сколько нам нужно. Доходы я вкладываю в банк Маллигана. Это все, что мне потребуется… — «для покорения мира» договаривала за него интонация, и Дагни поразил резкий контраст между тем, как произнес это он, и постыдным, противным тоном полухныканья-полуугрозы, тоном полунищего-полубандита, который люди их столетия придали слову «потребность».

— Дагни, — говорил Франсиско, он смотрел в окно на вершины гор, как на вершины времени, — возрождение *«Д'Анкония Коппер»* и всего мира должно начаться отсюда, из Соединенных Штатов. Эта страна, единственная в истории, появилась на свет не случайно, не в результате слепых племенных войн, а как рациональное порождение человеческого разума. Страна была построена при верховенстве рассудка и в тече-

ние одного великолепного столетия спасла мир. Ей предстоит сделать это еще раз. Первые шаги *«Д'Анкония Коппер»*, как и любой универсальной ценности, должны начаться отсюда — потому что вся остальная земля достигла дна тех верований, которых держалась веками: мистики и приоритета алогичного, то есть своей конечной точки — сумасшедшего дома и кладбища… Себастьян д'Анкония совершил одну ошибку: принял систему взглядов, предполагавшую, что заработанная собственность должна принадлежать ему не по праву, а по разрешению. Его потомки расплачивались за эту ошибку. Я произвел последний платеж… Думаю, я доживу до того дня, когда выросшие из новых корней рудники, плавильни, грузовые платформы *«Д'Анкония Коппер»* снова распространятся по всему миру вплоть до моей родины, и я первым начну ее возрождать.

Возможно, доживу, но не уверен. Никто не может предсказать, когда люди решат вернуться к разуму. Возможно, до конца жизни я не создам ничего, кроме этого единственного рудника — «*Д'Анкония Коппер № 1*», США, штат Колорадо, Ущелье Голта. Но помнишь, Дагни, что моим честолюбивым устремлением было удвоить

производство меди по сравнению с отцовским? Дагни, если под конец жизни я буду производить всего фунт меди в год, я стану богаче отца, богаче всех моих предков с их тысячами тонн, потому что этот фунт будет моим *по праву* и будет использован на благо тех, кто это знает.

То был Франсиско их детства — в осанке, манерах, ярком блеске глаз, — и Дагни неожиданно для себя стала расспрашивать его о руднике, как некогда о новых промышленных проектах, когда они гуляли по берегу Гудзона, и снова чувствовала дуновение безграничности будущего.

— Я покажу тебе рудник, — пообещал он, — как только позволит твоя лодыжка. Туда нужно взбираться по крутой тропе, где проходят только мулы, шоссе туда еще не проложено. Хочешь, покажу тебе новую плавильню, которую проектирую. Я работаю над ней уже давно; при нынешнем объеме продукции она слишком сложна, но когда производительность рудника возрастет в достаточной мере, увидишь, сколько труда, времени и денег она сэкономит!

Они сидели на полу, склонясь над листами бумаги, разглядывали сложные части плавильни — с той же радостной серьезностью, с какой рассматривали металлолом на свалке.

Дагни подалась вперед, когда Франсиско потянулся за очередным листом, и неожиданно для себя прижалась к его плечу. Невольно замерла на миг и подняла взгляд. Он смотрел на нее, не скрывая того, что испытывает, но и не требуя какого-либо продолжения. Она отодвинулась, понимая, что чувствует то же, что и он.

Потом, остро ощущая возрождение того, что испытывала к нему в прошлом, Дагни вдруг осознала одну особенность, всегда являвшуюся неотъемлемой частью ее отношения к Франсиско, но сейчас впервые ставшую ясной: если это желание — праздник жизни, тогда то, что она испытывала к другу своего детства, было праздником ее будущего, радостью, частицей гарантии надежды… и счастья. Просто теперь все это воспринималось не как символ будущего, а как лишенное перспектив настоящее. И она поняла. Поняла через образ мужчины, стоящего у порога своего неказистого дома. Поняла, что это и есть *он*, тот самый, который, возможно, навсегда останется недосягаемой мечтой.

«Но ведь подобный взгляд на человеческую судьбу, — подумала Дагни, — я страстно ненавидела и отвергала: взгляд, что человека всегда должно влечь вперед зрелище сияющего вдали

недосягаемого видения, что человек обречен желать его, но не достигать. Моя жизнь и мои ценности не могли привести меня к этому; я никогда не находила прекрасными мечты о невозможном и всегда делала невозможное досягаемым…»

Однако она пришла к этому и найти объяснения не могла.

«Я не могу отказаться от него и не могу отказаться от мира», — думала в тот вечер Дагни, глядя на Голта. В его присутствии найти решение казалось труднее. Дагни чувствовала, что никакой проблемы не существует, что ничто не может сравниться с тем, что она видит его, и ничто не сможет заставить ее уехать. И вместе с тем, что не имела бы права смотреть на него, если б отказалась от своей железной дороги. Она чувствовала, что он принадлежит ей, что они оба с самого начала поняли нечто невысказанное. И вместе с тем, что он может исчезнуть из ее реальности и в будущем на какой-нибудь улице внешнего мира пройти мимо нее с полнейшим равнодушием.

Дагни заметила, что Голт не спрашивает ее о Франсиско. Рассказывая о своем пребывании в доме друга детства, она не заметила никакой

реакции: ни обиды, ни одобрения. Правда, ей показалось, что по его серьезному, внимательному лицу скользнула чуть заметная тень, но, судя по всему, он не испытывал особых чувств по поводу ее визита к Франсиско.

Легкое опасение Дагни превратилось в вопрос, который все глубже и глубже врезался в ее сознание в последующие вечера, когда Голт уходил, оставляя ее одну. Он покидал дом каждый второй вечер после ужина, не говоря, куда идет, и возвращался к полуночи, а то и позже. Она старалась не думать, с каким нетерпением дожидается его возвращения. Где он проводит вечера, она не спрашивала. Останавливало ее слишком сильное желание знать; в ее молчании был подсознательный вызов: отчасти ему, отчасти себе.

Дагни не хотела признавать свои страхи, давать им названия, она лишь знала их по отвратительным, изводящим приливам какого-то нового для нее чувства. Это было жгучее негодование, какого она не испытывала раньше, вызываемое мыслью, что у него есть какая-то женщина, однако оно умерялось здравым соображением, что с этим можно бороться, а если нет, то смириться. С другой стороны, если это мерзкая форма

самопожертвования, о ней нужно молчать: возможно, Голт решил просто исчезнуть, расчистив путь своему ближайшему другу.

Дни сменяли друг друга, и Дагни об этом молчала. Потом за ужином в один из тех вечеров, когда Голт должен был уйти, она вдруг поняла, что ей страшно нравится, как он ест ее стряпню, и она неожиданно для себя спросила:

— Чем вы занимаетесь каждый второй вечер?

Голт ответил просто, словно считал, что ей это уже известно:

— Читаю лекции.

— Что?

— Читаю курс лекций по физике, как и каждый год в течение этого месяца. Это у меня… Над чем вы смеетесь? — спросил он, увидев, что Дагни давится от беззвучного смеха, а потом, прежде чем она успела что-то сказать, неожиданно улыбнулся, словно догадался об ответе; в его улыбке она увидела нечто особенное, очень личное… Впрочем, длилось это недолго, и он продолжил:

— Вы знаете, что в этот месяц мы обмениваемся достижениями в своих настоящих профессиях. Ричард Халлей дает концерты, Кэй Ладлоу появляется в двух пьесах авторов, не пишущих для внешнего мира, а я читаю лекции, сообщаю

о работе, которую проделал за год.

— Читаете бесплатно?

— Нет, разумеется. За курс мне каждый платит по десять долларов.

— Я хочу вас послушать.

Голт покачал головой.

— Нет. Вам разрешат ходить на концерты, спектакли и другие развлекательные представления, но не на мои лекции или другие сообщения об идеях, которые вы можете вынести из этой долины. Кроме того, мои клиенты, или, если угодно, студенты, только те, кто слушают мой курс с практической целью: Дуайт Сандерс, Лоуренс Хэммонд, Дик Макнамара, Оуэн Келлог, еще кое-кто. В этом году я взял одного новичка, Квентина Дэниелса.

— Правда? — спросила она чуть ли не с завистью. — Лекции у вас дорогие. Как он может их оплатить?

— В кредит. Я составил для него график выплат. Дэниелс того стоит.

— Где вы их читаете?

— В ангаре на ферме Дуайта Сандерса.

— А где работаете в течение года?

— В своей лаборатории.

Дагни робко спросила:

— Где она? Здесь, в долине?

Голт посмотрел ей прямо в глаза, дав увидеть в своем взгляде насмешку и понять, что ее цель ясна ему, потом ответил:

— Нет.

— Вы все эти двенадцать лет жили во внешнем мире?

— Да.

— И у вас, — эта мысль казалась невыносимой, — такая же работа, как у других?

— Да.

Насмешка в его глазах, казалось, несла какой-то особый смысл.

— Только не говорите, что вы второй помощник бухгалтера!

— Не скажу.

— Тогда чем же вы занимаетесь?

— Той работой, какой хочет от меня внешний мир.

— Где?

Голт покачал головой.

— Нет, мисс Таггерт. Раз вы решили покинуть долину, это одна из тех вещей, каких вам знать нельзя.

И снова улыбнулся — дерзко, но не обидно; улыбка словно бы говорила, что он знает, какая

угроза для нее содержится в его ответе, потом встал из-за стола.

Когда Голт ушел, Дагни стало казаться, что время в тишине дома стало гнетущей тяжестью, вязкой, полужидкой массой, растекающейся так медленно, что невозможно понять, часы прошли или минуты. Она полулежала в одном из кресел гостиной, скованная той свинцовой, бесстрастной вялостью, что была уже не ленью, а капитуляцией воли перед некой тайной силой, которую ничем меньшим не насытить.

«Удовольствие, которое я испытываю при виде того, как он ест приготовленную мною пищу, — думала Дагни, не шевелясь и закрыв глаза; мысли ее ползли неторопливо, как и время, — происходит от сознания, что я доставила ему чувственное наслаждение, что удовлетворение одной из его телесных потребностей исходит от меня… Существует объяснение тому, что женщине хочется стряпать для мужчины… нет, не по обязанности, не изо дня в день, это должно быть редким, особым ритуалом, символизирующим нечто особенное… но что сделали из него проповедники женского долга?.. Объявили эту нудную работу истинной добродетелью женщины, а то, что действительно придает ей цель и смысл, —

постыдным грехом… работа, связанная с жиром, паром, скользкими картофельными очистками в душной кухне считается актом исполнения морального долга, а соприкосновение двух тел в спальне — потворством плотским желаниям, уступкой животным инстинктам — бесславным, бессмысленным, бездуховным».

Дагни резко поднялась. Она не хотела думать о внешнем мире и его моральном кодексе. Предметом ее мыслей были не они. Она принялась расхаживать по комнате с ненавистью к своим некрасивым, резким, неловким движениям, не зная, как разорвать ими эту глухую тишину, как нарушить ее. Закуривала сигареты ради иллюзии поступка и в следующий миг бросала их с досадливой неприязнью к этой надуманной цели. Лихорадочно оглядывала комнату в отчаянном стремлении к любому полезному действию, желая найти что-нибудь, что можно вымыть, починить, отчистить… и сознавая при этом, что подобная задача не будет стоить затраченных усилий. «Если кажется, что ничто не стоит усилий, — произнес какой-то суровый голос в ее сознании, — то это ширма, скрывающая главное желание: *чего ты хочешь?*»… Дагни снова резко чиркнула спичкой, раздраженно

поднесла огонек к кончику сигареты, свисавшей из уголка рта… «*Чего ты хочешь?*» — повторил тот же голос, суровый, будто судейский. «Хочу, чтобы он вернулся!» — ответила она, беззвучным криком бросив эти слова неведомому обвинителю, как бросают кость преследующему тебя зверю в надежде отвлечь его и не дать наброситься.

«Хочу, чтобы он вернулся», — негромко произнесла она про себя в ответ укору, что для такого нетерпения нет причин. «Хочу!» — умоляюще повторила она в ответ на холодное напоминание внутреннего голоса, что ее мольбы не изменят ситуации… «Хочу!» — вызывающе крикнула она, силясь не добавить самого главного, защитного слова. Почувствовала, как голова в изнеможении поникла, словно после долгой, трудной работы. Увидела, что сигарета между пальцами сгорела всего на полдюйма. Загасила ее и снова тяжело опустилась в кресло.

«Я не уклоняюсь от этого, — думала Дагни, — не уклоняюсь, дело только в том, что я не представляю, какой дать ответ…» «То, чего ты *действительно* хочешь, — сказал голос, когда она неуверенно выбиралась из густого тумана, — ты вполне можешь получить, только помни: нечто меньшее, чем *полное* понимание, нечто

меньшее, чем *полная* убежденность, явится предательством всего, что он олицетворяет...» «Тогда пусть он осудит меня, — сказала она, словно голос уже исчез в тумане и не услышит ее, пусть он меня осудит, но завтра... а сейчас... я хочу его... возвращения...»

Ответа она не услышала, потому что голова мягко коснулась спинки кресла; она заснула.

Открыв глаза, Дагни увидела Голта, стоявшего в трех футах от нее, он смотрел так, словно наблюдал за ней уже давно. Увидела его лицо и с полной ясностью поняла: оно выражает именно то, с чем она несколько часов вела борьбу. Поняла спокойно, без удивления, поскольку еще не до конца проснулась.

— Вот так вы выглядите, когда засыпаете у себя в кабинете, — мягко произнес он, и в голове Дагни словно что-то вспыхнуло: Голт полностью выдал себя — то, как прозвучали его слова, сказало ей, как часто он об этом думал и почему. — У вас такой вид, словно вы хотели проснуться в некоем мире, где не нужно ничего скрывать или бояться, — первой полусонной реакцией Дагни была улыбка, но когда она осознала, что окончательно проснулась, улыбка постепенно исчезла. Голт заметил это и добавил, спокойно и уверенно: —

Но здесь это действительно так.

Главным ее чувством в этом вновь обретенном царстве реальности стало ощущение силы. Она плавно, лениво потянулась в кресле, чувствуя, как движение передается от мышцы к мышце. Спросила, и ее неторопливость, тон небрежного любопытства придали голосу легкий оттенок надменности:

— Откуда вы знаете, как я выгляжу в… своем кабинете?

— Я ведь говорил, что наблюдал за вами не один год.

— Как вы могли наблюдать за мной столь пристально?

— Сейчас не отвечу, — ответил он просто, без вызова.

Дагни слегка повела плечами, откинулась назад, сделала паузу, потом спросила негромко, почти ласково, с интонацией, в которой звучало скрытое торжество:

— Когда вы увидели меня впервые?

— Десять лет назад, — ответил Голт, давая понять, что ему понятен невысказанный смысл ее вопроса.

— Где?

Это прозвучало чуть ли не как приказ.

Голт заколебался, потом Дагни увидела легкую улыбку: улыбались лишь губы, но не глаза; так рассматривают — с тоской, горечью и гордостью — то, что куплено за громадную цену.

— В подземелье, на Терминале Таггертов.

Дагни вдруг увидела себя как бы со стороны: она полулежала, привалясь к спинке кресла, небрежно вытянув одну ногу вперед, в прозрачной, строгого покроя блузке, широкой яркой крестьянской юбке, тонких чулках и туфлях на высоких каблуках… «Странный вид для вице-президента крупнейшей железнодорожной компании, — прочитала Дагни по его глазам, — выглядит она той, кем и является: моей служанкой». Она уловила это в тот миг, когда с его взгляда спала вуаль прошлого, когда он увидел ее нынешней… и с откровенным вызовом посмотрела ему прямо в лицо.

Голт отвернулся, но когда прошелся по комнате, звук его шагов был так же красноречив, как взгляд. Дагни поняла, что он хочет уйти, как всегда уходил; возвращаясь к себе, он задерживался в ее комнате лишь настолько, чтобы успеть пожелать ей доброй ночи. Она следила за происходящей в нем борьбой, но то ли по шагам, вдруг изменившим направление, то ли из-за

уверенности, что ее тело стало для него магнитом, поняла, что он, никогда не начинавший и не проигрывавший битвы с самим собой, сейчас не в силах выйти из этой комнаты.

Поведение его не казалось напряженным. Он снял пиджак, отбросил его в сторону, оставшись в рубашке, и сел лицом к ней возле окна напротив. Но сидел он на подлокотнике кресла, словно не собирался ни оставаться, ни уходить.

Дагни ощутила легкомысленное, приятное, почти фривольное торжество от сознания, что *физически* удерживает его; на какой-то краткий, опасный миг этот контакт доставил ей огромное удовольствие.

Затем последовал шок, от которого потемнело в глазах, — то ли удар, то ли мысленный вопль; Дагни ошеломленно стала искать его причину и увидела, что Голт всего-навсего чуть наклонился в сторону, — ее потрясла лишь случайно принятая им поза: плавная линия, идущая от плеча к изгибу талии, к бедрам и ногам. Она отвернулась, чтобы он не видел ее дрожи, и отбросила все мысли о торжестве и о том, *кто* на самом деле обладает силой.

— Я видел вас еще много раз, — негромко, спокойно произнес Голт, но чуть медленнее,

чем обычно, словно мог держать под контролем все, кроме потребности говорить.

— Где?

— В разных местах.

— Но старались оставаться незамеченным?

Дагни понимала, что не могла не запомнить это лицо.

— Да.

— Почему? Боялись?

— Да.

Голт сказал это с убийственной откровенностью, и Дагни не сразу поняла — он *знал*, что значило бы для нее его увидеть.

— Вы с самого начала знали, кто я?

— Знал. Мой злейший враг номер два.

— Что? — этого она не ожидала, постаралась взять себя в руки и спокойно добавила: — А кто номер один?

— Доктор Роберт Стэдлер.

— Вы считали нас одного поля ягодой?

— Нет. Он мой убежденный враг. Человек, продавший свою душу. Мы не собираемся вербовать его. А вы — вы всегда были одной из нас. Я знал это задолго до того, как вас увидел. Знал и то, что вы присоединитесь к нам последней, и что вас будет труднее всего победить.

— Кто вам это сказал?

— Франсиско.

Чуть помолчав, Дагни спросила:

— Что он говорил?

— Что из всех людей в нашем списке вы самый сложный объект. Тогда я впервые услышал о вас. Ваше имя внес в список Франсиско. Он сказал мне, что вы — единственная надежда и будущее *«Таггерт Трансконтинентал»*, что будете долго противостоять нам, будете вести отчаянную битву за свою железную дорогу — потому что вам не занимать стойкости, мужества и преданности своей работе, — Голт взглянул на нее. — Больше он ничего не сказал. Вел о вас речь, словно обсуждал одного из наших будущих забастовщиков. Я знал, что вы с ним друзья детства и только.

— Как скоро после этого вы увидели меня?

— Через два года.

— Специально?

— Случайно. Это было поздно вечером… на пассажирской платформе терминала Таггертов, — Дагни поняла, что это своего рода капитуляция: он не хотел говорить этого, однако должен был; она слышала в его голосе глухой протест — *должен* был говорить, *должен* был дать себе и ей эту нить взаимопонимания. — Вы были

в вечернем платье. Накидка у вас наполовину сползла, я видел ваши обнаженные плечи, спину и профиль — на миг показалось, что накидка сползет еще ниже, и вы предстанете нагой. Потом я увидел, что вы одеты в длинное платье, похожее на тунику греческой богини, но у вас короткие волосы и надменный профиль американки. На железнодорожной платформе вы выглядели совершенно неуместно, но я видел вас не там, видел в таком обрамлении, какое раньше в моем сознании ни разу не возникало, а потом вдруг понял, что ваше место именно здесь, где рельсы, сажа и крепежные фермы, что это надлежащий фон для ниспадающего платья, обнаженных плеч и такого оживленного лица, как ваше, — железнодорожная платформа, а не светский раут, — вы выглядели символом роскоши, и ваше место было там, у ее источника; казалось, вы возвращаете богатство, изящество, экстравагантность и радость жизни их законным владельцам, людям, создавшим эти дороги и заводы; вы воплощали собой энергию, ее источник, в вас сочетались знание дела и красота. Я был первым, кто понял, почему они неразделимы, и подумал, что, если бы наш век дал надлежащее обличье своим богам и воздвиг статую, симво-

лизирующую американские железные дороги, эта статуя была бы вашей… Потом увидел, что вы делаете, и понял, кто вы. Вы отдавали распоряжения трем служащим терминала, я не разбирал слов, но ваш голос звучал быстро и ясно, четко и уверенно. Я понял, что вы — Дагни Таггерт. Подошел поближе и расслышал всего две фразы: «Кто принял это решение?» — спросил один из служащих. «Я», — ответили вы. Вот и все, что я услышал. Этого было достаточно.

— А потом?

Голт медленно поднял взгляд, посмотрел ей в глаза, и в его негромком голосе прозвучала сдавленная насмешка над собой.

— Потом я понял, что расстаться со своим двигателем — не самая большая цена, которую мне придется платить за эту забастовку.

Дагни стало любопытно, какое из тех безымянных лиц-теней — легких, не стоивших внимания, мелькавших тогда мимо нее, как паровозный пар, — принадлежало Голту; любопытно, насколько близко была она к нему в ту неведомую минуту.

— Почему вы не заговорили со мною тогда или позже?

— Вы случайно не помните, что делали на тер-

минале в тот вечер?

— Смутно… Как-то вечером меня вызвали с вечеринки. Отца не было в городе, а новый начальник терминала совершил ошибку, из-за которой пришлось остановить все движение. Прежний начальник уволился неделей раньше.

— Это я *посоветовал* ему уволиться.

— Ясно…

Голос ее замер, завершая речь. «Если бы он не устоял тогда, — подумала Дагни, — если б тогда или позднее предложил мне принять участие в этой забастовке, до какой трагедии могло бы дойти дело?..» Она вспомнила, что испытывала, когда крикнула, что застрелит разрушителя, как только увидит… и застрелила бы! Эта мысль не оформлялась в слова, Дагни догадалась о ней только по тяжести и внутренней дрожи: застрелила бы, потом, если бы узнала о его роли… а я должна была узнать… и все-таки…

Дагни поняла, что он так же легко может читать в ее глазах, как и она в его. Она видела затуманенный взгляд и плотно сжатые губы Голта, видела, что он мучается, и ей очень захотелось причинить ему боль, наблюдать за ней, отследить, пока она не станет невыносимой для обоих, а потом довести его до беспомощности

наслаждения.

Чуть вздернутый подбородок и напряженность сделали его лицо уверенным и ясным, словно напрочь лишенным всяких эмоций.

— Всех лучших людей, которых за последние десять лет потеряла ваша дорога, — сказал он, — она лишилась по моей милости. — Голос его звучал ровно и ясно, как у бухгалтера, напоминающего беззаботному клиенту, что цена — это неизбежный абсолют. — Я выбил все опоры из-под здания *«Таггерт Трансконтинентал»* и, если решите вернуться, увижу, как оно рухнет вам на голову.

Голт повернулся к двери, собираясь уйти. Дагни остановила его. Он повиновался. Сделать это его заставили не столько ее слова, сколько голос: он был негромким, в нем не звучало ничего, кроме горечи, окрашивал его лишь мучительный полутон, напоминающий отголосок сокрытого чувства, схожего с угрозой; это был голос человека, который не утратил понятий о чести, но уже давно не думает о ней.

— Вы хотите удержать меня здесь, не так ли? — спросила Дагни.

— Больше всего на свете.

— Вы могли бы.

— Знаю.

В его голосе звучали те же интонации, что и в ее. Голт постоял немного, переводя дыхание. Потом произнес — негромко, ясно, с подчеркнутой симпатией, чуть ли не с улыбкой:

— Я хочу, чтобы вы *признали* эту долину. Что мне даст одно лишь ваше *физическое* присутствие здесь, если вы сами не видите в нем смысла? Это будет искаженная картина реальности, которой большинство людей тешит себя. Я на такое не способен, — он снова повернулся к двери, — и вы тоже. Спокойной ночи, мисс Таггерт.

Голт ушел в свою спальню, закрыв за собой дверь.

Дагни пребывала в каком-то безумии. Она лежала на кровати в темноте комнаты, не способная ни думать, ни спать. Заполнявшая ее сознание стонущая буря казалась лишь болезненным откликом тела, а дрожь в нем напоминала умоляющий крик, звучавший в голове не просто как слова, а как боль: «Пусть он войдет сюда, пусть вломится — будь оно все проклято: моя железная дорога, его забастовка — все, чем мы жили! Будь проклято все, чем мы были и что мы есть! Если платой за то, чтобы он вошел, должна

стать моя жизнь, тогда пусть я умру, но только завтра, а сейчас пусть он войдет, у меня уже ничего не осталось, чего я не отдала бы ради него… Это и значит быть животным? Да, значит, я — животное…» Дагни лежала на спине, вцепившись в простыню, чтобы не дать себе подняться и пойти в его комнату. Она сознавала, что способна и на такое. «Это не я, это мое тело, которое я не могу ни выносить, ни контролировать…» Однако где-то внутри, в некоей светящейся точке покоя был судья: он наблюдал за ней, но уже не с суровым осуждением, а с одобрением и весельем, словно бы говоря: «Твое тело? Будь он не тем, что есть, довело бы оно тебя до этого? Почему ты хочешь именно его и никого другого? Думаешь, ты проклинаешь все, чем вы оба жили? Пытаешься зачеркнуть одним своим желанием?..» Дагни не нужно было слышать этих слов, она знала их, знала всегда… Вскоре внутренний свет померк, остались только страдание, терзающие простынь пальцы и почти равнодушный интерес, спит ли он, не превозмогает ли ту же пытку.

В доме царила тишина, все его окна, судя по темноте вокруг, были погашены. Прошло немало времени, прежде чем из его комнаты

донеслись два звука, давших ей полный ответ: она поняла, что он не спит и не войдет; то были звуки шагов и щелканье зажигалки.

Ричард Халлей перестал играть, отвернулся от фортепиано и взглянул на Дагни. Увидел, что она невольно опустила взгляд, дабы скрыть свои эмоции, встал, улыбнулся и негромко сказал:

— Спасибо.

— О нет, — прошептала Дагни, понимая, что благодарить следовало ей, но это было бы неуместно. Она задумалась о тех годах, когда произведения, которые он только что исполнял для нее, создавались здесь, в его маленьком коттедже на уступе горы, когда это щедрое великолепие звуков изливалось во имя памяти идеи, уравнивающей ощущение жизни с ощущением красоты. А она тем временем ходила по улицам Нью-Йорка в безнадежных поисках развлечений, и вслед ей неслись хриплые визги современных симфоний словно плевки из заразной глотки громкоговорителя, выкашливающего злобную ненависть ко всему сущему.

— Но я серьезно, — с улыбкой сказал Ричард Халлей. — Я бизнесмен и ничего не делаю бесплатно. Вы мне только что заплатили. Теперь

понимаете, почему я хотел играть для вас сегодня вечером?

Дагни подняла голову. Композитор стоял посреди гостиной, они были одни; сквозь распахнутое настежь окно врывалась летняя ночь, поросшие лесом уступы спускались к блеску далеких огней долины.

— Мисс Таггерт, для скольких людей моя музыка значит так же много, как для вас?

— Их мало, — ответила она простодушно, не хвалясь и не льстя, просто отдавая должное красоте услышанного.

— Вот это и есть плата, которую я прошу. Она мало кому по плечу. Я имею в виду не удовольствие или эмоции — к черту их! Мне важно ваше понимание и то, что полученное вами удовольствие того же свойства, что и мое, что у него тот же источник: разум, способный оценить мое произведение по меркам ценностей, потребовавшихся для его создания; я говорю не о том, что оно вообще пробудило в вас какое-то чувство, а что это именно то чувство, которое я хотел пробудить; не о том, что вы восхищались моей музыкой, а именно тем, чем я хотел вызвать восхищение, — он улыбнулся. — У большинства творцов, помимо лихорадочной жажды призна-

ния, есть еще одно искушение, быть может, самое мощное: понять *природу* признания. Но есть и страх перед этим. Я никогда его не разделял. Я не заблуждался относительно своей музыки и отклика, которого хочу — и то и другое я ценю очень высоко. Я не хочу, чтобы мной восхищались беспричинно, эмоционально, интуитивно, инстинктивно, то есть слепо; я не хочу слепоты ни в каком виде, я могу многое показать; не хочу глухоты, я могу многое сказать; не хочу, чтобы кто-то восхищался мною сердцем — только разумом. И когда нахожу слушателя с этой бесценной способностью, моя музыка превращается во взаимный обмен ко взаимной выгоде. Художник — тоже торговец, мисс Таггерт, но самый требовательный и несговорчивый. Теперь понимаете меня?

— Да, — ответила Дагни с удивлением, — понимаю.

С удивлением, потому что услышала свое собственное кредо моральной гордости, избранное человеком, от которого меньше всего этого ожидала.

— Если да, то почему всего минуту назад у вас был такой убитый вид? О чем вы сожалеете?

— О тех годах, когда ваши произведения никто

не слышал.

— Это не так. Я ежегодно давал два-три концерта. Здесь, в Ущелье Голта. На следующей неделе даю очередной. Надеюсь, вы придете? Входная плата — двадцать пять центов.

Дагни невольно рассмеялась. Халлей улыбнулся, потом его лицо посерьезнело, словно под наплывом невысказанных мыслей. Он взглянул в темноту за окном, туда, где в промежутке между ветвями висел во всем своем великолепии символ доллара, словно выгравированный на небе извив стали.

— Мисс Таггерт, понимаете, почему я бы отдал три десятка современных «творцов» за одного настоящего бизнесмена? Почему у меня больше общего с Эллисом Уайэттом или Кеном Данаггером, не обладающим, кстати, музыкальным слухом, чем с такими людьми, как Морт Лидди и Бальф Юбэнк? Будь то нотный стан или угольная шахта, всякая работа представляет собой творческий акт и исходит из одного источника: неотъемлемого дара смотреть на все *своими* глазами, а это означает способность видеть, сопрягать и создавать то, что не было увидено, сопряжено и создано раньше. Люди приписывают авторам симфоний и романов сверхчеловече-

скую способность пронзать взором туманную завесу будущего, а что, по их мнению, движет теми, кто открывает, как добывать нефть, управлять шахтой, создавать новые моторы? Поэтам и музыкантам приписывается некий священный огонь в душе. А что, по их мнению, пылает в душах промышленников, бросающих вызов всему миру своими новыми идеями, проектами, внедрениями, как на протяжении веков поступали строители самолетов и железных дорог, открыватели новых микробов и новых континентов?.. Неуклонное стремление к поиску истины, мисс Таггерт? Знаете ли вы, что моралисты и ценители искусства нам постоянно твердят о неуклонном стремлении художника к поиску истины? Назовите мне более высокий образец такого стремления, чем деяние человека, сказавшего, что земля вертится, сказавшего, что сплав стали с медью обладает свойствами, позволяющими использовать его для определенных целей. И если даже мир вздернет его на дыбу или разорит, он не отречется от того, что добыто его разумом! Вот это, мисс Таггерт, и есть величие духа, мужество и любовь к истине, а рядом — какой-то неряшливый шалопай, гордо задрав нос, уверяет вас, что достиг подлинного, неподвластного

разуму совершенства, так как он — художник, сам не понимающий, что представляет собой или выражает его произведение; он не ограничивает себя такими грубыми понятиями, как «суть» или «смысл», он — рупор высших тайн, он сам не ведает, как создал свой «шедевр» и зачем, тот извергся у него самопроизвольно, как рвота из желудка пьяницы; он не думал, он не унизится до того, чтобы думать, он просто *так чувствует* — дряблый, вислогубый, хитроглазый, пустословящий, трясущийся, дрянной остолоп! Я, знающий, сколько дисциплины, усилий, напряжения, упорства и сосредоточенности требуется для создания произведения искусства, я, знающий, что это требует такого труда, в сравнении с которым каторга покажется курортом, суровости, какой не встретишь ни у одного армейского строевика — я ставлю простого шахтера выше любого ходячего рупора высших тайн. Шахтер знает, что вагонетки с углем двигают под землей отнюдь не его чувства. Чувства? О да, мы чувствуем — он, вы и я — в сущности, мы единственные, кто способен чувствовать, и мы знаем источник наших чувств. Но чего мы не знали и слишком долго не хотели знать — это сущность тех, кто заявляет, что не несет ответа за свои чувства.

Мы не знали, что *они* чувствуют. Узнаем только теперь. Это было серьезной ошибкой. И те, кто больше всех повинны в ней, тяжелее всех за нее поплатятся — как того и требует справедливость. Наибольший груз вины несут настоящие художники, теперь они увидят, что их первыми будут истреблять, что они подготовили торжество своих уничтожителей, помогая губить своих единственных заступников. Потому что если существует более ужасный глупец, чем бизнесмен, не сознающий, что он обладатель высшего творческого духа, это художник, считающий бизнесмена своим врагом.

«Действительно, — думала Дагни, проходя по улицам долины и глядя с детским волнением на витрины магазинов, сверкающие на солнце, — бизнес тут обладает целенаправленной избирательностью искусства. А искусство, — думала она в темноте обшитого вагонкой концертного зала, вслушиваясь в сдержанное неистовство и математическую точность музыки Халлея, — обладает суровой дисциплиной бизнеса».

«И то и другое обладает превосходной техникой», — подумала Дагни в театре под открытым небом, не сводя глаз с Кэй Ладлоу на сцене. Такого она не помнила с детства — на протяжении трех

часов ее держала в плену пьеса с незнакомым сюжетом, с репликами, которых она раньше не слышала, с не затасканной до дыр темой. Она ощущала забытую радость от того, что следила с восторженным вниманием за простым, неожиданным, логичным, целенаправленным, новым действием и видела его в превосходном исполнении женщины, играющей героиню, красота духа которой под стать ее физическому совершенству.

— Потому-то я и здесь, мисс Таггерт, — с улыбкой сказала Кэй Ладлоу в ответ на поздравления Дагни после спектакля. — Всякую черту человеческого величия, какую я способна представить, внешний мир стремился опорочить. Мне позволяли играть лишь воплощение безнравственности: проституток, искательниц развлечений, разрушительниц семей, над которыми неизменно одерживала верх жившая по соседству девушка, олицетворявшая добродетель посредственности. Мой талант использовали для того, чтобы его унизить. Вот почему я ушла.

«С самого детства, — думала Дагни, — я не испытывала такого оживления после спектакля, — чувства, что в жизни есть, к чему стремиться, а не ощущения, что тебе показали канализацию,

видеть которую было совершенно незачем». Когда зрители один за другим уходили в темноту с освещенных рядов скамеек, она заметила Эллиса Уайэтта, судью Наррангасетта, Кена Данаггера — всех тех, о ком некогда говорили, что они презирают все виды искусства.

Она видела в тот вечер силуэты двух высоких, стройных людей, шедших вместе по тропинке среди скал; золото их волос вспыхнуло на миг в луче прожектора. То были Кэй Ладлоу и Рагнар Даннескьолд. И Дагни подумала, сможет ли вернуться в мир, где они обречены на гибель.

Чувство детства возвращалось к Дагни всякий раз, когда она встречала двух сыновей молодой женщины, владелицы булочной. Она часто видела их бродящими по горным тропинкам — двух бесстрашных малышей четырех и семи лет. Казалось, они взирают на жизнь так же, как и она когда-то. В них не было того, что она видела в детях во внешнем мире — боязни окружающих, полускрытности-полупрезрения, нарочитой отстраненности от взрослых, циничного знания того, что им лгут и учат ненавидеть. Оба мальчика вели себя с открытым, радостным, доверчивым дружелюбием котят, не ожидающих, что им причинят боль; у них

было простодушно-естественное, спокойное сознание собственного достоинства и столь же простодушная уверенность, что каждый взрослый способен это понять; их снедало постоянное любопытство, и они утоляли его повсюду, ничуть не сомневаясь, что в жизни нет ничего низкого или запретного для них, и было понятно, что если им доведется столкнуться с недоброжелательством, они с презрением отвергнут его не как опасность, а как глупость, и никогда не примут его с унизительным смирением в качестве закона жизни.

— Они и есть мое основное занятие, мисс Таггерт, — сказала молодая мать в ответ на ее вопрос, заворачивая буханку свежего хлеба и улыбаясь из-за прилавка. — Они и есть та работа, которой я посвятила себя. Во внешнем мире, несмотря на все трескучие фразы о материнстве, заниматься воспитанием детей полноценно невозможно. Вы, наверное, знакомы с моим мужем, он преподаватель экономики, здесь работает линейным монтером у Дика Макнамары. Вы, конечно, знаете, что в этой долине не признают родственных связей, и члены семей не допускаются сюда, если каждый не примет клятву забастовщика по собственному желанию и убеждению. Я приехала

сюда не ради профессии мужа — ради своей. Чтобы воспитать сыновей людьми. Я не доверю системе образования там, вне этой долины, созданной для того, чтобы остановить развитие ребенка, убедить его в бессилии разума, в том, что жизнь — это бессмысленный хаос, противостоять которому невозможно, и таким образом заставить его жить в вечном страхе. Вас удивляет разница между моими детьми и теми, что живут во внешнем мире? Однако причина проста. Здесь, в Ущелье Голта, каждый сочтет чудовищным хотя бы намекнуть ребенку на бессмысленность жизни.

Дагни подумала об учителях, которых утратил мир, увидев учеников доктора Экстона на их ежегодной встрече. Кроме нее доктор Экстон пригласил только Кэй Ладлоу. Все шестеро сидели на заднем дворе его дома, закатное солнце освещало их лица, а дно долины далеко внизу окутывал легкий голубой туман. Она смотрела на его непринужденно сидящих в шезлонгах учеников, на трех гибких, подвижных людей, одетых в легкие брюки, ветровки и рубашки с расстегнутыми воротниками: на Джона Голта, Франсиско д'Анкония и Рагнара Даннескьолда.

— Не удивляйтесь, мисс Таггерт, — заговорил

с улыбкой доктор Экстон, — и не делайте ошибки, считая моих учеников какими-то сверхчеловеками. Нет, они нечто куда более замечательное и удивительное: это самые обычные люди, каких просто не видел или не хотел видеть мир, и подвиг их заключается лишь в том, что они сумели выжить, оставаясь самими собой. Требуются незаурядный разум и еще более незаурядная воля, чтобы не попасть под влияние губительных для мозга мировых доктрин, накопленного зла веков, оставаться людьми, поскольку человек — существо разумное.

Дагни почувствовала, что доктор Экстон явно подобрел к ней: в нем уже не было его обычной строгости и сдержанности; он словно бы принимал ее в свой круг и не просто как обычную гостью. Франсиско, со своей стороны, как будто хотел подчеркнуть, что ее присутствие здесь вполне естественно, и его следует принимать как нечто само собой разумеющееся. Лицо Голта вообще ничего не выражало; держался он просто как учтивый кавалер, приведший ее по просьбе доктора Экстона.

Она заметила, что доктор то и дело поглядывает на нее, словно жаждет подтверждения тому, что он не просто так горд за своих бывших сту-

дентов. Экстон постоянно возвращался к одной и той же теме, как отец-наставник, дети которого по-прежнему интересуются его любимым предметом.

— Мисс Таггерт, видели б вы их в университете. Невозможно было найти трех парней, сформировавшихся в столь разных условиях, но — к черту все эти условности! — они, должно быть, сразу признали друг друга с первого взгляда, из тысяч других, в том студенческом городке: Франсиско, самый богатый наследник на свете; Рагнар, европейский аристократ; Джон, всем обязанный только себе, человек из глуши, не имевший ни денег, ни родителей, ни связей. Собственно говоря, он сын механика с заправочной станции на каком-то захолустном перекрестке в Огайо, ушел из дома двенадцатилетним с целью добиться успеха в жизни, но мне всегда представлялось, что он явился в мир, как Минерва, богиня мудрости, вышедшая из головы Юпитера вполне взрослой и во всеоружии… Помню тот день, когда впервые увидел их втроем. Они сидели в последнем ряду аудитории. Я читал для аспирантов специальный цикл лекций, до того сложных, что редко кто из посторонних отваживался их посещать. Эти трое выглядели слишком юными

даже для первокурсников — как я узнал впоследствии, им тогда было по шестнадцать. В конце лекции Джон поднялся и задал мне вопрос. Такой, что я, как преподаватель, был бы горд услышать от студента, изучавшего философию в течение шести лет. Вопрос, касавшийся платоновской метафизики, которого сам Платон не догадался задать себе. Я ответил и попросил Джона зайти ко мне в кабинет после занятий.

Джон пришел — они явились все, втроем. Я увидел в приемной двух других и впустил всех. Я говорил с ними в течение часа, потом отменил все встречи и продолжал разговор весь день. Затем добился, чтобы им разрешили прослушать этот курс и сдать по нему экзамены. Они прослушали. И получили самые высокие оценки в группе… Специализировались они по двум предметам: физике и философии. Этот выбор удивлял всех, кроме меня: современные мыслители считали излишним постигать реальность, а современные физики считали излишним мыслить. Я знал, что ошибаются и те и другие; меня поражало, что это знают и трое юношей… Роберт Стэдлер заведовал кафедрой физики, я — кафедрой философии. Мы отменили все ограничения и правила для этих трех студентов, избавили их

от всех обязательных, ненужных курсов, давали им самые сложные задания, расчистили им путь к тому, чтобы они получили дипломы по нашим специальностям за четыре года. Они не жалели сил. Мало того, им в течение этих четырех лет приходилось зарабатывать на жизнь. Франсиско и Рагнар получали деньги от родителей. Джон ни от кого не ждал помощи, но все трое совмещали работу с учебой, чтобы получить практический опыт и деньги. Франсиско работал в медеплавильне, Джон — в паровозном депо, а Рагнар… нет, мисс Таггерт, Рагнар не был самым слабым, он был самым усидчивым из всех и трудился в нашей университетской библиотеке. Им хватало времени на все, что нужно, но они не тратили время на развлечения и общественные глупости в студенческом городке. Они… Рагнар! — вдруг рявкнул он. — Не сиди на земле!

Даннескьолд сидел на траве, положив голову на колени Кэй Ладлоу. Он едва заметно усмехнулся, но послушно поднялся. Доктор Экстон чуть виновато улыбнулся.

— Старая привычка, — вздохнув, объяснил он Дагни. — Так сказать, условный рефлекс. Я много раз говорил это ему в те студенческие годы, когда заставал на заднем дворе в холодные, туман-

ные вечера, — в этом смысле он был беспечным и заставлял меня беспокоиться; ему следовало понимать, что это вредно для здоровья и… — доктор Экстон внезапно умолк: прочел в испуганном взгляде Дагни ту же мысль, что пришла и ему: мысль о той опасности, которой подвергал себя, повзрослев, Рагнар. Пожал плечами и развел руки в жесте беспомощной насмешки над самим собой. Кэй Ладлоу понимающе улыбнулась ему.

— Мой дом стоял на окраине студенческого городка, — продолжал он, вздохнув, — на высоком обрыве над озером Эри. И мы провели вчетвером немало вечеров. Сидели вот так же у меня на заднем дворе ранней осенью и весной, только вместо гранитных гор перед нами был простор озера, безмятежно простиравшийся в безграничную даль. В эти вечера мне приходилось работать напряженнее, чем в любой аудитории, отвечая на вопросы и обсуждая темы, которые они поднимали. После полуночи я готовил горячий шоколад и заставлял их выпить по чашке — мне казалось, они не находили времени поесть, как надо, — потом мы продолжали разговаривать, а озеро исчезало в густой тьме, и небо казалось светлее, чем земля. Несколько раз мы так засиживались, что я неожиданно замечал:

небо темнеет, озеро светлеет, и едва мы успеем сказать друг другу еще несколько фраз, рассветет. Мне следовало быть повнимательнее, я знал, что они и без того недосыпают, но иногда забывал об этом, терял чувство времени — видите ли, с ними мне всегда казалось, что сейчас раннее утро, и впереди у нас долгий, бесконечный день. Они никогда не говорили о том, кем мыслят себя в будущем, не задавались вопросом, одарила ли их некая таинственная сила божественным даром достичь желаемого, — они просто говорили о том, что будут делать. Может ли привязанность делать человека трусом? Я испытывал страх лишь в тех редких случаях, когда слушал их и думал о том, каким становится мир и с чем им придется столкнуться в будущем… Страх? Да, но это был больше, чем страх. У меня возникало чувство, делающее человека способным на убийство, когда я думал, что мир идет к тому, чтобы уничтожить этих детей, что эти три мои сына обречены быть принесенными в жертву. О да, я бы пошел на убийство — но кого было убивать? И всех, и никого — не существовало конкретного врага, конкретного источника ненависти, конкретного злодея — злодеем был не самодовольный мелкий чинуша, неспособный

заработать ни цента, не вороватый солидный бюрократ, боящийся собственной тени, весь мир катился в бездну ужаса, подталкиваемый руками так называемых порядочных людей, считавших, что потребность выше способности, а жалость выше справедливости. Но то были только редкие минуты. Это чувство не было постоянным. Я слушал своих детей и понимал, что их ничто не сломит. Я смотрел на них, сидящих на моем заднем дворе, а за моим домом высились в темноте здания, все еще являвшие собой памятник непоработенной мысли — корпуса Университета Патрика Генри, а еще дальше светились огни Кливленда: оранжевое сияние сталеплавильных заводов за батареями дымовых труб, мерцание красных точек радиовышек, длинные белые лучи прожекторов аэропорта на черном горизонте. И я думал, что ради всего величия, какое существовало и двигало мир, величия, последними наследниками которого они были, мои ученики добьются победы… Помню, однажды вечером я заметил, что Джон долго молчит, и увидел, что он заснул, лежа на земле… Двое других признались, что он не спал три ночи. Я немедленно отправил обоих домой, но его будить пожалел. Стояла теплая весенняя ночь. Я принес одеяло,

укрыл его и просидел рядом с ним до утра. Я видел его лицо в звездном свете, потом первый луч солнца коснулся безмятежного лба, смеженных век — и в душе у меня родилась даже не молитва. Я вообще не молюсь. А то состояние духа, с которым это обращение к Богу не идет ни в какое сравнение: полное, убежденное, окончательное посвящение себя любви к добру, уверенности, что добро победит, и этот мальчик обретет то будущее, какого достоин.

Он указал на долину:

— Не ожидал, что оно будет таким великим. И таким трудным…

Стало темно, и горы слились с небом. Под ними внизу словно бы висели в пространстве огни долины, над ними вздымалось красное дыхание литейной Стоктона и освещенные окна дома Маллигана, напоминавшие железнодорожный вагон.

— У меня был соперник, — неторопливо произнес доктор Экстон. — Роберт Стэдлер… не хмурься, Джон, это прошлое… Джон некогда любил его. Собственно говоря, я тоже. Нет, не в полном смысле слова, но отношение к такому разуму, как у него, было очень близко к любви, оно представляло собой редчайшее из наслаждений:

восхищение. Нет, по сути, я его не любил, но нам всегда казалось, что мы — единственные свидетели какого-то ушедшего в небытие века, окруженные ныне болотом болтливой посредственности. Смертный грех Роберта Стэдлера в том, что он так и не узнал источник своей истинной мудрости… Он ненавидел глупость. Единственное чувство, какое на моей памяти он выплескивал на студентов, — язвительная, злобная, застарелая ненависть к любой бездарности, осмелившейся ему возражать. Он хотел идти своим путем, хотел, чтобы ему не мешали, хотел сметать людей со своего пути, однако так и не нашел средств для этого, не понял природы своего призвания и своих врагов. Стэдлер избрал кратчайший маршрут. Вы улыбаетесь, мисс Таггерт? Вы ненавидите его, верно? Да, вы знаете, какой кратчайший путь он избрал… Он сказал вам, что мы соперничали за этих трех студентов. И это правда — точнее, я так не считал, но знал, что считает он. Ну что ж, если мы были соперниками, я обладал одним преимуществом: я знал, зачем им *обе* наши специальности, он не понимал их интереса к моей. Не понимал ее важности для себя — что, кстати, и погубило его. Но в те годы он был еще вполне живым, чтобы ухва-

титься за этих студентов. Именно *ухватиться*. Разум являлся единственной ценностью, какой поклонялся Стэдлер, и он вцепился в них, будто в свое личное сокровище. Он всегда был очень одиноким. Думаю, Франсиско с Рагнаром были единственной его любовью, а Джон — единственной страстью. В Джоне Стэдлер видел своего наследника, свое будущее, свое бессмертие. Джон хотел стать изобретателем, это означало, что ему нужно быть физиком, а значит — аспирантом доктора Стэдлера. Франсиско собирался уйти после получения диплома и работать; ему предстояло стать совершенным наследником нас обоих, его интеллектуальных отцов: промышленником. А Рагнар… знаете, мисс Таггерт, какую избрал он профессию? Нет, он собирался стать не пилотом истребителя, не исследователем джунглей, не водолазом-глубоководником. Избранная им профессия требовала большего мужества. Рагнар хотел стать философом. Абстрагированным, умозрительным, академическим затворником в башне из слоновой кости… Да, Роберт Стэдлер их любил. И все же, я сказал когда-то, что готов на убийство, дабы защитить их… вот только убивать было некого. Будь это решением проблемы — хотя, конечно, убийство

не решение — убить нужно было бы Роберта Стэдлера. Из всех людей, из всех повинных в том зле, что губит мир, он стал самым опасным. Он должен был это понимать. Он, один из самых прославленных, выдающихся людей, санкционировал правление грабителей. Он укрепил наукой мощь их оружия. Джон не ожидал этого. Я тоже… Джон поступил в аспирантуру по физике. Но не окончил ее. Ушел в тот день, когда Роберт Стэдлер одобрил создание Государственного научного института.

Я случайно встретился с ним в коридоре, когда он выходил из кабинета после своего последнего разговора с Джоном. Он сильно изменился. Надеюсь, никогда больше не увижу столь искаженного ненавистью лица. Стэдлер заметил меня, повернулся и крикнул: «Как же вы всем осточертели, проклятые, непрактичные идеалисты!» Я отвернулся. Понял, что услышал, как человек вынес себе смертный приговор… Мисс Таггерт, помните тот вопрос, который задали мне о трех моих учениках?

— Да, — прошептала она.

— Видите ли, по тону вашего голоса я сразу понял суть того, что говорил вам о них Роберт Стэдлер. Скажите, почему он вообще завел о них

речь?

Дагни печально улыбнулась:

— Он рассказывал мне их историю, оправдывая свою веру в тщету человеческого разума, как пример своих несбывшихся надежд. «При их способностях, — сказал он тогда, — можно было ожидать, что они когда-нибудь изменят мир»... А разве они не изменили?

Доктор Экстон кивнул и склонился в знак согласия и уважения к сказанному ею.

— Я хочу, мисс Таггерт, чтобы вы в полной мере осознали вред тех, кто заявляет, что земля по природе своей — царство зла, и у добра нет ни малейших шансов одержать над ним победу. Им следует перенастроить шкалу своих ценностей. Да, следует, пока они не даровали сами себе гнусную лицензию на безликое зло как необходимость. Поверьте, им стоит понять, знают ли они, что такое добро и как оно вообще может существовать. Роберт Стэдлер до сих пор верит, что разум бессилен и человеческая жизнь может быть только иррациональной. Неужели он ожидал, что Джон Голт, став великим ученым, захочет работать по указке доктора Флойда Ферриса? Что Франсиско д'Анкония, став великим промышленником, захочет работать

по указке Уэсли Моуча и для его блага? Что Рагнар Даннескьолд, став великим философом, будет проповедовать по указке доктора Саймона Притчетта, что разума не существует и что сильный всегда прав? То ли это будущее, какое Роберт Стэдлер счел бы разумным? Обратите внимание, мисс Таггерт, что те, кто громче всех кричат о своем разочаровании, о падении нравственности, о тщете ума, бессилии логики, как раз и добились полного, исчерпывающего, неизбежного результата идей, которые сами и проповедуют, до того безысходного, что даже не смеют назвать его. В мире, который провозглашает отсутствие разума, справедливость правления грубой силы, обирание способных для блага неспособных, жертвование лучшими ради худших — в таком мире лучшие *должны* восстать против общества, стать его злейшими врагами. В таком мире Джон Голт, человек интеллектуальной мощи, останется неквалифицированным рабочим; Франсиско д'Анкония, удивительный созидатель богатства, станет прожигателем жизни, а Рагнер Даннескьолд, светоч просвещения, станет воплощением насилия. Общество и доктор Стэдлер достигли всего, за что ратовали. На что они теперь могут жаловаться? На то, что Вселенная

неразумна? Но так ли это?..

Доктор Экстон улыбнулся; в улыбке была безжалостная снисходительность.

— Каждый человек строит мир по своему образу и подобию, — продолжал он, — у него есть возможность выбирать, но нет возможности избежать необходимости выбора. Если он откажется от нее, то откажется и от права называться человеком и добьется только того, что жизнь превратится в мучительный хаос иррационального. Тот, кто сохранил хотя бы одну мысль, не загубленную уступкой воле других, кто принес в реальность хоть спичку, хоть сад, созданные по своему пониманию, тот в этой мере — человек, и только этой мерой измеряется его добродетель. Они, — он указал на своих учеников, — не делали никаких уступок. Это, — он кивнул на долину, — мера того, что они сохранили, и того, кем они являются… Теперь я могу повторить ответ на заданный вами вопрос, зная, что вы поймете его адекватно. Вы спросили меня, горжусь ли я тем, какими стали три моих сына. Горжусь больше, чем надеялся. Горжусь каждым их поступком, каждой их целью и жизнью, которую они избрали. И это, Дагни, мой полный ответ.

Имя ее он произнес неожиданно отеческим

тоном, но смотрел при этом не на нее, а на Голта.

Тот ответил ему открытым взглядом, чуть задержавшись, словно в знак благодарности. Потом повернулся к ней. Она поняла, что Голт смотрит на нее как на обладательницу нежданно обретенного титула, который доктор Экстон пожаловал ей, но не огласил, и никто больше не уловил этого, увидела в глазах Голта дружескую насмешку над ее растерянностью, поддержку и невероятную нежность.

«*Рудник д'Анкония № 1*» представлял собой небольшие шрамы на буром склоне горы, будто нож сделал несколько неровных порезов, оставив скальные выступы, красные, как раны.

Солнце ярко светило. Дагни стояла на краю тропинки, между Франсиско и Голтом, держась за их руки; ветер дул им в лицо, проносясь над долиной в двух тысячах футов внизу. «Это, — думала она, глядя на рудник, — начертанная на горах история человеческого богатства». Над разрезом нависало несколько сосен, искривленных бурями, что бушевали в этой дикой местности век за веком; на уступах работали шесть человек; множество сложных машин картинно вырисовывалось на фоне неба — они выполняли здесь почти всю работу.

Она обратила внимание, что Франсиско показывает свои владения скорее Голту, чем ей.

— Джон, ты не был здесь с прошлого года… Джон, погоди, вот увидишь его где-то год спустя… Дела во внешнем мире я закончу через несколько месяцев и тогда полностью отдамся этой работе… Нет, Джон, что ты! — произнес он со смехом, отвечая на вопрос, но Дагни вдруг уловила в его взгляде что-то особенное, как только он останавливался на Голте: то же, что она видела в его глазах, когда он стоял в ее комнате, в отчаянии держась за край стола; он смотрел так, словно должен был перед кем-то отчитаться. «Голт… — подумала она. — Образ Голта помогал ему».

Дагни почувствовала нечто, близкое к панике: она почти физически ощутила то усилие, которое Франсиско сделал над собой в ту минуту, когда узнал о существовании соперника и принял это как плату, востребованную судьбой за его битву. Оно стоило ему слишком многого, чтобы теперь он мог заподозрить тайну, о которой догадался доктор Экстон. «Что будет с ним, когда ему станет известна правда?» — подумала она, но какая-то странная горечь, словно у мыслей бывает вкус, подсказала ей, что, возможно, этого и не случится.

В том, как Голт смотрит на Франсиско, ей почудилась скрытая угроза, хотя, казалось бы, это был открытый, простой, искренний взгляд: угроза не ему, а себе — не приведет ли его дружба к никому не нужному самопожертвованию.

Но бóльшая часть сознания Дагни была охвачена могучим чувством обретенной свободы, она словно бы получила право посмеяться над всеми своими сомнениями.

Взгляд ее то и дело обращался к вьющейся серпантином от ее ног ко дну долины тропинке, по которой они шли сюда две трудных мили. Кусты, сосны и ковер мха стремились снизу к гранитным уступам. Мох и кусты постепенно исчезали, но сосны продолжали подниматься, редея, пока не оставалось несколько одиночных деревьев, подступавших к вершинам с расщелинами, где искрился снег. Дагни посмотрела на самые оригинальные горные машины, какие только видела в жизни, потом на тропу, где цокающие копыта и раскачивающиеся силуэты мулов являли собой самый древний способ транспортировки.

— Франсиско, — спросила она, — кто сконструировал эти механизмы?

— Это просто переделанное стандартное обо-

рудование.

— Кто его переделывал?

— Я. Людей у нас мало. Нехватку приходится компенсировать.

— Ты расходуешь очень много труда и времени, перевозя руду на мулах. Нужно проложить железную дорогу в долину.

Дагни смотрела вниз и не заметила ни быстрого, пылкого взгляда, брошенного на нее, ни нарочитой сдержанности голоса:

— Знаю, но это до того трудоемкая работа, что нынешняя производительность рудника не окупит ее.

— Ерунда! Это гораздо проще, чем кажется. На востоке есть ущелье, где уклон более пологий и камень более мягкий. Я смотрела по пути наверх, поворотов там будет немного, трех миль полотна или даже меньше вполне хватит.

Она указывала на восток и не видела, как пристально наблюдают мужчины за ее лицом.

— Тебе вполне достаточно узкоколейки… наподобие первых железных дорог… они впервые появились на шахтах, правда, угольных… Послушай, видишь вон тот хребет? Там достаточно места для трехфутовой колеи, тебе не придется ничего не взрывать, не расчищать. Видишь поло-

гий подъем протяженностью почти в полмили? Градиент не больше четырех процентов, его преодолеет любой паровоз, — Дагни говорила быстро, с веселой уверенностью, не ощущая ничего, кроме радости заниматься своим делом в этом мире, где важнее всего предложить решение проблемы. — Дорога окупится через три года. На первый взгляд предполагаю, что самой дорогой частью работы будет установка стальных эстакад. А вот и место, где я могла бы пробить туннель, всего в сто футов или меньше. Мне потребуется проложить дорогу через ущелье и довести сюда, но это не так трудно, как кажется, — давай, покажу, найдется у тебя листок бумаги?

Дагни не обратила внимания, с какой быстротой Голт достал блокнот и карандаш, — она взяла их таким жестом, словно и не сомневалась, что он с ними не расстается, будто отдавала распоряжения на стройплощадке, где подобные мелочи никогда ее не отвлекали.

— Давай покажу тебе общую идею. Если вбить в породу диагональные сваи, — она быстро чертила, — стальной пролет будет длиной всего шестьсот футов, он срежет эти последние полмили крутых поворотов, рельсы я смогла бы уложить за три месяца, и…

Дагни вдруг умолкла, взглянула на мужчин, и ее пылкость пропала. Она скомкала свой набросок и швырнула в красную пыль.

— О, какой смысл? — воскликнула она, впервые выказывая отчаяние. — Строить три мили железной дороги и бросить трансконтинентальную сеть!

Мужчины смотрели на Дагни, в лицах их она видела не упрек, а только понимание, почти сочувствие.

— Простите, — потупясь, негромко сказала она.

— Если передумаешь, — заговорил Франсиско, — я тут же тебя найму или Мидас за пять минут выдаст тебе кредит на финансирование строительства, если хочешь сама быть владелицей дороги…

Она покачала головой и прошептала:

— Не могу… пока что…

И подняла глаза, понимая, что они и так знают причину ее отчаяния, что нет смысла скрывать внутреннюю борьбу.

— Я уже пыталась, — сказала она. — Пыталась оставить свою дорогу… Знаю, чем это станет для меня. Я буду думать о ней при взгляде на каждую уложенную здесь шпалу, на каждый вбитый костыль… буду думать о другом туннеле…

о мосте Ната Таггерта… О, если б я могла о ней забыть! Если только можно было бы остаться здесь и не знать, что там делают с моей дорогой, не узнать, когда ей придет конец!

— Узнать придется, — сказал Голт; его обычный искренний тон, лишенный всяких эмоций, кроме внимания к фактам, на сей раз казался беспощадным. — Вы будете в курсе агонии *«Таггерт Трансконтинентал»*. Каждого крушения. Каждого остановившегося поезда. Каждой заброшенной линии. Падения моста Таггерта. Никто не остается в этой долине, не сделав окончательного, сознательного выбора, основанного на полном, безоговорочном знании всех фактов, связанных с его решением. Никто не остается здесь, делая вид, что реальность не такова, какой она на самом деле является.

Дагни вскинула голову и посмотрела на Голта, прекрасно понимая, какую возможность отвергает. Подумала о том, что во внешнем мире никто бы не сказал ей этого в такую минуту, — ей говорили бы о моральном кодексе мира, чтящем ложь во спасение как акт милосердия, почувствовала прилив отвращения к этому кодексу, впервые вдруг полностью осознав всю его мерзость и… ощутила бесконечную гордость

за спокойное, честное лицо стоящего перед ней мужчины. Голт увидел, как ее губы плотно, решительно сжались, однако какое-то трепетное чувство слегка смягчило их, когда она негромко ответила:

— Вы правы. Спасибо.

— Сейчас отвечать не нужно, — сказал он. — Скажете, когда примете решение. Остается еще неделя.

— Да, — спокойно кивнула она, — всего одна неделя.

Голт повернулся, поднял ее скомканный набросок, аккуратно сложил и сунул в карман.

— Дагни, — заговорил Франсиско, — когда будешь обдумывать решение, вспомни, если захочешь, конечно, свой первый уход, но вспомни и обо всем том, что с ним связано. В этой долине тебе не придется мучить себя, кроя гонтом крыши и прокладывая дорожки, которые никуда не ведут.

— Скажи, — спросила она неожиданно, — как ты узнал тогда, где я?

Франсиско улыбнулся.

— Мне сказал Джон. Тот самый разрушитель, помнишь? Ты удивлялась, почему он никого не послал за тобой. Но он послал. Меня.

— Тебя послал он?

— Да.

— Что он сказал тебе?

— Ничего особенного. Почему ты спрашиваешь?

— Что он сказал? Точные слова помнишь?

— Да, помню. Он сказал: «Если хочешь получить свой шанс, получай. Ты его заслужил». Я запомнил, потому что… — он повернулся к Голту, чуть нахмурясь: — Джон, я так и не понял, почему ты выразился именно так. Почему «мой шанс»?

— Можно, сейчас я не отвечу?

— Да, но…

С уступов рудника кто-то окликнул Франсиско, и он быстро ушел, словно продолжать разговор на эту тему больше не было нужды.

Дагни выдержала долгую паузу, затем повернулась к Голту. Она знала, что он смотрит на нее. Прочла в его глазах лишь легкую насмешку, словно он знал, какой ответ она станет искать в его лице и не найдет.

— Вы дали ему шанс, который был нужен вам самому?

— У меня не могло быть никаких шансов, пока он не получит все возможные.

— Откуда вы знали, что он его заслужил?

— Я расспрашивал его о вас в течение десяти лет, при любой возможности, по-всякому, во всех аспектах. Нет, главное сказал мне не он — сказало то, *как* он говорил. Франсиско часто пытался уйти от ответа, увильнуть, но когда начинал говорить, делал это очень пылко… и вместе с тем неохотно. И я понял, что вас связывает не просто детская дружба. Понял, от чего он отказался ради этой забастовки, и как отчаянно хочет вернуть утраченное. Я? Я просто расспрашивал его об одной из самых значительных будущих забастовщиц — впрочем, как и о многих других.

В глазах его сохранялось насмешливое выражение: он понимал, что Дагни *хотела* это услышать, но ответ на тот единственный вопрос, которого она страшилась, был совсем другим.

Дагни перевела взгляд на подходившего к ним Франсиско, больше не скрывая от себя очевидного: ее внезапное, сильное, отчаянное беспокойство вызвано страхом, что Голт может довести всех троих до бессмысленного самопожертвования.

Франсиско приближался, глядя на нее задумчиво, словно обдумывал вопрос, но такой, от которого глаза искрились бесшабашной ве-

селостью.

— Дагни, — сказал он, — осталась лишь одна неделя. Если решишь вернуться, последней она останется надолго, — в его голосе не было ни печали, ни упрека, единственным проявлением чувства была какая-то мягкость. — Если уедешь теперь — о да, ты непременно вернешься — но это будет нескоро. А я — я через несколько месяцев стану жить здесь постоянно, и, если ты уедешь, возможно, пройдут годы, прежде чем снова увижу тебя. Мне хотелось бы, чтобы эту неделю ты провела со мной. Перебирайся в мой дом. Как гостья, не больше, только потому, что мне этого хочется.

Он сказал это простодушно, словно между ними троими ничего утаивать не требовалось. Дагни не увидела в лице Голта никаких признаков удивления. В груди у нее что-то резко напряглось, что-то жесткое, безрассудное и чуть ли не злобное, напоминающее мрачное возбуждение, слепо требовавшее выхода.

— Но ведь я нанялась на работу, — сказала она, глядя на Голта с какой-то странной улыбкой. — И должна доработать до конца.

— Я не стану удерживать вас на работе, — сказал Голт, и тон его голоса вызвал у нее гнев,

в этом тоне не было никакого скрытого смысла, отвечал он только на буквальное значение ее слов. — Можете бросить работу, как только захотите. Решать вам.

— Нет. Я здесь под арестом. Забыли? Я должна повиноваться распоряжениям. Я не могу ни делать выбора, ни выражать желаний.

Я хочу, чтобы это решение было вашим.

— Хотите, чтобы оно было моим?

— Да!

— Это выражение желания.

Насмешка была в серьезности тона — и Дагни дерзко заявила ему, без улыбки, словно бросая вызов и дальше делать вид, будто не понимает:

— Хорошо. Я этого хочу!

Голт улыбнулся, словно какому-то хитрому детскому плану, который он давно понял.

— Отлично, — и без улыбки повернулся к Франсиско: — В таком случае — нет.

В лице Дагни Франсиско прочел только вызов некоему противнику, самому суровому из учителей. С сожалением, но без уныния он пожал плечами:

— Пожалуй, ты прав. Если ты не сможешь удержать ее от возвращения, не сможет никто.

Дагни не слышала слов Франсиско. Она бы-

ла потрясена огромным облегчением, которое ощутила при ответе Голта, облегчением, показавшим ей громадность страха, который тут же исчез. И лишь теперь поняла, как много зависело для нее от его решения, поняла, что иной ответ обесценил бы долину в ее глазах. Ей хотелось засмеяться, обнять их обоих и смеяться вместе с ними от радости. Уже представлялось неважным, останется ли она здесь или вернется в мир, неделя казалась вечностью, и тот, и другой путь казались залитыми неизменным солнечным светом. «И никакая борьба не трудна, — подумала Дагни, — если она вызвана сущностью жизни». Облегчение исходило не из сознания, что Голт не отверг ее, не из уверенности, что она добьется победы — оно исходило из убежденности, что Голт всегда будет таким, как есть.

— Не знаю, вернусь я во внешний мир или нет, — рассудительно заговорила Дагни, но голос ее дрожал от подавляемого неистовства, представлявшего собой чистую радость. — Извините, что до сих пор не могу принять решения. Уверена я лишь в одном: я не побоюсь его принять.

По внезапной ясности ее лица Франсиско счел этот инцидент незначительным. Но Голт по-

нял; взглянул на нее, и во взгляде были отчасти насмешка, отчасти презрительный упрек. Он ничего не говорил, пока они не оказались вдвоем, спускаясь по тропинке в долину. Тут он взглянул на нее снова с еще более явной насмешкой и спросил:

— Вы подвергли меня испытанию, чтобы узнать, унижусь ли я до последней стадии альтруизма?

Дагни не ответила; лишь посмотрела на него с откровенным, беззащитным признанием. Голт издал смешок, отвернулся и через несколько шагов произнес неторопливо, словно цитируя:

— Никто не остается здесь, подделывая реальность любым способом.

Сила моего облегчения, подумала Дагни, молча шагая рядом с ним, отчасти объясняется потрясающим контрастом. Она с внезапной четкостью увидела полную картину того, что было бы с ними, если б все трое поступили по кодексу самопожертвования. Голт, отказавшись от желанной женщины ради друга, исказил бы реальность тем, что подавил бы свое самое сильное чувство и изгнал бы ее из своей жизни, чего бы им обоим это ни стоило, потом влачил бы годы жизни в пустоте недостигнутого, несбывшегося. Она, обратясь

за утешением к другому, сфальсифицировала бы реальность, изображая любовь, которой нет, изображая с готовностью, поскольку ее готовность к самообману была бы главным условием самопожертвования Голта, потом жила бы годы с безнадежной страстью, принимая, как бальзам на незаживающую рану, минуты притупившейся привязанности и расхожее мнение, что любовь тщетна, и на свете нет счастья. Франсиско бродил бы в мутном тумане искаженной реальности, его жизнь была бы обманом, устроенным теми, кого он любил и кому доверял больше всех, бродил бы, силясь понять, чего ему не хватает для счастья, бродил бы по хрупкому мостику лжи над бездной открытия, что он не предмет ее любви, а лишь нежеланная замена, наполовину объект благотворительности, наполовину опора. Проницательность стала бы его врагом, и лишь покорность мертвенной бездумности не давала бы рухнуть хрупкому зданию его радости. Вначале он боролся бы с собой, потом оставил бы эти усилия и пришел к унылому убеждению, что счастья достигнуть невозможно. Эти трое, обладающие всеми дарами жизни, стали бы озлобленными неудачниками, восклицающими в отчаянии, что жизнь трагична, трагична из-за

невозможности сделать нереальность реальной.

«Но это, — подумала Дагни, — и есть моральный кодекс людей во внешнем мире — кодекс, предписывающий им действовать, исходя из предпосылки, что другие слабые, тупые, лживые, поэтому строй их жизни — блуждание в тумане притворного и непризнанного, убеждения, что факты не являются твердыми и окончательными, состояние, в котором люди, не признавая ни одной из форм реальности, блуждают, оступаясь, по жизни нереальными, несформированными, и умирают, не родясь. А здесь, — думала она, глядя сквозь зелень ветвей на блестящие крыши домов в долине, — имеешь дело с людьми ясными и твердыми, как солнце и скалы, и радость моего облегчения исходит из знания, что ни одна битва не жестока, ни одно решение не опасно там, где нет ни вялой неуверенности, ни уклончивых отговорок».

— Приходило ли вам в голову, мисс Таггерт, — заговорил Голт равнодушным тоном дискуссии на отвлеченные темы, — что среди людей не существует конфликта интересов ни в делах, ни в торговле, ни в их сокровенных желаниях, если они устраняют неразумное из рассмотрения возможного и разрушение из рассмотрения

практического? Нет ни конфликтов, ни призывов к жертвенности, никто не представляет угрозы целям других — если люди понимают, что реальность это абсолют, картину которого нельзя искажать, что ложь не приносит выгоды, что нельзя требовать незаработанное, что нельзя давать незаслуженного, что уничтожение подлинной ценности не сделает ценной мнимую. Бизнесмен, стремящийся обрести рынок, удавив более успешного конкурента, рабочий, желающий получать долю богатства работодателя, художник, завидующий более талантливому сопернику, — все они хотят устранения этих фактов, и единственное средство удовлетворить их желание — разрушение. Если они прибегнут к разрушению, то не добьются ни рынка, ни богатства, ни бессмертной славы — они лишь погубят производство, занятость и искусство. Желание неразумного недостижимо независимо от того, с готовностью люди идут на жертвы или нет. Но люди не перестанут желать невозможного и не утратят страсти к разрушению, пока саморазрушение и самопожертвование преподносятся им как практические средства достижения счастья.

Он взглянул на нее и неторопливо добавил

с легким нажимом, чуть изменившим равнодушный тон его голоса:

— В моих силах построить или разрушить только свое счастье. Надо бы иметь больше уважения и к нему, и ко мне и не страшиться того, чего вы страшились.

Дагни не ответила, ей казалось, что одно лишь слово нарушит полноту этой минуты, она лишь повернулась к Голту и обратила на него согласный взгляд, обезоруживающий, по-детски застенчивый, он был бы извиняющимся, если б не сияющая в глазах радость. Голт улыбнулся — весело, понимающе, чуть ли не в признании ее союзницей и в оправдании ее чувств.

Они продолжали путь молча, и Дагни представлялось, что это летний день ее беззаботной юности, не прожитый в то время, что это обыкновенная прогулка на природе двух людей, вольных доставить себе такое удовольствие, потому что у них нет нерешенных проблем. Легкость на душе сочеталась с легкостью спуска, казалось, единственное усилие, какое ей требовалось, — это удерживаться от полета, и она шла, стараясь не побежать, откинувшись назад, и ветер надувал ей юбку, будто парус.

У конца тропы они расстались; Голт пошел

на встречу с Мидасом Маллиганом, а Дагни на рынок Хэммонда, и список необходимых покупок к ужину был единственной ее заботой.

«Его жена», — подумала Дагни, позволив себе мысленно услышать то слово, какого не произнес доктор Экстон, слово, которое давно сознавала, но не употребляла. В течение трех недель она была женой Голта во всех смыслах, кроме одного, и это последнее предстояло еще заслужить, но все было реально, и сегодня она могла позволить себе осознать это, прочувствовать, прожить этот день с одной мыслью.

Продукты, которые Лоуренс Хэммонд выкладывал на блестящий прилавок по ее требованию, никогда не казались ей такими прекрасными, и, пристально глядя на них, она смутно ощущала какое-то беспокойство, что-то неладное, но разум ее был так переполнен, что не осознавала этого. Она поняла, только когда увидела, что Хэммонд оторвался от своего дела, нахмурился и поднял взгляд к небу за открытым фасадом.

Одновременно с его словами: «Похоже, кто-то пытается повторить ваш трюк, мисс Таггерт» она услышала шум самолета, раздающийся уже несколько минут, шум, который не тревожил долину после первого июня.

Они выбежали на улицу. Серебряный крестик самолета кружил над кольцом гор, словно блестящая стрекоза, которая вот-вот коснется вершин крыльями.

— Он соображает, что делает? — произнес Хэммонд.

Люди в дверях магазинов и на улице застыли, глядя в небо.

— Кого-то… кого-то ждут? — спросила Дагни и удивилась беспокойству в своем голосе.

— Нет, — ответил Хэммонд. — Все, кому нужно быть в долине, здесь.

В тоне его звучало не беспокойство, а недовольное любопытство.

Самолет превратился в черточку, похожую на серебристую сигарету, несущуюся вдоль склонов гор; он спустился ниже.

— Похоже, частный моноплан, — сказал Хэммонд, щурясь от солнца. — Тип самолета не военный.

— Лучевой экран не подведет? — напряженно спросила Дагни тоном негодования, вызванного приближением врага.

Он усмехнулся:

— Не подведет?

— Летчик нас увидит?

— Этот экран надежнее бомбоубежища, мисс Таггерт.

Самолет поднялся и на миг выглядел просто светлой точкой, унесенным ветром клочком бумаги, потом снова спирально пошел вниз.

— Черт возьми, что ему нужно? — произнес Хэммонд.

Дагни внезапно взглянула ему в лицо.

— Он что-то ищет, — сказал Хэммонд. — Что?

— Телескоп здесь где-нибудь есть?

— Да, конечно, на аэродроме, но…

Он хотел спросить, почему у нее такой голос, но Дагни уже бежала по тропинке к аэродрому, не сознавая, что бежит, влекомая причиной, назвать которую у нее не было ни времени, ни мужества.

Она обнаружила Дуайта Сэндерса у маленького телескопа на контрольно-диспетчерском пункте; недоуменно хмурясь, он внимательно наблюдал за самолетом.

— Дайте взглянуть! — отрывисто потребовала Дагни.

Она стиснула металлическую трубу, прильнула глазом к окуляру, рука ее медленно вела телескоп за самолетом — потом Сэндерс увидел, что рука замерла, но пальцы не разжались и лицо не ото-

рвалось от телескопа, он нагнулся и обнаружил, что она прижимается к окуляру лбом.

— Что такое, мисс Таггерт?

Она медленно подняла голову.

— Это кто-нибудь из ваших знакомых?

Дагни не ответила. И поспешила прочь, поминутно меняя направление, потому что не знала, куда идти, — бежать она не осмеливалась, но ей нужно было исчезнуть, скрыться, она не знала, боится ли взглядов окружающих или взгляда с самолета, на серебристых крыльях которого был номер, принадлежащий Хэнку Риардену.

Дагни остановилась, когда споткнулась о камень, упала и поняла, что бежала. Она находилась на маленьком скальном уступе над аэродромом, скрытая от взглядов из города, открытая взгляду с неба. Поднялась, хватаясь за гранитную стену, ощущая ладонями тепло нагретой солнцем скалы. Она стояла, прижавшись спиной к скале, не способная пошевелиться или оторвать взгляд от самолета.

Самолет медленно кружил, то спускаясь, то взмывая снова. «Пытается, — подумала Дагни, — как пыталась я, увидеть обломки самолета в беспорядочном скоплении расселин и скальных глыб, скоплении, где не разобрать, есть ли

смысл продолжать поиски. Он ищет обломки моего самолета, он не сдался, и чего ему стоили эти три недели, что он пережил, может сказать только ровный, назойливый, монотонный гул мотора, несущего хрупкий самолет над смертельно опасной, недоступной цепью гор».

В хрустальной прозрачности летнего воздуха самолет казался очень близким, Дагни видела, как он покачивается на случайных воздушных потоках и кренится под порывами ветра. Внизу лежала залитая солнцем долина, сверкающая оконными стеклами, зеленеющая лужайками — конец его мучительных поисков, больше чем исполнение желаний. Не обломки самолета и не ее бездыханное тело, а она живая, и его свобода — все, что он искал и сейчас, и раньше, теперь расстилалось перед ним, открытое, ждущее, достижимое пикированием сквозь чистый, ясный воздух и требующее от него только способности видеть.

— Хэнк! — закричала Дагни, отчаянно размахивая руками. — Хэнк!

И вновь прижалась спиной к стене, понимая, что никак не может связаться с ним, что у нее нет силы открыть ему зрелище внизу, что никакая сила не способна пробить этот экран, кроме

его разума и воображения.

Внезапно и впервые лучевой экран представился ей не самым неосязаемым, а самым стойким, неодолимым барьером на свете. Бессильно привалившись к скале, она наблюдала в безмолвном смирении за безнадежным кружением самолета, слушала терпеливую просьбу мотора о помощи, просьбу, на которую никак не могла ответить. Самолет круто пошел вниз, но это было лишь началом последнего подъема. Он прочертил быструю диагональ на фоне гор и устремился в открытое небо. Потом, словно погружаясь в безбрежное озеро, все уменьшался и с негромким жужжанием скрылся из виду.

Дагни с горьким сочувствием подумала о том, сколького же Риарден не смог увидеть. «А я? Если покину эту долину, экран сомкнется за мной так же плотно, Атлантида опустится под завесу лучей, станет более недоступной, чем океанское дно, и я тоже буду силиться увидеть то, что хочу, не зная, как, буду сражаться с миражом первозданной нетронутости, и реальность всего желанного навсегда останется недосягаемой». Однако тягой внешнего мира, тягой, влекущей ее последовать за самолетом, служил не образ Хэнка Риардена — она знала, что не сможет

вернуться к нему, даже если вернется в мир — это притяжение имело облик мужества Хэнка Риардена и мужества всех тех, кто все еще сражается за жизнь. Он не оставит поиски ее самолета, когда все остальные давно уже отчаются, как не оставит свои заводы, не оставит никакой избранной цели, если будет существовать хотя бы один-единственный шанс ее достичь. Уверена ли она, что у «*Таггерт Трансконтинентал*» не осталось ни единого шанса? Уверена ли, что условия битвы не оставляют ей надежд на победу? Люди Атлантиды были правы, они правильно сделали, что скрылись, если знали, что не оставляют в мире никакой ценности, но пока она не увидит, что не осталось неиспробованного шанса, непроведенной битвы, оставаться среди них она не имеет права. Этот вопрос мучил ее несколько недель, но не привел хотя бы к проблеску ответа.

В ту ночь Дагни много часов недвижно лежала без сна, ведя — словно машинист, словно Хэнк Риарден — процесс бесстрастного, четкого, почти математического обдумывания, не принимая в расчет цену или чувства. Страдания, которые пережил Хэнк в самолете, она переживала в беззвучном кубе темноты, ища ответ, но не находя. Она смотрела на едва различимые надписи

на стенах, но той помощи, которую просили в свой самый мрачный час эти люди, она попросить не могла.

* * *

— Да или нет, мисс Таггерт?

Дагни смотрела на лица четверых мужчин в мягких сумерках гостиной Маллигана. Лицо Голта было спокойное, бесстрастное и внимательное, как у ученого. На лице Франсиско таился намек на легкую улыбку, которая скрывала заинтересованность в том или ином ответе и лишала его выразительности. Лицо Хью Экстона выражало сочувственную мягкость, он выглядел по-отцовски нежным. Мидас Маллиган задал вопрос без намека на требовательность в голосе. Где-то за две тысячи миль отсюда, в этот закатный час над крышами Нью-Йорка светилась страница календаря, глася: 28 июня. Дагни вдруг показалось, что она видит эту страницу над головами собравшихся.

— У меня есть еще один день, — спокойно сказала она. — Дадите мне его? Думаю, я пришла к решению, но не совсем уверена в нем, а мне нужна полная ясность.

— Конечно, — ответил Маллиган. — Собствен-

но говоря, у вас есть время до утра послезавтра. Мы подождем.

— И потом будем ждать, — сказал Хью Экстон, — если придется, в ваше отсутствие.

Дагни стояла у окна, глядя на них, и радовалась тому, что может стоять прямо, что руки не дрожат, голос звучит так же сдержанно, без жалобы и без жалости, как и их голоса; это давало ощущение уз, связывающих ее с ними.

— Если ваша неуверенность, — сказал Голт, — отчасти объясняется конфликтом между сердцем и разумом, следуйте тому, что говорит разум.

— Примите во внимание причины, дающие нам уверенность в своей правоте, — сказал Хью Экстон, — но не факт нашей уверенности. Если не убеждены, не берите нашу уверенность в расчет. Не подменяйте свое суждение нашим.

— Не полагайтесь на наше знание того, что для вас лучше всего в будущем, — сказал Маллиган. — Мы это знаем, но оно не может быть лучшим, пока этого не знаете вы.

— Не принимай в расчет наши интересы и желания, — сказал Франсиско. — У тебя нет никаких обязанностей ни перед кем, кроме себя.

Дагни улыбнулась, не печально и не весело, подумав, что во внешнем мире не получила бы

таких советов. Она знала, как сильно они хотят помочь ей там, где это невозможно, и решила, что должна успокоить их.

— Я вломилась сюда, — спокойно сказала она, — и должна нести ответственность за последствия. Я несу ее.

Наградой ей была улыбка Голта, подобная боевому ордену.

Отвернувшись, Дагни неожиданно вспомнила Джеффа Аллена, бродягу в вагоне «*Кометы*». Она вспомнила момент, когда ее восхитила его попытка облегчить ей общение с ним: он пытался объяснить, что знает цель своей поездки, а не просто двигается куда глаза глядят. Она слабо улыбнулась при мысли, что побывала в обеих ролях и знает, что не может быть ничего более низкого и тщетного, чем перекладывание на другого бремени своего отказа от выбора. Она ощутила странное, безмятежное спокойствие и поняла, что так проявляется напряжение, но напряжение полной ясности. Дагни поймала себя на мысли: «Она превосходно действует в критических обстоятельствах, у меня с ней не будет проблем», — и поняла, что подумала о себе.

— Давайте отложим это до послезавтра, мисс

Таггерт, — сказал Маллиган. — Сегодня вы все еще здесь.

— Спасибо, — ответила она.

Дагни осталась стоять у окна, а мужчины перешли к обсуждению дел долины; это было заключительное совещание месяца. Они только что поужинали, и Дагни подумала о своем первом ужине в этом доме месяц назад; на ней был серый костюм, уместный в кабинете, а не крестьянская юбка, в которой так хорошо под летним солнцем. «Сегодня я все еще здесь», — подумала она и по-хозяйски прижала ладонь к подоконнику.

Солнце еще не скрылось за горами, но небо обрело ровную, густую, обманчиво ясную синеву, сливавшуюся с синевой невидимых туч в единую пелену, застилавшую солнце; лишь края туч были очерчены тонкими линиями пламени. «Они похожи на неоновые трубки, — подумала Дагни, — на карту извилистых рек… на… на карту железных дорог, начерченную белым огнем на небе».

Она услышала, как Маллиган называет Голту фамилии тех, кто не возвращается во внешний мир.

— Работа у нас есть для всех, — сказал Маллиган. — Собственно говоря, в этом году возвраща-

ются всего десять-двенадцать человек — главным образом для того, чтобы завершить дела, продать имущество и приехать сюда насовсем. Думаю, это был у нас последний отпускной месяц, потому что до конца будущего года мы все будем жить в долине.

— Хорошо, — сказал Голт.

— Придется, судя по положению во внешнем мире.

— Да.

— Франсиско, — спросил Маллиган, — ты вернешься через несколько месяцев?

— Самое позднее в ноябре, — ответил Франсиско. — Сообщу по коротковолновому передатчику, когда буду готов вернуться. Включите отопление у меня в доме?

— Включу, — ответил Хью Экстон. — И приготовлю к твоему появлению ужин.

— Джон, — сказал Маллиган, — насколько я понимаю, на сей раз ты не возвращаешься в Нью-Йорк.

Голт взглянул на него, потом спокойно ответил:

— Еще не решил.

Дагни обратила внимание, как встревоженно, резко Франсиско с Маллиганом подались вперед

и уставились на него, и как медленно Хью Экстон переводил взгляд с одного лица на другое; ответ Голта его как будто не удивил.

— Неужели собираешься вернуться еще на год в тот ад? — спросил Маллиган.

— Собираюсь.

— Господи, Джон! Зачем?

— Скажу, когда приму решение.

— Но тебе там уже нечего делать. С нами все, кого мы знали и кого надеялись узнать. Наш список исчерпан. Остались только Хэнк Риарден — он будет с нами еще до конца года — и мисс Таггерт, которой предстоит сделать выбор. Вот и все. Твоя работа завершена. Там нечего делать — нужно только ждать окончательного краха, когда крыша рухнет им на головы.

— Знаю.

— Джон, я не хочу, чтобы там была и твоя голова, когда это случится.

— Обо мне беспокоиться не нужно.

— Неужели не понимаешь, до какой стадии они дошли? Остался всего один шаг до открытого насилия! Черт возьми, они давным-давно сделали этот шаг, утвердили его и объявили о нем, но вот-вот поймут полностью, что натворили, это рванет в их гнусные рожи: открытое, слепое,

своевольное, кровопролитное насилие, безудержное, крушащее без разбора все и всех. Я не хочу, чтобы ты оказался в его гуще.

— Обо мне не нужно беспокоиться.

— Джон, тебе нет смысла идти на риск, — сказал Франсиско.

— На какой риск?

— Грабители обеспокоены исчезновением людей. Они что-то подозревают. Уж тебе-то нельзя больше оставаться там. Существует вероятность того, что они узнают, кто ты и что ты.

— Существует. Незначительная.

— Но подвергаться риску совершенно незачем. Там не осталось ничего такого, что бы мы с Рагнаром не могли довести до конца.

Хью Экстон, откинувшись на спинку кресла, молча наблюдал за ними; на его лице была та напряженность, не совсем горечь, не совсем улыбка, с какой человек следит за интересующим его процессом, но результат которого для него уже очевиден.

— Если я вернусь туда, — заговорил Голт, — то не ради нашего дела. Ради того единственного, чего хочу добиться от мира для себя. Я ничего не брал от мира и ничего не хотел. Но есть то единственное, чем мир еще владеет, что принад-

лежит мне, и что я ему не оставлю. Я не собираюсь нарушать принесенной клятвы, я не стану иметь дел с грабителями, не буду представлять ценности или опоры ни для грабителей, ни для нейтральных, ни для штрейкбрехеров. Если вернусь туда, то лишь ради себя, и не думаю, что буду рисковать жизнью, но если и буду, что ж, теперь я волен рискнуть ею.

Он не смотрел на Дагни, но ей пришлось отвернуться и прижаться к оконной раме, потому что у нее дрожали руки.

— Но, Джон! — воскликнул Маллиган, указывая на долину, — если с тобой что-то случится, что будем мы… — он внезапно умолк с виноватым видом.

Голт усмехнулся:

— Что ты хотел сказать?

Маллиган смущенно махнул рукой.

— Хотел сказать, что если со мной что-то случится, я погибну величайшим на свете неудачником?

— Ладно, — с виноватым видом заговорил Маллиган. — Я не стану этого говорить. Не скажу, что мы не сможем обходиться без тебя. Сможем. Не буду упрашивать тебя остаться ради нас — я не думал, что когда-нибудь прибегну к этой

дрянной старой просьбе, но, черт возьми, каким это было искушением, я почти понимаю, почему люди прибегают к ней. Я знаю, что, если ты хочешь рисковать жизнью, это твое право, и говорить тут не о чем, но только думаю, что… Господи, Джон, это такая ценная жизнь!

Голт улыбнулся.

— Знаю. И потому не думаю, что есть риск, думаю, что одержу победу.

Молчавший Франсиско пристально смотрел на Голта, недоуменно хмурясь, по его лицу было видно, что он не нашел ответа, но внезапно уловил суть вопроса.

— Послушай, Джон, — сказал Маллиган, — поскольку ты еще не решил, вернешься туда или нет… ты пока что не решил, верно?

— Да, пока что не решил.

— В таком случае позволишь напомнить тебе кое о чем?

— Я слушаю.

— Меня страшат случайные опасности — бессмысленные, непредсказуемые опасности в распадающемся мире. Подумай о физическом риске, какой представляют собой сложные механизмы в руках слепых дураков и обезумевших от страха трусов. Подумай только об их железных

дорогах! Всякий раз, садясь в поезд, ты будешь подвергать себя опасности попасть в такую катастрофу, как в Уинстонском туннеле — а такие катастрофы будут происходить все чаще и чаще. Они дойдут до той стадии, когда дня не будет проходить без крушений.

— Знаю.

— То же самое будет происходить повсюду, где есть машины — машины, которые, по мнению грабителей, способны заменить наш разум. Авиакатастрофы, взрывы нефтяных цистерн, прорывы металла из домен, удары тока высокого напряжения, обрушения линий метро, падения эстакад — со всем этим они столкнутся. Те самые машины, что делали их жизнь столь безопасной, станут представлять собой постоянную опасность.

— Знаю.

— Знаю, что знаешь, но обдумывал ты это в конкретных подробностях? Позволял себе представить их зрительно? Представь себе ясную картину того, во что хочешь сунуться, — пока не решил, может ли что-то оправдать этот риск. Ты знаешь, что пострадают больше всего города. Города созданы железными дорогами и погибнут вместе с ними.

— Это верно.

— Когда железные дороги выйдут из строя, в Нью-Йорке через два дня начнется голод. Запасы продовольствия придут к концу. Нью-Йорк кормит континент протяженностью три тысячи миль. Как будут доставлять туда продукты? Директивами и воловьими упряжками? Но до этого жители вкусят все прелести агонии города: дефицит, разруху, голодные бунты, паническое бегство.

— Да.

— Сначала они лишатся самолетов, потом легковых машин, потом грузовиков, потом телег.

— Да.

— Заводы остановятся, остынут печи, замрут радиостанции. Потом выйдет из строя энергосистема.

— Да.

— Районы континента будет соединять лишь изношенная тонкая нить. По ней будет проходить один поезд в день, потом один в неделю — потом мост Таггерта рухнет, и…

— Нет, не рухнет!

Все повернулись на голос Дагни. Лицо ее было бледным, но более спокойным, чем при ответах на их вопросы.

Голт медленно встал и склонил голову, словно выслушивая приговор:

— Вы приняли решение.

— Приняла.

— Дагни, — сказал Хью Экстон, — мне очень жаль. — Говорил он негромко, с усилием, его слова словно бы силились, но не могли заполнить тихую комнату. — Я бы не хотел видеть этого. Предпочел бы что угодно, кроме сознания, что вы остались потому, что вашим убеждениям недостает твердости.

Дагни с видом полной откровенности развела руками и, обращаясь ко всем, негромко заговорила, не скрывая волнения:

— Важно, чтобы вы знали вот что: я так хочу остаться, что согласилась бы умереть в обмен на месяц, проведенный в долине. Но я выбрала жизнь и не могу выйти из сражения, которое, думаю, должна вести.

— Конечно, — почтительно сказал Маллиган, — если продолжаете так думать.

— Если хотите знать единственную причину, по которой возвращаюсь, скажу: я не могу заставить себя бросить на разрушение все величие мира, все то, что было моим и вашим, что создано нами и до сих пор по праву принадлежит нам,

так как не могу поверить, что люди способны отказаться видеть, что они способны навсегда остаться слепыми и глухими к нам, поскольку правда на нашей стороне, и жизнь их зависит от того, примут они ее или нет. Они все еще любят жизнь — этого не вытравили из их разума. И пока люди хотят жить, я не могу проиграть это сражение.

— Хотят ли? — негромко произнес Хью Экстон. — Нет, не отвечайте сейчас. Найти и принять ответ нам всем было очень трудно. Унесите этот вопрос с собой как последнюю предпосылку, которая нуждается в проверке.

— Вы уезжаете как наш друг, — сказал Маллиган, — но мы будем противостоять всему, что вы будете делать, так как знаем, что вы неправы, но осуждать вас не станем.

— Вы вернетесь, — сказал Хью Экстон, — потому что это заблуждение, а не моральный крах, не акт капитуляции перед злом, а последняя жертва, которую вы приносите своей добродетели. Мы будем вас ждать, и, когда вы вернетесь, Дагни, вы поймете, что не должно было быть никакого конфликта между вашими желаниями, столь трагичного столкновения ценностей, которое вы так хорошо переносите.

— Спасибо, — сказала она, закрывая глаза.

— Нужно обсудить условия вашего отъезда, — сказал Голт; говорил он бесстрастным голосом служащего. — Во-первых, вы должны дать слово, что не раскроете никаких наших секретов: ни нашего дела, ни нашего существования, ни этой долины, ни места своего пребывания в течение месяца ни одному человеку во внешнем мире, ни в какое время, ни с какой целью.

— Даю слово.

— Во-вторых, вы ни в коем случае не должны пытаться отыскать эту долину. Вы не должны появляться здесь без приглашения. Если нарушите первое условие, это не подвергнет нас серьезной опасности. Если нарушите второе — подвергнете. Мы никогда не находились в зависимости от чьей бы то ни было доброй воли или обещания, за нарушение которого невозможно взыскать. И не можем ожидать, что вы поставите наши интересы выше собственных. Поскольку вы считаете свой курс верным, может наступить день, когда вы сочтете нужным привести в долину наших врагов. Поэтому таких возможностей мы вам не оставим. Вас отправят из долины на самолете, с повязкой на глазах, самолет пролетит достаточное расстояние, чтобы вы не могли

проследить курс.

Дагни кивнула:

— Вы правы.

— Ваш самолет отремонтирован. Хотите получить его, оплатив ремонт из своего счета в банке Маллигана?

— Нет.

— Тогда он останется здесь до тех пор, пока не сочтете нужным заплатить за него. Послезавтра я вывезу вас из долины на своем самолете и оставлю в пределах досягаемости других видов транспорта.

Дагни кивнула:

— Отлично.

Когда они вышли из дома Маллигана, было уже темно. Тропа к дому Голта проходила мимо хижины Франсиско, и они возвращались втроем. В темноте виднелось несколько светящихся окон, по тропинке медленно вились первые полосы тумана, словно тени, насылаемые далеким морем.

Шли они молча, однако сливающиеся в единый ритм звуки их шагов походили на речь, внятную и не произносимую больше ни в какой форме.

Через некоторое время Франсиско сказал:

— Это ничего не меняет, только делает путь немного длиннее, и последний его отрезок всегда

самый трудный — но он последний.

— Буду надеяться, — сказала Дагни. Чуть погодя негромко повторила: — Последний самый трудный, — и повернулась к Голту: — Можно обратиться с одной просьбой?

— Да.

— Отпустите меня завтра?

— Если хотите.

Франсиско вскоре заговорил снова, словно обращаясь к какому-то недоумению в ее сознании; в интонации его голоса звучал ответ на вопрос:

— Дагни, мы все трое влюблены, — она резко повернула к нему голову, — в одно и то же, пусть и в разных формах. Не удивляйся, что между нами нет размолвок. Ты будешь одной из нас, пока остаешься влюбленной в свои паровозы и рельсы, — они приведут тебя обратно к нам, сколько бы ты ни сбивалась с пути. Невозможно спасти только человека, без страсти.

— Спасибо, — негромко сказала она.

— За что?

— За… то, как ты говоришь.

— Как я говорю? Скажи, Дагни.

— Словно… ты счастлив.

— Я счастлив — точно так же, как и ты. Не говори, что испытываешь. Я знаю. Но, видишь ли,

мера ада, который ты способна вынести, и есть мера твоей любви. Для меня было бы невыносимым адом видеть твое равнодушие.

Дагни молча кивнула, ничто из того, что испытывала, она не могла назвать радостным, однако понимала, что он прав.

Сгустки тумана проплывали, будто дым, по лунному диску, и в рассеянном свете Дагни не могла разглядеть лица мужчин, между которыми шла. Она воспринимала только их прямые силуэты, четкий ритм их шагов и собственное чувство, вызывающее желание идти и идти, назвать эту чувство она не могла, но знала, что это не сомнение и не страдание. Когда они подошли к хижине, Франсиско остановился и приглашающе указал обоим на дверь:

— Зайдете, поскольку это наш последний вечер вместе перед долгим расставанием? Выпьем за будущее, в котором все мы трое уверены.

— Уверены ли? — спросила Дагни.

— Да, — ответил Голт.

Когда Франсиско зажег в доме свет, Дагни посмотрела на их лица. Определить их выражение она не могла, в них не было ни счастья, ни какого-то похожего на радость чувства, они были напряженными, серьезными. «Но это какая-то

пылкая серьезность, — подумала Дагни, — если такое возможно». И странную пылкость в душе она ощущала и в себе, и тот же свет озарял ее лицо.

Франсиско полез в шкаф за стаканами, но замер, будто ему внезапно пришла какая-то мысль. Поставил на стол один стакан, потом потянулся к серебряным кубкам Себастьяна д'Анкония и поставил их рядом.

— Дагни, ты прямо в Нью-Йорк? — спросил он спокойным, непринужденным тоном хозяина, доставая бутылку старого вина.

— Да, — ответила она так же спокойно.

— Я улетаю завтра в Буэнос-Айрес, — сказал он, откупоривая бутылку. — Не уверен, вернусь ли потом в Нью-Йорк, но если да, тебе будет опасно видеться со мной.

— Это меня не волнует, — сказала она, — если ты не считаешь, что я больше не вправе с тобой видеться.

— Это так, Дагни. В Нью-Йорке не вправе.

Франсиско стал разливать вино по стаканам и взглянул на Голта:

— Джон, когда решишь, вернешься в мир или останешься здесь?

Голт посмотрел на него, потом неторопливо от-

ветил тоном человека, сознающего последствия своих слов:

— Я решил, Франсиско. Я возвращаюсь.

Рука Франсиско замерла. Несколько секунд он не видел ничего, кроме лица Голта. Поставил бутылку и, хотя не сделал шага назад, казалось, взгляд его отдалился настолько, чтобы видеть их обоих.

— Ну конечно, — произнес он.

Казалось, Франсиско отдалился еще больше и теперь видит всю протяженность их жизни; голос его звучал ровно, бесстрастно, под стать масштабу его видения:

— Я знал это двенадцать лет назад. Знал, когда ты сам не мог знать, и должен был понять, что и ты поймешь. В ту ночь, когда ты вызвал нас в Нью-Йорк, я осознал, кто является воплощением всего, — он обращался к Голту, но смотрел на Дагни, — всего, что ты искал… всего, ради чего ты призывал нас жить или умереть, если потребуется. Мне нужно было понять, что и ты увидишь. Иначе и быть не могло. Так и должно быть. Все определилось тогда, двенадцать лет назад, — он взглянул на Голта и негромко засмеялся: — И ты говоришь, что мне пришлось тяжелее всех?

Франсиско резко отвернулся, потом очень медленно, словно с подчеркнутой значимостью, продолжил разливать вино в три сосуда на столе. Поднял оба серебряных кубка, поглядел в них, потом протянул один Дагни, другой Голту:

— Берите. Вы это заслужили, и это не было случайностью.

Голт взял кубок из его руки, но казалось, сделал это взглядом.

— Я отдал бы все на свете, чтобы было иначе, — сказал Голт, — кроме того, что отдать невозможно.

Дагни, держа кубок, посмотрела на Франсиско так, чтобы он увидел, как она перевела взгляд на Голта.

— Да, — сказала она тоном ответа на вопрос. — Но я не заслужила этого — и то, что заплатили вы, я плачу сейчас и не знаю, смогу ли расплатиться полностью, но если ад — это цена и мера, тогда позвольте мне быть самой жадной из нас троих.

Когда они пили, Дагни стояла с закрытыми глазами, чувствуя, как вино струится по горлу, и понимала, что это самая мучительная и самая торжественная минута их жизни.

Дагни не разговаривала с Голтом, пока они

вдвоем добирались до его дома. Она не смотрела на него, понимая, что даже беглый взгляд может быть слишком опасным. Она чувствовала в этом молчании покой полного понимания, а еще ощущала напряжение, сознавая, что они не могут назвать то, что понимают.

Но она взглянула на Голта в его гостиной, твердо, словно бы во внезапной уверенности, что имеет на это право, уверенности, что не сломится и что теперь говорить безопасно. Дагни произнесла ровным голосом, в котором не звучало ни просьбы, ни торжества, это была просто констатация факта:

— Вы возвращаетесь во внешний мир, потому что там буду я.

— Да.

— Я не хочу, чтобы вы возвращались.

— От вашего желания это не зависит.

— Вы возвращаетесь ради меня.

— Нет, ради себя.

— Позволите мне видеться там с вами?

— Нет.

— Будете наблюдать за мной, как раньше?

— Еще пристальнее.

— Ваша цель защищать меня?

— Нет.

— Тогда какая же?

— Быть там в тот день, когда решите присоединиться к нам.

Дагни внимательно посмотрела на него, позволив себе лишь эту реакцию, но словно ища ответа на его слова, которые не совсем поняла.

— Все остальные соберутся здесь, — объяснил Голт. — Оставаться там станет слишком опасно. Я стану вашим последним ключом для входа в долину перед тем, как дверь закроется навсегда.

— О! — Дагни подавила этот звук, потому что он превращался в стон. Потом, вновь обретя тон безличной отрешенности, спросила: — А если я скажу, что мое решение окончательно, и я никогда не присоединюсь к вам?

— Это будет ложью.

— А если я сейчас решу, что хочу сделать его окончательным и стоять на нем, каким бы ни оказалось будущее?

— Независимо от того, какие факты увидите и какие убеждения сформируете?

— Да.

— Это будет хуже, чем ложь.

— Вы уверены, что я приняла неправильное решение?

— Да.

— Вы считаете, что каждый должен расплачиваться за свои ошибки?

— Считаю.

— Тогда почему не позволяете мне перенести последствия моих?

— Позволяю, и вы их перенесете.

— Если я обнаружу, когда будет слишком поздно, что хочу вернуться в долину, почему вы должны рисковать, держа для меня дверь открытой?

— Я не должен. И не делал бы этого, не будь у меня личной цели.

— Что это за личная цель?

— Хочу, чтобы вы были здесь.

Дагни закрыла глаза и опустила голову, открыто признавая поражение — поражение в споре и в попытке спокойно принять полное значение того, что покидает.

Потом подняла голову и взглянула на Голта столь же открыто, ничего не пряча в себе, — все отразилось в ее взгляде. Его лицо было таким, каким она увидела его, впервые открыв глаза в этой долине: в нем читались спокойствие и проницательность, без следа переживаний, страха или вины. Подумала, что, будь ее воля, так бы и стояла здесь, глядя на него, на прямые линии

бровей над темно-зелеными глазами, на уверенный изгиб губ, словно отлитую из металла шею под расстегнутым воротником рубашки, непринужденную позу. Но в следующий миг поняла, что если бы поддалась подобному соблазну, то предала бы все, что придавало ценность самой картине.

Она ощутила, что воспринимает как настоящее, а не прошлое, ту минуту, когда стояла у окна своей комнаты в Нью-Йорке, глядя на окутанный туманом город, на недосягаемые очертания погружающейся на дно Атлантиды, и поняла, что лишь теперь видит объяснение этому. Пережила не слова, с которыми обратилась тогда к городу, а то непередаваемое чувство, что их породило: «Ты, кого я всегда любила, но так и не нашла, ты, кого ожидала увидеть в конце рельсового пути, у самого горизонта…», и заговорила:

— Хочу, чтобы вы знали. Я начинала жизнь с абсолютным убеждением, что мир принадлежит мне, что я могу формировать его, исходя из своих представлений о высших ценностях, и не опускаться до более низких мерок… «Ты, чье присутствие я всегда ощущала на улицах города, — прозвучал в ее сознании голос, — чей мир я

хотела построить». Теперь я понимаю, что на самом деле вела битву за вашу долину. «Это любовь к тебе заставляла меня действовать и мыслить…» Я увидела ее как явь и не хочу менять ни на что меньшее, не хочу предавать, отдавая бессмысленному злу. «Моя любовь и моя надежда встретить тебя и желание быть достойной тебя, когда буду рядом с тобой…» Я возвращаюсь, чтобы продолжить сражаться за эту долину, уберечь ее от опасности, вернуть ей законное место в мире, чтобы вы властвовали на Земле реально, а не мысленно, не в тени, и встретиться с вами в тот день, когда сумею распахнуть для вас все двери, или, если потерплю поражение, оставаться изгнанницей до конца жизни. «Но отныне вся моя жизнь будет принадлежать тебе, и я буду работать во имя тебя, хотя никогда не смогу произнести твоего имени; я буду служить тебе, даже если мне не суждено победить, буду сражаться, чтобы быть достойной тебя в тот день, когда встречу тебя, даже если этой встрече не суждено состояться». Буду сражаться за нее, даже если придется биться с вами, даже если вы осудите меня как предательницу… даже если никогда больше вас не увижу.

Голт молча стоял, не шевелясь, не меняясь

в лице, лишь глаза смотрели на нее так, будто он вслушивался в каждое ее слово, даже в те, что она не успела или не захотела произнести. И когда ответил, взгляд его не изменился, словно он хотел сохранить ту незримую связь, что возникла между ними, а голос обрел ее интонации, как будто передатчик, работающий с тем же кодом, на той же волне; в нем не звучало никаких эмоций, разве только размеренность речи:

— Если потерпите неудачу, как те, что искали мечту, которая должна была стать явью, но так и осталась недосягаемой, если, подобно им, станете думать, что высшие ценности недоступны и свои сокровенные мечты невозможно осуществить, не проклинайте мир, как они, не проклинайте жизнь. Вы видели ту Атлантиду, что они искали: она здесь, она существует, но войти в нее можно лишь одиноким и лишенным иллюзий, без единого лоскутка вековых обманов и не просто с ясным разумом или чистым сердцем, а постигнув главное — полную бескомпромиссность, что и считается здесь основным достоянием и ключом. Вы не войдете в нее, пока не усвоите, что вам не нужно убеждать или покорять мир. Когда поймете это, вам станет ясно, что на протяжении всех лет вашей борьбы вам ничто

не закрывало входа в Атлантиду, и не существует цепей, удерживавших вас, кроме тех, которые вы сами хотели носить. Все прошедшие годы то, чего вы больше всего хотели добиться, ждало вас здесь. — Голт глядел на Дагни так, словно отвечал на слова, не успевшие сорваться с ее губ. — Ждало так же упорно, как вы сражались, так же страстно, так же отчаянно, но с уверенностью, вам пока недоступной. Уезжайте, продолжайте свою борьбу. Продолжайте нести никчемное бремя, получать незаслуженные пинки и верить, что справедливость можно найти, разменяваясь на мелочные дела и мелочных людей. Но в самые тяжелые, самые мрачные минуты помните, что видели иной мир. Помните, что он достижим для вас в любое время. Помните, что он будет ждать, и он реален, он — явь, он — ваш.

Потом, чуть повернув голову и разорвав их незримую связь, Голт тем же ясным голосом спросил:

— В какое время хотите завтра вылететь?

— О!.. Как можно раньше.

— Тогда приготовьте завтрак к семи, вылетим в восемь.

— Хорошо.

Голт полез в карман и протянул маленький,

блестящий кружок; Дагни не сразу поняла, что это такое. Положил ей на ладонь: то была золотая пятидолларовая монета.

— Последняя часть вашей зарплаты за месяц.

Пальцы ее крепко сомкнулись на монете, но она ответила спокойно, равнодушно:

— Спасибо.

— Доброй ночи, мисс Таггерт.

— Доброй ночи.

В последние часы пребывания в долине Дагни не спала. Сидела на полу, уткнувшись лицом в кровать, и не ощущала ничего, кроме присутствия Голта за стеной. Временами ей казалось, что он перед ней, что она сидит у его ног. Так провела она последнюю ночь с ним.

Покидала долину Дагни в том же виде, как появилась в ней, не взяв с собой ничего, приобретенного там. Несколько вещей: крестьянскую юбку, блузку, фартук, кое-что из белья, — оставила, аккуратно сложив в ящик комода в своей комнате. Взглянула на них, вздохнула, потом задвинула ящик и подумала, что, если вернется, наверное, найдет их здесь. Увозила она только золотую монету и все еще приклеенный к ребрам пластырь.

Когда солнце коснулось вершин, описав по гра-

ницам долины сияющий круг, Дагни вошла в самолет. Села рядом с Голтом, откинулась на спинку кресла и взглянула в его лицо, склонявшееся над ней, как в то первое утро, когда она открыла глаза, лежа на траве в долине. Потом опустила веки и почувствовала прикосновение его пальцев, завязывающих повязку. Рев мотора она ощутила не как просто звук, а как сотрясение от взрыва; только он казался далеким, иначе человек, будь это ближе, неминуемо бы пострадал.

Дагни не знала, ни когда колеса оторвались от земли, ни когда самолет вылетел за окружавшие долину вершины. Она неподвижно сидела, ощущая пространство только в ритмичном гуле мотора; ее словно уносил время от времени покачивающийся поток. Звук исходил от двигателя, от рук пилота на штурвале; она сосредоточилась на этом — все прочее приходилось покорно терпеть.

Дагни расположилась в кресле, вытянув ноги и держась за подлокотники; она не ощущала движения, способного дать ощущение времени, для нее не существовало ни пространства, ни зрения, ни будущего, существовала только ночь под наглазной повязкой. И сознание присутствия Голта рядом с ней как единственной,

неизменной реальности. Они не разговаривали. Лишь однажды Дагни внезапно произнесла:

— Мистер Голт…

— Что?

— Нет, ничего. Я лишь хотела убедиться, что вы никуда не делись.

— Я никогда никуда не денусь.

Она не представляла, сколько миль полета эти слова казались ей путеводной точкой на горизонте, все удалявшейся и, в конце концов, исчезнувшей. Потом не осталось ничего, кроме неизменности застывшего настоящего.

Дагни не знала, день прошел или час, когда самолет резко пошел вниз, что означало: они скоро приземлятся или разобьются. И то и другое было ей безразлично.

Толчок при соприкосновении колес с землей показался ей запоздавшим: она ждала его раньше. Последовали тряска пробега, потом внезапность остановки и тишины, затем — прикосновение к волосам его рук, снимающих повязку.

Дагни увидела яркий солнечный свет, безбрежность сухой травы, убегавшую к горизонту прерию, гладкую, как стол, пустынное шоссе и нечеткие очертания города примерно в миле

от них. Взглянула на часики: сорок семь минут назад она еще была в долине.

— Вы найдете там станцию *«Таггерт Трансконтинентал»*, — сказал Голт, указывая на город, — и сможете сесть в поезд.

Дагни послушно кивнула.

Она спустилась на землю, Голт остался внутри. Он подошел к открытой дверце, и они взглянули друг на друга. Дагни стояла прямо, ветерок шевелил ее волосы — женщина в деловом костюме посреди голой прерии.

Голт указал на восток, туда, где маячили очертания города.

— Не ищите меня там. Не найдете — если я не потребуюсь вам в качестве того, кем являюсь на самом деле. А когда потребуюсь, найти меня будет очень легко.

Дагни услышала, как дверца захлопнулась за ним; этот звук показался ей громче, чем рев двигателя. Она наблюдала за бегом колес самолета, оставляющих за собой полосы примятой травы.

Потом увидела между травой и колесами полоску неба.

Дагни огляделась вокруг. Над городом вдали висела красноватая жаркая дымка, больше по-

хожая на какой-то ржавый налет; над крышами виднелись остатки рухнувшей заводской трубы. Под ногами, в траве, негромко шелестел сухой, пожелтевший клочок бумаги: это был обрывок газеты. Она тупо уставилась на раскинувшийся перед ней пейзаж и отказывалась верить в то, что это реальность.

Дагни посмотрела вслед самолету. Увидела, как он уменьшается в размерах, удаляется, унося с собой шум мотора. Он все еще набирал высоту, напоминая длинный серебряный крест; потом свернул вдоль горизонта, постепенно приближаясь к земле; затем, казалось, он застыл на месте и лишь уменьшался. Дагни наблюдала за ним, как за исчезающей звездой; из крестика он превратился в точку, потом — в сверкающую искру, о которой она уже не могла сказать, что четко ее различает. Увидев, что такими искрами усеяно все небо, она поняла, что самолет скрылся.

ГЛАВА III. АНТИАЛЧНОСТЬ

— Для чего я здесь? — спросил доктор Роберт Стэдлер. — Зачем меня пригласили? Требую объяснений. Я не привык ни с того ни с сего мчаться через полконтинента.

Доктор Флойд Феррис улыбнулся:

— Для меня тем более ценно ваше присутствие, доктор Стэдлер.

Было непонятно, благодарность звучит в его тоне или злорадство.

Солнце светило вовсю, и доктор Стэдлер почувствовал, как по виску ползет струйка пота. Он не мог продолжать свою гневную отповедь, носившую сугубо личный характер, среди толпы, обтекавшей трибуны со всех сторон, — отповедь, которую хотел и не мог дать все три последних дня. Ему пришло на ум, что именно поэтому доктор Феррис откладывал их встречу до сих пор, но он отмахнулся от этой мысли, как от назойливого насекомого, жужжавшего у его потного виска.

— Почему я не мог связаться с вами? — испытанное оружие сарказма на этот раз оказалось менее действенным, чем когда-либо, но ничем

другим он попросту не владел. — Почему вы сочли возможным отправить мне послание на официальном бланке в стиле, больше похожем на армейский… — он хотел сказать «приказ», но передумал, — …на строевую команду, а не переписку двух ученых?

— Это дело государственной важности, — спокойно ответил доктор Феррис.

— Вы понимаете, что я очень занят, и это означает для меня перерыв в работе?

— Ну, понимаю, — уклончиво ответил доктор Феррис.

— Понимаете, что я мог отказаться приехать?

— Нет, не могли, — негромко сказал Феррис.

— Почему я не получил никаких объяснений? Почему вы не приехали за мной сами, а прислали двух молодых наглецов с неприятной, полунаучной-полужаргонной манерой изъясняться?

— У меня была куча дел, — вежливо ответил доктор Феррис.

— В таком случае не соизволите ли объяснить, что вы делаете посреди этой пустыни в штате Айова, и что, собственно говоря, делаю здесь я?

Доктор Стэдлер с презрением указал на затянутый пылью горизонт пустынной прерии и на три деревянные трибуны — те были только что по-

строены, и древесина, казалось, тоже потела: под солнцем блестели капли смолы.

— Мы будем свидетелями исторического события, доктор Стэдлер. Оно станет поворотной точкой на пути науки, цивилизации, общественного благосостояния и политической стабильности, — голос доктора Ферриса звучал как у клерка отдела информации, бубнящего зазубренный текст. — Началом новой эры.

— Какого события? Какой эры?

— Как вы увидите, право быть свидетелями этого знаменательного события получили самые выдающиеся граждане, наша интеллектуальная элита. Мы не могли не включить в этот список вас (так ведь?) и, разумеется, уверены, что можем полагаться на ваше понимание и сотрудничество.

Стэдлер никак не мог заставить себя взглянуть в глаза доктору Феррису. Трибуны быстро заполнялись людьми, и доктор Феррис постоянно прерывал речь, чтобы приветственно помахать ничем не примечательным на первый взгляд людям; Роберт Стэдлер видел их впервые, но они были выдающимися личностями, судя по тому, с какой почтительностью махал им доктор Феррис. Казалось, они все знают Ферриса и ищут его,

словно он являлся распорядителем — или звездой — этого мероприятия.

— Привет, Спад! — окликнул доктор Феррис осанистого седовласого человека в парадном генеральском мундире.

Доктор Стэдлер повысил голос:

— Послушайте, может, потрудитесь объяснить мне, не отвлекаясь, что здесь, черт возьми, происходит…

— Да все очень просто. Это почти финал… Простите, доктор Стэдлер, я на минутку, — торопливо произнес Феррис, ринувшись вперед, будто вышколенный лакей при звонке колокольчика, к группе людей, похожих на стареющих забулдыг; он обернулся лишь на мгновение, чтобы успеть бросить слово, которое, видимо, счел исчерпывающим объяснением: — Пресса!

Доктор Стэдлер сел на деревянную скамью, испытывая полное отвращение при одной мысли, что придется с кем-то общаться. Три трибуны располагались полукругом, словно ярусы небольшого цирка, мест там было примерно на триста человек; они казались построенными для зрителей какого-то спектакля, но были обращены в пустоту ровной, тянущейся до горизонта прерии с видневшимися вдали темными пятнами

фермерских домов.

Перед одной трибуной, видимо, предназначенной для прессы, стояли микрофоны. Перед другой — для государственных служащих — было что-то вроде портативного коммутатора; на нем поблескивало несколько рычажков из полированного металла. На импровизированной автостоянке несколько блестящих, новых роскошных машин представляли собой довольно впечатляющее зрелище. Однако здание на пригорке в нескольких тысячах футов вызывало у Роберта Стэдлера смутное беспокойство. Это была небольшая, приземистая постройка непонятного назначения с толстыми каменными стенами, без окон, с несколькими забранными толстыми решетками бойницами и непомерно большим куполом, словно бы вдавливающим дом в землю. Из основания купола торчало несколько стоков неправильной формы, похожих на грубо слепленные из глины трубы; они казались чуждыми промышленному веку и любому мыслимому назначению. Вид у дома был зловещий, как у разбухшего ядовитого гриба; он был явно современной постройки, но неаккуратные, нелепые очертания делали его похожим на обнаруженную в глубине джунглей постройку

аборигенов, предназначенную для каких-то тайных дикарских ритуалов.

Доктор Стэдлер раздраженно вздохнул: ему надоели тайны. Слова «секретно» и «совершенно секретно» содержались в приглашении, требующем его приезда с неуказанной целью в Айову через два дня после получения. Чтобы сопровождать его, в институт явились двое молодых людей, назвавших себя физиками; на его звонки в Вашингтон доктор Феррис не отвечал. Молодые люди разговаривали — во время утомительного путешествия на правительственном самолете, потом малоприятной поездки в правительственном автомобиле — о науке, чрезвычайных обстоятельствах, социальной стабильности и необходимости соблюдать секретность, и в конце концов он стал понимать еще меньше, чем вначале; только обратил внимание, что в их болтовне постоянно звучали два слова, которые были и в тексте приглашения, два слова, становящихся зловещими, когда их смысл неясен: требования его «лояльности» и «сотрудничества».

Молодые люди усадили его на скамью в первом ряду трибуны и исчезли, словно складная деталь механизма, оставив его с неожиданно

появившимся доктором Феррисом. Теперь, когда он взирал на сцену, наблюдал за спонтанными, нервными жестами доктора Ферриса в окружении журналистов, у него создалось впечатление, что работает хорошо отлаженная машина провокаций, создавая панику, беспорядок и ощущение полного идиотизма.

Доктор Стэдлер почувствовал внезапную вспышку страха, которая, как гром среди ясного неба, призывала бежать отсюда прочь, спрятаться, скрыться. Но он постарался взять себя в руки. Стэдлер буквально кожей ощущал, что самая мрачная сущность всего этого кошмарного спектакля таится не здесь, а в странном, похожем на гриб доме. Видимо, та же неведомая сила заставила его приехать сюда.

Он решил, что развивать тему бесполезно — самому хуже будет; мысль эта пришла не в словах, а в чем-то крайне раздражающем, обжигающим, как кислота. Слова же, шевельнувшиеся в его сознании, когда он согласился приехать, походили на колдовское заклятье, произносимое неземными существами, да и то лишь при крайней необходимости: «Чтоб вам, людям, пусто было!»

Роберт Стэдлер отметил, что трибуна, отведенная тем, кого Феррис назвал интеллектуальной

элитой, больше, чем для чиновников. На миг он ощутил укол чисто плебейской гордости за то, что его усадили в первом ряду. Пристыженно оглянулся на ярусы позади. То, что он увидел, походило на легкий, мрачный шок: это случайное, серое, неприглядное сборище вовсе не казалось ему похожим на интеллектуальную элиту. Он увидел воинственно настроенных мужчин и безвкусно одетых женщин, увидел жалкие, злобные, недоверчивые лица, отмеченные клеймом, несовместимым с самим понятием интеллекта — клеймом неуверенности. Он не заметил никого, достойного того, чтобы остановить на нем взгляд. И задался вопросом, по каким критериям были отобраны эти люди.

Потом разглядел во втором ряду долговязого пожилого человека с дряблым вытянутым лицом, показавшимся ему знакомым, хотя и не мог припомнить о нем ничего, кроме смутного образа, запечатленного на какой-то фотографии в каком-то безвкусном журнале. Он склонился к женщине рядом и спросил, указав на смутно знакомого незнакомца: «Не могли бы вы назвать мне фамилию этого джентльмена?» Женщина с благоговейным почтением прошептала в ответ: «Это же доктор Саймон Притчетт!» Роберт Стэд-

лер отвернулся, желая, чтобы никто его не видел, никто не узнал, никто не счел членом этой нелепой массовки.

Он увидел, что Феррис ведет к нему всю журналистскую братию, указывая на него рукой, словно гид — туристам, а когда они приблизились, торжественно произнес:

— Но зачем вам тратить время на меня, когда здесь присутствует человек, сделавший это достижение возможным, — доктор Роберт Стэдлер!

Стэдлеру на миг показалось, что он видит на усталых, циничных лицах журналистов какое-то непонятное выражение — не уважения, ожидания или надежды, скорее, их отголосок, слабый отблеск того, что могли бы они выражать в юности при упоминании имени «Роберт Стэдлер». В этот миг он ощутил побуждение, в котором постыдился бы признаться даже самому себе: сказать им, что ничего не знает о происходящем, что значит здесь меньше, чем они, что его привезли сюда как пешку в какой-то тайной игре, почти как… как арестанта. Вместо этого он вдруг услышал, как отвечает на их вопросы самодовольным, снисходительным тоном человека, знающего все секреты высшей власти:

— Да, Государственный научный институт

гордится своими достижениями в служении обществу… Государственный научный институт не является орудием чьих-то частных интересов или личной алчности, он служит благу человечества, всеобщей пользе… — изрекал он, как заведенный, отвратительные банальности, услышанные от доктора Ферриса.

Стэдлер не хотел признавать, что сам себе отвратителен; он путал причину и следствие, считая это отвращением к окружающим его уродам: *они* вынудили его участвовать в этом постыдном представлении. «Чтоб вам, людям, — думал он, — пусто было!»

Журналисты кратко записывали его слова. Теперь они походили на роботов, привычно делавших вид, что слышат новости в пустых высказываниях другого робота.

— Доктор Стэдлер, — спросил один из них, указав на здание на пригорке, — правда ли, что вы считаете проект «Икс» величайшим достижением Государственного научного института?

Воцарилось мертвое молчание.

— Проект… «Икс»? — пролепетал Стэдлер.

Он понял, что допустил роковую ошибку, когда увидел, как журналисты разом встрепенулись, словно заслышав вой полицейской сирены, и за-

мерли в ожидании, схватившись за авторучки. На то мгновение, пока его лицо растягивалось в притворной улыбке, он ощутил смутный, почти суеверный страх, будто снова уловил беззвучный ритм какой-то хорошо отлаженной машины, словно угодил в эту машину и вынужден ей подчиняться.

— Проект «Икс»? — негромко повторил он заговорщицким тоном. — Так вот, джентльмены, ценность — и мотив — любого достижения Государственного института не могут ставиться под сомнение, поскольку это некоммерческое предприятие… Стоит ли продолжать?..

Он поднял голову и заметил, что доктор Феррис в течение всего интервью стоял неподалеку и все слышал. Подумал, не кажется ли ему, что лицо Ферриса стало теперь менее напряженным. И более наглым.

Два великолепных автомобиля ворвались на стоянку и, эффектно взвизгнув тормозами, остановились. Журналисты покинули доктора на середине фразы и побежали встречать новоприбывших.

Доктор Стэдлер повернулся к Феррису:

— Что это за проект «Икс»? — сурово спросил он.

Доктор Феррис улыбнулся простодушно и вместе с тем довольно нахально.

— Некоммерческое предприятие, — ответил он и тоже поспешил к автомобилям.

Из почтительных шепотков в толпе доктор Стэдлер узнал, что невысокий человек в мятом полотняном костюме, похожий на темного дельца, оживленно шагавший в центре новой группы, — мистер Томпсон, глава государства. Мистер Томпсон официально улыбался, хмурился и отрывисто отвечал на вопросы журналистов. Доктор Феррис протискивался сквозь толпу с грацией трущейся о ноги кошки.

Группа приблизилась, и Стэдлер увидел, что Феррис ведет его к нему.

— Мистер Томпсон, — звучно произнес он, — позвольте представить вам доктора Роберта Стэдлера.

Доктор Стэдлер увидел, что глаза чиновника пристально разглядывали его долю секунды: в них был оттенок суеверного благоговения, словно при виде непостижимого феномена из некоего таинственного мира, и острая, расчетливая проницательность вербовщика избирателей, уверенного, что от него ничто не укроется; взгляд его словно бы вопрошал: «Что ты хочешь с этого

иметь?»

— Для меня это честь, доктор, большая честь, — оживленно произнес мистер Томпсон, пожимая ему руку.

Стэдлер узнал, что высокий сутулый человек с короткой стрижкой — мистер Уэсли Моуч. Фамилии других, кому пожимал руки, он не разобрал. Когда группа пошла к правительственной трибуне, Стэдлер остался со жгучим ощущением счастья, в котором стыдился себе признаться: счастья, что этот темный делец уделил ему пусть и малую, но все же толику своего внимания.

Откуда-то появилась компания молодых служителей, похожих на билетеров из кинотеатра, с ручными тележками, полными каких-то блестящих вещиц, которые они раздавали собравшимся. Это были полевые бинокли. Доктор Феррис занял место у микрофона возле правительственной трибуны. По сигналу Уэсли Моуча голос его внезапно загремел над прерией, вкрадчивый, притворно торжественный, превращенный мощным усилителем в трубный глас гиганта:

— Дамы и господа! — толпа тут же притихла, все головы повернулись, как по команде. — Дамы и господа, в знак признания вашего безупречного служения обществу и вашей лояльности,

вы избраны присутствовать при демонстрации научного достижения такой огромной важности, такого потрясающего масштаба, такой эпохальной значимости, что до сих пор оно было известно только очень немногим под названием проект «Икс».

Доктор Стэдлер сфокусировал бинокль на единственном, что ему было видно, — какой-то постройке вдалеке. Увидел, что это руины фермерского дома, очевидно, покинутого несколько лет назад. Сквозь голые стропила просвечивало небо, зазубренные осколки стекла окаймляли слепые темные окна. Увидел сарай с просевшей крышей, ржавую водонапорную башню и валявшийся вверх тормашками ржавый трактор с торчащими катками гусениц.

Доктор Феррис говорил о подвижниках науки, о годах самозабвенного служения, неустанного труда и упорных исследований, результаты которых воплотились в проекте «Икс».

«Странно, — подумал доктор Стэдлер, разглядывая развалины фермы, — что посреди такого запустения пасутся козы». Их было шесть или семь, одни дремали, другие вяло щипали жидкую траву среди выжженного солнцем бурьяна.

— Проект «Икс», — говорил доктор Феррис, —

был посвящен специальным исследованиям в области звука. У этой области науки поразительные перспективы, о которых неспециалисты даже не подозревают.

Футах в пятидесяти от фермерского дома доктор Стэдлер увидел постройку, определенно возведенную недавно и неспособную служить никаким целям: несколько торчащих из земли конструкций, ничего не поддерживающих, никуда не ведущих.

Доктор Феррис говорил теперь о природе звуковых колебаний.

Доктор Стэдлер навел бинокль на горизонт за фермой, но там на десятки миль не было ничего. Неожиданное, возбужденное поведение одной из коз снова привлекло его внимание. Он увидел, что козы привязаны к вбитым в землю кольям.

— …и было обнаружено, — продолжал между тем доктор Феррис, — что существуют определенные частоты звуковых колебаний, которых не может выдержать ни одна субстанция, органическая или неорганическая…

Доктор Стэдлер увидел серебристое пятно, прыгающее по бурьяну среди стада: непривязанный козленок, резвясь, кружил около матери.

— …звуковой луч контролируется панелью

управления в громадной подземной лаборатории, — говорил доктор Феррис, указывая на здание на пригорке. — Между собой мы любовно называем ее «Ксилофон», потому что нужно быть очень внимательным, ударяя по нужным пластинкам, то есть передвигая нужные рычажки. Для нашего особого случая провода «Ксилофона» подсоединены к панели-дублеру, установленной здесь, — он указал на коммутатор перед правительственной трибуной, — чтобы вы могли видеть всю операцию и оценить простоту процедуры…

Доктор Стэдлер с удовольствием наблюдал за козленком: это успокаивало и ободряло. Маленькое существо примерно недельного возраста походило на комок светлого меха; оно с упорной неуклюжестью весело прыгало на негнущихся ножках. Казалось, козленок радуется солнцу, летнему воздуху, самому факту своего существования.

— …Этот звуковой луч невидим, неслышим и полностью управляем в отношении цели и расстояния. Его первое открытое испытание, которое вы вскоре увидите, рассчитано на поражение небольшого сектора протяженностью всего в две мили; все пространство на двадцать

миль за пределами этого сектора очищено. Генераторы нашей лаборатории способны создавать лучи, поражающие — через раструбы, которые вы видите под куполом, — всю территорию в радиусе ста миль в круге, от берега Миссисипи, примерно от железнодорожного моста *«Таггерт Трансконтинентал»*, до Де-Мойна и Форта Додж в Айове, до Остина в Миннесоте, до Вудмена в Висконсине и до Рок-Айленда в Иллинойсе. Это лишь скромное начало. Мы располагаем техническими возможности строить генераторы с радиусом действия двести, триста миль, но из-за того, что не смогли вовремя получить достаточное количество сверхжаростойкого металла, такого, как сплав Риардена, вынуждены были довольствоваться нынешним оборудованием и радиусом контроля. В честь нашего замечательного главы государства, мистера Томпсона, под прозорливым руководством которого Государственный научный институт получил фонды, обеспечившие реализацию проекта «Икс», это замечательное изобретение отныне будет именоваться «Гармонизатор Томпсона»!

Толпа зааплодировала. Мистер Томпсон неподвижно сидел с застывшим в смущении лицом. Доктор Стэдлер ничуть не сомневался, что этот

темный делец имеет столь же мало отношения к проекту, как и любой из похожих на билетеров служителей, что он не обладает ни достаточным разумом, ни изобретательностью, ни даже агрессивностью, чтобы содействовать появлению нового орудия уничтожения, что он тоже всего-навсего винтик в некоей бесшумной машине, не имеющей ни центра, ни руководителя, ни направления, запущенной не доктором Феррисом, Уэсли Моучем или кем-то из запуганных существ на трибунах — безликой, не думающей, бесплотной машине, которой никто не управляет, в которой все лишь пешки, каждая в меру собственного зла. Доктор Стэдлер крепко стиснул край скамьи: у него появилось желание вскочить с места и бежать.

— …о том, что касается функции и назначения звукового луча, я ничего не скажу. Предоставлю ему самому говорить за себя. Вы увидите его действие. Когда доктор Блоджетт передвинет рычаги «Ксилофона», предлагаю вам неотрывно смотреть на цель — вон тот фермерский дом в двух милях. Больше смотреть не на что. Сам луч невидим. Все прогрессивные мыслители давно согласились, что не существует бытия — есть только действия, и не существует ценностей —

есть только последствия. Теперь, дамы и господа, вы увидите работу Гармонизатора Томпсона и ее последствия.

Доктор Феррис поклонился, медленно отошел от микрофона и сел рядом с доктором Стэдлером.

Моложавый, полноватый человек встал у коммутатора и обратил выжидающий взгляд на мистера Томпсона. Тот какое-то время выглядел совершенно растерянным, будто что-то забыл, потом Уэсли Моуч подался к нему и прошептал на ухо пару слов.

— Контакт! — громко скомандовал мистер Томпсон.

Стэдлеру было невыносимо видеть плавные, расслабленные движения руки доктора Блоджетта, когда тот потянул один рычажок коммутатора, затем другой. Он поднес к глазам бинокль и навел его на фермерский дом.

В тот миг, когда Стэдлер сфокусировал изображение, одна из коз безмятежно тянулась к высокому сухому кусту чертополоха. В следующий момент коза взлетела в воздух, перевернулась, подергивая задранными вверх ногами, и упала на серую груду своих дергающихся в конвульсиях сестер. К тому времени, когда он поверил, наконец, своим глазам, груда была уже неподвижна,

лишь торчавшая из нее нога одного животного дрожала, словно на сильном ветру. Дом разорвался на полосы вагонки и рухнул, затем взлетели гейзером кирпичи дымовой трубы. Трактор расплющился. Водонапорная башня треснула, обломки посыпались на землю, а колесо ее продолжало вращаться само по себе. Стальные брусья и балки недавно возведенных конструкций разлетелись, как спички под дуновением ветра. Это произошло так быстро, так внезапно, так просто, что доктор Стэдлер не ощутил ужаса, не ощутил вообще ничего. То была неизвестная ему реальность, то было царство детских кошмаров, где материальные предметы могут уничтожаться одним только злым желанием.

Он опустил бинокль. Перед его взором лежала пустая прерия. Там не было фермы, не было ничего, кроме темной полосы вдали, похожей на тень от тучи. Позади на ярусах раздался тонкий, пронзительный вопль какой-то падающей в обморок женщины. Он удивился, почему она кричит только сейчас, а потом понял, что с тех пор, как был опущен первый рычажок, не прошло и минуты.

И снова поднял бинокль к глазам, словно во внезапной надежде, что не увидит ничего, кроме тени от тучи. Но материальные предметы

никуда не делись; они превратились в кучу мусора. Он вглядывался в нее пристальнее, понимая, что ищет козленка. Но не мог найти; там был только холмик серого меха.

Когда он опустил бинокль и повернулся, то увидел, что доктор Феррис смотрит на него. И понял, что в течение всего эксперимента Феррис наблюдал не за целью, а за его лицом, словно проверяя, сможет ли он, Роберт Стэдлер, выдержать этот луч.

— Вот и все, — объявил в микрофон полноватый доктор Блоджетт вкрадчивым тоном администратора магазина. — В постройках не осталось ни единой целой заклепки или гвоздя, а в телах животных ни одного целого кровеносного сосуда.

Толпа зашелестела, нервно ерзая и взволнованно перешептываясь. Люди переглядывались, робко поднимались и садились снова. В шепотках звучала подавляемая истерика. Казалось, все ждали, когда им скажут, что думать.

Доктор Стэдлер увидел, как по ступенькам сводят женщину из заднего ряда, она шла с опущенной головой, прижимая ко рту платок; ее рвало. Он отвернулся и увидел, что доктор Феррис все еще наблюдает за ним. Лицо его было

суровым и презрительным, лицом крупнейшего ученого страны. Стэдлер спросил:

— Кто изобрел эту отвратительную штуку?

— Вы.

Доктор Стэдлер, не шевелясь, смотрел на него.

— Это лишь практическое применение, — любезно сказал доктор Феррис, — ваших теоретических открытий, основанное на ваших неоценимых исследованиях природы космических лучей и передачи энергии в пространстве.

— Кто работал над этим проектом?

— Несколько бездарей, как вы их называете. Право, тут не было никаких сложностей. Никто из них не смог бы приблизиться к открытию вашей формулы передачи энергии, но когда они ее получили, все прочее не составляло труда.

— Какова практическая цель этого изобретения? В чем его «эпохальная значимость»?

— О, разве непонятно? Это бесценное оружие для защиты общественной безопасности. На обладателя такого оружия не нападет никакой противник. Оно избавит страну от страха перед внешней агрессией и позволит планировать ее будущее в полном покое, — в его голосе слышалась странная небрежность, тон грубой импровизации, словно он не ждал, что собеседник поверит

ему, и не стремился к этому. — Оно уменьшит социальные трения. Будет способствовать установлению мира, стабильности и — как мы уже отметили — гармонии. Исключит всякую опасность войны.

— Какой войны? Какой агрессии? Когда весь мир голодает и все эти народные государства едва существуют на наши подачки, где вы видите опасность войны? Думаете, эти оборванные дикари нападут на вас?

Доктор Феррис посмотрел ему в глаза.

— Внутренние враги могут представлять для народа такую же опасность, как внешние, — ответил он. — Возможно, бóльшую, — теперь его голос звучал так, будто он ожидал, что собеседник поймет, и был уверен в этом. — Социальные системы очень ненадежны. Но подумайте, какой стабильности можно достичь с помощью нескольких научных внедрений в стратегические ключевые пункты. Это гарантия стабильного мира — вам не кажется?

Доктор Стэдлер не шевельнулся и не ответил; выражение его лица не менялось, он казался парализованным. Он смотрел неподвижным взглядом человека, который внезапно увидел то, что знал изначально, тратил годы, стараясь

избежать этого, и теперь мучительно старается не верить своим глазам.

— Не понимаю, о чем вы говорите! — отрывисто произнес он, наконец.

Доктор Феррис улыбнулся.

— Ни один бизнесмен или алчный промышленник не стал бы финансировать проект «Икс», — заговорил он тоном праздной, непринужденной дискуссии. — Не смог бы себе этого позволить. Это огромное вложение безо всяких перспектив прибыли. Какой выгоды он мог бы ожидать от этого проекта? Та ферма уже не будет приносить доходов, — он указал на темную полоску вдали. — Но, как вы превосходно заметили, проект «Икс» и не должен быть коммерческим предприятием. В отличие от деловых фирм Государственный научный институт без труда получил фонды для этого проекта. Вы не слышали в последние два года, что институт переживает какие-либо финансовые затруднения, так ведь? А раньше было большой проблемой заставить членов правительства проголосовать за выделение фондов на развитие науки. По вашему собственному выражению, они вечно хотели какой-то новинки за свои деньги. Что ж, вот новинка, которую кое-кто из власть имущих смог

полностью оценить. И заставить других голосовать за нее. Это оказалось нетрудно. Собственно говоря, многие из этих других считали безопасным голосовать за вложение денег в секретный проект — были уверены в его значительности, поскольку их не сочли достаточно компетентными, чтобы ознакомить с ним. Нашлось, конечно, несколько скептиков. Но они сдались, когда им напомнили, что Государственный научный институт возглавляет доктор Роберт Стэдлер, в суждениях и честности которого сомневаться невозможно.

Доктор Стэдлер опустил взгляд.

Внезапный взвизг микрофона мгновенно насторожил людей; казалось, они на грани паники. Диктор, улыбавшийся, частивший в микрофон, как пулемет, бодро прорычал, что сейчас они станут свидетелями радиопередачи с сообщением об этом важном открытии всей стране. Потом, взглянув на часы, в свой текст и на указующую руку Уэсли Моуча, крикнул в блестящую змеиную голову микрофона — в гостиные, конторы, кабинеты, детские всей страны:

— Дамы и господа! Проект «Икс»!

Феррис подался к доктору Стэдлеру — под напоминавший топот копыт голос диктора, несшийся

галопом по всей стране с описанием нового изобретения, — и небрежным тоном произнес:

— Очень важно, чтобы не было критики проекта в наше ненадежное время, — затем добавил полушутя: — И ничего другого ни в какое другое.

— ...и политические, культурные, интеллектуальные и моральные лидеры страны, наблюдавшие это великое событие как ваши представители и от вашего имени, сейчас лично изложат свои взгляды!

Мистер Томпсон первым поднялся по деревянной лестнице на платформу с микрофоном. Отрывисто произнес краткую речь, приветствуя новую эру и объявляя — воинственным тоном вызова неизвестным врагам, — что наука принадлежит людям, и каждый человек на планете имеет право на долю благ, приносимых технологическим прогрессом.

Затем к микрофону подошел Уэсли Моуч. Он говорил о необходимости социального планирования и единодушной поддержке тех, кто им занимается. Говорил о дисциплине, сплоченности, аскетизме и патриотическом долге переносить временные трудности.

— Мы мобилизовали лучшие умы страны для работы ради вашего благосостояния. Это за-

мечательное изобретение явилось результатом труда гениального человека, преданность которого идеалам гуманизма несомненна, человека, которого мы все признали величайшим умом нашего столетия — доктора Роберта Стэдлера!

— Что?! — воскликнул доктор Стэдлер, резко повернувшись к Феррису.

Доктор Феррис посмотрел на него с выражением терпеливой снисходительности.

— Он не спрашивал моего разрешения так говорить! — полувыкрикнул-полупрошептал Стэдлер.

Феррис развел руками в жесте укоризненной беспомощности.

— Вот, видите, доктор Стэдлер, как нехорошо получается, если вы позволяете себе волноваться из-за политических дел, которые всегда считали недостойными своего внимания. Видите ли, мистер Моуч не обязан спрашивать разрешений.

Фигурой, сутулившейся теперь на фоне неба на платформе ораторов, чуть ли не обвивающейся вокруг микрофона, говорящей скучающим, пренебрежительным тоном, был доктор Саймон Притчетт. Он объявлял, что новое изобретение — орудие социальной справедливости, гарантирующее общее процветание, и что каждый,

сомневающийся в этом очевидном факте, — враг общества и должен получить по заслугам.

— Это изобретение — результат труда доктора Роберта Стэдлера, выдающегося приверженца свободы…

Доктор Феррис открыл портфель, достал несколько листов бумаги с аккуратно отпечатанным текстом и повернулся к доктору Стэдлеру.

— Вы должны стать кульминационным пунктом радиопередачи. Будете говорить последним, в конце часа, — протянул листы: — Вот речь, которую произнесете.

Его глаза сказали остальное: подбор слов был очень тщательным.

Доктор Стэдлер взял листы, но держал их кончиками вытянутых пальцев, словно клочок бумаги, который собирался выбросить.

— Я не просил вас быть составителем моих речей, — сказал он. Сарказм в его голосе дал доктору Феррису ключ к ответной реакции: *сейчас не время для сарказма*.

— Я не мог допустить, чтобы вы тратили свое драгоценное время на написание выступлений по радио, — сказал доктор Феррис. — и был уверен, что вы это оцените.

Он сказал это неискренне-вежливым тоном,

как будто щадя достоинство нищего, которому бросил подачку.

Реакция собеседника обеспокоила его: доктор Стэдлер не ответил и не взглянул на рукопись.

— Отсутствие веры, — рычал на платформе тоном уличного задиры здоровенный оратор, — отсутствие веры — это единственное, чего надо бояться! Если будем верить в планы наших лидеров, тогда планы будут действовать, мы все получим процветание, покой, изобилие. Те, кто сомневается, подрывают наш дух и держат нас в нищете, в дефиците всего. Но мы не будем терпеть этого, мы должны защищать людей, и если кто-то из этих сомневающихся умников поднимет голову, поверьте, мы с ним разберемся!

— Было бы неразумно, — негромко заговорил доктор Феррис, — вызвать всеобщее негодование против Государственного научного института в такое взрывоопасное время. В стране много недовольства и беспорядков, и если люди неправильно поймут суть этого нового изобретения, возможно, они обратят свой гнев на ученых. Ученые никогда не были популярны у масс.

— Мир! — вещала в микрофон высокая, стройная женщина. — Это замечательное изобретение поможет сохранить мир. Оно защитит нас

от агрессивных планов эгоистичных врагов, оно позволит нам дышать свободно и учиться любить своих собратьев. — У нее было костлявое лицо и злобная складка губ, приобретенная на вечеринках с коктейлями; она была в голубом, ниспадающем свободными складками платье, напоминающем концертное одеяние арфистки. — В нем вполне можно видеть чудо, которое считалось невозможным в истории, — мечту веков, окончательный синтез науки и любви!

Доктор Стэдлер поглядел на лица людей на трибунах. Все сидели тихо, все слушали, но в глазах было выражение подавленности, страха, грозившего стать постоянным, выражение живой раны, подернутой пленкой заразы. Они понимали так же, как и он, что были мишенями бесформенных раструбов, торчащих из купола дома-гриба, и ему стало любопытно, каким образом теперь они отключают свой разум, избегая думать об этом. Он понимал: те слова, что они жаждут услышать и поверить в них, это цепи, которые будут удерживать их так же, как коз, в радиусе действия этих раструбов. Им очень хотелось поверить; он видел, как сжимаются их губы, видел недоверчивые взгляды, бросаемые на соседей, словно угрожавшим им ужасом был

не звуковой луч, а люди, которые заставят их признать в нем ужас. Глаза их затуманивались, но остающееся выражение раны воспринималось как крик о помощи.

— Как, по-вашему, что они думают? — негромко спросил доктор Феррис. — Разум — единственное оружие ученого, а разум не имеет власти над людьми, верно? В такое время, как наше, когда страна рушится, когда толпа доведена слепым отчаянием до грани открытых мятежей и насилия, порядок должен поддерживаться всеми возможными средствами. Что поделаешь, когда приходится иметь дело с людьми?

Доктор Стэдлер не ответил.

Толстая, расплывшаяся женщина со слишком маленьким лифчиком под темным, покрытым пятнами пота платьем говорила в микрофон — доктор Стэдлер не сразу смог поверить своим ушам, — что новое изобретение будет принято с особой благодарностью всеми матерями страны.

Стэдлер отвернулся; наблюдавший за ним Феррис видел только благородную линию высокого лба и глубокую горестную складку в уголке рта.

Вдруг Роберт Стэдлер повернулся к нему. Это походило на струю крови из внезапной тре-

щины в почти затянувшейся ране: лицо Стэдлера открылось, выплеснулись страдания, ужас, подлинное чувство, будто на миг они оба вернулись к человеческой сути, и он простонал с возмущением и отчаянием: «И это в цивилизованный век, Феррис, в цивилизованный век!»

Доктор Феррис немного выждал и издал негромкий, продолжительный хохоток.

— Не понимаю, о чем вы говорите, — произнес он тоном строгого наставника.

Доктор Стэдлер опустил глаза.

Когда Феррис заговорил снова, в голосе его звучала легкая нотка, которую доктор Стэдлер мог бы определить только как неуместную в любой научной дискуссии:

— Будет досадно, если случится что-то, подвергающее опасности Государственный научный институт. Будет очень досадно, если институт закроют или кого-то из нас вынудят уйти. Куда мы пойдем? Ученые в наше время непозволительная роскошь. А таких людей или учреждений, которые могут позволить себе хотя бы самое необходимое, не говоря уж о роскоши, очень немного. Открытых дверей для нас не осталось. Нас не примут в исследовательские отделы промышленных концернов, таких, например, как «*Риарден*

Стил». Кроме того, если наживем врагов, нас будут бояться все, кто захочет использовать наши таланты. Такой, как Риарден, стал бы за нас сражаться. А такой, как Оррен Бойль? Но это чисто теоретические размышления, потому что все частные научно-исследовательские организации закрыты по Директиве 10–289, изданной, чего вы, возможно, не понимаете, Уэсли Моучем. Может, вы подумываете об университетах? Они в том же положении. Они не могут позволить себе наживать врагов. Кто подаст голос за нас? Думаю, кто-нибудь вроде Хью Экстона встал бы на нашу защиту — но думать так — значит быть повинным в анахронизме. Он человек иного века. Условия, сложившиеся в нашей социальной и экономической реальности, давно сделали его существование невозможным. И не думаю, что доктор Саймон Притчетт или поколение, воспитанное под его руководством, сможет или захочет защитить нас. Я никогда не верил в силу идеалистов. А вы? А сейчас не век непрактичного идеализма. Если кто-нибудь захочет выступить против политики правительства, как он добьется того, чтобы его услышали? Через этих джентльменов прессы, доктор Стэдлер? Разве в стране есть хоть одна независимая газета? Неконтро-

лируемая радиостанция? Хоть какая-то частная собственность? Личное мнение? — тон его голоса теперь был вполне ясен: это был тон убийцы. — Личное мнение — это роскошь, которую сейчас никто не может себе позволить.

Губы доктора Стэдлера нервно шевельнулись, так же нервно, как ноги тех коз:

— Вы разговариваете с Робертом Стэдлером.

— Я этого не забыл. Именно поэтому и говорю. Роберт Стэдлер — прославленное имя, и я не хотел бы, чтобы оно было уничтожено. Но что такое сейчас прославленное имя? В чьих глазах? — он указал на трибуны: — В глазах таких людей, которых видите вокруг? Если они верят, что орудие убийства приведет к процветанию, разве не поверят, что Роберт Стэдлер — предатель и враг государства? Будете вы тогда полагаться на тот факт, что это неправда? Вы думаете о правде, доктор Стэдлер? Вопрос о ней не входит в социальные проблемы. Принципы не оказывают влияния на общественные дела. Разум не имеет власти над людьми. Логика бессильна. Мораль — лишнее. Не отвечайте мне сейчас, доктор Стэдлер. Ответьте через микрофон. Вы следующий оратор.

Поглядев на темную полоску фермы вдали,

Стэдлер понял, что испытывает ужас, но не позволяет себе понять его природу. Он, способный изучать элементарные и субэлементарные частицы космического пространства, не позволял себе изучить свое чувство и понять, что оно состоит из трех частей: одной частью был ужас картины, стоявшей перед глазами, — надписи, вырезанной в его честь над дверью института: «Бесстрашному разуму, неизменной правде»; другой — обыкновенный, примитивный животный страх физического уничтожения, унизительный страх, который со времен своей юности он не собирался никогда испытать в цивилизованном мире, и третьей был ужас сознания, что, предавая первое, человек оказывается в царстве второго.

Стэдлер пошел к платформе ораторов, шаг его был твердым, неторопливым, в руке он держал скомканную рукопись речи. Это походило на шествие то ли к пьедесталу, то ли к гильотине. Как в смертную минуту у человека проносится перед взором вся его жизнь, так он шагал на голос диктора, зачитывающего всей стране перечень должностей и достижений Роберта Стэдлера. Легкая конвульсия пробежала по его лицу при словах «…бывший завкафедрой физики университета Патрика Генри». Он отчужденно

подумал, что это все не он, а какой-то другой человек, которого он оставлял позади, что толпа сейчас увидит акт более жуткого уничтожения, чем разрушение фермы. Стэдлер поднялся на три ступеньки, когда молодой журналист бегом бросился к нему и снизу ухватился за перила, преградив ему путь.

— Доктор Стэдлер! — молил он отчаянным шепотом. — Скажите им правду! Скажите, что не имеете никакого отношения к этому! Скажите, что это за адская машина и для какой цели ее хотят использовать! Скажите стране, какие люди пытаются править ею! Никто не сможет усомниться в ваших словах! Скажите всем правду! Спасите нас! Вы единственный, кто может!

Доктор Стэдлер посмотрел на него. Журналист был молод; движения его и голос обладали быстрой, резкой четкостью, присущей способным людям; сквозь плотные ряды пожилых, продажных, одержимых поисками благосклонности и протекции коллег он сумел пробиться в элиту политической журналистики как последняя, яркая искра таланта. Глаза его светились пылким, неустрашимым умом; такие глаза смотрели на доктора Стэдлера со скамей аудитории.

Он обратил внимание, что глаза парня были

карими, с зеленым оттенком.

Доктор Стэдлер оглянулся и увидел, что Феррис спешит к нему, словно слуга или тюремщик.

— Я не позволю, чтобы меня оскорбляли вероломные юнцы с предательскими взглядами, — громко произнес Стэдлер.

Доктор Феррис повернулся к молодому журналисту и с искаженным гневом лицом резко потребовал:

— Покажите журналистское удостоверение и допуск к работе!

— Я горжусь, — стал читать доктор Роберт Стэдлер в микрофон, отвечая сосредоточенному молчанию всей страны, — что годы труда и служения науке принесли мне честь вложить в руки нашего замечательного лидера, мистера Томпсона, новое орудие с несметным потенциалом воспитательного и облагораживающего воздействия на человеческий разум…

* * *

Небо дышало жаром, словно доменная печь, а улицы Нью-Йорка походили на трубы, несущие не воздух, а расплавленную пыль. Дагни стояла на углу, где вышла из аэропортовского автобуса, глядя на город в безмолвном изумлении. Здания

казались доведенными до убожества неделями летней жары, а люди — столетиями страданий. Она смотрела на них, подавленная чудовищным ощущением нереальности.

Это ощущение не оставляло ее с раннего утра, с той минуты, когда она вошла по пустынному шоссе в незнакомый город и, остановив первого встречного, спросила, где находится.

— В Уотсонвилле, — ответил тот.

— А какой это штат?

Мужчина, оглядев ее с ног до головы, ответил: «Небраска» — и поспешил прочь. Дагни невесело улыбнулась, понимая, что он недоумевает, откуда она взялась, и что никакое объяснение, способное прийти ему на ум, не было бы таким фантастичным, как правда. Однако неправдоподобным ей казался Уотсонвилл, когда она шла по его улицам к железнодорожной станции. Дагни утратила привычку видеть в отчаянии обычную и доминирующую сторону человеческой жизни, до того обычную, что оно не привлекало внимания. И вид его поражал Дагни своей безысходностью. Она видела на лицах людей печать страданий и страха, видела нежелание признать и то, и другое; казалось, люди всеми силами притворяются, разыгрывают некий ритуал отстранения от дей-

ствительности, оставляют мир непознанным, а свои жизни пустыми в ужасе перед чем-то запретным. Она видела это так ясно, что ей хотелось подойти к незнакомцам, встряхнуть их, рассмеяться им в лица, крикнуть: «Да придите же вы в себя!»

«Нет никаких разумных причин людям быть такими несчастными, — подумала она, — никаких совершенно…» И вспомнила, что люди изгнали разум из своего существования.

Дагни села на таггертовский поезд, чтобы доехать до ближайшего аэродрома; она никому не представлялась: это казалось ненужным. Сидела у окна купе, будто иностранка, которой нужно выучить непонятный язык окружающих. Подняла брошенную газету; ей кое-как удалось осмыслить, что там написано, но она не поняла, зачем такое писать: все это казалось по-детски нелепым.

Она в изумлении уставилась на краткое сообщение из Нью-Йорка, красноречиво гласившее, что мистер Джеймс Таггерт доводит до всеобщего сведения, что его сестра погибла в авиакатастрофе, и все непатриотичные слухи, будто это не так, не заслуживают внимания. Не сразу вспомнила Директиву 10–289 и поняла, что Джима беспокоит

подозрение, будто она скрылась, как дезертир.

Текст заметки наводил на мысль, что ее исчезновение представляло собой важную общественную проблему, не утратившую значения до сих пор. Были и другие указания на это: упоминание о трагической гибели мисс Таггерт в материале о растущем количестве авиакатастроф и на последней странице предложение вознаграждения в сто тысяч долларов тому, кто найдет обломки ее самолета, подписанное Генри Риарденом.

Последнее взволновало ее, все остальное казалось бессмысленным.

Потом Дагни постепенно осознала, что ее появление станет сенсацией. Почувствовала усталость при мысли о драматичном возвращении, о встрече с Джимом и журналистами, о шумихе. Было бы неплохо, если бы все это прошло без ее участия.

На аэродроме Дагни увидела, как провинциальный репортер брал интервью у каких-то улетавших чиновников. Подождала, пока он закончит, потом подошла к нему, показала документы и спокойно сказала, глядя в его вытаращенные глаза:

— Я Дагни Таггерт. Сообщите, пожалуйста, что я жива и сегодня во второй половине дня буду

в Нью-Йорке.

Самолет должен был вот-вот взлететь, и она избежала необходимости отвечать на вопросы.

Дагни наблюдала за проплывающими внизу прериями, реками, городами и заметила, что чувство отчужденности, какое испытываешь глядя из самолета на землю, сродни тому, какое она испытала, наблюдая за людьми: только расстояние, отделявшее ее от них, казалось значительнее. Пассажиры слушали какую-то радиопередачу, судя по выражению их лиц, важную. Уловила обрывки произносимых лживыми голосами фраз о каком-то новом изобретении, которое принесет какие-то невообразимые блага какому-то таинственному общественному благоденствию. Слова явно подбирались так, чтобы в них не было никакого конкретного смысла; она подумала, как можно притворяться, будто слушаешь нечто содержательное; однако так делали все пассажиры.

Они вели себя, как дети, которые, еще не умея читать, берут книгу и произносят то, что вздумается, делая вид, будто именно это содержится в непонятных черных строчках. «Но ребенок, — пришло в голову Дагни, — сознает, что играет; эти же люди притворяются перед самими собой,

что не притворяются; они просто не знают других условий жизни».

Чувство нереальности оставалось у нее и тогда, когда самолет приземлился, когда она незаметно улизнула от толпы журналистов, миновав стоянку такси и вскочив в аэропортовый автобус, когда ехала в нем, когда стояла на перекрестке, глядя на Нью-Йорк. Казалось, она видит покинутый город. У нее не возникло ощущения возвращения домой, когда она вошла в свою квартиру; квартира представлялась каким-то условным помещением, которое можно использовать для любой, совершенно незначительной цели.

Но она почувствовала себя бодрее, что напоминало первый просвет в тумане — проблеск смысла, — когда сняла трубку и позвонила в офис Риардена в Пенсильвании.

— О, мисс Таггерт… мисс Таггерт! — радостно простонал голос суровой, бесстрастной мисс Айвз.

— Здравствуйте, мисс Айвз. Я вас не напугала? Вы знали, что я жива?

— Да! Услышала утром по радио.

— Мистер Риарден у себя?

— Нет, мисс Таггерт. Он… он в Скалистых горах, ищет… то есть…

— Да, понимаю. Знаете, как связаться с ним?

— Я жду его звонка с минуты на минуту. Сейчас он в Лос-Гатосе, штат Колорадо. Я позвонила ему, как только услышала эту новость, но его не было на месте, и я оставила сообщение, чтобы он перезвонил. Видите ли, он почти весь день летает… но свяжется со мной, как только вернется в отель.

— Как называется отель?

— «Эльдорадо».

— Спасибо, мисс Айвз.

Дагни хотела положить трубку.

— О, мисс Таггерт!

— Да?

— Что произошло с вами? Где вы были?

— Я… расскажу при встрече. Сейчас я в Нью-Йорке. Когда мистер Риарден позвонит, скажите, пожалуйста, что я буду у себя в кабинете.

— Хорошо, мисс Таггерт.

Дагни положила трубку, но не сняла с нее руки, как бы не желая прерывать свой первый контакт с реальным внешним миром. Посмотрела на свою квартиру, на город за окном, чтобы отвлечься, чтобы не погрузиться вновь в мертвенный туман бессмысленности.

Она опять подняла трубку и позвонила в Лос-

Гатос.

— Отель «Эльдорадо», — недовольно произнес сонный женский голос.

— Примете сообщение для мистера Генри Риардена? Попросите его, когда вернется…

— Минутку, пожалуйста, — протянул голос раздраженным тоном, отвергающим всякое посягательство на дальнейшее внимание с его стороны.

Дагни услышала пощелкивание переключателей, какое-то жужжанье, несколько гудков, потом ясный мужской голос:

— Алло?

Это был Хэнк Риарден.

Дагни уставилась на трубку, будто на дуло пистолета, чувствуя себя в ловушке, теряя способность дышать.

— Алло?! — настойчиво повторил Риарден.

— Хэнк, это ты?

Она услышала негромкий звук, скорее, вздох или стон, потом долгое, пустое потрескивание в трубке.

— Хэнк!

Ответа не было.

— Хэнк!!! — в ужасе закричала Дагни.

Ей показалось, что она слышит прерывистое

дыхание, потом раздался шепот — не вопрос, а утверждение, в котором звучало все:

— Дагни…

— Хэнк, извини! Дорогой, прости! Ты не знал?

— Где ты, Дагни?

— У тебя все хорошо?

— Конечно.

— Ты не знал, что я вернулась… что жива?

— Нет… Не знал.

— О господи, извини, что позвонила, я…

— О чем ты говоришь? Где ты, Дагни?

— В Нью-Йорке. Ты не слышал об этом по радио?

— Нет. Я только что вошел.

— Тебе не передали сообщение, чтобы ты позвонил мисс Айвз?

— Нет.

— У тебя все хорошо?

— Теперь? — она услышала негромкий, мягкий смешок. Сдержанный смех, отзвук юности, усиливающийся в его голосе с каждым словом. — Когда ты вернулась?

— Сегодня утром.

— Дагни, где ты была?

Она ответила не сразу:

— Мой самолет разбился. В Скалистых горах.

Меня подобрали какие-то люди, они помогли мне, но я не могла ни с кем связаться.

Смех смолк:

— Так скверно?

— О… катастрофа? Нет, ничего. Я почти не пострадала. Серьезных повреждений не было.

— Тогда почему не могла связаться?

— Там не было… никаких средств связи.

— Почему не возвращалась так долго?

— Я… сейчас не могу ответить.

— Дагни, ты была в опасности?

В задумчиво-мучительном тоне ее голоса прозвучало что-то похожее на сожаление, когда она ответила:

— Нет.

— Тебя держали там как пленницу?

— Нет, я бы не сказала.

— Значит, ты могла вернуться раньше, но не вернулась?

— Это так, но больше ничего сказать не могу.

– Где ты была, Дагни?

— Может, не будем говорить об этом сейчас? Давай подождем до встречи.

— Хорошо. Ни о чем спрашивать не буду. Только скажи: сейчас ты в безопасности?

— В безопасности? Да.

— Я имею в виду, не страдаешь от серьезных повреждений или последствий?

Она ответила с той же интонацией невеселой улыбки:

— Хэнк, повреждений у меня нет. Насчет последствий, не знаю.

— Вечером все еще будешь в Нью-Йорке?

— Да, конечно. Я… вернулась навсегда.

— Правда?

— Почему ты спрашиваешь об этом?

— Не знаю. Видимо, слишком привык к тому, что… что никак не могу найти тебя.

— Я вернулась.

— Да. Увидимся через несколько часов, — Риарден умолк, словно сам не мог поверить в это. — Через несколько часов, — твердо повторил он.

— Я буду здесь.

— Дагни.

— Что?

Риарден негромко засмеялся.

— Нет, ничего. Просто я хотел еще услышать твой голос. Прости. Говорить сейчас ничего не хочу.

— Хэнк, я…

— Когда увидимся, дорогая. До встречи.

Дагни стояла, глядя на умолкшую трубку.

Впервые после возвращения она испытывала мучительную боль, но это будило в ней жизнь, потому что стоило того.

Она позвонила своей секретарше в *«Таггерт Трансконтинентал»* и лаконично сказала, что будет в кабинете через полчаса.

Статуя Натаниэля Таггерта была олицетворением реальности; Дагни стояла, глядя на нее в вестибюле Терминала. Ей казалось, что они одни в огромном гулком храме среди туманных очертаний бесформенных призраков, вьющихся вокруг них и исчезающих. Она стояла неподвижно, глядя на статую, словно в святую минуту посвящения. «Я вернулась», — это было все, что ей хотелось произнести.

«Дагни Таггерт» — было по-прежнему написано на двери ее кабинета. Выражение лиц ее сотрудников, когда она появилась в холле, было таким, как у тонущих при виде спасительной веревки. Она увидела Эдди Уиллерса, стоявшего у письменного стола за стеклянной перегородкой; перед ним был какой-то человек. Эдди рванулся было к ней, но остановился; он производил впечатление заключенного. Дагни поприветствовала взглядом всех по очереди, улыбаясь мягко, как обреченным детям, потом направилась к сто-

лу Уиллерса.

Эдди наблюдал за тем, как она приближается, словно не видя больше ничего, однако его напряженная поза говорила о том, что он слушает стоящего перед ним человека.

— Тяга? — говорил этот человек, голос его был грубым, отрывистым и вместе с тем гнусавым, назойливым. — С ней нет никаких проблем. Просто отмените…

— Привет, — негромко сказал Эдди, слегка улыбаясь, словно далекому видению.

Мужчина повернулся и взглянул на нее. У него была желтая кожа, вьющиеся волосы, жесткое лицо с помятыми чертами. Это была отталкивающая красота, соответствующая эстетическим меркам пивнушки. Мутные темные глаза были бесцветными, как стекло.

— Мисс Таггерт, — произнес Эдди звучным, строгим голосом, словно приучая этого человека к хорошим манерам, ему не знакомым, — позвольте представить вам мистера Мейгса.

— Здрас-сьте, — равнодушно протянул мужчина, потом повернулся к Уиллерсу и продолжал так, словно ее здесь не было: — Просто отмените рейсы «*Кометы*» на завтра и на вторник, а паровозы отправьте в Аризону для срочной перевозки

грейпфрутов; подвижной состав снимете с транспортировки угля из Скрэнтона, как я уже говорил. Сейчас же отдайте необходимые распоряжения.

— Ты не сделаешь ничего подобного! — воскликнула Дагни, до того изумленная, что даже не могла возмутиться.

Мейгс взглянул на нее; если б его глаза могли что-то выражать, в них было бы удивление.

— Отдайте распоряжения, — равнодушно повторил он Эдди и вышел.

Эдди делал какие-то пометки на листе бумаги.

— Ты в своем уме? — спросила она.

Эдди, словно обессиленный после многочасовых побоев, поднял на нее глаза.

— Придется, Дагни, — сказал он убитым голосом.

— Кто он такой? — спросила она, указав на закрывшуюся за Мейгом дверь.

— Полномочный координатор.

— Что?

— Представитель из Вашингтона, осуществляет план объединения железных дорог.

— Что еще за объединение?

— Да как тебе сказать… О, погоди, Дагни, у тебя все хорошо? Не покалечилась? Это действительно была авиакатастрофа?

Она никогда не думала, как лицо Эдди будет стареть, но видела это сейчас — оно стало старым в тридцать пять лет, всего за месяц. Дело было не в складках или морщинах, оно оставалось прежним, во всех своих чертах, но на него легла тяжелая печать смирения, страдания и безнадежности.

Дагни улыбнулась мягко, уверенно, понимающе, не желая заниматься всеми проблемами сразу, и протянула руку:

— Ладно, Эдди. Здравствуй.

Он прижал ее руку к губам, чего не делал никогда раньше, но не дерзко или извиняясь за что-то, а просто, по-дружески.

— Да, была авиакатастрофа, — сказала она, — и чтобы ты не волновался, скажу тебе правду: я не покалечилась, серьезных повреждений не получила. Но журналистам и всем остальным преподнесу другую историю. Так что помалкивай.

— Само собой.

— Связаться я ни с кем не могла, но не потому, что пострадала при крушении. Это все, Эдди, что могу сказать тебе сейчас. Не спрашивай, где я была и почему так долго не возвращалась.

— Не буду.

— Теперь объясни, что это за план объединения железных дорог.

— Это… Слушай, пусть объяснит Джим. Он скоро появится. Мне очень не хочется… разве что ты настаиваешь, — добавил он, вспомнив о дисциплине.

— Понимаю, что не хочется. Только скажи, правильно ли я поняла координатора: он требует, чтобы ты отменил два рейса «*Кометы*», чтобы послать паровозы вывозить из Аризоны грейпфруты?

— Да.

— И отменил отправку состава с углем, чтобы получить вагоны для грейпфрутов?

— Да.

— Для *грейпфрутов*?

— Именно так.

— Почему?

— Дагни, слово «почему» уже вышло из употребления.

Чуть помолчав, она спросила:

— О причине догадываешься?

— Мне догадываться не нужно. Я ее знаю.

— Так в чем же она?

— Состав формируется для братьев Смэзерс. Год назад они купили фруктовое ранчо в Ари-

зоне у человека, который обанкротился после принятия Закона справедливой доли. Этот человек владел ранчо тридцать лет. Братья Смэзерс до прошлого года выпускали доски для игры в вещевую лотерею. Ранчо они купили, получив заем в Вашингтоне по проекту помощи районам массовой безработицы, таким как Аризона. У этих братьев есть в Вашингтоне друзья.

— И что?

— Дагни, это знают все. Знают, как нарушались в последние три недели расписания поездов, и почему одни районы и грузоотправители получают транспорт, а другие нет. Но говорить, что мы это знаем, нам не положено. Нам надлежит делать вид, что любое решение принимается ради общего блага и что общее благо нью-йоркцев требует доставки громадного количества грейпфрутов, — чуть помолчав, Эдди добавил: — Координатор — единственный арбитр общего блага и единственная власть над распределением локомотивов и подвижного состава на всех железных дорогах страны.

Наступила минута молчания.

— Понятно, — сказала Дагни. И, чуть погодя, спросила:

— Что с уинстонским туннелем?

— Работы прекращены. Три недели назад. Поезда не откопаны. Техника вышла из строя.

— Что с восстановлением старой ветки, огибающей туннель?

— Дело отложено в долгий ящик.

— Так у нас нет никакого трансконтинентального движения?

Эдди странно посмотрел на нее.

— Есть, — ответил он с ожесточением.

— Через окружной путь «Канзас Вестерн»?

— Нет.

— Эдди, что тут произошло за последний месяц?

Он улыбнулся так, словно признавался в чем-то постыдном:

— В последний месяц мы делали деньги.

Дагни увидела, как открылась дверь и вошел Джеймс Таггерт в сопровождении мистера Мейгса.

— Эдди, — спросила она, — хочешь присутствовать на этом совещании? Или предпочтешь уйти?

— Нет, хочу присутствовать.

Лицо Джеймса походило на скомканный лист бумаги, хотя морщин на его дряблой коже не прибавилось.

— Дагни, нужно многое обсудить, произошла масса важных перемен, — резко заговорил он еще издали. — О, я рад, что ты вернулась, рад, что ты жива, — вспомнив, раздраженно добавил он. — Так вот, есть несколько неотложных…

— Пошли в мой кабинет, — предложила она.

Кабинет ее походил на исторический памятник, восстановленный и оберегаемый Эдди Уиллерсом. На стенах висели ее карта, календарь, портрет Ната Таггерта, и не оставалось никаких следов эры Клифтона Лоси.

— Насколько понимаю, я все еще вице-президент этой железной дороги? — спросила она, усаживаясь за свой стол.

— Да, — ответил Таггерт торопливо, с обидой, чуть ли не с вызовом. — Конечно. И не забывай — ты не бросала своего дела, ты все еще… Так ведь?

— Нет, я не бросала своего дела.

— Теперь самый неотложный вопрос — сообщить об этом прессе, сообщить, что ты снова на работе, где была и… кстати, где?

— Эдди, — обратилась Дагни к Уиллерсу, — будь добр, подготовь необходимое сообщение и отправь журналистам. Когда я летела над Скалистыми горами к туннелю Таггерта, у самолета

отказал двигатель. Я сбилась с курса, ища место для вынужденной посадки, и разбилась в безлюдном горном районе… Вайоминга. Меня нашли старый овчар с женой и отнесли в свой дом в лесу, в пятидесяти милях от ближайшего населенного пункта. Я серьезно пострадала и лежала без сознания почти две недели. У пожилых фермеров не было ни телефона, ни радио, никаких транспортных средств, кроме старого грузовика, который сломался, когда они попытались его завести. Мне пришлось оставаться там, пока я не начала ходить. Я прошла пятьдесят миль до предгорий, потом добралась на попутках до одной из железнодорожных станций в Небраске.

— Ясно, — сказал Таггерт. — Что ж, замечательно. Так вот, когда будешь давать интервью…

— Я не собираюсь давать никаких интервью.

— Что? Но мне звонили весь день! Они ждут! Это необходимо! — вид у него был панический. — Совершенно необходимо!

— Кто звонил весь день?

— Вашингтонцы и… и другие… они ждут твоего заявления.

Дагни указала на записи Уиллерса:

— Вот мое заявление.

— Но этого мало! Ты должна сказать, что не бро-

сала своего дела.

— Это ясно само собой, разве не так? Я вернулась.

— Ты должна что-нибудь сказать об этом.

— Например?

— Что-нибудь личное.

— Кому?

— Стране. Люди тревожились о тебе. Ты должна их успокоить.

— Эта история успокоит их, если кто-то обо мне беспокоился.

— Я не то имел в виду!

— А что?

— Я… — Джеймс умолк и отвел взгляд. — Я…

Он сидел, подыскивая слова и похрустывая суставами пальцев.

Джим совсем измучился, подумала она, у него появились нервозная раздражительность, резкий голос, вид сделался паническим; на смену осторожной вкрадчивости пришли грубые вспышки бессильной злобы.

— Я имел в виду…

Он подыскивает слова, подумала Дагни, чтобы выразить свою мысль не прямо, а дать мне понять то, что ему хочется скрыть.

— я имел в виду, что общественность…

— Я знаю, что ты имел в виду, — сказала она. — Нет, Джим. Я не стану успокаивать общественность относительно положения дел в нашей отрасли.

— Раз ты…

— Общественности лучше оставаться настолько неуспокоенной, насколько у нее хватает ума. А теперь перейдем к делу.

— Я…

— К делу, Джим.

Он взглянул на мистера Мейгса. Мистер Мейгс сидел молча, забросив ногу на ногу, и курил сигарету. Пиджак его был похож на армейский френч. Складки шеи нависали над воротником, складки тела распирали талию, зауженную, чтобы скрыть полноту. У него было кольцо с большим желтым бриллиантом, вспыхивавшим, когда он шевелил короткими пальцами.

— Ты познакомилась с мистером Мейгсом, — сказал Таггерт. — И я очень рад тому, что вы превосходно поладите, — он сделал легкую, выжидательную паузу, но ему никто не ответил. — Мистер Мейгс осуществляет план объединения железных дорог. У тебя будет много возможностей сотрудничать с ним.

— Что это за план?

— Это… новая национальная программа, начавшая действовать три недели назад, ты оценишь ее, одобришь и найдешь в высшей степени практичной. — Дагни удивилась несерьезности его уловки: Джеймс держался так, словно, вынеся заранее за нее вердикт, не даст ей возможности изменить его. — Это чрезвычайная программа, спасшая транспортную систему страны.

— Что это за план?

— Ты, разумеется, сознаешь непреодолимые трудности любых строительных работ в этот чрезвычайный период. Строить новые пути — пока что — невозможно. Поэтому для страны самой важной задачей является сохранить транспортную систему как единое целое, сохранить все имеющиеся машины, все имеющееся оборудование. Национальное выживание требует…

— Что это за *план*?

— В целях национального выживания железные дороги страны слиты в одну сеть. Весь совокупный валовый доход поступает в Правление железнодорожного пула в Вашингтоне, оно действует как попечитель отрасли в целом и делит среди разных железных дорог общий доход в соответствии с… самым современным принципом распределения.

— Что это за принцип?

— Не волнуйся, права собственности полностью сохранены и защищены, им лишь придали новую форму. Каждая дорога по-прежнему несет ответственность за свою работу, расписание поездов, содержание в порядке путей и оборудования. Что до ее взносов в национальный пул, каждая дорога позволяет любой другой, когда того требуют условия, использовать свои пути и оборудование бесплатно. В конце года Правление пула распределяет общий доход, и каждая дорога получает деньги не на случайной, устарелой основе количества прошедших поездов и тоннажа перевезенных грузов, а на основе ее потребностей, то есть, поскольку сохранение железнодорожного пути — это главная потребность, каждая дорога получает деньги в зависимости от протяженности путей, которыми владеет и которые содержит в исправности.

Дагни слышала слова, понимала их смысл, но не могла представить это в реальности — какое-то кошмарное безумие, основанное лишь на готовности людей притворяться, будто они верят, что все вокруг разумно. Она ощутила мертвую пустоту и поняла, что ее пытаются низвергнуть даже ниже той планки, где еще уместно

простое человеческое негодование.

— Чьими путями мы пользуемся для трансконтинентальных перевозок?

— Да своими, разумеется, — торопливо ответил Таггерт, — то есть от Нью-Йорка до Бедфорда, штат Иллинойс. А от Бедфорда наши поезда идут по путям «*Атлантик Саусерн*».

— До Сан-Франциско?

— Ну, так гораздо быстрее, чем делать тот длинный объезд, который ты хотела устроить.

— Мы пускаем свои поезда без платы за использование путей?

— Притом твоей объезд долго не просуществовал бы, рельсы «Канзас Вестерн» пришли в негодность, и, кроме того…

— Без платы за использование путей «*Атлантик*»?

— Ну, и мы не берем с них платы за пользование нашим мостом через Миссисипи.

Чуть помолчав, Дагни спросила:

— Ты смотрел на карту?

— Конечно, — неожиданно подал голос Мейгс. — У вашей дороги самая большая протяженность. Поэтому вам не о чем беспокоиться.

Эдди Уиллерс расхохотался.

Мейгс тупо посмотрел на него:

— Что это с вами?

— Ничего, — устало ответил Эдди. — Ничего.

— Мистер Мейгс, — заговорила Дагни, — если взглянете на карту, увидите, что две трети стоимости содержания путей для наших трансконтинентальных перевозок даются нам даром и оплачиваются нашим конкурентом.

— Да, конечно, — ответил он и сощурился, с подозрением глядя на нее, словно недоумевал, что толкнуло ее на столь откровенное заявление.

— А мы тем временем получаем деньги за то, что владеем милями путей, на которых нет движения, — сказала она.

Мейгс понял и откинулся на спинку кресла, словно потерял всякий интерес к этой дискуссии.

— Это не так! — резко возразил Таггерт. — Мы пускаем много местных поездов для обслуживания района нашей бывшей трансконтинентальной линии — через Айову, Небраску и Колорадо, а по другую сторону туннеля — через Калифорнию, Неваду и Юту.

— Пускаем два местных поезда в день, — сказал Эдди Уиллерс сухим, безучастным тоном деловой справки. — Кое-где и меньше.

— Что определяет количество поездов, которое каждая железная дорога обязана пускать? — спросила Дагни.

— Общественное благо, — ответил Джеймс.

— Правление пула, — ответил Эдди.

— Сколько поездов было остановлено в стране за последние три недели?

— Собственно говоря, — пылко заговорил Таггерт, — этот план помог гармонизировать отрасль и устранить жестокую конкуренцию.

— Он устранил тридцать процентов ходивших по стране поездов, — вмешался Эдди. — Конкуренция сохранилась только в подаче заявлений в Правление о разрешении отменять поезда. Выживет та железная дорога, которая ухитрится не пускать поездов совсем.

— Кто-нибудь подсчитывал, как долго сможет функционировать «*Атлантик*»?

— Это не ваше… — начал было Мейгс.

— Каффи, прошу тебя! — воскликнул Таггерт.

— Президент «*Атлантик Саусерн*», — бесстрастно произнес Эдди, — покончил с собой.

— Мы здесь ни при чем! — заорал Таггерт. — Он совершил самоубийство по личным причинам!

Дагни молча глядела на их лица. В сумереч-

ном безразличии ее сознания все еще теплилась какая-то искорка интереса: Джим всегда ухитрялся сваливать бремя своих просчетов на самые крупные компании и выживать, заставляя их расплачиваться за ошибки, как поступил с Дэном Конвеем, с промышленниками в Колорадо; но тут не было даже здравого смысла грабителя — в этой атаке на иссохший костяк более слабого, полуобанкротившегося конкурента ради минутной отсрочки краха, поскольку нападавшего отделяла от бездны только треснувшая кость.

Привычка дискутировать едва не заставила Дагни говорить, спорить, указывать на очевидное, но она снова посмотрела на их лица и поняла, что они все и так знают. В каких-то иных понятиях, в каком-то ином осмыслении они знали все, что она могла сказать, — не имело смысла доказывать необратимый ужас их курса и его последствий.

— Понятно, — негромко сказала она.

— Ну а что, по-твоему, мне было делать? — закричал Таггерт. — Прекратить наши трансконтинентальные перевозки? Обанкротиться? Превратить великую железную дорогу в жалкую местную? — Одно ее слово, казалось, задело его сильнее, чем любые убийственные аргументы;

он буквально трясся от ужаса перед тем, *что* стояло за этим коротким «понятно». — Мне больше ничего не оставалось! Нам нужно было сохранить трансконтинентальный маршрут! Обогнуть туннель невозможно! У нас нет денег на дополнительные расходы! Нужно было что-то делать!

Мейгс смотрел на него с удивлением и неприязнью.

— Я не спорю, Джим, — сухо сказала она.

— Мы не могли допустить, чтобы такая дорога, как *«Таггерт Трансконтинентал»*, потерпела крах! Это была бы национальная катастрофа! Надо было думать обо всех городах, промышленности, грузоотправителях, пассажирах, служащих и акционерах, условия жизни которых зависят от нас! Это не только ради тебя или меня, это ради общего блага! Все согласны, что план объединения железных дорог практичен! Лучше всех осведомленные…

— Джим, — сказала Дагни, — если у тебя есть еще деловые вопросы для обсуждения, давай ими займемся.

— Ты никогда не принимала во внимание социальную сторону чего бы то ни было, — недовольно буркнул он в ответ.

Дагни заметила, что это притворство непри-

ятно не только ей, но и Мейгсу, хотя и по совершенно другой причине. Он смотрел на Джима со скукой и презрением. Джим внезапно показался ей человеком, пытавшимся найти безопасную тропу между двумя полюсами — Мейгсом и ею, — и теперь видящим, что его путь стремительно сужается, и он будет растерт между Сциллой и Харибдой.

— Мистер Мейгс, — спросила она, побуждаемая ехидным любопытством, — каковы ваши экономические планы на послезавтра?

И увидела, как его мутные карие глаза сосредоточились на ней безо всякого выражения.

— Вы непрактичны, — сказал он.

— Совершенно бессмысленно, — отрывисто бросил Таггерт, — теоретизировать о будущем, когда необходимо думать о неотложных делах настоящего. В конечном счете…

— В конечном счете все мы умрем, — сказал Мейгс. И внезапно поднялся: — Побегу, Джим. Не могу тратить время на разговоры, — и добавил: — Поговори с ней о необходимости как-то прекратить все эти крушения поездов, раз эта девочка такая кудесница в железнодорожных делах.

Сказал он это не оскорбительно; он не был

способен ни оскорбить, ни понять, что оскорбили его.

— До встречи, Каффи, — сказал Таггерт, когда Мейгс выходил, не удостоив их прощальным взглядом.

Таггерт посмотрел на сестру испуганно и выжидающе, словно страшился ее комментариев и вместе с тем отчаянно надеялся услышать от нее хоть что-то.

— Ну? — спросила Дагни.

— Ты о чем?

— Есть у тебя еще темы для обсуждения?

— Ну, я… — в голосе его звучало разочарование. — Да! — воскликнул он с отчаянной решимостью. — У меня есть тема, самая важная из всех…

— Растущее число крушений?

— Нет! Не это.

— Тогда что?

— Ты… ты сегодня вечером выступишь на радио в программе Бертрама Скаддера.

— Вот как?

— Дагни, это очень важно, необходимо, ничего поделать нельзя, об отказе не может быть и речи, в такие времена выбора нет, и…

Дагни взглянула на часики.

— Даю тебе три минуты на объяснение, если хочешь, чтобы я тебя выслушала. И говори начистоту.

— Хорошо! — обреченно тряхнул головой Джеймс. — Считается крайне важным — на самом высоком уровне, я имею в виду Чика Морриссона, Уэсли Моуча и мистера Томпсона, — чтобы ты произнесла речь перед всей страной, поднимающую дух речь, понимаешь, и сказала, что ты не бросала своего дела.

— Зачем?

— Потому что все так думали!.. Ты не знаешь, что происходило в последнее время, но… но это какая-то жуть. По стране ходят слухи, всевозможные слухи обо всем, и они опасные. Подрывные. Кажется, люди только и делают, что шепчутся. Они не верят газетам, не верят лучшим ораторам, но верят любой злобной, нагнетающей страх сплетне. Не осталось ни доверия, ни порядка, ни… ни почтения к власти. Люди… люди как будто на грани паники.

— И что?

— Прежде всего это история с исчезновением всех крупных предпринимателей! Никто не может дать никаких объяснений, и это пугает людей. Это вызывает всевозможные нелепые шепот-

ки, но главным образом шепчутся, что «ни один порядочный человек не будет работать на этих типов». Имеются в виду люди в Вашингтоне. Теперь понимаешь? Ты не подозревала, что очень популярна, но это так, и, может быть, стала еще популярней после авиакатастрофы. В нее не верил никто. Все думали, что ты нарушила закон, то есть Директиву 10–289, и дезертировала. В обществе много… непонимания этой директивы, много… да, волнений. Теперь понимаешь, как важно, чтобы ты выступила, сказала людям, что неправда, будто Директива 10–289 разрушает экономику, что это хороший закон, принятый для всеобщего блага, и что, если люди немного потерпят, положение дел наладится, процветание вернется. Должностным лицам они уже не верят. Ты… ты предпринимательница, одна из немногих, принадлежащих к старой школе, и единственная вернувшаяся, когда все сочли, что ты скрылась. Ты известна как… как реакционерка, противящаяся политике Вашингтона. Поэтому люди тебе поверят. Твое выступление окажет на них большое влияние, укрепит их уверенность, поднимет дух. Теперь понимаешь?

Джеймс продолжал говорить, его подбадривало странное выражение ее лица — задумчивость,

легкая полуулыбка.

Дагни слушала и слышала сквозь его слова голос Риардена, говоривший ей весенним вечером больше года назад: «Им нужна от нас какая-то поддержка. Не знаю, какая именно, но, Дагни, если мы ценим свои жизни, то не должны оказывать им никакой помощи. Откажись, даже если тебя вздернут за это на дыбу. Пусть они уничтожат твою железную дорогу и мои заводы, но поддержки нашей они не получат».

— Понимаешь теперь?

— О да, Джим, понимаю!

Джеймс не мог понять тона сестры — голос ее был негромким, в нем слышались и стон, и насмешка, и торжество, но это было лишь проявлением эмоций, и он продолжал, не теряя надежды:

— Я обещал людям в Вашингтоне, что ты выступишь! Мы не можем подвести их в таком вопросе! Не можем допустить, чтобы нас заподозрили в нелояльности. Все устроено. Ты будешь гостьей в программе Бертрама Скаддера, сегодня вечером, в десять тридцать. Он берет интервью у выдающихся людей, программа передается на всю страну, ее слушают больше двадцати миллионов. Из Комитета укрепления духа…

— Что это?

— Это комитет Чика Моррисона. Они уже три раза звонили мне, чтобы убедиться, что ничего не сорвется. Из Вашингтона отправили распоряжения всем вещательным компаниями, они объявляли весь день по всей стране, что ты выступишь сегодня вечером в программе Бертрама Скаддера.

Джеймс посмотрел на сестру, словно требуя и ответа, и признания, что ее ответ в данных обстоятельствах почти ничего не значит. Она сказала:

— Ты знаешь, что я думаю о вашингтонской политике и о Директиве 10–289.

— В такое время мы не можем позволить себе роскоши думать!

Дагни рассмеялась.

— Неужели не понимаешь, что теперь ты не можешь отказать им? — завопил Джеймс. — Если не появишься в программе после всех объявлений, это послужит поддержке слухов, явится открытым объявлением о нелояльности!

— Джим, этот капкан не сработает.

— Какой капкан?

— Который ты все время ставишь.

— Не знаю, что ты имеешь в виду!

— Отлично знаешь. Ты понимал — все вы понимали, — что я откажусь. И толкнули меня в общественный капкан, где мой отказ станет для тебя серьезным скандалом, таким серьезным, что, по-твоему, я не посмею его вызвать. Ты рассчитывал, что я спасу ваши репутации и ваши головы. Я не стану их спасать.

— Но я обещал!

— А я нет.

— Но мы *не можем* отказать им. Неужели не понимаешь, что они связали нас по рукам и ногам? Что держат нас за горло? Неужели не понимаешь, *что* они могут устроить нам через железнодорожный пул или департамент по объединению, или мораторий на наши облигации?

— Я знала это еще два года назад.

Джеймс дрожал, в его ужасе было что-то непонятное, отчаянное, почти суеверное, несоразмерное с теми опасностями, о которых он говорил. Дагни внезапно поняла, что причина этого ужаса более серьезная, чем страх перед местью бюрократов, что это некое успокаивающее отождествление, которое кажется ему разумным и скрывает его подлинные мотивы. Поняла, что он хочет предотвратить панику не в стране, а в своей душе, что Чик Моррисон, Уэсли Моуч

и прочие из этой команды грабителей нуждаются в ее поддержке не для того, чтобы успокоить своих жертв, а чтобы успокоиться самим. С немалым презрением — под стать масштабу картины — она подумала, до какого нравственного упадка пришлось дойти этим людям, чтобы опуститься до самообмана, чтобы вымогать одобрение у жертвы. И это люди, полагавшие, что способны подчинить себе весь мир!

— У нас нет выбора! — выкрикнул Джеймс. — Ни у кого нет никакого выбора!

— Уходи отсюда, — сказала она, голос ее был очень спокойным, негромким.

Что-то в ее интонации не понравилось Джеймсу настолько, что он не заставил просить себя дважды.

Дагни взглянула на Эдди: казалось, он пытается подавить очередной приступ отвращения, ставшего для него хроническим.

Через несколько секунд он спросил:

— Дагни, что с Квентином Дэниелсом? Ты летела за ним, так ведь?

— Да, — ответила она. — Он ушел.

— К разрушителю?

Это слово подействовало на нее, как удар. То было первое прикосновение внешнего мира

к сияющему видению, с которым она не расставалась весь день, о котором нельзя было думать, можно было лишь *ощущать* его как источник силы. «Разрушитель», осознала она, было названием этого видения здесь, в *их* мире.

— Да, — с усилием ответила она, — к разрушителю.

Потом ухватилась за край стола, чтобы не пошатнуться, и сказала с легкой горькой улыбкой:

— Ну что ж, Эдди, давай посмотрим, что могут сделать для предотвращения крушений поездов два таких непрактичных человека, как мы.

Два часа спустя, когда Дагни сидела в одиночестве за столом, склонясь над бумагами, где не было ничего, кроме цифр, но они походили на фильм, показывающий всю историю железной дороги за последние четыре недели, раздался звонок и послышался голос секретарши:

— Мисс Таггерт, вас хочет видеть миссис Риарден.

– *Мистер* Риарден? — удивленно переспросила она, будучи не в силах поверить своим ушам.

— Нет, миссис Риарден.

Чуть помолчав, Дагни сказала:

— Попроси ее войти.

В осанке Лилиан Риарден, когда она вошла

и направилась к столу, сквозило что-то вызывающее. На ней был шитый на заказ костюм с ярким бантом, небрежно сдвинутым набок для придания нотки элегантной несообразности, и маленькая шляпка, заломленная под углом, считавшимся щегольским, потому что он казался насмешливым; лицо ее было излишне спокойным, шаг излишне медленным; шла она, чуть ли не демонстративно покачивая бедрами.

— Здравствуйте, мисс Таггерт, — произнесла она ленивым, снисходительным голосом, голосом салонов и вечеринок, казавшимся в этом кабинете таким же неуместным, как ее костюм и бант.

Дагни с серьезным видом кивнула.

Лилиан оглядела кабинет; во взгляде ее была та же насмешливость, что и в заломленной шляпке: насмешливость, выражавшая твердое убеждение, что жизнь может быть только нелепой.

— Прошу вас, присаживайтесь, — сказала Дагни.

Лилиан села, приняв уверенную, изящно-небрежную позу. Когда повернулась к Дагни, вызов в ее глазах не исчез, но приобрел другой оттенок: казалось, она намекала, что у них есть

общий секрет, делающий ее присутствие здесь бессмысленным для всего мира, но вполне логичным для них обеих. Намек этот она подчеркнула молчанием.

— Чем могу служить?

— Я пришла сказать вам, — любезно произнесла Лилиан, — что вы сегодня вечером выступаете в программе Бертрама Скаддера.

Она не увидела в лице Дагни ни удивления, ни возмущения, лишь взгляд механика, разглядывающего мотор, который издает странный звук.

— Полагаю, — сказала Дагни, — вы полностью осознаете форму построения своей фразы.

— О да! — ответила Лилиан.

— Тогда продолжайте в том же духе.

— Прошу прощения?

— Продолжайте говорить.

У Лилиан вырвался неестественный короткий смешок, свидетельствующий, что она ожидала не такого отношения.

— Я уверена, что долгие объяснения не нужны, — заговорила она. — Вы понимаете, почему ваше появление в этой программе важно для тех, кто у власти. Я знаю, почему вы отказываетесь в ней появиться. Знаю ваши убеждения. Воз-

можно, вы не придаете этому значения, но вы в курсе, что мои симпатии всегда были на стороне существующей системы. Поэтому поймете мой интерес к этой проблеме и мое место в ней. Когда ваш брат сказал мне, что вы отказались, я решила вмешаться, потому что, видите ли, я одна из тех очень немногих, кто *знает*, что в вашем положении отказываться нельзя.

— Я пока что не принадлежу к этим немногим, — сказала Дагни.

Лилиан улыбнулась:

— Что ж, придется кое-что объяснить. Вы понимаете, что ваше выступление по радио будет иметь для тех, кто у власти, такую же ценность, как… как поступок моего мужа, когда он подписал дарственную, передающую риарден-металл им. Вы знаете, как часто и успешно они упоминают об этом в своей пропаганде.

— Я не знала этого, — резко парировала Дагни.

— О, конечно, вас не было здесь почти два месяца, поэтому вы пропустили бесчисленные упоминания в газетах, по радио, в публичных выступлениях, что даже Хэнк Риарден одобряет и поддерживает Директиву 10–289, поскольку добровольно отдал свою фирму стране. Даже Хэнк Риарден. Это обескураживает многих упорству-

ющих и помогает держать их в узде, — Лилиан откинулась назад и небрежным тоном поинтересовалась: — Спрашивали ли вы его, почему он подписал дарственную?

Дагни не ответила; она словно бы не слышала, что это был вопрос; она сидела неподвижно, лицо ее ничего не выражало, но глаза казались слишком большими, они были устремлены на Лилиан, словно у нее не было других намерений, кроме как выслушать ее до конца.

— Нет, я не думала, что вы это знали. Не думала, что он вам скажет, — заговорила Лилиан, голос ее стал спокойнее, словно она увидела дорожный указатель и спокойно ехала нужным маршрутом. — Однако вам нужно узнать причину, заставившую его подписать, — эта же причина заставит вас появиться в программе Бертрама Скаддера сегодня вечером.

Она сделала паузу, ожидая вопроса. Дагни молчала.

— Эта причина — насколько она касается поступка моего мужа — должна доставить вам удовольствие. Представьте себе, что означала для него эта подпись. Риарден-металл был его величайшим достижением, совокупностью всего лучшего в его жизни, высшим символом его гор-

дости, а мой муж, как вы должны знать, в высшей степени страстный человек, и гордость, пожалуй, высшая его страсть. Риарден-металл был для него больше, чем достижением, он был символом его способности пробивать стены, его независимости, его трудов, его возвышения. Фирма была его собственностью по праву, а вы знаете, что такое право для такого строгого человека, как он, и что значит собственность для такого собственника. Он лучше бы погиб, отстаивая фирму, чем отдал ее тем, кого презирает. Вот что она значила для него. И вот что он потерял. Вам будет приятно узнать, *что* он отдал ее ради вас, мисс Таггерт. Ради вашей репутации и вашей чести. Он подписал дарственную под угрозой того, что его связь с вами станет известна всему миру. О да, мы располагали полными доказательствами, во всех интимных подробностях. Полагаю, вы придерживаетесь убеждений, не одобряющих жертвы, однако в данном случае вы, как всякая женщина, почувствуете удовлетворение масштабом жертвы, которую мужчина принес за привилегию пользоваться вашим телом. Вы наверняка получали громадное удовольствие в те ночи, что он проводил в вашей постели. Теперь можете насладиться знанием, во что обошлись ему эти ночи.

И поскольку вы любите прямоту — не так ли, мисс Таггерт? — поскольку вы избрали для себя статус шлюхи, я снимаю перед вами шляпу, отдавая должное цене, которой вам удалось добиться и которую не может надеяться получить ни одна из подобных вам особ.

Голос Лилиан становился все резче, словно звук, издаваемый головкой сверла, все время соскальзывающего с гладкого камня. Дагни продолжала смотреть на нее, однако напряженность ее глаз и позы исчезла. Лилиан стало любопытно, почему ей кажется, что лицо Дагни освещено прожектором. Она не могла разглядеть никакого особого выражения, это было просто лицо в его обычной безмятежности, и свет, казалось, исходил из его строения, из резких черт, твердости сжатых губ, открытости взгляда. Выражения их она не могла разобрать, оно казалось отсутствующим, напоминало спокойствие не женщины, а ученого, в них сияли бесстрашие и упорство.

— Это я, — негромко сказала Лилиан, — сообщила бюрократам о неверности моего мужа.

Дагни заметила в безжизненных глазах Лилиан проблеск чувства: оно походило на удовольствие, но так отдаленно, что напоминало солнечный свет, отраженный от поверхности болота; вспых-

нув на миг, оно угасло.

— Это я, — сказала Лилиан, — отняла у него риарден-металл.

Слова ее прозвучали, как просьба.

Дагни не могла понять ни этой просьбы, ни того, какую реакцию Лилиан ожидала встретить; поняла только, что не встретила, когда услышала внезапную пронзительность в ее голосе:

— Вы поняли меня?

— Да.

— Тогда вам понятно, чего я требую и почему вы будете мне повиноваться. Вы считали себя и его непобедимыми, так ведь? — Лилиан пыталась говорить ровно, но голос звучал прерывисто. — Вы всегда действовали только по своей воле — этой роскоши я позволить себе не могла. И наконец-то вознагражу себя зрелищем того, как вы действуете по моей. Вы не можете мне противостоять. Не можете откупиться теми долларами, которые вы в состоянии заработать, а я нет. Не можете предложить мне никакого жирного куска. Я лишена алчности. Бюрократы не платят мне. Я делаю это бескорыстно. Бескорыстно. Понимаете?

— Да.

— Тогда дальнейшие объяснения не нужны,

только напомню, что все фактические улики — регистрационные книги отелей, счета за драгоценности и все прочее — находятся в надежных руках и завтра будут разосланы во все газеты, если сегодня вы не появитесь в программе Скаддера. Ясно?

— Да.

— И что ответите?

Лилиан увидела обращенные к ней светящиеся глаза ученого; ей внезапно показалось, что ее и видно насквозь и не видно совсем.

— Очень рада, что вы сказали мне все, — произнесла Дагни. — Я буду вечером в программе Скаддера.

* * *

На блестящий металл микрофона в центре стеклянной будки, изолировавшей Дагни с Бертрамом Скаддером, падал луч света. Микрофон отливал зеленовато-голубым; он был из риарден-металла.

Вверху, за стеклянным листом, Дагни видела кабину с двумя рядами обращенных к ней лиц: Джеймса Таггерта, сидевшего рядом с Лилиан, ободряюще положившей ладонь ему на руку, человека, прилетевшего из Вашингтона и пред-

ставившегося ей как Чик Моррисон, его молодых помощников, которые вели разговор о процентных показателях интеллектуального влияния и вели себя как патрульные полицейские.

Бертрам Скаддер как будто боялся ее. Он держался за микрофон и выпаливал слова в его тонкую проволочную сетку, в уши всей страны, представляя гостью программы. Старался говорить цинично, скептически, надменно и истерично сразу, чтобы казаться человеком, смеющимся над всеми человеческими убеждениями и потому требующим мгновенной веры от слушателей. Загривок его поблескивал от пота. Он описывал в красочных подробностях месяц ее выздоровления в затерянной среди гор пастушьей хижине, затем героический, трудный путь в пятьдесят миль по горным тропам ради того, чтобы снова выполнять долг перед людьми в это чрезвычайно трудное для страны время.

— …И если кто-то из вас был обманут злобными слухами, направленными на подрыв вашей веры в великие социальные программы наших лидеров, то можете поверить мисс Таггерт, которая…

Дагни стояла, глядя на луч. В нем кружились пылинки, и Дагни заметила, что одна из них живая: то был комар с крохотной искрой на тре-

пещущих крылышках, он неистово стремился к какой-то своей цели и, насколько видела Дагни, был так же далек от нее, как от этого мира.

— …Мисс Таггерт — беспристрастный наблюдатель, блестящая деловая женщина, в прошлом она была зачастую критичной к правительству и, можно сказать, являлась выразительницей крайней, консервативной точки зрения, которой придерживались такие гиганты промышленности, как Хэнк Риарден. Однако даже она…

Дагни удивилась тому, как легко чувствуешь себя, когда не нужно чувствовать; казалось, она стояла голой на всеобщем обозрении, и луча света ей было достаточно для поддержки, потому что у нее не было ни груза страданий, ни надежды, ни сожаления, ни забот, ни будущего.

— …А теперь, дамы и господа, представляю вам героиню этого вечера, нашу совершенно необычную гостью…

Боль вернулась внезапным, мучительным ударом, острым осколком защитной стены, разрушенной от понимания того, что теперь слово за ней; вернулась на краткий миг именем в ее сознании, именем мужчины, которого она называла разрушителем; она не хотела, чтобы он слышал то, что сейчас ей придется сказать.

«Если услышишь, — боль походила на голос, кричащий это ему, — ты не поверишь в то, что я сказала тебе, нет, хуже того, в то, что *не* сказала, но ты понял это, поверил и принял, ты сочтешь, что мои проведенные с тобой дни были ложью; это уничтожит один мой месяц и твои десять лет; я хотела, чтобы ты это узнал не так, не в этот вечер, но ты узнаешь, ты наблюдал за мной и знал о каждом моем шаге, ты наблюдаешь за мной и сейчас, где бы ты ни был, ты это услышишь… но это должно быть сказано».

— …последнюю носительницу славного имени в нашей промышленной истории, женщину-руководителя, возможную только в Америке, вице-президента громадной железной дороги — мисс Дагни Таггерт!

Когда ее рука сомкнулась на шейке микрофона, Дагни ощутила риарден-металл и внезапно почувствовала легкость — не вялую легкость безразличия, а бодрую, ясную, живую легкость действия.

— Я пришла сюда сказать вам о социальной программе, политической системе и моральном кодексе, при которых вы сейчас живете.

В голосе ее была такая спокойная, непринужденная уверенность, что, казалось, одно лишь

его звучание обладает громадной убедительной силой.

— Вы слышали, что я нахожу мотивом этой системы безнравственность, грабеж — ее целью, ложь, мошенничество и принуждение — ее методами и разрушение — ее единственным результатом. Вы также слышали, что я, как и Хэнк Риарден, лояльная сторонница этой системы и добровольно оказываю содействие ее нынешней политике, таким актам, как Директива 10–289. Я пришла сюда сказать вам всю правду об этом.

Это правда, что я разделяю позицию Хэнка Риардена. У нас общие политические убеждения. Вы слышали, как его в прошлом именовали реакционером, противящимся каждому шагу, мере, лозунгу и закону нынешней системы. Теперь вы слышите, что его хвалят как нашего величайшего промышленника, суждениям которого об экономической политике вполне можно доверять. Если вы начинаете бояться, что находитесь во власти безответственного зла, что страна катится в пропасть и вам скоро придется голодать, обдумайте взгляды нашего самого способного промышленника, знающего, какие условия необходимы, чтобы сделать производство возможным

и помочь стране выжить.

Обдумайте все, что знаете о его взглядах. Когда Риарден имел возможность говорить, он говорил вам, что политика правительства ведет вас к порабощению и разорению. Однако он не говорил о высшем достижении этой политики — Директиве 10–289. Вы слышали, что он боролся за свои и ваши права, за свою независимость, за свое процветание. Он добровольно, как вам сказали, подписал дарственную, отдавшую риарден-металл его врагам. Подписал бумагу, которой, судя по его прежней репутации, он должен был противиться даже ценой собственной жизни. Что это могло означать, постоянно внушали вам, если не то, что даже он признал необходимость директивы и пожертвовал личным интересом ради страны? Судите о взглядах Риардена, постоянно твердили вам, по мотивам этого поступка. И я с этим полностью согласна: судите о его взглядах по мотивам этого поступка. И какое бы значение вы ни придавали моему мнению и тем предостережениям, какие я могу сделать, судите о моих взглядах тоже по мотивам этого поступка, так как убеждения у нас одни.

Я два года была любовницей Хэнка Риардена. Пусть тут все будет ясно: я говорю это, не делая по-

стыдное признание, а с величайшей гордостью. Я была его любовницей, спала в его постели, в его объятьях. Теперь никто не может сказать вам обо мне ничего такого, чего я уже не сказала сама. Бесчестить меня будет бессмысленно. Я знаю суть этих обвинений и изложу их. Хотела я его физически? Да. Была движима страстью к его телу? Да. Испытывала самое острое чувственное удовольствие? Испытывала. Если это теперь делает меня в ваших глазах падшей женщиной, судите меня по своим критериям. Я буду держаться своих.

Бертрам Скаддер таращился на нее; он ожидал не такой речи и думал в смутной панике, что этот кошмар необходимо прекратить, но мисс Таггерт была особой гостьей программы, вашингтонские правители велели обходиться с ней осторожно, и он не знал, должен прервать ее или нет; кроме того, ему нравилось слушать подобные истории. В кабине для зрителей Джеймс Таггерт и Лилиан Риарден сидели, застыв, словно животные, парализованные светом прожектора мчащегося на них паровоза; они единственные из всех присутствующих понимали связь между словами, которые слышат, и темой радиопередачи; что-либо предпринимать было поздно: они не смели взять на себя ответственность за происходящее

и его последствия.

В аппаратной юный интеллектуал из помощников Чика Моррисона стоял, готовый в случае осложнений прервать выход передачи в эфир, но он не видел политического смысла в речи, которую слушал, не мог истолковать ее как опасность для своих хозяев. Он привык слышать речи, которые выдавливали из противящихся жертв неизвестным ему нажимом, и пришел к выводу, что это случай реакционерки, вынужденной признаваться в постыдном факте, и что, видимо, эта речь обладает какой-то особой, заранее просчитанной ценностью; к тому же слушать это ему было интересно.

— Я горжусь, что он избрал меня для своего удовольствия, а я избрала его. Это не было — как представляется большинству из вас — актом постыдной уступки своим слабостям и взаимным презрением. Это было пиком нашего восхищения друг другом, с полным пониманием ценностей, определивших наш выбор. Мы не отделяем ценностей разума от поступков своих тел, не предаемся пустым мечтаниям. Мы облекаем мысль и реальность в конкретные формы, мы создаем сталь, железные дороги и счастье. И тем среди вас, кому ненавистно само понятие человеческой

радости, кто хочет видеть жизнь сплошной чередой страданий и неудач, кто хочет, чтобы люди извинялись за счастье или за успех, способности, достижения или богатство, тем я говорю: я хотела его, я получила его, я была счастлива, я познала радость, чистую, полную, невинную радость, радость, о которой вы страшитесь услышать, радость, из-за которой вы ненавидите тех, кто ее достоин и достиг ее. Ну что ж, тогда ненавидьте и меня, потому что я ее достигла!

— Мисс Таггерт, — нервозно заговорил Бертрам Скаддер, — мы отошли от темы… в конце концов ваши личные отношения с мистером Риарденом не имеют политического значения…

— Я тоже думала, что не имеют. И разумеется, пришла сюда сказать вам о политической и моральной системе, при которой вы сейчас живете. Так вот, я полагала, что знаю о Хэнке Риардене все, но кое-что узнала только сегодня. Оказывается, лишь угроза придать гласности наши отношения заставила Хэнка Риардена подписать дарственную на риарден-металл. Это был шантаж, устроенный высшими государственными служащими, вашими правителями, вашими…

Скаддер выбил микрофон из ее руки, и когда он упал на пол, из него донесся негромкий щелчок,

говорящий, что интеллектуал-полицейский прервал выход передачи в эфир.

Дагни засмеялась, но видеть ее и слышать ее смех было некому. Люди, ворвавшиеся в стеклянную будку, орали друг на друга. Чик Моррисон осыпал Бертрама Скаддера непечатной бранью; Бертрам Скаддер кричал, что он с самого начала был против, но ему приказали устроить это выступление; Джеймс Таггерт походил на скалящегося зверя, рыча на двух младших помощников Моррисона и не слушая рычания в свой адрес третьего, старшего. Лицо Лилиан Риарден странно расслабилось, как мышцы лежащего на дороге еще неповрежденного, но уже дохлого животного. Ревнители нравственности вопили друг на друга в страхе перед тем, что сделает с ними мистер Моуч.

— Что мне сказать им? — вопил диктор программы, указывая на микрофон. — Мистер Моррисон, слушатели ждут, что я должен им сказать?

Ему никто не отвечал. Все спорили не о том, что сказать, а кого винить.

Никто не сказал ни слова Дагни и не взглянул в ее сторону. Никто не остановил ее, когда она выходила.

Она села в первое попавшееся такси и назвала адрес своей квартиры. Когда машина тронулась, она заметила, что приемник на приборной панели светится, но молчит, из него слышалось только отрывистое потрескивание: настроен он был на программу Бертрама Скаддера. Дагни откинулась на спинку сиденья, чувствуя только безнадежное отчаяние оттого, что безумие ее поступка, возможно, оттолкнуло мужчину, который, наверное, больше не захочет ее видеть. Она внезапно осознала всю безнадежность найти его — если он сам этого не захочет — на улицах Нью-Йорка, в других городах, в ущельях Скалистых гор, где конечная цель закрыта отражающим лучевым экраном. Но у нее оставался один, словно плавающий в пустоте, спасательный круг, за который она держалась во время выступления, и она знала, что просто не может его утратить, даже если потеряет все остальное: звук его голоса, говорящего ей: «Никто не сможет остаться здесь, искажая картину реальности каким бы то ни было образом».

— Дамы и господа, — внезапно послышался сквозь потрескивание голос диктора, — из-за технических неполадок, над которыми мы не властны, станция прекращает вещание

на необходимое для ремонта время.

Таксист издал презрительный смешок и выключил приемник.

Когда Дагни вышла и подала ему банкноту, таксист протянул ей сдачу, потом неожиданно подался вперед, чтобы поближе увидеть ее лицо. Она была уверена, что он узнал ее, и с суровым видом взглянула ему в глаза. Его исхудавшее лицо и заплатанная рубашка говорили о безнадежной, проигранной жизни. Когда она протянула ему чаевые, он негромко сказал со слишком серьезной, слишком торжественной интонацией для простой благодарности за монеты:

— Спасибо, мэм.

Дагни резко повернулась и быстро вошла в здание, не позволяя ему заметить, как ей сейчас тяжело.

Дверь квартиры она отпирала, опустив голову; свет ударил ей в глаза снизу, от ковра, и она резко вскинула голову, с удивлением обнаружив, что помещение ярко освещено. Шагнула вперед. И увидела Хэнка Риардена, стоявшего в глубине комнаты.

Дагни замерла от неожиданности: во-первых, она не ожидала, что Хэнк приедет так скоро; во-вторых — выражение его лица. Оно было та-

ким твердым, таким уверенным и вместе с тем таким спокойным — легкая полуулыбка, открытая ясность глаз, — что ей показалось, будто он постарел за один месяц на десятилетия, постарел в полном смысле слова: внешность, осанка, выдержка… Дагни вдруг поняла, что он, переживший месяц страданий, он, кого она глубоко ранила и готовилась ранить еще глубже, будет единственным, кто даст ей поддержку и утешение, будет той силой, которая защитит их обоих. Какой-то миг она неподвижно стояла на пороге, но увидела, что его улыбка становится шире, словно он читал ее мысли и говорил, что ей нечего бояться. Услышала легкое потрескивание и увидела на столе рядом с ним освещенную шкалу молчащего радио. Посмотрела ему в глаза, словно вопрошая, и он ответил ей легким кивком: он слышал ее выступление.

Они одновременно двинулись друг к другу. Риарден схватил Дагни за плечи; ее лицо было запрокинуто, но губ ее он не коснулся, взял руку и стал целовать запястье, пальцы, ладонь — это была та самая встреча, которой он так мучительно ждал. Потом вдруг сломленная всеми событиями этого дня и минувшего месяца Дагни расплакалась в его объятьях, прижав-

шись к нему; плакала она, как никогда в жизни, как женщина, покоряющаяся страданию и в последний раз тщетно протестующая против него.

Риарден подвел Дагни к дивану и попытался усадить рядом с собой, но она сползла на пол, села у его ног, уткнулась лицом ему в колени и откровенно, беззащитно зарыдала.

Риарден не поднимал ее; он дал ей выплакаться, крепко держа в объятиях. Она чувствовала его ладони на голове, на плече, ощущала защиту его твердости, словно бы говорившей, что ему знакомо ее страдание, он чувствует его, понимает, однако способен воспринимать спокойно. И его спокойствие, казалось, облегчало ее бремя, даруя ей право быть слабой, здесь, у его ног; говорило, что он способен вынести то, что ей уже не под силу. Она смутно сознавала, что это настоящий Хэнк Риарден, и неважно, какую долю жестокости он некогда придал их первым проведенным вместе ночам, неважно, как часто она казалась сильнее его: это всегда было в нем, в самом корне их связи — это *его* сила, которая защитит ее, если только она лишится своей.

Когда Дагни подняла голову, Риарден улыбался ей.

— Хэнк… — виновато прошептала она, стыдясь

своей слабости.

— Успокойся, дорогая.

Дагни снова уткнулась лицом в его колени; она сидела неподвижно, ей хотелось покоя, хотелось отогнать гнетущую, не облаченную в слова мысль: он смог перенести, принять ее выступление по радио только как признание в любви к нему; это делало ту правду, которую она должна была теперь сказать, таким жестоким ударом, какой никто не вправе наносить. Она ощущала ужас при мысли, что ей не хватит сил это сделать, и при мысли, что хватит.

Когда она взглянула на него снова, он провел ладонью по ее лбу, убирая волосы с лица.

— Все кончено, дорогая, — сказал он. — Худшее для нас обоих уже позади.

— Нет, Хэнк.

Он снова улыбнулся. Усадил Дагни рядом, прижал ее голову к своему плечу.

— Не говори сейчас ничего. Сама знаешь, мы оба понимаем все, что нужно сказать, и поговорим об этом, но только когда разговор будет для тебя не таким мучительным.

Рука его двинулась вниз по ее рукаву, по складкам юбки, так легко, что, казалось, не ощущала плоти под одеждой, словно он обретал вновь

не ее тело, а только возможность его видеть.

— Ты перенесла слишком много, — сказал Риарден. — я тоже. Пусть они нас бьют. Нет смысла еще и нам ссориться между собой. С чем бы нам ни прошлось столкнуться, мы не доставим друг другу страданий. Не причиним боли. Пусть страдания исходят от мира. От нас они исходить не будут. Не бойся. Мы не станем мучить друг друга.

Дагни подняла голову, покачала ею с горькой улыбкой, но к ней уже вернулась решимость: твердая решимость довести этот разговор до конца.

— Хэнк, тот ад, через который я заставила тебя пройти в последний месяц… — прошептала она.

Ее голос дрожал.

— Это пустяк в сравнении с тем адом, через который я заставил тебя пройти в последний час.

Его голос звучал твердо.

Дагни встала и заходила по комнате, твердо ступая; глухой, бездушный звук ее шагов говорил так же ясно, как слова, что жалеть ее больше не надо. Когда она остановилась и повернулась к нему, он встал, словно бы понял, чего она хочет.

— Понимаю, что испортила тебе жизнь, — ска-

зала она, указав на радио.

Он покачал головой.

— Нет.

— Хэнк, я должна тебе кое-что сказать.

— И я тебе тоже. Позволишь начать мне? Видишь ли, сказать это нужно было давно. Будешь слушать, не отвечая, пока я не закончу?

Она кивнула.

Риарден посмотрел на нее, словно желая охватить взглядом и всю ее в эту минуту, и все то, что их к этой минуте привело.

— Я люблю тебя, Дагни, — негромко сказал он с простотой какого-то безоблачного, но невеселого счастья.

Она хотела
что-то сказать, но поняла, что не сможет, даже если он позволит ей, и сдержалась; единственным ее ответом было непроизвольное движение губ, потом она кивнула.

— Я люблю тебя. В той же мере, с той же гордостью, в том же смысле, как люблю свою работу, свои заводы, свой металл, свои часы, проведенные за рабочим столом, у домны, в лаборатории, на руднике; как люблю свою способность работать, как люблю видеть и понимать, как люблю сомнения разума, когда он решает химическое

уравнение, как восход солнца, как все, что я сделал, и все, что чувствовал, как свой выбор, как облик своего мира, как свое лучшее зеркало, как жену, которой ты не стала, как то, что делает возможным все остальное: свою способность жить.

Дагни не опустила лица, чтобы слушать и принимать открыто, как он того хотел и как того заслуживал.

— Я полюбил тебя в тот день, когда увидел впервые, на грузовой платформе на запасном пути станции Милфорд. Я любил тебя, когда мы вместе ехали в кабине первого тепловоза, шедшего по «*Линии Джона Голта*». Любил на веранде дома Эллиса Уайэтта. Любил на другое утро. Ты это знала. Но я должен был сказать это тебе, как говорю сейчас, чтобы восстановить все эти дни, чтобы они были для нас в полной мере теми же, что прежде. Я любил тебя. Ты это знала. Я нет. И поскольку не знал, мне пришлось понять это, когда я сидел за столом, глядя на дарственный сертификат, лишавший меня права на свой металл.

Дагни закрыла глаза. Но в его лице не было страдания, было только огромное и спокойное счастье откровенности.

— «Мы не отделяем ценностей разума от поступков наших тел». Ты сегодня сказала это в своем выступлении. Но ты знала это уже тогда, тем утром в доме Эллиса Уайэтта. Ты знала, что все оскорбления, какими я тебя осыпал, были самым полным признанием в любви, какое только может сделать человек. Ты знала, что физическое желание, которое я осуждал как наш общий позор, на самом деле было нефизическим, проявлением *не* телесности, а величайших ценностей разума, признаем мы это или нет. Вот почему ты смеялась надо мной, когда поняла, так ведь?

— Да, — прошептала она.

— Ты сказала: «Мне не нужны твой разум, твоя воля, твоя сущность, твоя душа, лишь бы ты приходил ко мне для удовлетворения самого низменного из твоих желаний». Знаешь, когда ты это произнесла, я отдал тебе свой разум, волю, сущность, душу… и хочу сказать, что мой разум, воля, сущность, душа принадлежат тебе, Дагни, пока я живу на свете.

Риарден смотрел прямо на нее, и Дагни увидела блеснувшую в его глазах искру: то была не улыбка, а словно ответ на тот вскрик, которого она не издала.

— Дай мне закончить, дорогая. Я хочу, чтобы ты знала, как полно я понимаю то, что говорю… Я, считавший, что сражаюсь с нашими врагами, принял худшее из их убеждений. И с тех пор расплачиваюсь за это, как и должно быть. Я принял тот догмат, которым они уничтожают человека раньше, чем он начал жить, убийственный догмат: разрыв между душой и телом. Принял, как и большинство их жертв, не сознавая этого, не сознавая даже, что этот вопрос существует. Я бунтовал против их убеждения в человеческой слабости и гордился своей способностью думать, действовать, работать для удовлетворения моих желаний. Но не знал, что это — добродетель, не видел в этом моральной ценности, высшей моральной ценности, которую нужно защищать больше жизни, потому что именно она делает жизнь возможной. И принял за это наказание, наказание за добродетель от рук надменного зла, ставшего надменным только из-за моего невежества и моей покорности.

Я принял от них оскорбления, жульничество, вымогательство. Думал, что смогу позволить себе не замечать их — всех этих бессильных мистиков, которые болтают о душе и не способны построить крыши над головой. Думал, что мир

принадлежит мне, и что их лепечущее бессилие не представляет угрозы моей силе. Не мог понять, почему проигрываю все битвы. Я тогда не понимал, что сила, обращенная против меня, была моей собственной. Покоряя материю, я отдал им царство разума, мысли, принципов, закона, ценностей, морали. Принял бездумно и ошибочно догмат, что идеи не оказывают воздействия на твою жизнь, работу, реальность, мир, что идеи — это сфера не разума, а той мистической веры, которую я презирал. Это была единственная уступка, какая им от меня требовалась. Ее оказалось достаточно. Я отдал им то, на извращение и уничтожение чего направлено их трескучее краснобайство: разум. Да, они были неспособны иметь дело с материей, создавать изобилие, управлять миром. Им это и не нужно было. Они управляли мной.

Я, знавший, что богатство — лишь средство для достижения цели, создавал это средство и позволял им указывать мне цели. Я, гордившийся способностью добиваться удовлетворения своих желаний, позволял им создавать кодекс ценностей, по которому определял свои желания. Я, формировавший материю, чтобы она служила моим намерениям, остался с грудой стали

и золота, но все мои намерения были загублены, все желания преданы, все попытки добиться счастья сорваны.

Я разрывался надвое, как проповедовали мистики, вел дела по одному своду правил, а жизнь — по другому. Бунтовал против попыток грабителей определять цену и ценность моей стали, но позволял им устанавливать моральные ценности моей жизни. Бунтовал против незаработанного богатства, но считал своим долгом дарить незаслуженную любовь жене, которую презирал, незаслуженное уважение — матери, которая меня ненавидела, незаслуженную поддержку — брату, который строил планы моего разорения. Бунтовал против несправедливых финансовых поборов, но принимал жизнь, полную ненужных страданий. Бунтовал против взгляда, что моя способность продуктивно трудиться — не что иное, как вина, но принимал как вину свою способность быть счастливым. Бунтовал против догмата, что добродетель — это некое непознаваемое свойство духа, но осуждал тебя, моя дорогая, за желания твоей и моей плоти. Но если плоть — зло, значит, зло — и те, кто производят средства для ее существования, значит, зло — материальное богатство, и те, кто создают

его: и если моральные ценности входят в противоречие с нашим физическим существованием, тогда справедливо, что вознаграждение не должно быть заработано, что добродетель должна представлять собой несозданное, что не должно быть связи между достижениями и доходами, что низшие существа, способные производить, должны служить высшим, духовное превосходство которых заключается в их телесной неспособности.

Если б кто-нибудь, вроде Хью Экстона, два года назад сказал мне, что, принимая теорию секса мистиков, я принимаю теорию экономики грабителей, я бы рассмеялся ему в лицо. Теперь уже я этого не сделал бы. Я вижу, что компанией *«Риарден Стил»* управляют подонки, вижу, что достижения всей моей жизни служат обогащению моих злейших врагов, а что до тех двоих, которых действительно любил, то одному я нанес смертельное оскорбление, а другой принес публичный позор. Я дал пощечину человеку, который был моим другом, защитником, учителем, человеком, который освободил меня тем, что помог усвоить то, что я усвоил. Дагни, он был мне братом, сыном, другом, которого я никогда не имел, но выбросил из своей жизни, потому что

он не помогал мне вести производство для грабителей. Я отдал бы что угодно ради того, чтобы его вернуть, но мне нечего предложить в виде платы, и я больше никогда его не увижу, потому что знаю, что никак не могу заслужить даже права просить прощения.

А то, что я сделал с тобой, моя дорогая, еще хуже. Твоя речь и необходимость произнести ее — вот что навлек я на единственную женщину, которую любил, в отплату за единственное счастье, какое познал. Не говори, что это с самого начала был твой выбор и ты приняла все последствия, включая сегодняшнее, это не оправдывает того, что я не смог предложить тебе ничего лучшего. И то, что грабители заставили тебя говорить, что ты говорила для того, чтобы отомстить за меня и освободить меня, не оправдывает того, что я сделал подобное возможным. Это не свои взгляды на грех и бесчестие они смогли использовать, чтобы опозорить тебя, — мои. Они просто довели до конца то, во что я верил, что говорил в доме Эллиса Уайэтта. Это я скрывал нашу любовь, как постыдную тайну, — они лишь рассматривали ее с моей точки зрения. Я был готов искажать картину реальности ради видимости в их глазах — они лишь воспользовались

тем правом, какое я предоставил им.

Люди думают, что лжец одерживает верх над своей жертвой. Я понял, что ложь — это акт самоотречения, потому что человек уступает свою реальность тому, кому лжет, делает его своим господином, обрекает себя и дальше искажать ту реальность, какую требуют искажать чужие взгляды. И если человек достигает ближайшей цели ложью, он расплачивается за это разрушением того, чему должно было служить это достижение. Человек, который лжет миру, навсегда становится его рабом. Когда я решил скрывать свою любовь к тебе, отрекаться от нее при людях, жить ею по лжи, я сделал ее общественной собственностью. И общество потребовало ее себе. У меня не было возможности предотвратить это, спасти тебя. Когда я сдался грабителям, когда подписал дарственную, чтобы защитить тебя, я по-прежнему искажал картину реальности, другого пути у меня не оставалось, и, Дагни, я предпочел бы, чтобы мы оба погибли, чем позволить им осуществить свою угрозу. Но не существует невинной лжи, есть только чернота крушений, и невинная ложь — самая черная из них. Я все еще искажал картину реальности, что привело к неизбежному результату:

вместо защиты это навлекло на тебя жуткое испытание — вместо того, чтобы спасти твое имя, я вынудил тебя выйти на публичное побивание камнями и бросал эти камни собственными руками. Я знаю, ты гордилась тем, что говорила, и я гордился, слушая тебя, но это была та гордость, какую нам следовало постичь два года назад.

Нет, ты не испортила мне жизнь, ты меня освободила, ты спасла нас обоих, искупила наше прошлое. Я не могу просить у тебя прощения — это не тот случай, и единственное утешение, какое могу предложить, — то, что я счастлив. Счастлив, дорогая моя, а не страдаю. Счастлив, что увидел истину, хотя у меня и не осталось больше ничего, кроме способности видеть. Если бы я предался тщетным сожалениям о том, что моя ошибка разрушила мое прошлое, это было бы величайшей изменой, полнейшим банкротством перед этой истиной. Но если любовь к истине осталась моим последним достоянием, тогда чем больше я утратил, тем больше могу гордиться ценой, заплаченной за такую любовь. Тогда обломки прошлого станут не погребальным холмом надо мной, а вершиной, на которую я взобрался, чтобы обрести более широкий обзор. Гордость и способность видеть — вот и все,

чем обладал я, когда начинал, и все, чего добился, я добился благодаря им. Теперь и то и другое стало сильнее. Теперь у меня есть осознание высшей ценности, которого мне недоставало: права гордиться своим ви́дением мира. Достичь всего прочего я смогу.

И мой первый шаг в будущее, Дагни, — это признание, что я люблю тебя. Я люблю тебя, дорогая, со всей слепой страстью тела, исходящей из самых глубин просветленного разума, и моя любовь — единственное достижение, остающееся мне от прошлого, неизменное на все грядущие годы. Я хотел сказать тебе это, пока имею право. И поскольку я не сказал этого в начале наших отношений, вынужден говорить в конце. А теперь я скажу тебе то, что хотела сказать мне ты, — видишь ли, я понял и принял это: за этот месяц ты встретила мужчину, которого полюбила, и если любовь означает окончательный, незыблемый выбор, то и он единственный, кого ты в жизни действительно любила.

— Да! — ее возглас звучал, как потрясение, как удар. — Хэнк! Как ты понял это?

Риарден улыбнулся и указал на радио:

— Дорогая моя, ты употребляла только прошедшее время.

— О!..

Теперь голос ее звучал то ли вопросом, то ли стоном; она закрыла глаза.

— Ты не произнесла единственного слова, которое могла по праву бросить им, если б дело обстояло иначе. Ты сказала: «Я хотела его», а не «Я люблю его». Ты сказала сегодня по телефону, что могла вернуться раньше. Никакая другая причина не заставила бы тебя задержаться. Только эта может быть обоснованной и оправданной.

Дагни чуть покачнулась, сохраняя равновесие, однако смотрела на Риардена прямо, с улыбкой, с восхищением в глазах и болью в тонкой линии плотно сжатых губ.

— Это так. Я встретила мужчину, которого люблю и буду любить всегда; я видела его, говорила с ним, но моим он не стал, возможно, никогда не станет, и, наверное, я его никогда больше не увижу.

— Думаю, я всегда знал, что ты найдешь его. Я знал, какие чувства ты питала ко мне, знал, насколько они сильны, но понимал, что это не окончательный твой выбор. То, что ты дашь ему, не отнято у меня, потому что я никогда этого не имел. Восставать против этого я не могу. То, что я имел, для меня очень много значит,

а того, что я имел, изменить нельзя.

— Хэнк, хочешь, чтобы я сказала правду? Поймешь, если скажу, что всегда буду любить тебя?

— Дагни, я понял это раньше, чем ты.

— Я всегда видела тебя таким, какой ты сейчас. Видела твое величие, которое ты только-только начинаешь осознавать. Не говори об искуплении — ты не причинил мне боли, твои ошибки исходили из безупречной честности под пыткой невозможного морального кодекса. И твоя борьба против него не принесла мне страданий, она принесла мне чувство, которое я считаю очень редким для себя: восхищение. Если ты его примешь, оно будет непреходящим. То, что ты значил для меня, не может быть изменено. Однако мужчина, которого я встретила, — это та любовь, какую я хотела найти задолго до того, как узнала о его существовании, и думаю, он останется недосягаемым для меня, но того, что я его люблю, будет достаточно, чтобы поддерживать во мне жизнь.

Риарден взял ее руку и прижал к губам.

— Тогда ты понимаешь, что испытываю я, и почему все-таки счастлив.

Глядя ему в лицо, Дагни впервые осознала, кем он всегда был в ее глазах: человеком с неис-

сякаемой способностью радоваться жизни. Напряженность стоически переносимых бед исчезла; теперь, в самый тяжелый час, лицо Риардена обрело безмятежность чистой силы — на нем было то же выражение, какое оно видела у людей в долине.

— Хэнк, — прошептала она, — я не смогу этого объяснить, но у меня такое чувство, что я не изменила ни ему, ни тебе.

— Это так.

Глаза ее казались необычайно яркими на побледневшем лице, словно в сломленном усталостью теле дух оставался бодрым. Риарден усадил Дагни и положил руку на спинку дивана, не касаясь ее и все-таки словно защищая своим полуобъятием.

— Теперь скажи, *где* ты была?

— Не могу. Я дала слово никому ничего не говорить об этом. Могу сказать только, что обнаружила это место случайно, когда мой самолет разбился, покинула его с повязкой на глазах и не смогу найти снова.

— Не хочешь проследить по памяти свой путь туда?

— Не стану и пытаться.

— А этот мужчина?

— Я не буду его искать.

— Он остался там?

— Не знаю.

— Почему ты покинула его?

— Не могу сказать тебе.

— Кто он такой?

У нее невольно вырвался смешок:

— Кто такой Джон Голт?

Риарден удивленно посмотрел на нее, он понял, что она не шутит.

— Значит, Джон Голт существует? — задумчиво проговорил он.

— Да.

— В этой избитой фразе имеется в виду он?

— Да.

— И у нее есть какое-то особое значение?

— Да!.. Могу сказать тебе о нем одну вещь, которую узнала раньше, чем дала слово молчать: он — изобретатель того двигателя, который мы нашли.

— О! — Риарден улыбнулся так, словно должен был это знать. Потом негромко спросил, глядя на Дагни почти сочувственно: — Он и есть тот разрушитель, не так ли? — увидел в ее глазах возмущение и добавил: — Нет, не отвечай, раз не можешь. Думаю, ты знаешь, что делаешь.

Ты хотела спасти от разрушителя Квентина Дэниелса и летела за ним, когда твой самолет разбился, так ведь?

— Да.

— Господи, Дагни, неужели такое место действительно существует? Они все живы? Там ли… Извини. Не отвечай.

Дагни улыбнулась:

— Оно существует.

Риарден долгое время сидел молча.

— Хэнк, ты мог бы оставить *«Риарден Стил»*?

— Нет! — ответ был незамедлительным, но Риарден добавил с первой ноткой безнадежности в голосе: — Пока что…

Потом посмотрел на нее так, словно, произнося эти три слова, пережил все ее страдания за последний месяц.

— Понятно, — он провел рукой по ее лбу и сочувственно улыбнулся: — Какой же ад, должно быть, разверзся в твоей душе! — негромко произнес он.

Дагни кивнула. И легла, положив голову ему на колени. Риарден гладил ее волосы и говорил:

— Будем сражаться с грабителями, сколько сможем. Не знаю, каким именно будет наше будущее, но мы либо победим, либо поймем, что это

невозможно. Пока этого не случится, будем воевать за наш мир. Мы всё, что от него осталось.

Дагни заснула, держа его за руку. Последнее, что она чувствовала, было ощущение бездонной пустоты, пустоты города и мира, где она никогда не сможет найти человека, искать которого не имеет права.

ГЛАВА IV. АНТИЖИЗНЬ

Джеймс Таггерт полез в карман смокинга, вынул первую попавшуюся бумажку, оказавшуюся стодолларовой банкнотой, и положил в руку нищего. Он отметил, что нищий сунул деньги в карман с совершенно равнодушным видом, впрочем, точно таким же, какой был у него самого.

— Спасибо, приятель, — небрежно бросил побирушка и побрел прочь.

Джеймс Таггерт застыл посреди тротуара, недоумевая, что его так потрясло. Не наглость этого человека — он не искал никакой благодарности, подал деньги не из жалости: жест был механическим, привычным и бесцельным. Дело заключалось в том, что нищему явно было безразлично, получит он сто долларов или десять центов, или, не получив вообще ничего, умрет той же ночью от голода. Таггерт содрогнулся и быстро пошел прочь; шок отогнал ужас того, что настроение нищего было под стать его собственному.

Контуры домов резко очерчивала неестественная ясность летних сумерек; каналы заполняла

оранжевая дымка, она же туманила верхние ярусы крыш. Календарь в небе упорно держался вне этой дымки — желтый, как страница старого пергамента, гласивший: «5 августа». «Нет, — подумал Таггерт в ответ на мрачные мысли, — это неправда, у меня хорошо на душе, потому я и хочу что-нибудь предпринять». Он не мог признаться себе, что непривычное для него беспокойство проистекает от желания отвлечься, развеяться; не мог признаться, что подобное удовольствие должно быть весельем, праздником, так как не знал, что собирается праздновать.

День выдался напряженным, он был истрачен на слова, изменчивые и неопределенные, как вата, однако благодаря им с точностью счетной машины была достигнута цель, подведен именно тот баланс, на который он рассчитывал. Но эту цель и ее причины приходилось таить от себя так же тщательно, как от других, и его внезапная жажда веселья была опасным нарушением.

День начался с завтрака в номере прибывшего с официальным визитом аргентинского парламентария; там несколько человек разных национальностей вели неторопливый разговор о климате Аргентины, ее почве, ресурсах, нуждах

народа, ценности ее динамичного, прогрессивного устремления к будущему и между делом упоминали, что через три недели Аргентина будет провозглашена народной республикой.

Затем было выпито несколько коктейлей на квартире Оррена Бойля. Там всего один скромный джентльмен из Аргентины молча сидел в углу, а двое чиновников из Вашингтона и несколько их друзей неизвестного общественного положения говорили о национальных ресурсах, металлургии, минералогии, соседских обязанностях и благоденствии земного шара и упомянули, что через три недели Народная республика Аргентина и Народная республика Чили получат заем в размере четырех миллиардов долларов.

Затем последовало небольшое застолье с коктейлями в отдельной комнате бара, построенного в виде погреба на крыше небоскреба — неофициальное застолье, которое он, Джеймс Таггерт, устроил для директоров недавно созданной компании *«Интернейборли Эмити энд Девелопмент Корпорейшн»*, президентом ее был Оррен Бойль, казначеем — стройный, элегантный, подвижный чилиец, звали его сеньор Марио Мартинес, но Таггерта тянуло по некоему ду-

ховному родству называть его «сеньор Каффи Мейгс». Здесь они говорили о гольфе, скачках, регатах, автомобилях и женщинах. Не было необходимости упоминать, поскольку все это знали, что *«Интернейборли Эмити энд Девелопмент Корпорейшн»* располагает эксклюзивными контрактами на двадцатилетнюю «аренду с правом управления» всех промышленных предприятий в народных республиках южного полушария.

Кульминацией дня явился большой прием в апартаментах сеньора Родриго Гонсалеса, дипломатического представителя Чили.

Год назад о сеньоре Гонсалесе никто не слышал, но он стал знаменитостью благодаря вечеринкам, которые устраивал в последние полгода, со времени приезда в Нью-Йорк. Гости называли его прогрессивным бизнесменом. Он лишился собственности, когда Чили, став народной республикой, национализировало всю собственность, кроме принадлежавшей таким отсталым, ненародным государствам, как Аргентина, но он занял просвещенную позицию, примкнул к новому режиму и посвятил себя служению своей стране. Его апартаменты в Нью-Йорке занимали целый этаж фешенебельного отеля.

У него было рыхлое пустое лицо и глаза убийцы.

Глядя на него во время приема, Таггерт решил, что этот человек недоступен никаким эмоциям, что нож может неощутимо пройти сквозь отвислые складки его плоти, однако было какое-то чувственное, почти сексуальное наслаждение в том, как он вытирал ноги о персидские ковры, похлопывал по полированному подлокотнику кресла и обнимал губами толстенную сигару. Его жена, сеньора Гонсалес, была маленькой, привлекательной женщиной, не такой красивой, как считала сама, но пользовалась репутацией красавицы, благодаря неистовому темпераменту и странной манере раскованного, пылкого, циничного самоутверждения, в котором словно бы содержалось обещание всего и прощение всех грехов. Все знали, что популярность ее у мужчин объяснялась влиятельностью мужа — важной доходной статьей, когда торгуешь не товарами, а связями. Наблюдая, как она общается с гостями, Таггерт забавлялся, представляя, какие сделки заключались, какие директивы инициировались, какие отрасли промышленности рушились в обмен на несколько бурных ночей, имевших весьма сомнительную ценность для большинства этих мужчин и недолго остававшихся в их памяти.

Вечеринка нагоняла на него скуку, там было

всего с полдюжины людей, ради которых он и появился, но необходимости разговаривать с ними не было — достаточно обменяться несколькими взглядами. Уже должны были вот-вот подать ужин, когда он услышал то, ради чего пришел: сеньор Гонсалес упомянул — дым его сигары вился над этой полудюжиной людей, придвинувшихся к его креслу, — что по соглашению с будущей Народной республикой Аргентина собственность компании *«Д'Анкония Коппер»* будет национализирована Народной республикой Чили меньше чем через месяц, второго сентября.

Все шло, как и ожидал Таггерт, но, услышав эти слова, он вдруг ощутил неодолимое желание уйти. Почувствовал, что не в силах выносить более скуку ужина, ему требовалась какая-то иная форма активности, чтобы отметить достигнутый этим вечером успех. Он вышел в летние сумерки улиц, чувствуя себя и преследователем, и преследуемым: преследователем удовольствия, которого ничто не могло ему дать, дабы отпраздновать успех, назвать который не смел, и преследуемый страхом разоблачения мотива, который привел его к планированию этого успеха, и определением, что конкретно придавало ему теперь это лихорадочное возбуждение.

Он напомнил себе, что нужно продать свои акции *«Д'Анкония Коппер»*, — спрос на них не оживлялся после краха компании в прошлом году — и, как договорился с друзьями, купить акции *«Интернейборли Эмити энд Девелопмент Корпорейшн»*, которые сделают ему состояние. Но эта мысль не принесла ничего, кроме скуки; отпраздновать он хотел бы что-нибудь другое.

Таггерт попытался заставить себя радоваться: деньги, подумал он, были моим мотивом, деньги никогда не помешают. Разве это не нормальный мотив? Не веский? Разве все они не стремятся к деньгам — Уайэтты, Риардены, Д'Анкония?.. И вскинул голову, чтобы встряхнуться: ему казалось, что его мысли заходят в опасный тупик, конца которого он не должен видеть.

«Нет, — уныло подумал он, — деньги для меня уже ничего не значат». Он швырял доллары сотнями на вечеринке, как и сегодня, — за недопитые напитки, несъеденные деликатесы, неожиданные капризы, за телефонный звонок в Аргентину, потому что один из гостей захотел узнать точную версию непристойной истории, которую начал рассказывать под влиянием минуты… за холодный ступор сознания, что платить легче, чем думать.

«При этом плане объединения железных дорог тебе не о чем беспокоиться», — пьяно хихикнул ему Оррен Бойль. *При этом плане* одна из местных железных дорог в Северной Дакоте обанкротилась, повергнув весь регион в депрессию, местный банкир покончил с собой, убив перед этим жену и детей; в Теннеси был отменен товарный поезд, из-за чего местный завод внезапно остался без транспорта, сын владельца этого завода бросил колледж и теперь ждал в тюрьме смертной казни за убийство, совершенное вместе с шайкой бандитов; в Канзасе была закрыта небольшая станция, и начальник ее, собиравшийся стать ученым, бросил все и стал мойщиком посуды, чтобы он, Джеймс Таггерт, мог сидеть в отдельной комнате бара и платить за виски, льющееся в горло Оррена Бойля; за то, что официант вытирал ему губкой пиджак, когда Оррен пролил виски на грудь, за ковер, прожженный сигарами бывшего сводника из Чили, который не трудился тянуться к находящейся всего в трех футах пепельнице.

Причиной ужаса, от которого он содрогался, было не просто безразличие к деньгам как таковое. Его пугало, что оно не пройдет, даже если он скатится до нищеты. Было время, когда он испы-

тывал какое-то чувство вины — в виде смутного раздражения — при мысли, что и он может быть уличен в грехе алчности, который не раз осуждал. Теперь пришло холодное осознание того, что, в сущности, он не был лицемером: он *действительно* никогда не стремился к деньгам. Они и так у него были. От рождения. Это открывало перед ним еще одну зияющую дыру, ведущую еще в один тупик, риск видеть который он также не мог себе позволить.

«Я просто хочу как-нибудь развеяться!» — беззвучно крикнул он в лицо некоей темной силе, протестуя против того, что делало эти мысли неотвязными, и в гневе против всего мироздания, где обитало какое-то злобное существо, не позволявшее ему найти развлечение без необходимости знать, *чего* он хочет и *почему*.

«Чего же ты хочешь?» — снова и снова спрашивал его какой-то враждебный голос, и Таггерт шел все быстрее, пытаясь уйти от него. Ему казалось, что его мозг представляет собой лабиринт, где на каждом повороте открывается тупик, ведущий в туман, скрывающий бездну. Казалось, он бежит, а маленький островок безопасности все уменьшается, и вскоре не останется ничего, кроме этих тупиков. Островок представлялся

остатком света, а оранжевая дымка, клубясь, заполняла все выходы. «Почему он уменьшается?» — в панике подумал Таггерт. Вот так он и прожил всю жизнь — с упорством труса глядя на тротуар перед собой, искусно избегая зрелища дороги, углов, далей, вершин. Никогда не собирался никуда идти, хотел быть свободным от малейших усилий, от неуклонности прямого пути, не хотел, чтобы его годы складывались в какую-то сумму… Но что сложило их? Почему он достиг какой-то нелепой точки, где уже нельзя остановиться или отступить?

— Смотри, куда прешь, приятель! — прорычал чей-то голос, чей-то локоть оттолкнул его, и Таггерт понял, что бежал и столкнулся с каким-то дурно пахнущим здоровяком. Замедлил шаг и заставил себя узнать улицы, выбранные для непродуманного бегства. Он не хотел понимать, что направлялся домой, к жене. Этот путь тоже представлял собой затянутый туманом тупик, но другого у него просто не было.

Таггерт понял, как только увидел молчаливую, спокойную Черрил, поднявшуюся ему навстречу, что жена даже опаснее, чем он думал, и ему не найти того, что он хотел. Но опасность всегда была для него сигналом закрыть на нее глаза,

повременить с суждением и следовать прежним курсом исходя из нерушимой уверенности, что эта опасность будет оставаться для него нереальной благодаря высшей силе его желания не видеть ее, она походила на некий внутренний *туманный* горн, трубящий не предостережение, а требование тумана.

— Знаешь, я должен был пойти на важный деловой банкет, но передумал, решил поужинать с тобой, — сказал Джеймс таким тоном, словно делал комплимент, но в ответ услышал только спокойное:

— Ясно.

Его раздражала ее бесстрастность, ее бледное, скрытное лицо. Раздражали и размеренная, взвешенная четкость, с какой она отдавала распоряжения слугам, и даже само ее присутствие в этой освещенной свечами столовой за превосходно накрытым столом с двумя хрустальными чашами фруктов и серебряными вазами со льдом.

Но больше всего Джеймса раздражала ее манера держаться; Черрил была уже не простушкой, неуместно выглядящей среди роскоши дома, спроектированного знаменитым художником; теперь она вполне с ней гармонировала. Сидела за столом с видом хозяйки, достойной этой

столовой. На ней был шитый на заказ халат из желтовато-коричневой парчи, прекрасно сочетавшейся с бронзой ее волос, и никаких украшений. Джеймс предпочел бы позвякивающие браслеты и хрустальные пряжки из ее прошлого. Глаза Черрил вызывали у него беспокойство уже нескольких последних месяцев: они смотрели не дружелюбно и не враждебно, а пристально и вопрошающе.

— Я заключил сегодня крупную сделку, — сказал Джеймс, тон его был отчасти хвастливым, отчасти вкрадчивым, — охватывающую весь континент и полдюжины правительств.

И понял, что благоговение, восхищение, пылкое любопытство, которых он ожидал, были присущи лишь той маленькой продавщице, что навсегда осталась в прошлом. Он не видел и следа этих чувств в лице жены; даже гнев или ненависть были бы предпочтительнее ее спокойного, внимательного взгляда; взгляд не обвинял — хуже, он *спрашивал*.

— Какую сделку, Джим?

— Это что такое? Почему ты становишься подозрительной? Почему сразу начинаешь допытываться?

— Извини. Я не знала, что сделка секретная.

Можешь не отвечать.

— Она не секретная, — Джеймс подождал, но Черрил не произносила ни слова. — Ну? Что-нибудь скажешь?

— Нет.

Она сказала это простодушно, словно желая ему угодить.

— Значит, тебе совсем неинтересно?

— Но мне показалось, ты не хочешь говорить о ней.

— Да перестань ты юлить! — разозлился он. — Это крупная сделка. Ты ведь восхищаешься крупными делами, верно? Так вот, эта сделка крупнее всех, о каких эти ребята только мечтали. Они всю жизнь копили состояния цент за центом, а я могу разбогатеть вот так! — он щелкнул пальцами: — Вот так. Никто не совершал более удачного трюка.

— Трюка, Джим?

— Сделки!

— И ты заключил ее? Сам?

— Можешь не сомневаться! Этот толстый болван Оррен Бойль не смог бы провернуть такую и за миллион лет. Тут потребовалось знание, мастерство, умение выбрать нужный момент, — он заметил в ее глазах искру интере-

са, — и психология.

Искра исчезла, но Джеймс, не обращая на это внимания, продолжал:

— Нужно знать, как подойти к Уэсли, как оградить его от дурных влияний, как заинтересовать мистера Томпсона, не раскрывая ему лишнего, как вовлечь Чика Моррисона, но оставить в стороне Тинки Холлоуэя, как заставить нужных людей устроить для Уэсли несколько застолий в нужное время и… Послушай, Черрил, в доме есть шампанское?

— Шампанское?

— Можем же мы себе что-нибудь позволить? Устроить праздник вдвоем?

— Да, Джим, конечно, можем выпить шампанского.

Черрил позвонила и отдала распоряжения в своей обычной, безжизненной манере.

— На тебя это, как будто, особого впечатления не произвело, — заметил Джеймс. — Хотя, что ты смыслишь в делах? Ты ничего не способна понять в сделках такого масштаба. Подожди до второго сентября. До тех пор, когда они узнают о ней.

— Они? Кто?

Джеймс взглянул на нее так, словно невольно сболтнул лишнее.

— Мы создали план, по которому я, Оррен и еще несколько друзей будем контролировать всю промышленную собственность к югу от границы.

— Чью собственность?

— Как это чью… народную. Это не прежняя борьба за личную выгоду. Это сделка с предназначением — достойным, проникнутым заботой о благе общества — управлять национализированной собственностью различных народных республик Южной Америки, обучать их рабочих нашим современным технологиям, помогать неимущим, никогда не имевшим шанса… — Джеймс резко умолк, хотя Черрил лишь неотрывно смотрела на него. — Знаешь, — неожиданно произнес он с холодным смешком, — если тебе так уж хочется скрыть, что ты вышла из трущоб, не надо быть столь равнодушной к философии общего благосостояния. Гуманистических побуждений нет только у бедных. Нужно родиться в богатстве, чтобы понимать утонченное чувство альтруизма.

— Я никогда не пыталась скрыть, что вышла из трущоб, — покачала головой Черрил, — и не одобряю этой философии. Я уже вдоволь наслушалась всяких рассуждений и понимаю, откуда берутся бедняки, желающие получать

что-то даром.

Джеймс не ответил, и Черрил внезапно добавила, голос ее звучал твердо, будто окончательно разрешая давнее сомнение:

— Джим, а ведь и тебе наплевать на эту философию. На эту чушь о всеобщем благосостоянии.

— Ну что ж, — отрывисто бросил он, — если тебя интересуют только деньги, позволь сказать, что эта сделка принесет мне состояние. Ты всегда восхищалась богатством, разве нет?

— Как сказать.

— Думаю, я стану одним из самых богатых людей в мире, — сказал Джеймс, — и смогу позволить себе все. Все что угодно. Только скажи, чего ты хочешь. Я могу дать тебе все, что пожелаешь. Ну, говори.

— Джим, я ничего не хочу.

— Но я хочу сделать тебе подарок! Отпраздновать это событие, понимаешь? Проси, что только придет в голову. Что угодно. Я могу это купить. Хочу показать тебе, что могу. Исполню любую твою прихоть.

— У меня нет никаких прихотей.

— Оставь! Хочешь яхту?

— Нет.

— Хочешь, куплю тебе весь тот квартал в Буф-

фало, где ты жила?

— Нет.

— Хочешь королевские драгоценности Народной республики Англия? Знаешь, их можно купить. Эта народная республика давно хочет продать их на черном рынке. Только старых магнатов, способных купить их, не осталось. Я могу себе это позволить — вернее, смогу после второго сентября. Хочешь?

— Нет.

— Тогда чего хочешь?

— Джим, я ничего не хочу.

— Но ты должна! Должна чего-то хотеть, черт возьми!

Черрил посмотрела на него чуть испуганно, но равнодушие не покинуло ее лица.

— Ну ладно. Извини, — казалось, Джеймс и сам был не рад своей вспышке. — Я просто хотел доставить тебе удовольствие, — угрюмо добавил он, — но, видимо, ты совершенно не способна это понять. Ты не знаешь, как это важно. Не знаешь, за какого влиятельного человека вышла замуж.

— Я стараюсь понять, — неторопливо произнесла Черрил.

— Ты по-прежнему считаешь Хэнка Риардена великим человеком?

— Да, Джим. По-прежнему.

— Так вот, я превзошел его. Я значу больше, чем любой из них, чем Риарден и другой любовник моей сестры, который…

Он смущенно умолк, словно зашел слишком далеко.

— Джим, — спокойно спросила Черрил, — что произойдет второго сентября?

Он холодно взглянул на нее исподлобья, затем на лице его появилась кривая улыбка, словно циничное нарушение какого-то священного правила.

— Будет национализирована компания *«Д'Анкония Коппер»*.

Джеймс услышал рев пролетевшего в темноте самолета, затем тонкое звяканье подтаявшей льдинки в вазе с фруктами, потом голос жены:

— Он был твоим другом, так ведь?

— Да оставь ты!

Джеймс долго молчал, не глядя на Черрил. Когда снова посмотрел на нее, она по-прежнему наблюдала за ним; она заговорила первой, голос ее был непривычно суровым:

— То, что сказала твоя сестра по радио, было великолепно.

— Да, знаю, знаю, ты об этом твердишь уже

целый месяц.

— Ты ни разу мне не ответил.

— Что тут отве…

— И твои вашингтонские друзья не ответили ей. Не опровергли того, что она говорила, не объяснили, не попытались оправдаться. Ведут себя так, словно ничего не случилось. Видимо, надеются, что люди забудут. Кто-нибудь, конечно, забудет. Но мы, остальные, понимаем, *что* она сказала и что твои друзья ее попросту боятся.

— Это неправда! Были приняты нужные меры, тот инцидент исчерпан, и я не понимаю, почему ты все время поднимаешь эту тему.

— Какие меры?

— Бертрама Скаддера сняли с эфира, потому что его программа в настоящее время не в интересах общества.

— И *это* ответ твоей сестре?

— Это закрывает вопрос, и говорить тут больше нечего.

— Нечего говорить о правительстве, которое действует с помощью шантажа и вымогательств?

— Нельзя сказать, что ничего не сделано. Было объявлено во всеуслышание, что программа Скаддера подрывная, пагубная и не заслуживает

доверия.

— Джим, я хочу понять вот что. Скаддер был не на ее стороне, на вашей. Он даже не устраивал эту передачу. Он действовал по указке из Вашингтона, так ведь?

— Я думал, Бертрам Скаддер тебе не нравился.

— Не нравился и не нравится, но…

— Тогда чего беспокоишься?

— Но он не виновен перед твоими друзьями, так ведь?

— Лучше б ты не совалась в политику. Рассуждаешь, как дура.

— Он не виновен, так ведь?

— Ну и что?

Черрил посмотрела на Джима, удивленно расширив глаза:

— Тогда его просто сделали козлом отпущения, разве нет?

— Да перестань ты походить на Эдди Уиллерса!

— Я похожу на него? Эдди Уиллерс мне нравится. Он честный.

— Он полудурок, понятия не имеющий, как жить в практической реальности!

— А ты знаешь, Джим?

— Еще бы!

— Тогда не мог бы ты помочь Скаддеру?

— Я?! — он гневно, беспомощно рассмеялся. — Почему ты никак не повзрослеешь? Я из кожи вон лез, добиваясь, чтобы в жертву принесли Скаддера! Кто-то же должен был стать жертвой! Неужели ты не понимаешь, что отыгрались бы на мне, если б не нашелся другой?

— На тебе? Почему не на Дагни, если она так не права? Потому что сказала правду?

— Дагни — совсем другое дело! Жертвой должны были стать или я, или Скаддер…

— Почему?

— …И для государственной политики гораздо лучше, что это Скаддер. Теперь нет необходимости обсуждать то, что она сказала, а если кто-то поднимет эту тему, мы завопим, что это было сказано в программе Скаддера, а программа дискредитирована, Скаддер — явный мошенник и лжец, и так далее, и так далее, и думаешь, общество станет разбираться, кто прав, кто виноват? Ему все равно никто не верил. Да не смотри ты так! По-твоему, лучше бы меня оставили за бортом?

— А почему не Дагни? Потому что ее речь невозможно опровергнуть?

— Если тебе так жаль Бертрама Скаддера, то ви-

дела бы ты, как он старался, чтобы на заклание отдали меня! Он занимался этим уже давно, как, думаешь, он добился своего положения? Поднялся туда по трупам! И считал себя очень могущественным, видела бы ты, как боялись его крупные магнаты! Но на сей раз он перехитрил сам себя. На сей раз поставил не на ту лошадку. Не в той фракции оказался.

Развалясь в кресле и улыбаясь сквозь флер приятной расслабленности, Джеймс начал понимать, что хотел именно этого удовольствия: быть собой. «Быть собой», — подумал он, минуя тем самым свой самый опасный тупик, тот, что вел к вопросу «А кто ты такой?».

— Видишь ли, он принадлежал к фракции Тинки Холлоуэя. Какое-то время шла ожесточенная борьба между фракциями Тинки и Чика Моррисона. Но мы одержали верх. Тинки согласился пожертвовать своим дружком Бертрамом в обмен на кое-какие услуги с нашей стороны. Слышала бы ты, как вопил Бертрам Скаддер! Но он был конченым человеком и понимал это.

Джеймс заливисто рассмеялся, но подавился смехом, когда дымка блаженства рассеялась, и он увидел лицо жены.

— Джим, — прошептала она, — это вот такие…

победы ты одерживаешь?

— Черт возьми! — вскричал он, ударив кулаком по столу. — Где ты была все эти годы? Понимаешь хоть, в каком мире живешь?

От удара его стакан опрокинулся, и вода стала растекаться темными пятнами по кружеву скатерти.

— Стараюсь понять, — прошептала Черрил. Плечи ее ссутулились, лицо внезапно стало изнуренным, постаревшим, измученным, растерянным…

— Я не мог ничего поделать! — чуть ли не всхлипнул растерявшийся Джеймс. — Меня нельзя винить! Приходится принимать жизнь такой, какова она есть! Не я создал этот мир!

Улыбка Черрил потрясла его до глубины души. В ней было такое жгучее презрение, что она казалась чужой на ее всегда мягком, терпеливом лице; она смотрела не на него, а на какой-то мерзкий призрак из прошлого.

— Так говорил мой отец, когда напивался в баре на углу вместо того, чтобы искать работу.

— Как ты смеешь сравнивать меня с… — начал было Джеймс, но не договорил, потому что она не слушала.

Она снова взглянула на мужа, а когда загово-

рила, ее слова показались ему полной бессмыслицей:

— Эта дата национализации, второе сентября… — как-то отстраненно произнесла она, — ее выбрал ты?

— Нет, я тут ни при чем. Это дата какой-то особой сессии их законодательного органа. А что?

— Это дата нашей свадьбы. Годовщина.

— Ну? Ах да-да, конечно!.. — Джеймс улыбнулся: разговор, похоже, перешел на безопасную почву. — Да, нам исполнится целый год. Надо же, я и не думал, что мы вместе уже так долго.

— Кажется, гораздо дольше, — безо всякого выражения сказала она.

Черрил снова отвернулась, и он с внезапным беспокойством понял, что эта почва вовсе не безопасна; ему не хотелось, чтобы жена выглядела так, будто вспоминает весь этот прожитый вместе год — каждый день, каждый час, каждую минуту.

«Не бояться, а узнавать, — подумала Черрил, — надо не бояться, а узнавать…»

Это была часть фразы, которую Черрил твердила себе так часто, что она превратилась почти в заклинание, служившее ей опорой на протяжении прошедшего года. «Если не знаешь, надо

не бояться, а узнавать...» Она впервые произнесла эти слова в опустошающем одиночестве первых недель замужества. Она не понимала поведения Джима, его постоянного раздражения, сильно напоминавшего слабость уклончивых, невнятных ответов, отдававших трусостью; всего этого просто не могло быть у того Джеймса Таггерта, за которого она выходила замуж. Она говорила себе, что не имеет права судить его, что ничего не знает о его мире, и из-за своего невежества неверно толкует его поведение и поступки. Она во всем винила только себя, мучилась, но упрекала в этом только себя, хотя в ней уже прорастало убеждение, что в ее жизни что-то неладно, и она уже начинала бояться.

«Я должна знать все, что положено знать миссис Джеймс Таггерт, и быть такой, какой ей положено быть», — объяснила она свою цель преподавателю этикета. И принялась учиться с рвением, дисциплиной и упорством новообращенной. Это единственный путь, думала она, достичь высоты, которую муж предоставил ей в кредит, возвыситься до его представления о ней, исполнить свой долг. И, не желая признаваться себе в этом, надеялась, что в итоге своих долгих трудов вновь вернет свое представление

о нем, вернет того человека, которого видела в день их знакомства.

Она не смогла понять реакции Джима, когда рассказала ему о своих успехах. Он рассмеялся; она ушам своим не поверила. В его смехе звучало злобное презрение. «Почему, Джим? Почему? Над чем ты смеешься?» Он не пожелал ничего объяснять — словно этого смеха было вполне достаточно, и все слова просто излишни.

У нее не было повода заподозрить его в желании унизить: он с великодушным терпением относился к ее ошибкам. Казалось, стремился показывать ее в лучших гостиных города и ни разу не упрекнул за невежество, неуклюжесть, за те жуткие минуты, когда безмолвное переглядывание гостей и прилив крови к щекам говорили ей, что она опять ляпнула что-то не то. Джим не казался смущенным, просто смотрел на нее с легкой улыбкой. Когда они возвращались домой после одного из таких вечеров, он был ласков, старался ее ободрить. Она подумала, что Джим старается помочь ей, и из чувства благодарности стала заниматься еще усерднее. Черрил ждала вознаграждения за труды в тот вечер, когда произошла какая-то неуловимая перемена, и она вдруг обнаружила, что вечеринка доставляет

ей удовольствие. Почувствовала возможность вести себя не по правилам, а так, как хочется, с полной уверенностью, что правила перешли в естественные манеры — она знала, что привлекает к себе внимание, но тут оно впервые стало не насмешливым, а восхищенным — ее общества искали из-за ее достоинств, она была, наконец, *миссис Таггерт*, а не просто объектом снисходительных гримасок, которые она терпела только ради Джима. Она весело смеялась, видела ответные одобрительные улыбки на лицах окружающих и бросала на него взгляды радостно, будто ребенок, показывающий табель с отличными отметками, прося его гордиться ею. Джим сидел в углу, и глаза его были непроницаемыми.

По пути домой он с ней не разговаривал.

— Не пойму, зачем таскаюсь на эти вечеринки, — вдруг резко произнес он, срывая с себя галстук посреди их гостиной. — Никогда еще не тяготился таким вульгарным, скучным спектаклем!

— Почему, Джим? — ошеломленно спросила она. — Мне вечеринка показалась замечательной.

— Тебе? Не сомневаюсь! Ты выглядела совершенно в своей тарелке — будто на Кони-Ай-

ленде[3]. Хоть бы научилась знать свое место и не смущать меня при людях.

— Я смущала тебя, Джим? Сегодня?

— Да!

— Чем?

— Если сама не понимаешь, я не смогу объяснить, — отмахнулся он, явно намекая, что непонятливость есть признание в постыдной неполноценности.

— Не понимаю, — твердо сказала она.

Джим вышел из комнаты и хлопнул дверью.

Она почувствовала, что на этот раз его поведение не просто необъяснимо — в нем был оттенок злобы. С того вечера в душе у нее тлела маленькая, мучительная искорка страха, напоминающая пятно далекого света фар, надвигающееся на нее по невидимой дороге.

Учеба, казалось, не принесла ей более ясного понимания мира Джима, наоборот, сделала его еще более загадочным. Она не могла поверить, что ей нужно питать уважение к скучной бессмысленности художественных галерей, которые посещали его друзья, романов, которые они читали, политических журналов, которые обсуждали,

---

[3] Примечания: 3

Кони-Айленд — морской пляж и парк аттракционов в Нью-Йорке.

выставок, где экспонировались такие же рисунки, какие рисовали мелом на всех тротуарах трущоб ее детства, трактатов, ставящих целью доказать бессмысленность науки, промышленности, цивилизации и любви, с использованием словечек, которых ее отец не употреблял даже в самом пьяном виде, альманахов, трусливо предлагавших на обсуждение банальности, еще менее ясные и более затасканные, чем те проповеди, за которые она называла священника из трущобной миссии сладкоречивым старым мошенником.

Она не могла поверить, что это и есть культура, к которой относилась со всем почтением и которую стремилась открыть для себя. У нее было такое чувство, будто она взобралась на гору с зубчатой стеной на вершине, думая, что это замок, и обнаружила развалины разграбленного склада.

— Джим, — сказала она однажды после вечера, проведенного среди людей, которых называли интеллектуальной элитой, — доктор Саймон Притчетт — плут, подлый, старый, испуганный плут.

— Ну знаешь ли, — ответил он, — думаешь, ты достаточно компетентна, чтобы судить о фи-

лософах?

— Я достаточно компетентна, чтобы судить о жуликах. Навидалась их и распознаю за милю.

— Вот почему я и говорю, что ты никак не перерастешь своего прежнего окружения. Иначе научилась бы ценить философию доктора Притчетта.

— Что это за философия?

— Если не понимаешь, я не могу объяснить.

Она не позволила ему завершить разговор этой его излюбленной фразой.

— Джим, — сказала она, — он плут, он и Бальф Юбэнк, и вся их свора, и думаю, они ввели тебя в заблуждение.

Вместо ожидаемого гнева она увидела в его глазах вспышку веселья.

— Это ты так думаешь, — ответил он.

Ее вдруг охватил ужас, у нее мелькнула мысль о том, чего не могло быть: а что, если они не ввели его в заблуждение? Она могла понять плутовство доктора Притчетта — оно давало ему легкие деньги; она уже могла допустить, что Джим тоже в своем деле плутует, но у нее в голове не укладывалось представление о Джиме как о мошеннике, плуте из любви к искусству, бескорыстном плуте; в сравнении с этим плутовство шулера или афе-

риста казалось невинным. Понять его мотива она не могла; лишь чувствовала, что надвигающееся на нее пятно света стало ярче.

Она не могла вспомнить, что именно: сначала легкие царапины беспокойства, потом уколы замешательства, затем хронические конвульсии страха, — заставило ее сомневаться в истинном положении Джима на железной дороге. Его внезапное, гневное «Так ты мне не доверяешь?» в ответ на первые невинные вопросы заставило ее понять, что да, не доверяет, хотя сомнения у нее еще не оформились, и она ожидала, что его ответ ее успокоит. В трущобах своего детства она узнала, что честные люди не обидчивы в вопросах о доверии. «Не хочу разговаривать на профессиональные темы», — отвечал Джим всякий раз, когда она заговаривала о железной дороге.

Однажды она попыталась упросить его:

— Джим, ты знаешь, что я думаю о твоей работе, и как поэтому восхищаюсь тобой.

— О, вот как? За кого ты выходила замуж — за человека или президента железнодорожной компании?

— Я… я никогда не отделяла одно от другого.

— Знаешь, для меня это не очень лестно.

Она недоуменно посмотрела на него: ей казалось, что ему это будет приятно.

— Хотелось бы верить, — сказал он, — что ты любишь меня за то, какой я есть, а не за мою железную дорогу.

— О господи, Джим, — воскликнула она, — неужели ты подумал, что я…

— Нет, — ответил он с широкой, великодушной улыбкой. — я никогда не думал, что ты вышла за меня из-за моих денег или моего положения. Я никогда не сомневался в тебе.

Испугавшись, что, возможно, дала ему основание неверно истолковать ее чувства, что забыла, сколько горьких разочарований ему должны были причинить корыстные женщины, она смогла лишь покачать головой и простонать:

— О, Джим, я совсем не то имела в виду!

Он засмеялся, негромко, как ребенок, и обнял ее.

— Ты любишь меня? — спросил он.

— Да, — прошептала она.

— Тогда ты должна в меня верить. Ведь любовь — это вера. Неужели не видишь, что я нуждаюсь в ней? Я не доверяю никому из окружающих, у меня нет никого, кроме врагов. Я очень одинок. Неужели не понимаешь, как я

нуждаюсь в тебе?

Причина, заставившая ее несколько часов спустя в мучительном беспокойстве расхаживать по комнате, заключалась в том, что она отчаянно хотела верить ему и не верила ни единому слову, хотя знала, что это правда. Это было правдой, но не в том смысле, какой подразумевал он, ни в каком ином, доступном ее пониманию. Правдой было, что он нуждался в ней, но природа этой нужды ускользала от нее при каждой попытке ее определить. Она не знала, чего Джим хочет от нее. Не лести — она видела, как он выслушивает подобострастные комплименты лжецов с видом возмущенного наркомана, получившего недостаточную дозу. А за остатком этой дозы он обращался к ней, словно в ожидании какого-то целебного укола. Она видела мерцание жизни в его глазах всякий раз, когда искренне восхищалась им, однако когда Джим понимал, что за этим стоит не он сам, а что-то конкретное, следовала вспышка гнева.

Казалось, Джим хотел, чтобы она считала его великим, но не смела подвергать его величие анализу.

Она не поняла Джима в тот апрельский вечер, когда он вернулся из Вашингтона.

— Привет, малышка! — громко крикнул он с порога и бросил ей на руки целую охапку сирени. — Счастливые дни вернулись! Я увидел эти цветы и сразу же подумал о тебе. Весна наступает, детка!

Джим налил себе виски и принялся мерить комнату шагами; речь его лилась слишком беззаботно, слишком порывисто, слишком весело. Глаза лихорадочно блестели, голос дрожал от какого-то странного возбуждения. Она невольно усомнилась, обрадован он чем-то или расстроен.

— Я знаю, что они планируют! — неожиданно заявил он безо всякого перехода, и она быстро взглянула на него, безошибочно распознав симптом одного из его внутренних взрывов. — В стране не найдется и десятка людей, знающих это, но я знаю! Заправилы держат все в секрете, пока не будут готовы внезапно открыть его всем. Он удивит многих! Многих свалит с ног! Многих? Всех в этой стране, черт возьми! Затронет каждого. Вот, как он важен.

— Затронет… каким образом, Джим?

— Затронет всех! И они не знают, что близится, но я знаю. Они сидят, — он указал на освещенные окна города, — строя планы, считая деньги, лелея детей или мечты, и не знают, но я знаю, что все

будет прекращено, остановлено, изменено!

— Изменено — к худшему или к лучшему?

— К лучшему, разумеется, — раздраженно ответил он, словно это было несущественно; голос его вдруг утратил пылкость и стал нарочито деловым: — Это план спасти страну, остановить экономический спад, не допустить волнений, достичь стабильности и безопасности.

— Что за план?

— Не могу сказать. Он секретный. Совершенно секретный. Ты не представляешь, сколько людей хотело бы узнать его. Нет такого промышленника, который не отдал бы десяток лучших доменных печей за один предостерегающий намек, которого он не получит! К примеру, Хэнк Риарден, которым ты так восхищаешься.

Он издал смешок, гордо глядя в окно, словно в будущее.

— Джим, — спросила она, — почему ты так ненавидишь Хэнка Риардена?

— У меня нет к нему ненависти, — он повернулся к ней; лицо его, как ни странно, отметила печать беспокойства, почти испуга. — я никогда не говорил, что ненавижу его. Не волнуйся, он одобрит этот план. Никуда не денется. Одобрят все. План создан для общего блага.

В его голосе мелькнули чуть ли не умоляющие нотки. Она почувствовала тошнотворную уверенность, что Джим лжет, однако видела, что он словно изо всех сил старается успокоить ее, но не по поводу того, о чем шла речь.

Она заставила себя улыбнуться.

— Да, Джим, конечно, — сказала она, в свою очередь, пытаясь его успокоить.

Выражение его лица напоминало теперь благодарную улыбку.

— Я должен был сказать тебе сегодня об этом. Должен. Я хотел, чтобы ты знала, какими громадными делами я ворочаю. Ты вечно говоришь о моей работе, но совершенно ее не представляешь, она гораздо обширней, чем тебе кажется. Ты думаешь, управлять железной дорогой — это прокладывать пути, добывать качественный металл для рельсов и отслеживать расписание движения поездов. Нет. С этим может справиться любой из моих подчиненных. Подлинная суть железной дороги — в Вашингтоне. Моя работа — это политика. Решения принимаются на общегосударственном уровне и задевают все, контролируют всех. Несколько слов на листе бумаги, какая-нибудь директива меняют жизнь каждого человека в каждом уголке, лачуге

и пентхаусе этой страны!

— Да, Джим, — сказала она, желая поверить, что он, видимо, действительно большой человек в таинственных сферах Вашингтона.

— Вот увидишь, — продолжал он, расхаживая по комнате. — Думаешь, они могущественны, эти гиганты промышленности, так хорошо разбирающиеся в моторах и домнах? Их остановят! Обдерут, как липку! Доведут до краха! Их… — Джим вдруг заметил, как она на него смотрит. — Это не для нас, — поспешно, отрывисто пояснил он, — это для народа. В этом разница между бизнесом и политикой — у нас нет эгоистичных целей, личных мотивов, мы не гонимся за прибылью, не тратим жизнь на погоню за деньгами, нам это не нужно! Вот потому-то нас порочат и не понимают все алчные предприниматели, не способные постичь духовных мотивов, моральных идеалов и… у нас не было выбора! — неожиданно воскликнул он, повернувшись к ней. — Нам необходим этот план! Когда все рушится и останавливается, надо что-то делать! Мы должны предотвратить катастрофу! Иного выхода нет!

В глазах Джима была безысходность, которую, впрочем, можно было принять и за решимость;

она не могла понять, хвастает он или просит прощения, торжество это или ужас.

— Джим, ты хорошо себя чувствуешь? Может, перетрудился, устал и…

— Я в жизни себя лучше не чувствовал! — огрызнулся он и снова принялся ходить. — Да, я много потрудился. Моя работа значительнее всех, какие ты только можешь себе представить. Она превосходит все, что делают эти алчные технари вроде Риардена и моей сестры. Что бы они ни сделали, я могу разрушить. Пусть строят дорогу — я могу прийти и сломать ее, вот так! — он щелкнул пальцами. — Будто хребет!

— Ты хочешь ломать хребты? — прошептала она, дрожа.

— Я этого не говорил! — вспылил он. — Что с тобой? Я этого не говорил!

— Извини, Джим! — воскликнула она, уже жалея о своих словах и пасуя перед ужасом в его глазах. — Дело в том, что я просто не понимаю, но… но, конечно, не нужно было докучать тебе вопросами, раз ты так устал, — она отчаянно пыталась убедить себя, — раз у тебя столько грандиозных замыслов… таких… таких важных проблем… в которых я ничего не смыслю…

Джим ссутулил плечи, расслабился. Подошел

к ней, устало опустился на колени и обнял ее.

— Бедная, маленькая глупышка, — любовно произнес он.

Она обняла его за плечи, движимая то ли нежностью, то ли жалостью. Но Джим поднял голову, взглянул ей в лицо, и ей показалось, что она видит в его глазах удовлетворение и презрение, словно она каким-то образом оправдала его и осудила себя.

В последующие дни она поняла, что бессмысленно твердить себе, что эти вещи недоступны ее неискушенному разуму, что ее долг — верить в него, что любовь — это вера. Сомнения ее все усиливались — сомнения в его непонятной работе и его отношении к железной дороге. Она удивлялась, почему они крепнут прямо пропорционально самовнушению, что вера — это ее долг перед ним. Потом в одну из бессонных ночей поняла, что этот долг лишь заставляет ее отворачиваться, когда люди обсуждают его работу, не читать в газетах заметок о *«Таггерт Трансконтинентал»*, не обращать внимания на все факты и противоречия. Ее ошеломил вопрос: «Что же это — вера против правды?» И, осознав, что частью ее стремления верить был страх *знать*, решила выяснить правду, и это неожиданно

придало ей гораздо больше уверенности, чем все попытки покорно обманывать себя.

Времени на выяснение ушло немного. Уклончивость служащих Таггерта, когда она задала несколько небрежных вопросов, неопределенность их ответов, скованность при упоминании их шефа, явное нежелание говорить о нем не дали ей ничего конкретного, но вызвали ощущение, похожее на предчувствие самого худшего. Железнодорожные рабочие: стрелочники, кондукторы, кассиры, не знавшие ее, — высказывались более конкретно, когда она втягивала их в случайные разговоры на Терминале. «Джим Таггерт? Этот хнычущий, лицемерный, болтливый рохля?» «Президент Джимми? Я вам вот что скажу: это загребающий деньгу бездельник». «Руководитель? *Мистер* Таггерт? Вы, наверно, имеете в виду мисс Таггерт?»

Всю правду рассказал ей Эдди Уиллерс. Она слышала, что он знает Джима с детства, и пригласила его пообедать. Когда она села напротив него за стол, когда увидела честный, открытый взгляд, услышала его простые, прямые и точные ответы, она решила оставить попытки выспрашивать Эдди исподволь и кратко, бесстрастно, не прося помощи или жалости, сказала, что хочет узнать

и почему. Уиллерс ответил ей в той же манере. Рассказал ей всю историю спокойно, без эмоций, не вынося вердикта, не выражая своего мнения, не задевая ее чувств попытками щадить их, говоря сухо и конкретно, с убийственной силой фактов. Сказал ей, кто руководит *«Таггерт Трансконтинентал»*. Рассказал о *«Линии Джона Голта»*. Она слушала, испытывая не потрясение, а нечто худшее: отсутствие такового, словно всегда знала это. И когда он умолк, сказала лишь:

— Спасибо, мистер Уиллерс.

В тот вечер она ждала возвращения Джима домой, не испытывая ни страдания, ни возмущения, их уничтожала возникшая отчужденность, словно все уже не имело для нее никакого значения, словно от нее требовался какой-то поступок, неважно какой и с какими последствиями. Увидев входящего в комнату Джима, она почувствовала какое-то мрачное удивление, словно недоумевала, кто он такой и почему с ним вообще необходимо разговаривать. Она рассказала ему, что узнала, лаконично, усталым, угасшим голосом. Казалось, он все понял после нескольких первых фраз, словно ожидал, что это рано или поздно случится.

— Почему ты не говорил мне правды? — спро-

сила она.

— Значит, вот какое у тебя представление о благодарности? — заорал он. — Значит, вот что ты испытываешь ко мне после всего, что я сделал для тебя? Все говорили, что от поднятой за шкирку уличной кошки нельзя ждать ничего, кроме грубости и эгоизма!

Она смотрела на него так, словно он говорил по-китайски.

— Почему ты не говорил мне правды?

— И это вся любовь, какую ты питаешь ко мне, подлая, мелкая лицемерка? И это все, что я получаю за веру в тебя?

— Зачем ты лгал мне? Зачем позволял думать то, что я думала?

— Ты должна стыдиться себя, стыдиться смотреть мне в лицо и говорить со мной!

— Я? — нечленораздельные звуки дошли, наконец, до ее сознания, но она не могла поверить в их смысл. — Чего ты пытаешься добиться, Джим? — спросила она с любопытством стороннего наблюдателя.

— Ты подумала о моих чувствах? Подумала, как это подействует на мои чувства? Ты должна была прежде всего думать о них! Это первая обязанность любой жены, а уж женщины твоего

положения в особенности! Ниже и отвратительнее неблагодарности нет ничего!

Она вдруг поняла невероятное: этот человек виновен, знает это и хочет оправдаться, пробудив чувство вины у своей жертвы. Опустив голову и закрыв глаза, она мучилась отвращением, тошнотворным отвращением непонятно к чему.

Когда она подняла взгляд, то увидела, что он смотрит на нее с растерянным видом человека, идущего на попятный, потому что его хитрость не удалась. Но не успела поверить в это, как на его лице вновь появилось выражение обиды и гнева.

Она заговорила, словно бы высказывая свои мысли разумному существу, которого здесь не было, но присутствие которого надо было предположить, потому что обращаться было больше не к кому:

— Тот вечер… газетные заголовки… торжество… это все вовсе не ты… это Дагни.

— Заткнись, сучка паршивая!

Она безучастно посмотрела на него, никак не реагируя. Словно ее уже ничто не могло задеть, потому что она произнесла предсмертные слова.

Он всхлипнул:

— Черрил, прости, я обидел тебя. Беру свои слова назад. Я так не думал…

Она продолжала стоять, прислонясь к стене, как стояла с самого начала.

Он сел на край дивана, поза его выражала беспомощное уныние.

— Как я мог тебе это объяснить? — заговорил он тоном полной безнадежности. — Это все очень сложно. Как мог рассказывать тебе что-то о трансконтинентальной железной дороге, если ты все равно не знаешь всех капканов и подводных камней? Как мог объяснить годы своей работы, своей… А, да что толку! Меня всегда не понимали, пора бы уже к этому привыкнуть, только я думал, что ты не такая, как все, и у меня появился шанс.

— Джим, почему ты на мне женился?

Он печально усмехнулся:

— Об этом меня все спрашивали. Я не думал, что когда-нибудь спросишь ты. Почему? Потому что я люблю тебя.

Она удивилась, что это слово — самое простое в человеческом языке, всем понятное, связующее всех — не несло для нее никакого значения. Она не знала, что оно значило в его понимании.

— Никто никогда не любил меня, — продолжал

он. — На свете нет никакой любви. Люди вообще лишены чувств. Я же чувствую многое. Но кого это волнует? Все интересуются только графиками движения, тоннажем грузоперевозок и деньгами. Я не могу жить среди этих людей. Я очень одинок. Я всегда мечтал найти понимание. Может быть, я безнадежный идеалист, ищущий невозможного. Никто никогда не будет меня понимать.

— Джим, — сказала она строго и спокойно, — все это время я только и добивалась того, чтобы понять тебя.

Он отмахнулся от ее слов — не обидно, но с горечью.

— Я думал, что сможешь. Ты — все, что у меня есть. Но, может быть, понимание между людьми совершенно невозможно.

— Почему же невозможно? Почему ты не говоришь мне, чего хочешь? Почему не помогаешь понять тебя?

Он вздохнул:

— Вот-вот. В том-то и беда. Во всех твоих «почему». Ты постоянно спрашиваешь о *причинах*. То, о чем я говорю, невозможно выразить словами. Невозможно *назвать*. Это надо чувствовать. Человек либо чувствует, либо нет. Это свойство не разума, а сердца. Неужели ты никогда не чув-

ствуешь? Просто, не задавая всех этих вопросов? Неужели не можешь понять меня как человека, а не как подопытное животное? Великое понимание выше наших слабых слов и бессильного разума… Нет, видимо, искать его просто глупо. Но я всегда буду искать и надеяться. Ты моя последняя надежда. Ты — все, что у меня есть.

Она неподвижно стояла у стены.

— Ты нужна мне, — негромко простонал он. — я совсем один. Ты не такая, как все. Я верю в тебя. Я доверяю тебе. Что дали мне все эти деньги, слава, бизнес, борьба? Ты — все, что у меня есть…

Черрил стояла, не шевелясь, и лишь взгляд ее показывал, что она замечает его присутствие.

«То, что он говорил о страдании, — ложь, — думала она с мрачным чувством долга, — но страдание не каприз; его постоянно терзают какие-то муки, которых он, видимо, не может мне объяснить, но, наверное, я научусь их понимать. Я должна в уплату за то положение, которое он дал мне, — а похоже, это единственное, что он мог дать, — я *должна* постараться понять его».

В последующие дни у нее возникло странное ощущение, что она сама себе стала чужой, незнакомкой, которой нечего хотеть или искать. Вместо любви, зажженной ярким пламенем пре-

клонения перед героем, она осталась с убогой, гложущей жалостью. Вместо мужчины, которого стремилась найти, мужчины, сражающегося за свои идеалы, не умеющего хныкать и пускать слюни, она осталась с человеком, у которого раненое самолюбие было единственным притязанием на значимость, единственным, что он мог предложить в обмен на ее судьбу. Но это уже не имело никакого значения. Раньше она жадно ждала любой перемены в жизни; теперь занявшая ее место пассивная незнакомка походила на всех унылых людей вокруг, людей, называвших себя зрелыми, лишь потому, что не пытались думать или желать.

Однако этой незнакомке являлся призрак прежней Черрил, и призраку требовалось выполнить некую миссию. Она *должна* была разобраться в том, что ее погубило. *Должна* была понять и жила с чувством постоянного ожидания. *Должна*, хотя и сознавала, что пятно света стремительно приближается, и в миг понимания она окажется под колесами.

«Чего вы от меня хотите?» — этот вопрос бился у нее в голове, словно истерично пульсирующий нерв. «Чего вы от меня хотите?» — беззвучно кричала она за накрытыми столами в гостиных;

«Чего вы от меня хотите?» — в бессонные ночи вопрошала она Джима и тех, кто, казалось, знал его секрет: Бальфа Юбэнка, доктора Саймона Притчетта… Вслух она этого не произносила, знала, что ей не ответят. «Чего вы от меня хотите?» — спрашивала она с таким ощущением, будто бежит, но все пути для нее закрыты. «Чего вы от меня хотите?» — спрашивала она, оглядываясь на долгий мучительный путь своего замужества, которому не исполнилось еще и года.

— Чего ты от меня хочешь? — спросила, наконец, Черрил и увидела, что сидит в своей столовой, глядя на Джима, на его растерянное лицо и высыхающее пятно на столе. Она не знала, как долго тянулось молчание; ее испугали свой собственный голос и вопрос, который она не собиралась задавать. Она не ожидала, что Джим поймет, — он, казалось, не понимал и более простых вопросов, и тряхнула головой, стараясь вернуться к реальности.

Черрил с удивлением увидела, что Джим смотрит на нее с легкой улыбкой, словно смеясь над ее способностью соображать.

— Любви, — ответил он.

Она почувствовала, что слабеет от беспомощности перед этим ответом, таким простым и,

вместе с тем, таким бессмысленным.

— Ты не любишь меня! — тоном государственного обвинителя провозгласил Джим. Она не ответила. — Не любишь, иначе бы не задавала таких вопросов!

— Я любила тебя, — тихо ответила она, — но тебе нужно было не это. Любила за мужество, честолюбие, способности. Но все эти качества оказались мыльным пузырем. А пузырь лопнул.

Он, с презрением, чуть выставил вперед нижнюю губу:

— Что за убогое представление о любви!

— Джим, *за что* ты хочешь быть любимым?

— Какой дешевый, торгашеский подход!

Черрил молча смотрела на него.

— За *что* быть любимым?! — воскликнул он; голос его звенел насмешкой и лицемерием. — Значит, ты считаешь, что любовь — это предмет подсчета, обмена, взвешивания и измерения, будто фунт масла на прилавке? Я не хочу быть любимым за что-то. Я хочу быть любимым таким, какой я есть, а не за то, что делаю, говорю или думаю. Таким, какой есть, — не за тело, разум, слова, труды или поступки.

— Но тогда… какой ты?

— Если бы ты любила меня, то не спрашива-

ла бы! — в голосе его звучала пронзительная нотка нервозности, словно он колебался между осторожностью и каким-то слепым, безрассудным порывом. — Не спрашивала бы. Ты бы знала. Чувствовала. Почему ты вечно пытаешься навесить на все ярлыки? Неужели не можешь возвыситься над этой мелочностью материалистических определений? Неужели никогда не чувствуешь… просто так, бездумно?

— Чувствую, Джим, — ответила она негромко. — Но стараюсь не чувствовать, потому что… потому что боюсь.

— Меня? — с надеждой спросил он.

— Не совсем. Боюсь не того, что ты можешь мне сделать, а того, кто ты есть на самом деле.

Джим отвел взгляд так быстро, словно захлопнулась дверь. Черрил заметила вспышку в его глазах, и, как ни странно, то была вспышка страха.

— Ты не способна любить, мелкая, дешевая стяжательница! — неожиданно взревел он; в голосе его звучало только желание уязвить. — Да, я сказал «стяжательница». Есть много иных форм стяжательства, кроме алчности к деньгами, иных и худших. Ты стяжательница духа. Ты вышла за меня не ради денег, нет! Ради моих способно-

стей, мужества или каких-то других достоинств, которые соответствовали мерке твоей любви!

— Ты хочешь, чтобы… любовь… была… беспричинной?

— Причина любви в ней самой! Любовь выше любых причин и поводов. Любовь слепа. Но ты неспособна к ней. У тебя низкая, расчетливая душонка торгаша, ростовщика, который если и дает, то только взаймы и под процент. Любовь — это дар, великий, свободный, бесценный дар, превышающий и прощающий все. В чем щедрость любви к человеку за его добродетели? Что ты даешь ему? Ничего. Это не больше, чем судейская справедливость. Не больше того, что он заслуживает.

Ее глаза потемнели, потому что она увидела цель.

— Ты хочешь, чтобы любовь была незаслуженной, — сказала она, не спрашивая, а утверждая.

— О, ты ничего не понимаешь!

— Понимаю, Джим. Это то, чего ты хочешь, чего хотите вы все, — не денег, не материальных благ, не экономической безопасности, даже не подачек, которых, впрочем, постоянно требуете, — она говорила ровным, размеренным голосом, словно цитируя свои мысли, стараясь

придать убедительность кружащимся в мозгу мучительным завихрениям хаоса: — Все вы, проповедники общего блага, вы стремитесь не просто к незаработанным деньгам. Вам нужны подачки, но совсем иного рода. Ты назвал меня стяжательницей духа, потому что я ищу духовные ценности. Тогда вы, проповедники общего блага… эти ценности стремитесь присвоить. Я никогда не думала, и никто не говорил мне, как это можно себе представить — *незаслуженные духовные ценности*. Но ты хочешь именно их. Хочешь незаслуженной любви, незаслуженного восхищения. Незаслуженного величия. Ты хочешь быть таким, как Хэнк Риарден, даже не пытаясь стать таким, как он. Не пытаясь вообще стать… чем-то. Без… необходимости… быть…

— Замолчи! — взвизгнул он.

Они глядели друг на друга: оба в ужасе, оба с ощущением, что балансируют на краю бездны, назвать которую она не могла, а он не хотел, и оба сознавали, что следующий шаг может стать роковым.

— Ты отдаешь себе отчет в том, что несешь? — взяв себя в руки, добродушно поинтересовался Джим, что, казалось, возвращало их в сферу благоразумия, в почти безобидную область семейной

ссоры. — В какие метафизические дебри лезешь?

— Не знаю… — устало ответила Черрил, опустив голову, словно призрак, которого она пыталась ухватить, вновь ускользнул от нее. — Не знаю… Это кажется невозможным…

— Лучше не касайся вещей, которые выше твоего понимания, а то…

Джим вынужден был умолкнуть, потому что вошел дворецкий с ведерком льда, в котором влажно сияла холодная бутылка шампанского.

Они молчали, предоставив комнате оглашаться звуками, которые веками символизировали праздник: хлопанье пробки, веселое бульканье золотистой жидкости, льющейся в два больших бокала, отражающих трепещущее пламя свечей; шипение пузырьков, призывающее ко всеобщей радости.

Они молчали, пока дворецкий не вышел. Таггерт смотрел на пузырьки, небрежно держа ножку бокала двумя вялыми пальцами. Потом рука внезапно, конвульсивно, сжалась в кулак, и он поднял бокал, не так, как обычно, а как заносят руку для удара ножом.

— За Франсиско д'Анкония! — провозгласил он.

Черрил опустила свой бокал.

— Нет!

— Пей! — рявкнул Джеймс.

— Нет, — ответила она, покачав головой.

Они поглядели друг другу в глаза; свет играл на поверхности золотистой жидкости, не достигая их лиц.

— Да пошла ты к черту! — крикнул Джеймс, вскочил, швырнул бокал на пол и быстро вышел из комнаты.

Черрил долго сидела не шелохнувшись, потом медленно встала и нажала кнопку звонка.

Она вошла в свою комнату деревянным шагом, открыла дверцу шкафа, достала костюм и туфли, переоделась, стараясь двигаться осторожно, словно от этого зависела ее жизнь. В голове у нее стучала одна мысль: нужно уйти из дому — на время, хотя бы на час. А потом… потом она сможет пережить все, что придется.

Строчки расплывались перед глазами, и, подняв голову, Дагни вдруг увидела, что уже давно стемнело. Она отодвинула бумаги; лампу включать не стала, позволяя себе роскошь праздности и темноты. Темнота отделяла ее от города за окнами. Календарь сообщал: «5 августа».

Прошел месяц, не оставив ничего, кроме пустоты истраченного времени. Прошел в беспорядоч-

ной, неблагодарной работе, в метании от одной критической ситуации к другой, в стремлении предотвратить крах железной дороги. Этот месяц представлял собой не сумму побед, а сумму нулей, сумму того, чего не случилось, сумму предотвращенных катастроф, которых все равно бы не случилось, поскольку поезда уже давно практически не ходили.

Иногда перед ней вставало непрошеное видение: зрелище долины, постоянно присутствующее где-то в памяти и вдруг принимающее зримый облик.

Бывали рассветы, когда, проснувшись от бьющих в лицо лучей солнца, она думала, что нужно спешить на «*Рынок Хэммонда*», купить к завтраку свежих яиц; потом, полностью придя в сознание, видела за окнами спальни дымку Нью-Йорка и чувствовала мучительную боль, похожую на прикосновение смерти.

«Ты это знала, — сурово говорила она себе, — знала, каково это будет, когда делала выбор». И, с трудом вылезая из постели навстречу враждебному дню, шептала: «Все хорошо, даже это».

Худшими были те мгновения, когда, идя по улице, она вдруг видела среди голов незнакомцев сияющий проблеск золотисто-каштановых во-

лос, и ей казалось, что город исчез, что лишь какая-то непонятная преграда внутри мешает ей броситься к *нему* и обнять; но в следующий миг появлялось чье-то ничего не значащее лицо, и она останавливалась, не желая идти дальше, не желая жить. Она пыталась избегать таких мгновений, пыталась запретить себе смотреть; ходила, не поднимая глаз от тротуара. И терпела неудачу: глаза сами собой обращались к каждому золотистому проблеску.

Она не опускала шторы на окнах кабинета, помня о его обещании, думая лишь: «Если наблюдаешь за мной, где бы ты ни был…» Поблизости не было зданий, достигавших высоты ее этажа, но она смотрела на дальние башни и задавалась мыслью, где его наблюдательный пункт, не позволяет ли ему какое-нибудь тайное изобретение наблюдать за каждым ее движением из небоскреба, отстоящего на квартал или на милю. Она сидела за столом возле незашторенных окон, думая: «Только бы знать, что ты видишь меня, даже если я больше никогда тебя не увижу». И, вспомнив об этом теперь, в темноте своей комнаты, она встала и включила свет. Потом на миг опустила голову, невесело улыбнувшись себе. Подумала, не являются ли ее светящиеся

окна в черной безмерности города сигналами бедствия, взывающими к его помощи, или маяком, все еще оберегающим весь остальной мир.

Раздался звонок в дверь. Открыв, Дагни увидела молодую женщину с едва знакомым лицом — ей потребовалось серьезно напрячь память, чтобы понять, что это Черрил Таггерт. Если не считать сухого обмена приветствиями при случайных встречах в Таггерт-Билдинге, они не виделись после свадьбы.

Черрил выглядела крайне напряженной.

— Позволите поговорить с вами… — она поколебалась и договорила: — …мисс Таггерт?

— Конечно, — сухо ответила Дагни. — Входи.

Она уловила какую-то отчаянную решимость в лице Черрил и уверилась в этом, когда взглянула на нее в ярко освещенной гостиной.

— Присаживайся, — сказала она, но Черрил осталась стоять.

— Я пришла уплатить долг, — заговорила Черрил; голос ее звучал неестественно спокойно из-за усилий не выказывать эмоций. — Хочу извиниться за то, что наговорила вам на своей свадьбе. У вас нет причин прощать меня, но я должна сказать вам, что теперь мне понятно: я оскорбляла все, чем восхищаюсь, и защищала

все, что презираю. Знаю, признание в этом сейчас не загладит моей вины, и даже мой приход сюда — тоже наглость, у вас не может быть желания выслушивать меня, поэтому я даже не могу погасить долг, могу только просить об одолжении, чтобы вы позволили сказать мне то, что я хочу.

Ураган чувств Дагни можно было бы передать одной фразой: «Пройти такой путь меньше, чем за год!..» Она ответила, и серьезность ее голоса напоминала протянутую для поддержки руку: ей было понятно, что улыбка нарушила бы некое неустойчивое равновесие:

— Я тебя слушаю.

— Я знаю, что это вы руководили компанией *«Таггерт Трансконтинентал»*. Это вы создали *«Линию Джона Голта»*. Это у вас достало мужества и ума удерживать все на плаву. Полагаю, вы думаете, что я вышла замуж за Джима из-за денег — какая продавщица отказалась бы? Но, видите ли, я вышла за него, потому что... думала, что он — это вы. Что он руководит *«Таггерт Трансконтинентал»*. Теперь я знаю, что Джим... — она заколебалась, потом продолжила твердо, словно не желая ни в чем щадить себя: — Джим какой-то злостный паразит, хотя и не могу понять, почему. Когда я говорила с вами

на свадьбе, я думала, что защищаю его величие и нападаю на его врага… но все обстояло наоборот… невероятно, ужасно, наоборот!.. Поэтому я хотела сказать вам, что знаю правду… не столько ради вас, я не вправе полагать, что вас это интересует, а… ради тех достоинств, которые уважаю.

Дагни неторопливо сказала:

— Ну что ты, я не держу зла.

— Спасибо, — прошептала Черрил и повернулась, собираясь уйти.

— Присядь.

Она покачала головой:

— Это… это все, мисс Таггерт.

Дагни позволила себе, наконец, улыбнуться и сказала:

— Черрил, меня зовут Дагни.

Ответом Черрил было лишь легкое подрагивание губ; они вдвоем словно бы создали одну улыбку.

— Я… я не знала, позволительно ли…

— Мы ведь родня, не так ли?

— Нет! Не через Джима!

Этот вскрик вырвался у нее невольно.

— Нет, по нашему обоюдному желанию. Присаживайся, Черрил.

Та повиновалась, стараясь скрыть радость,

не попросить помощи, не сломиться.

— Тебе пришлось очень тяжело, не так ли?

— Да… но это неважно… это моя проблема… и моя вина.

— Не думаю, что вина твоя.

Черрил не ответила, потом внезапно, с отчаянием сказала:

— Послушайте… меньше всего я хочу вашей благотворительности.

— Джим, должно быть, говорил тебе — и это правда, — что я никогда не занималась благотворительностью.

— Да, говорил… Но я хотела сказать…

— Я знаю, что ты хотела сказать.

— Но вам незачем принимать во мне участие. Я пришла не жаловаться… не взваливать еще одно бремя на ваши плечи… то, что я страдала, не дает мне права рассчитывать на ваше сочувствие.

— Это верно. Но то, что мы обе ценим одно и то же, дает.

— То есть… если вы хотите говорить со мной, это не милостыня? Не проявление жалости ко мне?

— Мне очень жаль тебя, Черрил, и я хочу тебе помочь, но не потому, что ты страдала, а потому,

что не заслуживаешь страдания.

— То есть не будете добры к чему-то слабому, ноющему, дурному во мне? Только к тому, что находите хорошим?

— Конечно.

Черрил не шевельнулась, но казалось, будто она подняла голову, будто какой-то бодрящий ток расслабил черты ее лица, придав ему то редкое выражение, в котором сочетаются мука и достоинство.

— Это не милостыня, Черрил. Не бойся говорить со мной.

— Странно… Вы первая, с кем я могу беседовать… и это очень легко… однако я… я боялась заговорить с вами. Я давно хотела попросить у вас прощения… с тех пор, как узнала правду, я подходила к двери вашего кабинета, но останавливалась и стояла в коридоре, не имея мужества войти… я не собиралась приходить и сейчас. Вышла только, чтобы… обдумать кое-что, а потом вдруг поняла, что хочу видеть вас, что во всем городе это единственное место, куда мне можно пойти, и это единственный шаг, который я могла сделать.

— Я рада, что ты пришла.

— Знаете, мисс Таг… Дагни, — негромко за-

говорила она с робкой улыбкой, — вы совсем не такая, как я думала… Они — Джим и его друзья — говорили, что вы жесткая, холодная, бесчувственная…

— Черрил, но это правда. Я такая в том смысле, который *они* имели в виду, — только говорили ли они, что это за смысл?

— Нет. Ни разу. Только насмехались надо мной, когда я спрашивала, что они имеют в виду, говоря что-то… о чем-нибудь другом. Так что они имели в виду, говоря о вас?

— Всякий раз, когда кто-то обвиняет человека в «бесчувственности», имеется в виду, что этот человек справедлив. Что у этого человека нет спонтанных эмоций, и он не питает к обвинителю чувств, которых тот не заслуживает. Обвинитель имеет в виду, что «чувствовать» значит идти против рассудка, против моральных ценностей, против реальности. Имеет… в чем дело? — спросила она, заметив в лице Черрил странное напряжение.

— Это… это то, что я изо всех сил старалась понять… очень долгое время…

— Так вот, обрати внимание, что ты никогда не слышала этого обвинения в защиту невинности, но всегда в защиту вины. Ты никогда

не слышала, чтобы хороший человек говорил так о тех, кто был к нему несправедлив. Но всегда слышала, что это говорил подлец о тех, кто обошелся с ним, как с подлецом, о тех, кто не питает никакого сочувствия к тому злу, которое совершил подлец, или к страданиям, которые из-за этого терпит. Что ж, тут все — правда, этого я не чувствую. Но те, кто это чувствует, не чувствуют ничего к любому проявлению истинного величия, к человеку или поступку, которые заслуживают восхищения, одобрения, уважения. Вот эти чувства у меня есть. Ты поймешь, что возможно либо одно, либо другое. Тот, кто питает сочувствие к вине, бесчувственно относится к невинности. Спроси себя, кто из этих двоих бесчувственный. И потом увидишь, какой мотив противоположен благотворительности.

— Какой? — прошептала она.

— Справедливость, Черрил.

Черрил вздрогнула и опустила голову.

— О господи, — простонала она. — Если б вы знали, какой ад устраивал мне Джим из-за того, что я верила именно в то, что вы сказали! — и снова вздрогнула, будто чувства, которые она пыталась сдержать, вырвались наружу; в глазах у нее был ужас. — Дагни, — зашептала она, — Да-

гни, я боюсь их… Джима и остальных… не того, что они сделают… в этом случае я бы могла убежать… но боюсь, потому что от этого нет спасения… боюсь того, что они такие, какие есть… и того, что они существуют.

Дагни быстро подошла, села на подлокотник ее кресла и крепко обняла Черрил за плечи.

— Успокойся, малышка. Ты ошибаешься. Не нужно бояться этого. Не нужно думать, что их существование является препоной твоему — однако ты думаешь именно так.

— Да… Да, я чувствую, что у меня нет никакой возможности существовать, раз существуют они… ни возможности, ни места, ни мира, с которым я могу совладать… я не хочу испытывать этого чувства, подавляю его, но оно все усиливается, и я знаю, что бежать мне некуда… я не могу объяснить его, не могу понять, и эта беспомощность усиливает ужас, кажется, что весь мир внезапно погиб, но не от взрыва — взрыв это нечто жесткое, конкретное — а от… какого-то жуткого размягчения… кажется, что ничего конкретного больше нет, ничто не сохраняет никакой формы: ты можешь сунуть пальцы в каменную стену, и камень поддастся, словно желе, гора расползется, здания будут менять

очертания, как облака… и это станет концом мира — не огонь и сера, а утлость.

— Черрил… Черрил, бедная малышка, философы веками пытались сделать мир таким — сокрушить разум, заставив людей поверить, что он такой. Но ты не должна принимать этого. Не должна смотреть чужими глазами, смотри своими, держись своих убеждений, ты знаешь, что представляет собой мир, тверди это вслух, как самую благочестивую из молитв, и не позволяй никому внушать тебе другое.

— Но… но они уже ничего не представляют собой. Джим и его друзья определенно не представляют. Я не понимаю, что вижу, находясь среди них, не понимаю, что слышу, когда они говорят… все это нереально, они делают что-то страшное… и я не понимаю, какая у них цель… Дагни! Нам всегда говорили, что люди обладают громадной силой познания, гораздо более мощной, чем у животных, но я… я сейчас кажусь себе глупее любого животного, слепой и беспомощной. Животное знает, кто его друзья и кто враги, и когда нужно защищаться. Оно не ожидает, что друг набросится на него, вцепится ему в горло. Оно не ожидает внушений, что любовь — пережиток, что грабеж — это достижение,

что бандиты — государственные мужи, и что сломать хребет Хэнку Риардену просто замечательно! Господи, что я говорю!..

— Я понимаю, что ты говоришь.

— Как мне иметь дело с людьми? Если ничто не может оставаться конкретным хотя бы в течение часа, то дальше жить нельзя, так ведь? Ладно, я знаю, что мир конкретен, а люди? Дагни! Они — ничто и все, что угодно, они — не существа, они — всего лишь подмены, вечные подмены без собственного облика. Но я вынуждена жить среди них. Как?

— Черрил, то, с чем ты ведешь борьбу, представляет собой величайшую проблему в истории, ту, которая служит причиной всех человеческих трагедий. Ты понимаешь гораздо больше большинства людей, которые страдают и гибнут, не сознавая, что убило их. Я помогу тебе понять. Это очень серьезная тема и суровая битва, но главное — не бойся.

На лице Черрил появилось странное мечтательное выражение, словно она видела Дагни с большого расстояния, силилась подойти к ней и не могла.

— Я хотела бы иметь желание бороться, — заговорила она, — но у меня его нет. Я даже победить

больше не хочу. Кажется, я не в силах добиться ни одной перемены. Понимаете, я никогда не ожидала ничего подобного браку с Джимом. Потом, когда вышла за него, я стала думать, что жизнь гораздо чудеснее, чем мне представлялось. А теперь, когда свыклась с мыслью, что жизнь и люди гораздо страшнее, чем все, что могло прийти в голову, что мой брак — не великое чудо, а неописуемое зло, которое я до сих пор страшусь познать полностью, — вот этого я не могу заставить себя принять. И не могу от этого избавиться, — она подняла взгляд. — Дагни, как вам это удалось? Как вы смогли остаться… неисковерканной?

— Я держалась одного правила.

— Какого?

— Не ставить ничего — ничего! — выше суждений своего разума.

— На вашу долю выпали тяжкие испытания… может, более тяжкие, чем на мою… чем на чью бы то ни было… Что давало вам силы их вынести?

— Знание, что моя жизнь есть величайшая ценность, слишком великая, чтобы уступить ее без борьбы.

Она увидела на лице Черрил удивление и смятение, словно та пыталась вернуть что-то давно

потерянное.

— Дагни, — зашептала она, — это… это то, что я чувствовала в детстве… то, что, как будто, лучше всего помню с тех пор… и, оказывается, я не утратила этого чувства, оно живо, оно всегда было живо, но, повзрослев, я подумала, что его нужно таить… у меня не было для него названия, но теперь, когда вы сказали, я внезапно поняла, что оно представляет собой… Дагни, это хорошо — так относиться к собственной жизни?

— Черрил, слушай внимательно: это чувство — вместе со всем, чего оно требует, и что предполагает — самое благородное, высшее и лучшее на свете.

— Я спрашиваю потому, что… что не смела так думать. Люди давали мне понять, что считают это грехом… что осуждают это мое чувство… и хотят его уничтожить.

— Это правда. Кое-кто хочет его уничтожить. А когда научишься понимать их мотивы, ты поймешь самое черное, отвратительное, худшее зло на свете, но будешь вне его досягаемости.

Улыбка Черрил походила на слабый огонек, стремящийся удержаться на нескольких каплях горючего, использовать их до конца и ярко вспыхнуть.

— Впервые за много месяцев, — прошептала она, — мне кажется, что… что у меня еще есть надежда, — увидела, что Дагни пристально смотрит на нее с озабоченностью и добавила: — У меня все будет хорошо… Дайте только мне привыкнуть к этому — к вам, к тому, что вы говорили. Думаю, я поверю в это… поверю, что это правда… и Джим ничего не значит.

Она поднялась, словно пытаясь придать себе еще больше уверенности.

Внезапно приняв совершенно неожиданное решение, Дагни твердо сказала:

— Черрил, я не хочу, чтобы ты шла домой.

— О! Я не боюсь возвращаться.

— Сегодня вечером ничего не произошло?

— Нет… ничего страшного, все как обычно… Просто я начала кое-что понимать яснее, вот и все… у меня все в порядке. Мне нужно думать, думать старательнее, чем раньше… а потом я решу, что надо делать. Можно…

Она заколебалась.

— Ну, ну?

— Можно, я еще приду поговорить с вами?

— Конечно.

— Спасибо. Я… я вам очень признательна.

— Обещаешь прийти еще?

— Обещаю.

Дагни видела, как Черрил, ссутулившись, идет к лифту, потом она расправила плечи, собрала все силы, чтобы держаться прямо. Она походила на растение со сломанным стеблем, половинки которого соединяет единственное волоконце, силящееся срастить перелом, растение, которое не выдержит еще одного порыва ветра.

Джеймс Таггерт видел в открытую дверь кабинета, как Черрил прошла по передней и вышла из квартиры. Захлопнул дверь и сел на кушетку; на брюках его темнели пятна от пролитого шампанского, и эта неприятность казалась ему местью жены и Вселенной, не дававшим ему желанного празднества.

Чуть погодя он поднялся, снял пиджак и кинул его на пол. Вынул сигарету, но сломал ее и бросил в картину над камином. Схватил вазу венецианского стекла — музейную вещь многовековой давности, с причудливой системой голубых и золотистых артерий, вьющихся по прозрачному телу, — и швырнул в стену; она разлетелась дождем осколков, тонких, как льдинки.

Он купил эту вазу, чтобы, глядя на нее, испытывать удовольствие при мысли о знатоках и ценителях, которые не могут позволить себе

такой покупки. Теперь он испытал удовольствие при мысли о мести векам, придававшим ей ценность, и о миллионах отчаявшихся семей, каждая из которых могла бы прожить год на те деньги, что стоила ваза.

Джеймс сбросил туфли и снова лег на кушетку, вытянув ноги в носках.

Звонок в дверь заставил его вздрогнуть: этот бесцеремонный, требовательный, резкий звук как ничто другое соответствовал его настроению. Он и сам был бы сейчас не прочь кого-нибудь столь нагло потревожить.

Джеймс прислушивался к шагам дворецкого, намереваясь послать к черту любого, кто бы ни пришел по его душу. Через минуту в дверь кабинета раздался осторожный стук, дворецкий вошел и объявил:

— К вам миссис Риарден, сэр.

— Что?.. А… Хорошо. Пригласи ее!

Он опустил ноги на пол, что стало единственной уступкой приличиям, и с легкой улыбкой ждал появления Лилиан.

На ней был наряд темно-красного цвета, покрой которого имитировал дорожное платье с миниатюрным двубортным жакетом, подчеркивающим талию, и сдвинутая на ухо шляпка

с пером, спускающимся к подбородку. Лилиан вошла резким, неровным шагом, разметав на ходу шлейф юбки и перо на шляпке, так что они закрутились, один — вокруг ног, другое — вокруг шеи, напоминая флажки, сигнализирующие о нервозности.

— Лилиан, дорогая, я должен радоваться или удивляться?

— Ой, перестань! Мне просто захотелось тебя повидать, вот и все.

Раздраженный тон, властный вид, с которым она села, говорили о слабости: по принятым между ними неписаным правилам подобное поведение было свойственно лишь тому, кто нуждался в услуге и при этом не мог быть ни полезен, ни опасен.

— Почему ты не остался у Гонсалесов? — спросила Лилиан; ее небрежная улыбка никак не вязалась с резкостью тона. — Я заглянула к ним после ужина, чтобы увидеть тебя, но они сказали, что ты неважно себя чувствовал и отправился домой.

Джеймс прошелся по комнате и взял сигарету, с удовольствием шлепая в одних носках перед элегантно разодетой гостьей.

— Мне стало скучно, — ответил он.

— Терпеть их не могу, — сказала Лилиан с легкой дрожью; Джеймс удивленно взглянул на нее: слова прозвучали совершенно искренне. — Терпеть не могу сеньора Гонсалеса и эту шлюху, которую он взял в жены. Отвратительно, что они в моде — они сами и их вечеринки. Мне больше никуда не хочется ходить. Пропал стиль, и даже больше — нет того духа. Я уже несколько месяцев не видела Бальфа Юбэнка, доктора Притчетта и других ребят. А все эти новые типы напоминают подручных мясника! Люди нашего круга как-никак были джентльменами.

— Да, — задумчиво произнес Джеймс. — Да, разница ощутимая. То же самое на железной дороге: я прекрасно ладил с Клемом Уизерби, он был культурным человеком, а Каффи Мейгс — совсем другое дело, тут…

Он внезапно умолк.

— Это совершенно нелепо! — произнесла Лилиан таким тоном, словно бросала вызов всему миру. — У них ничего не выйдет.

Она не объяснила, у кого «у них» и «что» не выйдет. Но Джеймс понял, о чем речь. Повисла пауза; казалось, они жмутся друг к другу, дабы обрести спокойствие.

В следующую минуту Джеймс с удовлетворе-

нием подумал, что возраст Лилиан начинает сказываться. Темно-красный цвет платья не шел ей, он словно лишал ее кожу природного оттенка, остающегося лишь в слегка обозначившихся морщинках, придавая лицу вялость, которая, в свою очередь, превращала улыбку в гримасу застарелой злобы.

Джеймс заметил, что Лилиан пристально разглядывает его; потом она резко сказала с интонацией, близкой к оскорблению:

— Ты нездоров, Джим? У тебя вид спившегося конюха.

Джеймс усмехнулся:

— Я могу себе это позволить.

— Знаю, дорогой. Ты один из самых могущественных людей Нью-Йорка. Что ж, поделом Нью-Йорку…

— Да.

— Полагаю, тебе все по силам. Потому ты мне и понадобился.

Чтобы ее слова не звучали слишком резко, она добавила легкий смешок.

— Понятно, — произнес он спокойным, ни к чему не обязывающим тоном.

— Пришлось самой сюда прийти — я подумала, лучше, чтобы нас не видели вместе.

— Это всегда разумно.

— Помнится, я когда-то была тебе полезна.

— Когда-то — да.

— Я уверена, что могу на тебя положиться.

— Конечно, только не слишком ли много ты от меня хочешь? Как мы можем быть уверены в чем бы то ни было?

— Джим! — вскричала вдруг она. — Ты должен мне помочь!

— Дорогая, я к твоим услугам. Сделаю для тебя все возможное, — ответил он; правила их языка требовали отвечать на любую откровенность заведомой ложью. «Лилиан совершает ошибку», — подумал он и порадовался, что имеет дело со слабеющим противником. Он заметил, что она даже за своей внешностью следит уже не столь тщательно, как раньше. Из прически выбилось несколько прядей, лак на ногтях, подобранный в тон платью, был оттенка запекшейся крови, но не составляло труда заметить, что в некоторых местах он потрескался и сошел, в прямоугольном вырезе платья блестела булавка, скрепляющая бретельку бюстгальтера.

— Ты должен помешать этому! — воинственно заявила она. — Его необходимо избежать!

— Вот как? Чего же?

— Моего развода.

— А!..

Он сразу посерьезнел.

— Ты знаешь, что он хочет развестись со мной, не так ли?

— До меня доходили такие слухи.

— Развод назначен на следующий месяц. Подчеркиваю: назначен. О, Хэнку это обошлось недешево, он купил судью, секретарей, судебных исполнителей, их покровителей, покровителей их покровителей, нескольких конгрессменов, с полдюжины клерков — короче, купил весь судебный процесс, будто частную дорогу, и нет ни единого перекрестка, куда я могла бы протиснуться и остановить движение.

— Понятно.

— Ты, конечно, знаешь, что заставило его начать бракоразводный процесс?

— Догадываюсь.

— А я сделала это из-за тебя! — она уже почти визжала. — Я сказала ему о твоей сестре, чтобы дать тебе возможность получить эту дарственную для твоих друзей, которые…

— Клянусь, я не знаю, кто разболтал! — торопливо выкрикнул Джеймс. — Очень немногие наверху знали, что мой осведомитель — ты, и я

уверен, никто не посмел бы упомянуть…

— О, я-то знаю, что никто не посмел. Но у него достаточно ума, чтобы догадаться, разве не так?

— Да, надо полагать. Что ж, в таком случае ты понимала, что рискуешь.

— Я не думала, что он зайдет так далеко. Не думала, что станет со мной разводиться. Не думала…

Джеймс едко усмехнулся:

— Не думала, что на чувстве вины долго не поиграешь, а, Лилиан?

Она наградила его долгим пронизывающим взглядом, потом холодно ответила:

— И не думаю.

— С такими людьми, как твой муж, приходится.

— Я не хочу расторжения брака! — это был уже вопль. — Не хочу давать ему свободу! Не допущу этого! Не допущу, чтобы вся моя жизнь пошла под откос!

И внезапно умолкла, словно призналась слишком во многом.

Джеймс негромко засмеялся и неторопливо кивнул с умным, чуть ли не величественным видом, показывая, что полностью ее понимает.

— Я хочу сказать… как-никак, он мой муж, —

словно оправдываясь, произнесла она.

— Да, Лилиан. Ясное дело.

— Знаешь, что у него на уме? Он хочет получить постановление суда о разводе и оставить меня без гроша — без недвижимости, без алиментов, ни с чем! Хочет, чтобы последнее слово осталось за ним. Неужели не понятно? Если ему это удастся, тогда… тогда эта дарственная для меня вовсе не победа!

— Да, дорогая, понимаю.

— Кроме того… нелепо, что приходится об этом думать, но на что я буду жить? Те небольшие средства, что у меня есть, сейчас ничего не значат. Это в основном акции заводов времен моего отца, давным-давно закрывшихся. Что я буду делать?

— Но, Лилиан, — негромко сказал Джеймс, — я думал, ты не заботишься о деньгах или каких-то компенсациях.

— Ты не понимаешь?!! Я веду речь не о деньгах, я говорю о нищете! Настоящей, отвратительной нищете в каком-нибудь заштатном, вонючем пансионе! Это немыслимо для любого цивилизованного человека! Я… я должна беспокоиться о плате за еду и жилье?

Джеймс наблюдал за ней с легкой улыбкой:

впервые ее вялое, стареющее лицо, казалось, обрело осмысленное выражение, и он понимал его — впрочем, лишь настолько, насколько хотел. Не более.

— Джим, ты должен мне помочь! Мой адвокат бессилен. Я истратила те небольшие деньги, что были у меня, на него, на его частных детективов, друзей и посредников, но они смогли лишь сообщить, что бессильны. Сегодня адвокат дал мне окончательный отчет. Сказал напрямик, что у меня нет ни единого шанса. Я не знаю никого, кто способен помочь мне в таком положении. Рассчитывала на Бертрама Скаддера, но… сам знаешь, что с ним случилось. И тоже потому, что я старалась помочь тебе. Ты сумел вывернуться. Джим, ты единственный, кто теперь может спасти меня. У тебя есть кротовые ходы к самому верху. Ты можешь связаться с большими ребятами. Замолви словечко своим друзьям, чтобы те замолвили своим. Одного намека Уэсли будет достаточно. Пусть распорядится, чтобы в постановлении о разводе было отказано. Сделай это.

Джеймс покачал головой — неторопливо, почти сочувственно, словно утомленный профессионал, глядя на чрезмерно усердного дилетанта.

— Невозможно, Лилиан, — твердо ответил

он. — Я хотел бы это сделать — по тем же причинам, что и ты — и думаю, ты это знаешь. Но всего моего могущества в данном случае недостаточно.

Лилиан смотрела на него погасшими, безжизненными глазами. Когда она снова заговорила, губы ее искривились в таком злобном презрении, что он осмелился признать лишь то, что это презрение относится к ним обоим:

— Знаю, что хотел бы.

Джеймс не желал притворяться; впервые, в этом случае, правда казалась приятной — правда впервые служила его удовольствию.

— Думаю, ты понимаешь, что это невозможно, — сказал он. — В наши дни никто не делает одолжений, если ничего за это не получает. А ставки становятся все выше и выше. Кротовые ходы, как ты их назвала, слишком сложны, слишком запутанны; у каждого есть какой-то компромат на всех остальных, но никто не смеет действовать, потому что не знает, кто первым решится донести, о чем и когда. Поэтому каждый будет делать ход только при крайней необходимости, когда ставка «жизнь или смерть» — практически только на эту ставку сейчас и ведется игра. Ну а что твоя частная жизнь для этих ребят?

Ты хочешь удержать мужа, а им-то что до этого? Ни холодно, ни жарко. Мои личные возможности? Сейчас я ничего не могу предложить за попытку лишить судебную клику выгодной сделки. Притом ребята там, наверху, не пойдут на это ни за какие деньги. Им нужно быть очень осторожными с твоим мужем — сейчас под него не подкопаешься — после выступления моей сестры по радио.

— Ты попросил меня заставить ее выступить!

— Знаю, Лилиан. В тот раз мы оба проиграли. Оба проигрываем и теперь.

— Да, — кивнула она с тем же мрачным презрением в глазах, — оба.

Презрение такого рода доставляло ему удовольствие: странное, беззаботное, непривычное удовольствие сознавать, что эта женщина увидела его таким, какой он есть, однако остается в его обществе, сидит на месте, откинувшись в кресле, словно признавая свою зависимость.

— Ты удивительный человек, Джим, — сказала Лилиан. Это прозвучало как проклятие. Однако была в нем и дань восхищения; она не имела в виду ничего другого, ведь оба сознавали, что вращаются в тех кругах, где проклятье является ценностью.

— Знаешь, — неожиданно произнесла Лилиан, — насчет этих помощников мясника, таких как Гонсалес, ты не прав. Польза от них есть. Тебе нравится Франсиско д'Анкония?

— Терпеть его не могу.

— Знаешь истинную цель вечеринки, которую устроил сегодня сеньор Гонсалес? Отпраздновать соглашение национализировать «Д'Анкония Коппер» через месяц.

Она бросила взгляд на Джеймса; уголки ее губ чуть приподнялись в улыбке:

— Он был твоим другом, не так ли?

Это было сказано таким тоном, какого Джеймс раньше не удостаивался: в ее голосе звучало чувство, дававшееся ему лишь обманом, — восхищение. И Джеймс вдруг понял, что это и было целью его беспокойных часов, тем удовольствием, найти которое он отчаялся, тем признанием, которого ему не хватало.

— Давай выпьем, Лил, — предложил он.

Разливая по стаканам виски, Джеймс взглянул на нее, удобно устроившуюся в кресле.

— Пусть он получает развод. Последнее слово будет не за ним. Его скажут помощники мясника. Сеньор Гонсалес и Каффи Мейгс.

Лилиан не ответила. Когда Джеймс подошел,

она небрежно, равнодушно взяла у него стакан. И выпила… не как принято в высшем обществе, а как горький пьяница в салуне — с жадностью, одним глотком.

Джеймс сел на валик кушетки, неподобающе близко к ней, и, потягивая виски, наблюдал за ее лицом. Через некоторое время спросил:

— Что он думает обо мне?

Вопрос как будто ничуть не удивил ее.

— Думает, что ты дурак. Считает, жизнь слишком коротка, чтобы замечать твое существование.

— Заметит, если…

Он не договорил.

— …Если огреешь его по голове дубиной? Не уверена. Он просто обвинит себя в нападении. Но, с другой стороны, это был бы твой единственный шанс.

Лилиан сползла в кресле еще ниже, выпятив живот, будто позволяла Таггерту такую степень интимности, которая не требует ни манер, ни уважения.

— Это первое, что я заметила в нем, — заговорила она, — когда мы познакомились: он не боялся. Выглядел уверенным, что никто из нас ничего не может ему сделать, — до того уверенным,

что ни секунды в себе не сомневался.

— Когда ты видела его в последний раз?

— Три месяца назад. Мы не встречались после… после той дарственной.

— Я видел его на позапрошлой неделе, на собрании промышленников. Выглядит он таким же уверенным — даже еще более… — И добавил: — Ты потерпела крах, Лилиан.

Она не ответила. Тыльной стороной ладони смахнула с головы шляпку — та скатилась на ковер, перо загнулось, будто вопросительный знак.

— Помню тот день, когда впервые увидела его заводы, — негромко продолжила она. — Его заводы! Ты представить себе не можешь, как он к ним относился. Не можешь вообразить, какая надменность требуется, чтобы считать, что все принадлежащее ему, все, чего он коснется, становится священным от одного его прикосновения. Его заводы, его металл, его деньги, его постель, его жена! — она подняла взгляд на Джеймса; в могильной пустоте ее глаз угадывалось легкое мерцание. — Он никогда не замечал твоего существования. Но замечал мое. Я все еще миссис Риарден — по крайней мере, на месяц.

— Да… — сказал Джеймс, взглянув на нее с внезапно вспыхнувшим интересом.

— Миссис Риарден! — усмехнулась она. — Ты представить себе не можешь, что для него это значило. Ни один лорд никогда не ощущал и не требовал такого почтения к титулу жены, не считал это звание символом такой чести. Его несгибаемой, священной, неприкосновенной, незапятнанной чести! — она небрежно повела рукой и усмехнулась: — Жена Цезаря! Помнишь, какой надлежит ей быть? Нет, вряд ли. Ей надлежит быть вне подозрений.

Джеймс смотрел на нее тяжелым, невидящим взглядом бессильной ненависти — ненависти, символом, а не объектом которой вдруг стала Лилиан.

— Ему не понравилось, когда его металл смог производить любой, кто захочет… так ведь?

— Да, не понравилось.

Слова его звучали чуть невнятно, словно сказывался выпитый виски.

— Только не говори, что помогла нам получить от него дарственную в виде услуги мне, а сама ничего с этого не поимела… Я знаю, почему ты это сделала.

— Ты знал еще тогда.

— Конечно. Вот потому, Лилиан, ты мне и нравишься.

Взгляд его постоянно возвращался к глубокому вырезу ее платья. А внимание привлекала не гладкая кожа, не откровенные выпуклости груди, а булавка за краем выреза.

— Хотел бы я видеть его побитым, — сказал Джеймс. — Хотел бы хоть раз услышать, как он вопит от боли.

— Не увидишь, Джимми.

— Почему он считает себя лучше нас… себя и мою сестрицу?

Лилиан усмехнулась. Джеймс вскочил, будто она его ударила. Подошел к бару и налил себе еще виски, не предложив ей.

Она заговорила, тупо глядя в пространство:

— Он замечал мое существование, хотя я не могу прокладывать для него железнодорожные пути и строить мосты во славу его металла. Я не могу строить ему заводы, но могу уничтожить их. Я не могу производить его сплав, но могу отнять. Я не могу заставить людей упасть на колени от восхищения, но могу просто поставить их на колени.

— Замолчи! — крикнул он в ужасе, словно она слишком приблизилась к тому окутанному туманом тупику, который не подлежит огласке.

Она посмотрела ему прямо в глаза:

— Какой же ты все-таки трус, Джим.

— Почему бы тебе не напиться? — отрывисто бросил он, поднеся свой недопитый стакан к ее губам так, будто хотел ударить.

Она вяло обхватила пальцами стакан и выпила, пролив виски на подбородок, на грудь, на платье.

— О, черт, Лилиан, ты вся облилась! — сказал он и, не потрудившись взять платок, стал смахивать жидкость ладонью. Пальцы его скользнули за вырез ее платья, сжали грудь, дыхание неожиданно прервалось с похожим на икоту звуком. Веки его смыкались, но он мельком увидел ее податливо запрокинутое лицо с чувственно приоткрытым ртом.

Когда Джеймс потянулся к ее губам, она покорно обняла его, но ответила не поцелуем, а лишь легким прикосновением. Он поднял голову и взглянул на нее. Зубы ее были обнажены в улыбке, но она смотрела мимо него, словно насмехаясь над кем-то невидимым; улыбка была безжизненной, злобной, как оскал голого черепа.

Он рывком прижал ее к себе, чтобы покончить с этим зрелищем и своей дрожью. Руки его механически двигались по ее телу, и она поддавалась, но так, что ему казалось, будто даже ее кожа

насмешливо хихикает. Оба совершали шаблонный ритуал, придуманный другими, но хорошо ими усвоенный в глумлении, в ненависти к его изобретателям.

Джеймс испытывал слепое, бездумное неистовство — отчасти страх, отчасти удовольствие: страх оттого, что творит нечто такое, в чем признаться никому не посмеет, удовольствие, что совершает это в кощунственном вызове именно тем, кому не посмеет признаться. Он был самим собой! Сознание словно бы кричало ему: «Наконец-то ты перестал кому-то подражать!»

Они не разговаривали. Мотив у них был один, и оба это понимали. Между ними прозвучали всего два слова:

— Миссис Риарден, — произнес Джеймс.

Они не смотрели друг на друга, когда Джеймс втолкнул ее в свою спальню, уложил на кровать и навалился на нее, будто на мягкую, набитую ватой куклу. На их лицах застыло выражение сообщников, соучастников в неприглядном деле — плутовское, бесстыдное выражение детей, тайком пишущих мелом на чужом заборе непристойные слова.

Когда все кончилось, Джеймс не был разочарован тем, что овладел вялым, излишне

податливым телом. Он хотел обладать не просто женщиной. Хотел совершить акт не прославления жизни, а торжества слабости.

Черрил отперла дверь и вошла тихо, почти тайком, словно надеялась, что ее не увидят или она сама не увидит эту квартиру, ставшую ее домом. Ощущение присутствия Дагни, ее мир, поддерживали Черрил на обратном пути, но когда она вошла в квартиру, ей показалось, что стены сдвинулись и она попала в удушливую западню.

В доме стояла тишина; из полуоткрытой двери в переднюю падал клин света. Черрил машинально пошла к своей комнате. Потом остановилась. Свет падал из двери кабинета Джима, и на освещенной полоске ковра она увидела женскую шляпку с чуть шевелившимся от сквозняка пером.

Черрил заглянула в дверь. Комната была пуста; она увидела два стакана — один на столе, другой на полу — и женскую сумочку на кресле. Она стояла в недоумении, пока не услышала приглушенные голоса из спальни Джима; слов она не могла разобрать, но улавливала интонацию: голос Джима звучал раздраженно, женский голос — презрительно.

Потом Черрил оказалась в своей комнате

и отчаянно пыталась запереть непослушными руками дверь. Она бросилась туда в слепой панике, словно это ей нужно было прятаться, словно ей нужно было бежать от мерзости быть пойманной с поличным; в ее душе смешались отвращение, жалость, смущение и нежелание встречаться с человеком, чья вина неоспорима.

Черрил стояла посреди комнаты, не представляя, что делать дальше. Потом колени ее подогнулись, она рухнула на пол и лежала, тупо глядя на ковер и сотрясаясь от дрожи.

Она испытывала не гнев, не ревность, а ужас столкновения с нелепой бессмысленностью. Это было осознание того, что все это не имеет смысла: ни их брак, ни его любовь к ней, ни его стремление удержать ее, ни эта нелепая измена. Она понимала, что искать объяснение всему случившемуся бесполезно. Зло всегда представлялось ей средством для достижения определенной цели; теперь же она видела зло ради зла.

Черрил не знала, как долго пролежала на полу до того, как услышала их шаги и голоса, потом звук закрывшейся входной двери. Она поднялась; в сознании не было ничего конкретного, ею руководил какой-то инстинкт, действовала она словно в пустоте, где честность уже ничего

не значит, но просто не могла поступить иначе.

Джима она встретила в прихожей. Какой-то миг они смотрели друг на друга, словно ни один из них не мог поверить в реальность другого.

— Когда вернулась? — отрывисто спросил он. — Ты давно дома?

— Не знаю…

Он всмотрелся в ее лицо:

— Что с тобой?

— Джим, я… — после недолгой борьбы с собой она сдалась и указала на дверь его спальни: — Джим, я знаю.

— Что знаешь?

— Ты был там… с женщиной.

Джеймс втолкнул ее в свой кабинет и захлопнул дверь, словно прячась непонятно от кого. В нем кипела с трудом сдерживаемая ярость, ему хотелось то ли взорваться, то ли сбежать. Из этой сумятицы чувств, как накипь, всплыла одна мысль: это ничтожество, женушка, лишила его радости триумфа, но он не откажется от своей новой победы.

— Да! — выкрикнул он. — Ну и что? Что ты теперь намерена делать?

Черрил безучастно уставилась на него.

— Да! Я был там с женщиной! Был, потому что

мне так захотелось! Думаешь, испугаешь меня своими вздохами и причитаниями, большими глазами и добродетельным хныканьем? — он сложил пальцы в фигу: — Вот что для меня твое мнение! Мне плевать на него! Держи его при себе! — ее бледное, беззащитное лицо будоражило Джеймса, доставляло ему садистскую радость, будто слова его — это удары ножом. — Думаешь, заставишь меня прятаться от стыда? Мне осточертело притворяться ради твоего праведного удовольствия! Что ты представляешь собой, черт возьми, жалкое, мелкое ничтожество? Я буду делать, что захочу, а ты будешь помалкивать и вести себя на людях подобающим образом, как и все остальные. Перестань требовать, чтобы я притворялся в своем собственном доме! У себя дома никто не церемонится, это спектакль для общества! Но если хочешь, чтобы я был на самом деле добродетельным — на самом деле, проклятая дурочка, — то тебе нужно быстрее повзрослеть!

Джеймс видел не ее, перед ним было лицо человека, которого он хотел уязвить тем, что сделал. В его глазах она всегда выступала представителем того человека, так что сейчас все оказалась весьма кстати. Таггерт злобно крикнул ей:

— Знаешь, кто эта женщина? Это…

— Нет! — воскликнула она. — Джим! Я не хочу знать!

— Это миссис Риарден! Миссис Хэнк Риарден!

Черрил попятилась. Джеймс испугался, потому что она смотрела на него так, словно видела то, в чем он боялся себе признаться. Спросила погасшим голосом, в котором слышались неуместные отголоски здравого смысла:

— Видимо, ты теперь захочешь развода?

Джеймс расхохотался:

— Чертова дура! Ты все о своем! Все еще хочешь большой и чистой любви! Я не подумаю разводиться с тобой, и не воображай, что дам тебе свободу! Думаешь, это так важно для меня? Послушай, дурочка, нет такого мужа, который не спит с другими женщинами, и нет такой жены, которая об этом не знает, но они об этом не говорят! Я буду спать, с кем хочу, ты делай то же самое, как все эти суки, и держи язык за зубами!

Он внезапно увидел в ее глазах новое, изумившее его выражение: ее взгляд был ясен и прям, в нем засветилась почти нечеловеческая сообразительность:

— Джим, если б я была способна на это, ты бы

на мне не женился.

— Верно…

— А почему женился?

Он почувствовал и облегчение оттого, что миг опасности миновал, и неодолимое желание бросить этой опасности вызов.

— Потому что ты была жалкой, беспомощной, нелепой уличной девчонкой, не имеющей возможности ни в чем сравняться со мной! Потому что думал, что будешь любить меня! Я думал, ты поймешь, что должна меня любить!

— Таким, какой ты есть?

— Не смея задаваться вопросом, какой я! Без причин! Не заставляя меня соответствовать одному, другому, третьему, чувствовать себя, будто на демонстрации мод, до конца дней!

— Ты любил меня… потому что я была никчемной?

— Ну, а какой, по-твоему, ты была?

— Любил за то, что была неотесанной?

— А чем еще ты могла похвастаться? Но у тебя не хватило скромности это оценить. Я хотел быть великодушным, хотел дать тебе спокойную жизнь, а откуда взяться спокойной жизни, если любить за добродетели? Конкуренция — штука жестокая, всегда найдется кто-то лучше! Но я…

я хотел любить тебя за твои изъяны, твои недостатки и слабости, за твои невежество, грубость, вульгарность, — и тут можно быть спокойной, тут нечего бояться, нечего скрывать, ты можешь быть сама собой, сохранять свою подлинную, дрянную, грешную, вздорную сущность — трущобную сущность простонародья, но могла бы сохранять и мою любовь, безо всяких требований!

— Ты хотел, чтобы я… принимала твою любовь… как милостыню?

— Ты воображала, что можешь ее заслужить? Воображала, что могла заслужить брак со мной, жалкая бродяжка? Я покупал таких, как ты, за цену ужина! Я хотел, чтобы ты знала: каждым своим шагом, каждой ложечкой икры ты обязана мне; ты не имела ничего, была никем и не могла надеяться оплатить это или заслужить!

— Я… старалась… это заслужить.

— А зачем ты была бы мне нужна, если бы заслужила?

— Ты не хотел этого?

— Ну и дура же ты!

— Не хотел, чтобы я становилась лучше? Чтобы поднималась? Ты считал меня неотесанной и хотел, чтобы я такой и оставалась?

— Зачем ты была бы нужна мне, если бы все это заслужила, если бы мне приходилось стараться удержать тебя, а ты могла бы при желании уйти?

— Ты хотел, чтобы это было милостыней... для обоих и от обоих? Хотел, чтобы мы были прикованы друг к другу, как нищие?

— Да, проклятая праведница! Да, чертова обожательница героев! Да!

— Ты избрал меня потому, что я была никчемной?

— Да!

— Джим, ты лжешь!

Он удивленно вскинул глаза.

— Те девушки, которых ты покупал за цену ужина, были бы рады обнажать свою трущобную сущность, они приняли бы твою милостыню и не пытались бы подняться, но ты не женился ни на одной из них. Ты женился на мне, так как знал, что я не приму трущобы ни вокруг себя, ни в себе, знал, что я старалась подняться и буду стараться впредь, так ведь?

— Да! Но что из того? — рявкнул Джеймс, окончательно растерявшись.

Тут мчавшееся на нее пятно света достигло своей цели; Черрил вскрикнула и попятилась

от Джеймса.

— Что с тобой?! — крикнул он, дрожа, не смея увидеть в ее глазах то, что видела она.

Черрил вытянула руки, пытаясь не то отогнать видение, не то удержать его; когда она ответила, это были единственные слова, какие она смогла найти:

— Ты… ты убийца… который убивает ради убийства.

Дрожа от страха, Джеймс яростно размахнулся и ударил ее по лицу.

Черрил ударилась о кресло и упала, но тут же подняла голову и посмотрела на него так, словно произошло именно то, чего она ожидала. Капелька крови медленно стекала из уголка ее рта.

Джеймс замер. Какой-то миг они смотрели друг на друга и не смели пошевелиться.

Черрил первой пришла в себя. Вскочила и бросилась бежать. Она выскочила из квартиры — Джеймс слышал, как она пробежала по коридору — и распахнула железную дверь запасного выхода, не задерживаясь, чтобы вызвать лифт.

Черрил бежала вниз по лестнице, наугад открывая двери на лестничных площадках; бежала по запутанным коридорам здания, затем снова

по лестнице, наконец, оказалась в вестибюле и вырвалась наружу.

Вскоре она обнаружила, что идет по замусоренному тротуару в темном районе; в похожем на пещеру входе в метро горела лампочка; на темной крыше прачечной светилась реклама крекеров. Она не понимала, как оказалась здесь. Разум ее работал урывками. Она сознавала только, что нужно бежать и что бегство невозможно.

«Нужно бежать от Джима», — думала она. «Куда?» — спросила она себя, бросая по сторонам взгляды, напоминающие крик о помощи. Она схватилась бы за любую работу — в магазине уцененных товаров, вот в этой прачечной, в любой из унылых лавочек, мимо которых шла. Но чем усерднее она станет работать, тем больше злобы встретит, не будет знать, когда от нее ждут правды, а когда лжи, но чем честнее будет, тем больше обманов получит взамен. Она уже навидалась и натерпелась их сполна в родительском доме, в трущобных забегаловках, но думала, что это мерзкие исключения, случайное зло, которое нужно оставить позади и забыть. Теперь она понимала, что это не так, что таков принятый всем миром моральный кодекс, что это кредо жизни, известное всем, но никем не названное,

сквозящее в тех хитрых, виноватых взглядах, которые она не могла понять, и что в корне этого кредо, сокрытого молчанием, поджидающего ее в подвалах домов и в подвалах людских душ, есть нечто, с чем невозможно жить.

«Почему вы так обходитесь со мной?» — безмолвно крикнула Черрил окружающей темноте. «Потому что ты порядочная», — казалось, ответил какой-то чудовищный смех с крыш и из сточных канав. «Тогда я больше не хочу быть порядочной». — «Но будешь». — «Я не могу». — «Будешь». — «Я не могу выносить этого». — «Будешь».

Черрил вздрогнула и пошла быстрее, но впереди, в туманной дали, увидела календарь над крышами. Было уже далеко за полночь, и на нем светилось «6 августа», но ей вдруг показалось, что она видит «*2 сентября*», написанное над городом кровавыми буквами. Черрил подумала: «Если я начну работать, бороться, подниматься вверх, то с каждым шагом буду получать все более жестокие удары, а в конце, чего бы ни достигла, будь то медеплавильная компания или собственный дом, увижу, как Джим прибирает все это к рукам в какое-нибудь второе сентября. Я увижу, как результат моего труда

исчезнет для оплаты вечеринок, на которых он заключает сделки с друзьями».

— Тогда я не стану! — выкрикнула Черрил, повернулась и побежала обратно, но, казалось, что в черном небе из пара прачечной возникла усмехающаяся громадная фигура: она меняла лица, но усмешка оставалась, и то были лица Джима, проповедника из ее детства, сотрудницы отдела кадров магазина, и эта усмешка словно говорила: «Люди вроде тебя всегда будут честными, люди вроде тебя всегда будут работать, так что мы в безопасности, а у тебя нет выбора».

Черрил побежала. Когда снова огляделась, она шла по тихой улице мимо стеклянных дверей подъездов, где горел свет в застеленных коврами вестибюлях роскошных зданий. Она обнаружила, что хромает, и увидела, что каблук одной туфли шатается — она сломала его на бегу.

Внезапно оказавшись на широком перекрестке, она увидела вдали силуэты огромных небоскребов. Они бездушно покоились в тумане, подсвеченные легким мерцанием зарева позади, напоминавшим прощальную улыбку. Когда-то они казались многообещающими, когда-то из окружающей ее тупой нищеты она смотрела на них, ища доказательства, что существуют

и другие люди. Теперь она понимала, что это памятники, стройные обелиски, вздымающиеся в память о своих погубленных создателях; они являли собой застывшую форму безмолвного крика о том, что награда за достижение — мученичество.

«Где-то в одной из этих эфемерных башен, — подумала она, — находится Дагни. Но Дагни одинокая жертва, ведущая безнадежную битву, ей предстоит погибнуть, скрыться в тумане небытия, подобно остальным».

«Идти некуда, — подумала Черрил и продолжала ковылять, — я не могу остановиться и не могу идти дальше, не могу ни работать, ни отдыхать, не могу ни капитулировать, ни сражаться, но это… это как раз то, чего они от меня хотят, — быть ни живой, ни мертвой, ни мыслящей, ни сумасшедшей, а просто вопящей от страха массой, из которой они смогут лепить все, что им вздумается… они — это те, у кого нет собственной формы».

Черрил погрузилась в темноту за углом, шарахаясь от каждого встречного. «Нет, — думала она, — не все люди злы… они лишь жертвы, но они разделяют кредо Джима, и я, зная это, не могу с ними общаться… и если заговорю с ни-

ми, они постараются сделать мне добро, но мне слишком хорошо известно, что они считают добром, и я увижу смерть, глядящую из их глаз».

Тротуар сузился до грязной полоски; у подъездов домов с потрескавшимися стенами стояли переполненные мусорные баки. За тусклыми огнями салуна Черрил увидела светящуюся надпись «Женский клуб отдыха» над запертой дверью. Она знала подобные учреждения и женщин, которые ими управляли, женщин, говоривших, что их работа — помогать страждущим. «Если б я вошла, — подумала Черрил, ковыляя мимо, — если б попросила у них помощи, они бы спросили: «В чем твоя вина? Пьянство? Наркотики? Беременность? Магазинные кражи?» Я бы ответила: «Я ни в чем не виновна, однако...». «Извините. Страдания невиновных нас не касаются».

Черрил снова побежала. Остановилась на углу длинной, широкой улицы. Здания и тротуар сливались с небом; две цепочки зеленых огней светофоров висели в пространстве, уходя в бесконечную даль, к другим городам, океанам, чужим землям, словно опоясывая земной шар. У этих зеленых огней был безмятежный вид, они походили на манящий, бесконечный путь, открытый для любого желающего. Потом огни переклю-

чились на красные, грузно опустились ниже, превратились из четких кружков в расплывчатые пятна, в предупреждение о неминуемой опасности. Черрил остановилась и смотрела на проезжавший мимо грузовик: его огромные колеса вдавливали еще один слой грязи в истертые булыжники улицы.

Светофоры снова вспыхнули зеленым, но Черрил стояла, дрожа, не в силах шевельнуться. «Вот так регулируются движения тела, — подумала она, — но что они сделали для движения души? Ввели сигналы-антиподы: дорога безопасна, когда горят красные огни зла, но когда вспыхивают зеленые огни добродетели, обещая тебе безопасность, ты идешь и попадаешь под колеса. Эти обманные огни тянутся по всему миру, во все страны, опоясывая весь мир. И планета усеяна калеками, не знающими, что погубило их и почему; они тащатся из последних сил на изувеченных ногах по своей беспросветной жизни, считая, что боль — это суть существования, а регулировщики морали посмеиваются и говорят, что человек по природе своей не способен ходить».

Этих слов не было в сознании Черрил, но она наверняка произнесла бы их, если бы смогла най-

ти; вместо них в ней внезапно вспыхнула ярость, заставившая ее колотить кулаками по железному столбу светофора, по раструбу, хрипевшему насмешливым скрежетом звуковых сигналов.

Черрил не могла разбить его кулаками, не могла уничтожить все столбы на улице, уходящей за горизонт, как не могла выбить это кредо из душ людей, которые будут встречаться ей день за днем. Она больше не могла иметь с ними дела, не могла идти тем путем, каким шли они. Но что она могла сказать им, она, не имевшая слов назвать то, что знает, не имевшая голоса, который они бы услышали? Что она могла сказать им? Как могла убедить?

Где люди, которые умеют говорить? Этих слов у нее тоже не было, были только удары кулаков о металл, потом она вдруг увидела себя, разбивающую до крови костяшки пальцев о железный столб. Это зрелище заставило ее содрогнуться, и она заковыляла прочь. Шла, не видя ничего вокруг, с ощущением, что оказалась в лабиринте, откуда нет выхода.

«Нет выхода, — вторили ей обрывки сознания, вколачивая это в тротуар звуком ее шагов, — нет выхода… нет спасения… нет помощи… нет возможности отличить гибель от безопасности

или друга от врага». «Будто та собака, о которой я слышала, — думала Черрил, — какая-то собака в чьей-то лаборатории… собака, которой поменяли сигналы… и она не могла отличить сигналы удовольствия от сигналов угрозы… по сигналу кормежки получала наказание, по сигналу наказания — еду; понимала, что глаза и уши обманывают ее, что ее восприятие ошибочно, а сознание бессильно во внезапно изменившемся мире — и сдалась, отказалась есть или жить такой ценой…» «Нет! — это было единственной осмысленной реакцией. — Нет! Нет! Не ваш это путь, не ваш мир, даже если нет — все, что осталось от моего!»

В самый темный час ночи в проходе между складами и причалами Черрил обнаружила работница патронажной службы. Серое пальто и серое лицо этой женщины сливались со стенами домов. Она заметила молодую даму в слишком элегантном и дорогом для этой округи костюме, без шляпки, без сумочки, со сломанным каблуком, взъерошенными волосами и ссадиной в уголке рта, слепо бредущую, не отличая тротуаров от проезжей части. Улица представляла собой узкую щель между глухими массивами складов; луч света с трудом пробивал влажный

туман с запахом затхлой воды; оканчивалась она у каменного парапета на краю громадной черной пустоты, где сливались небо и река.

Патронажная работница подошла к ней, сурово спросила: «Вы попали в беду?» — и увидела один настороженный глаз, локон, закрывающий другой, лицо дикого существа, забывшего звук человеческой речи, но прислушивающегося, будто к далекому эху, с опаской и вместе с тем с надеждой.

Патронажная работница взяла ее за руку.

— Стыдно напиваться до такого состояния… если б вам, светским женщинам, было, чем заняться, кроме удовлетворения своих прихотей и погони за удовольствиями, вы бы не шлялись пьяной, как бродяга, в этот час ночи… если б перестали жить своими капризами, перестали думать о себе и нашли более высокую…

Тут молодая женщина закричала — вопль ее бился о глухие бастионы улиц, словно в камере пыток, это был животный ужас. Она вырвала руку, отскочила назад, потом выкрикнула:

— Нет! Нет! Это не ваш мир!

Затем побежала, движимая внезапным порывом — порывом существа, спасающегося бегством от мерзостей судьбы; она бежала прямо по улице,

к реке и, не останавливаясь, без малейшего колебания, перепрыгнула через парапет и бросилась в воду.

ГЛАВА V. СТОРОЖА БРАТЬЯМ СВОИМ

Утром второго сентября в Калифорнии, у Тихоокеанской ветки *«Таггерт Трансконтинентал»*, между двумя телеграфными столбами порвался медный провод.

С полуночи лениво моросил мелкий дождь, и восхода не было, был только серый свет, просачивавшийся сквозь густые тучи, и блестящие дождевые капли на проводах сверкали искрами на фоне мелового неба, свинцового океана и стальных буровых вышек, торчавших нелепой щетиной на голом склоне холма. Провода износились, они прослужили больше лет и перенесли больше дождей, чем положено; один из них все больше и больше провисал под грузом воды; потом на изгибе провода появилась последняя капля, она висела, будто хрустальная бусинка, несколько секунд набирая вес; бусинка и провод одновременно не смогли выносить своего веса, провод лопнул, и обрывки его упали вместе с бусинкой — беззвучно, словно слезы.

Когда в управлении Тихоокеанского отделения стало известно об этом обрыве, служащие прятали друг от друга глаза. Давали вымученные,

невнятные объяснения случившемуся, однако все понимали, в чем дело. Все знали, что медный провод — редкий товар, более драгоценный, чем золото или честь; знали, что заведующий складом отделения несколько недель назад продал запас провода неизвестным, появившимся ночью торговцам, которые днем были не бизнесменами, а простыми людьми с влиятельными друзьями в Сакраменто и Вашингтоне, как и недавно назначенный новый завскладом имел в Нью-Йорке друга по имени Каффи Мейгс, о котором никто ничего не спрашивал. Знали, что человек, который возьмет на себя ответственность распорядиться о ремонте и поймет, что ремонт невозможен, навлечет на себя обвинения со стороны неизвестных врагов; что его сотрудники станут странно молчаливыми и не захотят давать показаний, чтобы помочь ему; что он ничего не докажет, а если попытается, то недолго задержится на этой работе. Они не знали, что безопасно, а что нет, теперь, когда наказывают невинных; они понимали, как животные, что когда сомневаешься и боишься, единственной защитой является молчание. И молчали; говорили лишь о соответствующих процедурах отправления сообщений соответству-

ющему руководству в соответствующий момент.

Молодой дорожный мастер вышел из здания управления, зашел в телефонную кабинку у аптеки, где его никто не мог увидеть, и оттуда за свой счет, не считаясь с расстоянием и целым рядом непосредственных руководителей, позвонил Дагни Таггерт в Нью-Йорк.

Дагни приняла звонок в кабинете брата, прервав срочное совещание. Молодой дорожный мастер сказал ей только, что линия порвана, и проводов для ремонта нет; больше он не сообщил ничего и не объяснил, почему счел необходимым позвонить лично ей. Дагни не стала спрашивать: она поняла.

— Спасибо, — вот и все, что она произнесла в ответ.

В ее кабинете была особая картотека всех еще имевшихся в наличии дефицитных материалов в отделениях *«Таггерт Трансконтинентал»*. Там, как в деле о банкротстве, содержались сведения о потерях, а редкие записи о новых поставках напоминали злорадные смешки некоего мучителя, бросающего крохи голодающей стране. Дагни просмотрела бумаги в папке, закрыла ее, вздохнула и сказала:

— Эдди, позвони в Монтану, пусть отправят

половину своего запаса провода в Калифорнию. Монтана сможет продержаться без него еще неделю.

Когда Эдди Уиллерс собрался возразить, она добавила:

— Нефть, Эдди. Калифорния — один из последних оставшихся поставщиков нефти в стране. Калифорнийскую линию терять нельзя.

И вернулась на совещание в кабинет брата.

— Медный провод? — вскинул брови Джеймс Таггерт и отвернулся к городу за окном. — В ближайшее время никаких проблем с медью не ожидается.

— Почему? — спросила Дагни, но он не ответил. За окном не было видно ничего особенного, только ясное небо, неяркий послеполуденный свет на городских крышах, а над ними календарь, гласивший: «2 сентября».

Дагни не знала, почему Джеймс потребовал провести совещание в своем кабинете, почему настоял на разговоре с ней с глазу на глаз, чего всегда старался избегать, и почему все время поглядывал на наручные часы.

— Дела, мне кажется, идут плохо, — сказал он. — Нужно что-то предпринимать. По-моему, возникли путаница и неразбериха, ведущие

к нескоординированной, неуравновешенной политике. Я имею в виду, что в стране существует громадный спрос на перевозки, однако мы теряем деньги. Мне кажется…

Дагни сидела, глядя на отцовскую карту *«Таггерт Трансконтинентал»* на стене его кабинета, на красные артерии, вьющиеся по желтому материку. Было время, когда эта железная дорога называлась кровеносной системой страны, и поток поездов казался кровообращением, несущим развитие и процветание всем самым пустынным районам. Теперь он по-прежнему походил на ток крови, но лишь в одну сторону, словно из раны, уносящий из тела последние остатки питания и жизни. «Одностороннее движение, — равнодушно подумала она, — движение потребителей».

Вот поезд сто девяносто три, думала она. Полтора месяца назад он отправился с грузом стали не в Фолктон, штат Небраска, где *«Спенсер Машин Тул Компани»*, лучший из еще существующих станкостроительных концернов, простаивал две недели в ожидании этой отправки, а в Сэнд-Крик, штат Иллинойс, где *«Конфедерейтед Машин»* пребывал в задолженности больше года, так как выпускал ненадежную продукцию

в непредсказуемое время. Сталь была отправлена туда по директиве, где объяснялось, что *«Спенсер Машин Тул Компани»* — богатый концерн и может подождать, а *«Конфедерейтед Машин»* — банкрот, и нельзя допустить, чтобы эта компания потерпела крах, потому что она — единственный источник существования для жителей Сэнд-Крика. Концерн *«Спенсер Машин Тул Компани»* закрылся месяц назад. *«Конфедерейтед Машин»* двумя неделями позже.

Жителей Сэнд-Крика перевели на государственное пособие, однако в опустевших житницах страны нельзя было срочно найти для них продовольствия, поэтому по приказу Совета Равноправия было конфисковано семенное зерно фермеров Небраски, и поезд № 193 повез непосеянный урожай и будущее жителей штата Небраска, чтобы их съели жители штата Иллинойс.

«В наш просвещенный век, — сказал по радио Юджин Лоусон, — мы, наконец, пришли к пониманию того, что каждый из нас — сторож брату своему»[4].

— В такой ненадежный критический период,

[4] Примечания: 4

«И сказал Господь Каину: где Авель, брат твой? Он сказал: не знаю, разве я сторож брату моему?» Бытие, 4:9.

как нынешний, — говорил Джеймс, пока Дагни разглядывала карту, — опасно задерживать, хоть и вынужденно, зарплату и накапливать задолженности в каком-то из наших отделений; положение это, конечно, временное, однако…

Дагни усмехнулась:

— План объединения железных дорог не работает, а, Джим?

— Прошу прощения?

— Ты должен получить большую часть валового дохода «*Атлантик Саусерн*» из общего пула в конце года — только никакого валового дохода не будет, так ведь?

— Это неправда! Дело только в том, что банкиры саботируют план! Эти мерзавцы, дававшие нам займы в прежние дни безо всяких гарантий, кроме нашей дороги, теперь отказываются дать мне жалкие несколько сотен тысяч на краткий срок, чтобы выплатить кое-где зарплату, хотя я могу предложить им в качестве гарантии все железные дороги страны!

Дагни усмехнулась.

— Мы ничего не можем поделать! — выкрикнул Джеймс. — План ни при чем, если кто-то отказывается нести свою часть общего бремени!

— Джим, это все, что ты хотел мне сказать?

Если да, я пойду. У меня много дел.

Джим бросил взгляд на часы.

— Нет-нет, не все! Нам очень важно обсудить положение и прийти к какому-то решению, которое…

Дагни равнодушно слушала очередной поток общих рассуждений, недоумевая, какой мотив за ними стоит. Он топтался на месте, но за этим что-то крылось; она была уверена, что он задерживает ее с какой-то целью и вместе с тем просто хочет остаться один. Это было новой чертой Джеймса, которую она стала замечать после смерти Черрил. Он без предупреждения примчался к ней вечером того дня, когда было обнаружено тело его жены, и рассказ какой-то патронажной работницы, видевшей его, заполнил все газеты. Не находя никакого мотива покончить с собой, газетчики назвали это «необъяснимым самоубийством».

— Я не виноват! — кричал он Дагни, словно она была единственным судьей, которого ему требовалось убедить. — я неповинен в этом! Неповинен!

Он дрожал от ужаса, тем не менее она заметила несколько брошенных на нее пытливых взглядов, в которых ей почудился проблеск какого-то

непонятного торжества.

— Убирайся, Джим, — только и сказала она ему.

Больше Джеймс не заговаривал с ней о Черрил, но стал заходить в ее кабинет чаще, чем прежде, останавливал ее в коридоре для кратких бессмысленных дискуссий, и в такие минуты у нее возникало чувство, что когда он жмется к ней для поддержки и защиты от какого-то страха, то хочет вонзить нож ей в спину.

— Мне необходимо знать, что ты думаешь, — настойчиво твердил Джеймс, хотя Дагни смотрела в сторону. — Необходимо обсудить положение и…

— …И ты ничего не сказал, — сказала Дагни, не поворачиваясь к нему. — Глупо болтать, что на железнодорожном бизнесе невозможно заработать, но…

Дагни резко взглянула на Джеймса; тот поспешно отвел взгляд.

— Я хочу сказать, что нужно выработать какую-то конструктивную политику, — торопливо продолжал он. — Что-то должно быть сделано… кем-нибудь. При критическом положении…

Дагни понимала, чего он хотел избежать, какой намек дал ей, хотя и не хотел, чтобы она его об-

суждала. Она знала, что невозможно соблюдать ни одно расписание поездов, выполнять какие-либо обещания или договоренности, что плановые поезда отменяются ни с того, ни с сего, превращаются в «составы особого назначения» и отправляются по необъяснимым распоряжениям в неожиданные места, и что распоряжения эти исходят от Каффи Мейгса, единственного арбитра в чрезвычайных обстоятельствах и в вопросах общественного благосостояния.

Она знала, что заводы закрываются: одни из-за того, что не получили сырья, другие потому, что их склады полны товаров, которые невозможно вывезти. Знала, что старые предприятия-гиганты, наращивавшие мощь, следуя целенаправленным, перспективным курсом, брошены на произвол судьбы, которую невозможно предвидеть. Знала, что лучшие из них, самые крупные, давно сгинули, а та «мелочь», что осталась, силилась что-то производить, отчаянно стараясь соблюдать моральный кодекс этого времени, когда производство просто невозможно: теперь в договоры вставляли постыдную для потомков Ната Таггерта строку: «Разрешение на перевозку».

Однако существовали люди — и Дагни это

знала, — способные получать транспортные средства в любое время, словно благодаря какой-то непостижимой тайне, какой-то силе, не подлежащей ни сомнению, ни объяснению.

То были люди, дела которых с Каффи Мейгсом считали частью той новой веры, что карает наблюдателя за грех наблюдения, поэтому все закрывали глаза, страшась не неведения, а знания. Дагни слышала, что подобные сделки называют «транспортная протекция» — термин, который все понимали, но никто не осмеливался конкретизировать. Она знала, что эти люди заказывают «составы особого назначения», они способны отменить ее плановые поезда и послать их в любую точку континента, которую решили отметить своим магическим штампом, ставящим крест на договорах, собственности, справедливости, разуме и жизни; штампом, утверждающим, что «общественное благосостояние» требует «оперативного вмешательства». Эти люди отправляли поезда на выручку компании «Смэзерс Бразерс» с их урожаем грейпфрутов в Аризоне, на выручку производящему машины для китайского бильярда заводу во Флориде, на выручку коневодческой ферме в Кентукки, на выручку компании *«Ассошиэйтед Стил»*, принадлежа-

щей Оррену Бойлю. Эти люди заключали сделки с дошедшими до отчаяния промышленниками на предоставление транспорта для лежащих на складах товаров или, не получив требуемых процентов, когда завод закрывался, договаривались о покупке по бросовым ценам, десять центов за доллар, и срочно везли товары во вдруг нашедшихся вагонах туда, где торговцы тем же продуктом обрекались на заклание. Эти люди следили за заводами, дожидаясь последнего вздоха доменной печи, чтобы наброситься на оборудование, и за брошенными железнодорожными ветками, чтобы наброситься на товарные вагоны с недоставленным грузом. Это был новый биологический вид — бизнесмены-налетчики, которых хватало лишь на одну сделку, без служащих, которым нужно платить зарплату, без каких-либо накладных расходов, недвижимости и оборудования; единственным их активом и аргументом было понятие «дружба». В официальных речах таких людей именовали «прогрессивными бизнесменами нашего динамичного века», но в народе называли «торговцами протекциями», и в этом биологическом виде существовало много подвидов: породы «транспортных протекций», «сырьевых протекций», «нефтяных протекций»,

«протекций по повышению зарплаты» и «по вынесению условных приговоров» — эти люди были необыкновенно мобильными: они носились по всей стране, когда никто другой ездить не мог, они были деятельными и бездушными, но не как хищники, а как черви, что плодятся и кормятся в мертвом теле.

Дагни знала, что железнодорожный бизнес должен приносить деньги, и знала, кто их теперь получает. Каффи Мейгс продавал поезда, последние железнодорожные запасы как только мог, устраивал все так, чтобы этого нельзя было обнаружить или доказать: рельсы продавал в Гватемалу или трамвайным компаниям в Канаде, провода — изготовителям автоматических проигрывателей, шпалы — на топливо для курортных отелей.

«Важно ли, — думала Дагни, глядя на карту, — какую часть трупа пожрут черви, которые кормятся сами или те, что дают пищу другим червям? Пока плоть служит пищей, не все ли равно, чьи желудки она наполняет?» Невозможно было понять, какой урон нанесли гуманисты, а какой — откровенные гангстеры. Оставалось неясным, какие хищения подсказаны страстью к благотворительности Лоусона, а какие — нена-

сытностью Каффи Мейгса, понять, какие города уничтожены для прокормления других, находившихся на неделю ближе к черте голода, а какие — чтобы обеспечить яхтами торговцев протекциями. Не все ли равно? И те и другие были одинаковы и по сути своей, и по духу; и те и другие нуждались, а нужда была единственным правом на собственность; и те и другие действовали в полном соответствии с одним и тем же моральным кодексом. И те и другие считали принесение в жертву людей правильным. Невозможно было понять, кто — каннибалы, а кто — жертвы. Города, в которых как должное принимали одежду и топливо, отобранные у соседей на востоке, через неделю обнаруживали, что у них конфискуют зерно, чтобы накормить соседей на западе. Так осуществлялась и доводилась до совершенства вековая мечта: люди стали служить потребности как высшему принципу, как первому долгу, как критерию ценности; люди стали видеть в ней что-то более священное, чем право и жизнь. Людей сталкивали в яму, где каждый кричал, что человек — сторож брату своему, пожирал соседа и становился пищей другого соседа; каждый провозглашал праведность незаработанного и удивлялся, кто же это сдирает

кожу с его спины.

«На что они теперь могут жаловаться? — прозвучал в сознании Дагни голос Хью Экстона. — На то, что Вселенная иррациональна? Но так ли это?»

Она смотрела на карту; взгляд ее был бесстрастным, серьезным, словно любые эмоции были недопустимы при созерцании этой потрясающей силы логики. Она видела — в хаосе гибнущего континента — математически точное осуществление всех идей, которые владели людьми. Они не хотели знать, что это именно то, к чему они стремились, не хотели видеть, что у них есть возможность желать, но нет возможности грабить, и они полностью добились исполнения своих желаний. «Что они думают теперь, эти поборники потребности и любители жалости? — думала Дагни. — На что рассчитывают? Те, кто некогда, глупо улыбаясь, говорили: «Я не хочу разорять богатых, я хочу лишь забрать немного от их избытка, чтобы помочь бедным, самую малость, богатые этого даже не заметят!», потом рычали: «Из магнатов можно жать деньгу, они накопили столько, что хватит на три поколения», затем кричали: «Почему люди должны страдать, когда у бизнесменов есть запасы на це-

лый год?», а теперь вопили: «Почему мы должны голодать, когда у некоторых есть запасы на неделю?» На что они рассчитывают?» — думала она.

— Ты должна что-то сделать! — выкрикнул Джеймс Таггерт.

Дагни повернулась к нему.

— Я?

— Это твоя работа, твоя сфера, твой долг!

— Что значит «мой долг»?

— Работать. Делать.

— Делать… что?

— Откуда мне знать? Это твой особый талант. Ты же у нас так изобретательна.

Дагни удивленно взглянула на него: его слова звучали совершенно неуместно. Она поднялась.

— Это все, Джим?

— Нет! Нет! Я хочу все обсудить!

— Начинай.

— Но ты ничего не сказала!

— Ты тоже.

— Но… я веду речь о том, что есть практические проблемы, которые нужно решать… К примеру, куда девались со склада в Питтсбурге полученные по последней разнарядке рельсы?

— Каффи Мейгс украл их и продал.

— Докажи! — рявкнул Джим.

— А что, твои друзья оставляют нам возможность что-то доказать?

— Тогда не говори об этом, не теоретизируй, нужно иметь дело с фактами! Такими, какие они есть на сегодняшний день… То есть нужно быть реалистичными и придумать какое-то практическое средство защищать наши интересы при существующих условиях, а не по недоказуемым предположениям, которые…

Дагни усмехнулась. «Вот форма бесформенного, — подумала она, — вот стиль работы его сознания: он хочет, чтобы я защищала его от Каффи Мейгса, не признавая существования последнего, чтобы сражалась со злом, не признавая его реальности, чтобы победила, не портя ему игры».

— Что тебя смешит, черт возьми? — гневно спросил Джеймс.

— Ты знаешь.

— Не понимаю, что с тобой! Не знаю, что с тобой случилось… в последние два месяца… с тех пор, как ты вернулась… Ты никогда не была такой упрямой!

— Ну, что ты, Джим, в последние два месяца я с тобой не спорила.

— О том и речь! — он спохватился, но все же заметил, как она улыбнулась. — Речь о том, что я

хотел устроить совещание. Узнать, что ты думаешь о создавшемся положении…

— Ты это знаешь.

— Но ты не сказала ни слова!

— Я сказала все, что могла сказать, еще три года назад. Сказала, куда заведет тебя этот курс. Так и случилось.

— Ну вот, опять! Что толку теоретизировать? Мы живем сейчас, а не три года назад. Нужно иметь дело с настоящим, а не с прошлым. Может, все было бы по-другому, если бы мы прислушались к твоему мнению, может быть, но факт в том, что мы этого не сделали, а мы должны иметь дело с фактами. Должны принимать реальность такой, какова она сейчас, сегодня!

— Что ж, принимай.

— Прошу прощения?

— Принимай свою реальность. Я буду лишь выполнять твои указания.

— Но это несправедливо! Я спрашиваю твоего мнения…

— Ты хочешь утешения, Джим? Ты его не получишь.

— Что ты говоришь?

— Я не буду помогать тебе делать вид — споря с тобой, — что реальность, о которой ты

говоришь, не то, что она есть, что еще есть возможность заставить ее работать и спасти твою шкуру. Такой возможности нет.

— Ну… — это был не взрыв, не вспышка гнева — лишь слабый, неуверенный голос человека на грани отчаяния. — Ну… что, по-твоему, мне нужно делать?

— Сдаться.

Он тупо посмотрел на сестру.

— Сдаться, — повторила она, — тебе, твоим вашингтонским друзьям, планирователям-грабителям и всем, кто разделяет вашу каннибальскую философию. Сдайтесь, уйдите с дороги и предоставьте возможность тем, кто может, начать с нуля.

— Нет!!! — взрыв, как ни странно, все-таки произошел; это был вопль, означавший, что лучше умереть, чем отказаться от своей идеи, и издал его человек, который всю жизнь не признавал существования идей, действовал с практичностью расчетливого преступника. Дагни стало любопытно, в чем природа его верности самой идее отрицания идей.

— Нет! — повторил он, голос его прозвучал более тихо, хрипло, почти устало: экстаз фанатика упал до тона властного начальника. — Это невоз-

можно! Исключено!

— Кто это сказал?

— Неважно! Это так! Почему ты всегда думаешь о непрактичном? Почему не принимаешь реальность такой, какая она есть, и ничего не делаешь? Ты — реалистка, движущая сила, созидательница; ты — Нат Таггерт, ты способна добиться любой поставленной цели! Ты можешь спасти нас сейчас, можешь найти способ наладить дела, если захочешь!

Дагни расхохоталась.

«Вот, — подумала она, — что было конечной целью всей этой безответственной академической болтовни, которую бизнесмены многие годы пропускали мимо ушей, целью всех расплывчатых определений, пустых банальностей, туманных абстракций, всех заявлений, что покорность объективной реальности — то же самое, что покорность *Государству*, что нет разницы между законом природы и директивой бюрократов, что голодный человек несвободен, что его нужно избавить от тирании еды, жилища и одежды… В течение многих лет утверждалось, что может настать день, когда Нату Таггерту, реалисту, предложат считать волю Каффи Мейгса фактом природы, неизменным и абсолютным, как сталь,

рельсы и сила тяготения; принять, что Мейгс создал мир как объективную, неизменную реальность, а потом и дальше создавать изобилие. Это было целью всех мошенников в библиотеках и аудиториях: они выдавали свои откровения за полет мысли, «инстинкты» — за науку, пристрастия — за знание; целью всех дикарей, поклонников необъективного, неабсолютного, относительного, гипотетического, вероятного. Дикарей, которые, увидев убирающего урожай фермера, могут лишь счесть этот урожай мистическим феноменом, независящим от закона причин и следствий, созданным всемогущей прихотью самого фермера; тут они схватят фермера, наденут цепи, лишат орудий, семян, воды, земли, отправят на голые скалы и прикажут: «Теперь выращивай урожай и корми нас!»»

«Нет, — Дагни, ожидала, что брат спросит, над чем она смеялась, — бесполезно объяснять ему, он не сможет понять». Но Джеймс и не спросил. Она увидела, что он ссутулился, услышала, как он говорит — ужасно, потому что слова его, если он не понимал, были совершенно неуместными, а если понимал — чудовищными.

— Дагни, я твой брат…

Она выпрямилась, мышцы ее напряглись, слов-

но он показал ей пистолет.

— Дагни... — голос его походил на гнусавое, монотонное хныканье нищего. — Я хочу быть президентом компании. Хочу. Почему я не могу добиваться своего, как всегда добиваешься ты? Почему я не должен получать удовлетворения своих желаний, как всегда получаешь ты? Почему ты должна быть счастлива, когда я несчастен? О да, мир принадлежит тебе, это у тебя есть разум, чтобы управлять им. Тогда почему ты допускаешь в своем мире страдание? Ты провозглашаешь стремление к счастью, но обрекаешь меня на крах. Разве я не вправе требовать того счастья, которого хочу? Разве это не твой долг передо мной? Разве я не твой брат?

Взгляд Джеймса походил на луч воровского фонарика, ищущий в ее лице хоть каплю жалости. Но он не нашел ничего, кроме отвращения.

— Если я страдаю, это *твой* грех! *Твоя* моральная несостоятельность! Я твой брат, а значит, твой подопечный, но ты не удовлетворила моих желаний и потому виновна! Все моральные лидеры человечества говорили это в течение столетий, кто ты такая, чтобы возражать им? Ты очень гордишься собой, думаешь, что чистая и добрая, но ты не можешь быть чистой, пока

я несчастен. Мое страдание — это мера твоего греха. Мое довольство — мера твоей добродетели. Я хочу этого мира, сегодняшнего мира, он дает мне мою долю власти, позволяет чувствовать себя значительным, так заставь этот мир работать на меня! Так сделай же что-нибудь!.. Откуда я знаю, что? Это твоя проблема и твой долг! У тебя есть привилегия силы, а у меня — право слабости! Это моральный абсолют! Разве ты не знаешь этого? Не знаешь? Не знаешь?

Теперь взгляд Джеймса напоминал руки человека, висящего над бездной, неистово нащупывающие хоть малейшую щель сомнения, но скользящие по чистой, гладкой скале ее лица.

— Ублюдок, — произнесла Дагни спокойно, без эмоций, поскольку это слово адресовалось не человеку. Ей показалось, что она увидела, как он упал в пропасть, хотя в его лице не было ничего, кроме выражения мошенника, хитрость которого не удалась. «Нет причины испытывать большее отвращение, чем обычно, — подумала Дагни, — он сказал лишь то, что проповедуют, слышат и принимают повсюду; только это кредо обычно толкуется в третьем лице, а у Джима хватило бесстыдства толковать его в первом». Ей стало любопытно, приняли бы люди эту док-

трину жертвоприношения, если бы понимали природу своих поступков.

Она повернулась, собираясь уходить.

— Нет! Нет! Постой! — воскликнул Джеймс и быстро взглянул на часы. — Уже время! Сейчас должны передать по радио важную новость, я хочу, чтобы ты ее услышала!

Дагни из любопытства остановилась. Джим включил радиоприемник, глядя ей в лицо — пристально, почти нагло. В глазах его стоял страх, но было и предвкушение чего-то особенного.

— Дамы и господа! — резко прозвучал голос диктора; в нем слышались панические нотки. — Из Сантьяго, Чили, только что пришли новости о невероятном событии…

Дагни увидела, как Джим вздрогнул и тревожно нахмурился, словно в словах и голосе было нечто такое, чего он не ожидал.

— Сегодня, в десять утра, состоялось специальное заседание парламента Народной республики Чили для принятия постановления огромной важности для народов Чили, Аргентины и других народных республик Южной Америки. В соответствии с передовыми взглядами сеньора Рамиреса, нового главы Чилийского государства, который пришел к власти под лозунгом, что каж-

дый человек — сторож своему брату, парламент должен был национализировать чилийскую собственность *«Д'Анкония Коппер»*, открыв, таким образом, путь Народной республике Аргентина к национализации остальной собственности концерна «*Д'Анкония*» по всему миру. Однако это было известно лишь руководителям обоих государств. Мера эта держалась в секрете во избежание дебатов и противодействия реакционеров. Национализация стоящей миллиарды долларов *«Д'Анкония Коппер»* должна была стать приятным сюрпризом для страны.

Когда пробило десять, едва молоток председателя коснулся кафедры — словно приведя в действие механизм бомбы, — зал потряс чудовищной силы взрыв, от которого в окнах вылетели стекла. Произошел он рядом с гаванью; члены парламента бросились к окнам и увидели огромный столб пламени там, где некогда были рудные шахты *«Д'Анкония Коппер»*. Их разнесло на куски.

Председатель предотвратил панику и призвал парламентариев к порядку. Постановление было зачитано собравшимся под звуки пожарных сирен и далеких криков. Утро стояло пасмурное, небо затянули дождевые тучи, от взрыва вышел

из строя генератор, поэтому парламентарии голосовали при свечах, а красное зарево пожара металось на громадном сводчатом потолке над их головами.

Но еще более сильное потрясение ждало их позднее, когда парламентарии срочно объявили перерыв, чтобы известить страну, что теперь *«Д'Анкония Коппер»* является народным достоянием. Пока они голосовали, из ближних и дальних уголков земного шара пришло известие, что собственности *«Д'Анкония Коппер»* не осталось нигде на свете. Нигде, дамы и господа. В тот миг, когда пробило десять, благодаря какому-то адскому чуду синхронизации, вся собственность *«Д'Анкония Коппер»* от Чили до Сиама, Испании и Портсвилла, штат Монтана, была взорвана.

Все рабочие *«Д'Анкония Коппер»* получили последнюю зарплату наличными в девять утра и к половине десятого были эвакуированы с предприятий. Шахты, плавильни, лаборатории, административные здания уничтожены. Взорваны все суда «*Д'Анкония*», перевозившие руду, как стоявшие в порту, так и находившиеся в море, — от последних остались только спасательные шлюпки с членами экипажей. Что до рудников, одни погребены под тоннами обломков скальной

породы, другие даже не стоило взрывать. Как сообщают, поразительное количество этих шахт продолжало функционировать, хотя запасы руды в них истощились давным-давно.

Среди тысяч рабочих и служащих *«Д'Анкония Коппер»* полицейские не нашли никого, кто знал бы, как этот чудовищный план был задуман, подготовлен и приведен в действие. Однако ведущие сотрудники «*Д'Анкония*» скрылись. Исчезли наиболее квалифицированные администраторы, минералоги, инженеры, управляющие — все, на кого народная республика рассчитывала для продолжения работ и смягчения процесса реорганизации. Самые способные — поправка: самые эгоистичные — словно провалились сквозь землю. Из различных банков сообщают, что счетов «*Д'Анкония*» не осталось нигде, все деньги истрачены до последнего цента. Дамы и господа, состояние «*Д'Анкония*», самое большое в мире, баснословное, накопленное веками состояние перестало существовать. Вместо золотой зари новой эры народные республики Чили и Аргентина получили груды мусора и орды безработных, которых нужно содержать.

Никаких сведений о судьбе или местопребывании сеньора Франсиско д'Анкония получить

не удалось. Он исчез, не оставив даже прощальной записки.

«Спасибо, мой дорогой, спасибо от имени последних из нас, хотя ты не услышишь этой благодарности, да и не захочешь услышать...» Это была безмолвная молитва Дагни, обращенная к смеющемуся лицу парня, которого она знала с детства.

Дагни услышала, словно отзвук далеких взрывов, изданный Джеймсом звук — то ли стон, то ли рычание, — потом были его дрожащие над телефонным аппаратом плечи и искаженный голос, выкрикивающий: «Родриго, ты же сказал, что это надежно! Родриго — о господи! — ты знаешь, сколько я вложил в это дело?» — потом пронзительный звонок второго телефона на столе, и его голос, рычащий в другую трубку, хотя он не выпускал из руки первой: «Заткни пасть, Оррен! Как тебе быть? Что мне до этого, черт бы тебя побрал!»

В кабинет вбегали люди, истерично звонили телефоны, и Джеймс, чередуя мольбы с проклятиями, кричал в трубки: «Соедините меня с Сантьяго!.. Тогда соедините с Вашингтоном, чтобы там перевели разговор на Сантьяго!»

Отдаленно, краешком сознания, Дагни пони-

мала, какую игру вели эти люди и проиграли. Они казались далекими, будто крохотные запятые на белом листе под линзами микроскопа. Она подумала, как они могли ожидать, что их будут воспринимать всерьез, если на земле существуют такие люди, как Франсиско д'Анкония.

Отсвет этих взрывов Дагни видела на лицах всех, кого встречала в тот день и вечер. «Если Франсиско хотел устроить достойный погребальный костер «*Д'Анкония Коппер*», — думала она, — то преуспел». Этот взрыв ощущался на улицах Нью-Йорка, единственного города на земле, способного осмыслить случившееся, в глазах прохожих, в их шепотках, которые отрывисто потрескивали, словно язычки пламени; на лицах будто остался отсвет далекого пожара; некоторые из них были испуганными, некоторые гневными, большинство — беспокойными, сомневающимися, но на всех лежала печать того, что это не просто катастрофа, а нечто большее, хотя никто не смог бы определить ее истинного значения; все выглядели, как жертвы — гибнущие, но знающие, что они отмщены.

Дагни увидела отсвет этого взрыва и на лице Хэнка Риардена, когда они встретились за ужином: высокий, уверенный в себе мужчина шел

к ней, выглядя, как дома, в роскошной обстановке дорогого ресторана, но в его чертах все еще угадывался мальчишка, способный радоваться жизни. О событиях дня Хэнк не говорил, но она знала, что это единственное, о чем он думал.

Они встречались всякий раз, когда Риарден приезжал в Нью-Йорк, проводили вместе редкие вечера — с прошлым, все еще живым в их памяти, но без продолжения былого в их работе и общей борьбе. Риарден не хотел упоминать о сегодняшнем событии, не хотел говорить о Франсиско, но Дагни заметила, что он то и дело невольно улыбается. И поняла, кого он имел в виду, когда произнес мягко, негромко, с оттенком восхищения:

— Он сдержал клятву, так ведь?

— Клятву? — встрепенулась она, подумав о надписи на храме Атлантиды.

— Он сказал мне: «Клянусь женщиной, которую люблю, что я ваш друг». Он был моим другом.

— И остается.

Риарден покачал головой:

— Я не вправе судить его. Не вправе принимать то, что он совершил ради меня. И все-таки…

— Хэнк, но ведь он это сделал. Ради всех нас и тебя в первую очередь.

Риарден отвернулся и посмотрел на город. Они сидели у окна; стекло было прозрачной защитой от бескрайнего пространства улиц, раскинувшихся на шестьдесят этажей ниже. Город казался неестественно далеким. Башни тонули в темноте; календарь висел в пространстве на уровне их лиц не маленьким занудным прямоугольником, а огромным экраном, жутко близким и большим, залитым мертвенно-бледным светом, пронизывающим пустую пелену, пустую, если не считать надписи: «2 сентября».

— «*Риарден Стил*» теперь работает на полную мощность, — равнодушно говорил Хэнк. — С моих заводов сняли ограничительную квоту, видимо, ненадолго. Не знаю, в чем дело, но действие остальных своих директив они тоже приостановили. Они больше не беспокоятся о том, чтобы оставаться в рамках законности, я наверняка нарушил их предписания по пяти-шести пунктам, чего никто не может доказать или опровергнуть, я только вижу, что сегодняшние воры разрешают мне нестись вперед на всех парах, — он пожал плечами. — Когда завтра их сменят новые гангстеры, возможно, мои заводы закроют в наказание за противозаконную деятельность. Но в соответствии с сиюминутным планом меня

просят разливать металл в любых количествах и любым способом, какой я сочту нужным.

Дагни замечала взгляды, которые люди тайком бросали в их сторону. Она наблюдала это и раньше, после своего выступления по радио, с тех пор, как они стали появляться на людях вместе. Вместо осуждения, которого опасался Риарден, во взглядах сквозила благоговейная неуверенность в оценке двух человек, посмевших доказать, что они правы. Люди смотрели на них со скрытым любопытством, завистью, почтительностью, страхом оскорбить, словно говоря: «Простите, что мы состоим в браке». Кое-кто смотрел злобно, и немногие — с откровенным восхищением.

— Дагни, — неожиданно спросил Риарден, — как думаешь, он в Нью-Йорке?

— Нет. Я звонила в его любимый отель. Мне ответили, что договор на аренду номера истек месяц назад и не продлен.

— Его ищут по всему миру, — улыбнулся Риарден, — и не найдут, — улыбка исчезла. — Не найду и я…

Голос Риардена снова зазвучал сухо и деловито:

— Ну так вот, заводы работают, а я нет. Толь-

ко катаюсь по стране, словно сборщик утиля, ищу противозаконные пути приобретения сырья. Таюсь, виляю, лгу, лишь бы раздобыть несколько тонн руды, угля или меди. С получения сырья ограничения не сняты. Они знают, что я разливаю своего металла больше, чем дозволено квотами. Им все равно, — и добавил: — Они думают, что мне — нет.

— Хэнк, ты устал?

— До смерти.

«Было время, — подумала Дагни, — когда его разум, энергия, неистощимая изобретательность были посвящены только наилучшей переработке руды, теперь они служат обману людей». И спросила себя, долго ли способен человек выносить такую перемену?

— Становится почти невозможно добывать железную руду, — невозмутимо продолжил Риарден, потом добавил неожиданно оживленно: — А теперь станет *просто невозможно* добыть медь.

Он улыбался.

Дагни подумала, долго ли человек может работать против себя, работать, когда ему больше всего хочется не преуспеть, а потерпеть крах.

Она поняла, что Хэнк имел в виду, когда он

спросил:

— Я не говорил тебе, что виделся с Рагнаром Даннескьолдом?

— Он сказал мне.

— Что? Где ты… — Риарден умолк. — Ах да, конечно… — голос его звучал негромко, словно через силу. — Он один из них. Ты встречалась с ним. Дагни, какие они, эти люди, которые… нет. Не отвечай… — чуть помолчав, он добавил: — Значит, ты встречалась с одним из их агентов.

— С двумя.

Ответ его прозвучал совершенно спокойно:

— Конечно. Я понял… Только не признавался себе в этом… Он их вербовщик, так ведь?

— Самый первый и самый лучший.

Риарден издал смешок: в нем звучали горечь и тоска.

— В ту ночь… когда они заполучили Кена Данаггера… я подумал, что они почему-то никого не посылали за мной.

Лицо Риардена вдруг стало суровым; это походило на поворот ключа, запиравшего залитую солнцем комнату, куда он не хотел никого впускать. Чуть погодя он бесстрастно сказал:

— Дагни, новые рельсы, о которых мы говорили в прошлом месяце… думаю, я не смогу их

поставить. Правда, с выпуска моей продукции ограничений не сняли, они все еще контролируют мои продажи и распределяют мой металл по своему усмотрению. Бухгалтерия так запутана, что я каждую неделю контрабандой продаю на черном рынке несколько тысяч тонн. Думаю, они это знают, однако делают вид, что нет. Противостоять мне сейчас они не хотят. Или не могут. Но, видишь ли, я отправляю каждую тонну, какую удается раздобыть, кое-каким клиентам, оказавшимся в критическом положении. Дагни, в прошлом месяце я был в Миннесоте. Видел, что происходит там. Страна будет голодать не в будущем году, а уже этой зимой, если мы, немногие, не начнем действовать и притом быстро. Запасов зерна нигде не осталось. Небраска не сеет хлеба, Оклахома потерпела крах, Северная Дакота превратилась в пустыню, Канзас еле-еле сводит концы с концами, — этой зимой не будет пшеницы ни для Нью-Йорка, ни для других восточных штатов.

Миннесота — наша последняя житница. У них было два неурожайных года подряд, но этой осенью урожай необыкновенный, и они должны иметь возможность убрать его. Ты в курсе того, что творится в промышленности, выпускающей

сельскохозяйственную технику? Предприятия не настолько богаты, чтобы содержать штат грабителей в Вашингтоне или платить проценты торговцам протекциями. Поэтому им мало что перепадает. Две трети заводов закрылись, остальные вот-вот обанкротятся. И фермы исчезают по всей стране из-за отсутствия техники. Видела бы ты миннесотских фермеров. Они тратят больше времени на ремонт старых тракторов, которые невозможно починить, чем на пахоту. Не знаю, как им удалось дожить до прошлой весны. Не знаю, как удалось посеять пшеницу. Но они посеяли. Посеяли! — его лицо напряглось, словно он разглядывал что-то далекое и непонятное; она поняла мотив, удерживавший его на работе. — Дагни, им нужна техника, чтобы убрать урожай. Я продавал весь металл, какой мог утаить на своих заводах, производителям сельскохозяйственных машин. В кредит. Они отправляли их в Миннесоту, едва успев произвести. Продавали таким же образом — противозаконно, в кредит. Но осенью они получат деньги и я тоже. Благотворительность, черт бы ее побрал! Мы помогаем товаропроизводителям — и каким упорным! — а не паршивым, клянчащим потребителям. Даем займы, а не милостыню.

Поддерживаем способность, а не потребность. Будь я проклят, если остановлю производство и позволю этим людям разориться в то время, когда торговцы протекциями богатеют!

Риарден вспоминал то, что видел в Миннесоте: останки покинутых ферм со следами надписи «*Уорд Харвестер Компани*», с солнечным светом, бьющим сквозь пустые окна и щели в крышах.

— О, я знаю, — продолжал он. — Этой зимой мы их спасем, но грабители сожрут их в будущем году. Но этой зимой мы их спасем… Вот потому я и не смогу тайком поставить тебе рельсы. В ближайшем будущем не смогу, а для нас не остается ничего, кроме ближайшего будущего. Не знаю, какой смысл кормить страну, если она лишится железных дорог, но что толку от них там, где нет еды? Что толку?

— Ничего, Хэнк. Мы продержимся с теми рельсами, какие есть, но…

Дагни не договорила.

— Продержитесь месяц?

— Всю зиму… надеюсь.

От другого столика до них донесся громкий голос, они повернулись и увидели нервозного человека, напоминающего загнанного в угол бандита, который вот-вот схватится за пистолет.

— Какие, к черту, директивы, — рычал он угрюмому соседу по столику, — когда нам отчаянно не хватает меди!.. Мы не можем этого допустить! Нельзя допустить, чтобы это было правдой!

Риарден резко отвернулся и посмотрел в окно.

— Я отдал бы, что угодно, лишь бы узнать, где Франсиско, — негромко сказал он. — Только чтобы узнать, где он сейчас, в эту минуту.

— И что бы ты сделал, если бы узнал?

Риарден с удрученным видом развел руками.

— Я бы не подошел к нему. Не могу просить прощения, когда оно невозможно.

Они замолчали. Прислушивались к голосам окружающих — к звукам паники, носящимся по роскошному залу. Дагни кожей чувствовала, что за каждым столиком сидят люди, пытающиеся вести отстраненный разговор, но невольно сбивающиеся на одну и ту же тему. Люди вели себя так, будто этот зал слишком велик и слишком открыт — зал со стеклом, синим бархатом и мягким освещением.

— Как он мог? Как мог? — раздраженно, с ужасом вопрошала женщина. — Он не имел права!

— Это несчастный случай, — коротко ответил молодой человек, похожий на клерка. — Это просто цепь совпадений, что легко можно понять,

взглянув на любую статистическую кривую вероятностей. Непатриотично распускать слухи, преувеличивающие силу врагов народа.

— Добро и зло хороши для бесед на приватные темы, — заметила женщина с голосом учительницы и ярко накрашенными губами любительницы баров, — но как может человек принимать свои капризы настолько всерьез, чтобы уничтожать состояние, в котором нуждаются люди?..

— Я этого не понимаю, — с горечью говорил дрожащим голосом какой-то старик. — После веков усилий обуздать врожденную жестокость, после веков обучения, воспитания, внушения доброго и нетленного!

Недоуменный голос женщины зазвучал и оборвался:

— Я думала, мы живем в век братской любви…

— Я боюсь, — твердила юная девушка. — Боюсь… о, я не знаю!.. Боюсь, и все…

— Он не мог сделать этого!..

— Сделал!..

— Но зачем? Я отказываюсь этому верить!.. Это бесчеловечно!.. Зачем?.. Просто никчемный повеса!.. Зачем?

Голоса звучали хором, неразборчиво и непонятно; Дагни отвернулась к окну.

Календарем управлял механизм за экраном; он прокручивал одно и то же из года в год, проецировал даты в неизменном ритме, запускаясь снова и снова, когда пробьет полночь. Момент смены даты дал Дагни возможность увидеть то, что видели немногие, словно одна из планет стала двигаться по орбите в обратном направлении: она увидела, как надпись «2 сентября» пошла вверх и исчезла за краем экрана.

Потом на громадной странице появилась, остановив время, надпись четкими рукописными буквами:

«Брат, ты просил меня об этом!

Франсиско Доминго Карлос Себастьян д'Анкония».

Дагни не знала, что потрясло ее больше, — это послание или смех Риардена, тот встал, весь зал видел и слышал его. Он смеялся громко и радостно, перекрывая их панические стоны, приветствуя и приемля этот дар.

* * *

Седьмого сентября в Монтане оборвался провод, остановив мотор погрузочного крана на подъездной ветке *«Таггерт Трансконтинентал»*, возле стэнфордского медного рудника.

Рудник работал в три смены, днем и ночью, чтобы не терять ни минуты, ни капли меди, которую можно добыть в горе для промышленной пустыни государства. Кран остановился во время загрузки поезда, остановился внезапно и замер на фоне вечернего неба, между вереницей пустых вагонов и грудами руды, погрузка которой вдруг стала невозможна.

Железнодорожники и горняки застыли в замешательстве: они обнаружили, что во всем сложном оборудовании, среди буров, моторов, дерриков, хрупких приспособлений, мощных прожекторов, освещавших ямы и гребни горы, нет провода, чтобы отремонтировать кран. Они стояли здесь, словно на океанском лайнере, с моторами в десятки тысяч лошадиных сил, однако гибнущего из-за отсутствия одной заклепки.

Диспетчер станции, молодой человек с быстрыми движениями и грубым голосом, сорвал провод со станционного здания и снова привел в действие кран, и пока руда с грохотом заполняла вагоны, в темных окнах станции дрожало пламя свечей.

— Миннесота, Эдди, — сказала Дагни, закрывая ящик своей особой картотеки. — Передай минне-

сотскому отделению: пусть отправят половину своих запасов провода в Монтану.

— Господи, Дагни! Ведь близится пик уборочной страды.

— Думаю, они продержатся. Нельзя терять единственного поставщика меди.

— Но я добился! — закричал Джеймс Таггерт, когда она снова напомнила ему. — Добился для тебя первоочередности на получение медного провода, по первому требованию отдал тебе все карточки, акты, документы, заявки, что еще тебе нужно?

— Медный провод.

— Я сделал все, что мог! Никто не может винить меня!

Дагни не спорила. На ее столе лежала газета, и она смотрела на статью на последней странице: в Калифорнии принято решение о чрезвычайном налоге для пособия безработным в сумме пятидесяти процентов от валовой прибыли всех местных предприятий в опережение других налогов; калифорнийские нефтяные компании вышли из дела.

— Не беспокойтесь, мистер Риарден, — послышался в трубке вкрадчивый голос человека на другом конце провода в Вашингтоне. — Хочу

заверить, что вам нечего беспокоиться.

— О чем? — спросил в недоумении Риарден.

— О временных беспорядках в Калифорнии. Мы быстро приведем все в норму, это был акт противозаконного мятежа, правительство штата не имело права собирать местные налоги в ущерб государственным, мы будем обсуждать вопрос о равноправных условиях, но пока что, если вы обеспокоены непатриотическими слухами о калифорнийских нефтяных компаниях, я хотел бы вам сказать, что «*Риарден Стил*» помещена в высшую категорию неотложных нужд, она имеет право первой требовать любую нефть, где бы то ни было в стране, помещена в наивысшую категорию, мистер Риарден, и я хотел, чтобы вы знали: этой зимой вам не придется беспокоиться о проблеме топлива!

Риарден положил трубку и нахмурился не из-за проблемы топлива и краха калифорнийских нефтяных компаний — несчастья такого рода стали привычными, — а из-за того, что вашингтонские плановщики сочли нужным его успокаивать. Раньше такого не бывало; он задумался, что это может означать? За годы борьбы Риарден усвоил: нетрудно бороться с как будто бы беспричинной враждой, но беспричинные заботы о тебе

представляют собой серьезную опасность. То же самое беспокойство охватило его, когда, идя между заводскими зданиями, он увидел сутулого человека, в позе которого сочетались наглость и ожидание тяжелого удара: то был его брат Филипп.

С тех пор как Риарден переехал в Филадельфию, он не бывал в прежнем доме и не имел связи с семьей, счета которой продолжал оплачивать. Потом дважды за последние несколько недель он неожиданно встречал брата, бродившего по заводу без какой-либо видимой причины. Риарден не мог понять, прячется от него Филипп или хочет привлечь его внимание: это походило и на то, и на другое. Хэнк не мог найти никакого объяснения поведению брата, видел только озабоченность, которую Филипп раньше не выказывал.

В первый раз на удивленный вопрос «Что ты здесь делаешь?» — Филипп неопределенно ответил:

— Ну, я знаю, ты не хочешь, чтобы я появлялся у тебя в кабинете.

— Что тебе нужно?

— Ничего… только… в общем, мать беспокоится о тебе.

— Мать может позвонить мне в любое время.

Филипп не ответил, но продолжал расспрашивать его в наигранно небрежной манере о работе, здоровье, делах; вопросы были странно неуместными: не столько о делах, сколько о его отношении к ним. Риарден оборвал брата и жестом велел убираться, в душе у него осталось легкое, неприятное чувство.

Во второй раз Филипп дал единственное объяснение:

— Мы хотели узнать, как ты себя чувствуешь.

— Кто — «мы»?

— Ну как же… мать и я. Времена тяжелые, и… в общем, мать интересуется, как ты относишься ко всему этому?

— Передай, что никак.

Слова эти подействовали на Филиппа довольно странно, словно это был единственный ответ, которого он боялся.

— Убирайся отсюда, — устало сказал Риарден, — и в следующий раз, когда захочешь меня видеть, договорись о встрече и приходи в кабинет. Но не появляйся, если тебе нечего будет сказать. Это не то место, где обсуждаются чувства, мои или чьи бы то ни было.

Филипп не позвонил, но появился вновь,

сутулясь, среди громадных домен с видом одновременно виноватым и чванливым, словно шпионил и оказывал честь своим присутствием.

— Но мне есть что сказать! — воскликнул он, увидев, что Риарден гневно нахмурился.

— Почему не пришел в кабинет?

— Ты не хочешь видеть меня в кабинете.

— И здесь не хочу.

— Но я только… только стараюсь быть тактичным, не отнимать у тебя время, когда ты занят и… ты очень занят, так ведь?

— И что?

— И… в общем, я хотел застать тебя в свободную минуту… поговорить с тобой.

— О чем?

— Я… словом, мне нужна работа.

Он произнес это вызывающе и чуть попятился. Риарден бесстрастно смотрел на него.

— Генри, мне нужна работа. Здесь, на заводе. Дай мне какое-то занятие. Нужно зарабатывать на жизнь, милостыня мне надоела. — Филипп подыскивал, что сказать, голос его звучал обиженно и просяще, словно необходимость оправдывать просьбу была навязанной ему несправедливостью. — я хочу зарабатывать, я не прошу тебя о благотворительности, я прошу

дать мне шанс!

— Это завод, Филипп, не игорный дом.

— А?

— Мы не принимаем и не даем шансов.

— Я прошу дать мне работу!

— С какой стати я должен давать ее тебе?

— Потому что она мне нужна!

Риарден указал на языки пламени, взлетающие над черной доменной печью, поднимающиеся в пространство, — воплощенный в жизнь замысел из стали, глины и пара.

— Мне нужна эта домна, Филипп. Ее дала мне не моя нужда.

Филипп сделал вид, что не слышал.

— Официально ты не должен никого нанимать, но это формальность, если возьмешь меня, мои друзья одобрят это безо всяких проблем и…

Что-то в глазах Риардена заставило его внезапно умолкнуть, потом он гневно, раздраженно спросил:

— Ну в чем дело? Что дурного в том, что я сказал?

— Дурно то, чего ты не сказал.

— Прошу прощенья?

— То, что ты хочешь оставить несказанным.

— Что же?

— То, что от тебя мне нет никакой пользы.

— Это то, что ты… — начал Филипп праведным тоном и не договорил.

— Да, — сказал Риарден с улыбкой, — то, что я подумал первым делом.

Филипп отвел глаза; когда заговорил, голос его звучал так, словно он выбирал случайные фразы:

— Каждый имеет право зарабатывать на жизнь… Как я получу шанс, если никто не дает мне его?

— Как я получил свой?

— Я не родился владельцем сталелитейного завода.

— А я?

— Я смогу делать все, что можешь ты, если научишь меня.

— А кто меня учил?

— Почему ты все время твердишь это? Я говорю не о тебе!

— А я о себе.

Через несколько секунд Филипп пробормотал:

— Чего тебе беспокоиться? Речь идет не о твоем заработке!

Риарден указал на людей в дыму от доменной печи.

— Сможешь делать то, что они?

— Не понимаю, что ты…

— Что случится, если я поставлю тебя туда, и ты загубишь плавку?

— Что важнее: разливка твоей стали или то, как мне кормиться?

— Как ты собираешься кормиться, если сталь не будет разливаться?

Лицо Филиппа приняло укоризненное выражение.

— Я не могу спорить с тобой, потому что превосходство на твоей стороне.

— Тогда не спорь.

— А?

— Замолчи и убирайся отсюда.

— Но я имел в виду…

Риарден усмехнулся:

— Ты имел в виду, что это я должен молчать, потому что превосходство на моей стороне, и дать тебе работу, потому что ты ничего не умеешь делать.

— Это грубый способ излагать моральный принцип.

— Но это то, к чему твой моральный принцип сводится, не так ли?

— Нельзя обсуждать мораль в материалистиче-

ских терминах.

— Мы обсуждаем работу на сталелитейном заводе, а это место очень даже материалистично!

Филипп весь как-то сжался, глаза его слегка потускнели, словно он был в страхе перед окружающим, в возмущении его видом, в усилии не признавать его реальности. Он негромко, упрямо прохныкал с интонацией заклинателя:

— Каждый человек имеет право на работу, это моральный императив, принятый в наше время, — и повысил голос: — Я имею на нее право!

— Вот как? Тогда давай, получай свое право.

— А?

— Получай свою работу. Бери ее с куста, на котором, по-твоему, она растет.

— Я имел в виду…

— Имел в виду, что не растет? Что она нужна тебе, но ты не можешь ее создать? Что имеешь право на работу, которую я должен создать для тебя?

— Да!

— А если не создам?

Молчание тянулось секунда за секундой.

— Я не понимаю тебя, — заговорил Филипп с гневным недоумением человека, который

цитирует фразы хорошо знакомой роли, но получает в ответ неверные реплики. — Не понимаю, почему с тобой стало невозможно разговаривать. Не понимаю, какую теорию ты предлагаешь на обсуждение и…

— Еще как понимаешь.

Словно отказываясь верить, что его фразы могут не возыметь действия, Филипп выпалил:

— С каких пор ты обратился к абстрактной философии? Ты — всего-навсего бизнесмен, ты не способен разбираться в принципиальных вопросах, оставь это специалистам, которые веками…

— Оставь, Филипп. Что это за трюк?

— Трюк?

— Откуда у тебя это неожиданное стремление?

— Ну, в такое время…

— В какое?

— В общем, каждый должен иметь какие-то средства к существованию… и не быть отверженным… Когда дела так ненадежны, человеку нужно иметь какую-то гарантию… какую-то опору… в такое время, случись что с тобой, у меня не будет…

— Какой случайности со мной ты ожидаешь?

— Нет! Нет! — этот крик был странно, непо-

нятно искренним. — я не ожидаю никакой случайности… а ты?

— Что может со мной случиться?

— Откуда мне знать?.. Но у меня нет ничего, кроме помощи от тебя… а ты в любое время можешь передумать.

— Могу.

— И у меня нет на тебя никакого влияния.

— Почему тебе потребовалось столько лет, чтобы понять это и забеспокоиться? Почему теперь?

— Потому что… потому что ты изменился. Раньше… раньше у тебя было чувство долга и моральной ответственности, но… ты его утрачиваешь. Утрачиваешь, ведь так?

Риарден стоял, молча разглядывая брата; у Филиппа была своеобразная манера переходить к вопросам, как будто его слова были случайными, но вопросы, слишком небрежные, чуть назойливые, были ключом к достижению цели.

— В общем, я хочу снять бремя с твоих плеч, если я для тебя — бремя! — неожиданно резко заговорил Филипп. — Дай мне работу, и твоя совесть больше не будет тревожиться из-за меня!

— Она не тревожится.

— Вот это я и имею в виду. Тебе все равно. Все равно, что случится с нами, так ведь?

— С кем?

— Ну, как… с матерью и со мной… и вообще с человечеством. Но я не собираюсь взывать к твоим лучшим чувствам. Я знаю, что ты готов отвернуться от меня в любое время, поэтому…

— Филипп, ты лжешь. Тебя беспокоит не это. Иначе ты попросил бы денег, но не работу, не…

— Нет! Я хочу получить работу! — крик был немедленным, почти безумным. — Не пытайся откупиться деньгами! Я хочу получить работу!

— Возьми себя в руки, ничтожество. Ты соображаешь, что говоришь?

Филипп выпалил в бессильной ненависти:

— Ты не вправе говорить так со мной!

— А ты вправе?

— Я только…

— Откупиться от тебя? С какой стати — вместо того, чтобы послать тебя к черту, как давным-давно следовало?

— Ну, в конце концов, я твой брат!

— И что из этого должно следовать?

— Человек должен питать к брату какие-то чувства.

— Ты их питаешь?

Филипп раздраженно надул губы и не ответил. Он ждал — Риарден предоставлял ему эту воз-

можность. Филипп промямлил:

— Ты должен… по крайней мере… как-то считаться с моими чувствами… но не считаешься.

— А ты — с моими?

— С твоими? С твоими чувствами? — в голосе Филиппа звучала не злоба, а нечто худшее: то было искреннее, негодующее удивление. — У тебя нет никаких чувств! Ты ничего не чувствуешь. Ты никогда не страдал!

У Риардена создалось впечатление, будто все прожитые годы ударили в лицо посредством чувств и зрения: это было точное ощущение того, о чем он мечтал в первом поезде на «*Линии Джона Голта*»; в то же время он видел белёсые, водянистые глаза Филиппа, в которых отражалась высшая степень человеческой деградации — неоспоримое страдание и оскорбительная наглость скелета по отношению к живому, требующему, чтобы его страдание считалось высшей ценностью. «Ты никогда не страдал», — обвиняюще говорили ему эти глаза, а Риарден в это время мысленно перенесся в ту ночь в своем кабинете, когда у него отняли рудники, видел ту минуту, когда подписывал дарственную на риарден-металл, проведенные в самолете дни того месяца, когда искал тело Дагни. «Ты никогда не страдал», — го-

ворили ему глаза с самодовольным презрением, а он вспоминал чувство гордой сдержанности, которое помогало ему выстоять в те минуты, когда он отказывался поддаться страданию, чувство, в котором переплелись любовь, верность, знание того, что радость — это цель жизни, и радость нужно не найти, а достичь, и позволить видению радости утонуть в болоте страдания — акт измены. «Ты никогда не страдал, — говорил мертвенный взгляд, — ты никогда ничего не чувствовал, потому что чувствовать — значит только страдать, никакой радости не существует, есть только страдание и отсутствие страдания, только страдание и нуль, когда ничего не чувствуешь, а я страдаю, корчусь от страдания — в этом моя чистота, моя добродетель, а ты не корчишься, не жалуешься. Ты должен избавить меня от страдания, изрезать свое бесчувственное тело, чтобы наложить заплаты на мое, свою холодную душу, чтобы избавить мою от чувства, и мы достигнем высшего идеала, торжества над жизнью, нуля!» Риарден видел природу тех, кто веками не отшатывался от проповедников уничтожения, видел природу врагов, с которыми сражался всю жизнь.

— Филипп, — сказал Риарден, — убирайся от-

сюда. — Голос его напоминал луч солнца в морге, это был простой, сухой, обыденный голос бизнесмена, звук жизнеспособности, обращенный к врагу, которого нельзя удостоить ни гневом, ни даже ужасом. — И больше не пытайся пройти на завод, я распоряжусь, чтобы тебя гнали от всех ворот, если появишься.

— Ну что ж, в конце концов, — сказал Филипп гневным и осторожным тоном неуверенной угрозы, — я могу устроить, чтобы мои друзья назначили меня на работу сюда и принудили тебя принять это!

Риарден уже уходил, но тут повернулся и взглянул на брата. В эту минуту Филипп сделал неожиданное открытие, пришел к нему посредством не мысли, а того мрачного чувства, которое было единственным продуктом работы его сознания: он ощутил ужас, стиснувший горло, прошедший дрожью до желудка, — он увидел размах заводов с блуждающими пламенными вымпелами, ковшами расплавленного металла, проплывающими в воздухе на тонких тросах, с открытыми ямами цвета горящего угля, с кранами, движущимися на него и с грохотом проносящимися мимо, удерживаемые невидимой силой магнита тонны стали, — и понял, что боится этого ме-

ста, боится до смерти, что не посмеет двинуться без защиты и наставления того, кто перед ним. Потом он взглянул на высокого, прямого человека, стоящего с небрежным спокойствием, человека с решительными глазами, взор которых пронизывал скалу и пламя, чтобы построить это место, и тут Филипп понял, как легко может этот человек, которого он хотел прижать к стенке, позволить одному ковшу металла накрениться на секунду раньше положенного времени или одному крану уронить груз на фут от цели, и от него, Филиппа, ничего не останется, и единственная защита его заключается в том, что ему на ум приходят такие действия, которые не могут прийти Хэнку Риардену.

— Но нам лучше, чтобы все было по-хорошему, — сказал Филипп.

— Тебе — лучше, — ответил Хэнк и ушел.

«Люди, которые поклоняются страданию», — подумал Риарден, представив образ врагов, которых раньше не мог понять. Подобное казалось чудовищным, но, как ни странно, незначительным. Он не испытывал никаких чувств. Это походило на попытку вызвать чувство по отношению к неодушевленным предметам, к отходам, скользящим по склону горы и грозящим раздавить его.

От такого мусора можно убежать или построить на его пути защитную стену, но нельзя удостоить гнева, негодования или морального отношения бессмысленное движение неживого. «Нет, — подумал он, — хуже: *антиживого*».

С тем же отчужденным равнодушием Риарден сидел в одном из судебных залов в Филадельфии, наблюдая, как люди совершают ритуал его развода с женой. Наблюдал за тем, как они механически произносят утверждения общего характера, цитируют туманные фразы ложных показаний, произносят речи, в которых нет ни фактов, ни смысла. Он заплатил им за это — закон не давал ему иного пути обрести свободу, не давал права изложить факты и сказать правду, — закон предполагал решение его участи на основе не строго сформулированных объективных правил, а произвольного решения судьи с морщинистым лицом и легкомысленно-лукавым видом.

Лилиан в зале не было; ее адвокат изредка делал бесполезные заявления. Все они заранее знали вердикт и причину этого; иных доводов не существовало уже несколько лет, не было никаких норм, кроме прихоти. Казалось, участники процесса видели в этом свою законную

прерогативу: они вели себя так, словно целью подобной процедуры было не рассмотрение дела, а возможность дать им работу, как будто работа заключалась в цитировании подходящих формулировок без желания знать их цель, а в судебном зале вопросы добра и зла неуместны, и они, люди, призванные отправлять правосудие, прекрасно знали, что никакого правосудия не существует. Действовали они, как дикари, совершающие ритуал, изобретенный, чтобы освободить их от объективной реальности.

«Но десять лет моего брака были реальными, — подумал Риарден, — и эти люди приняли на себя власть расторгнуть его, решить, будет ли у меня возможность жить с удовлетворением или я буду страдать до конца жизни». Он вспомнил то суровое, неуклонное почтение, которое питал к своему брачному договору, ко всем своим договорам и юридическим обязательствам, и понял, какого рода законности должна была служить его безупречная законопослушность.

Риарден обратил внимание, что судейские марионетки начали поглядывать на него с хитрым, нахальным видом, словно соучастники заговора, разделяющие общую вину и освобождающие друг друга от морального осуждения. Потом, ко-

гда заметил, что он единственный в зале смотрит спокойно, прямо в лица всем, увидел, что в их глазах появилось возмущение. Риарден с удивлением понял, чего от него ожидали: что он, беспомощная жертва, не имеющая иного выхода, кроме подкупа, поверит, будто этот фарс, за который сам заплатил, представляет собой правовую процедуру, что порабощающие его эдикты имеют моральную основу, и он повинен в разложении честности стражей закона, а вина лежит не на них, а на нем. Это походило на обвинение жертвы ограбления в разложении честности бандита. «И ведь, — подумал Риарден, — во все времена политического вымогатетельства вину на себя брали не грабители-бюрократы, а лишенные свободы промышленники, не те, кто торговал юридическими протекциями, а люди, вынужденные их покупать; и во все времена крестовых походов против коррупции средством борьбы с ней было не освобождение жертв, а представление вымогателям еще более широких возможностей вымогать. Единственная вина жертв, — думал он, — заключается в том, что они принимали это как вину».

Когда Риарден вышел из зала на улицу под холодный, моросящий дождь, он испытывал такое

ощущение, что развелся не только с Лилиан, но и со всем обществом, поддерживающим ту процедуру, свидетелем которой он только что был. На лице его адвоката, пожилого юриста старой школы, было такое выражение, словно ему нужно срочно принять ванну.

— Послушай, Хэнк, — спросил он, — грабители хотят еще что-то получить от тебя?

— Не думаю. А почему ты спрашиваешь?

— Процесс прошел слишком уж гладко. Там было несколько пунктов, на которых я ожидал задержки и намеков на дополнительную плату, но парни этим не воспользовались. Мне кажется, сверху поступили указания обойтись с тобой мягко и принять решение в твою пользу. Не планируют ли грабители чего-то нового против твоих заводов?

— Не думаю, — ответил Риарден и с удивлением поймал себя на мысли: «И мне наплевать».

В тот же день на заводе он увидел Кормилицу, долговязого, нескладного парня, быстро шедшего к нему, — смесь грубости, робости и решительности.

— Мистер Риарден, я хочу поговорить с вами.

Голос его был боязливым, но странно твердым.

— Слушаю.

— Я хочу вас кое о чем попросить, — лицо парня оставалось серьезным, напряженным. — Знаю, что вы должны отказать мне, но все-таки хочу… и… и если это слишком дерзко, пошлите меня к черту.

— Так в чем же дело?

— Мистер Риарден, вы дадите мне работу? — старание говорить нормально выдавало долгую внутреннюю борьбу. — Я хочу бросить то, чем занимаюсь, и приняться за работу. То есть настоящую работу — в производстве стали, как собирался когда-то. Хочу зарабатывать на жизнь. Надоело быть клопом.

Риарден не удержался от улыбки и напомнил ему тоном цитирования:

— Зачем употреблять такие слова, Кормилица? Если не будем употреблять дурных слов, не будет ничего дурного и…

Но увидел в лице парня отчаянную серьезность, умолк и перестал улыбаться.

— Я всерьез, мистер Риарден. Я знаю, что означает это слово, и оно верное. Мне надоело получать плату вашими деньгами только за то, что мешаю вам зарабатывать деньги. Я знаю, что каждый, кто сейчас работает, просто-напросто глупец из-за таких мерзавцев, как я, ну и черт

с ним, буду глупцом, если ничего другого не остается!

Голос его поднялся до крика.

— Прошу прощения, мистер Риарден, — сдавленно произнес он и отвернулся. Через несколько секунд парень заговорил снова ровным, спокойным тоном. — Хочу уйти с этой грабительской должности заместителя директора по распределению. Не знаю, много ли будет от меня вам пользы, я получил в колледже диплом металлурга, но он не стоит той бумаги, на которой напечатан. Но думаю, я узнал кое-что об этой работе за проведенные здесь два года, и если смогу приносить вам хоть какую-то пользу на должности уборщика, сборщика металлолома или на какой-другой, что вы могли бы доверить мне, я бы послал к черту свою должность заместителя и стал бы работать у вас завтра, через неделю, с этой минуты или когда скажете.

На Риардена он не смотрел, словно не имел на то права.

— Почему ты боялся спросить меня? — мягко спросил Риарден.

Парень взглянул на него с негодующим удивлением, словно ответ был очевиден.

— После того как я явился сюда заместителем

директора, после того, что делал, вы должны были б дать мне пинка, если б я попросил у вас одолжения.

— Ты многое усвоил за два проведенных здесь года.

— Нет, я… — он взглянул на Риардена, понял, отвернулся и сказал деревянным голосом: — Да… если вы имеете в виду это.

— Послушай, малыш, я бы дал тебе работу сию минуту и притом отнюдь не уборщика, если бы это зависело от меня. Но ты забыл про Объединенный комитет? Мне запрещено нанимать тебя, а тебе — увольняться. Само собой, люди постоянно увольняются, и мы нанимаем других под вымышленными именами, оформляем поддельные документы, удостоверяющие, что они работают здесь уже много лет. Ты это знаешь, и спасибо, что помалкивал. Но думаешь, если я оформлю тебя таким образом, твои друзья в Вашингтоне этого не узнают?

Парень неторопливо покачал головой.

— Думаешь, если уйдешь с их службы и станешь уборщиком, они не поймут причины?

Парень кивнул.

— Отпустят они тебя?

Парень покачал головой. И сказал с безнадеж-

ным удивлением:

— Я не подумал об этом, мистер Риарден. Забыл о них. Думал только, захотите вы меня взять или нет, и что все дело в вашем решении.

— Понимаю.

— И… в сущности, дело только в нем.

— Да, верно, в нем.

Внезапно парень криво, невесело улыбнулся.

— Похоже, я привязан к месту крепче, чем любой глупец…

— Да. Сейчас ты можешь только подать заявление в Комитет с просьбой о разрешении сменить работу. Если хочешь сделать попытку, я поддержу твое заявление, только не думаю, что его удовлетворят. Не думаю, что они позволят работать у меня.

— Нет. Не позволят.

— Если сумеешь их обмануть, тебе могут разрешить неофициально работать в какой-нибудь другой сталелитейной компании.

— Нет! Не хочу никуда уходить! Не хочу покидать это место! — парень постоял, глядя на невидимый пар от дождя над пламенем доменных печей. Потом негромко сказал: — Пожалуй, лучше останусь. Лучше буду по-прежнему заместителем грабителя. Один только бог знает,

какого мерзавца могут прислать на мое место!

Он повернулся.

— Мистер Риарден, они что-то замышляют. Не знаю, что именно, но готовятся преподнести вам какой-то сюрприз.

— Какого рода?

— Не представляю. Но в последние недели они следят за каждой открывшейся вакансией, каждым дезертирством и тайком засылают сюда свою шайку. Подозрительная шайка — в ней есть настоящие бандиты, готов поклясться: это бандиты, никогда не появлявшиеся раньше на сталелитейном заводе. Я получил указание принять на работу как можно больше «наших парней». Зачем, не хотят мне говорить. Я не знаю, что они планируют. Попытался выяснить, но они держатся очень скрытно. Думаю, мне больше не доверяют. Должно быть, теряю контакт с ними. Знаю только, что они готовятся что-то совершить здесь.

— Спасибо за предупреждение.

— Постараюсь разузнать об этом, всеми силами постараюсь разузнать вовремя, — парень резко повернулся и пошел было прочь, но остановился. — Мистер Риарден, если б это зависело от вас, взяли б вы меня на работу?

— Взял бы, охотно и немедля.

— Спасибо, мистер Риарден, — поблагодарил он негромким, искренним голосом и ушел.

Риарден стоял, глядя ему вслед, видя с мучительной улыбкой жалости, что этот бывший релятивист, бывший прагматик, бывший аморалист уносил с собой в утешение.

* * *

11 сентября медный провод порвался в Миннесоте, из-за чего остановились конвейеры зернохранилища на маленькой сельской станции *«Таггерт Трансконтинентал»*.

Поток пшеницы двигался по шоссе, дорогам, заброшенным проселкам, вынося урожай с тысяч акров на хрупкие платформы железнодорожных станций. Двигался днем и ночью, струйки сливались в ручьи, ручьи — в реки, поток двигался на трясущихся тракторах с туберкулезно кашляющими моторами, на повозках, запряженных вконец отощавшими лошадьми, на тележках, влекомых волами, на нервах людей, переживших два бедственных года и вознагражденных огромным урожаем этой осенью, людей, скреплявших трактора и телеги проволокой, одеялами, веревками и бессонными ночами, чтобы не раз-

валились на этом пути, чтобы довезли зерно до места и там вышли из строя, но дали владельцам возможность выжить.

Ежегодно в это время года в стране начиналось еще одно движение: по всему континенту тянулись составы порожняка к миннесотскому отделению *«Таггерт Трансконтинентал»*, стук их колес предшествовал тележному скрипу, словно опережающее эхо, движение, строго спланированное, упорядоченное, рассчитанное по времени для встречи этого потока. Миннесотское отделение, дремавшее весь год, приходило в неистовое оживление на недели жатвы; четырнадцать тысяч товарных вагонов заполняли его сортировочные станции; на сей раз их ожидали пятнадцать тысяч. Первые хлебные поезда начали отводить этот поток на опустевшие мельницы, потом в пекарни, а вслед за этим в желудки населения страны, но на учете был каждый поезд, вагон, элеватор, и нельзя было терять ни минуты, ни дюйма пространства.

Эдди Уиллерс наблюдал за Дагни, когда та перебирала карточки в особой картотеке; об их содержании он мог судить по выражению ее лица.

— Терминал, Эдди, — спокойно сказала она,

задвигая ящик. — Позвони туда, пусть отправят половину запасов провода в Миннесоту.

Эдди молча повиновался.

Он ничего не сказал и в то утро, когда положил на ее стол телеграмму из канцелярии Таггертов в Вашингтоне, где сообщалось о директиве, которая по причине критической нехватки меди предписывала государственным служащим конфисковать все медные рудники и использовать их как общественное достояние.

— Ну что ж, — подвела итог Дагни, бросив телеграмму в мусорную корзину, — это конец Монтаны.

Она ничего не сказала, когда Джеймс Таггерт объявил ей, что распорядился снять со всех таггертовских поездов вагоны-рестораны.

— Мы больше не можем позволять себе это, — пояснил он, — мы всегда теряли деньги на ресторанах, черт бы их побрал, а теперь, когда невозможно раздобыть никаких продуктов, когда рестораны закрываются из-за того, что нигде нельзя достать фунта конины, как можно требовать от железных дорог, чтобы работали вагоны-рестораны? Да и вообще, почему, черт побери, мы обязаны кормить пассажиров? Пусть радуются, что возим их, при необходимости они

будут ездить в вагонах для скота, пусть берут еду с собой, чего нам беспокоиться — других поездов нет!

Телефон на письменном столе Дагни стал не аппаратом для деловых разговоров, а тревожной сиреной для отчаянных воззваний о помощи. «Мисс Таггерт, у нас нет медного провода!» «Гвоздей, мисс Таггерт, обыкновенных гвоздей, можете сказать кому-нибудь, чтобы нам прислали пятьдесят килограммов?» «Можете найти где-нибудь краску, мисс Таггерт, любую водоотталкивающую краску?»

Однако дотация из Вашингтона в тридцать миллионов долларов была вложена в проект «Соя»: громадные поля в Луизиане, где созревал урожай сои, посевы которой пропагандировала и организовывала Эмма Чалмерс для того, чтобы изменить пищевые пристрастия нации. Эмма Чалмерс, больше известная как Мамочка, была старым социологом, она много лет слонялась в Вашингтоне по барам, как другие женщины ее возраста и типа. Непонятно, почему гибель сына во время катастрофы в туннеле создала ей в Вашингтоне репутацию мученицы, усилившуюся после недавнего обращения в буддизм.

— Соя — гораздо более здоровое, питательное

и экономичное растение, чем все экстравагантные продукты, которых расточительная, сибаритская диета приучила нас ожидать, — заявила Мамочка по радио; голос ее всегда звучал так, будто падал каплями, но не воды, а майонеза. Соя представляет собой превосходный заменитель хлеба, мяса, овсянки и кофе, и если мы все будем вынуждены принять сою как основной продукт питания, это покончит с национальным продовольственным кризисом и позволит прокормить больше людей. Больше еды для больших масс — вот мой лозунг. Во время всеобщей отчаянной нужды наш долг — пожертвовать своими расточительными вкусами и вернуться к процветанию, приспособясь к простой, здоровой еде. Народы Востока прекрасно питались соей в течение столетий, у них мы можем почерпнуть очень многое.

— Медные трубы, мисс Таггерт, не могли бы вы найти для нас где-нибудь медные трубы? — молили голоса по телефону. — Костыли для рельсов, мисс Таггерт! Отвертки, мисс Таггерт! Электролампочки, мисс Таггерт, у нас нет их нигде в радиусе двухсот миль!

Однако пять миллионов долларов были истрачены Комитетом укрепления духа на труппу

народной оперы, она разъезжала по стране и давала бесплатные представления людям, которые ели всего один раз в день и не имели сил дойти до оперного театра. Семь миллионов долларов было выдано психологу, руководящему проектом по разрешению всемирного кризиса путем изучения природы братской любви. Десять миллионов пошло на изготовление новых электронных зажигалок, но в магазинах по всей стране не было сигарет. В продаже имелись фонарики, но не было батареек; продавались радиоприемники, но отсутствовали радиолампы; можно было купить фотоаппараты, но не было пленки. Людям объявили, что производство самолетов «временно приостановлено». Путешествия по воздуху в личных целях запретили, и билеты резервировались только для миссий «общественной необходимости». Промышленник, отправляющийся в путь для спасения своего завода, не мог сесть в самолет, — это не считалось общественно необходимым; но миссия вылетающего для сбора налогов чиновника была таковой, и он мог улететь туда, куда ему было нужно.

— Люди крадут болты и гайки с рельсовых пластин, мисс Таггерт, крадут по ночам, а наши запасы кончаются, склады отделения пусты,

что нам делать, мисс Таггерт?

Однако в Народном парке в Вашингтоне были установлены для туристов цветные телевизоры с экраном в четыре фута по диагонали, а в Государственном научном институте возводился суперциклотрон для изучения космических лучей, строительство должно было завершиться через десять лет.

— Беда нашего современного мира заключается в том, — сказал доктор Роберт Стэдлер на церемонии закладки циклотрона, — что слишком много людей очень много думают. В этом причина всех нынешних страхов и сомнений. Все просвещенное население должно оставить суеверное поклонение логике и вышедшее из моды доверие к разуму. Как неспециалисты оставляют медицину врачам, а электронику — инженерам, так и люди, неправомочные мыслить, должны предоставить все мышление специалистам и верить в их высший авторитет. Только специалисты способны понять открытия современной науки, доказывающие, что мысль — это иллюзия, а разум — миф.

— Этот век невзгод — божья кара человеку за грех доверия разуму, — торжествующе рычали мистики всех сект и видов на уличных

перекрестках, в пропитанных дождевой водой палатках, в рушащихся храмах. — Это тяжкое испытание — результат попытки человека жить разумом! Вот куда завели вас мышление, логика и наука! И спасения не будет, пока люди не поймут, что их смертный разум бессилен решить их проблемы, и вернутся к вере, вере в Бога, вере в высший авторитет!

Дагни ежедневно противостоял конечный продукт всего этого, наследник и контролер — Каффи Мейгс, человек, недоступный мысли. Мейгс в полувоенном мундире расхаживал по кабинетам *«Таггерт Трансконтинентал»*, постукивая блестящим кожаным портфелем о блестящие кожаные гетры. В одном из карманов он носил пистолет, в другом — кроличью лапку.

Каффи Мейгс старался избегать Дагни Таггерт; в его отношении к ней было отчасти презрение, словно он считал ее непрактичной идеалисткой, отчасти суеверное преклонение, как будто она обладала какой-то непостижимой силой, с которой он предпочитал не связываться. Мейгс вел себя так, словно она не входила в его видение железной дороги и вместе с тем была единственной, кому он не осмеливался бросить вызов.

В его отношении к Джеймсу был оттенок

раздраженного возмущения, как будто обязанностью Джеймса было иметь дело с Дагни и защищать его; он ожидал, что тот будет содержать железную дорогу в рабочем состоянии, а ему даст свободу для дел более практичного свойства, будет заставлять Дагни работать как часть оборудования.

За окном ее кабинета, словно кусочек пластыря, закрывающий рану на небе, вдалеке виднелась пустая страница календаря. Это световое табло не ремонтировали после той ночи, когда на нем появилось послание Франсиско. Чиновники, бросившиеся тогда к башне, остановили мотор и вырвали из проектора пленку. Они обнаружили кадрик с посланием Франсиско, вклеенный в полосу пронумерованных дней, но кто вклеил его, кто проник в запертую комнату, когда и как, три комиссии, расследующие это дело, так и не выяснили. И пока все это выяснялось, страница оставалась пустой и неподвижной.

Была она пустой и 14 сентября, когда в кабинете Дагни зазвонил телефон.

— Звонит какой-то человек из Миннесоты, — сообщила секретарша.

Дагни давно сказала ей, что будет отвечать на все звонки подобного рода. То были просьбы

о помощи и единственный ее источник сведений. Если голоса должностных лиц представляли собой только звуки, предназначенные исключить общение, голоса неизвестных людей были ее последней связью с системой, последними искрами разума и мучительной честности, сверкающими через мили путей Таггертов.

— Мисс Таггерт, звонить вам — не мое дело, но больше не позвонит никто, — послышался в трубке юношеский, слишком спокойный голос. — Через день-другой здесь произойдет невиданная беда, скрыть ее не смогут, только будет слишком поздно, может быть, *уже* слишком поздно.

— Что случилось? Кто вы?

— Один из ваших работников в миннесотском отделении, мисс Таггерт. Через день-другой поезда перестанут уходить отсюда, а вы понимаете, что это значит в разгар уборки урожая. Невиданное. Поезда перестанут ходить, потому что у нас нет вагонов. Вагоны под хлеб в этом году не прислали.

— Что, что?

Ей показалось, что между словами, произнесенными неестественным, совершенно не похожим на ее голосом, протекли минуты.

— Вагоны не прислали. Сейчас их здесь должно быть пятнадцать тысяч. Насколько знаю, у нас их всего около восьми тысяч. Я звонил в управление миннесотского отделения в течение недели. Мне отвечали, чтобы я не беспокоился. В последний раз сказали, чтобы я не совался не в свое дело. Все сараи, силосные ямы, элеваторы, склады и танцевальные залы вдоль железной дороги заполнены пшеницей. У шерманского элеватора на дороге стоит очередь из фермерских тракторов и телег длиной в две мили. У станции Лейквуд площадь вот уже трое суток плотно забита. Нам говорят, что это временно, что вагоны в пути, и мы наверстаем потерянное время. Ничего подобного. Никаких вагонов в пути нет. Я звонил всем, кому только мог. И по их ответам все понял. Они знают, только никто не хочет в этом признаваться. Они боятся, боятся действовать или говорить, спрашивать или отвечать. Думают только о том, кого обвинят, когда зерно сгниет возле станций, а не кто будет его вывозить. Может быть, теперь уже никто не сможет, и вы тоже. Но я подумал, что вы — единственная, кого это заинтересует, и кто-то должен сообщить вам.

— Я… — Дагни заставила себя дышать. — я понимаю… Кто вы?

— Моя фамилия не имеет значения. Как только положу трубку, я стану дезертиром. Не хочу видеть этого. Не хочу иметь к этому никакого отношения. Желаю удачи, мисс Таггерт.

Послышался щелчок.

— Спасибо, — произнесла она в телефонную трубку.

Лишь в середине следующего дня Дагни заметила, что находится в стенах своего кабинета, и позволила себе что-то почувствовать. На миг она задалась вопросом, где находится, и что за невероятная история произошла в последние двадцать часов. Почувствовав ужас, Дагни поняла, *что* испытывала с первых слов того человека, только у нее не было времени это осознать.

Все время в ее сознании оставались только обрывки мыслей, соединенные единственной константой, делавшей их возможными, — то были вялые, бездумные лица людей, старавшихся скрыть от себя, что знают ответы на вопросы, которые она задавала.

Как только ей сказали, что управляющий отделом вагонной службы уехал на несколько дней неизвестно куда, Дагни поняла: сообщение человека из Миннесоты было правдой. Потом появились его помощники, но они не могли

ни подтвердить этого сообщения, ни опровергнуть его, тем не менее, все время показывали ей бумаги, распоряжения, бланки, картотеки со словами на английском языке, но не имеющие никакого отношения к понятным фактам.

— Были отправлены товарные вагоны в Миннесоту?

— Бланк триста пятьдесят семь «в» заполнен во всех подробностях, как требует служба координатора в соответствии с указаниями контролера и директивой одиннадцать-четыреста девяносто три.

— Были отправлены товарные вагоны в Миннесоту?

— Данные за август и сентябрь обрабатывались…

— Были отправлены товарные вагоны в Миннесоту?

— В моей картотеке местонахождение товарных вагонов указано по штатам, датам, классификации и…

— Вы знаете, были отправлены вагоны в Миннесоту или нет?

— Что касается движения вагонов между штатами, я должен отослать вас к картотекам мистера Бенсона и мистера…

Из картотек ничего невозможно было узнать. Там имелись старательно сделанные записи, каждая содержала четыре возможных значения со ссылками, ведущими к другим ссылкам, которые, в свою очередь, отсылали к окончательным ссылкам, исчезнувшим из картотеки. Дагни быстро выяснила, что вагоны в Миннесоту не отправлены, и это распоряжение исходило от Каффи Мейгса. Но кто выполнял его, кто запутывал следы, какие шаги предприняли эти угодливые люди, чтобы создать видимость нормально проводимой операции без единого протестующего возгласа, способного привлечь внимание более смелого человека, кто фальсифицировал сообщения и куда отправлены вагоны, поначалу казалось невозможным установить.

Всю ночь, пока небольшая бесстрашная группа под руководством Эдди Уиллерса обзванивала все отделения и парки, депо, станции, тупики и боковые линии *«Таггерт Трансконтинентал»* относительно каждого вагона в пределах видимости или досягаемости, приказывала выгрузить, выбросить, выпустить все и немедленно отправить их в Миннесоту, пока обзванивала президентов всех железных дорог, еще кое-где сохранившихся, прося вагоны для Миннесоты,

Дагни, общаясь то с одним трусливым должностным лицом, то с другим, выясняла место назначения исчезнувших вагонов.

Она переходила от железнодорожных служащих к богатым грузоотправителям, к вашингтонским чиновникам и снова к железным дорогам, пользовалась такси, телефоном, радио — следовала по тропе смутных намеков. И почти достигла конца ее, когда услышала надменный, самоуверенный голос женщины из одного вашингтонского учреждения, возмущенно сказавшей по телефону: «Ну, это спорный вопрос, необходима ли пшеница для благополучия нации, люди более прогрессивных взглядов считают, что соя представляет собой большую ценность». В полдень Дагни стояла посреди своего кабинета, зная, что товарные вагоны, предназначенные для миннесотской пшеницы, отправлены перевозить сою с луизианских болот по проекту Мамочки.

Первые сообщения о бедствии в Миннесоте появились в газетах три дня спустя. В них говорилось, что фермеры, шесть дней ждавшие на улицах Лейквуда, где не было места для хранения зерна и поездов для его отправки, разнесли здание суда, дом мэра и железнодорожную станцию. Потом эти известия внезапно прекратились,

газеты хранили молчание, затем стали печатать предостережения не верить непатриотическим слухам.

Пока мельницы и зерновые рынки страны взывали по телефонным и телеграфным проводам и слали просьбы в Нью-Йорк, делегации — в Вашингтон, пока вереницы товарных вагонов из разных уголков континента ползли, будто ржавые гусеницы, в сторону Миннесоты, пшеница дожидалась своего последнего часа у железнодорожных путей, под постоянными зелеными огнями светофоров, разрешавшими движение поездам, которых там не было.

У пультов связи *«Таггерт Трансконтинентал»* небольшая команда продолжала просить товарные вагоны, повторяла, будто команда тонущего судна, SOS и оставалась неуслышанной. Товарные вагоны месяцами стояли загруженными на грузовых станциях компаний, принадлежащих друзьям торговцев протекциями, не обращавшим внимания на неистовые требования разгрузить вагоны и освободить их. «Передайте этой железной дороге, пусть…» — а затем непечатные слова — таков был ответ братьев Смэзер из Аризоны на SOS из Нью-Йорка.

В Миннесоте захватывали вагоны со всех за-

пасных путей, с Месаби Рейндж, с рудников Пола Ларкина, где вагоны стояли, дожидаясь мизерного объема руды. Пшеницу грузили в рудные, угольные и дощатые вагоны для перевозки скота, из которых по пути следования струились золотые ручейки. Зерно грузили в пассажирские вагоны, поверх сидений и полок, грузили, лишь бы отправить его, даже если оно отправлялось в канавы вдоль полотна из-за внезапно лопнувших тормозных пружин и взрывов по причине загоревшихся букс.

Миннесотцы боролись за движение, движение без мысли о конечном пункте, движение как таковое, как паралитик, делающий неистовые, ожесточенные, невероятные рывки вопреки сознанию, что движение вдруг стало невозможным. Других железных дорог не было — их прикончил Джеймс Таггерт; на озерах не было судов — их уничтожил Пол Ларкин. Была лишь одна рельсовая колея и сеть запущенных шоссе.

Грузовики и телеги ожидающих фермеров отправились по дорогам вслепую: без карт, горючего, корма для лошадей, они тянулись на юг, к видениям где-то ждущих их мельниц, без знания о расстояниях впереди, но со знанием о смерти позади, тянулись, чтобы выйти из строя

на дорогах, в оврагах, в проломах гнилых мостов. Одного фермера нашли в полумиле к югу от останков его грузовика, он ничком лежал мертвым в канаве, все еще держа на плечах мешок с пшеницей. Потом небо над миннесотскими прериями затянули дождевые тучи; дождь превращал в гниль пшеницу на железнодорожных станциях, молотил по грудам золотых зерен вдоль шоссе, и те с водой уходили в землю.

В конце концов паника дошла и до людей в Вашингтоне. Они следили, но не за сообщениями из Миннесоты, а за ненадежным балансом дружеских связей и убеждений; взвешивали, но не судьбу урожая, а непостижимые результаты непредсказуемых эмоций недумающих людей, обладающих неограниченной властью. Они отмахивались от всех просьб, заявляя: «А, чепуха, нечего беспокоиться. Таггертовские люди всегда вывозили пшеницу по графику, найдут какой-то способ вывезти!»

Потом губернатор штата Миннесота отправил в Вашингтон просьбу о поддержке армии в борьбе с мятежами, с которыми он сам не мог совладать, и через два часа были изданы три директивы, по которым все поезда в стране были остановлены, и вагоны срочно направлены

в Миннесоту.

Распоряжение за подписью Уэсли Моуча требовало немедленного освобождения занятых Мамочкой товарных вагонов. Но было уже поздно. Вагоны Мамочки находились в Калифорнии, соя была отправлена в прогрессивный концерн, образованный социологами, проповедующими восточный аскетизм, и бизнесменами, ведшими прежде нелегальную лотерею.

В Миннесоте фермеры поджигали свои фермы, разрушали элеваторы и дома окружных чиновников, сражались на железной дороге, одни хотели разрушить ее, другие защищали ценой собственной жизни и, не ставя себе иной цели, кроме насилия, гибли на улицах разграбленных городов и в тихих оврагах.

Потом остался только едкий запах гнилого зерна в полуобгорелых кучах — несколько столбов дыма вздымалось в неподвижном воздухе над почерневшими развалинами, а Хэнк Риарден в своем кабинете в Филадельфии просматривал список обанкротившихся людей: они производили сельскохозяйственное оборудование, не могли получить за него денег и не смогут расплатиться с ним. Урожай сои на рынки страны не попал: он был собран раньше времени, заплесневел

и не годился в пищу.

* * *

В ночь на 15 октября порвался медный провод в Нью-Йорке, в подземном диспетчерском пункте Терминала Таггертов, и сигнальные огни погасли. Порвался всего один провод, но он вызвал короткое замыкание в системе блокировки, и сигналы, разрешающие или запрещающие движение, исчезли с панелей диспетчерских пунктов и железнодорожных путей. Красные и зеленые линзы оставались красными и зелеными, но не светились, а мертвенно блестели. На окраине города несколько поездов скопилось у въезда в туннель терминала, и с течением времени поезда продолжали скапливаться, будто кровь, остановленная тромбом и не имеющая возможности попасть в полость сердца.

Дагни в ту ночь сидела за столом в особой столовой отеля «*Уэйн– Фолкленд*». Воск свечей стекал на белые листья камелий и лавра у основания серебряных подсвечников, арифметические подсчеты делались карандашом на белой камчатной скатерти, сигарные окурки плавали в чаше для ополаскивания пальцев. За столом сидели, глядя на нее, шестеро мужчин в смокингах: Уэсли

Моуч, Юджин Лоусон, доктор Флойд Феррис, Клем Уизерби, Джеймс Таггерт и Каффи Мейгс.

— Зачем? — спросила Дагни, когда Джеймс сказал, что ей нужно присутствовать на этом ужине.

— Ну… потому что на будущей неделе собирается наш совет директоров.

— И что?

— Тебе интересно, что будет решено по поводу нашего миннесотского отделения, не так ли?

— Это будет решаться на совете?

— Ну, не совсем.

— На этом ужине?

— Не совсем, но… почему тебе всегда нужно полной определенности? Ничего определенного нет. К тому же, они настаивали, чтобы ты пришла.

— Зачем?

— Разве этого недостаточно?

Дагни не спросила, почему эти люди хотят принимать столь важные решения на подобных сборищах; она знала, что это так делается. Знала, что, хотя для виду проводятся шумные, бурные совещания советов, заседания комитетов, массовые дебаты, все решения принимаются заранее, в непринужденной атмосфере обедов,

ужинов и выпивок, и чем серьезнее проблема, тем беспечнее метод ее решения. Ее, постороннюю, врага, впервые пригласили на одно из этих секретных сборищ; это, подумала она, служит признанием того факта, что они в ней нуждаются, и, возможно, является первым шагом к капитуляции; за такой шанс она не могла не ухватиться.

Однако сидя при свете свечей в столовой, Дагни чувствовала уверенность, что никакого шанса у нее нет; чувствовала беспокойную неспособность принять эту уверенность, потому что не могла понять ее причины, но доискиваться ей очень не хотелось.

«Думаю, вы согласитесь, мисс Таггерт, что теперь нет экономического смысла дальнейшего существования железной дороги в Миннесоте, она…» «И я уверен, даже мисс Таггерт согласится, что необходимо временное сокращение расходов, пока…» «Никто, даже мисс Таггерт, не станет отрицать, что бывают времена, когда нужно пожертвовать частью ради сохранения целого…»

Слушая, как ее имя изредка звучит в разговоре, небрежно, без взгляда говорящего в ее сторону, Дагни задавалась вопросом, почему эти люди захотели ее присутствия? Это было не попыткой заставить ее поверить, будто они с ней консульти-

руются, — еще худшей попыткой внушить себе, что она соглашается с ними. Иногда они задавали ей вопросы и перебивали ее, не давая досказать первую фразу ответа. Казалось, эти люди хотели получить ее одобрение без необходимости знать, одобряет она их или нет.

Какая-то грубая, детская форма самообмана заставила их придать такому событию благопристойную атмосферу торжественного ужина. Держались они так, словно хотели почерпнуть от предметов благородной роскоши силу и честь, плодом и символом которых эти вещи некогда были. «Держались, — думала Дагни, — как дикари, которые поедали труп врага в надежде обрести его силу и достоинство».

Дагни сожалела, что не оделась по-другому.

— Одежда должна быть вечерней, — сказал ей Джеймс, — только не перегни палку… то есть не выгляди слишком богатой… деловым людям сейчас нужно избегать подозрений в надменности… вид, конечно, не должен быть нищенским, но хорошо бы произвести впечатление… ну, скромности… им это понравится, позволит чувствовать себя значительными.

— Вот как? — сказала она, отворачиваясь.

На ней было черное платье, выглядело оно

куском ткани, прикрывающим грудь и спадающим к ногам мягкими складками, словно греческая туника; платье было сшито из атласа, такого легкого и тонкого, что он мог бы подойти для ночной рубашки. Переливчатый блеск его создавал впечатление, что свет в комнате принадлежит ей, чутко слушается ее телодвижений, окутывает ее сиянием, более роскошным, чем парча, подчеркивает гибкую стройность ее фигуры, придает ей вид такой естественной утонченности, что она может позволить себе быть презрительно-небрежной. На ней была всего одна драгоценность — бриллиантовая брошь на краю выреза платья, она вспыхивала при каждом неуловимом дыхательном движении, словно некий преобразователь, превращающий мерцание в огонь, заставляющий обращать внимание не на драгоценные камни, а на биение жизни за ними; брошь вспыхивала, словно боевая награда, словно богатство, носимое как символ чести. Ее черная бархатная пелерина выглядела вызывающе патрицианской.

Теперь, глядя на мужчин перед собой, Дагни сожалела об этом, ощущала смущающую вину бессмысленности, словно пыталась бросить вызов восковым фигурам. Она видела в их глазах

бессмысленное возмущение и трусливую тень безжизненной, бесполой, бесстыдной похоти, с какой мужчины смотрят на афишу, рекламирующую бурлеск.

— На нас лежит громадная ответственность, — заговорил Юджин Лоусон, — решать вопрос жизни и смерти тысяч людей, жертвовать ими при необходимости, но мы должны иметь мужество это сделать.

Его вялые губы, казалось, искривились в улыбке.

— Единственные факторы, которые нужно принимать во внимание, — заговорил тоном статистика доктор Феррис, пуская к потолку колечки табачного дыма, — это площадь территории и численность населения. Поскольку больше невозможно сохранять миннесотскую линию и трансконтинентальное движение по этой железной дороге, выбор приходится делать между Миннесотой и теми штатами к западу от Скалистых гор, которые оказались отрезанными в результате обрушения туннеля Таггертов, а также соседними штатами Монтана, Айдахо, Орегон, то есть практически всем северо-западом. Если сравнить площадь территории и численность населения обоих районов, то ясно,

что лучше погубить Миннесоту, чем оставить наши линии сообщения на трети континента.

— Я не оставлю континента, — сказал Уэсли Моуч, глядя в блюдечко с мороженым, голос его был обиженным и упрямым.

Дагни думала о Месаби Рейндж — последнем крупном месторождении железной руды, уцелевших фермерах Миннесоты — лучших производителях пшеницы в стране, о том, что конец Миннесоты будет означать конец Висконсина, затем Мичигана, следом Иллинойса; ей виделось красное дыхание останавливающихся заводов на всем востоке, мерещились безжизненные мили песков на западе, скудные пастбища, покинутые фермы.

— Цифры показывают, — официальным тоном заговорил мистер Уизерби, — что поддержание обоих районов невозможно. Железнодорожные пути и оборудование одного нужно демонтировать, чтобы иметь средства для поддержания другого.

Дагни заметила, что Клем Уизерби, их технический эксперт по железным дорогам, пользуется среди собравшихся наименьшим влиянием, а Каффи Мейгс — самым большим.

Каффи Мейгс сидел, развалясь, с видом по-

кровительственной терпимости к их игре в дискуссию. Он говорил мало, но отрывисто, безапелляционно, с презрительной усмешкой: «Заткнись, Джимми!» или «Черт, Уэс, ты рассуждаешь, как дилетант!» Она обратила внимание, что ни Джеймс, ни Моуч не обижались. Казалось, они одобряли его властную уверенность и признавали в нем своего господина.

— Нам нужно быть практичными, — твердил доктор Феррис. — Нам нужен научный подход.

— Мне нужна экономика страны в целом, — повторял Уэсли Моуч. — Нужно национальное производство.

— Речь идет об экономике? О производстве? — спрашивала Дагни всякий раз холодным, размеренным голосом, когда они ненадолго умолкали. — Если да, то дайте нам возможность спасти восточные штаты. Это все, что осталось от страны и от всего мира. Если позволите, то есть возможность восстановить остальное. Если нет, это конец. Пусть «*Атлантик Саузерн*» заботится о том трансконтинентальном движении, какое еще существует, а местные железные дороги — о северо-западе. Давайте вернемся к началу нашей страны, но будем держаться этого начала. Мы не будем пускать поезда западнее Миссури,

станем местной железной дорогой — местной дорогой промышленного востока. Давайте спасать промышленность. На западе спасать уже нечего. Сельское хозяйство можно вести столетиями посредством ручного труда и воловьих упряжек. Но уничтожьте промышленность — и века усилий не смогут восстановить ее или накопить экономическую мощь, чтобы начать заново. Как можно ожидать, что наша промышленность или железные дороги смогут существовать без стали? Как можно ожидать, что сталь будет выплавляться, если отрезать путь к железной руде? Спасайте Миннесоту, что бы там от нее ни осталось. Страна? Если промышленность исчезнет, страны, которую нужно спасать, не будет. Рукой или ногой можно пожертвовать. Но нельзя спасти тело, пожертвовав сердцем и мозгом. Спасайте нашу промышленность. Спасайте Миннесоту. Спасайте Восточное побережье.

Бесполезно. Дагни говорила это много раз, со многими подробностями, фактами, цифрами, доказательствами, какие могла отыскать в утомленном мозгу, но ее слова не принимали во внимание. Бесполезно. Они не опровергали ее и не соглашались с ней; лишь переглядывались, словно ее доводы были неуместными. В ответах

их звучало непонятное подчеркивание, словно они давали ей объяснение, но шифром, к которому у нее не было ключа.

— В Калифорнии беспорядки, — угрюмо сказал Уэсли Моуч. — Законодательное собрание штата ведет себя очень ненадежно. Идет разговор об отделении от союза.

— Орегон кишит шайками дезертиров, — сдержанно сказал Клем Уизерби. — За последние три месяца они убили двух сборщиков налогов.

— Значение промышленности для цивилизации слишком преувеличено, — полусонно произнес доктор Феррис. — Нынешняя Народная республика Индия существовала веками безо всякого промышленного развития.

— Людям нужно меньше материальных вещей и более суровая дисциплина ограничений, — пылко заявил Юджин Лоусон. — Для них это будет полезно.

— Черт возьми, вы намерены поддаться на уговоры этой дамочки, выпустить из рук самую богатую страну на свете? — спросил, вскочив с места, Каффи Мейгс. — Самое время отказаться от целого континента — и в обмен на что? На жалкий, маленький штат, который уже дошел до ручки! Бросьте Миннесоту, держитесь за свою

трансконтинентальную сеть. Когда повсюду мятежи и беспорядки, вы не сможете держать людей в узде без транспорта для перевозки войск, если не сможете держать войска в нескольких днях пути от любой точки. Сейчас не время экономить. Не трусьте, слушая эту болтовню. Страна у вас в кармане. Нужно только держать ее там.

— В конечном счете… — начал было неуверенно Моуч.

— В конечном счете мы все умрем, — огрызнулся, расхаживая по комнате, Каффи Мейгс. — Экономия, черт возьми! Еще много поживы осталось в Калифорнии, Орегоне и прочих штатах. Я считаю, что нам нужно подумать об экспансии: при нынешнем положении дел нас никто не остановит, можно прибрать к рукам Мексику, возможно, Канаду — это не составит особых трудов.

И тут Дагни увидела ответ — за их словами тайную предпосылку. Несмотря на голословную преданность этих людей веку науки, истеричную технологическую тарабарщину, их циклотрон и звуковые волны, ими двигало видение не промышленных достижений, а той формы существования, какую промышленники уничтожили: видение толстого, неопрятного раджи, глядящего

в ленивом ступоре пустыми глазами, утонувшими в дряблых складках плоти, которому нечего больше делать, как перебирать драгоценные камни да время от времени вонзать нож в тело изголодавшегося, измученного трудом и болезнями человека, чтобы забрать у него несколько зернышек риса, а потом требовать рис у сотен миллионов таких же людей и таким образом превращать зернышки в алмазы.

Раньше она думала, что промышленное производство для всех несомненная ценность, что стремление этих людей присвоить чужие предприятия служит признанием ценности таких предприятий. Она, дитя промышленной революции, считала невозможным и забытым, наряду с выдумками астрологии и алхимии, то, что эти люди знали посредством не мысли, а той невыразимой мерзости, которую именовали своими инстинктами и эмоциями: пока люди будут трудиться для выживания, они будут производить достаточно, чтобы человек с дубиной мог отнять большую часть произведенного, если миллионы людей будут согласны покоряться; чем усерднее люди работают и меньше получают, тем покорнее их дух; что людьми, которые зарабатывают на жизнь, передвигая рукоятки

на электрическом щите управления, править не так просто, а теми, кто роет землю голыми руками, легко; феодалам не нужны электронные предприятия для того, чтобы пить до одури из кубков с драгоценными камнями, как не нужны раджам Народной республики Индия.

Она видела, чего они хотят, видела цель их «инстинктов», которые они называли «необъяснимыми». Видела, что Юджин Лоусон, гуманист, находит удовольствие в перспективе массового голода, что доктор Феррис, ученый, мечтает о том дне, когда люди вернутся к плугу. Единственной ее реакцией были удивление и безразличие: удивление потому, что не могла понять, что доводит людей до такого состояния; равнодушие — поскольку не могла считать людьми тех, кто уже дошел до него. Они продолжали разговаривать, но Дагни не могла ни говорить, ни слушать. Она поймала себя на том, что ей хочется только вернуться домой и лечь спать.

— Мисс Таггерт, — послышался вежливый, рассудительный, чуть встревоженный голос, она вскинула голову и увидела любезного официанта, — звонит помощник управляющего терминала Таггертов, просит разрешения немедленно поговорить с вами. Утверждает, что это

крайне необходимо.

Для нее было облегчением встать и выйти из этой комнаты, пусть даже для ответа на звонок о новом бедствии. Было облегчением услышать голос помощника управляющего, пусть даже он говорил:

— Мисс Таггерт, система блокировки вышла из строя. Остановлено восемь прибывающих поездов и шесть отходящих. Мы не можем впустить их в туннели или выпустить оттуда, не можем найти главного инженера, не можем обнаружить места короткого замыкания, у нас нет медного провода для ремонта, мы не знаем, что делать, мы…

— Сейчас буду, — сказала она и положила трубку.

Спеша к лифту, потом по величественному вестибюлю отеля «*Уэйн-Фолкленд*», Дагни чувствовала, что возвращается к жизни, возможности действовать. Такси стали редкостью, и на свисток швейцара не появилось ни одной машины. Она быстро пошла по улице, забыв, как одета, и удивляясь, почему ветер кажется таким холодным и пронизывающим.

Дагни думала только о терминале и была поражена великолепием неожиданного зрелища:

она увидела быстро шедшую навстречу ей женщину, уличный фонарь освещал ее блестящие волосы, обнаженные руки, развевающуюся черную пелерину и пламя бриллиантов на груди, позади нее виднелись длинный, пустой коридор улицы и обрамленные точками света небоскребы. Сознание, что она видит себя в боковом зеркале витрины цветочного магазина, пришло секундой позже: она ощутила очарование среды, которой принадлежали этот образ и город. Потом Дагни почувствовала приступ отчаянного одиночества, гораздо более широкого, чем простор пустой улицы, и приступ гнева на себя, на нелепый контраст между ее внешностью, этой ночью и временем.

Из-за угла появилось такси, Дагни остановила машину, расположилась на сиденье и хлопнула дверцей, надеясь оставить на пустом тротуаре охватившее ее чувство. Но поняла — с насмешкой над собой, с тоской и горечью, — что это чувство ожидания, которое испытывала на первом балу и в те редкие минуты, когда ей хотелось, чтобы внешняя красота жизни соответствовала ее внутреннему великолепию. «Нашла время думать об этом!» — насмешливо сказала она себе. «Не сейчас!» — мысленно крикнула в гневе,

но какой-то безутешный голос продолжал ее спрашивать под гул мотора: «Ты считала, что должна жить для счастья — что осталось у тебя от него? Чего ты добьешься своей борьбой? Да, скажи честно: чего? Или ты становишься одной из тех жалких альтруистов, у которых уже нет ответа на этот вопрос?..» «Не сейчас!» — приказала она себе, когда в ветровом стекле такси появился освещенный вход в терминал Таггертов.

Люди в кабинете управляющего походили на погасшие светофоры, словно здесь тоже нарушилась некая цепь, и не было живительного тока, приводящего их в действие. Они смотрели на нее с какой-то пассивностью, словно не имело значения, позволит она остаться им замершими или включит рубильник и заставит их двигаться.

Управляющего терминалом не было. Главного инженера не могли найти; последний раз его видели два часа назад. Помощник управляющего истощил свою инициативу, вызвавшись позвонить ей. Другие не вызывались делать ничего. Инженер по сигнализации, похожий на студента человек тридцати с лишним лет, говорил вызывающе:

— Но такого никогда не случалось, мисс

Таггерт! Блокировка никогда не отказывала. Она не должна отказывать. Мы знаем свою работу, можем заботиться о блокировке не хуже, чем кто бы то ни было, но не в тех случаях, когда она выходит из строя, хотя не должна!

Дагни не могла понять, сохраняет ли умственные способности пожилой диспетчер, много лет проработавший на железной дороге, но скрывает их, или месяцы подавления этих способностей уничтожили их окончательно, даровав ему покой косности. «Мы не знаем, что делать, мисс Таггерт». «Не знаем, к кому обращаться за разрешением». «Нет правил относительно чрезвычайных происшествий подобного рода». «Нет даже правил относительно того, кто должен устанавливать эти правила!»

Дагни выслушала их и без слова объяснения сняла телефонную трубку. Велела телефонистке соединить ее с вице-президентом «*Атлантик Саузерн*» в Чикаго, позвонить ему домой, поднять его с постели, если он спит.

— Джордж? Дагни Таггерт, — сказала она, услышав в трубке голос конкурента. — Не отправишь ли ко мне инженера по сигнализации чикагского терминала Чарлза Меррея на сутки?.. Да… Хорошо. Посади его в самолет, пусть будет

здесь как можно быстрее. Скажи, что мы заплатим три тысячи долларов… Да, на один день… Да, так скверно… Да, я заплачу ему наличными, из своего кармана, если придется. Заплачу, сколько нужно для взятки, чтобы сесть в самолет, но отправь его первым же самолетом из Чикаго… Нет, Джордж, ни единого — в *«Таггерт Трансконтинентал»* не осталось ни одного умеющего думать… Да, раздобуду все бумаги, льготы, исключения и разрешения вследствие чрезвычайных обстоятельств… Спасибо, Джордж. До свиданья.

Дагни положила трубку и быстро заговорила, обращаясь к окружающим, чтобы не слышать тишины этой комнаты и Терминала, где больше не раздавалось стука колес, не слышать горьких слов, которые словно бы повторяла эта тишина: «В «*Таггерт Трансконтинентал*» не осталось ни одного думающего…»

— Немедленно подготовьте аварийный поезд и команду. Отправьте на гудзонскую линию, пусть снимут все медные провода, лампочки, сигналы, телефоны — все, что является собственностью компании, и к утру доставят сюда.

— Но, мисс Таггерт, работа на гудзонской линии приостановлена только временно, и департамент по объединению отказал нам в разрешении

разбирать эту линию!

— В ответе буду я.

— Но как отправить отсюда аварийный поезд, если нет никаких сигналов?

— Сигналы будут через полчаса.

— Откуда они возьмутся?

— Пошли, — сказала она, вставая.

Все последовали за ней, быстро шедшей по пассажирской платформе мимо сбившихся в кучки беспокойных пассажиров у неподвижных поездов. Дагни стремительно прошла по узкому проходу среди лабиринта рельсов, мимо погасших светофоров и неподвижных стрелок, под громадными сводами туннелей слышались только ее шаги и глухое поскрипывание досок под более медленными шагами шедших за ней, напоминавшее вымученное эхо, она шла к освещенному стеклянному кубу башни А, висевшей в темноте, словно корона низложенного правителя над царством пустых железнодорожных путей.

Директор башни был очень опытным человеком на очень квалифицированной работе, поэтому не мог полностью скрыть опасное бремя разума. Он с первых же слов понял, чего хочет от него Дагни, ответил отрывистым «Хорошо,

мэм», угрюмо занялся самыми унизительными расчетами за свою долгую карьеру. Дагни поняла, как глубоко он это осознает, по брошенному на нее взгляду, в котором были негодование и терпеливость, те отпечатки эмоций он уловил и на ее лице.

— Вначале сделаем работу, а потом будем предаваться чувствам, — сказала она, хотя он не произнес ни слова.

— Хорошо, мэм, — деревянно ответил директор.

Его комната на верху подземной башни походила на застекленную веранду над тем местом, где некогда проходил самый быстрый, оживленный и упорядоченный на свете поток. Он составлял графики движения более девяноста поездов в час, наблюдал, как под его руководством они шли в безопасности по лабиринту путей и стрелок в Терминал и из него, проходя под стеклянными стенами его башни. Теперь впервые он смотрел на пустую темноту.

В открытую дверь комнаты Дагни видела работников башни, стоявших в угрюмой праздности, — людей, чья работа не позволяла расслабиться ни на минуту, — стоявших длинными рядами, напоминавшими листы меди

с вертикальной гофрировкой, полки с книгами — своеобразный памятник разуму. Движение одного из небольших рычагов, торчавших, будто закладки на книжных полках, приводило в действие тысячи электрических схем, замыкало тысячи контактов и размыкало столько же других, заставляло десятки стрелок освобождать избранный путь, десятки сигнальных фонарей — освещать его; ошибки, случайности, противоречия исключались; неимоверная сложность мысли сосредоточивалась в движении человеческой руки, чтобы определить и обезопасить маршрут поезда, чтобы сотни поездов могли проноситься мимо нее, тысячи жизней и тонн металла могли передвигаться на кратком расстоянии друг от друга, защищенные лишь мыслью человека, изобретшего эти рычаги. Но они — Дагни посмотрела на лицо своего инженера по сигнализации — считали, что требуется лишь жест, чтобы управлять этим движением, и теперь работники башни стояли в праздности, а на громадных панелях перед директором башни вспыхивавшие красные и зеленые огоньки, которые объявляли о движении поездов на расстоянии многих миль, представляли собой стеклянные бусинки, похожие на те, за которые

дикари некогда продали остров Манхэттен.

— Вызовите всех своих неквалифицированных рабочих, — сказала она помощнику управляющего, — помощников, путевых обходчиков, обтирщиков паровозов, всех, кто сейчас в Терминале, и прикажите немедленно прийти сюда.

— Сюда?

— Сюда, — сказала она, указывая на путь возле башни. — Вызовите и всех стрелочников. Позвоните на склад, пусть доставят сюда все фонари, какие смогут найти, — кондукторские, штормовые, какие угодно.

— Фонари, мисс Таггерт?

— Принимайтесь за дело.

— Хорошо, мэм.

— Что это мы делаем, мисс Таггерт? — спросил диспетчер.

— Мы будем управлять движением вручную.

— Вручную? — переспросил инженер по сигнализации.

— Да, приятель! Чему вы так удивляетесь? — Дагни не могла удержаться. — Человек представляет собой только мышцы, так ведь? Мы вернемся к тому времени, когда не существовало систем блокировки, семафоров, электричества, когда для сигнализации использовались не сталь

и электричество, а люди, держащие фонари. Вместо фонарных столбов использовались живые люди. Вы давно за это ратовали и получили то, что хотели. О, вы думали, что ваши орудия будут определять ваш образ мыслей? Но получилось наоборот, и теперь увидите, какие орудия были определены вашим образом мыслей!

«Но даже возвращение назад требует деятельности разума», — подумала Дагни, осознав парадоксальность своего положения при взгляде на вялые лица вокруг.

— Как будем переводить стрелки, мисс Таггерт?

— Вручную.

— А переключать сигналы?

— Вручную.

— Каким образом?

— Поставив у каждого столба человека с фонарем.

— Как? Это не совсем ясно.

— Будем использовать запасные пути.

— Откуда люди будут знать, куда переводить стрелку?

— По расписанию.

— Что?

— По расписанию — как в прежние времена, —

она указала на директора башни. — Он составит график того, как пропускать поезда и по каким путям. Напишет указания для каждого сигнала и стрелки, назначит несколько человек связными, они будут доставлять эти указания к каждому посту, и то, что раньше занимало минуты, теперь займет часы, но мы пропустим все ожидающие поезда в терминал и отправим в путь…

— Будем работать таким образом всю ночь?

— И весь завтрашний день, пока инженер, знающий свое дело, не покажет вам, как отремонтировать систему блокировки.

— В договоре с профсоюзами ничего не говорится о людях, стоящих с фонарями. Начнутся беспорядки. Профсоюз будет возражать.

— Пусть его руководители придут ко мне.

— Будет возражать департамент по объединению.

— В ответе буду я.

— Знаете, я бы не хотел отвечать за отдачу распоряжений…

— Я буду отдавать их.

Дагни вышла на площадку железной лестницы сбоку башни; она силилась овладеть собой. На миг ей показалось, что она тоже точный высокотехнологичный механизм, оставшийся

без электричества, и пытается управлять трансконтинентальной железной дорогой с помощью двух рук. Поглядела на громадную, тихую пустоту таггертовского подземелья и ощутила приступ мучительного унижения, потому что видит его низведенным до того уровня, когда люди с фонарями будут стоять в туннелях, словно его последние мемориальные статуи.

Дагни едва различала лица людей, собиравшихся у подножья башни. Они тихо подходили сквозь тьму и останавливались в синеватом полумраке, за спиной у них горели синие фонари, на плечи им падали полосы света из башенных окон. Она видела испачканную одежду, мускулистые тела, вяло опущенные руки людей, измотанных неблагодарным, не требующим мысли трудом. Это были чернорабочие железной дороги, молодые люди, которые теперь не могли искать возможности преуспеть, и старики, которые никогда не хотели ее искать. Они стояли молча, не с живым любопытством работников, а с усталым безразличием каторжников.

— Распоряжения, которые вы получите, исходят от меня, — заговорила Дагни громко и четко, стоя на железной лестнице над ними. — Люди, которые их вам отдадут, действуют по моим

указаниям. Система блокировки вышла из строя. Придется заменить ее ручной работой. Движение поездов должно восстановиться полностью.

Дагни заметила несколько лиц в толпе, обращенных к ней со странным выражением: с завуалированной обидой и каким-то бесцеремонным любопытством, напомнившим ей вдруг, что она — женщина. Потом она вспомнила, как одета, подумала, что здесь ее наряд выглядит неуместно, а вслед за этим во внезапном неистовом порыве, похожем на вызов и на верность полному, подлинному значению настоящей минуты, сбросила назад пелерину и стояла в ярком свете под закопченными колоннами, будто на официальном приеме, сурово распрямившись, выставляя напоказ красивые обнаженные руки, сияющий черный атлас платья, брошь, сверкающую, словно боевая награда.

— Директор башни расставит стрелочников по постам. Отберет людей для сигнализации поездам фонарями и для передачи его распоряжений, — она силилась заглушить какой-то горестный голос, говоривший: «И это все, для чего пригодны люди, а может, непригодны даже для этого… на “*Таггерт Трансконтинентал*” не осталось ни одного думающего…» — Поезда бу-

дут продолжать движение в Терминал и из него. Вы будете оставаться на своих местах до…

И тут Дагни умолкла. Первое, что она увидела, были его глаза и волосы: беспощадно проницательные глаза и пряди волос, словно бы излучающие солнечный свет в полумраке подземелья, с оттенком от медного до золотого; она увидела Джона Голта среди каторжной команды недумающих, в грязном комбинезоне и рубашке с закатанными рукавами, отметила его манеру стоять; лицо Джона было запрокинуто, глаза смотрели на нее так, словно он видел все это несколько минут тому назад.

— В чем дело, мисс Таггерт? — негромко произнес директор башни, он стоял рядом с ней, держа в руке какую-то бумагу, и Дагни подумала, что странно возвращаться из стадии бессознательного состояния, острейшего в ее жизни осознания, только она не знала, как долго такая стадия длилась, не знала, где находится, и почему. Она видела лицо Голта, замечала в складке его губ, в очертаниях угловатых щек присущую ему беспощадную безмятежность, но во взгляде было признание расстояния между ними и того факта, что эта минута невыносима даже для него.

Дагни понимала, что продолжает говорить,

потому что люди смотрели на нее с таким видом, будто слушают, однако не слышала собственного голоса, она продолжала говорить, словно выполняла полученное под гипнозом задание, данное себе целую вечность назад, сознавая только, что завершение этого задания является вызовом ему.

Ей казалось, что она стоит в солнечной тишине и из всех чувств обладает только зрением, и лицо Голта — единственный объект, а выражение его лица напоминает речь, от которой у нее сжимает горло. Было как будто бы совершенно естественным, что он здесь, но невыносимо просто; было потрясением не его присутствие, а всех остальных на путях ее железной дороги, где ему — место, а им — нет. Она вспомнила те мгновения в поезде, когда при въезде в туннель ощутила внезапное торжественное напряжение, словно это место демонстрировало ей в обнаженной простоте сущность ее железной дороги и ее жизни, союз материи и сознания, застывшую форму изобретательности разума, дающую физическое существование его цели. Дагни ощутила внезапную надежду, словно эта минута вмещала смысл всех ее ценностей, тайную радость, — как будто здесь, под землей, ее ждала некая перспектива:

было закономерно, что теперь она встретила Джона Голта именно в туннеле. Он воплощал собой этот смысл и эту перспективу. Она больше не замечала ни его одежды, ни того уровня, до которого низвела его железная дорога. Дагни видела только конец мучениям в те месяцы, когда он был вне досягаемости, отмечала то, чего ему эти месяцы стоили, а единственными словами, мысленно обращенные к нему, были: «Это награда за все мои дни». И его ответ: «За все мои».

Дагни поняла, что перестала обращаться к незнакомцам, когда увидела, что директор башни вышел вперед и стал что-то говорить им, бросая беглый взгляд на лист бумаги в руке. Потом она вдруг обнаружила, что спускается по лестнице и уходит от толпы не к платформе и выходу, а в темноту заброшенного туннеля. «Ты последуешь за мной, — звала она его, и ей казалось, что эта мысль выражается не в словах, а в напряжении мышц, напряжении воли совершить то, что выше ее возможностей, однако Дагни твердо знала, что это будет совершено ее желанием… — Нет, — подумала она, — не желанием, а полной закономерностью этого. Ты последуешь за мной, — это было не просьбой, не молитвой, не требованием, а спокойной

констатацией факта, в этом содержалась вся ее способность к познанию и все познанное за годы жизни. — Ты последуешь за мной, если мы есть то, что мы есть, — ты и я, если мы живем, если мир существует, если ты понимаешь значение этой минуты и не можешь позволить ей уйти, как позволили другие, в бессмысленность нежеланного и недоступного. Ты последуешь за мной». Она ощущала ликующую уверенность, которая представляла собой не надежду, не веру, а акт поклонения логике жизни.

Дагни шла по пришедшим в негодность путям, по длинному, гранитному, темному коридору. Голос директора был уже не слышен. Потом она почувствовала биение сердца и услышала в ответном ритме биение жизни города над головой, но ей казалось, что она слышит движение собственной крови, словно заполняющий эту тишину звук и движение города как биение жизни в своем теле, а далеко позади она слышала звук шагов, но не останавливалась.

Дагни пошла быстрее, миновала запертую железную дверь, за которой хранились остатки его двигателя, не остановилась, но легкое содрогание явилось ответом на внезапное понимание единства и логики событий последних двух

лет. Цепочка синих фонарей уходила в темноту над блестящим гранитом, над рваными мешками с песком, содержимое которых частично просыпалось на рельсы, над ржавыми грудами металлолома. Когда она услышала, что шаги приближаются, остановилась и обернулась.

Дагни увидела блестящие пряди волос Голта, бледное пятно его лица и темные впадины глаз. Лицо скрылось в темноте, но звук его шагов предвещал появление под другим фонарем, осветившим его глаза, которые смотрели прямо вперед, и она почувствовала уверенность, что он не переставал наблюдать за ней с того мгновения, как увидел на башне.

Дагни слышала биение жизни города над ними. «Эти туннели, — думала она, — корни города и всего движения до самого неба. Но мы, Джон Голт и я, были живой силой в этих корнях, мы — начало, цель и смысл. Он тоже слышит биение жизни города, как биение жизни в своем теле».

Дагни отбросила пелерину назад и стояла, вызывающе выпрямясь, он видел ее такой на лестнице башни, впервые видел такой десять лет назад здесь, под землей. Она слышала слова его признания как ритм биения его сердца, из-за которого так трудно было дышать: «Ты выгляде-

ла символом роскоши, ты гармонировала с этим местом, служившим ее источником… казалось, ты возвращаешь радость жизни тем, кому она принадлежит по праву… в тебе были видны энергия и ее результат… и я был первым, кто сказал, в каком смысле то и другое неразделимы…»

Следующее мгновение походило на вспышки света в период мрачного затемнения — она увидела его лицо, когда он остановился рядом, его спокойствие, сдерживаемую пылкость, смех понимания в темно-зеленых глазах. По тому, как плотно были сжаты его губы, она поняла, что он читает в ее лице. Дагни ощутила прикосновение его губ к своим, потом движение их вниз, по шее, всасывающее движение, оставляющее синяки, увидела блеск своих бриллиантов на дрожащей меди его волос.

Потом она уже не осознавала ничего, кроме ощущения своего тела, которое внезапно обрело силу непосредственно постигать ее самые глубинные ценности. И подобно тому, как ее глаза обладали способностью преображать световые волны в зрение, уши — колебания в звук, так тело теперь обрело способность преображать энергию, определявшую весь выбор ее жизни, в непосредственное чувственное восприятие.

Это было не прикосновение руки, приводящее ее в дрожь, а мгновенное подытоживание его смысла, сознание, что это *его* рука, и движется она так, будто ее плоть представляет собой его собственность, а движение его руки — это принятие всех достижений. Это было всего лишь ощущение физического удовольствия, но в нем содержалось ее обожание этого человека, всего, чем была его жизнь: с ночи, когда состоялся массовый митинг на заводе в Висконсине, до долины в Атлантиде, сокрытой Скалистыми горами, до торжествующей насмешки разума — в нем содержались ее гордость собой и тем, что он избрал ее в качестве своего зеркала, что ее тело теперь давало ему высшее удовольствие жизни, как и его тело — ей. Вот что содержалось в этом прикосновении, но она сознавала только то, как движется его рука по ее груди.

Он сорвал ее пелерину, и она почувствовала стройность своего тела через кольцо его рук, словно его личность была просто орудием для ее торжествующего осознания себя, но она была только орудием для собственного ощущения его. Казалось, она достигла предела своей способности чувствовать, однако то, что она чувствовала, походило на крик нетерпеливого требования, на-

звать которое она не могла, но в нем была та же амбициозность, как во всем ходе ее жизни, та же неистощимость ликующей алчности.

Он отвел назад ее голову, чтобы взглянуть ей прямо в глаза и понять весь смысл их действий, словно направляя прожектор сознания для встречи их глаз в минуту предстоящей интимности.

Потом она почувствовала, что мешковина колет плечи, осознала, что лежит на рваных мешках с песком, увидела блеск своих чулок, ощутила прикосновение его губ на своей лодыжке, то, как они поднимаются вверх по ноге, словно он хотел познать форму ее ноги с помощью губ. Дагни ощутила касание его руки, прикосновение его губ к своим губам, к шее. Потом не было ничего, кроме движений его тела и все усиливающейся жадности, как будто она была уже не личностью, а лишь стремлением к невозможному. Но вдруг до нее дошло, что это возможно, она ахнула, затихла, сознавая, что больше уже нечего желать.

Она увидела, как он лежит рядом с ней на мешках, словно его расслабленное тело стало мягким, увидела свою пелерину, свисавшую с рельса у их ног, на гранитном своде поблескивали капли влаги, медленно сползавшие в невидимые щели, светясь, будто фары далеких машин. Когда Джон

заговорил, голос звучал так, словно он спокойно продолжал фразу в ответ на вопросы в ее сознании, как будто ему уже нечего больше скрывать, и теперь он должен только обнажить свою душу так же просто, как обнажил бы тело:

— ...вот так я наблюдал за тобой десять лет... отсюда, из-под земли под твоими ногами... знал каждое движение, которое ты совершала в своем кабинете на верхнем этаже здания, никак не мог на тебя насмотреться... ночи, проведенные лишь для того, чтобы мельком увидеть тебя здесь, на платформе, когда ты садилась в поезд.... Когда приходило распоряжение прицепить твой вагон, я узнавал об этом и ждал, чтобы увидеть, как ты поднимаешься по пандусу, хотел, чтобы ты шла помедленней... твою походку я бы узнал повсюду... твою походку и твои ноги... сначала я всегда видел только твои ноги, быстро спускавшиеся по пандусу, проходившие мимо, когда я смотрел с запасного пути внизу... думаю, я мог бы изваять их, наблюдал, как ты проходишь... когда возвращался к своей работе... когда шел домой перед восходом, чтобы поспать три часа, но сон не приходил...

— Я люблю тебя, — сказала Дагни, голос ее был невыразительным, но по-детски хрупким.

Голт закрыл глаза, словно позволяя этому звуку пройти через минувшие годы.

— Десять лет, Дагни. Лишь однажды было несколько недель, когда ты была передо мной, на виду, вблизи, не спешившая прочь, а замершая, будто на освещенной сцене, частной сцене для моего наблюдения… и я наблюдал за тобой часами много вечеров… в освещенных окнах кабинета начальника «*Линии Джона Голта*»… и однажды ночью…

Дагни ахнула.

— Это был ты, в ту ночь?

— Ты меня видела?

— Видела твою тень… на тротуаре… ты расхаживал взад и вперед… это выглядело борьбой… выглядело… — Дагни умолкла; ей не хотелось говорить «пытка».

— Это была борьба, — спокойно сказал он. — В ту ночь мне хотелось войти, встретиться с тобой, поговорить… в ту ночь я был ближе всего к нарушению своей клятвы, когда увидел, как ты опустилась ничком на стол, когда увидел, что ты сломлена бременем, которое несла…

— Джон, в ту ночь я думала о тебе… только не знала этого…

— Но, видишь ли, знал я.

— ...это был ты, всю мою жизнь, во всем, что я делала, во всем, чего хотела...

— Знаю.

— Джон, самое трудное было не тогда, когда я оставила тебя в долине... Это было...

— Твое выступление по радио в день возвращения?

— Да! Ты слушал?

— Конечно. Я рад, что ты это сказала. Это было великолепно. И я... я все равно знал.

— Знал... о Хэнке Риардене?

— До того, как увидел тебя в долине.

— Это было... ожидал ты этого, когда узнал о нем?

— Нет.

— Это было...

Дагни не договорила.

— Тяжело? Да. Но лишь первые несколько дней. На другую ночь... Рассказать, что я сделал на другую ночь после того, как узнал об этом?

— Да.

— Я ни разу не видел Хэнка Риардена, видел только его фотографии в газетах. Я знал, что в ту ночь он был в Нью-Йорке, на какой-то конференции крупных промышленников. И хотел только взглянуть на него. Стал ждать у входа в отель,

где проходила конференция. Под козырьком над входом горел яркий свет, но на тротуаре было темно, и я мог видеть, оставаясь невидимым. Поблизости болтались несколько бродяг, моросил дождь, поэтому мы жались к стенам здания. Участников конференции, когда они стали выходить, было легко узнать по одежде и поведению: явно дорогая одежда и какая-то властная робость, словно они изо всех сил притворялись и из-за этого чувствовали себя виноватыми. Личные шоферы подгоняли их машины, несколько репортеров задерживали их вопросами, непрошеные поклонники пытались услышать хоть одно слово. Эти промышленники были измотанными людьми, пожилыми, вялыми, из кожи лезли, пытаясь скрыть неуверенность. А потом я увидел Риардена. На нем было дорогое пальто военного покроя и надвинутая на глаза шляпа. Он шел быстро, с такой уверенностью, которую надо заслужить. Несколько коллег-промышленников набросились на него с вопросами, и эти магнаты держались перед ним как непрошеные поклонники. Я смотрел на него, когда он стоял, касаясь дверцы машины, голова его была поднята, и я увидел улыбку, уверенную, раздраженную и чуть насмешливую. А потом на миг я сделал

то, чего никогда не делал раньше, то, чем многие люди испортили себе жизнь, — я увидел эту сцену вне данной реальности, увидел мир таким, каким его создавал Риарден, словно мир гармонировал с ним, и он был символом этого мира. Я увидел мир успеха, неподавленной энергии, беспрепятственного целеустремленного движения в течение многих лет к тому, чтобы наслаждаться заслуженной наградой. Я увидел, стоя в толпе бродяг, то, к чему бы привели меня годы, если бы такой мир существовал, и ощутил отчаянную тоску — он был воплощением всего, чем я стал бы… и обладал всем, чем обладал бы я. Но это был всего лишь миг. Потом я вновь увидел эту сцену в истинном свете: то, какую цену платит он за свои блестящие способности, какие пытки переносит в безмолвном недоумении, силясь понять то, что я уже понял. Я увидел, что мир, каким его хотел видеть он, не существует, что его еще нужно создавать, увидел Риардена таким, какой он есть, символом моей битвы, ненагражденного героя, которого я должен освободить, а потом… принял то, что узнал о нем и тебе. Понял, что это ничего не меняет, и этого следовало ожидать, все закономерно.

Услышав ее легкий стон, Голт негромко хо-

хотнул.

— Дагни, суть не в том, что я не страдал, — я понимаю несущественность страдания, боль нужно преодолевать и отвергать, не принимать как часть души и вечное искажение картины мира. Не жалей меня. Потом все было хорошо.

Она молча повернула к нему голову, он улыбнулся, приподнявшись на локте, и взглянул ей, лежавшей беспомощно, неподвижно, прямо в глаза.

— Ты был путевым обходчиком здесь — здесь! — двенадцать лет… — прошептала Дагни.

— Да.

— С тех пор…

— С тех пор, как ушел с завода «*Двадцатый век*».

— В ту ночь, когда ты впервые увидел меня… ты уже работал здесь?

— Да. И в то утро, когда ты вызвалась работать у меня кухаркой, я был всего-навсего твоим путевым обходчиком в отпуске. Понимаешь, почему я засмеялся?

Дагни смотрела на Голта: на ее лице была мучительная улыбка, на его — веселая.

— Джон…

— Говори. Но скажи все.

— Ты был здесь… все те годы…

— Да.

— …все те годы… когда железная дорога гибла… когда я искала людей с интеллектом… силилась найти хотя бы одного…

— …когда ты искала по всей стране изобретателя моего двигателя, когда ты кормила Джеймса Таггерта и Уэсли Моуча, когда ты называла свое лучшее достижение именем врага, которого хотела уничтожить.

Дагни закрыла глаза.

— Я был здесь все эти годы, — заговорил он, — в пределах твоей досягаемости, в твоих владениях, видел твои усилия, одиночество, тоску, видел тебя в сражении, которое, по-твоему, ты вела за меня, сражение, в котором поддерживала моих врагов и терпела бесконечные поражения. Я был здесь, меня скрывал лишь недостаток твоего зрения, как Атлантида скрыта от людей лишь оптической иллюзией. Я был здесь и ждал того дня, когда ты увидишь, поймешь, что по кодексу мира, который ты поддерживаешь, все, что ты ценишь, должно быть отправлено на мрачное дно подземелья, и тебе придется искать свои ценности там. Я был здесь. Ждал тебя. Я люблю тебя, Дагни. Люблю больше жизни, я, научивший

людей, как любить жизнь. Я научил их также никогда не ожидать ничего бесплатного, и то, что сделал сегодня, сделал с полным сознанием, что заплачу за это, может быть, жизнью.

— Нет!

Голт с улыбкой кивнул.

— Да. Ты знаешь, что сломила меня, что я нарушил свое решение, но я сделал это сознательно, понимая, что это означает, сделал не в слепой уступке данной минуте, а с полным пониманием последствий и готовностью перенести их. Я не мог допустить, чтобы эта минута прошла мимо нас, она принадлежала нам, любимая, мы заслужили ее. Но ты еще не готова бросить железную дорогу и присоединиться ко мне, не нужно это говорить, я знаю. И поскольку я решил взять то, что хотел, пока это не полностью мое, то должен буду расплатиться, но не могу знать, когда и как, знаю только, что раз сдался врагу, придется принять последствия.

Он улыбнулся в ответ на ее взгляд:

— Нет, Дагни, ты не враг мне в душе, но враг в действительности, в пути, которым идешь, ты не видишь этого, но я вижу. Настоящие враги не представляют для меня опасности. Ты представляешь. Ты единственная, кто может навести

их на мой след. У них никогда не будет возможности узнать, кто я, но с твоей помощью они смогут.

— Нет!

— Нет, намеренно ты этого не сделаешь. И ты вольна изменить свой путь, но пока следуешь этим, не вольна уйти от его логики. Не хмурься, я сделал этот выбор и решил принять опасность. Дагни, я торговец во всем. Я хотел тебя и был не в силах изменить твое решение, я был в силах только обдумать цену и решить, могу ли ее себе позволить. Я смог. Моя жизнь принадлежит мне, я могу тратить ее или беречь. И ты, — словно бы продолжая эту фразу, Голт взял ее на руки и поцеловал в губы, она бессильно лежала, сдавшись, волосы ее спадали, голова запрокинулась, удерживали ее только его губы, — ты — та награда, которую я должен был получить и решил заплатить за нее. Я хотел тебя, и если цена этому — моя жизнь, я отдам ее. Жизнь, но не разум.

Голт сел, улыбнулся и с внезапным суровым блеском в глазах спросил:

— Хочешь, чтобы я присоединился к тебе и стал работать? Хочешь, отремонтирую твою систему блокировки за час?

— Нет!

Этот вскрик был незамедлительным ответом на внезапно представшее перед ней зрелище, зрелище людей в особой столовой отеля «*Уэйн-Фолкленд*».

Он засмеялся:

— Почему?

— Не хочу видеть тебя их рабом!

— А себя?

— Я думаю, что они теряют силы, и я одержу верх. Я смогу выдержать это еще немного.

— Вот именно, еще немного продержишься, но не до победы, а до прозрения.

— Я не могу дать ей погибнуть!

Это был крик отчаяния.

— Пока что, — спокойно сказал Голт.

Он встал, и она, утратившая дар речи, покорно поднялась.

— Я останусь здесь, на своей работе, — заговорил Голт. — Только не пытайся увидеть меня. Тебе придется вынести то, что вынес я и от чего хотел тебя избавить, тебе придется вести прежнюю жизнь, зная, где я, желая меня, как я желал тебя, но не позволяя себе приблизиться ко мне. Не ищи меня здесь. Не приходи ко мне домой. Не позволяй им увидеть нас вместе. А когда дойдешь до конца, когда будешь готова бросить

дорогу, не говори им, просто нарисуй мелом символ доллара на пьедестале статуи Ната Таггерта — где ему и место, — потом возвращайся домой, и я появлюсь в течение суток.

Дагни склонила голову в безмолвном обещании.

Но когда Голт повернулся, чтобы уйти, по ее телу неожиданно пробежала дрожь, напоминавшая первый трепет пробуждения или последнюю конвульсию жизни, и закончилась невольным криком:

— Куда ты?

— Превратиться в столб, стоять с фонарем до рассвета — это единственная работа, какую мне поручает твой мир и какую получит от меня.

Она схватила его за руку, чтобы удержать, следовать за ним, следовать слепо, оставив все, кроме возможности видеть его лицо.

— Джон!

Он сжал ее запястье, вывернул руку и отвел:

— Нет.

Потом поднес ее к губам, и прикосновение их было более страстным признанием, чем все, какие он сделал, и пошел вдоль уходящих вдаль рельсов. Дагни показалось, что и он, и рельсы

одновременно покидают ее.

Когда она, пошатываясь, вошла в зал Терминала, первый грохот колес сотряс стены здания, словно внезапное биение остановившегося сердца. Храм Ната Таггерта был тихим, пустым, негасимый свет отражался от мраморного пола. По нему, шаркая, шли несколько оборванцев. На ступеньках пьедестала, под статуей сурового, торжествующего человека, сидел бродяга в лохмотьях, сутулясь в покорном смирении с судьбой, он напоминал птицу с ощипанными крыльями, которой некуда деться, отдыхающую на первом попавшемся выступе.

Дагни опустилась на ступени пьедестала, словно такая же отщепенка. Запыленная пелерина плотно окутывала ее плечи. Она сидела, подперев голову рукой, не способная ни плакать, ни двигаться. Ей казалось, что она видит фигуру человека, держащего фонарь в поднятой руке, и эта фигура походила то на статую Свободы, то на человека с золотыми волосами, держащего фонарь на фоне полуночного неба, красный фонарь, остановивший движение мира.

— Не принимайте к сердцу, леди, что бы там оно ни было, — с вялым сочувствием сказал ей бродяга. — Все равно поделать ничего нельзя…

Какой смысл, леди? Кто такой Джон Голт?

ГЛАВА VI. КОНЦЕРТ ОСВОБОЖДЕНИЯ

Двадцатого октября профсоюз сталелитейщиков компании «*Риарден Стил*» потребовал повышения зарплаты. Хэнк Риарден узнал об этом из газет; ему не выдвигали никаких требований и даже не сочли нужным поставить в известность. Требование было обращено к Совету Равноправия: почему перед другими сталелитейными компаниями не были поставлены подобные условия, никак не объяснялось. Риарден не мог понять, исходит ли данное требование именно от его рабочих: установленные Советом правила выборов в профсоюзные органы делали это невозможным. Ему лишь удалось узнать, что группа активистов состояла из новичков, которых Совет тайком в последние несколько месяцев направлял на его заводы.

Двадцать третьего октября Совет Равноправия отверг ходатайство профсоюзов, отказав в повышении зарплаты. Если по этому вопросу проходили какие-то слушания, то Риарден ничего о них не знал. С ним не советовались, и его не ставили в известность. Он ждал, не задавая никаких вопросов.

Двадцать пятого октября газеты страны, находившиеся под контролем тех же людей, которые контролировали Совет, начали кампанию в поддержку рабочих «*Риарден Стил*». Они публиковали материалы об отказе в повышении зарплаты, избегая всяких упоминаний о том, кто именно отказал и кто обладал исключительным законным правом отказать, словно рассчитывая, что общественность забудет о юридических тонкостях под напором многочисленных статей, недвусмысленно намекавших, что работодатель является единственной причиной всех невзгод, что легли на плечи рабочих. Огласке был предан материал, описывающий лишения, выпавшие на долю рабочих «*Риарден Стил*» при нынешнем повышении стоимости жизни, а затем сведения о доходах Риардена за последние пять лет. Появилась публикация о печальной участи жены одного из рабочих Риардена, бродящей от одного магазина к другому в безнадежных поисках еды, затем о бутылке шампанского, разбитой о чью-то голову на пьяной вечеринке, устроенной неким сталелитейным магнатом в роскошном отеле (этим магнатом был Оррен Бойль), но никакие фамилии не назывались. «Неравенство все еще существует, — заявляли газеты, — и не дает нам

воспользоваться благами нашего просвещенного века». «Лишения вывели людей из себя. Положение достигает опасной точки». «Мы опасаемся вспышек насилия», — беспрестанно твердила пресса.

Двадцать восьмого октября группа новых рабочих компании «*Риарден Стил*» набросилась на мастера доменной печи и выбила фурмы. Два дня спустя такая же группа разбила стекла в окнах первого этажа в административном здании. Один из новичков сломал шестерни крана и вылил из ковша расплавленный металл в ярде от пятерых человек.

— Должно быть, я спятил, но думал лишь о голодных детях, — сказал он, когда его арестовали.

«Не время выяснять, кто прав, кто виноват, — комментировали этот случай журналисты. — Нас беспокоит лишь тот факт, что в стране производству стали угрожает полное фиаско».

Риарден следил за происходящим, по-прежнему не задавая вопросов. Он будто ждал, что ему вот-вот откроется некая истина, и этот процесс нельзя было ускорить или остановить. «Нет, — думал он, вглядываясь в ранние сумерки осенних вечеров за окнами своего кабинета, — нет, я не равнодушен к своим заводам, но былая

страсть к живому организму теперь перешла в нежную тоску по любимым, навсегда ушедшим из жизни. И самое главное в этом чувстве, — думал он, — заключается в том, что поделать уже ничего нельзя».

Утром тридцать первого октября он получил извещение, гласящее, что вся его собственность, в том числе банковские счета и содержимое сейфов, арестованы решением суда, вынесенным против него на процессе о недоплате подоходного налога три года назад. Извещение было официальным, соответствовало всем требованиям закона, только никакой недоплаты не существовало и никакого судебного процесса не проводилось.

— Нет, — сказал Риарден своему поперхнувшемуся от возмущения адвокату, — не посылай запросов, не отвечай, не возражай.

— Но это фантастика!

— А все остальное не фантастика?

— Хэнк, ты хочешь, чтобы я ничего не предпринимал? Чтобы молча, на коленях, проглотил обвинение?

— Нет. Стоя. Именно стоя. Не действуй.

— Но они оставили вас безоружным.

— Неужели? — негромко спросил Риарден

с улыбкой.

У него оставалось лишь несколько сотен долларов в бумажнике. Но душу грела мысль о том, что в сейфе лежит ценный слиток, полученный от золотоволосого пирата, который сейчас словно протянул ему руку помощи.

На другой день, первого ноября, ему позвонил из Вашингтона какой-то служащий, голос его как бы полз по проводу, принося извинения:

— Это ошибка, мистер Риарден! Досадная ошибка, и только! Наложение ареста не должно было касаться вас. Вы знаете, какое сейчас положение, добавьте тупость конторских работников и непроходимый бюрократизм; какой-то идиот перепутал документы и отправил ордер на арест вашей собственности, хотя речь шла не о вас, а о каком-то мыльном фабриканте! Пожалуйста, примите наши извинения, мистер Риарден, наши глубочайшие извинения на самом высшем уровне, — голос погас, воцарилась короткая, выжидательная пауза. — Мистер Риарден?..

— Я слушаю.

— Не могу передать, как мы сожалеем, что причинили вам беспокойство или неудобства. И все из-за этих проклятых формальностей. Вы знаете, что такое бюрократизм! Потребуется несколько

дней, может быть, даже неделя, чтобы отменить этот ордер и снять арест… Мистер Риарден?

— Я слушаю.

— Мы ужасно сожалеем и готовы выплатить любую компенсацию, какая в наших силах. Вы, разумеется, имеете полное право потребовать через суд возмещения причиненных вам неудобств, и мы готовы расплатиться. Мы не будем оспаривать ваш иск. Вы, разумеется, подадите его и…

— Я этого не говорил.

— А? Да, не говорили… то есть… хорошо, а что вы сказали, мистер Риарден?

— Я ничего не сказал.

На другой день, под вечер, из Вашингтона позвонил другой чиновник. На этот раз казалось, что голос не полз, а прыгал по проводу с веселой виртуозностью канатоходца. Звонивший представился Тинки Холлоуэйем и попросил Риардена присутствовать на совещании, «это неофициальное маленькое совещание, всего несколько высокопоставленных лиц», которое должно было состояться послезавтра в Нью-Йорке, в отеле «*Уэйн-Фолкленд*».

— У нас за последние несколько недель было столько недоразумений! — сказал Тинки

Холлоуэй. — Таких досадных и таких лишних! Мы могли бы все быстро исправить, мистер Риарден, будь у нас возможность переговорить с вами. Мы очень хотим вас видеть.

— Можете в любое время отправить мне вызов в суд.

— О нет, нет, нет! — в голосе послышался испуг. — Нет, мистер Риарден, зачем же так? Вы не поняли нас, мы хотим встретиться с вами в дружеской обстановке, мы хотим только договориться о добровольном сотрудничестве.

Зависла напряженная пауза, Холлоуэй недоумевал, действительно ли ему послышался далекий смешок. Он ждал, но в трубке больше не раздалось ни звука.

— Мистер Риарден?

— Слушаю.

— Право же, мистер Риарден, в такое время, как сейчас, совещание с нами могло бы пойти вам очень на пользу.

— Совещание по какому вопросу?

— Вы столкнулись со многими трудностями, и мы хотим помочь вам, чем только сможем.

— Я не просил о помощи.

— Сейчас ненадежные времена, мистер Риарден, общественное настроение очень изменчивое

и взрывное, очень опасное, и мы хотим иметь возможность защитить вас.

— Я не просил защиты.

— Но вы наверняка понимаете, что мы можем представлять для вас ценность, и если вам от нас что-то нужно…

— Не нужно ничего.

— Однако у вас наверняка есть проблемы, которые вы хотели бы обсудить с нами.

— Таких проблем нет.

— Тогда… в таком случае, — Холлоуэй перестал делать вид, что оказывает любезность, и откровенно попросил, — тогда, может, просто выслушаете нас?

— Если вам есть что сказать мне.

— Есть, мистер Риарден, разумеется, есть! Мы только и просим, чтобы вы нас выслушали. Дали нам шанс. Приезжайте на это совещание. Вы не свяжете себя никакими обязательствами.

Холлоуэй понял, что сболтнул лишнее, и умолк, услышав насмешливый, оживленный голос Риардена:

— Знаю.

— Ну, я имел в виду… то есть… ну как, приедете?

— Хорошо, — ответил Риарден. — Приеду.

Он пропустил мимо ушей благодарную лесть, обратил только внимание на то, что повторял Холлоуэй:

— В семь вечера, четвертого ноября, мистер Риарден… четвертого ноября, — словно эта дата имела какое-то особое значение.

Риарден положил трубку, откинулся на спинку кресла и стал смотреть на отблески пламени домен на потолке. Он знал, что это совещание — западня; знал и то, что те, кто ее расставил, ничего не получат.

Тинки Холлоуэй положил трубку в своем вашингтонском кабинете и нахмурился. Клод Слэгенхоп, президент организации «Друзья глобального прогресса», нервозно жевавший спичку, сидя в кресле, поднял на него взгляд и спросил:

— Неважные дела?

Холлоуэй покачал головой.

— Он приедет, но… да, дела неважные.

И добавил:

— Сомневаюсь, что он пойдет на это.

— Так мне и сказал мой простофиля.

— Знаю.

— Сказал, что нам лучше не пытаться.

— К черту твоего простофилю! Мы должны! Придется рискнуть.

Этим простофилей был Филипп Риарден, неделю назад он доложил Клоду Слэгенхопу:

— Нет, он не возьмет меня к себе, не даст мне работы, я старался, как ты требовал, старался изо всех сил, но все без толку, он не пустит меня на свой завод. А что до его настроения — поверь, оно скверное. Хуже, чем я ожидал. Я знаю его и могу сказать, что у вас нет ни единого шанса. Его терпение на пределе. Надавим еще чуть-чуть, и оно лопнет. Ты сказал, что большие парни хотят быть в курсе. Скажи им, пусть не делают этого. Скажи, что он… Господи, Клод, если они на это пойдут, то упустят его!

— Немного же от тебя толку, — сухо сказал Слэгенхоп, отворачиваясь. Филипп схватил его за рукав и спросил с нескрываемым страхом:

— Послушай, Клод, по… по директиве десять-двести восемьдесят девять… если он уйдет, то… то не будет никаких наследников?

— Совершенно верно.

— Они заберут завод и… и все?

— Таков закон.

— Но… Клод, они не поступят так со мной, правда?

— Они не хотят, чтобы он уходил. Ты это знаешь. Удержи его, если сможешь.

— Но я не могу! Сам знаешь, что не могу! Из-за моих политических взглядов и… и за всего, что я сделал для тебя. Ты знаешь, кем он меня считает! Я никак не могу удержать его!

— Что ж, тем хуже для тебя.

— Клод! — воскликнул Филипп в панике. — Клод, они не оставят меня за бортом, правда? Я свой человек, разве не так? Они всегда говорили, что я свой, что я нужен им… что им нужны такие, как я, а не как он, люди с моим… с моим потенциалом, помнишь? И после всего, что я сделал для них, после всей моей веры, службы, преданности делу…

— Чертов болван, — отрывисто произнес Слэгенхоп, — да без него, на кой черт нам ты?

Утром четвертого ноября Хэнка Риардена разбудил телефонный звонок. Он открыл глаза, увидел ясное рассветное небо в окне спальни, небо нежного аквамаринового цвета, которое отбрасывало на старые филадельфийские крыши розоватый оттенок.

Несколько мгновений, пока его сознание было чистым, как небеса, пока он оставался наедине с собой и его душу еще не отяготили болезненные воспоминания, Хэнк лежал неподвижно, захваченный этим зрелищем и очарованный

предчувствием слияния с миром, где будет царить вечное утро.

Телефон вернул его к действительности: размеренные, визгливые звонки аппарата надрывно взывали о помощи. Риарден, нахмурясь, поднял трубку:

— Алло?

— Доброе утро, Генри, — произнес дрожащий голос; звонила его мать.

— Мама, что так рано? — сухо спросил он.

— О, ты всегда поднимаешься на рассвете, и я хотела застать тебя, пока ты не уехал на завод.

— В чем дело?

— Генри, мне нужно с тобой увидеться. Поговорить. Сегодня. В любое время. Это очень важно.

— Что-нибудь случилось?

— Нет… да… то есть… я должна поговорить с тобой лично. Приедешь?

— Извини, не могу. У меня вечером встреча в Нью-Йорке. Если хочешь, приеду завтра.

— Нет! Не завтра. Необходимо увидеться сегодня. Необходимо, — в голосе ее слышались панические нотки; впрочем, если бы не странный, настойчивый тон ее механического голоса, он решил бы, что она разыгрывает очередную роль беспомощной, одинокой женщины.

— Мама, в чем дело?

— Я не могу говорить об этом по телефону. Мне нужно видеть тебя.

— Тогда, если хочешь, приезжай в контору…

— Нет! Только не в конторе! Мне нужно увидеться с тобой там, где можно поговорить спокойно. Неужели ты не можешь сделать одолжения и приехать сюда? Тебя просит мать. Ты так редко появляешься. Может быть, в этом не твоя вина. Но разве нельзя пойти навстречу, если я тебя прошу?

— Хорошо, мама. Буду в четыре часа.

— Замечательно. Спасибо, Генри. Замечательно.

В тот день Риардену показалось, что над заводом нависла какая-то легкая напряженность. Слишком легкая, чтобы определить ее природу, но завод был для него словно лицо любимой женщины, в котором он мог уловить мельчайшие оттенки чувств. Он заметил, что небольшие группы новых рабочих — человека по три-четыре — слишком часто собираются вместе. Их поведение, скорее, годилось для бильярдной, чем для заводского цеха. Он поймал несколько настороженных и враждебных взглядов, но махнул на это рукой: стоит ли задумываться о таких

мелочах, да и времени нет.

Подъезжая к своему бывшему дому, Риарден резко затормозил у подножия холма. Последний раз он видел этот дом пятнадцатого мая, когда ушел из него. Это зрелище пробудило в его душе чувства, которые затем преследовали его на протяжение десяти лет, когда он туда возвращался: напряженности, замешательства, унылой неудовлетворенности, жесткого протеста и наивного отчаянья. Он старался понять свою семью… старался быть справедливым.

Риарден медленно пошел по дорожке к дому. Он был спокоен. Он понимал, что этот дом является памятником вины, — его вины перед собой.

Хэнк ожидал увидеть мать и Филиппа, но полной неожиданностью оказалась Лилиан.

Риарден остановился на пороге. Все трое стояли, вглядываясь в его лицо и в дверной проем за его спиной. За притворной благостностью их лиц скрывались страх и подвох, которые он научился понимать, словно они надеялись добиться своего, лишь взывая к его жалости, удержать его в этой западне, хотя один шаг назад — и он оказался бы вне их досягаемости.

Они полагались на его жалость и страшились его гнева; они не смели рассматривать третьей

альтернативы — его равнодушия.

— Что она тут делает? — спросил Риарден, обращаясь к матери, голос его был бесстрастно ровным.

— Лилиан живет здесь после вашего развода, — оборонительно ответила мать. — Я не могла допустить, чтобы она голодала на улице.

Взгляд матери выражал наполовину просьбу, словно она просила не бить ее по лицу, наполовину торжество, словно она его ударила. Риарден понимал ее мотив: то было не сочувствие, между нею и Лилиан никогда не было особой любви, то была их общая месть ему, то было тайное удовольствие расходовать его деньги на бывшую жену, содержать которую он отказался.

Голова Лилиан застыла в приветственном кивке, на губах у нее была легкая испытующая улыбка, полуробкая-полунаглая. Риарден не делал вида, будто не замечает бывшую жену; он смотрел на нее, но словно на пустое место. Молча закрыв дверь, он вошел в гостиную.

Мать издала легкий, беспокойный вздох облегчения и поспешила сесть в ближайшее кресло, нервозно глядя, последует ли он ее примеру.

— Чего ты хотела? — спросил Риарден, садясь.

Мать сидела прямо и вместе с тем странно су-

тулясь, плечи ее были подняты, голова опущена.

— Милосердия, Генри, — прошептала она.

— Что ты имеешь в виду?

— Не понимаешь?

— Нет.

— В общем… — она суетливо развела руки в беспомощном жесте, — в общем… — ее глаза избегали его внимательного взгляда. — В общем, сказать нужно многое… и я не знаю, как это сказать, но… в общем, есть один практический вопрос, но сам по себе он неважен… я не потому позвала тебя сюда…

— В чем он заключается?

— Практический вопрос? В наших чеках на содержание, моем и Филиппа. Они должны были прийти первого числа, но из-за ордера на арест мы не можем их получить. Ты знаешь это, так ведь?

— Знаю.

— Ну и что же нам делать?

— Не знаю.

— Я имею в виду, что собираешься делать ты в связи с этим?

— Ничего.

Мать неотрывно смотрела на него, словно отсчитывая секунды молчания.

— Ничего, Генри?

— Я не в силах ничего сделать.

Они наблюдали за его лицом с какой-то ищущей пристальностью; Риарден был уверен, что мать сказала правду, что непосредственные денежные затрудения — не цель его вызова сюда, что они — только символ более широкой проблемы.

— Но, Генри, мы оказались в трудном положении.

— Я тоже.

— Не мог бы ты прислать нам наличных?

— Я не успел взять наличности.

— Тогда… Послушай, Генри, это произошло так внезапно и, думаю, напугало людей, бакалейщик отказывает нам в кредите, если ты о нем не попросишь. Думаю, он хочет, чтобы ты подписал кредитную карточку или что-то наподобие. Поговоришь с ним, устроишь это?

— Нет.

— Нет? — мать негромко ахнула. — Почему?

— Не возьму на себя обязательств, которых не смогу выполнить.

— Как это понять?

— Не влезу в долги, которых никак не смогу выплатить.

— Почему не сможешь? Этот арест просто какая-то формальность, он временный, это знают все!

— Вот как? Я не знаю.

— Но, Генри, счет за продукты! Ты не уверен, что сможешь оплатить счет за продукты при своих миллионах?

— Я не буду обманывать бакалейщика, делая вид, что эти миллионы принадлежат мне.

— О чем ты говоришь? Кому они принадлежат?

— Никому.

— Как это понять?

— Мама, думаю, ты понимаешь меня полностью. Думаю, поняла это раньше меня. Ничто никому не принадлежит. Это то, что вы одобряли и во что верили годы. Вы хотели, чтобы я был связан. Я связан. Теперь уже поздно что-то менять.

— Ты хочешь, чтобы твои политические идеи…

Она увидела выражение его лица и резко умолкла. Лилиан сидела, уставясь в пол, словно боялась поднять взгляд в эту минуту. Филипп похрустывал суставами пальцев.

Мать взглянула на Риардена и прошептала:

— Не бросай нас, Генри, — какая-то нотка жиз-

ни в ее словах сказала ему, что истинная причина открывается. — Времена сейчас ужасные, и мы боимся. Это правда, Генри, боимся, потому что ты отвернулся от нас. Я имею в виду не только счет за продукты, но это признак, — год назад ты не допустил бы такого. Теперь… теперь тебе все равно, — она сделала выжидательную паузу. — Это так?

— Да, так.

— Что ж… что ж, это наша вина. Вот что я хотела сказать тебе: мы знаем, что виноваты. Мы плохо обходились с тобой все эти годы. Были несправедливы к тебе, заставляли тебя страдать, использовали тебя и не благодарили. Мы виноваты, Генри, мы согрешили перед тобой и признаемся в этом. Что еще можно сказать теперь? Найдешь ты в душе силы простить нас?

— Какого поступка ты от меня хочешь? — спросил Риарден ясным, ровным голосом, будто на деловом совещании.

— Не знаю! Кто я, чтобы знать? Но сейчас я говорю не об этом. Не о поступках, только о чувствах. Я прошу тебя о чувстве, Генри, только о чувстве, даже если мы не заслуживаем его. Ты щедрый и сильный. Забудешь прошлое, Генри? Простишь нас?

Ужас в глазах матери был неподдельным. Год назад Риарден сказал бы себе, что это ее способ заглаживать вину, подавил бы отвращение к ее словам, в которых он находил только туман бессмыслицы. Он заставил бы себя придать им смысл, пусть даже ничего не понимая, приписал бы им добродетель искренности в ее представлении, даже если бы это не совпадало с его представлением. Но он уже перестал считаться с какими бы то ни было представлениями, кроме собственных.

— Простишь ты нас?

— Мама, лучше не говорить об этом. Не проси объяснить, почему. Думаю, ты знаешь это не хуже меня. Если тебе нужно, чтобы я что-то сделал, скажи. Больше обсуждать нечего.

— Но я не понимаю тебя! Не понимаю! Я позвала тебя именно для этого — попросить прощения! Ты отказываешься ответить?

— Хорошо. Что будет означать мое прощение?

— А?

— Я спросил, что оно будет означать?

Мать удивленно развела руками, словно это было самоочевидно.

— Ну, как же, оно… оно облегчит нам душу.

— Изменит оно прошлое?

— Нам облегчит душу знание, что ты простил нас.

— Хочешь, чтобы я делал вид, будто прошлого не существовало?

— О, господи, Генри, неужели не понимаешь? Мы только хотим знать, что ты… что ты чувствуешь какую-то заботу о нас.

— Я ее не чувствую. Хочешь, чтобы я притворялся?

— Но я и прошу о том, чтобы ты ее чувствовал.

— На каком основании?

— Основании?

— В обмен на что?

— Генри, Генри, мы говорим не о бизнесе, не о тоннах стали и банковских счетах, речь идет о чувстве, а ты говоришь, как торговец!

— Я и есть торговец.

То, что он увидел в ее глазах, было ужасом, не беспомощным ужасом старания и неспособности понять, а ужасом приближения к той грани, где избежать понимания будет уже невозможно.

— Послушай, Генри, — торопливо сказал Филипп, — мама не понимает таких вещей. Мы не знаем, как к тебе обращаться. Мы не говорим на твоем языке.

— Я не говорю на вашем.

— Она хочет сказать, что мы извиняемся. Мы очень сожалеем, что обижали тебя. Ты думаешь, мы не расплачиваемся за свое поведение, но это не так. Нас мучает раскаяние.

Страдание в лице Филиппа было неподдельным. Год назад Риарден пожалел бы его. Но теперь Хэнк понимал, что они удерживали его только за счет его нежелания обижать их, его боязни причинить им страдание. Больше он не боялся этого.

— Мы извиняемся, Генри. Мы знаем, что причиняли тебе боль. Мы хотели бы искупить свою вину. Но что можем поделать? Прошлое есть прошлое. Мы не в силах его изменить.

— Я тоже.

— Ты можешь принять наше раскаяние, — сказала безжизненным от осторожности голосом Лилиан. — Теперь мне от тебя нет никаких выгод. Хочу только сказать тебе, что бы я ни сделала, сделала потому, что любила тебя.

Риарден отвернулся, не ответив.

— Генри! — воскликнула мать. — Что произошло с тобой? Что тебя так изменило? Ты кажешься уже не человеком! Все требуешь ответов, хотя их у нас нет. Побиваешь нас логикой, но что значит логика в такое время? Что значит логика,

когда люди страдают?

— Мы ничего не можем поделать! — выкрикнул Филипп.

— Мы в твоей власти, — сказала Лилиан.

Они бросали свои мольбы в его недоступное для просьб лицо.

Они не знали — и их паника была концом усилий избежать этого знания, — что его беспощадное чувство справедливости, которое одно давало им власть над ним, заставляло его принимать любую кару и толковать любое сомнение в их пользу, теперь обернулось против них. Та сила, которая делала его терпимым, теперь сделала его безжалостным, и справедливость, способная прощать множество ошибок, сделанных по незнанию, не простит и одного сознательно причиненного зла.

— Генри, ты не понимаешь нас? — умоляющим тоном спросила мать.

— Понимаю, — ответил он спокойно.

Она отвернулась, избегая ясности его глаз.

— Тебе все равно, что будет с нами?

— Да.

— Неужели ты не человек? — от гнева ее голос стал пронзительным. — Неужели ты совершенно не способен любить? Я стараюсь коснуться

твоего сердца, а не разума! О любви не спорят, не рассуждают и не торгуются! Ее нужно дарить! Чувствовать! О, господи, Генри, неужели ты не можешь чувствовать, не думая?

— Никогда не мог.

Через минуту голос ее вновь стал негромким, монотонным:

— Мы не так умны, как ты, не так сильны. Если грешили и ошибались, то потому, что мы беспомощны. Ты необходим нам, ты — все, что у нас есть, а мы теряем тебя и боимся. Времена сейчас ужасные и становятся все хуже, люди перепуганы до смерти, перепуганы, слепы и не знают, что делать. Как нам выжить, если ты нас бросишь? Мы маленькие и слабые, нас унесет, как щепки, этот поток ужаса, заливающий весь мир. Может быть, в этом есть доля нашей вины, может, мы помогли вызвать этот ужас, не сознавая, что делаем, но что сделано, то сделано, остановить его теперь мы не можем. Если ты покинешь нас, нам конец. Если исчезнешь, как все эти люди, которые…

Умолкнуть ее заставил не какой-то звук, лишь движение бровей, краткое быстрое движение родинки на щеке. Потом они увидели, что он улыбается; характер улыбки был самым ужасающим из ответов.

— Так вот чего вы боитесь, — неторопливо произнес он.

— Ты не можешь бросить дело! — завопила мать в слепой панике. — Не можешь бросить теперь. Мог бы в прошлом году, но не теперь! Не сейчас! Не можешь стать дезертиром, потому что теперь они отыграются на твоей семье! Захватят все, оставят нас без гроша, вынудят голодать, они…

— Замолчите! — крикнула Лилиан, способная лучше остальных читать сигналы опасности в лице Риардена.

На его лице сохранялись следы улыбки, и они понимали, что он больше не видит их, но были не в силах понять, почему в его улыбке — страдание и почти мечтательное желание, почему он смотрит в другой конец комнаты, на нишу дальнего окна.

Риарден видел изящно вылепленное лицо, остающееся сдержанным под потоком его оскорблений, слышал голос, спокойно сказавший ему здесь, в этой комнате: «Я хотел предостеречь вас против греха прощения». «Ты, знавший это тогда…» — подумал Риарден, но не закончил мысленной фразы, оборвал ее горестной, кривой улыбкой, так как знал, что собирался произне-

сти: «Ты, знавший это тогда, прости меня».

«Вот в чем, — думал он, глядя на свою семью, — суть их просьб о милосердии, логика тех чувств, которые они так добродетельно именовали нелогичными. Вот в чем простая, грубая сущность всех, кто утверждает, что способен чувствовать, не думая, и ставить милосердие выше справедливости. Они знали, чего бояться, они поняли и назвали раньше, чем я, единственный оставшийся мне путь освобождения; безнадежность моего положения как промышленника, тщетность моей борьбы, невыносимое бремя, которое вот-вот навалится и раздавит меня; поняли, что разум, справедливость, самосохранение указывают мне единственный путь — бросить все и скрыться. Однако они хотели удержать меня, оставить в этой жертвенной печи, хотели, чтобы я позволил им дожрать себя во имя милосердия, прощения и братско-каннибальской любви».

— Мама, если ты еще хочешь, чтобы я это объяснил, — очень спокойно заговорил он, — если все еще надеешься, что у меня не хватит жестокости назвать то, чего вы якобы не знали, то в вашей идее прощения порочно вот что. Вы сожалеете, что причиняли мне боль, и в виде искупления своей вины просите, чтобы я принес себя в жерт-

ву.

— Логика! — завопила мать. — Опять ты со своей проклятой логикой! Нам нужна жалость, жалость, а не логика!

Риарден поднялся.

— Постой! Не уходи! Генри, не покидай нас! Не обрекай на гибель! Какие ни есть, мы люди! Мы хотим жить!

— Да нет, — начал он в спокойном удивлении и, когда эта мысль сформировалась полностью, закончил в спокойном ужасе, — не думаю, что хотите. Если бы хотели, вы знали бы, как ценить меня.

Лицо Филиппа, словно в безмолвном подтверждении этих слов, постепенно приняло выражение, которое должно было представлять насмешливую улыбку, однако в нем были только злоба и страх.

— Ты не сможешь бросить все и скрыться, — сказал он. — Скрыться без денег нельзя.

Эта фраза как будто бы попала в цель; Риарден замер, потом усмехнулся.

— Спасибо, Филипп, — сказал он.

— А?

Филипп нервозно передернулся в замешательстве.

— Так вот в чем причина ордера на арест. Вот чего боятся твои друзья. Я знал, что они готовят мне сегодня какую-то ловушку. Но не знал, что арест задуман как средство помешать моему побегу, — Риарден с удивлением взглянул на мать. — Так вот для чего тебе понадобилось видеть меня сегодня, перед совещанием в Нью-Йорке.

— Мать не знала этого! — крикнул Филипп, потом спохватился и закричал еще громче: — Я не понимаю, о чем ты говоришь! Я ничего не сказал! Я не говорил этого!

— Не беспокойся, жалкая вошь, я не скажу твоим друзьям, что ты проговорился. И если вы пытались…

Риарден не договорил. Он поглядел на три лица перед собой и завершил фразу неожиданной улыбкой: в ней были скука, жалость, невыносимое отвращение. Он видел окончательное противоречие, комичную нелепость в конце игры иррационалистов: вашингтонцы надеялись удержать его, поручив этой тройке сыграть роль заложников.

— Ты считаешь себя совершенно безупречным, не так ли? — этот неожиданный крик издала Лилиан. Она вскочила и преградила ему выход;

лицо ее было искажено. Риарден видел его таким лишь раз, в то утро, когда она узнала имя его любовницы. — Ты совершенно безупречен! Ты очень гордишься собой! Так вот, мне есть, что сказать тебе!

Лилиан выглядела так, словно до этой минуты не верила, что ее игра проиграна. Выражение ее лица подействовало на Риардена как замкнувший цепь щелчок выключателя, и он с неожиданной ясностью понял, в чем заключалась ее игра и почему она вышла за него замуж. «Если избрать человека постоянным центром своих забот и средоточием взгляда на жизнь значит любить, — подумал он, — тогда правда, что она любила меня. Но если для меня любовь была празднованием своей сущности и жизни, то для тех, кто ненавидит себя и ненавидит жизнь, стремление к уничтожению представляет собой единственную форму и эквивалент любви. Лилиан избрала меня за мои лучшие качества, за силу, уверенность, гордость, избрала, как избирают объект любви, как символ жизненной силы человека, но целью ее было уничтожение этой силы».

Риарден мысленно видел тех людей такими, как во время их первой встречи. Он, человек

бурной энергии и страстных амбиций, человек успеха, сияющий пламенем своих достижений, оказался среди той претенциозной золы, которая именовала себя интеллектуальной элитой, выгоревших остатков неусвоенной культуры, питавшихся отсветом разума других людей, провозглашавших свое отрицание разума как единственную претензию на исключительность, стремление править миром как единственную страсть. И она, непрошеная поклонница этой элиты, перенявшая у этих людей банальную усмешку как единственную реакцию на Вселенную, считавшая бессилие достоинством и пустоту добродетелью, видела в нем, не знающем об их ненависти, простодушно презирающем их позерство, опасность их миру, угрозу, вызов, укор.

Страсть, побуждающая других покорять империи, превратилась в ее ограниченности в страсть власти над ним. Она поставила себе целью разорить его, словно неспособная достичь его достоинств могла возвыситься над ними, уничтожив их, словно мера его величия тогда перешла бы к ней. «Как будто, — подумал с содроганием Риарден, — разбивший статую вандал более велик, чем создавший ее скульптор, как будто убийца ребенка более велик, чем родившая его мать».

Он вспомнил ее язвительные насмешки над его работой, заводами, металлом, успехом. Риарден вспомнил ее желание хоть однажды увидеть его пьяным, ее попытки толкнуть его к супружеской измене, ее радость при мысли, что он опустился до романа на стороне, ее ужас, когда она поняла, что этот роман был возвышением, а не падением. Цель ее атаки, которую он находил непостижимой, была постоянной и ясной, — она хотела уничтожить его чувство самоуважения, понимая, что человек, потерявший достоинство, подвластен чьей угодно воле. Она старалась нарушить его моральную чистоту, хотела разрушить его нравственные устои ядовитым чувством вины, словно, если бы он нравственно пал, его порочность дала ей право быть порочной самой.

Руководствуясь той же целью, тем же мотивом, какие заставляли других плести сложные философские системы, чтобы уничтожить поколения, установить диктатуру для уничтожения страны, она, не обладая никаким оружием, кроме женственности, поставила себе задачей уничтожить одного человека. «У вас кодекс жизни, — вспомнил он слова своего молодого пропавшего учителя, — тогда какой же у них?»

— Мне есть что сказать тебе! — воскликнула

Лилиан с той бессильной яростью, когда хочется, чтобы слова были кастетом. — Ты очень гордишься собой, не так ли? Ты очень гордишься своим именем! Сталь Риардена, металл Риардена, жена Риардена! И это была я, не так ли? Миссис Риарден! Миссис Генри Риарден! — звуки, которые она теперь издавала, походили на кудахтанье, представляли собой до неузнаваемости искаженный смех. — Так вот, думаю, тебе приятно будет узнать, что твоей женой обладал другой мужчина! Я была неверна тебе, слышишь? Я изменила тебе не с каким-то замечательным, благородным любовником, а с паршивой вошью, с Джимом Таггертом! Три месяца назад! До развода! Пока еще была твоей женой!

Риарден слушал, словно ученый, изучающий предмет, не имеющий никакой личной значимости. «Вот, — подумал он, — окончательный результат кредо коллективной взаимозависимости, кредо отрицания личности, собственности, факта: веры, что нравственное достоинство одного зависит от поступков другого».

— Я была неверна тебе! Слышишь, безупречный пуританин? Я спала с Джимом Таггертом, безупречный герой! Ты не слышишь меня?.. Не слышишь меня?.. Не…

Риарден смотрел на нее, словно на незнакомую женщину, подошедшую к нему на улице с личными признаниями, во взгляде его читалось: «Зачем говорить это мне?»

Голос ее оборвался. Риарден не знал, каким может быть крушение личности; но знал, что видит крушение Лилиан. Он видел это в том, как обмякло ее лицо, как расслабились его черты, словно их ничто не соединяло, видел в глазах, невидящих, но глядящих, глядящих внутрь, где таился такой ужас, какого не может вызвать ни одна внешняя угроза. Это был взгляд не теряющей разум личности, это был взгляд разумного существа, видящего свое полное поражение и вместе с тем впервые увидевшего свою сущность, взгляд личности, наконец-то увидевшей, что после многих лет проповеди несуществования достигла его.

Риарден пошел к выходу. Мать остановила его у двери, схватив за руку. С видом упрямого замешательства, с последней попыткой самообмана она плачуще простонала тоном раздраженного упрека:

— Ты в самом деле не способен прощать?

— Да, мама, — ответил он. — Не способен. Я бы простил прошлое, если бы вы сегодня убеждали меня бросить дело и скрыться.

Снаружи Риардена встретили холодный ветер, плотно прижавший пальто к его телу, словно объятье, зеленый простор у подножья холма и ясное, меркнущее небо. И подобно двум закатам, завершающим день, на западе краснело прямой, недвижной полосой зарево солнца, а на востоке дышащая красная полоса представляла собой зарево его завода.

Когда он ехал в Нью-Йорк, ощущение руля в руках и струящегося навстречу ровного шоссе действовало на него странно ободряюще. Он испытывал чувство предельной четкости и расслабленности, чувство действия без напряжения, казавшееся необъяснимо юношеским, и это ощущение походило на простой, удивленный вопрос: «А зачем действовать как-то по-другому?»

Когда на горизонте появился Нью-Йорк, Риардену показалось, что он обладает какой-то светлой ясностью, хотя очертаний его на таком расстоянии было не разглядеть, ясностью, вызванной словно бы исходящим от него самого светом. Он смотрел на громадный город, не думая о том, что из него сделали другие, для него это был не город гангстеров, попрошаек, отверженных и проституток, Нью-Йорк был величайшим промышленным достижением в истории че-

ловека, а все остальное ничего не значило. Во взгляде Риардена на Нью-Йорк было чувство духовного сродства с этим городом, и он не мог насмотреться на него, словно видел в первый раз или в последний.

Риарден постоял в тихом коридоре отеля «*Уэйн-Фолкленд*» перед дверью номера, в который нужно было войти; ему потребовалось немалое усилие, чтобы поднять руку и постучать; когда-то этот номер занимал Франсиско д'Анкония. По гостиной с бархатными драпировками и голыми полированными столами плавал сигаретный дым. В этой комнате с дорогой мебелью и безо всяких личных вещей царила атмосфера унылой роскоши, подобающей для кратковременного пребывания, такая же гнетущая, как атмосфера ночлежки. Когда он вошел, в дыму поднялись пятеро: Уэсли Моуч, Юджин Лоусон, Джеймс Таггерт, доктор Флойд Феррис и худощавый, сутулый человек, похожий на хитрого теннисиста, представился он как Тинки Холлоуэй.

— Ну, хорошо, — сказал Риарден, обрывая приветствия, улыбки, предложения выпить и высказывания о критическом положении в стране, — чего вы хотели?

— Мы здесь как ваши друзья, мистер Ри-

арден, — сказал Тинки Холлоуэй, — только как ваши друзья, собравшиеся неофициально поговорить о более тесном взаимодействии.

— Мы хотим воспользоваться вашими выдающимися способностями, — сказал Лоусон, — и вашим профессиональным советом относительно проблем промышленности страны.

— Люди вроде вас нужны в Вашингтоне, — сказал доктор Феррис. — Вам нет нужды так долго оставаться посторонним, когда ваш голос нужен на самом верху национального руководства.

«Противно то, — подумал Риарден, — что эти речи — всего лишь наполовину ложь; другая половина в их истерично-настойчивом тоне представляет собой невысказанное желание как-то представить это полной правдой».

— Чего вы хотели? — снова спросил он.

— Ну как… послушать вас, мистер Риарден, — ответил Уэсли Моуч с испуганной улыбкой, улыбка была нарочитой, страх подлинным. — Мы… мы хотим узнать ваше мнение о национальном промышленном кризисе.

— Мне нечего сказать.

— Но, мистер Риарден, — подал голос доктор Феррис, — мы хотим только возможности сотрудничать с вами.

— Я уже однажды сказал во всеуслышание, что не сотрудничаю под дулом пистолета.

— Не могли бы мы зарыть томагавк в такое время? — умоляюще спросил Лоусон.

— То есть пистолет? Действуйте.

— Что?

— Пистолет держите вы. Заройте его, если сможете.

— Это… это просто оборот речи, — объяснил, хлопая глазами, Лоусон. — я выражался образно.

— Я нет.

— Неужели мы не можем объединиться в интересах страны в такое критическое время? — спросил доктор Феррис. — Неужели мы не можем пренебречь нашими расхождениями во взглядах? Мы готовы пойти с вами на компромисс. Если вас не устраивает какой-то аспект нашей политики, скажите, мы издадим директиву…

— Кончайте, ребята. Я приехал не затем, чтобы помогать вам делать вид, будто мое положение лучше, чем на самом деле, и что между нами возможен какой-то компромисс. Перейдем к делу. Вы приготовили какой-то новый капкан для сталелитейной промышленности. Какой?

— Собственно говоря, — сказал Моуч, — у нас есть для обсуждения жизненно важный вопрос

относительно сталелитейной промышленности, но… но как вы выражаетесь, мистер Риарден!

— Мы не ставим на вас никаких капканов, — сказал Холлоуэй, — и пригласили вас сюда, чтобы обсудить этот вопрос с вами.

— Я приехал за распоряжениями. Отдавайте их.

— Но, мистер Риарден, мы не согласны с таким взглядом. Мы не хотим отдавать вам распоряжений. Нам нужно ваше добровольное согласие.

Риарден улыбнулся.

— Знаю.

— Знаете? — начал было оживленно Холлоуэй, но что-то в улыбке Риардена заставило его сменить тон на неуверенный. — Ну что ж, тогда…

— И ты, приятель, — сказал Риарден, — знаешь, что это портит вашу игру, портит роковым образом. А теперь скажите, какой камень вы так старательно прячете за пазухой, или мне ехать домой?

— Нет, нет, мистер Риарден! — воскликнул Лоусон, торопливо взглянув на часы. — Вам нельзя сейчас уезжать! То есть не нужно уезжать, не выслушав то, что мы скажем.

— Ну так говорите.

Риарден увидел, что они переглядываются.

Уэсли Моуч, казалось, боялся обращаться к нему; на его лице появилось раздраженно-упрямое выражение, напоминающее приказ остальным выдвигаться вперед; как бы ни были они компетентны для решения участи сталелитейной промышленности, их привезли сюда для поддержки Моуча в разговоре.

Риардену стало любопытно, зачем здесь Таггерт; Джеймс сидел в угрюмом молчании, то и дело прикладывался к стакану и ни разу не взглянул в его сторону.

— Мы разработали план, — с наигранной оживленностью заговорил доктор Феррис, — который разрешит проблемы сталелитейной промышленности и встретит ваше полное одобрение как мера, обеспечивающая общее благо и вместе с тем защищающая ваши интересы и гарантирующая вашу безопасность в…

— Не пытайтесь угадать, что я подумаю. Дайте мне факты.

— План этот хороший, разумный, справедливый и…

— Не нужно мне ваших оценок. Давайте факты.

— Это план, который…

Доктор Феррис умолк; привычку называть фак-

ты он утратил.

— По этому плану, — сказал Уэсли Моуч, — мы дадим промышленности пятипроцентное повышение цены на сталь.

И замолчал с торжествующим видом.

Риарден не произнес ни слова.

— Разумеется, потребуются кое-какие незначительные урегулирования, — беззаботно, словно входя на пустой теннисный корт, заговорил Холлоуэй. — Какое-то повышение цен будет дозволено поставщикам железной руды, ну, процента три от силы, с учетом возросших трудностей, с которыми кое-кто, например мистер Ларкин из Миннесоты, столкнется теперь. У них возрастут транспортные расходы, так как руду придется перевозить на грузовиках, поскольку мистеру Джеймсу Таггерту пришлось пожертвовать миннесотским отделением железной дороги ради общего блага. И разумеется, железным дорогам страны будет дозволено повысить тарифы грузовых перевозок примерно на семь процентов, учитывая весьма существенную необходимость в…

Холлоуэй остановился, словно оживленный игрок, внезапно обнаруживший, что никто не отвечает на его подачи.

— Но увеличения зарплаты не будет, — торопливо заговорил доктор Феррис. — Один из существенных пунктов нашего плана заключается в том, что мы не позволим увеличивать зарплату рабочим-сталелитейщикам, несмотря на их настойчивые требования. Мы хотим быть справедливыми к вам, мистер Риарден, и защитить ваши интересы даже под угрозой общественного возмущения и негодования.

— Разумеется, если мы хотим, чтобы рабочие понесли убытки, — заговорил Лоусон, — мы должны показать им, что и управленцы тоже несут определенные убытки ради блага страны. Настроение рабочих в сталелитейной промышленности сейчас очень напряженное, мистер Риарден, взрывоопасное, и чтобы защитить вас от… от…

Он не договорил.

— Ну, ну? — приободрил его Риарден. — От?

— От возможного… насилия, необходимы определенные меры, которые… Послушай, Джим, — неожиданно обратился он к Таггерту, — может, объяснишь это мистеру Риардену как собрату-промышленнику?

— Что ж, кто-то должен поддерживать железные дороги, — угрюмо заговорил Таггерт, не глядя на него. — Железные дороги нужны стране, и кто-

то должен помочь нам нести бремя, если мы не повысим тарифы грузоперевозок...

— Нет, нет, нет! — резко перебил его Уэсли Моуч. — Расскажи мистеру Риардену, как действует план объединения железных дорог.

— Ну, план действует очень успешно, — вяло заговорил Таггерт, — правда, элемент времени не поддается полному контролю. Должно пройти какое-то время прежде, чем наша совместная работа вновь поставит на ноги все железные дороги в стране. Этот план, могу вас заверить, будет действовать также успешно в любой отрасли.

— Не сомневаюсь, — сказал Риарден и обратился к Моучу: — Зачем вы просите эту марионетку отнимать у меня время? Какое отношение ко мне имеет план объединения железных дорог?

— Но, мистер Риарден, — воскликнул Моуч с отчаянной бодростью, — это образец, которому нужно следовать! Вот что мы пригласили вас обсудить!

— Что?

— План объединения сталелитейных заводов!

Наступила минута тишины, слышно было лишь переводимое дыхание.

Риарден сидел, глядя на собравшихся как будто с интересом.

— Учитывая критическое положение сталелитейной промышленности, — заговорил Моуч с внезапной поспешностью, словно не давая себе времени понять, что беспокоит его во взгляде Риардена, — поскольку сталь представляет собой чрезвычайно важный товар, основу всей нашей промышленной структуры, нужно принять решительные меры, чтобы сохранить сталелитейные предприятия страны, — на этом его ораторский порыв иссяк. — С этой точки зрения наш план… наш план…

— Наш план, в сущности, очень прост, — заговорил Тинки Холлоуэй, силясь доказать это наигранной простотой тона. — Мы снимаем все ограничения с объемов производства, каждая компания будет производить столько стали, сколько сможет. Но чтобы избежать разорения и ожесточенной конкуренции, все компании будут вкладывать валовой доход в общий пул, который станет именоваться Объединенным сталелитейным пулом, руководить им будет специальное правление. В конце года оно будет распределять эти доходы, подсчитав общий выпуск стали в стране и разделив его на количество мартеновских печей. Таким образом будет выведен средний показатель, справедливый для всех,

и каждая компания будет получать деньги по потребностям. Главная потребность — сохранение печей, поэтому каждая компания будет получать деньги в зависимости от их количества.

Он умолк, подождал, потом добавил: — Вот такой у нас план, мистер Риарден, — не получив ответа, продолжил: — Конечно, нужно будет убрать кое-какие огрехи, но… но план таков.

Какой бы реакции они ни ожидали, она была не той, какую увидели. Риарден откинулся на спинку кресла, взгляд его был внимательным, но устремленным в пространство, словно он смотрел в далекую даль, потом спросил с какой-то странной, бесстрастной насмешкой:

— Ребята, скажите мне одну вещь: на что вы рассчитываете?

Он знал, что они поняли, заметил тот упорно-уклончивый взгляд, который раньше считал взглядом лжеца, обманывающего жертву, но теперь понимал, что дело обстоит хуже: это был взгляд людей, обманывающих свою совесть. Они не ответили. Молчали, словно старались не заставить его забыть свой вопрос, а заставить себя забыть, что его слышали.

— Это надежный, практичный план! — неожиданно произнес Джеймс Таггерт с внезапной

гневной ноткой одушевления в голове. — Он будет действовать! Должен действовать! Мы хотим, чтобы он действовал!

Ему никто не ответил.

— Мистер Риарден… — робко произнес Холлоуэй.

— Ну что ж, давайте разберемся, — заговорил Риарден. — *«Ассошиэйтед Стил»* Оррена Бойля принадлежит шестьдесят печей, треть из них бездействует, остальные производят в среднем по триста тонн стали в день. У меня их двадцать, они работают на полную мощность, производят по семьсот пятьдесят тонн риарден-металла в день. Итак, у нас восемьдесят «объединенных» мартенов с «объединенным» выпуском двадцати семи тысяч тонн, в среднем триста тридцать семь с половиной тонн на печь. Каждый день в году я, производя пятнадцать тысяч тонн, буду получать деньги за шесть тысяч семьсот пятьдесят тонн. Не будем принимать во внимание других членов пула, они не изменят масштаба, только опустят средний показатель еще ниже, большинство их работает еще хуже, чем Бойль, никто не производит столько стали, сколько я. Как долго, по-вашему, я просуществую при вашем плане?

Ответа не последовало, потом Лоусон неожи-

данно выкрикнул в безрассудном, праведном гневе:

— Во время национальной опасности ваш долг — служить, страдать, трудиться для спасения страны!

— Не понимаю, как перекачивание моих денег в карман Бойля спасет страну?

— Вы должны идти на определенные жертвы ради общего блага!

— Не понимаю, почему благо Бойля более «общее», чем мое.

— О, проблема вовсе не в мистере Бойле! Она гораздо шире одного лица. Это вопрос сохранения природных ресурсов, таких как заводы, и спасения всей промышленности страны. Мы не можем допустить краха такого крупного предприятия, как у мистера Бойля. Оно нужно стране.

— Думаю, — неторопливо произнес Риарден, — что я гораздо больше нужен стране, чем мистер Бойль.

— Ну, конечно! — воскликнул Лоусон в порыве воодушевления. — Вы нужны стране, мистер Риарден! Вы сознаете это, так ведь?

Но алчная радость Лоусона любимому догмату самопожертвования вдруг угасла при звуке голоса Риардена, холодного голоса торговца:

— Сознаю.

— Дело касается не одного Бойля, — умоляющим тоном произнес Холлоуэй.

— Экономика страны не сможет вынести серьезных изменений. У Бойля тысячи рабочих, поставщиков, покупателей. Что будет с ними, если *«Ассошиэйтед Стил»* обанкротится?

— Что будет с тысячами моих рабочих, поставщиков, покупателей, если обанкрочусь я?

— Вы, мистер Риарден? — удивленно произнес Холлоуэй. — Но вы самый богатый, осмотрительный и сильный промышленник страны в настоящее время!

— А как насчет будущего времени?

— Что?

— Как долго я смогу работать в убыток себе?

— О, мистер Риарден, я в вас полностью верю!

— К черту вашу веру! Как долго?

— Вы справитесь!

— Каким образом?

Ответа не последовало.

— Мы не можем теоретизировать о будущем, — воскликнул Уэсли Моуч, — когда нужно избежать надвигающейся национальной катастрофы! Мы должны спасать экономику страны! Должны что-то делать! — невозмутимый вопросительный

взгляд Риардена заставил его забыть об осторожности. — Если вам это не нравится, можете предложить лучшее решение?

— Разумеется, — с готовностью ответил Риарден. — Если вам нужна продукция, тогда уйдите с дороги, снимите все свои чертовы ограничения, дайте Оррену Бойлю разориться, дайте мне купить *«Ассошиэйтед Стил»*, и я буду выплавлять тысячу тонн в день на каждом из ее шестидесяти мартенов.

— О, но… но мы не можем! — ужаснулся Моуч. — Это будет монополия!

Риарден усмехнулся.

— Хорошо, — бесстрастно сказал он, — тогда пусть эту компанию купит директор моего завода. Он будет лучше справляться с делом, чем Бойль.

— О, но это было бы позволением сильному взять верх над слабым! Мы не можем на это пойти!

— Тогда не говорите о спасении экономики.

— Мы только хотели…

Моуч не договорил.

— Вы только хотели продукции без людей, способных производить, так?

— Это… это теория. Просто теоретическая крайность. Мы хотим только временного урегу-

лирования.

— Вы ведете эти временные урегулирования много лет. Не видите, что время у вас кончилось?

— Это просто тео…

Он оборвал фразу на полуслове.

— Теперь послушайте, — сдержанно заговорил Холлоуэй, — нельзя сказать, что мистер Бойль такой уж… слабый. Это очень способный человек. Просто он потерпел несколько досадных неудач, тут от него ничего не зависело. Он вложил крупные суммы в проникнутый духом гражданственности проект для помощи слаборазвитым странам Южной Америки, и эта катастрофа с медью нанесла ему серьезный финансовый удар. Поэтому Бойлю нужно лишь дать возможность оправиться, помочь ликвидировать кассовый разрыв, оказать небольшую поддержку, и все. Нам нужно только справедливо уравнять убытки, а потом все оправятся и будут преуспевать.

— Вы уравниваете убытки уже больше ста… уже тысячу лет, — неторопливо произнес Риарден. — Неужели не видите, что дошли до конца дороги?

— Это просто теория! — рявкнул Моуч.

Риарден улыбнулся.

— Вашу практику я знаю, — негромко сказал он. — А вот вашу теорию никак не могу понять.

Он осознавал, что за кулисами этого плана крылся Оррен Бойль; понимал, что работа сложного механизма, приводимого в действие связями, угрозами, нажимом, шантажом, — механизма, напоминающего неисправную счетную машину, постоянно выдающую случайные результаты, невзначай свелась к нажиму Бойля на этих людей с требованием вырвать для него эту последнюю добычу. Он понимал также, что Бойль не причина этого плана и не его основа, что Бойль лишь случайный пассажир, а не строитель адской машины, которая погубила мир, что сделал ее возможной не Бойль и никто из людей в этой комнате. Они тоже были пассажирами этой машины без водителя, дрожащими попутчиками, знающими, что их автомобиль скоро рухнет в бездну. И не любовь к Бойлю и не страх перед ним заставляли их держаться такого курса и мчаться навстречу гибели. Нечто иное, некий безымянный элемент, который они знали и скрывали от себя, представляющий собой не мысль и не надежду, а нечто такое, что он определял только как взгляд, хитрый взгляд, говорящий: «Я смогу вывернуться».

«Почему? — подумал Риарден. — Почему они думают, что смогут?»

— Мы не можем позволять себе теоретизировать! — воскликнул Уэсли Моуч. — Мы должны действовать!

— Что ж, в таком случае предложу вам другое решение. Почему бы вам не забрать мой завод и не покончить с этим?

Это предложение вызвало у них неподдельный ужас.

— О нет! — ахнул Моуч.

— Даже думать об этом не хотим! — воскликнул Холлоуэй.

— Мы за свободное предпринимательство! — прокричал доктор Феррис.

— Мы не хотим вредить вам! — заверил Лоусон. — Мы ваши друзья, мистер Риарден. Неужели мы не можем сотрудничать? Мы ваши друзья.

В дальнем углу комнаты стоял стол с телефоном, скорее всего, те же стол и аппарат. И Риардену неожиданно показалось, что он видит человека, судорожно склонившегося над телефоном, того человека, который тогда знал то, что он, Риарден, начал теперь понимать, человека, боровшегося с собой, чтобы отказать ему в просьбе, в какой он теперь отказывал нынеш-

ним съемщикам номера. Он видел конец той борьбы, видел измученное, поднятое к нему лицо, слышал отчаянный голос, твердо говорящий: «Мистер Риарден, клянусь… женщиной, которую люблю… что я ваш друг».

Вот этот поступок он тогда назвал изменой, вот этого человека отверг для того, чтобы служить сидевшим теперь перед ним людям. «Кто же в таком случае был изменником?» — подумал Риарден почти без чувства, без права чувствовать, ничего не сознавая, кроме некоей торжественно благоговейной ясности. Кто дал нынешним съемщикам средства, чтобы снимать этот номер? Кем он пожертвовал и ради кого?

— Мистер Риарден! — простонал Лоусон. — В чем дело?

Он повернулся, увидел, что Лоусон смотрит на него со страхом, и догадался, какое выражение тот видел на его лице.

— Мы не хотим конфисковывать ваш завод! — воскликнул Моуч.

— Мы не хотим лишать вас собственности! — поддержал доктор Феррис. — Вы не понимаете нас!

— Начинаю понимать.

«Год назад, — подумал Риарден, — они бы меня

застрелили; два года назад конфисковали бы мою собственность; несколько поколений назад люди такого типа могли позволить себе роскошь убийства и экспроприации, безопасность притворства перед собой и своими жертвами, что их единственной целью является материальный грабеж. Но их время кончается, другие жертвы скрылись раньше, чем предсказывал любой исторический график, и они, грабители, остались лицом к лицу с неприкрытой реальностью своей цели».

— Послушайте, ребята, — устало сказал он, — я знаю, чего вам хочется. Вы хотите, чтобы и волки были сыты, и овцы целы. А я хочу знать только одно: почему вы думаете, что это возможно?

— Не понимаю, о чем вы, — оскорбленным тоном заявил Моуч. — Мы сказали, что ваш завод нам не нужен.

— Ладно, выражусь определеннее: вы хотите и уничтожить меня, и сохранить. Как собираетесь это сделать?

— Не понимаю, как вы можете так говорить, мы ведь дали все возможные заверения, что считаем вас неоценимо важным для страны, для сталелитейной промышленности, для…

— Я вам верю. И это усложняет загадку. Вы считаете меня неоценимо важным для страны?

Черт, вы считаете меня неоценимо важным даже для собственных шкур. Вы дрожите, так как знаете, что спасти ваши жизни могу только я, больше никого не осталось, и знаете, что времени осталось в обрез. И все-таки предлагаете план моего уничтожения, план, не оставляющий никаких лазеек или обходных путей, требующий с идиотской грубостью, чтобы я работал себе в убыток, чтобы я получал за каждую тонну стали меньше, чем сто́ит ее производство, чтобы я тратил на вас остатки своего состояния, пока мы все не начнем голодать. Такое отсутствие логики немыслимо ни для человека, ни для грабителя. В своих интересах — не будем говорить о моих или национальных — вы должны на что-то рассчитывать. На что?

Риарден увидел у них взгляд «я смогу вывернуться», странный взгляд, казавшийся скрытным и вместе с тем возмущенным, словно это он скрывал от них какой-то секрет.

— Не понимаю, почему вы так пораженчески смотрите на положение, — угрюмо сказал Моуч.

— Пораженчески? Вы всерьез полагаете, что я смогу остаться в деле при вашем плане?

— Но он лишь временный!

— Временных самоубийств не бывает.

— Этот план только на время критического положения! Пока страна не оправится!

— Как, вы думаете, она сможет оправиться?

Ответа не последовало.

— Как, думаете, я смогу работать, обанкротившись?

— Вы не банкротитесь. Вы всегда будете производить сталь, — равнодушно сказал доктор Феррис не в силах произнести то, что сказал бы другому: «Ты всегда будешь никчемностью». — Тут ничего не поделаешь. Это у вас в крови. Или, выражаясь более научно, вы так сформированы.

Риарден распрямился в кресле: казалось, он пытался найти секретную комбинацию цифр замка и при этих словах ощутил внутри легкий щелчок, словно нашел первую.

— Дело только в том, чтобы пережить этот кризис, — продолжал Моуч, — дать людям передышку, возможность наверстать упущенное.

— А потом?

— Потом дела улучшатся.

— Каким образом?

Ответа не последовало.

— Что их улучшит?

Ответа не последовало.

— Кто их улучшит?

— Господи, мистер Риарден, люди не сидят сложа руки! — воскликнул Холлоуэй. — Они работают, растут, движутся вперед!

— Какие люди?

Холлоуэй неопределенно махнул рукой:

— Люди.

— Какие? Те, которым вы собираетесь скормить остатки «*Риарден Стил*», ничего не получая взамен? Которые будут и дальше потреблять больше, чем производить?

— Условия изменятся.

— Кто их изменит?

Ответа не последовало.

— Осталось у вас, что присваивать? Если вы раньше не понимали сущности своей политики, то не может быть, чтобы вы не поняли ее сейчас. Посмотрите вокруг. Все эти чертовы народные республики по всему миру существовали только на подачки, которые вы выжимали для них из этой страны. Но выжимать и красть вам уже негде. Для этого не осталось на земном шаре ни одной страны. Эта была самой великой и последней. Вы истощили ее. Опустошили. Безвозвратно лишили величия. Остался только я. Что вы будете делать, вы и ваши народные республики, когда покончите со мной? На что

надеетесь? Что видите впереди, кроме простого, сурового, животного голода?

Они не отвечали. Не смотрели на него. На их лицах было выражение упрямой обиды, словно они слышали призыв лжеца.

Потом Лоусон негромко заговорил с упреком и презрением:

— Ну, в конце концов, вы, бизнесмены, много лет предсказывали бедствия, вы вопили о катастрофе при каждом прогрессивном начинании, говорили, что мы сгинем, но мы не сгинули.

Он начал улыбаться, но отшатнулся от внезапной напряженности в глазах Риардена.

Хэнк ощутил еще один щелчок, более громкий, найдя вторую цифру в механизме замка, и подался вперед.

— На что вы рассчитываете? — спросил он; голос его стал негромким, монотонным, настойчивым.

— Вопрос только в том, чтобы выиграть время! — выкрикнул Моуч.

— Времени уже не осталось.

— Нам нужна только возможность! — на высоких тонах произнес Лоусон.

— Возможностей не осталось.

— Нужно только подождать, пока мы оправим-

ся! — выкрикнул Холлоуэй.

— Пути для этого нет.

— Только подождать, пока наша политика начнет действовать! — прокричал доктор Феррис.

— Заставить действовать неразумное невозможно.

Ответа не последовало.

— Что вас может теперь спасти?

— О, вы сделаете что-нибудь! — громко сказал Джеймс Таггерт.

И тут — хотя это была всего-навсего фраза, которую он слышал всю жизнь, — Риарден услышал внутри оглушительный грохот, словно некая стальная дверь опустилась при нажиме на последнюю кнопку, маленькую цифру, завершившую поиск и открывшую хитроумный замок, принесшую ответ, объединяющий все части, вопросы и мучительные раны его жизни.

В минуту тишины после этого грохота Риардену показалось, что он слышит голос Франсиско, спокойно спрашивающего его в бальном зале этого отеля, однако этот вопрос звучал также здесь и сейчас: «Кто виновнее всех в этой комнате?» Он услышал свой прежний ответ: «Полагаю, Джеймс Таггерт?» — и голос Франсиско, говорящий без упрека: «Нет, мистер Риарден, не Джеймс

Таггерт», но здесь, в этой комнате, и в эту минуту, разум его ответил: «Я».

Он проклял этих грабителей за их упрямую слепоту? Это он сделал возможным случившееся. С первого вымогательства, которое принял, с первой директивы, которой подчинился, он дал им причину верить, что реальность можно обманывать, что можно требовать иррационального, и кто-то как-то это устроит. Раз он принял Закон справедливой доли, директиву 10–289, закон, что те, кто не обладали его способностью, имели право пользоваться ею, и те, кто не зарабатывают, должны получать прибыль, а он, зарабатывающий, — нести убытки, что те, кто не способны думать, должны командовать, а он, способный, должен подчиняться, то были ли они нелогичны в своей вере, что живут в иррациональной вселенной? Это он устроил для них такую вселенную.

Были они нелогичны в своей вере, что им нужно только желать, не задумываясь о возможности, а ему выполнять их желания все равно какими способами? Они, бессильные мистики, хотели избежать обязанности думать, зная, что он, рационалист, взял на себя обязанность служить их прихотям.

Они знали, что он дал им полную волю распоряжаться действительностью. Он не должен был спрашивать: «Зачем?» Они не должны были спрашивать: «Как?» Он дал им волю требовать, чтобы он отдавал им часть своего богатства, потом все, что он имеет, потом больше, чем имеет. Невозможно? Нет, он сделает что-нибудь!

Риарден не сознавал, что поднялся и стоит, глядя на Джеймса Таггерта, видя в бесформенности его лица ответ на все разорения, какие наблюдал многие годы.

— В чем дело, мистер Риарден? Что я такого сказал? — спросил Таггерт с нарастающим беспокойством, но он находился вне досягаемости его голоса.

Риарден мысленно видел течение лет, чудовищные вымогательства, невозможные требования, необъяснимые победы зла, нелепые планы и непонятные цели, провозглашаемые в книгах по туманной философии, отчаянное удивление их жертв, считавших, что какая-то сложная, злая мудрость движет уничтожающими мир силами. И все это держалось на таящемся за бегающими глазами победителей убеждении: «Он сделает что-нибудь… Мы вывернемся. Он даст нам такую возможность. Он сделает что-нибудь!..

Вы, бизнесмены, предсказывали, что мы исчезнем, но мы не исчезли…» «Это правда, — подумал он. — Они не были слепы к реальности, слеп был я, сам создавший эту реальность. Нет, они не сгинули, а кто сгинул? Сгинул, чтобы не оплачивать их способ выживания? Эллис Уайэтт… Кен Данагер… Франсиско д'Анкония».

Потянувшись к пальто и шляпе, Риарден увидел, что они пытаются его остановить, на их лицах — паническое выражение, а голоса звучат в замешательстве: «В чем дело, мистер Риарден?.. Почему?.. Но почему?.. Что мы такого сказали?.. Вы не уедете!.. Вам нельзя уезжать!.. Еще рано!.. Не надо пока! О, не надо!»

Риардену казалось, что он видит их из заднего окна мчащегося экспресса, словно они стоят на путях позади, тщетно размахивая руками и пронзительно выкрикивая неразборчивые слова, фигуры их, удаляясь, становились все меньше, голоса — все тише.

Один из них попытался остановить Риардена, когда тот пошел к двери. Хэнк оттолкнул его с дороги, не грубо, простым, плавным движением руки, как убирают мешающуюся портьеру, и вышел.

Единственное, что он ощущал, быстро ведя

машину по дороге к Филадельфии, была тишина. То была тишина неподвижности внутри, словно обладая знанием, он мог дать отдых душе. Он не испытывал ничего: ни страдания, ни радости. Казалось, что после многолетних усилий он взобрался на гору, чтобы видеть дальше, и, достигнув вершины, прилег отдохнуть, перед тем как осмотреться, впервые получив возможность щадить себя.

Он отдавал себе отчет в пустой дороге впереди, то тянущейся прямо, то петляющей, в легких нажимах рук на руль, в визге шин на поворотах, но у него было ощущение, что он мчится по небесной дороге, висящей в пустом пространстве. Прохожие у заводов, мостов, электростанций по его пути видели некогда совершенно обычное зрелище: красивую, дорогую и мощную машину, которую ведет уверенный человек с идеей успеха, выражаемой нагляднее, чем любая световая реклама, идеей, подчеркнутой мастерским вождением, целеустремленностью движения. Они смотрели, как он проносился и скрывался в ночном тумане.

Риарден увидел в темноте черный силуэт своего завода на фоне дышащего зарева. Зарево было цвета расплавленного золота, надпись «*Риарден*

Стил» начертана на небе холодным, белым сиянием хрусталя. Он смотрел на этот длинный силуэт, на изгибы черных домен, стоящих, словно триумфальные арки, на дымовые трубы, высящиеся, словно торжественная колоннада вдоль аллеи чести в императорской столице, на висящие гирляндами мосты, на краны, салютующие, словно копья, на дымы, медленно развевающиеся, как флаги. Это зрелище нарушило тишину у него внутри, и он приветственно улыбнулся, это была улыбка счастья, любви, преданности. Он никогда не любил свой завод так, как в ту минуту, потому что, созерцая его через призму своего кодекса ценностей в светлой, лишенной несообразностей реальности, он видел причину своей любви: завод представлял собой достижение его разума, посвященное его радости жизни, воздвигнутое в разумном мире для ведения дел с разумными людьми. Если эти люди исчезнут, этот мир сгинет, завод перестанет служить его ценностям, он превратится всего-навсего в груду ненужного хлама, который нужно бросить, чтобы он разрушался, чем быстрей, тем лучше. И это будет не актом измены, а актом верности его подлинному назначению.

До завода оставалась еще миля, когда внима-

ние Риардена неожиданно привлекла маленькая вспышка пламени. Среди всевозможных оттенков огня на громадной территории он мог определить необычные и появляющиеся не на месте. У этого был слишком резкий желтый оттенок, и выбивался он там, где никакого огня не должно было быть, — из проходной у главных ворот. В следующий миг послышался сухой щелчок выстрела, затем три частых ответных, напоминающих гневные пощечины внезапно напавшему противнику. Потом преградившая вдали дорогу черная масса обрела форму, это была не просто темнота, она не отступила, когда он приблизился, то была мятущаяся у главных ворот толпа, пытавшаяся штурмовать завод. Риарден успел разглядеть руки, размахивающие дубинками, ломами, винтовками, — желтое пламя горящей древесины вырывалось из окон проходной — синие вспышки ружейных выстрелов сверкали в толпе, ответные раздавались с крыш построек. Он успел разглядеть силуэт человека, откинувшегося назад и упавшего с легковой машины, и резко свернул с визгом шин в темноту боковой дороги.

Риарден ехал на скорости шестьдесят миль в час по колеям немощеной дороги к восточным

воротам, и они были уже видны, когда на ухабе машину занесло с дороги к краю оврага с кучей старого шлака на дне. Он налег на руль всей своей тяжестью, изгиб его тела заставил машину завершить описываемый с визгом полукруг, вернул ее на дорогу, под его управление. Это заняло одну секунду, но в следующую он нажал тормозную педаль и заглушил мотор: когда свет фар проносился по оврагу, он заметил на склоне какой-то продолговатый предмет, более темный, чем серый бурьян вокруг, и ему показалось, что мелькнувшее белое пятно было человеческой рукой, машущей в просьбе о помощи.

Сбросив пальто, Риарден стал торопливо спускаться по склону, комья земли рассыпались под его ногами, он хватался за кусты и полубежал-полускользил к длинному черному предмету, в котором уже узнал человеческое тело. Луну заволакивало облако, он видел на траве вытянутую руку с белой ладонью, но тело было неподвижным.

— Мистер Риарден…

Это был крик, прозвучавший шепотом, ужасный звук пылкости, не дающей вырваться стону.

Риарден не знал, что было первым, все воспринималось как единое потрясение: мысль,

что голос знакомый, пробившийся через облако луч лунного света, его падение на колени у белого овала лица и узнавание. Это лежал Кормилица.

Он почувствовал, как рука парня сжала его руку с необычайной силой терпящего мучительную боль человека, когда он разглядывал искаженные страданием черты его лица, пересохшие губы, тускнеющие глаза и тонкую темную струйку из маленького черного отверстия в груди, очень близкого к сердцу парня.

— Мистер Риарден… я хотел остановить их… хотел спасти вас…

— Малыш, что с тобой?

— Они хотели застрелить меня, чтобы я не мог ничего сказать… я хотел предотвратить… — рука парня с трудом указала на красное зарево в небе — …то, что они делают… я очень запоздал, но пытался… пытался… И… все еще способен… говорить… Послушайте, они…

— Тебе нужна помощь. Давай отвезем тебя в больницу и…

— Нет! Подождите! Я… думаю, времени у меня осталось мало, и… должен рассказать вам… Послушайте, этот бунт… организован по указке из Вашингтона… Это не рабочие… не ваши рабочие… это присланные ими новички и… и на-

нятые на стороне бандиты… Не верьте ни слову из того, что вам будут об этом говорить… Это инсценировка… их гнусная инсценировка…

В лице парня была отчаянная напряженность, напряженность сражающегося крестоносца, голос его, казалось, обрел звучание жизни благодаря огню, то и дело вспыхивающему в душе. И Риарден понял, что лучшая помощь, какую может оказать, — это слушать.

— Они… они подготовили план объединения сталелитейных заводов… и им нужно его оправдание… они знают, что страна не примет его… и вы его не поддержите… Боятся, что он возмутит всех… это просто план освежевать вас заживо, и все… Поэтому они хотят представить дело так, что вы довели рабочих до ручки… что рабочие пришли в ярость, что вы не можете их контролировать… и правительство вынуждено вмешаться для вашей защиты и общественной безопасности… Вот таким будет их объяснение, мистер Риарден…

Хэнк разглядел царапины на руках парня, засохшую кровь, смешанную с пылью, на его ладонях и одежде, серые пятна пыли на коленях и животе с колючками репейника. В лунном свете он видел полосу примятой травы с бле-

стящими пятнами, уходящую в темноту внизу. Ему было страшно думать, как далеко пришлось парню ползти и как долго.

— Они не хотели, чтобы вы были вечером здесь, мистер Риарден… Не хотели, чтобы видели это «народное восстание» … Потом… вы знаете, как они извращают факты… правда будет скрыта от всех… они надеются обмануть страну… и вас… будто хотят защитить вас от насилия… Не дайте им вывернуться, мистер Риарден!.. Расскажите всей стране… народу… газетчикам… Расскажите то, что я сказал вам… под присягой… я клянусь в этом… это придает юридическую силу моим словам, так ведь?.. Так ведь?.. Это дает вам шанс?

Риарден пожал парню руку:

— Спасибо, малыш.

— Я… я сожалею, что запоздал, мистер Риарден… но они скрывали от меня до последней минуты… Позвали на стратегическое совещание… там был человек по фамилии Питерс… из объединенного комитета… он марионетка Тинки Холлоуэя… марионетки Бойля… Они хотели… хотели, чтобы я подписал пачку пропусков… чтобы сюда пропустили кое-кого из бандитов… чтобы они начали заваруху внутри и снаружи… чтобы казалось, будто это действительно ваши

рабочие… я отказался подписывать.

— Отказался? После того, как они посвятили тебя в свою игру?

— Ну… ну, конечно, мистер Риарден… Неужели вы подумали, что я стал бы играть в нее?

— Нет, малыш, нет. Только…

— Что?

— Только тут ты подставил свою голову под удар.

— Но у меня не было выхода!.. Я не мог помогать им в крушении завода, так ведь?.. Как долго я мог прятать голову? Пока они не разбили бы вашу?.. И что бы я делал со своей головой, если б спас ее таким образом? Вы… вы понимаете, правда, мистер Риарден?

— Да, понимаю.

— Я отказался… выбежал из кабинета… побежал искать директора… сказать ему все… но не мог его найти… потом услышал выстрелы у главных ворот и понял, что началось… хотел позвонить вам домой… телефонные провода оказались перерезаны… Побежал к своей машине, хотел ехать к вам, или в полицию, или в редакцию газеты… но они, должно быть, следили за мной… тут в меня выстрелили… на автостоянке… сзади… я только помню, что упал и… и потом,

когда открыл глаза, обнаружил, что они сбросили меня сюда… на кучу шлака…

— На кучу шлака? — медленно переспросил Риарден, зная, что она находится в ста футах внизу.

Парень кивнул, неопределенно указывая в темноту.

— Да… вниз… и я пополз… пополз наверх… хотел продержаться до того, чтобы рассказать кому-то, кто передаст вам, — искривленное от боли лицо парня неожиданно расплылось в улыбке, и в голосе его прозвучало величайшее торжество, когда он добавил: — и продержался.

Потом парень вскинул голову и спросил тоном детского удивления и внезапного открытия:

— Мистер Риарден, такое бывает чувство, когда… когда чего-то хочешь… отчаянно хочешь… и добиваешься?

— Да, малыш, бывает.

Голова парня откинулась назад, на руку Риардена, глаза закрылись, губы сомкнулись, словно удерживая глубокое удовлетворение этой минуты.

— Но тебе нельзя останавливаться на этом. Это не конец. Держись, пока я не отвезу тебя к врачу и…

Риарден осторожно поднял парня, но лицо

его исказила мучительная конвульсия, губы изогнулись, чтобы удержать крик, и Риардену пришлось мягко уложить его снова на землю.

Парень покачал головой и взглянул на Риардена чуть ли не виновато.

— Мне уже не выкарабкаться, мистер Риарден. Нет смысла себя обманывать… я знаю, что мне конец.

Потом будто в каком-то смутном отказе от жалости к себе добавил, цитируя заученный урок, отчаянно пытаясь говорить прежним, циничным голосом интеллектуала:

— Какое это имеет значение, мистер Риарден? Человек просто-напросто набор… набор определенных химических соединений… и смерть человека значит не больше, чем смерть животного.

— Ты знаешь, что это не так.

— Да, — прошептал парень. — Да, кажется, знаю.

Взгляд его обратился в темноту, потом поднялся к лицу Риардена, глаза его были беспомощными, тоскливыми, по-детски озадаченными.

— Я знаю… все, чему нас учили, — чушь… все, что нам говорили… о жизни… и смерти… Смерть… ничего не значит для химических со-

единений, но… — он сделал паузу, и весь его отчаянный протест зазвучал только в напряженности ставшего тише голоса: — Но значит для меня… И… и думаю, для животного тоже… Но они говорят, что не существует никаких ценностей… только общественные обычаи… Никаких ценностей!.. — он машинально зажал рукой рану на груди, словно пытаясь удержать то, что терял. — Никаких… ценностей…

Потом его глаза раскрылись шире во внезапном покое полной откровенности.

— Я хочу жить, мистер Риарден. Господи, как хочу! — голос был страстно спокойным. — Не потому, что умираю… а потому, что понял лишь сегодня вечером, что значит быть по-настоящему живым…И… странное дело… знаете, когда понял? В кабинете… когда подставил голову под удар… когда послал этих мерзавцев к черту… Существует… существует много такого, чего я, к сожалению, не понимал раньше… Но… не стоит плакать из-за пролитого молока, — он увидел невольный взгляд Риардена на примятую траву внизу и добавил: — Из-за чего бы то ни было пролитого, мистер Риарден.

— Послушай, малыш, — сурово сказал Риарден, — я прошу тебя об одолжении.

— Сейчас, мистер Риарден?

— Да. Сейчас.

— Конечно, мистер Риарден… если смогу.

— Сегодня вечером ты сделал мне большое одолжение, но я прошу о еще большем. Ты проделал замечательную работу, выбравшись из этой кучи шлака. Попытаешься сделать еще более трудную? Ты был готов умереть ради спасения моего завода. Постараешься жить ради меня?

— Ради вас, мистер Риарден?

— Ради меня. Потому что я прошу. Потому что хочу этого. Потому что нам вместе нужно еще много взбираться.

— Для вас… для вас это важно, мистер Риарден?

— Важно. Решишь ты, что хочешь жить, как внизу, на куче шлака? Что хочешь выстоять и жить? Будешь сражаться за жизнь? Ты хотел вести битву за меня. Будешь вести эту вместе со мной, как нашу первую?

Риарден ощутил пожатие руки парня; оно передало неистовую пылкость ответа; голос его прозвучал лишь шепотом:

— Постараюсь, мистер Риарден.

— Теперь помоги мне отвезти тебя к врачу. Расслабься, не волнуйся и позволь мне поднять

тебя.

— Хорошо, мистер Риарден.

Парень с неожиданным усилием приподнялся и оперся на локоть.

— Расслабься, Тони.

Риарден увидел внезапное движение в лице парня, попытку как прежде весело, нагло усмехнуться.

— Я перестал быть «и наши и вашим»?

— Перестал. Ты теперь знаешь, что есть правда жизни, абсолют.

— Да. Теперь я знаю несколько абсолютов. Вот один — он указал на рану — это абсолют, так ведь? И, — продолжал он, когда Риарден медленно, осторожно поднимал его с земли, словно напряженность дрожащего голоса служила своего рода анестезией, — то, что люди не могут жить… если гнусные мерзавцы… вроде тех, что в Вашингтоне… остаются безнаказанными за такие дела… какие устроили этим вечером… если все становится отвратительной фальшью… и ничто не реально… и ничтожество становится важным лицом… люди не могут так жить… это абсолют, правда?

— Да, Тони, абсолют.

Риарден неторопливо, осторожно поднялся

на ноги; увидел спазмы боли на лице парня, когда медленно прижал его к груди, словно ребенка, но спазмы перешли в очередное подобие улыбки, и парень спросил:

— Кто теперь Кормилица?

— Видимо, я.

Риарден сделал первые шаги по рыхлой земле откоса, тело его напрягалось, чтобы служить амортизатором для хрупкой ноши, чтобы сохранять равномерное движение там, где невозможно найти опоры для ног. Голова парня опустилась на плечо Риардена, нерешительно, словно в попытке. Риарден наклонился и коснулся губами пыльного лба.

Парень отдернулся и вскинул голову в негодующем удивлении.

— Вы знаете, что сделали? — прошептал он, словно не мог поверить, что поцелуй предназначался ему.

— Опусти голову, — сказал Риарден, — и я сделаю это еще раз.

Голова парня опустилась, и Риарден поцеловал его в лоб; это походило на отцовскую благодарность сыну за проведенную битву. Парень замер, лицо его было спрятано, руки сжимали плечи Риардена. Потом совершенно беззвучно, рит-

мично затрясся, и Риарден понял, что он плачет в покорности, в признании всего, чего не мог выразить словами.

Риарден медленно поднимался ощупью, стараясь идти твердо среди бурьяна, пыльных осыпей, железок, отбросов далекого времени. Он держал путь к линии, где красное зарево завода обозначало край оврага, движение его представляло собой неистовую борьбу, которой требовалось принимать форму неторопливого, плавного движения.

Риарден не слышал всхлипываний, но ощущал ритмичное содрогание и проникающие сквозь ткань рубашки не слезы, а маленькие, горячие капли, выбрасываемые из раны содроганием. Он понимал, что крепкое прижатие его рук было единственным ответом, какой парень мог воспринять и понять, и сжимал дрожащее тело так, словно сила его рук могла перелить часть его жизненной силы во все слабее пульсирующие артерии.

Потом плач прекратился, и парень поднял голову. Лицо его, казалось, стало более худощавым и бледным, но глаза блестели, и он глядел на Риардена, собираясь с силами, чтобы заговорить.

— Мистер Риарден… я… я очень вам симпати-

зировал.

— Знаю.

У парня не было сил улыбнуться, но в глазах его играла улыбка, когда он смотрел на лицо Риардена, на то, что искал, сам не зная того, всю свою короткую жизнь, искал как образ того, что должно было стать его ценностями.

Потом голова его запрокинулась, и в лице не было конвульсий, лишь губы слегка шевельнулись, но тело дернулось в краткой конвульсии, напоминавшей последний протестующий крик. И Риарден продолжал медленно идти, не меняя шага, хотя знал, что в осторожности больше нет нужды, так как то, что он нес, было представлением учителей парня о человеке — набором химических соединений.

Риарден шел так, словно это был его ритуал отдачи последнего долга и проводов в последний путь парня, умершего у него на руках. Он испытывал такой сильный гнев, что мог назвать его только распирающим изнутри желанием: убивать.

Это желание было обращено не на неизвестного бандита, который стрелял в парня, не на грабителей-бюрократов, нанявших его, а на учителей, которые направили безоружного парня под вин-

товку бандита, на добрых, внушающих доверие убийц из аудиторий колледжа, неспособных ответить на вопросы пришедших искать разума детей и черпавших удовольствие в том, что калечили юные умы, доверенные их попечению.

«Мать этого парня, — думал он, — она дрожала от покровительственной заботы над его неуверенными шагами, когда учила его ходить, отмеряла его молочную смесь с ювелирной точностью, слушала с ревностной пылкостью все последние слова науки о его питании и гигиене, оберегала его неокрепшее тельце от микробов. А потом она отправила его в школу, где ее сына превращали в измученного невротика люди, учившие, что у него нет разума и он не должен пытаться думать. Если бы она кормила его гнилыми отбросами, — думал он, — подмешивала отраву ему в еду, это было бы не столь жестоким, не столь роковым».

Он подумал о всех живых существах, обучающих детенышей искусству выживания, о кошках, учащих котят охотиться, о птицах, старательно обучающих птенцов летать, однако человек, для которого орудием выживания является разум, не только не учит ребенка думать, но ставит целью воспитания разрушение его мозга, убежде-

ние, что мысль тщетна и пагубна, пока ребенок не начал думать.

От первой демагогической фразы, брошенной в ребенка, до последней, обучение походит на удары с целью остановить его двигатель, ослабить способности его сознания. «Не задавай столько вопросов, дети должны быть видны, но не слышны!» «Кто ты такой, чтобы думать? Это так, потому что я так говорю!» «Не спорь, слушайся!» «Не пытайся понять, верь!» «Не протестуй, приспосабливайся!» «Не высовывайся, будь как все!» «Не борись, соглашайся!» «Душа важнее разума!» «Кто ты такой, чтобы знать? Родители знают лучше!» «Кто ты такой, чтобы знать? Общество знает лучше!» «Кто ты такой, чтобы знать? Бюрократы знают лучше!» «Кто ты такой, чтобы возражать? Все ценности относительны!» «Кто ты такой, чтобы хотеть избежать бандитской пули? Это всего лишь личное предубеждение!»

«Люди содрогнулись бы, — думал Риарден, — если бы увидели, что птица выщипывает перья из крыльев птенчика, потом выталкивает его из гнезда, чтобы он силился выжить, однако именно так поступают со своими детьми. Этого парня, вооруженного лишь бессмысленными

фразами, бросили в борьбу за существование, он брел ощупью в кратких, обреченных на неудачу потугах, выкрикивал негодующий, недоуменный протест и погиб при первой попытке воспарить на своих искалеченных крыльях. Но ведь некогда существовали учителя иного рода, — думал он, — и воспитали людей, создавших эту страну; матери должны ползком на коленях искать людей вроде Хью Экстона, найти их и упросить вернуться».

Риарден вошел в ворота завода, едва замечая охранников, глядевших во все глаза на его лицо и ношу; не остановился выслушать их, когда они указывали на бой вдали; он медленно шел к клину света из открытой двери больничного здания. Вошел в освещенную комнату, заполненную людьми, окровавленными бинтами и запахом антисептиков; безо всяких объяснений положил свою ношу на скамью и вышел, не оглядываясь.

Он пошел по направлению главных ворот, к свету огня и звукам выстрелов. Время от времени видел немногочисленных людей, бежавших между зданиями или прятавшихся за темными углами, их преследовали охранники и рабочие. Риарден с удивлением заметил, что его рабочие хорошо вооружены. Они, казалось, подавили

бандитов на заводской территории, и осталось побить только осаждавших ворота. В полосе света Риарден увидел подонка, бьющего обрезком трубы по стене из стеклянных панелей с каким-то зверским удовольствием, приплясывающего, как горилла, под звон бьющегося стекла, потом трое крепких людей набросились на него, скрутили и повалили на землю.

Осада у ворот как будто ослабевала, словно хребет толпы был сломан. Он слышал вдалеке пронзительные крики нападавших, однако выстрелы с дороги становились все реже, пожар в проходной был погашен, на балконах и в окнах были вооруженные люди, расставленные в хорошо спланированной обороне.

Подойдя ближе, Риарден увидел на крыше постройки над воротами стройного человека, он держал по пистолету в каждой руке и, укрываясь за трубой, стрелял быстро, казалось, одновременно в две стороны, словно часовой, защищающий подходы к воротам. Его уверенные движения, манера стрелять, не целясь, внезапно, но без промаха, делала его похожим на героя вестерна. И Риарден наблюдал за ним с беспристрастным удовольствием, словно эта битва на заводе его уже не касалась, но он все еще мог

наслаждаться зрелищем мастерства и уверенности, с которыми люди того отдаленного времени сражались со злом.

Блуждающий луч прожектора коснулся лица Риардена, и когда прошел мимо, он увидел, что человек на крыше наклонился, словно глядя в его сторону. Жестом велел кому-то занять его место и поспешно покинул свой пост.

Риарден быстро шел, но вдруг сбоку, из прохода между зданиями, услышал пьяный крик: «Вот он!» Хэнк повернулся и увидел двух здоровенных, приближающихся к нему людей. Увидел злобное, тупое лицо с растянутыми в невеселой улыбке губами, дубинку в поднимающейся руке, услышал топот ног подбегающего с другой стороны человека, попытался отклонить от удара голову, потом дубинка обрушилась на нее сзади. И в эту минуту раскалывающейся тьмы, когда он шатался, отказываясь верить в случившее, а потом почувствовал, что падает, Риарден ощутил, как его подхватила, не дав упасть, чья-то сильная рука. Он услышал выстрел в дюйме от своего уха и в ту же секунду другой из того же пистолета, но эти звуки казались далекими, слабыми, словно он упал в шахтный ствол.

Первым, что испытал Риарден, открыв глаза,

было ощущение глубокого покоя. Потом он увидел, что лежит на кушетке в современной, строго обставленной комнате, и понял, что это его кабинет, и что двое стоящих подле него — заводской врач и директор завода. Хэнк почувствовал легкую боль в голове, она была бы неистовой, если бы он на ней сосредоточился, и пластырь на боку головы. Ощущение покоя представляло собой знание, что он свободен.

Пластырь и кабинет не могли приниматься или существовать совместно — жить с этим сочетанием было невозможно. Это были уже не его битва, не его работа, не его дело.

— Думаю, доктор, у меня все будет хорошо, — сказал Риарден, поднимая голову.

— Да, к счастью, — врач смотрел на него так, словно до сих пор не мог поверить, что это произошло с Риарденом на его заводе, голос врача был напряженным от гнева, преданности и возмущения. — Ничего серьезного, лишь рассечение кожи и легкое сотрясение. Но вы должны воспринять это спокойно и позволить себе отдохнуть.

— Позволю, — твердо сказал Риарден.

— Все кончено, — сказал директор, указав на завод за окном. — Мы побили этих мерзавцев и обратили в бегство. Не беспокойтесь, мистер

Риарден. Все кончено.

— Да, — сказал Риарден. — Доктор, у вас, должно быть, еще много работы.

— Да! Вот не думал, что доживу до такого дня, когда…

— Знаю. Идите, принимайтесь за дело. У меня все будет хорошо.

— Иду, мистер Риарден.

— Я позабочусь о заводе, — сказал директор, когда врач торопливо вышел. — Все под контролем, мистер Риарден. Но это было гнуснейшей…

— Знаю, — сказал Риарден. — Кто спас мне жизнь? Кто-то подхватил меня, когда я падал, и выстрелил в бандитов.

— Да, да! Прямо им в рожи. Обоим снес череп. Это наш новый доменный мастер. Пришел сюда два месяца назад. Лучшего работника у меня не бывало. Это он узнал, что замышляют мерзавцы, и предупредил меня днем. Сказал, что нужно вооружить как можно больше наших людей. От полиции и национальной гвардии помощи не было никакой, они уклонялись под самыми фантастическими предлогами, все было устроено заранее, и бандиты не ожидали никакого вооруженного сопротивления. Этот доменный мастер — его зовут Фрэнк Адамс — организовал

оборону, руководил всем сражением и стоял на крыше, снимая подонков, которые близко подходили к воротам. Черт возьми, какой меткий стрелок! Я содрогаюсь при мысли о том, сколько наших жизней он спас. Эти мерзавцы хотели крови, мистер Риарден.

— Я хочу видеть его.

— Он ждет где-то снаружи. Это он принес вас сюда и попросил разрешения поговорить с вами, когда будет возможно.

— Пришлите его сюда. Потом возвращайтесь, возьмите на себя руководство, завершите дело.

— Мистер Риарден, могу я еще сделать что-то для вас?

— Нет, больше ничего.

Риарден лежал один в тишине кабинета. Он знал, исчез смысл существования завода, и полнота этого знания не оставляла места для сожаления об иллюзии. Он увидел в последнем зрелище душу и сущность своих врагов: тупую рожу бандита с дубинкой. Отпрянуть в ужасе его заставила не сама эта рожа, а профессора, философы, моралисты, мистики, напустившие эту рожу на мир.

Риарден ощущал своеобразную чистоту. Она представляла собой гордость и любовь к зем-

ле, этой земле, принадлежавшей ему, а не им. Это было то ощущение, которое вело его по жизни, ощущение, которое кое-кто из людей знал в юности, а потом предал, но он не предавал его, нес с собой, как избитый, поврежденный, неопознанный, но работающий двигатель. Ощущение, которое он мог испытывать теперь в полной, безграничной мере, было ощущением своей высшей ценности и высшей ценности своей жизни. Это была окончательная уверенность, что он — хозяин своей жизни, что ее нужно вести безо всякой зависимости от зла, что в этой зависимости никогда не существовало необходимости. Это был великолепный покой сознания, что он свободен от страха, страдания, чувства вины.

«Если правда, — подумал Риарден, — что существуют мстители, которые трудятся для освобождения таких людей, как я, пусть они меня сейчас увидят, пусть скажут свой секрет, пусть позовут меня, пусть...»

— Войдите! — произнес он вслух в ответ на стук в дверь.

Дверь открылась, и Риарден оцепенел. Стоявшим на пороге человеком с взъерошенными волосами, с измазанным сажей лицом и закопченными у домны руками, в прожженном

комбинезоне и окровавленной рубашке, стоявшим так, словно за его спиной развевался плащ, был Франсиско д'Анкония.

Риардену показалось, что сознание его устремилось вперед раньше тела, тело, парализованное потрясением, отказывалось двигаться, а разум со смехом говорил ему, что это самое естественное на свете событие, которого больше всего следовало ожидать. Франсиско улыбнулся, это была приветственная улыбка другу детства в летнее утро, словно ничто иное было невозможно между ними. И Риарден обнаружил, что улыбается в ответ, какой-то частью своего существа он ощущал невыразимое удивление и вместе с тем уверенность, что иначе не могло быть.

— Вы месяцами изводили себя, — говорил Франсиско, приближаясь к нему, — размышляя, в каких словах просить у меня прощения, и вправе ли просить его, если увидите меня снова, но теперь видите, что в этом нет нужды, что нечего просить или прощать.

— Да, — ответил Риарден, это слово прозвучало удивленным шепотом, но когда окончил фразу, он понял, что это величайшая честь, какую могут оказать, — да, я это знаю.

Франсиско сел на кушетку подле Риардена

и медленно коснулся его лба. Это было исцеляющее прикосновение, покончившее с прошлым.

— Хочу сказать вам только одно, — сказал Риарден. — Хочу, чтобы вы услышали это от меня: вы сдержали клятву, вы были моим другом.

— Я знал, что вы это знаете. Вы знали это с самого начала. Знали, что бы ни думали о моих поступках. И ударили меня, потому что не могли заставить себя усомниться в этом.

— Это… — прошептал Риарден, не сводя с него глаз, — … это то, чего я не имел права говорить вам… не имел права выставлять в свое оправдание…

— Вы не думали, что я это понимаю?

— Я хотел найти вас… я не имел права искать вас… и вы все время были…

Он указал на одежду Франсиско, потом рука его беспомощно упала, и он закрыл глаза.

— Я был у вас мастером доменной печи, — сказал, усмехаясь, Франсиско. — Не думал, что вы будете против. Вы сами предложили мне эту работу.

— Вы были здесь моим телохранителем два месяца?

— Да.

— С тех пор, как…

— Совершенно верно. Утром того дня, когда вы читали мое прощальное послание над нью-йоркскими крышами, я пришел сюда на свою первую смену в качестве мастера доменной печи.

— Скажите, — неторопливо заговорил Риарден, — в тот вечер, на свадьбе Джеймса Таггерта, когда вы сказали, что стремитесь к своей величайшей победе, вы имели в виду меня, правда?

— Конечно.

Франсиско чуть распрямился, словно для выполнения торжественной задачи, лицо его стало серьезным, улыбка оставалась только в глазах.

— Мне нужно многое сказать вам. Но не повторите ли сначала слово, какое однажды предложили мне, а я… а я вынужден был его отвергнуть, так как знал, что не волен принять его.

Риарден улыбнулся:

— Какое слово, Франсиско?

Франсиско утвердительно кивнул и ответил:

— Спасибо, Хэнк.

Потом поднял голову.

— Теперь я скажу тебе то, что пришел сказать, но не договорил в тот вечер, когда пришел сюда впервые. Думаю, ты готов это выслушать.

— Готов.

За окном взметнулось к небу зарево от разлива-

емой стали. Красный отсвет медленно трепетал на стенах кабинета, на пустом письменном столе, на лице Риардена, словно в приветствии и прощании.

ГЛАВА VII. «ВЫ СЛУШАЕТЕ ДЖОНА ГОЛТА»

Звонок в дверь звучал сигналом тревоги, протяжным, требовательным воплем, прерываемым нетерпеливыми, неистовыми нажимами чьего-то пальца.

Соскочив с кровати, Дагни увидела холодный, бледный свет утреннего солнца и часы на далекой башне, показывающие десять. Она проработала в кабинете до четырех утра и распорядилась не ждать ее до полудня. Бледное, перекошенное паникой лицо, представшее перед ней, когда она распахнула дверь, принадлежало Джеймсу Таггерту.

— Он скрылся! — выкрикнул Джеймс.

— Кто?

— Хэнк Риарден! Скрылся, исчез, пропал, сгинул!

Дагни на мгновение замерла, держа в руке пояс халата, который завязывала; потом, когда эта весть полностью дошла до нее, дернула за концы пояса, словно перерезая тело надвое по талии, и рассмеялась. Это был торжествующий смех.

Джеймс в недоумении уставился на нее.

— Что с тобой? — выдохнул он. — Не поняла?

— Входи, Джим, — сказала она, с презрением повернулась и пошла в гостиную. — Поняла, не беспокойся.

— Исчез! Скрылся! Как и все остальные! Бросил завод, банковские счета, всю собственность — все! Взял кое-какую одежду и то, что лежало в сейфе в квартире, — в спальне у него нашли сейф, открытый и пустой! И все! Ни слова, ни записки, ни объяснения! Мне позвонили из Вашингтона, но это уже известно всему городу! Они не смогли утаить его исчезновения! Пытались, но… Никто не знает, как эта весть распространилась, но по заводу разошлось, словно металл, прорвавшийся из домны, что он исчез, а потом… прежде чем кто-то успел остановить это, исчезли все: директор, главный металлург, главный инженер, секретарша, даже больничный врач! И бог весть сколько еще! Дезертировали, мерзавцы! Дезертировали, несмотря на все наказания, которые мы ввели. Он ушел, и остальные тоже уходят — завод стоит в бездействии! Понимаешь, что это означает?

— А ты? — спросила Дагни.

Джеймс бросал в нее фразу за фразой, словно

пытался сбить ими улыбку с ее лица, странную, застывшую улыбку горечи и торжества, но ему не удалось.

— Это национальная катастрофа! Что с тобой? Неужели не понимаешь, что это роковой удар? Он сокрушит последние остатки духа и экономики страны! Мы не можем допустить, чтобы он скрылся! Ты должна его вернуть!

Улыбка исчезла с лица Дагни.

— Ты можешь! — выкрикнул Джеймс. — Ты — единственная! Он твой любовник, верно?.. Да не смотри ты на меня так! Сейчас не до щепетильности. Ни до чего, кроме необходимости его вернуть! Ты должна знать, где он! Ты можешь его найти! Ты должна связаться с ним и вернуть его!

Взгляд, который обратила на него Дагни теперь, был неприятнее улыбки: она смотрела на Джеймса так, словно видела его голым, и зрелище это было ей отвратительно.

— Я не могу вернуть его, — сказала она, не повышая голоса. — И не стала бы возвращать, если бы могла. А теперь убирайся.

— Но национальная катастрофа…

— Убирайся.

Дагни не заметила, как Джеймс вышел. Она стояла посреди гостиной, опустив голову, ссутулив-

шись, в улыбке ее были страдание, нежность и приветствие Хэнку Риардену. Дагни смутно удивлялась, почему так рада его освобождению, почему так уверена, что он прав, и вместе с тем отказывает себе в таком же освобождении. В сознании ее бились две фразы; одна звучала торжествующим кличем: «Он свободен, он вне их досягаемости!», другая походила на молитву посвящения: «Еще есть возможность победить, но пусть единственной жертвой буду я…»

«Странно, — думала Дагни в последующие дни, глядя на окружающих, — что катастрофа сделала Хэнка Риардена более известным, чем его достижения, словно пути сознания этих людей открыты бедствию, но не процветанию». Одни говорили о нем с визгливой бранью, другие шептались с виноватым и испуганным видом, как будто на них должна была обрушиться за это некая кара, третьи с истеричной уклончивостью старались делать вид, что ничего не случилось.

Газеты вопили с одной и той же воинственностью в одни и те же дни: «Это социальная измена — придавать дезертирству Хэнка Риардена слишком большое значение и подрывать общественный дух устаревшей верой, что личность может иметь какое-то значение для общества».

«Это социальная измена — распространять слухи об исчезновении Хэнка Риардена. Мистер Риарден не исчез, он находится в своем кабинете, руководит своим заводом, как обычно, и на "*Риарден Стил*" не было никаких беспорядков, если не считать небольшой ссоры нескольких рабочих». «Это социальная измена — бросать непатриотичный свет на трагическую утрату Хэнка Риардена. Мистер Риарден не дезертировал, он погиб в автокатастрофе по пути на работу, и его потрясенные горем родные настояли на закрытых похоронах».

«Странно, — думала Дагни, — получать новости, состоящие из одних отрицаний, словно существование прекратилось, факты исчезли, и только яростные отрицания чиновников и колумнистов дают какой-то ключ к реальности, которую они отрицают». «Неправда, что "*Миллер Стил Фаундри*" в Нью-Джерси вышла из дела», «Неправда, что "*Янсен Мотор Компани*" в Мичигане закрылась». «Это злобная, антисоциальная ложь, что изготовители стальных изделий терпят крах из-за угрозы нехватки стали. Ожидать ее нехватки нет никаких причин». «Это клеветнический, ни на чем не основанный слух, будто какой-то план объединения сталелитейных заво-

дов находится в стадии подготовки, и его одобрил мистер Оррен Бойль. Адвокат мистера Бойля категорически отрицал все и заверил журналистов, что мистер Бойль решительно против любых подобных планов. В настоящее время мистер Бойль страдает нервным расстройством».

Однако кое-что можно было наблюдать своими глазами на улицах Нью-Йорка в промозглых, холодных сумерках осенних вечеров: владельца магазина скобяных изделий, который распахнул двери, приглашая людей брать остатки товаров, а сам с истеричным смехом бил стеклянные витрины; толпу, стоящую у ветхого жилого дома, около которого остановились полицейская и санитарная машины, ожидающие, пока из заполненной газом комнаты не вынесут тела мужчины, его жены и троих детей; этот человек был мелким производителем стальных форм.

«Если они теперь понимают ценность Хэнка Риардена, — думала Дагни, — то почему не сделали это раньше? Почему не предотвратили свои несчастья, не избавили его от многолетних бессмысленных страданий?» Ответа она не находила. В тиши бессонных ночей Дагни думала о том, что теперь Хэнк и она поменялись местами: он живет в Атлантиде, от которой она

отрезана световым экраном, и, возможно, Хэнк зовет ее, как когда-то она звала его самолет, но сквозь эту преграду до нее не могли дойти никакие звуки.

Но защитный экран на короткое время приоткрылся и пропустил письмо, которое она получила через неделю после исчезновения Риардена. Обратного адреса на конверте не было — только почтовый штемпель какой-то деревушки в Колорадо. Письмо состояло из двух фраз:

«Я познакомился с ним. И не виню тебя. Х.Р.»

Дагни долгое время сидела, глядя на письмо, словно утратила способность двигаться и чувствовать. Ей казалось, что она ничего не испытывает. Потом она поняла, что ее плечи трясутся мелкой дрожью, и осознала: в охватившем ее мучительном неистовстве переплелись торжествующая радость, благодарность и отчаяние. Дагни испытывала радость от победы, которую означала встреча этих двух мужчин, окончательной победы их обоих; благодарность, что обитатели Атлантиды до сих пор считают ее одной из них и сделали исключение в виде отправки письма; отчаяние, что ее опустошенность была старанием не слышать вопросов, которые слышала теперь. Голт бросил ее? Отправился

в долину на встречу с самым значительным человеком, которого покорил? Вернется ли он? Не отказался ли от нее? Невыносимым было не то, что на эти вопросы не существовало ответа, а что ответ находился рядом, и она не имела права сделать и шага, чтобы получить его.

Дагни не делала попыток увидеть Голта. Вот уже целый месяц, входя в свой кабинет, она видела не комнату, а туннель внизу, под этажами здания, и работала с таким чувством, будто какая-то периферия сознания подсчитывала цифры, читала докладные, принимала решения в спешке безжизненной деятельности, а живой ум бездействовал, застыв на фразе, дальше которой двигаться было нельзя: «Он там, внизу». Единственным наведением справок, которое Дагни себе позволила, был просмотр платежной ведомости рабочих Терминала. Она увидела имя: Голт, Джон. Оно стояло в ведомостях открыто больше двенадцати лет. Рядом с именем она прочла адрес и в течение месяца силилась забыть его.

Пережить этот месяц казалось трудно, но теперь, когда она смотрела на письмо, перенести мысль, что Голта нет, было еще труднее. Даже ее отказ видеть его служил своеобразной связью

с ним, ценой, которую она согласилась платить, победой, одержанной во имя его. Теперь не оставалось ничего, кроме вопроса, задать который было нельзя. Его присутствие в туннеле было ее двигателем в эти дни, как его присутствие в городе — двигателем в летние месяцы, как его присутствие где-то в мире было двигателем в те годы, когда она еще не слышала его имени. Теперь у нее возникло такое ощущение, что этот двигатель остановился. Она продолжала работать, и яркий, чистый блеск золотой пятидолларовой монеты, которую она держала в кармане, служил стимулом. Дагни продолжала работать, защищенная от окружающего мира броней — равнодушием.

Газеты не упоминали о начавшихся по всей стране вспышках насилия. Но она узнавала о них из докладных кондукторов: сведения о пробитых пулями вагонах, разобранных рельсах, нападениях на поезда, осажденных станциях в Небраске, Орегоне, Техасе, Монтане. Это были тщетные, обреченные на неудачу бунты, вызванные только отчаянием и заканчивающиеся лишь разрушением. Были целые районы, восставшие в слепом мятеже, где арестовывали местных чиновников, изгоняли агентов Вашингтона, убивали сборщи-

ков налогов. А потом объявив о своем отделении от страны, они шли на последнюю крайность того самого зла, которое разорило их, словно борясь с убийствами самоубийством: захватывали всю собственность в пределах досягаемости, объявляли общую зависимость всех от всех и гибли в течение недели, прикончив свою скудную добычу в лютой ненависти всех ко всем, в хаосе, в котором не существовало иных законов, кроме закона оружия. Они гибли под вялыми ударами немногочисленных усталых солдат, присланных из Вашингтона навести порядок в развалинах.

Газеты об этом не упоминали. Передовые статьи продолжали твердить о самоотречении как пути к будущему прогрессу, самопожертвовании как моральном императиве, алчности как о враге, любви как долге, эти избитые фразы были тошнотворно сладкими, как запах эфира в больнице. Слухи распространялись по стране испуганными шепотками, но люди читали газеты и вели себя так, будто верили тому, что читают. Все соперничали друг с другом в том, кто будет самым бездумно-молчаливым, каждый притворялся, будто не знает того, о чем ему известно, и старался поверить в то, что неназванное не существует. Казалось, что начинал извергаться

вулкан, однако люди у подножья горы не обращали внимания на внезапные трещины, черный дым, кипящие струи и продолжали верить, что единственная опасность для них — признать реальность этих признаков.

«Слушайте двадцать второго ноября доклад мистера Томпсона о всемирном кризисе!»

Это было первым признанием непризнаваемого. Объявления начали появляться за неделю и звучали по всей стране. «Мистер Томпсон сделает доклад о всемирном кризисе! Слушайте мистера Томпсона по всем радиостанциям и телеканалам в восемь часов вечера двадцать второго ноября!»

Сначала первые полосы газет и вопли по радио объясняли: «Чтобы дать отпор страхам и слухам, распространяемым врагами народа, мистер Томпсон обратится к стране двадцать второго ноября и сделает полное сообщение о положении в мире в этот серьезный час всеобщего кризиса. Мистер Томпсон положит конец тем зловещим силам, цель которых — держать нас в страхе и отчаянии. Он прольет свет и укажет нам выход из наших тяжелейших ситуаций — суровый путь, как подобает серьезности этого часа, но путь славы, как подтверждает возрождение света. Речь

мистера Томпсона будет передаваться по всем радиостанциям страны и по всему миру, куда только могут дойти радиоволны».

Потом вопли усиливались день ото дня. «Слушайте мистера Томпсона двадцать второго ноября!» — гласили заголовки ежедневных газет. «Не забудьте о мистере Томпсоне двадцать второго ноября!» — вопили радиостанции в конце каждой передачи. «Мистер Томпсон скажет всю правду!» — обращались к населению плакаты в метро и автобусах, объявления на стенах зданий и щиты на пустынных шоссе. «Не приходите в отчаяние! Слушайте мистера Томпсона!» — было написано на флажках на правительственных машинах. «Не сдавайтесь! Слушайте мистера Томпсона!» — взывали знамена в конторах и магазинах. «Не теряйте веры! Слушайте мистера Томпсона!» — говорили голоса в церквях. «Мистер Томпсон даст вам ответ!» — писали в небе армейские самолеты, буквы расплывались, и, когда фраза завершалась, оставались только последние два слова.

На площадях Нью-Йорка ко дню этой речи установили общественные громкоговорители, и они ежечасно разражались хриплыми звуками при бое далеких часов, над усталым шумом

уличного движения, над головами убогих толп раздавался громкий, механический крик встревоженного голоса: «Слушайте двадцать второго ноября доклад мистера Томпсона о всемирном кризисе!» Этот крик раскатывался в холодном воздухе и замирал среди окутанных туманом крыш, под пустой страницей календаря без даты.

Во второй половине дня двадцать второго ноября Джеймс Таггерт сообщил Дагни, что мистер Томпсон хочет встретиться с ней для совещания перед радиопередачей.

— В Вашингтоне? — удивленно спросила она, взглянув на часы.

— Знаешь, должен сказать, что ты не читала газет, не следила за важными событиями. Неужели не знаешь, что мистер Томпсон будет вести передачу из Нью-Йорка? Он приехал сюда, чтобы посоветоваться с ведущими промышленниками, а также с рабочими, учеными, людьми умственного труда и лучшими представителями из руководства страны. Он попросил, чтобы я привез тебя на совещание.

— Где оно будет проходить?

— В радиостудии.

— Они не ждут, что я выступлю в эфире с под-

держкой их политики, а?

— Не беспокойся, тебя близко не подпустят к микрофону! Они просто хотят узнать твое мнение, и мы не можем отказаться в минуту национального кризиса, особенно если приглашение исходит от мистера Томпсона!

Джеймс говорил раздраженно, избегая ее взгляда.

— Когда начнется совещание?

— В половине восьмого.

— Немного времени для совещания по критическому положению страны, а?

— Мистер Томпсон — очень занятой человек. Пожалуйста, не спорь, не создавай трудностей, я не понимаю, что тебе…

— Хорошо, — равнодушно ответила Дагни. — Поеду, — и добавила под влиянием чувства, которое вызвало бы у нее нежелание появиться на совещании гангстеров без свидетеля: — Но возьму с собой Эдди Уиллерса.

Джеймс нахмурился, задумался на секунду с выражением, скорее, досады, чем беспокойства.

— Ну, бери, если хочешь, — сказал он, пожав плечами.

Дагни вошла в студию, с одной стороны ее со-

провождал Джеймс Таггерт как полицейский, с другой — Эдди Уиллерс как телохранитель. Лицо Таггерта было обиженным, напряженным, Уиллерса — покорным, однако удивленным и любопытным. В углу просторного, тускло освещенного помещения стояла декорация из клееного картона, напоминающая нечто среднее между величественной гостиной и скромным кабинетом. Студию заполнял полукруг пустых кресел, словно здесь готовили фотосъемку для семейного альбома, микрофоны болтались, как леска с наживкой, на концах длинных шестов, сооруженных для работы между кресел.

Лучшие люди из руководства страны, стоявшие группами, явно нервничали и напоминали участников распродажи остатков в обанкротившемся магазине: Дагни увидела Уэсли Моуча, Юджина Лоусона, Чика Моррисона, Тинки Холлоуэя, доктора Флойда Ферриса, доктора Саймона Притчетта, Мамочку Чалмерс, Фреда Киннена и жалкую горсточку бизнесменов, среди которых полуиспуганный-полупольщенный мистер Моуэн из «*Эмелгемейтед Свитч энд Сигнл Компани*» был, как ни странно, намерен представлять промышленных магнатов.

На миг ее потряс вид доктора Роберта Стэд-

лера. Дагни понятия не имела, что лицо может так быстро постареть всего за год: впечатление неистощимой энергии, мальчишеской пылкости исчезло, оставались только морщины презрительной горечи. Он стоял один, в отдалении от прочих, и она поймала его взгляд в тот момент, когда входила. У него был вид человека, внезапно застигнутого женой в публичном доме: то было выражение чувства вины, переходящее в ненависть. Потом она заметила, как Роберт Стэдлер отвернулся, будто не видел ее, словно отказ видеть ее мог уничтожить факт присутствия ее здесь.

Мистер Томпсон расхаживал между группами, рявкая на тех, кто случайно попадался на пути, с неугомонным видом человека действия, питающего презрение к обязанности произносить речи. Он держал пачку машинописных страниц, словно узел старого тряпья, который нужно выбросить.

Джеймс Таггерт подошел к нему и произнес неуверенно и громко:

— Мистер Томпсон, позвольте представить вам мою сестру, мисс Дагни Таггерт.

— Очень хорошо, что вы приехали, мисс Таггерт, — произнес мистер Томпсон, пожимая ей

руку, как будто она была избирательницей, фамилию которой он слышит впервые, и бодро отошел.

— Ну, и где же совещание, Джим? — спросила она и взглянула на стенные часы: на большом белом циферблате черная стрелка отрезала минуты, словно нож, двигаясь к восьми часам.

— Ничего не могу поделать! Не я здесь распоряжаюсь! — ответил Джеймс отрывисто.

Эдди Уиллерс взглянул на нее с горестно-терпеливым удивлением и подошел поближе. По радиоприемнику звучала программа военных маршей из другой студии, приглушая обрывки нервозных голосов, торопливые, бесцельные шаги, скрип оборудования, которое монтировали вместе с декорацией гостиной.

— Оставайтесь на нашей программе, чтобы услышать доклад мистера Томпсона о всемирном кризисе в восемь часов! — раздался из приемника воинственный голос диктора, когда минутная стрелка на циферблате дошла до цифры девять.

— Пошевеливайтесь, пошевеливайтесь, ребята! — отрывисто сказал мистер Томпсон, когда из приемника зазвучал очередной марш.

Без десяти восемь Чик Моррисон, Укрепитель духа, казавшийся распорядителем, выкрикнул:

— Так, мальчики и девочки, занимаем свои места! — и указал пачкой почтовой бумаги на залитый светом полукруг кресел.

Мистер Томпсон грузно опустился в центральное кресло с таким видом, будто спешил занять свободное место в метро.

Помощники Чика Моррисона погнали толпу к освещенному полукругу.

— Счастливая семья, — объяснил Чик Моррисон, — страна должна увидеть нас большой, единой, счастливой… Что там с этой штукой? — музыка внезапно оборвалась, издав легкий треск, на середине музыкальной фразы. Было без девяти восемь. Он пожал плечами и продолжал: — … счастливой семьей. Поторапливайтесь, мальчики. Первым делом снимите мистера Томпсона крупным планом.

Стрелка часов продолжала отрезать минуты, пока газетные фотографы щелкали камерами в мрачное, раздраженное лицо мистера Томпсона.

— Мистер Томпсон будет сидеть между наукой и промышленностью! — объявил Чик Моррисон. — Доктор Стэдлер, прошу вас — кресло слева от мистера Томпсона. Мисс Таггерт — сюда, пожалуйста, справа от него.

Доктор Стэдлер повиновался. Дагни не двинулась с места.

— Это не только для прессы, это для телезрителей, — объяснил ей Моррисон побуждающим тоном.

Дагни сделала шаг вперед.

— Я не приму участия в этой программе, — спокойно сказала она, обращаясь к мистеру Томпсону.

— Не примете? — тупо уставился он на нее, как если бы одна из ваз с цветами неожиданно отказалась исполнять свою роль.

— Дагни, ради бога! — воскликнул Джеймс Таггерт в панике.

— Что это с ней? — спросил мистер Томпсон.

— Но, мисс Таггерт! Почему? — выкрикнул Чик Моррисон.

— Вы все знаете, почему, — сказала она, обращаясь к лицам вокруг нее. — Не стоило пытаться устраивать это снова.

— Мисс Таггерт! — завопил Чик Моррисон, когда она пошла к выходу. — Это национальный кри…

Тут к мистеру Томпсону подбежал какой-то человек, Дагни остановилась, как и все остальные, — и взгляд этого человека, обежавший

толпу, внезапно поверг ее в полное молчание. Это был главный инженер радиостанции, и странно было видеть в его глазах первобытный ужас, борющийся с остатками цивилизованной способности владения собой.

— Мистер Томпсон, — промолвил он, — у нас… у нас может быть задержка с началом передачи.

— Что? — выкрикнул мистер Томпсон.

Стрелка на часах показывала без двух минут восемь.

— Мы стараемся устранить неполадку, мистер Томпсон, стараемся выяснить, в чем дело… но можем не успеть вовремя и…

— О чем вы говорите? Что случилось?

— Мы пытаемся найти…

— Что случилось?

— Не знаю! Но… мы… Мы не можем выйти в эфир, мистер Томпсон.

Секунда тишины, потом мистер Томпсон спросил неестественно тихим голосом:

— Вы сошли с ума?

— Должно быть. Я бы хотел этого. Я ничего не могу понять. Станция не работает.

— Механическое повреждение? — заорал мистер Томпсон, вскочив из кресла. — Механическое повреждение? В такое время, черт вас

возьми? Если вы так управляете этой станцией…

Главный инженер медленно покачал головой, словно взрослый, не желающий пугать ребенка.

— Дело не в этой станции, мистер Томпсон, — мягко заговорил он. — Не работают все станции в стране, насколько мы смогли проверить. И механических повреждений нет. Ни здесь, ни где бы то ни было. Оборудование в порядке, в полном порядке, и все сообщают то же самое, но… все радиостанции вышли из эфира в семь пятьдесят одну, и… и никто не может понять, отчего.

— Но… — выкрикнул мистер Томпсон, оглядеся вокруг и заорал: — Надо же, сегодня! Вы не должны допускать этого! Вы должны выпустить меня в эфир!

— Мистер Томпсон, — неторопливо заговорил главный инженер, — мы позвонили в электронную лабораторию Государственного научного института. Они… они никогда не сталкивались ни с чем подобным. Сказали, что, возможно, это какой-то природный феномен, какое-то космическое возмущение беспрецедентного рода, только…

— Ну?

— Только они так не думают. Мы тоже. Сказали, что это похоже на радиоволны, только такой

частоты, какой никогда не создавалось раньше, никогда нигде не наблюдалось, никогда никем не было обнаружено.

Ему никто не ответил. Через минуту он продолжал, голос его был странно торжественным:

— Это похоже на стену радиоволн, забивающих эфир, и мы не можем сквозь нее пробиться, не можем коснуться ее, не можем разрушить… Более того, мы не можем обнаружить их источника никакими обычными методами… Эти волны как будто исходят из передатчика… по сравнению с которым все известные нам кажутся детскими игрушками!

— Но это невозможно! — раздался крик за спиной мистера Томпсона, и все повернулись в ту сторону, настороженные звучавшей в нем нотой странного ужаса; издал этот крик доктор Стэдлер. — Такой вещи не существует! Никто на свете не может ее сделать!

Главный инженер развел руками.

— В том-то и дело, доктор Стэдлер, — устало сказал он. — Такой передатчик невозможен. Не может быть. Но он есть.

— Ну сделайте же что-нибудь! — кричал мистер Томпсон, обращаясь к толпе.

Никто не ответил и не шевельнулся.

— Я не допущу этого! — визжал мистер Томпсон. — Не допущу! Именно сегодня! Я должен произнести эту речь! Сделайте что-нибудь! Решите эту проблему! Приказываю решить ее!

Главный инженер смотрел на него ничего не выражающим взглядом.

— За это я вас всех уволю! Уволю всех инженеров-электронщиков в стране! Отдам всех под суд за саботаж, дезертирство и измену! Слышите? Делайте что-то, черт бы вас побрал! Делайте!

Главный инженер бесстрастно смотрел на него, словно слова больше не несли в себе никакого смысла.

— Неужели здесь некому повиноваться приказу? — крикнул мистер Томпсон. — Неужели в стране не осталось ни одного думающего?

Минутная стрелка дошла до деления, обозначающего восемь ноль-ноль.

— Дамы и господа! — послышался из радиоприемника мужской, ясный, спокойный, непримиримый голос, такой уже много лет не звучал по радио. — Мистер Томпсон не будет сегодня к вам обращаться. Его время кончилось. Говорить буду я. Вы должны были услышать доклад о всемирном кризисе. Вы его услышите.

Раздались три возгласа, но никто не мог рас-

слышать их среди шума толпы, утратившей способность кричать. Один был возгласом торжества, другой — ужаса, третий — замешательства. Этот голос узнали трое: Дагни, доктор Стэдлер, Эдди Уиллерс. На Уиллерса не взглянул никто, но Дагни и доктор Стэдлер посмотрели друг на друга. Дагни увидела, что лицо Стэдлера искажено таким злобным ужасом, на который страшно смотреть; он видел, что она поняла, и смотрит на него так, словно говоривший дал доктору пощечину.

— В течение двенадцати лет вы спрашивали: кто такой Джон Голт? Вы слушаете Джона Голта. Я — тот человек, который любит свою жизнь. Я — тот человек, который не жертвует своей любовью и своими ценностями. Я — тот человек, который лишил вас ваших жертв, разрушил таким образом ваш мир, и если хотите знать, почему гибнете вы, боящиеся знания, я — тот человек, который сейчас вам это скажет.

Способным двигаться оказался только главный инженер; он подбежал к телевизору и принялся неистово вертеть ручки управления. Но экран оставался пустым; говоривший решил не показывать своего лица. Лишь голос его заполнял эфир страны. «Эфир мира», — подумал главный

инженер. Голос звучал так, словно говоривший обращался не к группе, а к одному человеку; то был тон обращения не к собранию, а к разуму.

— Вы слышали, что сейчас век морального кризиса. Вы сказали это сами отчасти в страхе, отчасти в надежде, что эти слова бессмысленны. Вы кричали, что грехи человека губят мир, проклинали человеческую природу за ее неспособность практиковать те добродетели, какие вы требовали. Поскольку для вас добродетель состоит из жертвоприношений, вы требовали все больше жертв в следующих одно за другим бедствиях. Во имя возвращения к морали вы пожертвовали всеми теми пороками, которые считали причиной своего положения. Вы пожертвовали справедливостью ради жалости, независимостью ради единства, разумом ради веры, богатством ради нужды, самоуважением ради самоотречения, счастьем ради долга.

Вы уничтожили все, что считали злом, и достигли всего, что считали добром. Почему же тогда корчитесь от ужаса при взгляде на окружающий мир? Этот мир не следствие ваших пороков, это следствие и образ ваших добродетелей. Это ваш моральный идеал, привнесенный в реальность в его полном и окончательном со-

вершенстве. Вы боролись за него, мечтали о нем, желали его, и я — тот человек, который исполнил ваше желание.

У вашего идеала был беспощадный враг, которого ваш моральный кодекс должен был уничтожить. Я избавил вас от этого врага, устранил с вашего пути за пределы вашей досягаемости, убрал источник всех тех пороков, которые вы приносили в жертву один за другим. Я завершил вашу битву, остановил ваш двигатель, лишил ваш мир человеческого разума.

Говорите, люди не живут разумом? Я избавил вас от тех, кто им живет. Говорите, разум бессилен? Я избавил вас от тех, у кого он не таков. Говорите, существуют ценности, более высокие, чем разум? Я избавил вас от тех, для кого они не существуют.

Когда вы тащили на свои жертвенные алтари тех людей, которые обладают справедливостью, независимостью, разумом, богатством, самоуважением, я опередил вас и первым добрался до них. Я объяснил им суть игры, которую вы ведете, и суть вашего морального кодекса, которую они по своему бесхитростному великодушию не могли понять, показал им, как жить по иной морали — моей. И они предпочли мою мораль.

Всех людей, которые исчезли, которых вы ненавидели, но боялись лишиться, увел от вас я. Не пытайтесь нас найти. Мы не хотим, чтобы нас нашли. Не кричите, что наш долг — служить вам. Мы не признаем за собой такого долга. Не кричите, что нуждаетесь в нас. Мы не считаем нужду правом. Не кричите, что мы принадлежим вам. Это не так. Не просите нас вернуться. Мы бастуем, мы, люди разума.

Мы бастуем против самоуничтожения, веры в незаслуженные вознаграждения и невознаграждаемые обязанности, догмы, что стремление к счастью есть зло, против доктрины, что жизнь — это грех.

Есть разница между нашей забастовкой и теми, какие вы столетиями практиковали: наша заключается не в предъявлении требований, а в их удовлетворении. По вашей морали, мы представляем собой зло. Мы решили больше вам не вредить. По вашим экономическим взглядам, мы бесполезны. Мы решили больше не эксплуатировать вас. По вашим политическим взглядам, мы опасны и должны быть закованы в кандалы. Мы решили не подвергать вас опасности и больше не носить кандалов. По вашим философским взглядам, мы — всего-навсего иллюзия.

Мы решили больше не вводить вас в заблуждение и предоставили вам возможность взглянуть в лицо реальности, той реальности, какой вы хотели, того мира, какой теперь видите, — мира без разума.

Мы дали вам все, чего вы от нас требовали, мы всегда отдавали, но поняли это только теперь. У нас нет к вам никаких требований, никаких условий сделки, никакого предложения компромисса. Вам нечего нам предложить. Мы не нуждаемся в вас.

Теперь вы кричите, что хотели не этого? Что бессмысленный мир разорения не был вашей целью? Вы не хотели нашего ухода? Вы — моральные каннибалы, я уверен: вы всегда знали, что хотите именно этого. Но ваша игра проиграна, потому что теперь это знаем и мы.

В течение веков страданий и бедствий, вызванных вашим моральным кодексом, вы кричали, что ваш кодекс нарушается, страдания являются карой за его нарушение, люди слишком слабы и эгоистичны, чтобы проливать всю кровь, какой этот кодекс требует. Вы проклинали человека, существование, эту землю, но не смели усомниться в своем кодексе. Ваши жертвы принимали на себя вину и продолжали трудиться,

вознаграждаемые вашими проклятьями за свое мученичество, а вы тем временем кричали, что ваш кодекс благороден, но человеческая природа недостаточно хороша, чтобы жить, следуя ему. И ни один из вас не поднялся и не спросил: «А кодекс хорош? По каким меркам?»

Вы хотели знать, кто такой Джон Голт. Я — тот человек, который задал этот вопрос.

Да, сейчас век морального кризиса. Да, вы несете кару за свои пороки. Но сейчас перед судом стоит не человек, и вина будет возложена не на человеческую природу. На сей раз будет покончено с вашим моральным кодексом. Он достиг своего зенита, тупика в конце пути. И если хотите жить дальше, вам нужно не возвращаться к морали — вы никогда не знали ее, — а открыть для себя мораль.

Вы не слышали ни о каких концепциях морали, кроме мистической и общественной. Вас учили, что мораль — это кодекс поведения, навязанный вам прихотью сверхъестественной силы или общества, требующий служить божьему промыслу или благу ближнего, угождать покойному или живущему рядом авторитету, но не служить своей жизни или своему удовольствию. Вас учили, что получать удовольствие

безнравственно, а служение собственным интересам порочно. Любой распространенный моральный кодекс составлен не для вас, а против вас, не для того, чтобы наполнить вашу жизнь, а чтобы опустошить ее.

В течение веков моральное сражение велось между теми, кто утверждал, что ваша жизнь принадлежит Богу, и кто считал, что она принадлежит вашему ближнему, теми, кто проповедовал, что добро представляет собой самопожертвование ради духа на небе, и кто считал, что добро есть самопожертвование. И никто не сказал, что ваша жизнь принадлежит вам, и добро — это жить для себя.

Обе стороны соглашались, что мораль требует отказа от своих интересов и своего разума, моральное и полезное противоположны, что мораль — сфера не разума, а веры и принуждения. Обе стороны соглашались: разумная мораль невозможна, в разуме нет ни добра, ни зла, и разуму нет причины быть моральным.

В борьбе против человеческого разума все ваши моралисты были едины. Во всех их системах и планах разум должны были обобрать и уничтожить. Теперь выбирайте: погибнуть вам или понять, что антиразум есть антижизнь.

Разум человека — его основное орудие выживания. Жизнь дается ему, но выживание — нет. Тело дается ему, средства к существованию — нет. Разум дается ему, его содержание — нет. Чтобы жить, человек должен действовать, но для этого ему нужно знать суть и цель действия. Он не может добыть пищу без знания о ней и способе ее добывать. Не может вырыть канаву или построить циклотрон без знания цели и способа достичь ее. Чтобы жить, человек должен думать.

Но мышление — акт выбора. Ключом к тому, что вы так бездумно именуете «человеческой природой», является всем известный секрет, с которым вы живете, но боитесь назвать его, тот факт, что человек — существо волевого сознания. Разум не работает самопроизвольно, мышление — не механический процесс, логические связи устанавливаются не инстинктом. Работа желудка, легких, сердца самопроизвольна, работа разума — нет. В любой час при любом затруднении вашей жизни вы вольны думать или избегать этого усилия. Но вы не вольны избежать своей природы, того факта, что разум есть орудие выживания, поэтому для вас, людей, вопрос «Быть или не быть» есть вопрос «Думать или не думать».

У существа волевого сознания бессознательного пути поведения нет. Ему нужен кодекс ценностей, чтобы направлять его действия. Ценность — это то, ради достижения и удержания чего человек действует, добродетель есть действие, которым он достигает и удерживает. Ценность предполагает ответ на вопрос: «Для кого и для чего?» Она предполагает меру, цель и необходимость действия перед лицом альтернативы. Где нет альтернатив, никакие ценности невозможны.

Во Вселенной существует лишь одна непреложная альтернатива — существование или несуществование, она относится лишь к одной категории бытия — к живому организму. Существование неодушевленного вещества безусловно, существование жизни нет: оно зависит от определенного направления действий. Материю нельзя уничтожить, она меняет формы, но не перестает существовать. Лишь перед живым организмом стоит постоянная альтернатива: вопрос жизни или смерти. Жизнь — это процесс самоподдерживающего и самопорождающего действия. Если организм в своем действии не достигает цели, он умирает; его химические элементы сохраняются, но жизнь перестает существовать. Только

концепция «жизнь» делает концепцию «ценность» возможной. Только для живого организма существуют понятия «добро» и «зло».

Растению, чтобы жить, необходимо питаться; солнечный свет и химические соединения, которые ему нужны, представляют собой ценности, природа требует искать их. Жизнь растения — это мера ценности, направляющая его действия. Но у растения нет выбора действий, есть альтернатива в условиях, с которыми оно сталкивается, но нет альтернативы в его действии: оно действует бессознательно, чтобы продлить жизнь, но не может действовать для своей гибели.

Животное приспособлено к поддержанию жизни; органы чувств обеспечивают ему бессознательный комплекс действий, бессознательное знание того, что есть добро и зло. Оно не в состоянии расширить свое знание или уклониться от него. В условиях, когда это знание оказывается недостаточным, животное гибнет. Но пока живет, оно действует в соответствии с данным знанием, с бессознательным самосохранением, не имея возможности выбора. Животное не может пренебрегать собственным добром, не может избрать зло и действовать во вред себе.

У человека нет бессознательного кодекса вы-

живания. Его главное отличие от всех живых существ — необходимость действовать перед альтернативой на основе волевого выбора. У него отсутствует бессознательное знание, что для него добро и зло, от каких ценностей зависит его жизнь, какого образа действий она требует. Вы лепечете об инстинкте самосохранения? Вот именно этим инстинктом человек и не обладает. Инстинкт — это безошибочная и бессознательная форма знания. Желание — это не инстинкт. Желание жить не дает вам необходимого для жизни знания. И даже желание жить у человека не бессознательно: ваше тайное зло сегодня заключается в том, что этим желанием вы не обладаете. Ваш страх смерти не есть любовь к жизни и не даст вам знания, необходимого, чтобы сохранять ее. Человек должен приобретать это знание и выбирать свои действия только через процесс мышления, который природа не заставляет его совершать. У человека есть способность действовать себе во вред, он так и действовал на протяжении почти всей своей истории.

Живое существо, для которого средство выживания есть зло, не сможет выжить. Растение, пытающееся уничтожить свои корни, птица,

старающаяся сломать свои крылья, долго бы не просуществовали. Но история человека представляет собой старание отвергнуть и уничтожить свой разум.

Человека называют разумным существом, но разумность — это вопрос выбора, и альтернатива, которую предлагает ему его природа, такая: разумное существо или убивающее себя животное. Человек должен быть человеком — по выбору; по выбору должен считать свою жизнь ценностью; научиться ее поддерживать; найти ценности, которых она требует, и практиковать свои добродетели.

Кодекс принятых по выбору ценностей и есть моральный кодекс.

Кто бы вы ни были, те, кто слушают меня сейчас, я обращаюсь к тем остаткам живого, которые сохранились у вас неизвращенными, к остаткам человечности, разуму и говорю: существует мораль разума, мораль, нужная человеку. И Человеческая Жизнь есть ее мера ценностей.

Все, что нужно для жизни разумного существа, есть добро; все, что ее губит, — зло.

Жизнь человека, как того требует его природа, не жизнь бессмысленного скота, грабящего бандита или мистика, а жизнь разумного существа

посредством не насилия или обмана, а достижений, не выживание любой ценой, поскольку существует единственная цена, оплачивающая выживание человека, — это разум.

Человеческая жизнь есть мера морали, но ваша собственная жизнь — ее цель. Если целью является существование на земле, вам нужно выбирать свои действия и ценности по нужным человеку меркам для того, чтобы сохранять ту незаменимую ценность, которую представляет собой ваша жизнь, реализовывать ее и наслаждаться ею.

Поскольку жизнь требует определенного образа действий, любой другой образ будет ее уничтожать. Живой организм, который не считает свою жизнь мотивом и целью своих действий, функционирует, руководствуясь мотивом и мерой смерти. Подобное существо представляет собой метафизическое чудовище, стремящееся оспаривать, опровергать, отрицать факт собственного существования, слепо несущееся по гибельной дороге, неспособное испытывать ничего, кроме страданий.

Счастье — это успешное состояние жизни, страдание — агент смерти. Счастье есть то состояние сознания, какое проистекает от достижения собственных ценностей человека. Мораль, кото-

рая смеет учить вас искать счастье в отречении от своего счастья — ценить недостижение своих ценностей — это наглое отрицание ее. Следуя рекомендованной доктрине, ваш идеал — роль жертвенного животного, ищущего смерти на алтаре других, такая доктрина предлагает вам смерть как вашу меру. По милости реальности и природы жизни каждый человек есть цель сама по себе; он существует ради себя, и достижение своего счастья — его высшая моральная цель.

Но ни жизни, ни счастья нельзя достичь погоней за неразумными прихотями. Подобно тому, как человек волен пытаться выжить любыми пришедшими в голову способами, но погибнет, если не будет жить так, как требует его природа, он волен искать счастья в любых бессмысленных обманах, но найдет только муки неудачи, если не будет искать счастья, нужного ему. Цель морали — учить вас не страдать и умирать, а радоваться и жить.

Изгоните тех паразитов из субсидируемых школ, которые живут на доходы с чужого разума и заявляют, что человеку не нужны ни мораль, ни ценности, ни кодекс поведения. Те, кто выдает себя за ученых и утверждает, что человек — всего-навсего животное, не отводят ему

места в законе существования, хотя сделали это для низших существ. Они признают, что у всех видов фауны есть свой способ выживания, продиктованный их природой, однако при этом не утверждают, что рыба может жить без воды, а собака — без чутья. Но человек, самое сложное из всех живых существ, говорят они, может выжить любым способом, и у него нет ни тождества, ни природы, поэтому нет причин, почему он не может жить, когда его средство выживания уничтожено, разум подавлен и отдан в повиновение любым приказам, какие им захочется издать.

Изгоните снедаемых ненавистью мистиков, которые выдают себя за друзей человечества и проповедуют, что высшей добродетелью человека является пренебрежение собственной жизнью. Они говорят вам, что целью морали является обуздание инстинкта самосохранения? Для самосохранения человеку и нужен моральный кодекс. Только тот хочет быть моральным человеком, кто хочет жить.

Нет, вы не обязаны жить, это акт морального выбора. Но вы не можете жить как нечто иное, и альтернативой является то состояние жизни и смерти, какое вы теперь видите в себе и вокруг

себя, состояние существа, неспособного к выживанию, даже не человека — существа, которое знает только страдание и проводит отпущенные ему годы в муках бездумного самоуничтожения.

Вы не обязаны думать, это тоже моральный выбор. Но кто-то должен думать, чтобы вы могли жить; если вы решили стать банкротом, то возлагаете дефицит на человека морали, ожидая, что он пожертвует своим добром, чтобы вы могли выживать посредством своего зла.

Быть человеком вы тоже не обязаны; но сегодня тех, кто является людьми, здесь больше нет. Я отнял ваше средство выживания — ваших жертв.

Если хотите знать, как я это сделал и что сказал им, дабы заставить уйти, слушайте. Эти люди жили по моему кодексу, но не знали, какую громадную добродетель он собой представляет. Я дал им это понять и принес им не переоценку, а лишь тождество их ценностей.

Мы, люди разума, теперь бастуем против вас во имя единственной аксиомы, которая является сутью нашего морального кодекса, как сутью вашего является желание избежать ее: аксиомы, что жизнь существует.

Она существует, и акт осмысления этого утверждения предполагает два вывода: что суще-

ствующее воспринимается, и воспринимающий обладает сознанием. Сознание же есть способность понимания.

Если ничего не существует, не может быть никакого сознания: сознание, когда нечего сознавать — логическая несообразность. Прежде, чем оно сможет отождествить себя как сознание, оно должно осознать что-то. Если то, что вы, по собственному утверждению, воспринимаете, не существует, значит, то, чем вы обладаете, не сознание.

Какова бы ни была ступень вашего познания, и то и другое — существование и сознание — представляют собой аксиомы, которых вы не можете избежать. И то и другое является первоосновами, содержащимися в любом вашем действии, в любой части вашего знания и в его сумме, от первого солнечного луча, который воспринимаете в начале жизни, до обширнейшей эрудиции, которую можете приобрести к ее концу. Знаете ли вы форму булыжника или строение Солнечной системы, аксиома остается той же: это существует, и вы это знаете.

Существовать — значит быть чем-то отличным от небытия несуществования, это должно быть особым бытием с определенными отличительны-

ми свойствами. Столетия назад человек, который был, несмотря на все его ошибки, величайшим из философов, нашел формулу, определяющую концепцию существования и правило всякого знания: а есть А. А есть то, что оно есть. Вы не поняли смысл этого утверждения. Я завершу его: бытие есть тождество, сознание — отождествление.

Что бы вы ни стали рассматривать: будь то предмет, свойство или действие, — закон тождества остается тем же самым. Лист не может быть вместе с тем и камнем, не может быть красным и вместе с тем зеленым, не может замерзать и вместе с тем гореть. А есть А. Или, если угодно, это выражено более простым языком: нельзя совместить несовместимое.

Вы хотите знать, что неладно с миром? Все бедствия, погубившие ваш мир, проистекают из попытки ваших лидеров проигнорировать тот факт, что а есть А. Целью тех, кто учил вас это делать, было желание заставить вас забыть, что Человек есть Человек.

Человек не может выжить, не обретя знания, и разум — единственное средство обрести его. Разум — это умение воспринимать, определять и интегрировать материал, предоставляемый

чувствами. Задача чувств заключается в том, чтобы дать ему свидетельство существования, но задача отождествления принадлежит разуму. Чувства лишь сообщают, что есть нечто, но что оно представляет собой, должен установить разум.

Все мышление — это процесс отождествления и интеграции. Человек воспринимает пятно цвета: интегрируя свидетельства своего зрения и сознания, он может отождествить его как твердый предмет, как стол; может узнать, что стол сделан из древесины; древесина состоит из клеток, клетки — из молекул, молекулы — из атомов. В течение всего этого процесса работа разума состоит из ответов на один вопрос: «Что это?» Средством установить истину его ответов является логика, а логика основана на аксиоме, что существование есть. Логика — искусство непротиворечивого отождествления. Противоречия не может быть. Атом есть атом, Вселенная — Вселенная, ничто не может противоречить ее тождеству; и часть не может противоречить целому. Ни одна формируемая человеком концепция не является обоснованной, если он не интегрирует ее без противоречия в общую сумму знания. Прийти к противоречию — значит при-

знать ошибку в своем мышлении; поддерживать противоречие — значит отрекаться от своего разума и изгнать себя из сферы реальности.

Реальность — это то, что существует; нереальное не существует; нереальное есть лишь то отрицание существования, которое есть содержание человеческого сознания, когда оно пытается отвергнуть разум. Истина есть осознание реальности; разум у человека — единственное средство познания, его мера истины.

Самый нелепый вопрос, какой вы сейчас можете произнести: «Чей разум?» Ответ: «Ваш». Каким бы обширным или скромным ни было ваше знание, его обрел ваш разум. Вы можете иметь дело только со своим знанием. Только своим знанием вы можете обладать и просить других принимать его во внимание. Ваш разум — единственный судья истины, и если другие не соглашаются с его вердиктом, реальность есть суд окончательной апелляции. Ничто, кроме человеческого разума, не может совершать того сложного, тонкого, решающего процесса отождествления, который есть мышление. Ничто не может направлять этот процесс, кроме собственного суждения. Ничто не может направлять процесс его суждения, кроме моральной

честности.

Вы, говорящие о «моральном инстинкте» как о некоем особом даре, противостоящем разуму, разум человека есть его моральная способность. Процесс мышления есть процесс постоянного выбора в ответе на вопрос: «Истинно или Ложно? Добро или Зло?» Посадка семени в почву, чтобы оно принесло плод, — добро или зло? Дезинфекция раны, чтобы спасти человека, — добро или зло? Позволяет ли природа атмосферного электричества преобразовывать его в кинетическую энергию — добро это или зло? Ответы на эти вопросы дали вам все, что вы имеете, и эти ответы исходили из человеческого разума, разума непоколебимой преданности тому, что есть добро.

Мыслительный процесс — это моральный процесс. Вы можете допускать ошибки на каждом шагу, и ничто не защитит вас, кроме собственной честности, в противном случае вы можете попытаться лгать, подделывать данные, избегать усилий поиска, но если преданность истине есть признак морали, то нет более великой, благородной, героической формы преданности, чем деятельность человека, принимающего на себя обязанность мыслить.

То, что вы именуете духом или душой, является вашим сознанием, и то, что именуете «свободой воли», есть воля вашего разума думать или нет, ваша единственная воля, ваша единственная свобода — выбор, контролирующий все ваши решения и определяющий вашу жизнь и ваш характер.

Мышление есть единственная основная добродетель человека, из которой проистекают все остальные. И его основной порок, источник всех его зол есть тот отвратительный акт, который вы практикуете, но стараетесь не признаваться в этом: акт замутнения, добровольная приостановка работы сознания, отказ думать — не слепота, а отказ видеть, не неведение, а отказ знать. Это акт рассеивания разума и напускания внутреннего тумана, чтобы избежать ответственности суждения на основании неназванной предпосылки, что какое-то явление не будет существовать, если вы откажетесь его отождествлять, что а не будет А, пока вы не произнесете вердикт «есть». Нежелание думать — это акт уничтожения, отрицание существования, попытка уничтожить реальность. Но реальность существует; реальность невозможно уничтожить, она лишь уничтожит уничтожителя. Отказы-

ваясь сказать «Есть», вы отказываетесь сказать «Я есмь». Отказываясь от собственного суждения, вы отказываетесь от собственной личности. Когда человек заявляет: «Кто я такой, чтобы знать?», он заявляет: «Кто я такой, чтобы жить?»

В любое время в любом деле ваш основной моральный выбор — мышление или немышление, существование или несуществование, А или не А, бытие или ноль.

В той мере, в какой человек разумен, жизнь есть предпосылка, направляющая его действия. В той мере, в какой он неразумен, этой предпосылкой является смерть.

Вы, лепечущие, что мораль — общественное явление, и на необитаемом острове человеку она не нужна, там мораль нужна ему больше всего. Пусть он попытается утверждать, когда нет жертв, которые будут за это расплачиваться, что скала — это дом, песок — одежда, что еда будет падать ему в рот без причин или усилий, и он завтра соберет урожай, съев запас семян сегодня, и реальность уничтожит его, как он того заслуживает. Она покажет ему, что жизнь — это ценность, за которую нужно платить, и мышление — единственная монета, достаточно благородная для такой платы.

Если бы я говорил на вашем языке, то сказал бы, что единственная моральная заповедь человека — думать. Но «моральная заповедь» — это нарушение логики. Мораль — это избранное, а не навязанное, понятое, а не принятое как приказ. Она разумна, а разум не принимает заповедей.

Моя мораль, мораль разума, содержится в одной аксиоме: реальность существует; в одном выборе — жить. Все остальное проистекает отсюда. Чтобы жить, человек должен считать высшими и решающими ценностями три вещи: Разум, Цель, Самоуважение. Разум как единственное орудие познания, Цель как выбор счастья, которого это орудие должно достигать, Самоуважение как нерушимая уверенность, что он способен думать, и его личность достойна счастья, что означает — достойна жизни. Эти три ценности требуют всех добродетелей человека, и все его добродетели связаны с соотношением существования и сознания: разумностью, независимостью, чистотой, честностью, справедливостью, эффективностью, гордостью.

Разумность есть признание того факта, что реальность существует, и ничто не может изменить истины и быть выше акта ее постижения, кото-

рый есть мышление. Разум — его единственный судья ценностей и руководитель его действий. Он есть абсолют, не допускающий никаких компромиссов, и уступка неразумному обесценивает его сознание и отвращает его от постижения фальсифицированной реальности и мнимого краткого пути к познанию, который есть вера. На самом деле это короткое замыкание, уничтожающее разум, и принятие мистических выдумок есть желание уничтожения существования, которое, соответственно, уничтожает сознание.

Независимость — признание того, что ответственность за суждение лежит на тебе. Ничто не может помочь тебе избежать ее, никто не может думать за тебя, как никто не может жить за тебя. И самая низкая форма самоунижения и саморазрушения — это подчинение своего разума разуму другого, принятие авторитета над своим мозгом, его утверждений как фактов, его высказываний как истины, его распоряжений как посредника между своим сознанием и существованием.

Чистота есть признание того факта, что нельзя фальсифицировать свое сознание, как честность есть признание факта невозможности

фальсифицировать существование, что человек — неделимое существо, интегрированное единство двух феноменов: материи и сознания. Нельзя допускать разрыва между своим телом и разумом, действием и мыслью, жизнью и сознанием. Человек, как судья, невосприимчивый к общественному мнению, не может жертвовать своими убеждениями ради желаний других, пусть даже все человечество выкрикивает ему просьбы или угрозы, что мужество и уверенность — практические необходимости, и мужество — практическая форма быть верным существованию, истине, а уверенность — практическая форма быть верным своему сознанию.

Честность — это признание того факта, что нереальное нереально и не может иметь ценности. Ни любовь, ни слава, ни деньги не являются ценностью, если добыты обманом; попытка обрести ценность путем ввода в заблуждение разума других есть возведение своих жертв в более высокое положение, чем реальность, где ты становишься пешкой в их слепой игре, рабом их недумания и уклонений. И их ум, рассудок, восприимчивость становятся врагами, которых тебе нужно страшиться и бежать от них. Ты не хочешь жить как иждивенец, тем более

иждивенец глупости других, или как дурак, источником ценностей которого служат дураки, которых он сумел одурачить. Честность не общественный долг, не жертвование ради других, но самая эгоистичная добродетель, какую может практиковать человек: его отказ жертвовать реальностью своего существования ради обманутого сознания других.

Справедливость есть признание того факта, что ты не можешь фальсифицировать сущность людей, как не можешь фальсифицировать сущность природы, что ты должен судить о всех людях так же добросовестно, как судишь о неодушевленных предметах, с тем же уважением к истине, с тем же неподкупным подходом, с таким же чистым и разумным процессом отождествления, что о каждом человеке нужно судить по тому, что он есть, и относиться к нему соответственно. Как не платишь за ржавый хлам более высокую цену, чем за блестящий металл, так ты не ценишь подлеца выше героя; твоя моральная оценка — это монета, которой ты платишь людям за их добродетели или пороки, и эта плата требует от тебя такой же скрупулезной честности, с какой ты проводишь финансовые операции. Сокрытие своего презрения к людским порокам

есть акт моральной подделки, а сокрытие восхищения добродетелями людей есть акт морального утаивания; ставить какие-то другие интересы выше справедливости значит обесценивать свою моральную валюту и обманывать добро ради зла, поскольку только добро может потерять из-за отсутствия справедливости, и только зло может выиграть; наказание людей за их добродетели и награждение за пороки представляет собой яму в конце этой дороги, моральное банкротство, падение к полной греховности, черная месса в культе смерти, посвящение своего сознания разрушению существования.

Способность производить — твое приятие морали, признание того, что ты решил жить. Эффективная работа есть тот процесс, посредством которого сознание человека контролирует его существование, постоянный процесс приобретения знаний и формирования материи для своих целей, перевода идеи в физическую форму, процесс переделывания земли по образу своих ценностей. Всякая работа носит творческий характер, если разумно выполняется; она становится просто механической в том случае, если человек шаблонно повторяет то, чему научился у других. Ты можешь выбирать

себе работу, и выбор этот так широк, как силен твой разум; для тебя невозможно ничто большее, и ничто меньшее не является достойным; обманом взяться за такую сложную работу, с какой твой разум не может справиться, — значит превратиться в корчащуюся от страха обезьяну, повторяющую чужие движения на чужом месте, а опуститься до работы, не требующей всей способности твоего разума, — значит остановить свой двигатель и обречь себя на другое движение — вниз. Твоя работа есть достижение твоих ценностей, и утратить стремление к ценностям — значит утратить стремление жить. Твое тело — машина, а разум — водитель, и ты должен ехать туда, куда он тебя довезет, а целью пути должно быть достижение. Не имеющий цели человек представляет собой машину, которая катится под горку и может разбиться о камень в первой попавшейся канаве. Человек, подавляющий свой разум, — это остановленная машина, постепенно начинающая ржаветь. Человек, позволяющий лидеру указывать ему направление, представляет собой развалину, которую отправят на металлолом; человек, делающий другого своей целью, подобен человеку, путешествующему автостопом, ничего не платя, и ни одному

водителю не стоит подвозить такого попутчика. Целью твоей жизни является твоя работа, и ты должен проезжать не останавливаясь мимо любого бандита, который считает себя вправе останавливать тебя. Любая ценность, какую ты можешь найти не в своей работе, любая другая преданность или любовь могут быть лишь попутчиками, которых ты решил взять с собой в дорогу, и они должны двигаться своими силами в том же направлении.

Гордостью можно считать признание того факта, что ты — высшая ценность, и, как всякую человеческую ценность, ее нужно заработать, для тебя доступны все достижения, а достижение, которое делает возможными все остальные, — это создание своего характера. Твои характер, действия, желания, чувства являются результатами предпосылок твоего разума. Как человек должен создавать материальные ценности, необходимые для поддержания жизни, точно так же ему необходимы такие черты характера, которые делают жизнь достойной того, чтобы ее поддерживать. Как человек обладает созданным своими усилиями богатством, точно так же он обладает созданной собственными усилиями душой. Для жизни человеку нужно сознание

собственной ценности, но у человека нет взявшихся невесть откуда ценностей, нет взявшегося невесть откуда самоуважения. Он должен заработать его, формируя свою душу по образу своего морального идеала, по образу Человека. Разумное существо, он рождается со способностью творить, но должен творить по выбору. Первой предпосылкой его самоуважения является великолепный эгоизм его души, желающей самого лучшего во всем — в материальных и духовных ценностях, души, стремящейся прежде всего к достижению собственного морального совершенства, ничего не ценя выше самой себя. Доказательством достигнутого совершенства является содрогание в презрении и протесте против роли жертвенного животного, против подлой наглости любой веры, которая предлагает пожертвовать незаменимой ценностью, которую представляют собой ваше сознание и несравненное великолепие вашего существования слепым уверткам и косному увяданию других.

Начинаете понимать, кто такой Джон Голт? Я — человек, добившийся того, чего вы не добивались, того, что вы отвергли, предали, опорочили, но не смогли уничтожить полностью и теперь скрываете, как свой постыдный секрет, проводи-

те жизнь в извинениях перед каждым профессиональным каннибалом, чтобы он не обнаружил этого где-то в вас. Вы все еще хотите сказать то, что я говорю сейчас во всеуслышание, обращаясь ко всему миру; я горжусь своей ценностью и тем фактом, что хочу жить.

Это желание, которое вы разделяете, но скрываете как зло, — единственный остаток добра в вас, но исполнения этого желания нужно научиться заслуживать. Единственная моральная цель человека — это его счастье, но достичь его можно лишь своей добродетелью. Добродетель сама по себе не цель. Добродетель не является наградой самой себе или жертвенным мясом для награды зла. Наградой добродетели является жизнь, а счастье — целью и наградой жизни.

Как у вашего тела есть два основных ощущения — удовольствие и боль, служащие признаками его благополучия или болезни, барометром его главной альтернативы — жизни или смерти, так у вашего сознания есть две основные эмоции — радость и страдание, отражающие ту же альтернативу. Ваши эмоции представляют собой оценки того, что улучшает вашу жизнь или угрожает ей, быстродействующий калькулятор, показывающий сумму ваших доходов или убыт-

ков. У вас нет выбора в ощущениях, но есть выбор в том, что считать хорошим или плохим, что доставит вам радость или страдание, что вы будете любить или ненавидеть, желать или отвергать, зависит от меры ваших ценностей. Эмоции являются врожденными проявлениями состояния человека, но содержание их диктует ваш разум. Ваша способность испытывать эмоции — это двигатель без горючего, и ваши ценности — это то горючее, которым заполняет ее ваш разум. Если выберете смесь противоречий, она засорит ваш двигатель, разъест ваши трансмиссии и приведет к аварии при первой же попытке ехать в машине, которую вы, водитель, испортили.

Если мерой ценностей для вас является неразумное, а ваша концепция добра представляет собой невозможное, если вы хотите незаработанных вознаграждений, богатства или любви, которых вы не заслуживаете, лазейки в законе причин и следствий, хотите, чтобы а по вашей прихоти становилось не А, то вы в итоге достигните состояния противоположного жизни. Не кричите, когда это произойдет, что жизнь — сплошная неудача и счастье для человека невозможно; проверьте свое горючее: вы доехали туда, куда хотели.

Счастье недостижимо по воле эмоциональных прихотей. Оно не удовлетворение неразумных желаний, которые вы слепо пытались удовлетворить. Это состояние непротиворечивой радости, без наказания или чувства вины, которая не идет вразрез с вашими ценностями и не ведет к вашей гибели, радости не бегства от разума, а использования разума на полную мощь, не фальсифицирования реальности, а достижения реальных ценностей, радости не пьяницы, а созидателя. Счастье возможно только для разумного человека, который стремится к разумным целям, ищет только разумные ценности и находит радость только в разумных действиях.

Поскольку я поддерживаю свою жизнь не грабежом и подаяниями, а собственными усилиями, то не хочу получать счастье за счет чьих-то несчастий или чьих-то благодеяний, а заработать его своими достижениями. Как я не считаю удовольствие других целью своей жизни, так не считаю свое удовольствие целью жизни других. Как в моих ценностях нет противоречий и нет конфликта между моими желаниями, точно так же нет никаких жертв и никаких конфликтов интересов среди разумных людей, которые не хотят незаработанного и не смотрят друг на друга

с каннибальским вожделением, людей, которые не приносят жертв и не принимают их.

Символом всех отношений между такими людьми, моральным символом уважения к людям является торговец. Мы, живущие ценностями, а не грабежом, торговцы материей и духом. Торговец — это человек, который зарабатывает то, что получает, не берет и не дает незаслуженное. Торговец не просит, чтобы ему платили за его неудачи, не просит, чтобы его любили за его недостатки. Торговец не расточает свое тело на пищу и душу — на милостыню. Как он отдает плоды своего труда только в обмен на материальные ценности, так и ценности своего духа: любовь, дружбу, уважение, — он отдает в виде платы в обмен на человеческие добродетели, за свое эгоистическое удовольствие, какое получает от людей, которых способен уважать. Паразиты-мистики, которые на протяжении веков осуждали и презирали торговцев, хваля при этом нищих и грабителей, знали тайный мотив своего глумления: торговец — то существо, которое внушает им страх, он — воплощение справедливости.

Вы спрашиваете, какие моральные обязательства есть у меня перед людьми? Никаких, кроме

обязательства перед собой, перед материальными предметами и всем существованием, — разумности. Я веду дела с людьми так, как того требует моя и их природа: на основе разума. Я не добиваюсь и не хочу от них ничего, кроме таких отношений, в какие они хотят вступить по своему добровольному выбору. Я могу вести дела только с их разумом и только в своих эгоистических интересах, когда они видят, что наши интересы совпадают. Когда не совпадают, я не вступаю ни в какие отношения — предоставляю инакомыслящим идти своим путем и не сворачиваю со своего. Я одерживаю победы только с помощью логики и не подчиняюсь ничему, кроме логики. Я не отказываюсь от своего разума и не веду дел с людьми, которые отказываются от своего. Мне нечего получать от дураков и трусов; я не ищу никаких выгод от человеческих пороков, от глупости, бесчестности или трусости. Единственная ценность, какую люди могут мне предложить, это работа их разума. Когда я не соглашаюсь с разумным человеком, я предоставляю реальности быть нашим окончательным арбитром: если я прав, поумнеет он, если неправ, поумнею я; победит один из нас, но мы оба окажемся в выгоде.

Какими бы ни были разногласия, существует один недопустимый акт зла, акт, которого ни один человек не может совершать против другого, которого никто не может разрешить или простить. Пока люди хотят жить вместе, никто (Слышите? Никто!) не может применять физическую силу один против другого.

Ставить угрозу физического уничтожения между человеком и его восприятием реальности — значит отвергнуть и парализовать его орудие выживания; заставить его действовать вопреки своим суждениям — все равно, что заставлять его действовать вопреки тому, что он видит. Кто, для каких бы то ни было целей, в каких бы то ни было пределах, начал применять силу, тот является убийцей, действующим по предпосылке смерти в более широком масштабе, чем просто лишение жизни: предпосылке уничтожить способность человека жить.

Не вздумайте говорить мне, что убеждены в своем праве насиловать мой разум. Насилие и ум представляют собой противоположности; мораль кончается там, где начинается оружие. Когда вы заявляете, что человек — неразумное животное и предлагаете обращаться с ним, как с животным, вы проявляете свой характер

и больше не имеете права требовать поддержки разума, как не может требовать ее поборник противоречий. Не может быть «права» уничтожать источник права, единственного судьи добра и зла — разума.

Заставлять человека отказываться от своего разума и принимать вместо него вашу волю с оружием вместо аргументов, с запугиванием вместо доказательства, со смертью в виде окончательного довода — значит пытаться существовать с пренебрежением к реальности. Реальность требует от человека действовать в своих разумных интересах; ваше оружие требует, чтобы он действовал вопреки им. Реальность угрожает человеку смертью, если он не действует по своим разумным суждениям; вы угрожаете ему смертью, если он действует. Вы помещаете человека в такой мир, где ценой его жизни является отказ от всех добродетелей, каких требует жизнь, и смерть в результате процесса постепенного разрушения — единственное, чего достигнете вы и ваша система, когда смерть становится правящей силой, окончательным доводом в человеческом обществе.

Будь то разбойник, предъявляющий путнику ультиматум «Кошелек или жизнь», или политик,

предлагающий стране ультиматум «Образование ваших детей или жизнь», смысл ультиматума один: «Разум или жизнь», а для человека одно невозможно без другого.

Если существуют различные степени зла, то трудно сказать, кто более низок: скот, который присваивает право насиловать разум других, или моральный дегенерат, который дает другим право насиловать свой разум. Это моральный абсолют, который не подлежит обсуждению. Я не считаю разумными тех, кто собирается лишить меня разума. Я не вступаю в дискуссии с теми, которые считают, что могут запретить мне думать. Я не оказываю моральной поддержки убийце, который хочет убить меня. Когда человек пытается вести со мной дела посредством силы, я отвечаю ему силой.

Эту силу можно использовать только для возмездия или против человека, который начал ее применять. Нет, я не разделяю его зла и не опускаюсь до его концепции морали, я лишь предоставляю ему его выбор, гибель, единственную гибель, какую он вправе избрать, — его собственную. Он использовал силу, чтобы захватить ценность, я же — чтобы уничтожить уничтожение. Грабитель хочет получить богатство, убив

меня; я не становлюсь богаче оттого, что убиваю грабителя. Я не ищу ценностей с помощью зла и не уступаю своих ценностей злу.

От имени всех созидателей, которые дают вам возможность жить и получают в награду ваш смертный ультиматум, я отвечаю вам нашим единственным ультиматумом: наша работа или ваше оружие. Можете выбрать одно из двух; иметь то и другое нельзя. Мы не начинаем применять силу против других и не подчиняемся чужой силе. Если вы захотите снова жить в индустриальном обществе, это будет на наших условиях. Наши условия и наша движущая сила противоположны вашим. Вы использовали страх как оружие и несли человеку смерть в наказание за отрицание вашей морали. Мы предлагаем ему жизнь в виде награды за принятие нашей.

Вы, поклоняющиеся нулю, вы так и не поняли, что достижение жизни не эквивалент спасению от смерти. Радость — это не «отсутствие страдания», ум — не «отсутствие глупости», свет — не «отсутствие темноты», бытие — не «отсутствие небытия». Строительство ведется не воздержанием от разрушения; века сидения и ожидания в таком воздержании не поднимут ни единой балки, чтобы вы могли воздерживать-

ся от разрушения, и теперь вы уже не можете сказать мне, строителю: «Созидай и корми нас в обмен на то, что мы не будем разрушать созданное тобой». Я отвечаю вам от имени всех ваших жертв: «Сгиньте со своей пустотой в своей пустоте». Существование — не отрицание отрицаний. Отсутствие и отрицание представляют собой зло, а не ценность, зло бессильно и не имеет власти, кроме той, какую мы позволяем вымогать у нас. Сгиньте, так как мы поняли, что зло не может владеть закладной на жизнь.

Вы хотите избежать страданий. Мы стремимся к достижению счастья. Вы существуете ради того, чтобы избегать наказаний. Мы существуем ради того, чтобы зарабатывать вознаграждения. Угрозы не заставят нас действовать; страх — не наш стимул. Мы хотим не избежать смерти, мы стремимся жить.

Вы, утратившие представление о разнице, вы, заявляющие, что страх и радость — стимулы одинаковой силы, и втайне добавляющие, что страх «практичнее», вы не хотите жить, и только страх смерти еще связывает вас с тем существованием, которое вы прокляли. Вы мечетесь в панике по ловушке своего времени, ища выхода, который сами закрыли. Вы бежите от преследователя,

которого не смеете назвать, к ужасу, которого не смеете признать, и чем сильнее ваш ужас, тем больше вы страшитесь единственного действия, какое может вас спасти, — мышления. Цель ваших усилий заключается в том, чтобы не узнать, не постичь, не назвать, не услышать того, что я сейчас вам скажу: ваша мораль есть Мораль Смерти.

Смерть представляет собой меру ваших ценностей, смерть — ваша избранная цель, и вам приходится все время бежать, поскольку нет спасения от преследователя, который намерен вас уничтожить, или от знания. Вы сами — этот преследователь. Перестаньте, наконец, бежать — убегать некуда, встаньте нагими, вы боитесь такими стоять, но такими я вас вижу, и взгляните на то, что смеете называть моральным кодексом.

Осуждение — начало вашей морали, гибель — ее цель, средство и смысл. Ваш кодекс начинается с осуждения человека как зла. Потом он требует, чтобы человек творил добро, которое по определению этого кодекса он не способен творить. Ваш кодекс требует в виде первого доказательства добродетели, чтобы человек принимал собственную порочность без доказательств. Ваш кодекс требует, чтобы человек начинал

не с меры ценности, а с меры зла, которое сам представляет собой, и потом из этого вывел понятие добра: добро есть то, что ему не присуще.

Неважно, кому на руку отречение человека от своего величия и его душевные муки: таинственному Богу с каким-то непонятным промыслом или какому-то бродяге, чьи гнойные язвы дают ему некое необъяснимое право притязать на что-то, — человеку не дано понять добра. Его долг — годами пресмыкаться, ища искупления, заглаживая вину своего существования перед любым сборщиком непонятных долгов, его единственное представление о ценности — ноль. Добро — это то, что не присуще человеку.

Название этой чудовищной нелепости — Первородный Грех. Грех, не совершенный по собственной воле, является оскорблением морали, вызванной логической несообразностью: то, что вне возможности выбора, находится вне сферы морали. Если человек порочен от рождения, у него нет ни воли, ни силы изменить это; если у него нет воли, он не может быть ни порочным, ни нравственным; робот находится вне морали. Считать грехом недоступный выбору человека факт — насмешка над моралью. Считать его природу греховной — насмешка над природой.

Карать человека за преступление, которое совершено до его появления на свет — насмешка над справедливостью. Считать человека виновным в деле, где не существует невинности — насмешка над разумом. Уничтожать мораль, природу, справедливость и разум посредством одной концепции — несравненное достижение зла. Однако эта концепция — основа вашего кодекса.

Не прячьтесь за трусливую отговорку, что человек рождается со свободной волей, но со «склонностью» ко злу. Обремененная склонностью воля напоминает игру налитыми свинцом костями. Она заставляет человека пытаться выиграть, принимать на себя ответственность и расплачиваться, но исход игры предопределен в пользу склонности, избавиться от которой он не в силах. Если эта склонность — результат его выбора, он не мог обладать ею при рождении; если она — не результат выбора, его воля не свободна.

В чем сущность вины, которую ваши учителя называют Первородным Грехом? Какие пороки приобрел человек, выйдя из того состояния, которое они считают совершенным? Их миф гласит, что человек съел плод с древа познания, — он обрел разум и стал разумным существом. То было познание добра и зла — он стал моральным

существом. Он был осужден добывать хлеб трудом — он стал созидающим существом. Он был осужден испытывать страсть — он приобрел способность знать любовные радости. Пороки, за которые его осуждают: разум, мораль, созидательность, радость — основные добродетели его существования. Их миф о падении человека создан не затем, чтобы объяснить и осудить его пороки, виной считаются не его заблуждения, а сущность его природы как человека. Кем бы ни был тот робот в райском саду, который существовал без разума, без ценностей, без труда, без любви, — он не был человеком.

Падением человека, по словам ваших учителей, является то, что он обрел добродетели, необходимые, чтобы жить. Эти добродетели, по их меркам, есть его Грех. Его порок, судят они, в том, что он — человек. Его вина, судят они, в том, что он живет. Они именуют это моралью милосердия и доктриной любви к человеку.

Нет, говорят они, мы не проповедуем, что человек порочен, порочен только этот чуждый объект: его тело. Нет, говорят они, мы не желаем его убивать, мы только хотим заставить его лишиться тела, говорят, что хотят помочь ему избавиться от страданий, и указывают на дыбу,

к которой его привязали, дыбу с двумя колесами, которые тянут его в разные стороны, на дыбу докторины, разделяющей его на душу и тело.

Они делят человека надвое и восстанавливают одну половину против другой. Они учат его: тело и сознание — два врага, встретившихся в смертельном поединке, два антагониста противоположной природы, их требования противоречивы, потребности несовместимы, приносить пользу одному значит вредить другому, а душа человека принадлежит сверхъестественной сфере, но тело его — это порочная тюрьма, удерживающая душу в узах на земле, а добро заключается в том, чтобы победить свое тело, разрушить его годами терпеливой борьбы, вести подкоп для того славного побега из неволи тюрьмы, который ведет к свободе могилы.

Они учат человека, что он — безнадежный неудачник, состоящий из двух элементов, и оба элемента символизируют смерть. Тело без души — труп, душа без тела — дух, однако их представление о природе человека таково: это поле битвы между трупом и духом, труп наделен злой волей, а дух — знанием, все известное человеку не существует, существует только непознаваемое.

Заметили вы, какую способность человека эта доктрина преднамеренно упускает из виду? Это человеческий разум, который нужно отрицать, чтобы разделить человека надвое. Отказавшись от разума, человек остается во власти двух чудовищ, которые не может ни постичь, ни контролировать: тела, движимого необъяснимыми инстинктами, и души, движимой мистическими откровениями. Человек становится пассивно гибнущей жертвой битвы между роботом и диктофоном.

И поскольку он теперь пресмыкается среди обломков, вслепую нащупывая путь к тому, чтобы жить, ваши учителя предлагают ему помощь морали, утверждающей, что он не найдет выхода и не должен искать осуществления желаний на земле. Подлинное существование, говорят они человеку, непостижимо, подлинное сознание — это способность постигать несуществующее, и если он не способен такое понять, это доказывает, что его существование порочно, а сознание бессильно.

В результате разрыва между душой и телом человека существуют два рода учителей Морали Смерти: мистики духа и мистики плоти, которых вы именуете спиритуалистами и мате-

риалистами, — те, кто верит в сознание без существования, и те, кто верит в существование без сознания. И те и другие требуют отказаться от разума, первые ради откровений, вторые ради *рефлексов*. И как бы яростно они ни выставляли себя непримиримыми антагонистами, их моральные кодексы одинаковы, цели тоже: в материи — порабощение тела человека, в духе — разрушение его разума.

Добро, говорят мистики духа, есть Бог, единственным определением которого является то, что человек не в силах его постичь. Это обесценивает сознание человека и сводит на нет его концепции существования. Добро, говорят мистики плоти, есть Общество, то есть явление, которое они определяют как организм, не обладающий физической формой, сверхсущество, не воплощенное ни в ком в частности и воплощенное во всех в общем, за исключением вас. Разум человека, говорят мистики духа, должен подчиняться божьей воле. Разум человека, говорят мистики плоти, должен подчиняться воле Общества. Мера ценностей человека, говорят мистики духа, — это желание Бога, меры которого выше человеческого понимания и должны приниматься на веру. Мера ценностей человека,

говорят мистики плоти, это желания общества, о которых человек не вправе судить и должен повиноваться им как изначальному абсолюту. Цель жизни человека — говорят и те и другие — стать жалким зомби, который служит неизвестной ему цели по причине, о которой не должен спрашивать. Его награда, говорят мистики духа, будет дана ему на небе. Его награда, говорят мистики плоти, будет дана на земле — его правнукам.

Эгоизм — говорят и те и другие — порок человека. Добро его — говорят и те и другие — отказ от личных желаний, отречение от себя; отрицание жизни, которой он живет. Жертвование — кричат и те и другие — сущность морали, величайшая добродетель, какой может достичь человек.

Каждый, кто слышит сейчас меня, каждый, кто человек-жертва, а не человек-убийца, я говорю у смертного ложа вашего разума, на грани той тьмы, в которой вы тонете, если у вас еще остались силы поддерживать те гаснущие искры, которыми были вы сами, воспользуйтесь этими силами. «Жертвование» — это слово, которое погубило вас. Воспользуйтесь последними силами, чтобы понять его смысл. Вы еще живы. У вас есть шанс.

Жертвование означает отказ не от никчемного, а от драгоценного. Жертвование означает отвержение не зла ради добра, а добра ради зла. Жертвование — это отказ от того, что вы цените, ради того, что вам чуждо.

Если вы обмениваете цент на доллар, это не есть жертвование, но если доллар — на цент, тогда это жертва. Если вы достигаете положения, которого хотели, после многолетних усилий, это не есть жертвование, но если потом отказываетесь от него ради соперника — жертва. Если отдаете бутылку молока своему голодающему ребенку, это не есть жертвование; если отдаете соседскому, предоставляя своему умирать с голоду, — жертва.

Если вы отдаете деньги, чтобы помочь другу, это не есть жертвование; если никчемному незнакомцу — жертва. Если отдаете другу сумму, какую можете себе позволить, это не есть жертвование; если отдаете сумму, обрекающую вас на лишения, это добродетель лишь отчасти по вашим моральным меркам: если отдаете деньги ценой катастрофы для себя — это добродетель жертвования в полном смысле слова.

Если вы отвергаете все личные желания и посвящаете жизнь тем, кого любите, то полной

добродетели не достигаете; вы еще сохраняете свою ценность — свою любовь. Если посвящаете жизнь случайным незнакомцам, это акт более высокой добродетели. Если служению тем, кого ненавидите, — величайшая из добродетелей, какую можете практиковать. Жертвование — это отказ от ценности. Полное жертвование — полный отказ от всех ценностей. Если хотите достичь полной добродетели, вы не должны добиваться ни благодарности за свои пожертвования, ни похвалы, ни любви, ни восхищения, ни самоуважения, ни даже гордости тем, что вы добродетельны; малейший след какого-то обретения принижает вашу добродетель. Если вы избираете путь деятельности, который не порочит вашу жизнь никакой радостью, не приносит ни материальных, ни духовных ценностей, ни дохода, ни награды, если достигаете состояния абсолютного нуля, вы достигли идеала морального совершенства.

Вам говорят, что человек не может достичь морального совершенства, — и по вашим меркам так оно и есть. Вы не можете достичь его, пока живы, но ценность вашей жизни и вашей личности измеряется тем, насколько вам удалось приблизиться к тому нулю, который есть смерть.

Однако если вы начинаете как лишенное страстей ничто, как растение, ждущее, чтобы его съели, без ценностей, которые можно отвергнуть, без желаний, от которых можно отказаться, венца жертвователя вам не обрести. Отказаться от нежеланного — это не жертвование. Отдать жизнь за других, если хотите смерти, не жертвование. Чтобы достичь добродетели жертвователя, нужно хотеть жить, нужно любить жизнь, нужно сгорать от страсти к этой земле и всему великолепию, какое она может вам дать, нужно ощущать каждое движение ножа, отсекающего ваши желания от вашей досягаемости и изводящего вашу любовь из вашего тела. Мораль жертвенности предлагает вам как идеал не просто смерть, а медленную и мучительную гибель.

Не напоминайте мне, что это относится лишь к земной жизни. Никакая другая не интересует меня. Вас тоже.

Если хотите сохранить последние остатки достоинства, не называйте своих лучших поступков «жертвованием»: это слово заклеймит вас как аморального. Если мать покупает еду для голодного ребенка, а не шляпку для себя, это не жертвование: она ценит ребенка выше, чем шляпку; но это жертвование для такой ма-

тери, для которой высшей ценностью является шляпка, которая предпочла бы, чтобы ребенок голодал, и кормит его только из чувства долга. Если человек гибнет, сражаясь за свою свободу, это не жертвование: он не хочет жить рабом; но это жертвование для такого человека, который хочет. Если человек отказывается продавать свои убеждения, это не жертвование, разве что он такой человек, у которого нет убеждений.

Жертвование может быть хорошо только для тех, кому нечем жертвовать, — у кого нет ни ценностей, ни мер, ни суждений, для тех, чьи желания представляют собой неразумные прихоти, слепо возникшие и легко отбрасываемые. Для человека с моральными качествами, желания которого рождаются из разумных ценностей, жертвование есть уступка хорошего плохому, добра злу.

Кредо жертвования — это мораль для аморальных, мораль, заявляющая о собственном банкротстве признанием, что не может дать людям никакой личной заинтересованности в добродетелях или ценностях, что их души — это клоаки порочности, которой их нужно научить жертвовать. По ее собственному признанию, такая мораль бессильна научить людей добру и может

лишь подвергать их постоянным наказаниям.

Вы думаете в каком-то туманном ступоре, что ваша мораль требует от вас жертвования только материальными ценностями. А что такое, по-вашему, материальные ценности? Материя имеет ценность лишь как средство удовлетворения человеческих желаний. Материя — лишь орудие человеческих ценностей. Вас просят отдавать ваши орудия, созданные вашей добродетелью, для службы чему? Тому, что вы считаете злом: для принципа, которого вы не разделяете, для личности, которую не уважаете, для достижения цели, противоположной вашей, иначе ваш дар — не жертвование.

Ваша мораль велит вам отвергнуть материальный мир и оторвать свои ценности от материи. Человек, ценностям которого не дано выражения в материальной форме, существование которого не связано с его идеалами, поступки которого противоречат его убеждениям, — это жалкий, дешевый лицемер, однако он тот, кто следует вашей морали и отрывает свои ценности от материи. Человек, который любит одну женщину, но спит с другой, восхищается талантом одного работника, но нанимает другого, считает правым одно дело, но дает деньги на поддержку другого,

обладает высоким мастерством, но тратит силы на производство дряни, отвергает материю и считает, что ценности его духа не могут быть привнесены в материальную реальность.

Вы скажете, что такие люди отвергли дух? Да, конечно. Одно не может существовать без другого. Вы представляете собой нераздельное бытие материи и сознания. Отрекитесь от сознания — станете скотом. Отрекитесь от тела — станете фикцией. Отрекитесь от материального мира — уступите его злу.

Вот это и есть цель вашей морали, вот это и есть долг, которого требует от вас ваш кодекс. Предавайтесь тому, что вас не радует, служите тому, чем не восхищаетесь, подчиняйтесь тому, что считаете злом — отдайте мир ценностям других, откажитесь, отступитесь, отрекитесь от своей личности. Ваша личность — это ваш разум: отрекитесь от него, и вы превратитесь в кусок мяса для каннибала.

Они хотят, чтобы вы отказались от своего разума, все те, кто проповедуют кредо жертвования, каковы бы ни были их фразы или мотивы, требуют ли они этого ради вашей души или вашего тела, сулят ли они вам иную жизнь на небе или полный желудок на земле. Те, кто начинает

словами: «Следовать своим желаниям эгоистично, вы должны пожертвовать ими ради желаний других», — кончают: «Эгоистично придерживаться своих убеждений, вы должны пожертвовать ими ради убеждений других».

Это верно: ничто не может быть эгоистичнее независимого разума, не признающего никакого авторитета выше собственного и никакой ценности выше своего суждения об истине. Вас просят пожертвовать вашей умственной чистотой, логикой, рассудком, мерой истины, чтобы стать проституткой, мера которой — наибольшая польза для наибольшего количества людей.

Если вы внимательно исследуете свой кодекс для наставления, для ответа на вопрос: «Что есть добро?», единственный ответ, какой в нем найдете, это: «Добро других». Добро — это то, чего хотят или должны хотеть другие. «Добро других» — это волшебное заклинание, превращающее все, что угодно, в золото, заклинание, которое нужно твердить как оправдание любого действия, даже убийства всего населения целого континента. Ваша мера добродетели не предмет, не действие, не принцип, а намерение. Вам не нужно ни доказательства, ни доводов, ни успеха, вам даже не нужно действительно

добиваться добра для других, вам нужно знать, что вашим мотивом было добро других, а не собственное. Вашим единственным определением добра является отрицание: добро — это то, в чем нет блага для меня.

Ваш кодекс, хвастливо заявляющий, что поддерживает вечные, абсолютные, объективные моральные ценности, презирает условные, относительные и субъективные. Он предлагает как свою версию абсолютного следующее правило морального поведения: если ты хочешь этого — это зло; если другие хотят этого — добро; если мотив твоего действия — твое благо, остановись; если мотив — благо других, все сойдет.

Как эта гибкая мораль двойных стандартов разрывает вас надвое, так она разрывает все человечество на два враждебных лагеря: один — это вы, другой — все остальное человечество. Вы — единственный парий, не имеющий права желать или жить. Вы — всего лишь слуга, остальные — господа, вы — единственный отдающий, остальные — получающие, вы — вечный должник, остальные — кредиторы, с которыми вам никогда не расплатиться. Вы не должны ставить под вопрос их право на ваше пожертвование или природу их желаний и потребностей; их пра-

во даровано им отрицанием, тем фактом, что они «не вы».

Для тех из вас, кто может задавать вопросы, ваш кодекс предусматривает утешительный приз и ловушку: он утверждает, что вы должны служить счастью других ради своего счастья, единственный путь достигнуть радости заключается в том, чтобы отдать ее другим, единственный путь достигнуть процветания — в том, чтобы отдать свое богатство другим, единственный путь защитить свою жизнь — в том, чтобы защищать всех, кроме себя. И если подобная процедура не принесет вам радости, это ваша вина и доказательство вашей порочности; будь вы благонравны, вы бы обрели счастье в устройстве пира для других, и достоинство — в существовании на тех крохах, которые другие могут бросить вам.

Вы, не имеющие меры самоуважения, примите эту вину и не смейте задавать вопросов. Однако вы знаете непризнанный ответ, отказываетесь признать то, что видите, какая сокрытая предпосылка движет вашим миром. Вы знаете ее не как открытое заявление, а как смутное беспокойство в душе, когда путаетесь между ложью с сознанием вины и неохотным применением

на практике принципа, слишком отвратительного, чтобы называть его.

Я, не принимающий незаслуженного, ни ценностей, ни обвинений, задам те вопросы, которых вы избегаете. Почему морально служить счастью других, но не своему? Если радость — это ценность, почему морально, когда ее испытывают другие, но аморально, когда испытываете вы? Если торт — это ценность, почему, когда его едите вы, это аморальное потакание своим слабостям, но ваша моральная цель в том, чтобы его ели другие? Почему вам аморально хотеть его, а другим — морально? Почему аморально создать ценность и оставить у себя, но морально отдать ее? И если оставлять ценность у себя аморально, почему морально другим принимать ее? Если вы бескорыстны и благонравны, когда ее отдаете, разве другие не корыстны и порочны, когда ее берут? Разве добродетель представляет собой служение пороку? Разве моральная цель тех, кто благонравен, приносить себя в жертву тем, кто порочен?

Вот вам ответ, который вы боитесь осознать, чудовищный ответ: нет, те, кто берут, не порочны, если не заработали ту ценность, которую вы даете им. Для них не аморально принимать ее,

если они не могут создать ее, заработать ее, дать вам взамен другую ценность. Для них не аморально пользоваться ею, если они получили ее не по праву.

Вот вам тайная сущность вашего кредо, вторая сторона ваших двойных стандартов: аморально жить своим трудом, но морально жить трудом других, аморально потреблять свой продукт, но морально потреблять продукты других, аморально зарабатывать, но морально воровать, паразиты являются моральным оправданием существования созидателей, но существование паразитов — это самоцель. Порочно получать прибыль от достижений, но пристойно получать ее от чужих жертвований, порочно создавать собственное счастье, но достойно наслаждаться счастьем, полученным ценой крови других.

Ваш кодекс делит человечество на две касты и велит им жить по противоположным правилам: на тех, кто может желать всего, и тех, кто не может желать ничего, на избранных и проклятых, на едущих и везущих, на поедателей и поедаемых. Какой мерой определяется ваша каста? Какая отмычка открывает вам дверь в моральную элиту? Эта отмычка — отсутствие ценностей.

О какой бы ценности ни шла речь, отсутствие ее дает вам право предъявлять требования тем, у кого она есть. Ваша потребность дает вам право на вознаграждение. Если вы способны удовлетворить свою потребность, ваша способность лишает вас права удовлетворять ее. Однако потребность, удовлетворить которую вы не способны, дает вам право на жизни человечества.

Если вы преуспели, любой потерпевший неудачу — ваш господин. Если вы потерпели неудачу, любой преуспевший — ваш раб. Оправданна ваша неудача или нет, разумны ваши желания или нет, ваше несчастье незаслуженно или результат ваших пороков, это несчастье дает вам право на вознаграждение. Страдание, независимо от его природы или причины, страдание как высший абсолют дает вам закладную на все существование.

Если вы избавились от страдания собственными усилиями, то не получаете морального кредита: ваш кодекс презрительно называет это корыстным поступком. Какую бы ценность вы ни хотели приобрести, будь то богатство или еда, любовь или права, если вы приобрели ее своей добродетелью, ваш кодекс не считает ее моральным приобретением: это не уступка кому-то,

это торговля, а не милостыня; плата, а не жертвование. Заслуженное относится к эгоистичной, коммерческой сфере взаимной выгоды; только незаслуженное требует моральной сделки такого рода, которая заключается в выгоде одного ценой несчастья другого. Требовать вознаграждения за свою добродетель эгоистично и аморально; отсутствие добродетели придает вашему требованию моральное право.

Мораль, которая считает потребность правом на что-то, определяет своей мерой ценностей пустоту, ноль, отсутствие существования; она вознаграждает отсутствие, изъян: слабость, неспособность, неумение, страдание, болезнь, несчастье, недостаток, вину, порок — ноль.

Кто платит за эти права? Те, кто прокляты за то, что они не нули, каждый в меру своей отдаленности от этого идеала. Поскольку все ценности — продукт добродетели, степень вашей добродетели служит мерой вашего наказания; степень ваших недостатков служит мерой вашей выгоды. Ваш кодекс провозглашает, что разумный человек должен жертвовать собой для неразумных, независимый — для паразитов, честный — для бесчестных, справедливый — для несправедливых, созидающий — для воров,

принципиальный — для беспринципных, уважающий себя — для хнычущих невротиков. Вы удивляетесь низости душ тех, кто вас окружает? Тот, кто достиг этих добродетелей, не примет вашего морального кодекса; тот, кто принял его, не достигнет этих добродетелей.

По принципу жертвенности главной ценностью вашего жертвования является мораль; затем следует самоуважение. Когда потребность служит мерой, то каждый человек — и жертва, и паразит. Как жертва он должен работать, чтобы удовлетворять потребности других, оставаясь в положении паразита, потребности которого должны удовлетворять другие. Он может приближаться к другим людям только в одной из двух постыдных ролей: он — попрошайка или дармоед.

Вы боитесь человека, у которого на доллар меньше, чем у вас, этот доллар по праву принадлежит ему, он заставляет вас чувствовать себя моральным должником. Вы ненавидите человека, у которого на доллар больше, чем у вас, этот доллар по праву принадлежит вам, он заставляет вас чувствовать себя морально обманутым. Человек внизу — источник вашей вины, человек наверху — источник вашего раздражения.

Вы не знаете, от чего отказываться и чего требовать, когда отдавать и когда хватать, какое удовольствие жизни по праву ваше, и какой долг вы еще не уплатили другим; вы стараетесь избежать как «теории» знания, что по принятым вами моральным меркам вы виновны каждый миг своей жизни, нет ни куска съеденного вами хлеба, в котором бы не нуждался кто-то где-то на земле, и вы отмахиваетесь от этой проблемы в слепом возмущении, приходите к выводу, что моральное совершенство недостижимо, и его не нужно желать, что будете жульничать, хапая по мере возможности и прячась от взглядов детей, которые смотрят на вас так, словно самоуважение возможно, и вы должны им обладать. В душе у вас есть только чувство вины, как и у каждого встречного, избегающего вашего взгляда. Удивляетесь, что ваша мораль не привела к братству на земле или к доброжелательности людей другк другу?

Оправдание жертвенности, которое предлагает ваша мораль, безнравственнее той безнравственности, которую она хочет оправдать. Мотивом вашего жертвования, говорит она, должна быть любовь, которую вы должны питать к каждому. Мораль, которая проповедует веру, что мораль-

ные ценности выше материальных, мораль, которая учит презирать шлюху, отдающую свое тело без разбора всем мужчинам, эта самая мораль требует, чтобы вы отдавали свою душу для любви всем и каждому.

Как не может существовать беспричинного богатства, так не может существовать ни беспричинной любви, ни каких бы то ни было беспричинных чувств. Чувство — это ответ на факт реальности, оценка, продиктованная вашими мерками. Человек, говорящий, что можно ценить без ценности, что можно любить тех, кого вы считаете никчемными, говорит, что можно разбогатеть, потребляя, но не производя, и что бумажные деньги обладают такой же ценностью, как золото.

Заметьте, он не ожидает, что вы будете испытывать беспричинный страх. Когда такие, как он, приходят к власти, они изобретают средства запугивания, дают вам основательные причины испытывать страх, посредством которого хотят править вами. Но когда дело касается любви, высшего из чувств, вы позволяете им обвиняюще кричать вам, что вы — моральный преступник, раз не способны испытывать беспричинную любовь. Когда человек испытывает беспричинный

страх, вы поручаете его вниманию психиатра; однако не стараетесь так защитить смысл, природу и достоинство любви.

Любовь есть выражение ценностей человека, величайшее вознаграждение за те моральные качества, которых вы достигли как личность, эмоциональная цена, плата за радость, которую человек получает от добродетелей другого. Ваша мораль требует, чтобы вы оторвали любовь от ценностей и отдали какому-то бродяге, реагируя не на его достоинства, а на его потребности, не как вознаграждение, а как милостыню, не как плату за добродетели, а как разрешение на пороки. Ваша мораль говорит вам, что цель любви — освободить вас от уз морали, что любовь выше нравственного суждения, что настоящая любовь превышает, прощает и переживает всевозможные пороки своего объекта, и чем выше любовь, тем большую порочность она позволяет любимому. Любить человека за достоинства презренно и приземленно, говорит она вам, любить за недостатки — божественно. Любить достойных эгоистично, любить недостойных жертвенно. Вы должны любить тех, кто этого не заслуживает, и чем меньше они этого заслуживают, тем больше вы должны их любить, чем отврати-

тельнее предмет, тем благороднее ваша любовь, чем непритязательнее ваша любовь, тем выше ваша добродетель, и если вы способны довести свою душу до состояния мусорной кучи, которая одинаково принимает все, что угодно, если можете перестать ценить моральные ценности, значит, вы достигли морального совершенства.

Такова ваша жертвенная мораль, таковы близкие идеалы, которые она предлагает: переделать жизнь своего тела по образу скотного двора, переделать жизнь своего духа по образу мусорной кучи.

Такой была ваша цель, и вы ее достигли. Почему же теперь стонете, жалуясь на человеческое бессилие и тщетность человеческих устремлений? Потому что оказались неспособны процветать, ища разрушения? Потому что оказались неспособны обрести радость без обожания страданий? Потому что оказались неспособны жить, считая смерть мерой своих ценностей?

Степень вашей способности жить была степенью нарушения вашего морального кодекса, однако вы верите, что те, кто проповедуют его, являются друзьями человечества, проклинаете себя и не смеете поинтересоваться их мотивами и целями. Взгляните на них теперь, когда у вас

остался один выбор, и если выберете гибель, выбирайте с полным сознанием того, какой недостойный, какой мелкий враг заявил права на вашу жизнь.

Мистики обеих школ, проповедущих кредо жертвенности, — это микробы, атакующие вас через единственную язву: ваш страх полагаться на свой разум. Они говорят, что обладают более высоким средством познания, чем разум, образом сознания, превосходящим рассудок, — вроде особой связи с каким-то бюрократом вселенной, выдающим им секретные сведения, сокрытые от других. Мистики духа заявляют, что у них есть дополнительное чувство, которым вы не обладаете: это особое шестое чувство состоит из противоречий всем знаниям, полученным посредством ваших пяти. Мистики плоти не претендуют на какое-то сверхчувственное постижение: они лишь объявляют, что ваши чувства несовершенны, и мудрость их заключается в постижении вашей слепоты какими-то неназванными средствами. Те и другие требуют, чтобы вы сочли ваше сознание несостоятельным и отдались под их власть. В доказательство своего высшего знания они предлагают тот факт, что они отстаивают противоположность

всему, что вы знаете, а в доказательство своей высшей способности управляться с существованием — тот факт, что они ведут вас к нищете, самопожертвованию, голоду, гибели.

Они утверждают, что знают образ жизни, превосходящий ваше существование на земле. Мистики духа именуют его «четвертым измерением», что представляет собой отрицание измерений. Мистики плоти именуют его «будущим», что представляет собой отрицание настоящего. Существовать — значит обладать тождественностью. Какую тождественность они могут дать своей высшей сфере? Они не говорят вам, что ее нет, но и не говорят, что есть. Все их отождествления состоят из отрицаний. Бог есть то, чего не может постичь человеческий разум, говорят они и требуют, чтобы вы считали это знанием. Бог — это не человек, небо — это не земля, душа — это не тело, добродетель — это не выгода, А — это не А, восприятие — это не чувства, знание — это не разум. Их определения ничего не определяют, а лишь отрицают.

Только философия пиявки будет поддерживать идею вселенной, где мерой отождествления служит нуль. Пиявка будет избегать необходимости называть собственную природу, необходимости

понимать, что вещество, на котором она строит свою собственную вселенную, — это кровь.

Какова природа того высшего мира, в жертву которому они приносят существующий мир? Мистики духа проклинают материю, мистики плоти — корысть. Первые хотят, чтобы люди получили корысть, отвергнув землю, вторые — чтобы люди унаследовали землю, отвергнув всякую корысть. Их нематериальные, лишенные корысти миры — это сферы, где текут кофейные реки с молоком, вино начинает бить из скалы по их команде, а пирожные падают из туч, стоит лишь открыть рот. На этой материальной, корыстной земле требуются громадные вложения добродетелей: ума, честности, энергии, мастерства, — чтобы построить железную дорогу длиной в милю, в их нематериальном, бескорыстном мире они путешествуют от планеты к планете просто по желанию. Если честный человек спросит их: «Как?», они ответят с праведным презрением, что «как» — это концепция вульгарных реалистов, концепция высших духов — это «как-то». На этой земле, ограниченной материей и корыстью, вознаграждений нужно достигать мыслью; в мире, свободном от таких ограничений, вознаграждения добываются же-

ланием.

Вот и весь их жалкий секрет. Секрет всех их эзотерических философий, всех их диалектик и сверхчувствований, их уклончивых взглядов и ворчливых слов, секрет, ради которого они уничтожают цивилизацию, язык, промышленность и жизни, секрет, ради которого они лишают себя зрения и слуха, попирают свои чувства, затуманивают разум, цель, ради которой разрушают абсолюты разума, логики, материи, существования, реальности, — это возвести в подобном искусственном тумане единственный священный абсолют — их Желание.

Ограничение, которого они стремятся избежать, — это закон тождества. Свобода, которую они ищут, — свобода от того факта, что а будет оставаться а независимо от их слез и капризов, что не будет молочных рек, как бы ни были они голодны, что вода не потечет вверх, как бы им это ни было удобно. И если они хотят поднять ее на крышу небоскреба, им потребуется это сделать, размышляя и работая, где важен каждый дюйм трубопровода, а не их чувства. Их чувства бессильны изменить путь единой пылинки в пространстве или природу любых действий, которые они совершили.

Те, кто говорят, что человек не способен воспринимать реальность не искаженной его органами чувств, имеют в виду, что не хотят воспринимать никакую реальность, не искаженную их чувствами. «Вещи как они есть» — это такие вещи, какими их воспринимает ваш разум. Оторвите их от разума, и они станут «такими, как их воспринимает ваше желание».

Честного бунта против разума не существует, и когда вы принимаете хотя бы часть их кредо, ваш мотив — сделать безнаказанно то, чего разум вам не позволил бы. Свобода, которой вы ищете, — это свобода от того факта, что если вы украли свое состояние, то вы — мерзавец, сколько бы вы ни отдали на благотворительность и ни прочли молитв. Если вы спите со шлюхой, вы — недостойный муж, какую бы пылкую любовь ни испытывали к жене на другое утро. Вы представляете собой единство, а не разбросанные по Вселенной части, где ничто не связано ни с чем, вселенной детских кошмаров, где тождественности меняются, где негодяй и герой взаимозаменяемые, произвольно принимаемые роли, вы — человек, вы — единство, вы есть целое.

Неважно, как пылко вы заявляете, что цель

ваших мистических желаний — более высокий образ жизни, бунт против тождественности представляет собой желание несуществования. Желание не быть чем-то определенным есть желание не быть.

Ваши учителя, мистики обеих школ, извратили закон причин и следствий в своем сознании и теперь стремятся извратить его в реальности. Они принимают свои эмоции за причину, а свой разум — за пассивное следствие, делают свои эмоции орудием постижения реальности, считают свои желания изначальными, фактом, отрицающим все факты. Честный человек не желает, пока не отождествит предмет своего желания. Он говорит: «Это существует, поэтому я этого хочу». Они говорят: «Я этого хочу, поэтому это существует».

Они хотят опровергнуть аксиому существования и сознания, хотят, чтобы их сознание было орудием не восприятия, а создания существования, и существование было не объектом, а субъектом их сознания — хотят быть тем Богом, которого создали по своему образу и подобию, создавшим Вселенную из пустоты по своей прихоти. Но реальность не опровергнуть. Они достигнут того, что противоположно их желанию.

Они хотят полной власти над существованием, вместо этого теряют власть над своим сознанием. Отказываясь знать, они обрекают себя на ужас вечного незнания.

Те неразумные желания, те эмоции, которым вы поклоняетесь, как идолу, на чей жертвенный алтарь возлагаете землю, та темная, бессмысленная страсть у вас в душе, которую вы принимаете за голос Бога, представляют собой лишь труп вашего разума. Эмоция, входящая в противоречие с вашим разумом, эмоция, которую вы не можете объяснить или сдерживать, — лишь труп того банального мышления, который вы запрещаете разуму оживить.

Всякий раз, когда вы совершаете преступление, отказываясь думать и понимать, исключаете из абсолюта реальности какое-то свое мелкое желание, когда говорите: «Позвольте мне отвести от суждения разума украденное мною печенье или существование Бога, позвольте иметь одну неразумную прихоть, и я буду человеком разума во всем остальном», вы совершаете акт разрушения вашего сознания, акт подкупа вашего разума. Ваш разум превращается в продажное жюри, получающее распоряжения из тайного преступного сообщества. Вердикт этого жюри искажает

свидетельства так, что они не соответствуют абсолюту, трогать который жюри не осмеливается, и результатом становится подвергнутая цензуре, расколотая реальность. В ней части, которые вы хотите видеть, плавают среди множества тех, которые вы не желаете видеть, соединенные бальзамирующей жидкостью разума, представляющей собой освобожденную от мысли эмоцию.

Звенья, которые вы хотите утопить, — это причинные связи. Враг, которого вы хотите победить, — это закон причин и следствий: он не допускает никаких чудес. Закон причин и следствий есть закон тождества в приложении к действию. Все действия вызываются реальностью. Природа действий вызывается и определяется природой вещей, которые действуют; вещь не может действовать в противоречии со своей природой. Действие, не вызванное реальностью, будет вызвано нулем. Это будет означать, что нуль контролирует данную вещь, небытие контролирует бытие, несуществующее контролирует существующее, что существует Вселенная, которую желают ваши учителя. Причина их доктрин беспричинных действий, причина их бунта против разума, цель их морали, политики, экономики, идеал, к которому они стремят-

ся, — власть нуля. Закон тождества не позволяет съесть дважды один и тот же торт, закон причин и следствий — есть торт, пока вы его не получили. Но вы топите оба закона в пустотах своего разума, если притворяетесь сами перед собой и перед другими, что не знаете этого. Потом вы можете заявить о своем праве съесть свой торт сегодня, а мой завтра, можете проповедовать, что способ сохранить свой торт — съесть его, пока он не испечен, что способ производить нужно начинать с потребления, что все желающие имеют равные права на все, поскольку ничто не вызывается ничем. Результат беспричинного в материи — это незаработанное в духе.

Когда вы бунтуете против закона причин и следствий, ваш мотив представляет собой нечистое желание не избежать его, а хуже — извратить. Вы хотите незаслуженной любви, словно любовь, результат, может дать вам личную ценность, причину. Вы хотите незаслуженного восхищения, словно оно, результат, может дать вам добродетель, причину, хотите незаработанного богатства, словно богатство, результат, может дать вам способность, причину. Вы просите милосердия, не справедливости, словно незаслуженное милосердие может устранить

причину вашей просьбы. И чтобы потворствовать своим отвратительным, мелким подлогам, вы поддерживаете доктрины своих учителей, когда они с пеной у рта провозглашают, что трата денег, результат, создает богатство, причину, что ваши сексуальные желания, результат, создают ваши философские ценности, причину.

Кто оплачивает эту вакханалию? Кто причина беспричинного? Кто жертвы, обреченные оставаться непризнанными и гибнуть в безмолвии, чтобы их мучения не помешали вашему притворству, будто их не существует? Мы, люди разума.

Мы — причина ценностей, которых вы жаждете, мы совершаем процесс мышления, являющийся процессом определения тождества, и открываем причинные связи. Мы учим вас понимать, говорить, созидать, желать, любить. Вы отвергаете разум — не благодаря ли нам, сохранившим его, вы способны удовлетворять свои желания, даже осознавать их? Вы не смогли бы желать одежду, которая не сшита, автомобиля, который не изобретен, денег, которые не придуманы, покупки товаров, которых не существует, восхищения, которого не вызывают ничего не достигшие, любви, которой достойны только те, кто сохранили способность думать, выбирать,

ценить.

Вы — те, кто выскакивают, как дикари из джунглей своих чувств, на Пятую авеню Нью-Йорка, и заявляют, что хотят сохранить электрический свет, но уничтожить генераторы. Вы пользуетесь нашим богатством, уничтожая нас, пользуетесь нашими ценностями, проклиная нас, пользуетесь нашим языком, отрицая разум.

Как ваши мистики духа изобрели свой рай по образцу нашей земли, исключив наше существование, и посулили вам вознаграждения, созданные чудом из не материи, так ваши современные мистики плоти исключают наше существование и сулят вам рай, где материя формируется по своей беспричинной воле во всевозможные вознаграждения, которых желает ваш неразум.

Столетиями мистики духа существовали рэкетом покровительства: делали жизнь на земле невыносимой, потом взимали с вас плату за утешение и облегчение, запрещали вам добродетели, которые делали существование возможным, объявляли созидание и радость грехом, потом шантажировали грешников. Мы, люди разума, были неназванными жертвами их кредо, мы, готовые нарушать их моральный кодекс

и нести проклятье за грех разума, мы, кто думал и действовал, пока они желали и молились, мы, бывшие моральными париями, мы, бывшие контрабандистами жизни, когда жизнь считалась преступлением, пока они наслаждались моральной славой за добродетель победы над материальной алчностью и распределяли в бескорыстной благотворительности материальные блага, созданные невесть кем.

Теперь нас сковали и заставили работать дикари, которые не удостаивают нас даже названия грешников, дикари, заявляющие, что мы не существуем, потом угрожающие лишить нас жизни, которой мы не обладаем, если мы не сможем снабжать их теми благами, которых не создаем. Теперь от нас ждут, что мы будем по-прежнему управлять железными дорогами и знать с точностью до минуты, когда на станцию прибудет пересекший весь континент поезд, ждут, что мы будем по-прежнему управлять сталелитейными заводами и знать молекулярную структуру каждой капли металла в тросах ваших мостов и в фюзеляжах самолетов, которые несут вас по воздуху, пока племена ваших нелепых мелких мистиков дерутся над трупом нашего мира, бормоча, что не существует ни принципов, ни аб-

солютов, ни знания, ни разума.

Опустившись ниже уровня дикаря, верящего, что магические слова, которые он произносит, в силах изменить реальность, они верят, что реальность можно изменить силой слов, которых они не произносят, и их магическое орудие — это пустота, претензия, что ничто не может появиться на свет без их согласия установить тождество этого.

Как они питают тело украденным богатством, так они питают разум украденными концепциями и заявляют, что честность заключается в отказе знать, что такой-то крадет. Как они используют результаты, отрицая причины, так используют наши концепции, отрицая при этом основы и существование концепций, которыми пользуются. Как хотят не строить, а присваивать промышленные предприятия, так хотят не думать, а присваивать результаты человеческого мышления. Как они заявляют, что для управления заводом требуется лишь способность передвигать рычаги машин, и затемняют вопрос о том, кто создал завод, так они заявляют, что нет никакого бытия, что существует только движение, и затемняют тот факт, что движение предполагает предмет, который движется, что без концепции бытия

не может быть концепции движения. Как они провозглашают свое право потреблять незаработанное и затемняют вопрос о том, кто его создает, так они провозглашают, что не существует закона тождества, есть только перемены, и затемняют вопрос о том, что перемены предполагают концепцию того, что меняется, от чего и к чему, что без закона тождества не может быть концепции перемен. Как они грабят промышленника, отрицая при этом его ценность, так они хотят захватить власть над всем существованием, отрицая при этом, что реальность существует.

«Мы знаем, что ничего не знаем», — говорят они, затемняя тот факт, что утверждают знание. «Абсолютов не существует», — говорят они, затемняя тот факт, что произносят абсолют. «Вы не можете доказать, что существуете, или что у вас есть сознание», — говорят они, затемняя тот факт, что доказательство предполагает существование, сознание и сложную цепочку знаний: существование чего-то для познания, мышления, способного это понять, и знания, способного делать различия между такими концепциями, как доказанное и недоказанное.

Когда необученный изъясняться дикарь заявляет, что существование должно быть доказано,

он просит вас доказать его средствами несуществующего, когда заявляет, что сознание должно быть доказано, он просит доказать его средствами бессознательного, просит вас войти в пустоту вне существования и сознания, просит вас стать нулем, обретающим знание о нуле. Когда он заявляет, что аксиома — это вопрос произвольного выбора, и не хочет принимать той аксиомы, что он существует, он затемняет тот факт, что принял ее, произнеся эту фразу, что единственный способ отвергнуть ее — это закрыть рот, не развивать никаких теорий и умереть.

Аксиома — это утверждение, которое устанавливает тождество основы знания и любого последующего утверждения, относящегося к этому знанию, утверждение, содержащееся во всех других по необходимости, хочет ли это признавать любой конкретный оратор или нет. Аксиома — это утверждение, которое сокрушает оппонентов тем фактом, что они вынуждены принять ее и использовать во всех попытках ее отрицания. Пусть пещерный человек, не желающий принимать аксиому, что А есть А, попытается изложить свою теорию без использования концепции аксиомы тождества или любой выведенной из нее концепции; пусть антропоид, не желающий признавать

существования существительных, попытается создать язык без существительных, прилагательных или глаголов; пусть шарлатан, не желающий признавать верность чувственного восприятия, попытается отрицать ее без использования данных, полученных путем чувственного восприятия; пусть охотник за головами, не желающий принимать верность логики, попытается доказать это, не пользуясь логикой; пусть пигмей, утверждающий, что небоскребу не нужен фундамент, вышибет основание из-под собственного дома, а не из-под вашего; пусть каннибал, рычащий, что свобода человеческого разума была нужна, дабы создать промышленную цивилизацию, но сохранять ее не нужно, получит лук со стрелами и медвежью шкуру, а не кафедру экономики в университете.

Думаете, они ведут вас обратно в мрачное средневековье? Они ведут вас в такой мрак древности, какого не знает никакая история. Их цель — не донаучная эра, их цель — доязыковая эра. Их цель — лишить вас концепции, от которой зависят разум человека, его жизнь и культура — концепции объективной реальности. Отождествите развитие человеческого познания и вы поймете цель этого кредо.

Дикарь — это существо, которое не постигло, что А есть А и что реальность существует. Он остановил развитие своего разума на младенческом уровне, на той стадии, когда сознание получает первое чувственное восприятие и еще не способно различать твердые предметы. Это младенцу мир кажется маревом движения без вещей, и днем рождения его разума является тот, когда он понимает, что некто, мелькающий перед ним, — это мать, а колыхание позади нее — штора, что они материальны и ни один не может превращаться в другой, что они есть то, что они есть, что они существуют. День, когда он понимает, что у материи нет воли, а у него есть, является днем его рождения как человека. Тот день, когда он понимает, что отражение, которое он видит в зеркале, — не иллюзия, что оно реально, но это не он сам, мираж, который он видит в пустыне — не иллюзия, что воздух и лучи света, создающие его, реальны, но это не город, а отражение города; тот день, когда он понимает, что он — не пассивный получатель впечатлений любого данного мгновения, что его чувства не дают ему самопроизвольного знания в отдельные, независимые от целого отрезки времени, а лишь материал для знания; его разум должен

научиться интегрировать; день, когда понимает, что чувства не могут его обманывать, физические объекты не могут действовать без причины, а его органы восприятия физические и не обладают ни волей, ни способностью изобретать или искажать, и свидетельства, которые они дают ему, являются абсолютом, но разум должен научиться понимать этот абсолют, открывать природу, причины, всю сложность воспринимаемого чувствами материала, отождествлять вещи, которые он воспринимает. Все это — день его рождения как мыслителя и ученого.

Мы — те люди, которые достигли этого дня; вы — люди, которые решили достичь его частично; дикарь — тот человек, который совершенно ничего не достиг.

Для дикаря мир — это место непонятных чудес, где все возможно для неодушевленной материи и ничего — для него. Он живет не в мире непознанном, а в мире, представляющем собой неразумный ужас — непостижимое. Он верит, что физические объекты обладают таинственной волей, что ими движут беспричинные, непредсказуемые прихоти, а он беспомощная пешка во власти сил, неподвластных его контролю. Он верит, что природой управляют обладающие

всемогуществом демоны, и что реальность — их игрушка, в которой они могут в любую минуту превратить его миску с едой в змею, а его жену — в жука, где непонятное ему а может по их выбору превратиться в любое не-А, где единственное знание, каким он обладает, заключается в том, что он не должен пытаться узнать. Он не может ни на что полагаться, может только желать и тратить свою жизнь на желания, на просьбы к своим демонам удовлетворить его желания произвольной силой их воли, приписывать им заслугу, когда они это делают, принимать вину на себя, когда нет, предлагать им жертвы в символах своей благодарности и в символах своей вины, в страхе пресмыкаться на брюхе и поклоняться солнцу и луне, дождю и ветру, любому жулику, который объявляет себя их представителем, если слова его невнятны, а маска достаточно ужасающа. Он желает, просит, пресмыкается, умирает, оставляя вам как свидетельства своего взгляда на существование уродливых, чудовищных идолов, отчасти людей, отчасти животных, отчасти пауков, воплощения мира не-А.

Его интеллектуальный уровень — это уровень ваших современных учителей, его мир — это то, куда они хотят привести вас.

Если вы задаетесь вопросом, какими средствами они хотят это сделать, зайдите в аудиторию любого колледжа, там вы услышите, как ваши профессора учат ваших детей, что человек не может быть уверен ни в чем, его сознание не обладает никакой достоверностью, он не может постичь ни фактов, ни законов существования, не способен к познанию объективной реальности. Какова в таком случае его мера знания и истины? «То, во что верят другие» — вот их ответ. Они учат, что нет знания, есть только вера: ваше убеждение, что вы существуете, есть момент веры, не более обоснованной, чем вера другого в его право убить вас; аксиомы науки являются предметом веры, не более обоснованным, чем вера мистика в откровения; убеждение, что электрический свет может создаваться генераторами, есть акт веры, не более обоснованной, чем то, что он может создаваться целованием кроличьей лапки под лестницей в день новолуния. Истина — это то, что хочется людям, и люди — это все, исключая вас; реальность — это то, что вздумают сказать о ней люди, объективных фактов не существует, есть только произвольные желания. Человек, который ищет знания в лаборатории с помощью пробирок и логики, — старомодный,

суеверный дурак. Настоящий ученый — это тот исследователь, который, проводя опросы людей, делает соответствующие выводы, и если бы не эгоистичная жадность производителей стальных балок, у которых есть обоснованный интерес препятствовать прогрессу науки, вы узнали бы, что Нью-Йорка не существует, потому что опрос всего населения мира показал бы вам большинством голосов, что их убеждения не допускают его существования.

Мистики духа столетиями заявляли, что вера выше разума, но не смели отвергать его существование. Их наследники и порождение, мистики плоти, завершили их работу и осуществили их мечту: они заявляют, что все представляет собой веру, и называют это мятежом против убеждений. В виде мятежа против недоказанных утверждений они заявляют, что ничто не может быть доказано и никакое знание невозможно, наука — предрассудок, а разума не существует.

Если вы откажетесь от способности воспринимать, если примете вместо объективных критериев коллективные и станете ждать, чтобы человечество подсказало вам, что думать, вы увидите, как на ваших глазах произойдут изменения. Вы обнаружите, что ваши учителя

стали правителями коллектива, и если откажетесь повиноваться им, возразите, что они не есть все человечество, тогда они ответят: «Откуда тебе это знать? А, приятель? Откуда ты взял этот старомодный термин?»

Если вы сомневаетесь, что такова их цель, обратите внимание, с каким страстным упорством мистики плоти заставляют вас забыть, что существовало такое понятие, как «разум». Обратите внимание на переплетение туманных словес, слов с непонятным значением, нечетких терминов, с помощью которых они стараются избежать признания термина «мышление». Ваше сознание, говорят они, состоит из «рефлексий», «реакций», «опыта», «побуждений» и «влечений», и отказываются назвать средство, с помощью которого получили это знание, назвать акт, который совершают, когда говорят это вам, или акт, который совершаете вы, когда слушаете. Слова обладают способностью «формировать» вас, говорят они и отказываются назвать причину, почему слова способны изменить ваш… — пробел. Читающий книгу студент понимает ее, совершая процесс… — пробел. Работающий над изобретением ученый занят деятельностью… — пробел. Психолог, помогаю-

щий невротику разрешить проблему и распутать конфликт, делает это посредством… — пробел. Промышленник… — пробел — такого человека не существует. Завод — это «естественный ресурс», как дерево, камень или грязевая лужа.

Проблема производства, говорят они вам, давно решена и не заслуживает изучения или интереса; единственная проблема, которую осталось разрешить вашим «рефлексиям», — это распределение. «Кто разрешил проблему производства?» — «Человечество», — отвечают они. «В чем заключается разрешение?» — «Товары здесь». — «Как они попали сюда?» — «Как-то». — «Кто причиной тому?» — «Никто».

Они заявляют, что каждый человек имеет право существовать без труда и, вопреки законам реальности, получать «минимальное жизнеобеспечение» — пищу, одежду, кров — безо всяких усилий с его стороны, как должное и положенное по праву рождения. Получать от кого? Пробел. Каждый человек, заявляют они, имеет равную долю в технологических благах, созданных в этом мире. Созданных кем? Пробел. Отвратительные трусы, именующие себя защитниками промышленников, теперь называют цель экономики «регулированием между безграничными же-

ланиями людей и товарами, поставляемыми в ограниченном количестве». Поставляемыми кем? Пробел. Интеллектуальные бандиты, именующие себя профессорами, отвергают мыслителей прошлого, заявляя, что их социальные теории были основаны на непрактичном предположении, что человек — разумное существо, но поскольку люди не разумны, заявляют они, требуется создать систему, которая даст им возможность существовать, будучи неразумными, что означает бросить вызов реальности. Кто сделает ее возможной? Пробел. Любая заурядность рвется в печать с планами контролировать все, что производится человечеством. И все, кто согласны или не согласны с его статистическими данными, не оспаривают его права навязывать свои планы силой оружия. Навязывать кому? Пробел. Женщины с непонятными доходами праздно путешествуют по земному шару и возвращаются с сообщениями, что отсталые народы мира требуют более высокого уровня жизни. Требуют от кого? Пробел.

И чтобы предупредить какое-то исследование причины разницы между деревней в джунглях и Нью-Йорком, они идут на крайнее бесстыдство, объясняя индустриальный прогресс человека —

небоскребы, тросовые мосты, электродвигатели, железнодорожные поезда, — тем, что человек — животное, обладающее «инстинктом создавать орудия труда».

Вы задавались вопросом, что стряслось с миром? Вы сейчас видите высшее достижение идеологем беспричинного и незаработанного. Все ваши шайки мистиков как духа, так и плоти сражаются друг с другом за власть над вами, рыча, что любовь — это решение всех проблем вашего духа, а кнут — решение всех проблем вашего тела, проблем тех, кто согласился не иметь разума. Они ждут, что человек будет по-прежнему производить электронно-лучевые трубки, сверхзвуковые самолеты, атомные двигатели и астрономические телескопы и получать кусок мяса в виде вознаграждения и кнут в виде стимула, при этом придавая человеку меньше достоинства, чем скоту, не обращая внимания на то, что мог бы им сказать любой дрессировщик: животное нельзя обучать страхом, измученный слон растопчет мучителя, но не станет работать на него или перевозить его грузы.

Не заблуждайтесь относительно характера мистиков. На протяжении веков их целью было ослабить ваше сознание, их единственной стра-

стью — возможность править вами посредством силы.

От ритуалов колдунов в джунглях, которые искажали реальность, превращая ее в чудовищные нелепости, отупляя разум своих жертв и держа их в страхе перед сверхъестественным на протяжении застойных столетий, до сверхъестественных доктрин средних веков, заставлявших людей жить в хижинах с земляными полами в страхе, что дьявол может украсть их суп, ради которого они работали восемнадцать часов, до убогого, низкорослого, улыбающегося профессора, который уверяет вас, что мозг не обладает способностью думать, что у вас нет органов восприятия и вы должны слепо повиноваться всемогущей воле сверхъестественной силы — «общества». Это все один и тот же спектакль для одной и той же цели: низвести вас до уровня бесформенной массы, отрицающей верность своего сознания.

Однако все это нельзя сделать без вашего согласия. Раз вы позволили, вы заслуживаете этого.

Когда вы слушаете разглагольствования мистика о бессилии человеческого разума и начинаете сомневаться в своем сознании, а не в его и позволяете, чтобы ваше полуразумное состояние потрясали любым утверждением,

решаете, что надежнее доверять его высшему знанию, в дураках оказываетесь вы оба: ваше согласие — единственный источник его уверенности. Сверхъестественная сила, которой мистик страшится, непознаваемый дух, которому он поклоняется, сознание, которое считает всемогущим, — ваши. Мистик — это человек, который отказывается от своего разума при первом столкновении с разумом других. Где-то в воспоминаниях своего детства, когда его понимание реальности сталкивалось с утверждениями других, с их произвольными распоряжениями и противоречивыми требованиями, он сдавался в таком низком страхе несамостоятельности, что отверг свою способность думать. При выборе между «Я знаю» и «Они говорят» он выбирал авторитет других, предпочитал подчиняться, а не понимать, верить, а не думать. Вера в сверхъестественное начинается с веры в превосходство других. Отказ человека принял форму ощущения, что он должен скрывать свое непонимание, что другие обладают каким-то таинственным знанием, которого лишен он один, что реальность — то, что они хотят из нее сделать какими-то средствами, которых он навеки лишен.

И с тех пор он, боящийся думать, остается во власти неопределенных чувств. Чувства становятся его единственным наставником, единственным остатком личного тождества. Он держится за них с неистовым инстинктом собственника, и мышление его посвящено лишь попытке скрыть от себя, что природой его чувств является ужас.

Когда мистик заявляет, что чувствует существование превосходящей разум силы, он действительно его чувствует, но эта сила — не всезнающий сверхдух Вселенной, это сознание любого прохожего, которому он уступил собственное. Мистиком движет стремление впечатлять, обманывать, льстить, вводить в заблуждение, использовать это всемогущее сознание других. «Они» — единственный его ключ к реальности, и он чувствует, что может существовать, только обуздывая их таинственную силу и вымогая их непостижимое согласие. «Они» — единственное его средство восприятия, и, как слепой, полагающийся на зрение собаки-поводыря, он чувствует, что должен держать их на привязи, чтобы жить. Контролировать сознание других становится его единственной страстью; жажда власти — это сорняк, растущий только на пустырях отвергнутого

разума.

Каждый диктатор — мистик, и каждый мистик — потенциальный диктатор. Мистик жаждет от людей повиновения, а не согласия. Он хочет, чтобы люди подчиняли свое сознание его утверждениям, эдиктам, желаниям, прихотям, как его сознание подчинено их сознаниям. Он хочет влиять на людей посредством веры и силы и не находит удовлетворения в их согласии, если вынужден зарабатывать его посредством фактов и разума. Разум — враг, которого он страшится и вместе с тем считает ненадежным; разум для него — средство обмана; ему кажется, что люди обладают некоей более могущественной силой, чем разум. И только их беспричинная вера или вынужденное повиновение могут дать ему чувство безопасности, доказательство, что он обрел контроль над тем таинственным даром, которого у него нет. Он стремится приказывать, а не убеждать: убеждение требует назависимости и основывается на абсолюте объективной реальности. Он добивается власти над реальностью и средствами ее постижения, над разумом людей, способностью помещать свою волю между существованием и сознанием, словно согласившись фальсифицировать реальность по его указаниям,

люди будут на самом деле создавать ее.

Как мистик — паразит в материи, который присваивает созданное другими богатство, точно так же он — паразит в духе, который крадет созданные другими идеи и опускается ниже уровня безумца, создающего собственное искажение реальности, до уровня паразита безумия, ищущего искажения, созданного другими.

Существует лишь одно состояние, соответствующее стремлению мистика к бесконечности, беспричинности, безликости, — смерть. Какие бы непонятные причины он ни приписывал своим непередаваемым чувствам, тот, кто отвергает реальность, отвергает существование, и чувства, которые потом движут им, представляют собой ненависть ко всем ценностям человеческой жизни и страсть ко всему злу, уничтожающему ее. Мистик наслаждается зрелищем страдания, бедности, раболепства, ужаса: они дают ему ощущение торжества, доказательство крушения разумной реальности. Но никакой другой реальности не существует.

Чьему бы благу ни призывал служить мистик, будь то благо Бога или того бесплотного чудовища, которое именует «народом», какие бы идеалы ни провозглашал в терминах какой-

то сверхъестественной важности, в сущности, в реальности, на земле его идеал есть смерть, его стремление — убивать, его единственное удовлетворение — мучить.

Разрушение было единственной целью, какой только достигали мистики со своим кредо, и это единственная цель, какой они достигают сейчас, словно причиненные их действиями катастрофы не заставили их усомниться в своей доктрине. Если они заявляют, что ими движет любовь, то их не останавливают горы трупов, и это потому, что правда об их душах хуже, чем бесстыдное оправдание, какое вы позволяете им, оправдание, что цель оправдывает средства, и что ужасы, которые они практикуют, представляют собой средства для благородных целей. Правда заключается в том, что эти ужасы и есть их цели.

Вы настолько порочны, что верите, будто способны приспособиться к диктатуре мистика и угождать ему, повинуясь его приказаниям. Но угодить ему нельзя никак: если станете повиноваться, он будет менять свои приказания. Он хочет повиновения ради повиновения и разрушения ради разрушения. Вы настолько трусливы, что верите, будто можете прийти к соглашению с мистиком, уступая его вымога-

тельствам, но откупиться от него никак нельзя. Откуп, которого он хочет, — это ваша жизнь, и чудовище, которое он хочет подкупить, — это пробел в его разуме, побуждающий его убивать, дабы скрыть от себя, что смерть, которой он жаждет, — его собственная.

Вы настолько наивны, что верите, будто силы, выпущенные в вашем мире на волю, движимы алчностью к материальному добру, погоня мистиков за добычей — лишь ширма, скрывающая от их разума суть их мотивов. Богатство — это средство человеческой жизни, и мистики требуют богатства, подражая живым, убеждая себя, что хотят жить. Но для них обладание награбленной роскошью не радость, а бегство. Они не хотят владеть вашим состоянием — хотят, чтобы вы его лишились. Они не хотят преуспеть — хотят, чтобы вы потерпели неудачу. Они не хотят жить — хотят, чтобы вы умерли; не желают ничего, они ненавидят существование и спасаются бегством. Каждый старается скрыть от себя, что он сам — объект своей ненависти.

Вы, так и не понявшие сущности зла, вы, считающие их «заблудшими идеалистами» — да простит вас бог, которого вы изобрели! — они и есть сущность зла. Они, эти антиживущие объекты,

стремящиеся пожрать мир, чтобы заполнить бескорыстную пустоту своих душ. Им нужно не ваше богатство. Тут заговор против разума, а это значит против жизни и человека.

Это заговор без руководителя и направления, и случайные люди настоящего времени, наживающиеся на страданиях той или другой страны, просто пена, несомая потоком из сломанной канализации столетий, из резервуара ненависти к разуму, логике, способности, достижениям, радости, который заполняли все скулящие антилюди, проповедовавшие превосходство «сердца» над разумом.

Это заговор всех тех, кто хочет не жить, а отделаться от жизни, кто хочет отсечь маленький уголок реальности и тянется ко всем остальным, отсекающим другие уголки. Это заговор, объединяющий звеньями уклончивости всех, кто стремится к нулю как к ценности: профессора, не способного думать и находящего удовольствие в том, что калечит разум студентов; бизнесмена, который, чтобы защитить свою инертность, находит удовольствие в том, что ограничивает способности конкурентов; невротика, который для защиты своего отвращения к себе находит удовольствие в том, чтобы ломать

уважающих себя людей; неумелого, получающего удовольствие от того, что он разрушает достижения; посредственности, находящей удовольствие в том, чтобы уничтожать величие; евнуха, упивающегося тем чувством, что выхолащивает все удовольствия; всех интеллектуальных изготовителей оружия, всех, кто проповедует, что уничтожение добродетели превратит пороки в добродетель. Смерть — предпосылка, лежащая в основе их теорий, смерть — цель их практических действий, и вы — последние из их жертв.

Нас, служивших живым буфером между вами и сущностью вашего кредо, уже нет рядом, чтобы спасать вас от результатов ваших избранных убеждений. Мы не хотим больше оплачивать своими жизнями ваши долги или моральный дефицит, накопленный всеми вашими предыдущими поколениями. Вы жили во взятом в долг времени, и я — тот человек, который потребовал возврата долга.

Я — тот человек, существование которого ваши пробелы позволяли вам не замечать. Я — тот человек, ни жизни, ни смерти которого вы не хотели. Вы не хотели моей жизни, так как боялись понять, что я нес ту ответственность, от которой вы отказались, и ваши жизни зависели от меня;

не хотели моей смерти, потому что знали это.

Двенадцать лет назад, когда работал в вашем мире, я был изобретателем. Был представителем той профессии, которая появилась в человеческой истории последней и должна была исчезнуть первой на пути к дочеловеческому уровню. Изобретатель — это человек, который спрашивает у Вселенной: «Почему?», он не позволяет ничему вставать между ответом и своим разумом.

Подобно тем людям, которые открыли пользу пара или нефти, я открыл источник энергии, который был доступен с возникновения земного шара. Но люди умели его использовать лишь как объект поклонения, ужаса и легенд о боге-громовержце. Я сделал экспериментальную модель двигателя, который в будущем принес бы состояние мне и тем, кто нанял бы меня. Это был двигатель, который повысил бы эффективность каждой человеческой установки, использующей энергию, и сделал бы производительнее каждый час, который вы проводите, зарабатывая на хлеб.

Потом однажды вечером, на заводском митинге, я услышал, что приговорен к смерти за свое достижение. Трое паразитов утверждали, что мой мозг и моя жизнь — их собственность,

что мое право на существование условно и зависит от удовлетворения их желаний. Назначение моей способности, говорили они, служить потребностям тех, кто менее способен. Я не имел права жить, говорили они, по причине моей способности жить; их право жить было безусловным по причине их неспособности.

Тут я понял, *что* неладно с миром, понял, *что* уничтожало людей и государства и *где* нужно вести битву за жизнь, понял, что врагом была извращенная мораль, и мое согласие было единственной ее силой. Я понял, что зло бессильно, неразумно, слепо, антиреально, и единственным оружием его была готовность добра служить ему. Как паразиты вокруг меня провозглашали свою беспомощную зависимость от моего разума и ждали, что я добровольно приму рабство, принудить к которому меня они не могли, полагались на мое самоуничтожение для того, чтобы снабдить их средствами осуществления своих планов, так во всем мире и во всей человеческой истории, во всевозможных версиях и формах — от вымогательства бездельничающих родственников до злодейств коллективизированных стран, добро, способные люди разума, уничтожавшие себя своей деятельностью, отда-

вали злу кровь своей добродетели и принимали от зла яд гибели, давая таким образом злу силы выживания, а своей добродетели — бессилие смерти. Я понял, что достигнут тот пункт в поражении каждого добродетельного человека, когда злу для победы нужно его согласие, и никакой вред, причиненный ему другими, не достигнет цели, если он решит не давать согласия. Я осознал, что могу положить конец вашему насилию, произнеся мысленно одно слово. Я произнес его. Это слово «нет».

Я ушел с того завода. Ушел из вашего мира. Сделал своей обязанностью предостерегать ваши жертвы, давать им способ и оружие борьбы с вами. Способом был отказ препятствовать возмездию. Оружием была справедливость.

Если вы хотите знать, что потеряли, когда я ушел и мои забастовщики покинули ваш мир, встаньте посреди пустого клочка земли на девственной, не исследованной людьми, местности и задайтесь вопросом, какого способа выживания вы достигли бы и долго ли прожили бы, если бы отказались думать, когда не у кого научиться выживать, или, если бы предпочли думать, многое ли смог бы открыть ваш разум. Задайтесь вопросом, сколько независимых от-

крытий вы сделали за свою жизнь и сколько времени потратили на совершение действий, которым научились у других, задайтесь вопросом, смогли бы вы открыть, как обрабатывать землю и производить продукты, смогли бы изобрести колесо, рычаг, катушку индуктивности, генератор, электронно-лучевую трубку. А потом решите, можно ли назвать способных людей эксплуататорами, живущими плодами вашего труда и лишающими вас богатства, которое вы создаете, и посмеете ли поверить, что вы обладаете возможностью порабощать их. Пусть ваши женщины взглянут на старуху из джунглей со сморщенным лицом и отвислой грудью, сидящую и размалывающую пищу в миске час за часом, столетие за столетием, и зададутся вопросом, снабдит ли их «инстинкт изготовления орудий труда» электрическими холодильниками, стиральными машинами, пылесосами, и если нет, захотят ли они уничтожить тех, кто обеспечил им все это, но не благодаря инстинкту.

Оглянитесь вокруг, дикари, неуверенно бормочущие, что идеи создаются человеческими средствами производства, что машина — продукт не человеческой мысли, а таинственной силы, производящей человеческое мышление.

Вы не открыли индустриального века и держитесь за мораль варварских эпох, когда жалкая форма человеческого существования создавалась физическим трудом рабов. Каждый мистик всегда хотел иметь рабов, чтобы они защищали его от материальной реальности, которой он страшится. Но вы, нелепые, мелкие атависты, слепо таращитесь на небоскребы и дымовые трубы вокруг и мечтаете о порабощении создателей материальных ценностей: ученых, изобретателей, промышленников. Когда вы требуете общественной собственности на средства производства, вы претендуете на общественную собственность на разум. Я учил своих забастовщиков, что вы заслуживаете только одного ответа: «Попытайтесь его взять».

Вы заявляете, что не в состоянии обуздать силы неодушевленной материи, однако предлагаете обуздать разум людей, способных достичь таких высот, какие вам и не снились. Вы заявляете, что не можете выжить без нас, однако собираетесь диктовать условия нашего выживания. Вы заявляете, что нуждаетесь в нас, тем не менее позволяете себе нагло утверждать свое право управлять нами посредством силы и ожидаете, что мы, не боящиеся той физической природы,

которая переполняет вас ужасом, съежимся от страха при виде какого-то неотесанного типа, который уговорил вас проголосовать за него и дать ему возможность командовать нами.

Вы предлагаете установить социальный порядок, основанный на следующих принципах: вы неспособны управлять своей жизнью, но способны управлять жизнью других, вы неспособны существовать в условиях свободы, но способны стать всемогущими правителями, вы неспособны заработать на жизнь, пользуясь собственным разумом, но способны судить о политиках и избирать их на должности, дающие тотальную власть над искусствами, которых вы никогда не видели, над науками, которых никогда не изучали, над достижениями, о которых не имеете понятия, над громадными предприятиями, где по трезвой оценке своих способностей не смогли бы успешно выполнять работу помощника смазчика.

Этот идол вашего культа поклонения нулю, этот символ вашего бессилия — прирожденный нахлебник — представляет собой ваш образ человека и вашу меру ценностей, в подобие которого вы стремитесь переделать свою душу. «Это так свойственно человеку», — кричите вы в защиту любого порока, достигнув той стадии самоуни-

чижения, при которой пытаетесь понятием «человек» обозначить тряпку, дурака, подлеца, лжеца, неудачника, мошенника и исключить из человеческого рода героя, мыслителя, созидателя, сильного, целеустремленного, чистого, словно «чувствовать» человечно, а думать нет, словно терпеть крах человечно, а преуспевать нет, словно продажность человечна, а добродетель нет, словно предпосылка смерти подобает человеку, а предпосылка жизни нет.

Чтобы лишить нас чести, дабы потом иметь возможность лишить нас богатства, вы всегда рассматривали нас как рабов, не заслуживающих морального признания. Вы хвалили каждое предприятие, которое называло себя некоммерческим, и осуждали людей, которые создавали прибыль, делающую существование этих предприятий возможным. Для вас «в интересах общества» соответствует любой проект, служащий тем, кто не приносит дохода; не в интересах общества оказывать какие-то услуги тем, кто приносит доход. «Общее благо» — это все, даваемое как милостыня, а заниматься торговлей — значит вредить обществу. «Общее благо» — это благо тех, кто его не зарабатывает: те, кто зарабатывает, не имеют права на благо. «Общество»

для вас — это те, кто не смог достичь никакой добродетели или ценности; тот, кто их достиг, тот, кто производит товары, необходимые вам для выживания, перестает считаться членом общества или представителем человеческого рода.

Какой пробел позволил вам надеяться выстоять с такой скверной противоречий и планировать общество как идеальное, когда «нет» ваших жертв оказалось достаточным, чтобы разрушить все ваше здание? Что позволяет наглому попрошайке совать свои язвы под нос тем, кто превосходит его, и просить помощи угрожающим тоном? Вы кричите при этом, что полагаетесь на нашу жалость, но вашей тайной надеждой является моральный кодекс, приучивший вас полагаться на нашу вину. Вы ожидаете, что мы будем испытывать чувство вины за свои добродетели, видя ваши пороки, раны и неудачи, чувство вины за то, что мы преуспели в существовании, за то, что радуемся жизни, которую вы осуждаете, однако просите нас помогать вам жить. Вы хотели знать, кто такой Джон Голт? Я первый способный человек, отказавшийся рассматривать свою способность как вину. Я первый человек, который не будет раскаиваться в своих добродетелях и не позволит использовать их

как орудие моего уничтожения. Я первый человек, кто не станет принимать мученичества от рук тех, кто хотел бы, чтобы я погиб за привилегию содержать их. Я первый человек, который сказал им, что не нуждаюсь в них, и пока они не научатся вести со мной дела, как с торговцем, давать ценность за ценность, они будут существовать без меня, как я без них. Потом я дам им понять, на чьей стороне потребности, на чьей способности и является ли человеческое выживание той меркой, условия которой проложат путь к выживанию.

Я сделал намеренно и сознательно то, что делалось на протяжении всей истории молчаливым бездействием. Всегда существовали люди разума, которые бастовали в протесте и отчаянии, но они не знали смысла своего действия. Это человек, уходящий из общественной жизни, чтобы мыслить, но не делиться своими мыслями, решающий провести годы в безвестности черной работы, таящий в себе пламень разума, не давая ему формы, выражения и реальности, отказывающийся приносить его в мир, презирающий, побежденный безобразием, отрекающийся до того, как начал действовать, предпочитающий отказаться, но не сдаться, работающий в меру

своих возможностей, обезоруженный тоской по идеалу, которого не нашел. Эти люди бастуют, бастуют против неразумия, против вашего мира и его ценностей. Но они не знают никаких собственных ценностей, оставляют поиски этого знания в мраке своего безнадежного негодования, праведного, без знания правды, страстного, без знания желаний, уступают вам власть над реальностью, отказываются от стимулов своего разума и гибнут в горестной бесполезности, словно бунтовщики, так и не понявшие цели своего бунта, любовники, так и не нашедшие своей любви.

Постыдные времена, которые вы именуете Средневековьем, были эпохой забастовки разума, когда способные люди уходили в подполье, жили в безвестности, тайно предаваясь занятиям, и умирали, уничтожая создания своего разума, когда лишь горстка самых смелых мучеников оставалась, чтобы не дать человеческому роду погибнуть. Каждый период правления мистиков был эпохой застоя и нужды, когда большинство людей бунтовали против существования, получая за труд меньше, чем необходимо для жизни, оставляя на разграбление своим правителям лишь крохи, отказываясь думать, рисковать,

созидать, когда высшим контролером их доходов и окончательным судьей истины и заблуждений была прихоть какого-то раззолоченного дегенерата, считавшегося выше разума по Божественному праву и по милости дубины. Путь человеческой истории представлял собой полосу затмений на стерильных отрезках, разрушенных верой и силой, с немногими, краткими проблесками солнца. Когда высвобожденная энергия людей разума творила чудеса, вы удивлялись им, восхищались ими и быстро уничтожали их.

Однако на сей раз уничтожений не будет. Мистики проиграли. Вы сгинете в своем идеальном мире, погубленные своей нереальностью. Мы, люди разума, выживем.

Я призвал к забастовке таких мучеников, какие никогда не покидали вас раньше. Я дал им оружие, какого им не хватало: знание их моральной ценности. Я объяснил, что мир станет нашим, как только мы решим его потребовать, потому что наша мораль — это Мораль Жизни. Они, великие жертвы, создавшие все чудеса краткого лета человечества, промышленники, покорители материи, не открыли природы своих прав. Они знали, что им принадлежит сила. Я открыл, что им принадлежит слава.

Вы, смеющие считать нас морально ниже любого мистика, претендующего на сверхъестественные видения, вы деретесь, как стервятники, за награбленные центы, однако чтите творцов предсказаний выше творцов состояний. Вы, презирающие бизнесмена как низкого человека, однако превозносящие любого кривляку-плута как возвышенного, критерии ценностей вашего мистицизма, который поднимается от первобытных болот, в том культе смерти, который объявляет бизнесмена безнравственным на основании того факта, что он дает вам жить. Вы, заявляющие, что стремитесь возвыситься над грубыми потребностями тела, над нудным трудом служения только физическим потребностям, а кто порабощен физическими потребностями: индус, ходящий с восхода до заката за плугом ради миски риса, или американец, который водит трактор? Кто покоритель физической реальности? Тот, кто спит на гвоздях, или тот, кто на пружинном матраце? Что памятник торжеству человеческого духа над материей: заразные лачуги на берегах Ганга или небоскребы Нью-Йорка?

Если вы не узнаете ответов на эти вопросы и не научитесь почтительно стоять навытяж-

ку перед достижениями человеческого разума, то недолго будете оставаться на этой земле, которую мы любим и не позволим вам губить. Вам не удастся жить воровством до конца дней. Я сократил обычный курс истории и дал вам понять сущность платежа, который вы надеялись переложить на плечи других. Теперь последние остатки ваших жизненных сил будут расходоваться, чтобы обеспечить незаработанное поклонникам и носителям Смерти. Не делайте вид, будто вас победила злобная реальность, — вас победили собственные увертки. Не делайте вид, будто погибнете за благородный идеал, вы погибнете как пища для человеконенавистников.

Однако тем из вас, кто сохранил какое-то достоинство и хочет любить свою жизнь, я предлагаю возможность сделать выбор. Выбирайте, хотите ли вы погибнуть за мораль, в которую никогда не верили и которой никогда не практиковали? Остановитесь на грани самоубийства и окиньте взглядом свои ценности и свою жизнь. Вы умели инвентаризировать свое богатство. Инвентаризируйте теперь свой разум.

С детства вы скрывали порочный секрет, что не имеете желания быть моральным, не хо-

тите искать самоуничтожения, что ваш кодекс внушает вам ужас и ненависть, но не смеете признаться в этом даже себе, что вы лишены тех моральных «инстинктов», которые другие якобы чувствуют. Чем меньше вы чувствовали, тем громче провозглашали свою бескорыстную любовь к другим и служение им, страшась, чтобы другие не открыли вашей сущности, которую предали, которую скрывали как опасную тайну. А они, те, кто были и жертвами вашего обмана, и вашими обманщиками, слушали и громко одобряли вас, страшась, как бы вы не узнали, что таят тот же невысказанный секрет. Существование среди вас представляет собой жуткое лицемерие, сцену, которую вы разыгрываете друг перед другом. Каждый чувствует, что он — единственный моральный урод, каждый избирает своим моральным авторитетом непознаваемое, известное только другим, каждый фальсифицирует реальность, поскольку чувствует, что этого от него ждут, и ни у кого нет смелости разорвать этот порочный круг.

Неважно, на какие постыдные компромиссы вы шли со своим невыполнимым кредо, неважно, какой жалкий баланс, полуцинизм– полусуеверие вы теперь ухитряетесь поддерживать, вы все

равно сохраняете основу, губительный догмат: веру, что моральное и практичное представляют собой противоположности. С детства вы бежали от ужаса выбора, который так и не посмели осмыслить: все практичное, что бы вы ни делали для существования, всякие работа, успехи, достижения своих целей, все, что приносит вам еду и радость, все, что дает вам выгоду есть зло. И если добро, если моральное — это все то, что не удается, рушится, срывается, все, что вредит вам, приносит утрату или страдание, то выбор заключается в том, чтобы быть моральным или жить.

Единственным результатом этой убийственной доктрины стало удаление морали от жизни. Вы выросли с верой, что моральные законы не связаны с трудом, разве что это помеха и угроза, и человеческое существование представляет собой аморальные джунгли, где все можно и все действует. И в этом тумане переноса определений, опускающемся на застывший ум, вы забыли, что пороки, осуждаемые вашим кредо, это необходимые для жизни добродетели, и поверили, что практические средства к существованию являются пороками. Забыв, что непрактичное «добро» — это самопожертвование, вы поверили,

что самоуважение непрактично; забыв, что практичное «зло» — это производство, вы поверили, что грабеж практичен.

Раскачиваясь беспомощно, как ветвь дерева под ветром неисследованных моральных джунглей, вы не осмеливаетесь ни быть в полной мере порочным, ни в полной мере жить. Когда вы честны, вы испытываете униженность простофили; когда обманываете, испытываете ужас и стыд. Когда вы счастливы, ваша радость ослабляется чувством вины, если страдаете, ваши муки усиливаются чувством, что страдание — это ваше естественное состояние. Вы жалеете тех, кем восхищаетесь, верите, что они обречены на неудачу; вы завидуете тем, кого ненавидите, верите, что они — хозяева существования. Вы чувствуете себя безоружным, когда сталкиваетесь с негодяем; вы верите, что зло должно победить, поскольку мораль бессильна, непрактична.

Мораль для вас — призрачное пугало, состоящее из долга, скуки, наказаний, страдания, нечто среднее между первым школьным учителем вашего прошлого и сборщиком налогов настоящего, пугало, стоящее на бесплодном поле и машущее палкой, чтобы отогнать ваши удовольствия.

А удовольствие для вас — отуманенный алкоголем мозг, тупая шлюха, ступор идиота, ставящего деньги на бегах каких-либо животных, поскольку удовольствие не может быть моральным.

Если вы разберетесь в своей вере, то обнаружите тройное осуждение — себя, жизни, добродетели — в нелепом заключении, к которому пришли: вы верите, что мораль — необходимое зло.

Вы задаетесь вопросом, почему живете без достоинства, любите без пылкости и умираете без сопротивления? Задаетесь вопросом, почему, куда ни взглянете, видите только вопросы, на которые нет ответов, почему вашу жизнь раздирают невыносимые конфликты, почему вы проводите ее, занимая неразумную выжидательную позицию, чтобы избежать надуманных выборов, таких как душа или тело, разум или сердце, спокойствие или свобода, частная выгода или общее благо?

Вы кричите, что не находите ответов? Каким образом вы надеялись найти их? Вы отвергли свое орудие восприятия — разум, а потом жалуетесь, что вселенная представляет собой загадку, выбросили ключ и следом хнычете, что все двери для вас заперты, пускаетесь на по-

иски неразумного и проклинаете существование за бессмысленность.

Выжидательная позиция, которую вы занимаете в течение двух часов, слушая мои слова и стремясь избежать их, представляет собой догмат труса, содержащийся во фразе: «Но мы не должны идти на крайности!» Крайность, которой вы всегда старались избежать, — это признание того, что реальность окончательна, что А есть А, что истина верна. Моральный кодекс, которому невозможно следовать, кодекс, требующий несовершенства смерти, приучил вас превращать все идеи в туман, не допускать четких определений, рассматривать любую концепцию как относительную, каждое правило поведения как растяжимое, ограничивать каждый принцип, идти на компромисс по каждой ценности, занимать среднюю часть любой дороги. Заставив принимать сверхъестественные абсолюты, этот кодекс вынудил вас отвергать абсолют природы. Сделав моральные суждения невозможными, он лишил вас способности разумных суждений. Кодекс, запрещающий вам бросить первый камень, запретил вам признавать тождество камней и понимать, побивают ли вас камнями.

Человек, который отказывается выносить суж-

дения, соглашаться или не соглашаться, заявляет, что абсолютов не существует, и считает, что избегает ответственности, несет ответственность за всю кровь, которая проливается сейчас в мире. Реальность — это абсолют, существование — абсолют, пылинка — абсолют, и человеческая жизнь тоже. Живете вы или умираете — это абсолют. Есть у вас кусок хлеба или нет — это абсолют. Едите вы свой хлеб или смотрите, как он исчезает в животе грабителя, — это абсолют.

В каждом вопросе есть две стороны: одна истина, другая заблуждение, но середина всегда представляет собой зло. Человек, который заблуждается, сохраняет какое-то почтение к истине, пусть хотя бы принимая на себя ответственность выбора. Но человек посередине — мошенник, который затемняет истину, дабы делать вид, что не существует никакого выбора и никаких ценностей. Он не хочет принимать участия ни в какой битве, но хочет нажиться на крови невинных или поползти на брюхе к виновному, который отправляет правосудие, посылая и грабителя, и ограбленного в тюрьму, разрешает конфликты, приказывая мыслителю и дураку сойтись на полпути. В любом компромиссе между едой и ядом выиграть может только смерть.

В любом компромиссе между добром и злом только зло может получить выгоду. В таком переливании крови, которое лишает сил добро, чтобы питать зло, пошедший на компромисс представляет собой резиновую трубку.

Вы, полуразумные-полутрусливые, вели нечестную игру с реальностью, но сами стали жертвой этой нечестности. Когда люди принижают свои добродетели до относительных, зло обретает силу абсолюта, когда добродетельные отказываются от верности неуклонной цели, ее принимают негодяи. И вы получаете постыдное зрелище раболепствующего, торгующегося, вероломного добра и самодовольного, бескомпромиссного зла. Как вы уступили мистикам плоти, услышав от них, что невежество состоит в требовании знания, так вы уступаете им теперь, слыша, что аморальность состоит в произнесении моральных суждений. Когда они кричат, что нельзя быть уверенным в своей правоте, вы спешите заверить их, что не уверены ни в чем. Когда они кричат, что держаться своих убеждений аморально, вы заверяете их, что у вас нет никаких убеждений. Когда бандиты из народных республик Европы рычат, что вы повинны в нетерпимости, потому что не рассматриваете

свое желание жить и их желание убивать вас как расхождение во мнениях, вы раболепствуете и спешите заверить их, что у вас нет нетерпимости к любым ужасам. Когда какой-то босоногий бродяга в каком-то азиатском очаге эпидемии кричит вам: «Как вы смеете быть богатыми?», вы извиняетесь, просите его потерпеть и обещаете отдать все богатство.

Вы достигли тупика той измены, которую совершили, согласившись, что не имеете права на существование. Некогда вы верили, что это «лишь компромисс»: вы допустили, что эгоистично жить для своих детей, но морально жить для своей общины. Потом допустили, что эгоистично жить для своей общины, но морально жить для страны. Теперь вы позволяете величайшую из стран грабить любому подонку из любого уголка земли, допуская, что эгоистично жить для своей страны, и ваш моральный долг — жить для всего земного шара. Человек, не имеющий права на жизнь, не имеет права на ценности и не станет беречь их.

В конце своего пути последовательных предательств лишенные оружия, уверенности, чести вы совершаете окончательный акт измены и признаетесь в своем интеллектуальном

банкротстве. Когда мистики плоти из народных республик заявляют, что они защитники разума и науки, вы соглашаетесь и спешите заявить, что ваш основной принцип — вера, что разум на стороне ваших врагов, но ваша сторона — это вера. Борющимся остаткам разумной честности, находящимся в извращенном, сбитом с толку сознании своих детей, вы заявляете, что не можете предложить никакого разумного довода в поддержку идей, создавших эту страну, что нет никакого разумного оправдания свободе, собственности, справедливости, правам, что они основаны на мистических озарениях и могут приниматься только на веру, что в разуме и логике прав враг, но вера выше разума. Вы заявляете своим детям, что разумно грабить, пытать, порабощать, экспроприировать, убивать. Но они должны противиться искушениям логики, упорно оставаться неразумными и предполагать, что небоскребы, заводы, радио, самолеты были результатами веры и мистической интуиции, а голод, концлагеря, расстрельные команды — результат разумного образа существования, что промышленная революция была бунтом людей веры против той эры разума и логики, которая называется средневековьем. И вместе с тем

заявляете тем же детям, что грабители, правящие народными республиками, превзойдут эту страну в материальном производстве, поскольку они — представители науки, но порочно заботиться о материальном богатстве, и человек должен отвергать материальное процветание. Вы заявляете, что идеалы этих грабителей благородны, только грабители не стремятся к ним, а вы стремитесь, что цель вашей борьбы с грабителями заключается только в достижении их целей, которых они достичь не могут, а вы можете, и что способ борьбы с ними — это опередить их и раздать свое богатство. Потом вы удивляетесь, что ваши дети присоединяются к грабителям из этих народных республик или становятся полупомешанными преступниками, удивляетесь, почему завоеванные территории этих грабителей все приближаются к вашим дверям, и возлагаете вину за это на человеческую глупость, заявляя, что массы невосприимчивы к разуму.

Вы затемняете открытое, публичное зрелище борьбы грабителей против разума и тот факт, что их самые кровавые зверства пущены в ход, дабы покарать преступление мыслить. Вы затемняете тот факт, что большинство мистиков плоти сперва были мистиками духа, что они постоянно

переходят от одного к другому, что люди, которых вы именуете материалистами и спиритуалистами, — лишь две половинки разделенного человечества, вечно ищущие совершенства. Но они ищут его, переходя от уничтожения плоти к уничтожению души и наоборот, — они бегут из ваших колледжей к рабским плантациям Европы, к открытому падению в мистическое болото Индии, ища любого укрытия от реальности, любой формы бегства от разума.

Вы отчаянно и лицемерно цепляетесь за веру, дабы затемнить знание, что грабители воздвигли против вас крепость, представляющую собой ваш моральный кодекс; они более решительно и неуклонно следуют той морали, которую вы частью соблюдаете, частью обходите; они следуют ей единственным способом, какой возможен, — превращая землю в жертвенную печь; ваша мораль запрещает вам противиться им единственным способом, какой возможен, — отказываться становиться жертвенными животными и гордо заявлять свое право на существование; для борьбы с ними до конца и с полным сознанием своей правоты вам нужно отвергнуть свою мораль. Вы это затемняете, потому что ваше самоуважение связано с тем мистическим «бес-

корыстием», которым вы никогда не обладали, но столько лет притворялись, будто обладаете, что мысль отвергнуть его повергает вас в ужас. Самоуважение — это высшая ценность, но вы вложили ее в поддельные ценные бумаги, и теперь ваша мораль держит вас в ловушке, где вам приходится отстаивать самоуважение, сражаясь за кредо самоуничтожения. Жестокая шутка обернулась против вас самих: та необходимость самоуважения, которую вы не можете ни объяснить, ни определить, относится к моей морали, а не к вашей. Это объективный символ моего кодекса, мое доказательство в вашей душе.

Посредством чувства, которое человек не научился отождествлять, но почерпнул из первого осознания существования, из открытия, что должен делать выбор, он знает, что его отчаянная потребность в самоуважении — вопрос жизни и смерти. Как существо волевого сознания он понимает, что должен знать собственную ценность, дабы поддерживать свою жизнь. Человек знает, что должен быть хорошим; быть плохим в деятельности означает опасность для его жизни; быть плохим как личность, быть злым означает быть непригодным для существования.

Каждое действие человека должно быть во-

левым; один лишь акт добывания и поедания пищи означает, что жизнь, которую он поддерживает, этого достойна; каждое удовольствие, какого он ищет, означает, что личность достойна этого удовольствия. У него нет выбора в вопросе необходимости самоуважения, выбор есть только в мере, по которой оценивать его. И он делает роковую ошибку, когда переносит эту меру, защищающую его жизнь, на службу своему саморазрушению, когда выбирает меру, противоречащую существованию, и противопоставляет самоуважение реальности.

Каждая форма беспричинного сомнения в себе, каждое чувство собственной неполноценности и утаиваемой никчемности представляет собой, в сущности, сокрытый ужас человека в своей способности иметь дело с существованием. Но чем больше его ужас, тем отчаяннее он держится за те убийственные доктрины, которые его душат. Никто не может пережить минуты объявления себя безнадежно злым; следующей его минутой будет безумие или самоубийство. Чтобы избежать этого, если избрал неразумную меру, он будет фальсифицировать, уклоняться, затемнять, он будет обманом лишать себя реальности, существования, счастья, разума и в конце

концов лишит себя самоуважения, предпочитая сохранить его иллюзию, чем пойти на риск обнаружить его отсутствие. Бояться взглянуть в лицо проблеме — значит верить, что самое худшее истинно.

Не каждое преступление, какое вы совершили, отравляет вашу душу постоянным чувством вины, ее отравляют не ваши неуспехи, ошибки или недостатки, а туман, посредством которого вы пытаетесь уклониться от них, это не какой-то первородный грех или неизвестный врожденный порок, а знание своего основного недостатка — остановки работы разума, отказа думать. Страх и чувство вины — ваши постоянные эмоции. Они реальны, и вы их заслуживаете, но они появляются не по каким-то поверхностным поводам, которые вы придумываете, дабы скрыть их причину, не из вашего «бескорыстия», слабости или невежества, а из реальной и основной угрозы вашему существованию — страха, так как вы отвергли свое оружие выживания; чувства вины, так как знаете, что сделали это добровольно.

Сущность, которую вы предали, — это ваш разум; самоуважение — это уверенность в своей способности думать. Эго, которое вы ищете, то необходимое «я», которое не можете выразить

или определить, это не ваши эмоции или смутные мечтания, это ваш интеллект, судья того верховного суда, которого вы отвергли, чтобы идти на поводу любого случайного стряпчего, которого именуете своим «чувством». Потом вы плететесь в ночи, которую создали сами, в отчаянных поисках какого-то неизвестного огня, движимые угасающим зрелищем некоей зари, которую видели и утратили.

Обратите внимание, с какой настойчивостью в человеческой мифологии повторяется тема рая, который некогда принадлежал людям, Атлантиды, райских садов или какого-то идеального государства, но это всегда находится в прошлом. Корень этой легенды существует, но в прошлом не человечества, а каждого человека. Вы все еще сохраняете чувство, не определенное, как воспоминание, а рассеянное, как мука безнадежного желания, что где-то в ранние годы детства, до того, как научились подчиняться, постигать ужас неразумного и сомневаться в ценности своего разума, вы знали некое великолепное состояние существования, знали независимость разумного сознания, обращенного к открытой вселенной. Это и есть тот рай, который вы утратили, который ищете и легко можете обрести.

Кое-кто из вас так и не узнает, кто такой Джон Голт. Но те, кто знали хотя бы единый миг любви к существованию и гордились тем, что являются его достойным любовником, миг одобрительного взгляда на эту землю, познали великолепие быть человеком. И я лишь тот человек, который знает, что это великолепие нельзя предавать. Я тот человек, который знает, что сделало это возможным, который решил постоянно практиковать то, что вы практиковали, и быть тем, кем вы были в тот миг.

Вы можете сделать этот выбор. Этот выбор — преданность своей высшей способности — сделан приятием того факта, что самое благородное действие, когда-либо совершенное вами, это действие вашего разума в процессе постижения, что дважды два — четыре.

Кто бы вы ни были, вы, находящиеся в эту минуту наедине с моими словами, понять которые поможет вам только ваша честность, выбор быть человеком все еще существует, но цена этого выбора — начать с нуля, встать нагим перед лицом реальности и, исправляя дорого обошедшуюся историческую ошибку, заявить: «Я существую, следовательно, я мыслю».

Примите тот неизбежный факт, что ваша

жизнь зависит от вашего разума. Признайте, что все ваши усилия, сомнения, фальсификации, уклонения были отчаянным поиском избавления от ответственности волевого сознания, поиском беспричинного знания, инстинктивных действий, интуитивной уверенности, и хотя вы именовали это стремлением к просветленному состоянию, вы искали состояния животного. Примите как свой моральный идеал задачу стать человеком.

Не говорите, что боитесь доверять разуму, потому что знаете очень мало. Разве вы находитесь в большей безопасности, уступая мистикам и отказываясь от того немногого, что знаете? Живите и действуйте в пределах своего знания, постоянно расширяйте его до пределов вашей жизни. Выкупите свой разум из ломбарда авторитетов. Примите тот факт, что вы не всеведущи, но игра в зомби не даст вам всеведения, что ваш разум способен ошибаться, но бездумность не избавит вас от ошибок, что сделанная вами ошибка безопаснее десяти принятых на веру истин, потому что первая оставляет вам возможность ее исправить, но вторые уничтожают вашу способность отличать истину от ошибки. Вместо мечты о всеведущем роботе примите тот факт,

что любое знание, какое приобретает человек, приобретается его волей и усилиями, и что это его отличительный признак во вселенной, его природа, его мораль, его слава.

Откажитесь от той безграничной лицензии на зло, какую представляет собой утверждение, что человек несовершенен. По каким меркам вы осуждаете его, утверждая это? Примите тот факт, что в сфере морали ничто меньшее, чем совершенство, не годится. Но совершенство не должно определяться мистическими заповедями, следовать которым невозможно, и ваши моральные качества не должны измеряться тем, что не подвластно вашему выбору. У человека есть лишь один основной выбор — мыслить или нет, и это есть мера его добродетели. Моральное совершенство — это ненарушаемая разумность, не уровень вашего ума, а полное и неослабное использование вашего разума, не расширение вашего знания, а принятие разума как абсолюта.

Научитесь видеть разницу между ошибками знания и нарушениями морали. Ошибка знания не является моральным недостатком, если вы готовы исправить ее; только мистик будет судить людей по мерке невозможного, беспричинного всеведения. Но нарушение морали — это осо-

знанный выбор действия, представляющего собой заведомое зло или преднамеренное уклонение от знания, отказ пользоваться зрением и мышлением. То, чего вы не знаете, не является моральным обвинением против вас, но то, что отказываетесь знать, представляет собой счет низостей, нарастающий в вашей душе. Делайте всевозможные скидки ошибкам знания; не прощайте и не принимайте никаких нарушений морали. Не будьте строги к тем, кто ищет знания, но относитесь как к потенциальным убийцам к тем наглым, порочным типам, которые предъявляют к вам требования, заявляя, что у них нет разума, они не ищут его, утверждая, как право, то, что они «так чувствуют», и к тем, кто отвергает неопровержимый довод фразой «это всего лишь логика», что означает «это всего лишь реальность». Единственная сфера, противоположная реальности, это сфера и предпосылка смерти.

Примите тот факт, что достижение своего счастья — единственная моральная цель вашей жизни, и что счастье — не страдание и не бездумное потакание своим слабостям, а доказательство вашей моральной чистоты, поскольку оно доказательство и результат вашей верности достижению своих ценностей. Счастье представляет

собой ту ответственность, которой вы страшились, оно требует такой разумной дисциплины, для принятия которой вы недостаточно ценили себя, и беспокойная затхлость ваших дней является памятником тому уклонению от знания, что для счастья нет моральных замен, что нет более презренного труса, чем человек, бежавший с битвы за свое счастье, страшась заявить свое право на существование, не обладающий мужеством и верностью жизни хотя бы птицы или тянущегося к солнцу цветка. Сбросьте защитные лохмотья того порока, который вы назвали добродетелью — смиренности, — научитесь ценить себя, что означает сражаться за свое счастье, и когда усвоите, что гордость — это сумма всех добродетелей, вы научитесь жить, как человек.

Сделать основной шаг к самоуважению — значит научиться видеть признак каннибализма в требовании любого человека помощи от вас. Требовать ее — значит заявлять, что ваша жизнь принадлежит ему, и как ни отвратительно это требование, есть нечто еще более отвратительное: ваше согласие. Спрашиваете, стоит ли оказывать помощь другому? Нет, если он заявляет, что требовать помощи — его право, что помогать ему — ваш моральный долг перед ним. Да, если

таково ваше желание, основанное на вашем эгоистическом удовольствии, вызванном ценностью этого человека и его усилиями. Страдание само по себе не ценность; ценен лишь человек, борющийся со страданием. Если решите помочь человеку, который страдает, помогайте ему только на основании его добродетелей, его борьбы против страдания, его разумных поступков или того факта, что он страдает незаслуженно; тогда ваш поступок представляет собой торговлю, и добродетель этого человека является платой за вашу помощь. Но помогать тому, кто лишен добродетелей, только на том основании, что он страдает, значит принять его недостатки, его потребности как требование, принять закладную нуля на ваши ценности. Не обладающий добродетелями человек ненавидит существование, действует по предпосылке смерти; помогать ему — значит одобрить его зло и поддержать его деятельность как разрушителя. Будь это всего лишь цент, который для вас ничего не значит, или добрая улыбка, которой он не заслужил, уступка нулю есть измена жизни и всем тем, кто силится ее поддерживать. Из таких вот центов и улыбок и состоит запустение вашего мира.

Не говорите, что вам слишком трудно следо-

вать моей морали, что боитесь ее, как боитесь неизвестного. Все живые минуты, какие вы знали, прожиты по ценностям моего кодекса. Но вы забыли, отвергли, предали его. Вы продолжали жертвовать своими добродетелями своим порокам, лучшими людьми среди вас худшим. Посмотрите вокруг: то, что вы сделали с обществом, вы сделали сначала в своей душе; одно есть подобие другого. Гнетущие развалины, из которых теперь состоит ваш мир, являют собой материальную форму измены вашим ценностям, друзьям, защитникам, своему будущему, своей стране, самим себе.

Мы — те, кого вы теперь зовете, но кто вам уже не ответит. Мы жили среди вас, но вы нас не поняли, вы отказывались думать и видеть, что мы собой представляем. Вы отказались признать двигатель, который я изобрел, и в вашем мире он превратился в груду металлолома. Вы не признали героя в своей душе и не узнавали меня, когда я проходил мимо вас по улицам. Когда вы взывали в отчаянии к недостижимому духу, который, как вы чувствовали, покинул ваш мир, вы давали ему мое имя, но взывали вы к своему преданному самоуважению. Вам не обрести вновь одного без другого.

Когда вы отказались признать человеческий разум и попытались править людьми силой, те, кто покорились, не имели разума, от которого можно отказаться; те, кто его имели, были людьми, которые не покоряются. Так человек созидательно-гениальный принял в вашем мире личину повесы и стал расточителем богатства, решив уничтожить свое состояние, но не отдать его под угрозой оружия. Так мыслитель, человек разума, принял в вашем мире роль пирата, чтобы защищать свои ценности силой против вашей силы, но не покоряться правлению жестокости. Слышите меня, Франсиско д'Анкония и Рагнар Даннескьолд, мои ближайшие друзья, мои собратья-бойцы, собратья-изгнанники, во имя и в честь которых я говорю?

Мы втроем начали то, что я теперь завершаю. Мы втроем решили воздать отмщение за эту страну и освободить ее заточенную душу. Эта величайшая из стран была построена на основе моей морали, на нерушимом верховенстве права человека существовать, но вы страшились признать это право и жить в соответствии с ним. Вы изумленно смотрели на величайшее в истории достижение, вы разграбили его результаты и затемнили его причину. Видя тот памятник че-

ловеческой морали, который представляет собой завод, шоссе или мост, вы осуждали эту страну как аморальную, ее прогресс как «материальную алчность», вы извинялись за величие этой страны перед идолом первобытного голодания, перед разлагающимся европейским идолом прокаженного, мистического бродяги.

Эта страна — создание разума — не могла выжить на основе морали жертвования. Она построена не теми, кто искал самоуничтожения или подачек. Она не могла стоять на той мистической расщелине, которая отделяет душу человека от его тела. Она не могла жить той мистической доктриной, которая осуждает эту землю как зло и тех, кто добился на ней успеха, как порочных. С самого начала эта страна представляла собой угрозу давнему правлению мистиков. В блестящем взлете своей юности эта страна показала изумленному миру, какое величие возможно для человека, какое счастье возможно на земле. Существовать могло либо одно, либо другое: Америка или мистики. Мистики это знали; вы нет. Вы позволили им заразить вас поклонением нужде, и эта страна стала великаном в теле с попрошайкой-карликом вместо души, а живая ее душа была загнана в подполье,

чтобы трудиться и кормить вас в безвестности, безымянной, непризнанной, отвергнутой, душа этой страны и ее герой — промышленник. Слышишь меня, Хэнк Риарден, величайшая из жертв, за которую я воздал отмщенье?

Ни он, ни остальные не вернутся, пока дорога к восстановлению этой страны не будет чиста, пока обломки жертвенной морали не будут сметены с пути. Политическая система страны основана на своем моральном кодексе. Мы перестроим политическую систему Америки с учетом той моральной предпосылки, которая была ее фундаментом, но с которой вы обходились, как с преступным подпольем, в своих неистовых уклонениях от конфликта между этой предпосылкой и своей мистической моралью, предпосылкой, что человек сам по себе — цель, а не средство для целей других, что человек имеет неотъемлемое право на жизнь, свободу и счастье.

Вы, утратившие концепцию права, вы, колеблющиеся между утверждениями, что права — это Божий дар, сверхъестественный дар, который нужно принимать на веру, и что права — это дар общества и могут нарушаться по его произвольной прихоти, источник человеческих

прав не богоданный и не принятый конгрессом закон, а закон тождества. А есть А, и Человек есть Человек. Права — это условия существования, которых требует природа человека, чтобы выживать должным образом. Если человек должен жить на земле, он вправе пользоваться своим разумом, вправе действовать на основе своих суждений, вправе трудиться ради своих ценностей и владеть результатом своего труда. Если цель его — жить на земле, он вправе жить как разумное существо: природа запрещает ему быть неразумным. Любая группа, любая банда, любая нация, которая пытается отвергать права человека, порочна, представляет собой антижизнь.

Права — это моральная концепция, а мораль — вопрос выбора. Люди вольны не выбирать выживание по мерке их морали и их законов, но не вольны избежать того факта, что альтернативой является каннибальское общество, которое существует какое-то время, пожирая своих лучших членов, и слабеет, как пораженное раком тело, когда здоровые клетки съедены больными, разумные — неразумными. Такова была участь ваших обществ в истории, но вы уклонились от знания причины. Я называю ее орудием возмездия, которого вы не можете

избежать. Как один человек не может жить средствами неразумного, так не могут жить и двое, и две тысячи, и два миллиарда. Как один человек не может преуспеть, отвергая реальность, так не могут и нация, и страна, и весь земной шар. А есть А. Остальное — вопрос времени, предоставляемого щедростью жертв.

Как человек не может существовать без тела, так права не могут существовать без права реализовать их — думать, трудиться и владеть результатом своего труда, что означает право собственности. Современные мистики плоти, предлагающие вам жульническую альтернативу «прав человека» против «прав собственности», будто одни могут существовать без других, делают последнюю, нелепую попытку возродить доктрину души против тела. Без материальной собственности может существовать только призрак; без прав на продукт своего труда может работать только раб. Доктрина, что «права человека» выше «прав собственности», означает только, что одни люди могут получать собственность за счет других; поскольку способному человеку нечего получать от неспособного, это означает право неспособного владеть теми, кто его превосходит, и использовать их как рабо-

чий скот. Тот, кто считает это «правом», не может называться человеком.

Источником права собственности является закон причин и следствий. Вся собственность и все формы богатства создаются разумом и трудом человека. Как не может быть следствий без причин, так не может быть богатства без его источника — без интеллекта. Нельзя заставить работать интеллект: те, кто способны мыслить, не будут работать под принуждением; те, кто будут, произведут немногим больше цены кнута, нужного, чтобы держать их в рабском состоянии. Получить создания разума можно только на условиях его обладателя, на основе торговли и добровольного согласия. Любая другая политика по отношению к человеческой собственности является политикой преступников, каково бы ни было их число. Преступники — это дикари, не заглядывающие далеко вперед и голодающие, когда награбленная добыча приходит к концу, как голодаете сегодня и вы, думавшие, что преступление может быть «практичным», если ваше правительство решит, что грабеж законен, а сопротивление грабежу противозаконно.

Единственная надлежащая цель правительства — защищать права человека, что означает

защищать его от физического насилия. Надлежащее правительство — это просто-напросто полицейский, действующий как фактор самозащиты человека, и как таковое может применять силу только против тех, кто первым начал ее применять. Единственные надлежащие обязанности правительства — иметь полицию, чтобы защищать вас от преступников; иметь армию, чтобы защищать вас от чужеземных захватчиков; иметь суды, чтобы защищать вашу собственность и ваши договоры от нарушения и подделки другими, улаживать по разумным правилам споры в соответствии с объективными законами. Но правительство, которое вводит применение силы против людей, которые ни к кому ее не применяли, вводит вооруженное принуждение против безоружных жертв, представляет собой кошмарную адскую машину, созданную, чтобы уничтожить мораль: такое правительство меняет свою единственную моральную цель на противоположную и переходит от роли защитника к роли злейшего врага человека, от роли полицейского к роли грабителя, облеченного правом применять насилие против людей, лишенных права на самозащиту. Такое правительство вводит вместо морали следующее

правило общественного поведения: можешь делать со своим ближним все, что угодно, если у тебя банда больше, чем у него.

Только скот, дурак или уклонист может согласиться существовать на таких условиях или давать другим полное право на свой разум и свою жизнь, принять убеждение, что другие имеют право распоряжаться его личностью по собственной прихоти, что воля большинства всесильна, а физическая сила мышц и масс является заменой справедливости, реальности и истины. Мы, люди разума, торговцы, а не рабовладельцы, не принимаем права действовать по своему усмотрению и не даем его. Мы не живем и не работаем ни с какими формами необъективного.

Пока люди в эпоху дикарства не имели концепции объективной реальности и считали, что физическая природа управляется прихотями непознаваемых демонов, не были возможны ни мысль, ни наука, ни производство. Лишь когда люди открыли, что природа — это неизменный, предсказуемый абсолют, они смогли полагаться на свое знание, избирать путь действий, планировать будущее и медленно выходить из пещер. Теперь вы вернули современную промышленность с ее неимоверной сложностью научных

тонкостей опять во власть непознаваемых демонов, непредсказуемую власть своевольных прихотей недоступных, отвратительных, мелких бюрократов. Фермер не станет трудиться все лето, если не способен определить свои шансы на хороший урожай. Но вы ожидаете, что промышленные гиганты, строящие планы на десятилетия, требующие труда поколений, заключающие договоры на девяносто девять лет, будут работать, производить, понятия не имея, какой каприз, пришедший в голову случайному чиновнику, в какую минуту погубит все их усилия. Бродяги и чернорабочие живут масштабами одного дня. Чем сильнее разум, тем больше масштаб. Человек, чье видение простирается не дальше лачуги, может продолжить строительство на ваших зыбучих песках, положить в карман быструю прибыль и скрыться, но проектирующий небоскребы — нет. Не станет он и посвящать десять лет упорного труда изобретению новой продукции, если знает, что банды вошедшей в силу посредственности извращают законы, чтобы связать его, ограничить и обречь на неудачу, но, если он вступит в борьбу с ними и преуспеет, они присвоят его вознаграждения и его изобретения.

Взгляните шире, вы, кричащие, что боитесь конкуренции с людьми более высокого ума, что их разум представляет собой угрозу для ваших доходов, что сильные не оставляют шанса слабым на рынке свободной торговли. Что определяет материальную ценность вашей работы? Ничто, кроме созидательных усилий вашего разума, если живете на необитаемом острове. Чем менее активно ваше мышление, тем меньше даст вам ваш физический труд, и вы можете провести жизнь за однообразным делом, собирая зависящий от случая урожай или охотясь с луком и стрелами, будучи не в состоянии придумать еще что-то. Но если вы живете в разумном обществе, где люди вольны торговать, вы получаете громадное преимущество: материальная ценность вашей работы определяется не только вашими усилиями, но и усилиями лучших созидательных умов в окружающем вас мире.

Когда вы работаете на современном заводе, вы получаете деньги не только за свой труд, но и за труд промышленника, который его построил, инвестора, который скопил деньги для риска на новом и неопробованном, инженера, спроектировавшего машины, рычагами которых вы манипулируете, изобретателя, кото-

рый создал производимое вами изделие, ученого, открывшего законы, необходимые для производства этого изделия, за работу философа, который учил людей мыслить и которого вы осуждали.

Машина, застывшая форма живого разума, представляет собой силу, которая расширяет потенциал вашей жизни, повышая продуктивность вашего времени. Если бы вы работали кузнецом в средние века, ваш потенциальный доход состоял бы из железного бруса, выкованного вашими руками за несколько дней работы. Сколько тонн рельсов производите вы в день, если работаете у Хэнка Риардена? Вы смеете утверждать, что размер вашей зарплаты зависел только от вашего физического труда и эти рельсы были созданы вашими мышцами? Уровень жизни того кузнеца — вот и все, чего стоят ваши мышцы; остальное — дар от Хэнка Риардена.

Каждый волен подниматься так высоко, как хочет или может, но только уровень его мышления определяет ту ступень, на которую он перейдет. Физический труд как таковой не может выходить за пределы настоящего. Человек, занятый только физическим трудом, потребляет материальные ценности, эквивалентные своему вкладу в процесс производства, и не оставляет дополни-

тельных ценностей ни для себя, ни для других. Но человек, создающий идею в любой сфере работы разума, открывающий новое знание, — вечный благодетель человечества. Материальные изделия делить невозможно, они принадлежат конечному потребителю; только ценность идеи можно разделить с неограниченным количеством людей, сделав всех богаче без чьей-либо жертвы или утраты, повысив продуктивную способность выполняемой ими работы. Сильный разум передает ценность своего времени слабым, позволяя им пользоваться своим открытием, посвящая свое время новым изобретениям. Это взаимный обмен к общей выгоде; интересы разума едины, независимо от его уровня, среди людей, которые хотят работать, не ищут и не ждут незаработанного.

В пропорции к затраченной умственной энергии человек, создавший новое изобретение, получает лишь ничтожный процент своей ценности в виде материального вознаграждения, какое бы состояние он ни наживал, какие бы миллионы ни зарабатывал. Но человек, работающий уборщиком на заводе, производящем это изобретение, получает громадную плату в пропорции к умственным усилиям, которых

требует его работа. И то же самое можно сказать обо всех людях на всех уровнях способностей. Человек на вершине пирамиды интеллекта дает очень много тем, кто находится ниже, но получает только материальное вознаграждение, ему нет никаких интеллектуальных выгод от остальных. Но тот, кто находится внизу, будучи предоставлен сам себе, голодал бы в своей безнадежной неспособности. Он не дает ничего тем, кто над ним, но получает выгоду от их интеллекта. Такова природа «конкуренции» между сильными и слабыми в сфере интеллекта. Такова суть «эксплуатации», за которую вы нас осуждали.

Вот такую услугу мы оказывали вам и были рады, готовы оказывать. Что просили взамен? Ничего, кроме свободы. Мы требовали, чтобы вы дали нам свободу действовать, думать и работать по своему усмотрению, рисковать и нести убытки, зарабатывать себе состояния, делать ставку на вашу разумность, подвергать свои результаты вашему суждению для свободной торговли, полагаться на объективную ценность нашей работы и способность вашего разума понять ее, свободу полагаться на ваш ум и честность, иметь дело только с вашим разумом. Такова была

цена, какую мы просили и которую вы отвергли как слишком высокую. Вы решили назвать несправедливым то, что мы, те, кто вытащили вас из лачуг, обеспечили вас современными квартирами, радиоприемниками, кино и автомобилями, имеем дворцы и яхты. Вы решили, что имеете право на свою зарплату, но мы не имеем права на свои доходы, что вы хотите иметь дело не с нашим разумом, а со своим оружием. Мы ответили на это: «Будьте вы прокляты!» Наше пожелание сбылось. Вы прокляты.

Вы не хотели соперничать в интеллекте — теперь вы соперничаете между собой в скотстве. Вы не хотели, чтобы преуспевающий производственник получал вознаграждение, — теперь вы устроили гонки, в которых вознаграждение получает удачливый грабитель. Вы назвали корыстным и жестоким то, что люди обменивают ценность на ценность, и устроили бескорыстное общество, где они обмениваются результатами грабежа. Ваша система представляет собой узаконенную гражданскую войну, где люди объединяются в банды, воюющие друг с другом за то, чтобы прибрать к рукам законы и использовать их как дубину против соперников, пока другая банда не отнимет ее и начнет в свою очередь

колотить других. И все они заявляют, что служат непонятно какому благу непонятно какого общества. Вы сказали, что не видите разницы между экономической и политической властью, между властью денег и властью оружия, не видите разницы между вознаграждением и наказанием, между покупкой и грабежом, удовольствием и страхом, между жизнью и смертью. Теперь вы начинаете видеть эту разницу.

Кое-кто из вас может оправдываться ссылками на невежество, на ограниченность интеллекта и кругозора. Но самые отвратительные — это те, кто обладали способностью понимать, однако предпочли скрывать правду о реальности. Люди, захотевшие отдать свой разум, чтобы цинично прислуживать силе: презренная порода тех ученых, которые заявляют о преданности какому-то «чистому знанию». Эта чистота заключается в их утверждении, что такое знание не имеет практических целей. Они приберегают свою логику для неодушевленной материи, но считают, что предмет сделки с людьми не требует и не заслуживает разумности, такие люди презирают деньги и продают свои души в обмен на лабораторию, оборудованную награбленным. И поскольку не существует никакого «непрактичного

знания» или какой-то «незаинтересованной» деятельности, поскольку они презирают использование своей науки для цели и пользы жизни, они отдают свою науку на службу смерти, единственной практической цели, какую наука может иметь для грабителей: изобретению оружия сдерживания и разрушения. Они, эти интеллектуалы, стремящиеся избавиться от моральных ценностей, прокляты на этой земле, их нельзя простить. Слышите меня, доктор Роберт Стэдлер?

Но я хочу говорить не для него. Я говорю для тех среди вас, кто сохранил какие-то лучшие части души непроданными, не имеющими штампа «Под властью других». Если в хаосе тех мотивов, которые заставили вас слушать сейчас радио, есть честное, разумное желание понять, ч*то* неладно с миром, вы те, к кому я хотел обратиться. По правилам и условиям моего кодекса человек должен сделать разумное заявление тем, кого это волнует и кто старается понять. Те, кто стараются не понимать меня, — не моя забота.

Я говорю для тех, кто хочет жить и вернуть достоинство своим душам. Теперь, когда вы знаете правду о своем мире, перестаньте поддерживать своих губителей. Только ваше согласие сделало возможным зло. Лишите его своего согласия.

Лишите своей поддержки. Не старайтесь жить на условиях своих врагов или выиграть в игре, где они устанавливают правила. Не ищите одолжений тех, кто поработил вас, не просите милостыни у тех, кто ограбил вас, будь то субсидии, займы или работа, не вступайте в их отряды, чтобы возместить отнятое у вас, помогая им грабить ваших ближних. Невозможно поддерживать свою жизнь, принимая подачки, чтобы простить свое разорение. Не стремитесь к прибыли, успеху или безопасности ценой залога на свое право существовать. Такие залоги не выкупаются; чем больше вы платите им, тем большего они требуют; чем больше ценность, к которой стремитесь, тем более уязвимо-беспомощными становитесь. Они создали систему узаконенного шантажа, чтобы вымогать у вас деньги, наживаться не на ваших грехах, а на вашей любви к существованию.

Не пытайтесь подниматься на условиях грабителей или влезать по лестнице, когда они держат канаты. Не позволяйте их рукам касаться единственной силы, которая сохраняет их у власти: ваших живых устремлений. Начинайте бастовать так же, как я. Используйте тайком свои мастерство и разум, расширяйте знание,

развивайте способности, но не делитесь достижениями с другими. Не пытайтесь сколотить состояние, когда на спине у вас сидят грабители. Оставайтесь на нижней ступени их лестницы, зарабатывайте столько, чтобы едва хватало на жизнь, не создавайте лишнего цента, чтобы поддерживать государство грабителей. Раз вы невольники, действуйте, как невольники, не помогайте им делать вид, будто вы свободны. Будьте молчаливым, неподкупным врагом — они таких страшатся. Когда они принуждают вас, повинуйтесь, но не проявляйте инициативы. Не делайте по своей инициативе ни шага навстречу им, не высказывайте ни пожелания, ни просьбы, ни намерения. Не помогайте грабителю делать вид, что он — ваш друг и благодетель. Не помогайте своим тюремщикам делать вид, что жизнь в тюрьме — ваш естественный образ существования. Не помогайте им фальсифицировать реальность. Эта фальсификация — единственное, что удерживает их тайный ужас, ужас знания, что к существованию они непригодны; уничтожьте эту плотину, и пусть они тонут; ваша поддержка — их единственный спасательный круг.

Если вы найдете возможность скрыться в ка-

кой-нибудь глуши, вне пределов их досягаемости, скройтесь, но не существуйте, как бандиты, не создавайте отряда, соперничающего с ними в их рэкете; устройте свою созидательную жизнь вместе с теми, кто принимает ваш моральный кодекс и готов бороться за человеческое существование. У вас нет шанса выиграть по Морали Смерти или по кодексу веры и силы; поднимите знамя, под которое соберутся честные люди, — знамя Жизни и Разума.

Действуйте как разумное существо и ставьте себе целью стать объединителем всех, кто жаждет услышать честный голос, действуйте на основании своих ценностей, будете вы один среди врагов, или вместе с несколькими избранными друзьями, или образуйте небольшую коммуну.

Когда лишенное своих лучших рабов государство грабителей потерпит крах, когда оно превратится в хаос, как управляемые мистиками государства Востока, когда распадется на голодающие разбойничьи шайки, грабящие друг друга, а защитники морали жертвования сгинут вместе со своим высшим идеалом, в тот день мы вернемся.

Мы откроем ворота нашего города тем, кто достоин в него войти, города дымовых труб, трубо-

проводов, садов, магазинов и неприкосновенных жилищ. Будем действовать как пункт сбора всех аванпостов, какие вы создадите. С символом доллара как нашим гербом, символом свободной торговли и свободного разума мы пойдем в поход, чтобы снова отвоевать эту страну у бессильных дикарей, которые не поняли ее сущности, смысла, величия. Те, кто захотят присоединиться к нам, присоединятся; те, кто не захотят, будут не в силах остановить нас; орды дикарей никогда не были препятствием для людей, несущих знамя разума.

Эта страна вновь станет заповедником для исчезающего вида — разумных существ. Суть политической системы, которую мы будем строить, содержится в одной моральной предпосылке: никто не может получить никакой ценности от другого, прибегая к физической силе. Каждый будет стоять или падать, жить или умирать по своим разумным суждениям. Если человек не сможет воспользоваться им и потерпит крах, он будет единственной своей жертвой. Если он боится, что его суждение оставляет желать лучшего, ему не дадут оружия, чтобы исправить это. Если он решит исправить свои ошибки, перед ним будет пример тех, кто превосходит его,

для наставления в умении думать; но подлости платить жизнью одного за ошибки другого будет положен конец.

В этом мире вы сможете подниматься по утрам с тем духом, какой бывал у вас в детстве: это дух пылкости, авантюрности и уверенности, проистекающей из того, что вы живете в разумной вселенной. Дети не боятся природы: исчезнет ваш страх перед людьми, страх, который сковывал вашу душу, страх, который появился у вас при раннем столкновении с непонятным, непредсказуемым, противоречивым, своевольным, сокрытым, фальсифицированным, неразумным в людях. Вы будете жить в мире ответственных людей, последовательных и надежных, как факты; гарантией их качества будет система существования, где объективная реальность является мерой и судьей. Ваши добродетели будут защищены, пороки и слабости нет. Вашему добру будут открыты все двери, вашему злу нет. От людей вы будете получать не подачку, не жалость, не милосердие, не отпущение грехов, а единственную ценность — справедливость. И когда будете смотреть на людей или на себя, будете испытывать не отвращение, не подозрение, не чувство вины, а только уважение.

Таково будущее, какого вы можете добиться. Оно требует усилий, как и любая человеческая ценность. Вся жизнь представляет собой целеустремленные усилия, и единственный выбор, какой у вас есть, это выбор цели. Вы хотите продолжать битву за свое настоящее или сражаться за мой мир? Хотите продолжать борьбу, цепляясь за ненадежные выступы при скольжении в бездну, борьбу, где трудности, которые переносите, неизменны, и победы приближают вас к гибели? Или хотите предпринять борьбу, состоящую из уверенного подъема по уступам к вершине, усилиям, где трудности являются вкладом в ваше будущее, а победы неуклонно приближают вас к миру вашего морального идеала. И если вы умрете, не достигнув солнечного света, вы умрете на том уровне, куда доходят его лучи? Вот такой стоит перед вами выбор. Пусть это решают ваш разум и ваша любовь к существованию.

Последние мои слова будут обращены к тем героям, которые, возможно, все еще скрываются в мире, тем, кого держат в плену не их уклончивость, а их добродетели и отчаянное мужество. Братья по духу, взгляните на свои добродетели и на природу врагов, которым вы служите. Ваши губители удерживают вас вашими стой-

костью, щедростью, простодушием, любовью: стойкостью, которая несет их бремя; щедростью, отзывающейся на их крики отчаяния; простодушием, которое неспособно постичь их зло и всегда исходит из презумпции их невиновности, отказывается осуждать их без понимания и не может понять таких мотивов, как у них; любовью, вашей любовью к жизни, заставляющей вас верить, что они — люди и тоже любят ее. Но сегодняшний мир таков, каким они хотели его видеть; жизнь представляет собой объект их ненависти. Оставьте их смерти, которой они поклоняются. Во имя вашей замечательной преданности этой земле оставьте их, не тратьте величие своей души на достижение торжества их зла. Слышишь ты меня… любимая?

Во имя лучшего в вас, не жертвуйте этим миром ради тех, кто представляет собой его худшее. Во имя ценностей, которые поддерживают вашу жизнь, не позволяйте, чтобы ваше видение человека было искажено уродливым, трусливым, безмозглым в тех, кто не достиг этого звания. Не забывайте, что подобающее состояние человека — это вертикальное положение, непреклонный разум и движение по нескончаемым дорогам. Не позволяйте своему огню гаснуть

искра за искрой. Не позволяйте герою в своей душе сгинуть в одинокой борьбе за ту жизнь, которую вы заслуживаете, но достичь не смогли. Проверьте свою дорогу и природу своей битвы. Мира, которого вы хотели, можно добиться, он существует, он реален, он возможен, он ваш. Но чтобы добиться его, от вас требуется полная преданность делу и полный разрыв с миром вашего прошлого, с доктриной, что человек — это жертвенное животное, существующее ради блага других.

Сражайтесь за ценность своей личности. Сражайтесь за добродетель своей гордости. Сражайтесь за сущность человека: за его независимый, мыслящий разум. Сражайтесь за великолепную уверенность и абсолютную верность знания, что ваша мораль — это Мораль Жизни, что ваша борьба — борьба за достижение любой ценности, любого величия, любого добра, любой радости, какие только существовали на этой земле.

Вы добьетесь этого мира, когда будете готовы произнести ту клятву, которую дал я в начале своей битвы. И для тех, кто хочет знать день моего возвращения, я произнесу ее во всеуслышание: «Клянусь своей жизнью и любовью к ней, что никогда не буду жить для кого-то другого

и не попрошу кого-то другого жить для меня».

ГЛАВА VIII. ЭГОИСТ

— Это не было реально, так ведь? — произнес мистер Томпсон.

Когда смолк голос Голта, все молча застыли, глядя на приемник, словно в ожидании. Но теперь это была просто деревянная коробка с несколькими ручками и кружком ткани поверх утихшего динамика.

— Мы вроде бы это слышали, — произнес Тинки Холлоуэй.

— Мы ничего не могли поделать, — сказал Чик Моррисон.

Мистер Томпсон сидел на тумбочке. Бледное продолговатое пятно на уровне его локтя было лицом Уэсли Моуча, расположившегося на полу. Далеко позади них, словно островок в полутьме студии, декорация гостиной, подготовленная для их передачи, стояла пустой, ярко освещенной, полукруг пустых кресел под проводами выключенных микрофонов заливал свет прожекторов, которые никто не потрудился выключить.

Взгляд мистера Томпсона блуждал от лица к лицу, словно в поиске каких-то особых вибраций, известных только ему одному. Остальные

старались делать это украдкой, каждый пытался поймать взгляд других, не давая, однако, им поймать своего.

— Выпустите меня отсюда! — закричал один из молодых помощников, внезапно и ни к кому не обращаясь.

— Оставайся на месте! — рявкнул мистер Томпсон.

Звук собственного приказа и икание-стон застывшего где-то в темноте человека словно бы помогли ему вновь обрести привычное восприятие реальности. Голова его чуть поднялась.

— Кто позволил этому слу… — начал было мистер Томпсон повышающимся голосом, но умолк; вибрации, которые он уловил, представляли собой опасную панику загнанных в угол людей.

— Что скажете о случившемся? — спросил вместо этого он. Ответа не последовало.

— Ну? — он подождал. — Ну скажите же что-то, кто-нибудь!

— Мы не должны верить этому, правда? — воскликнул Джеймс Таггерт, чуть ли не угрожающе приблизив лицо к мистеру Томпсону. — Правда?

Лицо Таггерта исказилось; черты лица казались бесформенными: между носом и ртом образовались усики из капелек пота.

— Потише, — неуверенно проговорил мистер Томпсон, чуть отстранясь.

— Мы не должны верить этому! — в категоричном, настойчивом голосе Таггерта звучало усилие оставаться в некоем трансе. — Раньше этого никто не говорил! Сказал всего один человек! Мы не должны этому верить!

— Успокойся, — сказал мистер Томпсон.

— Почему он так уверен в своей правоте? Кто он такой, чтобы идти против всего мира, против того, что говорилось веками? Кто он такой, чтобы знать? Никто не может быть уверен! Никто не может знать, что правильно! Не существует ничего правильного!

— Заткнись! — приказал мистер Томпсон. — Что ты хочешь…

Его заставил умолкнуть гром военного марша, внезапно раздавшийся из приемника, марша, прерванного три часа назад и звучавшего знакомыми визгами студийного магнитофона. Все были ошеломлены, им потребовалось несколько секунд, чтобы это осознать, а тем временем бодрые, мерные аккорды раскатывались в тишине, звучали они возмутительно-неуместно, словно веселье сумасшедшего. Режиссер программы слепо руководствовался абсолютом, что эфирное

время должно быть постоянно заполненным.

— Скажите, пусть выключат! — завопил Уэсли Моуч. — Из-за музыки люди сочтут, что мы разрешили эту речь!

— Проклятый дурак! — крикнул мистер Томпсон. — По-твоему, лучше пусть думают, что не разрешали?

Моуч замер и обратил к мистеру Томпсону признательный взгляд, как дилетант смотрит на мастера.

— Вещание продолжать! — распорядился мистер Томпсон. — Скажите, пусть запускают намеченные на это время программы! Никаких специальных объявлений, никаких объяснений! Пусть продолжают как ни в чем не бывало!

С полдюжины моррисоновских укрепителей духа поспешили к телефонам.

— Комментаторам не давать слова! Сообщите это всем радиостанциям в стране! Пусть люди ломают головы! Не давайте им подумать, что мы обеспокоены! Не давайте подумать, что это важно!

— Нет! — завопил Юджин Лоусон. — Нет, нет, нет! Нельзя создавать впечатление, что мы одобрили эту речь! Ужасно, ужасно, ужасно!

Лоусон не плакал, но в голосе его звучала по-

стыдная нотка всхлипывающего в беспомощной ярости взрослого человека.

— Кто сказал что-то об одобрении? — резко спросил мистер Томпсон.

— Это ужасно! Аморально! Эгоистично, бессердечно, безжалостно! Таких вредных речей еще не бывало! Она… она заставит людей требовать счастья!

— Это всего лишь речь, — не особенно твердо произнес мистер Томпсон.

— Мне кажется, — начал было Чик Моррисон неуверенно-обнадеживающим тоном, — что люди благородной духовной природы, вы понимаете, о ком я, люди… ну… ну, мистической интуиции… — он сделал паузу, словно в ожидании удара, но никто не шевельнулся, поэтому он твердо повторил: — … да, мистической интуиции не поддадутся на эту речь. В конце концов логика — это еще не все.

— Рабочие на нее не поддадутся, — сказал Тинки Холлоуэй чуть более обнадеживающе. — Он не говорил как друг трудящихся.

— Женщины не поддадутся на нее, — сказала Мамочка Чалмерс.

— На ученых можете положиться, — сказал доктор Саймон Притчетт. Присутствующие по-

дались вперед, при этом всех внезапно охватило желание говорить, словно они нашли тему, которую можно обсуждать с уверенностью. — Ученые не так глупы, чтобы верить в разум. Он не друг ученых.

— Он не друг никому, — сказал Уэсли Моуч, обретший при внезапном осознании чуточку уверенности, — разве что крупным бизнесменам.

— Нет! — крикнул в ужасе мистер Моуэн. — Нет! Не обвиняйте нас! Не говорите этого! Я не позволю!

— Не говорить чего?

— Что… что… кто-то друг бизнесменам!

— Давайте не поднимать шума из-за этой речи, — сказал доктор Флойд Феррис. — Она была слишком интеллектуальной. Чересчур интеллектуальной особой для простых людей. Она не произведет впечатления. Люди слишком глупы, чтобы ее понять.

— Да, — произнес с надеждой в голосе Моуч, — это так.

— Во-первых, — заговорил, ободрясь, доктор Феррис, — люди не умеют думать. Во-вторых, не хотят.

— В-третьих, — сказал Фред Киннан, — они не хотят голодать. И что вы предлагаете

с этим делать?

Казалось, он задал тот вопрос, который все предыдущие высказывания должны были предотвратить. Никто не ответил ему, но все чуть втянули головы в плечи и придвинулись друг к другу, словно под давлением пустого пространства студии. Военный марш гремел в тишине с непоколебимой веселостью усмехающегося черепа.

— Выключите его! — заорал мистер Томпсон, указав на приемник. — Выключите эту чертову штуку!

Кто-то повиновался. Но внезапная тишина была еще хуже.

— Ну? — сказал, наконец, мистер Томпсон, неохотно взглянув на Фреда Киннана. — Что нам следует делать, как вы считаете?

— Кто, я? — со смешком переспросил Киннан. — Не я заправляю этими делами.

Мистер Томпсон стукнул кулаком по колену.

— Скажите что-нибудь, — приказал он, но увидев, что Киннан отвернулся, добавил: — Кто-нибудь!

Добровольцев не нашлось.

— Что нам делать? — крикнул он, понимая, что тот, кто ответит, потом придет к власти. —

Что делать? Может сказать кто-нибудь, что делать?

— Могу я!

Это был женский голос, но звучал он так, как тот, который они слышали по радио. Все повернулись к Дагни прежде, чем она успела выйти из темноты. Когда вышла, ее лицо испугало их, потому что в нем не было страха.

— Могу я, — сказала она, обращаясь к мистеру Томпсону. — Вы должны сдаться.

— Сдаться? — тупо повторил он.

— Ваша песенка спета. Неужели неясно? Что вам еще нужно после того, что вы слышали? Сдайтесь и уйдите с дороги. Дайте людям жить свободно. — Мистер Томпсон смотрел на нее, не шевелясь и не возражая. — Вы еще живы, вы еще пользуетесь человеческой речью, вы просите ответов, вы полагаетесь на разум, все еще полагаетесь, черт возьми! Вы способны понимать. Не может быть, чтобы вы не поняли. Теперь вы не можете делать вид, будто на что-то надеетесь, вам нечего хотеть, получать, захватывать или достигать. Сдайтесь и уходите.

Они слушали напряженно, но будто не слыша слов, будто слепо тянулись к достоинству, которым среди них обладала только она: достоинству

быть живой. В гневной напористости ее голоса слышался торжествующий смех, голова была высоко поднята, глаза словно бы видели какое-то зрелище в невероятной дали, светлое пятно на ее лбу казалось отражением не студийного прожектора, а восходящего солнца.

— Вам хочется жить, не так ли? Уходите с дороги, если хотите иметь такую возможность. Пусть на смену вам придут другие. Он знает, что делать. Вы нет. Он способен создать условия для выживания человечества. Вы нет.

— Не слушайте ее!

Это был такой дикий крик ненависти, что все отпрянули от доктора Роберта Стэдлера, словно он озвучил то, в чем они не смели признаться. Лицо его выглядело так, как выглядели их лица в спасительной темноте, чего они очень боялись.

— Не слушайте ее! — крикнул он, избегая ее краткого, прямого взгляда, удивленного в начале и погребального в конце. — Речь идет о вашей или его жизни!

— Успокойтесь, профессор, — сказал мистер Томпсон, резко отмахнувшись от него. Он смотрел на Дагни так, словно в его мозгу какая-то мысль силилась обрести форму.

— Вы все знаете правду, — продолжала она, — знаю и я, и каждый, кто слышал Джона Голта! Чего еще ждете? Доказательства? Он дал его вам. Фактов? Они вокруг вас. Сколько еще трупов собираетесь нагромоздить до того, как откажетесь от всего: от оружия, власти, контроля и своего жалкого альтруистического кредо? Откажитесь, если хотите жить. Откажитесь, если еще способны хотеть, чтобы люди на земле оставались живыми!

— Это же измена! — крикнул Юджин Лоусон. — То, что она говорит, — сущая измена!

— Ну-ну, — сказал мистер Томпсон. — Не надо бросаться в крайности.

— Что? — переспросил Тинки Холлоуэй.

— Но… но разве это не возмутительно? — обратился с вопросом Чик Моррисон.

— Уж не соглашаетесь ли вы с ней? — спросил Уэсли Моуч.

— Разве кто-то говорил о согласии? — произнес мистер Томпсон с удивительным спокойствием. — Не забегай вперед. Ничего плохого нет в том, чтобы выслушать любые доводы, верно?

— Такие доводы? — Уэсли Моуч ткнул пальцем в сторону Дагни.

— Любые, — спокойно ответил мистер Томп-

сон. — Нельзя быть нетерпимыми.

— Но это измена, пагубное влияние, вероломство, эгоизм и пропаганда большого бизнеса!

— О, не знаю, — возразил мистер Томпсон. — Нам нужно быть непредубежденными. Нужно рассматривать все точки зрения. Возможно, в том, что она говорит, что-то есть. Джон Голт знает, что делать. Нужно быть гибкими.

— Вы хотите сказать, что готовы уйти? — воскликнул Моуч.

— Не спеши с выводами, — гневно бросил ему в ответ мистер Томпсон. — Чего я не могу терпеть, так это людей, спешащих с выводами. И еще интеллектуалов в башне из слоновой кости, которые держатся за какую-то любимую теорию и понятия не имеют о практической реальности. В такое время, как наше, прежде всего нужно быть терпимыми.

Он увидел недоуменное выражение на лице Дагни и лицах остальных, правда, недоумевали они по разным причинам. Мистер Томпсон встал, улыбнулся и обратился к Дагни:

— Спасибо, мисс Таггерт. Спасибо, что высказали свое мнение. Хочу, чтобы вы знали — мне можно доверять, говорить со мной можно с полной откровенностью. Мы вам не враги, мисс Таггерт.

Не обращайте внимания на ребят, они расстроены, но встанут на реальную почву. Мы не враги ни вам, ни стране. Само собой, мы совершали ошибки, мы всего-навсего люди, но мы старались сделать все возможное для народа, то есть для всех, в эти трудные времена. Мы не можем выносить скоропалительные суждения и поспешно принимать важные решения, так ведь? Мы должны все обдумать, обсудить, тщательно взвесить. Я только хочу, чтобы вы имели в виду — мы никому не враги. Вы понимаете это, не так ли?

— Я сказала все, что хотела сказать, — ответила Дагни, отворачиваясь, не имея ни ключа к смыслу слов мистера Томпсона, ни сил, чтобы попытаться найти его. Она повернулась к Эдди Уиллерсу, смотревшему на окружающих так негодующе, что он казался парализованным, словно разум его восклицал: «Это зло!» и не мог перейти к другой мысли. Дагни указала ему кивком на дверь; он покорно пошел за ней следом.

Доктор Роберт Стэдлер подождал, пока дверь за ними закроется, потом повернулся к мистеру Томпсону:

— Проклятый дурак! Вы отдаете себе отчет, с чем играете? Вам непонятно, что это вопрос

жизни или смерти? Либо вы, либо он?

Легкая дрожь, пробежавшая по губам мистера Томпсона, представляла собой презрительную улыбку.

— Странное поведение для профессора. Не думал, что профессора могут обезуметь.

— Не понимаете? Не видите, что либо один из вас, либо другой?

— И что, по-вашему, нужно мне сделать?

— Вы должны убить его.

Доктор Стэдлер не выкрикнул это, а произнес ровным, холодным, неожиданно совершенно трезвым голосом, ответом всей студии явилась минута мертвого молчания.

— Вы должны найти Голта, — заговорил доктор Стэдлер, голос его снова стал громким, бодрым. — Не успокаиваться, пока не найдете его и не уничтожите! Если он будет жив, то уничтожит всех нас! Либо мы, либо он!

— И как мне его найти? — неторопливо, сдержанно спросил мистер Томпсон.

— Я… я могу сказать вам. Следите за этой Таггерт. Поручите своим людям следить за каждым ее шагом. Рано или поздно она приведет вас к нему.

— Откуда вы это знаете?

— Разве неясно? Разве она давным-давно не покинула вас не по чистой случайности? Неужели у вас не хватает ума понять, что она — одна из таких, как он?

Стэдлер не уточнил, каких.

— Да, — задумчиво произнес мистер Томпсон, — да, это верно, — и с довольной улыбкой вскинул голову: — В словах профессора есть смысл. Организуй слежку за мисс Таггерт, — приказал он, щелкнув пальцами, Уэсли Моучу. Пусть следят за ней днем и ночью. Мы должны найти Голта.

— Слушаюсь, сэр, — тупо ответил Моуч.

— А когда найдете, — сдавленно спросил доктор Стэдлер, — убьете его?

— Убить, чертов болван? Он нам нужен! — выкрикнул мистер Томпсон.

Моуч ждал, но никто не осмеливался задать вопрос, который вертелся у всех на языке, поэтому он сдавленно пробормотал:

— Я не понимаю вас, мистер Томпсон.

— Ну, теоретики-интеллектуалы! — с раздражением произнес мистер Томпсон. — Чему вы все удивляетесь? Все очень просто. Кем бы Голт ни был, он — человек действия. Притом у него есть группа давления: он собрал всех людей ра-

зума. Он знает, что делать. Мы найдем его, и он скажет нам. Заставит механизм работать. Вытащит нас из дыры.

— Нас, мистер Томпсон?

— Конечно. Оставьте свои теории. Мы заключим с ним сделку.

— С ним?

— Конечно. Придется пойти на компромисс, сделать кое-какие уступки большому бизнесу, ребятам из соцобеспечения это не понравится, ну и черт с ним! Вы знаете иной выход?

— Но его идеи…

— Кого они волнуют?

— Мистер Томпсон, — выдавил их себя Моуч, — я… я боюсь, он из тех, кто не идет на сделки.

— Таких не существует, — констатировал мистер Томпсон.

* * *

На улице возле радиостанции холодный ветер с грохотом сотрясал сломанные вывески над витринами брошенных магазинов. Город казался необычайно спокойным. Далекий шум уличного движения звучал тише, чем обычно, шум ветра от этого казался громче. Пустые тротуары уходили в темноту; несколько небольших групп

людей стояли, перешептываясь, под редкими фонарями.

Эдди Уиллерс молчал, пока они не отошли за много кварталов от радиостанции. Он внезапно остановился на безлюдной площади, где из общественных громкоговорителей, которые никто не подумал выключить, звучала передача семейной комедии — муж с женой спорили пронзительными голосами о девушках, с которыми встречается сын, — оглашая пустое вымощенное пространство, окруженное фасадами темных домов. За площадью над домами в двадцать пять этажей — в городе был такой предел этажности — светился вертикально протянувшимися точками огней небоскреб Таггертов.

Эдди остановился и указал на него дрожащим пальцем.

— Дагни! — воскликнул он, потом невольно понизил голос. — Дагни, — прошептал он, — я его знаю. Он… он работает там… там… — Эдди продолжал с невероятной беспомощностью указывать на небоскреб. — Он работает в *«Таггерт Трансконтинентал»* …

— Знаю, — ответила она безжизненным, монотонным голосом.

— Путевым обходчиком… Простым обходчиком…

— Знаю.

— Я общался с ним… общался несколько лет… в столовой терминала… Он задавал вопросы… всевозможные вопросы о железной дороге, и я… Господи, Дагни! Защищал я железную дорогу или помогал уничтожить ее?

— И то и другое. Ни то, ни другое. Теперь это уже неважно.

— Я готов был дать голову на отсечение, что он любит железную дорогу!

— Любит.

— Но уничтожил ее.

— Да.

Дагни подняла воротник пальто и пошла дальше навстречу ветру.

— Я общался с ним, — опять заговорил Эдди некоторое время спустя. — Его лицо… не похоже на лица других, оно… по нему видно, что он очень многое понимает… я бывал рад всякий раз, видя его там, в столовой… я просто общался с ним… вряд ли отдавал себе отчет, что он расспрашивает меня… но он задавал очень много вопросов о железной дороге и… и о тебе.

— Спрашивал он когда-нибудь, как я выгляжу,

когда сплю?

— Да… Да, спрашивал… я как-то застал тебя спящей в кабинете, и когда упомянул об этом, он…

Эдди внезапно умолк, словно о чем-то догадался.

Дагни повернулась к нему в свете уличного фонаря, приподняла лицо и молча держала его на полном свету, словно в ответ и в подтверждение мысли Уиллерса.

Эдди закрыл глаза.

— О господи, Дагни! — прошептал он.

Они молча пошли дальше.

— Он уже ушел, так ведь? — спросил Эдди. — С ТерминалаТаггертов?

— Эдди, — заговорила Дагни внезапно суровым голосом, — если тебе дорога его жизнь, никогда не задавай этого вопроса. Ты не хочешь, чтобы они нашли его, так ведь? Не давай им никаких наводок. Не заикайся никому о том, что знаешь его. Не пытайся выяснить, работает ли он еще на Терминале.

— Ты хочешь сказать, что он по-прежнему там?

— Не знаю. Знаю только, что может быть.

— Сейчас?

— Да.

— Все еще?

— Да. Помалкивай об этом, если не хочешь его уничтожить.

— Я думаю, он ушел. И не вернется. Я не видел его с тех пор… с тех…

— С каких? — резко спросила Дагни.

— С конца мая, с того вечера, как ты уехала в Юту, помнишь? — Эдди сделал паузу, вспомнив ту встречу и полностью поняв ее значение. И с усилием сказал: — Я видел его в тот вечер. Потом уже нет… я ждал его в столовой… Он больше не появлялся.

— Думаю, он больше не покажется тебе на глаза. Только не ищи его. Не наводи справок.

— Странное дело. Я даже не знаю, какой фамилией он пользовался. Джонни…

— Джон Голт, — продолжила за него Дагни с легким, невеселым смешком. — Не заглядывай в платежную ведомость Терминала. Его фамилия все еще есть там.

— Вот как? Все эти годы?

— Двенадцать лет. Вот так.

Минуту спустя Эдди сказал:

— Это ничего не доказывает, я знаю. В отделе кадров после Директивы 10–289 из платежной ведомости не убирают никаких фамилий. Если

человек увольняется, они предпочитают давать его фамилию и работу своему голодающему другу, а не сообщать об этом в Объединенный комитет.

— Не расспрашивай ни кадровиков, ни кого бы то ни было. Не привлекай внимания к его имени. Если ты или я станем наводить справки о нем, кое-кто может заинтересоваться. Не ищи его. Не делай никаких шагов в этом направлении. И если случайно увидишь его, держись так, будто он тебе незнаком.

Эдди кивнул. Спустя некоторое время произнес негромким, сдавленным голосом:

— Я не выдал бы его даже ради спасения железной дороги.

— Эдди…

— Что?

— Если когда-нибудь увидишь его, скажи мне.

Он кивнул.

Когда они прошли два квартала, Эдди негромко спросил:

— Ты собираешься в один прекрасный день бросить все и исчезнуть, правда?

— Почему ты спрашиваешь?

Это было чуть ли не воплем:

— Правда?

Дагни ответила не сразу; когда заговорила, нотка отчаяния в ее голосе звучала лишь сдержанной монотонностью:

— Эдди, если я уйду, что станет с поездами Таггертов?

— Через неделю никаких поездов Таггертов не будет. Может, даже меньше, чем через неделю.

— Через десять дней не будет правительства грабителей. Потом люди вроде Каффи Мейгса растащат наши последние рельсы и паровозы. Стоит ли мне проигрывать эту битву, не повременив какой-то минуты? Как я могу позволить ей сгинуть — *«Таггерт Трансконтинентал»*, Эдди — сгинуть навсегда, если одно последнее усилие еще может сохранить ее? Если я держалась до сих пор, могу подержаться еще немного. Совсем немного. Я не помогаю грабителям. Им теперь ничто не может помочь.

— Что они собираются делать?

— Не знаю. Что они могут? Им конец.

— Думаю, что да.

— Разве ты не видел их? Это жалкие, перепуганные крысы, бегущие ради спасения жизни.

— Значит она что-нибудь для них?

— Что?

— Жизнь.

— Они все еще борются, так ведь? Но им конец, и они это знают.

— Разве они когда-нибудь действовали на основании того, что знают?

— Теперь придется. Они сдадутся. Вскоре. А потом мы будем спасать то, что уцелело.

* * *

«Мистер Томпсон доводит до всеобщего сведения, — вещали официальные радиопередачи утром 23 ноября, — что причин для тревоги нет. Он призывает людей не делать никаких поспешных выводов. Мы должны сохранять нашу дисциплину, нашу мораль, наше единство и наше чувство терпимости. Необычная передача, которую кое-кто из вас мог слышать по радио накануне вечером, было заставляющим думать вкладом в наш пул идей, касающихся мировых проблем. Мы должны трезво обдумать ее, избегая крайностей тотального осуждения или бездумного согласия. Нужно рассматривать ее как одну из точек зрения, из многих на нашем демократическом форуме общественного мнения, который, как показал вчерашний вечер, открыт для всех. Истина, говорит мистер Томпсон, многогранна.

Мы должны оставаться беспристрастными».

«Они молчат», — написал в виде резюме Чик Моррисон на донесении одного из полевых агентов, которые отправил с миссией, названной «Прощупывание пульса общества». «Они молчат», — повторил он на одном донесении, следом еще на одном, потом на другом. «Молчание, — писал он, беспокойно хмурясь, в донесении мистеру Томпсону. — Люди как будто бы молчат».

Пламени, которое взметнулось к небу в одну из зимних ночей и пожрало дом в штате Вайоминг, не видели люди в Канзасе, наблюдавшие трепещущее красное зарево на горизонте прерии. Его отбрасывал огонь, пожиравший ферму, и это зарево не отражалось в окнах одной из пенсильванских улиц, где вьющиеся красные языки представляли собой отражения уничтожавших завод огней. На другое утро никто не упомянул, что эти пожары вспыхнули не случайно, и что все три владельца исчезли. Соседи наблюдали за ними без комментариев и удивления. В разных уголках страны было обнаружено несколько брошенных домов: одни хозяева оставили запертыми, пустыми, с закрытыми ставнями, другие открытыми, все движимое имущество в них было разграблено. Но люди наблюдали за этим

в молчании и тащились по сугробам неубранных улиц в предрассветных сумерках на работу чуть медленнее, чем обычно.

Потом, 27 ноября, на политическом митинге в Кливленде был избит оратор, и ему пришлось удирать по темным переулкам. Его молчаливые слушатели внезапно оживились, когда он выкрикнул, что причиной всех их бед была эгоистическая озабоченность своими бедами.

Утром 29 ноября рабочие обувной фабрики в Массачусетсе, придя на работу, были удивлены тем, что мастер опаздывает. Однако все разошлись по своим местам и принялись за обычную работу, передвигали рычаги, нажимали кнопки, отправляли кожу в автоматические режущие устройства, ставили ящики на ленту конвейера, удивляясь, что идет час за часом, а они не видят ни мастера, ни директора, ни генерального управляющего, ни президента компании. Только в полдень было обнаружено, что кабинеты управленцев пусты.

«Проклятые каннибалы!» — кричала какая-то женщина в переполненном кинотеатре, внезапно разразившаяся истерическими рыданиями, и люди не выказали ни малейшего удивления, словно она кричала за всех них.

«Причин для тревоги нет, — вещали официальные радиопередачи 5 декабря. — Мистер Томпсон доводит до всеобщего сведения, что готов вести переговоры с Джоном Голтом с целью найти пути и способы быстрого решения наших проблем. Мистер Томпсон призывает людей быть терпеливыми. Мы не должны беспокоиться, не должны сомневаться, не должны терять мужества».

Персонал одной больницы в Иллинойсе не выказал удивления, когда туда доставили человека, избитого старшим братом, который всю жизнь содержал его: младший раскричался на старшего, обвиняя его в эгоизме и алчности. Точно так же персонал одной из больниц Нью-Йорка вел себя, когда туда пришла женщина со сломанной челюстью: ее ударил совершенно незнакомый человек, услышав, как она приказала пятилетнему сыну отдать свою лучшую игрушку соседским детям.

Чик Моррисон попытался устроить разъездную агитационную кампанию, дабы укрепить дух страны речами о самопожертвовании и общем благе. Люди закидали выступающего камнями на одной из первых же остановок, и ему пришлось вернуться в Вашингтон.

Никто не называл их «выдающимися» или,

назвав, делал паузу, чтобы полностью осмыслить это слово. Но каждый в своей общине, районе, конторе или на предприятии знал, кто те люди, которые теперь не появлялись на работе или, появившись утром, молча исчезали в поисках неведомых границ, чьи лица были более суровыми, чем у окружающих, а взгляды более прямыми, характеры более твердыми. Эти люди теперь исчезали один за другим во всех уголках страны. А сама страна напоминала отпрыска царственного рода, изнуренного гемофилией, теряющего лучшую кровь из незаживающей раны.

— Но мы готовы вести переговоры! — кричал мистер Томпсон своим помощникам, приказывая, чтобы по радио три раза в день передавалось специальное объявление: «Мы готовы вести переговоры! Он услышит! Он ответит!»

Специальным слушателям было приказано дежурить днем и ночью у радиоприемников, настроенных на все известные частоты, ожидая ответа по неизвестному передатчику. Ответа не было.

На улицах городов становились все более заметными пустые, безнадежные, рассеянные лица, но никто не мог понять, что крылось в их выражении. Как одни спасали тела бегством

в убежища незаселенных районов, так другие могли только спасать души бегством в убежище своего разума. И никто на свете не мог понять, служат ли пустые, равнодушные глаза ставнями, защищающими сокрытые сокровища на дне шахт, которые больше не разрабатывают, или это просто зияющие отверстия той паразитической пустоты, которую никогда не заполнить.

— Я не знаю, что делать, — заявил заместитель директора нефтеперегонного завода, отказываясь принять должность своего исчезнувшего начальника, и агенты Объединенного комитета не могли понять, лжет он или нет. Только уверенный тон его голоса, отсутствие извинения или стыда, заставили их задуматься, мятежник он или дурак. Навязывать ему должность и в том, и в другом случае было опасно.

«Дайте нам людей!» — это требование все настойчивее поступало в Объединенный комитет со всех концов охваченной безработицей страны, и ни просители, ни члены комитета не осмеливались добавлять опасное слово, которое подразумевалось в этом требовании: «Дайте нам способных людей!» Люди годами ждали в очередях работы уборщиков, смазчиков, подсобников, помощников официанта; на должности ад-

министраторов, управляющих, директоров, инженеров не претендовал никто.

Взрывы нефтеперегонных заводов, катастрофы неисправных самолетов, прорывы домен, крушения сталкивающихся поездов и слухи о пьяных оргиях в кабинетах вновь назначенных администраторов заставляли членов Объединенного комитета бояться людей, не хотевших занимать ответственные должности.

«Не отчаивайтесь! Не сдавайтесь! — вещали официальные радиопередачи 15 декабря и потом ежедневно. — Мы достигнем соглашения с Джоном Голтом. Мы пригласим его возглавить нас. Он решит все наши проблемы. С ним дела пойдут на лад. Не сдавайтесь! Мы найдем Джона Голта!»

Претендентам на должности управленцев, потом мастеров, далее квалифицированных механиков и следом всем, кто постарается заслужить повышение, предлагались вознаграждения и почести: повышение зарплат, премии, освобождение от налогов и орден, придуманный Уэсли Моучем, «Орден общественного благодетеля». Результатов это не принесло. Оборванные люди слушали эти предложения материальных благ и отворачивались с летаргическим равнодушием, словно утратили концепцию «ценности».

«Они, — думали со страхом «прощупыватели пульса общества», — не хотят жить или не хотят жить в существующих условиях».

«Не отчаивайтесь! Не сдавайтесь! Джон Голт решит наши проблемы!» — вещали радиоголоса в официальных передачах, несшиеся сквозь тишину снегопада в тишину неотопленных домов.

— Не говорите людям, что мы его не нашли! — кричал мистер Томпсон своим помощникам. — Но, ради бога, скажите, чтобы обнаружили его!

Отрядам подчиненных Чика Моррисона была поручена задача: распускать слухи. Одни говорили, что Джон Голт в Вашингтоне, совещается с государственными служащими, другие, что правительство даст пятьсот тысяч долларов в награду за сведения, которые помогут найти Джона Голта.

— Нет, никакой путеводной нити, — сказал Уэсли Моуч мистеру Томпсону, суммируя донесения специальных агентов, которых отправили наводить справки по всей стране обо всех людях по имени Джон Голт. — Это жалкая публика. Есть Джон Голт — восьмидесятилетний профессор криминологии, есть ушедший на покой торговец фруктами с женой и девятью детьми, есть путевой обходчик, работающий на одном месте

двенадцать лет, и тому подобная шваль.

«Не отчаивайтесь! Мы найдем Джона Голта!» — вещали днем официальные радиопередачи, но в ночные часы по секретному официальному распоряжению из коротковолновых передатчиков в пространство несся призыв: «Обращаемся к Джону Голту!.. Обращаемся к Джону Голту!.. Вы слушаете, Джон Голт?.. Мы хотим провести переговоры. Хотим совещаться с вами. Сообщите, где можно вас найти… Слышите вы нас, Джон Голт?» Ответа не было.

Пачки обесцененных бумажных денег в карманах людей становились все объемистей, но покупать на них можно было все меньше и меньше. В сентябре бушель пшеницы стоил одиннадцать долларов, ноябре — тридцать, в декабре — сто, и теперь цена его уже приближалась к двумстам, а тем временем печатные станки государственного казначейства вели гонку с голодом и проигрывали.

Когда рабочие одного из заводов в приступе отчаяния избили мастера и разбили станки, против них не предприняли никаких действий. Аресты были тщетными, тюрьмы — переполненными, полицейские подмигивали арестованным и позволяли бежать по пути в тюрьму, люди

автоматически действовали так, как того требовал настоящий момент, не думая о следующем. Когда толпы голодающих людей громили склады на окраинах городов, ничего нельзя было поделать. Ничего нельзя было предпринять и тогда, когда карательные команды присоединялись к тем, кого они должны были наказывать.

«Вы слушаете, Джон Голт?.. Мы хотим провести переговоры. Мы готовы согласиться на ваши условия… Вы слушаете?»

Ходили слухи о крытых фургонах, ездящих по ночам заброшенными дорогами, о тайных поселениях, где жители были вооружены для защиты от нападений тех, кого они называли «индейцами», — всевозможных грабителей, будь то толпы бездомных или правительственные агенты. Время от времени люди видели свет на далеком горизонте прерий, в холмах, на уступах гор, где никаких домов не существовало. Но солдаты отказывались выяснять, что там за источники света.

На дверях брошенных домов, воротах рушащихся заводов, стенах правительственных зданий время от времени появлялись нарисованные мелом, краской, кровью символы доллара.

«Слышите вы нас, Джон Голт?.. Свяжитесь с на-

ми. Назовите свои условия. Мы примем любые. Слышите вы нас?» Ответа не было.

Столб красноватого дыма, взметнувшийся к небу ночью 22 января, какое-то время стоял совершенно неподвижно, словно внушительный обелиск, затем задвигался по небу, словно прожектор, передающий какое-то зашифрованное сообщение, потом исчез так же внезапно, как появился. Это был конец предприятия «*Риарден Стил*», но местные жители не знали этого. Они узнали страшную новость только в последующие ночи, когда, проклиная завод за дым, запах, сажу и шум, вместо пульсирующего зарева жизни на знакомом горизонте увидели черную пустоту.

Завод национализировали как собственность дезертира. Первым обладателем звания «народный управляющий», назначенным управлять заводом, был невысокий, толстый человек из фракции Оррена Бойля, прихлебатель в сфере металлургической промышленности, который только следил за работниками, делая вид, будто руководит. Но к концу месяца, после многочисленных столкновений с рабочими, многих случаев, когда он отвечал только, что ничего не может поделать, многих невыполненных

заказов и требований по телефону от своих дружков, новоиспеченный управляющий попросил перевести его на другую должность.

Фракция Оррена Бойля распадалась, поскольку мистер Бойль содержался в санатории, где врач запретил ему всякие контакты с бизнесом и заставил его в виде трудотерапии плести корзины. Второй «народный управляющий», назначенный на завод, принадлежал к фракции Каффи Мейгса. Он носил кожаные гетры, смазывал волосы лосьоном, приезжал на работу с пистолетом в кобуре, рявкал, что дисциплина — его главная цель и что он ее добьется. Единственным понятным правилом дисциплины был запрет всяких вопросов.

После нескольких недель бурной деятельности страховых компаний, пожарных, карет «скорой помощи» из-за необъяснимой серии несчастных случаев «народный управляющий» однажды утром исчез, распродав темным дельцам из Европы и Латинской Америки почти все краны, конвейеры, запасы огнеупорного кирпича, аварийный электрогенератор и ковер из бывшего кабинета Риардена.

Никто не мог распутать клубок проблем в хаосе последующих нескольких дней. Вслух эти про-

блемы никогда не называли, стороны оставались непризнанными, но все знали, что кровавые столкновения между старыми и новыми рабочими не были доведены до такого неистовства пустяковыми причинами, с которых они начались. Ни охранники, ни полиция, ни национальная гвардия не могли поддерживать порядок в течение целого дня, и ни одна фракция не нашла кандидата, готового принять должность «народного управляющего».

Операции «*Риарден Стил*» 22 января были объявлены временно приостановленными.

Красноватый столб дыма в ту ночь поднялся благодаря шестидесятилетнему рабочему, поджегшему одну из построек и схваченному на месте преступления, когда он потрясенно смеялся, глядя на огонь.

— В отместку за Хэнка Риардена! — вызывающе крикнул он, по его потемневшему от доменного огня лицу катились слезы.

«Не давайте этому известию мучить его, — думала Дагни, лежа лицом на своем письменном столе, на газете, где краткая заметка сообщала о “временном” конце “*Риарден Стил*”, — не давайте этому известию причинять ему боль… — перед глазами у нее стояло лицо Хэнка Риардена,

наблюдающего, как на фоне неба движется кран с грузом зеленовато-голубых рельсов… — Не давайте этому известию причинить ему боль, — это была ни к кому не обращенная мольба в ее сознании: — Не позволяйте ему услышать об этом, не позволяйте узнать…»

Потом она увидела лицо другого человека с твердо смотрящими зелеными глазами, говорящего ей безжалостным из-за почтения к фактам голосом: «Узнавать придется… Вы будете узнавать о каждом крушении, о каждом остановившемся поезде… Никто не остается здесь, фальсифицируя реальность каким бы то ни было образом…» Какое-то время она сидела неподвижно, безо всяких картин и звуков в сознании, лишь с необъяснимой громадной мукой в груди, пока не услышала знакомый крик, ставший наркотиком, убивающим все чувства, кроме способности действовать: «Мисс Таггерт, мы не знаем, что делать!», и Дагни очнулась, чтобы ответить.

«Народное государство Гватемала, — писали газеты 26 января, — отвергло просьбу Соединенных Штатов одолжить несколько тысяч тонн стали».

В ночь на 3 февраля пилот вел самолет по обычному маршруту привычным еженедельным рейсом из Далласа в Нью-Йорк. Когда машина

достигла темной пустоты за Филадельфией, в том месте, где огни «*Риарден Стил*» были его ориентиром, приветствием в ночном одиночестве, маяком живой земли, он увидел занесенное снегом пространство, мертвенно-белое, фосфоресцирующее в звездном свете, пространство с вершинами и кратерами, напоминающее поверхность Луны. Наутро он уволился с работы.

В морозные ночи над умирающими городами, тщетно ударяясь о безответные окна, глухие стены, поднимаясь над крышами неосвещенных зданий и напоминающими скелеты балками развалин, в пространстве раздавался призыв, летящий к неизменно движущимся звездам, к их холодному, мерцающему огню: «Слышите вы нас, Джон Голт? Слышите вы нас?»

— Мисс Таггерт, мы не знаем, что делать, — сказал мистер Томпсон; он вызвал ее для личного совещания в один из своих поспешных наездов в Нью-Йорк. — Мы готовы уступить, принять его условия, позволить ему принять руководство, но где он?

— Говорю вам в третий раз, — ответила Дагни, не выдавая ни голосом, ни лицом никаких чувств, — я не знаю где. Почему вы решили, что мне это известно?

— Ну, я не знал, я должен был попытаться… Подумал, что на всякий случай… что, может, если у вас есть способ связаться с ним…

— Такого способа у меня нет.

— Видите ли, мы не можем объявить, даже на коротких волнах, что готовы сдаться. Люди могут услышать. Но если вы можете как-то связаться с ним, сообщить ему, что готовы уступить, отбросить свою политику, сделать все, что он нам скажет…

— Я сказала, что не могу.

— Если он согласится на совещание, просто на совещание, это ни к чему его не обяжет, так ведь? Мы готовы передать ему всю экономику, если только он скажет нам, когда, где, как. Если он даст нам как-то знать… если ответит… Почему он не отвечает?

— Вы слышали его речь.

— Но что нам делать? Мы не можем просто уйти, оставив страну безо всякого правительства. Я содрогаюсь при мысли о том, что произошло бы. С теми социальными элементами, которые сейчас вырвались на волю, я должен наводить порядок, иначе начнутся грабежи и убийства средь бела дня. Я не знаю, что стало с людьми, но они уже кажутся нецивилизованны-

ми. Мы не можем уйти в такое время. Не можем ни уйти, ни руководить страной. Что нам делать, мисс Таггерт?

— Начинайте снимать контроль.

— Что?

— Начинайте отменять налоги и снимать контроль.

— О нет, нет! Об этом не может быть и речи!

— Чьей речи?

— Я имею в виду не сейчас, мисс Таггерт, не сейчас. Страна не готова к этому. Лично я согласен с вами. Я сторонник свободы, мисс Таггерт, я не стремлюсь к власти, но положение сейчас чрезвычайное. Люди не готовы к свободе. Нужна сильная рука. Нельзя принимать идеалистическую теорию, по которой…

— Тогда не спрашивайте меня, что делать, — сказала Дагни и поднялась.

— Но, мисс Таггерт…

— Я приехала сюда не спорить.

Дагни была уже возле двери, когда мистер Томпсон со вздохом произнес:

— Надеюсь, он еще жив.

Она остановилась.

— Надеюсь, они не сделали ничего необдуманного.

Прошло несколько секунд прежде, чем она обрела способность спросить: «Кто?» — так, чтобы это прозвучало не криком.

Мистер Томпсон пожал плечами, развел руки и беспомощно уронил их.

— Я больше не могу держать своих ребят в узде. И не могу сказать, что они могут попытаться сделать. Есть такая клика — фракция Ферриса — Лоусона — Мейгса, которая вот уже больше года требует от меня более сильных мер, то есть более жесткой политики. Честно говоря, они имеют в виду террор. Введение смертной казни за гражданские преступления, за критику, диссидентство и тому подобное. Довод их заключается в том, что, если люди не хотят сотрудничать, не хотят добровольно действовать в общественных интересах, мы должны принудить их. Говорят, что дать этой системе возможность работать может только террор. Судя по тому, как обстоят дела, возможно, они правы. Но Уэсли против методов сильной руки; он мирный человек, либерал, я тоже. Мы пытаемся держать ребят Ферриса под контролем, но… Видите ли, они против всяких уступок Джону Голту. Они не хотят, чтобы мы имели с ним дело. Не хотят, чтобы мы его нашли. Они способны на все. Если они найдут

его первыми, то… невозможно сказать, что они могут сделать… Вот что беспокоит меня. Почему он не отвечает? Почему совершенно не отвечает нам? Что, если они нашли его и убили? Откуда мне об этом знать?.. Поэтому я надеялся, что у вас есть какие-то пути… какие-то способы узнать, жив ли он еще…

Голос его оборвался на вопросительной ноте.

Все сопротивление Дагни расслабляющему ужасу вошло в усилие придать твердости голосу, чтобы сказать: «Не знаю», и коленям, чтобы ноги вынесли ее из комнаты.

* * *

Из-за гнилых столбов бывшего овощного киоска на углу Дагни украдкой оглянулась: редкие фонарные столбы делили улицу на отдельные острова. В первой полосе света она увидела ломбард, в следующей — салун, в самом дальнем — церковь и черные пустоты между ними; на тротуарах никого не было; трудно было точно определить, но улица казалась безлюдной.

Дагни свернула за угол, нарочито громко ступая, потом остановилась и прислушалась: трудно было понять, была ли необычная стесненность в груди вызвана биением ее сердца, и трудно

было отличить это биение от стука колес вдали и от безжизненного шелеста протекавшей неподалеку Ист-Ривер; но человеческих шагов за собой она не слышала. Дагни передернула плечами, это было отчасти пожатием, отчасти дрожью, и пошла быстрее. Ржавые часы в каком-то темном закаулке хрипло пробили четыре утра.

Страх того, что за ней следят, казался не совсем реальным, сейчас все страхи не могли быть для нее реальными. Дагни задалась вопросом: чем вызвана неестественная легкость ее тела — напряженностью или расслабленностью. Оно казалось так туго натянутым, что у него сохранилась лишь одна способность — двигаться; разум казался не имеющим значения, словно двигатель, установленный для автоматического контроля за абсолютом, сомнений в котором уже не может быть.

«Если бы голая пуля, — подумала Дагни, — могла что-то чувствовать в полете, она чувствовала бы именно это: только движение и цель, больше ничего». Подумала она это смутно, отрешенно, словно ее личность была нереальной; сознания ее достигло только слово «голая»: голая… лишенная всяких забот, кроме цели… номера «367»,

номера дома на набережной Ист-Ривер, который повторял ее разум, номера, который она так долго запрещала себе вспоминать.

«Три-шесть-семь, — думала Дагни, высматривая впереди дом среди угловатых зданий, — три-шесть-семь… он живет там… если только жив…» Ее спокойствие, отрешенность, уверенность шагов исходили из уверенности, что с этим «если» она больше не может существовать.

Она существовала с ним десять дней, и прошедшие ночи были просто последовательностью, приведшей ее к этой, словно сила, движущая ее сейчас, представляла собой звук ее все еще безответно звучащих шагов в туннелях Терминала. Она искала его в туннелях, ходила часами из ночи в ночь, часами той смены, в которую он когда-то работал, по подземным переходам, платформам, мастерским, заброшенным путям, никому не задавая вопросов, никому не объясняя своего присутствия. Она ходила без страха и надежды, движимая лишь чувством отчаянной преданности, близким к чувству гордости.

Истоком этого чувства были те минуты, когда она останавливалась с внезапным удивлением в каком-то темном подземном уголке и слышала слова, всплывавшие в ее сознании «Это моя

железная дорога», — когда смотрела на вибрирующий от стука далеких колес свод. «Это моя жизнь», — когда ощущала внутри какой-то сгусток напряжения. «Это моя любовь», — когда думала о человеке, который, возможно, находился где-то в этих туннелях. «Между этими тремя вещами не может быть конфликта… в чем я сомневаюсь?.. Что может разлучать нас, здесь, где место только ему и мне?..» Потом, вновь осознав положение вещей, твердо продолжала идти дальше с тем же чувством нерушимой преданности, но слыша иные слова: «Ты запретил мне искать тебя, можешь проклясть меня, можешь меня бросить… Но по праву того факта, что я жива, я должна знать, что и ты жив… я должна увидеть тебя живым… Не остановиться, не заговорить с тобой, не коснуться тебя, только увидеть…» Она его не видела. И прекратила поиски, когда заметила любопытные, удивленные взгляды подземных рабочих.

Дагни организовала собрание путевых рабочих Терминала под надуманным предлогом укрепления их духа. Она устраивала это собрание дважды, чтобы оглядеть всех поочередно, при этом повторяла ту же самую невразумительную речь, испытывая стыд оттого, что произносит

банальности, и гордость оттого, что для нее это уже не имеет значения, глядела на изможденные, озлобленные лица людей, которым было все равно, заставляют их работать или выслушивать бессмысленные речи. Однако в толпе рабочих она не видела его лица. «Все присутствуют?» — спросила Дагни мастера. «По-моему, да», — равнодушно ответил он.

Она околачивалась у входов в Терминал, разглядывая шедших на работу людей. Но входов было много, а места, откуда можно наблюдать, оставаясь незамеченной, не было. Она стояла в сумерках на блестевшем от дождя тротуаре, прижавшись к стене склада, подняв к скулам воротник пальто, капли дождя падали на поля ее шляпы, стояла видимой с улицы, зная, что во взглядах проходящих сквозят узнавание и удивление, зная, что бдение ее опасно бросается в глаза. «Если среди них был Джон Голт, кто-то мог догадаться о причинах моего стояния там… если среди них не было Джона Голта… если бы в мире не было Джона Голта, — размышляла она, — то не существовало бы опасности, и не существовало мира».

«Не существовало бы ни опасности, ни мира», — думала Дагни, идя по улицам в районе тру-

щоб к дому номер 367, который был или не был его домом. Она задавалась вопросом, что ощущает человек, ждущий смертного приговора: страх, гнев, беспокойство, только ледяную бесстрастность света без тепла или познания без ценностей.

От ее ноги отлетела со стуком жестяная банка, этот звук слишком долго и слишком громко бился о стены словно бы покинутого города. Улицы казались опустевшими из-за изнеможения, а не отдыха, словно люди за стенами не спали, а лежали, свалившись без сил. «Он будет в этот час дома после работы, — подумала Дагни, — если он все еще работает… если у него все еще есть дом…» Она поглядела на трущобы: крошащаяся штукатурка, облезающая краска, выцветшие вывески разорившихся магазинов с ненужными товарами в немытых витринах, с прогнутыми ступенями лестниц, по которым опасно подниматься, бельевые веревки, где висела непригодная для носки одежда. Все это погубленное, заброшенное, незавершенное — искореженные памятники проигранного соперничества с двумя врагами: «нет времени» и «нет сил». И Дагни подумала, что Голт прожил здесь двенадцать лет, хотя у него была потрясающая способность

облегчить труд человеческого существования.

Какое-то воспоминание пробивалось на поверхность ее сознания, и тут она вспомнила Старнсвилл. «Так будет везде». Дагни содрогнулась. «Но ведь это же Нью-Йорк!» — мысленно выкрикнула она в защиту того величия, которое любила; потом услышала произнесенный с непреклонной суровостью приговор своего разума: город, оставивший его на двенадцать лет в трущобах, проклят и обречен на будущее Старнсвилла.

Потом это вдруг перестало иметь значение; Дагни испытала странное потрясение, словно от внезапно наступившей тишины, какое-то ощущение оцепенения внутри, которое приняла за ощущение покоя: над дверью старого дома она увидела номер «367».

Дагни подумала, что она спокойна, только время неожиданно утратило непрерывность и разбило ее восприятие на отдельные эпизоды: она осознала тот миг, когда увидела номер дома, потом тот, когда взглянула на список жильцов на доске в пахнувшем плесенью вестибюле и увидела слова: «Джон Голт, пятый этаж, задняя сторона», которые нацарапал карандашом кто-то безграмотный. Затем последовало мгно-

вение, когда она остановилась у лестницы, глядя вверх на исчезающие углы перил, и внезапно прислонилась к стене, дрожа от ужаса, потом тот миг, когда ощутила касание ногой первой ступеньки, следом единую, неразрывную последовательность легкости, подъема без усилий, сомнений и страха, ощущение лестничных маршей, уходящих вниз под ее уверенными шагами, словно инерция ее неудержимого подъема исходила из прямоты ее тела, расправленности плеч, подъема головы и серьезной, ликующей уверенности, что в момент окончательного решения она ждала от жизни не катастрофы в конце подъема по лестнице, который занял у нее тридцать семь лет.

На верхнем этаже Дагни увидела узкий коридор, стены его тянулись, сужаясь, к неосвещенной двери, до ее сознания дошел скрип половицы под ногами. Она ощутила нажим пальца на кнопку звонка, услышала звонок в неизвестном пространстве за дверью. Она ждала, услышала отрывистый скрип доски, но он донесся с нижнего этажа. С реки доносился протяжный гудок буксира. Потом Дагни поняла, что упустила какой-то отрезок времени, потому что следующий миг походил не на пробуждение, а на рождение:

два звука словно бы вытаскивали ее из пустоты — звук шагов за дверью и поворачиваемого в замке ключа. Но ее словно бы не существовало до той минуты, пока перед ней вдруг не открылась дверь, и возникшим на пороге человеком был Джон Голт. Он стоял в дверном проеме, одетый в широкие брюки и рубашку, чуть склоняясь вбок.

Дагни поняла, что его глаза уловили этот миг, потом быстро окинули взглядом прошлое и будущее, этот молниеносный процесс вычислений привел настоящее под контроль его сознания. Когда складка на рубашке шевельнулась от его дыхания, Дагни увидела улыбку радостного приветствия.

Она не могла шевельнуться. Голт схватил ее за руку, рывком втащил в комнату. Она ощутила теплоту его губ, стройность его тела сквозь внезапно ставшую враждебной плотность своего пальто, увидела смех в его глазах. Снова и снова она ощущала прикосновение его губ, дышала тяжело, словно задерживала дыхание, поднимаясь по лестнице. Она спрятала лицо между его шеей и плечом, чтобы держать его руками, пальцами и кожей щеки.

— Джон… ты жив…

Вот и все, что она смогла сказать.

Он кивнул, словно поняв, что эти слова были сказаны в объяснение.

Потом поднял ее упавшую шляпу, снял с нее пальто и отложил в сторону, посмотрел на ее стройную, дрожащую фигуру с искрой одобрения в глазах, провел рукой по ее облегающему свитеру с воротником-стойкой, придающему ей хрупкость школьницы и собранность бойца.

— В следующий раз, — сказал Голт, — надень белый. Он будет смотреться замечательно.

Дагни осознала, что одетой так никогда не появлялась на людях, что такой она была дома, в бессонные часы этой ночи, и засмеялась, вновь обретя способность смеяться: она никак не ожидала, что такими будут его первые слова.

— Если следующий раз будет, — спокойно добавил Голт.

— Что… ты имеешь в виду?

Он подошел к двери и запер ее.

— Присаживайся.

Дагни осталась стоять, она решила осмотреть комнату. Это была длинная пустая мансарда с койкой в одном углу и газовой плитой в другом, немного деревянной мебели, голые половицы, подчеркивающие длину комнаты, единственная

лампа, горящая на письменном столе, закрытая дверь в тени за пределами круга света от лампы, а за огромным окном — Нью-Йорк, протяженность угловатых зданий и рассеянных огней с небоскребом Таггертов вдали.

— Теперь слушай внимательно, — заговорил Голт. — Думаю, у нас есть около получаса. Я знаю, почему ты пришла сюда. Я говорил тебе, что выносить разлуку будет трудно, и, возможно, ты нарушишь запрет. Не жалей об этом. Видишь — я тоже не могу жалеть. Но теперь нужно решить, как быть дальше. Примерно через полчаса следившие за тобой агенты грабителей явятся, чтобы арестовать меня.

— О нет!

— Дагни, тот из них, у кого сохранились остатки человеческий проницательности, должен был понимать, что ты — не одна из них, что ты — их последнее связующее звено со мной, и они не выпускали тебя из поля зрения или из поля зрения своих шпиков.

— За мной никто не следил! Я наблюдала, я…

— Ты не смогла бы заметить слежки. В искусстве таиться они мастера. Тот, кто следил за тобой, сейчас докладывает своим хозяевам. Твое появление в этом районе, мое имя в списке

жильцов внизу, тот факт, что я работаю на твоей железной дороге, — им этого достаточно, чтобы сделать выводы.

— Тогда давай уйдем отсюда!

Голт покачал головой.

— Они уже окружили весь квартал. По срочному вызову шпика, который следил за тобой, уже подняты все полицейские в этом районе. Теперь слушай, что нужно делать, когда они появятся. Дагни, у тебя есть единственная возможность меня спасти. Если ты не совсем поняла, что я сказал по радио о человеке посередине, поймешь теперь. Для тебя нет середины. И ты не можешь принять мою сторону, пока мы находимся в их руках. Теперь ты должна принять их сторону.

— Что?

— Должна принять их сторону настолько полно, последовательно и громко, насколько позволит твоя способность обманывать. Ты должна действовать как одна из них, как мой злейший враг. В таком случае у меня будет возможность выйти отсюда живым. Я им очень нужен, они пойдут на все крайности прежде, чем решатся убить меня. Что бы ни вымогали они у людей, они могут сделать это только через ценности своих жертв,

а у них нет никаких моих ценностей, возможностей мне угрожать. Но если они заподозрят, что нас что-то связывает, то примутся пытать тебя. Я говорю о физических пытках, у меня на глазах, меньше чем через неделю. Ждать этого я не стану. При первой же угрозе тебе покончу с собой и тем самым остановлю их.

Говорил это Голт без выражения, тем же равнодушным тоном практического расчета, что и все остальное. Дагни понимала, что он не шутит: ей было понятно, почему она одна обладает властью сломить его, когда вся власть врагов окажется бессильной. Он увидел ее застывший взгляд, в котором были понимание и ужас, и кивнул с легкой улыбкой.

— Незачем говорить тебе, — снова заговорил он, — что если я это сделаю, это не будет актом самопожертвования. Я не хочу жить на их условиях, повиноваться им, видеть, как ты переносишь затянувшееся убийство. После этого для меня не останется никаких ценностей, а жить без них я не хочу. Незачем говорить тебе, что у нас нет никаких моральных обязанностей перед теми, кто держит нас под дулом пистолета. Поэтому используй всю свою способность к обману, но убеди их, что ненавидишь меня. Тогда у нас останется

возможность уцелеть и скрыться, не знаю, когда и как, но буду уверен в том, что волен действовать. Понимаешь?

Дагни заставила себя поднять голову, посмотреть прямо в глаза и кивнуть.

— Когда они появятся, скажи, что искала меня для них, что у тебя возникло подозрение, когда ты увидела мою фамилию в платежной ведомости, и что пришла сюда навести справки.

Она кивнула.

— Я буду скрывать свою личность, они могут узнать мой голос, но я буду стоять на своем, поэтому ты скажешь им, что я — тот самый Джон Голт, которого они ищут.

Помедлив секунду, Дагни кивнула еще раз в знак согласия.

— Потом ты потребуешь и примешь те пятьсот тысяч долларов вознаграждения, которые они предложили за мою поимку.

Она закрыла глаза и снова кивнула.

— Дагни, — неторопливо заговорил Голт, — при их системе невозможно служить твоим ценностям. Рано или поздно, хотела ты того или нет, они должны были довести тебя до той черты, где единственное, что ты могла для меня сделать, это ополчиться на меня. Соберись

с силами и сделай это, потом мы заработаем эти полчаса и, может быть, будущее.

— Сделаю, — твердо сказала Дагни и добавила: — Если это случится, если…

— Это случится. Не жалей об этом. Я не стану. Ты не видела сущности наших врагов. Теперь увидишь. Если мне придется играть роль пешки в спектакле, который убедит тебя, я охотно на это пойду и отниму тебя у них раз и навсегда. Ты не хотела больше ждать? О, Дагни, Дагни, я тоже не хотел!

Голт так держал ее в объятьях, так целовал в губы, что Дагни казалось: каждый предпринятый ею шаг, каждая опасность, каждое сомнение, даже ее измена — если это было изменой, — давали ей некое право на эту минуту. Джон увидел в ее лице напряженность удивленного протеста против себя самой, и она услышала его голос сквозь пряди своих волос, прижатых к его губам:

— Не думай сейчас о них. Не думай о страдании, опасности, врагах ни мигом дольше, чем необходимо для борьбы с ними. Ты здесь. Это наше время и наша жизнь, не их. Не старайся быть счастливой. Ты счастлива.

— С риском погубить тебя? — прошептала она.

— Не погубишь. Но да, даже с этим риском.

Ты не считаешь это равнодушием, так ведь? Разве равнодушие сломило тебя и привело сюда?

— Мне… — и тут исступление правды заставило Дагни притянуть к себе голову Голта и бросить ему в лицо: — Мне было все равно, погибнем мы потом или нет, лишь бы увидеть тебя!

— Я был бы разочарован, если бы ты не пришла.

— Знаешь, что это такое — ждать, запрещать себе, откладывать на день, потом еще на день, потом…

Голт усмехнулся.

— Знаю ли? — негромко произнес он.

Дагни беспомощно уронила руки: она вспомнила о его десяти годах.

— Когда я услышала твой голос по радио, лучшую речь, какую только… Нет, я не вправе говорить тебе, что о ней думала.

— Почему?

— Ты думаешь, что я не приняла ее.

— Примешь.

— Ты говорил отсюда?

— Нет, из долины.

— А потом вернулся в Нью-Йорк?

— На другое утро.

— И с тех пор здесь?

— Да.

— Слышал ты обращения, которые они посылают тебе каждую ночь?

— Конечно.

Дагни медленно оглядела комнату, взгляд ее перемещался от городских башен за окном к деревянным балкам потолка, к потрескавшейся штукатурке на стенах, к железным ножкам его койки.

— Ты все время был здесь. Жил здесь двенадцать лет… здесь… вот так…

— Вот так, — сказал Голт, распахивая дверь в конце комнаты.

Дагни ахнула: вытянутая, залитая светом комната без окон в оболочке из поблескивающего металла, напоминающая маленький танцзал на подводной лодке, была лучшей современной лабораторией, какую она только видела.

— Входи, — пригласил ее с улыбкой Голт, — мне больше не нужно скрывать от тебя секреты.

Это было как переход в иную вселенную. Дагни посмотрела на сложное оборудование, искрящееся в ярком рассеянном свете, на сеть блестящих проводов, на классную доску, исписанную математическими формулами, на длинные ряды предметов, созданных благодаря суровой

дисциплине целеустремленности, потом на прогнувшиеся половицы и крошащуюся штукатурку мансарды. «Какой контраст! — подумала Дагни. — Или-или — вот выбор перед которым поставлен мир».

— Ты хотела знать, где я работал одиннадцать месяцев в году, — сказал Голт.

— И это все, — спросила Дагни, указывая на лабораторию, — приобретено на зарплату, — она указала на мансарду, — неквалифицированного рабочего?

— О, нет! На арендную плату, которую Мидас Маллиган платит мне за электростанцию, за лучевой экран, за радиопередатчик и еще несколько работ такого же рода.

— Тогда… тогда почему тебе приходилось работать путевым обходчиком?

— Потому что заработанные в долине деньги нельзя тратить за ее пределами.

— Где ты взял это оборудование?

— Я его спроектировал. Изготовлено оно на заводе Эндрю Стоктона, — он указал на предмет величиной с радиоприемник в углу комнаты. — Вот тот двигатель, который был тебе нужен, — и усмехнулся тому, как она ахнула и невольно подалась вперед. — Можешь осмотреть, теперь

ты не выдашь его им.

Дагни во все глаза смотрела на блестящие металлические цилиндры, поблескивающие катушки с проволокой, напоминающие ржавый предмет, хранящийся как священная реликвия в стеклянном гробу в склепе Терминала Таггертов.

— Он поставляет мне электричество для лаборатории, — сказал Голт. — Никому не приходится задаваться вопросом, почему путевой обходчик расходует столько электроэнергии.

— Но если они обнаружат это место…

Голт издал странный, отрывистый смешок.

— Не обнаружат.

— И долго ты…

Дагни умолкла; на этот раз она не ахнула; представшее перед ней зрелище можно было встретить только с полным внутренним спокойствием. На стене, за механизмами, она увидела вырезанную из газеты фотографию. На ней была она, в брюках и рубашке, стоящая возле паровоза на открытии дороги Джона Голта. В улыбке были событие, смысл и солнечный свет того дня. Стон был единственной ее реакцией, когда она повернулась к Голту, но выражение его лица было под стать ее выражению на фотографии.

— Я был символом того, что ты хотела уничтожить в мире, — сказал он. — Но ты была для меня символом того, чего я хотел достичь, — Голт указал на фотографию: — Считается, что люди должны испытывать такое состояние раз, от силы два в жизни. Но я избрал его как постоянное и обычное.

Выражение его лица, безмятежная сила его глаз и разума сделали для нее это состояние реальным сейчас, в данную минуту, в этом городе. Когда он поцеловал ее, Дагни поняла, что их обнимающие друг друга руки держат свое величайшее достижение, что это реальность без тени страдания или страха, реальность Пятого концерта Ричарда Халлея, награда, которой они хотели, за которую сражались и заслуженно получили.

Раздался звонок в дверь.

Первой ее реакцией было отпрянуть, его — удержать ее, притянув поближе к себе, и подольше.

Когда Голт поднял голову, на лице его была улыбка. Он только сказал:

— Настало время не бояться.

Дагни последовала за ним в мансарду. Она услышала, как сзади защелкнулся замок лаборатории.

Голт молча подал ей пальто, подождал, когда

она завяжет пояс и наденет шляпу, потом подошел к двери и открыл ее.

Вошли трое крепко сложенных мужчин в военной форме, каждый с двумя пистолетами на бедрах, с широкими, бесформенными лицами, с тупыми глазами. Четвертый, их начальник, был хрупким штатским в дорогом пальто, с аккуратными усиками, светло-голубыми глазами и манерами интеллектуала из службы связи с общественностью.

Хлопая глазами, он оглядел Голта, комнату, сделал шаг вперед, остановился, сделал еще один шаг и остановился снова.

— В чем дело? — произнес Голт.

— Вы… вы Джон Голт? — спросил он излишне громко.

— Меня так зовут.

— Вы — тот самый Джон Голт?

— Какой?

— Вы говорили по радио?

— Когда?

— Не позволяйте ему дурачить вас, — металлический голос принадлежал Дагни, она обращалась к начальнику: — Он — тот самый Джон Голт. Я подтвержу это в управлении полиции. Можете продолжать.

Голт повернулся к ней, словно к незнакомке:

— Не скажете ли, кто вы и что вам здесь нужно?

Лицо его было таким же пустым, как лица солдат.

— Меня зовут Дагни Таггерт. Я хотела убедиться, что вы — тот человек, которого разыскивает вся страна.

Голт повернулся к начальнику.

— Хорошо, — сказал он. — я — Джон Голт, но если хотите, чтобы я отвечал вам, держите свою доносчицу, — он указал на Дагни, — от меня подальше.

— Мистер Голт! — воскликнул начальник с необычайной оживленностью. — Для меня честь познакомиться с вами, честь и привилегия! Пожалуйста, мистер Голт, не поймите нас превратно, мы готовы удовлетворить ваши желания, нет, конечно же, вам не нужно иметь дело с мисс Таггерт, если не хотите, мисс Таггерт только старалась исполнить свой патриотический долг, но…

— Я сказал, уберите ее от меня.

— Мы вам не враги, мистер Голт, уверяю вас, не враги, — он повернулся к Дагни: — Мисс Таггерт, вы оказали народу неоценимую услугу.

Вы заслужили высшую форму общественной благодарности. Позвольте теперь нам продолжать.

Успокаивающим движением рук он велел ей отойти назад, чтобы Голт ее не видел.

— Чего вы хотите? — спросил Голт.

— Нация ждет вас, мистер Голт. Мы хотим только возможности рассеять недоразумения. Только возможности сотрудничать с вами, — рукой в перчатке он подал знак троим, половицы заскрипели, когда те молча принялись открывать ящики стола и чуланы — они обыскивали комнату: — Дух нации оживится завтра утром, мистер Голт, когда люди узнают, что вы нашлись.

— Чего вы хотите?

— Просто приветствовать вас от имени народа.

— Я под арестом?

— Зачем думать в таких устарелых терминах? Наша задача — лишь сопроводить вас на высшие совещания руководства нации, где ваше присутствие очень нужно, — он сделал паузу, но ответа не получил. — Высшие руководители страны хотят просто посовещаться с вами и достичь дружеского взаимопонимания.

Солдаты не нашли ничего, кроме одежды и кухонных принадлежностей; не было ни писем, ни книг, ни хотя бы газеты, словно в этой комна-

те жил неграмотный.

— Наша цель — только помочь вам занять ваше законное место в обществе, мистер Голт. Вы, кажется, не осознаете своей общественной ценности.

— Осознаю.

— Мы здесь лишь для того, чтобы защитить вас.

— Заперто! — объявил солдат, ударив кулаком по двери лаборатории.

Начальник вкрадчиво улыбнулся.

— Что за этой дверью, мистер Голт?

— Частная собственность.

— Будьте добры, откройте ее.

— Нет.

Начальник развел руки жестом страдальческой беспомощности:

— К сожалению, у меня нет выбора. Приказы, понимаете. Мы должны войти в эту комнату.

— Входите.

— Это лишь формальность, пустая формальность. Ничто не мешает решить все по-хорошему. Прошу вас пойти нам навстречу.

— Я сказал — нет.

— Уверен: вам не хочется, чтобы мы прибегли к каким-то… излишним мерам. — Ответа

не последовало. — Знаете, у нас есть полномочия взломать эту дверь, но, разумеется, делать этого мы не хотим.

Начальник подождал, но ответа не последовало.

— Ломайте замок! — отрывисто приказал он солдатам.

Дагни взглянула на лицо Голта. Он стоял с бесстрастным видом, она видела спокойные черты его лица, устремленный к двери взгляд. Замок представлял собой небольшую квадратную пластину из полированной меди без замочной скважины или каких-то принадлежностей.

Молчание и внезапная неподвижность трех скотов были невольными, пока орудия взлома в руках четвертого осторожно врезались в древесину двери.

Древесина поддавалась легко, на пол падали мелкие щепки, их усиленный тишиной стук походил на гром далеких орудий. Когда ломик взломщика коснулся медной пластины, за дверью послышался легкий, не громче усталого вздоха шелест. Через минуту замок выпал из двери, и она, содрогнувшись, подалась вперед на дюйм.

Солдат отскочил назад. Начальник, боязливо

ступая, подошел и распахнул дверь. Им открылось черное пространство с неизвестным содержимым и непроглядной тьмой.

Все переглянулись и посмотрели на Голта; тот неподвижно стоял, глядя во тьму.

Дагни последовала за ними, когда они, светя фонариками, перешагнули через порог. Пространство за ним представляло собой длинную металлическую оболочку, там ничего не было, кроме куч пыли на полу, странной, серовато-белой пыли, которой, казалось бы, место среди развалин, где никто не бывал столетиями. Комната выглядела безжизненной, как череп.

Дагни отвернулась, чтобы они не увидели на ее лице знания, чем была эта пыль несколько минут назад. «Не пытайтесь открыть эту дверь, — сказал ей Голт у входа в электростанцию Атлантиды. — Если попытаетесь взломать ее, оборудование внутри развалится задолго до того, как дверь распахнется…» «Не пытайтесь открыть эту дверь», — думала она, но знала, что видит зримую форму заявления: «Не пытайтесь насиловать разум».

Солдаты, пятясь, вышли из лаборатории и продолжали пятиться в сторону мансардной двери, потом остановились в разных местах, словно

оставленные на берегу отливом.

— Ну что ж, — сказал Голт, взяв пальто и поворачиваясь к начальнику, — пошли.

* * *

Три этажа отеля «*Уэйн-Фолкленд*» были эвакуированы и превращены в вооруженный лагерь. Охранники с автоматами стояли на каждом повороте длинных коридоров с бархатными дорожками. Часовые с примкнутыми на винтовки штыками занимали свои посты на площадках пожарных лестниц. Дверцы лифтов на пятьдесят девятом, шестидесятом и шестьдесят первом этажах были заперты на висячие замки: одна дверь и один лифт были оставлены как единственные средства доступа, их охраняли солдаты в полной боевой готовности. В вестибюлях, ресторанах и магазинах на первом этаже околачивались странного вида люди: одежда их была новенькой и дорогой, неудачной имитацией одежды обычных постояльцев, портило все это то, что она плохо сидела на крепких фигурах и оттопыривалась там, где одежде бизнесменов нет причин оттопыриваться, а одежде телохранителей — есть. Группы охранников с автоматами стояли у всех входов и выходов отеля, а также у страте-

гически важных окон домов на прилегающих улицах.

В центре этого лагеря, на шестидесятом этаже, в так называемом королевском номере отеля, среди атласных портьер, хрустальных светильников и скульптурных цветочных гирлянд сидел в парчовом кресле одетый в рубашку и широкие брюки Джон Голт, одну ногу он водрузил на бархатную подушечку, руки заложил за голову и глядел в потолок.

В этой позе его застал мистер Томпсон, когда четверо охранников, стоявших у двери номера с пяти утра, распахнули ее, чтобы его впустить, и заперли снова.

Мистер Томпсон испытал краткий приступ беспокойства, когда лязг замка отрезал ему путь к отступлению и оставил его наедине с пленником. Но он вспомнил газетные заголовки и радиоголоса, объявлявшие стране с рассвета: «Джон Голт найден! Джон Голт в Нью-Йорке! Джон Голт присоединился к народному делу! Джон Голт совещается с лидерами страны, работает для быстрого решения всех наших проблем!» — и убедил себя, что верит в это.

— Так, так, так! — весело заговорил он, подходя к креслу. — Стало быть, вы тот самый моло-

дой человек, который заварил всю эту кашу… О, — внезапно произнес он, когда пристальнее взглянул в наблюдавшие за ним темно-зеленые глаза, — что ж, я… очень рад познакомиться с вами, мистер Голт, очень, — и добавил: — я — мистер Томпсон.

— Здравствуйте, — сказал Голт.

Мистер Томпсон рухнул в кресло, эта резкость наводила на мысль о непринужденном деловом отношении.

— Только не думайте, что вы под арестом или еще какой-то ерунды, — он обвел рукой комнату. — Сами видите — это не тюрьма. Видите, что мы обращаемся с вами достойно. Вы значительный человек, очень значительный, и мы это знаем. Чувствуйте себя, как дома. Просите чего угодно. Увольняйте любого лакея, который вам не понравится. И если вам неприятен кто-то из вооруженных ребят снаружи, скажите только слово, и мы пришлем другого ему на замену.

Он выжидающе умолк. Но ответа не получил.

— Мы доставили вас сюда лишь затем, чтобы поговорить с вами. Не хотели делать это так, но вы не оставили нам выбора. Вы все время скрывались. А мы только хотели получить возможность сказать вам, что вы совершенно

неверно нас поняли.

Он с обезоруживающей улыбкой развел руками. Голт молча смотрел на него.

— Вы произнесли отличную речь. Вы превосходный оратор! Вы сделали кое-что для страны, не знаю, что или почему, но сделали. Людям как будто нужно кое-что, чем вы обладаете. Но вы думали, мы будем категорически против этого? Вот тут вы ошибаетесь. Мы не против. Лично я считаю, что многое в этой речи имело смысл. Да, сэр, считаю. Конечно, я не согласен с каждым вашим словом, но что из того? Вы же не ожидаете, что мы будем соглашаться со всем, верно? Расхождение во мнениях — вот что движет делами. Я всегда готов изменить свое мнение. Готов выслушать любой довод.

Он приглашающе подался вперед. Но ответа не получил.

— Мир в ужасном беспорядке. Как вы и говорили. В этом я с вами согласен. У нас есть точка соприкосновения. Можно начать с нее. Необходимо что-то предпринимать. Я только хотел… Послушайте, — неожиданно выкрикнул он, — почему вы не даете мне поговорить с вами?

— Вы говорите со мной.

— Я… в общем… в общем, вы понимаете, что я

имею в виду.

— Полностью.

— Ну?.. Ну, что вы хотите сказать?

— Ничего.

— Что?

— Ничего.

— О, да будет вам!

— Я не искал разговора с вами.

— Но… Но послушайте!.. У нас есть темы для обсуждения!

— У меня нет.

— Послушайте, — заговорил мистер Томпсон после паузы, — вы человек действия. Практичный человек. Еще какой! Я не совсем разобрался в вас, но в этом уверен. Разве вы не такой?

— Практичный? Да.

— И я тоже. Мы можем говорить напрямик. Выложить карты на стол. Чего бы вы ни добивались, я предлагаю вам сделку.

— Я всегда готов заключить сделку.

— Я это знал! — торжествующе выкрикнул мистер Томпсон, стукнув кулаком по колену. — я так и говорил им, всем этим тупым интеллектуальным теоретикам вроде Уэсли!

— Я всегда готов заключить сделку с любым, у кого есть ценность, которую он может мне

предложить.

Мистер Томпсон не понял, почему у него екнуло сердце перед тем, как он ответил:

— Отлично, назовите свои условия, приятель! Назовите свои условия!

— Что вы можете мне предложить?

— Ну, как… все, что угодно.

— Например?

— Все, что назовете. Слышали вы наши коротковолновые передачи к вам?

— Да.

— Мы говорили, что примем ваши условия, любые условия. Мы не лгали.

— Слышали вы, как я говорил по радио, что не соглашусь ни на какие условия? Я не лгал.

— О, но послушайте, вы неверно поняли нас! Вы думали, что мы будем сражаться с вами. Нет. Мы не настолько косны. Мы готовы рассмотреть любую идею. Почему вы не ответили на наши призывы, не пришли на совещание?

— Это еще зачем?

— Потому что… потому что мы хотели поговорить с вами от имени страны.

— Я не признаю за вами права говорить от имени страны.

— Ну, знаете ли, я не привык… Что ж, хорошо,

согласитесь вы просто выслушать меня?

— Я слушаю.

— Страна находится в ужасающем положении. Люди голодают и теряют всякую надежду, экономика рушится, никто больше ничего не производит. Мы не знаем, что с этим делать. Вы знаете. Вы знаете, как заставить механизм работать. Хорошо, мы готовы пойти на уступки. Скажите нам, что делать.

— Я сказал.

— Что?

— Уйдите с дороги.

— Это невозможно! Немыслимо! Об этом не может быть и речи!

— Видите? Я сказал вам, что нам нечего обсуждать.

— Постойте, постойте! Не идите на крайности! Всегда существует золотая середина. Нельзя требовать всего. Мы не… люди не готовы к этому. Нельзя ожидать, что мы бросим государственную машину. Мы должны сохранить систему, но готовы ее исправить. Мы модифицируем ее, как вам угодно. Мы не упрямые теоретики-догматики, мы гибкие. Мы сделаем все, что вы скажете. Дадим вам свободу действий. Будем с вами сотрудничать. Пойдем на компромисс. Поделимся

поровну. Мы сохраним сферу политики и дадим вам полную власть в сфере экономики. Отдадим вам производство, подарим всю экономику. Вы будете управлять ею, как сочтете нужным, будете отдавать распоряжения, издавать директивы, и организованная мощь государства будет обеспечивать соблюдение ваших решений. Мы будем готовы повиноваться вам, все, начиная с меня. В сфере производства будем делать все, что вы скажете. Вы будете… будете экономическим диктатором страны!

Голт рассмеялся.

Мистера Томпсона потряс его простой, веселый смех.

— Что это с вами?

— Вот, значит, какое у вас представление о компромиссе?

— Какого черта… Да не усмехайтесь так!.. Думаю, вы меня не поняли. Я предлагаю вам должность Уэсли Моуча, чего-то большего предложить вам не может никто!.. Вы будете вольны делать все, что угодно. Если вам не нравится контроль, уберите его, хотите более высоких прибылей и более низких зарплат, декретируйте их. Если хотите особых привилегий для крупных магнатов, дайте их. Если вам не нравятся

профсоюзы, распустите их. Хотите свободной экономики, прикажите людям быть свободными! Ведите эту игру, как сочтете нужным, но заставьте механизм действовать. Организуйте страну. Заставьте людей снова работать и производить. Верните своих людей, людей разума. Ведите нас к мирному, научному, индустриальному веку и к процветанию.

— Под дулом пистолета?

— Послушайте, я… Черт возьми, что тут смешного?

— Скажите мне вот что: если вы способны делать вид, что не слышали ни единого моего слова по радио, почему вы думаете, что я стану делать вид, что не говорил его?

— Не понимаю вас! Я…

— Оставьте. Это риторический вопрос. Первая часть его отвечает на вторую.

— Что?

— Я не играю в ваши игры, приятель, если вам необходим перевод.

— То есть вы отказываетесь от моего предложения?

— Отказываюсь.

— Но почему?

— Я три часа объяснял по радио почему.

— О, это всего-навсего теория! Я говорю о деле. Я предлагаю вам лучшую на свете должность. Скажите, чем она плоха?

— Я три часа говорил вам, что система не будет действовать.

— Вы заставите ее действовать.

— Каким образом?

Мистер Томпсон развел руками:

— Не знаю. Если бы знал, то не обращался бы к вам. Это вам решать. Вы — индустриальный гений. Вы можете решить все проблемы.

— Я сказал, что сделать этого нельзя.

— Вы сможете.

— Как?

— Как-нибудь, — услышав смешок Голта, он добавил: — Почему нет? Скажите, почему?

— Хорошо, скажу. Вы хотите, чтобы я был экономическим диктатором?

— Да!

— И будете подчиняться моим распоряжениям?

— Беспрекословно!

— Тогда начните с отмены всех подоходных налогов.

— О, нет! — выкрикнул мистер Томпсон, вскочив. — На это мы не можем пойти! Это... это

не сфера производства. Это сфера распределения. Как мы будем платить государственным служащим?

— Увольте своих государственных служащих.

— О, нет! Это политика! Это не экономика! Вы не можете вмешиваться в политику! Нельзя требовать всего!

Голт скрестил на подушечке ноги и устроился поудобнее в парчовом кресле.

— Хотите продолжать дискуссию? Или поняли мою позицию?

— Я только…

— Вы убедились, что у меня есть позиция?

— Послушайте, — заговорил мистер Томпсон, сев на край кресла. — Я не хочу спорить. Я не силен в дебатах. Я человек действия. Время поджимает. Я только знаю, что у вас есть разум такого склада, какой нам необходим. Вы можете сделать все, заставить механизм работать, если захотите.

— Хорошо, отвечу вашим языком: я не хочу. Не хочу быть экономическим диктатором, даже на тот срок, чтобы издать приказ людям быть свободными, за который любой разумный человек плюнет мне в лицо, поскольку знает, что его права не должны зависеть от вашего или моего

разрешения.

— Скажите, — спросил мистер Томпсон, задумчиво глядя на Голта, — чего вы добиваетесь?

— Я сказал по радио.

— Не понимаю. Вы сказали, что преследуете свой эгоистический интерес, и мне это понятно. Но что вам может быть нужно в будущем, чего вы не можете получить прямо сейчас, из наших рук, на тарелочке? Я думал, что вы — эгоист и практичный человек. Я предлагаю вам чек на все, что угодно, а вы отвечаете, что не хотите его. Почему?

— Потому что ваш чек не подкреплен фондами.

— Что?

— Потому что у вас нет ценностей, какие могли бы мне предложить.

— Я могу предложить вам все, чего вы можете пожелать. Только назовите это.

— Назовите сами.

— Хорошо, вы много говорили о богатстве. Если вам нужны деньги, то вам за три жизни не заработать того, что я могу дать вам через минуту, сию минуту, наличными. Хотите миллиард долларов, замечательный круглый миллиард?

— Что мне придется создать за него для вас?

— Нет, я имею в виду прямо из казначейства, новенькими кредитками… или… или, если хотите, золотом.

— Что мне это даст?

— Послушайте, когда страна вновь поднимется на ноги…

— Когда я поставлю ее на ноги?

— Хорошо, если вы хотите вести дела по-своему, если вам нужна власть, я гарантирую, что все мужчины, женщины и дети в стране будут подчиняться вашим указаниям и делать то, что вы хотите.

— Когда я научу их это делать?

— Если хотите чего-то для своей компании, всех тех людей, которые скрылись, работы, должностей, власти, освобождения от налогов, каких-то особых привилегий, только скажите, и они это получат.

— Когда я верну их обратно?

— Хорошо, чего же вы хотите?

— Для чего же вы мне нужны?

— Что?

— Что вы можете предложить мне такого, чего я не смогу добиться без вас?

Выражение глаз мистера Томпсона изменилось, когда он подался назад, словно загнанный

в угол, но он впервые взглянул прямо на Голта и неторопливо произнес:

— Без меня вы не сможете выйти из этой комнаты.

Голт улыбнулся:

— Верно.

— Вы не сможете ничего производить. Вы можете остаться здесь голодать.

— Верно.

— Так что же, неужели не понимаете? — громкая, дружелюбная оживленность снова вернулась в голос мистера Томпсона, словно данного и понятого намека нужно было теперь благополучно избежать посредством тона. — я могу предложить вам жизнь.

— Она не принадлежит вам, и вы не можете предлагать ее, мистер Томпсон, — негромко сказал Голт.

Что-то в его голосе заставило мистера Томпсона торопливо взглянуть на него и еще торопливее отвернуться. Улыбка Голта казалась почти кроткой.

— Вот что, — заговорил Голт, — понимаете вы, что я имел в виду, когда говорил, что ноль не может владеть закладной на жизнь? Это я должен был бы дать вам такую закладную, и я не даю.

Снятие угрозы — не плата, отрицание отрицательного — не вознаграждение, удаление ваших вооруженных бандитов — не стимул, предложение не убивать меня — не ценность.

— Кто… кто говорил что-то о вашем убийстве?

— Кто говорил что-то о чем-то ином? Если бы вы не держали меня здесь под дулом пистолета, под угрозой смерти, у вас не было бы никакой возможности говорить со мной. И это все, чего можно добиться с помощью вашего пистолета. Я не плачу за устранение угроз. Не выкупаю ни у кого свою жизнь.

— Это неверно, — весело сказал мистер Томпсон. — Если бы вы сломали ногу, то заплатили бы врачу, чтобы он вправил кость.

— Если бы он сломал ее, то нет, — Голт улыбнулся молчавшему мистеру Томпсону. — Я практичный человек, мистер Томпсон. Я не думаю, что практично поддерживать человека, для которого единственным средством к существованию является ломка моих костей. Не думаю, что практично поддерживать рэкет покровительства.

Мистер Томпсон задумался, потом покачал головой:

— Не думаю, что вы практичны. Практичный человек не упускает из виду фактов реальности.

Не тратит время попусту, желая, чтобы положение вещей стало другим, или пытаясь изменить его. Он принимает вещи такими, какие они есть. Вы в нашей власти — это факт. Нравится он вам или нет, это факт. И вам следует действовать в соответствии с этим.

— Я действую.

— Я имею в виду, что вам следует сотрудничать с нами. Следует признать существующее положение, принять его и приспособиться к нему.

— Если у вас заражение крови, будете вы приспосабливаться к этому факту или станете изменять его?

— О, это другое дело! Это физический факт!

— То есть физические факты можно исправлять, а ваши прихоти нет?

— Что?

— Вы имеете в виду, что физическую природу можно приспосабливать к людям, но ваши прихоти выше законов природы, и люди должны приспосабливаться к вам?

— Я имею в виду, что наложил на вас руку!

— И в ней пистолет?

— О, забудьте о пистолетах! Я…

— Я не могу забыть о факте реальности, мистер Томпсон. Это было бы непрактично.

— Ну, ладно: я держу пистолет. Что вы будете делать в этом случае?

— Буду действовать соответственно. Стану повиноваться вам.

— Что?

— Буду выполнять все, что вы мне скажете.

— Вы это всерьез?

— Всерьез. Буквально, — он увидел, что пылкость в лице мистера Томпсона постепенно сменяется недоуменным выражением. — Буду совершать любое действие, какое прикажете. Если прикажете вступить в должность экономического диктатора, вступлю. Если прикажете сидеть за письменным столом, буду сидеть. Если прикажете издавать директивы, буду издавать те директивы, какие прикажете.

— Но я не знаю, какие директивы издавать!

— И я не знаю.

Наступила долгая пауза.

— Ну? — спросил Голт. — Какие будут распоряжения?

— Спасите экономику страны.

— Я не знаю, как ее спасать.

— Найдите способ!

— Я не знаю, как искать его.

— Подумайте!

— Долго ли будете заставлять меня думать под пистолетом, мистер Томпсон?

Мистер Томпсон молча смотрел на него, и Голт видел в его сжатых губах, выпяченном подбородке, сощуренных глазах облик юного задиры, собирающегося произнести философский довод, выражаемый фразой: «Я тебе сейчас все зубы пересчитаю». Голт улыбнулся, глядя прямо на него, словно слыша эту невысказанную фразу и подчеркивая это. Мистер Томпсон отвернулся.

— Нет, — сказал Голт, — вы не хотите, чтобы я думал. Когда вы заставляете человека действовать вопреки его выбору и суждению, вы хотите, чтобы он перестал думать. Хотите превратить его в робота. Я буду подчиняться.

Мистер Томпсон вздохнул.

— Не понимаю, — сказал он тоном искренней беспомощности. — Чего-то недостает, и я не могу понять вас. Ради чего вам напрашиваться на неприятности? Вы можете любого заткнуть за пояс. Я вам не ровня, и вы это знаете. Почему бы вам не сделать вид, что присоединяетесь к нам, потом получить контроль и перехитрить меня?

— По той самой причине, по которой вы это предлагаете: потому что вы одержите победу.

— Что?

— Потому что это попытка более умных людей обыграть вас на ваших условиях, позволявших вам столетиями выходить сухими из воды. Кто из нас преуспеет, если мы будем соперничать за контроль над вашими гангстерами? Конечно, я мог бы сделать вид и не спас бы ни вашу экономику, ни вашу систему — их уже ничто не спасет. Но я бы погиб, и вы выиграли бы то, что всегда выигрывали в прошлом: отсрочку, еще одно отсрочивание казни на год или на месяц, купленное ценой надежды и усилий, какие можно еще выжать из лучших оставшихся возле вас людей, включая меня. Вот и все, что вам нужно, и это предел ваших устремлений. Месяц? Вы согласились бы на неделю, полагаясь на тот неоспоримый абсолют, что всегда сможете найти еще одну жертву. Но вы нашли жертву, которая отказывается играть свою историческую роль. Игра окончена, приятель.

— Это всего-навсего теория! — рявкнул мистер Томпсон с несколько излишней нервозностью; взгляд его стал блуждать по комнате, заменяя хождение по ней; он глянул на дверь так, будто хотел убежать. — Говорите, что мы погибнем, если не откажемся от этой системы?

— Да.

— В таком случае вы, поскольку находитесь в нашей власти, погибнете вместе с нами?

— Возможно.

— Вы не хотите жить?

— Страстно хочу, — Голт увидел, как во взгляде мистера Томпсона сверкнула искра, и улыбнулся. — Скажу больше: я знаю, что хочу жить сильнее, чем вы. Знаю, что вы полагаетесь на это. Знаю, что вы, в сущности, вовсе не хотите жить. Я хочу. И потому что так сильно хочу, не приму никакой замены.

Мистер Томпсон даже подпрыгнул.

— Это неправда! — выкрикнул он. — То, что я не хочу жить, неправда! Почему вы так говорите со мной? — он стоял, сжавшись, будто от внезапного холода. — Почему говорите такие вещи? Я не понимаю, о чем вы, — мистер Томпсон попятился на несколько шагов. — И неправда, что я гангстер. Я не хочу причинять вам вреда. Я никогда не хотел причинять кому-либо вред. Я хочу, чтобы люди мне симпатизировали. Хочу быть вашим другом… Хочу быть вашим другом! — крикнул он в пространство.

Голт смотрел на него ничего не выражающим взглядом, не давая ему догадаться, что именно

видит.

Мистер Томпсон неожиданно засуетился, будто в спешке.

— Мне надо бежать. Я… у меня назначено множество встреч. Мы поговорим еще на эту тему. Обдумайте все, как следует. Не спешите. Я не собираюсь оказывать на вас давление. Расслабьтесь, успокойтесь, чувствуйте себя, как дома. Требуйте, чего хотите: еды, выпивки, сигарет, всего самого лучшего, — он поглядел на одежду Голта. — Прикажу самому дорогому портному в городе сшить для вас приличную одежду. Хочу, чтобы вы привыкали к самому лучшему. Хочу, чтобы вам было удобно и… Послушайте, — спросил он с излишней небрежностью, — у вас есть семья? Родственники, которых вы хотели бы видеть?

— Нет.

— Друзья?

— Нет.

— Возлюбленная у вас есть?

— Нет.

— Просто я не хочу, чтобы вы скучали. Мы можем позволить вам принимать гостей, любых, каких назовете, если кого-то любите.

— Не люблю никого.

Мистер Томпсон остановился у двери, поглядел на Голта и покачал головой:

— Не могу понять вас. Никак не могу.

Голт улыбнулся, пожал плечами и ответил:

— Кто такой Джон Голт?

* * *

Над входом в отель кружился мокрый снег, и вооруженные охранники выглядели странно, безысходно беспомощными в круге света, они стояли, сутулясь, свесив головы, прижимая к себе для тепла обеими руками оружие, словно показывая, что расстреляй они со злобы все патроны в метель, это не принесло бы облегчения их телам.

С другой стороны улицы Чик Моррисон, Укрепитель Духа, шедший на совещание, которое должно было проходить на пятьдесят девятом этаже, заметил, что редкие, унылые прохожие не дают себе труда взглянуть на охранников, как не смотрели они и на заголовки стопы мокрых, непроданных газет на столике оборванного, дрожащего продавца: «Джон Голт обещает процветание».

Чик Моррисон с беспокойством покачал головой: уже в течение шести дней материалы

на первых полосах газет — на тему объединенных усилий лидеров страны, сотрудничающих с Джоном Голтом для выработки новой политики, — не приносили результатов. Люди шли, заметил он, с таким видом, будто не хотели видеть ничего вокруг. Никто не обратил на него никакого внимания, кроме оборванной старухи, молча протянувшей к нему руку, когда он подходил к освещенному входу; он ускорил шаг, и в узловатую, голую ладонь упали только мокрые снежинки.

Воспоминания об улице придавали голосу Чика Моррисона злобности, когда он обращался к кругу лиц в номере мистера Томпсона на пятьдесят девятом этаже. Выражение этих лиц было под стать его голосу.

— Похоже, это совершенно не действует, — сказал он, указывая на стопку донесений своих «прощупывателей пульса общества». — Все официальные сообщения для печати о нашем сотрудничестве с Джоном Голтом, кажется, ничего не меняют. Людям наплевать. Они не верят ни единому слову. Кое-кто говорит, что он ни за что не будет сотрудничать с нами. Большинство даже не верят, что мы нашли его. Не знаю, что случилось с людьми. Они уже

не верят ничему, — он вздохнул. — Позавчера в Кливленде закрылись три завода. Вчера в Чикаго — пять. В Сан-Франциско…

— Знаю, знаю, — раздраженно заметил мистер Томпсон, обматывая шею шарфом: отопительная система отеля вышла из строя.

— Тут у него нет выбора: он должен сдаться и принять эту должность. Должен!

Уэсли Моуч поднял глаза к потолку.

— Не просите меня больше говорить с ним, — сказал он и содрогнулся. — Я пытался. С этим человеком невозможно разговаривать.

— Я… я не могу, мистер Томпсон! — воскликнул Чик Моррисон, когда на нем остановился его блуждающий взгляд. — Если хотите, подам в отставку! Я больше не могу говорить с ним! Не заставляйте меня!

— С ним никто не может говорить, — сказал доктор Флойд Феррис. — Это пустая трата времени. Он не слышит ни единого твоего слова.

Фред Киннен усмехнулся:

— То есть слышит очень многое, так ведь? И, хуже того, отвечает.

— Тогда почему бы тебе не сделать еще попытку? — отрывисто спросил Моуч. — Тебе как будто понравилось говорить с ним. Почему бы не по-

пытаться убедить его?

— Я не так глуп, — ответил Киннен. — Не строй иллюзий, приятель. Его никто не убедит. Я не буду пытаться второй раз… Понравилось? — добавил он с удивленным выражением лица. — Да… да, пожалуй.

— Что это с тобой? Ты что, влюбился в этого человека? Позволяешь ему склонить себя на его сторону?

— Я? — Киннен издал невеселый смешок. — Какая мне может быть от него польза? Я первый пострадаю, когда он одержит победу… Только, — он задумчиво посмотрел в потолок, — только он говорит без обиняков.

— Он не одержит победы! — рявкнул мистер Томпсон. — Об этом не может быть и речи!

Наступила долгая пауза.

— В Западной Виргинии голодные бунты, — начал Уэсли Моуч. — а техасские фермеры…

— Мистер Томпсон! — с отчаянием воскликнул Чик Моррисон. — Может… показать его людям… на массовом митинге… или по телевидению… чтобы они поверили, что мы действительно его нашли… Это даст им на какое-то время надежду… даст нам немного времени…

— Слишком опасно, — резко произнес доктор

Феррис. — Нельзя допустить, чтобы он появлялся близко к людям. Он может позволить себе, что угодно.

— Он должен сдаться, — упрямо сказал мистер Томпсон. — Должен присоединиться к нам. Одному из вас придется…

— Нет! — завопил Юджин Лоусон. — Не я! Видеть его не хочу! Ни разу! Не хочу, чтобы он заставил меня в это поверить!

— Что? — спросил Джеймс Таггерт; в голосе его прозвучала нота опасно дерзкой насмешки; Лоусон не ответил. — Чего ты боишься? — презрение в голосе Таггерта звучало слишком подчеркнуто, словно чей-то более сильный страх побуждал его пренебречь собственным. — Во что ты боишься поверить, Джин?

— Не поверю этому! Не поверю! — голос Лоусона представлял собой полурычанье-полухныканье. — Вы не можете заставлять меня терять веру в человечество! Нельзя допускать существования таких! Бессердечный эгоист, который…

— Превосходное вы сборище интеллектуалов, — с презрением отметил мистер Томпсон. — я думал, вы сумеете поговорить с ним на его языке, но он нагнал на вас страху. Идеи? Где теперь ваши идеи? Сделайте что-нибудь! Заставьте

его присоединиться к нам! Склоните на нашу сторону!

— Беда в том, что он ничего не хочет, — сказал Моуч. — Что мы можем предложить человеку, который не хочет ничего?

— Хочешь сказать, — спросил Киннен, — что мы можем предложить человеку, который хочет жить?

— Замолчи! — завопил Джеймс Таггерт. — Почему ты это сказал? Что заставило тебя это сказать?

— Что заставило тебя вопить? — спросил Киннен.

— Замолчите все! — приказал мистер Томпсон. — Вы мастера сражаться друг с другом, но когда доходит до сражения с настоящим человеком…

— Значит, он и над вами одержал верх? — крикнул Лоусон.

— Да замолчи ты, — устало сказал мистер Томпсон. — Он самый несговорчивый тип из всех, с какими я сталкивался. Вам этого не понять. Поразительно твердый… — в голосе его послышалась нотка восхищения. — Поразительно твердый…

— Как я объяснял вам, — небрежно протянул

доктор Феррис, — существуют способы убеждать несговорчивых типов.

— Нет! — крикнул мистер Томпсон. — Нет! Заткнись! Не хочу слушать тебя! Не хочу слышать об этом! — руки его неистово задвигались, словно разгоняя что-то, чего он не хотел называть. — я сказал ему… что это неправда… что мы не собирались… что я не… — он затряс головой так, словно его слова представляли собой некую беспрецедентную форму опасности. — Нет, слушайте, ребята, я хочу сказать, что нам нужно быть практичными… и осторожными. Чертовски осторожными. Это дело нужно улаживать мирно. Мы не можем позволить себе восстанавливать его против нас… или причинять ему вред. Не дай бог с ним что-то случится. Потому что… потому что, если погибнет он, погибнем и мы. Не заблуждайтесь на этот счет. Если он погибнет, нам конец. Вы все это понимаете.

Он оглядел лица окружающих; они это понимали.

На другое утро мокрый снег падал на материалы первых полос газет, где сообщалось, что конструктивное, мирное совещание между Джоном Голтом и лидерами страны накануне днем привело к созданию «Плана Джона Голта»,

который вскоре будет опубликован. Вечером снежинки падали на мебель в жилом доме, передняя стена которого обвалилась, и на толпу людей, молча ждавших у окошка кассы завода, владелец которого исчез.

— Фермеры Южной Дакоты, — доложил Уэсли Моуч мистеру Томпсону на другое утро, — идут маршем к столице штата, сжигая по пути все правительственные здания и все дома ценой больше десяти тысяч долларов.

— Калифорния охвачена беспорядками, — доложил он вечером. — Там идет гражданская война, если только это гражданская война, в чем, как будто, никто не уверен. Они объявили, что отделяются от Союза, но кто сейчас находится у власти, никому не известно. По всему штату идут вооруженные столкновения между «народной партией», которую возглавляет Мамочка Чалмерс со своими поклонниками соевого культа Востока и какой-то организацией «обратно к Богу», которую возглавляют несколько бывших владельцев нефтепромыслов.

— Мисс Таггерт! — простонал мистер Томпсон, когда Дагни вошла на другое утро в его номер, приехав по вызову. — Что нам делать?

Он удивился, почему ему раньше казалось,

что она обладает некоей внушающей надежду силой. Перед ним было пустое лицо, казавшееся сдержанным, но эта сдержанность начинала внушать беспокойство, когда она длилась минуту за минутой, без перемены выражения, без какого-то признака чувства. «Выражение лица у нее такое же, как у всех остальных, — подумал он, — только что-то в складке губ говорит о стойкости».

— Я полагаюсь на вас, мисс Таггерт. Ума у вас больше, чем у всех моих ребят, — заговорил он умоляющим голосом. — Вы сделали для страны больше, чем кто-либо из них, вы нашли для нас Голта. Что нам делать? Все рушится, и он — единственный, кто может вызволить нас из этой беды, но не хочет. Отказывается. Наотрез отказывается взять на себя руководство. Я никогда не видел ничего подобного: человек, не имеющий никакого желания властвовать. Мы просим его отдавать распоряжения, а он отвечает, что хочет повиноваться им! Это бессмысленно!

— Да.

— Что вы думаете об этом? Можете его понять?

— Он — надменный эгоист, — ответила Дагни. — Честолюбивый авантюрист. Человек безграничной дерзости, играющий на самые

крупные в мире ставки.

«Это было легко», — подумала Дагни. Это было бы трудно в то далекое время, когда она видела в речи орудие чести, которым всегда нужно было пользоваться так, словно находишься под присягой верности реальности и уважения к людям. Теперь это было всего-навсего орудие издавания звуков, бессмысленных звуков, обращенных к неодушевленным предметам, не имеющим никакого отношения к таким понятиям, как реальность, человечность или честь. Было легко в то первое утро сообщить мистеру Томпсону, что она проследила Джона Голта до его дома. Легко было видеть судорожные улыбки мистера Томпсона и слышать его повторяющиеся восклицания «Молодчина!» с бросаемыми на помощников взглядами, в которых сквозило торжество человека, доверие которого к ней оправдалось. Легко было выразить жгучую ненависть к Голту — «Я соглашалась с его идеями, но не позволю ему уничтожить мою железную дорогу!» — и услышать слова мистера Томпсона: «Не беспокойтесь, мисс Таггерт! Мы защитим вас от него!»

Легко было придать лицу выражение холодной расчетливости и напомнить мистеру Томпсону

о вознаграждении в пятьсот тысяч долларов, голос ее был четким и режущим, как звук счетной машины, отпечатывающей сумму на векселе. Она видела, как лицо мистера Томпсона застыло на миг, потом расплылось в более широкой, веселой улыбке — это походило на безмолвную речь о том, что он не ждал такого, но рад узнать мотив ее поступка, и что этот мотив ему понятен.

— Разумеется, мисс Таггерт! Непременно! Это вознаграждение — ваше, полностью ваше. Вам пришлют чек на всю сумму!

Было легко, так как ей казалось, будто она находится в каком-то безотрадном антимире, где ее слова и поступки уже не являются ни фактами, ни отражением реальности, а лишь искаженными позами в кривых зеркалах, которые создают уродство для восприятия тех, чье сознание нельзя рассматривать как сознание. Единственной ее заботой, жгущей, словно обжигающий провод внутри, словно проходящая по телу раскаленная игла, была мысль о его безопасности. Все остальное расплывалось в бесформенной дымке, полукислоте-полутумане.

«Но ведь, — подумала с содроганием Дагни, — именно в этом состоянии живут все эти люди, которых я никогда не понимала, имен-

но этого состояния и желают, этой поддельной реальности, этой необходимости притворяться, искажать, обманывать, этого доверчивого взгляда затуманенных паникой глаз какого-то мистера Томпсона, служащего единственной целью и вознаграждением. Раз они желают этого состояния, — задалась она вопросом, — то хотят ли жить?»

— Самые крупные в мире ставки, мисс Таггерт? — с беспокойством спросил мистер Томпсон. — Как это понять? Что ему нужно?

— Реальность. Вся земля.

— Не совсем понимаю вас, но… Послушайте, мисс Таггерт, если считаете, что можете его понять, не согласитесь ли… не согласитесь ли попытаться поговорить с ним еще раз?

Дагни показалось, что она слышит свой голос с расстояния во множество световых лет, кричащий, что она готова отдать жизнь, лишь бы увидеть его, но в этой комнате она услышала голос какой-то незнакомки, холодно говорящий:

— Нет, мистер Томпсон, не соглашусь. Надеюсь, что больше никогда его не увижу.

— Я знаю, вы терпеть его не можете, и не виню вас, но не могли бы просто попытаться…

— Я пыталась урезонить Голта в ту ночь, когда

нашла его. В ответ слышала только оскорбления. Думаю, он ненавидит меня больше, чем кого бы то ни было. Не может простить, что я его обнаружила. Мне он ни за что не уступит.

— Да… да, это верно… Думаете, он уступит когда-нибудь?

Раскаленная игла внутри заколебалась, выбирая путь: сказать, что нет, и видеть, как они его убьют? Сказать, что, да, и видеть, как они будут держаться за свою власть, пока не погубят мир?

— Непременно, — твердо сказала она. — Сдастся, если правильно обходиться с ним. Он слишком честолюбив, чтобы отказаться от власти. Не давайте ему убежать, но не угрожайте и не причиняйте вреда. Страхом ничего не добьетесь. Он неподвластен страху.

— А что, если… все рушится… что, если он будет держаться слишком долго?

— Не будет. Для этого он слишком практичен. Кстати, вы сообщаете ему новости о положении в стране?

— Как… нет.

— Я бы советовала дать ему копии ваших секретных донесений. Он поймет, что времени почти не осталось.

— Хорошая мысль! Отличная!.. Знаете, мисс

Таггерт, — неожиданно сказал он с каким-то отчаянием в голосе, — всякий раз, как я поговорю с вами, у меня на душе становится легче, потому что вам доверяю. Из своего окружения я не доверяю никому. Но вы — другое дело. Вы сильная.

Дагни посмотрела на него в упор.

— Спасибо, мистер Томпсон.

«Это было легко», — сказала она себе и, лишь выйдя на улицу, заметила, что блузка под пальто прилипла к лопаткам. «Будь я способна чувствовать, — думала она, идя по вестибюлю Терминала, — я поняла бы, что тупое безразличие, какое испытываю сейчас к своей железной дороге, представляет собой ненависть». Дагни не могла отделаться от ощущения, что теперь по ее железной дороге ходят только товарные поезда; пассажиры для нее не были ни живыми, ни людьми. Казалось бессмысленным тратить громадные усилия на предотвращение катастроф, сохранение в безопасности поездов, перевозящих только неодушевленные предметы. Она смотрела на лица людей в Терминале; думала, что если бы ей предстояло умереть, быть убитой правителями их системы — эти люди продолжали есть, спать и путешествовать — будет ли она работать, чтобы обеспечивать их

поездами? Если бы она позвала на помощь, поднялся бы кто-нибудь на ее защиту? Хотят ли жить они, те, кто слышал его?

Чек на пятьсот тысяч долларов доставили ей в кабинет в тот же день с букетом цветов от мистера Томпсона. Дагни посмотрела на чек и, разжав пальцы, уронила его на стол: он ничего не значил, не вызывал у нее никаких чувств, даже намека на вину. Это был кусочек бумаги, значивший не больше чем те, что валялись в мусорной корзине. Можно было купить на него бриллиантовое ожерелье, городскую свалку или последнюю порцию еды, но для нее все это не имело никакого значения. Чек не был символом ценности, и все, что можно было бы на него купить, не могло быть ценностью. «Но это, — подумала она, — вялое равнодушие и есть постоянное состояние окружающих, людей, не имеющих ни цели, ни страсти. Это состояние ничего не ценящей души; и хотят ли жить те, кто избрал его?»

В коридоре дома, когда Дагни вернулась вечером, онемелая от усталости, осветительная система вышла из строя, и она не заметила конверта на полу, пока не включила свет у себя в передней. Это был чистый, запечатанный

конверт, подсунутый под дверь. Она подняла его и через секунду беззвучно рассмеялась, сидя на полу, не желая подниматься. Она хотела только смотреть на записку, написанную знакомой рукой, той, что писала последнее сообщение в календаре над городом.

Записка гласила: «Дагни! Стой на своем. Наблюдай за ними. Когда ему потребуется наша помощь, позвони мне по телефону ОР 6–5603. Ф.»

Вышедшие на другое утро газеты призывали людей не верить слухам, будто в южных штатах творятся какие-то беспорядки. В секретных донесениях мистеру Томпсону сообщалось, что между Алабамой и Джорджией происходят вооруженные столкновения за обладание заводом, производящим электрооборудование, заводом, отрезанным военными действиями и взорванными железнодорожными путями от всех источников сырья.

— Вы прочли секретные донесения, которые я вам отправил? — простонал вечером мистер Томпсон, снова придя к Голту. Его сопровождал Джеймс Таггерт, захотевший познакомиться с пленником.

Голт сидел на стуле, забросив ногу на ногу, и курил сигарету. По выражению его лица они могли

понять только, что он не испытывает страха.

— Прочел.

— Времени почти не осталось, — сказал мистер Томпсон.

— Да.

— Вы позволите делам идти так и дальше?

— А вы?

— Как вы можете быть так уверены в своей правоте? — выкрикнул Джеймс Таггерт; голос его был негромким, но напряженным. — Как вы можете в такое жуткое время придерживаться своих принципов, рискуя погубить весь мир?

— А чьих принципов мне следует придерживаться?

— Как вы можете быть уверены в том, что правы? Как вы можете знать? Никто не может быть уверен в знании! Никто! Вы не умнее, чем все остальные!

— Тогда почему я вам нужен?

— Как вы можете играть жизнями других? Как можете позволять себе такую эгоистичную роскошь держаться в стороне, когда вы нужны людям?

— То есть когда им нужны мои идеи?

— Никто не может быть полностью прав или неправ! Не существует ни черного, ни бело-

го! У вас нет монополии на истину!

«В манере Таггерта что-то неладно, — подумал, хмурясь, мистер Томпсон, — какое-то странное, чересчур личное возмущение, словно он пришел сюда решать не политический вопрос».

— Будь у вас какое-то чувство ответственности, — продолжал Таггерт, — вы не посмели бы рисковать, полагаясь только на свое суждение! Вы присоединились бы к нам, рассмотрели бы чужие идеи и признали, что мы тоже можем быть правы. Вы помогли бы нам разработать планы! Вы…

Таггерт говорил с лихорадочной настойчивостью, но мистер Томпсон не мог понять, слушает ли Голт. Голт поднялся и расхаживал по комнате не беспокойно, а с видом человека, наслаждающегося движениями своего тела. Мистер Томпсон обратил внимание на легкость его шагов, прямую линию стана, подтянутый живот, расслабленные плечи. Ходил Голт так, словно не сознавал своего тела, но гордился им. Мистер Томпсон взглянул на Джеймса Таггерта, неуклюже сутулившегося, сидя на стуле, заметил, что он с ненавистью наблюдает за движениями Голта. Голт не обращал внимания на Таггерта.

— …ваша совесть! — говорил Таггерт. — я при-

шел воззвать к вашей совести! Как вы можете ценить свой разум выше тысяч человеческих жизней? Люди гибнут, и… Черт возьми, да перестаньте ходить! — рявкнул он.

Голт остановился.

— Это приказ?

— Нет, нет! — торопливо вмешался мистер Томпсон. — Не приказ. Мы не хотим вам приказывать. Успокойся, Джим.

Голт снова принялся ходить.

— Мир рушится, — заговорил Таггерт, взгляд его упорно следовал за Голтом. — Люди гибнут, а вы — тот, кто мог бы их спасти! Какая разница, кто прав, а кто нет? Вы должны присоединиться к нам, даже если считаете, что мы неправы, вы должны пожертвовать своим разумом для их спасения!

— Каким образом я их буду спасать?

— Кем вы считаете себя? — выкрикнул Таггерт.

Голт остановился.

— Вы знаете.

— Вы эгоист!

— Да.

— Понимаете, какой вы эгоист?

— А вы? — спросил Голт, глядя на него в упор.

Таггерт медленно вжался в кресло, глядя в глаза

Голту, и мистер Томпсон ощутил необъяснимый страх перед следующей минутой.

— Послушайте, — вмешался он весело-небрежным голосом, — какие сигареты вы курите?

Голт повернулся к нему и улыбнулся.

— Не знаю.

— Откуда они у вас?

— Мне принес пачку один из ваших охранников. Сказал, какой-то человек попросил его передать их мне в подарок… Не беспокойтесь, — добавил он, — ваши ребята проверили ее самым тщательным образом. Тайных сообщений там не было. Это просто подарок от неизвестного поклонника.

На сигарете между пальцев Голта был символ доллара.

Мистер Томпсон решил, что Джеймс Таггерт не способен убеждать. Но Чик Моррисон, с которым он пришел на следующий день, оказался не лучше.

— Я… я отдаюсь в вашу власть, мистер Голт, — сказал он с отчаянной улыбкой. — Вы правы. Я признаю, что вы правы, и могу лишь взывать к вашему сочувствию. В глубине души я не могу поверить, что вы — законченный эгоист, не испытывающий сочувствия к людям, — и указал

на бумаги, которые положил на стол: — Вот обращение, подписанное тысячей школьников, они просят вас присоединиться к нам и спасти их. Вот обращение из приюта инвалидов. Вот петиция, подписанная священнослужителями двухсот различных вер. Вот призыв от матерей страны. Прочтите их.

— Это приказ?

— Нет! — выкрикнул мистер Томпсон. — Не приказ!

Голт не шевельнулся, не протянул руки к бумагам.

— Это обыкновенные, простые люди, мистер Голт, — сказал Чик Моррисон тоном, говорящим об их жалкой незначительности. — Они не могут сказать вам, что делать. Не могут этого знать. Лишь просят вас. Возможно, они слабые, беспомощные, слепые, невежественные. Но вы, такой умный и сильный, неужели не можете сжалиться над ними? Не можете помочь им?

— Отказавшись от своего ума и следуя их слепоте?

— Возможно, они заблуждаются, но по незнанию!

— А я, обладающий знанием, должен повиноваться им?

— Я не могу спорить, мистер Голт. Я только прошу вас о жалости. Они страдают. Я прошу вас пожалеть тех, кто страдает. Я… Мистер Голт, — спросил он, заметив, что Голт смотрит в даль за окном и что в глазах его внезапно появилось беспощадное выражение, — в чем дело? О чем вы думаете?

— О Хэнке Риардене.

— Э… почему?

— Испытывали они какую-то жалость к Хэнку Риардену?

— О, но это другое дело. Он…

— Заткнитесь, — равнодушно произнес Голт.

— Я только…

— Заткнись! — рявкнул мистер Томпсон. — Не обращайте на него внимания, мистер Голт. Он не спал две ночи и перепуган до потери разума.

Пришедший на другой день доктор Флойд Феррис не казался испуганным, но мистер Томпсон счел, что это еще хуже. Голт не отвечал доктору Феррису и хранил молчание.

— Это вопрос моральной ответственности, который вы, очевидно, не рассмотрели, как следует, — говорил доктор Феррис слишком уж беззаботно, со слишком уж деланой принуж-

денностью. — Вы как будто только и говорили по радио о грехах действия. Однако нужно рассмотреть и грехи бездействия. Не спасти жизнь так же безнравственно, как совершить убийство. Последствия те же самые, и поскольку о поступках нужно судить по их последствиям, моральная ответственность одна и та же… К примеру, поступило предложение, учитывая катастрофическую нехватку продуктов, издать директиву, чтобы каждый третий ребенок младше десяти лет и все взрослые старше шестидесяти были преданы смерти, чтобы обеспечить выживание остальных. Вы не хотели бы этого, так ведь? Вы можете это предотвратить. Одно ваше слово предотвратит это. Если откажетесь, и все эти люди будут казнены, это будет ваша вина и ваша моральная ответственность!

— Вы сошли с ума! — выкрикнул мистер Томпсон, оправившись от шока и подскочив. — Никто не делал такого предложения! Никто его не рассматривал! Мистер Голт, пожалуйста, не верьте ему! Он не имеет в виду этого!

— Имеет, — сказал Голт. — Прикажите этому мерзавцу посмотреть на меня, потом в зеркало, а затем спросить себя, неужели он думает, что мои моральные качества зависят от его по-

ступков.

— Пошел вон отсюда! — крикнул мистер Томпсон, рывком подняв Ферриса на ноги. — Пошел вон! Чтоб я больше ни слова от тебя не слышал!

Он распахнул дверь и вытолкнул Ферриса навстречу удивленному охраннику.

Повернувшись к Голту, он развел руками и уронил их в обессиленной беспомощности. Лицо Голта ничего не выражало.

— Послушайте, — умоляюще сказал мистер Томпсон, — неужели нет никого, кто мог бы поговорить с вами?

— Говорить не о чем.

— Мы должны. Нам необходимо убедить вас. Хотели бы вы поговорить с кем-нибудь?

— Нет.

— Я подумал, может быть… поскольку она высказывается… высказывалась иногда… в вашем духе… может, если я пришлю мисс Дагни Таггерт сказать вам…

— Ее? Да, она высказывалась в моем духе… Она — моя единственная неудача. Я думал, она на моей стороне. Но она обманывала меня, чтобы сохранить свою железную дорогу. Она душу продаст за свою дорогу. Пришлите ее сюда, если хотите, чтобы я дал ей пощечину.

— Нет, нет, нет! Вам не нужно ее видеть, если вы так к ней относитесь. Я не хочу больше тратить время на людей, которые вас раздражают… Только… только, если не мисс Таггерт, я не знаю, кого еще выбрать… Если… если смогу найти кого-нибудь, кого согласитесь выслушать…

— Я передумал, — сказал Голт. — Есть человек, с которым я хотел бы поговорить.

— Кто это? — пылко воскликнул мистер Томпсон.

— Доктор Роберт Стэдлер.

Мистер Томпсон протяжно свистнул и опасливо покачал головой.

— Этот человек не друг вам, — сказал он тоном честного предупреждения.

— Он тот, кого я хочу видеть.

— Хорошо, будь по-вашему. Завтра утром я пришлю его.

В тот вечер, ужиная с Уэсли Моучем в своем номере, мистер Томпсон гневно взглянул на стоящий перед ним стакан томатного сока.

— Как? Не грейпфрутовый? — резко спросил он: врач прописал ему сок грейпфрута как средство против простуды.

— Грейпфрутового сока нет, — ответил официант со странной многозначительностью.

— Дело в том, — уныло сказал Моуч, — что шайка бандитов совершила нападение на поезд на мосту Таггертов через Миссисипи. Они взорвали путь и повредили мост. Ничего серьезного. Мост отремонтирован, но все движение остановлено, и поезда из Аризоны не приходят.

— Черт знает что! Разве нет других…

Мистер Томпсон умолк; он знал, что других железнодорожных мостов через Миссисипи нет.

Через минуту он отрывисто произнес:

— Прикажи, чтобы этот мост охраняли армейские подразделения. Днем и ночью. Пусть отберут лучших солдат. Если с этим мостом что-то случится…

Мистер Томпсон не договорил; он горбился, глядя на стоявшие перед ним дорогие фарфоровые тарелки с деликатесами. Отсутствие такой мелочи, как грейпфрутовый сок, внезапно дало ему впервые понять, что случится с Нью-Йорком, если что-то непредвиденное произойдет с мостом Таггертов.

— Дагни, — сказал Эдди Уиллерс в тот вечер, — мост — не единственная наша проблема, — он включил настольную лампу, которую Дагни, сосредоточившись на работе, не включила с приближением сумерек. — Из Сан-Франциско

не может выйти ни один трансконтинентальный поезд. Одна из сражающихся сторон, не знаю какая, захватила наш Терминал и обложила наши поезда «отправным налогом». То есть они задерживают поезда ради выкупа. Наш начальник терминала скрылся. Там никто не знает, что делать.

— Я не могу покинуть Нью-Йорк, — холодно ответила Дагни.

— Знаю, — мягко ответил Эдди. — Потому я и поеду туда налаживать дела. По крайней мере найти подходящего руководителя.

— Нет! Не нужно. Это слишком опасно. И зачем? В этом уже нет нужды. Спасать нечего.

— Это все еще *«Таггерт Трансконтинентал»*. Я буду спасать ее. Дагни, ты, куда ни поедешь, сможешь построить железную дорогу. Я нет. Я даже не хочу начинать все сначала. После того, что видел. Ты начнешь. Я не смогу. Позволь мне сделать то, что в моих силах.

— Эдди! Неужели ты хочешь… — она умолкла, понимая, что это бесполезно. — Ладно. Раз у тебя есть такое желание.

— Вечером я вылетаю в Калифорнию — договорился о месте на военном самолете… я знаю, что ты все бросишь, как только… как только смо-

жешь покинуть Нью-Йорк. Возможно, тебя уже не будет здесь, когда я вернусь. Как только ты будешь готова, уезжай. Не беспокойся обо мне. Не жди меня, чтобы поставить в известность. Уезжай, как только сможешь. Я… я попрощаюсь с тобой сейчас.

Дагни поднялась. Они стояли лицом к лицу в полумраке кабинета, между ними висел на стене портрет Натаниэля Таггерта. Им обоим виделись давние годы — то время, когда они только научились ходить по железнодорожным путям. Эдди склонил голову и не поднимал несколько секунд.

Дагни протянула руку.

— До свиданья, Эдди.

Он крепко пожал ее, не глядя на свои пальцы; он глядел ей в глаза.

Эдди пошел к выходу, но остановился, повернулся к ней и спросил, негромко, но твердо, это была не мольба, не отчаяние, а последняя точка в долгой истории:

— Дагни… ты знала… как я относился к тебе?

— Да, — мягко сказала она, осознав в этот миг то, что понимала в течение многих лет. — Знала.

— До свиданья, Дагни.

Негромкий шум от поезда под землей разнесся

по стенам здания и заглушил звук закрывшейся за ним двери.

На другое утро шел снег, тающие снежинки леденили виски доктора Роберта Стэдлера, шедшего по коридору отеля «*Уэйн-Фолкленд*» к номеру, где находился Джон Голт. По бокам шли двое крепких людей из Комитета укрепления духа, которые даже не пытались скрывать, какой метод укрепления им хотелось бы пустить в ход.

— Помни распоряжения мистера Томпсона, — презрительно сказал один из них. — Одно неверное слово, и ты пожалеешь об этом, приятель.

«Что-то с моей головой, — подумал доктор Стэдлер, — это какое-то жгучее сжатие». Оно не проходило после той сцены накануне вечером, когда он кричал мистеру Томпсону, что не может видеть Джона Голта. Он кричал в слепом ужасе, упрашивая круг бесстрастных лиц не принуждать его к общению с Голтом, с плачем обещал сделать все, что угодно, кроме этого. Чиновники не снисходили ни до спора, ни даже до угроз; лишь отдавали ему приказания. Он провел бессонную ночь, твердя себе, что не подчинится; но теперь шел к двери номера Голта. Причиной жгучего сжатия висков и легкой, вызывающей

головокружение тошноты было то, что он никак не мог ощутить себя доктором Робертом Стэдлером. Он увидел металлический блеск штыков на винтовках охранников у двери, услышал, как в замке повернулся ключ. Обнаружив, что идет вперед, Стэдлер услышал, как за ним заперли дверь.

В другом конце большой комнаты он увидел сидящего на подоконнике Джона Голта, высокого, стройного, в широких брюках и рубашке, одна его нога свисала к полу, другая была согнута, пальцы рук были сплетены на колене, голова с будто освещенными солнцем волосами четко вырисовывалась на фоне серого неба. Внезапно доктор Стэдлер увидел парня, сидящего на перилах веранды его дома неподалеку от студенческого городка университета Патрика Генри, с копной каштановых волос на фоне летней голубизны, услышал свой страстный голос, говоривший двадцать два года назад: «Единственная священная ценность в этом мире, Джон, — человеческий разум, незыблемый человеческий разум…» И он крикнул этому парню через комнату и через годы:

— Я ничего не мог поделать, Джон! Я ничего не мог поделать!

Доктор Стэдлер ухватился за край стоявшего между ними стола для поддержки, сжимал его, как защитный барьер, хотя человек на подоконнике не пошевелился.

— Не я довел тебя до этого! — крикнул он. — Я не хотел! Я ничего не мог поделать! У меня была другая цель!.. Джон! Я неповинен в этом! Неповинен! У меня не было ни единого шанса против них! Они владеют миром! И не оставили мне места в нем!.. Что для них разум? Что наука? Ты не знаешь, как они ужасны! Ты не понимаешь их! Они не мыслят! Это бессмысленные животные, движимые неразумными чувствами, алчными, ненасытными, слепыми, необъяснимыми чувствами! Они хватают все, что хотят, знают только одно: что хотят этого, без мысли о причине, последствии или логики, проклятые, жадные свиньи!.. Разум? Неужели не понимаешь, как он бессилен против этих бездумных орд? Наше оружие совершенно беспомощно, до смешного инфантильно: истина, знание, ценности, права! Они знают только силу, силу и грабеж!.. Джон! Не смотри на меня так! Что я мог поделать против их кулаков? Мне нужно было жить, так ведь? Это я не для себя — для будущего науки! Мне было нужно, чтобы меня оставили в покое,

нужно было чувствовать себя защищенным, мне пришлось согласиться на их условия — другого способа жить нет. Слышишь меня? Нет!.. Что, по-твоему, мне следовало делать? Тратить жизнь на выпрашивание работы? Просить у тех, кто ниже меня, фонды и пожертвования? По-твоему, мне следовало зависеть от милости бандитов, умеющих делать деньги? У меня не было времени соперничать с ними за деньги или за рынки, или за все их жалкие материальные цели! Тебе казалось справедливым, чтобы они швыряли деньги на выпивку, яхты, женщин, а тем временем бесценные часы моей жизни проходили бы впустую из-за отсутствия научного оборудования? Убеждение? Как я мог их убедить? На каком языке мог разговаривать с людьми, которые не мыслят?.. Ты не представляешь, как я был одинок, как жаждал найти какой-то проблеск разума! Как одинок, ослаблен и беспомощен! Почему я, обладающий таким разумом, должен заключать сделки с невежественными идиотами? Они не внесли ни цента на науку! Почему их нельзя принуждать? Принуждать я хотел не тебя! Это оружие было направлено не на разум! Не на таких, как ты и я, только на бездумных материалистов!.. Почему ты так на меня смот-

ришь? У меня не было выбора! Выбор есть лишь один — побить их в их же игре! Да, это их игра, правила устанавливают они! Что значим мы, те немногие, кто способны мыслить? Мы можем только надеяться остаться в стороне незамеченными и хитростью заставить их служить нашим целям!.. Неужели не понимаешь, какой благородной была эта цель — мое видение будущего науки? Освобожденное от материальных уз человеческое знание, не ограниченное средствами! Я не предатель, Джон! Нет! Я служил делу разума! То, что я видел впереди, то, чего хотел, к чему стремился, нельзя измерить в их жалких долларах! Я хотел лабораторию! Мне она была необходима! Не все ли равно, откуда она возьмется или как? Я мог бы сделать так много! Мог бы достичь таких высот!

Неужели у тебя нет никакого сочувствия? Оно нужно мне!.. Их приходилось принуждать. В конце концов кто они такие, чтобы думать? Почему ты учил их бунтовать? Все получилось бы, если бы ты их не увел. Все получилось бы, уверяю тебя! Не было бы так, как сейчас!.. Не обвиняй меня! Мы не можем быть виновными… все мы… в течение столетий… Не можем быть полностью неправы!.. Нас нельзя осуждать! У нас не было

выбора! Жить по-другому на земле невозможно!.. Почему не отвечаешь мне? Что видишь? Думаешь о той речи, которую произнес? Я не хочу о ней думать! Это была только логика! Жить логикой невозможно! Слышишь?.. Не смотри на меня! Ты просишь невозможного! Люди не могут жить по-твоему! Ты не допускаешь минуты слабости, не допускаешь ни человеческих недостатков, ни человеческих чувств! Чего ты хочешь от нас? Работы разума двадцать четыре часа в сутки без выхода, без отдыха, без избавления?.. Не смотри на меня, будь ты проклят! Я больше не боюсь тебя! Слышишь? Не боюсь! Кто ты такой, чтобы винить меня, жалкий неудачник? Вот куда привела тебя твоя дорога! Ты здесь, пойманный, беспомощный, под стражей, тебя в любую минуту могут убить эти скоты, и ты смеешь обвинять меня в том, что я непрактичен! О, да, тебя убьют! Ты не можешь победить! Нельзя допустить твоей победы! Ты должен быть уничтожен!

Восклицание доктора Стэдлера прозвучало приглушенным воплем, словно неподвижность человека на подоконнике служила безмолвным отражателем и внезапно заставила его понять полный смысл своих слов.

— Нет! — простонал доктор Стэдлер, водя го-

ловой из стороны в сторону, чтобы избежать взгляда неподвижных зеленых глаз. — Нет, нет, нет!

В голосе Голта была та же непреклонная суровость, что и во взгляде.

— Вы сказали все, что я хотел сказать вам.

Доктор Стэдлер забарабанил кулаками в дверь, и когда она открылась, он выбежал из комнаты.

* * *

Три дня в номер Голта никто не заходил, кроме приносивших еду охранников. Под вечер четвертого дня дверь открылась, и вошел Чик Моррисон с двумя спутниками. Он был одет в смокинг, его улыбка казалась нервозной, но чуть более уверенной, чем обычно. Один из его спутников был слугой, другой — здоровяком, чье лицо явно плохо сочеталось со смокингом: суровая физиономия с тяжелыми веками, светлыми, бегающими глазками и сломанным, как у профессионального боксера, носом; голова была брита наголо, лишь на темени курчавились белокурые волосы, а правую руку он все время держал в кармане брюк.

— Оденьтесь, пожалуйста, мистер Голт, — настойчиво сказал Чик Моррисон, указав на дверь

спальни, где гардероб был забит дорогой одеждой, которую Голт не хотел носить. — Наденьте, пожалуйста, смокинг, — и добавил: — Это приказ, мистер Голт.

Голт молча пошел в спальню. Трое последовали за ним. Чик Моррисон сел на край кресла, он закуривал и выбрасывал одну сигарету за другой. Слуга совершал слишком много услужливых движений, помогая Голту одеваться, подавал ему запонки, потом пиджак. Здоровяк стоял в углу, держа руку в кармане. Никто не произнес ни слова.

— Пожалуйста, будьте покладисты, мистер Голт, — дал наставление Чик Моррисон Джону Голту, когда тот был готов, и учтиво указал на дверь.

Неуловимо быстрым движением здоровяк схватил Голта за руку и приставил к его боку невидимый пистолет.

— Не совершайте ошибочных действий, — посоветовал он без каких-либо эмоций.

— Никогда не совершаю, — ответил Голт.

Чик Моррисон открыл дверь. Слуга остался в номере. Трое в смокингах молча пошли по коридору к лифту.

Молчали они и в лифте, когда вспыхивающие

над дверью цифры отмечали движение кабины вниз.

Лифт остановился на полуэтаже между первым и вторым этажами. Двое вооруженных солдат пошли впереди них, двое — позади. Они шли по длинным, плохо освещенным коридорам, в которых не было никого, кроме вооруженных часовых на поворотах. Здоровяк держал Голта под руку правой рукой; пистолет оставался невидимым для любого возможного наблюдателя. Голт ощущал легкое прикосновение дула к боку; оно не воспринималось как помеха, но о нем невозможно было забыть ни на минуту.

Коридор вел к широкой закрытой двери. Солдаты словно бы растаяли в темноте, когда Чик Моррисон коснулся дверной ручки. Дверь открыл он сам, но внезапный контраст света и шума создал впечатление, что ее распахнуло взрывом: свет шел от трехсот лампочек сияющей люстры в бальном зале отеля, шум представлял собой аплодисменты пятисот человек.

Чик Моррисон направился вперед, к столу ораторов на помосте, высящемуся над заполнявшими комнату столами. Люди, казалось, знали без объявления, что из двух человек, следующих за ним, аплодируют высокому, стройному муж-

чине с золотисто-медными волосами. Лицо его соответствовало тому голосу, который они слышали по радио: оно было спокойным, уверенным и недосягаемым.

Для Голта приготовили почетное место посередине стола, мистер Томпсон ждал его, сидя справа, а здоровяк ловко пристроился слева, не убрав ни руки, ни пистолета. Бриллианты на обнаженных плечах женщин отражали огни люстры в полумраке столов у дальних стен; суровые черно-белые фигуры мужчин спасали торжественность королевской роскоши комнаты от неуместного в ней вида кинокамер, микрофонов и пока бездействующего комплекта телеоборудования. Толпа аплодировала стоя. Мистер Томпсон улыбался и наблюдал за лицом Голта пылким, беспокойным взглядом взрослого, ждущего реакции ребенка на необычайно щедрый подарок. Голт смотрел на аплодирующих, не игнорируя их и не отвечая.

— Этими аплодисментами, — закричал радиодиктор в микрофон в углу комнаты, — приветствуют Джона Голта, он только что занял свое место за столом ораторов! Да, друзья, Джона Голта собственной персоной, как вскоре смогут увидеть те, кто найдет телевизор!

«Нужно помнить, где я нахожусь», — подумала Дагни, сжимая кулаки под скатертью стоявшего в отдалении столика. Трудно было сохранять ощущение двойной реальности в присутствии Голта, сидевшего в тридцати футах от нее. Дагни чувствовала, что в мире не может существовать ни опасности, ни страданий, пока она видит его лицо. Но вместе с тем она испытывала леденящий ужас, когда смотрела на тех, кто держал его в своей власти, и вспоминала о слепой неразумности представления, которое они устраивали. Она старалась держать лицевые мышцы в неподвижности, не выдавать себя счастливой улыбкой или проявлением паники.

Дагни недоумевала, как он смог отыскать ее в толпе. Она заметила его недолгий взгляд, которого никто другой не мог поймать. Этот взгляд представлял собой больше, чем поцелуй: он казался рукопожатием одобрения и поддержки.

Голт больше не смотрел в ее сторону. Дагни не могла заставить себя отвернуться. Видеть его в вечерней одежде было странно; еще поразительнее было то, что носил он ее совершенно естественно: на нем она выглядела как символ чести; при виде его Дагни пришла мысль о банкете в далеком прошлом, на котором он получал бы

награду за изобретение. «Праздники, — вспомнила она с тоской собственные слова, — должны существовать лишь для тех, кому есть что праздновать».

Дагни отвернулась. Она силилась не смотреть на него слишком часто, не привлекать внимания окружающих. Ей отвели место за столиком, который стоял достаточно близко, чтобы ее видели собравшиеся, те, кто навлек на себя его неприязнь: доктор Феррис и Юджин Лоусон. Джима усадили ближе к помосту; Дагни видела его угрюмое лицо, рядом были Тинки Холлоуэй, Фред Киннен и доктор Саймон Притчетт. Сидевшие за столом ораторов люди со страдальческими лицами не могли скрыть, что переносят тяжелое испытание. Спокойное лицо Голта казалось сияющим; Дагни задалась вопросом: кто пленник и кто повелитель здесь? Она медленно окинула взглядом всех: мистера Томпсона, Уэсли Моуча, Чика Моррисона, нескольких генералов и членов Законодательного собрания. Вопреки здравому смыслу мистера Моуча избрали в угоду Голту символом крупного бизнеса. Она оглядела комнату, ища доктора Стэдлера, — его там не было.

Раздававшиеся в комнате голоса напоминали Дагни температурный листок лихорадящего

больного: они поднимались слишком высоко и опускались стремительно вниз в промежутки молчания; редкие вспышки смеха резко обрывались, к ним испуганно поворачивались сидевшие за соседними столиками. Лица были искажены наиболее заметным и наименее достойным напряжением — вымученными улыбками. «Эти люди, — подумала Дагни, — осознают не разумом, а страхом, что сегодняшний банкет — высшая точка и обнаженная сущность их мира. Осознают, что ни их бог, ни их оружие не могут сделать это празднество таким, каким они стараются его представить».

Дагни не могла проглотить ни кусочка из того, что было поставлено на столе перед ней; горло словно было сведено сильной конвульсией. Она заметила, что другие за ее столиком тоже просто делают вид, что едят. Казалось, только доктор Феррис не утратил аппетита.

Когда она увидела подтаявшее мороженое в хрустальной чаше перед собой, то заметила, что все внезапно замолчали, и услышала скрип телевизионной аппаратуры, подтягиваемой вперед для работы. «Ну вот», — подумала Дагни с тяжелым ожиданием, понимая, что все присутствующие испытывают то же самое.

Все неотрывно смотрели на Голта. Его лицо оставалось неподвижным, неизменным.

Когда мистер Томпсон махнул рукой диктору, призывать к молчанию не пришлось; казалось, все затаили дыхание.

— Сограждане, — закричал диктор в микрофон, — и жители всех других стран, которые могут слышать нас из большого бального зала отеля «*Уэйн-Фолкленд*» в Нью-Йорке, мы представляем вам начало действия плана Джона Голта!

На стене за столом ораторов появился прямоугольник яркого голубоватого света — телевизионный экран, представляющий гостям ту картинку, которую теперь должна была видеть вся страна.

— Это план Джона Голта для мира, процветания и богатства! — выкрикнул диктор, когда на экране появилось дрожащее изображение зала. — Это заря новой эры! Это результат гармоничного сотрудничества между гуманитарным духом наших лидеров и научным гением Джона Голта. Если вашу веру в будущее поколебали злобные слухи, вы можете сейчас видеть счастливую, дружную семью нашего руководства!.. Дамы и господа, — телекамера приблизилась к столу,

и экран заполнило ошеломленное лицо мистера Моуэна, — перед вами мистер Хорес Басби Моуэн, американский промышленник! — камера переместилась к старческому лицу с подобием улыбки. — Генерал Эррей Уиттингтон! — камера, словно глаз на опознании в полицейском участке, перемещалась от одного обезображенного лица к другому: их обезображивало разрушительное воздействие страха, уклончивости, отчаяния, неуверенности, отвращения к себе и вины. — Лидер большинства в Национальном Законодательном собрании мистер Лусиан Фелпс!.. Мистер Уэсли Моуч!.. Мистер Томпсон! — камера задержалась на мистере Томпсоне; он широко улыбнулся нации и отвел взгляд от экрана влево с видом торжествующего предвкушения. — Дамы и господа, — торжественно произнес диктор, — Джон Голт!

«Господи! — подумала Дагни. — Что они делают?» с экрана на страну смотрело лицо Джона Голта, лицо без следов страдания, страха или вины, неумолимое благодаря добродетели спокойствия, неуязвимое благодаря добродетели самоуважения. «Это лицо, — подумала она, — среди других?»

«Что бы они ни планировали, — подумала Да-

гни, — это обречено на неудачу, ничего больше сказать нельзя и не нужно, есть результаты двух моральных кодексов, есть выбор, и каждый человек это поймет».

— Личный секретарь мистера Голта, — сказал диктор, тем временем камера, быстро показав лицо здоровяка, двинулась дальше. — Мистер Кларенс «Чик» Моррисон… Адмирал Гомер Доули… мистер…

Дагни поглядела на лица окружающих и задалась вопросом: «Неужели они не увидели контраста, не поняли? Неужели не видели его? Не захотели увидеть в истинном свете?»

— Этот банкет, — начал свою речь Чик Моррисон, взявший слово как распорядитель, — устроен в честь величайшего человека нашего времени, способнейшего организатора, эрудита, нового руководителя нашей экономики — Джона Голта! Если вы слышали его необычайную речь по радио, у вас не может быть сомнений, что он может заставить систему работать. Сейчас он здесь, дабы сказать вам, что заставит ее работать ради вас. Если вас ввели в заблуждение те отсталые экстремисты, которые утверждали, что он ни за что не присоединится к нам, что не может быть сближения между его образом жизни

и нашим, либо одно, либо другое, сегодняшнее мероприятие покажет вам, как все можно примирить и объединить!

«Раз они видели его, — думала Дагни, — как могут они хотеть смотреть на кого-то другого? Раз поняли, что он возможен, что человек может быть таким, как могут они хотеть искать чего-то еще? Как могут испытывать какое-то желание, кроме желания достичь в своих душах того, что он достиг в своей душе? Или их остановит тот факт, что моучи, томпсоны, моррисоны всего мира не хотят достигать этого? Неужели они хотят видеть в моучах людей, а в нем — нечто невозможное?»

Камера блуждала по залу, посылая на экран и на всю страну изображения лиц выдающихся гостей, лица напряженно-настороженных лидеров и — время от времени — лицо Джона Голта. Выглядел он так, словно его проницательные глаза изучали людей за пределами этой комнаты, всех тех по всей стране, кто наблюдал за ним. Нельзя было понять, слушает ли он: на его сдержанном лице не отражалось ничего, ни единой эмоции.

— Я горжусь тем, что отдаю должное, — сказал лидер Законодательного Собрания, — величай-

шему экономисту-организатору, какой только появлялся на свете, в высшей степени одаренному администратору — Джону Голту, человеку, который спасет нас! Благодарю его от имени народа!

«Это, — подумала Дагни с отвращением и насмешливостью, — спектакль искренности бесчестных людей. Самым отвратительным в этом мошенничестве является то, что они искренни. Они предлагали Голту самое лучшее, что можно предложить при их взглядах на существование, пытались искушать его тем, что им представляется высшим достижением в жизни: бездумным низкопоклонством, нереальностью этого чудовищного притворства, одобрением без существующих мер, похвалами без смысла, почестями без оснований, восхищением без причин, любовью без кодекса ценностей».

— Мы отбросили все мелкие разногласия, — говорил теперь в микрофон Уэсли Моуч, — все пристрастные мнения, все личные интересы и эгоистичные взгляды, чтобы подчиняться бескорыстному руководству Джона Голта!

«Почему они слушают? — подумала Дагни. — Неужели не видят признака смерти в их лицах и признака жизни в лице Голта? Какое состоя-

ние они хотят избрать? Какого состояния ищут для человечества?..» Она посмотрела на лица в бальном зале — они были нервозно-пустыми; на них лежала печать только тяжкого груза апатичности и застарелости постоянного страха. Эти люди смотрели на Голта и Моуча так, словно не могли постичь никакой разницы между ними или подумать, существует ли какая-то разница, их пустые, некритичные, неоценивающие взгляды говорили: «Кто я такой, чтобы знать?» Дагни содрогнулась, вспомнив его фразу: «Когда человек заявляет: «Кто я такой, чтобы знать?», он заявляет: «Кто я такой, чтобы жить?»» «Хотят ли они жить? — подумала она. — Кажется, они даже не хотят задаться этим вопросом…» Она увидела нескольких людей, которые, казалось, хотели этого. Они смотрели на Голта с отчаянной мольбой, с тоскующе-трагичным восхищением, но их руки вяло лежали на столиках. Это были люди, понимавшие, кто он, жившие в тщетном желании его мира, но завтра, если его будут убивать при них, их руки будут так же вяло свисать, их глаза будут смотреть в сторону, как бы говоря: «Кто я такой, чтобы действовать?»

— Единство действия и цели, — сказал Моуч, — приведет нас к более счастливому миру…

Мистер Томпсон подался к Голту и прошептал с дружеской улыбкой:

— Вам придется сказать стране несколько слов, потом, после меня. Нет, нет, не длинную речь, одну-две фразы, не больше. Просто скажете: «Привет, люди!» Или что-то в этом духе, чтобы они узнали ваш голос.

Чуть усиленный нажим пистолета «секретаря» в бок Голту добавил невысказанный пункт. Голт не ответил.

— План Джона Голта, — говорил Уэсли Моуч, — урегулирует все конфликты. Он защитит собственность богатых и выделит большую долю бедным. Он снизит бремя налогов и даст вам больше правительственных льгот. Понизит цены и повысит зарплаты. Даст больше свободы индивидуальностям и укрепит узы коллективных обязательств. Будет сочетать эффективность свободного предпринимательства с щедростью плановой экономики.

Дагни посмотрела на нескольких людей — ей потребовалось усилие, чтобы полностью в это поверить, — смотревших на Голта с ненавистью. Одним из них был Джим. Пока на экране было лицо Моуча, их лица были расслаблены в скучном удовлетворении, не удовольствии, а успокоении,

что от них ничего не требуется, что все неясно и неопределенно. Когда там появилось лицо Голта, губы их сжались, черты лица заострились выражением странной осторожности. Дагни ощутила внезапную уверенность, что они боятся четкости его лица, ясности его черт, выражения сознания бытия, утверждения существования. «Они ненавидят его за то, что он — это он, — подумала Дагни, ощутив дыхание холодного ужаса, когда ей стала ясна сущность их душ. — Они ненавидят его за способность жить. Хотят ли они сами жить?» — размышляла она с усмешкой. И сквозь наступившее онемение разума вспомнила его фразу: «Желание быть никем есть желание не быть».

Теперь уже мистер Томпсон кричал в микрофон в самой оживленной и простонародной манере:

— И я говорю вам: дайте кулаком в зубы всем, кто сомневается, кто сеет разобщение и страх! Они говорили, что Джон Голт никогда не присоединится к нам, верно? Так вот, он здесь, собственной персоной, по своему свободному выбору, за этим столом и во главе нашего государства! Готовый, желающий и способный служить народному делу! И смотрите, все вы, больше не думайте сомневаться или убегать

или сдаваться! Завтра уже наступило, и какое завтра! С завтраком, обедом и ужином для всех на свете, с машиной в каждом гараже, с бесплатной электроэнергией, производимой таким двигателем, какого вы не видели никогда! И все, что от вас требуется, это еще немного потерпеть! Терпение, вера и единство — вот слагаемые прогресса! Мы должны объединиться со всем миром, как громадная счастливая семья, и все должны трудиться для блага всех! Мы нашли лидера, который перекроет достижения нашего самого богатого и деятельного прошлого! Любовь к человечеству заставила его прийти сюда, служить вам, защищать вас и заботиться о вас! Он услышал ваши просьбы и ответил на зов нашего общего человеческого долга! Каждый человек — сторож своему брату! Ни один человек — не остров сам по себе! А теперь вы услышите его голос, услышите его собственные слова!.. Дамы и господа, — торжественно произнес он, — Джон Голт — коллективной семье человечества!

Камера обратилась на Джона Голта. Несколько секунд он оставался неподвижным. Потом таким быстрым, ловким движением, что рука «секретаря» не смогла поспеть за ним, поднялся

и наклонился в сторону, оставив наведенный пистолет открытым глазам всего мира. После этого он выпрямился, глядя на всех своих невидимых зрителей, и произнес:

— Убирайтесь с дороги!

ГЛАВА IX. ГЕНЕРАТОР

— Убирайтесь с дороги!

Доктор Роберт Стэдлер услышал это по радио в своей машине. Он не понял, откуда начал исходить следующий звук — отчасти восклицание, отчасти вопль, отчасти смех, но услышал щелчок, оборвавший его. Радио умолкло. Из отеля «*Уэйн-Фолкленд*» не раздавалось ни звука.

Он торопливо вертел то одну, то другую ручку под светящейся шкалой приемника. Из него ничего не слышалось: ни объяснений, ни ссылок на технические неполадки, ни скрывающей молчание музыки. Все станции прекратили вещание.

Стэдлер вздрогнул, крепко сжал руль, подался вперед, будто жокей в конце скачки, и нажал на педаль акселератора. Небольшой участок дороги перед ним будто подскакивал в свете фар. За этой освещенной полосой не было ничего, кроме пустоты прерий Айовы.

Стэдлер не знал, почему слушал эту радиопередачу, не знал, почему дрожит теперь. Он издал отрывистый смешок, который, однако, прозвучал злобным рыком, обращенным то ли к прием-

нику, то ли к тем, кто находился в городе, то ли к небу.

Он наблюдал за редкими столбами с номерами шоссе. Пользоваться картой ему не требовалось: уже четыре дня эта карта была отпечатана в его мозгу, словно выжженная кислотой. «Им не отнять ее у меня, — подумал он, — им меня не остановить». У него было такое ощущение, что его преследуют, однако позади на много миль ничего не было, кроме двух красных огней на задней части машины, они походили на маленькие сигналы опасности, несущиеся сквозь темноту равнин Айовы.

Причиной, заставившей его пуститься в путь, было то, что он не мог забыть лицо сидевшего на подоконнике человека и те лица, в которые смотрел, когда выбежал из той комнаты. Он кричал тем людям, что не может бороться с Голтом, не смогут и они, что Голт уничтожит их, если они не уничтожат его раньше.

— Не умничай, профессор, — холодно ответил мистер Томпсон. — Ты во все горло орал, что ненавидишь его, но когда дошло до дела, ничем нам не помог. Не знаю, на чьей ты стороне. Если он не сдастся по-хорошему, нам придется прибегнуть к нажиму — взять заложников, ко-

торых он не хочет видеть пострадавшими, и ты первый в этом списке, профессор.

— Я? — воскликнул он с ожесточенно-отчаянным смехом, дрожа от ужаса. — Я? Но ведь он осуждает меня больше, чем кого бы то ни было!

— Откуда мне знать? — ответил мистер Томпсон. — я знаю, что ты был его учителем. И не забывай, ты — единственный, кого он захотел видеть.

Стэдлер был сам не свой от страха: ему казалось, что его вот-вот раздавят две надвигающиеся стены — у него не было ни единого шанса, если Голт откажется сдаться, и тем более не было в том случае, если Голт присоединится к этим людям.

Тогда в его мозгу возникло далекое видение: образ дома с грибовидным куполом посреди айовской равнины. Потом все образы стали сливаться в его сознании. «Проект "Икс"», — подумал он, не понимая, вид этого здания или какого-то господствующего над местностью феодального замка дал ему ощущение времени и мира, в котором он жил… «Я — Роберт Стэдлер, — подумал он, — это моя собственность, этот аппарат появился на свет в результате моих открытий, они сказали, что изобрел его я…» «Я покажу им!» — пригрозил он, не зная, имеет ли в виду

сидевшего на подоконнике человека или тех других, а, может быть, и все человечество…

Мысли его стали бессвязными, напоминающими плавающие в жидкости щепки: «Захватить контроль… я им покажу!.. Захватить контроль, править… Другого образа жить на земле нет…» Это были единственные слова, обозначавшие его план. Он чувствовал, что остальное ему ясно, ясно в форме неистового чувства, вызывающе кричащего, что ему не нужно это прояснять. Он возьмет контроль над «Проектом "Икс"» и будет править частью страны как своим феодальным владением. Каким образом? Чувство отвечало: «Каким-то». Мотив? Разум упорно твердил, что мотивом является ужас перед бандой мистера Томпсона, что ему небезопасно находиться среди этих людей, что его план является практической необходимостью. В глубине сознания его чувство содержало ужас иного рода, утонувший вместе со связями между словами-щепками.

Щепки эти представляли собой единственный компас, направлявший ход его мыслей в течение четырех дней и ночей, пока он ехал пустынными шоссе по превращавшейся в хаос местности, пока с хитростью маньяка изобретал способы незакон-

ной покупки бензина, спал урывками в скромных отелях, где назывался вымышленными фамилиями. «Я — Роберт Стэдлер», — вертелось у него в мозгу, а разум повторял это как формулу всевластия. «Захватить контроль», — повторял он, мчась на красный свет ставших ненужными светофоров в полупокинутых городах, по вибрирующей стали моста Таггертов через Миссисипи, мимо редких разрушенных ферм Айовы… «Я им покажу, — грозился он неведомым неприятелям, — пусть преследуют, на сей раз они не остановят меня…» Он думал так, хотя его никто никогда не преследовал, никто не преследовал и сейчас, кроме задних красных огней машины и гудевшего в сознании мотива.

Стэдлер посмотрел на умолкший приемник и издал смешок с таким чувством, словно погрозил кулаком пространству. «Это я практичен, — подумал он, — у меня нет выбора… нет иного пути… я покажу всем этим наглым гангстерам, забывшим, что я — Роберт Стэдлер… Они все погибнут, а я нет!.. Я выживу! …Я одержу победу! …Я им покажу!»

Эти слова были островками твердой земли в его сознании, посреди отвратительно безмолвного болота; связи между ними погрузились на дно.

Будь слова связными, они образовали бы фразу: «Я покажу им, что другого образа жить на земле нет!..»

Вдали показались рассеянные огни казарм, построенных на участке «Проекта «Икс»», теперь называвшегося Хармони-сити. Подъехав поближе, Стэдлер заметил, что на территории «Проекта «Икс»» происходит что-то необычное. Проволочное заграждение было разрушено, часовых у ворот не оказалось. Но какая-то странная деятельность бурлила в темных местах и в свете каких-то колеблющихся прожекторов: там были бронетранспортеры, бегающие люди, громкие команды и блеск штыков. Его машину никто не остановил. Возле угла лачуги Стэдлер увидел распростертое на земле тело солдата.

«Пьяный», — подумал он, предпочитая так думать и недоумевая, почему не уверен в этом.

Грибовидное строение стояло на холмике перед ним; в узких окнах-прорезях был свет, и из-под крыши торчали бесформенные раструбы, наведенные в темноту местности. Когда он вылез из машины у входа, путь ему преградил солдат.

Он был в полном вооружении, но без головного убора, мундир сидел на нем мешковато.

— Куда ты, приятель? — спросил он.

— Пропусти меня! — высокомерно приказал Стэдлер.

— Что тебе там делать?

— Я — доктор Роберт Стэдлер.

— А я — Джон Блоу. Я спрашиваю, что тебе там делать? Ты из новых или из старых?

— Пропусти, идиот! Я доктор Роберт Стэдлер!

Солдата убедили не фамилия, а тон голоса и форма обращения.

— Из новых, — сказал он, открыл дверь и крикнул кому-то внутри: — Эй, Мак, позаботься об этом дедуле, узнай, что ему нужно!

В голом, тускло освещенном холле из армированного бетона его встретил похожий на офицера человек, только ворот мундира был расстегнут, из уголка рта бесцеремонно свисала сигарета.

— Ты кто? — рявкнул он, рука его метнулась к кобуре на бедре.

— Доктор Роберт Стэдлер.

Это имя не произвело впечатления.

— Кто дал тебе разрешение войти сюда?

— Мне разрешения не нужно.

Это как будто произвело впечатление; он вынул изо рта сигарету.

— Кто посылал за тобой? — спросил он немного неуверенно.

— Мне нужно поговорить с комендантом! — раздраженно потребовал Стэдлер.

— С комендантом? Опоздал, приятель.

— Тогда с главным инженером!

— С главным… а, с Уилли? Уилли — молодчина, один из нас, но сейчас он на задании.

В холле были и другие люди, они слушали с настороженным любопытством. Офицер поманил к себе одного из них, небритого штатского с накинутым на плечи старым пальто.

— Что тебе нужно? — резко спросил он Стэдлера.

— Кто-нибудь скажет мне, где находятся джентльмены из научного персонала? — спросил доктор Стэдлер любезно-властным тоном приказа.

Офицер и штатский переглянулись, словно этот вопрос был здесь неуместен.

— Вы из Вашингтона? — с подозрением спросил штатский.

— Нет. Вы должны понять, что я порвал с этой вашингтонской бандой.

— Вот как? — штатский, казалось, был доволен. — В таком случае вы — друг народа?

— Должен сказать, я лучший друг, какой только был у народа. Я — тот, кто дал ему все это.

И повел рукой вокруг.

— Вот как? — почтительно произнес штатский. — Вы — один из тех, кто заключил сделку с боссом?

— Босс с этой минуты здесь я.

Офицер со штатским переглянулись и отступили на несколько шагов. Офицер спросил:

— Вы сказали, ваша фамилия Стэдлер?

— Я — Роберт Стэдлер. И если не знаете, что это значит, то скоро узнаете!

— Прошу вас, сэр, следовать за мной, — неуверенно-вежливо сказал офицер.

То, что происходило дальше, Стэдлеру было непонятно, его разум отказывался признавать реальность того, что он видел. В тускло освещенных, пришедших в беспорядок кабинетах двигались какие-то люди, у всех на бедрах было слишком много пистолетов, ему задавали бессмысленные вопросы резкими голосами, в которых слышались то наглость, то страх.

Стэдлер не знал, пытался ли кто-нибудь дать ему объяснение; он не слушал; не мог допустить, чтобы это было правдой. Он повторял тоном феодального владыки: «Теперь босс здесь я… я отдаю приказания… я приехал, чтобы взять власть… я владелец этого места… я — доктор Роберт Стэдлер,

и если вы не знаете этого имени, вам здесь нечего делать, чертовы идиоты! Вы сами погубите себя, если таков уровень ваших знаний! Прошли вы школьный курс физики? Похоже, никто из вас вообще не учился в школе! Что вы здесь делаете? Кто вы?»

Потребовалось долгое время, чтобы понять, разум больше не мог этого блокировать, кто-то опередил его: кто-то держался того же взгляда на существование и поставил себе целью достичь того же будущего. Он понял, что эти люди, именующие себя «друзьями народа», захватили «Проект "Икс"» несколько часов назад с целью установить собственное правление. Он смеялся им в лица со злобно-удивленным презрением.

— Вы понятия не имеете, что делаете, жалкие малолетние преступники! Думаете, что вы, вы сможете управлять высокоточным научным изобретением? Кто ваш начальник? Требую встречи с вашим начальником!

Его непререкаемо-властный тон, его презрение и их слепой страх людей необузданного насилия, не знающих мер надежности или опасности, заставили их заколебаться, не является ли он каким-то тайным членом их высшего руководства; они в равной мере готовы были повиноваться

или не повиноваться любой власти. Стэдлера долго передавали от одного пугливого командира к другому и наконец повели вниз по железной лестнице и длинным гулким подземным коридорам из армированного бетона на встречу с «Боссом» собственной персоной. Босс скрывался в подземном контрольном пункте.

Среди сложных спиралей точной научной аппаратуры, создающей звуковые волны, напротив стенной панели с блестящими рычагами, дисками и приборами, именуемой «Ксилофон», Роберт Стэдлер увидел нового властителя «Проекта "Икс"». Это был Каффи Мейгс.

На Мейгсе были тесный полувоенный мундир и кожаные гетры; кожа на шее выпирала складками над краем воротника; черные кудри были потными, спутанными. Он неустанно нетвердо расхаживал перед «Ксилофоном», выкрикивая приказания людям, которые вбегали и выбегали:

— Отправьте курьеров во все окружные центры в пределах досягаемости! Сообщите, что друзья народа победили! Скажите, чтобы больше не принимали распоряжений из Вашингтона! Новой столицей Народного Государства является Хармони-сити, отныне носящий имя Мейгсвилл! Скажите, что я жду по пятьсот тысяч долларов

с каждых пяти тысяч голов населения, а не то будет плохо!

Прошло какое-то время, прежде чем внимание и мутные карие глаза Мейгса обратились к доктору Стэдлеру.

— Ну, в чем дело? В чем дело? — отрывисто спросил он.

— Я — доктор Роберт Стэдлер.

— Что? Ах, да! Да! Ты — та самая большая шишка из иных миров, так ведь? Тот тип, что ловит атомы или что там еще. Ну, какого черта ты делаешь здесь?

— Это я должен спросить у вас.

— Что? Слушай, профессор, я не в настроении шутить!

— Я приехал принять контроль.

— Контроль? Над чем?

— Над этим оборудованием. Над этим местом. Над местностью в радиусе его действия.

Мейгс невыразительно посмотрел на него и негромко спросил:

— Как ты попал сюда?

— Приехал на машине.

— Я имею в виду, кого привез с собой?

— Никого.

— Какое у тебя оружие?

— Никакого. Достаточно моего имени.

— Приехал один, со своим именем и на своей машине?

— Да.

Каффи Мейгс расхохотался ему в лицо.

— Думаете, — спросил доктор Стэдлер, — что сможете управлять этой установкой?

— Проваливай, профессор, проваливай! Пошел отсюда, пока я не приказал тебя застрелить! Нам тут не нужны интеллектуалы!

— Много вы об этом знаете?

Доктор Стэдлер указал на «Ксилофон».

— Не все ли равно? Техники сейчас пруд пруди! Пошел отсюда! Здесь тебе не Вашингтон! Я порвал с этими непрактичными мечтателями в Вашингтоне! Они ничего не добьются, торгуясь с этим радиопризраком и произнося речи! Действие — вот что нужно! Прямое действие! Проваливай, док! Твоя песенка спета!

Мейгс зашатался, то и дело хватаясь за рычаги «Ксилофона». Доктор Стэдлер понял, что он пьян.

— Не касайтесь этих рычагов, кретин!

Мейгс невольно отдернул руку, потом вызывающе указал ею на панель.

— Я буду касаться всего, чего захочу! Не учи меня, что делать!

— Отойдите от панели! Убирайтесь! Она моя! Понимаете? Это моя собственность!

— Собственность! Ну и ну!

Мейгс издал короткий смешок, похожий на лай.

— Я изобрел «Ксилофон»! Я создал его! Я сделал его возможным!

— Ты? Ну, что ж, док, большое спасибо. Большое спасибо, но ты больше нам не нужен. У нас есть свои механики.

— Вы хоть представляете, что я должен знать, чтобы сделать его возможным? Вы не смогли придумать ни единой его трубки! Ни одной задвижки!

Мейгс пожал плечами:

— Может быть.

— Тогда как смеете думать, что можете им владеть? Как посмели явиться сюда? Какое имеете на него право?

Мейгс похлопал по кобуре:

— Вот это.

— Слушайте, пьяный олух! — выкрикнул доктор Стэдлер. — Вы отдаете себе отчет, с чем играете?

— Не разговаривай так со мной, старый болван! Кто ты такой, чтобы так обращаться ко мне? Я мо-

гу голыми руками свернуть тебе шею! Ты знаешь, кто я?

— Испуганный бандит, утративший способность соображать!

— Ах, вот как? Я — босс! Босс, и меня не остановит старое пугало вроде тебя! Пошел отсюда!

Они постояли, неотрывно глядя друг на друга, охваченные ужасом. Причиной ужаса Стэдлера были неистовые усилия не признавать того, что он смотрит на свой окончательный продукт, свое духовное детище. Причина ужаса Каффи Мейгса была шире, она охватывала все существование; он всю жизнь жил в постоянном страхе, но теперь силился не признавать, чего боялся: в минуту торжества, когда он надеялся быть в безопасности, этот таинственный маг, этот интеллектуал, отказывался бояться и бросал вызов его власти.

— Убирайся! — прорычал Каффи Мейгс. — Я вызову своих людей! Прикажу застрелить тебя!

— Убирайтесь сами, паршивый, безмозглый, хвастливый идиот! — прорычал доктор Стэдлер. — Думаете, я позволю вам обогащаться за счет моей жизни? Думаете, это ради вас я… я продал… — он не договорил. — Не трогайте этих рычагов, черт возьми!

— Не смей приказывать! Не указывай, что мне делать! Ты не запугаешь меня своим ученым жаргоном! Я буду делать все, что захочу! Иначе за что я сражался?

Он издал смешок и потянулся к одному из рычагов.

— Эй, Каффи, осторожнее! — крикнул какой-то человек в глубине комнаты и бросился вперед.

— Назад! — заорал Каффи Мейгс. — Все назад! Думаете, я испугался? Я покажу вам, кто босс!

Доктор Стэдлер бросился помешать ему, но Мейгс оттолкнул его одной рукой, рассмеялся при виде упавшего на пол ученого, а другой рукой дернул рычаг «Ксилофона».

Грохот, визжащий грохот рвущегося металла и столкнувшихся противодействующих сил системы, грохот восставшего против себя чудовища был слышен только внутри постройки. Снаружи не раздалось ни звука. Снаружи строение лишь поднялось в воздух, внезапно, беззвучно, развалилось на несколько больших частей, взметнуло в небо шипящие языки синего пламени и рухнуло грудой камней. В окружности радиусом в сто миль, захватывающей части четырех штатов, телеграфные столбы повалились, как спички, фермерские постройки превратились в щепки,

городские дома рухнули, словно скошенные, изуродованные жертвы не успели ничего услышать, и на периферии окружности, на середине Миссисипи, паровоз и первые шесть вагонов пассажирского поезда полетели в реку металлическим дождем вместе с западным пролетом разрезанного надвое моста Таггертов.

На территории бывшего «Проекта "Икс"», среди развалин, не оставалось ничего живого, лишь груды истерзанной плоти. А тот, кто некогда был обладателем великого разума, несколько бесконечно долгих минут испытывал мучительное страдание.

«Есть какое-то ощущение невесомой свободы, — подумала Дагни, — в сознании того, что моей ближайшей, абсолютной целью является телефонная будка, что моя цель не имеет никакого отношения к целям прохожих на улицах». Это не вызвало у нее чувства отчуждения от города: она впервые ощутила, что это ее город, и она любит его, любит, как не любила никогда до этой минуты, с очень личным, торжественным, уверенным чувством обладания. Ночь была тихой, ясной; Дагни посмотрела на небо. Как ее чувство было скорее торжественным, чем радостным, но содержало в себе ощущение будущей

радости, так воздух был, скорее, безветренным, чем теплым, но в нем витало ощущение далекой весны.

«Убирайтесь с дороги», — думала она не злобно, а почти весело, с чувством отъединенности и освобождения, адресуя это прохожим, машинам, когда они задерживали ее торопливое движение, страху, который испытывала в прошлом. Меньше часа назад она слышала, как Голт произнес эту фразу, и голос его, казалось, все еще звучал в воздухе улиц, переходя в далекое подобие смеха.

Она ликующе смеялась в бальном зале отеля, когда услышала эту его фразу; смеялась, закрыв ладонью рот, так что смех был только в ее глазах, и в его, когда Голт взглянул прямо на нее, и она поняла, что он слышит ее смех. Они глядели друг на друга в течение секунды, над головами восклицающей, вопящей толпы, над грохотом разбиваемых микрофонов, хотя все станции были мгновенно отключены, над звоном бьющегося стекла с падающих столиков, когда кое-кто панически бросился к дверям.

Потом Дагни услышала, как мистер Томпсон закричал, указывая рукой на Голта:

— Отведите его обратно в номер, вы головой

за него отвечаете!

Толпа раздвинулась, когда трое выводили его. Мистер Томпсон, казалось, на миг лишился сил, уронил голову на руки, но овладел собой, подскочил, вяло махнул рукой своим приверженцам и быстро вышел через частный боковой выход. К гостям никто не обращался, никто их не инструктировал; одни безрассудно бежали к двери, другие сидели, не смея шевельнуться. Бальный зал походил на судно без капитана. Дагни протиснулась через толпу и последовала за кликой. Остановить ее никто не пытался.

Она нашла членов правительства сгрудившимися в маленьком частном кабинете. Мистер Томпсон бессильно сидел в кресле, обхватив руками голову, Уэсли Моуч стонал, Юджин Лоусон всхлипывал, словно капризный ребенок. Джим смотрел на остальных с какой-то странной выжидающей напряженностью.

— Я так и говорил вам! — кричал доктор Феррис. — Говорил, разве не так? Вот чего вы добились своим «убеждением по-доброму»!

Дагни осталась стоять у двери. Ее присутствие как будто заметили, но, казалось, не придавали ему значения.

— Я ухожу в отставку! — крикнул Чик Мор-

рисон. — Ухожу! Хватит с меня! Я не знаю, что сказать стране! Я не могу думать! И пытаться не стану! Это бессмысленно! Я ничего не могу поделать!

Он замахал руками в каком-то хаотичном жесте бессмысленности или прощания и выбежал из комнаты.

— У Чика есть убежище со всем необходимым в Теннесси, — задумчиво сказал Тинки Холлоуэй, словно он тоже принял подобную предосторожность и теперь задавался вопросом, не настало ли время ею воспользоваться.

— Чик недолго будет пользоваться им, если вообще доберется туда, — сказал Уэсли Моуч. — Шайки бандитов, состояние транспорта…

Не договорив, он развел руками.

Дагни понимала, какие мысли заполняли эту паузу; понимала, что какие бы частные убежища эти люди ни приготовили себе, теперь они знают, что оказались в ловушке. Она обратила внимание, что ужаса в их лицах нет; были какие-то его признаки, но лишь поверхностные. На их лицах читались и полная апатия, и облегчение мошенников, считавших, что игра не может иметь иного исхода, не пытавшихся его оспорить и не жалевших о нем, и вздорное безрассудство

Лоусона, отказывающегося осознавать что бы то ни было, и странная напряженность Джеймса, напоминавшая скрытую улыбку.

— Ну? Ну? — раздраженно спрашивал доктор Феррис с бурной энергией человека, освоившегося в мире истерии. — Что вы теперь собираетесь с ним делать? Спорить? Дебатировать? Произносить речи?

Никто не ответил ему.

— Он… должен… спасти… нас, — медленно проговорил Моуч, словно загоняя остатки разума в пустоту и предъявляя ультиматум реальности. — Должен… принять власть… и спасти систему.

— Почему не напишешь ему об этом в любовном письме? — спросил Феррис.

— Мы должны… заставить его… принять власть… Должны принудить его править, — произнес Моуч тоном сомнамбулы.

— Ну, — спросил Феррис, неожиданно понизив голос, — понимаешь теперь, какую ценную организацию представляет собой Государственный научный институт?

Моуч не ответил, но Дагни заметила, что все как будто поняли его.

— Ты возражал против моего частного иссле-

довательского проекта, называя его «непрактичным», — мягко сказал Феррис. — Но что я тебе говорил?

Моуч не ответил; он похрустывал суставами пальцев.

— Сейчас не время быть разборчивыми, — заговорил с внезапной оживленностью Джеймс Таггерт, но голос его тоже был странно негромким. — Мы не должны колебаться.

— Мне кажется… — тупо произнес Моуч, — что… что цель оправдывает средства…

— Уже поздно колебаться и держаться принципов, — сказал Феррис. — Принести пользу могут только решительные действия.

Никто не ответил; все вели себя так, словно хотели, чтобы мнение их выражали не слова, а паузы.

— Ничего не выйдет, — произнес Тинки Холлоуэй. — Он не сдастся.

— Это ты так думаешь! — сказал Феррис и усмехнулся. — Ты не видел нашу экспериментальную модель в действии. В прошлом месяце мы получили три признания в трех нераскрытых делах об убийстве.

— Если… — заговорил мистер Томпсон, и голос его внезапно перешел в стон, — если он умрет,

нам всем конец!

— Не беспокойтесь, — сказал Феррис. — Не умрет. «Увещатель Ферриса» надежно рассчитан против такой возможности.

Мистер Томпсон не ответил.

— Мне кажется… другого выбора у нас нет… — чуть ли не шепотом выдавил из себя Уэсли Моуч.

Все молчали; мистер Томпсон старался не замечать, что все смотрят на него, потом неожиданно выпалил:

— О, делайте, что хотите! Я ничего не могу поделать! Делайте, что хотите!

Доктор Феррис повернулся к Лоусону.

— Джин, — напряженно сказал он, по-прежнему шепотом, — беги в кабинет контроля радиостанций. Скажи, пусть все станции будут наготове. Скажи, что через три часа я заставлю мистера Голта выступить в эфире.

Лоусон подскочил с неожиданной радостной усмешкой и выбежал.

Дагни поняла. Она поняла, что́ они собираются делать и что в их сознании сделало это возможным. Они не думали, что таким образом добьются успеха. Не думали, что Голт сдастся, и не хотели, чтобы он сдавался. Не думали,

что теперь их может что-то спасти, и не хотели спасения. Движимые паникой своих неназванных эмоций, они сражались против реальности всю жизнь, и теперь достигли той минуты, когда почувствовали себя, как рыба в воде. Им незачем было знать, почему они так себя чувствуют. Они никогда не хотели знать, что чувствуют, они лишь испытывали некое узнавание, поскольку это было то, чего они хотели. Это была та реальность, которая выражалась во всех их чувствах, действиях, желаниях, выборах, мечтах. Таковы были природа и метод бунта против существования и смутного поиска неведомой нирваны. Они не хотели жить — они хотели, чтобы он умер.

Ужас, который испытала Дагни, был кратким, словно резкая перемена перспективы: она поняла, что субъекты, которых считала людьми, не люди. У нее оставались лишь чувства ясности, окончательного ответа и необходимости действовать. Голт находился в опасности; не было ни времени, ни места в ее сознании, чтобы расточать их на эмоции по поводу действий существ, не достигших человеческого уровня.

— Нужно принять меры, — прошептал Уэсли Моуч, — чтобы никто об этом не узнал…

— Никто не узнает, — сказал Феррис; голоса их звучали сдержанно, как у заговорщиков. — Это отдельное секретное помещение на территории института… Звуконепроницаемое и надежно удаленное от остальных… о нем знают очень немногие из наших сотрудников…

— Если нам придется вылететь… — заговорил Моуч и внезапно умолк, словно уловил какое-то предостережение в лице Ферриса.

Дагни увидела, как Феррис посмотрел на нее, будто внезапно вспомнил о ее присутствии. Она выдержала этот взгляд, продемонстрировала ему холодное безразличие, словно не интересовалась их разговором и не понимала его. Потом, словно догадавшись, что разговор секретный, медленно повернулась, чуть пожав плечами, и вышла из комнаты. Она понимала, что им уже не до мыслей о ней.

Дагни с тем же равнодушным видом неторопливо прошла по коридорам и вышла из отеля. Но когда миновала этот квартал и свернула за угол, вскинула голову. Складки вечернего платья стали биться о ноги, как парус, от внезапной быстроты шагов. И теперь, идя по темной улице и думая только о телефонной будке, она испытывала новое чувство, несмотря на сознание

опасности и озабоченность: чувство свободы, которой ничто не воздвигнет препятствий.

Дагни увидела на тротуаре полосу света из окна бара. Никто не обращал на нее никакого внимания, когда она шла по полупустому залу: несколько посетителей все еще ждали и напряженно перешептывались перед потрескивающей голубой пустотой телеэкрана.

Стоя в тесном пространстве телефонной будки, словно в каюте корабля, готовящегося отправиться к другой планете, Дагни набрала номер ОР 6–5693.

В трубке тут же послышался голос Франсиско:

— Алло?

— Франсиско?

— Привет, Дагни. Я ждал твоего звонка.

— Слушал радиопередачу?

— Слушал.

— Теперь они хотят принудить его сдаться, — она говорила бесстрастным тоном. — Хотят его пытать. У них есть какая-то машина, именуемая «Увещатель Ферриса», она находится в изолированном помещении на территории Государственного научного института. В Нью-Гемпшире. Они говорили о вылете. Говорили, что через три часа заставят его выступить по радио.

— Понятно. Звонишь из автомата?

— Да.

— Ты все еще в вечернем платье?

— Да.

— Теперь слушай внимательно. Дома переоденься, уложи несколько вещей, которые тебе потребуются, возьми драгоценности и те ценные вещи, которые сможешь унести, кое-какую теплую одежду. Потом времени на это не будет. Встретимся через сорок минут на северо-западном углу, в двух кварталах к востоку от главного входа в Терминал Таггертов.

— Хорошо.

— Пока, Чушка.

— Пока, Фриско.

Меньше чем через пять минут Дагни быстро сняла в спальне своей квартиры вечернее платье. Оставила его лежать на полу, словно мундир армии, в которой больше не служила. Надела темно-синий костюм и, вспомнив слова Голта, белый свитер с высоким воротником. Она собрала чемодан и сумку с плечевым ремнем. В угол сумки положила драгоценности, в том числе браслет из риарден-металла, который заработала во внешнем мире, и пятидолларовую золотую монету, заработанную в долине.

Было легко покидать квартиру, запирать дверь, хотя Дагни знала, что, возможно, больше никогда ее не откроет. Когда вошла в кабинет, на миг показалось труднее. Никто не видел, как она вошла, в передней кабинета не было никого; громадный небоскреб Таггертов казался необычайно тихим. Дагни постояла, глядя на эту комнату, на все годы, которые она вмещала. Потом улыбнулась и подумала: «Нет, не так уж и трудно»; открыла сейф и взяла те документы, за которыми пришла. Больше ничего из кабинета она не хотела брать, кроме портрета Натаниэля Таггерта и карты *«Таггерт Трансконтинентал»*. Она сломала обе рамы, вынула портрет, сложила карту и сунула их в чемодан.

Запирая его, Дагни услышала торопливые шаги. Дверь распахнулась, и в комнату вошел главный инженер; он дрожал; лицо его исказилось.

— Мисс Таггерт! — воскликнул он. — О, слава богу, мисс Таггерт, вы здесь! Мы звонили повсюду, разыскивая вас!

Дагни не ответила; лишь вопросительно посмотрела на него.

— Мисс Таггерт, вы слышали?

— Что?

— Значит, не слышали! О господи, мисс Таггерт,

это… я не могу поверить, никак не могу поверить, но… о господи, что нам делать? Мост… мост Таггертов уничтожен!

Она смотрела на него, будучи не в силах пошевелиться.

— Уничтожен! Взорван! Разрушен, очевидно, в одну секунду! Никто не знает, что произошло, но похоже… думают, что-то случилось с «Проектом «Икс»» и… похоже, это звуковые волны, мисс Таггерт! Мы не можем дозвониться ни до единого места в радиусе ста миль! Это невозможно, не может быть возможным, но, похоже, на этой территории все стерто с лица земли!.. Мы не можем получить никакого ответа! Никто не может получить ответа — газеты, радиостанции, полиция! Мы продолжаем наводить справки, но сообщения, приходящие с границы этого круга… — он содрогнулся. — Определенно лишь одно: мост уничтожен! Мисс Таггерт! Мы не знаем, что делать!

Дагни бросилась к письменному столу и подняла телефонную трубку. Рука ее замерла в воздухе. Потом медленно, непрямо, с величайшим усилием, какое только от нее требовалось, стала опускать руку, чтобы положить трубку на место. Ей показалось, что на это ушло много времени,

что руке ее пришлось преодолевать какое-то атмосферное давление, противостоять которому не могло бы ни одно человеческое тело. И в течение этих нескольких секунд, в тишине слепящей боли, она поняла, что испытывал Франсиско в ту ночь, двенадцать лет назад, и что испытывал парень двадцати шести лет, когда в последний раз смотрел на свой двигатель.

— Мисс Таггерт! — воскликнул главный инженер. — Мы не знаем, что делать!

Трубка с легким щелчком легла на место.

— Я тоже не знаю, — ответила Дагни. Через секунду она поняла, что все кончено. Услышала свой голос, приказывающий этому человеку продолжать наведение справок и потом доложить ей. Она подождала, когда в гулкой тишине коридора смолкнет звук его шагов.

Проходя по терминалу в последний раз, Дагни взглянула на статую Натаниэля Таггерта и вспомнила о данном обещании. «Оно будет теперь лишь символом, — подумала она, — но тем прощанием, какого Натаниэль Таггерт заслуживает». У нее не было никакого пишущего приспособления, но она достала из сумочки губную помаду и, улыбнувшись мраморному лицу человека, который понял бы, нарисовала большой символ

доллара на пьедестале под его ногами.

Дагни первой пришла на угол в двух кварталах от входа в терминал. Дожидаясь, она замечала первые струйки паники, которая вскоре затопит город: автомобили ехали слишком быстро, некоторые были нагружены домашним скарбом, проносилось слишком много полицейских машин, и вдали завывало слишком много сирен.

Весть о разрушении моста, очевидно, уже распространялась по городу; люди поймут, что город обречен, начнется паническое бегство, но бежать им было некуда, и это было уже не ее заботой.

Дагни увидела Франсиско издали, узнала его по быстрому шагу, когда еще не могла разглядеть лица. Уловила миг, когда он увидел ее, подойдя поближе. Франсиско с приветливой улыбкой помахал ей рукой. Какое-то выразительное напряжение руки превратило это в жест представителя рода д'Анкония, приветствующего долгожданного гостя у ворот своих владений.

Когда он подошел, Дагни стояла, торжественно выпрямившись, и, взглянув на него, на здания величайшего в мире города, как на нужных ей свидетелей, медленно произнесла твердым, уверенным голосом:

— Клянусь своей жизнью и любовью к ней,

что никогда не буду жить для кого-то другого и не попрошу кого-то другого жить для меня.

Франсиско склонил голову, словно приглашая ее войти. Теперь улыбка его была приветственной. Потом поднял чемодан Дагни, взял ее под руку и сказал:

— Пошли.

* * *

Корпус, названный «Проект Ф» в честь доктора Ферриса, его создателя, представлял собой небольшое строение из железобетона, расположенное низко на склоне холма, на вершине которого стоял открытый всем взорам Государственный научный институт. Из окон института крыша корпуса виднелась маленьким серым пятном среди густо росших старых деревьев; она казалась не больше крышки люка.

Корпус состоял из двух этажей кубических объемов, асимметрично поставленных один на другой. На первом этаже не было окон, была лишь усеянная железными шипами дверь; во втором — всего одно окно, казавшееся неохотной уступкой дневному свету, и эта грань кубика походила на лицо с одним глазом. Сотрудники института не проявляли интереса к этому зда-

нию и избегали ведущих к его двери тропинок; хотя никто ничего не говорил, но у всех складывалось впечатление, что в нем размещается проект для экспериментов над возбудителями смертельных болезней.

Оба этажа были заняты лабораториями, там было множество клеток с морскими свинками, собаками и крысами. Но центром и целью этого строения была подвальная комната глубоко под землей; стены ее были неумело обшиты пористыми листами звуконепроницаемого материала; листы начинали трескаться, в щелях виднелась скальная порода пещеры.

Корпус постоянно сторожил специальный отряд из четырех охранников. В ту ночь их команда была увеличена до шестнадцати человек, срочно вызванных по телефону из Нью-Йорка. Охранников, как и других работников «Проекта Ф», тщательно отбирали по одному признаку: безграничной способности повиноваться. Эти шестнадцать человек были выставлены на ночь снаружи здания и в безлюдных лабораториях над поверхностью земли, где они бездумно несли службу, нисколько не интересуясь тем, что могло происходить внизу.

В подвальном помещении доктор Феррис,

Уэсли Моуч и Джеймс Таггерт сидели в расставленных вдоль стены креслах. Напротив них, в углу, стояла машина, похожая на лабораторный шкаф неправильной формы. На ее поверхности расположились ряды застекленных приборов, каждый с сегментом красного цвета, квадратный, похожий на звукоусилитель экран, набор цифр, множество деревянных ручек и пластиковых кнопок, рубильник с одной стороны и красная стеклянная кнопка с другой. Поверхность машины казалась более выразительной, чем лицо управлявшего ею механика. Это был крепкий молодой человек в пропитанной потом рубашке с закатанными выше локтя рукавами; его светло-голубые глаза остекленели от громадной сосредоточенности; время от времени он шевелил губами, словно повторяя заученный урок.

От машины шел короткий провод к находящейся позади нее аккумуляторной батарее. Длинные спирали проводов, похожие на изогнутые щупальца спрута, тянулись по каменному полу от машины к кожаному матрацу, лежавшему под конусом неимоверно яркого света. Джон Голт лежал пристегнутым к этому матрацу. Он был раздет донага; маленькие металлические диски электродов на концах проводов были прикрепле-

ны к его запястьям, плечам, бедрам и лодыжкам. Напоминающее стетоскоп приспособление было прикреплено к его груди и соединено с усилителем.

— Поймите правильно, — заговорил доктор Феррис, впервые обращаясь к нему. — Мы хотим, чтобы вы приняли полную власть над экономикой страны и стали диктатором. Хотим, чтобы вы правили. Понятно? Хотим, чтобы вы отдавали распоряжения, и они были правильными. Уразумейте, что речи, логика, доводы или пассивное повиновение вас теперь не спасут. Нам нужны идеи — иначе будет плохо. Мы не выпустим вас отсюда, пока вы не назовете конкретных мер, которые предпримете для спасения нашей системы. Потом мы заставим вас оповестить о них страну по радио.

Он поднял руку, демонстрируя секундомер на запястье.

— Даю вам тридцать секунд, чтобы решить, начнете ли вы говорить сразу же. Если не начнете, мы начнем. Ясно?

Голт смотрел прямо, лицо его не выражало ничего, словно он понимал больше, чем было сказано. Он не ответил. Все слышали в тишине тиканье секундомера, отсчитывающего секунды,

и сдавленное, прерывистое дыхание Моуча, сжимавшего подлокотники кресла.

Феррис махнул рукой механику у машины. Механик включил рубильник; вспыхнула красная стеклянная кнопка, раздались два звука: низкое гудение электрогенератора и какой-то стук, размеренный, как тиканье часов, но со странным приглушенным резонансом. Присутствующие не сразу поняли, что этот звук идет из усилителя и что они слышат биение сердца Голта.

— Номер три, — сказал Феррис, подав сигнал поднятием пальца.

Механик нажал кнопку под одним из приборов. По телу Голта пробежала долгая дрожь; левая рука задергалась в спазмах, вызванных током между запястьем и плечом. Голова откинулась назад, глаза закрылись, губы плотно сжались. Он не издавал ни звука.

Когда механик снял палец с кнопки, рука Голта перестала трястись. Он не шевелился.

Трое вопросительно переглянулись. Глаза у Ферриса были пустыми, Моуча — испуганными, Таггерта — разочарованными. Стук сердца продолжал раздаваться в тишине.

— Номер два, — сказал Феррис. Правая нога Голта задергалась в конвульсиях от тока, прохо-

дившего теперь между бедром и лодыжкой. Руки сжали края матраца. Голова дернулась из стороны в сторону, потом замерла.

Биение сердца немного ускорилось. Моуч откинулся назад, прижавшись к спинке кресла. Таггерт сидел на краешке сиденья, подавшись вперед.

— Номер один, постепенно, — сказал Феррис.

Торс Голта резко приподнялся, опустился и стал дергаться в долгих содроганиях, пристегнутые в запястьях руки напряглись, теперь ток шел от одного запястья к другому через сердце. Механик медленно поворачивал одну из ручек, увеличивая напряжение; стрелка прибора приближалась к красному сегменту, обозначавшему опасность. Голт дышал шумно, отрывисто.

— Достаточно? — спросил Феррис, когда механик выключил ток.

Голт не ответил. Рот его слегка приоткрылся для дыхания. Биение сердца ускорялось. Но дыхание замедлялось до ровного ритма благодаря тому, что он расслабился.

— Слишком мягко вы с ним! — крикнул Таггерт, глядя на обнаженное тело.

Голт открыл глаза и взглянул на него. По ним ничего нельзя было понять, кроме того, что взгляд

у него оставался твердым и вполне осмысленным. Потом он снова опустил голову и продолжал лежать неподвижно, словно забыв о наблюдателях.

Его обнаженное тело выглядело в подвале неуместно, оно напоминало древнегреческую статую. В нем была та же образность, но стилизованная в более легкую, динамичную форму, предполагающую бóльшую силу и бурную энергию. Это было тело не возничего колесницы, а строителя самолетов. И как образность древнегреческой статуи — статуи человека в образе бога — дисгармонировала с духом современных залов, так его тело дисгармонировало с подвалом, предназначенным для доисторической деятельности. Дисгармония эта была резче, потому что он, казалось, вполне сочетался с электрическими проводами, нержавеющей сталью, точными приборами, рычагами контрольной панели. Они отчаянно гнали от себя любые мысли, осознавали только рассеянную ненависть и ужас; может быть, отсутствие подобных статуй в современном мире превратило генератор в спрута и отдало такое тело в его щупальца.

— Насколько я понимаю, вы специалист по электричеству? — сказал Феррис и усмехнул-

ся. — Мы тоже, вам не кажется?

В тишине ответили ему два звука: гудение генератора и биение сердца Голта.

— Смешанную серию! — приказал Феррис, ткнув пальцем в сторону механика.

Теперь удары тока следовали с неравномерными, непредсказуемыми интервалами, то сразу же один за другим, то их разделяло несколько минут. Лишь по конвульсивным содроганиям ног, рук, торса, всего тела можно было понять, идет ли ток между двумя конкретными электродами или между всеми сразу. Стрелки приборов приближались к красным отметкам, потом отходили назад: машина была рассчитана на причинение максимальной боли без вреда телу жертвы.

Не Голт, а наблюдатели находили непереносимым пережидать минуты пауз, заполненных звуком сердцебиения: сердце теперь частило в неровном ритме. Паузы были рассчитаны на то, чтобы замедлить этот ритм, но не дать облегчения жертве, вынужденной ждать очередного удара в любой миг.

Голт лежал, расслабившись, словно не пытался противостоять боли, а покорялся ей, не пытался ослабить ее, а сносил. Когда он разжимал губы для дыхания, а они от внезапного удара тока

сжимались снова, он не сдерживал дрожь напряженного тела, а предоставлял ей прекращаться в тот миг, когда исчезал ток. Только мышцы его лица туго натянулась, и сжатые губы время от времени кривились. Когда ток проходил по груди, золотисто-бронзовые пряди волос взлетали от дерганья его головы, словно от порыва ветра, и падали на лицо, на глаза. Наблюдатели недоумевали, почему его волосы темнеют, и, наконец, поняли, что они мокрые от пота!

Ужас от звука сердца, бьющегося так, словно оно вот-вот разорвется, должна была испытывать жертва. Но от ужаса дрожали мучители, слыша неровный, рваный ритм, и затаивали дыхание всякий раз, когда казалось, что он оборвался. Теперь по звуку казалось, что сердце скачет, неистово колотясь о ребра, в мучении и отчаянном гневе. Сердце протестовало; человек нет. Он лежал спокойно, с закрытыми глазами, расслабив руки и слушая, как сердце борется за его жизнь.

Первым не выдержал Уэсли Моуч.

— О господи, Флойд! — закричал он. — Не убивай его! Не смей убивать! Если он умрет, нам конец!

— Не умрет, — прорычал Феррис. — Захочет

умереть, но не умрет! Машина не позволит! Она математически рассчитана! Она безопасна!

— Может, хватит? Теперь он будет повиноваться нам! Я уверен, что будет!

— Нет! Не хватит! Я не хочу, чтобы он повиновался! Хочу, чтобы он поверил! Принял! Захотел принять! Мы должны заставить его работать на нас добровольно!

— Давайте же! — выкрикнул Таггерт. — Чего ждете? Не можете усилить ток? Он еще ни разу не вскрикнул!

— Что это с тобой? — ахнул Моуч, увидя выражение лица Таггерта, когда ток сотрясал тело Голта: Таггерт пристально смотрел на него, однако глаза казались остекленелыми, мертвыми, но лицевые мышцы вокруг них собрались в отвратительную карикатуру удовольствия.

— Достаточно? — то и дело кричал Феррис Голту. — Готов захотеть того, чего хотим мы?

Ответа они не слышали. Голт время от времени поднимал голову и смотрел на них. Под глазами темнели круги, но глаза были ясными, а взгляд их — осмысленным.

В нарастающей панике наблюдатели теряли голову, голоса их сливались в неразборчивые вопли:

— Мы хотим, чтобы вы взяли власть!.. Хотим, чтобы вы правили!.. Приказываем, чтобы отдавали приказы!.. Требуем, чтобы диктаторствовали!.. Приказываем вам спасти нас!.. Приказываем думать!..

В ответ они слышали только биение сердца, от которого зависела их жизнь. Ток проходил через сердце Голта, и оно начинало нерегулярно частить, словно спеша и спотыкаясь, и вдруг его тело расслабленно замерло, биение прекратилось. Тишина подействовала на наблюдателей как ошеломляющий удар, и прежде чем они успели закричать, к их ужасу добавился другой: Голт открыл глаза и поднял голову. Потом они осознали, что гудение мотора тоже прекратилось, что на контрольной панели погасла красная лампочка: ток прекратился, генератор не работал.

Механик тыкал пальцем в кнопку, но безрезультатно. Он включал рубильник снова и снова, пинал машину. Красный свет не загорался; звук не появлялся.

— Ну? — рявкнул Феррис. — Ну? В чем дело?

— Генератор не в порядке, — ответил беспомощно механик.

— Что с ним?

— Не знаю.

— Ищи неисправность и устраняй!

Механик не был квалифицированным электриком; его выбрали для этой работы благодаря не знаниям, а способности, не раздумывая, нажимать кнопки; эта задача требовала напряжения всех его умственных способностей. Он открыл заднюю панель машины и тупо уставился на сложную систему спиралей: видимых неполадок не было. Надел резиновые перчатки, взял плоскогубцы, наугад подвернул несколько болтов и почесал в затылке.

— Не знаю, в чем тут дело, — сказал он. В голосе его звучала беспомощная покорность. — Кто я такой, чтобы знать?

Наблюдатели подскочили, столпились у машины и уставились на непослушные детали. Действовали они интуитивно: они знали, что ничем не могут помочь.

— Но вы должны починить генератор! — крикнул Феррис. — Он должен работать! Нам нужен ток!

— Мы должны продолжать! — выкрикнул Таггерт; он весь дрожал. — Это возмутительно! Я этого не потерплю! Я не отпущу его!

И указал в сторону матраца.

— Сделай что-нибудь! — закричал Феррис

механику. — Чего стоишь, сложа руки? Сделай что-нибудь! Исправь генератор! Приказываю!

— Но я не знаю, что с ним, — сказал, хлопая глазами, механик.

— Ну так выясни!

— Как выяснить?

— Приказываю исправить генератор! Слышишь? Заставь его работать, иначе уволю и брошу в тюрьму!

— Но я не знаю, что с ним, — механик растерянно вздохнул. — я не знаю, что делать.

— Это вышел из строя вибратор, — произнес голос позади них; они обернулись; Голт с трудом дышал, но говорил твердым, уверенным голосом инженера. — Выньте его и снимите алюминиевую крышку. Там увидите два сплавленных контакта. Разъедините их, возьмите маленький напильник и зачистите оплавленные поверхности. Потом снова наденьте крышку, поставьте вибратор на место, и ваш генератор заработает.

Несколько секунд стояла мертвая тишина.

Механик неотрывно смотрел в глаза Голту, и даже он смог распознать характер искры в темно-зеленых глазах; то была искра презрительной насмешки. Он отступил на шаг. Своим бессвязно-тусклым сознанием, каким-то бессловесным,

смутным, неясным образом даже этот маленький человек понял смысл того, что происходит в подвале.

Механик поглядел на Голта, троих наблюдателей, машину, содрогнулся, выронил плоскогубцы и выбежал.

Голт расхохотался.

Трое наблюдателей медленно попятились от машины. Они силились не позволить себе понять того, что понял механик.

— Нет! — внезапно завопил Таггерт, глянул на Голта и бросился вперед. — Нет! Я не дам ему так отделаться! — он опустился на колени и лихорадочно стал искать алюминиевый цилиндр вибратора. — я починю его! Я сам буду управлять машиной! Мы должны продолжать! Должны сломить его!

— Успокойся, Джим, — с беспокойством сказал Феррис, поднимая его на ноги.

— Не лучше ли… не лучше ли отложить до завтра? — умоляюще произнес Моуч; он смотрел на дверь, за которой скрылся механик; во взгляде его сквозили зависть и ужас.

— Нет! — выкрикнул Таггерт.

— Джим, разве с него недостаточно? Имей в виду, нам нужно быть осторожными.

— Нет! Недостаточно! Он даже ни разу не завопил!

— Джим! — выкрикнул Моуч, испуганный выражением лица Таггерта. — Мы не можем себе позволить убить его! Ты это знаешь!

— Наплевать! Я хочу сломить его! Хочу, чтобы он завопил! Хочу…

И тут завопил сам Таггерт. Это был внезапный, долгий, пронзительный вопль, словно при каком-то неожиданном зрелище, хотя глаза его были устремлены в пространство и казались невидящими. Зрелище это возникло в его сознании. Защитная стена эмоций, уклончивости, притворства, полумышления и псевдослов, которую он возводил всю жизнь, рухнула в один миг, в тот миг, когда понял, что хочет смерти Голта, полностью сознавая, что за нею последует его смерть.

Таггерт внезапно понял, что направляло все его действия. Не его замкнутая душа, не любовь к другим, не общественный долг или какие-то лживые звуки, с помощью которых он поддерживал самоуважение, то была страсть уничтожать все живое ради неживого. Это было стремление бросать вызов реальности, уничтожая всякую жизненную ценность, с целью доказать себе,

что может существовать, не считаясь с реальностью, что никогда не будет связан какими-то вескими, непреложными фактами. Минуту назад он был способен сознавать, что ненавидит Голта больше всех на свете, что эта ненависть доказывает порочность Голта, которая не нуждалась в определении, что он хочет смерти Голта ради того, чтобы уцелеть самому. Теперь он знал, что хочет его смерти ценой собственной гибели вслед за ним, знал, что никогда не хотел жить, знал, что хотел мучительно уничтожить величие Голта. Он признавал, что это величие, величие по единственной существующей мере, независимо от того, признают его или нет: величие человека, владеющего реальностью, как никто другой. В тот миг, когда он, Джеймс Таггерт, понял, что стоит перед выбором: принять реальность или умереть, его эмоции выбрали смерть, лишь бы не капитулировать перед тем царством, выдающимся сыном которого был Джон Голт. Уничтожая Голта, Таггерт это понимал, он искал уничтожения всего существования.

Это вошло в его сознание не посредством слов: поскольку все его знание состояло из эмоций, теперь он был захвачен эмоцией и видением, которого не мог рассеять. Он больше не мог на-

пустить тумана, чтобы скрыть видение всех тех тупиков, какие всегда старался не видеть. Теперь в конце каждого тупика он видел свою ненависть к существованию, видел лицо Черрил Таггерт с ее радостным стремлением жить, и это стремление он всегда старался уничтожить, видел свое лицо как лицо убийцы, которого все заслуженно ненавидели, уничтожавшего ценности потому, что они ценности, убивавшего, чтобы не обнаружить своего неисправимого зла.

— Нет… — простонал он, неотрывно глядя на это видение и тряся головой, чтобы избежать его. — Нет… нет…

— Да, — произнес Голт.

Таггерт увидел устремленный прямо на него взгляд Голта, словно Голт видел то же, что он.

— Я сказал тебе это по радио, так ведь? — спросил Голт.

Это было клеймо, которого Джеймс Таггерт страшился: клеймо и доказательство объективности.

— Нет… — произнес он еще раз слабым голосом, но это был уже не голос живого сознания. Он чуть постоял, слепо глядя в пространство, потом ноги его бессильно подогнулись, и он сел на пол, все еще глядя в пространство, не замечая

ни своих действий, ни окружения.

— Джим!.. — окликнул его Моуч. Ответа не последовало.

Моуч и Феррис не задавались вопросом, что случилось с Таггертом: они знали, что не должны пытаться понять это, дабы не разделить его участь. Они знали, кто сломился в этом подвале. Знали, что это конец Джеймса Таггерта, независимо оттого, выживет его тело или нет.

— Давай… давай уведем Джима отсюда, — дрожащим голосом сказал Феррис. — Отвезем его к врачу… или куда-нибудь…

Они подняли Таггерта на ноги; он не сопротивлялся, покорялся безвольно, переставлял ноги, когда его подталкивали. Это он достиг того состояния, до которого хотел довести Голта. Друзья вывели его из комнаты, держа за руки с обеих сторон. Он избавил их от необходимости признаться себе, что они хотят скрыться от глаз Голта. Голт наблюдал за ними; взгляд его был слишком уж строго проницательным.

— Мы вернемся! — рявкнул Феррис начальнику охраны. — Оставайтесь здесь и не впускайте никого. Ясно? Никого.

Они затолкали Таггерта в свою машину, стоявшую под деревьями у входа.

— Мы вернемся, — сказал Феррис деревьям и темному небу.

Они были уверены только в том, что им нужно было покинуть подвал, тот подвал, где живой генератор был присоединен к мертвому.

ГЛАВА X. ВО ИМЯ ЛУЧШЕГО В НАС

Дагни шла через сад прямо к будке охранника, у двери «Проекта Ф». Шаги ее звучали целеустремленно, мерно, откровенно, нарушая тишину аллеи. Она подняла голову, чтобы в лунном свете охранник узнал ее лицо.

— Пропусти меня, — сказала она.

— Вход воспрещен, — ответил охранник металлическим голосом. — Приказ доктора Ферриса.

— У меня разрешение мистера Томпсона.

— Что?.. Я… я ничего не знаю об этом.

— Зато знаю я.

— Доктор Феррис не сказал мне… мэм.

— Позвольте договорить.

— Но я принимаю указания только доктора Ферриса.

— Так мистер Томпсон для тебя никто?

— О нет, мэм! Но… но если доктор Феррис велел никого не впускать, это значит никого… — и неуверенно, подобострастно добавил: — Так ведь?

— Ты знаешь, меня зовут Дагни Таггерт, и ты видел в газетах мои фотографии с мистером Томпсоном и другими высокопоставленными

лицами страны?

— Да, мэм.

— Тогда решай, кому подчиняться.

— О нет, мэм! Только не это.

— Тогда впусти меня!

— Но как же быть с доктором Феррисом!

— Что ж, выбирай.

— Но я не могу выбирать, мэм! Кто я такой, чтобы выбирать?

— Придется.

— Послушайте, — суетливо сказал охранник, доставая из кармана ключ и пытаясь нащупать замочную скважину, — я спрошу у начальника. Он…

— Нет, — сказала Дагни.

Что-то в ее тоне заставило охранника обернуться: в руке у нее был пистолет, нацеленный ему прямо в сердце.

— Слушай внимательно, — сказала она. — Либо ты меня впустишь, либо я тебя застрелю. Попытайся опередить меня, если сможешь. За тебя никто не решит. Вперед.

У охранника отвисла челюсть, ключ выпал из рук.

— Уйди с дороги, — сказала она.

Охранник неистово замотал головой, прижав-

шись спиной к двери.

— О, господи, мэм, — отчаянно проскулил он. — Я не могу стрелять в вас, раз вы от мистера Томпсона! И не могу впустить вас, раз так приказал доктор Феррис! Что мне делать? Я всего лишь маленький человек! И только выполняю приказы! Не мне решать!

— Жизнь или смерть, — сказала Дагни.

— Если позволите, спрошу у начальника, он скажет мне, он…

— Никого не надо спрашивать.

— Но откуда мне знать, что вы действительно получили приказ от мистера Томпсона?

— Неоткуда. Может, и не получила. Если действую по собственной воле — ты будешь наказан за то, что послушался меня. Если получила, тогда тебя все равно упрячут в тюрьму. Может, доктор Феррис и мистер Томпсон сговорились. Может быть, нет, и тебе придется предать одного или другого. Делай выбор. Спрашивать некого, звать некого, никто не подскажет. Решать придется самому.

— Но я не могу! Почему я?

— Потому что твое тело преграждает мне путь.

— Но я не могу решать! Я не должен решать!

— Считаю до трех, — сказала Дагни. — Потом

стреляю.

— Постойте! Постойте! Я не сказал нет! — выкрикнул он, еще плотнее прижимаясь к двери, словно недвижное тело и разум могли защитить его.

— Раз, — начала отсчитывать Дагни, глядя в его исполненные ужасом глаза. — Два, — судя по всему, пистолет пугал его меньше, чем ее предложение. — Три.

— Спокойно, — бесстрастно сказала она и, хотя не могла бы убить даже животное, нажала на спуск и выстрелила прямо в сердце тому, кто так и не смог принять решения.

Глушитель пистолета погасил звук, лишь тело глухо ударилось, упав к ее ногам. Дагни подняла ключи, потом подождала несколько секунд, как было условлено.

Первым из-за угла вышел Франсиско, затем подошли Рагнар Даннескьолд и Риарден. Среди деревьев вокруг здания были расставлены четверо охранников. От них уже избавились: один был убит, трое лежали в кустах, со связанными руками и кляпами во рту.

Дагни молча отдала ключ Франсиско. Он отпер замок и вошел один, оставив дверь приоткрытой на дюйм. Трое остальных ждали снаружи.

Коридор тускло освещала одна лампочка. У лестницы, ведущей на второй этаж, стоял охранник.

— Кто вы? — крикнул он, завидев Франсиско, который вел себя откровенно по-хозяйски. — Сюда никто не должен входить!

— Я уже вошел, — сказал Франсиско.

— Почему Балбес впустил вас?

— Очевидно, были причины.

— Он не мог!

— Кое-кто решил иначе.

Франсиско быстро огляделся. Второй охранник стоял наверху, на лестничной площадке.

— Что там за дела?

— Добыча медной руды.

— Что? Я спрашиваю, кто вы?

— Мое имя слишком длинное, чтобы называть тебе. Представлюсь твоему начальнику. Где он?

— Здесь вопросы задаю я! — крикнул охранник. Но отступил на шаг. — И… поумерьте спесь, а то…

— Эй, Пит, он в самом деле большой человек! — крикнул второй охранник, поддавшийся на провокацию Франсиско.

Первый перепугался; от страха он почти перешел на крик, а затем отрывисто спросил:

— Что вам нужно?

— Скажу твоему начальнику. Где он?

— Здесь я задаю вопросы!

— Я не отвечаю на них.

— Ах не отвечаете? — прорычал Пит, который не находил иного выхода из переделки: рука его метнулась к бедру, где висел пистолет.

Реакция Франсиско была слишком быстрой, а пистолет слишком бесшумным. Лишь мгновение спустя охранники увидели, как пистолет вылетает из руки Пита, а из раздробленных пальцев во все стороны разлетаются брызги крови. Со стоном Пит повалился на пол.

Опомнившись, второй охранник увидел, что Франсиско навел дуло на него.

— Не стреляйте, мистер! — крикнул он.

— Руки вверх и двигай сюда, — приказал Франсиско, не опуская пистолет, и подозвал стоявших за приоткрытой дверью.

Когда охранник спустился, Риарден обезоружил его, а Даннескьолд связал по рукам и ногам. Появление Дагни, казалось, испугало его больше, чем все остальное; он не мог этого понять: трех мужчин в кепках и куртках, если б не манеры, можно было бы принять за бандитов, но присутствие дамы было необъяснимым.

— А теперь, — сказал Франсиско, — где твой начальник?

Охранник указал подбородком на лестницу.

— Наверху.

— Сколько охранников в здании?

— Девять.

— Где они?

— Один на лестнице в подвал. Остальные на втором этаже.

— А именно?

— В большой лаборатории. Той, что с окном.

— Все?

— Да.

— Это что за комнаты?

Франсиско указал на двери в коридоре.

— Тоже лаборатории. Они заперты на ночь.

— У кого ключ?

— У него.

Охранник указал подбородком на Пита.

Риарден и Даннескьолд достали ключ из его кармана и беззвучно пошли осматривать помещения, а Франсиско продолжил:

— В здании есть еще люди?

— Нет.

— Разве здесь нет пленника?

— Да… наверное, есть. Иначе бы не выставили

столько охраны.

— Он все еще здесь?

— Не знаю. Нам не говорят.

— А доктор Феррис?

— Его нет. Минут десять — пятнадцать назад уехал.

— Так, дверь лаборатории наверху выходит прямо на лестничную площадку?

— Да.

— Сколько там вообще дверей?

— Три. В лабораторию ведет средняя.

— Что в других комнатах?

— С одной стороны еще одна маленькая лаборатория, с другой — кабинет доктора Ферриса.

— Среди них есть смежные?

— Да.

Франсиско собрался было повернуться к своим друзьям, когда охранник умоляюще произнес:

— Мистер, можно спросить вас?

— Спрашивай.

— Кто вы?

Он ответил торжественно, словно представлял себя в изысканном салоне:

— Франсиско Доминго Карлос Андрес Себастьян д'Анкония.

Франсиско оставил таращегося на него охран-

ника и пошептался с друзьями. Через минуту Риарден взошел вверх по лестнице — один, быстро, бесшумно.

Вдоль стен лаборатории стояли клетки с крысами и морскими свинками; их поместили туда охранники, игравшие в покер за длинным столом в центре комнаты. Игроков было шестеро; двое стояли, с пистолетами, в противоположных углах, наблюдая за дверью. Когда Риарден вошел, его не застрелили на месте только благодаря тому, что его лицо было слишком хорошо знакомо охранникам, да и появился он неожиданно. Вся восьмерка уставилась на него, не веря глазам своим.

Риарден застыл в дверном проеме, держа руки в карманах брюк, с небрежным, начальственным видом.

— Кто здесь главный? — вежливо спросил он отрывистым тоном человека, не желающего тратить время попусту.

— Вы… вы не… — заикаясь, произнес долговязый, угрюмый человек за столом.

— Я — Хэнк Риарден. Ты тут заправляешь?

— Да. Но откуда вы взялись, черт возьми?

— Из Нью-Йорка.

— Почему заявились?

— Значит, тебя не поставили в известность.

— Разве… в известность о чем?

Начальник был явно раздражен и обижен — пренебрегли его властью. Это был высокий, тощий человек с желтоватым лицом и бегающим взглядом наркомана.

— О моем деле.

— У вас… у вас не может быть здесь никаких дел, — отрывисто произнес он, испугавшись, что его не известили о каком-то важном решении на высшем уровне. — Вы ведь изменник, дезертир и…

— Вижу, ты отстал от жизни, дорогой мой.

Семеро остальных смотрели на Риардена благоговейно, однако с некоторым сомнением. Двое все еще держали его под прицелом с бесстрастностью роботов. Риарден, казалось, не замечал их.

— А какое у вас здесь дело? — отрывисто спросил начальник.

— Я приехал забрать заключенного.

— Если вы из штаба, вам должно быть известно, что мне не положено ничего знать о нем, и никто не должен общаться с ним.

— Кроме меня.

Начальник подскочил, бросился к телефону и поднял трубку. Но, не донеся ее до уха, резко

опустил, что вызвало дрожь у других охранников: он не услышал в трубке гудка и сообразил, что провода перерезаны.

Первоначальный задор сразу слетел с него.

— Здание так не охраняют, как же ты допустил такое. Лучше приведи ко мне заключенного, пока хотя бы с ним ничего не случилось, если не хочешь, чтобы я доложил о твоей нерадивости и несоответствии должности.

Начальник грузно опустился на стул, привалился к столу и так посмотрел на Риардена, что его худощавое лицо вдруг стало походить на морды зашевелившихся в клетках животных.

— Кто этот пленник? — спросил он.

— Дорогой мой, — ответил Риарден, — раз твое непосредственное начальство не сочло нужным сказать тебе этого, я тем более не скажу.

— Оно также не сочло нужным сказать мне о вашем приезде! — выкрикнул начальник, в голосе его слышались гнев и бессилие. — Откуда мне знать, что вы говорите правду? Телефон не работает, кто может это подтвердить? Откуда я могу знать, что делать?

— Твоя проблема, не моя.

— Я не верю вам! — визгливые нотки выдавали его неуверенность. — Я не верю, что правитель-

ство отправило вас с заданием, поскольку вы один из изменников, друзей Джона Голта, который…

— Неужели ты не слышал?

— О чем?

— Джон Голт заключил сделку с правительством и всех нас вернул.

— О, слава богу! — выкрикнул самый младший из охранников.

— Заткнись! Ты не должен иметь никаких политических взглядов! — цыкнул на него начальник и снова резко повернулся к Риардену. — Почему об этом не объявили по радио?

— Ты считаешь, что можешь судить, когда и как правительству нужно объявлять о своей политике?

Воцарилось молчание, лишь было слышно, как животные скребут когтями о решетки.

— Пожалуй, стоит напомнить тебе, — заговорил Риарден, — что ты не должен обсуждать приказания, а только следовать им, что не твое дело копаться в политике вышестоящих, и у тебя нет права судить или сомневаться.

— Но я не знаю, должен ли подчиняться вам!

— Откажешься — ответишь за последствия.

Скорчившись за столом, начальник медлен-

но перевел оценивающий взгляд от Риардена к стоявшим в углах вооруженным охранникам. Те почти незаметно снова навели пистолеты на Риардена. В одной из клеток пронзительно запищала свинка.

— Пожалуй, тебе следует знать, — заговорил Риарден, ужесточая тон, — что я здесь не один. Мои друзья ждут снаружи.

— Где?

— Они тут повсюду.

— Сколько их?

— Настанет время, сам поймешь.

— Слушай, командир, — простонал один их охранников, — ссориться с этими людьми не надо, они…

— Заткнись! — рявкнул начальник, подскочив и направив на него пистолет. — Не трусить, мерзавцы! — он орал, чтобы заглушить собственный страх, который они уже учуяли, понимая, что кто-то как-то успел разоружить его подчиненных. — Бояться нечего! — прокричал он, скорее, для самого себя, дабы утвердиться в единственной доступной ему сфере насилия. — Ничего и никого! Я покажу вам! — он повернулся и дрожащей рукой выстрелил в Риардена.

Охранники увидели, как Риарден пошатнулся

и схватился рукой за левое плечо. В тот же миг пистолет выпал из руки начальника, ударился об пол; одновременно раздался его крик, из запястья брызнула струя крови. Потом все увидели Франсиско д'Анкония, стоявшего в проеме двери, его пистолет с глушителем смотрел на начальника.

Все подскочили и выхватили оружие, но опоздали выстрелить.

— На вашем месте я не стал бы, — сказал Франсиско.

— Господи! — воскликнул один из охранников, силясь вспомнить имя. — Это... это тот человек, который взорвал все медные рудники на свете!

— Тот самый, — сказал Риарден.

Охранники невольно попятились от Франсиско и повернулись к Риардену, все еще стоящему у двери с пистолетом в руке и расплывающимся на левом плече темным пятном.

— Стреляйте, мерзавцы! — крикнул начальник колеблющимся подчиненным. — Чего ждете? Перестреляйте их! — одной рукой он опирался о стол, из другой текла кровь. — я подам рапорт на каждого, кто не будет сражаться! Добьюсь, чтобы его приговорили к смерти!

— Бросьте оружие, — произнес Риарден.

Семеро охранников замерли, не зная, кому подчиняться.

— Выпустите меня отсюда! — завопил младший из них и бросился к правой двери. Распахнул ее и отпрянул: на пороге стояла Дагни Таггерт с пистолетом.

Охранники медленно отступили в центр комнаты, не веря собственным глазам. Появление людей, ставших легендой, обезоружило их. Казалось, им приказали стрелять в призраков.

— Пистолеты — на пол, — повторил Риарден. — Вы не знаете, почему вы здесь. Мы знаем. Вы не знаете, кто ваш заключенный. Мы знаем. Вы не знаете, почему боссы приказали вам охранять его. Мы знаем, почему хотим его вызволить. Вы не знаете цели своей борьбы. Мы знаем цель своей. Если погибнете, вы не будете знать во имя чего. Мы, если погибнем, будем знать.

— Не… не слушайте их! — прорычал начальник. — Стреляйте! Приказываю стрелять!

Один из охранников взглянул на него, бросил оружие, отошел от своих товарищей и направился к Риардену.

— Будь ты проклят! — крикнул начальник, схватил пистолет и выстрелил в дезертира.

Когда тот упал, окно разлетелось градом оскол-

ков — с ветви дерева, словно из катапульты, в комнату влетел рослый, стройный человек и выстрелил в первого попавшегося охранника.

— Кто вы? — прокричал кто-то, охваченный ужасом.

— Рагнар Даннескьолд.

Ответом были три слившиеся воедино звука: протяжный, нарастающий стон — стук четырех брошенных пистолетов — и выстрел из пятого в лоб начальнику.

Когда к охранникам вернулось сознание, они уже лежали на полу со связанными руками и кляпами во ртах; начальник был мертв.

— Где пленник? — спросил Франсиско.

— В подвале… должно быть.

— У кого ключ?

— У доктора Ферриса.

— Где лестница в подвал?

— За дверью его кабинета.

— Веди.

Франсиско коротко бросил Риардену:

— Хэнк, ты держишься?

— Конечно.

— Отдых не требуется?

— Нет, нет!

С порога кабинета доктора Ферриса они посмот-

рели вниз на крутой пролет каменной лестницы и внизу, на площадке, увидели еще одного охранника.

— Руки вверх и марш сюда! — приказал Франсиско.

Тот увидел силуэт незнакомца, в руке которого поблескивал пистолет: этого оказалось достаточно. Он немедленно поднялся; казалось, солдат с облегчением покидает сырой каменный склеп. Его связали и оставили на полу кабинета вместе с их проводником.

Потом четверо спасателей беспрепятственно спустились к запертой стальной двери. До сих пор они действовали четко и сдержанно. Теперь казалось, что их нервы сдали.

Инструменты для взлома замка были у Даннескьолда. Франсиско вошел в подвал первым и преградил рукой путь Дагни на долю секунды, дабы убедиться, что их не поджидает кровавое зрелище, и лишь потом пропустил ее: за путаницей проводов он увидел Голта, с надеждой смотревшего на него.

Дагни опустилась на колени. Голт ответил невозмутимой улыбкой, его голос звучал мягко и приглушенно:

— Не стоит воспринимать все это всерьез,

не так ли?

По щекам Дагни текли слезы, но она старалась держаться:

— Нет, не стоит.

Риарден с Даннескьолдом перерезали веревки. Франсиско поднес к губам Голта бутылку бренди. Голт отпил из нее и, опершись на локоть, попросил:

— Дайте сигарету.

Франсиско протянул пачку со знаком доллара. У обоих дрожали руки, у Франсиско гораздо сильнее.

Глядя поверх пламени, Голт улыбнулся и ответил на молчаливый вопрос Франсиско:

— Да, было довольно скверно, но терпимо.

— Если когда-нибудь найду их, кто бы они ни были… — произнес Франсиско; больше слов не надо было.

— Не стоит марать руки.

Голт вгляделся в лица окружавших его людей и прочел в их глазах сочувствие и гнев.

— Все кончено, — сказал он. — Достаточно того, что вынес я.

Франсиско отвернулся.

— Будь кто другой… — прошептал он, — а не ты…

— Но под рукой оказался я, это была их последняя, но неудачная попытка, — он повел рукой, словно сметая здание — и его уничтожит время, — все уже позади.

Франсиско, не поворачивая головы, кивнул и стиснул запястье Голта.

Голт сел, разминая мышцы. Поглядел в лицо Дагни, которая едва сдерживалась, понимая, что́ ему пришлось пережить и что сейчас имеет значение только его пульсирующее, живое тело. Глядя ей в глаза, он прикоснулся к воротнику ее белого свитера, словно обещая счастливое будущее. Ее губы дрогнули в ответ, она все поняла.

Тем временем Даннескьолд отыскал рубашку и брюки Голта.

— Джон, как думаешь, сможешь идти?

— Конечно.

Пока Франсиско и Риарден помогали ему одеваться, Даннескьолд спокойно и методично разносил вдребезги пыточный агрегат.

Голт едва держался на ногах, опираясь на плечо Франсиско.

Первые шаги до двери дались с трудом, но потом он уже мог идти. Дагни и Франсиско поддерживали его. Они молча спустились по склону холма, купы деревьев заслоняли мертвенный

свет луны и еще более зловещий, струящийся из окон Государственного научного института.

Франсиско спрятал самолет в зарослях, на самом краю поляны. Вспыхнули огни самолета, и раздался рев мотора, который запустил Даннескьолд.

Захлопнув дверцу, Франсиско с облегчением улыбнулся.

— Смотри, теперь я отдаю приказания, — сказал он, помогая Голту. — Расслабься и успокойся… Ты тоже, — добавил он, обращаясь к Дагни, сидевшей рядом.

Машина набирала скорость, слегка подрагивая из-за грубых, торчащих из земли корней. Когда полет стал плавным, они проводили глазами темные силуэты деревьев. Голт молча наклонился и прикоснулся губами к руке Дагни: он покидал внешний мир, унося с собой единственное, что было ему дорого.

Франсиско достал аптечку и снял рубашку с Риардена, чтобы перевязать рану. Голт увидел тонкие струйки крови, бегущие от плеча к груди.

— Спасибо, Хэнк, — сказал он.

Риарден улыбнулся.

— Повторю то, что ты сказал, когда я поблагодарил тебя при нашей первой встрече: «Я действо-

вал в своих интересах, и никакой благодарности мне не нужно».

— Повторю, — сказал Голт, — то, что ты мне ответил: «Спасибо вдвойне».

Дагни заметила, что их взгляды походили на рукопожатие близких друзей, и слова были лишними. Риарден поймал ее взгляд и чуть заметно опустил веки, словно подтверждая сообщение, присланное ею из долины.

Потом они услышали бодрый, громкий голос Даннескьолда, казалось, что он разговаривает сам с собой, но поняли: он передает сигнал по радио:

— Да, все мы живы… Он в порядке, только слегка потрясен и отдыхает… Нет, никаких травм… Да, мы все здесь. Хэнку Риардену всадили пулю в мягкое место, но… — Даннескьолд оглянулся через плечо, — он улыбается мне… Потери? Пожалуй, мы потеряли самообладание на несколько минут, но уже приходим в себя… Не пытайтесь прилететь раньше меня в Ущелье Голта. Я приземлюсь первым и помогу Кэй в ресторане приготовить вам завтрак.

— Его сообщение могут перехватить? — спросила Дагни.

— Нет, — ответил Франсиско, — у них нет аппа-

ратуры для этих частот.

— С кем он разговаривает? — спросил Голт.

— С доброй половиной мужского населения долины, — ответил Франсиско, — со всеми, для кого нашлось место в самолетах. Сейчас они следуют за нами. Думаешь, кто-нибудь смог усидеть дома и оставить тебя в лапах грабителей? Мы уже готовились взять штурмом этот институт или, если потребуется, отель «*Уэйн-Фолкленд*». Но был риск, что они убьют тебя, поняв, что им конец. Вот мы и решились сначала попытаться вчетвером. В случае неудачи подключились бы и все остальные. Они ждали здесь, неподалеку. Тут, на холме, повсюду наши люди, они видели, как мы вышли, и сообщили остальным. Командовал ими, между прочим, Эллис Уайэтт. Он летит на твоем самолете. Нам не удалось прилететь в Нью-Гемпшир раньше доктора Ферриса, потому что самолеты пришлось поднимать с секретных площадок, а он имел преимущество, так как пользовался государственными аэропортами. Кстати, скоро уже не сможет.

— Да, — сказал Голт, — скоро не сможет.

— Вот и все. Остальное не составило труда. Потом я расскажу тебе всю правду. В общем, четверых оказалось достаточно, чтобы взять их

бастион.

— В обозримом будущем, — проговорил Даннескьолд, повернувшись к ним, — тупые скоты, тайком или в открытую пытающиеся править теми, кто превосходит их, поймут, что грубая сила не может побороть разум.

— Они уже поняли, — сказал Голт. — Разве не этому ты учил их в течение двенадцати лет?

— Я? Да. Но курс обучения закончен. Насилие не мой метод. Я получил свою награду за эти годы. Мои люди уже начали строить себе дома в долине. Корабль спрятан там, где его никому не найти, пока я не смогу его продать для более достойного применения. Он будет превращен в трансатлантический пассажирский лайнер, превосходный, пусть и скромных размеров. Что до меня, я начну готовиться к другим урокам. Думаю, придется освежить в памяти труды нашего первого учителя.

Риарден усмехнулся:

— Я бы хотел поприсутствовать на твоей лекции и задать парочку неудобных вопросов.

— Я скажу, что ответы можно найти самому.

Внизу было почти темно. Лишь изредка мелькал свет в окнах каких-то зданий, да трепетал отблеск свечей в богатых домах. Большинство

сельских жителей вернулись к образу жизни тех давних веков, когда искусственное освещение было непомерной роскошью, и с заходом солнца жизнь прекращалась. Города казались редкими, словно высыхающими после отлива лужицами, все еще хранящими немного драгоценного электричества, но истощенными пустыней норм, квот, контроля и правил энергосбережения.

Когда город, бывший некогда морем огней — Нью-Йорк, — возник в темноте перед ними, он все еще вздымал огни к небу, все еще бросал вызов первобытной тьме, словно в последней просьбе о помощи простирал руки к летящему в небе самолету. Все невольно выпрямились, будто пребывали у смертного ложа умирающего императора.

Глядя вниз, они следили за его последними конвульсиями: автомобили с зажженными фарами метались по улицам, словно животные в лабиринте, неистово ищущие выхода, мосты были забиты, на подъездах к ним образовали цепочки светящихся фар, движение встало, отчаянное завывание сирен чуть слышно доносилось до самолета. Весть о том, что главная артерия континента перерезана, уже распространилась по всему городу, люди в панике покидали Нью-

Йорк, хотя спастись было невозможно.

Самолет парил над вершинами небоскребов, когда город внезапно исчез, словно земля разверзлась и поглотила его. Они не сразу поняли, что несчастье достигло электростанций — и огни Нью-Йорка погасли.

Дагни ахнула.

— Не смотри вниз! — резко приказал Голт.

Дагни посмотрела ему в лицо. На нем было то суровое выражение, с которым он всегда принимал неизбежное. Ей вспомнился рассказ Франсиско: «Он ушел на завод *“Двадцатый Век”*. Жил в мансарде в районе трущоб. Подошел к окну, указывая на небоскребы. Сказал, что мы должны погасить огни Нью-Йорка, и когда увидим, что так произошло, будем знать, что наша работа сделана».

Она подумала об этом, когда увидела, как трое: Джон Голт, Франсиско д’Анкония и Рагнар Даннескьолд, — молча переглянулись. Затем перевела взгляд на Хэнка Риардена; он смотрел не вниз, а вперед, словно вглядываясь в пустыню и оценивая возможные действия.

Когда она посмотрела на надвигающуюся тьму, на ум ей пришло иное воспоминание: минута, когда она, кружа над афтонским аэропортом, ви-

дела серебристый корпус самолета, взмывавшего, подобно фениксу, из темноты земли. Она понимала, что сейчас они спасают все, что осталось от Нью-Йорка. Земля будет пустой, как пространство, в котором их пропеллер прорезал себе путь — таким же безжизненным.

Дагни будто прочитала мысли Ната Таггерта, когда он в самом начале пути также, вглядываясь в никуда, знал, что нужно проложить дорогу через целый континент. Перед глазами вспышками проплывали и исчезали фрагменты ее личной войны, оставшейся в прошлом. Она улыбнулась, вспомнив недоступный посторонним кодекс бизнесменов: «Мы покупаем, но нас не купить».

Она никак не отреагировала, когда увидела в зияющей бездне цепочку огней, медленно ползущих к западу и оставляющих за собой длинную яркую полосу света, словно бы охраняя путь, хотя понимала, что это всего лишь поезд.

Дагни повернулась к Голту. Он смотрел на нее, будто вчитываясь в ее мысли, и улыбнулся в ответ.

— Это конец, — сказала она.

— Это начало, — ответил он.

Они застыли в креслах, молча глядя друг на друга. Они никогда не чувствовали такой близости,

общности цели и понимания зависимости друг от друга.

Нью-Йорк остался далеко позади, когда они услышали, как Даннескьолд ответил на запрос по радио:

— Да, не спит. Вряд ли он сегодня будет спать… Да, думаю, сможет, — и оглянулся: — Джон, с тобой хочет поговорить доктор Экстон.

— Как? Он следует в самолете за нами?

— Конечно.

Голт поспешил вперед и схватил микрофон.

— Привет, доктор Экстон.

Голос его был негромким; в нем чувствовалась теплая улыбка.

— Привет, Джон, — твердость в голосе Хью Экстона выдала, чего ему стоило мучительное ожидание этих двух коротких слов. — Я только хотел услышать твой голос… узнать, что все в порядке.

Голт усмехнулся и тоном студента, излагающего хорошо усвоенный урок, ответил:

— Конечно, все в порядке, профессор. Иначе быть не могло. А есть А.

* * *

Тепловоз, тянущий на восток «*Комету*», сломался посреди Аризонской пустыни. Состав остановился внезапно, безо всякой видимой причины, будто человек, не позволявший себе даже думать о том, что он перенес слишком много, словно что-то внутри него надорвалось.

Эдди Уиллерс вызвал бригадира, а после продолжительного ожидания смирился с выражением его лица.

— Машинист пытается устранить неполадки, мистер Уиллерс, — негромко и безнадежно ответил бригадир.

— Он не знает, в чем дело?

— Выясняет, — мужчина выждал полминуты и пошел к выходу, но остановился и попытался объяснить, гоня от себя ужас: — Наши тепловозы непригодны, мистер Уиллерс. Их давным-давно нет смысла ремонтировать.

— Знаю, — спокойно ответил Эдди.

Бригадир понял, что лучше не вдаваться в объяснения: они порождали только ужас. Покачал головой и вышел.

Эдди Уиллерс сидел, вглядываясь в темную пустоту за окном.

Это была первая «*Комета*», вышедшая из Сан-Франциско на восток за последние дни, чтобы восстановить прежний график движения. Эдди не смог бы объяснить, что ему пришлось перенести в последние дни и что он сделал во имя спасения терминала от слепого хаоса гражданской войны, которая шла неизвестно за что; все, о чем раньше договорились, было забыто. Он знал лишь, что терминал недоступен для трех воюющих сторон, что поставил на должность управляющего человека, который не готов сдавать позиции, и что отправил на восток очередную таггертовскую «*Комету*» с лучшим тепловозом и лучшей бригадой, какие только можно найти, чтобы вернуться в Нью-Йорк.

Эдди никогда еще не приходилось работать так усердно; он делал свое дело добросовестно, как всегда, но казалось, что он пребывает в каком-то вакууме, словно все его силы уходят в песок… какой-то пустыни, вроде той, что теперь простиралась за окном «*Кометы*». Он содрогнулся: некоторое время спустя Эдди снова вызвал бригадира поезда.

— Как идут дела?

Бригадир пожал плечами и покачал головой.

— Отправь помощника машиниста к дорож-

ному телефону. Пусть сообщит в управление отделения дороги, чтобы прислали лучшего механика.

— Хорошо, сэр.

За окном не было ничего видно; выключив свет, Эдди смог разглядеть бесконечную серую равнину с черными точками кактусов. Подумал, как только люди отваживались пересекать эту пустыню в те дни, когда не было поездов, и какую цену платили за то. Затем резко отвернулся от окна и снова включил свет.

Он подумал: сам факт, что «*Комета*» находится на чужой дороге, уже способен лишить хладнокровия. Эти пути принадлежали компании «*Атлантик*», *«Таггерт Трансконтинентал»* пользовалась ими бесплатно. «Нужно выбираться отсюда, — твердил он себе. — Когда вернемся на свою ветку, будет спокойней». Внезапно ему показалось, что пути обрываются где-то у берегов Миссисипи, около моста Таггерта.

«Нет, — подумал Эдди, — здесь что-то не так. Видения, не дающие мне покоя, невозможно ни осмыслить, ни отогнать». Одним из них был полустанок, который они проехали больше двух часов назад: он обратил внимание на пустую платформу и ярко светящиеся окна маленького

станционного здания; свет шел из пустых комнат; он не заметил ни единого человека как в здании, так и на железнодорожных путях. Другим видением был второй полустанок: платформу заполнила взволнованная толпа, но на сей раз станция была погружена в полную темноту.

«Нужно вывести отсюда “*Комету*”», — подумал Эдди. Он удивился, почему его это так волнует, почему кажется так важно вновь привести поезд в движение. В пустых вагонах сидела лишь горстка пассажиров; они ехали, куда глаза глядят, безо всякой цели. Вряд ли он трудился ради них, хотя и не смог бы сказать, ради кого именно. Ему на ум пришли две фразы, неопределенные, как молитва или заклятие.

Первая звучала так: «От океана до океана, во веки веков», а вторая: «Господи, не дай ей погибнуть!..»

Бригадир поезда вернулся через час с помощником машиниста, чье лицо было подозрительно мрачно.

— Мистер Уиллерс, — неторопливо сказал помощник, — управление не отвечает.

Эдди выпрямился, и хотя разум отказывался верить в происходящее, он внезапно понял, что по какой-то необъяснимой причине ожидал

именно такого поворота событий.

— Это невозможно! — негромко произнес он. Помощник машиниста смотрел на него, не шевелясь. — Должно быть, телефонная линия не в порядке.

— Нет, мистер Уиллерс. Она в порядке. Работает. А управление нет. Либо там некому отвечать, либо никто не хочет.

— Но ты знаешь, что это невозможно!

Помощник пожал плечами; люди теперь считали возможной любую беду.

Эдди вскочил.

— Пройди по поезду, — приказал он бригадиру. — Стучись во все купе, где только есть пассажиры, узнай, нет ли среди них инженера-электрика.

— Хорошо, сэр.

Эдди, как и все присутствующие, прекрасно понимал, что среди вялых, опустившихся пассажиров, им не найти такого человека.

— Пошли, — приказал он, обращаясь к помощнику.

Они вместе забрались в кабину тепловоза. Седой машинист сидел на своем месте, глядя на кактусы. Прожектор продолжал гореть, луч света пронзал ночь, выхватывая из темноты

лишь сливающиеся вдали шпалы.

— Давай попробуем найти неисправность, — сказал Эдди, снимая пиджак, голос его был полукомандным-полупросящим. — Сделаем еще попытку.

— Хорошо, сэр, — ответил машинист безо всякой надежды.

Машинист исчерпал свой скудный запас познаний; проверил каждый узел, каждый проводок, прополз по всему тепловозу и под ним, откручивал детали и прикручивал снова, разбирал моторы наобум, как ребенок часы, с той лишь разницей, что ребенок верит в возможность познания.

Помощник машиниста высунулся из окна кабины, поглядел на черную пустоту и передернулся, словно его охватил ночной холод.

— Не беспокойся, — заговорил Эдди Уиллерс, принимая уверенный тон. — Мы должны сделать все, что сможем, но если у нас ничего не получится, помощь рано или поздно придет. Поезда не бросают невесть где.

— Не бросали, — уточнил помощник.

Машинист время от времени поднимал вымазанное сажей лицо и смотрел на перепачканные лицо и рубашку Эдди Уиллерса.

— Никакого толку, мистер Уиллерс? — спросил он.

— Мы не можем дать ей погибнуть! — пылко ответил Эдди, смутно сознавая, что имеет в виду не только «*Комету*»... и не только железную дорогу.

Продвигаясь от кабины вдоль трех блоков двигателей и обратно, с кровоточащими руками, мокрый от пота, Эдди Уиллерс старался припомнить все, что знал о моторах, все, что узнал в колледже и до него, все, чего поднахватался в те дни, когда диспетчеры в Рокдейле сгоняли его со ступенек громыхавших маневровых тепловозов.

Из обрывочных сведений ничего не складывалось; мозг, казалось, утратил способность действовать; Эдди понимал, что моторы не его специальность, что он ничего в них не смыслит, не знает их, и что разобраться в них именно сейчас — вопрос жизни и смерти. Глядя на цилиндры, лопасти вентиляторов, провода, контрольные панели, все еще мигающие огоньками, он старался гнать от себя не мысли, а всплывшую откуда-то из глубин сознания фразу: «Каковы наши шансы, и сколько займет времени — по элементарной теории вероятности — у нескольких

дилетантов, работающих вслепую, найти нужную комбинацию и снова запустить двигатель?»

— Все напрасно, мистер Уиллерс! — простонал машинист.

— Нельзя дать ей погибнуть! — снова выкрикнул Эдди.

Неизвестно, сколько часов прошло, когда помощник машиниста неожиданно крикнул:

— Мистер Уиллерс! Смотрите!

Высунувшись из окна, он указывал в темноту позади них.

Эдди посмотрел. Вдали резко раскачивался какой-то огонек; казалось, таинственный свет медленно приближается.

Вскоре Уиллису показалось, что он различает какие-то большие черные фигуры; они двигались параллельно рельсам; светлая точка раскачивалась низко над землей; он напряг слух, но ничего не услышал.

Потом он расслышал глухое ритмичное постукивание, какое могут издавать конские копыта. Двое подле него с нарастающим ужасом наблюдали за черными силуэтами, словно к ним из ночной пустыни приближались какие-то зловещие призраки. Через минуту они радостно засмеялись, разглядев, что это за силуэты, однако

на лице Эдди застыл ужас, как будто он увидел призраков, куда более страшных, которые можно было себе представить: это была вереница крытых фургонов.

Раскачивающийся фонарь замер возле тепловоза.

— Эй, приятель, подвезти? — окликнул человек, казавшийся главным; он посмеивался. — Застряли, а?

Пассажиры «*Кометы*» выглядывали из окон; кое-кто стал спускаться по ступенькам и направился к фургонам, из которых выглядывали женские лица, за ними можно было разглядеть тюки с разной домашней утварью. Где-то в конце каравана плакал ребенок.

— С ума сошел? — спросил Эдди.

— Нет, я всерьез, приятель. Места у нас много. Подвезем вас — за деньги, разумеется, — если хотите выбраться отсюда.

Это был крепкий верзила с развязными жестами и наглым голосом, похожий на балаганного зазывалу.

— Это «*Комета*» Таггертов, — сдавленно произнес Эдди Уиллерс.

— «*Комета*», вот как? По мне, она больше похожа на дохлую гусеницу. В чем дело, приятель?

Ты не сможешь приехать, куда тебе нужно, даже если очень постараешься.

— Как это понять?

— Небось думаешь, что едешь в Нью-Йорк, так ведь?

— Именно туда мы направляемся.

— Так ты что… ничего не слышал?

— О чем?

— Скажи, когда ты последний раз связывался с какой-нибудь из своих станций?

— Не знаю!.. Так о чем я должен был слышать?

— Моста Таггерта больше нет. Он разорван на куски. Взрыв каких-то звуковых лучей. В общем, толком никто не знает. Только никакого моста через Миссисипи больше не существует. Теперь в Нью-Йорк не попасть — по крайней мере таким, как мы с тобой.

Эдди Уиллерс не понял, что за этим последовало; когда он очнулся, то сидел, привалившись спиной к сиденью машиниста, глядя в открытую дверцу моторного блока; он не знал, сколько оставался в таком положении, но, наконец, сумел повернуть голову и увидел, что находится в кабине один. Машинист с помощником ее покинули. Снаружи раздавались голоса, вопли, плач, громкие вопросы и смех зазывалы.

Эдди подошел к окну кабины: пассажиры и поездная бригада «*Кометы*» толпились возле вожака каравана и его полуоборванных спутников; вожак делал неловкими руками властные жесты. Несколько хорошо одетых дам из «*Кометы*», мужья которых, видимо, заключили сделку первыми, взбирались в крытые фургоны, всхлипывая и сжимая хрупкие шкатулки с косметикой.

— Поднимайтесь, люди, поднимайтесь! — весело покрикивал зазывала. — Место найдем для всех! Тесновато, но лучше ехать, чем оставаться тут пищей для койотов! Время железных коней прошло! Остались только обыкновенные лошади! Медленно, зато надежно!

Эдди Уиллерс спустился на середину лесенки тепловоза, чтобы видеть толпу и чтобы его слышали. Замахал одной рукой, держась другой за ступеньку.

— Вы не уезжаете, правда? — крикнул он пассажирам. — Не покидаете «*Комету*»?

Те немного попятились, словно не хотели ни смотреть на него, ни отвечать ему. Они не хотели ничего слышать и ничего решать. Эдди видел бессмысленные, испуганные лица.

— Что с этим механиком? — спросил зазывала,

указав на него.

— Мистер Уиллерс, — мягко сказал бригадир поезда, — это бесполезно…

— Не покидайте «*Комету*»! — закричал Эдди Уиллерс. — Не дайте ей погибнуть! О господи, не дайте ей погибнуть!

— Спятил? — крикнул зазывала. — Ты не представляешь, что делается на железнодорожных станциях и в региональных отделениях! Все носятся, как куры с отрубленными головами! Думаю, к завтрашнему утру по эту сторону Миссисипи не останется ни одной действующей железной дороги!

— Лучше поехали с нами, мистер Уиллерс, — сказал бригадир поезда.

— Нет! — выкрикнул Эдди, сжимая металлическую ступеньку так, словно хотел, чтобы рука срослась с ней.

Зазывала пожал плечами.

— Что ж, твое дело!

— Куда вы направляетесь? — спросил машинист, не глядя на Уиллерса.

— Просто едем, приятель. Ищем место, где можно было бы остановиться… Мы из Калифорнии, из Империэл-Вэлли. Банда Народной партии отняла у нас урожай и продукты, какие были

в погребах. Назвала это «чрезмерным накоплением». Поэтому мы собрались и пустились в путь. Ехать приходится по ночам из-за вашингтонской банды… Мы ищем хоть какое-нибудь спокойное место, где можно жить… Хочешь, поезжай с нами, а если нет, мы готовы высадить тебя у любого города.

«Эти люди, — равнодушно подумал Эдди, — не похожи на тех, кто способен создать тайное свободное поселение, да и шайкой грабителей им вряд ли удастся стать; они ничего не достигнут, как и этот неподвижный луч фонаря; и, как этот луч, сгинут в пустынных просторах страны». Он стоял на лесенке, сосредоточившись на луче, стараясь не смотреть, как последние пассажиры таггертовской «*Кометы*» пересаживаются в фургоны.

Бригадир поезда влез в фургон последним.

— Мистер Уиллерс! — крикнул он с отчаянием. — Поехали!

— Нет, — ответил Эдди.

Зазывала помахал ему рукой над головами других.

— Надеюсь, ты знаешь, что делаешь! — в его голосе звучала то ли угроза, то ли просьба. — Может быть, кто-то появится здесь и заберет тебя

отсюда через неделю или через месяц! Может быть! Но кто поедет сюда в эти дни?

— Проваливайте, — сказал Эдди Уиллерс.

Он снова залез в кабину, а фургоны, скрипя и покачиваясь, тронулись в ночь. Он сидел на месте машиниста неподвижного тепловоза, прижавшись лбом к бесполезному дросселю, и чувствовал себя капитаном тонущего океанского лайнера, предпочитающим пойти ко дну вместе с ним, лишь бы только не спасаться унизительным бегством на каноэ с дикарями.

Потом Эдди вдруг ощутил слепящий прилив отчаянного, праведного гнева. Вскочил и схватил дроссель. Он должен привести в движение поезд; во имя некой призрачной победы должен запустить мотор тепловоза и ехать. Утратив всякую способность думать, взвешивать и даже бояться, движимый каким-то высшим императивом, он наобум передвигал рычаги, дергал туда-сюда дроссель, нажимал на бездействующую тормозную педаль, пытался разглядеть далекую и вместе с тем близкую цель, зная только, что именно она вдохновляет его на отчаянную битву.

«Не дай этому погибнуть!» — восклицал его разум, и перед его взглядом вставали улицы Нью-Йорка. «Не дай этому погибнуть!» — и ему

светили огни железнодорожных сигналов. «Не дай этому погибнуть!» — и он видел дым, гордо поднимающийся из заводских труб, пытаясь разглядеть сквозь него то, что объединяло все вспышки его видений. Он хватался за провода, соединял и разъединял их, а тем временем в уголках его сознания постепенно всплывал светлый образ сосен, залитых лучами солнца. «Дагни! — услышал Эдди свой беззвучный крик, — Дагни, во имя лучшего в нас!..» и снова дергал никчемные рычаги, бесполезный дроссель… «Дагни! — кричал он двенадцатилетней девочке на залитой солнцем поляне, — во имя лучшего в нас, я должен привести в движение этот поезд!.. Дагни, вот в чем было дело… ты знала это тогда, а я нет… ты знала, когда отвернулась и посмотрела на рельсы… я сказал: «Не бизнес и не деньги» … но, Дагни, сам бизнес, само умение выживать и есть лучшее в нас, вот что нужно защищать… во имя того, чтобы спасти это, Дагни, я должен привести в движение поезд…» Обнаружив, что лежит на полу кабины, и, наконец, поняв, что ничего поделать не может, Эдди поднялся, спустился из кабины, смутно тревожась о колесах тепловоза, хотя знал, что машинист закрепил их. Спрыгнув с последней

ступени, он услышал, как захрустел под ногами песок пустыни. Он замер; в ужасающей тишине, из темноты раздавался шелест перекати-поля, напоминающий смех какой-то невидимой армии, получившей, в отличие от «*Кометы*», возможность двигаться. Услышав поблизости более резкий шорох, Эдди обернулся и увидел серый силуэт кролика, приподнявшегося на задних лапках, чтобы обнюхать подножку одного из вагонов «*Кометы*». В приступе убийственной ярости Эдди бросился к нему, словно мог отразить наступление противника в лице этого маленького серого существа. Кролик юркнул в темноту, но Уиллерс понял, что этого наступления не отразить.

Он обошел тепловоз спереди и взглянул на буквы «ТТ». Потом рухнул на рельсы и, всхлипывая, распростерся перед тепловозом, меж тем как невозмутимый луч прожектора продолжал неподвижно смотреть в непроглядную ночь.

Звуки Пятого концерта Ричарда Халлея струились из-под его пальцев за окно и плыли в воздухе над огнями долины. Это был гимн торжеству. Ноты воспаряли, воплощая собой подъем, были сутью и формой движения вверх, казалось, в них слились все человеческие деяния и замыслы, порожденные мечтой взлететь. То было восхож-

дение звука, вырвавшегося на свободу. Он будто освобождал пространство от всякой скованности, оставляя лишь радость усилий, не ведающих никаких препятствий. Лишь слабый отзвук в музыке напоминал о том, от чего она избавилась, но преобладал тон радостного открытия, что нет никаких мерзостей и страданий, нет и никогда не должно быть. Это была песнь чудесного освобождения.

Огни долины падали светлыми пятнами на все еще не сошедший снег. Он лежал на гранитных уступах, на толстых лапах сосен. Но обнаженные веточки берез чуть поднимались вверх, словно в обещании скорого появления весенней листвы.

На склоне горы светился прямоугольник света, это было окно Мидаса Маллигана. Мидас Маллиган сидел в своем кабинете за письменным столом, перед ним лежали карта и лист бумаги с колонкой цифр. Он составлял перечень активов своего банка и разрабатывал план будущих вложений. Записывал возможные транши: «Нью-Йорк — Кливленд — Чикаго… Нью-Йорк — Филадельфия… Нью-Йорк…»

Другим источником света, оживлявшим дно долины, было окно дома Даннескьолда. Кэй Ладлоу

сидела перед зеркалом, задумчиво разглядывая оттенки грима в старой коробке. Рагнар Даннескьолд лежал на диване, читая Аристотеля: «…поскольку эти истины верны в отношении всего сущего, а не для отдельных вещей. И все люди используют их, в силу того, что они верны, потому что верны… Ибо каждый, понимающий в сущностях должен руководствоваться тем, что общие принципы не есть гипотеза… Очевидно, что такие принципы выражают единственную истину. Продолжим: в чем заключается подобный принцип? А заключается он в том, что одно и то же свойство не может одновременно и в равной мере характеризовать и не характеризовать предмет…»

Еще одно светящееся окно было окном кабинета судьи Наррагансетта. Судья сидел за столом, свет лампы падал на старинный документ. Он помечал и правил противоречия в его формулировках, некогда ставшие причиной его краха. Сейчас он был занят тем, что добавлял к нему новую оговорку: «Конгресс не должен принимать законов, ограничивающих свободу производства и торговли…»

В лесу светился прямоугольник окна дома Франсиско д'Анкония. Франсиско лежал на полу

перед пляшущими языками пламени, завершая чертеж своей плавильни. Хэнк Риарден и Эллис Уайэтт сидели у камина.

— Джон будет изобретать новые локомотивы, — говорил Риарден, — а Дагни руководить первой железной дорогой между Нью-Йорком и Филадельфией. Она…

Услышав следующую фразу, Франсиско резко вскинул голову и рассмеялся; это был радостный смех, смех победы, смех свободы, смех избавления. Они не могли слышать музыку Пятого концерта Халлея, парящую где-то в вышине, но смех Франсиско был под стать ее звукам. Раздумывая над этой фразой, Франсиско представлял себе лучи весеннего солнца на открытых лужайках перед домами по всей стране, искры электродвигателей, блеск стали в растущих каркасах новых небоскребов, глаза молодежи, глядящие в будущее уверенно и бесстрашно.

Вот та самая фраза, которую произнес Риарден:

— Она, конечно же, попытается разорить своими расценками на грузовые перевозки, но я смогу держать удар.

На самом высоком из досягаемых уступов горы виднелось слабое мерцание: отблеск звезд на волосах Джона Голта. Он стоял, глядя не на долину

внизу, а на темный мир за ее пределами. Рука Дагни лежала на его плече, и ветер переплетал их волосы. Дагни знала, почему он захотел пойти в горы, почему остановился именно здесь и о чем задумался. Знала, какие слова он произнесет, и знала, что услышит их первой.

Они не видели мира за горами, там были лишь пустота и безжизненные скалы, но за этой темнотой скрывался лежащий в руинах континент: дома без крыш, ржавеющие трактора, темные улицы, заброшенные рельсы. Однако вдалеке, на краю земли, ветер колыхал легкое пламя, вызывающе упорное пламя Факела Уайэтта, оно трепетало, исчезало и вспыхивало снова, его невозможно было погасить. Казалось, оно напряженно ждет тех слов, которые Джон Голт должен был теперь произнести.

— Путь расчищен, — сказал Голт. — Мы возвращаемся в мир.

Он поднял руку и начертал в пространстве над разоренной землей символ доллара.

ОБ АВТОРЕ

Моя частная жизнь есть квинтэссенция моих романов; мое отношение к творчеству выражается фразой: «И я это всерьез». Я всегда жила в соответствии с той философией, которую представляю в своих книгах, — она определяла мои поступки и действия моих персонажей. Конкретика в романах разная, абстракции одни и те же.

В девятилетнем возрасте я решила стать писательницей, и все, что делала, было посвящено этой цели. Я американка по выбору и убеждению. Я родилась в Европе, но приехала в Америку, потому что эта страна была основана на моральных принципах, созвучных моим, и была единственной страной, где писатель чувствует себя свободным. Я приехала сюда одна, окончив европейский университет. Я пережила тяжелые времена, зарабатывая на жизнь случайными работами, пока не смогла добиться финансового успеха литературным трудом. Никто не помогал мне, и я никогда не считала, что кто-то должен мне помогать.

В университете основным моим предметом

была история, предметом особого интереса — философия; первая давала знания о человеческом прошлом для будущего писательства; вторая помогла достичь объективного определения ценностей. Я обнаружила, что первую можно выучить, но вторую нужно создать самой.

Насколько себя помню, я всегда была последователем той философии, которой верна и теперь. За годы я выучила многое и расширила свое познание о частностях, характерных проблемах, определениях, приложениях — и намерена расширять его дальше, — но никогда не меняла своих принципов. Моя философская концепция основана на представлении о человеке как героическом существе, нравственно оправданной целью жизни которого является собственное счастье, самой благородной деятельностью — созидательный труд, а бесспорным абсолютом — разум.

Единственным философом, долг перед которым я могу признать, является Аристотель. Я категорически не согласна со многими аспектами его философии, но его определение законов логики и методов человеческого познания фундаментальны для культуры, потому некоторые разночтения несущественны. Я отдаю ему долж-

ное в заглавиях трех частей романа «Атлант расправил плечи».

Я знала, какие черты характера хочу найти в мужчине. Я встретила такого мужчину, мы состоим в браке двадцать восемь лет. Моя признательность ему отразилась в посвящении. Его имя Фрэнк О'Коннор.

Всем читателям, которые прочли «Источник» и задавали мне много вопросов о расширенном толковании изложенных в нем идей, хочу сказать, что отвечаю на их вопросы в данном романе и что «Источник» был всего лишь прелюдией к роману «Атлант расправил плечи».

Надеюсь, никто не скажет мне, что людей, о которых я пишу, не существует. То, что эта книга написана и опубликована, служит доказательством того, что они есть.

Айн Рэнд,
1957

ПРИЛОЖЕНИЕ

Вступительная статья Л. Пейкоффа, посвященная 35-й годовщине первой публикации романа

Айн Рэнд назначение искусства видела в «созидании художественной реальности в соответствии с философской позицией художника». Художественное произведение — будь то литературное, музыкальное или кинематографическое творение — это уникальная Вселенная, приглашающая читателя и зрителя войти, осмыслить и отреагировать; роман не нуждается в пояснительном предисловии и не терпит такового.

Айн Рэнд никогда не одобряла ни разъяснительных, ни хвалебных введений к своим книгам, и я не имею желания нарушать ее волю. Напротив, я намереваюсь уступить место ей самой. Я хочу познакомить вас с некоторыми ее суждениями того периода, когда она готовилась написать роман «*Атлант расправил плечи*».

Прежде чем приступить к работе над романом, Айн Рэнд много писала в своем дневнике о его теме, сюжете и персонажах. Писала не для пуб-

лики, а лишь для себя, для уточнения концепции произведения. Дневниковые записи во время работы над «*Атлантом*» дают яркий пример оригинальности ее суждений, ясных, даже при движении по неизведанной территории, блестяще афористичных и рациональных. Дневники Рэнд иллюстрируют завораживающий процесс поэтапного рождения бессмертного произведения искусства.

В свой черед будет опубликовано все, что выходило из-под пера Айн Рэнд. Для этого издания «*Атланта*»[5], подготовленного к 35-й годовщине его первой публикации, я предлагаю нечто вроде подарка почитателям великой писательницы: несколько характерных дневниковых записей. Позвольте мне предупредить читателей, что отрывки эти приоткроют сюжет и лишат непосредственности восприятия тех, кто прочтет их, не зная сюжета повествования.

Как известно, фраза «Атлант расправил плечи» стала названием романа только после того, как муж мисс Рэнд (Фрэнк О'Коннор, актер, ему посвящен этот роман) предложил это в 1956 году. В процессе написания роман носил

---

[5] Примечания: 5
Ayn Rand. Atlas Shrugged. A Signet Book. USA. 1996.

рабочее название «*Забастовка*».

Самые первые наброски, сделанные мисс Рэнд для «*Забастовки*», датированы 1 января 1945 года, это примерно через год после публикации романа «*Источник*» (Ayn Rand. The Fountainhead. 1943). Вполне естественно, что ее интересовало, чем новый роман будет отличаться от предыдущего.

> *Тема.* Что происходит с миром, когда Движители бастуют.
>
> Это состояние мира, мотор которого отключен.
>
> Показать: что, как и почему.
>
> Конкретные шаги, действия: в первую очередь важны персонажи, их мировоззрение, мотивации, психология, поступки и во вторую очередь – результаты влияния каждой личности на историю, общество и мир.
>
> *Требования темы:* показать, кто является Движителями мира, как и почему они действуют. Кто их враги, каковы причины ненависти к Движителям и их порабощения; показать природу препятствий, встречающихся на их пути,

и причины их возникновения.

Этот последний параграф полностью содержится в *«Источнике»*. Герои Рорк и Тухи являются иллюстрацией нынешнего положения дел. Посему эта тема должна быть не генеральной для *«Забастовки»*, но лишь частью ее, которую следует упомянуть снова (хотя и кратко), чтобы сделать изложение ясным и полным.

Первым делом необходимо решить, на ком нужно акцентировать внимание – на Движителях, паразитах или на мире. Ответ: на мире. Повествование должно вестись о принципах мироустройства.

В этом смысле *«Забастовка»* должна стать куда более «общественно значимым» романом, чем *«Источник»*. Тот роман был посвящен «индивидуализму и коллективизму в душе человека»; он обнаруживает природу и функции творцов и потребителей. Идея состояла в том, чтобы показать суть Рорка и Тухи: две крайности, два полюса. Остальные персонажи демонстрировали варианты отношений личности к обществу.

Основной темой было описание характеров, людей как таковых, обнажение их природы. Их взаимоотношения – то есть собственно общество, связи между людьми – были неизбежны, но вторичны, представлялись как прямое следствие столкновения Рорка и Тухи. Однако они не раскрывали тему.

Здесь темой должны стать взаимоотношения. Посему частное обязано отступить на второй план. То есть персональный аспект необходим только в той степени, в которой он проясняет взаимосвязи в обществе. В *«Источнике»* я показала, что миром движет Рорк, что Китинги паразитируют на нем и одновременно ненавидят, а Тухи стремятся погубить его. Но тема была представлена Рорком, а не его отношением к миру. Теперь меня интересуют взаимоотношения.

Иными словами, я должна подробно показать, как Движители способствуют развитию мира и как именно потребители паразитируют на творцах – психологически и особенно в конкретной физической реальности. Особое внимание – на кон-

кретные события действительности и ни на мгновение не забывать, что все материальное является следствием устремлений души.

Однако ради целей повествования я начинаю не с примеров того, каким образом потребители паразитируют на Движителях в повседневной реальности, не начинаю я и с описания привычного им мира. (Это дается только в сюжетно необходимой ретроспективе при обращении к прошлому или в качестве следствия самих событий). Я начинаю с фантастического предположения забастовки, организованной Движителями. Следует отметить четкое разделение: я не намереваюсь прославлять здесь Движителей (этому был посвящен *«Источник»*). Я хочу показать, насколько отчаянно мир нуждается в Движителях и насколько скверно он обращается с ними. И я демонстрирую это гипотетической ситуацией, показывая, что случится с миром без них.

В *«Источнике»* я не называла прямо, насколько безнадежно наше положение без Рорка, ограничиваясь лишь косвен-

ными указаниями. Я продемонстрировала, в какой мере и в силу каких причин жесток к нему мир. Это была книга о Рорке, я показала суть творческой личности. Новый роман должен стать историей общества, это анализ дисгармонии тела и сердца – тела, умирающего от анемии.

Я не показываю детально, что делают Движители, – это становится ясно лишь опосредованно, но объясняю, что случается, когда они *перестают* делать свое дело. (Так становится очевидна значимость их дел, равно как и исключительность их предназначения. Это важное замечание для конструкции всего повествования.)

Чтобы создать свой роман, Айн Рэнд должна была сформулировать систему объяснений, почему Движители позволяют потребителям паразитировать на своих талантах, почему за всю историю творцы ни разу не объявили забастовку, какие ошибки, присущие даже лучшим из них, сделали их зависимыми от посредственностей. Ответ найдем в образе Дагни Таггерт, наследственной владелицы железной дороги, объявившей войну забастовщикам. Вот заметка о ее психологии,

датированная 18 апреля 1946 года:

«Ее ошибка и причина отказа присоединиться к забастовке кроется в сверхоптимизме и избытке уверенности в себе (особенно в последнем).

Сверхоптимизм: она считает людей лучше, чем они есть, она великодушна и не желает верить, что человеческие пороки неисправимы.

Избыток уверенности: она считает себя способной сделать больше, чем это по силам человеку. Она полагает, что способна независимо ни от кого управлять железной дорогой (и миром), может убедить окружающих делать то, что правильно с ее точки зрения, будучи им примером. Никого не принуждая, конечно, не порабощая приказами, но увлекая своей энергией и талантом, она будет эталоном правильного жизнестроительства, она *научит* и *вдохновит* любого, она настолько одарена, что каждый сможет заимствовать ее опыт. (Это вера в рационализм человека, во всемогущество разума. Ошибка? Рассудок не автомати-

чен. Те, кто отрицают разум, не будут союзниками ему. Нельзя рассчитывать на них. Их надо оставить в покое.)

В отношении этих двух пунктов Дагни совершает существенную (но простительную и вполне понятную) ошибку, которую часто допускают индивидуалисты и творцы. Ошибка эта является следствием лучших качеств их натуры и результатом принципа рационализма, однако принцип этот реализуется неверно.

Ошибка такова: творцу подобает быть оптимистичным в глубочайшем, глубинном смысле этого слова, поскольку творец верит в благосклонность Вселенной и действует, исходя из этой предпосылки. Однако будет ошибкой распространять такой оптимизм на все человечество. Во-первых, это не является необходимым, этого не требуют жизнь творца и природа Вселенной: жизнь его не должна зависеть от намерений других людей. Во-вторых, каждый человек – индивидуальность, наделенная свободной волей; поэтому человек потенциально являет-

ся добрым или злым – ему и только ему самому решать, прибегая к помощи разума, на которой стороне он хочет быть. Решение повлияет лишь на него *самого*; оно не может (да и не должно) представлять особый интерес для любого другого человека.

Посему, в то время как творец почитает Человека (что означает его собственный высший потенциал, то есть естественное уважение к себе), он не должен совершать ошибку, полагая, что отсюда неминуемо проистекает почтение к человечеству (как к коллективу). Концепции эти полностью антагонистичны, из них следуют существенно различные и диаметрально противоположные следствия.

Потенциал Человека реализуется внутри самого творца. Одинок ли творец, находит ли он немногих достойных союзников или окружен заурядным большинством, не имеет никакого значения; числа здесь абсолютно неуместны. Он один или горстка подобных ему представляет все человечество, подлинную сущность Человека в лучших его прояв-

лениях, человеческое естество, Человека, максимально раскрывающего свои возможности (существо разумное, действующее в соответствии с велениями Природы.)

Творцу должно быть безразлично, многие ли вокруг него не соответствуют идеалу Человека (с большой буквы): один, миллион или вообще все; позвольте ему одному соответствовать этому идеалу; таков «оптимизм» в отношении Человека. Однако понять это трудно, трудно принять тот факт, что потенциальные способности людей неодинаковы и намерения у всех различны. Разумеется, Дагни совершает ошибку, считая других лучше, чем они есть (или станут лучше, или она научит их быть лучше, или, что больше похоже на правду, она просто отчаянно хочет, чтобы они были лучше), и оказывается зависимой от мира в подобной надежде.

Творцу подобает обладать безграничной верой в себя и свои возможности, не сомневаться в том, что он способен извлечь из лиры любые звуки, до-

стичь поставленных целей, а делать это или не делать – зависит только от него. Творец, будучи рациональным человеком, осознает это. Однако вот что он должен иметь в виду: действительно, добиться можно всего, чего пожелаешь, если действуешь в согласии с природой, Вселенной, нормами морали, то есть если не навязываешь свою волю остальным и не пытаешься посягать на власть над природой, что в первую очередь является насилием над остальными или приводит к ограничению их свободы. (Такое желание или попытка будет аморальным выбором, противоречащим естеству творца.) Решившись на это, он перестает быть творцом и переходит в стан коллективистов и прихлебателей.

Посему он никогда не должен быть уверен в том, что ему удастся достичь своих целей с помощью других людей. (Творец не может испытывать такой уверенности – не может совершать насильственных попыток, которые неминуемо станут аморальными.) Нельзя быть уверенным, что энергия и интеллект

творца будут полезны другим и сделают их способными для достижения высоких целей. Он должен принимать остальных людей такими, какие они есть, принципиально признавая в них независимых индивидов, находящихся за пределами его влияния; сотрудничество возможно только на условиях признания обоюдной самостоятельности, нужно действовать сообразно рациональным соображениям, собственным целям и позволить другим жить согласно их нормам, их разумению и воле и не требовать ничего от них.

Теперь об упрямом желании Дагни руководить *«Таггерт Трансконтинентал»*. Она видит, что вокруг нее нет тех, на кого можно положиться, нет соратников, людей способных, независимых и компетентных. Она думает, что люди другого образа мысли будут полезны для достижения ее целей: дилетанты-паразиты, если им дать соответствующее образование или просто использовать в качестве роботов, которые будут получать от нее приказы и действовать, не проявляя личной инициативы или от-

ветственности. А она, по сути дела, станет искрой инициативы и олицетворением ответственности для всего коллектива. Это невозможно. В этом ее ключевая ошибка, в этом причина ее неудачи.

Основной задачей Айн Рэнд как писателя являлось не представление злодеев или наделенных недостатками героев, но создание образа идеального человека, непротиворечивого, гармоничного, идеального. В романе *«Атлант расправил плечи»* таковым является Джон Голт, величественная фигура, движущая сила всего мира и романа, однако появляется на сцене он только в третьей части. В соответствии с ходом повествования Голт играет центральную роль в жизни всех его персонажей. В записи «Взаимоотношения Голта с другими героями», датированной 27 июня 1946 года, мисс Рэнд в сжатом виде формулирует, кем Джон Голт является для каждого из них:

Для *Дагни* – идеал. Ответ на оба ее стремления: найти гения и любимого человека. Первое стремление реализуется в поисках изобретателя двигателя. Второе усиливается крепнущим убежде-

нием, что она никогда не полюбит…

Для *Риардена* – друг. Способный понять и дать оценку, в чем он всегда нуждался, не ведая, что уже обрел их: сочувствие матери, сестры и брата.

Для *Франсиско д'Анкония* – аристократ. Единственный человек, воплощающий вызов и стимул, достойный собеседник, в присутствии которого ощущается радость и красочность бытия.

Для *Даннескьолда* – якорь. Человек, олицетворяющий почву и корни для незнающего устали, безрассудного скитальца, порт в конце пути через бушующее море; проясняющий смысл борьбы, – единственный человек, которого он может уважать.

Для *Композитора* – вдохновение и идеальный слушатель.

Для *Философа* – воплощение его абстракций.

Для *отца Амадеуса* – источник конфликта. Мучительное осознание, что Джон Голт воплощает его представления о человеке добродетельном и совершенном; но система собственных

суждений Амадеуса уже не соответствует новым целям человечества.

Для *Джеймса Таггерта* – вечная угроза. Тайный ужас. Укоризна. Вина (причем подсознательная). Он не сталкивается с Голтом непосредственно, однако поражен беспричинным, истеричным страхом. И он сразу узнает его, когда слышит выступление Голта по радио и впервые видит лично.

Для *Профессора* – его совесть. Укор и напоминание. Призрак, преследующий его везде и повсюду, не давая ни мгновения покоя. Постоянное «нет» всей его жизни.

Некоторые примечания к предыдущему отрывку. Сестра Риардена Стейси как персонаж второстепенный была впоследствии исключена из романа.

«Франсиско» в те ранние годы писался «Франсеско», а Даннескьолд носил имя Ивар, предположительно данное в честь Ивара Крюгера, шведского «спичечного короля», послужившего реальным прототипом Бьорна Фолкнера в *«Night of January 16th»*.

Отец Амадеус был духовным наставником

Таггерта, который исповедовался ему в своих грехах. Священник предполагался как положительный персонаж, искренне приверженный добру и убежденный проповедник милосердия как этической нормы. По словам мисс Рэнд, она исключила его после того, как выяснилось, что персонаж этот получается неубедительным.

Профессор — это Роберт Стэдлер.

Теперь последний отрывок. В силу того, что творчество мисс Рэнд определено стремлением выразить некий комплекс идей, ее часто спрашивали, кем является она в первую очередь — философом или романистом. В последние годы этот вопрос раздражал ее, однако она дала ответ, предназначенный в первую очередь для самой себя, в записи, датированной 4 мая 1946 года. Речь шла о природе творчества.

> Я создаю впечатление философа, теоретика и романиста. Однако мои интересы в большей степени обращены к последней ипостаси; первая служит для меня лишь средством для реализации художественных замыслов; абсолютно необходимым средством, но, тем не менее, всего лишь средством; все воплощается

в романе. Не осознав и не сформулировав верный философский принцип, я не могу создать нужное повествование. Однако философские концепции интересуют меня только как способ обнаружения необходимых знаний, которые я использую для достижения своей жизненной цели; а целью моей жизни является создание такой Вселенной, которая понравится мне самой и будет представлением о совершенстве человеческого сообщества.

Философские познания необходимы для понимания идеального мироустройства. Однако я не намереваюсь ограничиться формулировкой определений, я хочу воспользоваться ими, применить в своей работе (и в частной жизни, но ядром, сердцевиной и средоточием *всей* моей жизни является работа).

Вот поэтому, я думаю, идея написания философского труда и показалась мне скучной. В такой книге я должна была бы доказывать, обосновывать читателям свои принципы. В романе же я, напротив, ставлю цель создать желанный для меня мир и жить в нем в процессе его созда-

ния; дополнительным результатом моей работы является открытость этого мира для каждого, но лишь в той степени, в какой человек готов принять мою философию.

Можно сказать, что основной целью философского труда является прояснение или формулировка новых знаний для себя и ради себя; а уже потом, в качестве второго шага, изложение твоих позиций для других. Это очень важно: мне приходится формулировать оригинальные философские концепции, которыми я воспользовалась для написания художественного произведения, воплощающего и иллюстрирующего их; я не могу писать произведение на основе всем известного тезиса или темы, знания, изложенного когда-то и кем-то, то есть на основе чужой философии (такие философские системы неверны для моей Вселенной). В таком понимании я являюсь абстрактным философом (я хочу представить идеального человека и его идеальную жизнь – и я также должна обнаружить собственное философское утверждение

и определение такого совершенства).

Но в том случае, когда я обнаружила такое знание, меня не интересует его представление в абстрактной и обобщенной форме, то есть собственно знания. Меня интересует его применение: воплощение в образах конкретных людей и генерирование событий, определение формы вымышленного повествования. Такова главная цель, результат моей работы; и философские познания или концепции являются лишь средством для достижения ее. В пределах преследуемых мной целей меня не интересует научная форма абстрактных знаний, в отличие от прикладной формы вымысла, повествования. (В любом случае я формулирую эти знания для себя самой; однако избираю художественную форму изложения, выраженную в завершенном произведении, которое обращено к читателю).

Интересно, в какой мере мое отношение к предмету является уникальным. На мой взгляд, я интегрирую достижения абсолютных человеческих ценностей. Такой путь неизбежно приводит меня к об-

разу Джона Голта. Он также представляет собой синтез философа, моделирующего абстракции, и практика-изобретателя; одновременно мыслителя и человека действия.

В процессе обучения мы формулируем абстрактные представления, сопоставляя их с конкретными событиями. Созидая, мы творим собственные объекты и конкретные события, согласованные с абстракциями; мы преображаем абстракцию, генерируя необходимые значения; однако отвлеченные понятия способствуют созданию того рода конкретики, которой мы хотим располагать. Способность к абстрактному мышлению помогает построить тот мир, какой мы хотим видеть.

Не могу воздержаться и не процитировать еще один абзац. Он присутствует в предшествующей записи несколькими страницами ранее.

Кстати, дополнительные замечания: если литературное творчество представить как процесс преобразования абстракции в конкретику, возможны три типа такого

сочинительства: перевод старой (известной) абстракции (темы или тезиса) посредством архаичной литературной техники (то есть персонажей, событий и ситуаций, уже не раз использованных для той же темы, того же самого перевода) – сюда относится большая часть популярной халтуры; пересказ старой абстракции с помощью новых, оригинальных литературных средств – это большая часть хорошей литературы; создание новой, оригинальной абстракции и перевод ее с помощью новых, оригинальных средств – под этот пункт, насколько мне известно, подпадает только мое творчество и моя манера писания романов. Да простит меня Бог (метафора!), если это всего лишь ошибочное самомнение! Насколько могу судить, дело обстоит именно так. (Четвертая возможность – пересказ новой абстракции старыми средствами – невозможна по определению: если абстракция новая, не может существовать средств, уже использованных кем-либо для ее пересказа.)

Можно ли усмотреть в ее словах «ошибочное самомнение»? Прошло сорок пять лет с того времени, когда она написала эту заметку, и вы держите в руках шедевр Айн Рэнд. Решайте сами.

Леонард Пейкофф,
сентябрь 1991 года

* * *

Переводчик *Ю. Соколова*
Редакторы *М. Корнеев, С. Лиманская, Е. Паутова*
Технический редактор *Н. Лисицына*
Корректоры *И. Голубева, Л. Лебедева*
Компьютерная верстка *Е. Вохминцева*
Художник обложки *А. Мищенко*
Иллюстратор *А. Житомирский*
Дизайнер *А. Колотилов*
Арт-директор *А. Лебедев*